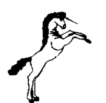
Русистика. Славистика. Индоевропеистика

Сборник к 60-летию Андрея Анатольевича Зализняка

Российская академия наук
Институт славяноведения и балканистики



Российская академия наук
Институт славяноведения и балканистики

Русистика. Славистика. Индоевропеистика

Сборник к 60-летию
Андрея Анатольевича Зализняка



«ИНДРИК»
Москва 1996

ББК 81.40я43
Р88

Издание осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда

Русистика. Славистика. Индоевропеистика. Сборник к
Р88 60-летию А. А. Зализняка / Ред. коллегия: А. А. Гиппиус, Т. М. Николаева (отв. ред.), В. Н. Топоров. – М.: Издательство «Индрик», 1996. – 768 с. – (Институт славяноведения и балканистики РАН.)
ISBN 5-85759-034-5

Статьи юбилейного сборника охватывают широкий круг проблем общего, русского, славянского и индоевропейского языкознания, представляя таким образом панораму современного состояния исследований в различных областях синхронной и диахронической лингвистики. Тематический диапазон сборника – от орфографии древнерусских рукописей до современного китайского ударения и от семантики ведийских текстов до языковых экспериментов Ремизова. Включенные в сборник статьи сгруппированы в несколько тематических разделов, отражающих различные аспекты научных интересов юбиляра: Язык и культура Древнего Новгорода, История русского языка и диалектология, Акцентология, Синхронная лингвистика, Лингвистика и поэтика, Индоевропеистика. Среди авторов сборника видные отечественные и зарубежные филологи (Ю. Д. Апресян, Х. Бирнбаум, Д. Ворт, В. А. Дыбо, Т. Я. Елизаренкова, В. М. Живов, А. К. Жолковский, Вяч. Вс. Иванов, Х. Кайперт, В. Лефельдт, И. А. Мельчук, Т. М. Николаева, В. Н. Топоров, Т. В. Цивьян, Вл. А. Успенский, В. Л. Янин и др.).

ББК 81.40я43

ISBN 5-85759-034-5



Содержание

Язык и культура Древнего Новгорода

История русского языка и диалектология

Акцентология

Синхронная лингвистика

Лингвистика и поэтика

Индоевропеистика

В. Н. Топоров

Страничка из истории Новгорода
(к ранним русско-итальянским встречам)

Несколько предварительных размышлений. При всей исключительности и знаковой отмеченности самых ранних встреч двух этноязыковых и культурных элементов здесь речь пойдет не о них, хотя в широкой перспективе именно они образуют явление начала и выступают как некая точка отсчета и/или необходимый фон, позволяющий адекватно воспринимать последующие встречи. Разумеется, определение «самый» носит черты определенной условности и сомнительности. Собственно русско-итальянским встречам, несомненно, предшествовали встречи генетических предшественников «русских» и «итальянцев» (ситуация до VIII—IX вв.). Во всяком случае возможность таких встреч появилась с начала нашей эры, когда границы Римской Империи приблизились к территории, на которой обитали праславянские племена (Подунавье, в частности, Паннония), или где пролегали торговые маршруты Древнего Рима («Великий янтарный путь» по Висле к южным берегам Балтики). Особый интерес в этом отношении представляет присутствие римской власти и римского элемента в Сев. Причерноморье, между устьями Днепра и Днестра (Тирас, Ольвия), и на самом Черном море, где римский флот осуществлял контроль и охрану от морских разбойников. Под римским протекторатом находилось Боспорское царство в Крыму, где находился римский военный гарнизон. Эти места были известны праславянским племенам, обитавшим на юго-востоке праславянской территории, и доступны им, во всяком случае отдельным наиболее инициативным людям или даже группам, искавшим именно здесь связей с другими наро-

дами Причерноморья. Можно напомнить, что и позже уже собственно русский элемент поддерживал здесь контакты с итальянским элементом (прежде всего в Крыму, особенно с конца XIII в., когда генуэзцами были основаны торговые фактории в Кафе, Солдайе, Балаклаве, ведшие торговлю, в частности, и с Русью). Вступление восточных славян в структуру раннегосударственных образований и принятие христианства (IX—X вв.) обозначало достижение того уровня цивилизации, на котором и круг связей, и их возможности принципиально расширились. Возникли новые типы связей — государственные (отчасти и в варианте «матримониально-династических»), церковно-религиозные, отчасти идеологические, выступающие в статусе о ф и ц и а л ь н ы х (сюда же в известной мере подверстывались и контакты, связанные с торговлей и обменом). Особенно интенсифицировались эти связи между Римом и Русью с конца X в. в связи с вероисповедными вопросами, решавшимися на «высшем» уровне. Этой интенсификации связей Русь была обязана прежде всего Византии, от которой она приняла христианство и, начиная с этого времени, усвоила себе византийское «антилатинство», особенно острое, начиная со 2-й пол. IX в. (Послания патриарха Фотия). Схизма христианской церкви в 1054 г. и новый всплеск «антилатинской» полемики (Послание Михаила Керулария к патриарху Антиохийскому Павлу, анонимное сочинение «Περὶ τῶν Φράγγων καὶ λοιπῶν Λατίνων», известное и в русском переводе, и др.) не остались беспоследственными на Руси. Начиная с послания русского митрополита Леонтия против «латинян» (на греческом языке), число таких выступлений увеличивается (Феодосий Печерский, «Стязание с Латиною» Георгия, Иоанн II, Никифор I и др.) и продолжается в течение многих веков. Отражая реальные отношения между римской и восточной (в частности, и русской) церквями, эта полемика, если говорить о текстах, отражает все-таки «бумажные» контакты, цель которых с русской стороны не связь, а отталкивание ее, разрыв, разъединение, изоляция, для чего в дело годилось все, включая и мелочи (вопрос об опресноках, «удавленине», «стрижении брады», перстосложении и т. п.). В связи с рассматриваемой здесь темой важнее были «человеческие» контакты, даже если осуществлялись на «высоком», официальном уровне в лице представителей государства и церкви. Пунктирно можно напомнить серию таких «русско-римских» контактов, в которых инициатива принадлежала, как правило, римской курии. Ряд

западных источников сообщает о косвенных контактах с проводниками папской политики уже великой княгини Ольги. Далее эти контакты учащаются: приезд послов Бенедикта II к Ярополку (979); перед принятием христианства к Владимиру пришли *нѣмьци Рима, послании от папежа* (летопись сообщает об этой встрече и позволяет отчасти восстановить вопросо-ответный диалог сторон); приезд послов папы Иоанна XV в Корсунь при известии о том, что только что крестившийся Владимир обсуждает с греками вопрос крещения Руси; 991 г. — послы к Владимиру от того же папы Иоанна XV; 1000 г. — от Сильвестра II (в частности, в связи с бракосочетанием сына Владимира Святополка с дочерью польского короля Болеслава I); встреча Владимира с папским миссионером Бруно, отправившимся с проповедью к печенегам (может быть, первый пример таких контактов, в которых обнаружил себя «человеческий» элемент; особенно надо отметить положительно-приемлющее поведение Владимира, его готовность помочь Бруно и ради этого даже пойти на риск, его радушие и, что было большой редкостью, веротерпимость); отправление Владимиром посольства в Рим в 994 и 1001 гг., что, видимо, было ответом на папские посольства; постоянные папские послания перед татарским нашествием и даже несколько позже (1227 г. — послание папы Гонория III «ad universos reges Russiae», 1231 г. — послание Григория IX «ad regem Russiae», 1248 г. — послание Иннокентия IV Александру Невскому и др.), а за посланиями или вместе с ними появлялись посланники и миссионеры (ср. историю братьев Доминиканского ордена в Киеве в 1228—1233 гг., о чем сообщает Длугош, как и об их контактах с киевским населением и т. п., или же сообщение Плано Карпини, посланного Иннокентием IV в Великую Монголию, о его встречах и договоренностях с «герцогами» Василиском и Даниилом) и т. п. Реконструкция «тонкой» («лично-человеческой») структуры таких встреч (даже весьма приблизительная) дает шанс открыть тайный нерв тех «новых» встреч, которые зреют в глубине «официального».

А на поверхностном уровне все шло своим чередом. Приезжали посольства, с ними встречались князья и церковные иерархи, обсуждались важные вопросы, появлялись миссионеры-проповедники. Все это обсуждалось, заранее планировалось, принимались решения, заключались договоры, устанавливались законы. Государство, Церковь, юридическая власть участвовали в этом. Нет оснований нигилистически относиться к такого рода

деятельности, исходящей из сознательной, целенаправленной, на заключения разума опирающейся установки, и к получаемым результатам: вся «грубая» структура цивилизации предполагает именно такую деятельность. Но здесь, в данном случае, иная ситуация. Встречи, имеющиеся в виду здесь, в какие бы общие рамки они ни включались и какие бы специальные цели они ни преследовали, ценны прежде всего тем, что они служили «расширенному порядку человеческого сотрудничества», который чаще и надежнее достигается на иных путях, приводящих, в конце концов, и к созданию «тонкой» структуры цивилизации. Нужда в подобном сотрудничестве такова, что оно органичнее всего рождается там и тогда, где и когда участники ситуации думают не столько о самом сотрудничестве, сколько о его результатах, и «расширенный порядок человеческого сотрудничества» возникает в известной мере произвольно, как побочный продукт сознательной деятельности, преследующей «иную» — «главную» цель. И пока это происходит именно так, расширение «антропного», личностного, духовно-нравственного компонента можно считать обеспеченным. «Возникновение нашей цивилизации, — пишет Хайек, — и сохранение ее в дальнейшем зависят от феномена, который можно точнее всего определить как „расширенный порядок человеческого сотрудничества“ [...] Для понимания нашей цивилизации необходимо уяснить, что этот расширенный порядок сложился не в результате воплощения сознательного замысла или намерения человека, а спонтанно: он возник из непреднамеренного следования определенным и, главным образом, *моральным* практикам (practices). [...] Тем не менее, эти обычаи быстро распространились благодаря действию эволюционного отбора, обеспечивающего, как оказалось, опережающий рост численности и богатства именно тех групп, которые следовали им. Неохотное, вынужденное, даже болезненное привитие таких практик удерживало подобные группы вместе, облегчало им доступ ко всякого рода ценной информации и позволяло „плодиться и размножаться, и наполнять землю, и обладать ею“ (Бытие, I:28). Данный вопрос остается, по-видимому, наименее понятой и оцененной гранью человеческой эволюции».

Именно эти «моральные практики», формируемые отчасти и подобными встречами «своего» и «чужого» и в свою очередь подготавливающие новые встречи на еще большей глубине, побуждают людей, чей сознательный замысел направлен на

«главную» цель, на «дело», отвлечься, хотя бы на минуту, от суеты *дня сего* и его злобы, остановиться и взглянуть, как бы между дел, непроизвольно, и на «неглавное», на первый взгляд пустячное и, по всей видимости, не относящееся к делу, но тем не менее удовлетворяющее некую, до поры неясную, потребность души. И в этом «неглавном» и нежданном-негаданном вдруг начинают возникать — *другой* человек, «чужой», незнакомый город, ранее не замечаемый пейзаж, та красота *этого* Божьего мира, которая, будучи увидена, почувствована и пережита, делает человека иным, *новым*, преображенным, и он начинает понимать, что́ значит — *И увидел Бог, что это хорошо*, и чувствовать себя в пространстве божественного слова-дела — *Да будет!* Если заранее планируемые как нечто «главное» и единственно необходимое, как «идеологически» оформляемое «встречи» нередко оказываются сомнительными и часто обречены на неудачу («встреча для разрыва, разъединения»), то встречи непредвиденные, спонтанные и случайные, когда интуиция вступает в дело и оказывается лучшим путеводителем, чем разум, встречи, возникающие как бы на пересечении каких-то совсем иных планов и дел и не «возмущаемые» порядком рефлексии, обрушивающиеся на человека разом, неожиданно, дают если не понять, то почувствовать радость общения, его благодатное действие. Каждая такая встреча как раз и образует конкретный и «естественно-сверхъестественный» акт «расширения порядка человеческого сотрудничества», и чем дальше и разъединеннее в физическом пространстве и в пространстве культуры и духа эти участники встречи, чем более розны и разны они, — тем (если они все-таки прорвутся друг к другу, встретятся «физически» и откроют свою близость — или хотя бы возможность для сближения — в духе: *ты* как *Я* и *Я* как ты) ценнее плоды такой встречи.

Настоящий текст для своего полного понимания требовал бы двух набросков — о ранней встрече «русского» элемента с «итальянским» и о такой же встрече «итальянского» с «русским». По соображениям экономии места здесь представлена лишь одна из заметок, связанная с историей Антония Римлянина*; другая — «Первая русская встреча с Италией (тексты флорентийского цикла)» — будет опубликована позже. В обеих заметках

* Более подробный вариант этой заметки см. в другом месте.

акцент ставится, во-первых, на непреднамеренности и незапланированности того, что неожиданно оказалось как раз наиболее глубоким в этих встречах; во-вторых, на указанный выше эффект воспроизводства «расширенного порядка человеческого сотрудничества»; в-третьих, на преимущественной ценности таких благодатных встреч и на их роли в культуре и прежде всего в оплотнении ткани человеческого существования. Нет нужды говорить, что этими аспектами не исчерпывается все то ценное, что могут дать источники, свидетельствующие об этих двух встречах.

I. «Итальянец» в Новгороде XII века — Антоний Римлянин в «Житии»

Исходная установка состоит в том, что, поскольку «Житие» Антония Римлянина по сути дела единственный и, следовательно, основной текст, относящийся к описываемым событиям, реальность этого текста самодовлеюща, более того, она «сильнее» неясной вполне и гадательной реальности, за этим текстом стоящей. Чтобы ее восстановить, отделив зерна от плевелов, необходимо, во всяком случае на первом этапе, довериться тексту, усвоив именно его смыслы и замыслы. Несколько напоминаний. Житие Антония Римлянина, известное под заглавием «Сказание о житии преподобного и богоносного отца нашего Антония Римлянина и о прихождении от града Рима в Великий Новгород», было составлено, как сейчас предполагают, в 70—80-е гг. XVI в. в Новгороде, но нельзя исключать и другие мнения, несколько изменяющие датировку (от рубежа XV—XVI вв. до самого конца XVI в.). При формировании «окончательного» варианта «Сказания» учитывались и в том или ином виде включались в него подлинные фрагменты более раннего времени, прежде всего XII в. (ср. духовную грамоту Антония и приписываемую ему, но, видимо, более позднюю купчую). Соответственно разным временны́м пластам «Сказания» понятие его автора приобретает некоторую относительность (в тексте в качестве человека, записавшего со слов Антония перед смертью все сказанное из его биографии, выступает его ученик Андрей; однако в «Сказании» присутствует и собственно «андреевский» слой, т. е. то, что не могло быть написано или рассказано Анто-

нием; наконец, в составлении «канонического» варианта «Жития» правдоподобно выступал и не раз упоминаемый в тексте архиепископ Новгородский Нифонт, распорядившийся о составлении жития). В рукописях XVI—XVIII вв. сохранился целый ряд вариантов «Сказания», однако, весьма близких между собой. Несмотря на то, что о «Сказании» писали Буслаев, Ключевский, Голубинский, Тихомиров и др., оно остается не вполне оцененным памятником и нуждается в дальнейшей текстологической работе и, несомненно, более углубленной интерпретации.

Содержание «Сказания» состоит в том, как некий праведник, уроженец Рима, христианин, спасаясь от гонения «богомерзких еретик», чудесным образом попал в Новгород, постепенно устанавливал отношения с новгородцами — от простого люда до высших иерархов церкви, как он праведно жил в трудах и молитвах, как заложил каменную церковь Пресвятой Богородицы, расширял монастырь, каким он был человеком, наконец, как он скончался и был погребен. Цель «Сказания» — свидетельство о местночтимом праведнике, не только не отделимом от *места сего*, но и ставшем его добрым гением, и прославление Антония в связи с назревавшей его канонизацией (при более внимательном чтении можно заметить, что тема *места сего* имела и еще одно назначение — доказать право на это место именно Антониева монастыря в случае споров при выяснении владельческих прав).

Сознательный и целенаправленный пласт «Сказания» образует его «анти-римскость», особенно отчетливо выступающая в начале текста, уже в первой фразе суммирующем суть дела (*Сей преподобный и богоносный отецъ нашъ Антоний родися во градѣ Римѣ, иже от западныя части и от италийския земля, от латынска языка, от християну родителю, навыче вѣре християнстей, ея же державта родителя его в тайнѣ, крыющеся в домѣхъ своихъ, понеже Римъ отпаде вѣры християньския и преложишася в латыни, конечно отпаде, от папы Формоса даже и до днесь),* и в самом конце «Сказания», где на римлян, *еже отступиша от православныя греческия вѣры и преложишася въ латыньскую вѣру*, призывается проклятие. Антоний рано научился грамоте, изучил все писания на греческом языке, прилежно читал книги Ветхого и Нового заветов и предание святых отцов семи соборов. По своему религиозно-психологическому типу Антоний не мученик-исповедник, но труженик и молитвенник. Однако в условиях «богомерзкой ереси» и жестоких гонений ему

не находится места в родном Риме, и он, раздав имущество нищим, а кое-что из ценного ему спрятав в бочку и предав ее морским волнам, удаляется в пустыню, где встречает живущих там и спасающихся от гонений христиан, постригается во иноческий образ и двадцать лет проводит тут, пока не были воздвигнуты новые, еще более жестокие гонения и в пустыне не появились преследователи. Антоний бежал, укрывшись *при мори не въ проходных мѣстех, толико на камени нощи и дни беспрестани стоя, и моляся Богу.* Едва ли ему удалось бы скрываться здесь долго: гибель подступала к нему все ближе. Но произошло чудо: однажды *восташа вѣтри велицѣ злѣ и море восколебася, яко же николи же быша, тако и волнам морскимъ до камени восходящимъ.* Одна из волн подхватила камень и легко понесла его по морю со стоящим на нем и молящимся Антонием, в сердце своем всегда имевшим образ Пречистой, а сейчас и зрящим ее *оумными глазами из облака.* Камень плыл по волнам (сам подробно описанный маршрут — *от римскиия страны по теплому морю, из него же и в рѣку Неву, из Невы в Нево езеро, и из Нева же езера в верхъ по рѣцѣ Волхову противо быстринъ неизреченных* [т. е. так же — почти дословно, — как совершал свое чудесное плавание на плоту вверх по Волхову изгоняемый новгородцами Иоанн из повести о его путешествии на бесе в Иерусалим. Когда, согласно старинному новгородскому книжному преданию о Волхе-чародее, бесы утопили его в Волхове, тело его плыло тоже вверх по течению] *да иже и до мѣста сего камень не приста нѣгдѣже* — весьма интересен и в свете сходных же отчасти маршрутов, восстанавливаемых по польским, прусским, литовским раннеисторическим легендам и в сравнении с противоположным ему маршрутом, *по быстринам*, описанным в летописи как путь из «варяг в греки», а из греков — в Рим). Злое «римское» оставалось все дальше и дальше позади, но что ждало Антония впереди и где это «впереди» находится, он, конечно, не мог ни знать, ни догадываться.

Наконец, после чудесного путешествия по морю камень остановился ночью у берега Волхова. Пока камень несся по морю, удаляясь от италийских берегов, от Рима, главным было положительное — отступление опасности, и забрезжившее спасение от «римского» было сильнее страха, связанного со столь рискованным путешествием. Теперь же, когда это спасительное плавание кончилось и камень остановился у берега, ситуация Антония стала еще более неопределенной, так как предстоящее было

как в тумане, в котором могли таиться всякие, в том числе и опасные для жизни, неожиданности.

Если архиепископ Нифонт (с большой долей уверенности можно предполагать, что его позиция была именно такой) полагал, что главное в «Сказании» — идеологическая программа и обоснование первенства Новгорода в отношении некоторых важных прав с помощью исторических свидетельств, а Антоний только «помогает» реализовать эту программу, то он ошибался. Как бы ни старались эту заранее выработанную программу сознательно, целенаправленно, настойчиво ввести в «Сказание», главным в нем все-таки остается сама история Антония вне каких-либо идеологически-полемических заданий и тем более о н с а м. Надо думать, что и в жизни, если верить тексту, главным был тот тип святости, который был явлен Антонием в его религиозном служении, и реконструируемая его духовная конструкция. Конечно, он не был борцом с «латинянами» и страстным полемистом, но скорее жертвой гонений, молитвенником и тружеником, противником насилия, человеком мягким, т е р п и м ы м и т е р п я щ и м (слово *терпѣти* в тексте диагностически отмечено). Но надо помнить и еще об одном герое, благодаря которому подвиг Антония стал известен — о с о с т а в и т е л е «Сказания» и/или о тех людях, в чьей молве — по неведению или в порядке следования «моральным практикам» — преподобный отец XII в., новгородец, русский превратился в коренного римлянина, оброс римской биографией, а потом чудесным образом попал на Русь, в Новгород, как бы восстановив реальную картину, засвидетельствованную современными Антонию источниками. Эти два хода («русский-новгородец» → «итальянец-римлянин» & «итальянец-римлянин» → на Руси, в Новгороде), чем бы они ни были вызваны, надо отнести к числу блестящих находок в пространстве вымысла или к тому провиденциальному запамятованию-забвению, которое совершается ради восстановления высшей сверх-эмпирической правды, ради п а м я т и о б у д у щ е м, точнее, о том, что имеет стать, потому что оно отвечает божественному изволению, как его только может понять человек.

Вот это *другое* главное, — естественно возникающее из внутренних потребностей, не зависимых от цензуры догматизирующего сознания и «планотворчества», спонтанное и все-таки не исключающее чуда, потому что и оно спонтанно, непреднамеренно, вне планов человека и его контроля, — рисуется в

«Сказании» следующим образом. Когда *начаша во градѣ звонити к заоутреннему пѣнию*, Антонию казалось, что худшее — наиболее вероятное из того, что его ожидает: *И оуслыша преподобный звонъ великий по граду и стояше во страсѣ мнозѣ и в недоумѣнии, и от страха же начатъ быти в размышлении и во оужасѣ велицемъ.* И страх этот был вполне конкретен — *чаяше яко ко граду к Риму принесен бысть на камени.* Сейчас встреча с Римом была бы для Антония сущим кошмаром. Но на самом деле раннеутренний звон в высоком провиденциальном плане значил иное — он возвещал не опасность и даже не уже состоявшееся спасение-бегство, но предстоящее спасение-встречу, соединение: время *от* было при своей кончине, время *к* и *с*, приближения и совместимости при пороге, с которого преподобный уже мог видеть в солнечном свете стекающийся народ, с удивлением, но мирно смотревший на него. Первыми к Антонию пришли люди, и инициатива встречи принадлежала им; сам же он в этом эпизоде первой встречи был лицом страдательным: пришли *к* нему, и этот приход — в контексте напрашивающегося диалога — должен был откликнуться *его* приходом к людям. К этому он и начал готовить себя сразу же после первого шага людей к нему — их вопроса *об имени и отчествѣ, и от коея страны прийде.* Родина, отец и обозначение той таинственной сущности, которая онтологически предшествует тому, что ею обозначается, — вот, что надо знать, чтобы путь к подлинной встрече был открыт. Но в этом случае вопрос не был воспринят, и он сразу же повисает в воздухе — *преподобному же нимало руску языку оумѣющу, и никоторого ответа недооумѣяше имъ отдати.* Угроза обрыва первого контакта, когда «физическая» встреча уже состоялась и стороны увидели друг друга и взаимно удивились, была очень велика, но все-таки первый контакт не был напрасен: он был не отменен, а лишь отложен. Видя вокруг себя много неизвестных ему людей, слыша их и, вероятно, понимая, что они спрашивают его о чем-то для них важном, Антоний предлагает им единственное, что он сейчас может сделать — дает им некий знак своего благорасположения, отчасти заменяющий ответы на заданные людьми вопросы: Антоний... *токмо имъ поклонение творяше.* Люди, видимо, поняв этот жест, приняли его к сведению и разошлись. Антоний же три дня и три ночи стоял на камне и молился Богу. Он сознавал, что виноват в своей безответности он, а не люди, и, не надеясь на себя и на людей, казалось, непоправимо разделенных языком, на четвертый день, помо-

лившись Богу *о оувидѣнии града и о людѣхъ, и дабы ему Богъ такова... бы повѣдалъ о градѣ семъ и о людехъ*, сам отправился в город — к людям. Теперь инициатива принадлежала уже Антонию, но осуществлена она могла быть только Божьим изволением; только Божья помощь могла принести успех в этой ситуации, и она пришла неожиданно легко, как бы случайно. Это была не помощь вообще, и, рядясь в одежды случайности, она не открывала своего источника, хотя Антоний едва ли не догадывался, от кого она исходит.

И здесь желательно некоторое разъяснение. До сих пор Антоний для увидевших его людей и не получивших от него ответа на свои вопросы, но понявших, что он не «наш» (*нем* ли, потому что вообще лишен дара речи, или *нем*, потому что *немец*, человек, нашего языка не знающий), но расположен к благу, был просто ч е л о в е к — без каких-либо определений, которые эти люди считали наиболее важными и необходимыми. Так же и люди, собравшиеся вокруг Антония, были для него просто людьми и тоже без нужных ему, особенно сейчас, определений. И для него и для них более или менее ясно было одно — их общая неудача крылась в том, что их разъединял я з ы к: друг для друга в пространстве языка они были инакие, д р у г и е. Но сложности этой инакости для Антония и для людей были разные. Эти «другие» люди, которые между собою были одинаковоязычны и составляли единое целое, р е а л ь н о не могли, придя к другому им Антонию, стать цельно-едиными с ним (слишком большое не могло войти в слишком малое, раствориться в нем и стать им), а он мог это сделать, но для этого ему нужна была помощь в установлении я з ы к о в о г о контакта с людьми города. Антоний понял эту свою возможность и решил сам пойти им навстречу с тем, чтобы преодолеть проклятие этой языковой разъединенности: отныне язык как разъединяющая сила должен был стать силой соединяющей, и от успеха этого дела зависело, включится ли Антоний в их языковое цельно-единство или нет. Что это означало конкретно и на первом шагу? Лишь одно — обнаружение с в о е й языковой идентификации. Далее варианты ветвились, если Антоний знал другие языки, кроме своего «римского», и имел хоть какую-то возможность идентифицировать их язык, язык *места сего*, или воспринять идентификацию их языка ими самими.

Антонию повезло, хотя само это везенье не было чем-то из ряду вон выходящим и не осознавалось как несомненное чудо. Антоний

сниде с камени, и поиде въ градъ (*сниде, поиде* — знаки большой важности, некоей решительной перемены в преподобном; до сих пор хождение Антония было только *у-ходом* от зла, опасности, преследований, сам же он держится за свой камень и упорно отказывается переменить это место на нечто лучшее), и это идение теперь имело свою ясную цель, и она сразу же осуществилась. Едва войдя в город, Антоний *обрѣте человѣка греческия земли.* Это был купец, который, к счастью, *оумѣяше римъскимъ и греческимъ и русскимъ языкомъ* и, к счастью же, был активен и любопытен и *вопроси* [Антония] *о имени и о вѣрѣ.* Из трех возможных в этом случае связей — на «римском», греческом и русском — две были установлены, что открывало путь и к установлению связи в русском языке. Эта счастливая встреча, не столько даже «физическая», сколько «языковая», в языке, дала Антонию возможность решить (хотя бы в первом, «прикидочном» варианте) две задачи — самоидентификации (*...повѣдаше имя свое, християна себе нарече...*), которую он не смог выполнить при встрече с жителями города, и получения сведений о месте сем, где он сейчас находился. Но в промежутке между тем и другим произошла человеческая встреча, установилась связь в духе — купец упал к ногам преподобного и просил благословения; тот дал ему целование. Общая вера открыла путь к еще более глубокой и уже отчасти личной встрече. Завязался диалог, делающий встречу равноправно взаимной. Антония интересует все *о градѣ семъ, и о людехъ, и о вѣрѣ, и о святых Божиихъ церквахъ*, и купец рассказывает ему *вся по ряду.* Все эти сведения были восприняты Антонием, но одно все-таки беспокоило его, и он решился спросить об этом: *мнѣ повѣждь, друже, коликое растояние от града Рима до града сего, и в колико время преходять людие путь сей?* Два «интереса» угадываются за этим вопросом — степень безопасности, надежности укрытия от Рима *в градѣ семъ* и, вероятно, желание узнать, где же все-таки находится *сей градъ*, о котором Антоний у себя в Италии, конечно, даже не слышал, хотя этот город, по недавнему опыту самого Антония, находился всего в двух сутках пути от Рима. Когда же купец сказал, что хорошо, если до Рима можно доехать в полгода, он получил окончательное доказательство того, о чем он уже не мог не догадываться, но чему из скромности не позволял себе поверить, — это было чудо, и оно было Божьим изволением.

Теперь у Антония появилась уверенность в том, что «римская» опасность для него потеряла силу, что Божья помощь с

ним, что он попал в благодатное место, где процветает христианство, и, наконец, что выход из положения найден. Оставалось главное препятствие — незнание языка, но проводник к нему уже был найден. Что делать сейчас же, Антонию стало ясно: он пошел в храм Софии Премудрости Божией и молился там, после этого направился к святителю Никите, о котором услышал от купца. Настроение Антония было близко к эйфорическому, но — язык, язык! — и со смирением Антоний отказывается от встречи со святителем. И снова он возлагает свои упования на Бога, и, вернувшись к себе, он горячо молится, *дабы ему Богъ открыл руский языкъ.* И Бог услышал и вновь, откликнувшись на призыв, пришел на помощь Антонию, опять же скрыв свое участие. Новое чудо было оформлено как нечто естественное, обычное, бытовое, и совершалось все так, как если бы не Антонию нужны были люди, а людям — он, Антоний (кажется, не замечают, что, хотя Антоний и *чюдотворецъ*, он, строго говоря, чудес не совершает, но чудеса совершаются *о нем*, как бы вызываются им невольно). И действительно: сразу же *начаша приходити к нему иже ту живуще близъ людие и гражане, молитвъ ради и благословениа, и Божиимъ промысломъ преподобный вскорѣ от нихъ начать разумѣти и глаголати рускимъ языкомъ.* Но даже и теперь на вопросы людей о себе Антоний отвечал одно — что он грешен (*себе грѣшна именуя*). Конечно, можно думать, что Антоний опасался для себя осложнений в «антиримском» Новгороде, если люди узнают о его римском прошлом. Но едва ли это было главным. Скорее Антоний исходил из двух соображений: главным в себе он, в самом деле, считал свою грешность (это было для него его именем), и о ней он заявлял открыто, но кроме того в своем спасении он видел чудесное вмешательство Божьей воли, и по скромности и смиренномудрию, по сознанию собственной недостойности, он считал невозможным для себя открывать эту его тайну (позже ему все-таки пришлось дважды раскрыть эту тайну — святителю Никите под угрозой прещения, которого он умолял никому больше не раскрывать ее до своей смерти, и своему ученику и преемнику Андрею — уже перед самой своей смертью).

Овладение русским языком стало первым реальным шагом к сближению «римлянина» с русской жизнью, подготавливающему вхождение в нее, или, точнее, необходимым условием для этого. В этом отношении язык был средством к достижению цели, а не самой целью. «Чудесность» своего попадания в Новгород Анто-

ний понимал как знак своей предназначенности, и в Новгороде главным для него было сознание, что это именно то благодатное место, где процветает христианство и присутствует та особая атмосфера, которая способствует жизни во Христе и исполнению своего предназначения. Подвиг на этой ниве был для Антония главным делом его жизни. Желание и долг были здесь заодно. Если купец («гречанин-готфин») был чудесным помощником Антония в установлении связи с русским языком, то святитель Никита стал таким помощником во введении преподобного в ту сферу, где он наиболее полно смог осуществить свое предназначение. Как только Антоний овладел русским языком, святитель Никита, обладавший провидческим даром, призывает его к себе. Религиозный дар Антония и тип его святости сразу открылся ему, и святитель *провидѣвъ Духомъ Святымъ еже о преподобнемъ, и начать вопрошати его*. Почувствовав присутствие тайны, святитель спрашивал именно о ней, а так как Антоний не хотел *повѣдати таины, ради человѣческия славы*, Никита упорно добивался открытия тайны (*с великим прещениемъ, еще же и со заклинаниемъ*), и делал это не ради суетного любопытства: кажется, он прозревал, что открытие тайны нужно и самому Антонию, которого оно освободило бы от своего рода гнета незавершенной самоидентификации, ввело бы в жизнь христианской общины Новгорода и открыло бы перед ним широкое пространство религиозного служения, в котором можно было бы до конца осуществить свое высокое назначение. Слушая рассказ Антония, Никита *не мняше его яко человѣка, но яко ангела Божия*, и тогда же в чуде перенесения Антония в Новгород он признал повторение чуда Ильи Фезвитянина или апостолов, *иже на оуспение Пречистеи Богородици принесени быша на облацехъ*. Но не полагаясь только на себя, он обходил поодиночке селян и спрашивал их о явлении Антония на этом месте. Их мнение было единодушным — *во истинну, святче Божий, человѣкъ сий Божий по водомъ принесенъ бысть на камени. Изволил Богъ и Пречистая Богородица*, — сказал он тогда преподобному, — *и избра мѣсто сие, хощетъ да воздвигнется твоимъ преподобством храмъ Пречистеи Богородици*. Так, благодаря инициативе Никиты воедино сошлись на новгородской земле Пречистая Богородица, Антоний и *место сие*. Но и практическое воплощение этой инициативы принадлежит святителю: он обращается к Иоанну и Прокофию, посадским людям, рассказывает им о Божьем изволении относительно места сего, и они *отмѣриша под церковь и подъ мо-*

настырь земли на всѣ страны по пятидесяти саженъ. Никита повелел *възградити церквицу малу древяну.* На этой стадии Антоний как бы несколько оттеснен в сторону. Тем не менее роль его несомненна, хотя проявляется она в ином плане: его чудесное видение Пречистой и его личная святость — то семя, которому предстоит принести уже всеми зримые плоды на почве жестких реальностей.

Впрочем, в том, как все осуществилось реально, роль Антония действительно велика. Об этом можно судить по лучшему в «Сказании» описанию эпизода из новгородской жизни, в котором снова напоминает о себе «римская» тема. Погруженный в заботы о благополучии дома Пречистой Богородицы, Антоний идет к рыболовам и, предлагая им *гривну слитокъ сребра*, просит их забросить сети в Волхов и то, что они выловят, отдать в дом Пречистой. Рыболовы, до этого безуспешно трудившиеся всю ночь, с трудом соглашаются. Результат был сверх всяких ожиданий: выловлено было *множество много великихъ рыбъ.* Это было «малое» чудо. Но было и второе — «большое»: рыболовы извлекли также бочку; Антоний предлагает им всю рыбу, а себе хочет взять бочку, *понеже вручи Богъ на создание монастыря.* Но рыболовы настаивают на противоположном, *жестокими словесы досаждающе оукоряюще преподобнаго.* Отказываясь от спора-ссоры, Антоний предлагает обратиться в суд. Рыболовы согласились. Началось судебное стязание. Рыболовы пошли на ложь, утверждая, что эта бочка их и поставлена ими в воду *на соблюдение себѣ.* Судья спрашивает, что находится в бочке. Рыболовы не могут ответить, а Антоний объясняет историю бочки, брошенной им в море еще в Риме, и рассказывает о ее содержимом (церковные ценности *от имения родителей моихъ*) и его назначении. Этот эпизод, интересный и сам по себе, в составе целого играет роль двойной мотивировки — преемства Новгородом «римского» наследия и появившейся теперь возможности воздвижения каменной церкви и строительства обители (ср. важную «каменную» тему «Сказания»: спасительный камень, доставивший Антония к Новгороду и ставший там его временным домом — каменная церковь, ставшая его постоянным домом). Далее начинается новый период в жизни Антония: *...все строяше из бочки сея, еже из Рима* [...] *и поты и труды своими.* Труженичество уже не только как молитва и праведная жизнь, но и как строительство, хозяйственно-экономическая деятельность, заботы о братии и собирание ее, также и любовь, движущая всем, становятся от-

ныне смыслом трудов Антония (*и начать тружатися безпрестани чрезъ весь день, и труды къ трудом прилагая*). На смену замкнутому и «страдательному» иноку приходит деятельный, расчетливый, ясно видящий перспективу руководитель, с которым рядом до самой своей смерти был и Никита (это он, *размѣривъ мѣсто церковное* [...] *начать потшву церковную своима честныма рукама копати*). Последний (самый продолжительный) период жизни Антония освещен слабее. Но, собственно, все уже сказано: монастырь заложен, построен и процветает, братия возрастает и проводит жизнь в трудах праведных и молитвах, гонимый «римский» инок давно уже стал «новгородским» игуменом. Остается сказать о последних днях преподобного, его наставлениях братии, об открытии тайны своему ученику Андрею и, наконец, о погребении Антония. Всем этим и завершается «Сказание».

Верил ли составитель «Жития», что его герой действительно был римлянином или просто он почувствовал, что считать Антония таковым в духе времени, что выдумка — не грех и что цель оправдывает средства, — остается до конца неясным. Впрочем, в широкой перспективе это не столь уж и важно. Во всяком случае «вина» составителя не так уж велика. Если он верил в римское происхождение Антония, значит, это мнение уже прочно укоренилось в м о л в е, стало ее достоянием, а *vox populi* — *vox Dei* и молву не судят, и не только потому, что она «народная» и/или «Божья», но и потому, что сама молва — всегда на грани истинного и неистинного, подлинного и неподлинного, бывшего и небывшего, что этой неопределенностью она и живет, более того, — что это условие ее существования. Если же идея сделать Антония римлянином возникла сознательно, в угоду некоей концепции, настроению, моде, то житие — малоподходящее место, чтобы в нем впервые представлять столь неожиданно-смелую выдумку (само житие, как правило, не первично и предполагает уже имеющееся предварительное м н е н и е, в какой бы форме оно ни выражалось). В любом случае «виновный» в соединении Антония с «римским» должен был жить до составления «Жития» Антония (а в XVI в. Антоний уже как Римлянин был хорошо известен в Новгороде и отчасти за его пределами, что подтверждается и независимыми источниками; кстати, иконы Антония Римлянина [с XVI в.], воспроизводящие наиболее диагностически важные мотивы «Сказания», в принципе вполне могут опираться и на более ранние источники, общие и им, и «Сказанию» [кстати, можно предполагать и эстетическую ода-

ренность Антония — как в мистическом плане — созерцание *оумными очима* Богородицы как своего рода «умное» рисование, так и во вполне практическом — при украшении церкви: *...и подписа чюдно и всякимъ оукрашением оукрасив ея..., яко же подобаше церкви Божии*]). При обсуждении этих вопросов нужно помнить: никакое «историческое» описание не обладает свойством сплошности, во-первых, и, во-вторых, не может быть полностью свободным от «субъективности», связанной с временны́м разрывом между временем события и временем описателя, с точкой зрения описателя и ситуацией его времени. «Не-сплошность» и «субъективность» изгнать из исторического описания нельзя, и они должны учитываться, но не как неизбежное зло, а как conditio sine qua non описания, претендующего на подлинную историчность. Следовательно, у описателя-«историка» всегда остается свобода домысла на разных уровнях текста, и важно и желательно только отдавать себе отчет в том, что мера этой свободы должна быть известна самому описателю, и что мера в разные эпохи и в разных традициях — разная. Автор XVI века или еще более раннего времени, соединивший Антония XII в. с «римской» темой, едва ли был бо́льшим «фантазером» (с поправкой на жанр жития, в котором «историческое» — лишь соприсутствующее начало), чем многие признанные авторитеты среди историков позднего времени (ср. — и вовсе не в укор ему — Карамзина, который был «исторически» точнее следовавших за ним во времени Соловьева и Ключевского).

Разумеется, маловероятно (хотя все-таки полностью не исключено), что Антоний был итальянцем. Однако аргумент, согласно которому определение *Римлянин* появляется в связи с Антонием лишь в XVI в., не имеет силы абсолютного доказательства и, более того, вообще сомнителен: молва, устная традиция могла знать Антония как Римлянина намного раньше, и именно «народность» и «устность» могли долгое время препятствовать появлению Антония Римлянина в письменных текстах. Не исключено предположение, согласно которому Антоний мог называться Римлянином на том основании, что он, русский человек, новгородский купец, ездил или плавал в Италию, может быть, даже побывал в Риме (событие для того времени исключительное, но не подлежащее полному исключению), или же в другую страну «римской» («латинской») веры. Вернувшись к себе домой, он вполне мог быть назван Римлянином на том же

основании, на каком многие вернувшиеся после Первой мировой войны из немецкого плена именовались, иногда не без иронии, по модели *Васька-немец* и под.; в других случаях такое же определение нередко «прилипало» к имени человека, неумеренно увлекающегося чем-то иностранным, ср. в XVIII в. модель «имя собственное [русское] & француз» или (отчасти) лицейское прозвище Пушкина.

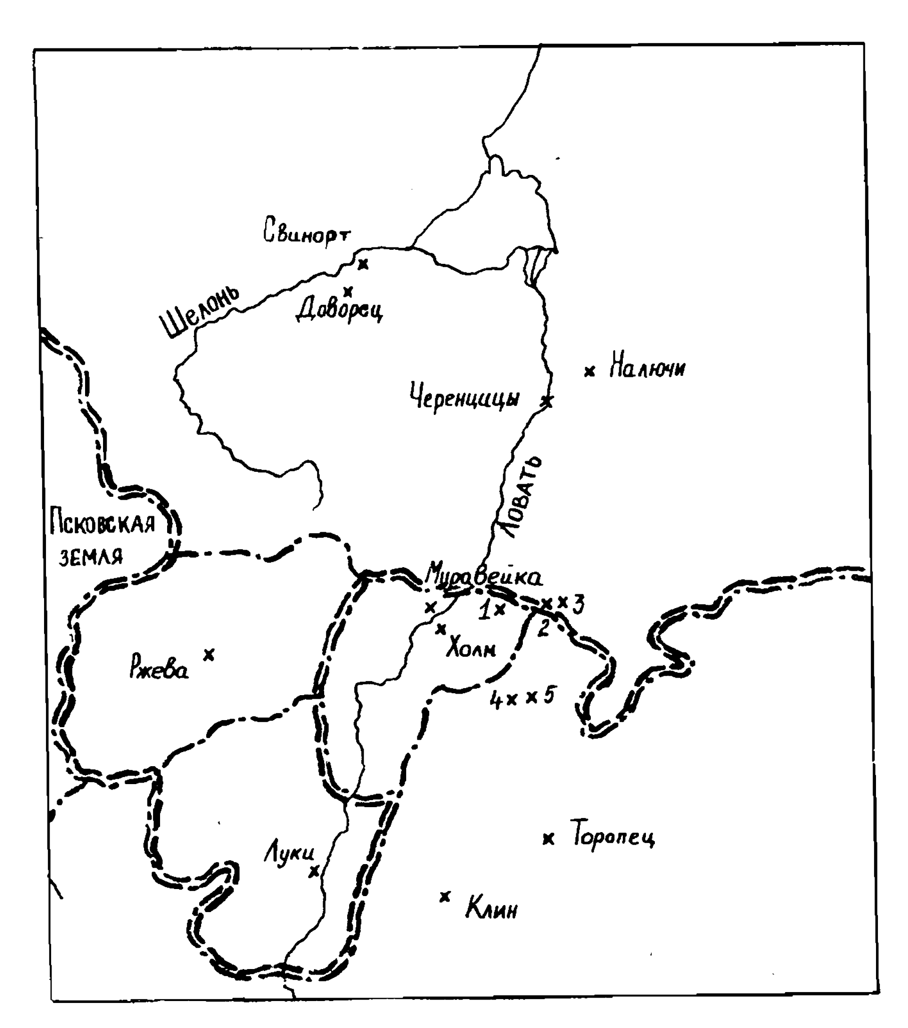
Как бы то ни было, но сама фантомность Антония как Римлянина в известной мере относительна. И дело здесь не только в текстовой «реальности» этого персонажа, а именно в том, что реальные русско-итальянские встречи могли кодироваться на персонажном уровне (как в «Сказании») не менее реальным знаком — *Антоний Римлянин*. Нельзя не оценить доброй воли составителя «Жития», который сделал эту встречу благой и показал, что́ нужно делать, чтобы она таковой стала.

В. Л. Янин

К проблеме локализации Клина новгородско-смоленского порубежья

В Новгородской 1 летописи трижды в связи с военными действиями упомянут Клин. Впервые — под 6639 (1131/32) г.: «Томь же лете, на зиму, иде Всеволод на Чюдь; и створися пакость велика: много добрых мужь избиша в Клине новъгородьць, месяця генъваря в 23, в субботу» (указанное в тексте дневное число соответствует 23 января 1132 г.)[1]. Второй раз — под 6708 (1200/01) г.: «Литва взяша Ловоть и до Налюча, с Белеи и до Свинорта и до Ворча середу (в Акад. сп. — „в середу"); и нагнашеся новгородци по них и до Чернян, и бишася с ними и убиша у них (в Синод. сп. вместо „у них" — „Литвы") мужь в Клине (с Синод. сп. слов „в Клине" нет) 80, а новгородець 15 (далее следует перечисление погибших новгородцев. — *В. Я.*)»[2]. Наконец, под 6742 (1234/35) г. изложен следующий рассказ: «Томь же лете изгониша Литва Русь (т. е. Русу. — *В. Я.*) оли до търгу, и сташа рушане, и засада: огнищане и гридьба, и кто купьць и гости; и выгнаша я ис посада опять, бьющеся на поли; и ту убиша неколико Литвы, а рушан 4 мужа: попа Петрилу, 2 Павла Обрадиця, а ина два мужа; а манастырь святого Спа҃са всь пограбиша, и церковь полупиша всю, и иконы и престол, и цьренци 4 убиша, и отступиша на Клин. Тъгда же весть приде в Новъгород к князю Ярославу; князь же с новгородьци, въседавъше в насады, а инии на коних, поидоша по них по Ловоти; и яко быша у Моравина, и всъпятишася лодьиници оттоле в город, и князь я отпусти: недостало бо у них бяше хлеба; а сам поиде с коньникы по них. И постиже я на Дубровне, на селище в Торопьчьскои волости, и ту ся би с безбожными оканьную Литвою; и ту пособи бог и крест честьный и святая София, и отъяша у них конь 300 и с товаром их, а сами побегоша на лес,

пометавъше оружия, и щиты, и сови и все от себе (в Акад. сп. вместо „и сови и все от себе“ — „сулици и весь пристрои“); а инии ту костью падоша. А новгородьць ту убиша 10 мужъ (далее следует перечисление погибших новгородцев. — *В. Я.*)» [3].



1. Княжий Клин; 2. Передние Клины; 3. Задние Клины; 4. Малый Клин; 5. Большой Клин

Если свидетельства 6708 и 6742 гг. вполне определенно указывают на то, что упомянутый в них Клин находился в районе Ловати [4], то сообщение 6639 г. способно породить закономерные

сомнения: р. Ловать лежит вдали от любых мыслимых маршрутов движения на Чудские земли, идет ли речь о Прибалтике или о Заволочье. Поэтому естественным казалось бы предположение, что под 6639 г. назван иной Клин, нежели в двух остальных случаях. Это противоречие, правда, почему-то не смущало комментаторов, и все три упоминания Клина традиционно идентифицируются как относящиеся к одному пункту (к одной местности) [5]. Так оно в действительности и есть, однако идентификацию следует доказать, а это возможно сделать сопоставлением текстов Новгородской 1 и Ипатьевской летописей:

Ипатьевская летопись	Новгородская 1 летопись
В лето 6639. Посла Мьстислав сыны своя на Чюдь, Всеволода, Изяслава, Ростислава, и взяша и, и возъложиша на не дань...	В лето 6638. Иде Всеволод с новгородьци на Чюдь зиме, в говение, и самы исеце, а хоромы пожьже, а жены и дети приведе домовь...
В лето 6640. Ходи Мьстислав на Литву с сынъми своими и с Олговичи, и с Всеволодом Городеньским, и пожгоша я, а сами ся расхорониша, а Киан тогда много побиша Литва, не втягли бо бяху с князем, но последи идяху по нем особе...	В лето 6639. Томь же лете, на зиму, иде Всеволод на Чюдь; и створися пакость велика: много добрых мужъ избиша в Клине новъгородьць, месяця геньваря в 23, в суботу...
В лето 6641. Преставися благоверный князь Мьстислав, Володимерь сын... [6]	В лето 6640. Преставися Мъстислав Кыеве, Володомирить... [7]

В сопоставление текстов включено сообщение о смерти князя Мстислава Владимировича, которая случилась 14 апреля 1132 г., только для того, чтобы продемонстрировать использование в сравниваемых источниках разных систем летосчисления и тем самым синхронизировать тексты. Это сопоставление показывает, что в рассказе Новгородской 1 летописи за 6639 г. о неудачном походе Всеволода Мстиславича имеет место контаминация с рассказом о событиях предшествующего года, а в зиму с 1131 на 1132 г. был организован не повторный поход на Чудь, а поход на Литву, окончившийся плачевно и для киевлян, и для новгородцев. О походе в 1131 г. на Литву сообщают и независимые от Ипать-

евской летописи тексты Лаврентьевской и Новгородской 4 летописей [8].

Таким образом, все три случая упоминания Клина, действительно, имеют в виду одну и ту же местность (или один и тот же пункт). В истолковании интересующего нас топонима в наличной литературе, однако, нет единства. Если составители географических указателей к летописи не сомневаются в том, что это принадлежавшая Новгороду волость (см. примеч. 1), то, по-видимому, с легкой руки П. В. Голубовского, повелось идентифицировать Клин и с одноименным погостом Торопецкой земли, находящимся в 13 км к западу от оз. Жижицкого, достаточно далеко от ближайшего рубежа Новгородской земли [9]. Между тем необходимые для локализации Клина материалы содержатся в летописных рассказах 6708 и 6742 гг.

Правда, существующие топографические привязки перечисленных в рассказе 6708 г. пунктов весьма неопределенны. Из них лишь два топонима были несомненны уже для С. М. Соловьева: «Из этих мест с верностью можно определить Свинорт в Новгородском уезде при реке Шелони, а Налючи — в Демьянском уезде на реке Поле, пред слиянием ее с Ловатью» [10]. Эти локализации безусловно верны и закономерно усвоены комментаторами: 1. «Налюч (Налюц), с. в Новгородской земле, ныне Большая и Малая Корельская Налюча в Демянском у. Новгородской губ.» [11], «Налюч, сел. в Новгородской земле, на бер. р. Полы» [12]; 2. «Свинорт, сел. в Новгородской земле» [13], «Свинорт, сел. в Новгородской земле близ нижней Шелони» [14]. Налючи — центр одноименного погоста Деревской пятины [15] — находится на р. Поле в 28 км выше ее впадения в Ловать. Свинорт (на позднейших картах — Свинорд) — центр Свинорецкого погоста Шелонской пятины [16] — расположен не «близ нижней Шелони», а на правом (южном) берегу самой Шелони, в 30 км выше ее устья [17]. В настоящее время древний Свинорт с присущей нашей административной грации элегантностью переименован: он называется Невское.

Вопреки традиционной локализации Б. А. Рыбаков поместил Свинорт близ низовьев р. Полы, к юго-востоку от Ильменя [18]. Вероятной опорой такой локализации послужили следующие соображения. Расстояние между Налючами и Свинортом на Шелони достигает 90 км, что может казаться слишком масштабным для набега. Между тем всего в 10 км восточнее Налючей карта фиксирует селение Свинораи, название которого близко по звуча-

нию указанному в летописном рассказе. Очевидно, что такая версия заслуживает внимания и проверки.

Остальные пункты сообщения 6708 г. в указателях обозначаются так:

«Белая, уроч. в Новгородской обл., близ Ловати»[19], «Белая (?)»[20];

«Ворч (Ворц), волость Новгородская на Ловати»[21], «Ворч (?) в центре Новгородской земли»[22];

«Черняне (Цьрняне, Чръняне), в Новгородской земле»[23], «Черняны, Цьрняны, сел. в верховьях р. Ловати»[24].

Легко заметить, что приведенные определения не имеют никакого отношения к собственно локализациям. Они исходят только из летописного контекста, упоминающего Ловать. Какие-то поиски этих объектов на карте предпринял лишь Н. М. Карамзин, отождествивший «цьрнян» и «Черенки в Псковской губ.»[25]. Однако мне отыскать эти Черенки не удалось[26]. Может быть, исследователь имел в виду д. Чёренку, находящуюся ныне в Борковском с/с Великолукского р-на Псковской области?

В рассказе 6708 г. имеется еще одно место, возбуждавшее топографические версии истолкования, — слово «середу» в контексте «с Белее до Свинорта и до Ворча середу». Так этот контекст выглядит в Синод. и Комисс. списках Новгородской 1 летописи и в Новгородской 4 летописи[27]. В Акад. сп. Новгородской 1 летописи вместо «середу» написано «в середу»[28], в Новгородской 5 летописи вместо «середу» — «половину»[29], в списке Никольского Новгородской 4 летописи слово «середу» опущено[30].

Карамзин воспринимал это слово как топоним: «до Свинорта» (близ Шелони в Новгородск. губерн.) «и до Ворча Середу» (не нынешнюю ли Серетку на запад от Русы (?)...»[31]. Здесь имеется в виду дер. Середня в 47 км к западу от Старой Руссы, близ поселка Волот. Такое толкование надолго было канонизовано Я. И. Бередниковым: «По другим летописям несправедливо предполагать, что „середа" значит день, в который литовцы овладели волостями, лежащими по Ловати»[32]. С прописной буквы слово «Середу» воспроизведено П. И. Савваитовым в издании Синод. сп. Новгородской 1 летописи 1888 г.[33], где оно присутствует и в географическом указателе, а также Ф. И. Покровским во 2-м издании Новгородской 4 летописи[34], где, однако, в географический указатель не внесено. Лишь в новом издании Новгородской 1 летописи, предпринятом А. Н. Насоновым в 1950 г., карамзинская традиция нарушена и слово «середу» напечатано со строчной буквы. Судя по определению «Ворча» — «в центре Новгородской зем-

ли»[35], под «середой» издатель понимал не день недели, а наречие со значением «посреди» (ср.: «Корабль же бе среде моря» — в словаре Срезневского)[36].

Противоречия топографического комментария рассказа 6708 г. вызваны изначально неверным, восходящим еще к В. Н. Татищеву[37], прочтением одного из топонимов этого рассказа. В летописном тексте нет мифического, кабинетно рожденного «Ворча», а соответствующее место летописного сообщения читается не «до Ворча», а «Доворча»: «с Белее до Свинорта и Доворча середу». Свинорецкий и Доворецкий погосты Шелонской пятины соседствуют. Свинорт находится на Шелони при впадении в нее справа рч. Калошки, а центр Доворецкого погоста — село Доворец — расположен всего в 10 км южнее Свинорта, на рч. Иловенке, впадающей в Калошку почти у самого ее устья[38]. Соседство Доворца и Свинорта, как это очевидно, подтверждает и традиционную локализацию Свинорта на Шелони, отвергая альтернативную локализацию Б. А. Рыбакова.

Условия для столь же уверенной идентификации «Белой» и «Чернян» отсутствуют, поскольку топонимов, производных от «белого» и «черного», более чем достаточно. Однако некоторые соображения по этому поводу могут быть высказаны. Принципиальная схема военного маршрута литовцев ясна из уже осуществленных топографических привязок. Литовский отряд двигался с юга по Ловати до Налючей, являющихся северным пределом этого движения («Ловоть взяша Литва и до Налюча»). Затем, «с Белой» отряд поворачивает на северо-запад и достигает некоего пункта между («середу») Свинортом и Доворцом. Очевидно, что «Белую» следует искать в пространстве между Налючами и этим конечным пунктом нападения, но гораздо ближе к Налючам. В 30 км к западу от Налючей и в 15 км к западу же от Ловати протекает левый приток р. Порусьи — рч. Белая. Кстати, именно на этой широте наиболее целесообразным представляется маневр резкого поворота набега, поскольку севернее Налючей начинается обширное болотное пространство, заселенное лишь в долинах рек Порусьи, Редьи, Ловати и Полы и включающее земли как к востоку, так и к западу от Ловати[39].

Вполне вероятной представляется также идентификация «Чернян» или с центром Черньчицкого погоста на Ловати, расположенным в 15 км к юго-западу от Налючей, или же с дер. Чернина на р. Поле в 15 км выше (южнее) Налючей. Следует заметить, что на территории Черньчицкого погоста известно село Ходыни, с

которым, по-видимому, связывается сообщение еще об одной битве с литовцами — в 1210 г.: «Новгородьци угонивъше Литву в Ходыницих, избиша с князьмь Володимиромь и с посадникомь Твьрдиславомь»[40]. Из сообщения 6708 г. очевидно, что сражение в Клине произошло после того, как литовский отряд был настигнут новгородцами, гнавшимися за ним «до Чернян». Хотя бы по этой причине бессмысленно искать «Чернян» «в верховьях р. Ловати»[41], т. е. на удалении до 100 км от места описываемых событий.

В летописном сообщении 6742 г. военные действия начинаются вторжением литовцев в Русу и их отступлением «на Клин» после успеха рушан. Преследуя врагов, князь Ярослав Всеволодович идет «по Ловоти» до Моравина, где отпускает лодейщиков с их лодьями и продолжает погоню на конях. «Моравин» идентифицируется с селением Муравейка на Ловати, в 12 км выше г. Холма; Муравейка в конце XV в. была центром Муравьевского десятка Ратновского стана Холмовского погоста Деревской пятины[42]. Погоня за литовцами завершается «на Дубровне, на селищи в Торопьчьскои волости». Голубовский идентифицировал Дубровну с сельцом Дуброво на р. Кунье, что было усвоено также Насоновым[43].

Соглашаясь с возможностью такой локализации (если только «селище» не означает в цитированном тексте заброшенную деревню, т. е. не существовавшую уже в первой половине XIII в.), следует заметить, что нас не должно смущать то обстоятельство, что это сельцо находилось, по материалам конца XV в., отнюдь не в Торопецкой волости, а на территории Кунского стана Холмовского погоста, т. е. в Новгородской земле. Оно расположено между деревнями Зуево и Спас-Прилук, которые были, соответственно, центрами Зуевского и Прилуцкого десятков Кунского стана[44]. Дело в том, что вхождение Холмовского погоста в состав Новгородской земли состоялось, по-видимому, совсем незадолго до падения новгородской независимости. Впервые Холм как новгородская волость, платящая черную куну Литве, назван в докончании с королем Казимиром 1471 г.[45], тогда как в предшествующих ему договорах 1431 и 1441/42 гг. он в списке таких волостей не упоминается[46]. Согласно докончанию 1471 г., Холмовский погост делится на «перевары», что представляется совершенно исключительным для Новгорода, тогда как деление на «перевары» присуще административному устройству Торопецкой земли[47]. Древняя принадлежность Холма и его округи не Новгороду, а смоленскому Торопцу подтверждается и

фортификационной деятельностью князя Александра Ярославича, который в 1239 г. «с новгородци сруби городци на Шелони» [48], организовав систему пограничной обороны Новгорода (к ней относят городки Порхов, Опоку, Высокое, Вышгород, Кошкин) севернее, а не южнее Холма [49].

Приведенные материалы позволяют локализовать Клин на новгородско-торопецком пограничье, между Ловатью и верховьями р. Б. Тудер. Эта местность как бы обставлена выразительными топонимами: у ее северного рубежа расположены деревни Княжой Клин (ныне Красный Клин), Передние Клины, Задние Клины, а у южного — Малый Клин и Большой Клин. Она находится между двумя далеко вдающимися на юг новгородскими территориями — Великолукской землей на западе и волостями Лопастицы и Буйцы на востоке, образуя клин между ними, глубоко внедряющийся во владения Новгорода и потому активно используемый врагами для проникновения в южное Приильменье.

* * *

Исчерпав затронутую тему, мы, однако, вынуждены вернуться к ней в связи с появлением в научной литературе нового толкования Клина, предложенного А. Н. Кирпичниковым. Указанный автор полагает, что «во всех приведенных случаях слово „клин“ связано не с участком земли, а с боевыми эпизодами, точнее — с упоминанием особого по устройству военного отряда. Для своего времени термин „клин“ был понятен, поэтому летописец не пояснял его. В дальнейшем военный смысл термина был утрачен» [50]. Исследователям хорошо известно, что отряд, построенный в боевой порядок треугольной формы, имел в русских средневековых источниках хорошо понятное современникам наименование «свинья». Так указанное боевое построение обозначено в летописных рассказах о Ледовом побоище и Раковорской битве. Однако Кирпичникову, по-видимому, представляется, что такой термин применим только к немецким боевым порядкам. Для русского же аналогичного построения он ищет особый термин и полагает, что обнаружил его в рассказах о столкновениях Новгорода с Литвой.

Надуманность такого толкования очевидна из приведенной автором аргументации. Комментируя летописное сообщение

6708 г., он пишет: «новгородцы в стычке с литовцами потеряли „в клине“ 15 человек, а литовцы 80» [51]. Точная цитата: «убиша Литвы мужъ в Клине 80, а новгородець 15». Если имеется в виду атака новгородцев на литовский отряд, построенный в форме клина, то это ведь не русский, а литовский отряд.

«Особняком трактуется известие 1234 г. об отступлении литовцев из-под Руссы. „Отступиша на клин“; это можно понимать как отступление в боевом порядке, — пишет Кирпичников. — Дело в том, что литовцы, пограбив посад Руссы, опасались ответных мер новгородцев, которые действительно нагнали их и разбили у Дубровны Торопецкой волости» [52]. Такое толкование (снова примененное не к русским, а к литовским боевым порядкам) возможно лишь при условии жесткого насилия над синтаксисом летописной фразы. Предлог «на» в любом древнерусском тексте при всех нюансах его употребления обозначает направление действия. «Отступить в направлении клина» (!) — такая конструкция возможна лишь при условии, что под Клином подразумевается населенный пункт или местность с подобным названием.

Отвергая топонимический характер летописных упоминаний Клина, Кирпичников пишет: «Заметим, что в Новгородской области в 12—13 вв. не известно ни одного подтвержденного документально свидетельства о существовании города или поселения под именем Клин. К примеру, Н. П. Барсов определял "клин", отмеченный в летописном известии 1234 г. как некий пункт, расположенный на одном из притоков верхней Куньи, милях в трех к западу от озера Двинья (*Барсов Н. П.* Очерки русской исторической географии. Варшава, 1885, с. 26). Однако у нас нет данных о существовании в этих местах поселения Клин» [53].

На это можно ответить, что, вероятно, в отличие от Кирпичникова, Барсов пользовался картами и списками населенных мест. В частности, в Торопецком уезде известно три поселения Клин (в том числе и названный Барсовым погост), в Холмском уезде два поселения с таким названием, но также два Больших Клина, Княжий Клин, Спасов Клин и четыре Малых Клина [54].

Примечания

[1] Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов. М; Л., 1950 (далее НПЛ), с. 22, 207.

[2] Там же, с. 239; ср. с. 45.

[3] Там же, с. 73, 283.

[4] В. П. Нерознак необоснованно отождествляет этот пункт летописного сообщения 1234 г. с современным городом Клин Московской обл. (*Нерознак В. П.* Названия древнерусских городов. М., 1983, с. 88). Не говоря уже о том, что Клин на московско-тверском рубеже впервые упоминается только под 1408 г. (НПЛ, с. 400), он отстоит от Ловати на 360 км, что само по себе свидетельствует о нелепости упомянутой идентификации.

[5] См., например: Указатель к первым осьми томам Полного собрания русских летописей (далее ПСРЛ), отд. 2: Указатель географический. СПб., 1907, с. 147; ПСРЛ, т. 4. Изд. 2-е, ч. 1, вып. 3. Л., 1929, с. 670; НПЛ, с. 603.

[6] ПСРЛ, т. 2. Изд. 2-е. СПб., 1908, стб. 290–291.

[7] НПЛ, с. 22, 207.

[8] ПСРЛ, т. 1. Изд. 2-е, вып. 2. Л., 1927, стб. 301; т. 4. Изд. 2-е, ч. 1, вып. 1. Пгр., 1915, с. 145.

[9] *Голубовский П. В.* История Смоленской земли до начала XV ст. Киев, 1895, с. 84 и карта; *Насонов А. Н.* «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. М., 1951, вкл. между с. 160 и 161.

[10] *Соловьев С. М.* Сочинения, кн. 1: История России с древнейших времен, т. 1–2. М., 1988, с. 713 (т. 2, примеч. 453).

[11] ПСРЛ, Указатель географический..., с. 262.

[12] НПЛ, с. 609.

[13] ПСРЛ, Указатель географический..., с. 262.

[14] НПЛ, с. 615.

[15] Новгородские писцовые книги (далее НПК), т. 2. СПб., 1862, стб. 600–604, 623, 638–639, 641–649, 652–655, 657–689, 768–769, 889–890.

[16] НПК, т. 4. СПб., 1886, стб. 507–513, 552–562; т. 5. СПб., 1905, стб. 36–38, 42, 60, 158–165, 184.

[17] Впрочем, это «близ Шелони» восходит к локализации Н. М. Карамзина: *Карамзин Н. М.* История государства Российского, кн. 1. М., 1988, т. 3, примеч. 116.

[18] История культуры древней Руси. Домонгольский период. 1. Материальная культура. М; Л., 1948, вкл. между с. 30 и 31.

[19] ПСРЛ, Указатель географический..., с. 20.

[20] НПЛ, с. 596. Составитель этого указателя И. П. Доронин к той же «Белой» отнес сообщение 1442 г. «поставиша церковь камену святого Прокопья на Белои» (НПЛ, с. 423, 463); однако в этом сообщении речь идет о Прокопьевском на

Белой погосте в Бежецкой пятине в среднем течении р. Мсты (ср. НПК, т. 6. СПб., 1910, стб. 845–852, 1072).

[21] ПСРЛ, Указатель географический..., с. 56.

[22] НПЛ, с. 599.

[23] ПСРЛ, Указатель географический..., с. 560.

[24] НПЛ, с. 623.

[25] *Карамзин Н. М.* История государства Российского..., т. 3, примеч. 116.

[26] Нет такого пункта и в «Азбучном указателе населенных мест Псковской губернии» См.: Списки населенных мест Российской империи, т. XXXIV. СПб., 1885.

[27] НПЛ, с. 45, 239; ПСРЛ, т. 4. Изд. 2-е, вып. 1, с. 179.

[28] НПЛ, с. 239.

[29] ПСРЛ, т. 4. Изд. 2-е, ч. 2, вып. 1. Пгр., 1917, с. 179.

[30] ПСРЛ, т. 4. Изд. 2-е, ч. 1, вып. 3. Л., 1929, с. 591.

[31] *Карамзин Н. М.* История государства Российского..., т. 3, примеч. 116.

[32] ПСРЛ, т. 3. СПб., 1841; ср. также: ПСРЛ, т. 4. СПб., 1848, с. 18; Указатель географический..., с. 422.

[33] Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку. СПб., 1888, с. 177.

[34] ПСРЛ, т. 4. Изд. 2-е, ч. 1, вып. 1, с. 179.

[35] НПЛ, с. 599.

[36] *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, т. 3. СПб., 1912, стб. 483.

[37] *Татищев В. Н.* История Российская, т. 3. М; Л., 1964, с. 167: «Литва, собрався из лесов, пришли тайно в область Новогородскую и разоряли по реке Ловати, захватя до Наключа, Сбелея, Свинарта и до Ворча».

[38] НПК, т. 4, стб. 300–301; т. 5, стб. 35–36.

[39] Именно в этих болотах развернулась трагедия гибели тверского войска князя Михаила Ярославича в 1316 г.: «Князь же Михаило, не дошед города, ста в Устьянех; и тако мира не возма, поиде проче, не успев ничтоже, но болшюю рану въсприим: възвративше бо ся въспять, заблудиша в озерех и в болотех; и начаша мерети гладом, ядяху же и конину, а снасть свою пожгоша, а иное пометаша; и придоша пеши в домы своя, приимше рану немалу» (НПЛ, с. 95, 337; в Комисс. сп. после слова «конину» — «а инии, с щитов кожю сдирающе, ядяху»). Устьяны находятся на р. Поле в 30 км ниже Налючей.

[40] НПЛ, с. 51, 249.

[41] Там же, с. 623.

[42] НПК, т. 2, стб. 835, 842, 866.

[43] См. примеч. 2.

[44] НПК, т. 2, стб. 872, 880. Впрочем, еще одна Дуброва находится в 13 км к югу от Холма.

45 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М; Л., 1949, с. 130–131, № 77.

46 Там же, с. 105–106, № 63; с. 115–116, № 70.

47 Торопецкая книга 1540 года / Подготовили к печати М. Н. Тихомиров и Б. Н. Флоря // Археографический ежегодник за 1963 год. М., 1964, с. 277–357. Такой же исключительный характер имеют перевары в Кирьяжском, Сердобольском и Иломанском погостах Вотской пятины (см. Переписную окладную книгу 7008 г. // Временник ОИДР, кн. 12. М., 1852, с. 122—178), где они воспринимаются как рудимент кормленческой Корельской волости, традиционно в XIV—XV вв. предоставлявшейся новгородцами служилым князьям литовского дома. В указанный период и Торопецкая земля находилась в административном управлении Литвы.

48 НПЛ, с. 72, 289.

49 Важными документами организованной Александром Ярославичем пограничной службы являются написанные одним почерком донесения ее участников — берестяные грамоты № 636 и 704, которые обнаружены в напластованиях середины — второй половины XIII в. См.: *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984—1989 гг.). М., 1993, с. 36–37, 92–95. В грамоте № 704, исходящей от «городьцано» и адресованной «ко посадникоу ко вьликомоу», упоминается о бегстве «ясьнян», т. е. жителей Ясенского погоста, расположенного в соседстве с шелонскими «городцами».

50 *Кирпичников А. Н.* Ледовое побоище 1242 года и его тактические особенности // Древний Псков. Исследования средневекового города. Материалы конференции. Санкт-Петербург, 20–21.05.1992. СПб., 1994, с. 114.

51 Там же.

52 Там же.

53 Там же, с. 114, 120.

54 Списки населенных мест Российской империи, т. XXXIV, с. 540.

Willem Vermeer (University of Leiden)

Historical Dimensions of Novgorod Inflexion

1. Introduction

In his publications on the language of the birchbark documents, A. A. Zaliznjak has established that the Novgorod and Staraja Russa texts of the early period testify to the existence of a clearly defined Novgorod dialect, characterized by a series of quite specific features setting it apart from other varieties of Slavic [1].

Much about the rise and subsequent development of the Novgorod dialect remains to be clarified. The present contribution is devoted to the inflexional system, with particular attention for the numerous levellings that have taken place in it. First the relevant facts will be briefly discussed (section 2), then it will be argued that the innovations are ultimately rooted in a single phonological property of the variety of Common Slavic continued by the Novgorod dialect (section 3) and finally attention will be drawn to the possibility that the presence in modern Russian of several of the levellings involved may well be due to secondary radiation from Novgorod to dialect areas that are closer to the East Slavic average (section 4).

2. The facts

Although the relevant facts have been dealt with at length in the recent literature, some discussion is inevitable because in some cases I prefer interpretations that differ slightly from those available at present whereas in others a choice has to be made between different interpretations proposed by different scholars.

(1) The Nsg of the nominal and pronominal masculine *o*-stems ends in -*e*, e.g. **замъке** (247), **кето** (SRu 12), **вохь** <въхе> (351), **саме** (736A, SRu 6)[2]. Although investigators have been aware of this ending for a long time, the insight that it was the regular Nsg ending (rather than an optional variant) is recent. (НГБ 8: 129–134; НГБ 9: 206–212.)

Since the *o*-stem Vsg also ended in -*e*, Nsg and Vsg were identical: Nsg *brate* = Vsg *brate*. One might suppose the difference between the two cases to have been retained in stems ending in a velar, along the following lines: *Nsg *posadьnike* vs. Vsg *posadьniče*. The birchbark material offers no relevant evidence. However, in Church Slavonic texts produced in Novgorod (beginning with the well-known *Menaeae* copied in the nineties of the eleventh century) we find examples of retained velar in vocatives, e. g. *arxistratige* (Karnĕeva 1916: 126, with footnote by Durnovo). Such forms suggest that the scribe would have had no compunctions about using *posadьnike* as a vocative and consequently that in his dialect the *o*-stem Nsg and Vsg were identical in all cases.

As for the *jo*-stems, it has proved difficult to determine with certainty whether the msc Nsg ending is -*ь* (as in the remainder of Slavic) or -*e* (as in the Novgorod *o*-stems). The difficulty is caused by the orthography: for much of the relevant period the letters **ь** and **е** were interchangeable, so that, say, both **конь** and **коне** could be used to render both <конь> and <коне> (see further НГБ 8: 100–108). By the time the orthographic distinction was restored several centuries had passed and sporadic examples in fourteenth- and fifteenth-century sources may not faithfully reflect the original distribution.

Zaliznjak opts for -*ь* (НГБ 8: 133). Recently, V. B. Krys'ko (1993: 137–142) has argued that the ending may have been -*e*. For the time being, I think Zaliznjak's interpretation is preferable, although ultimately it rests on little more than a single example: **господарь** (with -*ь*) used alongside **замъке**, **кѣле** (both with -*e*) in an eleventh-century text written before the letters **ь** and **е** became interchangeable (247).

Instances of the normal Slavic Nsg ending -*ъ* in early birchbark letters are in most cases plainly intrusive. It appears regularly in texts written by priests (605, 664/710, possibly also 548) or containing Church Slavonic elements (336, 752); it is also frequent in texts that are not written in the Novgorod dialect and/or imply travel to far-off towns (109, 675, 502). Towards the end of the early period the ending starts appearing in texts that otherwise give evidence of a tendency to avoid local features, probably because they are devoted to serious subjects of a legal (rather than commercial or personal) nature, in particular 9, 531 and 724. There are only two early letters which use the Nsg in -*ъ* although they concern

domestic subjects and contain no hint of priests: 736B and 439. It is striking that both texts also use the ending *-e*, showing that the people who wrote these letters mixed endings from different sources; in addition, 439 contains other features that are not characteristic of the Novgorod dialect, on which see further below, sub (3); it may be no accident that the text mentions travel to far-off Suzdal' [3].

In the thirteenth century convincing examples of *-ъ* start turning up regularly in letters on domestic subjects (e. g. 420, 198, 482) and avoidance of *-e* becomes the norm in official documents [4].

(2) The msc *o*-stem Apl ended in *-ě*, e. g. **колотокѣ** (644). Although Sobolevskij (1888: 128; 1907: 180) and other early investigators were quite aware of the existence of this ending in Novgorod, the insight that it was the regular ending at the earliest attested stage of the dialect is recent. It is obviously the original *jo*-stem ending which has been generalized to the *o*-stems, replacing inherited **-y*. The problem of the motivation for the substitution will be taken up in section 3.

All early examples of *-y* are spurious: **съводꙑ** (109) occurs in a text that is not written in the Novgorod dialect; **холопꙑ** (400), which occurs in a sentence that is too fragmentary for its syntax to be reconstructed, may very well be an Ipl dependent on **нарекла** (and Zaliznjak sees some evidence that the text was not written in the Novgorod dialect either); **навѣтꙑ** (507), adduced in НГБ 8: 138, has not survived renewed study of the original (НГБ 9: 175).

In the thirteenth century the original ending *-y* (re)appears. However, the contexts in which it is used show that it was not a purely dialectal feature: in 61/68 (assuming that the ending has been correctly identified), it cooccurs with such non-local features as the Gsg in *-y* and the stem shape *vьs-* 'all' (instead of the local form *vьx-*); in 420 it cooccurs with the Nsg in *-ъ*; in 147 no other intrusive elements are used, but typically Novgorod elements are absent as well; in 142 the ending is used alongside the non-local Nsg in *-ъ* in a formal statement which the addressee is instructed to deliver: **«какъ кси дъкъньчалъ, Марке, съ мнъю** (...), **а мнѣ накладꙑ твок дати, а истина дана»** <kako esi dokončalъ, Marke, sъ mnoju (...), a mně naklady tvoě dati, a istina dana>; contrast the use of the Nsg in *-e* in the main text of the letter itself: **а азо сѧ саме с нимо [ꙋ]ведаю** <a jazъ sja same s nimъ uvědaju>.

(3) In the *ā*-stems, the Gsg and NApl end in *-ě*, e. g. Gsg **Братѧтѣ** (421), NApl **коунѣ** (526, 3x). See further НГБ 8: 135–139; НГБ 9: 212–218. Cf. also Sobolevskij (1907: 183–184).

As in the case of the msc *o*-stem Apl, what we find is the ending that was originally limited to the soft declension. Whatever the motivation for the substitution (on which see section 3), it has had important consequences: it has caused the distinction between the *ā*-stem Gsg and Dsg (in which *-ě* is the inherited ending) to be obliterated and also that between the NApl and the corresponding forms of the dual.

Zaliznjak (НГБ 9: 217) adduces some evidence suggesting that the process of substitution was still going on at the time of the earliest texts: although the new ending *-ě* had completely prevailed in the Gsg and in the NApl whenever it was combined with a numeral (e. g. **три коунѣ**, 526), if no numeral was present the old ending *-y* may still have been possible alongside *-ě*. To my mind, the evidence for this idea is for the time being insufficient. The relevant examples are attested in three texts (9, 531 and 439), all three of which date from the final decades of the early period and use the non-dialectal Nsg in **-ъ** (the limited value of 9 and 531 is pointed out by Zaliznjak himself).

Two texts offer attestations of a *jā*-stem Gsg in *-i*: 336 and 671. Since 336 uses the Nsg in **-ъ** and is odd in several other respects, no conclusions should be built on it (Zaliznjak, НГБ 8: 203); it follows that 671 is an isolated example in a text that contains several obvious mistakes.

As in the case of the msc *o*-stem Apl, the original ending **-y* (re)appears in the thirteenth century even in texts on domestic subjects.

(4) The DLsg of the *jā*-stems ends in *-ě*, e. g. Dsg **Гавошь** <Gavъšě> (422), Dsg **Прокъшѣ** (664)/**Прокоше**<Prokъšě> (713), Lsg **коробье**<korobьě> (438 2x). Apparently the *ā*-stem ending has replaced the inherited *jā*-stem ending **-i*.

Three texts appear to testify to the persistence of the inherited ending *-i*: 682, 380 and 724. The value of this evidence is however doubtful: 682 deals with nuns and accordingly uses one or two transparently Church Slavonic forms; in addition it contains an attestation of «шепелявенье» (the use of **ж/ш** instead of etymological **с/з** or vice versa), which is not otherwise characteristic of the Novgorod dialect (НГБ 8: 127; НГБ 9: 200): **во борожь** <въ bъrъžě>; in 724 the non-Novgorodian Nsg in **-ъ** and Gsg in *-y* predominate over *-e* and *-ě* respectively; 380 is a fragment too brief and uninformative to be evaluated. See further НГБ 8: 136; НГБ 9: 214.

(5) The introduction of the *ā*-stem DLsg ending *-ě* into the *jā*-stems mentioned in the previous paragraph eliminated one of the most conspicuous instances of a soft ending in *-i* correlating with a hard counter-

part in -*ě*. As we shall see later on, the same correlation was eliminated elsewhere, both in the pronoun (e. g. *moixъ* vs. *těxъ*) and in the verb (*pišite* vs. *iděte*). One may wonder whether it survived at all. Unfortunately, attestations of the relevant endings are still few, in particular:

– The *jo*-stem Lsg. The original state of affairs may have persisted, judging by such examples as **Пръжневици** (526, assuming with Zaliznjak that it is not the Lsg of a noun in -*ica*) and **братни** (235). However, -*ě* is also attested, e. g. **Переяславъль** (105), **ороудье** <orudьě> (531). If these attestations are to be taken literally, the substitution may have been in progress in the twelfth century.

– The *jo*-stem Lpl. Such early attestations as are available suggest that -*ě*- had been introduced into the *jo*-stems, e. g. **Мълъвотицѣхъ** (516, 2x).

(6) As we have seen in paragraph 3, the replacement of the inherited *ā*-stem NApl ending *-*y* with -*ě* obliterated the difference between the NApl and the NAdu, where *-*ě* was the inherited ending. This obviously endangered the position of the neuter *o*-stem NAdu, which also ended in *-*ě*: after the substitution had taken place the ending could be perceived as on the one hand neutral with respect to the distinction between dual and plural (which it was in the *ā*-stems) and on the other markedly non-neuter (which it was in the plural). The oddity could be removed by extending the neuter NApl ending -*a* (which was at the same time the msc NAdu ending) to the dual. This would explain why the inherited neuter NAdu in *-*ě* is not attested at all on birchbark, whereas there are credible attestations of -*a* from the final decades of the twelfth century onwards: **дъва лѣта** (113) and several supporting instances around 1200 (439, 671). See further НГБ 9: 219–220. There is no evidence for reintroduction of the original ending at a later stage.

(7) The pronoun *tъ* has -*i*- in those case forms in which -*ě*- was inherited, e. g. Ipl **тими** (335) instead of ***těmi*. The only example of retained *tě*- occurs in a text that is not written in the Novgorod dialect (109). In view of their early date, the attestations of -*i*- cannot be attributed to a phonetic merger of *ě* with *i* in the relevant position, birchbark evidence for which appears only in the thirteenth century (see further НГБ 8: 106–109). In all likelihood they are due to the influence of the pronominal *jo*-stems, among which *jь* and the possessive pronouns are particularly prominent.

At a later stage (fourteenth century) we find -*y*- instead of -*i*-, e. g. **тыми**, (536). Apparently the hard consonant found in such forms as *togo*

was generalized, thus removing one of the principal remaining differences between the pronominal inflexion and that of the long adjectives. Note that the original *-ě-* fails to make a come-back. See further НГБ 8: 105–106; НГБ 9: 225–226.

Other pronouns than **tъ* are as yet poorly attested in the relevant forms. Gpl **нннхо** <inixъ> (548) instead of ***iněxъ* suggests that replacement of *-ě-* with *-i-* was more general; on the other hand, Dpl **вьхємо** <vьxěmъ> (87) may show that the replacement failed to reach some pronouns; the same pronoun did not escape the later introduction of *-y-*, e. g. Gpl **вхыхъ** (359).

Replacement of *-ě-* with *-i-* is found also in the variety of East Slavic continued by modern standard Russian, e. g. *одним, самим* opposed to retention of **-ě-* in *тем, всем*; the reverse analogy is found in *чем*.

(8) The 2pl and 2du of the imperative of thematic verbs end in *-ite* and *-ita* (with *-i-* instead of inherited **-ě-*) even in Leskien's classes I and II, e. g. 2pl **идитє** (424), **кърннитє** (160), 2du **(в)єрита** (SRu 12). Forms with *-ě-* are not attested at any stage of the tradition. Obviously the endings that are regular in Leskien's III, IV and V have analogically replaced the inherited endings **-ěte*, **-ěta*, which are otherwise normal in Old Russian and have been retained to this day in Ukrainian. See further НГБ 8: 145; НГБ 9: 229.

(9) The Nsg msc of the present participle ends in **-ѧ** even in verbs belonging to Leskien's class I (and presumably II and V, for which no evidence is available), rather than in **-а** as is normally the case in Old Russian, e. g. **възмѧ** (SRu 17), **рєка** (531). Attestations of **-а** are limited to texts that are not written in the Novgorod dialect (615, 697). See further НГБ 9: 229–231.

This ending requires some discussion. One might be tempted to assume that the variety of Common Slavic continued by the Novgorod dialect had a reflex of early Slavic word-final **-onts* that differed from the reflex *-a* found elsewhere outside South Slavic[5]. However, before this solution can be seriously proposed its unpleasant consequences will have to be faced, in particular the problem as to what caused the ending to yield a front vowel. It is also possible that those verbs in which **-a* was the inherited ending (Leskien's I, II and V) adopted the ending that was regular in Leskien's III and IV. Against the background of the numerous similar analogical substitutions that have taken place in the Novgorod dialect, this would seem to be a natural assumption.

It is important however to be aware of the chronological consequences of this solution. In systems characterized by the presence of a

distinction between hard and soft consonants, the spellings -а and -ѧ render a single ending /-a/; the difference resides solely in the final stem consonant, which is hard in the former case and soft in the latter. In such systems, analogical introduction of -ѧ amounts to introduction of a soft final stem consonant: */ida/ is replaced with /id'a/. In the specific case of Leskien's class I (and II and V) this would mean that an alternation was analogically introduced into a non-alternating paradigm: */ida, iduči/ was replaced with /id'a, iduči/. The analogy presupposes the presence of a model in which a soft stem-final consonant in the Nsg msc alternated with a hard consonant in all other forms. Obviously, no such model was around, because all paradigms in which the ending *-ja* was inherited happened to be non-alternating: these are the *je*-presents (Leskien's III: *znaja / znajuči, plača / plačuči*) and the *i*-presents (Leskien's IV: *vorotja / vorotjači*).

It follows that the substitution of *-*ę* for *-*a* must have preceded the rise of the distinction between hard and soft consonants: at that stage the reflex of PSl. **ę* was still either a nasal vowel or an oral vowel (presumably [ä]-like) distinct from both **a* and **ę*.

(10) As for the system of alternations attested in the Novgorod dialect, it deviates in one important respect from the East Slavic average: alternations reflecting the Second Palatalization of velars are absent, e. g. the *ā*-stem DLsg (Dsg **Коулотъкѣ**, 105; Lsg **Лоугѣ**, 526), the *o*-stem Lsg (**Живот<т>ъкѣ**, 526) and Npl (**вѣжники** <věžniki>, 550), and the imperative (**реки**, 656).

The alternation fails to stage a come-back in the thirteenth century. With a single exception (**сапозѣ**, 4), attestations are limited to religious words or formulas (Lsg *bozě*; DLsg *vladycě*; *gospodi, pomozi rabu svoemu*) and to the legal term Npl *poslusi* (attested in 366); as for the latter example, it will be recalled that Npl *poslusi* (optional alongside *posluxi*) is the only form displaying the second palatalization in the «Двинские грамоты» investigated by Šaxmatov (1903: 104).

It stands to reason that the absence of alternations reflecting the Second Palatalization could in principle be due to analogy. However, since the consequences of the Second Palatalization appear to be absent even in non-alternating environments, it is preferable to assume with Zaliznjak that the Second Palatalization of velars never reached the Novgorod dialect. See further НГБ 8: 111–119; НГБ 9: 195–197, with references to earlier literature [6].

Since in the system of nominal and pronominal inflexion alternations reflecting the First Palatalization (*k/*č, g/ž, x/š*) happen to be lim-

ited to the *o*-stem Vsg, which is not used in Novgorod, alternations involving velars are restricted in the medieval Novgorod dialect to the verb and to derivational patterns, just as in modern Russian.

3. On reconstructing the rise of the Novgorod inflexional system

Now we are in a position to look at the trends governing the development of the system.

Compared with what we find elsewhere in Slavic, the inflexional system of the Novgorod dialect was strikingly innovating. By the twelfth century, the following distinctions had been lost or were about to be:

– Nsg vs. Vsg in the msc *o*-stems, due to the rise of the Nsg in *-e*;
– Npl vs. Apl in the msc *o*- and *jo*-stems, due to the adoption of the Apl ending in the Npl;
– Gsg vs. DLsg in the *ā*- and *jā*-stems, triggered by the analogical transfer of the *jā*-stem Gsg ending into the *ā*-stem paradigm;
– NAdu vs. NApl in the *ā*-stems, triggered by the analogical transfer of the *jā*-stem NApl ending into the *ā*-stem paradigm;
– NAdu vs. NApl in the ntr *o*-stems, triggered by the loss of the same distinction in the *ā*-stems, coupled with the presence of the inherited NAdu ending *-a* in the msc *o*-stems [7].

So much for the loss of distinctions w i t h i n paradigms. However, differences a m o n g paradigms were also affected; most importantly, the inherited distinction between hard and soft inflexion patterns was well on its way towards complete extinction; this was caused by two factors, one phonological, the other inflexional:

(a) Once a phonological distinction between hard and soft consonants had arisen (which happened at the latest simultaneously with the loss of weak jers in word-final position, but may have been considerably earlier), the correlations *-ъ/-ь* and *-y/-i* were automatically conditioned by the final consonant of the stem; in all likelihood the same held for the correlation *-o/-e*; the same would have held also for *-a/-ę*, had it not been analogically eliminated at an earlier stage (see above, section 2, paragraph 9). The remaining correlations were: *-y/-ě*, *-ě/-i* and *-ě/-a*. Of them, only the two former ones are of any importance for the inflexional system because *-ě/-a* happens to be limited to derivation.

(b) Most of the analogical substitutions enumerated in section 2 diminished the difference between hard and soft inflexion patterns because they consisted in the analogical generalization of one of the alternating endings in the case of the correlations *-y/-ě*, *-ě/-i*, and *-a/-ę*.

The distinction between hard and soft inflexion patterns survived in the *o*-stem vs. *jo*-stem Nsg (unless the *jo*-stem Nsg turns out to be *-e* after all, which is quite conceivable) and perhaps in one or two other cases on which the jury is still out, e. g. that of the *o*-stem Lsg.

One wonders how all these substitutions could take place, in particular because at least one of them (the rise of the present participle in -ѧ) must have preceded the rise of the distinction between hard and soft consonants, which diminished the difference between hard and soft inflectional patterns and by doing that may have encouraged further simplifications.

The first thing that strikes one is the fact that it usually the soft ending that has been generalized. This holds for the *o*-stem Apl (*jabetьnikě*), the *ā*-stem Gsg and NApl (*kuně*), the pronominal inflexion (*timi*), the imperative (*idite*), and the present participle (*rekja*).

Whereas the case of the pronouns and the imperative is unproblematical, it is important to realize that the remaining ones just could not take place in Common Slavic dialects which were phonologically like Old Church Slavonic: since sequences of velars and front vowels were phonotactically impossible, the phonological system prevented the rise of forms like Gsg ***rǫkě/rǫkę* or present participle ***rekę* (cf. Trubetzkoy 1954: 62–71), so that the substitutions we find in the Novgorod dialect, if they would have been initiated, could not have been completed because they could not be extended to stems in velar consonants, which were numerous. In all likelihood the state of affairs that obtained in most contemporary Slavic dialects was substantially the same as the one attested in Old Church Slavonic. The Novgorod dialect, however, was exceptional in precisely this respect: it tolerated sequences of velars and front vowels, so that generalization of soft endings to hard paradigms was possible in a way that it was not in systems closer to the Common Slavic average. This is the phonological factor that made possible the morphological substitutions that are so characteristic of the Novgorod inflexional system.

In its turn, the fact that sequences of velars and front vowels were admissible does not hang in the air: it is a natural consequence of the fact that the Second Palatalization did not reach the Novgorod dialect (see above, section 2, paragraph 10). Thus, a coherent pattern arises: the phonological feature that sets off the Novgorod dialect from all other

varieties of Slavic paved the way for the morphological substitutions that differentiate the dialect from its neighbours.

This brings us to a second point. Since the Proto-Slavic distinction between hard and soft inflexion patterns is functionally redundant, levellings constitute natural developments. Nevertheless generalization of the soft alternant is not in all types of cases an obvious innovation and we have to take a brief look at the details.

In the case of the pronominal inflexion, the imperative and the present participle, introduction of soft endings is hardly surprising because of the prominence of those endings, e. g. the pronoun **jь* and the possessive pronouns, Leskien's classes III and IV. As we have seen (section 2, paragraph 9), in the present participle the substitution must have taken place before the rise of the distinction between hard and soft consonants.

In the case of the nouns, however, the motivation for the substitutions is less obvious because the soft inflexion patterns are so much less frequent than their hard counterparts, so that what one expects, if anything, is generalization of the hard endings. Elsewhere in Slavic, generalization of soft endings is unusual outside the dialect area continued by Slovene and Serbo-Croat and we have to search for the presence of an additional motivation making the substitution understandable. Such an additional motivation existed in the *o*-stem Apl: due to phonetic developments in final syllables the Apl and Ipl had coalesced in the *o*-stems (in *-y*), whereas the two endings remained distinct in all other inflexion types, the *jo*-stems included (Ipl *-i* vs. Apl *-ě*); borrowing the *jo*-stem Apl ending was a natural way of reestablishing the distinction [8].

Once the *o*-stem Apl ending *-ě* had been (perhaps better: was being) generalized, it was natural for the same generalization to take place in the *ā*-stem NApl and, finally, in the *ā*-stem Gsg. It is important to realize that the rise of the *o*-stem Apl in *-ě* undermined the complex system of correlations between hard and soft inflexion patterns. Previously a soft *-ě* had always correlated with a hard *-y*, whereas a hard *-ě* had correlated with a soft *-i*, which occasionally also correlated with a hard *-y* (*o*-stem Ipl) and a hard *-i* (*o*-stem Npl). The generalization of the Apl *-ě* gave rise to a transparent new pattern (*-ě* correlating with *-ě*), which could easily be extended at the expense of *-y/-ě*. It is also natural that the correlation *-ě/-i* came under pressure; by the beginning of the historical period the correlation had been eliminated in favour of *-i* in the imperative (*idite*) and at least some pronouns (*timi*) [9].

Generalization of hard endings is much less conspicuous. The only case that is well established at the moment is that of the *jā*-stem DLsg

(*Prokъšě*), which can be regarded as a logical response to the loss of the distinction between the Gsg and DLsg in the *ā*-inflexion and which may be relatively recent considering the different solutions chosen by dialects that are otherwise closely related to Novgorod (see further Zaliznjak, НГБ 9: 214–216). It is likely that the same substitution also took place, possibly during the historical period, in the *jo*-stem Lsg and Lpl (see further above, section 2, paragraph 5).

4. The Novgorod dialect and modern standard Russian

It is inevitable to assume that a bundle of isoglosses must have separated the Novgorod dialect (in a wide sense) from dialects that were closer to the Common Slavic (or early East Slavic) average in the sense that they had carried through the Second Palatalization of velars, had the normal Common Slavic o-stem msc singular ending -ъ and had not carried through the analogical substitutions that presuppose the possibility of sequences of velar and front vowel. Some of those differences must have been quite striking to the speakers. What one expects to find in the border zone is mutual influence, in particular spread of those features that made the grammar of one of the dialects (no matter which) simpler than the other.

Zaliznjak (НГБ 9: 192–193) puts the bundle of isoglosses quite close to Novgorod. If that is correct, interference between the two dialectal complexes must have been a sociolinguistic feature of life in the Novgorod empire. It is quite conceivable that such processes are reflected in the thirteenth-century (re)appearance on birchbark of such endings as the *o*-stem Nsg in -ъ, the *o*-stem Apl in -*y* and the *ā*-stem Gsg/NApl in -*y*, not to speak of other features originally not at home in the Novgorod dialect, e. g. the stem shape *vьs*- or final -*tь* in the third persons of the present tense.

On the other hand it is interesting to note that the following features are widespread in dialect areas that reflect the Common Slavic state of affairs with respect to the Second Palatalization and in particular the variety of East Slavic that has ultimately given rise to Modern Standard Russian:

– Identity of Nsg and Vsg in the *o*-stems (however on the basis of a Nsg in *-ъ, thus combining the identity of Nsg and Vsg typical for Novgorod with the identity of Nsg and Asg present elsewhere in Slavic);

– The ntr *o*-stem NAdu in -*a*;

– Spread of -*i*- in pronouns;

– Generalization of *-i-* in the imperative;
– Generalization of *-ja* in the present participle;
– Absence of alternations reflecting the Second Palatalization.

As we have seen, these features arose organically in the Novgorod dialect, where they are attested in the earliest texts. We have also seen that most of them differ from other characteristically Novgorodian innovations in maintaining themselves after 1200, whereas in the same period such elements as the Nsg in *-e*, the hard Gsg/NAsg in *-ě* and the stem form *vx-* are clearly on the retreat. As shown in the table, there is a strong tendency for features that do not retreat in Novgorod to be present in modern Russian.

TABLE

retreat or spread of original features of the Novgorod dialect

feature	retreat in Novgorod	modern Russian
Nsg msc *o*-stems in *-e*	**yes**	no
Apl msc *o*-stems in *-ě*	**yes**	no
Gsg/NApl *ā*-stems in *-ě*	**yes**	no
NAdu neuter in *-a*	no	**yes**
pron. *-i-* instead of *-ě-*	no	mixed
hard thematic imp. 2pl/2du in *-ite*, *-ita*	no	**yes**
no final *-t-* in pres3	**yes**	no
pres.act.part. Nsg msc in *-ѧ*	no	**yes**
2d pal. in stem-final position	no	**yes**
2d pal. in stem-initial position	**yes**	no
stem *vьx-* (as distinct from *vьs-*)	**yes**	no
Nsg = Vsg in msc *o*-stems	unclear	**yes**

It is tempting to assume that some or all of those features that did not retreat in the Novgorod dialect penetrated from Novgorod into neighbouring East Slavic dialects that were closer to the Slavic average, where their presence is less obviously the consequence of organic local developments. Future research will have to show if this idea can stand up to a confrontation with the facts. In the meantime we have to be aware of the possibility that modern standard Russian may owe more to the medieval Novgorod dialect than has often been thought.

Notes

[1] The discussion that follows is based primarily on Zaliznjak's contributions to НГБ 8 (1986) and 9 (1993); Novgorod texts with numbers higher than 709 are quoted on the basis of Janin and Zaliznjak's recent prelimary edition of some twenty important texts dug up between 1990 and 1993 (Janin and Zaliznjak 1994). On the chronological division into "early" and "late" texts, with the cut-off point being put around 1220, see further Zaliznjak, НГБ 8: 91. The term "Novgorod dialect" includes the dialect of texts written in Staraja Russa.

[2] The transcription of examples (which is slightly simplified) and the use of brackets conform to the principles adhered to by Zaliznjak (НГБ 8: 89–90).

[3] The ending -ѣ is also attested in two fragments that are insufficiently informative to be evaluated: 525 (1127–1155) and 113 (1177–1197, the use of the aorist in the latter text may show that it was written by a priest, cf. 605).

[4] I am indebted to Andrej Anatol'evič Zaliznjak for his criticism of an earlier version of this passage and for making available to me his newest analysis of 724 (which is still unpublished).

[5] This solution is suggested but not actually proposed by Zaliznjak (НГБ 9: 231).

[6] Elsewhere I have proposed a reconstruction of the mechanism that caused the Second Palatalization to be absent and the Third ("Progressive") Palatalization to lack consistency in the Novgorod/Pskov area (Vermeer 1986). Apart from the absence of alternations reflecting the Second Palatalization there are two alternations that set off the Novgorod dialect from other varieties of East Slavic: (a) some birchbark letters offer examples of *vl'* > *l'* and *ml'* > *n'*: *Jakovlь* > *Jakolь, kremlь* > *krenь* (the latter change appears not to have been noticed until recently, see further НГБ 9: 202–204); these innovations slightly complicate the system of alternations reflecting previous post-consonantal **j*; (b) initial *o-* is optionally changed into *a-* after prepositions and prefixes originally ending in a weak jer, e. g. к атцеви (404), саpати (211); the earliest examples of the phenomenon are found in texts dated around the middle of the twelfth century (НГБ 9: 258–263).

[7] The most important innovations not covered in the present article are the following: (a) the pronominal msc/ntr Gsg occasionally ends in *-ga* instead of normal *-go*, e. g. тога (227); the relatively small number of examples (compared with the number of attestations of *-go*) shows that the ending, which is well attested elsewhere in North Russian, was at no time an obligatory feature of the Novgorod dialect in a narrow sense (see further НГБ 8: 142; НГБ 9: 224–225; note that replacement of **-go* with *-ga* is a natural innovation, in particular in those Slavic dialects where the nominal Gsg ending *-u* is marginal or absent); (b) the simple past tenses of the verb had been lost or marginalized (НГБ 8: 145–146); (c) the final *-tь* (or *-tъ*) had been eliminated in those third persons in which it was inherited (НГБ 8: 143–144; НГБ 9: 228).

[8] In my opinion the resemblance between Novgorod and Slovene/Serbo-Croat reflects independent parallel developments, see further Vermeer (forthc., section 11).

[9] I have argued elsewhere (Vermeer 1991, 1994, forthc.) that the *o*-stem Nsg in *-e* is also the outcome of generalization of the corresponding *jo*-stem ending. For another recent attempt to account for the ending see Nikolaev, Dybo and Zaliznjak as succinctly summarized by Zaliznjak (1988a: 170; НГБ 9: 211).

References

Зализняк А.А.: 1986, «Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения», in: НГБ 8, 89–219.

Зализняк А.А.: 1987, «О языковой ситуации в древнем Новгороде», *Rling* 11, 115–132.

Зализняк А.А.: 1988a, «Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка», in: *Славянское языкознание. Международный съезд славистов, София, сентябрь 1988 г., Доклады советской делегации*, 164–177.

Зализняк А.А.: 1988b, «Древненовгородское койне», *Балто-славянские исследования* 1986, 60–78.

Зализняк А.А.: 1993, «Лингвистические исследования и словоуказатель», in: *НГБ* 9, 190–343.

Зализняк А.А. and Янин В.Л.: 1992–1993, «Вкладная грамота Варлаама Хутынского», *Rling* 16, 185–202.

Карнѣева М.: 1916, «Язык Служебной Минеи 1095 г.», *РФВ* 76, 120–130.

Крысько В.Б.: 1993, «Общеславянские и древненовгородские формы Non. sg. masc. *о-склонения», *Rling 17*, 119–156.

НГБ: *Новгородские грамоты на бересте* (so far nine volumes).

Соболевский А.И.: 1888, *Лекцiи по исторiи русскаго языка*, Киев.

Соболевский А.И.: 1907, *Лекцiи по исторiи русскаго языка*, Москва.

Шахматов А.А.: 1903, *Изслѣдование о Двинскихъ грамотахъ XV в. I*, СПб (= *Изслѣдования по русскому языку* 2/3).

Янин В.Л. and Зализняк А.А.: 1994, «Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1990–1993 гг.», *ВЯ* 1994/3, 3–22.

Trubetzkoy, N.S.: 1954, *Altkirchenslavische Grammatik. Schrift-, Laut- und Formensystem*, Wien.

Vermeer, W.R.: 1986, "The rise of the North Russian dialect of Common Slavic", *Studies in Slavic and General Linguistics* 8, 503–515.

Vermeer, W.R.: 1991, "The mysterious North Russian nominative singular ending *-e* and the problem of the reflex of Proto-Indo-European *-os* in Slavic", *Die Welt der Slaven* 36/1–2, 271–295.

Vermeer, W.R.: 1994, "On explaining why the Early North Russian nominative singular in *-e* does not palatalize stem-final velars", *RLing* 18/2, 145–157.

Vermeer, W.R.: forthc., «О происхождении древненовгородского окончания *-е* в И. ед. муж. *о*-склонения с твердой основой», to appear in the contributions volume of the *Novgorodiana Extranea* conference, Novgorod, 1993.

Henrik ***Birnbaum*** (UCLA)

On Some Archaisms of the Old Novgorod Dialect
(The Treatment of Proto-Slavic Velars Revisited) *

There can be no doubt that the scholar whom we honor with this volume, Andrej Anatol'evič Zaliznjak, is today the ranking specialist on the language of medieval Novgorod, particularly as we know it in its spoken – everyday – form from the numerous birchbark documents unearthed since 1951 at various excavation sites located within the perimeter of Old Novgorod (and more recently also at Staraja Russa – medieval Rusa – south of Lake Il'men'). Thus, Zaliznjak was the first to prove that underlying what at first glance appeared to be an unsystematic, indeed highly irregular language (or dialect) was a linguistic structure which, on close examination, displays a considerable degree of regularity and consistency [1]. Having acknowledged this major achievement,

---

* I am indebted to Willem Vermeer for his useful critical comments on an earlier version of this essay.

[1] Cf. esp. A. A. Zaliznjak, «Novgorodskie berestjanye gramoty s lingvističeskoj točki zrenija», in V. L. Janin and A. A. Zaliznjak, *Novgorodskie gramoty na bereste (iz raskopok 1977–1983 godov)*, Moscow, 1986, 89–219; id., «O jazykovoj situacii v drevnem Novgorode», *Russian Linguistics* 11 (1987, Festschrift B. A. Uspenskij), 115–132; id. «Drevnenovgorodskij dialekt i problemy dialektnogo členenija pozdnego praslavjanskogo jazyka», *Slavjanskoe jazykoznanie. X Meždunarodnyj s"ezd slavistov. Sofija, sentjabr' 1988 g., Doklady sovetskoj delegacii*; N. I. Tolstoj, ed., Moscow, 1988, 164–177; id., «Drevnenovgorodskoe kojne», *Balto-slavjanskie issledovanija 1986*, Vjač. Vs. Ivanov, ed., Moscow, 1988, 60–78; id., «Novgorodskie berestjanye gramoty i problema drevnix vostočnoslavjanskix dialektov», *Istorija i kul'tura drevnerusskogo goroda* (Festschrift V. L. Janin), Moscow, 1989, 18–30; id., «Berestjanye gramoty pered licom tradicionnyx postulatov slavistiki i vice versa», *Russian Linguistics* 15 (1991), 217–245; id., «Lingvističeskie issledovanija i slovoukazatel'», in V. L. Janin, A. A. Zaliznjak, *Novgorodskie gramoty na bere ste (iz raskopok 1984–1989 gg.)*, Moscow, 1993, 190–343. Cf. further id., «Berestjanoj

I do not mean to imply that I find all of Zaliznjak's findings concerning the language of Novgorod equally persuasive. Thus, to take one example, it is not entirely clear to me whether he essentially considers the speech of Old Novgorod a Late Common Slavic dialect or rather a, to be sure, fairly unique variety of Early East Slavic (EES)[2]. Needless to say, I am aware of the methodological problem in distinguishing between Late (disintegrating) Common Slavic and the emerging individual Slavic languages or language branches. The distinction hinges on whether the researcher's focus is on shared retentions or common innovations[3]. Another point where I have difficulty in following Zaliznjak's (and S. L. Nikolaev's) reasoning is the notion that the urban argot thought to have been spoken in medieval Novgorod and, more generally, the language of the Novgorod Land can be considered some sort of koine or linguistic blend, based on the speech of the Il'men' Slověne and that of the Pskov Kriviči. As is generally recognized, the Kriviči's region of settlement was located considerably to the south of Novgorod, in a zone extending from Izborsk and Pskov in the west, through Polock, and all the way to Smolensk in the east. But besides the purely geographic considerations, the linguistic arguments advanced in favor of the presence of the dialect of the Kriviči (showing some Baltic substratum phenomena, notably the shared isogloss *tl*, *dl* > *kl*, *gl*) are not overly cogent. To be sure, some instances of the *tl*, *dl* > *kl*, *gl* shift may in fact have extended to the Il'men'-Volxov basin, brought there – as to the Pskov region – by Slavicized eastern (or southeastern) Balts; cf. R dial. *klešč* (< **tleskjo-*) 'bream', *žagló* (< *gъndlo-*) 'sting'. Similar reflexes can also be found in Polish dialects (going back to pre-Polish times) where these reflexes were probably brought by western (or southwestern) Balts who had migrated into these territories. It is another matter that in the course of

dokument XII veka o sbore jugorskoj dani», in *The Language and Verse of Russia* (Festschrift D. S. Worth), H. Birnbaum and M. S. Flier, eds., Moscow, 1994 [1995], 284–291, where the Russian linguist matches historical facts with linguistic data found in birchbark document no. 724, characterized by a fairly standardized bookish chancery language (rather than Russian Church Slavonic or vernacular style).

[2] EES thus is the equivalent of what in recent American parlance is also referred to as Rusian (derived from *Rus'*) but was earlier simply, if less precisely, termed Old Russian. Cf. the Russian distinction between *drevnerusskij* (for the earlier period) and *starorusskij* (for the later, Muscovite, period).

[3] Cf. H. Birnbaum, «Zur Problematik der zeitlichen Abgrenzung des Urslavischen (Über die Relativität der Begriffe Baltoslavisch/Frühurslavisch bzw. Spätgemeinslavischer Dialekt/Ureinzelslavine)», *Zeitschrift für slavische Philologie* 35 (1970), 1–62.

time and particularly when Pskov was still a satellite town (*prigorod*) under Novgorod (i. e., before it gained independence in 1348 from its senior partner), some speakers of the Kriviči dialect may indeed have settled in the Volxov metropolis – mostly perhaps in Ljudin (or Gončarskij – Potters') End and along the thoroughfare to the southwest, Prusskaja ulica – as the Kriviči were residing in other, southern parts of the Novgorod Land. Early impacts on Novgorod from Kriviči-held territory came as early as 1066/69 during the two attacks by Prince Vseslav of Polock and, again, in 1136/37, when Novgorod's Prince Vsevolod was overthrown and sought refuge and aid in Pskov. But on the whole I do not share the view of V. L. Janin, Zaliznjak, and others, that one district – Ljudin – was from the beginning populated by the Kriviči[4]. My skepticism in this respect is shared, incidentally, by another leading expert on the language of the birchbark texts, Willem Vermeer[5]. Finally, the explanation for the stunning ending *-e* in the Nsgm of the historical *o*-stems, adopted by Zaliznjak (but first proposed by Nikolaev and V. A. Dybo), I find less convincing than the ingenious, if complex, account proposed by Vermeer assuming that a bilingual Finnic-Slavic language situation (in the earliest phase of the Slavic advance into and settling of the Il'men' basin) was particularly conducive to the appearance of *-e* in the Nsgm[6].

---

[4] For details, see also H. Birnbaum, *Lord Novgorod the Great: Essays in the History and Culture of a Medieval City-State*, Columbus, OH, 1981, 27–34 (with n. 35 on p. 111–112), 59.

[5] On the koine concept, see, in addition to some of the writings by Zaliznjak cited above (cf. esp. Zaliznjak 1988 and 1993, 192–193), S. L. Nikolaev, «Sledy osobennostej vostočnoslavjanskix plemennyx dialektov v sovremennyx velikorusskix govorax. I. Kriviči», *Balto-slavjanskie issledovanija 1986*, Vjač. Vs. Ivanov, ed., Moscow (1988), 115–154; *1987*, V. N. Toporov, ed., Moscow (1989), 187–225; id., «K istorii plemennogo dialekta Krivičej», *Sovetskoe slavjanovedenie* 1990/94, 54–63. For a critical discussion of the notion of a mixture of dialects in Old Novgorod, see W. Vermeer, *Russian Linguistics* 18 (1994), 150 (with note 6). See also his forthcoming review of V. L. Janin, A. A. Zaliznjak, *Novgorodskie gramoty na bereste (iz raskopok 1984–1989 gg.)*, Moscow, 1993: «Towards a Thousand Birchbark Letters», (to appear in *Russian Linguistics* 19, esp. section 3, «The prehistory of the Novgorod dialect»); and id., «Historical Dimensions of Novgorod Inflexion», (in this volume), with note 11, spelling out Zaliznjak's relevant conception. Cf. further H. Birnbaum, *Russian Linguistics* 15 (1991), 209–210; and, most recently and detailed, A. B. Straxov, «Kritičeskie zametki po powodu nekotoryx čert 'Krivičskogo' dialektnogo nasledija v interpretacii S. L. Nicolaeva», *Palaeoslavica* 2 (1994), 249–311.

[6] Cf. W. Vermeer, «The Mysterious North Russian Nominative Singular Ending *-e* and the Problem of the Reflex of Proto-Indo-European **-os* in Slavic», *Die Welt der Slaven* 36 (1991), 271–295; id., «On Explaining Why the Early North Russian

By the same token, I have my doubts (as indicated elsewhere[7]) concerning Vermeer's suggestion that the lack (nonimplementation) of the Second (Regressive) Palatalization of Velars in the Novgorod area – and, for that matter, in other peripheral regions of the compact Russian linguistic territory – can be best explained in phonological terms, that is to say, that the monophthongization of diphthongs (yielding $\check{e}_2$ and -i_2) had not yet reached these outlying Slavic regions so that the very precondition for the shift *k* > *c*, etc., was simply not present at the time. Vermeer's most recent attempt to account for the preservation of velar before *-e* (where the rest of Early Slavic has *-ъ*, type *zamъke*) I find, again, quite convincing (see note 5, Vermeer 1994).

As regards the Second (Regressive) Palatalization and its chronological relationship to the Third (Progressive, so-called Baudouin) Palatalization, different views have been voiced in the interwar period and later concerning their relative order, leading to the notion that possibly the labels «Second» and «Third», respectively, are misleading and should be reversed[8]. As is well known, the Progressive Palatalization operated in a number of Germanic loanwords borrowed by Common Slavic primarily from Gothic and Old High German. Among the relevant lexical items, one is of particular interest, namely, OCS *pěnędzь* 'coin' since it reflects OHG *penning-*, i. e., a form showing the *i*-umlaut *a* > *e* (PGmc **panningaz*) which can be dated to the 7th–8th centuries[9].

Nominative Singular in *-e* Does Not Palatalize Stem-Final Velars», *Russian Linguistics* 18 (1994), 145–157. On the Slavic conquest of northeastern Europe and the problem of a Finno-Ugric substratum in Russian, see H. Birnbaum, «Ešče raz o zavoevanii severovostočnoj Evropy slavjanami i o voprose finno-ugorskogo substrata v russkom jazyke», *Uralo-Indogermanica. Balto-slavjanskie jazyki i problema uralo-indoevropejskix svjazej. Materialy 3-ej balto-slavjanskoj konferencii*, Čast' I, Moscow, 1990, 411.

[7] See H. Birnbaum, «Reflections on the Language of Medieval Novgorod», *Russian Linguistics* 15 (1991), 195–215, esp. 201–203.

[8] Cf. K. Knutsson, *Über die sog. zweite Palatalisierung in den slavischen Sprachen*, Lund & Leipzig, 1926; N. S. Trubetzkoy, «Über die Entstehung der gemeinwestslavischen Eigentümlichkeiten auf dem Gebiete des Konsonantismus», *Zeitschrift für slavische Philologie* 7 (1930), 383–406; R. Ekblom, «Die Palatalisierung von *k*, *g*, *ch* im Slavischen», *Skr. utg. av K. Hum. Vetensk.-Samf. i Uppsala*, Uppsala, 1935, 29:5; id., *Die frühe dorsale Palatalisierung im Slavischen*, Uppsala, 1951. For further references see H. Birnbaum, *Common Slavic: Progress and Problems in its Reconstruction*, Reprint, Columbus, OH, 1979, 135–137 and 262–266; further H. Birnbaum and P. T. Merrill, *Recent Advances in the Reconstruction of Common Slavic (1971–1982)*, Columbus, OH, 1983, 27–29.

[9] Cf. V. Kiparsky, *Russische historische Grammatik*, Bd. III: *Entwicklung des Wortschatzes*, Heidelberg, 1975, 58. It has been suggested (by Kiparsky, among others) that

Other items with the same suffix – such as *kъnędzь* 'ruler, prince' (also attested as *kъnjazь / knjazь* in the Novgorod birchbark texts) < Gmc *kuning-*, *skъlędzь* 'coin' < Gmc *skilling-* (with an unexplained rendition of Gmc *ski* by Sl *skъ*), and *kladędzь* 'well' probably < Gmc **kalding-* do not offer phonological clues.

Given the identical outcome of the Second and Third Palatalizations and the fact that they must have either overlapped in time or even fully coincided (rather than merely following each other very closely, as previously assumed), I am inclined with S. Ivšić and A. Vaillant to indeed consider these identical shifts, albeit occurring in different phonological environments, as essentially one and the same sound change[10]. I would therefore simply label the *k* > *c*, etc., shift the Later Common Slavic Palatalization of Velars, reserving the term Earlier Palatalization of Velars (*k* > *č*, etc., before original front vowels) for the traditional First Palatalization. As a parallel to the Slavic evidence, note in this context the different treatment of velars before front vowels in Baltic (Lithuanian preserving *k*, etc., vs. the Latvian shift > *c*, etc.), in the Romance languages (Classical Lat *k*, Ital *č*, Fr, Sp *s*) and in Sanskrit *cā̆* [= čā̆] < *kē̆* vs. *kā̆* < *kā̆, kō̆*. Needless to say, similar phenomena can be found in a great many languages unrelated to Indo-European. For a phenomenon comparable to the Slavic progressive palatalization, cf. standard German *ach* vs. *ich* (a distinction unknown to several German dialects as well as to closely related Yiddish, where *x* prevails in both positions). Typologically the phenomenon of a front vowel affecting a preceding velar is clearly much more widespread than is the effect in the opposite direction, i. e., of a front vowel (or even merely an *i*-colored vowel) on a following velar. This is true of both the phonemic and the phonetic (subphonemic) level, so that it is highly unlikely that even the (phonetic)

Slavic *pěnędzь* could not have been borrowed directly from Old High German since here the initial consonant would have been *ph-* (probably pronounced as an affricate [pf]). It was therefore thought that this lexical item entered Slavic instead from Old Low German (where the consonant shift had not taken place). However, given the fact that Slavic did not have an autonomous phoneme *f* (encountered in Old Church Slavonic only in foreign, usually Greek, words and names) it is conceivable that OHG *ph-* was in fact rendered by *p-* in Old Church Slavonic. This explanation is also in better agreement with the general cultural-historical setting of Old Church Slavonic, which was in contact with Old High German (Old Bavarian) but not with Old Low German.

[10] See S. Ivšić, *Slavenska poredbena gramatika*, J. Vrana and R. Katičić, eds., Zagreb, 1970, 143–146; A. Vaillant, *Grammaire comparée des langues slaves*, T. I: *Phonétique*, Lyon & Paris, 1950, 55. See now also F. Kortlandt, «From Proto-Indo-European to Slavic», *The Journal of Indo-European Studies* 22 (1994), 91–112, esp. 100–101.

beginnings of the Progressive (Baudouin) Palatalization can be dated to an earlier period than that of the First (Regressive) Palatalization.

This then brings us precisely to the recent suggestion that the Progressive Palatalization was in fact the very first of the processes discussed here, or that, at the very least, its phonetic beginnings (*k* > *k'*, etc.) antedate the *k* > *č* shift[11].

To me this view is entirely unacceptable and I shall here briefly spell out my reasons for rejecting it, having done so from a different – broadly generative – point of view a number of years ago[12].

Let us take just a few items showing the result of the Progressive Palatalization. The word for 'father' in Slavic is, as is generally known, OCS *отьць* (R *otéc*, P *ojciec*, SC *ȍtac*, etc.), Slavic having lost this particular Indo-European kinship term[13]. From a word-formational point of

---

[11] This view has in recent years been advocated in slightly different versions by N. Chomsky and M. Halle, *The Sound Pattern of English*, New York & London, 1968, 420–430; R. Channon, *On the Place of the Progressive Palatalization of Velars in the Relative Chronology of Slavic*, The Hague & Paris, 1972; G. Jacobsson, «Odwieczny problem palatalizacji postępowej tylnojęzykowych w językach słowiańskich», *Göteborg Contributions to the Seventh International Congress of Slavists in Warsaw*, G. Jacobsson, ed., Göteborg, 1973, 49–74; id., «Some Problems Connected with the Third Palatalization in Slavic», *Scando-Slavica* 20 (1974), 187–195; id., «Die progressive Velarpalatalisierung im Slavischen phonologisch betrachtet», *Wiener Slavistisches Jahrbuch* 23 (1977), 70–75; H. G. Lunt, «Praslavjanskaja progressivnaja palatalizacija», *Slovansko jezikoslovje. Nahtigalov zbornik*, F. Jakopin, ed., Ljubljana, 1977, 167–181; id., *The Progressive Palatalization of Slavic*, Skopje, 1981; id., «On the Progressive Palatalization of Early Slavic: Synchrony vs. History», *Studies in the Linguistic Sciences* 15 (1985), 149–169; id., «The Progressive Palatalization of Early Slavic: Opinions, Facts, Methods», *Folia Linguistica Historica* 7 (1987), 251–290; id., «The Progressive Palatalization of Early Slavic: Evidence from Novgorod», *Folia Linguistica Historica* 10 (1989), 35–59; B. Velčeva, *Proto-Slavic and Old Bulgarian Sound Changes*, Columbus, OH, 1988, 31–45 (this monograph is the English version of her Bulgarian monograph published in Sofia, 1980). Lunt's view of 1987 was criticized by F. Kortlandt in his article «On Methods of Dealing with Facts and Opinions in a Treatment of the Progressive Palatalization of Slavic», *Folia Linguistica Historica* 9/2 (1989), 3–12; previously the Dutch scholar had treated this palatalization in an article published in *Folia Linguistica Historica* 5 (1984), 211–219.

[12] Cf. H. Birnbaum, *Problems of Typological and Genetic Linguistics Viewed in a Generative Framework*, The Hague & Paris, 1970, 74–76 and 92–122, esp. 103–113. This view, advocated also by previous Slavists, notably N. van Wijk, was rejected by Lunt, especially in his 1977 article.

[13] It is unlikely that Slavic *stryj* (EES *stryi*, *strъi*) 'paternal brother, uncle' represents a zero grade form of PIE **pətḗ(r)*, as suggested by G. Y. Shevelov (cf. his *A Prehistory of Slavic: The Historical Phonology of Common Slavic*, Heidelberg/New York, 1964/1965, 192). It should be noted that even earlier S. Feist considered the possibility of *pt* > *st*, if not as a regular sound shift, then as a substitution of *p* by *s* in this position (cf. his *Vergleichendes*

view *otьcь* consists of the root *ot-* (also found in ChS and EES *otьnь* 'paternal') and the suffix *-ьcь*. Slavic *ot-* represents an old – and often recoined – nursery word **at-* (known also, e.g., from Gk ἄττα, Lat, Hitt, Goth *atta*; cf. further the Gothic name form of the ruler of the Huns, *Attila*, literally 'little' or 'dear father'; note also such formations as P and SC *tata*, E *dad*, *daddy*, and the like). The Slavic suffix *-ьcь* had (like Gothic *-ila*) originally a diminutive or hypocoristic connotation and is the reflex of an earlier prehistoric form **-ьkъ* (< **-ikos*). The original **-k-* is clearly reflected in the Vsg *otьče*. Now, if the Progressive Palatalization had preceded the First (Regressive) Palatalization, it would not be clear why the Vsg form should be *otьče* and not **otьce* since there is nothing in the phonological system of Common Slavic (or Old Church Slavonic) that would not allow for the sound sequence *ce* or, for that matter, *cь*. Cf. also RChS *otьčьskъ* 'paternal, patristic' in the phrase *o(tь)čьskyja knigy* (in the *Vita Methodii*, ch. 15, in the sense of 'fathers' books', first recorded in the Uspenskij sbornik of the 12th/13th cc.). This form is thus actually attested, while, again, **otьcьskъ* would have been perfectly in accordance with the rules of Common Slavic (and Early Slavic) phonology. However, as the recorded forms have *-č-* (and not *-c-*) in this and similar instances (cf., e.g., further R *vótčina*, EES *otьčina* 'inherited possession', literally, 'paternal inheritance', with *v-* in modern Russian due to neoacute pitch, thus via diphthongal *u̯o-*), we have to posit a *k*-form which has undergone the First Regressive Palatalization (before original front vowel), with the result of the Progressive Palatalization setting in only later. Among the many other examples confirming this chronology, OCS *srьdьce* 'heart' has an adjectival form *srьdьčьnъ* 'cordial, heart-' derived directly from **sьrdьko* (and not from OCS *srьdьce*, CS **sьrdьce*, where, **srьdьcьnъ* would not have violated any phonological rules)[14].

Wörterbuch der gotischen Sprache, 3rd rev. & exp. edition, Leiden, 1939, 133). In fact, there is no need to associate the Slavic word with PIE **pətḗ(r)* since we know of more obvious cognates elsewhere in IE; cf. Lith *strujus* 'grandfather, old man', *strujus* 'uncle', OIr *sruith* 'old, venerable.'

[14] Similarly, the adjective *kъnęžьnъ* (EES *knjažьnъ*) 'princely' goes back to an older form **kъnęg-* or even **kuning-* as nothing would have precluded the coming into being of a form **kъnędzьnъ* (> **kъnęzьnъ*), had *kъnędzь* and not **kъnęg-* (**kuning-*) been the point of departure. Likewise, the OCS adjectives *črьnьčьskъ* 'monk-, monastic', *děvičьskъ* 'virginal, maiden's', *slъnьčьskъ* 'sun-, the sun's' can only be derived from **čьrnьkъ*, **děvika*, **sъlnьko*, since **čьrnьc-*, **děvic-*, **sъlnic-* would not need to shift *-c-* to *-č-* before the suffix *-ьskъ* (< **-isko*, an exclusively Baltic, Slavic, and Germanic isogloss).

Incidentally, the above data and reasoning also seem to confirm that the Second Regressive and the Progressive (Baudouin) Palatalizations can indeed be considered essentially one and the same process, albeit under varying phonetic conditions, as suggested above (following Ivšić and Vaillant), not the least in view of the fact that the *k* > *c*, etc., shift is frequently, yet not consistently, absent in the dialect of Old Novgorod.

In addition to the well-known forms with preserved *kě-*, *gě-*, *xě-* (*ke-*, *ge-*, *xe-*), we should mention here the numerous *x*-forms of the pronoun *vьsь* 'all.' Previously observed in some of the Novgorod chronicles (notably the Asgf form *vxu* for *vьsju*), the Novgorod birchbark texts have yielded a great many further examples of this particular retention, along with the otherwise regular -*s*-forms. Cf., e.g., *vxu* (= *vьsju*), *vxemь*, *vxemo* (= *vьsěmъ*), *voxo*, *voxь* (= *vьsь*), *vxogo* (= *vьsego*), *voxi*, *voxe* (= *vьsi*), *vxyxъ* (for *vьsě*!), *vxim(i)* (= *vьsěmi*), to mention only the most conspicuous examples[15]. There is, of course, no basis for contemplating any influence by analogy on the root of these pronominal -*x*-forms.

As indicated above, the number of examples contradicting the assumption that the Progressive Palatalization was in fact the first of the palatalizations of velars in Common Slavic could easily be multiplied. However, the above instances should suffice to demonstrate the futility of seeking to come up with «explanations» and «findings» merely for the sake of their being «new» or «original».

Ambiguous are, by the same token, such forms as OCS *kъnęžь* (EES *knjažь*, earlier *kъnjažь*, frequently attested in the Novgorod birchbark documents), since both *g* and *dz/z* would yield *ž* before the *-j-* of the possessive suffix *-jь*; the same, mutatis mutandis, applies to OCS *otьčь* 'paternal, father's', *děvičь* 'virgin's' and *starьčь* 'old man's', possessive formations of *otьcь*, *děvica*, and *starьcь* 'old man, elder, priest', respectively, where either **kj* or **cj* can underlie the *-č-* of the adjective.

[15] See *Novgorodskie gramoty na bereste (iz raskopok 1977–1983 gg.)*, Moscow, 1986, 269 (s.v. *vesь*); *Novgorodskie gramoty na bereste (iz raskopok 1984–1989 gg.)*, Moscow, 1993, 326.

Emily Klenin (UCLA)

On Correlative *i* in the Novgorod Birchbark Letters

Two successive clauses A and B in Russian may be separated from and joined to each other by a conjunction; if the conjunction belongs to the repertory of co-ordinating conjunctions, the combined pair of clauses typically constitutes a compound (co-ordinate) sentence, and if the conjunction belongs to the repertory of subordinating conjunctions, the combination is a complex sentence in which the main clause precedes its subordinate clause. In case A is an embedded clause and B its matrix clause, then if a subordinating conjunction occurs in the construction, it typically precedes A and not B, and the repertory of conjunctions from which it is drawn is restricted. A and B need not be joined or separated by any conjunction, and where A is an embedded clause and B its matrix the occurence of conjunctions between A and B is highly restricted, the best-known type probably being the occurence of a conjunction *a* or *no* after concessive clauses beginning in *xotja* (Karcevski 1956: 39, Buslaev 1959: 541). Adapting to English the traditional Russian terminology, I will call a conjunction following embedded A and preceding matrix B a correlative conjunction.

In Old and Middle Russian, correlative conjunctions are more widespread than in the modern language, and their use depends on the nature of embedded clause A and the choice of conjunction, if any, preceding it. The main contexts for correlative conjunctions are relative-clause constructions, on one hand, and conditional and circumstantial constructions, on the other; these are both types of complex sentences in which the order "embedded clause + matrix clause" is usually considered basic, as distinct from, for example, purpose clauses, which normally follow their matrix and, when preposed, do not trigger correlative conjunctions in Old, Middle, or modern Russian. Thus, correlative con-

junctions appear in matrix clauses not only just when they follow and not precede their embeddings but also only when this order is the basic one; the appearance of the correlative is therefore not triggered by preposing the embedded clause, but rather represents an explicit connection between two successive clauses, similar to that expressed in clause-level coordination of two equal-ranked clauses. It is generally agreed that conditional clauses do not necessarily require an explicit conditional marker preceding the A (protasis) clause, and it can be argued that the relative constructions can also exist without their relative marker. Examples of this might be the following, from Novgorod birchbark № 363: *a solodъ ržanyj v potklětě i ty vozmi; a mukě kolko nadobь i ty ispeki v měru.*

The Synod Copy of the First Novgorod Chronicle shows several competing usages (Istrina 1919–21: 225); whereas the Slavonic conjunction *ašče* occurs either with no correlative or with a correlative *tъ*, much like *esli... (to)* in modern Russian, the non-Slavonic conjunctions *ože* and *aže* take the correlative conjunction *a*, a usage that has no parallel in the modern language. As already indicated, the Novgorod birchbark letters also show correlative conjunctions, most often *a* or *i* (Zaliznjak 1986: 159–60); as in the First Novgorod Chronicle, several other correlative conjunctions also occur, but they are used more rarely and will not be discussed here. Zaliznjak notes that, in those clauses that may take a correlative conjunction, their absence is relatively rare in the earliest period (prior to the thirteenth century), and that correlative *a* and *i* appear largely at different times: *a* and not *i* occurs up to the end of the thirteenth century, whereas *i* predominates in the fourteenth and fifteenth centuries. The usage of the Novgorod Chronicle and the birchbarks is thus mutually consistent: the last indisputable example of correlative *a* that Istrina finds in the chronicle is s. a. 1224, with another possible example s. a. 1230; the earliest birchbark examples of correlative *i* are from birchbark № 142, dated 1299–1313. By the seventeenth century, correlative *a* is completely lost from Middle Russian; the correlative conjunction *i* appears instead in a variety of Russian texts (Korotaeva 1964: 7–17), although the only correlative available for some conditional conjunctions is *to*, as in the modern language (Morozova 1973).

Thus, the use of correlative conjunctions varies across time and according to the nature of the clause A with which clause B is correlated, as well as depending on what conjunction appears to the left of the A clause. Within the birchbark letters, we may also note that the use of correlative *a* or *i* corresponds to slightly different syntactic conditions

within the B clause. Whereas there seem to be no clear constraints on what may immediately follow correlative *a*, it seems that correlative *i* must immediately precede a noun phrase, nearly always a pronoun (a possible exception is in birchbark № 157, which may however have a different structure entirely). In two instances, an apparent example of correlative *i* is followed by an object (*i tyi ospodine koně zaxarьja vъdavaetь*, № 446; *kotorъ ostalisja i ti xotja[t]*, № 301)[1]; otherwise, *i* is followed by clause-initial subject, always (or nearly always, depending on the interpretation of № 157) a pronoun: one clause has a first-person singular subject (№ 610), one seems to have a third-person singular subject (№ 697), and the other clauses (birchbarks № 142 [2 x], 414, 446 [2 x], 697, 129, 363 [2 x?], 364, 021 [2 x?], 243, 374) all have second-person subjects. Since explicit personal-pronoun subjects are uncharacteristic of the earlier period, it may seem that the preference for an explicit subject form with *i* and the lack of such preference with *a* corresponds to a more general growth in the use of subject pronoun forms; however, throughout the birchbarks, the correlative conjunction occurs nearly entirely in imperative clauses, while the growth of subject pronoun forms is a phenomenon characteristic of the indicative and not the imperative. Therefore, the appearance of the subject in the correlatively conjoined imperative clauses must either represent the automatic result of correlative conjunction, or the appearance of the subject must be independently motivated.

According to V. I. Borkovskij (1968: 17–60), the second-person pronoun imperative subject in these examples is motivated by the contrastive status of the imperative subjects; however, there is little if any contextual support for such an interpretation of most of our examples. Certainly, *i* can function not only as a conjunction but also as an emphatic particle, and a single occurence of *i* may even do double duty: there is no "*i i ty*" meaning "and [conj.] *you* [and not someone else]", so one might argue that such structures are filtered out through deleting one of a pair of underlying *i*'s. Thus, modern readers encountering "*i* + noun phrase" may not always have sufficient information to decide whether *i* is a conjunction or an emphatic particle, and it might even be that a single *i* in fact represents both possibilities. It should also be noted that the appearance of the imperative subject in our texts may be motivated not contrastively, that is by the need to contrast the actual subject with another possible one, but rather by the writer's wish to focus on the accomplishment of the event presented in the imperative; the focusing effect of *i* would in such instances be not on the subject itself (although its surface realization is nonetheless triggered by the *i*) but rather on the

whole predication: the whole A clause provides a topic, either something the hearer already knows about but needs to be reminded of in order for the communication to be made ("as for the horses you gave me..."), or a hypothetical situation the hearer needs to keep in mind so as to know what to do should it arise ("if she wants to sell to you, do buy"); the B clause gives the hearer the point of communication: Zaxar is giving those horses away, please provide for my wife, and so on. The correlative *i* thus marks the onset of the communicative focus, and its delimitation from the background part of the communication. Insofar as *i* takes over as the normal correlative in the fourteenth and fifteenth centuries (and it should be remembered that the correlative remained a facultative element), this may be related to its more general function in marking focus, whether contrastive / emphatic or not. The earlier correlative *a* apparently lacked such a function. The cost of introducing an explicit clause-level focus-marker (assuming the correlative conjunction in fact to be a different entity from the particle) is ambiguity between it and its phrase-level homonym, a problem in interpreting the force not only of imperative subjects but also some objects (№ 301, 157); the likelihood of a given occurence being uninterpretable, however, was surely considerably less for the original readers of the texts than for us, and even today the degree of possible misinterpretation is rather small.

In view of the new use of correlative *i* in the fourteenth and fifteenth centuries, it might be anticipated that the number of occurences of *i* as a clause-level conjunction would show an increase, relative to earlier centuries. In fact, however, when we take into account the overall size of the corpus of birchbarks of different periods, there is no appreciable difference in the frequency with which *i* occurs. Instead, correlative *i*, for the period when it occurs, constitutes a very large part of the functional load of *i* in general, and the more differentiated syntactic repertory of the twelfth century, in particular, is reduced. (From before the twelfth century, there are no examples of Novgorodian usage of clause-conjoining or verb-phrase-conjoining *i*; the birchbarks in which examples occur [№ 246, 109] are apparently written by non-Novgorodians.) In the twelfth century, *i* is used to conjoin main-clause infinitives in impersonal constructions (№ 724), to conjoin embedded personal verb forms (№ 9), to conjoin clauses across changes in mood (№ 731) and to concatenate a main clause to a preceding embedded clause of a preceding sentence (№ 724, 731); by the fifteenth century, none of these uses of *i* is attested, either because the conjunction is no longer used in the given context or because the context itself has ceased to appear. The overall impression is one of syntactic impoverishment.

One interesting loss from the corpus between the twelfth and fifteenth centuries is the use of *i* introducing the conventional excipits *i čěluju tja* or *i poklanjaju ti sja*; there are no examples of these phrases later than 1213, plus a lone *i molju va sja* from sometime before 1250; we may wish to group with such formulae the Slavonic usage of birchbark № 128, from the end of the fourteenth century. The excipit usage provides evidence that *i* is used in the early birchbarks as a delimiter of boundaries between significantly different parts of the text, albeit in a Slavonic formula.

A second usage of interest for our discussion is the appearance of *i* in adversative contexts, where the modern Russian translation of the text has *a* or *no*: *zvalo jesmь vaso v gorodo i vy mojego slova nь poslushali* (№ 345; cf. № 235, 53, 3, 305). All but one of the contrastive *i*'s is from the fourteenth or fifteenth centuries, that is contemporary with the growth of correlative *i*; for modern Russian of course the prototypical adversative conjunction is *no*, but in the birchbarks it occurs only in two early texts (№ 605, 652), both times apparently as a Slavonism. It has been argued (Stecenko 1979: 30–32) that in adversative constructions with *i* the adversative meaning is not contributed by *i* but is inherent in the semantic make-up of the clauses themselves, in that verbs of the conjoined clauses are semantically incompatible, or the verb in the second clause is negated (for discussion of *no ne* in modern Russian, cf. Janko 1990). According to Stecenko, *i* is the most frequent and most neutral of all conjunctions in Old and Middle Russian, and for this reason it can function in virtually any environment, including those whose inherent meaning is adversative. It is sometimes said that *i* in Modern Russian enjoys a similar status (Ljapon 1980: 617, but cf. Karcevski 1956, passim), but the modern language has less place for such constructions; *i* apparently occurs in modern adversative constructions only if the speaker is presenting a personal response to the event (or non-event) of the second clause as unexpected or inappropriate in relation to the meaning of the first clause, whereas adversatives with *no* do not express such speaker involvment (Kručinina 1988: 86). In the absence of the regular use of *no*, it is unlikely that adversative *i* in the birchbarks has the same value as it does in Modern Russian, nor is it clear how widespread the adversative use of *i* is in Old and Middle Russian generally; adversative *i* in the birchbarks, however, is of some interest in relation to contemporary use of correlative *i*, since both the correlative and the adversative link clauses that are not only successive but also differentiated as backgrounded clause A and focus clause B. In both correlative and adversative constructions, the speaker appeals to a hearer's under-

standing of their shared situation and the expectations that inhere in it. Whereas correlative constructions start from reminding the reader of a known situation or setting up a hypothetical one, and then proceed to inform him of the writer's expectations and demands with respect to it, adversative constructions start from either new or old information and then inform or remind the reader of the defeat of the expectations the sentence has just raised. This pragmatic orientation toward speaker and hearer's expectations can be contrasted with, for example, the better-known clause-chaining function of *i*, found in chronicles and other narrative texts.

Note

[1] Throughout, birchbark texts are listed in approximate chronological order. For the convenience of the reader, I have appended a complete list of the bichbarks referred to in the text, with their dates and publication information. Dates are given according to the 1986, 1993, and 1994 publications, but some years are derived from approximations (e. g., "the mid-1190s to late 1220s" become "1193 to 1229").

References: Birchbark Texts

##	Approximate Date	Published Source
003	1396–1409	A. V. Arcixovskij, M. I. Tixomirov, edd., *Novgorodskie gramoty na bereste. Iz raskopok 1951 g.*, Moscow: 1953.
009,	1177–1197.	*Ibid.*
021,	1409–1422	A. V. Arcixovskij, ed., *Novgorodskie gramoty... 1952 goda.* Moscow: 1954.
053,	1313–1340.	*Ibid.*
109,	1096–1116.	A. V. Arcixovskij, V. I. Borkovskij, edd., *Novgorodskie gramoty... 1953–1954 gg.*, Moscow: 1958.
128,	1382–1396.	*Ibid.*
129,	1396–1409.	*Ibid.*
142,	1299–1313.	A. V. Arcixovskij, V. I. Borkovskij, edd., *Novgorodskie gramoty... 1955 g.*, Moscow: 1958.
157,	1409–1161.	A. V. Arcixovskij, V. I. Borkovskij, edd., *Novgorodskie gramoty... 1956–1957 gg.*, Moscow: 1963.
243,	1422–1429.	*Ibid.*
246,	1025–1096.	*Ibid.*
301,	1422–1446.	*Ibid.*
305,	1409–1422.	*Ibid.*
345,	1340–1369.	A. V. Arcixovskij, ed., *Novgorodskie gramoty... 1958–1961 goda.*, Moscow: 1963.
363,	1382–1409.	*Ibid.*
364,	1400–1499.	*Ibid.*
374,	1400–1499.	*Ibid.*

414,	1340–1360.	A. V. Arcixovskij, V. L. Janin. edd., *Novgorodskie gramoty... 1962–1976 gg.*, Moscow: 1978.
446,	1340–1396.	*Ibid.*
605,	1125–1150,	V. L. Janin, A. A. Zaliznjak, edd., *Novgorodskie gramoty... 1977–1983 godov*, Moscow: 1986.
610,	1387–1412.	*Ibid.*
652,	1193–1229.	*Ibid.*
697,	1360–1395.	V. L. Janin, A. A. Zaliznjak, edd., *Novgorodskie gramoty... 1984–1989 godov*, Moscow: 1993.
724,	1150–1200.	V. L. Janin, A. A. Zaliznjak, "Berestjanye gramoty iz novgorodskix raskopok 1990–1993 gg." *Voprosy Jazykoznanija* 1994, No. 3, 3–22.
731,	1140–1160.	*Ibid.*

References: Secondary Literature

Borkovskij, V. I.: 1968, *Sravnitelьno-istoričeskij sintaksis vostočnoslavjanskix jazykov. Tipy prostogo predloženija.* Moscow.

Buslaev, F. I.: 1959, *Istoričeskaja grammatika.* Moscow: Gos. uč.-ped. izd-vo.

Istrina, I. S.: 1919–21, "Sintaksičeskie javlenija Sinodalьnogo spiska I Novgorodskoj letopisi". *IORJaS* 24. 1–17 and 26. 207–239.

Janko, T. E.: 1990, "Ešče raz o sojuzax *a* i *no*". *Logičeskij analiz jazyka. Protivorečivostь i anomalьnostь teksta*, N. D. Arutjunova, ed., Moscow.

Karcevski, Serge: 1956, "Deux propositions dans une seule phrase. Études de syntaxe russe". *Cahiers Ferdinand de Saussure* 14. 36–52.

Korotaeva, E. I.: 1964, *Sojuznoe podčinenie v russkom literaturnom jazyke XVII veka.* Moscow.

Kručinina, I. N.: 1988, *Structura i funkcii sočinitelьnoj svjazi v russkom jazyke.* Moscow.

Ljapon, M. V.: 1980, "Složnosočinennye predloženija". *Russkaja grammatika*, II. Moscow.

Morozova, S. E.: 1973, "Složnopodčinennye predloženija uslovija". *Sravnitelьno-istoričeskij sintaksis vostočnoslavjanskix jazykov. Složnopodčinennye predloženija.* Moscow.

Stecenko, A. M.: 1979, "Složnosočinennye predloženija". *Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Sintaksis. Složnoe predloženie*, V. I. Borkovskij, ed., Moscow.

Zaliznjak, A. A.: 1986, "Novgorodskie berestjanye gramoty s lingvističeskoj točki zrenija". *Novgorodskie gramoty na bereste. Iz raskopok 1977–1983 godov*, V. L. Janin, A. A. Zaliznjak, edd., Moscow.

Dean S. Worth

Omega, especially in Novgorod

1. Introduction

The nearly perfect one-to-one match between the graphemes of the early Slavic alphabets and the phonemes they represent is marred only by the lack of a graph for /j/, the doublets **и** and **i** and a handful of Greek letters, among others **ѡ**, with a phonological value equal to that of **о**. Since the «extra» letters were, by and large, phonologically superfluous [1], they were put to work in other functions such as counting, decoration, marking position within the word or the sentence, and distinguishing between homophonic grammatical categories. In Cyrillic OCS, for example, **и** = 8 and **i** = 10, Θ = 9, **ѡ** = 800, etc. At various points in Russian orthographic history, **ѡ** was used to mark masc. gender, e.g. **ѡнъ** — **она** (Jagić 1896 / 1968: 279, Worth 1983: 30), or number, in both stems and endings, e.g. **облакь** — **ѡблаци**, instr. sing. **аггломь** — dat. plur. **агглѡмъ** (Jagić 1896 / 1968: 432, Worth 1983: 22, 51–52). New Russian Church Slavonic **ѡ** continues to distinguish dative plural **мѣстѡмъ** from instrumental singular **мѣстомь**, the adverb **тайнѡ** from the neuter singular adjective **тайно**, etc., and similar devices can be observed in texts from the sixteenth century (Mareš 1992: 35 and additional material in Mathiesen 1972). In this note I shall survey some of the uses to which **ѡ** has been put, with particular reference to the situation in medieval Novgorod, the language of which has been so penetratingly analyzed by Andrej Anatol'evič Zaliznjak. Section 2 will survey the functions of omega in Old Church Slavonic texts, section 3 will do the same for early East Slavic texts other than those that can specifically be attributed to the Novgorod area, and section 4 will examine the situation in medieval Novgorod. Earlier studies, to the extent they are known and available to

me, will be supplemented by more original investigation there where this seemed useful and feasible.

2. OCS Texts

In glagolitic, both **8** («онъ») and its doubled version **88** («отъ») go back to the ninth-century Greek form of omega, ꙍ (Šafařík 1870: 13, cited in Vajs 1932: 68, 72). Glagolitic omega is used (often in Zographensis, Euchologium and Psalterium Sinaiticum, seldom in Marianus) mainly in sentence-initial position, i. e. as a text-boundary marker, and is usually capitalized. Otherwise, it appears mostly in exclamations (Diels 1932: 24, 40–41). In the Prague Fragments, to judge by the excerpts in Mareš 1979: 41–45, omega appears only in exclamations (**ѡ колика блага** 2b3), while in the Kiev Leaflets it does not occur at all (Mareš 1979: 49–60). Similarly, Cyrillic **ѡ** is regular in Savina Kniga, but only in headings, not in the text itself. The OCS texts show no consistent orthography for the preposition {ot}. Of all the occurences (including glagolitic) in the Czech OCS dictionary (Kurz 1958–) 71 / 115 or 62% spell prepositional {ot} as **от** (with **т** on line or superscripted) and 44 / 115 or 38% have **ѡт** (idem). Usage varies widely from text to text, with five or more occurences of **ѡт** in only five late texts from three separate areas[2], while another twenty-odd mss., including Zographensis, Assemanianus, Savina Kniga, and the Ostromir Gospel, have from one to three exx. each. This data fails to show any consistent OCS tradition that might help account for the sometimes more systematic East Slavic data.

3. East Slavic Texts other than Novgorodian

The oldest East Slavic texts, according to Karskij (1928: 200–201), use omega most often in the preposition ѿ (with superscript **т**), less frequently as a grammatical marker to distinguish the vocative (**ѡ роде, ѡ człowѣче**) from the locative (**о родѣ, о человѣцѣ**) and in foreign borrowings, especially proper names. Individual East Slavic texts differ as widely among themselves as do those in OCS. As background for our examination of Novgorod texts below, we investigate a sample of the use of omega in other East Slavic texts.

The Ostromir Gospel of 1056–1057 makes very restricted use of omega. As the glossary in Vostokov 1845 / 1964 shows, the Gospel

passages themselves show six instances of an independent exclamation ѡ (**ѡ несъмысльна** 5b, see also 73b, 88a, 102b, 115v, 133b) and equally scattered occurences of anlaut **ѡ-** in other words (**ѡсанна** 141a, b, **ѡ҇че авраамe** 96g [but regularly **о҇че**], **ѡчищении** 9g). Word-internally, omega appears «in a few proper names, for ex. **иѡанъ, иѡсифъ**» (Vostokov, «Grammatičeskie pravila» = [part 2 of Vostokov 1845 / 1964], 2). In the small headings identifying the Gospel passages and the saints' days on which they are read, omega appears frequently (c. 130 times) in the preposition **ѡт**, whereas the spelling **отъ** is more frequent yet (c. 186 occurences). The distribution of **ѿ** and **отъ** in these headings is a bit of an oddity: throughout the first five-sixths of the text the two spellings are in complementary distribution, the one or the other strongly predominating in alternate passages of from seven to ninety folia, as follows:

		ѿ	**отъ**
folia	1–24	22	0
	25–38	0	13
	39–129	90	3
	130–154	1	13
	155–228	54	8
	229–253	8	48
	254–261	11	0

In the final sixth of the ms. (folia 262–294) no such complementary distribution is observed; on the contrary, the 73 **отъ** and 45 **ѿ** variants tend to cluster together, as do the headings themselves, which occur not separately but in «bunches». The distribution of **ѿ** and **отъ** is presumably due to the habits of the different scribes who wrote these headings, if different they were; alternatively, the variant spellings could stem from an irretrievable protograph about which we could only speculate [3].

In the 1073 Izbornik omega is, overall, a rarity. In four eleven-folio samples ($1–10v_{\beta}$, $50_{\alpha}–60v_{\beta}$, $100_{\alpha}–110v_{\beta}$, $150_{\alpha}–160v_{\beta}$), totalling 165 columns of text, omega appears only 44 times, or roughly once per four-column folio. Unlike all other mss. surveyed for this article, the 1073 Izbornik uses omega primarily (28/44 — 64% of all occurences) in borrowed proper names, where it occurs word-internally, not only after vowels, as in other mss. (**Вироулиѡнъ** 154_{α}, **іѡаннъ** etc. $6v_{\beta}$, $7v_{\alpha}$, $51v_{\alpha}$, $107v_{\alpha}$, 151_{α} 2x, **і|ѡрдана** 59_{β}, **іѡсифово** $60v_{\alpha}$, **іѡвъ** etc. $9v_{\alpha}$, 103_{β}, 110_{α}, $110v_{\alpha}$, **Ѳеѡдоритово** $106v_{\alpha}$, **Ѳеѡлогово** $105v_{\alpha}$, **логиѡнъ** 152_{α}), but also in scattered examples in postconsonantal position (**аарѡново** 50_{α}, **мѡуиси** etc. 7_{α}, $7v_{\alpha}$, 9_{β}, $9v_{\alpha}$, 50_{α}, $51v_{\beta}$, 152_{β}, 153_{α}, **рѡманъ** 1v, **сѡломо-**

на $56v_{\alpha}$, **Өеодѡрово** 57_{α}. Prepositional and prefixal {ot} spelled with omega are less prominent than in most early mss. (here, 12 exx. = 27%), and both prepositions and prefixes appear with both superscript and on-line /t/ (ѿ, ѡт): **ѿ ба** $57v_{\alpha}$, **и ѿ|сего** $58v_{\alpha}$, **ѿ зависти** $58v_{\alpha}$, **ѡ шестааго псалмоса** $58v_{\beta}$, **ѡтъ того** $105v_{\alpha}$, **ѡвѣ^т** $51v_{\alpha}$, $53v_{\beta}$, **ѡ|тъвѣштаꙗ** 150_{β} (but **отъ|вѣштаꙗ** $150v_{\alpha}$, **отъ|вѣтъ** $150v_{\beta}$); with {o} **не ѡблѣ|че** 152_{β}, **|ѡбрѣта́ѥть же ся** 154_{α}[4]. Other uses of omega are very rare: in anlaut **|ѡнӱхионроусъ** (?) 154_{α}, **ѡнъ кнѧзь** 109_{α}, in auslaut **іакѡ** 55_{β}, as an exclamation **не вѣржеши ѡ члче** 4.

The Izbornik of 1076, if one accepts the brief comments of its editors (Izbornik 1076: 98, 102) shows omega only in Part 1 of the ms. (which is in fact the entire ms. except for folia 228v–236 and 243v–259_{1-9}, while in Part 2 it occurs only in the ligature ѿ. The text itself, however, reveals a more complex situation. Omega appears in five environments: (1.1) In anlaut, the preposition {ot} → **ѡт, ѿ**: **ѿ||бѣсъ** 17v–18, **ѡтъ** 21v, 34, 134, **ѡ|тъ** 41, **ѡ|тъ нихъ** 162v, but **отъ|** 2v, 31v, 73v etc., **о|тъ** 83, 245v, 251v., **оть** 97, 103v, 105, etc.; (1.2) In anlaut, in the prefix {ot-} → **ѡт, ѿ**: **ѿвѣт** 19v, 114v, 117, **ѿвързенъ|** 24v, **ѿ|вѣштати** 25v, **ѿтоудоу** 65, **ѡ|тъпоустите** 200v, **ѿврѣщи ся** 238, **ѿходяшта** 247, **ѿ|женеть** 252v.; (1,3) In anlaut, other than 1.1–2, /o/ → **ѡ имѣньи** 17, **ѡбрадоу<и>** 20, **ѡлтарѧ** 21v, **ѡхъ мьнѣ** 39v, **ѡни** 71v, **ни ѡ комь** 105, **ѡнъ** 130, **ѡному** 220; (2.1) Internally in Greek words, usually but not always in postvocalic position: **iѡан|** 4, **Ïѡанъ** 54v, **въ сиѡнѣ** 82v, **Өеѡдора** 112 (but in a heading **Өеодоры** ibidem), **иѡ|ва** 122v, **иѡвляхъ** 128v, **иї|ѡвѣ** 132v, **иѡана** 195, **виѳлеѡ|мѣ** 209v, **геѡргїа:|** 238, **иѡїла** 264v; **просфѡра** 21v; (2.2) Internally, in Slavic words: (a) in roots **въсхѡдить** 21v, **исхѡ|дѣ** 40 (but **въсхожю** 45, **исходѧ** 12. **исходѣ** 21), **прѣмѡ|жеть** 135, **понѡ|шениѥ** 155, **норѡвъмь** 109, **нарѡ|дъ** 129v (but **народѣ||** 141), **глагѡлѫть|** 131v, **въсхѡ|тѣвъшѫ** 214, **глагѡ|люшта** 219 (but **гла|гола** 118, **гла|голааше** 97v, **глаголю** 273, **гла|голѧ** 212v); **ѡ** occurs on a line or page break in 12 = 71% instances, elsewhere in 5 = 29%; (b) in endings (all on the line break) **всѧкѡ|моу** 71, <**ктѡ|**> 182v, **о҃чьскаагѡ|** 190, **такѡ|** 209; (c) in prefixes (other than {от} **пѡгрѣбаи** 113v, **|проѡчиштаюꙇть** 210v, **пѡ|гыбѣль** 268; (d) others: **вѣрѡ|вати** 100, **оуродѡсловиѥ** 204v.

In the 1092 Archangel Gospel, Lunt (1949: 61, 85) finds the first hand rather conservative, using omega in the preposition and prefix ѿ but otherwise only in a few isolated forms, e. g. **ѡнъ, ѡставлѧю, ѡбаче**, whereas the second scribe extends use of **ѡ** to borrowed names (**Іѡаннъ** regularly, **Іѡсифъ** often) and occasionally uses it in Slavic words, especially when two /o/s occur together (**ѧко ѡ семь, по ѡбычаю**). The

Mstislavova Gramota of c. 1130[5] has ѿ regularly in prefixes (**ѿдати, ѿꙗти, ѿимаѥть**) and usually internally after vowel (**геѡргиꙗ**, **изоѡ-станеть**), and in anlaut (на **ѡбѣдѣ, ѡбѣдаѥть**, but **осеньнѥѥ**). The 1219 Life of Nifont, if one can judge by the chrestomathy excerpt available to me in Obnorskij-Barxudarov (1952: 39–43), uses ѿ for the preposition — prefix (**ѿ нихъ, ѿвѣща**, and has only **ѡ**, never **о**, in all words beginning with /o/ (**не ѡсоужаи, ѡнѣхъ, ѡпрѧгосте, ѡвы**, etc.)[6]. The Forty Homilies of Gregory the Great, originally an 11th c. Bohemian translation from Latin, are in their oldest extant form found in a 13th c. Russian Cyrillic ms. (Mareš 1979: 28–30, 85–97). They generally show word-initial /o/ → **ѡ**, both in Biblical incipits (28–30) and in the homilies themselves (85–97), e. g. (incipits) **ѡ грѣсѣ, ѿ вас, ѿстоꙗщюю, ѡбители, ѡбрѣте**, the sole exception being **оц҃ь** 'God the Father' 195b$_\alpha$ 14; there is also one example of internal postvocalic /o/ → **ѡ**, **въ вифлеѡмѣ** 42a$_\alpha$. The Mareš chrestomathy's homilies provide additional examples of anlaut /o/ → **о**: **о мысли** 2b$_\beta$20, **ослабѣють** 2b$_\beta$21, **обложить|** 304b$_\beta$13 et al., although the /o/ → **ѡ** is still far more frequent and some forms occur in both spellings, e. g. always **оц҃ь**, but both **оч҃е** 197a$_\beta$13 and **ѡч҃е** 197a$_\beta$14 etc. At line end /o/ within a word → **о**: **о|бители** 196b$_\alpha$ 18–19, **ѡбитель|** 196b$_\alpha$156, **ѡбите|ли** 196b$_\beta$14–15, etc., as if the form with omega were the neutral form and that with **о** the marked form found only at line-end. Capital **О** and not **Ѡ** serves as a text-boundary marker when a new passage begins after the major juncture marked by ⁘, e. g. ⁘ **О нѣмьже** 198a$_\alpha$12–13, ⁘ | **Оно разоре-ниѥ** 304a$_\alpha$8–9, and, most tellingly, · **и ѿходить** ⁘ **Отходить · плътью** · || **пребываѥть · бжⷭв-|ъмь** · 197a$_\beta$23–197b$_\alpha$2.

The Prayer against the Devil (Russian cyrillic, 2nd half of 13th c.; Mareš 1979: 64–68) regularly shows **ѡ** in anlaut, including the preposition and prefix {от}, **ѡканеныи**, ѿ 4x, **ѿимѣте, ѿтоле, ѡти-ноудъ, ѡбличениѥ**, and has one example of internal postvocalic omega in **иѡве**.

4. Novgorod Texts

With the exception of a few very early birchbark letters, the oldest Novgorod text is that of the Minei of 1095–1097, published in Jagič 1886. In the Minei, sampled in p. 1–10, 100–110, and 200–210, omega appears regularly only in the preposition-prefix {ot}, occasionally also in anlaut or internally after vowel, for example in prepositional {ot} **ѿ мира** 10, **ѿ спаса** 11, **ѿ лица** 102, **ѿ вьсѣхъ** 102, **ѿ напасти** 201, **ѿ оудесъ** 201; in

prefixal {ot-} **ѿложьша** 10, **ѿсече** 11, **ѿжени** 101, **неѿꙗтами** 102, **ѿвьрзлъ еси** 109, **ѿвьрьзи** 202 (but **отъ** 6b, 10b, 202, **отъиноудъ** 202). Occasional, inconsistent uses are found in **ѡвьца** 5, **ѡц҃а** 12, **ѡц҃ь** 102 (but **отца** 6, **оц҃мь** 8, **оц҃оу** 11 etc.), **ѡгнѧ** 208, **ѡгнь** 210 (but **огнѧ** 102, **огньмь** 208), **ѡ вьсѣхъ** 4, **ѡ насъ** 108 (but **о сп(а)сении** 5, **о всемь** 10, **о вьсѣхъ** 204 etc. Internally, after vowel: **мⷢноѡбразьноѥ** 7, **їѡ(а)не** 205 (but **о Ѳеодоро** 102, **приоде** 101, **присноодьржимоу** 107). In effect, the 1095–1097 Minei are guided by almost the same system as the older birchbark letters (to the mid or latter 13th c.), namely with **ѡ** restricted to {ot}, but this orthographic convention is followed more rigidly there than here. One might at first be tempted to attribute this difference to the differing habits of secular vs. monastic scriptoria, were it not for the fact that it is precisely the older birchbark letters which show greater religious influence (the initial cross, Slavonic **покланѧниѥ** instead of later **поклонъ**; see Worth 1983b, 1990).

The post-1192 Gramota of Varlaam employs omega only in prefixpreposition **ѿ**: **ѿѧти**, **ѿ нивъ ли**, **ѿ пожьнъ ли**, **ѿ ловищь**, but **огородъ, на островѣ, отрокъ, георгиѧ**. It was obviously written in Novgorod, and obviously in a non-monastic scriptorium (or, at the very least, in a scriptorium that paid little attention to the conventions of more solemn «literary» texts), as shown by the dialectal nom. sing. masc. ending **-е** in **Се въдале Варламе**, absent for example from the Mstislavova gramota adduced in section 3 above. This is the same orthographic system as that of the earlier Novgorod birchbark letters (see below). At first glance, this restricted use of **ѡ** seems identical to the orthography of the first hand of the Synodal First Novgorod Chronicle (Dietze 1971), which indeed uses omega in the preposition **ѿ**, as reported by Ljapunov (1900: 10). The chronicle's usage, however, is somewhat more complex than Ljapunov thought: a sample (folia 1–20b) shows **ѡ** not only in the preposition **ѿ** (6x), but also in verbal prefixes (**ѿріноуша** 1, **ѿпусти** 16, **ѿпоустишѧ** 46, **ѿвьржесѧ** 13, **ѿступити** 17, once in an exclamation, **ѡ велика бѧше бѣда** 3b–4 (but **о велика бѧше сѣцѧ** 4b et sim. 10b), and occasionally in proper names, e. g. **ѡльгъ** 2v, and regularly in abbreviations of the proper name **Iѡаннъ** 5b (2x), 7b, 8, 11, 12, 13 (2x)[7]. The second hand of this chronicle, from the middle of folio 62 on, is somewhat more generous in its use of omega, as show by the examples in Dietze 1971: 131 **Кондофъ ѡ фланъдръ** (Count of Flanders) 71, **ѡдва** 99v.

The functions of omega in the Novgorod birchbark letters have been admirably summarized by Zaliznjak 1986. The older orthographic norm used omega only in the digraph **ѿ** and the usual {«narrow»} o everywhere

else (with a few exceptions such as the traditional church spelling **Иѡанъ**). Beginning in the latter 13th c., /o/ in anlaut and in post-vocalic internal position is marked orthographically by omega or some other marked form of the letter (the broader «о широкое» or the dotted «о очное» ꙩ). We can add only a few comments to Zaliznjak's description. First, the extreme paucity of verbs in {ot-} in the older period makes it impossible to state to what extent ѿ was regular not only in the preposition but also in the prefix[8]. Gramota 724, from the second half of the 12th c. (Janin-Zaliznjak 1994: 9–11), has **отъбыти** but also **ѿѧли**[9], and no. 748, same date, has [ѿ]**дасть**, but the tracing is too indistinct, at least as printed, for the ѿ to be considered a convincing reading. No. 676, ibidem: 63–64, from the 1190s, has **отопоу|(с)ти**, with missing **с** but otherwise clearly legible in the tracing. Second, it should be noted that prepositional ѿ occurs primarily, and until the early 13th c. exclusively, in incipits, e. g. **ѿ савы покланѧниѥ къ братьи**, 724, 2nd half of 12th c.[10]. Given the unclear situation with prefixal {ot-}, this means that omega was functioning primarily as an incipital boundary marker. In the older period it, like other incipital features such as the prefixed cross and the Slavonic **покланѧниѥ** (vs. later **поклонъ, челобитиѥ**; see Worth 1983b), omega marked the beginning of the text; later, when omega came to represent /o/ at the beginning of any word whatsoever, its delimitative function was narrowed to mark the beginning of the individual word, while ѿ continued, in addition, to mark the onset of the entire text.

The Synodal copy of Pravda Russkaja, preserved in the 1282 Novgorod Kormčaja (Grekov 1940 / 1967, photocopy in Grekov 1963) is consistent in its use of superscript ѿ for the preposition and prefix {ot}: **ѿ виры** 617, **ѿ себе** 617v, **ѿ господи** 620v, etc.; **ѿложиша** 615b, **ѿпадеть** 617, **ѿдасть** 624 etc. In headings, the preposition {o} appears with both **ѡ** and **о**: **ѡ татьбѣ** 618v, but **о татьбѣ** 619b, **О рѣзѣ** 620v but **ѡ рѣзѣ** 620v. The same is true in word anlaut, where omega and **о** seem to be in free variation, with fourteen exx. of non-sentence-initial **оже** vs. ten of **ѡже**, and a number of minimal pairs like **за обидоу** 617, 623v, but **за ѡбидоу** 618, 619v, 620, 623v, **отца** and **ѡтца** both 622v, или **ороудиꙗ** 618, and **на свое ѡроудиѥ** both 623v. In sentence-initial position, only **о** is used, whereas after the conjunction **нъ, ѡже** predominates over **оже** 7:2. Finally, the lexeme {otrok} appears only with initial omega (6 exx.), a fact for which I have no explanation.

Finally, five short gramoty from the latter 13th c. show the pattern we would expect for this period, i. e. continued use of the digraph ѿ in prefixes and prepositions, but with omega also marking anlaut. Because

of their length and subject matter, not all of the five give testimony about all types of omega use, but taken as a whole, they show the pattern expected for this period, namely, that of the later birchbark letters. The 1262–1263 treaty of Aleksandr Nevskij and the Novgorodians with the Germans (Obnorskij-Barxudarov 1952: 51–52) shows **ѿтложихомъ** 10–11, 16, **ѿ капи и ѿ всꙗкого вѣснаго товара** 21–22, **ѿстоупили** 38, **ѡлександръ** 1, **ѡаъстенъмь** 7, **ѡже** 27, 32, 34, **ѡц҃и** 40. The 1264 or 1265 treaty of Novgorod with Grand Prince Jaroslav Jaroslavič (Obn.-Barx. 1952 52–54) has 16 instances of prepositional ѿ and three where the same morpheme functions as a prefix (**ѿдалъ** 29, **ѿꙗлъ** 40, **ѿстоупи** 43), and several examples of anlaut omega (**ѡсень** 26, на **ѡзвадо** 26–27, **ѡсетрьникъ** 27–28, **ѡбонижаномѣ** 56); although the morpheme {otьc-) 'father', for whatever reason, uses both **ѡ** and **о** (**ѡц҃и** 6, **ѡц҃ь** 6, **ѡч҃ꙗ** 56, but **оц҃ꙗ** 28, **оц҃ь** 55), as was the case in the homilies of Gregory the Great (see p. [71] above). The next two gramoty are less valuable as evidence, since the 1270 testament of the Novgorodian Kliment (Obn.-Barx. 1952: 55–56) has no examples of prepositional / prefixal {ot}, although it does have a dozen instances of omega in anlaut, e. g. **ѡцꙗ** 1, **ѡгородомъ** 18, **ѡ|станѣтсꙗ** 30–31, **ѡроужьѥ** 31. Just the opposite situation occurs in the gramota of Prince Andrej Aleksandrovič of Novgorod (1294.; Obn.-Barx. 1952: 61–62), which has six examples of prepositional ѿ but none of either prefixal ѿ or anlaut **ѡ**. On the other hand, the treaty (1294–1301) between the Novgorodians and Prince Mixail Jaroslavič of Tver' (Obn.-Barx. 1952: 62–63) — assuming this to be a Novgorod text — has evidence of all expected uses of omega: prepositional ѿ five times, prefixal ѿ- in **ѿстоупити...сꙗ** 5 and similarly 10–11, 21, and six instances of anlaut omega, e. g. **ѡтьцю** 1, **ѡдинъ** 2, **ѡбида** 17.

5. Conclusions

The results of our investigation, incomplete as it neccessarily was, can best be presented in tabular form. The texts reported on are listed in two groups, the first (A) headed by the Ostromir Gospel and containing general East Slavic texts, i. e. those probably not written in Novgorod[11]. The second group (B), headed by the Jagič Minei, consists of texts for which there is some reason to conclude that they stem from Novgorod scriptoria. Whithin both groups, texts are adduced in chronological order, although this results in some artificialities (e. g., the birchbark letters and the First Novgorod Chronicle cover some centuries, and

cannot reasonably be localized at any one point along a chronological line). In the table below, (+) indicates that the feature in question occurs, but not frequently. (1) = superscript ѿ in prepositions (and prefixes), (2) = digraph ѡт ibidem, (3) = word-internal ѡ in postvocalic position, usually in words of Greek origin, (4) idem in postconsonantal position, (5) = ѡ in anlaut. (6) = ѡ in exclamations, (7) = use of ѡ at line breaks differs from use elsewhere, (8) use of ѡ in headings differs from use elsewhere.

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(A)1056–1057	Ostromir (text)	–	–	(+)	–	(+)	+	–	(–)
1056–1057	Ostromir (headings)	+	–	?	–	–	–	–	(+)
1073	Izbornik	+	+	+	(+)	(+)	(+)	–	–
1076	Izbornik	+	+	+[1]	+[1]	+	–	+	–
1092	Archangel Gospel[1]	+	–	–	(+)	–	–	–	–
1092	Archangel Gospel[2]	+	–	+	–	(+)	–	–	–
c. 1130	Mstislavova gramota	+	–	+	–	+	–	–	–
1219	Life of Nifont	+	–	–	–	+	–	–	–
1294–1301	Michael of Tver'	+	?	–	–	+	–	–	–
(B)1095–1097	Minei	+	–	(+)	–	(+)	–	–	–
p. 1192	Gramota Varlaama	+	–	–	–	–	–	–	–
to c. 1250	BB letters[1]	+	–	(+)	–	–	–	–	–
c. 1250–	BB letters[2]	+	–	+	–	+	–	–	–
	Novg. I Chronicle	+	–	(+)	–	(+)	(+)	–	–
to 1270	Dux. gram. Klimenta	–	–	–	–	+	–	–	–
1282	Russkaja Pravda	+	–	–	–	+	–	–	–
1262–94	Three gramoty	+	+	–	–	+	–	–	–

[1] also in Slavic words

A number of generalizations can be drawn from this distribution. All Old East Slavic mss., with the sole exception of the Gospel readings in Ostromir, use superscripted ѿ in prepositional and, at least at times, prefixal {ot}[12]. Digraphic ѡт appears only in the two Izborniki of 1073 and 1076; these two mss. make wider use of omega than any other early ms. Among the later Novgorod mss., the three short gramoty of the very late 13th c. also use ѡт, thus showing the later Novgorod convergence with pan-Rusian orthographic habits (see below). In post-vocalic word-internal position, omega appears in several early mss., but hardly ever in

Novgorod, but does become firmly established there in the latter 13th c. In internal postconsonantal position, omega is unknown in Novgorod, but does occur in early non-Novgorodian texts most notably in the 1076 Izbornik. Anlaut ѡ is widespread in early non-Novgorodian texts, but with scattered exceptions becomes regular in Novgorod only in the latter 13th c.[13]. In general, the non-Novgorod texts make broader use of omega from the very beginning than do those of Novgorod, whereas it is only in Novgorod that one perceives a chronological shift, in the mid- to latter 13th c., from narrower to wider exploitation of this letter. This shift is but one of several ways in which Novgorod turned from local to pan-Rusian traditions (see Zaliznjak 1986, Worth 1990). But why, then, did Novgorod have a scriptorial tradition different from that of other territories of Kievan Rus'? It is unlikely that a definitive answer to this question ever be found, but we will close this article by venturing — none too confidently, it must be said — to suggest a direction that such inquiry might take. Bearing in mind that, on the evidence of palimpsests (see e. g. Lunt 1958), glagolitic was more widespread in the North than in the South, and also the fact that the Saint's Day of the Czech Prince Václav was celebrated in Novgorod but not in Kiev, it might not strain credulity too tautly to speculate whether some of the scriptorial features of the city on the Volxov could have originated not from the Kievan imports of Bulgarian scriptoria of the 10th–11th centuries? This would, after all, be but one more instance of Novgorod's centuries-long orientation toward the West.

Примечания

[1] Exceptions like v and Θ render sounds foreign to Slavic.

[2] *Homiliae s. Gregorii Magni* (13th c. Russian Cyrillic) 9x, *Apostolus Christinopolitanus* (12th c. Russian Cyr.) 9x, *Praxapostolus Šišatovacensis* (14th c. Serbian Cyr.) 7x, *Praxapostolus Slepčensis* (12th c. Bulgarian Cyr.) 6x, *Apocalypsis e codice Hvalu* (15th c. Serbian Cyr.) 5x.

[3] It is usually assumed (Durnovo 1927/1969: 52) that Deacon Gregory (= Hand 2) wrote all of Ostromir except folia 1–24 (= Hand 1) and some of the headings (= Hand 3). Are the spellings of folia 39–129, 155–228, and 254–261 also due to Hand 1, or perhaps to a different monk trained in the same scriptorium? Did yet a third scriptorium produce the «mixed» spellings of folia 262–294? The matter obviously bears further investigation.

[4] Our sample also contains three examples of /t/ superscripted not to omega, but to the regular «narrow» o: **о^{т} землѧ** 101_{β}, **о^{т}мьштаꙗ** $103v_{\alpha}$, **не о^{т}стоупи** 110_{α}, which will require some modification of the assertion in Worth 1985 that such spellings do not exist.

[5] Although dealing with Novgorod matters, it can be assumed that the Mstislavova gramota was written in Kiev, where Mstislav was already ruling when he made his gift to the Saint George Monastery.

[6] This apparently obligatory use of anlaut **ѡ** in a text dating from the very early 13th c. can be taken as reliable evidence that it was written elsewhere than in Novgorod.

[7] But not in **георгиꙗ** 10 et sim. 14b; **геѡргии** etc. occurs only in a later hand at the very end of the ms., 168 (2x).

[8] Zaliznjak refers only to the «morpheme» ѿ, which implies that he considers it equally regular in the prefix.

[9] The printed tracing shows a superscript /t/, but rather more ressembling a T than the usual horizontal bar with three small descenders.

[10] Among the first 539 gramoty published, 28/37 or 76% of all non-incipital {ot} occur in just three gramoty (262, 263, 264, all from the same location), i. e. the preponderance of incipital omega over other uses is greater than the bare arithmetic might indicate.

[11] The complete absence of prepositional and prefixal omega in the Gospel readings in Ostromir render it very unlikely that it was written in Novgorod, in spite of its recipient's residence there, although it must be noted that this feature differentiates Ostromir from *all* other East Slavic texts, not only those from Novgorod. On the other hand, the high frequency of prepositional **ѡтъ** in the explanatory headings appears to contradict the evidence of the Gospel readings. (On the non-Novgorodian origin of Ostromir, see Volkov 1897.) The Mstislav gramota, on the other hand, is clearly non-Novgorodian in its frequent use of omega in anlaut and word-internally.

[12] The testament of Kliment has no examples of {ot} and should not be viewed as an exception. The birchbarks, as noted, have many exx. of the incipital preposition but too few of the prefix for any firm conclusions to be drawn.

[13] Aleksej Gippius has kindly informed me about his research on the orthography of Timofej ponomar', whose orthographic habits are characterized by the scheme (1) + (2) - (3) + (4) - (5) + (6) + (7) - (8) -, i. e. with relatively early use of omega in anlaut; cf. examples from the Sofijskij Prolog (GPB. Sof. 1324): (3) **антиѡхию** 177v, (5) **ѡчи, пж ѡбычаю, ѡправдахъ, ѡбаче, ѡ гнѣвѣ и ѡ покаꙗнии** 177.

References

Diels 1932 — *Paul Diels.* Altkirchenslavische Grammatik, mit einer Auswahl von Texten und einem Wörterbuch. I. Heidelberg, 1932.

Dietze 1971 — *Joachim Dietze.* Die erste Novgoroder Chronik nach ihrer ältesten Redaktion (Synodalhandschrift) 1016–1333 / 1352. Leipzig, 1971; (with an annotated reproduction of the fascimile first published in Novgorodskaja 1875).

Dietze 1975 — *Joachim Dietze*. Die Sprache der ersten Novgoroder Chronik. Die von der Synodalhandschrift graphisch reflektierte phonetische und phonologische Situation (= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria filologia rosyjska, No. 16). Poznań, 1975.

Durnovo 1927 / 1964 — *Н. Н. Дурново*. Введение в историю русского языка. Bratislava, 1927; reprinted M., 1964.

Grekov 1940 / 1967 — *B. D. Grekov* ed. Pravda russkaja. I. Teksty. Moscow; Leningrad, 1940; reprinted Düsseldorf; The Hague, 1967.

Grekov 1963 — *B. D. Grekov*, ed. Pravda russkaja. III. Faksimil'noe vosproizvedenie tekstov. Moscow. 1963.

Izbornik 1073 1983 — Izbornik Svjatoslava 1073 goda. Faksimil'noe izdanie. Moscow, 1983.

Izbornik 1076 1965 — *V. S. Golyšenko, V. F. Dubrovina, V. G. Dem'janov, G. F. Nefedov*. Изборник 1076 года. Moscow. 1965.

Jagić 1886 — *В. Ягич*. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095–1097 (= Отделение русского языка и словесности Императорской Академии Наук, Памятники древнерусского языка, 1). СПб., 1886.

Jagić 1896 — *V. Jagić*. Codex slovenicus rerum grammaticarum. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковно-славянском языке. Berlin, 1896; reprinted Munich, 1968 (= Slavische Propyläen, 25).

Janin–Zaliznjak 1986 — *V. L. Janin, A. A. Zaliznjak*. Novgorodskie gramoty na bereste (iz raskopok 1977–1983 gg.). Moscow, 1993.

Janin–Zaliznjak 1986 — *V. L. Janin, A. A. Zaliznjak*. Novgorodskie gramoty na bereste (iz raskopok 1984–1989 gg.), Moscow, 1993.

Janin–Zaliznjak 1994 — *V. L. Janin, A. A. Zaliznjak*. Berestjanye gramoty iz novgorodskix raskopok 1990–1993 gg. // Voprosy jazykoznanija, 1994. № 3: 3–22.

Karskij 1928 — *Е. Ф. Карский*. Славянская кирилловская палеография. Л, 1928.

Kurz 1958– — *J. Kurz* et al., eds. Slovník jazyka staroslovanského. Lexicon linguae paleoslovenicae. Prague, 1958-.

Lunt 1949 — *Horace Grey Lunt II*. The Orthography of Eleventh Century Russian Manuscripts. Ann Arbor, 1949.

Lunt 1958 — *Horace Grey Lunt II*. On Slavonic palimpsests // American Contributions to the Fourth International Congress of Slavists. The Hague, 1958, 191–209.

Mareš 1979 — *Francis Wenceslas Mareš*. An Anthology of Church Slavonic Texts of Western (Czech) Origin (= Slavische Propyläen, 127). Munich, 1979.

Mareš 1988 — *Francis Wenceslas Mareč*. The new Russian Church Slavonic and its relation to Greek // The Legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev and Moscow. Proceedings of the International Congress on the Millenium of the Conversion of Rus' to Christianity, Thessaloniki 26–28 November 1988, ed. A.-E. Tachaios. Thessaloniki, 1988, p. 33–37.

Mathiesen 1972 — *Robert C. Mathiesen.* The Inflectional Morphology of the Synodal Church Slavonic Verb. Ann Arbor, 1972.

Novgorodskaja 1875 — Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку. Издание Археографической Комиссии. СПб., 1875.

Obnorskij–Barxudarov 1952 — *С. П. Обнорский, С. Г. Бархударов.* Хрестоматия по истории русского языка. М., 1952, т. I.

Šafařík 1870 — *P. J. Šafařík.* Památky dřevního písemnictví Jihoslovanů. Prague, 1870.

Vajs 1932 — *Josef Vajs.* Rukovět hlaholské paleografie. Uvedení do knižního písma hlaholského (= Rukověty Slovanského Ústavu v Praze, Svazek II). Prague, 1932.

Volkov 1897 — *Волков.* О неновгородском происхождении диакона Григория, писца ОЕ // Журнал Министерства народного просвещения. 1897, December.

Worth 1983a — *Dean S. Worth.* The Origins of Russian Grammar. Notes on the state of Russian philology before the advent of printed grammars. Columbus, Ohio, 1983.

Worth 1983b — *Dean S. Worth.* Incipits in the Novgorod birchbark letters // Semiosis. Semiotics and the History of Culture. In honorem Georgii Lotman. Ann Arbor, 1983, 320–332.

Worth 1985 — *Dean S. Worth.* The codification of a non-existent phrase: 'i veno votskoe' in the St. George gramota // Annals of the Ukranian Academy of Arts and Sciences in the U. S., 15, no. 39–40 (= Studies in Ukranian Linguistics in Honor of George Shevelov), 1985, 359–368.

Worth 1990 — *Dean S. Worth.* The Novgorod birchbark letters in time and space // Wiener Slavistischer Almanach 25 / 26 (Festschrift L'ubomír Ďurovič zum 65. Geburtstag). Vienna, 1990, 439–450.

Zaliznjak 1986 — *А. А. Зализняк.* Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения, см.: Janin–Zaliznjak 1986: 89–219.

А. А. Турилов

«Поучение Моисея» и сборник игумена Спиридона
(новгородский памятник XII в. в контексте русско-южнославянских связей)

Богатство восточнославянской средневековой книжной традиции, огромная роль, которую она сыграла в сохранении культурного наследия Великой Моравии, древнейшей (X—XI вв.) Чехии, Болгарии и (в меньшей степени) Сербии, обычно закрывают от отечественных исследователей другую сторону проблемы — южнославянские списки древнерусских сочинений. Если публикация древнеболгарских сочинений по восточнославянским спискам явление столь обычное, что даже не требуется приводить примеры, то издания южнославянских списков древнерусских сочинений являют скорее исключение, причем осуществляются они зарубежными исследователями (как отрадный пример можно указать серию публикаций болгарской исследовательницы Р. Павловой [Павлова 1988; 1989; 1992; 1993]). Разумеется, корпус древнерусских текстов, дошедших в южнославянских списках XIII—XIV вв. (о его составе см.: [Сперанский 1923; Адрианова-Перетц 1963; Турилов 1991; 1993]), значительно меньше по объему и числу списков, чем южнославянский в восточнославянской традиции. Не следует, однако, забывать, что в южнославянской традиции древнерусские памятники представлены, как правило, более древними списками (хотя и не всегда более исправными), чем в восточнославянской [1], что уже само по себе достойно внимания. Кроме того, ранний переход памятника в иную историко-культурную и языковую среду (при всей близости средневековых православных славянских литератур) может способствовать консервации текста, в большей степени подверженного изменениям у себя на родине (хотя отнюдь не исключена и обратная возможность — кардинальное редактирование в новых условиях). При-

мер, рассматриваемый в данной статье, в известной мере позволяет проследить обе возможные тенденции.

В большом отрывке сербского пергаменного сборника третьей четверти XIV в., хранящемся в Отделе рукописной и редкой книги БАН под шифром 24. 4. 20 и происходящем из собрания И. И. Срезневского (постатейное описание рукописи — [Пергаменные рукописи 1976: 174–175], датировка — [Мошин 1966: 102, сн. 100], с учетом атрибуции Л. Цернич [Цернич 1980: 361, № 7]), на л. 28 об.–30 находится анонимный текст древнерусского происхождения, озаглавленный СЛО^В Ѿ АП^СЛА. Не поущае нб҃о дьж^д. В описании [Пергаменные рукописи 1976: 175] текст охарактеризован как «поучение, обличающее ложные клятвы, проклятия и излишества». За этим названием и характеристикой скрывается памятник, хорошо известный в других редакциях в древнерусских списках под заглавием «Слово отца Моисея о ротах и клятвах» и «Поучение Моисея о безвременном пьянстве» (издания текста: [Срезневский 1863: 275; Попов 1875: 56–57; Соболевский 1912: 77–80; Гальковский 1913: 133–140; ПЛДР 1980: 400–403]). Памятник загадочным образом не привлек к себе внимания ни владельца рукописи, И. И. Срезневского, издавшего одну из русских редакций текста, ни М. Н. Сперанского, опубликовавшего по этому сборнику сербский список древнерусского перевода «Пчелы» [2] [Сперанский 1904: Прилож.] и специально занимавшегося проблемой древнерусских литературных памятников в книжности южных славян [3].

Двум заглавиям памятника в русских списках (далее соотв.: Слово и Поучение) соответствуют две разные редакции текста. Поучение известно в единственном списке XIV в. (ГИМ, Хлуд. 30Д), новгородского происхождения, Слово — в ряде сборников XV–XVI вв., старший из которых — известный Паисиевский (РНБ, К–Б 4 / 1081) первой четверти XV в. По существу, Слово представляет вторую часть Поучения (либо в единственном списке Поучение слито со Словом, не имеющим здесь отдельного заголовка), посвященную осуждению клятв и суеверий (первая осуждает телесные излишества).

Как же соотносится с уже известными редакциями текста новый список? Он, как уже сказано, анонимен, по объему значительно ближе к Поучению, чем к Слову, и содержит (хотя и с редакционными отличиями, о чем ниже), обе части, но в обратном порядке.

Этим, однако, особенности нового списка (а точнее — новой редакции) не ограничиваются. Между частями, входящими в По-

учение, здесь помещен довольно большой (ок. 20% общего объема) текст, не имеющий соответствия в русских списках, и посвященный обличению социальных несправедливостей (от слов: **А се дроугаа зьль** до: **а не во славоу диꙗволю**). Именно в этой части обнаруживаются яркие лексические русизмы, особенно заметные при выдержанной сербской (рашской) орфографии рукописи[4]. Таковы: «съсобичныи» (**ратию сьсобичною**) в значении «междоусобный» (ср. «особичный» в том же значении в Истории Иудейской войны Иосифа Флавия — СРЯ XI—XVII, т. 13, 125); «поробочивати» (**поробочивають**) вместо ожидаемого южносл.: «порабощати»; «поклеп» (**поклепомь**); **изгоиство** — явно в значении платы за освобождение из рабства (**горѣѥ же всего того изгоиство** — ср.: **Се горши всего изгоиство емлюще на искупающихъсѧ ѿ работы** в «Предисловии покаянию», памятнике XII в. [Срезневский 1876: 327]). Наиболее яркий пример не просто русизма, а регионализма представляет один из любимых новгородизмов юбиляра, «нам» в значении процент (**рѣзоиманиѥмь рекше намы**) — термин, которому А. А. Зализняк на материале новгородских берестяных грамот посвятил специальный этюд [Зализняк 1984: 101—108; Янин, Зализняк 1986: 165—168; Янин, Зализняк 1993: 317]. Сербский писец в данном случае сохранил в неприкосновенности древнейшую форму, которая в большинстве русских рукописей передана как «наимъ» [Зализняк 1984: 101—103]. Интересно, что в данном случае «намъ» служит пояснением к слову «резоимание», тогда как в вопрошании Кирика **намы** само поясняется термином «лихва» (**а намъ дѣлꙗ, рекше лихвы** [Янин, Зализняк 1986: 165]). Вероятно, такое различие в определении (в Слове книжное «резоимание» объясняется обиходным «намы», в Вопрошании же обиходное слово объясняется более книжным «лихва») происходит из-за ориентации на разного адресата: Вопрошание обращено к образованному человеку — церковному иерарху, тогда как Слово — к пастве.

Таким образом мнение о новгородском происхождении поучений Моисея, до сих пор базировавшееся преимущественно на новгородском происхождении Хлудовского списка, получает теперь подтверждение с несколько неожиданной стороны — через Сербию.

Получает подтверждение и древняя датировка памятника (XII в.). Известно, что А. Н. Попов [Попов 1875: 56] и Н. Гальковский [Гальковский 1913: 133], атрибутируя сочинение архиепископу Моисею (1325—1330, 1352—1359), исходили в основном из

имени в заглавии и датировки Хлудовского сборника XIV в.[5] А. И. Соболевский (Соболевский 1912: 177–178) резонно указывал на древность языка памятника[6], хотя кандидатуру автора предложил скорее в пику А. Н. Попову как образец столь же мало аргументированной атрибуции, поскольку (как подчеркивал уже сам исследователь), никаких сведений о литературной деятельности Моисея, игумена Антониева монастыря, умершего в 1187 г., в источниках не обнаруживается. Заслуга Соболевского и в том, что он обратил внимание на вероятную связь Поучения с засухой 1161 г., отмеченной новгородскими летописями.

Собственно, уже сам факт наличия датируемого XIV в. сербского списка памятника свидетельствует в пользу его древности (не позднее сер. XIII в.): среди древнерусских сочинений и переводов, дошедших в южнославянских списках XIII–XIV вв., нет ни одного, создание которого относилось бы ко времени позднее конца XII столетия [Сперанский 1923; Турилов 1991; 1993]. Пассаж же, читающийся в сербской редакции памятника и отсутствующий в русских, содержит наиболее архаический языковой слой: и **намы**, и **изгойство** известны по книжным памятникам XII в. Первое слово содержится, как уже говорилось, в Вопрошании Кирика и в Поучении новгородского епископа Ильи (1160-е гг.) [Янин, Зализняк 1994: 317]. Второе находится в таком анонимном памятнике, датируемом XII в., как «Предисловие покаянию» (Поучение иереям с упоминанием изгойства) [Срезневский 1876: 327; Срезневский 1893: 1053], по тематике близком к нашему отрывку. В берестяных грамотах, как отмечает А. А. Зализняк, употребление термина **намы** наиболее характерно для периода XI–XII вв. [Янин, Зализняк 1986: 168]. Таким образом, даже если предполагать, что данный пассаж является вставкой, то это древняя вставка в древний текст, осуществленная еще несомненно на Руси. Скорее, однако, это исконная часть текста — тема междоусобной войны как наказания за грехи была актуальна в Новгороде 1161 г. в связи с событиями ближайших предшествующих лет.

Анонимность новой редакции поучения позволяет вновь поставить вопрос об авторстве. В принципе равноправны обе возможности: 1) текст в сербском списке утратил имя автора; 2) имя Моисея в русских списках вторично. Древние черты новой редакции заставляют быть внимательным в его решении. Поучение произнесено в связи с длительной засухой, и объяснение этому дается со ссылкой на пророка: «**Того ради завезано небо не поущати дьжда на землю, занеже чл҃овци кльноуть се б҃гомь вь льжу...**»; одна

же из причин этого (**droугаа вина**) — **жрьтвоу приносеть бѣсомь** (т. е. языческим божествам). Ближайшая библейская параллель (при отсутствии прямого текстологического совпадения) — это Второзаконие XI. 17 (**Блюди себе, да не разверичаются ср҃це твое, пристꙋпивше послꙋжите богомъ инѣмъ, и поклонитеса имъ. И ꙗростию разгнѣваетса г҃ь на вы, и затворить небо, и не будеть дожда, и земла не дасть плода своего** [Библия 1581: 856]), т. е. одна из книг пророка Моисея. Зная традицию приписывать в заглавии поучение имяреку (Иоанну Златоусту, Кириллу Философу, Василию Великому и т. д.), если сам текст начинается словами «Рече (или: Яко рече, Глаголет и т. п.) имярек» можно предположить аналогичную ситуацию и в нашем случае. Вероятно, от атрибуции текста какому-либо конкретному новгородцу Моисею следует отказаться, ограничившись установлением связи сочинения с засухой 1161 г.

Когда же поучение стало известно сербским книжникам? На этот вопрос, как кажется, дает ответ состав содержащего его сборника, который в настоящее время не ограничивается рукописью БАН 24. 4. 20. В 1980 г. сербский археограф Л. Цернич установила на основании данных почерка, количества строк и нумерации тетрадей, что отрывок БАН происходит из большого кодекса, хранящегося в настоящее время в РНБ под номером F. п. I. 121, и к той же рукописи относится еще один отрывок из собрания И. И. Срезневского — БАН 24. 4. 23 [Цернич 1980: 361, № 7]. Основную часть кодекса РНБ (л. 1–175 об.) занимают Пандекты Никона Черногорца в древнейшем (восточнославянском) переводе, в 45 главах (так называемая редакция «Златой цепи») [Крутова 1988: 41 и прим. 131]. Отрывок БАН 24. 4. 23, по всей вероятности, должен помещаться между л. 187 и 188 кодекса РНБ, а БАН 24. 4. 20 составляет его завершающую часть [7]. Таким образом, становится ясно, что текст на листах 30 об.–31 об. этой последней рукописи, содержащей названия глав с 1 по 15 и (фрагментарно на л. 31) 20 и 37 и озаглавлённый **Тлькованиѥ заповѣди Г҃не**, является оглавлением Пандектов (носящих в рукописи РНБ то же заглавие, что и в оглавлении) [8], которое помещено здесь не только после самого памятника, но и после всех дополнений к нему (в принципе возможны два варианта размещения оглавления — перед текстом и после него).

Части кодекса, хранящиеся в БАН, имеют постатейное описание [Пергаменные рукописи 1976: 173–175], и это избавляет от необходимости останавливаться на них специально. Иначе обсто-

ит дело с основной частью кодекса (РНБ, F. п. I. 121), поэтому целесообразно привести здесь перечень его статей, служащих дополнением к Пандектам.

Л. 175 об.–176 об. Послание афонского старца Иоакима Спиридону, игумену монастыря Студеница в Сербии (**Слово кромѣ сихь книгь. ѿ Стыѥ горы. нѣкоего великааго старца вь прьдпбныихь Иωакима. сьвѣтованиѥ кь Спиридоноу. игоуменоу великие лавры Стыѥ Бце Стоуденици. имь же оуставлено сиѥ здѣ. имѣ сице. (Твоѥ блгыѥ. имь же посѣтиль нас оубогыхь. то пришло ѥсть до нась...)**

176 об. ѿ **Моноканона сто Василиꙗ. (Аще не вьстрьгновенно имоуть своѥго обычаꙗ и по Еулію житиꙗ не приѥмлють...)**

176 об.–177. ѿ **Никеискаго сбора .в. глава .в. (Понеже поюще оубо причитаѥмь се бьу. вь ωправданьи ихь пооучаю се...)**.

177. **Стыихь апль канонь. ни. (Ѥпспь или прозвитерь. лѣне се ω клиросѣ и ω людехь. и не кажеи ихь блговѣриѥмь...)**.

177–177 об. **В Константинѣградѣ сбора. (Вь стыихь апслѣхь, апостωльскоу и бжствнωмоу канооноу, иереωмь быти начинающимь...)**.

177 об. **Стыихь апостωль каннон. кз. (Аще кто клирикь хромоу или тѣлоу ꙗзвьноу...)**.

177 об.–178. **А се ѿ инѣхь книгьь слово, ω архіеппѣ іеросωлимьсцѣ. (Нѣкыи патріархь іеросωлимьскыи слыша ω етерѣ мнисѣ сьгрѣшившемь...)**.

178–178 об. **ѿ Моноканона стыихь ѿтцьь. ω епспѣхь и ω диꙗконѣхь и ω ереихь. (Аще епспь или прозвитерь или диаконь. бываѥть мнихь...)**.

178 об.–179. Выписки из «Пчелы», без загл. (**Старица каа блажааше Антигона цра. и реч. ω мти. аще би вѣдѣла...**).

179–179 об. О семи злых помыслах, без загл. (**Злыи помысль прьвыи Адамови прьвии вь раи...**).

Л. 179 об.–180 об. **Слово ω покаании. ꙗко многы и различныи соуть оу праведнааго соудиѥ соудбы (Инако бо соудь имать вѣрьныи. инако невѣрьныи...)**.

180 об.–181 об. **Сеугиріана епспа Гавальска ω члвцѣ (Члвчьскоѥ име ꙗкоже се рещи члвкь ѥвреискыимь ѥзыкомь, ωгнь сказаѥть се..)**

181 об.–183. **Іωанна Дамасскіна, лѣтописць по пльти великааго га Спса нашего Іс Хса. (Роди се оубо гь нашь Іс Хсь от прѣстыѥ дви Бце Мриѥ. рѯѳ алимбиꙗды...)**.

183–183 об. **Маѯимово. (Бысть блговѣщение прѣчистѣи приснодвѣи Мрии. вь лѣт ͡ѕ. ф. а...)**.

183 об. **Ефифаниꙗ (!) архіепспа Купрьскаго ωстрова. (ꙗко Бь з дѣльь створи в днь сто Блговѣщеніа)**.

183 об.–184. **Епифаниꙗ мниха и презвитера. О знамениихь нрава, ѡбраза же и вьзраста прѣс҃тые Бц҃е. (Бѣше оубо ѿлоучено мѣсто вь храмѣ Гн҃и...).**
184–184 об. **Знамениѥ Га҃ нашего Іс҃ Хс҃а. (Мои же Хс҃ь и Бь҃ бѣ. образомь краснь зѣло...).**
184 об. **Ст҃го Максима ѡ цѣн тридесете сребрьникь, ѥже вьзеть Июда за прѣданиѥ Хв҃о.**
184 об.–185 об. **Андреа Критьскааго, ѡ чьсти и ѡ поклонении ст҃ыихь иконь. (Ничто же вь хрстіаньствѣ безь оуказаниꙗ, ничто же тоуждe..).**
185 об.–186 об. **Ст҃го Максима изложениѥ ѡ вѣрѣ вькратцѣ. вьпросити и ѿвѣщати всакомоу христианиноу правовѣрноу.**
186 об.–187 об. **Того жде ѡ двою сьврьшеноу ѥстьствоу. Га҃ нашего Іс҃ Хс҃а. (Слово ѡч҃е и Бь҃ самь гь҃ нашь Іс҃ Хс҃ь...).**
188. Сказание о 12 пятницах (апокриф), окончание, со слов:... **<жи>довинь, изгл҃авша все петкы. рыкноу великмь гл҃сомь и рече...**
188–191 об. Толкование (апокрифическое) Григория Богослова о литургии (**Оуказаниѥ ѡ ст҃ѣи литоургіи ст҃го Григоріа Бг҃ословца. ть бо видѣ аг҃глы Бг҃оу слоужещеꙗ**).
191 об.–223 об. Повести и изречения из Скитского патерика, из глав: **ѡ прозорливыих** (11 разделов); **ѡ творещихь знамениꙗ ст҃ыихь** (1); **ѡ житіи добрѣ различномь сьвѣтомь** (12); **Ꙗко подобаѥть прѣтрьпѣти ѡбиди** (4); **о смѣренѣи моудрости** (17); **ѡ бл҃женнѣмь послоушании** (4); **Ꙗко подбаѥть странникы пріимати кротостию, и миловати** (2); **Ꙗко подбаѥть выноу м҃лити се сь бьдростию** (3), **Ꙗко подбаѥть бьдроу быти ѡ всемь** (5); **ѡ смотрени** (41), **ѡ прочихь дш҃евныихь подвизании** (1), **ѡ любодеании** (20), **Ꙗко не подобаѥть дѣль своих прѣд чл҃вкы творити** (2), **Повѣсти различныѥ к памети и моужьствоу оучеще нас** (18), **ѡ несьнискани имѣніа** (7).

Ранее я писал уже о значении, которое имеет этот сборник (РНБ + БАН + НБС) для истории русско-южнославянских культурных связей XII–XIII вв. (именно в связи со Словом от Апостола) [Турилов 1991, 1993], и высказывал предположение, что число памятников этих связей в данной рукописи может быть увеличено. Здесь же стоит обратиться к единственному тексту, следующему в рукописи сразу за Пандектами и содержащему сведения для датировки кодекса — к Посланию Иоакима, старца Святой Горы, к Спиридону, игумену монастыря Студеница в Сербии. По крайней мере адресат послания («Советования») лицо в сербской истории известное, и при этом тоже как адресат — на сей раз Саввы Сербского, направившего ему письмо из второго путешествия в Святую Землю (1234) [Даничич 1872: 230–231]. Годы настоя-

тельства Спиридона в Студенице неизвестны, но он не мог стать игуменом ранее 1214 г., когда монастырь возглавлял Иоанникий [Бабич, Корач, Чиркович 1986: 19]. Неизвестно также, сменил ли Спиридон Иоанникия непосредственно или между ними были еще настоятели. Предполагается, что между 1227 и 1233 гг. студеничский инок Спиридон написал проложное житие основателя обители — св. Симеона Сербского (Стефана Немани) [Богданович 1976: 9–19; Богданович 1980: 155]. Если речь идет о будущем архимандрите, то послание Иоакима следует датировать не ранее 1227 г., но отождествление на основании одного только имени, разумеется, ненадежно.

Еще меньше можно сказать об авторе «Советования». Ясно лишь, что это очень авторитетный агиорит (в силу своих личных достоинств), хотя и не обладающий никаким официальным саном, — возможно, даже не иеромонах.

Если придерживаться точки зрения, что Иоаким был славянином (что, разумеется, не обязательно), то среди современников Саввы Сербского и Спиридона можно указать соименного исторического деятеля. Речь идет о болгарском патриархе Иоакиме (1234—1246). Согласно проложному житию этого иерарха, написанному вскоре после его кончины (и дошедшему, к сожалению, в единственном дефектном списке — Б-ка Болгарской АН, № 23), он был болгарином и в молодости много лет провел на Афоне, являя образец монашеской жизни и послушания. Потом он переселился с тремя учениками в Болгарию (в житии читаем: **Слышав же х^с^олюбиви Асань ц҃рь в начеть ц҃рьства ѥго, и ѡ добродѣтели ѥго, и ѡ троудѣ^х^ ѥго. и шь^д^ к нѥмоу и давь ѥмоу много зла^т^**) [Кодов 1969: 46] — переселение, очевидно, состоялось не позднее 1218 г., когда Иоанн Асень II взошел на престол. Судя по житию, будущий патриарх во время жизни на Афоне не был связан с каким-то известным крупным монастырем (либо об этом не знал его биограф), — это обстоятельство заставляет вспомнить расплывчатое определение «старец Святой Горы», примененное в заглавии «Советования» к автору. Если бы двух Иоакимов удалось отождествить, послание можно было бы датировать временем между 1214 и 1218 гг., одновременно болгарская литература XIII в. пополнилась бы новым памятником и новым автором, поскольку о литературном наследии патриарха Иоакима до сих пор ничего не было известно.

Источники (житие Иоакима; проложное, Доментианово и Феодосиево жития св. Саввы Сербского) ничего не сообщают о

знакомстве патриарха и архиепископа до их встречи в Тырнове в 1235 г., однако argumentum ex silentio не может быть в полной мере убедительным, в силу того, что степень информированности агиографов и принцип отбора ими фактов не могут быть надежно реконструированы (кроме того, просто трудно представить, чтобы в масштабах Афона начала XIII в. один известный подвижник не знал о существовании другого). Вопрос о тождестве двух Иоакимов (и соответственно — об авторстве) послания остается таким образом открытым. Но даже если оставить в стороне вопрос атрибуции «Советования» тырновскому патриарху, памятник все равно следует датировать не позднее рубежа первой и второй трети XIII в. Послание явно адресовано новоначальному игумену, человеку, сравнительно недавно оставившему уединенное житие на Святой Горе и переселившемуся в «мир» (именно так воспринимает оставшийся на Афоне Иоаким настоятельство Спиридона в «великой лавре Студеничской», «задужбине» основателя сербской династии и первого национального святого). Это дает основание датировать памятник не позднее письма архиепископа Саввы к тому же Спиридону. «Советование» Иоакима было включено в протограф сборника самим Спиридоном (по свидетельству заголовка: **имь же оуставлено бы^с^ сик здѣ имѣ сицѣ**), вероятно, вскоре после получения. Неизвестно, пережил ли Спиридон Савву, и если да — то насколько. Во всяком случае, после смерти первого архиепископа он не сделал заметной карьеры, на которую вправе был рассчитывать как игумен одного из главных и наиболее чтимых монастырей молодой державы, в котором обретались мироточивые мощи Симеона Сербского (Стефана Немани). Имя его не фигурирует среди сербских епископов середины — втор. пол. XIII в. Косвенно это тоже свидетельство скорее в пользу ранней датировки «Советования» в рамках 1214—1234 гг.

На первый взгляд, установление датировки послания Иоакима Спиридону никак не связано с судьбой новгородского поучения у южных славян. В рукописи тексты расположены далеко друг от друга, один не входит в непосредственный литературный конвой другого. Более того, часть сборника, в которой содержится «Слово от Апостола», отделена от части, заключающей послание Иоакима, заголовком «А се от иных книг». Относительно поздний возраст Дечанского кодекса (третья четверть XIV в.), сравнительно с датировкой рассматриваемых текстов, открывает, казалось бы, широкий простор для разновременных композиций. Тем не менее есть достаточно оснований уверенно полагать, что оба тек-

ста входят в состав сборника устойчивого содержания, сложившегося много раньше даты дошедшего списка.

В том же Основном собрании РНБ под шифром Q. п. I. 27 находится рукопись, несомненно восходящая к общему протографу с F. п. I. 121. Кодекс не только не имеет до настоящего времени подробного печатного описания, но и содержание его было определено совсем недавно, в связи с описанием для Сводного каталога славяно-русских рукописных книг XIV в. в хранилищах России. В более ранних кратких сведениях о ней рукопись фигурирует как сборник (без уточнения содержания). Слабой изученности кодекса в немалой степени способствовало то обстоятельство, что он не имеет собственного древнего заглавия (существующий ныне заголовок на л. 1 — **«Почело сіе книги сто іѡна Дамаскы(на) ѿче бл(с)ви»** — сделан киноварью в XV–XVI вв. и абсолютно не отражает содержания) и, кроме того, был чрезвычайно неудачно переплетен в XVI в. Многие листы и тетради оказались перепутаны (правильный порядок листов, восстанавливаемый в значительной мере с помощью F. п. I. 121: 1–2, 6, 5, 4, 3, 7, 13, 9–12, 8, 14–28, 137–152, 29–136, 153–162; существующая нумерация тетрадей XVI в. не соответствует первоначальному порядку). С учетом всех этих перестановок (и того обстоятельства, что в Q. п. I. 27 имеются значительные утраты текста — примерно две тетради между л. 20 и 21 и одна тетрадь между л. 152 и 29) эта рукопись по составу оказывается полным аналогом кодекса F. п. I. 121 в объеме 185 л. последнего (Q. п. I. 27 не имеет конца: последний текст в ее составе — **«Сеугириана кп(с)па Гавальска ѡ чл҇вцѣ»** — обрывается на словах **«ѿ воды же аще вьзьмеши мѣ...»**). Наиболее существенные отличия между рукописями заключаются в следующем. Дополнения к Пандектам, составляющие в F. п. I. 121 единый блок, в Q. п. I. 27 состоят из двух частей. Первая из них, содержащая тексты от послания Иоакима Спиридону до статьи **«ѡ(т) градского закона»** включительно (л. 27 об.–28 об., 137–138), помещена здесь между главами 8 и 9 Пандектов. Вторая заключается в разном числе глав Пандектов, указанных в записи писцов, отражающей единый формуляр (при том, что реальное их число — 45 — совпадает): **«оконча се вьсѣхь словесь н҇з»** (Q. п. I. 27. Л. 159 об.) и **«Оконча се вьсѣхь словесь м҇е»** (F. п. I. 121. Л. 175 об.). Обе эти особенности свидетельствуют о первичности состава Q. п. I. 27. Здесь повторение фраз **«Се кромѣ сихь книгь»** (Л. 27 об.) и **«А се от инѣхь книгь»** (л. 159 об.), употребляемых как указание на рубеж между собственно Пандектами и дополнениями к ним, обусловлено разме-

щением дополнительных статей в разных частях кодекса, тогда как в F. п. I. 121 вторая становится лишней и сохраняется в результате механической переписки. То же относится и к числу глав. В Q. п. I. 27 указано общее число глав древнейшей (русской) редакции перевода Пандектов Никона, без учета того обстоятельства, что главы 39–50 в данном виде (неудачно именуемом в научной литературе последних лет Златой Цепью [Крутова 1988: 41]) опущены. Разрыв нумерации существует и в самом кодексе (и это не связано с утратой листов). В то же время в F. п. I. 121 число глав в выходной записи и их нумерация в тексте приведены в соответствие с реальным положением вещей.

Все вместе это свидетельствует, что окончание заголовка послания (**Свѣтование кь Спиридону игоуменоу великиѥ лавры с҇тыѥ Б҇ци вь Стоуденци. имь же оуставлено бы҇с сиѥ здѣю имоуще сицѣ** — Q. п. I. 121. Л. 27 об.) указывает, что текст (вместе со следующими за ним выписками из правил) был не просто включен Спиридоном в протограф сборника, но именно на этом месте, между 8 и 9 словом Пандектов.

Кодекс Q. п. I. 27 не имеет обоснованной датировки в научной литературе, суммарно датируется XIV в. В листе использования, вложенном в рукопись, имеется автограф В. А. Мошина, отнесшего ее к началу XIV в. Мнение крупнейшего зарубежного специалиста наших дней в области южнославянской кириллической палеографии не аргументировано, но основание предложенной им датировки не вызывает сомнений. Почерк рукописи — мелкий, но каллиграфический устав — близок по облику и ряду отдельных начертаний к таким сербским датированным рукописям, как Рашская Кормчая 1305 г. (ГИМ, Воскр. 29 перг и РГБ, Унд. 25 — обр. почерка: [Лавров 1916: 50]) и Милутинов Октоих (ГИМ, Увар. 521–I°), датируемый по времени правления короля Стефана Уроша II Милутина (1282–1321), но, по всей вероятности, уже XIV в. (обр. почерка: [Леонид 1893: вклейка]). Из не имеющих точной датировки рукописей к кодексу Q. п. I. 27 особенно близки по почерку Евангелие тетр конца XIII — начала XIV в. (РНБ, Гильф. 18 и БАН 24. 4. 4; датировка В. А. Мошина [Мошин 1958: 412] и Л. Цернич, отождествление частей Л. Цернич [Цернич 1980: 361, № 6], снимок почерка — [Пергаменные рукописи 1976: рис. 37]), Пандекты Никона Черногорца из биб-ки Хиландарского м-ря № 175, датируемые кон. XIII в. (снимок: [Богданович 1978. Альбом: 15]) и почерк 3-го писца Пандектов Никона Черногорца кон. XIII — нач. XIV в. (б-ка м-ря Троицы

близ Плеваля в Черногории № 87 и РНБ, Гильф. 78; снимок — [Цернич 1981: сл. 26]). Все это дает основания датировать рукопись Q. п. I. 27 несколько шире, чем В. А. Мошин, — рубежом XIII–XIV в. (с такой датировкой согласен и В. М. Загребин). Рукопись оказывается, таким образом, одним из древнейших сербских списков Пандектов Никона Черногорца.

Дечанский сборник F. п. I. 121 несомненно не является непосредственным списком с кодекса Q. п. I. 27: они оба восходят к общему оригиналу. Это подтверждает следующее обстоятельство. В F п. I. 121 на л. 114 об.–115 об. оставлено место для раздела «**ѿ житиꙗ с҃таго Ѳеѡдора Едесскаго**» гл. 34, который в Q. п. I. 27 наличествует. Если бы первая рукопись списывалась со второй, подобный пропуск был бы необъясним. Таким образом, оба сборника, по крайней мере в объеме Пандектов и первой группы дополнений, восходят к протографу игумена Спиридона первой трети XIII в. Однако можно ли считать эту дату временем появления «Слова от Апостола» («Поучения Моисея») у южных славян, если его наличие в протографе сборника ничем убедительно не засвидетельствовано, поскольку текст в Q. п. I. 27 обрывается задолго до окончания F. п. I. 121?

Напомню, что в начале Q. п. I. 27 отсутствует оглавление Пандектов, в отличие от таких, например, современных ему списков, как РГАДА, собр. Ф. Ф. Мазурина, № 1698 (русский, кон. XIII — нач. XIV в.) и Плевальский сербский, о котором речь уже шла выше. Отсутствует оглавление и после окончания собственно Пандектов на л. 159 об. Нет оглавления и в начале Дечанского списка (F. п. I. 121), но после того, как Л. Цернич отождествила части кодекса, хранящиеся в РНБ и БАН, стало ясно, что оно сохранилось в самом конце рукописи, после всего дополнительного списка, который, таким образом, очевидно рассматривался составителем как неотъемлемая часть комплекса. К сожалению, оглавление дошло не целиком (номер последней главы, уцелевшей на обрывке последнего листа — 37, вставка между главами 8 и 9 (как в Q. п. I. 27) отсутствует, как и в самом тексте — редактор XIV в. был внимательным).

Итак, можно с уверенностью полагать, что протограф рукописей Q. п. I. 27 и F. п. I. 121, порядок статей которого восстанавливается по первой из них, а общий состав — по второй, был создан студеничским игуменом Спиридоном не позднее 1230-х гг. Протограф этот вполне заслуживает название «Сборник игумена Спиридона Студеничского». Состав реконструируемого сборника,

отражающий авторский замысел сербского книжника XIII в., — тема, заслуживающая отдельного исследования. Здесь же достаточно пока констатировать, что все восточнославянские сочинения и переводы, входящие в него (т. е., кроме «Слова от Апостола», еще и «Пчела» в обеих выборках — большой и малой), выборки из русского перевода Жития Андрея Юродивого (о ней см.: [Молдован 1994: 14]), и, наконец, сами Пандекты Никона Черногорца в сокращенной редакции пришли к южным славянам не позднее первой трети XIII в.

В отношении «Слова от Апостола» это лишнее подтверждение создания памятника в связи с засухой 1161 г. — по крайней мере вплоть до 1230-х гг. новгородские летописи, внимательные к местным природным явлениям, молчат о другом проявлении столь губительного и редкого для Новгорода «ведра».

Выше много говорилось о древности редакции текста, отразившейся в сербском списке. Ее, однако, нельзя считать исходной: текст, повествующий о телесных излишествах, здесь явно сокращен по сравнению с Хлудовским сборником. Вероятно, это произошло в монастырской среде, где эту тему сочли неуместной. Неясно лишь, где была проведена редактура — у южных славян, или же еще на Руси.

Текст «Слова от Апостола» публикуется ниже по списку БАН 24.4.23[9] с сохранением орфографии (не отмечается только Е широкое), но без соблюдения пунктуации оригинала. Разночтения из Слова и Поучения Моисея (в Хлудовском и Паисиевском сборниках) приводятся по публикации А. И. Соболевского и Н. Гальковского (орфографические варианты не учитываются).

* * *

Когда данная работа уже была завершена, обнаружился еще один список «Поучения Моисея» («Слова от Апостола»), немаловажный для истории текста памятника в целом. Список дошел в составе сборника середины XVI в., содержащего в основном толкования на различные тексты (преимущественно Священного Писания) — РГАДА, ф. 181 (собр. Рукописного отделения б-ки МГАМИД), № 478 (библиографию основных работ, посвященных этой замечательной рукописи, в основной своей части связанной с древними сборниками толкований — толстовским XIII в. (РНБ, Q. п. 1.18) и кашинским списком «Книги Кааф» 1415 г. (ГИМ, Муз.

4034), см.: *А. А. Алексеев.* К истории русской переводческой школы XII в. // ТОДРЛ. Л., 1988, т. 41, с. 179–188, примечания; *А. А. Турилов.* О датировке и месте создания календарно-математических текстов-«семитысячников» // Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1988, с. 29, примеч. 11). Текст поучения занимает в рукописи л. 528 об.–530, он не имеет здесь заголовка, начинаясь словами: **Ап҇с ль гл҃еть: «Пре҇ж всего в' пр҇о рце҇х гл҃еть г҃ь**...» (не в этом ли объяснение заглавия «Слово от Апостола» в сербском списке?). Поучение помещено не в полном объеме, оно обрывается на словах о последствиях умножения желтой желчи («кручины»), за которыми следует (также не выделенное заголовком) краткое поучение против пьянства, не имеющее соответствия в других редакциях памятника. Важнее, однако, что предшествующий текст и по объему и по расположению частей полностью совпадает не с русскими списками, а с сербским XIV в., лишний раз подтверждая существование представленного в последней редакции уже на русской почве.

В отношении языка судьба нового списка не была столь счастливой (да и трудно было бы ожидать обратного). «Намы» исключены из текста, нет, разумеется, и орфографических новгородизмов. Налицо довольно обычная для древнерусской книжности хронологическая дистанция между датировкой литературного памятника и языковым обликом сохранившего его позднего списка. Стоит отметить, что в новом списке, как и в других русских (см. публикацию, примеч. 29–30) отсутствует упоминание о просфорах при осуждении обычая писать заклинания с именами языческих богов против лихорадки (трясавицы) на просфорах и яблоках, помещаемых на церковном престоле во время совершения литургии. Таким образом, вопрос о том, что это — дополнение в сербском списке, отражающее местную традицию, или же сокращение в результате цензуры в русских — по-прежнему остается открытым. За сборником же МГАМИД 478 еще более укрепляется слава коллекции раритетов.

Основной список — БАН 24. 4. 20 (Срезн. 67), л. 28 об.– 30. С.

Варианты: ГИМ, Хлуд. 30 д., Х

РПБ, Кирилло-Белоз. 4 / 1081 (Паисиевский сборник), П.

[1]СЛОВО Ѿ АП҇ЛА НЕ ПОУЩАѤ [2] НБ҃О ДЬЖДЬ[3].

Апостоль гл҃ѥть: «Прѣжде всего вь пр҃роцѣхь рече г҃ь:[4] Того[5] ради завезано[6] нб҃о не поущати[7] дьжда на землю, занѥже[7а] чл҃вци кльноуть се бг҃омь[8] вь льжоу[9] и ѥго ст҃ыими и дроугь дроуга доганꙗѥть[10] до[11] клетвы, и цр҃квь ст҃оую Хв҇оу невѣстоу ротою нарекше[13], приводеще[14] закалають сн҃а прѣд материю. Слоугыи[15] же матере тоѥ[16] пиють крьвь заколенаго сн҃а матере тоѥ и своѥго брата, рождьшаага се по дх҃оу ст҃ыимь кр҃щениѥмь[17]. Того ради все силы нб҃сныѥ трепещоуть сь[18] страхомь, занѥже г҃ь[19] их всѣхь[20] бг҃ь чл҃вкы положень ѥсть вь ротоу[21].

Томоу же подбнаа дроугаа вина[22] жрьтвоу приносеть бѣсомь: недоугы[23] лѣчеть чарми и наѥзы[24], и[25] немощнаго бѣса, гл҃ѥмаага тресцоу прогонеть[26] некыими писмены льживыими[27], проклетїихь бѣсовьь еллиньскыихь[28] пишоуще на ꙗбльцѣхь[29] и на просфорахь[30], и покладають на ст҃ѣи трапезѣ вь годь[31] ст҃ыѥ[32] литоургиѥ. И тьгда оужасноуть се страхомь[33] агг҃льскаа воиньства, и того ради[34] г҃ь[35] бг҃ь гнѣваѥть се[36], не поущаѥть дьжда[37], занеже[38] не велить[39] бь догонити чл҃вка клетвы и роты[40], ни бѣсы искати цѣльбы и ловитвы и коупле, и о цр҃а мл҇ти чарми и наѥзы[41]. И горе хр҇тїаномь тако дѣюще и моука горши и поганыихь[43] будеть таковыихь[44], аще не останоуть того и не прїидоуть на покаꙗниѥ[45]. Аще ли прїдоуть на покаꙗниѥ, сп҃сенїи быше были и вь сь вѣкьь и вь боудоущии[46]. Вѣкь бо кратькь[47], а моука дльга[48]. Не велить бг҃ь роты водити ни на правѣ на на кривѣ, нь тако тькмо рци: «Еи, еи. Ни, ни», да вь ѡсоуждениѥ не выпадете, рекше вь моукоу.

А се дроугаа зьль, противоу тоижде зьлы велицѣ бываѥть ратию сьсобичною казьннѣи, ꙗкоже без вины поробочивають чл҃вкы поклепомь, клетвою, льжею, завистию, гнѣвомь, соудбами[49] неправедными, мьздми кривыими, лихоманиѥмь, рѣзоиманиѥмь рекше намы, граблениѥм и пожаром, граблениѥмь и ѡбрѣтеныими вьзетиѥмь. Горѣѥ же всего того изгоиство. А то все ротеще се и кльноуще се, хотеще ротѣ и водеще. И тѣмы дѣлы проводеще[50] на себе рать, ратници же сѣкоуть и биють, моучеть, грабеть и вь работоу ведоуть, и бываѥть казнь противоу казни и мьсть противоу мъсти и моука противоу моуцѣ. Аще ли не боудеть имь казни на семь свѣтѣ, ни се покають, ни вратеть, тѣмь же ѡпеть болшоу моучению сподбеть се вь ѡномь вѣцѣ. Сии бо вѣкь кратькь, а моука дльга.

А се третиꙗ зьль, сиꙗ мьнши злобою ѡною. Сию зьль вь себѣ дрьжимь и противоу зьли тои казнь вь нась же ѥсть. Се ѥсть зьль

вь нась: познавше б͠а живааго и ѡживлıающаго всачьскаа сиимь и д͠хомь ıего, не створимь воле ıего и заповѣди ıего не сьблюдаıемь, а вѣрныи соуще хртͨіане. Врѣмены оуставиль ıесть, вь нıеже все дѣıати вь славоу б͠жию, а не вь славоу диıаволю[51]. Похотению[52] вь ны выложиль б͠ь всакоıе, пожедалы[53] мѣроу на излышениıе похотѣнию всемоу тѣлесемь д͠ховныимь[54], мѣра же ıеͨ вьзр͞дьжание[55]. Спаниıю врѣме и мѣра похотѣнию, ıадѣнию[56] врѣме[57] похотѣнию[58], питию врѣме и мѣра[59]. Что ли болевь имена писати — всемоу похотѣнию ıесть[60] врѣме оуречено и мѣра[61] живоущомоу вь вѣрѣ хртͨіаньсцѣи и вь чистотѣ[62]. Да аще вс͠а та похотѣниıа дѣıати[63] оубо[64] боудеть без врѣмене и без мѣры, то грѣхь боудеть вь д͠ши, а вь тѣлесы недоугь[65]. Недоугь вьсь раж͞даıеть се вь тѣлеси чл͠вчи и[66] вь кроучинѣ, кроучина же сьсѣдеть се ѿ излишнааго питиıа и ıадениıа и спаниıа и женоложиıа, иже безь врѣмене и без мѣры. Кроучины же[67] три на[68] чл͠вцѣ: жльта, зелена, чрьна: да от жльтыıе[69] ѡгньнаа болѣзнь, [а ѿ][70] зеленыıе[71] зимнаа болѣзнь, а ѿ чрьныıе сьм͠рть, рекше[72] исходь д͠ши[73]. Сьмрти бо б͠ь не створиль, ни ра͞дуıеть ее ѡ погыбѣли чл͠вчи[74]. Тако же б͠ь недоуга не створиль: все тако соуть вь чл͠вцѣ, и самь в себѣ ствариıаеть недоугь безвременныимь ıадениıемь[75] и самь се[76] просто[77] ѡсоуж͞даıеть вь моукоу. Аще се не покаıеть, ни вьстегнеть се ѿ того, ни творити почнеть по семоу, ıакоже ıесть писано, и творити без мѣры и не вь врѣме, то не сп͠сѣнь боудеть[78]... и покаıавь се, и ходить вь заповѣдехь, и по мѣрѣ и вь врѣме, дрьже добрыıе нравы, и похотѣниıе вь врѣме творе и вь мѣроу, то сп͠сень боудеть и вь вѣкь и вь боудоущии твореи тако. Аще ли то ни давь всакомоу три нравы похотѣнию вь врѣме и вь мѣроу, а не на излишнеıе похотениıе. Аще ли боудеть похотѣниıе без врѣмене, то не творить. Аще ли боудеть похотѣниıе вь врѣме, то твори, да не ѡсоуж͞день боудеши вь моукоу[79]. Вѣкь бо сии кратькь[80], а моука дльга и безь конца[81].

Варианты и примечания

1–3 **Пооучениıе Моисѣıа безъвременьнѣмь пиıаньствѣ** — Х; **Слово ѡтца Моисѣѧ о ротаͯ и о клѧтвахъ** — П. 2–3 Заключительная часть заголовка в С написана «пурпуром», но строчными буквами. 3–48 в Х этот текст составляет заключительную часть слова. 3–4 **Пр͠ркь гл͠ть** — Х, П. 4–5 **ıако того** — П. 6 **завѧза** — Х; **затвори сѧ** — П. 7 **не пустить** — Х; **не пустити** — П. 7а **зане** — Х, П. 7а–8 **кленоͮть сѧ чл͠вци б͠гомь** — П. 8–9 Нет — Х, П. 10 **догонѧть** — Х;

догонıаеть — П. 10–11 Нет — П. 12 **невѣстоу Хв^соу** — Х, П. 13 **сквернѧще** — П. 14 **приходѧще** — П. 15 **слуты** — Х, П. 15–16 **же тоıа мт҃ре** — Х, П. 16–17 и (нет — П) **своıего брата рожьшаго сѧ по дх҃оу ст҃мь кр҃щениıемь, пиють кровь заколенаго с҃на мт҃ри тоıа** — Х, П. 18 Нет предлога — Х, П. 19–20 Нет — Х, П. 20–21 **б҃ь не велить догонити ч҃лвка** (в П слова нет) **до клѧтвы и до роты**; в П далее вставка: **По истинѣ Сп҃съ нашь Х҃сь рече: «Ч҃лвци си токмо ротою мıа знають». Сего ради с нб҃сѣ сьходѧще серпь ѡгненъ пр҃рк Захарьѧ видѣ идущь на землю, въ долготу К҃ локоть, а въ ширину Ѳ҃ локоть, и о семъ молѧше сѧ б҃гу, да проıавить емоу. И сниде к немоу гласъ гл҃ющь: «Се есть серпъ гнѣвъ б҃жіи исходѧщь на тѣхь, иже сѧ накривѣ ротѧть, да поженеть ıа и д҃ша ихъ огню негасимому предасть»**. 22 **и другаяа вина** — Х; **емоу же другаıа вина подобна тому** — П. 23 **и недоуты** — Х, П. 24 **чарами и наузы** — Х, П. 24–25 Нет — Х, П. 26 **мнѧть сѧ прогонѧющи** — П. 27 **ложными писмены** — П. 28 **и елиньскы^х** — П. 29–30 Нет Х, П. 31–32 Нет — П. 33 **съ страхомъ** — П. 34–35 Нет — П. 35–36 **разгнѣвленъ г҃ь б҃гь** — П. 37 **дъждѧ на землю** — Х, П; в П далее: **овогда же пожаромь и ратми частыми и прочими бѣдами многими, да мы престанемъ ѿ злобъ и на покаѧнье обратим сѧ. Но мы одинако пребываем, не останоуще сѧ грѣхъ, ıако велми претить г҃ь ст҃ыми своими**. 37–38 Нет — Х, П. 39–40. Нет — Х, П; ср. выше, примеч. 20–21. 40–41. **недугъ лѣчити чарами и** (П — **ни**) **наузы, ни бѣсъ искати**, или (**ни в стрѣчю вѣровати** — П) **на** (**ни** в — П) **ловы идоуще**, или **коуплю дѣюще** (**на куплю отходѧще** — П). 41–42 или **м҃лости ѿ ц҃рѧ** (**ѿ кн҃зѧ мл^сти хотѧще** — П) — Х, П; далее: **Не велить чародеıаниемъ и кобми ходѧще сихъ искати. Аще ли кто ѿ хрт^сьянъ волхвуıа и кобленьѧ творѧще, горше поганых осудѧть сѧ таковии, аще покаıаньѧ о томъ не приимоуть, ни останоуть сѧ** — Х, П. 43 **кр^стыıаномъ тако дѣющи и мука горше и поганыхъ** — Х, П. 43–44. Нет — Х, П. 45–46 Нет — Х, П. 46–47 **то вѣкь сь коротокъ** — Х, П. 48 **долга и бе^с концѧ** — Х, П. Здесь заканчивается текст в П. 48–51 Нет — Х. 49 Так в ркп., вм.: **соудами**. 50 Так в ркп., вм.: **приводеще**. 51–54 в Х начало текста: **Б҃ъ вложилъ ıесть всѧкоıе похотѣньıе ч҃лвкоу дх҃овнымъ и телеснымъ дѣломъ**. 52 Так в ркп., вм.: **похотѣниıе**. 53 Так в ркп. 54 Так в ркп., вм.: **тѣлеснымь и дх҃овныимь**. 54–55 Нет — Х. 56 **ѣдению** — Х. 57–58 Нет — Х. 59 далее в Х: **женоложью похотѣнью врѣмѧ и мѣра**. 60 **ıесть похотıению** — Х 60–61 **врѣмѧ и мѣра оуречено** — Х. 62 **въ вѣрѣ чт^сѣ и въ крт^сıаньствѣ** — Х. 63–64 Нет — Х. 65 а **недугъ в телеси** — Х. 66 нет союза — Х. 66а **ѣдениıа** — Х. 67 Испр. (так в Х), в ркп.: **кроучины иже**. 68 **въ** — Х. 69 **желтоıе** — Х. 70 В ркп. две буквы утрачены, видно лишь выносное **т**, восстанавливается

по смыслу. 71 **ѿ зеленоѥ** — Х. 72–73 **дш҃и исходъ** — Х. 73–74 нет — Х, вместо этого: **дьꙗволъ же тогда радоуѥть сѧ о погыбели чл҃вчи**. 74–75 **того же недуга б҃ъ не створи нъ самъ въ себе стварꙗеть дѣꙗниѥмь и безмѣрнымь** — Х. 76–77 Нет — Х. 78 далее в С утрачено 5 букв, вероятно: **Аще же**. 78–79 В Х иная редакция текста: **И творилъ бы въ подобно времѧ. и въ мѣру. и сп҃нъ бы былъ. Да всѧкому вѣрному чл҃вку держати тои норовы: похотѣнию времѧ, а на излишноѥ похотѣниѥ налагати оуздоу въздержаниꙗ. Аще ли въ врѣмѧ похотѣениѥ будеть, то твори, ѥго же хощеши, нъ въ мѣру. А без мѣры колико больше суть кони, колико ны выщши ѥсть песъ. И коѥждо бо ѿ тѣхъ животныхъ видим ѣдъша или пивша, чересъ сыть не брегоуть. Аще и тмами ноудѧщеи будоуть, не хощеть излише мѣры приꙗти. Не оубо ли сихь и конь хоужьша мы. Аще видимъ и скота грѧзѧща, то не презримь. Ѥгда ли видимъ дроуга всегда погружаѥма, то посмѣем сѧ. Нъ мы братьѥ не сътворимъ тако, да не будемъ осужени въ муку**. 80 **коротокъ** — Х. 81 **и бес конца грѣшьномоу** — Х.

Примечания

[1] Так, например, проложные жития варягов-мучеников, княгини Ольги (так называемое «русское», второе — «южнославянское» — известно лишь в южнославянских списках XIII–XIV вв.), князя Владимира и князя Феодора-Мстислава Владимировича (сына Владимира Мономаха) известны в южнославянских списках конца XIII в.: первые три в составе болгарского Синайского сборника (РНБ, Q. п. I. 63), последнее — в болгарском (ГИМ, Хлуд. 191) и сербском (ГИМ, Увар. 70) Прологах. Из этих памятников лишь житие князя Владимира (ГИМ, Щук. 97) представлено древнерусским отрывком XIII в. (датировка XIII в. Пролога РНБ F. п. I. 47 [СК № 294] явно ошибочна, по графико-орфографическим признакам кодекс не может быть датирован ранее середины XIV в. — снимки почерка см.: [Климент Охридски 1970: 532–534]). Остальные произведения известны в восточнославянских списках не ранее XIV в.

Показательно, что и «Послание к брату-столпнику», приписываемое в заглавии Илариону, митрополиту Киевскому (а не просто св. Илариону, либо Илариону Великому) только в южнославянской (сербской) традиции, представлено здесь целой группой списков, более ранних (о них см.: [Турилов 1991: 90–91; Турилов 1993: 32–33]), чем восточнославянские, — обстоятельство, как кажется, мало известное даже исследователям творчества митрополита (новые аргументы в пользу славянского, а не переводного происхождения памятника см.: [Буланин 1991: 242]).

[2] До последнего времени это был древнейший список памятника. В 1991 г. подборка из «Пчелы» в том же переводе была обнаружена в составе сборника рубежа XIII–XIV вв., также сербского происхождения, РНБ, Q. п. I. 27 [Турилов 1993: 34–35]. Наконец, в ноябре 1994 г. при расклейке пергаменной обложки одного из архивных дел Гос. архива Швеции в Стокгольме (RA, Östersjöprovinserna, 1609–1613) среди других славянских отрывков был обнаружен фрагмент древнерусского списка «Пчелы» XIII (датировка и определение содержания — автора этих строк).

[3] На связь «Слова от Апостола» со Словом и Поучением Моисея обратила в 1991 г. мое внимание Н. А. Кобяк, которой я указал сербский текст как пример упоминания обычая писать заклинания на яблоках и просфорах, интересовавший ее в связи с индексами отреченных книг.

[4] М. Н. Сперанский отмечает для текста «Пчелы» в составе этого сборника наличие среднеболгаризмов, свидетельствующих о существовании промежуточного болгарского списка [Сперанский 1904: 338–340]. Возможно, подобным же образом объясняются и некоторые особенности орфографии нашего Слова, например, **накзы** (из **наоузы** — **нажзы / налзы** — **накзы**?).

[5] Дополнительный аргумент против принадлежности текста архиепископу Моисею дает уже сам Хлудовский список. Сборник, содержащий Поучение, по графико-орфографическим особенностям относится к первой половине XIV в., в облике его письма много архаичного, восходящего к традициям предшествующего столетия (образцы почерка см.: [Климент Охридски 1977: 563–588]), скорее всего, кодекс следует датировать рубежом первой и второй четверти XIV в. (благодарю О. А. Князевскую и Н. Б. Тихомирова за консультации по данному вопросу). Это время чрезвычайно насыщено событиями в жизни архиепископа: на протяжении короткого промежутка он был архимандритом Юрьева монастыря, ушел «в свой монастырь» (Троицкий Коломецкий), и, наконец, был возведен во владычный сан [Новгородская харатейная летопись: 332, под 6832 г.]. Едва ли в современном этим событиям списке писец ограничился лишь указанием имени. Сербский же список свидетельствует, что Поучение Хлудовского сборника — лишь одна из редакций текста, существовавших к 1320-м гг.

[6] Непонятен аргумент в пользу древности текста, приводимый В. В. Колесовым [Словарь 1987: 256–257; ПЛДР 1980: 690]: в Поучении «представлена языческая символика желто-зелено-черного цвета». Цвета упоминаются при слове «кручина» с несомненным значением «желчь» (**Недоугъ всь раждакть се вь тѣлеси члвчи и вь кроучинѣ, кроучина же сьсѣдеть се ѿ излишнааго питиꙗ и ꙗдениꙗ и спаниꙗ и женоложиа... кроучины же три на члвцѣ** — ср. [Срезневский 1893: 1137]). Это, вероятно, древнейшее на славянской почве упоминание трех желчей в человеческом организме (обычно фигурируют две — желтая и черная — примеры: [Срезневский 1893: 1137]), но, несомненно, восходящее к античным медицинским представлениям (ср. у Авиценны [Ибн Сина 1981: 28–30], который упоми-

нает не только три цвета желчи — хотя и с иными симптомами, — но и отдельные оттенки для желтой и зеленой: цвета яичного желтка, цвета ярь-медянки, цвета порея), т. е. если и к условно языческим (в смысле — дохристианским), то не славянским.

[7] Утрата в кодексе составляет 7 листов, отрывок БАН 24. 4. 23 состоит из 5. Возможно, что выскобленные на л. 5 об. последние строки содержали заглавие и начало апокрифического «Сказания о 12 пятницах» (своеобразная цензура отреченных текстов), окончание которого читается в рукописи РНБ, а один из предшествующих листов хранится ныне в Народной библиотеке Сербии [Стипчевич 1989: 75; Турилов 1991: 97]. Местонахождение еще одного листа неизвестно.

[8] Вопреки мнению М. С. Крутовой [Крутова 1988: 41, прим. 13], начало рукописи не утрачено (что видно из нумерации тетрадей), и это ее заглавие.

[9] Пользуюсь случаем поблагодарить Д. М. Буланина за помощь в копировании текста.

Литература

Адрианова-Перетц 1963 — *В. П. Адрианова-Перетц*. Древнерусские литературные памятники в южнославянской письменности // ТОДРЛ. Л., 1963, т. 19.

Бабић, Кораћ, Ћирковић 1986 — *Г. Бабић, В. Кораћ, С. Ћирковић*. Студеница. Београд, 1986.

Библия, сиречь книгы Ветхаго и Новаго Завета по языку словенску. Острог, 1581.

Богдановић 1976 — *Д. Богдановић*. Пролошко житије светог Симеона // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. Београд, 1976. Књ. 42.

Богдановић 1978 — *Д. Богдановић*. Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара / Палеографски албум. Београд, 1978.

Богдановић 1980 — *Д. Богдановић*. Историја старе српске књижевности. Београд, 1980.

Буланин 1991 — *Д. М. Буланин*. Античные традиции в древнерусской литературе XI—XVI вв. Мюнхен, 1991.

Гальковский 1913 — *Н. М. Гальковский*. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. М., 1913, ч. 2.

Даничич 1872 — *G. Daničić*. Poslanica sv. Save, archiepiskopa srpskoga iz Ierusalima u Studenicu igumnu Spiridonu // Starine, Zagreb, 1872, kn. 4. (репринт: Ситнији списи Ђуре Даничића. Београд, 1975, т. 3).

Зализняк 1984 — *А. А. Зализняк*. Наблюдения над берестяными грамотами // История русского языка в древнейший период. М., 1984.

Ибн Сина 1981 — *Абу Али Ибн Сина (Авиценна)*. Канон врачебной науки. Ташкент, 1981, кн. 1.

Климент Охридски 1970, 1976 — *Климент Охридски.* Събрани съчинения. София, 1970, 1976, т. 1–2.

Кодов 1969 — *Х. Кодов.* Опис на славянските ръкописи в Библиотеката на Българската Академия на науките. София, 1969.

Крутова 1988 — *М. С. Крутова.* «Златая цепь» как тип сборника // Литература Древней Руси. Источниковедение. Л., 1988.

Лавров 1916 — *П. А. Лавров.* Альбом снимков с юго-славянских рукописей болгарского и сербского письма. Пг., 1916.

Леонид, архим. (Кавелин) 1883 — *Леонид, архим. (Кавелин).* Систематическое описание... славяно-русских рукописей... собрания А. С. Уварова. М., 1883, ч. 2.

Молдован 1994 — *А. М. Молдован.* «Житие Андрея Юродивого» в славянской письменности. М., 1994, АДД.

Мошин 1958 — *В. А. Мошин.* К датировке рукописей из собрания А. Ф. Гильфердинга Государственной Публичной библиотеки // ТОДРЛ. М.; Л., 1958, т. 15.

Мошин 1966 — *В. Мошин.* Палеографски албум на южнословенското кирилско писмо. Скопjе, 1966.

Новгородская харатейная летопись. М., 1964.

Павлова 1988 — *Р. Павлова.* Сведения о Борисе и Глебе в южнославянской письменности XIII–XIV вв. // Palaeobulgarica, 1988, № 4.

Павлова 1989 — *Р. Павлова.* Жития княгини Ольги в южнославянских рукописях XIII—XIV вв. // Болгарская русистика, 1989, № 5.

Павлова 1992 — *Р. Павлова.* Житие Феодосия Печерского в южнославянских рукописях XIII—XIV вв. // Palaeobulgarica, 1992, № 2.

Павлова 1993 — *Р. Павлова.* Жития русских святых в южнославянских рукописях XIII—XIV вв. // Славянска филология. София, 1993, т. 21.

Памятники литературы Древней Руси. XII в. М., 1980.

Пергаменные рукописи Библиотеки Академии наук СССР. Л., 1976.

Попов 1875 — *А. Н. Попов.* Первое прибавление к описанию рукописей... А. И. Хлудова. М., 1875.

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987, вып. 1.

Соболевский 1912 — *А. И. Соболевский.* Материалы и заметки по древнерусской литературе. I. Слова отца Моисея // ИОРЯС, 1912, т. 17, кн. 3.

Сперанский 1904 — *М. Н. Сперанский.* Переводные сборники изречений в славяно-русской письменности: Исследование и тексты. М., 1904.

Сперанский 1921–1923 (1960) — *М. Н. Сперанский.* К истории взаимоотношений русской и югославянской литератур // ИОРЯС. Пг. 1921—1923; То же // *М. Н. Сперанский.* Из истории русско-славянских литературных связей. М., 1960.

Срезневский 1863 — *И. И. Срезневский.* Древние памятники русского письма и языка (XI–XIV вв.): Общее повременное обозрение. СПб., 1863.

Срезневский 1876 — *И. И. Срезневский.* Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. СПб., 1876, т. 2.

Срезневский 1893 (1958, 1989) — *И. И. Срезневский.* Материалы для Словаря древне-русского языка. СПб., 1893, т. 1 (репринт: М., 1958, 1989).

Стипчевић 1988–1989 — *Б. Стипчевић.* Средњовековно писано наследе у заоставштини Љубомира Ковачевића // Археографски прилози. Београд 1988–1989. (Књ.) 10–11.

Турилов 1991 — *А. А. Турилов.* Памятники письменности восточных славян в южнославянской рукописной традиции XIII–XIV вв. // Информационный бюллетень МАИРСК. М., 1991, вып. 25.

Турилов 1993 — *А. А. Турилов.* Памятники древнерусской литературы и письменности у южных славян в XII–XIV вв. // Славянские литературы. XI Международный съезд славистов: Доклады российской делегации. М., 1993.

Цернић 1980 — *Л. Цернић.* Њека запажања о српским рукописима у збиркама Ленинграда // Археографски прилози. Београд, 1980. (Књ.) 2.

Цернић 1981 — *Л. Цернић.* О атрибуцији средњовековних српских ћирилских рукописа // Текстологија средњовековних јужнословенских књижевности. Београд, 1981.

Янин, Зализняк 1986 (1993) — *В. Л. Янин, А. А. Зализняк.* Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1977–1983 гг. М., 1986. То же: Из раскопок 1984–1989 гг. М., 1993.

Б. А. Успенский

Древнерусское богословие: проблема чувственного и духовного опыта (представления о рае в середине XIV в.)

1. Как известно, в Древней Руси не было богословия как специальной дисциплины; богословие воспринималось главным образом через обряд, через литургию — иначе говоря, было то, что принято называть литургическим богословием. Это не означает, конечно, что богословия не было вообще, но богословские представления не излагались в сколько-нибудь систематической или последовательной форме. То немногое, что мы знаем о богословских или, что то же, философских представлениях древнерусских людей, содержится главным образом в полемических трактатах. В этом — особая ценность таких трактатов: они позволяют реконструировать содержательный мир древнерусской культуры.

Настоящая работа посвящена одному из таких источников, а именно полемике о рае, имевшей место в Северной Руси в середине XIV в.; мы можем судить об этой полемике по посланию новгородского архиепископа Василия Калики к тверскому епископу Феодору Доброму, составленному около 1347 г. (см.: ПСРЛ, VI, 1853, с. 87–89; ПСРЛ, VII, 1856, с. 212–214; ПСРЛ, XXI/2, 1913, с. 387–390; ПСРЛ, XXXIX, 1994, с. 110–111; Новг. лет., 1879, с. 224–230; Буслаев, 1912, с. 164–171; Лончакова, 1975, с. 100–104: ПЛДР XIV–XV вв., с. 42–49)[1].

Поводом для этого послания послужили какие-то споры о рае («распря... о ономъ честном раю»), учинившиеся в Твери. Мы знаем об этих спорах только из послания владыки Василия. Таким образом, позиция Василия дана нам непосредственно в тексте, а о позиции Феодора приходится судить по тому, как она изложена в послании Василия.

Послание Василия Калики хорошо известно и неоднократно комментировалось в научной литературе. Тем не менее, существо спора остается невыясненным. Исследователи обычно не касаются этой проблемы, сосредоточивая свое внимание на тех или иных специальных вопросах (в частности, на вопросе об источниках). Если же они упоминают о существе полемики, то, как правило, освещают ее неверно: так, полемика Василия и Феодора нередко изображается как спор реалиста и номиналиста или же мистика и рационалиста; поскольку Василий говорит о материальном (чувственном) рае, его оппоненту, Феодору, может приписываться мысль о чисто идейном существовании загробного мира (см., например: Седельников, 1927, с. 230–231; Райнов, 1940, с. 178; Лотман, 1965, с. 210); как в позиции Василия, так и в позиции Феодора может усматриваться отражение еретических учений (см.: Панченко, 1987, с. 95; Лихачев, 1946, с. 125; Рыбаков, 1948, с. 770, ср. с. 650, 774; Лазарев, 1953, с. 387; Казакова и Лурье, 1955, с. 35–37; Клибанов, 1960, с. 138–149; Клибанов, 1960, с. 138 сл.)[2]; и т. п. Со всем этим трудно согласиться, и это заставляет еще раз обратиться к данному тексту. Вместе с тем, рассмотрение послания Василия Калики позволяет нам в какой-то мере восстановить специфическое восприятие пространства и времени, т. е. основных параметров языка и культуры.

2. Адресат интересующего нас послания, епископ Феодор, насколько можно понять, отрицал существование чувственного, материального рая и учил о «мысленном рае», который находится вне пространственного опыта. Полемизируя с ним, архиепископ Василий настаивает на том, что рай, как и ад, — это не умозрительные образы, но вполне конкретные места, доступные чувственному восприятию, которые в принципе можно достичь, перемещаясь в пространстве. В подтверждение своих слов он ссылается на многочисленные свидетельства новгородских мореплавателей, которые видели ад[3]; вместе с тем, он описывает случай, когда новгородцы, потеряв ориентацию и скитаясь по морям, неожиданно приплыли к острову, на котором находился рай[4].

Ср.: «И нынѣ, брате, мнитъ ти ся мысленый рай, но все мыслено мнится видѣниемъ. А еже Христос рече въ Еуангелии о второмъ пришествии, и то ли мыслено сказаете?»; «И егда же приближися преставление Владычици нашея Богородица, ангелъ вравье принесе, вѣтви изъ рая, являя гдѣ Ей быти. А еже рай мысленый есть,

то почто видиму вѣтвь сию ангелъ принесе, а не мыслену есть? Апостоли видѣша, множество и невѣрныхъ жидов вѣтвь сю видѣша»[5]; «А что, брате, молвишь: „рай мысленый", ино, брате, такъ то и есть: мысленый и будет, а насаженый [т. е. насаженный на Востоке рай] — не погиблъ, и нынѣ есть. На нем же свѣтъ самосияненъ, а твердь запята есть до горъ тѣхъ раевыхъ» (ПЛДР XIV–XV вв., с. 44, 46, 48).

Необходимо подчеркнуть, что Василий Калика вовсе не отрицает существования мысленного рая, но противопоставляет его раю, воспринимаемому чувственным образом, — раю как Эдемскому саду, где были Адам и Ева. Так он говорит о чувственном рае: «...всѣ вѣдаемъ от святаго Писаниа, что насади Богъ рай на въстоцѣ, въ Едемѣ, и введе в онь человѣка, и заповѣда ему, рекъ: „Аще съблюдеши слово мое — живъ будеши, аще ли преступиши — смертью да умреши, в ту же землю поидеши, от нея же взятъ еси" [Быт., II, 8, 15–17; III, 17]. И он же преступи заповѣдь Божию, и изгнанъ бысть из рая, и плачася горко, въпия: „О, раю святый! И еже еси мене ради насаженый и Евгы ради затвореный! Помоли тебе сотворшаго и мене създавшаго, да некли твоих цвѣтець насыщуся!". Тѣмъ к нему Спасъ глаголя: „Моего създаниа не хощю погубити, но хощу спасти и в разумъ истины [*по другим спискам*: в разумъ истинный] привести", обѣща ему паки внити в рай» (ПЛДР XIV–XV вв., с. 42–44)[6]. Ср., вместе с тем, о мысленном рае: «А мысленый рай то и есть, брате, егда вся земля огнемъ искушена [*по другим спискам*: изсушена огнемъ] будетъ, по апостольскому словеси: „чаемъ небесъ новыхъ и земли новые, егда истинный свѣтъ, Христосъ, снидетъ на землю" [II Петр, III, 13]... Егда Господь нашь явится съ свѣтлостью [*по другим спискам*: въ свѣтлости] божества своего на земли и силы небесныя двигнутся, ангели престанутъ отъ дѣлъ своихъ и явять свѣтлость свою сътворенную от Бога, то есть, брате, мысленый рай, егда вся земля просвѣщена будеть свѣтомъ неизреченнымъ, исполнена радости и веселия, якоже апостолъ Павелъ глаголет, егда въсхищенъ бысть до третьяго небеси: „око не видѣ, и ухо не слыше, ни на сердце человѣку не взыде, еже уготова Богъ любящимъ его" [ср.: II Кор., XII, 2–4]. О сем раю мысленомъ Христос рече: „Суть етери от здѣ стоящихъ, иже не имуть вкусити смерти, дондеже узрять царствие Божие, пришедша в силѣ" [Мф., XVI, 28; Мк., IX, 1; Лк., IX, 27]. То суть, брате, видѣвьши царствие Божие: Моисѣй и Илья, Петръ, Ияковъ, Иванъ на Фаворьстѣй горѣ; якоже видѣвше ученици его, удариша собою о перстную землю, не могуще видѣти свѣтлости

божества его. Не возможно бо его, брате, ни святымъ видѣти, мысленаго рая, въ плоти суще, того ради сие святии видѣвши не могоша стояти, ниць на землю падоша» (ПЛДР XIV–XV вв., с. 48; ср.: ПСРЛ, XXXIX, 1994, с. 111).

Соответственно для Василия — так же, как, вероятно, и для Феодора, — мысленное противопоставлено не реальности как таковой, но реальности чувственно воспринимаемой, т.е. отраженной в человеческом опыте. Когда земля сгорит — после Второго пришествия и Судного дня, — будет рай нематериальный, бесплотный, непостижимый чувственным образом [7]. Такой рай может быть постигнут лишь в мистическом откровении.

Таким образом, есть и мысленный, и насаженный (материально воспринимаемый) рай, и оба они реальны. Однако, по утверждению Василия Калики, они относятся к разным реальностям: мысленное — это реальность мистического откровения, чувственное — это реальность чувственного опыта.

Отчасти сходная полемика имела место и на Западе. Так, Петр Ломбардский различал три представления о рае: одни понимают рай в чисто духовном смысле, другие в чувственном смысле, наконец, третьи воспринимают его и в том, и в другом смысле («Tres enim generales de paradiso sententiae sunt. Una eorum qui corporaliter intelligi volunt tantum; alia eorum qui spiritualiter tantum; tertia eorum qui utroque modo paradisum accipiunt»); сам Петр присоединяется к последней точке зрения (Sententiae, II, 17.5 — Минь, PL, CXCII, стлб. 686; ср. комментарий Бонавентуры, см.: Бонавентура, II, с. 426–429). Ср. также у Григория Синаита: «Ὁ παράδεισος διττός ἐστιν, αἰσθητὸς καὶ νοητός» (Минь, PG, CL, стлб. 1242) или же в славянском переводе XV в.: «Рай соугоубъ есть, чювьствныи и мысльныи» (ГИМ, Син. 923, л. 40; Седельников, 1937–1938, с. 170).

3. Итак, Василий Калика противопоставляет рай, в котором были Адам и Ева и который существует, по его мнению, до сих пор, — раю неизреченному, который ожидается после Второго пришествия и который в принципе недоступен человеческому восприятию; в первом случае рай понимается как конкретное место в воспринимаемом нами пространстве (ср.: «насади Богъ рай на въстоцѣ»), во втором — как идеальный («мысленный») образ, который не поддается локализации и вообще никак не связывается с пространственным опытом.

Как видим, это противопоставление прямо связано с восприятием пространства. Вместе с тем, оно определенным образом связано и с восприятием времени.

Мысленный рай — это рай будущего. Чувственный рай — это рай прошлого, созданный в прошлом, т. е. в некотором смысле локализованный во времени, подобно тому, как он локализован в пространстве. Это означает, что было время, когда его не было. Вместе с тем, он существует и в настоящем, подчеркивает Василий Калика, ибо «вся дѣла Божиа нетлѣнна суть».

Если чувственный рай существует во времени, то мысленный рай находится вне времени: он ожидается тогда, когда «времени уже не будет» (Откр. X, 6). Мысленный рай несомненно существует, но он существует не во времени — точно так же, как Бог пребывает вне времени. Однако, люди воспринимают Божественную реальность во времени, и именно в этом смысле мысленный рай принадлежит будущему.

Таким образом, Василий различает рай, связанный с человеческой историей — соотнесенный с человеческим опытом и тем самым в принципе доступный чувственному восприятию (хотя его и не дано видеть людям), — и рай как «царствие Божие», которое невозможно воспринимать чувственным образом (его невозможно видеть «въ плоти суще») и которое предполагает вообще сверхчувственное, мистическое восприятие. Понятия времени и пространства оказываются при этом существенным образом связанными: то, что происходило во времени (в истории), должно находиться в пространстве — постольку, поскольку как время, так и пространство суть категории нашего опыта; между тем мистическое восприятие в принципе не предполагает пространственно-временной локализации воспринимаемых объектов.

У людей есть опыт — это опыт прошлого, опыт человеческой истории. Это чувственный, а не умозрительный опыт. В этом опыте — в этой истории — был рай; он мог быть только чувственным. Там были первые люди — наши предки, Адам и Ева.

Кроме того, существует другой опыт, опыт мистический. Это то, что нас ожидает после Второго пришествия, но, поскольку этого нет в нашем чувственном опыте, наши знания об этом могут быть только умозрительными. Это свет неизреченный, т. е. невыразимый — поскольку его нет в опыте. Больше того: его невозможно вынести — и апостолы, как мы знаем, не вынесли Фаворского света.

Итак, чувственный рай — это рай нашего прошлого; мысленный рай — это рай будущего; и это отвечает тому, что прошлое дано нам в опыте, а о будущем мы можем только догадываться (ср. в этой связи: Успенский, 1989, с. 18 сл.).

Полемика между Василием и Феодором сводится, собственно, к вопросу о том, что случилось с чувственным раем.

Василий утверждает, что он существует до сих пор: он был в прошлом, и он есть в настоящем. Если он есть и он доступен чувственному восприятию, значит, его можно посетить, и Василий это описывает.

Между тем, Феодор учил, что чувственный рай существовал лишь в прошлом и в настоящеее время не существует, ср. обращенные к нему слова Василия Калики: «Слышахъ, брате, что повѣствуеши: рай погиблъ, в немъ же былъ Адам...»; «И ты, брате Феодоре, ... не смущайся; рай на въстоцѣ не погиблъ, созданный Адама ради. И сими словесы уверися, брате, и весь священный соборъ тако научи и укрѣпи сице мудрствовати...» (ПЛДР XIV–XV вв., с. 42, 48)[8].

Именно в чувственном, а не в мысленном раю, по утверждению Василия Калики, пребывают святые — в частности, праведный Енох, Илия пророк, Благоразумный Разбойник; сюда же был возвращен Адам после Воскресения и Сошествия во ад; здесь же, наконец, находится и Богоматерь[9]. Василий ничего не говорит о том, что произойдет с чувственным раем после Второго пришествия. Очевидно, однако, что само противопоставление чувственного и мысленного (материального и духовного) потеряет свою актуальность; можно полагать, таким образом, что после Второго пришествия, когда вся земля будет «искушена огнем», этот «насаженный рай» претворится в «рай мысленный», т. е. духовный.

Что же касается Феодора, то он полагал, по-видимому, что святые после земной кончины пребывают в духовном раю. Весьма вероятно при этом, что именно вопрос о месте пребывания святых и явился конкретным поводом для полемики.

Нам не дано видеть ни тот, ни другой рай, как отмечает Василий Калика, — и новгородские мореплаватели, приплывшие к острову, где находился рай, не смогли его увидеть[10], — но по принципиально разным причинам: чувственный рай невозможно увидеть потому, что он принадлежит потустороннему миру, куда святые попадают после смерти, мысленный же рай — потому, что он никак не соотносится с чувственным восприятием.

Соответственно, чувственный рай не дано видеть простым смертным, но он в принципе доступен восприятию святых; между тем, мысленный рай не могут увидеть и святые, «во плоти суще». Василий Калика очень ясно формулирует это различие; так он говорит о чувственном рае: «То же, брате, не речено Богомъ видѣти человѣкомъ святаго рая, а муки и нынѣ суть на Западѣ»; ср., между тем, о мысленном рае: «Не возможно бо его, брате, ни святымъ видѣти, мысленаго рая, въ плоти суще, того ради сие святии видѣвши не могоша стояти, ниць на землю падоша» (ПЛДР XIV–XV вв., с. 44, 48).

4. Итак, есть две реальности — материальная реальность, данная нам в чувственном опыте, и идеальная, духовная реальность, которая постигается лишь через мистическое откровение — не чувствами.

Мы живем в чувственном мире, т. е. в мире чувственных образов: ориентация в этом мире, общение с ним осуществляется через органы чувств. В основе этой коммуникации лежит наш чувственный опыт.

Мы будем жить так до Второго пришествия, и это будет конец чувственного мира. Далее будут новое небо и новая земля, о которых говорят Исаия (Ис., LXV, 17–19), Петр (II Петр, III, 13) и Иоанн Богослов (Откр., XXI, 1–5), — то, что дано нам через мистическое откровение (их мистическое откровение!).

Что же касается рая, то рай есть и чувственный, и мысленный. Чувственный рай — это сад, посаженный Богом на земле. Мысленный рай — это новое небо и новая земля, грядущий небесный Иерусалим, который нисходит с неба на землю (ср.: Откр., XXI, 2, 10). Он может тем или иным образом ассоциироваться с церковью, т. к. церковь — это то место, где концентрируется мистический опыт, где как бы реализуется мистическое созерцание. Напротив, социальные утопии ориентируются на представления о земном, т. е. материальном, чувственном рае[11].

Подобное противопоставление прослеживается и в западной христианской традиции. Так, в раннем нидерландском искусстве рай может изображаться на двух ярусах: вверху в виде церкви, внизу в виде сада; такое двухярусное изображение рая мы находим, например, у Босха в триптихе «Страшного суда» (на левой створке триптиха), а также в знаменитом «Гентском алтаре» Ван Эйка (в открытой позиции алтаря)[12].

Противопоставление чувственного (материального) и мысленного (духовного) рая может соотноситься с противопоставлением Неба и Земли. При таком понимании само противопоставление Неба и Земли относится и к раю, проецируется на рай: существует рай небесный (который недоступен человеческому опыту) и рай земной (характеризуемый отсутствием страдания, представляемый обычно в виде сада). Соответственно, исследователи послания Василия Калики нередко интерпретируют его подобным образом, утверждая, что Василий говорит именно о «земном рае» (см., например: Веселовский, 1891, с. 93; Артоболевский, 1904–1905, № 15, с. 176–177; Седельников, 1927, с. 230–231; Казакова и Лурье, 1955, с. 33, 37; Клибанов, 1960, с. 144–145; Плугин, 1974, с. 50; Лончакова, 1975, с. 88; Панченко, 1987, с. 95).

Послание Василия Калики, вообще говоря, не дает основания для такого рода интерпретации. Правда, он говорит о том, что рай, так же как и ад, в принципе можно достичь, перемещаясь в пространстве, однако само пространственное перемещение очевидным образом приобретает при этом иррациональный характер.

Более того: соотнесение мысленного и чувственного рая с противопоставлением Неба и Земли в принципе нехарактерно для Василия Калики: как кажется, он говорит о другом. Ведь мысленный рай — это новое небо и новая земля, которые придут после того, как в Судный день будут преданы огню нынешние небо и земля [13].

Известно, например, что праведный Енох и Илия пророк были взяты на небо (Сир., XLIV, 15, XLIX, 16; IV Цар., II, 1, 11; см. также апокрифические книги Еноха и Хождения Агапия в рай), — и, вместе с тем, по утверждению Василия, они пребывают именно в Эдемском саду, который был создан Богом для Адама [14]. Представляется, что само противопоставление неба и земли нейтрализуется — теряет свой смысл, — когда речь идет о рае: рай принадлежит одновременно и небу, и земле — поэтому его можно достичь, как перенесясь на небо (что и произошло с Енохом и Илией), так и перемещаясь по земле (как это случилось с новгородскими мореплавателями) [15].

Итак, противопоставление чувственного (материального) и мысленного (духовного) рая в принципе не сводится у Василия Калики к противопоставлению земного и небесного рая: главное для него — это разница между чувственным и мистическим восприятием. Заметим в этой связи, что противопоставление земного и небесного рая само по себе имеет пространственный смысл; меж-

ду тем противопоставление чувственного и мысленного рая основывается на противопоставлении пространственного и непространственного опыта — того, что локализовано, и того, что вообще не поддается локализации.

Очевидно, вместе с тем, что противопоставление чувственного и мысленного рая очень близко к противопоставлению рая земного и рая небесного и легко может осмысляться таким образом. Это, собственно, и произошло с теми исследователями, которые утверждают, что Василий Калика говорит в своем послании о «земном рае». Такое переосмысление очень характерно; оно могло иметь место, по-видимому, и в древнейшее время.

Так, вопрос о том, где находятся души праведных — в раю земном или на небе, — был предметом обсуждения на киевском соборе 1640 г., причем собор не дал окончательного ответа на этот вопрос. Деяния этого собора до нас не дошли, и мы знаем о нем лишь по рассказу униата Касьяна Саковича (см.: Сакович, 1641; перепечатано в РИБ, IV, стлб. 21–48); рассказ этот имеет полемический характер и направлен на обличение схизматиков-православных, и мы не всегда должны понимать его буквально[16]. Не исключено, таким образом, что и на соборе 1640 г. речь могла идти — в той или иной степени — о противопоставлении чувственного и мысленного рая; во всяком случае предмет обсуждения киевского собора обнаруживает определенную близость к дискуссии, отразившейся в послании Василия Калики.

5. Говоря о древнерусских представлениях о рае, мы приводили некоторые аналогии из западной христианской традиции. Ясно, что сходное понимание восходит к общим источникам восточного и западного христианства.

При всем том необходимо подчеркнуть, что различение чувственного и духовного опыта особенно актуально именно для православного сознания. Оно очень отчетливо проявилось в спорах иконоборцев и иконопочитателей. Напомним, что эти споры и определили сущность православия: не случайно первое воскресенье Великого поста, когда ежегодно подтверждается догмат иконопочитания, именуется «Неделей (или Торжеством) Православия»; в этот же день провозглашалась анафема всем вообще противникам православия — как идолопоклонники олицетворяют противников христианства, так иконоборцы олицетворяют противников православного учения.

Иконоборцы выступали против икон, поскольку, по их мнению, причастие — это подлинная (и единственная!) икона Бога (см.: Геро, 1975, с. 4–7, 11, passim; Острогорский, 1928, с. 48; Мейендорф, 1974, с. 44, 50; Мейендорф, 1995, с. 37–39; ср.: Манси, XIII, с. 261–264)[17]. Подобное отношение к причастию в какой-то мере сохраняется в католической церкви[18], что проявляется прежде всего в адорации святых Даров: в католических храмах Дары в виде гостии (т. е. освященного и преосуществленного хлеба) выставляются для лицезрения и поклонения — в сущности, как видимый (зрительно воспринимаемый) образ Бога (см.: Леклерк, 1950, стлб. 345–347; Дюмуте, 1927; Райбле, 1908); точно так же католический священник во время литургии поднимает гостию, показывая ее верующим и провозглашая: «Вот Агнец Божий (Ecce Agnus Dei)»[19]. Соответствующее отношение к гостии обусловило появление католического праздника Тела Христова (Corpus Christi); не случайно в западном церковном искусстве мы можем встретить изображение Богоматери, держащей гостию вместо Младенца (так называемая «Матерь евхаристии»), или же святого, которому является Христос в виде гостии[20].

С точки же зрения православных (т. е. иконопочитателей), причащение — это мистическое, сверхчувственное соединение с Богом, которое в принципе вне чувственного опыта. Поэтому, например, причастие в русской православной церкви немедленно заедается и запивается — с тем, чтобы избежать чувственного восприятия[21]; и православный священник, который при совершении литургии увидит Дары в виде тела или крови, должен прекратить действо — он должен осознать это явление как духовное испытание, но ни в коем случае не воспринимать его как образ истинных Тела и Крови Христовых[22]. Итак, причащение непосредственно связано здесь с мистическим восприятием, которое противопоставлено чувственному опыту. В этом смысле причащение соответствует приобщению к мысленному, духовному раю.

Напротив, икона предполагает именно чувственное — зрительное — восприятие. Икона в принципе изображает то, что было на земле, то, что дано было нам в чувственном опыте. Поэтому, например, возникал вопрос о возможности изображения Бога Отца (которого «никто же виде когда во плоти» и которого вообще, по словам церковного песнопения, «человѣком невозможно видѣти»), так же, как и вопрос о допустимости аллегорических изображений (см.: Андреев, 1932; Успенский, 1989а, с. 239 сл., 315 сл.). Икона вообще возможна постольку, поскольку Бог воплотился в

человеческом образе, и именно догмат Боговоплощения — то, что «Слово стало плотью», — был основным аргументом защитников иконопочитания [23].

Таким образом, наличие чувственного и духовного опыта соответствует двум природам Христа — Божественной и человеческой. В свою очередь, халкидонский догмат о двух природах Христа может объяснять представление о том, что есть два рая — мысленный (духовный) и чувственный (материальный). Мы знаем, что Христос родился от Бога Отца «прежде всех век» (Символ веры); и, вместе с тем, мы знаем, что Он родился от Марии в определенное время и в определенном месте. Таким образом, есть две реальности — духовная и чувственная: одна реальность есть реальность мистического откровения, другая — реальность чувственного опыта; при этом чувственная реальность — в отличие от реальности духовной — локализована в пространстве и времени [24].

Соответствующие представления и нашли отражение в послании Василия Калики.

6. Итак, различение чувственного и духовного опыта чрезвычайно актуально для православного сознания. Вместе с тем, представление о чувственном образе сакральной реальности в большой степени присуще русскому религиозному сознанию [25]. Крайне показательно в этом отношении представление о нетленности мощей святых: как известно, нетленность воспринимается у русских как признак святости (см.: Соснин, 1849; Васильев, 1893, с. 128, 138–141, 227–229, 246–247; Голубинский, 1903, с. 297–302, 519–524, ср. с. 36, примеч.; Пеетерс, 1914, с. 415–417; Ленгоф, 1993) [26]; в целом ряде случаев именно нетленность является основной (а иногда даже и единственной) причиной почитания святого — и, напротив, отсутствие нетленности может служить поводом для отказа от почитания [27]. Между тем, для греков такое представление нехарактерно — напротив, они могут воспринимать нетленность как признак греховности [28]. Необходимо оговориться, что у греков известны случаи нетленности святого [29], подобно тому, как и у русских известны случаи разложения тела святого [30], однако и то, и другое имеет исключительный характер. Существенно, что как греки, так и русские могут судить по мощам (останкам) о святости усопшего — и при этом для русских святость определяется нетленностью, а для греков, как правило, отсутствием плоти на костях [31].

Представление о нетленности как признаке святости прослеживается у русских с древнейших времен: уже первые (по времени канонизации) русские святые — Борис и Глеб — обнаруживают нетленность (см.: Абрамович, 1916, с. 17, 21, 43, 48, 54). Равным образом в «Речи философа» из «Повести временных лет» сообщается, что тело Авеля оставалось нетленным («и не сългни тѣло его» — ПСРЛ, I/1, 1926, стлб. 90), что может объясняться ассоциацией с Авелем Бориса и Глеба. В дальнейшем сохранность мощей в Киево-Печерском, а затем и в Псково-Печерском монастыре, несомненно, способствовала особому отношению к этим монастырям.

Независимо от происхождения данной традиции надо полагать, что она была поддержана практикой иконопочитания: в обоих случаях имеет место зрительное восприятие облика святого — тела святых после преставления уподобляются иконному облику[32]. Характерно в этом смысле, что иконоборцы могли выступать против почитания мощей, подобно тому как они выступали и против почитания икон[33]. В свою очередь, изображения святых на русских иконах могут в той или иной степени отражать представление о нетленном образе святого: облик святого на иконном изображении может разительно напоминать мощи[34].

Вместе с тем представление о нетленности святых может быть определенным образом связано с представлением о чувственном рае. Ведь если есть рай, доступный чувственному восприятию, то и обитатели этого рая — святые — тоже должны соответствовать нашему чувственному опыту: при посещении рая мы должны увидеть их в том виде, в котором они были до своего преставления.

Сходным образом, как кажется, может объясняться и народное представление об особых царских знаках, будто бы имеющихся на теле царя и свидетельствующих о его богоизбранности (см.: Успенский, 1982а, с. 205–206). В самом деле, это представление непосредственно связано с сакрализацией царской власти, с представлением о святости царя (см.: Живов и Успенский, 1987); тем самым, соответствующие знаки выступают как физический — чувственно воспринимаемый — признак святости. Уместно отметить в этой связи, что отношение к царю в какой-то мере напоминает вообще отношение к иконе: царь может восприниматься как видимый образ Бога[35], и, соответственно, сакрализация царя может основываться — в тех или иных моментах — именно на практике иконопочитания[36].

Наконец, ближайшую параллель к полемике о чувственном и мысленном рае представляют старообрядческие споры о чувственном и духовном Антихристе (см.: Смирнов, 1898, с. 8, 11, 19, 20 сл., 29 сл., 34–45, 019–034; Смирнов, 1909). Споры эти ведутся по сей день, свидетельствуя об актуальности для русского религиозного сознания той проблематики, которая обсуждается в послании Василия Калики. В приложении к настоящей работе мы публикуем современный старообрядческий памфлет, написанный против духовного (мысленного, умозрительного) понимания Антихриста, где для обличения своих оппонентов автор прибегает к приему reductio ad absurdum. Отличаясь — очевидным образом — как по своему содержанию, так и по своему стилю, текст этот представляет своеобразную параллель к рассмотренному нами посланию.

Примечания

[1] Послание Василия Калики цитируется в дальнейшем по изд.: ПЛДР XIV–XV вв. Мы не соблюдаем, однако, пунктуацию данного издания и в ряде случаев исправляем явные грамматические ошибки. Многоточия в цитатах, равно как и текст, взятый в квадратные скобки, всегда принадлежат автору настоящей работы.

[2] При этом Василий Калика с равным успехом может рассматриваться и как представитель исихазма, и как выразитель народно-бытового православия. Так, по мнению А. Д. Седельникова, в рассуждениях Василия Калики отразилось учение Григория Паламы о Фаворском свете (см.: Седельников, 1927, с. 231, примеч. 2; Седельников, 1937–1938, с. 167 сл.; также: Клибанов, 1960, с. 141–144; Прохоров, 1968, с. 103; Попов и Рындина, 1979, с. 26–27); ср., однако, возражения И. Мейендорфа (см.: Мейендорф, 1981, с. 127). Напротив, А. М. Панченко видит в Василии Калике носителя «наивно-реалистической народной веры, для которой характерно пристрастие к земной жизни» и которая «адаптировала многие языческие представления, в частности о потустороннем мире», т. е. по существу представителя двоеверия (см.: Панченко, 1987, с. 95).

[3] Ср.: «...а муки и нынѣ суть на запади. Много дѣтей моихъ, новогородцевъ, видоки тому: на Дышущемь мори червь неусыпающий, и скрежеть зубный, и рѣка молненая Моргъ, и что вода входить въ преисподняя и паки исходить трижды днемь. И та вся

мѣста мучимая не погибоша, а мѣсто се святое како погибе, повѣжь ми, брате, в немъ же есть и пречистая Богородица, и множество святыхъ, еже по въскресении Господни явишася и многимъ въ Иерусалимѣ и паки внидоша в рай?» (ПЛДР XIV–XV вв., с. 44). Ср. в этой связи: Петров, 1872, с. 51–56; Веселовский, 1891, с. 101–104; Успенский, 1982, с. 58.

[4] «И то мѣсто святаго рая находилъ Моиславъ Новгородецъ и сынъ его Ияковъ; а всѣх ихъ было три юмы [ладьи], и одина отъ нихъ погибла, много блудивъ, а двѣ ихъ потомъ долго носило море вѣтромъ, и принесло ихъ к высокымъ горамъ. И видѣша на горѣ той написанъ Дѣисусъ лазоремъ чюднымъ и велми издивленъ паче мѣры, яко не человѣчьскыма рукама творенъ, но Божиею благодатью. И свѣтъ бысть въ мѣстѣ томъ самосияненъ, яко не мощи человѣку исповѣдати. И пребыша долго время на мѣстѣ томъ, а солнца не видѣша, но свѣтъ бысть многочастный, свѣтлуяся паче солнца. А на горахъ тѣхъ ликованиа многа слышахуть, и веселия гласы поюща... А тѣхъ, брате, мужей и нынѣча дѣти и внучата добры здоровы» (ПЛДР XIV–XV вв., с. 46–48).

Ср. типологически аналогичный мотив в ирландской саге «Плавание Брана, сына Фебала» (см.: Мейер и Натт, 1895–1897), а также в ирландской легенде о плавании св. Брендана (см.: Шрёдер, 1871), которое было известно на Руси (см.: Серебрянский, 1908, с. 528; Седельников, 1927, с. 233, примеч. 1). Вообще о мотиве посещения рая в западной литературе см.: Граф, I, с. 73–126, 175–193; Райт, 1965, с. 261–265, ср. с. 71–72; Пэтч, 1970, с. 134–174; Веселовский, 1891, с. 93 сл.; Гуревич, 1977, с. 6 сл.; относительно расположения рая в пределах географического пространства см. также: Граф, I, с. 1–238; Граф, 1878; Кимбль, 1968, с. 24–25, 31, 130, 184–185, 194, 198–199, 218, 243–244; Коли, 1897.

[5] Василий Калика цитирует здесь апокрифическое слово о успении Богородицы, приписываемое Иоанну, архиепископу Солунскому, где рассказывается о том, как ангел, сообщивший Богородице о скором ее преставлении, приносит ей пальмовую ветвь из рая (см. изд.: Попов, 1880, с. 46). Слово Иоанна Солунского о успении Богородицы читается в минейных Торжественниках (см.: Черторицкая, 1979, с. 19), откуда оно и могло быть известно Василию.

[6] Представления Василия Калики о существовании рая, где были Адам и Ева, могут непосредственно восходить к сказанию о Макарии Римском, на которое Василий ссылается в своем сочи-

нении: «а святый Макарий за 20 поприщь жилъ от святаго рая» (ПЛДР XIV–XV вв., с. 44). Ср. в сказании о Макарии: «И рече ми: от сего мѣста есть поприщь 20 идѣже еста 2 града единъ желѣзенъ, а другий мѣдянъ; да за тѣми градома рай Божий идѣже былъ первое Адамъ съ Евгою; на въстокъ солнца за раем да ту небо прилежитъ» (Тихонравов, II, с. 64, 73; Кушелев-Безбородко, III, с. 139); об острове, где жили Адам и Ева, говорится также и в «Александрии» (см.: Веселовский, 1886, с. 267–268; ср. также: Буслаев, 1912, с. 166–167, примеч. 3–4).

Плач Адама и обращение к нему Господа представляют собой цитату из стихиры, которая поется перед Великим постом — на стиховне недели Сыропустной (см.: Триодь постная, I, л. 70). Мнение о том, что это место в послании Василия Калики восходит к духовному стиху, высказанное А. Н. Веселовским и повторенное затем рядом других исследователей (см.: Веселовский, 1872, с. 683; Рыбаков, 1948, с. 769–770; Лазарев, 1953, с. 387; Лончакова, 1975, с. 87), является ошибочным.

7 Вместе с тем, само Второе пришествие, согласно Василию, будет воспринято чувственным образом. Ср.: «А еже Христос рече въ Еуангелии о второмъ пришествии, и то ли мыслено сказаете? Сущим одесную себеречеть: „Приидѣте, благословении отца моего, наслѣдуйте уготованое вам царствие прежде сложениа миру“. И сущим ошуюю себе речеть: „Отъидите от мене, проклятии, въ огнь вѣчный, уготованый диаволу и аггеломъ его“» (ПЛДР XIV–XV вв., с. 44). Представления Василия Калики о Втором пришествии восходят, по-видимому, ко Второму посланию Петра (II Петр, III, 7–13; ср.: Откр., XX, 9–15, XXI, 1 и сл.); соответствующее место из Второго послания Петра оказало вообще большое влияние на эсхатологические представления как в Византии, так и на Руси, обусловив ожидание конца света в 1492 г. — по истечении седьмой тысячи лет от сотворения мира (см.: Успенский, 1992, с. 131; Успенский, в печати).

8 В. Н. Татищев приписывает аналогичные воззрения другому тверскому епископу, а именно епископу Андрею (выступившему против митрополита Петра). Ср.: «Того же лета [1313 г.] явися в Новегороде еретик протопоп новогородский, к нему же присташа мнозии от причета церковнаго и миряня, и епископ тверский Андрей помогаша има, глаголя: се яко рай на земли погибе, и святый ангельский монашеский чин ругаху, безбожным учением бесовским имяноваху, и мнози от инок изъшедше оженихуся» (Татищев, IV, с. 92–93). По всей видимости, здесь

спутаны разные исторические лица и события; очень вероятно, что одним из источников Татищева было послание Василия Калики (см.: Голубинский, II / 1, с. 111–112, примеч. 4; Седельников, 1927, с. 231, примеч. 1).

[9] Так, говоря именно о рае, насаженном Богом на востоке, Василий пишет: «А се, брате, в Прилозѣ [т. е. в Прологе] всѣмъ явлено есть, в чюдесѣхъ святаго архангела Михаила, что възмяи праведнаго Еноха, посади его въ честномъ раю. А се Илия святый и въ раи же сѣдить, находилъ его Агапей святый и часть хлеба взяль... Мѣсто се святое..., в немь же есть и пречистая Богородица, и множество святых, еже по въскресении Господни явишася многимъ въ Иерусалимѣ и паки внидоша в рай... И се, брате, въ „Блаженнѣхъ" [т. е. в тропарях, поющихся на литургии после евангельских чтений о райском блаженстве] молвитъ: „Снѣди ради древняя изведе из рая врагъ Адама, крестом же разбойника Христосъ в онь введе". И егда же приближися преставление Владычици нашея Богородица, ангелъ вравье принесе, вѣтви изъ рая, являя гдѣ Ей быти. А еже рай мысленый есть, то почто видиму вѣтвь сию ангелъ принесе, а не мыслену есть?... Хѣрувиму повелѣ [Бог] хранити врата едемьская, а по въскресении своем повелѣ Адаму въ рай внити и множество святых с нимъ» (ПЛДР XIV–XV вв., с. 44, 46).

Помимо слова Иоанна Солунского о успении Богородицы (см. выше, примеч. 5), Василий Калика цитирует здесь апокрифическое сказание о хождении Агапия в рай (которое читается в Прологе под 11 сентября, ср.: Усп. сб., с. 466–473); согласно этому рассказу Агапий получает в раю хлеб от Илии пророка и выносит его из рая.

[10] Мы находим у Василия Калики яркое описание того, как новгородцы попытались заглянуть в рай, и что из этого вышло. Ср.: «И пребыша долго время на мѣстѣ томъ, а солнца не видѣша, но свѣтъ бысть многочастный, свѣтлуяся паче солнца. А на горах тѣхъ ликованиа многа слышахуть, и веселия гласы поюща. И повелѣша единому другу своему взыти по шеглѣ на гору ту, видѣти свѣт-отъ и ликованныя гласы; и бысть, яко взиде на гору ту, и абие въсплеснувъ руками, и засмѣяся, и побѣже от друговъ своих к сущему гласу. Они же вельми удивльешеся, и другаго послаша, запрѣтивъ ему, да обратився скажет имъ, что есть бывшее на горѣ. И той тако же сътвори, нимала възвратися къ своим, но с великою радостию побѣже от них. Они же страха исполнишася, и нача размышляти в себѣ, глаголюще: „Аще ли смерть случится, но вѣдѣли быхомъ свѣтлость мѣста сего". И по-

слаша третиаго на гору, привязавъ ужищи за ногу ему. И тако же и тотъ въсхоте сътворити: въсплескавъ радостно и побѣже, в радости забывъ ужища на нозѣ своей. Они же здернуша его ужищомъ, и томъ часу обрѣтеся мертвъ. Они же побѣгоша вспять, не дано есть имъ дале того видѣти, свѣтлости тое неизреченныи, и веселия, и ликования тамо слышащаго» (ПЛДР XIV–XV вв., с. 48).

[11] Равным образом представления о материальном и духовном рае может оправдывать сосуществование Церкви и Империи (см., например, у Данте — «Монархия», III, XVI, 7; ср.: Канторович, 1951).

[12] Комментируя эти изображения, современный исследователь пишет: «Clearly this two-level image of Paradise is based on the text of Revelation 21: 1 (related to Isaiah 65: 17 and 66: 22), the classical description of the celestial vision in which the author tells us that he saw a new heaven and a new earth, for the first earth had passed away. The highest heaven is traditionally represented in the architectural form, while the celestial abode of the elect is often depicted as a park-line garden similar to the terrestrial Eden. What we see in the wing by Bosch is obviously a „heavenly sky" and a „heavenly earth", the first represented as a celestial architecture, the second as a paradisial landscape» (Филип, 1971, с. 57–58).

[13] Ср.: «А нанешние небеса и земля... сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков... Придет же день Господень как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят... Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (II Петр, III, 7, 10, 13).

[14] Василий Калика цитирует книгу Еноха по Прологу, где говорится, что архангел Михаил «показа свою славу на земли, въземъ от нея божественаго Еноха и пренесе на мѣсто честнаго рая» (см.: Соколов, 1910, с. 122 второй пагинации). Вместе с тем, Василий цитирует Хождение Агапия — также вошедшее в Пролог, — где рассказывается о встрече в раю с Илией пророком, который говорит Агапию: «Азъ есмь Илия Тезвитѣнинъ, его же вънесоша колесниця огньны и кони огньни, и Господь благослови мя подъ небесьмь. И съниде и посади мя сьде и сьде живу до вътораго пришьствия Господня» (Усп. сб., с. 471); ср. выше, примеч. 9.

[15] В 1648 г. группа сибирских крестьян решила спускаться вниз по Оби, заявив, что они «поедут к Со[л]нцевой матери», т. е. в рай (см.: Чистякова, 1973, с. 77; Покровский, 1989, с. 46, 85).

«Солнцева мать» выступает в русских поверьях как вещая пряха, которая на золотой прялке прядет золотую кудель; она обитает там, куда скрывается на ночь солнце, т. е. на небе (см.: Афанасьев, I, с. 111, 177, 180; Афанасьев, II, с. 40–41; Афанасьев, III, с. 390); надо полагать, таким образом, что эти крестьяне рассчитывали попасть на небо. Ср. в этой связи: Успенский, 1994, с. 255–256 и 274–275 (примеч. 8).

[16] Вот что говорит Сакович: «...Разве это не громадное заблуждение, что схизматические митрополиты, владыки и попы доселе не знают, что такое форма евхаристии, и отсылают за справкою об этом, а равно и по вопросу о том, находятся ли души святых на небе или в земном рае, и о прочем, к цареградскому патриарху, турко-гречину» («Boć to zaprawdę gruby błąd u schismatickich metropolitow, władykow i popow dotąd niewiedźieć o formie eucharistiey! i appellatię o tym, iako też y o duszach świętych, ieśli są w niebie czyli w ziemnym raiu, i o inszych do patryarchu Carygrodzkiego Turkogrzeczyna podnośić»); далее описывается заседание 10 сентября: «Потом опять вернулись к чтению катехизиса о душах праведных, что они хотя и в небе, в руках Божиих и в царстве небесном, но в состоянии еще несовершенном» («A potym obrocili się do czytania kathechismu — o duszach sprawiedliwych, że są w niebe w rękach Bożych i w krolestwie, iednak bez doskonałośći»); и затем заседание 11 сентября: «На утреннем собрании отец Исакий [епископ Луцкий] говорил о том, где находятся души праведных, и указывал, что они должны быть в земном раю, а его милость отец митрополит [Петр Могила] утверждал, что — в небе. После долгого спора решили послать об этом к Константинопольскому патриарху для разъяснения» («Na poranney schadzce mowa była z oycem Isakim około dusz sprawiedliwych, gdzie są. Ociec Izaki ukazował ie bydż w raiu ziemnym; a i. m. ociec metropolita — w niebie. A po długiey controwersiey, appellacyą o to wytoczyli do patryarchy Konstantinopolskiego»). См.: РИБ, IV, стлб. 23–24, 29–30, 31–32.

[17] Иконоборческое понимание «иконы» принципиально отличается от понимания иконопочитателей, но необходимо иметь в виду, что православное понимание иконы (основывающееся на сущностном различии образа и архетипа) было в конечном итоге разработано именно в процессе споров с иконоборцами.

Представление иконоборцев о Евхаристии как о единственно приемлемом образе Христа опирается, по-видимому, на определенную традицию. См.: Мейендорф, 1974, с. 44; Геро, 1975.

[18] В известном смысле католическая церковь продолжает вообще традицию, восходящую к иконоборческой идеологии. Такого рода тенденции восходят к эпохе Карла Великого, деятельность которого в значительной мере определила догматические расхождения западной и восточной церкви — именно по его инициативе в западной церкви был отвергнут догмат иконопочитания и изменен Символ веры через добавление Filioque (см.: Зеелигер, 1926, с. 616, 624; Розеншток и Виттиг, II, с. 461 сл.; Классен, 1968, с. 561–562, 605–606; Геро, 1973, с. 9, passim). Полемике с Седьмым вселенским собором (Вторым никейским собором 787 г.), утвердившим догмат иконопочитания, специально посвящены так называемые «Libri Carolini» (790–793 гг.), написанные от имени Карла и, видимо, при его непосредственном участии; эта полемика была в какой-то мере обусловлена филологическим недоразумением, поскольку в латинском переводе актов Седьмого вселенского собора, имевшемся в распоряжении Карла и его сотрудников, не различались слова λατρεία и προσκύνεσις применительно к иконам — оба слова были переведены как *adoratio* (ср. в этой связи: Геро, 1973, с. 10; Мейендорф, 1974, с. 46); постановления Седьмого вселенского собора были вслед за тем отвергнуты Франкфуртским собором (794 г.), созванным Карлом. Между тем, ранее римская церковь поддерживала иконопочитание; нельзя не отметить при этом, что вмешательство монарха в дела церкви также отвечало идеологии иконоборцев.

В отличие от иконоборцев римско-католическая церковь никогда не отвергала сакральных изображений, однако она не усвоила того отношения к иконам, которое присуще православному сознанию. Хотя Седьмой вселенский собор, так же, как и Константинопольский собор 843 г., установивший празднование Торжества Православия и анафемствовавший иконоборцев, и были признаны римской церковью, она не приписывает иконопочитанию догматического значения; «римская церковь, хотя и признала Седьмой вселенский собор, фактически осталась на позициях Франкфуртского собора, и если для православных икона является языком Церкви, выражением Божественного Откровения и необходимой составной частью богослужения, то в римской церкви она такого значения не имеет» (Успенский, 1989а, с. 109, ср. с. 168). Именно в восточном христианстве почитание икон связано с богословием воплощения (ср. ниже, примеч. 23) — между тем, для западного христианства такая связь нехарактерна.

Так сложными ходами истории византийская полемика иконоборцев и иконопочитателей отразилась на Западе — как бы в косом преломлении лучей, — способствуя в конечном счете размежеванию западной и восточной христианской традиции. Конкретные пути и причины влияния иконоборческой идеологии на западную церковь должны составить предмет специального исследования.

[19] Отметим в этой связи, что введение «Agnus Dei» в римскую литургию было непосредственно связано с полемикой вокруг сакральных изображений, представляя собой реакцию римской церкви на 82-й канон Пято-Шестого (Трулльского) собора 692 г., запрещавший символическое изображение Христа в виде агнца и предписывающий изображать Его в человеческом облике (см.: Книга правил, с. 109–110); этот канон явился вообще первым выражением учения церкви об иконе. Объявив постановления этого собора недействительными, папа Сергий I (687–701), напротив, вводит в литургию «Agnus Dei» и распоряжается заменить изображение Христа изображением агнца на фасаде базилики св. Петра (см.: Дюшен, I, с. 376; Маттие, 1987, с. 90; ср. 90; ср.: Андалоро, 1987, с. 233). В дальнейшем Рим признает Пято-Шестой собор (см.: Успенский, 1989а, с. 68); показательно, однако, что в каролингскую эпоху мы снова встречаем здесь изображение Христа в виде агнца (мозаика римской церкви св. Прасседы), что можно связать с выступлениями против иконопочитания в этот период (см.: Нордгаген, 1976, с. 165–166; Андалоро, 1987, с. 279–280).

Демонстрация гостии верующим со словами «Ecce Agnus Dei» появляется в католической литургии позднее: будучи содержательно связан с «Agnus Dei» (словами, произносимыми священником непосредственно перед причащением) как основным моментом литургии, этот обряд объединяет известный евангельский текст (слова Иоанна Предтечи, относящиеся к Христу, см.: Ин., I, 29) с практикой экспозиции Святых Даров. В обоих случаях может быть усмотрено определенное сходство с иконоборческой идеологией.

[20] Ср., например, популярные изображения Паскуале Байлона (Pasquale Baylón), испанского святого XVI в.

[21] Этот обычай фиксируется уже в «Вопрошаниях Кирика, Саввы и Ильи» (XII в.), см.: Голубинский, I / 2, с. 365 (ср.: РИБ, VI, №2, стлб. 53; Смирнов, 1913, прилож., №1, с. 21). Относительно позднейшей практики см., например: Срезневский, III, стлб. 1189; Булгаков, 1913, с. 800, 1139.

В современной греческой практике принято заедать причастие, но его не обязательно запивают. Русская традиция, по-видимому, является в данном случае более архаичной.

[22] В «Известии учительном...», которое помещается в Служебниках, говорится: «Аще по освящении хлѣба или вина покажется чудо, сиесть, видъ хлѣба въ видѣ плоти, или отрочате, вино же в видѣ крове, и аще паки не пременится сей видъ, сиесть, аще не паки явится видъ хлѣба, или вина, но сице непременно пребудетъ, никакоже иерей да причастится: ибо не суть сия тѣло и кровь Христова, но точию чудо от Бога, невѣрства или иныя ради вины явлено» (Служебник, 1958, л. 242–242 об.).

Характерно в этом же смысле, что православная церковь не признает стигматов как духовного явления: православное сознание трактует их как соблазн, как недопустимое смешение чувственного и мистического опыта.

[23] См. у Иоанна Дамаскина: «Смело изображаю Бога невидимого — не как невидимого, но как сделавшегося ради нас видимым через участие в плоти и крови. Не невидимое его Божество изображаю, но посредством образа выражаю плоть Божию, которая была видима» (Первое слово в защиту икон, IV — Минь, PG, XCIV, стлб. 1235–1236). Или еще: «Когда бестелесный и не имеющий формы, не имеющий количества и величины, несравненный в виду превосходства своей природы, сущий в образе Божием, — когда Он примет зрак раба и смирится в нем до количества и величины, и облечется в телесный образ, тогда начертай Его на доске; и возложи для созерцания — Того, кто допустил, чтобы его видели» (Первое слово в защиту икон, VIII — Минь, PG, XCIV, стлб. 1237–1240; ср.: Третье слово в защиту икон, VIII — там же, стлб. 1328–1330). См. в этой связи: Острогорский, 1927; Флоровский, 1933, с. 247–254; Мейендорф, 1974, с. 44–50.

[24] Мотивируя недопустимость иконного изображения чисто духовной реальности, Большой московский собор 1667 гг. говорит о рождении Христа от Бога Отца: «то рождение не плотьское: но неизреченно и непостижимо бысть... И тое преждевѣчное рождение единороднаго Сына от Отца, умомъ точию подобает намъ разумѣти, а писати во образѣхъ отнюдь не подобает и невозможно» (Деяния 1666–1667 гг., л. 22 об. — 23 четвертой фолиации).

[25] Отметим в этой связи, что практика иконопочитания, столь важная для нашей темы, получает на Руси дальнейшее развитие: в некоторых случаях иконопочитание проявляется здесь более выразительно, чем у греков. Так, русские, в отличие от греков, могут

почитать иконы наряду со святыми: некоторые (чудотворные) иконы имеют особый день празднования в календаре, им полагается отдельная служба и к ним могут молитвенно обращаться — в подобных случаях имеет место как бы непосредственная ассоциация иконы и того, кто на ней изображен.

[26] О святых, обнаруживших нетленность, см.: Барсуков, 1882, с. 68, 94, 107, 112, 134, 135, 146, 149, 152, 172, 178, 179, 202, 213, 220, 223, 227, 266, 287, 310–311, 318, 346, 359, 386, 390, 407, 436, 467, 476, 550, 551, 552, 557, 565, 577–578, 606.

[27] Так, например, Прокопий Усьянский почитался святым только потому, что тело его было обнаружено нетленным (см.: Толстой, 1887, с. 147, ср. еще с. 48); и напротив, позднее празднование ему было прекращено на том основании, что при освидетельствовании мощей «не оказалось многих на теле сего почитаемаго за святаго частей» (см.: Голубинский, 1903, с. 200, ср. еще в этой связи с. 301–302, примеч., с. 430–432, 448, 455 сл.).

[28] В греческих записках из канцелярии митрополита Феогноста (1330 г.) мы читаем: «Тела отлученных не разлагаются, так как отлучаются от Бога иереем и стихии не смеют принять его [отлученного]. Тела же святых [разлагаются], так как мир прежде был неиспорчен и в таком виде будет восстановлен. И они принимают как бы некоторый залог ожидающей их славы» (Приселков и Фасмер, 1916, с. 53). Здесь проявляются, по-видимому, архаические представления об антитетической соотнесенности потустороннего и посюстороннего мира: потусторонний мир мыслится как мир с противоположными (перевернутыми) связями по отношению к миру посюстороннему, и, соответственно, то, что подлежит разложению в этом мире, будет восстановлено на том свете, и наоборот (см.: Успенский, 1985). Вместе с тем — на другом уровне, — здесь проявляется представление о плотском как о греховном, восходящее к дуалистическому представлению о человеческой природе: освобождение от плоти может пониматься, по всей вероятности, именно как освобождение от плотского (характерно в этом смысле, что святость у греков предполагает именно исчезновение плоти, но не истление костей, см. ниже, примеч. 31). Связь плотского с греховным и противопоставленность его духовному началу прослеживается в самых разных языках, ассоциирующих себя с христианским культом, — в частности, в греческом, так же, как и в латыни. Необходимо отметить в то же время, что корень со значением 'плоть' имеет в этих языках амбивалентный смысл: мы говорим, например, о плотском, т. е. гре-

ховном начале (ср. греч. σαρκικός, лат. *carnalis*) и, вместе с тем, о воплощении (ср. греч. ἐνσάρκωσις, лат. *incarnatio*). Различные возможности осмысления и отразились в разных культурных традициях.

Соответственно, у греков неразложившийся труп приносили в церковь и читали над ним молитвы (см.: Лебедев, 1904, с. 719–721, ср. с. 727; ср. также: Алмазов, II, с. 282–283, 287; Голубинский, 1/2, с. 454–455; Сергий, 1895, с. 87, 356–359, 380; Парфений, II, с. 190; Мелинос, 1995, с. 82; Орлов, 1994, с. 66–67, примеч. 1, и с. 75–77). Вопрос о нетленности мощей стал предметом обсуждения на Большом московском соборе 1667 г., несомненно, по инициативе восточных патриархов, которые не разделяли этого убеждения (см.: Деяния 1666–1667 гг., л. 8–8 об. четвертой фолиации; Субботин, II, с. 222–223); характерны также возражения серба Пахомия Логофета в слове на перенесение мощей митрополита Петра в 1472 г. (см.: ПСРЛ, VI, 1853, с. 195–196; Яблонский, 1908, с. 139).

Греческие представления о нетленности, противоположные русским, отразились, возможно, в Житии Кирилла (Константина) Философа, ср. описание похорон Кирилла: «когда ... хотели положить его в могилу, сказали епископы: „Выньте гвозди из раки, посмотрим, цел ли он и не взята ли какая-нибудь часть его". И много трудились, и не могли по Божьей воле вынуть гвозди из раки» (см. изд.: Флоря, 1981, с. 92). Предполагая святость Кирилла, епископы, по-видимому, хотели воочию убедиться в этом: отсутствие той или иной части было бы воспринято именно как признак святости.

[29] См.: Голубинский, 1903, с. 36 (примеч.), 540; Живов, 1994, с. 54–55. В дополнение к указанным здесь примерам сошлемся еще на Даниила Стилита, святого V в. (см.: Фестюжьер, 1961, с. 163; Дейвс и Бейнс, 1948, с. 69) и Феодору Солунскую, святую IX в. (см.: Ван Ворст, 1913; Ленгоф, 1993, с. 255); ср. также рассказ о монахах, пострадавших за иконопочитание в IX в. при императоре Феофиле, у Продолжателя Феофана (1992, с. 47). Кипрскому епископу Анфимию было видение апостола Варнавы, который указал ему место, где хранится его «целое тело» (τὸ πᾶν σῶμα); обнаружение нетленных мощей апостола явилось основанием для учреждения в 488 г. кипрской автокефалии, см. Похвальное слово Варнаве, составленное между 530 и 566 гг. иноком Александром (Ван Дён, 1993, с. 111–122), и затем Житие Варфоломея и Варнавы в Менологии императора Михаила IV (там же, с. 134–135); пользуемся случаем, чтобы поблагодарить д-ра Клавдию Рапп (Claudia

Rapp) из Калифорнийского университета, любезно сообщившую нам некоторые из этих случаев.

При этом нетленность в принципе не препятствует захоронению и может указывать, напротив, как раз на необходимость захоронения; таким образом, нетленное тело святого не является в этих случаях объектом постоянного поклонения (как это имеет место у русских, ср.: Голубинский, 1903, с. 522 и сл.).

Восприятие нетленности как знака святости встречается у греков крайне редко и, как кажется, связано с особыми обстоятельствами. Так, нетленность мощей патриарха Арсения (1254–1260, 1261–1265), отлучившего от церкви императора Михаила VIII Палеолога и затем смещенного с кафедры (что привело к расколу в константинопольской церкви), обусловило особое отношение к этому феномену среди его почитателей. Культ патриарха Арсения (и непосредственно связанный с этим вопрос о нетленности мощей) оказался особенно актуальным для противников унии с католиками — как после Лионской унии (1274 г.), заключенной при Михаиле VIII, так и после Флорентийской унии (1439 г.). После смерти Михаила VIII и отказа от Лионской унии мощи Арсения были перенесены (в 1284 г.) в константинопольский Софийский собор (см.: Пахимер, I, с. 289; Маджеска, 1973, с. 84). Филофей, митрополит Селимбрийский († 1389 г.) в похвале патриарху Арсению противопоставляет нетленные мощи патриарха раздутому трупу Михаила VIII, безобразный вид которого приписывается его отлучению от церкви; характерным образом при этом оба тела противопоставляются не столько по признаку нетленности, сколько по признаку благообразия. Пахимер (II, с. 480) рассказывает о почитании арсенитами монаха, чьи мощи «оставались нетленными в течение многих лет». Феодор Агаллиан в «Диалоге против латин» (1440-х гг.) специально обсуждает вопрос о нетленности как знаке святости. Он возражает против мнения, что нетленность патриарха Арсения, а также Мелетия, другого противника Михаила VIII, активно выступавшего против унии, обусловлена тем, что они были отлучены от церкви папой римским, — указывая, что отлучение папы не может иметь силы; таким образом, ему приходится оспаривать традиционный взгляд на нетленность, согласно которому последняя является признаком греховности. См.: Макридес, 1981, с. 75, 78, 86.

В недавнее время тело Нектария Кефаласа, митрополита Пентапольского, три раза было обретено нетленным; любопытно, однако, что он был канонизирован (в 1961 г.) после того, как мощи

его были найдены истлевшими (см.: Мелинос, 1995, с. 24, 132, 208, 226, 230, ср. с. 37, 39, 235).

[30] См.: Голубинский, 1903, с. 298, 300, 519.— Выразительный пример являет Амвросий Оптинский (см.: Андроник, 1993, с. 123), но характерно, что он был канонизирован лишь в самое последнее время. Как известно, Амвросий был одним из прототипов старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» (см.: Альтман, 1971, с. 214; Достоевский, XV, с. 457, 528 и с. 498, примеч. 1; Достоевский, XXX/ 1, с. 280), и если бы мы не знали, что он скончался после того, как был опубликован роман Достоевского, правомерно было бы думать, что картина смерти Зосимы списана со смерти Амвросия. В действительности эта картина отражает, видимо, кончину митрополита Филарета Дроздова (см.: Достоевский, XV, с. 199, 571).

[31] Приведем характерное свидетельство русского постриженника одного из афонских монастырей: «Здесь хощу сказать вещь, невиданную в России. Во св. Горе Афонской соблюдается обычай от древних времен откапывать кости умерших чрез три года после смерти. Которых кости обретаются желтые и светлые, яко восковые или елейные, противного запаха не испущающие, а иногда и благоуханные, те признаются за людей богоугодных; сии кости тлению не предаются. Которых кости обретаются белые, трухлявые, истлевающие, о тех полагают, что находятся в милости Божией. Кости черные, овые же и смердящие, признаются за кости людей грешных. О таковых более творится поминовение, и братия молятся, чтобы Господь даровал прощение грехов их. Овогда обретаются тела не истлевшие, целые, но черные и смрадные; сии признаются за людей, связанных родителями или духовными отцами, т. е. находящихся под клятвою ... Такой обычай имеется и в Молдавии, такожде в Валахии, в Болгарии и по всей Греции; токмо не повсюду открываются тела умерших чрез три года после смерти, а чрез большее количество лет, например, в Молдавии чрез семь лет» (Парфений, II, с. 189–191; ср.: Парфений, IV, с. 232, 241, 246). Ср. описание вскрытия костей почивших на Афоне: «...по принятии от настоятеля благословения, гробокопатель открывает кости почившего и, тогде же омывая церковным вином, складывает их в нарочно приготовленную на то корзину. Братия между тем стекаются смотреть на открытые кости и по самому их виду и цвету иногда разгадывают вечную и таинственную судьбу души почившего... Если же, что хотя случается на св. Горе, но чрезвычайно редко, тело почившего на св. Горе окажется не

истлевшим: в таком случае обитель озабочивается тем, что иногда на все братство налагает особенный канон за непрощенные погрешности почившего; а между тем призывает духовника, даже архиерея, для прочтения над ним разрешительной молитвы. На все время совершения этого канона труп почившего опять зарывают в могилу, и случается, что чрез несколько дней, отрывая его, находят уже только рассыпавшиеся кости ... Но св. Гора не признает положительно за святых тех умерших, кости которых рассыпались; а только остается уверенною в их помиловании в последний день» (Сергий, 1895, с. 86–87; ср.: Сергий, 1850, I, с. 107, примеч.); о смерти автора этого описания, афонского иеросхимонаха, читаем: «Через три года, по обычаю Афонскому, разрыта была могила о. Сергия, и в ней обретены кости его желтыми, что, по замечанию Афонских старцев, знаменует, что покойный не лишен милости Божьей...» (Сергий, 1895, с. 511). На Афоне рассказывали о грешнике, который ударил ножом икону Богородицы, раскаялся и в течение многих лет отмаливал свою вину; и был ему глас: „Тебе прощаю, а с рукою твоей буду судиться“; после смерти грешника «по обычаю афонскому через три года откопавши кости его, нашли все тело его предавшимся тлению; рука же его, ударившая икону, осталась цела и смердяща; и доныне лежит в ящике и испускает смрад» (Парфений, IV, с. 145; ср. также: Сергий, 1895, с. 380). Достаточно показательно и следующее свидетельство русского паломника на Синай: «...посреди комнаты, на гвозде, вколоченном в столб, поддерживающий плоскую крышку, висят две кости от голеней, с остатками сухожилья. Спутники остановили на них мое внимание. „Вы видите эти кости?“ обратился ко мне отец Иаков. „Свят человек, свят! по всему видно: вы видите эту влагу из костей, это мирро из внутри? Кости эти принадлежат отшельнику давних лет Стефану, отличившемуся силою веры и святостию дел своих. А вот в другой комнате я покажу вам его голову, грудь и руки. В противность законам природы, гниение земное не только не разъединило их, но сверх того святой человек сохранил на костях и свои вериги“. И действительно, в другой комнате мне показали остатки его скелета: его голова склонилась к груди, позвоночный хребет с ребрами сохранил свое естественное положение; руки прижались к груди крестом и вериги, которые он носил всю жизнь свою, остались, как неразлучный друг, на теле его и после смерти. Железный обруч на шее и кусок цепи были еще во всей целости» (Уманец, I, с. 272). Известное выражение ***перемывать косточки*** 'сплетничать'

восходит, по-видимому, именно к афонскому обычаю извлекать тело покойника из земли и обмывать кости вином, когда оставшаяся на костях плоть воспринимается как следствие тех или иных грехов скончавшегося (см.: Виноградов, 1994, с. 460–461; ср.: Григорович-Барский, III, с. 41).

Как видим, греки могут определять святость по виду костей подобно тому, как русские определяют ее по сохранности тела почившего. В связи со сказанным объясняется, между прочим, греческий культ мироточивых мощей, т. е. собственно мироточивых к о с т е й: истекающая из костей влага воспринималась как особенный признак святости (наиболее известный пример — мощи св. Димитрия Солунского, который описывается как мироточец с XI в., см.: Скилица, 1973, с. 413; Макридес, 1992, с. 191, примеч. 44). Этот культ наблюдается и у славян, но здесь он явно обусловлен греческим влиянием. При этом миро, истекающее от мощей, могло отождествляться — как у греков, так и у славян — с миром, приготовляемым для совершения обряда миропомазания; известны случаи, когда полученное от мощей миро использовалось при миропомазании, и в начале XIII в. Димитрий Хоматин (Хоматиан), архиепископ Охридский, считал возможным использовать такое миро при помазании на царство (см.: Макридес, 1992, с. 191–192).

32 Рассказывая о том, как нетленные тела св. Бориса и Глеба были извлечены из земли, Нестор замечает в «Чтении о Борисе и Глебе»: «Не лѣпо бо бѣ такому скровищу скровену подъ землею» (Абрамович, 1916, с. 15–16). Тела святых, подобно иконам, служат для молитвенного общения, и это способствует представлению о сохранении облика святого.

Показателен в этом отношении эпизод с нетленным телом св. Даниила Стилита, греческого святого V в. (о котором мы уже упоминали выше, см. примеч. 29): народ требует, чтобы перед захоронением ему было показано тело святого, и тогда архиепископ велит поместить тело в специальную раму — так, чтобы оно стало доступно для обозрения и молитвенного общения «подобно иконе»; после этого, однако, следует погребение в оратории (см.: Фестюжьер, 1961, с. 163–164; Дейвс и Бейнс, 1948, с. 69).

33 Отсюда может объясняться, по-видимому, слово *мощи*, которое не имеет соответствия в греческом или латыни: греч. τὰ λείψανα, лат. *reliquiae* означают 'останки', 'то, что осталось'. Будучи производным от *мощь*, слово это по своему первоначальному смыслу означает 'силу, энергию'. Надо полагать, что это слово

было создано св. Кириллом (Константином) Философом в контексте полемики с иконоборцами.

То обстоятельство, что слово *мощи* — в отличие от соответствующего греческого или латинского слова — никак не связано по своей этимологии со значением 'останки', должно было способствовать представлению о целости, т. е. нетленности тела святого. Поэтому если в старославянском языке слово *мощи* синонимично словам *останъкъ, остатъкъ* (см.: Сл. ст-сл. яз., II, с. 230, 570; Сл. ст-сл. яз., 1994, с. 333, 420; ср.: Срезневский, II, стлб. 180–181, 215, 738), то на русской почве наряду с исходным значением появляется новое — специфически русское — значение данного слова: слово *мощи* может означать здесь как останки, в частности кости, так и нетленное тело (см.: Сл. Ак. Рос., III, стлб. 875; Голубинский, 1903, с. 298, ср. с. 456). При этом в русском церковнославянском языке, так же, как и в старославянском, слово *мощи* может относиться как к святому, так и к обычному человеку, но в русском языке оно означает исключительно тело святого; соответственно, в русском языке это слово непосредственно ассоциируется с нетленностью, т. е. означает (в прямом, не переносном смысле) именно 'нетленное тело'.

Ассоциация мощей и икон проявляется, между прочим, в том, что как те, так и другие могут быть мироточивыми (что соответствует греческому представлению о мироточивых костях, см. выше, примеч. 31).

[34] Весьма выразительны в этом плане протесты протопопа Аввакума против новой, «фряжской» манеры иконописания, которая появляется в России во второй половине XVII в. под западноевропейским влиянием. По словам Аввакума, иконописцы новой школы изображают святых как живых людей, подобно тому как это делается в западной живописи: «пишутъ Спасовъ образ Еммануила, лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, тако же и у ногъ бедры толстыя, и весь яко нѣмчинъ брюхатъ и толстъ учиненъ, лишо сабли той при бедрѣ не писано. А то все писано по плотскому умыслу: понеже сами еретицы возлюбиша толстоту плотскую и опровергоша дóлу горняя. Христосъ же Богъ нашъ тонкостны чювства имѣя всѣ, якоже и богословцы научаютъ насъ... А все то кобель борзой Никонъ, врагъ, умыслилъ, будто живыя писать, устрояетъ все по фряжьскому, сирѣчь по нѣметцкому»; «Воззри на святыя иконы и виждь угодившія Богу [*т. е.*: и увидь угодников Божиих], како добрыя изуграфы подобіе ихъ описуютъ: лице, и руцѣ, и нозѣ, и

вся чувства тончава и измождала отъ поста, и труда, и всякія имъ находящія скорби. А вы нынѣ подобіе ихъ перемѣнили, пишите таковыхъ же, якоже вы сами: толстобрюхихъ, толсторожихъ, и ноги и руки яко стулцы» (РИБ, XXXIX, стлб. 282–283, 291). Ср. в этой связи: Успенский, 1992а, с. 117–118.

[35] Максим Грек говорит в послании Ивану IV: «Царь... ни что же ино есть разве образ живый и видим... самого Царя небеснаго» (Максим Грек, II, с. 350). Ср. поучение патриарха Иова, обращенное к царю Борису Годунову при венчании его на царство: «тебе бо Христос в себе место и образ на земли показа и на свой престол вознесе (Доп. АИ, I, № 145, с. 245).

Достаточно характерно наименование царя «земным Богом», соответствующее наименованию Бога «Царем небесным»; не менее показательно, что, подобно Христу, царь может называться «Праведным солнцем» (sol justitiae). См.: Живов и Успенский, 1987, с. 57, 83 сл., 103.

[36] Характерно в этом смысле идиоматическое выражение, означающее процесс лицезрения царя: *видеть царские очи*. Равным образом при молитвенном общении с иконой обыкновенно смотрят в глаза иконного образа — отсюда объясняется, между прочим, фронтальность иконописного изображения (ср.: Успенский, 1995, с. 276–277).

Приложение:

Современное полемическое сочинение против духовного понимания Антихриста

Автором публикуемого сочинения является Афанасий Герасимович Мурачев, старообрядец, проживающий на Енисее и принадлежащий к беспоповскому согласию «чувственников», т.е. исповедующий чувственное — а не духовное — понимание Антихриста (см.о нем: Зольникова, 1992; Покровский, 1995; Титова, 1995; ср. его воспоминания: Герасимов, 1991). Сочинение А. Г. Мурачева было написано в 1977 г. и переписано им же в 1986 г. (рукопись Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Российской академии наук, № 6/90); мы публикуем его по автографу 1986 г., копия которого была любезно предоставлена в наше распоряжение Н. Д. Зольниковой. Орфография сохраняется, однако при

этом не соблюдается словоразделение подлинника и выносные буквы вводятся в строку; буквенные обозначения чисел заменяются цифровыми. Пунктуация приближена к современной. Текст в квадратных скобках всегда принадлежит публикатору.

Пример ко лжедуховномудреникам'

Жили два соседа, обои лжедуховномудреники, и часто они один к другому гостевали, и о своем фанатисме разсуждали. И вот шестаго декабря, в рожественском посте, поспешил сосед придти к своему другу, котораго и застал за трапезой; и как только порог перешагнул, так и напахнуло ему жареным мясом. И он, хотя с разсеянными мыслями, но положил три поклона, поздравил хозяина и трапезу его, и мгновенно обратил взор на трапезу хозяина; и видит — у него стоит на столе сковорда, а на ней зажареная человечья нога; и гость от удивления и от ужаса стал как ошаломленый. А хозяин ему ответил: «Милости просим», и приглашает его за трапезу, говоря: «Давай, братец, добавляй три поклона, добро пожаловать со мной на трапезу». А гость едва собрался с мыслями и говорит: «Ах, как приятно пахнет твоим жаревом, из чего же оно у тебя?». Хозяин ответил: «Хвостовую часть от рыбы зажарил», а сам облизывая упачканыя пальцы. Гость, сомневаясь по премому уличить, и говорит: «Прости, братец, а мне кажется что у тебя что-то не рыба на сковорде». Хозяин говорит: «Но а что, скажешь, капуста или картовь? сегодня в уставе разрешается поисть рыбу». Гость: «Да мне кажется что у тебя на сковорде человечья нога». Хозяин: «Ну и что, если нога, но не человечья, как ты говориш, а рыбья». Гость: «Я век прожил, не видал рыбьих ног и от людей не слыхивал, что у рыбы есть ноги». Хозяин повысил голос и говорит: «А ты кто, духовнопонимающїи, или чувственник буквоед?». Гость: «Ну конешно, духовнопонимающїй, ты и сам меня знаешь». Хоз[яин]: «Нет, я вижу тебя, что ты еще не совсем духовнопонимающий, а только исполу: ты разве не знаешь, кого божественное писанїе называет рыбой? Давай раскроем Еv[ан]г[е]лїе от Ма[т]ѳ. 13, с[ти]х 47, о неводе: не думай, что это чувственной невод, и для чувственной рыбы, нет. А также и от Луки, гл[ава] 5, с[ти]х 10. І[су]с Х[ристо]с сказал' Петрꙋ: „Не бойсѧ: ѡтселе бꙋдеши ч[е]л[ове]ки ловѧ". И в недельном Еv[ан]г[е]лїи, в н[е]д[е]лю 18, на лист[е] 298 обор[от], говорит: „Таже и обещавсѧ (І[су]съ) ловца ч[е]л[ове]ком сотворити их' (уч[е]н[и]ков); вместо мрежїѧ,

еже имеахѹ, даде им' ѡт всѣх словес' законных же и прор[о]ческих, еще же и ѡт б[о]ж[е]ственнаго поѹченїа своего сплетенѹ мрежѹ, даже в'верзают' в' море ч[е]л[ове]ческаго житїа, и об'имѹт елицех', аще обращѹт исполняюще своа словесная мрежїа, ѡт всякаго рода словесных рыб', еллин' же и варвар', и привлекѹт' сих ѡт смерти на живот'". А еще в' Благовестнике и в нравоучительном Еv[ан]г[е]лїи прочти на ети зачалы, и более уверишса. Да если хочешь, я тебя завалю свидетельствами от божественнаго писанїа, я в писанїе верю более всего на свете, и писанїе нужно понимать только духовно. Если іюдеи прор[о]ческое писанїе понимали чувственно, то мы, на перекор им, с[вя]то о[те]ческое писанїе будем понимать духовно. А вы должны смотреть на нас, грамотеев: мы для вас свет миру и соль земли (Ма[т]ѳ. 5, 13). Вы должны полностью доверяться нам: ведь ключь разуменїя в наших руках (Лѹк. зач. 62). Ну и как теперь, ты согласен, нет, со мной — что писанїе говорит о духовной рыбе, которую я действительно поджарил на сковородке?». Гость: «Конешно, ты грамотный, я верю тебе; но почему раньше этого не было, чтобы такую духовную рыбу исть?». Хозяин: «Говоришь, почему не было; это потому, что писанїе еще не совсем понимали духовно; а чем понимать духовнее, тем оно спасительнее, уже несколько убивающей буквы не будешь касаться, она полностью останется в чувственном понимании. Но если допустим к слову, что это говорит устав о чувственной рыбе (только не искусил бы лукавый на деле), то надо будет сет[ь], надо лотку, надо то, надо друго, а ето ведь любоименїе и любостяжанїе, которое писанием запрещается. Говорит Еv[ан]г[е]лїе от Лук. зач. 9: „Если имеешь две ризе, подаждь одну неимущему". А у ап[о]с[то]лов были даже сет[ь] свои и лодка, но Х[ристо]с велел оставить всё (Лѹк. зач. 17); а для духовной рыбы всё это ненужное, не лодка ни сет[ь]: она живет на суше, и нужен только один топор, которым дрова рубишь, тем и эту рыбу добудешь; конешно, и ножом можно, Х[ристо]с не запретил ап[о]с[то]лом иметь ножь, он сказал: „Да продаст' ризѹ свою, и кѹпит' ножь", а ап[о]с[то]ли ответили, что у нас уже два ножа, и он сказал: „довольно есть" (Лѹк. зач. 108)». Говорит гость: «Ну хорошо, братец, я люблю слушать твое поученїе". Хоз[яин]: «Конешно, любить и надо, я ведь говорю не от себя, а от Х[ристо]ва Еv[ан]г[е]лїа. А в Еv[ан]г[е]лїи Х[ристо]вы словеса, а Х[ристо]с сказал: „Небо и земла прейдѹт, а словеса моа не прейдѹт" (Лѹк. зач. 107)». Гость: «Добре, добре, я верю тебе, братец: да еще, братец, протолкуй мне, вот местом говорится в уставе: „дважды с

маслом или однажды с маслом и вино пием“; как ето на духовно толкуется?». Хоз[яин]: «Я знал, что ты должен меня спросить об этом, но у меня уже приготовлен ответ для тебя — Еv[ан]г[е]лїе от Лѹк., зач. 53, в котором говорится, что „їерей и левит пренебрегли ч[е]л[ове]ка, уязвеннаго на пути, самарянин ж[е] некто грядый, прїиде над него и, видев его, умилосердиса и, приступль, обяза раны его, возливая масло и вино“. В н[е]д[е]льном' Еv[ан]г[е]лїи в' слов. 46 говорит [*на полях*: лист 356]: „Полїа же елеом и вином, словом поѹченїа, елей бо еже бл[а]гими кротко призываа, вино ж[е] еже страшнейшими возвода на добродетели“. Ниж[е]: „Вино же по ѹченномѹ и свирепомѹ словѹ. елей же к' ч[е]л[ове]колюбномѹ и милостивномѹ словѹ“. Ниж[е]: „Полїем утешенїа вином, помажем ч[е]л[ове]колюбїа елеом“. Вот так толкуется о масле и вине. Это мы должны к людям подмазываться и льстить их', или же криком и угрозами брать над ними верх. И вот если не будешь етому верить, будешь противник Еv[ан]г[е]лїю». Гость: «Добре, добре, братец, я охотно верю тебе. Но еще мне протолкуй, братец, вот местом говорится в уставе: „разрешаем на мясо и млеко“, это 25 декабря». Хоз[яин]: «С Божїею помощїю отвечу и на это — опять же от Еv[ан]г[е]лїа. От Лѹк. зач. 87, говорит: „Идеже тело, там соберѹтся и орли“. А у Ма[т]ѳ. зач., 100, вместо тело называется труп'. Но ето одно и тоже, что тело или труп, вот это и есть масо: под этим трупом разумеется Х[исто]с умершїй. И Х[исто]с сам говорил [*на полях*: Іоан. зач. 23]: „И хлеб', его же аз' дам, плоть моа есть, юже аз' дам за живот мира“. И паки: „Рече им' І[су]с: аминь, аминь глаголю вам, аще не снесте плоти с[ы]на ч[е]л[ове]ческаго, ни пїете крове его, живота не имате в себе. Ꙗдыи мою плоть, и пїаи мою кровь, имать животъ вѣчныи“. Вот о каком мясе говорит устав, плоть Х[исто]ва — ето и ест[ь] масо, устав разрешает причащаться телу Х[исто]вѹ, а не сахатину и оленину варить и исть. А под млеком разумеется кровь Х[исто]ва; ето мы также говорим на основанїи Св. Писанїя; если хочешь, я тебе десяток свидетельств приведу. 27 їюла с[вя]таго великомученника Пантелеймона, когда усекнуша ему главу, вместо крове истече млеко. Да я говорю тебе, что я найду в Четиях не один десяток таких случаев, только нет мне время с тобой заниматься, да и что толку от сего, если ты невежа и слепец: сегодня я тебе говорю, а завтра ты все забудешь». Гость: «Нет, братец, не стесняйся и не ленися, учи, твое дело учить, а наше слушать и подчиняться. Да еще я спрошу, как ты, братец, духовную то рыбину поймал, и какой она породы?». Хоз[яин]: «Породы она татарской: за рекой та-

тарин выжигал извеску ночью и потом заснул, а я подкрался и топориком стукнул по голове, и он перестал трепескаться, а потом приволок его домой». Гость: «А все же страшно ету духовную рыбу добывать. Если узнает начальство, то в тюрме сгноят или сразу жизни лишат». Хозяин: «Да что и смотреть на ето; хоть лося, или осетра, или духовную рыбу, всё надо тайком добывать: если узнает рыбнадзор, то за лося и за осетра не погладит по головке». Гость: «А вот у меня некак не поднимется рука добывать духовную рыбу; мне кажется, это ч[е[л[ове]коубийство». Хоз[яин]: «Я уже сказал тебе, что ты не совсем духовнопонимающій, а только исполу. Тебя убьёт убивающая буква, ты должен бояться её как зверя: она тебя ужалит, она тебя уест; гони её, гони от себя прочь, как волка в лес, как вепря в дубраву: она для вас явная пагуба, она для вас как волосянная петля. Вот меня она уже не убьёт, я её выгнал из всех книг, я смотрю на неё как на крокодила, я следую животворящеми духу, я испытываю писанїе по Г[оспод]ню гласу (Іоан. 5, с[ти]х 39). Я извлекаю из писанїа внутрь лежащій смысл, я ненавижу їюдейскую лень, которые понимали писаниїе по букве, я осуждаю всех чувственников, букво-едов, буквожоров за то, что они толкованїе с[вя]тых отцов понимают по букве, т. е. по письму. А ведь письмя убивает, а дух живит. А если дух живит, то нужно понимать всё писанїе духовно вплоть до детской азбуки. Ну и как теперь, ты согласен со мной?». Гость: «Ну, это я понимаю и также говорю, что письмя убивает, а дух живит. Но я смотрю, братец, на тебя, что ты что угодно выгнешь из' Писанїя». Хоз[яин]: «Почему ты так глупо думаешь? Что для тебя Божественное писанїе леменева [т. е.: алюминиевая] проволока или свинцовая пластина, чтобы выгибать его, куда нужно? Нет, в етом ты резко ошибаешься. Да и что мне с тобой терять время, какая польза? Говорит Х[into]с: „Не дадите сватаа псом, ни поматайте бисер' ваших пред свинїами, да не попрꙋт' их' ногами своими“ (Ма[т]ѳ., зач.-20). Ты же явный блудник, и не только блудник, а даже кровосмесник». Гость: «Нет, братец, мы с женой сведёны по закону и родства между нами никакого нет». Хоз[яин]: «Ха-ха-ха, по закону, давай раскроем Божественное писанїе и сам увидишь, какой вашь закон. В Шестодневе третияго гласа на утрени на блаженных 1й стих говорит: „ѡтвергшаго, Х[рист]е, заповедь твою праѡтца Адама из' раа изгнал' еси“. А праот[е]ць это кто, ты думаешь?». Гость: «Дак ето всем понятно, что это дедушко». Хоз[яин]: «Вот, Адам дедушко, а вы обои с женой от Адама, от дедушки, и между вами только 4 степени по низходящей линїи, а

вы сродные брат с сестрой; и ты говоришь, между вами никакого родства нет. И ето не одно свидетельство, я тебе приведу еще целый ряд. Шестаго гласа на троичном каноне пес[нь] 9: „Врача ч[е]ло[ве]ком' пр[е]ч[и]стаѧ родила еси, всесильна Х[рист]а и Г[оспод]а, прародительныѧ ꙗзвы всех исцелѧюща". И на утренем каноне пес[нь] 7, 1й твор[ец]: „Праот[е]цъ же веселїѧ исполнен ꙗвисѧ". Прародитель или праот[е]цъ — ето одно и то же. Опять же говорит о Адаме пятаго гласа на утрен[нем] канон[е] пес[нь] 5, 1й твор[ец]: „Свободно содеѧла еси ѡт клѧтвы, Б[огоро]д[и]це, естество праотца". Там же пес[нь] 8, 3й твор[ец]: „Преста нынѣ прао[те]цъ печаль, ꙗже радость прїемши ти Б[о]гом[а]т[е]ри". Третияго гласа на утрени кан[он], пес[нь] 9, 1й твор[ец]: „Из тли смертныѧ спасл' еси, Х[рист]е, прао[т]ца, положсѧ во гробѣ ꙗко мертв'". А также о Евве говорит, 4 гласа на утрен[нем] кан[оне] пес[нь] 6, 3й творец: „Древле убо прельсти мѧ змїй и умори мѧ ради прам[а]т[е]ре моеѧ Еввы". Ну и что ты теперь думаешь? Живешь в таком беззаконїи, и за грех не считаешь: говоришь, вы сведены по закону». Гость: «Да, братец, ты меня вовсе ввёл в переполох. Ну, а почему же в Кормчей и в Номоканоне и в Матфеи Правил[ьнике] [имеется в виду Матфей Властарь] положены степени родства по восходящей и побочной и по низходящей линїи до осми колен, и есть родство позволительное к браку и непозволительное? А если так понимать, как ты учишь, то ведь всё человечество от Адама и до кончины века, все будут только в 4х степенях между собою. Как это? я не могу понять». Хоз[яин]: «Ты опять воротишь на чувственное пониманїе; опять воротишь на убивающую букву, опять понимаешь по письму: ведь там чисто плотьское пониманїе о родстве, а мы совершенно против плотскаго пониманїя, и держимся только за дух. Но и сколько, ты думаешь, о родстве форм позволительных и непозволительных?». Гость: «Да я думаю, поди двадцать есть». Хоз[яин]: «Нет, мало сказываешь, наверно дважды по двадцать, да и больше есть, но для нас это всё чипуха, хоть сколь буть. Если о прор[о]ках Илїе и Енохе насчитывается более ста свидетельств, и более пятидесяти книг свидетельствуют о том, что оне будут чувственно предотечи пред вторым пришествїем Х[присто]вым, а с нашей стороны и нет не одного свидетельства, кромя ложнаго из Феодора Студита, втораго тома; а мы все ети свидетельства накрыли убивающей буквой и взяли верх и победу над чувственниками. И для нас нет разницы, хоть сто свидетельств, хоть тысячу, одна и та же покрышка: как стеклянки литровые, двухлитровые и трех, все закрываются одной

капроновой крышкой, вот тебе ясный пример. У нас такая тактика: если прямое и неотвратимое свидетельство против нас, то мы его должны относить к духовному пониманiю, и тогда мы будем непобедимы до смерти; а ты три книги помянул и хотишь на них обосноваться. Но и как ты теперь думаешь — согласен, нет, со мной по части духовного пониманiя?». Гость: «Ты, братец, совсем меня привёл в безвыходность: конешно, я духовное пониманiе чествую, но меня касается вопрос о степенех родства, так как я вижу: и наша братия духовнопонимающiе, а живут с женами, и некто о етом не мудрствует». Хоз[яин]: «Конещно, вам поневоле приходится закрывать свое беззаконiе, все вы женатые, и все в грехе виноватые, и все будите оправдываться, а духовное пониманiе будите подрывать, это мне вас судить справедливо: я живу одинокую жизнь и свободен от вашей страсти. И если что я привёл из Шестоднева — то, что Адам прао[те]цъ, т. е. дедушко, и Евва праматерь, т. е. баушка, — и куда ты теперь попрёшь, это тебе не сказки; если, ты говоришь, духовное пониманiе чествуешь, а ето как раз и есть духовное пониманiе. Послушай, что говорит бл[а]жен[ный] Iероним, ч. 15, стр[а]н. 132: „Мы, носѧщiи имѧ хр[и]стiѧн, оставлѧем убивающꙋю бꙋквꙋ и последꙋем животворѧщемꙋ д[ꙋ]хꙋ“. Того ж[е], ч. 1, стр[а]н. 61, говорит: „Нет’ в’ писанiѧх’ слов’ простых, т. е. имеющих только бꙋквальный смысл’, есть в них’ много сокровеннаго“. Того ж[е], ч. 6, стр[а]н. 250: „Все, следꙋющiи законꙋ и прор[о]кам по бꙋкве убивающей, а не по д[ꙋ]хꙋ животворѧщемꙋ, погибнꙋт“. Вот все вы, женатики, следуете по букве убивающей, поетому и погибнете; вот поетому я с вами не ем, не пью и не молюсь: вы отлучоны от церкви ради беззаконных браков, по Занарю, пра[вило] 38, вам епитимiя на 12 лет, 170 покл[онов] на день». Гость взял шапку в охапку и возвратился с горечью домой; и встретился с чувственнопонимающим о временах [т. е. о пришествии Антихриста] и обяснил ему подробно о своем соседе духовнопонимающем: как он толкует устав домашнiй и как понимает о степенях родства. И говорит ему чувственник: «Но и как, ты полностью с ним согласен?». Гость: «Да у меня не сходится с ним понятие, мне кажется, он лишно духовно понимает; наша же братия только о временах духовномудрствуют, а домашний устав и о степенях родства не толкуют духовно». Чувстве[нни]к «Как имеющий одну анафему, так и имеющий три анафемы, обои не внидут в царство н[е]б[е]сное. У тебя совершенно безосновательное ложнодуховное пониманiе только о временах, а у него еще два ложнодуховных пониманiя — как домаш-

него устава, та и о степенях родства. И чем ты лучше его? Только тем, что у тебя лукавства и плутовства поменьше, а закваска у вас у обоих одна, у обоих основанïе ложное: придумали ложную убивающую букву, которой в с[вя]тоо[те]ческом писанïи совсем нет. Ты послушай, что говорит бл[а]женный Iероним [*на полях*: ч. 6, стр[а]н. 250]: „Все, следꙋющïи законꙋ и прор[о]кам по бꙋкве убивающей, а не по дꙋхꙋ животворѧщемꙋ, погибнꙋт". Вот и смотри, где лежит убивающая буква — она лежит в Моисеиских и в пророческих книгах. Говорит: „Все следующïи закону и прор[о]кам по букве"; под именем закона называет Моисеискïя книги, в которых изложен ветхïй закон, а под прор[о]ками — прор[о]ческïя книги. Поетому и бл[а]жен[ный] Iероним не сказал, что все, следꙋющïи с[вя]тоо[те]ческомꙋ писанïю по букве убивающей, погибнут; и зачем онъ скажет, если её в нем нет? Ты пожалей свою душу и поверь мне, что для нас теперь нет убивающей буквы, потому что духовно-божественное писанïе, как ветхозаветное, так и новоблагодатное, всё с[вя]тыми о[т]цами растолковано; а теперешним всем толкователям с[вя]тïи о[т]цы отрубили язык 19м правилом 6 вселенскаго собора, потому что толковать больше нечего, а только читать и следовать готовому толкованïю. А если кто вопреки с[вя]тым о[т]цем будет излагать свое толкованïе, то ето противник Х[рист]ꙋ, а сотрудник дïаволу, и от таковых нужно отвращаться». Гость: «Беда мне от вас, неграмотному, обои вы на меня, и я не знаю, кому верить из вас». Чувств[енник]: «Конешно, нужно верить тому, кто говорит истинну, а если кто лжот, зачем верить ему». Гость: «Но, а как узнать, то ли лжот или правду говорит». Чувст[венник]: «Узнать очень просто: если ч[е]л[ове]къ говорит правду, то он подтверждает писанïем и читает целые главы, листы и страницы поряду, а если ч[е]л[ове]къ лжот, то он выхватывает из писанïя страки [sic!] и полустроки, и делает ложный вывод и заключенïе, и тогда легко обольщает людей. Как говорит Ефрем Сирин: „Ложь и из истинны извлекает самый смертоносный яд". Вот ваша лжебратия, лжедуховномудреники так и делают; а теперь еще не жгёт и не морозит, и ето тебе еще не беда; если не покаетесь, то беда вам будет после смерти, Христовы слова сбудутся и на вас, как он говорит в Еv[ан]г[е]лïи: „Ѡтраднее бꙋдет земли содомстей и гоморстей в' д[е]нь сꙋдный, нежели вам'" [на полях: Матѳ. зач. 35]. Ты подумай, как вы Б[о]гꙋ и с[вя]тым его досаждаете, когда берёте словеса с[вя]тых и на свой ложнодуховный смысл насильственным образом извращаете, и церковь Х[ристо]вꙋ раздираете, и незлобивые души во ад' утопляете, за

которых І[су]с Х[ристо]с кровїю пострадал. И если о едином грешнице кающемся бывает радость на н[е]б[е]си, а вы от церкви Х[ристо]вой полками людеи отторгаете и во ад утопляете, то что же бывает на н[е]б[е]си, если не скорбь? Вот настолько тяжек ваш грех: для Х[рист]а вы явные враги, а дїяволу верные слуги». Гость: «А я давно замечаю лукавство за своими стариками, поетому и зачищать [sic!] их не хочу, провалитесь они во адъ со своим лжедуховным мудрованїем ко отцꙋ своему дїяволу, егоже волю творят; а я отселе причитаюся Х[рист]ꙋ и к вам чадом его. Теперь еще, боголюбче, скажи мне, в каких книгах говорится о прор[о]ках, что они будут пр[е]д[о]т[е]чи второму пришествию Х[ристов]ꙋ? Мой собеседник мне сказал, что более пятидесяти кнӥг, в которых говорится о прор[о]ках, что они будут чувственно пр[е]д[о]т[е]чи второму пришествїю Х[ристо]ву, а по имени книги не назвал». Чувст[венник]: «А вот смотри на следующей странице, по числу их 59, но, я думаю, ето еще не все».

Книги, в которых говорится ѡ пришествїи прор[о]ков':

(1) в' Еѵ[ан]г[е]лїи напр[е]стольном'; (2) в' Еѵ[ан]г[е]лїи н[е]д[е]льном'; (3) в' Еѵ[ан]г[е]лїи бл[а]говѣстном; (4) в' Еѵ[ан]г[е]лїи нравоучит[ельном]; (5) на Еѵ[ан]г[ел]їе от Ма[т]ѳ. бесед[ы] Зла[тоу]ста 57 стр[а]н. 402; (6) Беседы ап[о]с[то]льскїѧ лист 2343; (7) Ап[о]с[то]лъ толковый лист 383 обор[от]; (8) Бесед[ы] на Еѵ[ан]г[е]лїе Григорїѧ Двоеслова, книг[а] 1, стр[а]н[ица] 58; (9) его же книга 2, стр[а]н[ица] 110; (10) Синоксарь в н[е]д[е]лю мѧсопꙋстн[ую]; (11) Іоанна Дамаск[ина], книг[а] 4, слов[о] 27; (12) Іоанна Римлѧн[ина], книга Метафраст[а], гл. 20, лист 471; (13) Іоанна Зла[тоу]ст[а], том II, стр[а]н[ица] 5; (14) его же том III, стр[а]н[ица] 73; (15) его же том VI, стр[а]н[ица] 474; (16) его же том XI, стр[а]н[ица] 575; (17) преп[одобного] Ефрема Сир[ина] слов[о] 105; (18) его же част[ь] VIII, страница 59; (19) Андрей Кесарїиск[ий] в толкован[ии] на Апокалиѱис; (20) Андреѧ Юродив[ого] глав[а] 66; (21) Альфа и ѡмега, глав[а] 66; (22) Большой собор[ник], глав[а] 8, лист 127 и лист 523; (23) Книга о вѣрѣ, глав[а] 30, лист 270; (24) Амвросий Медїолам[ский] [sic!], глав[а] 8, стр[а]н[ица] 17; (25) его ж[е] книга о девстве, глав[а] 3, стр[а]н[ица] 6; (26) Кассїѧна Римл[янина]. Книга его, стр[а]н[ица] 360; (27) Кирила Алеѯанд[рийского] т. XII, стр[а]н[ица] 168; (28) Ѳеодорит Кирс[кий], т. V, стр[а]н[ица] 175; (29) его же т. VI, стр[а]н[ица] 81;

(30) его же ч. 4, стр[а]н[ица] 238; (31) Маξим Грек в слов[е] о промысле Б[о]жїи глава 9, ч. 2, стр[аница] 189; (32) Книг[а] Козмы Индикоплова лист 129; (33) Пролог їюлѧ 20, слов[о] Григорїѧ мниха; (34) Свѧтцы с летописью, 20 їюлѧ; (35) Книга Кирила, знам. 8, лист 47; (36) Четь Минеѧ 20 їюлѧ; (37) Четь Минеѧ Макарьевскаѧ 20 їюлѧ; (38) Четь Минеѧ Макарьев[ская], ѳевраль, лист 874; (39) Четь Минеѧ Макарьев[ская], сентябр[я] 23, лист 329; (40) Страсти Х[ристо]вы, глав[а] 25, лист 140; (41) Блаж[енный] Августин, книг[а] 5, ч. VI, стр[а]н[ицы] 264 и 256; (42) Евфимїи Зигабен, толк[ование] на Ма[т]ѳ[ея], глав[а] 17, с[ти]х 10; (43) св. м[у]ч[е]н[и]к' Іустин, разговор с Трифоном, стр[а]н[ица] 73; (44) в слȣжебной Минеи ст[и]х[и]ра и тропар[ь] Илїе; (45) Книга Анфолагїон, стр[а]н[ица] 995; (46) Блаж[енный] Іероним, творен[ия] его, ч. 15, стр[а]н[ица] 234; (47) его же ч. 16, стр[а]н[ица] 169; (48) его ж[е] ч. 3, стр[а]н[ица] 174, писмо 97; (49) его ж[е] ч. 4, стр[а]н[ицы] 345 и 348; (50) его ж[е] ч. 11 стр[а]н[ица] --- ; Ѳеодора Стȣд[ита] т. 2, стр[а]н[ица] 274; Прот[опоп] Аввакȣм, историѧ Бороздина, стр[а]н[ицы] 23, 19, 35, 36, 37, 70 и другїе; Дїакона Ѳеодора, историѧ раскол[а] т. VI, стр[а]н[ица] 186; Лазарь, стр[а]н[ица] 9, Внутрен[ние] вопросы раскол[а] Смирнова; там же, стр[а]н[ица] 11, и том 9, стр[а]н[ица] 273; Авраамїй, истор[ия] раскола т. VII, стр[а]н[ица] 419; еще Аввакȣм прот[опоп] книг[а] в пользȣ раскол[а], ч. 2, стр[а]н[ица] 21; Торжественник на 20 їюлѧ, поȣчение лист 486.

Обезумевшїя лжедуховномудренїки против этих книг барахтаются, со своим ложнодуховным мудрованїем, противу чувственнаго прихода пророков, пред' вторым пришествием Христовым'.

Писал греш[ный] Афанасїй в марте 1977 г. на обличенїе Шурнишенской ереси.

Переписана в 1986 г. Мурачев А. Г.

Цитируемая литература

Абрамович, 1916 — Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Приготовил к печати Д. И. Абрамович, Пг., 1916 (= «Памятники древнерусской литературы», вып. 2).

Алмазов, I–III — *А. И. Алмазов.* Тайная исповедь в православной Восточной церкви: Опыт внешней истории. Исследование преимущественно по рукописям, т. I–III. Одесса, 1894. Репринт: М., 1995.

Альтман, 1971 — *М. С. Альтман*. Из арсенала имен и прототипов литературных героев Достоевского. — «Достоевский и его время». Л., 1971 (с. 196–216).

Андалоро, 1987 — *Maria Andaloro*. Aggiornamento scientifico e bibliografia. — В изд.: Маттие, 1987 (с. 213–310).

Андреев, 1932 — *Н. Е. Андреев*. О «деле дьяка Висковатого». — Sem. Kond., V, 1932 (с. 191–242).

Андроник, 1993 — Игумен *Андроник (Трубачев)*. Преподобный Амвросий Оптинский: Жизнь и творения. Издание Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1993.

Артоболевский, 1904–1905 — *С. Артоболевский*. Св. Василий, архиепископ новгородский. — «Московские церковные ведомости», 1904, № 46 (с. 531–534), № 47 (с. 544–546); 1905, № 3 (с. 27–30), № 10 (с. 111–113), № 15 (с. 176–179), № 17–18 (с. 201–207).

Афанасьев, I–III — *А. Афанасьев*. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов, т. I–III. М., 1865–1869. Репринт: М., 1994.

Барсуков, 1882 — *Н. Барсуков*. Источники русской агиографии. СПб., 1882. Репринт: Leipzig, 1970.

Бонавентура, I–IV — *S. Bonaventura*. Opera omnia, t. I–IV. Florentia, 1882–1889.

Булгаков, 1913 — *С. В. Булгаков*. Настольная книга для священно-церковно-служителей (Сборник сведений, касающихся преимущественно практической деятельности отечественного духовенства). М., 1913. Репринт: [М.], 1993.

Буслаев, 1912 — *Федор Буслаев*. Русская хрестоматия: Памятники древней русской литературы и народной словесности с историческими объяснениями и с словарем. Изд. 12-е. ...просмотрено и исправлено акад. А. И. Соболевским. М., 1912.

Ван Ворст, 1913 — La translation de S. Théodore Studite et de S. Joseph de Thessalonique, ed C. Van Vorst. — «Analecta Bollandiana», t. XXXII. Bruxelles – Paris, 1913 (p. 50–61).

Ван Дён, 1993 — *P. Van Deun*. Hagiographia Cypria. Tournhout — Leuven, 1993 (= «Corpus christianorum», Series graeca, t. XXVI).

Васильев, 1893 — *Василий Васильев*. История канонизации русских святых. — ЧОИДР, 1893, кн. 3.

Веселовский, 1872 — *Александр Веселовский*. Калики перехожие и богомильские странники. — «Вестник Европы», т. XXXIV, 1872, апрель (с. 683–722).

Веселовский, 1886 — *А. Н. Веселовский*. Из истории романа и повести: Материалы и исследования, вып. I (Греко-византийский период). СПб., 1886 (= Сб. ОРЯС, т. XL, 1886, № 2).

Веселовский, 1891 — *А. Н. Веселовский.* Эпизоды о рае и аде в послании новгородского архиепископа Василия. — В кн.: *А. Н. Веселовский.* Разыскания в области русского духовного стиха, XVIII–XXIV. СПб., 1891 (= Сб. ОРЯС, т. LIII, 1892, № 6).

Виноградов, 1994 — *В. В. Виноградов.* История слов. М., 1994.

Герасимов, 1991 — *Афанасий Герасимов* [= Афанасий Герасимович Мурачев]. Повесть о Дубчесских скитах. — «Новый мир», 1991, № 9 (с. 91–102).

Геро, 1973 — *Stephen Gero.* The *Libri Carolini* and the image Controversy. — «The Greek Orthodox Theological Review», vol. XVIII, 1973, No. 1–2 (p. 7–34).

Геро, 1975 — *Stephen Gero.* The Eucharistic Doctrine of the Byzantine Iconoclasts and Its Sources. — «Byzantinische Zeitschrift», Bd. 68, 1975, H. 1 (S. 4–22).

Голубинский, I–II — *Е. Голубинский.* История русской церкви, т. I (1-я половина тома, изд. 2-е испр. и доп. М., 1901; 2-я половина тома, изд. 2-е испр. и доп. М., 1904) — II (1-я половина тома. М., 1900; 2-я половина тома. М., 1917). Оттиски из ЧОИДР, 1901, кн. 3; 1904, кн. 2; 1900, кн. 1; 1916, кн. 4. При ссылках на это издание римская цифра обозначает том, а арабская — половину тома.

Голубинский, 1903 — *Е. Голубинский.* История канонизации святых в русской церкви. М., 1903. Оттиск из ЧОИДР, 1903, кн. 1.

Граф, I–II — *Arturo Graf.* Miti, leggende e superstizioni del Medio Evo, vol. I–II. Torino, 1892–1893.

Граф, 1878 — *Arturo Graf.* La legenda del paradiso terrestre. Torino, 1878.

Григорович-Барский, I–IV — Странствования Василья Григоровича-Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 год. Под ред. Николая Барсукова, ч. I–IV. СПб., 1885–1887.

Гуревич, 1977 — *А. Я. Гуревич.* Западноевропейские видения потустороннего мира и «реализм» средних веков. — «Труды по знаковым системам», VIII (= «Ученые записки ТГУ», вып. 411). Тарту, 1977 (с. 3–27).

Дейвс и Бейнс, 1948 — Three Byzantine Saints. Contemporary biographies translated from the Greek by Elisabeth Dawes and Norman H. Baynes. Oxford, [1948]. Переиздано: Crestwood, N. Y., 1977.

Деяния 1666–1667 гг. — Деяния московских соборов 1666 и 1667 гг. Издание [второе] братства св. Петра митрополита, вновь проверенное по подлинной рукописи. М., 1893.

Доп. АИ, I–XII — Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею, т. I–XII. СПб., 1846–1875.

Достоевский, I–XXX — *Ф. М. Достоевский.* Полное собрание сочинений в тридцати томах, т. I–XXX. Л., 1972–1990.

Дюмуте, 1927 — *E. Dumoutet.* Le Désir de voir l'Hostie et les origines de la dévotion au Saint Sacrement. 1927.

Дюшен, I–III — Le liber pontificalis. Texte, introduction et commentaire par L. Duchesne, t. I–III. Rome — Paris, 1886–1957; t. I–II. Rome, 1886–1892 (репринт: Paris, 1955–1957); t. III. Paris, 1957.

Живов, 1994 — *В. М. Живов.* Святость: краткий словарь агиографических терминов. М., 1994.

Живов и Успенский, 1987 — *В. М. Живов, Б. А. Успенский.* Царь и Бог: Семиотические аспекты сакрализации монарха в России. — «Языки культуры и проблемы переводимости». М., 1987 (с. 47–153).

Зеелигер, 1926 — *Gerhard Seeliger.* Conquests and Imperial Coronation of Charles the Great. — «The Cambridge Medieval History», vol. II. The Rise of the Saracens and the Foundation of the Western Empire. Cambridge, *et al.*, [1926] (p. 595–629).

Зольникова, 1992 — *Н. Д. Зольникова.* Современный писатель старообрядец с Енисея. — «Традиционная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и Америки». Новосибирск, 1992 (с. 283–288).

Казакова и Лурье, 1955 — *Н. А. Казакова, Я. С. Лурье.* Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начала XV века. М., Л., 1955.

Канторович, 1951 — *Ernst H. Kantorowicz.* Dante's «Two Suns». — «Semitic and Oriental Studies Presented to William Popper». Berkeley — Los Angeles, 1951 (= «University of California. Papers in Semitic Philology», XI) (p. 217–231).

Кимбль, 1968 — *George H. T. Kimble.* Geography in the Middle Ages. New York, [1968].

Классен, 1968 — *Peter Classen.* Karl der Grosse, das Papstum und Byzanz: Die Begründung des karolingischen Kaisertums. Erweiterte Sonderausgabe aus: Karl der Grosse, Bd. I, herausgegeben von Helmut Beumann. Düsseldorf, 1968.

Клибанов, 1960 — *А. И. Клибанов.* Реформационные движения в России в XIV — первой половине XVI вв. М., 1960.

Книга правил — Книга правилъ свѧтыхъ апостωлъ, свѧтыхъ соборωвъ вселенскихъ и помѣстныхъ и свѧтыхъ отецъ. М., 1893. Репринт: СПб., 1993.

Коли, 1897 — *Edoardo Coli.* Il paradiso terrestre dantesco. Firenze, 1897 (= «Pubblicazioni del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. Sezione di filosofia e lettere», vol. II, № 28).

Кушелев-Безбородко, I–IV — Памятники старинной русской литературы, издаваемые Григорием Кушелевым-Безбородко, вып. I–IV. СПб., 1860–1862.

Лазарев, 1953 — *В. Н. Лазарев.* Васильевские врата 1336 года. — «Советская археология», [т.] XVIII. [М.], 1953 (с. 386–422).

Лебедев, 1904 — *А. П. Лебедев.* История греко-восточной церкви под властию турок: От падения Константинополя в 1453 г. до настоящего времени. Изд. 2-е. СПб., 1904 (= Алексей Лебедев. Собрание церковно-исторических сочинений, т. VIII).

Леклерк, 1950 — *H. Leclercq.* Sacrement (Bénédiction du saint...). — «Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie» des RR. dom F. Cabrol et dom H. Leclercq, t. XV / 1. Paris, 1950 (col. 345–349).

Ленгоф, 1993 — *Gail Lenhoff.* The Notion of «Uncorrupted Relics» in Early Russian Culture. — «Christianity and the Eastern Slavs», vol. I. Slavic Cultures in the Middle Ages (= «California Slavic Studies», vol. 16 / [1]). Edited by Boris Gasparov and Olga Raevsky-Hughes. Berkeley — Los Angeles — Oxford, [1993] (p. 252–275).

Лихачев, 1946 — *[Д. С. Лихачев].* Литература Новгорода XIII–XIV вв. — «История русской литературы», т. II (Литература 1220-х — 1580-х гг.), ч. 1. М.–Л., 1946 (с. 128–142).

Лончакова, 1975 — *Г. А. Лончакова.* Послание Василия Калики Федору Доброму. — «Вопросы истории книжной культуры» (= «Сборник научных трудов Гос. публичной научно-технической библиотеки Сибирского отд. АН СССР», вып. 19). Новосибирск, 1975 (83–104).

Лотман. 1965 — *Ю. М. Лотман.* О понятии географического пространства в русских средневековых текстах. — «Труды по знаковым системам», II (= «Ученые записки ТГУ», вып. 181). Тарту, 1965 (с. 210–216).

Маджеска, 1973 — *George P. Majeska.* St. Sophia in the Fifteenth Centuries: The Russian Travellers on the Relics. — «Dumbarton Oaks Papers», vol. XXVII, 1973.

Макридес, 1981 — *Ruth Macrides.* Saints and Sainthood in the Early Palaiologan Period. — «The Byzantine Saint: University of Birmingham Fourteenth Spring Symposium on Byzantine Saints». Ed. by Sergei Hackel. [London], 1981 (A special number of «Sobornost» incorporating «Eastern Churches Review» — «Studies supplementary to *Sobornost*», 5) (p. 67–87).

Макридес, 1992 — *R. J. Macrides.* Bad Historian or Good Lawyer? Demetrios Chomatenos and Novel 131. — «Dumbarton Oaks Papers», vol. XLVI, 1992 (p. 186–196).

Максим Грек, I–III — *Максим Грек.* Сочинения, ч. I–III. Казань, б. г.

Манси, I–XXXI — Sacrorum consiliorum nova et amplissima collectio. Ed. D. Mansi, T. I–XXXI. Venetiae et Florentiae, 1759–1798.

Маттие, 1987 — *Guglielmo Matthiae.* Pittura romana del Medioevo: secoli IV–X. Aggiornamento scientifico e bibliografia di Maria Andaloro, vol. I [Roma, 1987].

Мейендорф, 1974 — *John Meyendorff.* Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes. New York, 1974.

Мейендорф, 1981 — *John Meyendorff.* Byzantium and the Rise of Russia: A Study in Byzantino-Russian Relations in the Fourteenth Century. Cambridge *et al.*, [1981].

Мейендорф, 1995 — *П. Мейендорф.* Введение. — В кн.: Св. Герман Константинопольский. Сказание о Церкви и рассмотрение таинств. М., 1995.

Мейер и Натт, 1895–1897 — *K. Meyer, A. Nutt.* The Voyage of Bran, vol. I–II. London, 1895–1897.

Мелинос, 1995 — *Манолис Мелинос.* Я говорил со святым Нектарием. Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1995.

Минь, PG, I–CLXVI — Patrologiae cursus completus. Series graeca. Accurante J. P. Migne, t. I–CLXVI. Paris, 1857–1866.

Минь, PL, I–CCXXI — Patrologiae cursus completus. Series latina. Accurante J. P. Migne, t. I–CCXXI. Paris, 1844–1865.

Новг. лет., 1879 — Новгородские летописи (так названные Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). Изд. Археографической комиссии. СПб., 1879.

Нордгаген, 1976 — *P. J. Nordhagen.* Un problema di carattere iconografico e tecnico a S. Prassede. — «Roma e l'età carolingia». Roma, 1976 (p. 159–166).

Орлов, 1994 — *Георгий Орлов.* Заупокойное богослужение: Объяснение обрядов, предшествующих погребению, чина погребения и обрядов, последующих за погребением. М., 1994.

Острогорский, 1927 — *Георгий Острогорский.* Соединение вопроса о св. иконах с христологической догматикой в сочинениях православных апологетов раннего периода иконоборчества. — Sem. Kond., I, 1927 (с. 35–48).

Острогорский, 1928 — *Георгий Острогорский.* Гносеологические основы византийского спора об иконах. — Sem. Kond., II, 1928 (с. 47–52).

Панченко, 1987 — *А. М. Панченко.* Василий Калика. — «Словарь книжников и книжности Древней Руси», вып. I (XI — первая половина XIV в.) Л., 1987 (с. 92–95).

Парфений, I–IV — Сказание о странствовании и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле постриженника Святой горы Афонской инока Парфения [Петра Аггеева], ч. I–IV. Изд. 2-е, испр. М., 1856.

Пахимер, I–II — Georgii Pachymeris de Michaele et Andronico Paleologis libri tredecim. Recognovit Immanuel Bekkerus, vol. I–II. Bonn, 1835 (= «Corpus scriptorum historiae Byzantinae», № 18, vol. I–II).

Пеетерс, 1914 — *P[aul] P[eeters].* La canonisation des saints dans l'Église russe. — «Analecta Bollandiana», t. XXXIII. Bruxelles – Paris, 1914 (p. 380–420).

Петров, 1872 — *Н. Петров.* О влиянии западноевропейской литературы на древнерусскую. — «Труды Киевской духовной академии», 1872, апрель (с. 1–66).

ПЛДР XIV–XV вв. — Памятники литературы Древней Руси: XIV — середина XV века. М., 1981.

Плугин, 1974 — *В. А. Плугин.* Мировоззрение Андрея Рублева (Некоторые проблемы): Древнерусская живопись как исторический источник. М., 1974.

Покровский, 1989 — *Н. Н. Покровский.* Томск 1648–1649 гг.: Воеводская власть и земские миры. Новосибирск, 1989.

Попов, 1880 — *Андрей Попов.* Библиографические материалы, вып. II–VII. М., 1880. Оттиск из ЧОИДР, 1880, кн. 3.

Попов и Рындина, 1979 — *Г. В. Попов, А. В. Рындина.* Живопись и прикладное искусство Твери XIV–XVI века. М., 1979.

Приселков и Фасмер, 1916 — *М. Д. Приселков, М. Р. Фасмер.* Отрывки В. Н. Бенешевича по истории русской церкви XIV века (Посвящается В. Н. Бенешевичу). — «Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук», т. XXI, 1916, кн. 1 (с. 48–70).

Продолжатель Феофана, 1992 — Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей. Изд. подг. Я. Н. Любарский. СПб., 1992.

Прохоров, 1968 — *Г. М. Прохоров.* Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в XIV в. — «Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР (Пушкинского дома)», т. XXIII, 1968 (с. 86–108).

ПСРЛ, I–XXXIX — Полное собрание русских летописей, т. I–XXXIX. СПб. (Пг., Л.)–М., 1841–1994.

Пэтч, 1970 — *Howard Rollin Patch.* The Other World According to Descriptions in Medieval Literature. New York, 1970.

Райбле, 1908 — *F. Raible.* Der Tabernakel einst und jetzt: Eine historische und liturgische Darstellung der Andacht zur aufbewahrten Eucharistie. 1908.

Райнов, 1940 — *Т. Райнов.* Наука в России XI–XVII веков. М.–Л., 1940.

Райт, 1965 — *John Kirtland Wright.* The Geographical Lore of the Time of Crusades: A Study in the History of Medieval Science and Tradition in Western Europe. New York, [1965].

РИБ, I–XXXIX — Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею, т. I–XXXIX. СПб. (Пг., Л.), 1872–1927.

Розеншток и Виттиг, I–II; прилож. — *Eugen Rosenstock* und *Joseph Wittig.* Das Alter der Kirche. Bd. I–II. Berlin, [1927–1928]. Anhang: Berlin, [1927].

Рыбаков, 1948 — *Б. А. Рыбаков.* Ремесло древней Руси. [М.], 1948.

Сакович, 1641 — *[Kassian Sakowicz].* Sobor Kiiowski schismaticki, przez oyca Piotra Mohiłe złożony y odprawowany roku 1640, począwszy od dnia 8 Septembra aż do dnia 18. Z Ruskiego na Polski ięzyk przełożony. W Warszawie roku Panskiego 1641 Septembra dnia 20.

Седельников, 1927 — *A. Д. Sedel'nikov.* Vasilij Kalika: L'histoire et la légende. — «Revue des études slaves», t. VII, 1927, fasc. 3–4 (p. 224–240).

Седельников, 1937–1938 — *A. D. Sedel'nikov.* Мотив о рае в русском средневековом прении. — «Byzantinoslavica», ročn. VII, 1937–1938 (s. 164–173).

Сергий, 1850, I–II — [Иеросхимонах *Сергий (Симеон Веснин)*]. Письма святогорца к друзьям своим о святой горе Афонской. Изд. 2-е, ч. I–II. СПб., 1850.

Сергий, 1895 — [Иеросхимонах *Сергий (Симеон Веснин)*]. Письма святогорца к друзьям своим о святой горе Афонской. С портретом автора, с приложением его биографии, келейных записок и вида келлии, в которой он жил. Изд. 8-е, ч. I–III. М., 1895. Репринт: [М., 1995]. Продолжающаяся пагинация во всех трех частях.

Серебрянский, 1908 — *Н. И. Серебрянский*. Очерки по истории псковского монашества. М., 1908.

Скилица, 1973 — Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum. Rec. I. Thurn. Berlin — New York, 1973.

Сл. Ак. Рос., I–VI — Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный, ч. I–VI. СПб., 1806–1822. Репринт с присовокуплением VII дополнительного тома: Odense, 1971.

Сл. ст-сл. яз., I–IV — Slovník jazyka staroslověnského / Lexicon linguae palaeoslovenicae, t. I–III. Praha, 1958–1982. Издание продолжается.

Сл. ст-сл. яз., 1994 — Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.

Служебник, 1958 — Служебник. М., 1958.

Смирнов, 1898 — *П. С. Смирнов*. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке: Исследование из начальной истории раскола по вновь открытым памятникам, изданным и рукописным. СПб., 1898.

Смирнов, 1909 — *П. С. Смирнов*. Взгляд раскола на переживаемое время в первой четверти XVIII века. — «Христианское чтение», 1909, май (с. 682–724).

Смирнов, 1913 — *С. Смирнов*. Древнерусский духовник: Исследование по истории церковного быта. М., [1913]. Оттиск из ЧОИДР за 1912–1914 гг. Репринт: М., 1995.

Соколов, 1910 — *М. И. Соколов*. Славянская книга Еноха праведного: Тексты, латинский перевод и исследование. Посмертный труд автора приготовил к изданию М. Сперанский. М., 1910 (= Матвей Соколов. Материалы и заметки по старинной славянской литературе, вып. III, № 7). Оттиск из ЧОИДР, 1910, кн. 4.

Соснин, 1849 — *Дмитрий Соснин*. О нетлении святых мощей в церкви христианской. М., 1849.

Срезневский, I–III; дополн. том — *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, т. I–III. СПб., 1893–1903. Дополнения. СПб., 1912. Репринт: М., 1958.

Субботин, I–IX — Материалы для истории раскола за первое время его существования, издаваемые братством св. Петра митрополита под ред. Н. Субботина, т. I–IX. М., 1875–1890.

Татищев, I–VI — *В. Н. Татищев*. История российская с самых древнейших времен, кн. I–V. М.–СПб., 1768–1848.

Тихонравов, I–II — *Николай Тихонравов.* Памятники отреченной русской литературы, т. I–II. М., 1863. Репринт: The Hague — Paris, 1971.

Толстой, 1887 — Книга глаголемая Описание о российских святых, где и в котором граде или области или монастыре и пустыни поживе и чюдеса сотвори, всякаго чина святых. Дополнил биографическими сведениями М. В. Толстой. — ЧОИДР, 1887, кн. 4.

Триодь постная, I–II — Триодь постная, ч. I–II. М., 1974.

Уманец, I–II — *Л. Уманец.* Поездка на Синай с приобщением отрывков о Египте и Святой Земле, ч. I–II. СПб., 1850.

Усп. сб. — Успенский сборник XII–XIII вв. Издание подготовили О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971.

Успенский, 1982 — *Б. А. Успенский.* Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). М., 1982.

Успенский, 1982а — *Б. А. Успенский.* Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен. — «Художественный язык Средневековья». М., 1982 (с. 201–235).

Успенский, 1985 — *Б. А. Успенский.* Анти-поведение в культуре Древней Руси. — «Проблемы изучения культурного наследия». М., 1985 (с. 326–336).

Успенский, 1989 — *Б. А. Успенский.* История и семиотика (Восприятие времени как семиотическая проблема). Статья вторая. — «Труды по знаковым системам», XXIII (= «Ученые записки ТГУ», вып. 855). Тарту, 1989 (с. 18–38).

Успенский, 1989а — *Б. А. Успенский.* Богословие иконы православной церкви. Paris, 1989.

Успенский, 1992 — *Boris Uspenskij.* La perception de l'histoire et la doctrine «Moscou — troisième Rome». — «La royauté sacrée dans le monde chrétien» (Colloque de Royaumont, mars 1989). Publié sous la direction de A. Boureau et C.-S. Ingerflom. Paris, 1992 (= «L'histoire et ses représentations», 3) (p. 129–137).

Успенский, 1992а — *Б. А. Успенский.* Раскол и культурный конфликт XVII века. — «Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана». Тарту, 1992 (с. 90–129).

Успенский, 1994 — *Б. А. Успенский.* Дуалистический характер русской средневековой культуры (на материале «Хожения за три моря» Афанасия Никитина). — В изд.: Б. А. Успенский. Избранные труды, т. I. М., 1994 (с. 254–297).

Успенский, 1995 — *Б. А. Успенский.* Семиотика искусства. М., 1995.

Успенский, в печати — *Б. А. Успенский.* Восприятие истории в Древней Руси и доктрина «Москва — Третий Рим». — В печати.

Фестюжьер, 1961 — Les moines d'Orient, II: Les moines de la région de Constantinople (Callinicus, Vie d'Hypatios; Anonyme, Vie de Daniel le Stylite), traduites par A.-J. Festugière. Paris, 1961.

Филип, 1971 — *Lotte Brand Philip.* The Ghent Altarpiece and the Art of Jan van Eyck. Princeton, 1971.

Флоровский, 1933 — *Г. В. Флоровский.* Византийские Отцы V–VIII [вв.]. Из чтений в православном Богословском институте в Париже. Париж, 1933.

Флоря, 1981 — Сказания о начале славянской письменности. Вступительная статья, перевод и комментарии Б. Н. Флори. М., 1981 («Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы»).

Черторицкая, 1979 — *Т. В. Черторицкая.* О составе минейных Торжественников XV–XVI вв. — «Сибирская археография и источниковедение». Новосибирск, 1979 (с. 13–27).

Чистякова, 1973 — *Е. В. Чистякова.* Томское восстание 1648 г. — «Русское население Поморья и Сибири (Период феодализма): Сборник памяти члена-корреспондента АН СССР Виктора Ивановича Шункова». М., 1973 (с. 72–93).

Шрёдер, 1871 — Sanct Brandan. Ein lateinischer und drei deutsche Texte. Herausgegeben von Carl Schröder. Erlangen, 1871.

Яблонский, 1908 — *В. Яблонский.* Пахомий Серб и его агиографические писания: Биографический и библиографически-литературный очерк. СПб., 1908.

Условные сокращения

ГИМ — Государственный исторический музей (Москва).

Сб. ОРЯС — «Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук» (СПб.).

ТГУ — Тартуский Государственный Университет.

ЧОИДР — «Чтения в Обществе истории и древностей российских при имп. Московском университете» (Москва).

Sem. Kond. — «Сборник статей по археологии и византиноведению, издаваемый Семинарием имени Н. П. Кондакова [«Seminarium Kondakovianum»]» (Прага).

А. А. Гиппиус

«НОУГОРОДЦЫ»
(Об одной орфографической аномалии в старовеликорусских текстах)

Элементарной процедурой, лежащей в основе лингвистической интерпретации письменного текста, всегда является отнесение конкретного написания к определенной категории. Оно обязательно предполагает момент абстрагирования от индивидуальных характеристик данного написания, признаваемых в рассматриваемом отношении несущественными, и включение его в ряд аналогичных фактов, за которыми признается общее лингвистическое содержание.

Эта операция, в результате которой единичный факт превращается в пример, требует, если так можно выразиться, презумпции индивидуальности конкретного написания. Прежде чем трактовать то или иное написание как представляющее некоторое общее явление, необходимо убедиться в отсутствии у него более специальной подоплеки. Результат применения этого принципа к спискам примеров, которыми традиционно оперирует историческая грамматика русского языка, бывает как негативным, так и положительным. В первом случае мы просто отказываемся признать за примером то лингвистическое значение, которое ему приписывалось, и сбрасываем его со счетов как непоказательный. Во втором случае, представляющем, естественно, особый интерес, лингвистическое содержание примера, оказывается, напротив, большим, чем казалось ранее. То, в чем виделось лишь одно из многих проявлений хорошо известного феномена, приобретает самостоятельное значение, возвращая таким образом свою индивидуальную специфику [1]. Рассматриваемый ниже случай — из этой категории.

* * *

Древнерусские и старовеликорусские тексты демонстрируют замечательное разнообразие в орфографическом оформлении двух дериватов названия Новгорода — существительного «новгородец» и прилагательного «новгородский». Речь пойдет не о вариантах записи аффиксальных частей двух лексем (они для каждой из них — свои и не представляют ничего особенного по сравнению с другими аналогичными формами), но об орфографических явлениях на стыке корней, составляющих общую для двух дериватов основу. В памятниках XI–XVII вв. разной региональной и жанровой принадлежности первая часть этой основы может записываться по крайней мере семью способами: 1) *новъ-*, 2) *нов-*, 3) *ново-*, 4) *но(о)у-*, 5) *нову-*, 6) *нау-*, 7) *нав-*.

Первые два варианта отражают соответственно вид основы до и после падения редуцированных. Основа *новъгород-* представлена в первую очередь в древнейших текстах; ее находим, в частности, в записи Мстиславова Евангелия (*новъгородьскомоу*), берестяных грамотах № 246 (*новъгорожѧнина*) и № 562 (*новъгородьске*) второй половины XI в., в надписях на печатях XI–XII вв. В Синодальном списке Новгородской I летописи написания с ъ (те, в которых ъ не приходится на конец строки, где он появляется автоматически) встречаются лишь в той части рукописи, которая охватывает изложение событий XI–начала XIII в. (последний пример — *новъгородьскыи* — под 1210 г.). В памятниках XIII–XIV вв. полностью господствует уже основа *новгород-*. Таким образом, смена варианта с ъ на вариант без ъ закономерно происходит в рамках смены раннедревнерусской орфографии позднедревнерусской, хотя древняя форма спорадически появляется в текстах вплоть до XVI в.

Вариант с соединительным *о* появляется относительно поздно, не ранее XIV в. Из ранних примеров можно указать *новогородьскыи*, *новогородець* из Устава Святослава Ольговича 1137 г. в списке второй половины XIV в. (ГИМ, Син. 132, л. 630). В новгородских памятниках он выступает довольно редко, на фоне господства написаний без соединительного гласного. Не приходится сомневаться в том, что живой русской речи XIV и последующих веков это образование свойственно не было, будучи распространено лишь в письменном языке, в котором оно на правах варианта дожило до начала XIX в. (см., например, в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина).

Те же варианты — с *ъ*, без *ъ* и с соединительным *о* — выступают и в дериватах названия *Бѣльгородъ*, построенного по той же модели, что и *Новъгородъ*. Они являются, таким образом, общими для производных от топонимов данной структуры. Совершенно иначе обстоит дело с тремя другими вариантами, которые носят ярко выраженный индивидуальный характер. «Базовым» в этой тройке является, безусловно, вариант, вынесенный в название статьи, к которому мы теперь и обратимся.

Древнейший пример рассматриваемого явления находится в Новгородской Кормчей 1282 г. и хорошо известен исследователям. Он выступает в названии «Вопрошания Кирика»: *се кєсть въпрашаник Кюриково кже въпраша кп҇па ноугородьско* (так!) *Нифонта и инѣхъ* (л. 518). На первый взгляд, в написании *ноугородьско* представлена обычная замена *в* на *у*, отражающая билабиальное произношение /v/. Именно так интерпретировал данный пример А. А. Шахматов (1915, с. 291), рассматривая его в ряду других аналогичных случаев, фиксируемых в Кормчей 1282 г.: *оуторникъ, оу Вели, оу Тошьмѣ, оу Вѣкшензѣ*[2]. В том же ряду рассматривает данное написание и Ф. П. Филин (1972, с. 292), опираясь на материал А. А. Шахматова. Вопрос о том, в какой мере было свойственно древненовгородскому диалекту билабиальное [w], решался в литературе по-разному, однако сам факт присутствия этого явления по крайней мере в части древненовгородских говоров ни у кого не вызывает сомнений. Помимо давно известных, хотя и довольно скудных показаний книжных источников, он подтверждается теперь и данными берестяных грамот (древнейший на сегодняшний день пример — *оу манастыри* — № 715). Таким образом, ничто не мешает считать, что за написанием *ноугородьско* действительно стоит произношение с билабиальным [w].

Такая интерпретация была бы вполне достаточна, если бы не следующее обстоятельство: в памятниках XVI–XVII вв. написания слов «новгородский» и «новгородец» с *у* вместо *в* (будем называть их «*ноу*-формами») встречаются часто, причем на фоне полного отсутствия случаев смешения *в* с *у* в других позициях.

В лингвистической литературе, насколько мне известно, это явление было отмечено лишь однажды. Х. Сундберг, в комментарии к изданию новгородских кабальных книг 1614–1616 гг. из Оккупационного архива Стокгольма, фиксирует написания *ноугородець*, *ноугородка*, *ноугородскои* и т. д., выступающие в тексте как нормативные (30 *ноу*-форм при только четырех написаниях с *в*). Швед-

ская исследовательница видит в этом специфическую особенность языка новгородской канцелярии, по своему происхождению — реликт древнерусской орфографии, отражающей, в ее новгородском варианте, билабиальное [w]. В подтверждение этого тезиса Х. Сундберг ссылается на пример из Кормчей 1282 г. (Сундберг, 1982, р. 125–126).

Предложенное объяснение *ноу*-форм в языке новгородских кабальных книг наталкивается на следующее препятствие: за пределами Кормчей 1282 г. эти формы в новгородской письменности эпохи независимости вообще отсутствуют, при том что интересующие нас лексемы представлены сотнями употреблений. Мы не находим их ни в оригиналах новгородских актов XIII–XV вв., ни в сфрагистических материалах, ни в Синодальном списке Новгородской I летописи. Отсутствуют они и в других категориях новгородских источников XI–XV вв. (берестяные грамоты, граффити, приписки книжных писцов и т. д.). Таким образом, язык новгородской канцелярии начала XVII в. не обнаруживает в данном случае преемственности по отношению к местной письменной традиции.

С другой стороны, нет и оснований предполагать такую преемственность. Как известно, язык провинциальных учреждений XVI–XVII вв. был в целом ориентирован не на локальные письменные традиции, но на язык московских приказов. Хотя диалектные черты и находят отражение в продукции местных канцелярий, нормативные языковые характеристики создававшихся в них документов в подавляющем большинстве своем обнаруживают столичное происхождение, восходя в конечном счете к узусу, сложившемуся в среде московских дьяков и подьячих.

Не является исключением и наш случай. Обращение к московской деловой письменности XVI–XVII вв. обнаруживает, что *ноу*-формы присутствуют в ней в изобилии. Они выявляются практически в любой подборке документов этого времени, так или иначе упоминающих Новгород. Из памятников XVII в., в которых *ноу*-формы употребляются систематически, можно назвать списки Разрядных книг 1475–1598 гг. (Разр., см. особенно с. 17–48), сметные списки новгородских доходов (Смет.), списки новгородских писцовых книг (Писц., сотни примеров), московские грамоты в Новгород 1612–1614 гг. из Стокгольмского архива (ДАИ, т. 1, № 164, 166, т. 2, № 14, 15, 20, 21, 32), царскую грамоту 1617 г. на Двину (АИ, т. 3, № 74) и др. Из памятников XVI в. рассматриваемые написания находим в сборнике копий с москов-

ских грамот в Новгород (ДАИ, т. 1, № 61, 64, 65, 70, 72, 75, 89, 92), сборниках митрополичьих и великокняжеских грамот ГИМ, Увар. 512 и ГИМ, Син. 562 (Павлов, с. 389, 726, ГВНП, № 19), описи царского архива 1575–1584 гг. (ААЭ, № 289) и многих других документах. О степени официальности *ноу*-форм свидетельствует употребление их в царском титуле: *«всеа Русіи самодержецъ Владимирскіи, Московскіи, Ноугородскіи...»* (ААЭ, № 353, отчинная грамота Соловецкому монастырю 1591 г. в современном списке). Из множества других употреблений выделим подпись «царева и великого князя дьяка» Истомы Ноугородо̂ва, написавшего жалованную грамоту канинским и тиунским самоедам 1545 г. (ААЭ, № 204) и ряд других грамот.

Широко представлены *ноу*-формы и в летописных памятниках московского происхождения, в частности — в списках Никоновской (Ник.), Воскресенской (Воск.) и других летописей. Из опубликованных летописей выделяется в этом отношении Кирилло-Белозерский список Вологодско-Пермской летописи (Вол., XVI в.), в котором *ноу*-формы проведены с особой последовательностью.

Как и в многих других случаях, московская приказная норма не была в данном отношении унифицирована, допуская наряду с *ноу*-формами и все остальные варианты из приведенного выше набора. Эта вариативность наблюдается уже в наиболее ранних московских документах, употребляющих *ноу*-формы. Ими являются великокняжеские докончания 80-х гг. XV в. В качестве иллюстрации приведем полностью материал докончания 1481 г. между великим князем Иваном Васильевичем и его братом — князем Углицким Андреем Васильевичем (ДДГ, № 72). Договор сохранился в трех экземплярах — черновом (I) и двух беловых (II, III). Каждый экземпляр состоит из грамоты Ивана Васильевича (а) и грамоты Андрея Васильевича (б). Во всех шести текстах дважды упоминаются недавно приобретенные московским правителем «новгородские места». Распределение написаний по спискам таково:

Iа	*ноꙋ-*	*ноꙋ-*
Iб	*ново-*	*ново-*
IIа	*новꙋ-*	*ново-*
IIб	*ноꙋ-*	*ноꙋ-*
IIIа	*нов-*	*нов-*
IIIб	*ново-*	*ново-*

Общее соотношение вариантов: 5 *ново-*, 4 *ноу-*, 2 *нов-*, 1 *нову-*. Сходную вариативность (с меняющимся составом и соотношением вариантов) находим в договоре того же 1481 г. с князем Волоцким Борисом Васильевичем (№ 73: 4 *ноу-*, 2 *ново-*) и докончании 1486 г. с Андреем Васильевичем (№ 81: 2 *новъ-*, 1 *ноу-*, 1 *ново-*). Особо выделим разводную грамоту 1483 г. (№ 77), в которой двенадцать раз употреблен вариант *нову-*, довольно редкий в других документах тех же лет.

К чуть более раннему времени относится еще один памятник, в котором встречаем систематическое употребление *ноу*-форм. Это сборник новгородских и двинских грамот ГПБ Q.IV.14, датируемый Л. В. Черепниным 1471–1476 гг. и имеющий безусловно московское происхождение. *Ноу*-формы находим здесь в списках грамот 1448–1461 гг. (ГВНП, № 21, 1х), 1456 г. (ГВНП, № 22, 19х; № 24, 2х), списке Новгородской судной грамоты (ААЭ, № 92, 6х) и других текстах. О том, что все эти примеры принадлежат перу московского писца, а не восходят к оригиналам грамот, можно судить по наличию их во включенном в сборник подлинном документе 1476 г. — отводном списке Новоторжских земель (ААЭ, № 101, 3х), а также по заглавию, предпосланному составителем сборника новгородскому договору 1470–1471 гг. с королем Казимиром: ***списокъ с докончальные что были написали собѣ ноугородци с королемъ*** (ГВНП, № 77). Как и в московских докончаниях, *ноу-* формы варьируются в сборнике с формами на *ново-*, *нов-* и *нову-*.

По предположению Л. В. Черепнина, сборник Публичной библиотеки Q.IV.14 был составлен по инициативе правительства Ивана III «в целях мобилизации актов государственной важности, которые могли бы быть использованы для наступления на новгородские вольности» (Черепнин, 1950, с. 335). Происхождение его, таким образом, есть все основания связывать с той же средой, в которой создавались и докончания 1480-х гг. Таким образом, источник распространения *ноу*-форм в великорусской деловой письменности XVI–XVII вв. может быть назван с полной уверенностью: им были акты, исходившие из московской великокняжеской канцелярии.

«Вспышка» *ноу*-форм в московской письменности 70-х–80-х гг. XV вв. явно неслучайна, но объясняется она чисто историческими причинами — с присоединением Новгорода частота его упоминания в московских документах резко возрастает. В грамотах более раннего времени дериваты названия выступают лишь

трижды (ДДГ, № 20, 1406 г.: *новгородских*; № 59, 1456 г.: *новогородца*; № 63, 1462 г.: *новугородца*); поэтому отсутствие в них *ноу*-форм непоказательно.

И все же древнейший из памятников северо-восточного происхождения, употребляющих *ноу*-формы, был создан не в Москве. Памятник этот в высшей степени хрестоматиен: им является Лаврентьевская летопись 1377 г. *Ноу*-формы выступают на первых сорока листах, написанных безымянным писцом, начавшим работу по переписке летописи и затем передавшим ее Лаврентию. В этой части рукописи (далее — Лавр.I) интересующие нас образования представлены шестью примерами: *нооугородьци* 4об., 7, 21 (2х), *нооугородьстии* 21, 25об. Один раз встретилось написание *новугородьци* (л. 7). Другие варианты отсутствуют.

В качестве возможного места написания Лаврентьевской летописи назывались Суздаль и Нижний Новгород. В любом случае данные рукописи с очевидностью свидетельствуют, что рассматриваемые написания представляют собой явление не чисто московского, но, шире, северо-восточного происхождения.

Но как же быть с древнейшим примером из Новгородской Кормчей? — естественно возникает вопрос. Неужели возможно отказать в автохтонном происхождении написанию прилагательного «новгородский», выступающему в новгородском списке такого классического новгородского текста, как «Вопрошание Кирика»? Вопрос этот вовсе не является риторическим, каким может показаться на первый взгляд. Дело в том, что, согласно текстологической реконструкции Я. Н. Щапова, включение «Вопрошания» в Кормчую произошло не в Новгороде, а в Киеве, на первом этапе создания Русской Кормчей в 1260-х гг. Причем, прежде чем попасть в Новгород, Кормчая русской редакции побывала в Северо-Восточной Руси, где (в Ростове, Владимире или Переславле) подверглась очередной обработке. Таким образом, в составе Кормчей 1282 г. до нас дошел новгородский список новгородского памятника, однако успевшего уже побывать в инодиалектной среде и, надо полагать, испытать на себе ее сильное влияние. Учитывая, с одной стороны, полное отсутствие *ноу*-форм в других древненовгородских памятниках, а с другой — их распространенность в письменности русского Северо-Востока, есть все основания возводить написание *ноугородьско* в Кормчей 1282 г. к владимирскому или ростовскому протографу рукописи. Замечательно, что, помимо «Вопрошания Кирика», то же написание обнаруживается в Кормчей 1282 г. еще и в тексте Постановления Владимирского собора

1271 г. (л. 539), что свидетельствует о нормативности *ноу*-форм в северо-восточном протографе рукописи.

Таким образом, область первоначального распространения *ноу*-форм, какой она вырисовывается на основании рассмотренных данных, практически совпадает с территорией древней Ростово-Суздальской земли. Вывод этот не может не показаться парадоксальным. Действительно, отказав в статусе новгородизма написанию с заменой *в* на *у*, вполне соответствующему предполагаемому для древненовгородского диалекта произношению билабиального [w], мы связали происхождение этого написания с территорией Северо-Восточной Руси, то есть как раз с той диалектной зоной, важнейшей фонетической чертой которой всегда было губно-зубное [v].

Надо сказать, что *ноу*-формы в памятниках московской письменности уже вызывали некоторое недоумение исследователей, пытавшихся объяснить их влиянием со стороны диалектов, знавших билабиальное [w]. Весьма характерен в этом отношении комментарий С. И. Коткова к написанию, встретившемуся в тексте XVII в: «К сказке обитателей московских слобод сотский Андрюшка Семенов приложил руку вместо сотского *«ноугородцкие сотни»*. Возможно, рукоприкладчик был уроженцем степного Юга и сравнительно новым москвичом. Написание *ноугородцкие* в исследованных нами материалах настолько уединенно, что связывать его с московской речью нет никаких оснований» (Котков, 1974, с. 167–168). Зная, сколь широко в действительности было распространение *ноу*-форм в московской письменности, мы не можем довольствоваться таким объяснением: не могла же, в самом деле, московская великокняжеская канцелярия состоять наполовину из «уроженцев степного юга»!

Ключом к объяснению рассматриваемых написаний, не предполагающему их внешнего, заносного происхождения, может послужить следующее обстоятельство. В старейших текстах, последовательно употребляющих *ноу*-формы — Лаврентьевской летописи и сборнике Публичной библиотеки Q.IV.14 — наряду с ними и с той же последовательностью употребляется форма дат. падежа *Нооугороду*, при том что в других падежах выступают исключительно «нормальные» формы *Новъгородъ*, *Новагорода*, *Новѣгородѣ*, *Новымъ городомъ* и т. д. В Лавр.I данное написание находим на л. 21, 23об., 25, при только одном случае *Новугороду* — л. 17. Из текстов, входящих в сборник ГПБ Q.IV.14, особенно показательны списки грамоты 1456 г. (ГВНП, № 22) и Новгородской

судной грамоты (ААЭ, № 92), в которых написание *Ноугороду* представлено в общей сложности 10 примерами при полном отсутствии «нормальной» записи.

Интерпретация написания *Ноугороду* не составляет трудности: оно отражает выпадение /*v*/ перед последующим /*u*/ — явление, широко представленное в русских говорах, в том числе и тех, в которых /*v*/ последовательно реализуется в виде губно-зубного звука. В этом не оставляют сомнений данные Лавр. I, где данная форма стоит в ряду других аналогичных примеров: *протиоу* 1об., *ожиоуть* 3об., *жиоуще* 4об., 5об., *жиоущемъ* 4об., *нооу* 6, *мараоу* 9, *Пилатооу* 9об. *по оустаоу* 12об. и др. Характерно, однако, что этого выпадения мы совершенно не находим в форме Д. ед. *Кыеву*. Последовательность, с которой писец Лавр. I пишет *Кыеву*, но *Нооугороду*, весьма показательна. Она явно объясняется морфологической «ослабленностью» первой части названия *Новъгородъ*, которое в рассматриваемую эпоху уже начинает обнаруживать тенденцию к превращению из словосочетания в цельное слово [3]. На фоне этой тенденции утрата — на поверхностном уровне — членимости компонента *Ноу-* на основу и окончание не представляет «опасности» для нормальной морфологической идентификации словоформы: морфологическая нагрузка лежит целиком на втором компоненте. Между тем словоформа *Кыеу* была бы в этом отношении совершенно нетерпима.

Естественно полагать, что написания *Нооугороду*, *нооугородьскыи* и *ноугородци* как-то связаны между собой. Об этом с несомненностью свидетельствуют уже упоминавшиеся варианты записи дериватов с начальным компонентом *нову-*: *новугородци, новугородьскыи*. Однако каков характер этой связи? Внешнее сходство *ноу*-форм и формы *Ноугороду*, усиливаемое эффектом непосредственного соседства в тексте, успело уже не раз ввести в заблуждение исследователей Лавр., рассматривавших их как отражающие одно и то же явление — «смешение» *в* и *у* (Будде, 1891, с. 40) или опущение *в* перед *у* (Некрасов, 1896, с. 924; Русинов, 1981, с. 21). Неправомерность такой трактовки очевидна: если в Д. ед. форма *Новугороду* является исходной, а написание с начальным *Ноу-* отражает ее фонетическую трансформацию, то написания типа *новугородци* несомненно вторичны, гиперкорректны по природе, отражая восприятие компонента *ноу-* независимо от позиции как варианта *нову-* с пропуском *в*. Исходным же для *ноу*-форм является вариант с начальным *новъ-*, так что ни о каком «пропуске» *в* здесь говорить не приходится.

Таким образом, в случае с написаниями *Ноугороду* и *Ноугородци* мы имеем дело с близкими, но не тождественными явлениями, которые, будучи явно связаны между собой, в то же время несколько разнятся по своей природе и не выводимы друг из друга. Объяснить соотношение этих явлений можно, как кажется, исходя из предположения А. А. Шахматова (1915, с. 292), согласно которому утрата /*v*/ перед /*u*/ в говорах, знающих лишь губно-зубное [v], могла быть связана с тем, что в данной позиции билабиальное произношение сонанта могло удерживаться дольше, чем в других. Это предположение исходит из общепринятой в настоящее время трактовки губно-зубного [v] как инновации, распространение которой в говорах русского Северо-Востока должно было проходить путем вытеснения [w], так же, как это в дальнейшем происходило на других территориях (ср.: Образование, с. 41). Ничто не мешает предположить, что в отдельных позициях, там, где для этого имелись благоприятные условия, [*w*] уже в письменную эпоху мог сохраняться и в диалектах Ростово-Суздальской Руси. Таким условием и было, по Шахматову, положение перед сильно лабиализованным /*u*/. Однако не было ли подходящих условий для удержания билабиального спиранта и в другом интересующем нас случае?

Задавшись этим вопросом, невозможно пройти мимо двух случаев «обычной» (не в *ноу*-формах) замены *в* на *у* в Лаврентьевской летописи, издавна отмечавшихся исследователями памятника. Это двукратное написание *оунуки* на л. 19об. и 20. Отмечая нехарактерность мены *в* и *у* для памятников северо-восточного происхождения, исследователи, как правило, видели в этих написаниях следы южнорусского протографа рукописи (Будде, 1891, с. 40; Филин, 1972, с. 293). Однако, согласно всем текстологическим данным (см., например, Лурье, 1976, с. 58), Лавр. восходит к своему южнорусскому протографу через целый ряд промежуточных летописных сводов конца XII–начала XIV в. владимирского и ростовского происхожденния. Сохранение южнорусских фонетических черт в тексте, неоднократно переписанном на территории Северо-Восточной Руси, маловероятно. С другой стороны, сам южнорусский протограф Лавр. мог быть лишь рукописью XII в., а в рукописях этого времени случаи мены *в* и *у* крайне редки. Учитывая все это, а также яркую индивидуальность писца Лавр. I, проявляющуюся именно в употреблении *в* и *у*, едва ли стоит трактовать указанные примеры как случайно занесенные из протографа. Они явно заслуживают более пристального внимания.

Слово *внукъ* в Лавр. I встречается четыре раза в следующих контекстах: *в послѣднии родъ внукъ твои(х)* 17об., *со оунуки своими* 19об., *со оунуки* 20, *сн҃ъ кѧ* и *внуци кѧ* 20об. Как видим, имеет место четкое распределение: в сочетании с предлогом слово пишется с начальным *оу*, в отсутствии предлога — с начальным *в*. Наличие предлога кажется существенным здесь не само по себе, а тем, что создает определенную фонетическую позицию — после *ъ*, бывшего в северо-восточной диалектной зоне лабиализованным гласным. Однако в аналогичной позиции — после лабиализованного гласного перед слабым *ъ* — *в* находится и в дериватах названия *Новъгородъ*, как, впрочем, и в форме именительного падежа самого этого названия.

Стечение названных условий, которое, как кажется, и могло явиться фактором удержания билабиального [w], чаще всего наблюдается на конце слова — в окончании Р.мн. *-ов* и формах И.ед. муж. притяжательных прилагательных на *-ов*. Однако в письменных памятниках билабиальное произношение конечного /*v*/ вообще не находит отражения. Между тем не на конце слова та же позиция встречается лишь в нескольких категориях случаев:

1) перед суффиксом *-ък* (*ловъкыи* и др.);

2) в сочетаниях слов *вънукъ, въдова, въторыи* и их производных с предлогами, оканчивающимися на *ъ, о,* и предлогом *у*;

3) в сочетаниях с теми же предлогами отглагольных существительных с приставками *въ-, въз-* (*къ въстоку, съ въздвиженья*);

4) в глаголах с сочетаниями приставок *съ-, по-* и *въ-, въс-* (в старых текстах эта группа представлена в основном глаголом *съвъкупити(ся)*;

5) в формах глагола *довълѣти*;

6) в составном числительном *полъ въiтора*;

7) в словоформе *Новъгородъ* и производных — *новъгородьскыи* и *новъгородьць*.

В совокупности эти случаи составляют лишь крайне незначительную долю от общего числа позиций, в которых в памятниках, систематически смешивающих *в* и *у*, наблюдается этот эффект. На этом фоне данные Лавр. I кажутся весьма симптоматичными. Тот факт, что в памятнике, в целом последовательно употребляющем *в* и *у* в соответствии с этимологией, все отступления от этой последовательности оказываются связаны именно с рассматриваемой позицией, едва ли может быть простой случайностью. Важно также заметить, что, помимо дериватов названия Новгоро-

да и сочетания *съ вънукы,* сформулированным условиям во всей первой части Лавр. удовлетворяют лишь встретившиеся несколько раз сочетания *отъ въстока* 1об., 10 *ко востокомъ* 1об. Что же касается самой словоформы *Новъгородъ*, то ее последовательная запись через *в* легко объяснима. Можно, во-первых, считать, что здесь мы имеем дело с позицией конца слова, где, как уже говорилось, мена *в* и *у* в памятниках вообще не отражается. С другой стороны, билабиальное [w] в форме им.-вин. должно было рано утратиться из-за аналогии с другими падежными формами, где фонетические условия для его сохранения отсутствовали.

Неожиданный результат дает обращение с данной точки зрения ко второй части рукописи, написанной самим Лаврентием. Принято считать, что случаи замены *в* на *у* здесь отсутствуют. Однако на л. 75 (1093) находим написание *съѵпрашаются* в следующем контексте: *со слезами отвѣщеваху другъ къ другу глюще: азъ бѣхъ сего города, а другі: а азъ сеа вси; тако съѵпрашаются со сльзами родъ свои повѣдающе и въздышюче.* И. И. Срезневский (III, с. 858) выделяет глагол *съупрашатися* в особую статью, иллюстрируя его употребление, помимо приведенного, также примером из Галичского Евангелия XIII в. В этой рукописи, однако, случаи замены *в* на *у* довольно многочисленны. Другие же примеры в статье отсутствуют. Между тем в древнерусских списках Евангелия (Мстиславово, Юрьевское и др.) неоднократно представлен глагол *съвъпрашатися* (Мт. XVIII. 24, М. VIII. 11, IX. 10, IX. 16, XI. 28, Лук. XXIV. 17). Его находим в данном месте и в других списках «Повести временных лет»: Ипатьевском, Радзивиловском, Московско-Академическом. Источником словоупотребления летописца здесь явно послужил евангельский текст. Поэтому в указанном написании Лавр. 2 есть основания видеть замену *в* на *у*, выступающую как раз в выделенной нами позиции.

Об особом статусе этой позиции косвенно свидетельствуют и некоторые ранние примеры замены *в* на *у* из рукописей южнорусского и новгородского происхождения. В диалектах, в целом характеризовавшихся билабиальным призношением /*v*/, этот особый статус мог проявляться в приобретении [*w*] большей сонорности, с чем, вероятно, и было связано его реликтовое сохранение в данной позиции в говорах Ростово-Суздальской Руси, развивших губно-зубное [v]. Так или иначе, кажется далеко не случайным приводимый Соболевским (1907, с. 121) единственный пример замены *в* на *у* в Добриловом Евангелии 1166 г. —

дооулѣть (как известно, в древнерусском, в отличие от старославянского, в корне этого глагола был *ъ*, а не *ь*). Выразительный материал дает также первая часть Синодального списка I Новгородской летописи, где замена *в* на *у* представлена четырьмя примерами, и все они приходятся на рассматриваемую позицию: *полоутора ста* л. 23, *полоуторы тысяче* 18об. (обе формы вин., а не род.!), *въ оуторникъ* 107 об., *въ ѹтор(к)* 110. Ср. при этом: *прислаша к нимъ второк послы* 97об. Написание *въ оуторникъ* выступает и в Новгородской Кормчей 1282 г. (л. 522), наряду с двумя уже приведенными *ноу*-формами (другие случаи замены *в* на *у* в рукописи не засвидетельствованы).

Изложенные факты и соображения позволяют под новым углом зрения взглянуть на употребление *ноу*-форм в московской деловой письменности. Рассматривая слова «новгородец» и «новгородский» как представляющие определенную фонетическую позицию, мы обнаруживаем, что в текстах XV в., из которых выше были приведены примеры *ноу*-форм (сборник ГПБ Q.IV.14, княжеские докончания 1480-х гг.), они являются единственными представителями данной позиции. Это означает, что, если в указанных фонетических условиях в древнерусских говорах Ростово-Суздальской земли действительно имело место остаточное сохранение билабиального [w], оно, за редкими исключениями вроде *съ оунуки* и *съоупрашаютсѧ* в Лавр., могло проявиться лишь в написаниях типа *ноугородци* и *ноугородьскыи*.

Итак, механизм появления и распространения рассмотренных образований в письменности Северо-Восточной Руси может быть реконструирован следующим образом. После того как в восточнославянских диалектах, обособившихся на территории будущей Ростово-Суздальской земли, оформилось, как местная инновация, губно-зубное произношение /*v*/, билабиальное [w] как рудимент старой системы сохранилось в отдельных позициях, где для этого имелись благоприятные фонетические условия. В парадигме названия Новгорода это были, с одной стороны, форма им.-вин. и производные *новъгородьскыи*, *новъгородьць* (позиция перед слабым *ъ* после лабиализованного гласного), а с другой — форма дат. падежа (позиция перед /*u*/). В им.-вин. впоследствии установилось по аналогии с другими падежами (кроме дат.) губно-зубное [*v*]. В форме дат. падежа [w] было по говорам утрачено, а в дериватах сохранилось, пережив падение редуцированных. Таким образом, для позднедревнерусского периода можно предполагать произношение [*nougorodu*] и [*nowgorod'ec'*] при нормальном для этой

территории губно-зубном [v] в остальных формах парадигмы. Именно это произношение и отразилось в написаниях *Ноугороду*, *ноугородьци, ноугородьскый*, закрепившихся в отдельных писцовых школах как нормативные.

Осталось коснуться дальнейшей судьбы «ноугородцев». С течением времени написания дериватов названия Новгорода с начальным *ноу-* утратили соотнесенность с формой дат. падежа самого названия, которая была выравнена по образцу других словоформ парадигмы. В большинстве названных выше текстов XVI–XVII вв. *ноу*-формы выступают на фоне последовательного употребления «нормальной» формы дат. *Новугороду*[4].

Другой заслуживающий внимания факт — появление в текстах с конца XV в. наряду с *ноу*-формами вариантов с начальным *нау-*. Наиболее ранний пример встретился в жалованной грамоте 1498 г. волоцкого князя Федора Борисовича (АСЭИ, т. 2, № 417), где находим одновременно *до наугородского рубежа* и *по ноугородцкои рубе(ж)*. В текстах XVI в. такое чередование становится обычным (см., например, уже упоминавшуюся Опись царского архива 1575–1584 гг.). В значительном количестве *нау*-формы представлены в памятниках московского летописания XVI в., например в Академическом списке Никоновской летописи: *наугородстiи людiе* (Ник., с. 9, 41), *наугородцкiи епископъ* (с. 233), *наугородци* (с. 234, 241) и др.

Связь данного варианта с акающим московским произношением несомненна. Однако видеть в нем «простое» проявление аканья было бы после всего сказанного определенным упрощением. В большинстве текстов, знающих систематическое употребление *нау*-форм, они выступают на фоне отсутствия или редкого проявления аканья в других позициях. Таким образом, замена этимологического *о* на *а* носит здесь такой же лексикализованный характер, как и замена *в* на *у*. Поскольку специальных оснований для закрепления данного явления в качестве нормы не усматривается, оно должно быть поставлено в зависимость от нормативного употребления *ноу*-форм, имеющих, как мы видели, фонетическую природу. Характер этой зависимости не вполне ясен. Неясно также, какое фонетическое содержание стоит в московских текстах XVI в. за общим для двух вариантов *у*: дожило ли до этого времени, как лексикализованное, произношение с губно-губным спирантом (что, заметим, совсем не исключено), или же сохраненное традицией написание превратилось в чистую условность, вроде традиционной записи имен типа *Еугенiи,*

Еустафіи, Еуграфъ. В последнем случае орфографический статус *нау*-форм оказывается весьма противоречив, предполагая стечение в пределах одной морфемы двух противоположных по своей направленности отступлений от фонологического принципа письма: отражения позиционного чередования, с одной стороны, и традиционного написания, нарушающего базисные правила соотношения между буквами и фонемами, — с другой.

Как снятие этого противоречия следует, по-видимому, трактовать последнюю фазу рассмотренной орфографической эволюции: появление в текстах форм с начальным *нав-*: *навгородцы, навгородскии.* Разумеется, такая трактовка этих форм уместна лишь применительно к памятникам, в которых они, будучи проведены последовательно, выделяются на общем «неакающем» фоне. Показателен, например, материал Ленинградского списка Никаноровской летописи (конец XVII в.), в котором при относительной малочисленности других примеров аканья свободно и широко варьируются *нау-* и *нав*-формы [5]. Такое варьирование дает основание утверждать, что второй вариант в этой паре, при всей его кажущейся прозрачности, генетически восходит к первому и — через его посредство — к варианту с начальным *ноу-*, с которым внешне имеет так мало общего. Написание, простейшим образом (как фонетическая транскрипция) соотнесенное с обозначаемой им фонемной цепочкой, оказывается, таким образом, включено в довольно нетривиальную историко-орфографическую перспективу.

Примечания

1 Яркий пример такого рода — знаменитое *в апустевшеи земли* из записи Сийского евангелия 1339 г. Традиционно рассматривавшееся как древнейший пример аканья, данное написание, как показал А. А. Зализняк, отражает в действительности более специальное явление — особое развитие *ѣо* > *а* (Зализняк, 1993, с. 262).

2 Заметим, что в действительности из этих написаний лишь первое принадлежит рукописи 1282 г., поскольку три других находятся в тексте Устава Святослава Ольговича 1137 г., написанном почерком второй половины XIV в. на дополнительных листах.

3 Эта тенденция наметилась уже в древнерусскую эпоху. В. П. Нерознак (1983, с. 123) приводит как ранний пример «современной» формы написание *Новгорода* из Лавр. под 1209 г. Еще один важный пример находим в Синодальном

списке Новгородской I летописи под 1215 г.: *да не боудеть Новыи Търгъ Новгородомъ ни Новгородъ Тържькомъ* (л. 83). В этой фразе, помимо совпадающей с современной формы *Новгородомъ*, имеется и еще одно свидетельство морфологической ослабленности первой части названия — пропуск первого *ъ* в форме им. падежа. На фоне последовательной записи конечного *ъ* такие примеры (а они, заметим, встречаются в Синодальном списке лишь начиная со статьи 1193 г.) явно указывают на невосприятие первой части названия как самостоятельного слова.

[4] Впрочем, и в XVI в. еще можно найти употребление *ноу*-форм параллельно с формой *Ноугороду*. Приведем лишь один выразительный пример из Софийской 1-й летописи по списку Царского: *и ноеугородци отпусти к Ноеугороду, и полонъ от него отъя, елико бяше Ноеугородьские волости* (Соф., с. 44).

[5] См., например, в короткой статье 6905 г.: *навгородцы* (2ч), *наугородцы* (3х), *навгородцкого* (Никанор., с. 89).

Источники

ААЭ — Акты, собранные Археографической экспедицией в библиотеках и архивах Российской империи. Т. I, СПб., 1836.

АСЭИ — Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси. Т. 1–3. М., 1952–1964.

Вол. – Полное собрание русских летописей. Т. 26. Вологодско-Пермская летопись. М., 1959.

Воск. — Полное собрание русских летописей. СПб., 1856–1859. Т. 7–8. Воскресенская летопись.

ГВНП — Грамоты великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949.

ДАИ — Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею, т. I, СПб., 1846; т. II, СПб., 1846.

ДДГ — Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950.

Лавр. — Полное собрание русских летописей. М., 1962, т. I. Лаврентьевская летопись.

Ник. — Полное собрание русских летописей. М., 1862. Т. 9. Патриаршая или Никоновская летопись.

Никанор. — Полное собрание русских летописей. Т. 27. Никаноровская летопись. Сокращенные летописные своды конца XV в. М., 1961.

Павлов — Русская историческая библиотека. Т. 6. Памятники древнерусского канонического права. Ч. 1. Памятники XI–XV вв. Под ред. А. С. Павлова. 2-е изд. СПб., 1908, с. 22–62.

Писц. — Новгородские писцовые книги, изданные Археографическою комиссиею. СПб., Т. 1–6. 1859–1910.

Соф. — Полное собрание русских летописей. М., 1995. Т.39. Софийская первая летопись по списку И. Н. Царского.

Разр. — Разрядные книги 1475–1598 гг. М.,1966.

Литература

Будде 1891 — *Е. Ф. Будде.* Из занятий по языку Лаврентьевского списка Начальной летописи // Филологические записки, 1891, вып. 3, с. 25–56.

Зализняк 1993 — *А. А. Зализняк.* К изучению языка берестяных грамот // *В. Л. Янин, А. А. Зализняк.* Новгородские грамоты на бересте: (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.

Котков 1974 — *С. И. Котков.* Московская речь в начальный период становления русского национального языка. М., 1974. С. 167–168.

Лурье 1976 — *Я. С. Лурье.* Общерусские летописи XIV–XV вв. М., 1976.

Некрасов 1896 — *Н. П. Некрасов.* Заметки о языке Повести временных лет по Лаврентьевскому списку // Изв. ОРЯС, 1896, т. 1, с. 832–927.

Нерознак 1983 — *В. П. Нерознак.* Названия древнерусских городов. М., 1983. С. 123.

Образование, 1970 — Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. По материалам лингвистической географии. М., 1970.

Русинов 1981 — *Н. Д. Русинов.* К вопросу о происхождении Лаврентьевской летописи (лингвистические заметки о ее писцах) // Эволюция и предыстория русского языкового строя. Горький, 1981, с. 3–27.

Соболевский 1907 — *А. И. Соболевский.* Лекции по истории русского языка. М., 1907.

Сундберг 1982 — *H. Sundberg.* The Novgorod Kabala Books of 1614–1616. Text and commentary. Stockholm, 1982. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies. 14.)

Филин 1972 — *Ф. П. Филин.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. М., 1972.

Черепнин 1950 — *Л. В. Черепнин.* Русские феодальные архивы XIV–XVI вв. Ч. I, М.; Л., 1950.

Шахматов 1915 — *А. А. Шахматов.* Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.

Щапов 1978 — *Я. Н. Щапов.* Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. М., 1978.

Giorgio Ziffer (Udine-Bonn)

Per la storia del più antico alfabeto slavo

Fra le molteplici questioni sollevate dalle fasi iniziali della civiltà slava, un posto di primo piano spetta all'origine e alle successive vicende degli alfabeti glagolitico e cirillico. Intorno a essi si è sviluppata, fin dalla nascita della filologia e della linguistica slava, una rigogliosa produzione critica che ha cercato di far luce su una problematica che ancora oggi continua tuttavia a presentare più di un lato oscuro. In questo contesto un aspetto parziale, ma non privo d'interesse, è senza dubbio rappresentato dai nomi delle lettere dei due alfabeti.

Due sono le fonti principali dalle quali possiamo attingere notizie preziose sulle loro denominazioni: gli elenchi comprendenti le lettere stesse degli alfabeti slavi da una parte, e diversi componimenti acrostici dall'altra. Mentre i primi sono tramandati in un numero limitato di codici, spesso di provenienza non slava, i secondi sono trasmessi da una miriade di manoscritti slavi ecclesiastici; simile è invece la cronologia della documentazione, che non è mai anteriore al XII secolo [1]. Le cospicue differenze che gli uni e gli altri presentano sia fra di loro, sia all'interno delle rispettive classi, hanno non solo dato luogo a un vivace e serrato dibattito critico, ma hanno talvolta favorito la nascita di ipotesi fantasiose, se non fantastiche, circa i nomi originari delle lettere glagolitiche (e cirilliche) [2].

Si può inoltre aggiungere anche una terza fonte, vale a dire il trattatello *Sulle lettere* del monaco Chrabr, dove sono contenuti alcuni brani di enorme significato per la tematica qui affrontata (I 4–7; III 1; V 2–5; VI 1–5) [3]. La scarsità delle fonti nonché la relativa distanza alla quale esse emergono alla luce della storia, vengono valutate, dagli studiosi moderni, con criteri più o meno severi: è però innegabile che le nostre

conoscenze presentano molte lacune e che l'immagine della creazione dell'alfabeto glagolitico da parte di Costantino, avvenuta secondo ogni verosimiglianza, a Costantinopoli, alla vigilia della missione moravo-pannonica (862–863), appare incompleta. In questa nota vorrei aggiungere due nuove tessere alla discussione circa i nomi delle lettere che lo compongono.

* * *

Una delle lettere indubbiamente più misteriose dell'alfabeto glagolitico è la cosiddetta *ch* aracnea, rappresentata graficamente da un cerchio con due lineette che si dipartono dalla sua parte superiore e due da quella inferiore [4]. Nell'insieme dei codici paleoslavi essa ricorre solo sette volte: una nel codice Assemaniano (Lc 3,5), e sei nel *Salterio* sinaitico (64,13; 113,4; 113,6; 148,9; Ct 3/Ab 3,6; Ct 11/Dn 3,75), sempre comunque all'inizio della parola χλъмъ (collina) [5]. La stessa lettera compare inoltre nel cosiddetto *Abecedarium monacense*, dove la troviamo sia nell'elenco delle lettere glagolitiche che di quelle cirilliche, ed è egualmente presente nell'*Alfabeto* parigino (o *Abecenarium bulgaricum*) nel quale viene però erroneamente glossata col corrispondente latino *ot:* una confusione determinata dalla prossimità delle due lettere nell'alfabeto, e ancor più dalla loro somiglianza a livello grafico. Un fenomeno analogo a quello registrato nell'*Alfabeto* parigino si osserva in un altro passo del *Salterio* sinaitico dove il lessema χλъмъ è scritto con una ѡ iniziale (71,3). La presenza di una seconda χ nel più antico alfabeto slavo si riflette inoltre in alcuni dei più interessanti componimenti acrostici, quali la *Preghiera alfabetica* attribuita a Costantino Presbitero o quella cosiddetta di Jaroslav. Infine, vi è l'importante testimonianza del trattatello di Chrabr il quale, fra le ventiquattro lettere dell'alfabeto creato da Costantino che sono simili a quelle dell'alfabeto greco, menziona anche la lettera χ҇лъ [6].

Nonostante una documentazione frammentaria ed estremamente ridotta, l'esistenza di una seconda *ch* nella forma più antica dell'alfabeto glagolitico non solleva oramai alcun dubbio. Aperta rimane invece la questione riguardante il valore fonologico, nonché la collocazione originaria all'interno dell'alfabeto, di questa lettera come anche della *ch* 'normale'. Sviluppando un'intuizione di N. S. Trubeckoj, V. Tkadlčík ha suggerito l'ipotesi che in origine la *ch* aracnea, col nome *chěrъ*, indicasse la velare fricativa palatalizzata, mentre l'altra *ch*, denominata *chlъmъ*, avrebbe reso la corrispondente velare fricativa non palatalizzata.

Solo in una fase posteriore, collocabile fra la seconda metà del X e l'inizio del XII secolo, la *ch* aracnea sarebbe scomparsa, e la sua posizione nell'alfabeto occupata, il suo nome sostituito dalla *ch* 'normale' [7]. L'interpretazione dello studioso cèco appare senza dubbio plausibile, purché non si dimentichi che anch'essa non abbandona il campo delle ipotesi, e che senza risposta continua però a rimanere la domanda circa l'origine del nome *chlъmъ*.

Una duplice spiegazione della forma esteriore della lettera e del suo nome era stata avanzata, a suo tempo, da A. Vaillant. Revocando in dubbio la premessa che la distinzione fra le due *ch* rinviasse a una precisa realtà fonetica e fonologica, lo studioso francese si chiedeva se il grafema rappresentante la *ch* aracnea non potesse derivare dalle quattro ruote di fuoco associate ai cherubini descritte nella seconda visione del profeta Ezechiele (Ez 10,9). Inoltre, l'abbreviazione χλ͞ъ, a suo dire, non andava messa in rapporto con χλъмъ, quanto piuttosto con l'espressione χ лнχъ, vale a dire χ superfluo [8]. A questo proposito Tkadlčík notava però giustamente come, ove vi fosse un effettivo rapporto fra questa lettera e le ruote di fuoco descritte da Ezechiele, ci si dovrebbe attendere di trovare usata questa lettera in relazione ai cherubini, e non al lessema χλъмъ che «con i cherubini nulla ha in comune» [9]. Pur non potendo aderire alla tesi di Vaillant sul legame grafico-simbolico da lui istituito, mi propongo qui di mostrare che, al contrario di quanto aveva ritenuto Tkadlčík, fra le colline e i cherubini, o meglio, gli angeli in genere, un preciso legame esiste.

Nella dottrina ermeneutica cristiana un ruolo di particolare rilievo è svolto, com'è noto, da quella speculazione allegorica che, oltre ad aver alimentato per secoli l'esegesi biblica, ha esercitato un profondo influsso sull'intero complesso delle letterature medievali europee [10]. Anche le colline, che in vari passi veterotestamentari e nei relativi commenti vengono non di rado associate ai monti, trovano spazio nel complesso sistema segnico regolato dall'allegoresi. In tale prospettiva le colline possono rimandare per es. agli apostoli. Il *Salmo* 64, 13 (**Разъботѣѭтъ красъна поустыни. И радостиѭ χлъми прѣпоꙗшѫть сѧ**) viene così interpretato nel *Commento* al *Salterio* di Esichio: "...: **Ап͞лъї, χлъмъї бо ѩ і кънигъї наричѫтъ · ти бо възърадовашѧ сѧ, ꙗко тѣми проповѣдъ коуглъ(с)скаа распространѣ**" [11]. Oppure, sempre nello stesso *Commento*, troviamo al *Salmo* 71, 3 (**Да приимѫтъ горы миръ людеи · и χлъми правъдѫ**) · "**Горъї сѫть пр(о)ци за вьїсотѫ проповѣди · ти же мира провьзгласїшѧ всеи вселенѣи. χлъми же ап͞ли, ꙗко вьїшше земнаго жїтиꙗ, испль(н) правдї бьїшѧ. ѡбое же χ͞ъ есть**" [12]. Letti in chiave allegorica, alcuni passi biblici nei quali si parla di 'colline' e di 'monti' pos-

sono però rinviare anche ad altri soggetti, e fra questi vi sono anche gli angeli [13]. Con la massima chiarezza lo stretto rapporto che lega le 'colline' agli angeli appare per es. nel sermone sulla Natività **Поне҄же мъножицеѭ чьстьно ваше свѧтительство**, un'omelia che, di là dalla sua attribuzione più o meno fondata a Clemente di Ocrida, sembra senz'altro appartenere al fondo più arcaico della letteratura slava ecclesiastica [14]. Vi si legge infatti nella parte iniziale: **Нѣ(с) бо ѡ(т)ць҃ бес словесе никог(д)аже · Прѣж(д)е бо всѣхь хльмь ре(ч) раж(д)ает ме, сырѣчь агг҃льскии(х) силь ·...** [15]. Il passo citato da *Proverbi* 8, 25 consuona con il *Salmo* 89, 3 (**Прѣжде даже горъї не бъїшѧ · и създа сѧ зем(л)ѣ и въселенаꙗ ⁖ И ѡ(т) вѣка и до вѣка тъї еси**), dove infatti nel sopraccitato *Commento* di Esichio troviamo il brano seguente: "**Прѣжде бо сихъ всѣхъ ꙗко провѣдецъ проѹготовалъ бѣ люди · гл҃етъ же и безлѣтное хв҃о ⁖ Писано бо есть · прѣжде всѣхъ хлъмъ раждаеть мѧ · испръва бѣ слово и слово бѣ къ б҃оу и б҃ъ бѣ слово**" [16]. Una più ampia ricognizione dell'esegesi biblico-cristiana permetterà senza dubbio di arricchire notevolmente il catalogo di passi simili: ai fini di una più corretta spiegazione del nome della lettera *chlьmъ* – che, se non necessariamente deve rimandare solo agli 'angeli', senza dubbio si colloca nel contesto allegorico qui delineato –, le prove qui fornite possono tuttavia essere sufficienti.

* * *

Il nome della seconda lettera dell'alfabeto sia glagolitico che cirillico, immediatamente successiva alla **азъ**, viene solitamente identificato in **боѹкы** (o **боѹкъви**) [17], secondo un'interpretazione fondata su una tradizione plurisecolare che risale fino ad alcuni degli alfabeti più antichi [18]. Come nel caso di altre lettere, anche questa presenta però una documentazione non univoca [19]. La testimonianza offerta dai componimenti acrostici, a iniziare dalla *Preghiera alfabetica* attribuita a Costantino presbitero, suggerisce infatti un termine concorrente di **боѹкы**, vale a dire **Богъ**, 'Dio'. D'altra parte, anche il trattatello di Chrabr sembra fornire almeno un indizio a favore della vitalità di questa seconda denominazione, poiché nella parte iniziale dell'operetta si legge: "**Нъ како может҄ъ сѧ писати добрѣ грьчьскъıми писменъı Бог҄ъ или живот҄ъ или ѕѣло или црькъı или чаѣние или широта или ѣдь или ѩдоѹ или ѧзъıкъ или ина подобьна симъ;**" (I 4–7). Data la corrispondenza solo parziale con i nomi delle lettere slave tradizionalmente accettati, si ritiene di solito che in questo passo Chrabr si chieda come si possa scrivere con

lettere greche 'Dio', 'vita', 'molto', ecc., riferendosi dunque a parole che iniziano con lettere mancanti all'alfabeto greco[20]. Altrettanto legittima sembra tuttavia anche un'altra interpretazione, secondo la quale Chrabr si potrebbe qui riferire direttamente ai nomi della lettere slave che non hanno equivalenti nel greco, limitandosi alle lettere indicanti fonemi che possono trovarsi all'inizio di parola e seguendo fedelmente, al tempo stesso, l'ordine alfabetico.

Lo stato della documentazione in nostro possesso rende molto difficile, se non impossibile, stabilire con sufficiente sicurezza il nome originario di questa lettera. Senza avere la pretesa di risolvere la delicata questione, desidero qui richiamare l'attenzione su una nuova testimonianza, che in virtù della sua datazione si colloca fra i reperti più antichi in assoluto. Mi riferisco alla *gramota* N. 725, scoperta a Novgorod nel 1991, e scritta tra la fine del XII secolo e la prima metà del XIII. In essa, infatti, il drammatico messaggio che il mittente, un certo Rьmьša, invia ai suoi due conoscenti Klimjata e Pavel, invitandoli a intervenire presso l'arcivescovovo della città e perorare la sua causa, inizia con le seguenti parole: **ѿ рьмьшѣ покланѧнье къ климѧ(тѣ) и къ павь[лу] .б҃. дѣлѧ которен любо потроудисѧ до владычѣ** ...[21]. È del massimo interesse constatare qui come nel sintagma **Бога дѣлѧ**, che significa 'per amore di Dio', 'in nome di Dio', l'abbreviazione usata dallo scrivente non sia quella tradizionalmente impiegata per questo *nomen sacrum*, vale a dire б҃а, bensì un tipo di abbreviazione usato allora per indicare i numerali oppure i nomi delle lettere[22]. La conclusione che dobbiamo trarne è dunque molto semplice: l'estensore della *gramota*, nella Novgorod della fine del XII o della prima metà del XIII secolo, conosceva quale nome della seconda lettera dell'alfabeto (cirillico) **Богъ**, non **боукы** (o **боукъви**). Questa corrispondenza fra una parte della tradizione linguistica slava ecclesiastica e quella novgorodiana sorprenderà meno, ove si tenga presente che l'antico dialetto novgorodiano, per l'antichità della sua documentazione scritta, costituisce oramai, dopo l'antico slavo ecclesiastico, la seconda lingua slava in assoluto[23].

Né vale a dirimere la questione circa la priorità di **Богъ** o di **боукы**, quale denominazione della seconda lettera dell'alfabeto slavo, l'origine di **боукы**, un elemento lessicale moravo-pannonico che può esser penetrato nello slavo ecclesiastico solo dopo l'arrivo di Costantino e Metodio in Moravia[24]. Se infatti sappiamo, grazie al racconto della *Vita Constantini* (cap. XIV), che il nuovo alfabeto venne creato da Costantino già a Costantinopoli, alla vigilia della partenza per la Moravia, nessuna fonte ci comunica la data o il luogo in cui alle lettere di quell'alfabeto vennero attribuiti anche dei nomi. Pertanto, anche volendo ascrivere allo stesso

Costantino la paternità delle denominazioni delle singole lettere – e non mi pare che vi siano ragioni cogenti che impongano di rifiutare quella che comunque rimane una semplice ipotesi –, non appare possibile stabilire la precedenza di uno dei due nomi.

* * *

Le brevi considerazioni qui svolte confermano innanzitutto il carattere estremamente frammentario della documentazione in nostro possesso sulla storia del più antico alfabeto slavo. Tale peculiarità non è però dovuta agli arcani o ai capricci della tradizione manoscritta, quanto piuttosto alla mancanza nella civiltà letteraria slava ecclesiastica, per lo meno fino al tramonto del XVI secolo, di un sistema scolastico paragonabile a quello del mondo bizantino o latino medievale, e alle conseguenti assai più ridotte dimensioni della sua tradizione grammaticale [25]. È soprattutto questa la ragione in virtù della quale non siamo oggi più in grado di recuperare, con un sufficiente grado di sicurezza, tutte le più antiche denominazioni delle lettere dell'alfabeto slavo [26]. Questa nota intende però anche ricordare come la tipologia delle fonti utili alla ricostruzione della storia del più antico alfabeto slavo, sia in realtà meno limitata e più varia di quanto generalmente non si creda. È auspicabile che ricerche condotte anche in altre direzioni conducano a nuove scoperte, e consentano così di allargare ulteriormente la base documentaria a disposizione di linguisti e filologi [*].

Примечания

[1] Per un quadro d'insieme vd. la voce *Azbuki* di P. Ilčev in *Kirilo-Metodievska enciklopedija*, t. I: *A–Z*. Glaven redaktor: P. Dinekov, Sofija, Izdatelstvo na Bâlgarskata akademija na naukite, 1985, pp. 34–49. Si veda inoltre B. Velčeva, *Abecedar*, ivi, pp. 20–26, da integrare con R. Marti, *Slavische Alphabete in nicht-slavischen Handschriften*, «Kirilo-Metodievski studii» 8 (1991), pp. 139–164. Anche il materiale epigrafico riveste una grande importanza in questo contesto; si pensi all'elenco delle prime diciotto lettere dell'alfabeto glagolitico – prive però del nome –, ritrovato nel 1959 nella Chiesa rotonda di Preslav e databile alla prima metà del X secolo (vd. K. Popkonstantinov, *Razpros-*

[*] Sul punto di concludere, ho il gradito dovere di ringraziare il festeggiato stesso per aver messo, con estrema liberalità, a mia disposizione il testo completo della *gramota* qui utilizzata, quand'era ancora inedita. Un sentimento di riconoscenza non meno vivo, desidero inoltre esprimere nei confronti di Anatolij A. Turilov, al quale l'altra metà di questo dittico deve almeno il nucleo originario.

tranenie na starobâlgarskata pismenost prez IX–XI vek (po epigrafski danni), «Starobâlgarska literatura» 17 (1985), pp. 39–69, in particolare pp. 46–51), o a quello, contenente ventisette lettere dell'alfabeto cirillico, scoperto nella cattedrale di Santa Sofia a Kiev (vd. S. A. Vysockij, *Srednevekovye nadpisi Sofii Kievskoj (po materialam graffiti XI–XVII vv.*, Kiev, «Naukova dumka», 1976, pp. 12–23 (N. 100), che lo data all'XI secolo). Diverse liste di lettere cirilliche, anche qui però senza l'indicazione del loro nome) sono inoltre emerse fra le gramoty novgorodiane su corteccia di betulla: spicca fra queste la gramota N. 591 che risale alla prima metà dell'XI secolo (vd. V. L. Janin, *Novgorodskie gramoty na bereste (iz raskopok 1977–1983 gg.)*, in V. L. Janin & A. A. Zaliznjak, *Novgorodskie gramoty na bereste (iz raskopok 1977–1983 gg). Kommentarii i slovoukazatel'k berestjanym gramotam (iz raskopok 1951–1983 gg.)*, Moskva, «Nauka», 1986, pp. 11–86, qui alle pp. 52–56). Sui componimenti acrostici vd. invece K. Kuev, *Azbučna molitva*, e S. Kožucharov, *Akrostich*, in *Kirilo-Metodievska enciklopedija* cit., rispettivamente alle pp. 49–54 e 59–61 (nonché la ricca bibliografia ivi implicita).

[2] Non si sottrae, temo, a un rilievo di questo tipo il recente lavoro di F. Vyncke & R. Detrez, *De l'origine et de la structure de l'alphabet glagolitique*, «Orientalia Lovaniensia Periodica» 23 (1992), pp. 219–250, nel quale i due autori trovano il simbolismo trinitario cercato non solo nei nomi, bensì anche nelle forme stesse delle lettere glagolitiche (devo la conoscenza del saggio a J. Vereecken e W. Veder).

[4] Non senza ragione Trubeckoj aveva però osservato come il nome tradizionale attribuito a questa lettera non fosse in realtà del tutto adeguato, perché i ragni hanno non quattro, bensì otto zampe (N. Trubeckoj, *Die Aussprache des griechischen χ im 9. Jahrhundert n. Chr.*, «Glotta» XXV (1936), pp. 248–256, qui a p. 249).

[5] Mentre le prime tre attestazioni nel Salterio sinaitico sono note da tempo, le seconde tre sono contenute nella parte finora mancante del codice, rinvenuta nel 1975 nel monastero di S. Caterina sul Sinai (ms. 2/N), rispettivamente alla c. 10^{v}, l. 11; c. 18^{v}, l. 2 e c. 28^{r}, l. 26 (vd. I. Tarnanidis, *The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St Catherine's Monastery on Mount Sinai*, Thessaloniki 1988, pp. 87–91 (per la descrizione del codice) e 249–281 (per la sua riproduzione fotografica).

[6] La lezione хл҃ъ, senza dubbio genuina, è attestata esclusivamente nel gruppo α: ma non – come si è ritenuto finora – nel solo ms. Mosca, RGB, Moskovskaja duchovnaja akademija 145, bensì anche nel secondo testimone di questo importantissimo gruppo, il ms. S. Pietroburgo, Soloveckij monastyr' 1023/913. La variante хл҃ѣ, che dall'edizione di K. M. Kuev (*Černorizec Chrabâr*, Sofija, Izdatelstvo na Bâlgarskata akademija na naukite, 1967, pp. 327) si è propagata a tutti gli studi successivi, non riproduce infatti correttamente il manoscritto che reca, come il moscovita, la lezione хл҃ъ.

[7] V. Tkadlčík, *Dvojí* ch *v hlaholici*, «Slavia» XXXIII (1964), pp. 182–193, in particolare pp. 188–191. Da queste pagine, che a tutt'oggi costituiscono lo studio più approfondito ed esauriente sull'argomento, ho tratto anche la maggior parte delle notizie sulle concrete testimonianze a noi pervenute di questa lettera (cfr. pp. 182–183). L'interpretazione di Tkadlčík circa le due *ch* è accolta anche da B. Velčeva, *Abecedar* cit., p. 24; di quest'ultima vd. inoltre *Bukvite za "ch" v glagolicata*, «Bâlgarski ezik» XXI (1971), pp. 214–217. In questo contesto merita inoltre di essere ricordata la presenza della *ch* aracnea, che rende la velare fricativa palatale in alcuni prestiti, nella moderna traduzione, ottimamente curata dallo stesso V. Tkadlčík, del *Messale romano* in slavo ecclesiastico di tipo cèco (vd. *Rimskyj misal-Missale romanum*, v Olomouci, AVE – nakladatelství olomouckého arcibiskupství, 1992, p. 193).

[8] A. Vaillant, *L'alphabet vieux-slave*, «Revue des études slaves» XXXII (1955), pp. 7–31, qui a p. 22.

[9] V. Tkadlčík, *Dvojí* ch *v hlaholici* cit., pp. 182–183.

[10] Basti qui il rinvio a H. de Lubac, *Exégèse médiévale, les quatre sens de l'écriture*, Paris, Aubier, 1959–1964; e a F. Ohly, *Vom geistigen Sinn des Wortes im Mittelalter*, «Zeitschrift für deutsches Altertum» 89 (1958–1959), pp. 1–23 (ristampato in Id., *Schriften zur mittelalterlichen Bedeutungsforschung*, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977, pp. 1–31; e tradotto in italiano col titolo *Sul significato della parola nel Medioevo* in Id., *Geometria e memoria. Lettera e allegoria nel Medioevo*, a cura di L. Ritter Santini, Bologna, «Il Mulino», 1985, pp. 249–275). Per l'àmbito slavo orientale vd. il recente K.-D. Seemann, *Priemy allegoričeskoj èkzegezy̆ v literature Kievskoj Rusi*, «Trudy otdela drevnerusskoj literatury» XLVIII (1993), pp. 105–120.

[11] V. Jagić, *Psalterium Bononiense*, Vindobonae — Berolini — Petropoli, Gerold & Soc. — apud Weidmannos — C. Ricker, 1907, pp. 306 (dal quale ho tratto anche la citazione del salmo).

[12] Ivi, p. 341.

[13] Vd. E. Stommel (M. Kloeppel), *Berg*, in *Reallexikon für Antike und Christentum*, Band II: *Bauer-Christus*, Stuttgart, Hiersemann Verlag, 1954, coll. 136–138, qui coll. 137, le cui considerazioni sulle interpretazioni allegoriche dei 'monti' diffuse nella letteratura patristica possono essere applicate anche alle 'colline'.

[14] L'ultima edizione pubblicata è contenuta in Kliment Ochridski, *Sâbrani sâčinenija*: T. II, obrabotili B. St. Angelov, K. M. Kuev, Chr. Kodov & Kl. Ivanova, Sofija, Izdatelstvo na Bâlgarskata akademija na naukite, 1977, pp. 193–222. Oltre all'unico codice lì utilizzato (Mosca, GIM, Chludov 195), si conoscono però almeno altri quattro testimoni dell'opera che ancora attendono di essere studiati: si tratta dei mss. Vienna, ÖNB, cod. slav. 33; Zagabria, HAZU, III c 22; Monte Athos, Chilandar 442 e Belgrado, NBS, Rs 59 (quest' ultimo mi è stato indicato da Johannes Reinhart).

[15] Ivi, pp. 214. Rilevo come la stessa citazione da *Proverbi* 8, 25 compaia anche nel primo capitolo della *Vita Methodii*, dove viene egualmente interpretata in chiave cristologica, seppure senza riferimento agli angeli: "..., оц҃ь самъ ѥсть сн҃а родилъ, ꙗкоже рече прѣмоудрость · прѣже вьсѣхъ хълмъ ражаѥть мѧ" (P. A. Lavrov, *Materialy po istorii vozniknovenija drevnejšej slavjanskoj pis'mennosti*, Leningrad, Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 1930, p. 67).

[16] V. Jagić, *Psalterium Bononiense* cit., pp. 436. Si confronti qui anche il commento di sant'Agostino al *Salmo* 89,3: "Montes quippe partes terrae sunt altiores; et utique si antequam formaretur terra Deus est a quo terra formata est, quid magnum de montibus vel quibuslibet aliis eius partibus dicitur, cum sit Deus non solum ante terram, sed et ante caelum et terram et ante omnem corporalem spiritalemque creaturam? Sed nimirum universa creatura rationalis hac differentia fortasse distincta est, ut montium nomine significarentur *celsitudines angelorum* (corsivo mio. — *G. Z.*), terrae nomine humilitas hominum" (Sant'Agostino, *Commento ai Salmi*, a cura di M. Simonetti, Milano, Fondazione Lorenzo Valla, 1988, pp. 314).

[17] Mi limito a rimandare a due esempi particolarmente autorevoli quali la già citata *Kirilo-Metodievska enciklopedija*, p. 35 (si tratta della voce *Azbuki*, vd. supra) e lo *Slovník jazyka staroslověnského*, I: а–ћ, Praha, «Academia», 1966, p. 68 ("б – secunda littera alphabeti palaeoslovenici, dicta боукъı").

[18] Vd. la comoda sinossi offerta da K. D. Olof, *Philologische und literarische Aspekte slavischer Alphabetakrostichis nebst einem Exkurs über die slavischen Buchstabennamen*, Amsterdam, Verlag Adolf M. Hakkert, 1973, pp. 54–55.

[19] Alcuni casi di questo tipo sono discussi ivi, pp. 56–57.

[20] Vd. per es. *Skazanija o načale slavjanskoj pis'mennosti*. Otv. red. V. D. Koroljuk. Vstupitel'naja stat'ja, perevod i kommentarii B. N. Flori, Moskva, «Nauka», 1981, pp. 176–177; oppure K. D. Olof, *Philologische und literarische Aspekte* cit., pp. 51–52.

[21] V. L. Janin & A. A. Zaliznjak, *Berestjanye gramoty iz novgorodskich raskopok 1990–1993 gg.*, «Voprosy jazykoznanija» 1994, n. 3, pp. 3–22, qui alla p. 11.

[22] Insieme all'assenza della vocale, che in teoria potrebbe esser dovuta a una banale svista, occorre infatti considerare la presenza dei due punti.

[23] A. A. Zaliznjak, *K izučeniju jazyka berestjanych gramot*, in V. L. Janin & A. A. Zaliznjak, *Novgorodskie gramoty na bereste (iz raskopok 1984–1989 gg.)*, Moskva, «Nauka», 1993, pp. 190–321, qui a p. 192. Si ricordi però, sempre a proposito di coincidenze fra aree lontane della Slavia, che la stessa denominazione della seconda lettera (*Boga*) è dato trovare anche nelle *Arcticae horulae* di Adam Bohorič (1584), vd. per es. K. D. Olof, *Philologische und literarische Aspekte* cit., p. 55 (devo la segnalazione dell'importante testimonianza di Bohorič alla cortesia di Nikita I. Tolstoj).

[24] L. Sadnik & R. Aitzetmüller, *Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen*, Band I: *A/B*, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1975, pp. 456–458, in particolare p. 457. Un problema di ordine diverso riguarda la sfera semantica di questo lessema, poiché il significato di 'lettera dell'alfabeto', spesso attribuito a боукꙑ fin dai testi slavi ecclesiastici più antichi, potrebbe risultare secondario rispetto a quello di 'Sacre Scritture (in traduzione slava)'.

[25] Vd. le giuste osservazioni circa le differenze fra la tradizione grammaticale latina e quella slava ecclesiastica contenute in H. Keipert, *Kirchenslavisch und Latein. Über die Vergleichbarkeit zweier mittelalterlicher Kultursprachen, in Sprache und Literatur Altrußlands. Aufsatzsammlung*, hrsg. von G. Birkfellner, Münster, Aschendorff, pp. 81–109, qui a p. 101 e 105. La conseguente eterogeneità della terminologia grammaticale che si osserva in ambito slavo ecclesiastico (ivi, p. 101, n. 58), si riflette tra l'altro anche nei nomi attribuiti alla 'lettera' per la quale è dato trovare termini contrastanti come per es. писмa, кънигꙑ (plurale tantum), боукꙑ, слово, литера.

[26] Alcuni studiosi hanno suggerito in passato di riconoscere la matrice da cui sarebbero stati generati i nomi delle lettere slave in uno dei componimenti acrostici a noi pervenuti. Già la sola diversità delle identificazioni proposte desta però seri dubbi sulla validità della premessa: quei testi si configurano infatti più come esempi di una poesia didattica tributaria di una secolare tradizione cristiana che non come semplici ausili mnemotecnici per imparare i nomi delle lettere slave, e dai quali – o meglio, da uno dei quali – dovrebbe esser possibile ricostruire le loro denominazioni originarie.

В. М. Живов

Палатальные сонорные у восточных славян: данные рукописей и историческая фонетика

Палатальные сонорные в восточнославянской исторической фонетике находятся на положении бедных родственников, о них упоминают вскользь как о скоротечном явлении, стоявшем на периферии восточнославянской фонологической системы и исчезнувшем из нее без связи с другими явлениями, как случайное излишество. Такая трактовка обусловлена нечеткостью в определении относительной хронологии исчезновения палатальных сонорных в восточнославянском, что в свой черед вызвано неадекватной интерпретацией правописания восточнославянских рукописей. Значительная часть исследователей до сих пор придерживается той точки зрения, которая была в свое время сформулирована Н. Н. Дурново.

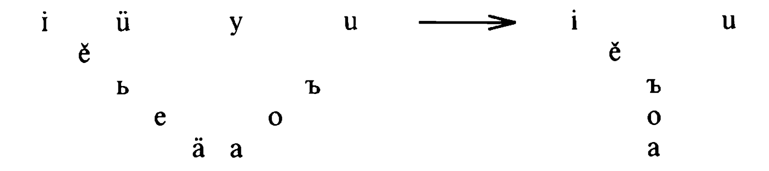
1. Перечисляя в своем «Очерке истории русского языка» общерусские (т. е. общевосточнославянские) изменения звуков, имевшие место в доисторическую эпоху, Н. Н. Дурново относит к ним смягчение согласных перед передними гласными (Дурново 1924, 144 сл.). По мнению Дурново, в восточнославянских говорах (равно как и в лехитских, но в отличие от южнославянских) согласные перед передними гласными сделались из полумягких мягкими, что привело к слиянию «исконно мягких» (т. е. палатальных *l̃, ñ, r̃* из **lj, *nj, *rj*) с новыми мягкими, возникшими в результате смягчения (которое может именоваться «вторичным», дабы отличить его от общеславянских палатализаций и преобразований сочетаний с /j/). Правописание древних рукописей, на взгляд Дурново, безусловно свидетельствует о том, что восточнославянские писцы не различали в своем произношении

палатальных *l̃, ñ, r̃* и «смягченных» *l', n', r'* перед гласными *i, ь, ě*, равно как и перед рефлексами **ę*. Перед *е* противопоставление имело место, поскольку «правильное различение є и ѥ после н, л [в южных восточнославянских памятниках XI в. — *В. Ж.*] не может объясняться как чисто орфографическое явление и, следовательно, указывает на произношение самих писцов» (1924, с. 149). Такое произношение, однако, «было только книжным или литературным и не совпадало с живым русским произношением» (1924, 149–150). Таким образом, Дурново утверждает, что интересующая нас оппозиция была утрачена восточнославянскими говорами еще до возникновения письменности.

Данный вывод Дурново делает, основываясь на интерпретации правописания в восточнославянских рукописях XI–XII вв. Отсутствие оппозиции палатальных и палатализованных сонорных в говоре писцов доказывается тем, что те из них, которые употребляли особые обозначения для палатальных сонорных, употребляли их недостаточно последовательно. Во-первых, даже в тех памятниках, где обозначения для палатальных сонорных употреблены правильно (т. е. в соответствии с этимологией), эта правильность, по выражению Дурново, «однобокая: если писцы не делают ошибок там, где пишут их [л҃, н҃. – *В. Ж.*], то зато они очень часто пишут н, л там, где следовало бы писать те же буквы с крючком» (1924, 145–146). Во-вторых, отнюдь не являются редкостью такие случаи, когда обозначения, предназначенные для палатальных сонорных, появляются в формах, содержащих непалатальные (палатализованные) сонорные. Например, во втором почерке Архангельского евангелия Дурново обнаруживает «стремление писать ꙗ в соответствии со ст.-сл. ꙗ или ѧ после н, л мягких, и букву ѧ в соответствии со ст.-сл. после немягких и после шипящих... Но писцу не удается выдержать ст.-сл. орфографию. Он часто пишет ѧ после л, н, р, с вместо ꙗ: болѧаше, молѧхоу сѧ, хранѧше, варѧю, лаꙁорѧ, сентѧмбрѧ, раꙁарѧꙗ, самарѧнъ, вьсѧ, вьсѧкъ (много раз) и т. д.; с другой стороны, употребляет букву ꙗ после м: имꙗ (много раз), мꙗ (много раз), времꙗ, беремꙗ, а иногда и после других букв: блоудꙗ (запись)» (1924, 146–147; ср.: Дурново 1924а, 600–605). В особый случай Дурново выделяет положение перед /е/, поскольку по крайней мере в одном обследованном им памятнике (втором почерке Архангельского евангелия) он обнаруживает вполне последовательное написание ѥ после палатальных *l̃, ñ*, и є «после о.-сл. немягких согласных» (1924, 148; ср.: Дурново 1924а, 607–611). Отсюда он делает вывод, что в положении перед

/е/ *l̃, ñ*, и *l, n* различались, но, поскольку фонетической мотивации для такого особого статуса позиции перед /е/ он не находит, он относит данное различение исключительно на счет книжного произношения, не совпадавшего с живым.

Обратимся сначала к собственно лингвистическим импликациям данной концепции. Совпадение палатальных сонорных с «новыми мягкими», образовавшимися в результате «нового смягчения» согласных перед передними гласными, т. е. с палатализованными сонорными *l', n'* означает, что в восточнославянских диалектах утверждается фонологическая оппозиция твердых и мягких, причем естественно думать, что это новое противопоставление распространяется не только на сонорные, но и на шумные согласные. В этом случае фонологическая система подверглась радикальному преобразованию: противопоставление гласных по ряду сделалось для большинства фонем аллофоническим, зависимым от твердости или мягкости предшествующего согласного (как в современном русском языке), т. е. общевосточнославянская система гласных трансформировалась следующим образом:



При этом у фонем /i, u, ъ, о, а/ после мягких выступают аллофоны [i, ü, ъ, е, ä], а после твердых [y, u, ъ, о, а].

В плане относительной хронологии такое преобразование должно было бы иметь место после деназализации носовых гласных, поскольку в ином случае носовые образовали бы такую же аллофоническую пару, как и другие противопоставленные по ряду гласные, т. е. мы имели бы фонему /ǫ/ с аллофонами [ę] после мягких и [ǫ] после твердых согласных; процесс деназализации должен был бы при этом выглядеть достаточно странно, так как имело бы место расщепление одной фонемы на две с абсолютно разными фонетическими признаками: [ę] давал бы [ä], т. е. гласную нижнего подъема, совпадающую с передним аллофоном фонемы /а/ (например, в им. ед. */vol'a / воля*), [ǫ] давал бы [u], т. е. гласную верхнего подъема. Этот процесс должен был бы следовать и за монофтонгизацией дифтонгов, поскольку в ином

случае оказывалось бы необъяснимым наличие мягких согласных перед рефлексами этих дифтонгов. Предшествовать этому процессу должно было также преобразование **el* и **ьl* в *-olo-*, *-ъl(ъ)-*, поскольку в ином случае мы имели бы мягкие */m'/* и */v'/* в *молоко* и *волк* (ср.: Шевелов 1979, 172). Более того, образование корреляции твердых и мягких согласных целесообразно было бы относить ко времени после второй палатализации (хотя строгой зависимости здесь нет), поскольку в ином случае в эту корреляцию должны были бы входить и фонемы /k–k', g–g', x–x'/, и эта система, едва возникнув, начала бы разрушаться, так как мягкие корреляты заднеязычных выпадали бы из корреляции и совпадали со свистящими. Однако и относя возникновение корреляции твердых и мягких (в качестве постулированного Дурново самостоятельного изменения) ко времени после второй палатализации, мы также попадаем в логическую ловушку: этот особый общевосточнославянский процесс приходится на время после процесса, не имевшего общевосточнославянского характера, причем в древнегородском диалекте, не пережившем второй палатализации, дает те же результаты, что и в других восточнославянских говорах.

Исчезновение палатальных сонорных как отдельных фонем можно, естественно, не связывать с возникновением корреляции твердых и мягких согласных. Одновременное рассмотрение истории палатальных сонорных и истории корреляции твердых и мягких согласных часто основывается лишь на терминологической путанице, при которой не различается палатальность (место образования) и палатализованность (признак окраски). В принципе, однако, можно считать, что в части славянских диалектов *l̃* совпало с *l*, *ñ* совпало с *n* (равно как и *r̃* с *r*) в результате отдельного фонетического изменения. Поскольку палатальные сонорные были дистрибутивно ограничены положением перед передним гласным, они в ходе последующего развития, после развития корреляции твердых и мягких согласных, дали рефлексы *l'*, *n'*, представленные в современных славянских языках, обладающих оппозицией твердых и мягких. При такой трактовке никаких сложностей с относительной хронологией не возникает, слияние палатальных сонорных с непалатальными может сколь угодно сильно предшествовать возникновению корреляции твердых и мягких, и единственным ограничением для этого слияния оказываются начальные моменты распада общеславянского языкового единства. Действительно, изоглосса, разделяющая диалекты, сохранившие

противопоставление палатальных и непалатальных сонорных (сербохорватский, македонский, словенский, в реликтовой форме словацкий и чешский), и диалекты, утерявшие это противопоставление, четко располагается в современном славянском лингвогеографическом пространстве, что указывает на разделение, имевшее место после расселения славян и начала процессов дезинтеграции языкового единства.

Формально такое решение может быть удовлетворительным, однако оно игнорирует то важное обстоятельство, которое имел в виду Дурново, создавая свое построение: наличие палатальных сонорных находится в зависимости (обратной) от существования корреляции твердых и мягких – там, где сохранились палатальные сонорные, отсутствует корреляция по мягкости. Такая зависимость побуждает постулировать причинно-следственные отношения. Поскольку исчезновение палатальных сонорных никаким образом не могло обусловить появление корреляции по мягкости у согласных в целом (скажем, у шумных), естественно думать, что именно появление корреляции по мягкости привело к исчезновению палатальных сонорных. Propter hoc означает post hoc. Из этого и исходил Дурново, рассматривая общее смягчение согласных как процесс, предшествовавший исчезновению палатальных сонорных или совпадавший с ним по времени. Поскольку исчезновение палатальных сонорных он датировал доисторическим периодом, он должен был к тому же периоду отнести и смягчение согласных. Противоречия, к которым это его приводило, были разобраны выше.

Эти противоречия не возникают, если рассматривать установление корреляции твердых и мягких согласных как последствие падения редуцированных, общеславянского (и общевосточнославянского) процесса, накладывавшегося на специфику дифференцировавшихся к этому времени славянских диалектов. Возникновение корреляции обусловлено появлением оппозиции твердых и мягких в конце слова и перед согласным в результате исчезновения следовавших за ними гласных: /tverdъ – tverdь/ → /tverd – tverd'/; появление этой оппозиции в конце слова приводит к рефонологизации сочетаний согласных с гласными в других позициях: фонетические последовательности [t'ä] vs. [ta] перестают интерпретироваться как /tä/ vs. /ta/ и начинают восприниматься как /t'a/ vs. /ta/. Совпадение палатальных сонорных с палатализованными естественно рассматривать как одно из последствий этой перестройки фонологической системы: тройное про-

тивопоставление /*l, n – ĩ, ñ – l', n'*/ оказывается для системы слишком большой нагрузкой. Там, где корреляция по мягкости не возникает, нет причин и для устранения палатальных сонорных. При таком построении, однако, совпадение палатальных и палатализованных сонорных не могло иметь места ранее конца XII в. (см. сходное с изложенным построение: Шевелов 1979, 179–181). Такая датировка входит в противоречие с предложенной Н. Н. Дурново интерпретацией правописания рукописей XI–XII вв. и требует нового анализа рукописного материала.

2. При интерпретации обозначений палатальных сонорных необходимо иметь в виду, что особые знаки для них в славянской азбуке (как глаголической, так и кириллической) отсутствовали. Н. С. Трубецкой полагал, что св. Константин–Кирилл не изобрел особых букв для этих фонем (несмотря на последовательно фонологический характер созданного им алфавита), поскольку он ассоциировал их с греческими палатальными согласными. В греческом же такие согласные были свойственны народному произношению (результат слияния согласного с передней гласной) и с точки зрения образованных книжников оказывались приметой социально ущербного узуса. Это восприятие св. Кирилл мог переносить и на славянскую почву, отказываясь обозначать «vulgäre Nuances der Volkssprache» отдельными буквами (Трубецкой 1954, 30–31)[1].

Каковы бы ни были причины отсутствия особых букв для палатальных сонорных в стандартной азбуке, оно обусловливало ряд специфических моментов в употреблении применявшихся для их обозначения знаков. Типологически эта ситуация тождественна той, которая имеет место в русской письменности XIV–XVII вв. с обозначением оппозиции /ô/ и /ɔ/ (см. о последней: Зализняк 1990, 1–5, 27). Прежде всего способы обозначения маркированного члена оппозиции не унифицированы. В случае двух *о* / ô / может обозначаться ѡ, *о* широким, *о* узким или *о* с каморой (Зализняк 1985, 208–211; Зализняк 1990, 1–5). В случае палатальных сонорных также фигурируют и особая форма букв, и диакритики: палатальные сонорные могут обозначаться ꙉ, Ꙋ (л и н с крючком), надстрочным знаком (каморой или точкой) и, наконец, написанием йотированной гласной буквы после палатального. Стоит отметить, что один и тот же писец мог пользоваться более чем одним способом обозначения палатальных (например,

во втором почерке Архангельского евангелия пишутся и ѧ, ѩ, и йотированное ѥ). Набор способов обозначения оказывается индивидуальным параметром (или, возможно, особенностью отдельных писцовых школ, для установления которых сохранившиеся рукописи XI–XII вв. явно не дают достаточного материала), так что нет возможности считать какой-либо способ обозначения стандартным и интерпретировать отклонения от него как фонетически значимые. В частности, во втором почерке Архангельского евангелия для обозначения палатальных употребляется ѥ, но не употребляется ꙗ, и из этого никак не слёдует, что в произношении писца, как думал Дурново, исследуемая оппозиция сохранялась перед /е/, но не сохранялась перед /ä/; можно лишь констатировать, что писец употребляет ѧ и ꙗ как синонимические буквы, т. е. следует практике, хорошо представленной в рукописях XI–XII вв. (например, во втором почерке Типографского устава), отражающей известный восточнославянский переход /ę > ä/ и никакой иной фонетической информации не сообщающей (ср.: Лант 1949, 83). Таким же образом обстоит дело и в основном почерке Выголексинского сборника, в котором также ѥ применяется для обозначения палатальных, а ꙗ не применяется.

Все эти способы обозначения выучивались – в отличие от букв, входивших в азбуку, – не при обучении грамоте (чтению по складам), а в качестве специальных профессиональных навыков (предположительно в скрипториях), поэтому одни писцы владели ими, а другие не владели. Обозначение палатальных сонорных было специальным умением, не необходимым для работы переписчика. Многие писцы палатальные сонорные вообще никак не обозначали, и это вовсе не свидетельствует о том, что соответствующей оппозиции не было в их живом или книжном произношении. Абсолютно неправомерно поэтому утверждение Н. Н. Дурново о том, что оппозиция палатальных и непалатальных сонорных была актуальна для южнорусских (т. е. украинских), но не для севернорусских писцов, обоснованное тем, что «в севернорусских минеях конца XI в. общеславянские смягченные и полусмягченные *л, н* перед *е* не различаются» (1924, с. 149). Единственный вывод, который можно сделать на этом основании, состоит в том, что писцов новгородских миней 1095–1097 гг. не научили обозначать палатальные сонорные: писцы этих рукописей вообще не отличаются высокой квалификацией. Известную аналогию этому можно видеть в употреблении букв є и ѥ. В азбуке ѥ тоже отсутствует, поэтому отдельные писцы употребляют эту букву и пи-

шут /е/ – є, /je/ – ѥ, а другие писцы эту букву не употребляют и обходятся вообще без ѥ (например, писцы так наз. новгородской минеи 1095 г.). Это, конечно же, не значит, что они произносили /moe/, а не /moje/.

Поскольку обозначение палатальных не было обязательным вообще, оно не было обязательным и в пределах отдельной рукописи. В каком-то числе случаев писец мог не прибегать к особому способу обозначения, а писать попросту. Аналогией может служить непоследовательность в написании ё в современном русском языке – у тех носителей, которые употребляют эту букву. Как и все обозначения, связанные с дополнительными орфографическими правилами (не определявшимися азбукой), фиксация палатальных сонорных подчиняется принципу факультативности и характеризуется коэффициентом выраженности (тем параметром, который ввел А. А. Зализняк для способов фиксации /ô/ – Зализняк 1990, 14–21). Коэффициент выраженности – это отношение числа фиксаций к числу всех релевантных случаев, в которых мог стоять фиксируемый элемент. Например, в Мстиславовой грамоте палатальные сонорные обозначаются йотацией следующего гласного. Фиксируются три случая: донелѣже, осеньнее, въ не. В одном случае палатальный не обозначен: оу него. Коэффициент выраженности составляет 3/4, т. е. 75%.

В принципе, следует поставить вопрос о том, при каком коэффициенте выраженности можно говорить, что в рукописи отражается фонологическое противопоставление живого языка. Однозначный ответ здесь вряд ли возможен, однако в ряде рукописей XI–XII вв. этот коэффициент достаточно высок. Например, он превышает 50% в основном почерке Синайского патерика (Голышенко 1987, 55–60), превышает 92% в Цветной триоди XI–XII вв. (РГАДА, ф. 381, № 138 – данные В. С. Голышенко 1987, 75–82). Отметим, что картина передачи противопоставления палатальных и непалатальных сонорных существенно отличается в рукописях XI–XII вв. от картины передачи противопоставления носовых и неносовых гласных. Даже неадекватные попытки передачи последнего противопоставления для рукописей XI–XII вв. представляют исключительный случай (если отвлечься от фрагментов, он представлен только в Остромировом Евангелии); как правило, графическое противопоставление, присущее протографам, но не находящее соответствия в фонологической системе писца, не передается и консервируется лишь в окказиональных реликтовых написаниях. С противопоставлением носовых и неносовых глас-

ных такая ситуация складывается даже при том, что алфавит содержит специально обозначающие их буквы, выучивавшиеся при обучении чтению[2]. Обозначение палатальных приобретает такой характер лишь в рукописях XIII в., тогда как многие памятники XI–XII вв. обнаруживают вполне сознательную установку на передачу оппозиции палатальных и непалатальных сонорных, одной из манифестаций этой установки и является достаточно высокий коэффициент выраженности[3]. Таким образом, ситуация с обозначением палатальных сонорных в рукописях XI–XII вв. существенно отличается от ситуации с обозначением носовых гласных, и это может служить указанием на то, что в данный период различение палатальных и непалатальных сонорных на письме было основано на фонологической оппозиции, присущей живому языку.

3. Коэффициент выраженности – лишь один из показателей реальности оппозиции. Другой – по крайней мере, столь же важный – это случаи ошибочного написания, т. е. употребления маркированного знака там, где ему не место. Если таких ошибок много, очевидно, что писец употребляет соответствующие знаки (например, л҄, н҄) без системы, не знает, где их ставить. Ему известна орфографическая практика, фиксирующая палатальные сонорные, и он стремится ее имитировать, однако справиться с различением палатальных и непалатальных сонорных он не в состоянии. В этом случае скорее всего его орфографические опыты не поддержаны фонологическими характеристиками живого языка, а обусловлены лишь подражанием престижному правописанию.

Этот критерий нередко используется исследователями, однако его применение невозможно без ряда существенных оговорок. Прежде всего следует помнить, что, употребляя обозначения для палатальных согласных, писец – если он опирается на свое произношение – обращается к своему живому языку, т. е. к тому, как звучит записываемая им форма в его живой речи. В этом случае он руководствуется правилом типа: там, где слышится / l̃ /, пишется л҄; там, где слышится / ñ /, пишется н҄. Для того, чтобы таким правилом воспользоваться, писец должен иметь возможность к нему прибегнуть, т. е. в его речи должна реально слышаться та форма, правописание которой он выясняет. Если искомая форма в живом языке не употребляется (или не выводится простым образом из употребляемых в живом языке форм), писец свое правило

применить не может. «Ошибки» писца должны определяться относительно его гипотетического разговорного узуса, а не относительно этимологии, которую писец не знал и которая его не интересовала. Зависимость воссоздаваемой картины от выбора точки отсчета может быть весьма ощутительной.

Так, например, В. С. Голышенко полагает, что в говоре основного писца Синайского патерика оппозиции /l – l̃/ и /n – ñ/ слились с оппозициями /l – l'/, /n – n'/. Об этом, на ее взгляд, свидетельствуют «как единичные случаи графического обозначения бывшей полумягкости согласных [т. е. употребление обозначений для палатальных согласных на месте непалатальных сонорных. – *В. Ж.*] ...так и значительно чаще представленные в СП[1] случаи необозначения исконной мягкости» (Голышенко 1987, 95). О неосновательности последнего аргумента уже было сказано выше. Для того чтобы оценить первый аргумент, нужно обратиться к примерам. Количественно они немногочисленны, так что процент ошибок относительно случаев правильного употребления невысок и на путаницу в письменных навыках писца не указывает. Их состав следующий:

перед *и*: **въ мъноѕѣ оунынии** 120.5, **истинии** 161об.15;
перед ъ: **дородѣтельмъ** 176об.11, **ковъкаль** 10.6, **ковькаль** 36.14, **нл҃ь** 108.6, **ѕонль чьтьць** 117об.10, **соунʼкаль** 89.4, **не вънимаше** 149.18, **сънъмъ** 168об.12, **ѳелонъ** 117об.15, 118.1 (Голышенко 1987, 61).

Легко видеть, что большинство из этих примеров ошибками в уточненном выше понимании назвать нельзя. Прежде всего слова **ковъкаль**, **нл҃ь**, **ѕонль**, **соунʼкаль**, **ѳелонъ** являются заимствованиями книжного характера, которые в разговорной речи не встречались, а поэтому проверке не поддавались и могли писаться произвольно; писец мог при этом руководствоваться аналогией, рассматривая существительные м. рода на *-ль* по типу имен с суффиксом *-telj-*. Ряд слов можно считать определенно книжными, также в разговорной речи не встречавшимися. Таковы слова **добродѣтель** и **сънъмъ**, возможно, еще и **оуныние** и **вънимати**. Очевидно, что, не находя в своем разговорном узусе такого слова, как, например, **добродѣтель**, писец мог пренебречь его родовой характеристикой и дать его в той же форме, которая была ему привычна по многочисленным именам с суффиксом *-telj-*. Если исключить эти примеры, то остается лишь одна настоящая ошибка: **истинии** и **ис-**

крьгек; учитывая достаточно большой объем рукописи, одной ошибкой можно пренебречь, рассматривая ее как случайную описку. При такой интерпретации Синайский патерик превращается в памятник, в котором вполне последовательно проведено противопоставление палатальных и непалатальных сонорных, памятник, указывающий не на нейтрализацию разбираемой оппозиции в говоре писца, а, напротив, дающий основания думать, что писец проверял написание с помощью своего живого произношения.

4. Как уже говорилось, реальность фонологического противопоставления, стоящего за графическим различием, соотносится с коэффициентом выраженности. При этом, однако, должен учитываться характер рукописи. Следует различать те случаи, когда графическая передача исследуемого противопоставления может быть приписана данной рукописи, и те, в которых эту передачу можно отнести на счет оригинала, с которого данная рукопись переписывалась. В первом случае даже относительно невысокий коэффициент выраженности свидетельствует о фонологической реальности противопоставления, поскольку единственным источником фиксации может быть лишь сам писец. Вопрос состоит лишь в том, руководствуется ли он при этом своим произношением или орфографическими правилами, которые на произношение не опираются. Последний случай легко обнаруживается, поскольку, не обращаясь к произношению, писец может фиксировать различие лишь в ограниченном числе классов форм, подчиняющихся простым правилам. В случае палатальных сонорных такими классами могут быть формы имперфекта, косвенные падежи местоимения *и*, формы с *l* epentheticum; нет оснований предполагать, что писцы осваивали правила, позволяющие справиться с правописанием отдельных, не входящих в простые категории форм [4]. В силу этого, в частности, обозначение палатальных сонорных в Мстиславовой грамоте с коэффициентом выраженности 75% и при этом в формах, для которых, видимо, не было общего правила (например, донкльже), может считаться вполне достоверным свидетельством того, что писец этой грамоты отличал палатальные сонорные в своем произношении. Это позволяет утверждать, что палатальные сонорные сохранялись в живом произношении по крайней мере еще в начале XII в. (учитывая характер текста, вряд ли воз-

можно считать, что писец Мстиславовой грамоты ориентировался в своем правописании на книжное произношение).

Свидетельства сохранения палатальных сонорных могут быть найдены, впрочем, и для еще более позднего времени. Таким свидетельством может служить Троицкий сборник конца XII – начала XIII в. (РГБ, Собр. Тр.-Серг. Лавры 12 — цит. по изд.: Поповски, Томсон, Федер 1988). Этот сборник содержит в перегруппированном виде Пандекты Антиоха. Как установил Н. Поповски (Поповски 1987; Поповски 1989, 120–134), Пандекты Антиоха в Троицком сборнике скопированы непосредственно со старейшей рукописи Пандектов – ГИМ, Воскр. 30 XI в. (цит. по изд.: Поповски 1989а), так что соответствующие рукописи представляют собой древнейшую в славянской письменности пару антиграф-апограф. Эта пара позволяет увидеть, как писцы конца XII — начала XIII в. преобразовали правописание копировавшейся ими рукописи XI в., приводя его в соответствие с орфографическими нормами своего времени. Стратегии разных писцов Троицкого сборника, общие характеристики вносившихся ими исправлений (такие, как устранение элементов одноеровой орфографии, перестановка еров и ρ, λ в сочетаниях редуцированных с плавными, замена ж на ѹ или ю и т. д.), равно как индивидуальные черты каждого из писцов требуют особого анализа. Один момент, однако, имеет непосредственное отношение к обсуждаемой проблематике.

В рукописи Воскр. 30 палатальные сонорные никак не обозначаются, в рукописи Троицк. 12 один из писцов использует для обозначения палатальных сонорных ҝ. Таким образом, в рукописи Троицк 12 обозначения палатальных сонорных появляются вне зависимости от оригинала и, следовательно, могут быть приписаны данной рукописи. И рукопись Троицк. 12, и Воскр. 30 написаны несколькими писцами, орфографические навыки которых в ряде моментов не совпадают. Приводимые ниже примеры берутся из части, написанной первым писцом Троицк. 12, переписывавшим Пандекты[5]. На его долю выпала переписка текста, написанного двумя писцами Воскр. 30 – *А* и *В* по обозначению И. Поповского (1989, 69). Писец *А* практически не использует ҝ (лишь в единичных случаях ҝ появляется в начале слова и после гласной), тогда как писец *В* употребляет ҝ чрезвычайно широко как в начале слова и после гласных, так и после согласных вне зависимости от их качества. Переписывая текст писца *А*, первый писец Троицк. 12 вводит ҝ в начале слова, после гласных и после

палатальных сонорных, переписывая же текст писца *B*, он, напротив, устраняет написания ѥ после согласных, кроме палатальных сонорных. Приведу примеры, предпосылая им корреспондирующие формы из рукописи Воскр. 30 (использованы указанные выше издания; для примеров из Троицк. 12 указывается лист и строка; для примеров из Воскр. 30 глава и стих в соответствии с членением, данным И. Поповским):

Воскр. 30 – А	Троицк. 12
г҃лемъ P:1.5	г҃лѥмъ 64.16
г҃лемыꙗ P:2.4	г҃лѥмыꙗ 64.20
прѣстоупленииꙗ P:3.13	прѣстоуплѥнииꙗ 65об. 1
оустрьмлениꙗ 6:1.24	оустрьмлѥниꙗ 66.9–10
ꙁане 6:1.36; 6:1.85; 23:4.31; 24:8.2	ꙁанѥ 66.21; 67.12; 70об.22; 72об.9
вьнегда 6:1.40	вънѥгда 66.23
рачителе N.pl. 6:1.58	рачителѥ 66об. 13
Ѿемлемь 7:2.23	Ѿѥмлѥмъ 68об. 3
ближьнѫмоу 11:4.1	ближьнѥмоу 69.9
ꙁаеметь 11:5.2; 11:6.2	ꙁаѥмлѥть 69.15–16; 69.17
Ѿ него 11:11.13	Ѿ нѥго 69об.22–23
въ немь 11:11.14	въ нѥмь 70.1
вьꙁлюбении 23:11.2	въꙁлюблѥнии 71об.3–4
молениемъ 24:2.6	молѥниѥмь 72.10
отъ неѧ 24:2.8	Ѿ нѥꙗ 72.12
хоуление 24:15.4	хоулѥниѥ 73.8
молеве N.pl. 25:8.1	молѥве 74.7
въ неи 25:9.3	въ нѥи 74.13
вь неи 25:10.8	въ нѥи 74об.1–2
моленье 25:10.17	молѥниѥ 74об.9
молениꙗ 25:10.27	молѥниꙗ 74об.16
бл҃гние 25:13.2	благословлѥниѥ 75.2
г҃не 25:13.2	г҃нѥ 75.2
оꙁълобенъ 25:16.4	ѡꙁлоблѥнъ 75.15
молениѫ 25:16.16	молѥнию 75об.4
ослабено 25:16.17	ослаблѥно 75об.5

Воскр. 30 – В	Троицк. 12
отъ нѥго 27:1.20	отъ нѥго 79об.1
понѥжѥ 27:6.3; 35:4.1	понѥже 79об.18; 87об.15

оудавѥниꙗ 27:7.3	**оудавлѥниꙗ** 80.4
вьзлюбѥнии 27:8.9	**възлюблѥнии** 80.12
оумилѥниѥмъ 27.12.3	**оумилѥниѥмь** 80об.9–10
зане 27:14.33	**занѥ** 82об.15
възлюбении 27.15.1; 33:14.1	**възлюблѥнии** 80.12; 86.10–11
ославенааго 27:19.2	**ославлѥнаго** 83.20–21
къ нѥмоу 27:19.8	**къ нѥмоу** 83об.3
гл҃еть 32:5.3; 33:11.1	**гл҃ѥть** 84.13; 86.1
сълѥть 32:7.1	**сълѥть** 84.18
порабѥнъ 33:1.15	**пораблѥнъ** 85.20
хранѥниѥмь 33:1.18	**хранѥниѥмь** 85.23
гл҃ѥть 33:8.1	**гл҃ѥть** 86об.18

В одном слу́чае палатальный сонорный остается необозначенным:

гл҃еть 35:6.2	**гл҃еть** 88.2

Для части, переписанной первым писцом Троицк. 12 с текста, принадлежащего писцу *В* Воскр. 30, важны не только примеры, в которых появляется отсутствовавшее в антиграфе обозначение палатального сонорного, но и те – очень многочисленные и совершенно последовательные – случаи, когда устраняется **ѥ**, поставленное писцом *В* после других согласных, в том числе сонорных. Приведу несколько примеров:

речѥ 27:5.1	**рече** 79об.13
вьсѥи 27:14.30	**вьсѥи** 82.14
себѥ 32:9.2	**себе** 84.22
нѥ 32:10.5	**не** 84об.7
мѥнѥ 32:10.7	**мене** 84об.9

Ряд обозначений палатального сонорного встречается во фрагменте, оригинал которого утрачен: **молѥнию** 80об.18, **волѥю** 80об.19, **къ нѥмоу** 82.8, **молѥниѥ** 82.9, **поновлѥниѥ** 82.14, **гл҃ѥть** 82.15–16, 82.20, **занѥ** 82.18.

В одном случае переписчик, вопреки своему обыкновению, заменяет форму с *l* epentheticum на форму без *l* epentheticum (обычно он делает прямо противоположную замену):

вьстꙗгновлениꙗ 7:2.14	**въстѧгновениꙗ** 68.19

В одном случае **ѥ** в положении после согласного употреблено не после палатального сонорного:

зьлобꙋжшⷮен 6:1.41	**злобоующѥи** 66об.1

Итак, в обследованной части коэффициент выраженности составляет 55/56 или 98%, так что не может быть сомнения в том, что писец основывается на реальной фонологической оппозиции [6]. Совокупность примеров не разбивается на небольшое число простых классов и тем самым не может быть объяснена как результат применения писцом простых правил. Таким образом, устанавливается, что еще в конце XII – начале XIII в. оппозиция палатальных и непалатальных сонорных в восточнославянских говорах продолжала существовать. Поскольку в более поздних рукописях – второй половины XIII – XIV вв. – палатальные сонорные вообще не обозначаются или их обозначения носят реликтовый характер, можно полагать, что палатальные сонорные как особые фонемы исчезают именно в конце XII – начале XIII в. Из этого и следует исходить при построении восточнославянской исторической фонетики.

5. Итак, рукописные данные, будучи последовательно интерпретированы, показывают, что нейтрализация оппозиции палатальных и непалатальных сонорных происходит в тот период, когда в восточнославянских говорах завершается процесс падения редуцированных (о датировке этого процесса см.: Зализняк 1986, 122–124; Зализняк 1993, 241–270). Это означает, что палатальные сонорные исчезают тогда, когда появляется фонологическое противопоставление твердых и мягких согласных. О том, что оба эти процесса происходят после падения (и прояснения) редуцированных, говорят и материалы псковских говоров, собранные и проанализированные С. Л. Николаевым. По его наблюдениям, «Специфической чертой псковских говоров, а точнее тех говоров, которые расположены на старой псковской территории, является переход *ь > *е* либо *ы* и *ъ > *'и* перед мягкими сонантами, причем только перед теми, которые были исконно мягкими в праславянском... либо смягчились в положении перед *j* после падения редуцированных в данной позиции (например, в распространенном суф. *-*ьje*)» (Николаев 1988, 121). Примерами могут служить рефлексы **o-dьnьje* типа *адэ́нье*, **vъ-dъlјь* типа *вдыль*, **gъljkъ* типа *гылёк* и т. д. (там же, 122–123). Это специфическое развитие *ь* не имело места перед палатализованными сонантами (т. е. перед непалатальными сонантами в положении перед передней гласной), например, «**ogъnь* со вставным *-ъ-*... всегда дает формы с *-о-*» (там же, 125). Отсюда следует, что в момент прояснения редуцирован-

ных (т. е. заведомо позднее падения слабых редуцированных) оппозиция палатальных и непалатальных сонорных сохранялась. Сонант же в рефлексах типа *адэ́нье* имел особый характер, поскольку после падения редуцированного в последовательности -*nьj*- он делался палатальным в результате ассимиляции с *j*. Таким образом, после падения и прояснения редуцированных палатальные сонорные продолжают существовать и возникает тройное противопоставление /*l*, *n* – *l̃*, *ñ* – *l'*, *n'*/, именно его упрощение, которое можно датировать концом XII – началом XIII в., и приводит к устранению палатальных сонорных.

Можно было бы считать, что данный вывод исчерпывает тему, если бы не одно частное обстоятельство, которое нуждается в дополнительном комментарии. Говоря о палатальных сонорных, мы рассматривали исключительно /*l̃*, *ñ*/, тогда как /*r̃*/ (из **rj*) никак не упоминалось. Это неравенство обусловлено тем обстоятельством, что в восточнославянских рукописях /*r̃*/ практически никогда не обозначается. Восточнославянские рукописи отличаются в этом отношении от старославянских (точнее, от Зографского евангелия), в которых знак палатальности (камора) может стоять как над /*l̃*, *ñ*/, так и над /*r̃*/. Хотя в Зографском евангелии /*r̃*/ обозначен менее последовательно, чем /*l̃*, *ñ*/ (а в Супрасльской рукописи вообще не обозначается – в отличие от /*l̃*, *ñ*/), существование этих обозначений дает основание говорить о том, что по крайней мере в части болгарских и македонских диалектов наряду с фонемами /*l̃*, *ñ*/ имелась и фонема /*r̃*/. Отсутствие специальных обозначений для /*r̃*/ в восточнославянских рукописях, отмечающих /*l̃*, *ñ*/, свидетельствует, напротив, о том, что в восточнославянских диалектах, сохранивших фонемы /*l̃*, *ñ*/, фонема /*r̃*/ была утрачена, т. е. совпала с /r/.

Именно на такое развитие указывают данные второго почерка Остромирова евангелия. Палатальные /*l̃*, *ñ*/ обозначаются здесь с помощью последующей йотированной гласной ѥ, ꙗ и ѭ. Коэффициент выраженности высок, случаи, когда обозначение отсутствует, единичны (см. примеры: Козловский 1895, 20). Несколько раз, однако, встречается и другое обозначение, а именно ʌ҆ (*л* с крючком), при этом в одном случае крючок может перемещаться (в перевернутом виде) на последующую гласную (см. о таких обозначениях: Голышенко 1987, 44). Всего в Остромировом евангелии пять таких написаний: глѥши 291г.17, глѧ 293г.4, 15, въꙁглѫть 127г.3 и правлааше 294в.4 (Козловский 1895, 17, 20). Естественно интерпретировать их как следы болгарского

протографа, в котором употреблялось данное обозначение /*l̃*/ (скорее всего также и /*ñ*/): писец Остромирова евангелия использовал другое обозначение, заменяя соответствующие знаки своего оригинала; в нескольких случаях, однако, он этой замены не сделал, повторив начертание оригинала. В четырех случаях аналогичные реликтовые обозначения появляются и для /*r̃*/: лаӡар҄а 142в.13, 18, 143б.10, сътвор҄ж 166б.4 (Козловский 1895, 17). И в отношении этих написаний можно предположить, что они восходят к более последовательному обозначению /*r̃*/ в болгарском протографе. Таким образом, в оригинале, который копировал писец Остромирова евангелия, были как обозначения /*l̃*, *ñ*/, так и обозначения /*r̃*/. Для /*l̃*, *ñ*/ писец употребляет иное эквивалентное обозначение, для /*r̃*/, однако, он подобного эквивалента не ищет и не употребляет. Наиболее вероятное объяснение состоит в том, что обозначения /*l̃*, *ñ*/ обладали для него фонетической реальностью и воспроизводились, тогда как обозначения /*r̃*/ такой реальностью не обладали и потому в большинстве случаев не воспроизводились. Это и означает, что в фонологической системе данного (восточнославянского) писца сохранялись фонемы / *l̃*, *ñ* /, но не сохранялось /*r̃*/.

Такое развитие может рассматриваться как естественное. Тенденция трактовать /*l̃*, *ñ*, *r̃*/ как единое целое, переживающее общие изменения, возникает из-за общности их происхождения из сочетаний сонорных с /*j*/ и из-за удобства описания, привычно помещающего три этих фонемы в одну рубрику. Между тем, если противопоставление /*l*, *n* – *l̃*, *ñ*/ широко распространено в языках мира, то противопоставление палатального и непалатального дрожащего (/*r̃* – *r*/) представляет довольно редкое явление. Можно утверждать, что если в языке есть противопоставление палатального и непалатального дрожащего, то в нем есть противопоставление других палатальных и непалатальных сонорных[7]. Эта синхронная универсалия коррелирует с диахронической закономерностью: палатальный дрожащий является наиболее уязвимым элементом системы и при исчезновении палатальных сонорных исчезает не позднее (возможно, ранее), чем другие палатальные сонорные.

Эта закономерность реализуется и в истории славянских языков. Как было показано выше, есть основания предполагать, что /*r̃*/ совпало с /*r*/ ранее, чем / *l̃*, *ñ*/ с /*l'*, *n'*/, у восточных славян, причем эти совпадения были двумя разными, по-разному мотивированными изменениями. Утрата /*r̃*/ из **rj* имела место в сербо-

хорватском, при том что / *l̃*, *ñ* / здесь сохранились, так что и в этом случае совпадение /*r̃*/ и /*r*/ оказывается особым процессом, не имеющим отношения к судьбе других палатальных сонорных. Единственным славянским языком, в котором сохранились особые рефлексы **rj* (впрочем, не как палатального дрожащего, но в виде сочетания согласных /*rj*/), является словенский; показательно, однако, что и в нем при исчезновении палатальных сонорных в конце слова /*r̃*/ совпало с /r/ существенно раньше, чем /*l̃*, *ñ*/ с /*l*, *n*/ (Карлтон 1991, 312). Хотя утрата /*r̃*/ характеризует почти все славянские языки, нет оснований считать, что это общий для них процесс: устранение /*r̃*/ представляет собой типологически ожидаемое изменение, и поэтому в разных славянских ареалах оно может происходить вне связи одного процесса с другим. Таким образом, восточнославянские рукописи XI–XII вв. отражают реальное состояние фонологической системы, в которой наличествуют палатальные сонорные / *l̃*, *ñ* /, но отсутствует /*r̃*/ [8].

6. Подведем некоторые итоги. Адекватная интерпретация восточнославянских рукописей XI–XII вв. показывает, что в восточнославянских говорах в этот период сохранялось противопоставление палатальных и непалатальных сонантов /*l̃*, *ñ* – *l*, *n*/. Несмотря на то, что обозначения для этих фонем отсутствовали в азбуке, различные способы их фиксации проведены в ряде восточнославянских рукописей XI–XII вв. с достаточной последовательностью. Это выражается, во-первых, в незначительном количестве неоправданных употреблений таких обозначений, когда знак палатальности поставлен при непалатальном сонорном, во-вторых, в высоком коэффициенте выраженности данной оппозиции, характеризующем ряд рукописей. Особенно показательно, что в Троицком сборнике конца XII – начала XIII в. обозначение палатальных сонорных, характеризующееся высоким коэффициентом выраженности, может быть отнесено к самой рукописи (к самостоятельной работе писца), а не к ее оригиналу. Это позволяет утверждать, что оппозиция /*l̃*, *ñ* – *l*, *n*/ была свойственна восточнославянской фонологической системе еще в то время, когда завершался процесс падения и прояснения редуцированных (конец XII в.).

В отличие от палатальных сонантов /*l̃*, *ñ*/ палатальный дрожащий /*r̃*/ в восточнославянских рукописях не обозначается. Можно

полагать, что это обусловлено слиянием */r̃/* и */r/*, которое было отдельным изменением, происходившим существенно раньше слияния */l̃, ñ/* с */l', n'/* и вне зависимости от этого процесса. Устранение из фонологической системы палатального дрожащего мотивировано типологически периферийным статусом данной артикуляции как универсальным свойством языка. Следы обозначения */r̃/* обнаруживаются только в Остромировом евангелии, могут быть отнесены на счет южнославянского протографа и по типу фиксации ближайшим образом напоминают употребление знаков для */l̃, ñ/* в восточнославянских рукописях второй половины XIII–XIV вв., т. е. того периода, когда эти фонемы были утрачены фонологической системой живого языка.

Эти данные говорят о том, что утрата палатальных сонорных */l̃, ñ/* совершается после падения редуцированных. В силу этого нет необходимости постулировать отдельный процесс так называемого «вторичного смягчения согласных», якобы имевший место до падения редуцированных, приведший к формированию корреляции палатализованных и непалатализованных согласных и тем самым мотивировавший слияние */l̃, ñ/* с */l', n'/*. Утрата палатальных сонорных */l̃, ñ/* в восточнославянских (и западнославянских) диалектах действительно мотивирована возникновением данной корреляции, однако ее возникновение следует рассматривать как результат падения редуцированных, после которого в конце слова (и перед согласным) твердость-мягкость фонологизируется, что обусловливает рефонологизацию этого противопоставлениями в других позициях. Слияние */l̃, ñ/* с */l', n'/* продиктовано стремлением преобразовать трехчленную оппозицию сонантов */l, n – l', n' – l̃, ñ/* в двухчленную. Это преобразование осуществляется в конце XII–начале XIII в.

Примечания

[1] Г. Лант предпочитает думать, что отсутствие знаков для палатальных сонорных в азбуке, созданной Кириллом, было обусловлено тем, что в македонском диалекте, на который ориентировался Кирилл, палатальные совпали с непалатальными. Это позволяет спасти тезис о последовательной фонологичности первоначальной глаголицы и продолжать считать, что «for Cyril, the relation of phoneme to letter was almost a one-to-one correspondence» (Лант 1949, 41). Не обсуждая сейчас вопрос о том, какие трудности создает такой тезис для македонской истори-

ческой фонологии, замечу, что нет никаких оснований приписывать св. Кириллу установки лингвиста-фонолога, озабоченного адекватным воспроизведением фонологической системы. Отступления от фонологического принципа были и в греческой азбуке, и вряд ли св. Кирилл ощущал их как недостаток. Такого же рода отступления он мог допустить и для азбуки славянской.

[2] Для ѧ подсчеты затруднены тем обстоятельством, что эта буква приобретает в восточнославянской письменности функцию стандартного обозначения фонемы /ä/ после согласной и в этом качестве употребляется, естественно, и в тех формах, которые содержат этимологическое *ę. Коэффициент выраженности в этом случае близок к случайному вероятностному распределению. Более показательны данные для ѩ; во многих рукописях коэффициент выраженности здесь ничтожен.

[3] Понятно, что такая сознательная установка обнаруживается не во всех рукописях. Как уже было сказано, есть рукописи, в которых никакие обозначения для палатальных сонорных не употребляются. К этой категории ближайшим образом примыкает та группа памятников, в которых появляются окказиональные обозначения палатальных сонорных. Например, в ряде почерков Учительного евангелия XII в. (ГИМ, Син. 262) палатальные сонорные обозначаются с помощью йотированных ꙗ, ѥ, однако такие обозначения единичны (Голышенко 1987, 85–87); хотя «ошибочные» написания, т. е. употребление букв ꙗ, ѥ после непалатальных сонорных, практически отсутствуют, сознательная установка писца на передачу интересующей нас оппозиции, видимо, не просматривается. Такую же ситуацию наблюдаем в первом почерке ноябрьской Минеи конца XI–начала XII в. (ГИМ, Син. 161). Мы находим в ней 21 случай обозначения /l̃/ и /ñ/ с помощью ѥ, ꙗ: доблѥсти (ѥ исправлено из и) 7, колѣблѥми 21об., ѡгнѥдъхновена 40об., вьселѥнѣи 61, вес тьлꙗ 75, ємманоѹилꙗ (Acc.sg.) 75, нынꙗ 76, вьселѥноую 77, ѡскърблꙗѥама (Acc.sg. masc.) 84об., томителꙗ (Acc.sg.) 87, покланꙗти сѧ 91, ис тьлꙗ 93, дателꙗ (Acc.sg.) 96, матерьнꙗма 101об., плѣнѥниꙗ 104об., въ послѣдьнꙗꙗ 104об., въподоблѥниꙗ 130, раꙁдаꙗтелꙗ (Acc.sg.) 141об., молѥнии (ѥ исправлено из и) 145об., древлѥ 160об., благословлѥна 167. Ошибочные написания отсутствуют: в ѡгнѥдъхновена /ñ/ закономерно появляется в результате ассимиляции с /γ/ (ср.: Васильев 1913), ємманоѹилꙗ представляет собой заимствование, произношение которого писец не мог проверить с помощью разговорных речевых навыков. Остается неясным, возникает ли такая картина в силу того, что писец, умеющий в принципе обозначать палатальные сонорные, относится к этому занятию с полным пренебрежением, или в силу того, что он окказионально воспроизводит правильные формы из переписываемого им оригинала, в котором обозначение палатальных сонорных проводится достаточно последовательно.

[4] Н. Н. Дурново, выдвигая тезис о нефонологическом характере обозначения палатальных сонорных в русских рукописях XI–XII вв., несколько раз пытался сформулировать те правила, которыми мог бы руководствоваться восточносла-

вянский писец. В «Очерке» он пишет, что правильность в обозначении палатальных «в значительной степени объясняется тем, что эти буквы встречались в определенных категориях слов, которые нетрудно было запомнить: *н* с крючком — в косвенных падежах местоимения *и* с предлогами: *съ нимь* и т. п., в прилаг. *господьнь*, в существительных на *ня* или *ни*, *л* с крючком — после губных в конце основы и у существительных на *ля*, кроме того, те памятники, которые употребляли эти буквы также перед юсом малым, могли руководиться правилом, что они пишутся в глаголах на *-няти* и *-ляти*» (Дурново 1924, 145). В работе о «смягченных согласных» в Архангельском Евангелии он приводит несколько другой набор: «Для большинства случаев, в которых в старославянском были звуки *ĺ*, *ń*, орфографическое правило о правописании ꙥ, ꙥ, (ʌ̂, н̂) или лѥ, нѥ, лꙗ, нꙗ было нетрудным: *ĺ* являлось после губных перед суффиксальными гласными (въꙁлюблѥнъ, ꙁемлꙗ, крѣплѥни, оставлѥ, но влекоу), *ń* в формах местоимения н с предлогами (оу нѥго, ꙁа нꙗ, съ ѥнми, въньѥ); кроме того, *ń*, *ĺ* в глаголах 1-го спр. на *-яю*, *-ю* (оумолѥаю, глаголѥши и пр.), в причастиях на *-енъ* (въꙁбранѥнъ и пр.), в отглагольных существительных на -ѥниѥ (ꙁаколѥниѥ и пр.), в имперфектах на *-яахъ* (хранꙗахъ, оумолꙗахъ) и пр. Для того, чтобы усвоить это правило, не было надобности в знании грамматики» (1924а, 599–600). Очевидно, чтобы добиться последовательно правильных написаний, писец должен был бы запомнить категории, входящие как в первый, так и во второй список. Сомнительно, что восточнославянские писцы пользовались столь обширными наборами правил. Если бы правописание определялось правилами, следовало бы ожидать, что число ошибок будет находиться в зависимости от сложности правила (как это имеет место в новгородских рукописях, стремящихся различать *ц* и *ч* — см.: Живов 1984); в правописании палатальных сонорных такой зависимости не наблюдается.

[5] Границы этого почерка определены Н. Б. Тихомировым: «С середины л. 64, где Прологом из Пандект Антиоха черноризца начинается '2-ая часть' сборника... появляется новый почерк — первый почерк '2-ой части'... С л. 67 в этом почерке начинают появляться 'вкрапления' нового почерка (второго во '2-ой части'). Им писан текст на лл. 67 (7 строка снизу) — 68 (3 св.), 70 (с заголовка — 7 св. — до конца страницы), 75об. (10 св.) — 79 (8 св.), 81об. (вся страница), 86об. (10 св.) — 87об. (6 св.). На л. 88 (9 св.) первый почерк кончается, и далее текст пишется вторым почерком» (Тихомиров 1968, 128–129).

[6] В отличие от ѥ, ꙗ в рассматриваемом фрагменте рукописи Троицк. 12 не может считаться способом обозначения палатальных сонорных. Во многих случаях, тем не менее, ꙗ после палатальных сонорных употребляется, причем как в соответствии с ѧ антиграфа, например:

Воскр. 30	Троицк. 12
ꙋтрьнѧаго 6:1.15	оутрьнꙗго 66.3
гл҃ѧ 11:2.1	гл҃ꙗ 69.5
тьлѧ 11:9.8	тьлꙗ 69об.9,

так и в соответствии с ꙗ антиграфа, например:

възбранꙗи 6:1.72	възбранꙗи 67.1
понавлꙗеть сꙗ 7:2.1	понавлꙗеть сѧ 68.10
оскръблꙗи 25:10.2	ѡскьръ/блꙗи 74.19.

Однако ꙗ может употребляться и после других согласных, причем опять же как в соответствии с ѧ антиграфа, например:

помѧни 23:4.4	помꙗни 70об.23
мѧ 25:16.21	мꙗ 75об.11
сѧ 25:17.10	сꙗ 75об.18,

так и в соответствии с ꙗ антиграфа, например:

сꙗ 25:17.2, 25:17.3	сꙗ 75об.12, 75об.14.

Возможны вместе с тем противоположные соотношения, т. е. появление ѧ вместо ꙗ после палатальных сонорных, например:

гл҃ꙗ 7:2.33	гл҃ѧ 68об.12,

равно как и после других согласных, например:

врѣмꙗ 11:9.2	врѣмѧ 69об.3.

Наконец, ѧ антиграфа после палатальных сонорных может переноситься в апограф без замены, например:

адамлѧ Р:3.13	адамлѧ 65об.1
оставлѧеми 27:14.22	ѡставлѧкми 82об.8

Тем самым единственная функция, которая может быть приписана графеме ꙗ, – это обозначение фонемы /ä/, т. е. та же функция, что и у ѧ. Ситуация здесь аналогична той, которая наблюдается во втором почерке Архангельского евангелия и привела Н. Н. Дурново к необоснованным выводам. Как и в случае с Архангельским евангелием, никаких выводов о палатальных сонорных на основании употребления ꙗ сделать нельзя.

[7] Противопоставление по месту образования у дрожащих или флепов (апико-альвеолярный и палатальный ретрофлексный, дентальный и палатальный) широко представлено в языках австралийских аборигенов, например, в Nyangumada (О'Грейди 1960), Gugu-Yalanji (Оатс 1964), Pitjantjatjara (Гласс и Хаккетт 1970), Gogo-Yimidjir (Цваан 1969), Kalkatungu (Блейк, б. д.). Во всех этих языках то же противопоставление по месту образования имеет место и у других сонорных (латеральных и носовых). Противопоставление дорсальных и апикальных дрожащих представлено в фонологической системе гуджарати (Савельева 1965), и в этом случае это же противопоставление имеется у носовых и щелевых

сонантов. В то же время широко распространены языки, в которых противопоставление по месту образования (дентальный и палатальный, апикальный и ретрофлексный) представлено у носовых и/или щелевых сонантов, но отсутствует у дрожащих или флепов. Из славянских к числу таких языков относится сербохорватский, многочисленные примеры находим в индо-арийских языках (сингальский, синдхи, маратхи, панджаби).

[8] Следует, в принципе, различать два процесса: утрату */ŕ/* и диспалатализацию дрожащего сонанта перед передними гласными. Утрата */ŕ/* состоит в том, что палатальный дрожащий перестает отличаться от дентального дрожащего, т. е. происходит смена места образования. Этот процесс характеризует почти все славянские диалекты. В результате */ŕ/* переходит в */r/*, поскольку во всех этих случаях речь идет о позиции перед передним гласным, фонетически рефлексом палатального дрожащего оказывается [r']. Артикуляция этого звука также может рассматриваться как неудобная: «combination of the basic trilling articulation with the definitly non-trilling palatalizing movement of the tongue», как описывает ее Г. Шевелов (1979, 192). Поэтому в части тех диалектов, которые утратили */ŕ/*, было затем утрачено и [r'] – либо в результате аффрикации (польский и чешский), либо в результате замены на [r] (болгарский, украинские и южнобелорусские говоры). Это последнее изменение распространялось как на рефлексы */ŕ/* ([tvor'ü > tvoru]), так и на рефлексы /r/ перед передним гласным ([r'iza > ryza]), и поэтому собственно к утрате палатального дрожащего отношения не имело. Это фонетическое преобразование, происходившее в разных диалектах в разное время, фонологически могло выглядеть как переход палатализованного /r'/ в непалатализованный /r/, если в диалекте существовала корреляция твердых и мягких согласных (например, в южнобелорусских говорах), или как замена последующей передней гласной на заднюю гласную, если корреляция твердых и мягких отсутствовала (сербские говоры). В ряде говоров, обладавших корреляцией твердых и мягких, палатализованное /r'/ изменениям не подверглось: дрожащий остался в числе парных по твердости-мягкости звуков (севернобелорусские и русские говоры). Неверно было бы поэтому противопоставлять, скажем, русские и украинские говоры по судьбе */ŕ/* (как это делает Г. Шевелов – 1979, 192, – не различающий утрату */ŕ/* и отвердение */r'/*), различие между ними состоит в разной судьбе палатализованного */r'/* и, очевидно, возникает позднее, нежели то время, когда происходила утрата */ŕ/*.

Литература

Блейк, б. д. – *B. Blake*. A Brief Description of the Kalgatungu Language. Unpublished manuscript. Australian Institute of Aboriginal Studies. Canberra, s. a.

Васильев 1913 – *Л. Васильев*. Об одном случае смягчения звука *н* в общеславянском языке, являвшегося не посредством следующего за ним древнего *j* // Русский филологический вестник, LXX (1913), 71–76. Цит. по: *Л. Ва-*

сильев. Труды по истории русского и украинского языков. München, 1972, 449–454 [Slavische Propyläen, 94 Bd.].

Гласс и Хаккетт 1970 – *A. Glass, D. Hackett*. Pitjantjatjara Grammar: A Tagmemic View of the Ngaanyatjara (Warburton Ranges) Dialect. Canberra, 1970 [Australian Aboriginal Studies, 34].

Голышенко 1987 – *В. С. Голышенко*. Мягкость согласных в языке восточных славян XI–XII вв. М., 1987.

Дурново 1924 – *Н. Н. Дурново*. Очерк истории русского языка. М.; Л., 1924.

Дурново 1924а – *Н. Н. Дурново*. К истории звуков русского языка. II. Старославянские смягченные согласные в Архангельском Евангелии // Slavia, roč. II, seš. 4 [1924], 599–612.

Живов 1984 — *В. М. Живов*. Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI–XIII века // Russian Linguistics, vol. 8 [1984], no. 3, 251–293.

Зализняк 1985 — *А. А. Зализняк*. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

Зализняк 1986 — *А. А. Зализняк*. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // *В. Л. Янин, А. А. Зализняк*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986, 89–219.

Зализняк 1990 — *А. А. Зализняк*. «Мерило праведное» XIV века как акцентологический источник. München, 1990 [Slavistische Beiträge, 266].

Зализняк 1993 — *А. А. Зализняк*. К изучению языка берестяных грамот // *В. Л. Янин, А. А. Зализняк*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993, 191–321.

Карлтон 1991 — *T. R. Carlton*. Introduction to the Phonological History of the Slavic Languages. Columbus, 1991.

Козловский 1895 — *М. М. Козловский*. Исследование о языке Остромирова Евангелия // Исследования по русскому языку. Т. I. СПб., 1895, 1–127.

Лант 1949 — *H. G. Lunt*. The Orthography of Eleventh Century Russian Manuscripts. University Microfilms, Ann Arbor, Michigan, 1949.

Николаев 1988 — *С. Л. Николаев*. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи // Балто-славянские исследования, 1986. М., 1988, 115–154.

Оатс 1964 — *L. Oates*. Distribution of Phonemes and Syllables in Gugu-Yalanji. — Anthropological Linguistics, 6 [1964], 1, 23–26.

О'Грейди 1960 — *G. N. O'Grady*. New Concept in Nyungumada. Some Data on Linguistic Acculturation // Anthropological Linguistics, 2 [1960], 1, 1–6.

Поповски 1987 — *J. Popovski*. Najstariji par antigrafa i apografa u slovenskoj pismenosti // Paleographie et diplomatique slaves, 3.

Поповски 1989 — *J. Popovski*. Die Pandekten des Antiochus Monachus. Slavische Übersetzung und Überlieferung. Amsterdam; Nijmegen, 1989.

Поповски 1989а — *J. Popovski.* The Pandects of Antiochus. Slavic Text in Transcription //Полата кънигописьнаꙗ, № 23–24. January 1989.

Поповски, Томсон, Федер 1988 — *J. Popovski, F. J. Thomson, W. R. Veder.* The Troickij Sbornik (Cod. Moskva, GBL, F. 304 (Troice-Sergieva Lavra) № 12). Text in Transcription //Полата кънигописьнаꙗ, № 21–22. February 1988.

Савельева 1965 — *Л. В. Савельева.* Язык гуджарати. М., 1965.

Тихомиров 1968 — *Н. Б. Тихомиров.* Каталог русских и славянских пергаменных рукописей XI–XII вв., хранящихся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Ч. III // Записки Отдела рукописей ГБЛ, вып. 30, 1968, 87–156.

Трубецкой 1954 — *N. S. Trubetzkoy.* Altkirchenslavische Grammatik. Schrift-, Laut- und Formensystem. Wien, 1954 [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Sitzungsberichte, 228. Bd., 4. Abh.].

Цваан 1969 — *J. D. de Zwaan.* A Preliminary Analysis of Gogo-Yimidjir. Canberra, 1969 [Australian Aboriginal Studies, 16].

Шевелов 1979 — *G. Y. Shevelov.* A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg, 1979.

С. Л. Николаев

Histoire d'O

Противопоставление в восточнославянских диалектах различных рефлексов *о и *ъ (в «сильной» позиции)[1] давно находится в центре внимания диалектологов и историков языка.

Наряду с диалектами, в которых на месте *о и *ъ представлен единый рефлекс *о* либо ^{u}o (как в белорусском и русском литературном языках и многих белорусских, великорусских и некоторых северноукраинских говорах), широко известны диалектные системы вокализма, в которых представлено либо реконструируется противопоставление «двух *о*». Ввиду того, что «маркированный» член оппозиции, возникший в результате компенсаторного удлинения на юго-западе и «под восходящим ударением» на северо-востоке восточнославянского континуума, чаще всего выступает (либо может быть реконструирован) в виде узкого («закрытого») *ọ* либо дифтонга с узким слоговым компонентом *u̯ọ*, оппозицию «двух *о*», как правило, представляют в виде противопоставления «открытого» *о* «закрытому» или дифтонгическому *о* (например, /ɔ/ ~ /ô/ у А. А. Зализняка, см. Зализняк 1985:173). Однако в некоторых из обнаруженных недавно систем с «двумя *о*» их фонетическое противопоставление не укладывается в названную схему, поэтому в дальнейшем бинарное противопоставление «двух *о*» будет обозначаться как оппозиция /o_1/ ~ /o_2/, где /o_2/ соответствует «маркированному» /ô/.

---

[1] Рефлексы так называемого «напряженного» ъ̂ будут рассматриваться лишь в особых случаях. Без специальной оговорки «рефлексом *ъ» будет называться рефлекс *ъ в «ненапряженной» позиции (т. е. не перед *j* и не перед мягкими сонантами в кривичских по происхождению говорах). В статье не будут специально рассматриваться и огубленные гласные на месте *е и *ь.

В последнее время выяснилось, что, во-первых, существуют не только бинарные, но и тернарные системы противопоставления звуков на месте праслав. **о* и **ъ*. Фонетическая реализация «двух *о*» также представляется сейчас гораздо более сложной, чем считалось.

Во-вторых, история возникновения оппозиции «двух *о*» в восточнославянских диалектах явно не сводится к двум хорошо известным моделям, в которых $/o_2/$ восходит только к **о* в «новозакрытых» («перестроенных», в терминах А. А. Зализняка) слогах в юго-западных (белорусских и украинских) восточнославянских диалектах[2] либо к **о* под «восходящим удáрением» («автономным ударением» в терминах А. А. Зализняка) в северо-восточных (великорусских).

Имеющиеся на сегодняшний день данные восточнославянских диалектов позволяют выделить следующие системы рефлексации **о* и **ъ*[3].

I. СИСТЕМЫ С НЕАКЦЕНТНЫМ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕМ РЕФЛЕКСОВ **О* И **Ъ*

а. Юго-западные системы

Наиболее распространенной системой такого рода является бинарная система, в которой $/o_2/$ восходит к **о* в «новозакрытых» слогах (т. е. перед слабыми, отпавшими в дальнейшем редуцированными) как под ударением, так и в безударных слогах, тогда как $/o_1/$ представляет собой рефлекс **о* в прочих позициях и **ъ*. «Маркированное» $/o_2/$, по всей видимости, первоначально было дифтонгом в большинстве говоров северной части ареала (задний дифтонг *u̯ọ* либо средне-задний *ü̯ɵ̣* с узким слоговым компонентом с дальнейшим развитием в *u̯ọ*, *ü̯ɵ̣*, *ü̯y* и монофтонги *ọ*, *u̇*, *ü*, *ẙ*, *i̊*, *i*) и долгим монофтонгом (узким задним *ọ̄* или средне-задним *ɵ̣̄* с дальнейшим развитием в монофтонги типа северных) в карпатоукраинской (галицкой в широком смысле) области[4], ср. полесские (по го-

[2] В полесских белор. и укр. говорах наблюдается нейтрализация «двух *о*» в безударных слогах (типа ю.-брест. *voknó* ~ pl. *víkna)*, однако эта ситуация явно вторична и связана с монофтонгизацией любых дифтонгов в безударной позиции — ср. *xl'iw* < *xl'ⁱew* ~ pl. *xleví*, *ž'ába* ~ *žⁱaba* ~ pl. *žabí* в этих же говорах.

[3] Знаки фонетической транскрипции см. АССЯ, с. 330. В просодической реконструкции объединяются в ˜ и ⁀ соответственно традиционные ˋ и ˊ («новые акуты» краткости и долготы) и ˜ и ⁀ (соответствующие «циркумфлексы») в связи с их нефонологическим различением.

[4] Однако существует альтернативное мнение об исконности дифтонга на месте «удлиненного *о*» для всего укр. ареала — см. обсуждение этой проблемы в Kuraszkiewicz 1985.

ворам) *pụọs, pụys, nüs, nüs, nis, nis/n'is* и карп.-укр. *nvs, nus, nus, nüs/n'üs, nis/n'is* и т. п. < **nōsъ̑*. Особую проблему представляет история «вставного» *o* в последовательностях *ToRT*, о которой речь пойдет ниже.

На месте *ъ и *о в «неперестроенных» слогах во многих юго-западных белорусских и украинских говорах, литературном укр. языке представлена единая фонема, реализуемая под ударением в виде монофтонга *о* или дифтонгоида ^{u}o — например, укр. литер. *ніс* ~ gen. *нóса*; *сон*; закарп. Торунь *n'ïs* ~ gen. *n^{u}ósa*; *s^{u}on*; ю.-брест. Симоновичи *nis* ~ gen. *nósa*; *son* и т. д.

«Бинарная» система, по крайней мере в галицкой области, восходит к старой «тернарной», которая несомненно должна была существовать еще в ту эпоху, когда *о удлинилось в слогах перед слабыми редуцированными, а «сильный» ъ отличался от *о*. Как показали недавние исследования, во многих карпатоукраинских говорах и в настоящее время представлены прямые рефлексы «тернарной» системы. В общем виде генезис «тернарных» юго-западных систем может быть описан следующим образом: а) в «новозакрытых» («перестроенных») слогах *о дает рефлексы, возводимые к *ọ̄; б) в «неперестроенных» слогах *о отражается в виде фонемы /^{u}o/; в) *ъ отражается в виде фонемы /*o*/. Различие фонем /^{u}o/ и /*o*/ надежно отмечено только под ударением.

Во многих карпатоукраинских говорах отмечены рефлексы сложных систем гласных переднего ряда среднего подъема. Традиционно считается, что в украинско-белорусском ареале рефлекс «нового ятя» (удлиненного *е перед слабым *ь следующего слога) совпадает с рефлексом *ě, а рефлекс *е в прочих позициях — с рефлексом сильного *ь (ср. укр. литер. *піч* как *білий*; *нéбо* как *день*). Однако в карпатоукраинской зоне континуант «нового ятя» во многих говорах отличается от рефлекса *ě, причем предпочтительной реконструкцией первого является *недифтонгическое* *ẹ̄ — при *ě > *ịẹ̄*, ср. Торунь (Межгорский р-н Закарп. обл.) *ẹ̄ > *i* с предшествующей твердостью гу́бных и *s*, *z* при *ě > *i* с предшествующей мягкостью (*sim* < *se[d]mь ~ *s'íno* < *sěno; *pič* < *pektь ~ *b'íčı* < *běgti) и Синевир (того же р-на) *ẹ̄ > *ɨ* (передне-среднее) и *ě > *i* (переднее) с предшествующей мягкостью (*s'im* ~ *s'íno*; *p'ič* ~ *b'íčı*). Праслав. *е (неудлиненное) и *ь под ударением имеют рефлекс ^{i}e/$^{i}ẹ$ (дифтонгоиды: *d^{i}ẹn'* ~ *n^{i}ébo*). В прикарпатском говоре Банилова-Подгорного (Сторожинецк. р-н Черновицк. обл.) у информантов старшего поколения *е имеет рефлексы *ɛ/ä* с неясной дистрибуцией, тогда как *ь всегда отражается как *ä* (*dän'*, *konác* ~ *nébo/nábo* и т. д.).

Оппозиция фонем /^{u}o/ и /*o*/ засвидетельствована, в частности, в говорах с. Брод и Черный Поток Иршавского р-на, Дусина и Керецки Свалявского р-на, Синевир Межгорского р-на, Луг Раховского р-на Закарпатской обл., Битля Турковского р-на, Миженец и Засадки Старосамборского р-на Львовской обл., Тисов Долинского р-на, Красноилов Верховинского р-на, Тышковцы Городенковского р-на Ив.-Франковской обл., Банилов-Подгорный Сторожинецкого р-на Черновицкой области[5]. В некоторых карпатоукраинских говорах фонемы /^{u}o/ и /*o*/ нейтрализуются в сторону /^{u}o/ после губных, реже после велярных согласных.

Реализациями фонемы /^{u}o/ в закарпатских и западнобойковских говорах (Брод, Черный Поток, Дусина, Керецки, Синевир, Битля) являются дифтонгоиды (реже дифтонги) с узкой или широкой слоговой частью (^{u}o или ^{u}*ọ*), реализациями фонемы /*o*/ — соответствующие монофтонги *o* или *ọ* (в некоторых из этих говоров на их месте обычны задне-средние монофтонги *ɵ* и *ɵ̣*). Широкий и узкий аллофоны распределяются по известному правилу «просодической аккомодации»: узкие варианты присутствуют в слогах, предшествующих *u* и *ọ* в следующем слоге (Синевир pl. *γ*^{u}*óroɷ* ~ acc. *γ*^{u}*ọ́ru*, nom. *mox* ~ gen. *mọ́xu*, pl. *γólovoɷ* ~ acc. *γọ́lọvu*), а также в словах, в которых в любом слоге, следующем за *o*, находится мягкий согласный и/или гласный *i* (gen. *p*^{u}*ótoka* ~ loc. *u p*^{u}*ọ́tọc'ị*, *pórox* ~ loc. *u pọ́rọs'ị*; *p*^{u}*ọ́m'üč*; *γ*^{u}*ọ́spọd'*; *n*^{u}*ọ́xọt'*, instr. *p'üd n*^{u}*ọ́xt'om*; *lopáta* ~ loc. *na lọpát'i*; *n*^{u}*óša* ~ pl. *n*^{u}*ọ́ši*). Узкие аллофоны присутствуют также в таутосиллабических сочетаниях с *w* (*v*^{u}*ọ́wna*).

В говорах Прикарпатья фонема /^{u}o/ представлена «широким», «средним» или «узким» дифтонгоидами (^{u}*ɔ*, ^{u}o и ^{u}*ọ*), фонема /*o*/ — «широким», «средним» или «узким» монофтонгами (*ɔ*, *o* или *ọ*). Распределение этих аллофонов является специфическим для каждого из говоров и не существенно для темы настоящей статьи, его мы здесь касаться не будем.

Фонемы /^{u}o/ и /*o*/ имеют одинаковое праславянское происхождение во всех карпатоукраинских говорах.

1. Фонема /^{u}o/

Основным источником происхождения фонемы /^{u}o/ является праслав. **o* не в «новозакрытых» («перестроенных») слогах:

---

[5] Приводимый ниже материал представляет собой выполненную автором расшифровку магнитных записей, сделанных Карпатской экспедицией ИСБ РАН в период с 1987 по 1993 г.

а) В корнях, префиксах и суффиксах: **Син.** именные формы — *m^{u}ózok*, *s^{u}óxa*, *s^{u}ósna*, *p^{u}óle*, *m^{u}óre*, *zn^{u}ósok*, *k^{u}óšık*, *p'üdl^{u}óγa*, *p'ütk^{u}óva*, *γ^{u}ọlup*, *d^{u}ọl'a*, *n^{u}ọxọt'/n^{u}ọx'üt'*, *p^{u}ọm'üč*, *na p^{u}ọs'c'il'*, *p^{u}óxoron*, глагольные формы — praes. 3 sg. *ne x^{u}óče*, *ne m^{u}óže*, *ne wr^{u}ódıt*. **Битля**: именные формы — *m^{u}óre*, *šır^{u}ókıj*, *m^{u}ókrœj*, *m^{u}ózọk*, *s^{u}ósna*, *p'ĭδł^{u}óγa*, *pọx^{u}óǯœj*, *n^{u}óša*, *k^{u}óža*, *p^{u}óle*, *k^{u}ọrïn'*, *n^{u}ọxọt'*, глагольные формы — inf. *ur^{u}ódıtı*, 1 sg. praes. *x^{u}ọ́ču*, *x^{u}ọ́ǯu*. **Тис.** *mn^{u}ɔ́γo*, pl. dat. *k^{u}ón'ĭm*, loc. *na p^{u}ɔ́ly*, f. *b^{u}ɔ́sa*, prt. *zur^{u}óčyw*, 3 sg. *sprọm^{u}ɔ́žę*. **Тишк.** *kor^{u}ɔ́va*, f. *m^{u}ója*, 1 sg. *nę x^{u}ó^{u}č'u*, 3 sg. *l^{u}ɔ́vıt*, *m^{u}ɔ́že*, *x^{u}ɔ́č'ę*; *dv^{u}ɔ́je*; *p^{u}ɔ́tĭm*, acc. *n^{u}ɔ́γu*. **Бан.** *p^{u}óp'ĭλ*, *p^{u}ɔ́lę*, *m^{u}ɔ́rę*, 1 sg. *m^{u}ọl'u sy*, 3 sg. *pol^{u}ɔ́žyt sə*, pl. *n^{u}ɔš'i*, *k^{u}ɔ́ryn'*, *v^{u}ɔ́l'a*, loc. *w bęrł^{u}ɔ́z'i*; б) в окончаниях: **Син.** *sel^{u}ó*, *rešet^{u}ó*, *rebr^{u}ó*, *molok^{u}ó*; **Битля** *połọtn^{u}ó*, *rĭstv^{u}ó*, *mołọk^{u}ó*, *mał^{u}ó*, *krıł^{u}ó*, *pęr^{u}ó*, *čọł^{u}ó*, *tepł^{u}ó* и т. д.

Фонема /^{u}o/ является также рефлексом гласного 2-го слога «полногласных» последовательностей:

Син. *vor^{u}óna*, loc. *na dol^{u}ónı*, gen. *por^{u}óγa*, *kor^{u}óva*, *dor^{u}óγa*, *kol^{u}óda*, *sol^{u}óma* и т. д.; loc. *na ọbọr^{u}ọz'i*, *dọl^{u}ọn'*, gen. *ọr^{u}ọxu*; **Битля** *pọr^{u}óžnœj*, *kor^{u}óva*, *pọł^{u}óva*, *sor^{u}óka*, *ja mọł^{u}ọ́ču*, acc. *kọr^{u}ọvu*; **Тис.** dat. *kọr^{u}ọv'i*, pl. *u vọr^{u}óta*, 3 pl. *mọl^{u}ót'ęt*; **Тишк.** comp. *kọr^{u}ɔ́čče*, *kor^{u}ɔ́va*; **Бан.** *kọr^{u}ɔ́va*, *sor^{u}ɔ́ka*, *vọr^{u}ɔ́na*, *mọł^{u}óč'u* и т. д.

Следует заметить, что в карпатоукраинских говорах наиболее последовательно проведена система с отсутствием могущего считаться фонетическим удлинения «вставного» гласного рефлексов *ToleRT* в «новозакрытых» слогах. Ср. материал синевирского говора: coll. *kọl^{u}ọs'a*, *vọl^{u}ọs'a*, *or^{u}óx* 'горох', *mor^{u}ós*, *xvor^{u}óst*, *čęrę́šn'a*, *béreh*, *ž^{u}ólọp*, *vóron*, gen. sg. *mọlọt'c'á*, gen. pl. *bez vor^{u}ót*, *beréz*, *vor^{u}ón*, prt. *mọl^{u}ọw*, *kọl^{u}ọw*, уменьш. *kọr^{u}ọwka*, *dor^{u}óška*, *borotká* и т. п. Редкие отклонения типа *ọbọr'üh* (< **oborgъ*), *pọrüh* (< **porgъ*, имеющий рефлексы **ō*/**uo* во всех укр. говорах) и *dọr'ü̃ška* (наряду с *dor^{u}ọška*, см. выше) нуждаются в особом объяснении, но не являются доводом в пользу регулярного удлинения **o* в данной позиции.

Однако наличие бо́льшего количества нерегулярных с точки зрения карпатоукраинской системы форм типа *бopíдкa*, gen. pl. *голíв* и им подобных в северноукраинских и южнобелорусских полесских говорах позволяет предположить, что для последних характерна иная система развития второго гласного в рефлексах *ToleRT*, а украинская литературная система и системы средне- и восточноукраинских (волынских, киевско-полтавских и т. п.) говоров должны быть признаны компромиссными между полесской и юго-западной.

Дело в том, что в южнобелорусских говорах с противопоставлением двух ударных *о* в рефлексах *ТоlеRТ* удлинению, как правило, не подвергаются только гласные в рефлексах праслав. двусложных форм nom.-acc. sg. masc. типа **morzъ*, **gorxъ*, тогда как во всех прочих формах (в том числе в приставочных) удлинение последовательно проведено. В качестве примера приведем полную выборку материала белорусского слуцкого говора д. Чудина из работы: *Сержпутовский А. К.* Грамматический очерк белорусского наречия дер. Чудина Слуцкого уезда Минской губернии. — ОРЯС, т. 89, № 1, 1911 (примеры цитируются в транслитерации; на месте неудлиненного **о* и **ъ* в этом говоре присутствует рефлекс */о/*): gen. pl. *baru̯ód* 18, *varu̯ót* 19, 35; prt. *sc'eru̯óγ* 10; приставочные формы: *zdaru̯ów* 60, *az'eru̯ó̯d* 49, *padv'eru̯ó̯d* 50; composita: *čartapału̯ó̯x* 53, *kałavaru̯ó̯t* 32; coll. на *-ьje*: *pału̯óz'ja* 32, *b'ezγału̯ówje* 60, *zdaru̯ówje* 60; diminutiva: *daru̯óžka* 5, *daru̯óžan'ka* 7, 28, *karu̯ó̯vačk'i* 5, *γału̯ówka* 42, 52, pl. *γału̯ówk'i* 51, 52, *kału̯ó̯dka* 49, *kału̯ó̯dačka* 49, *varu̯ó̯žka* 50, *b'eru̯ózka* 53 (слово *saróčka* 49, 58, видимо, является инодиалектным заимствованием); прилагательные на *-ьn-* и производные от них: *mału̯óčny* 13, *xału̯ódny* 26, **padaru̯óžny* 65; *padvaru̯ótn'a* 49, *skavaru̯ódn'ik* 50. Ср. *γaróx* 52: других примеров на развитие слов подобного вида в цитируемой работе нет, однако надежных данных о рефлексах типа **γoru̯óx/*γorọ́x*, **moru̯ós/*morọ́s* в белорусских говорах типа чудинского не имеется.

Нерегулярность и «морфонологизированность» удлинения «вставного» *е/о* в украинских системах типа литературной позволили выдвинуть гипотезу о зависимости этого удлинения от праславянской просодии: по мнению Л. А. Булаховского, оно первоначально проводилось в слогах, имевших новоакутовую интонацию (Булаховский 1947; 1961). Аргументированная критика этой гипотезы содержится в работе А. А. Зализняка (Зализняк 1985:160—163). Изучение белорусских и украинских говоров с юго-западной системой рефлексации **о* заставляет дифференцированно относиться к данным различных диалектных ареалов. Утверждение А. А. Зализняка о вторичности форм типа *борíдка* верно для карпатоукраинской (галицкой) области, но неверно для полесской зоны. Гипотеза Л. А. Булаховского в авторской формулировке не находит поддержки в диалектном материале. Однако нетривиальность дистрибуции удлиненных и неудлиненных «вставных» *о* и *е* в «циркумполесской» зоне позволяет предположить ее просодический источник: из материала следует, что удлинение «вставных» *е* и *о* происходит в многосложных словах (в слогах со «старым» и «новым» акутом) и

в двусложных формах с новоакутовой интонацией (ср. Чуд. *yoróx* < **gõrxъ* без удлинения при *sc'eru̯óy* < **stẽrglъ* с удлинением) и в формах gen. pl., в которых долгота конечного -ъ̄ < *-*ōm* (см. Основы славянской акцентологии, с. 17) имеет особые квантитативно-интонационные рефлексы во всех слав. языках (*baru̯ód, varu̯ót*). Таким образом, гипотеза Л. А. Булаховского сохраняет свою ценность хотя бы как попытка связать юго-западное удлинение с праславянской просодией.

Фонема /^{u}*o*/ присутствует также во всех названных карпатоукраинских говорах на месте *ъ в рефлексах последовательностей *TъRT* (при том что рефлексом сильного *ъ в прочих случаях является /*o*/, см. ниже):

Син. *k^{u}órč*, pl. *k^{u}ọ́rčị*, *γ^{u}órp*, gen. *γ^{u}órba*, *t^{u}órh*, *k^{u}órčma*, *v^{u}ọ́wna*, *s^{u}ónce*, loc. *na s^{u}ónci*, *d^{u}ọ́wh*, f. *d^{u}ọ́wžna*, *st^{u}ọ́wp*, gen. *st^{u}ọ́wpa*, *v^{u}ọ́wk*, gen. *v^{u}ọ́wka*, *p^{u}ọ́wx*; **Битля** *k^{u}órč*, *b^{u}óršč*, *γ^{u}órp*, *t^{u}órx*, *s^{u}ónce*, *v^{u}ọ́wk*, *p^{u}ọ́wnωj*, *d^{u}ọ́wγ̇ıj*, *d^{u}ọ́wx*, *st^{u}ọ́wp*; **Тис.** *m^{u}ɔ́rkọw*; **Тишк.** adv. *d^{u}ọ́wγọ*, f. *p^{u}ɔ̊́ʌna*; **Бан.** *s^{u}ọ́ncẹ*, *m^{u}ɔ́rkọva*, *k^{u}ɔ́rč'ma*, *b^{u}ɔ́rš'š'*, *γ^{u}ɔ́rłọ*, *γ^{u}ɔ́rp*.

2. Фонема /*o*/

Обычно эта фонема является рефлексом сильного *ъ (кроме описанных выше рефлексов **TъRT* > *T^{u}oRT*):

а) в корнях слов, в суффиксах: **Син.** *dóšč*, *móx*, loc. *u móxovı*, *rót*, *són*, *vóš*, *tóčna práwda*, adv. *tóčno*, *vón*, *tót*; *mostók*, *kutók*, *v'ịnók*, 3 sg. *ne zdóxne*; *krọ́w*, *ostrọ́w*; **Битля** *c'v'itók*, *p'isók*, *mostók*, *són*, *dóšč*, *vóš*, *móx*, *rɔ́t*, *krọ́w*, 3 pl. *zdọ́xnut*; **Тис.** prt. *zasɔ́x*, adv. *krọ́w*; **Тишк.** *brɔ́w*, pl. *brɔ́vı*, *postɔ́k*, *capɔ́k*; **Бан.** *sɔ́n*, *mɔ́x*, *zamɔ́k*, *bɔ́č'ka*, *vɔ́š*, *dɔ́š'č'*, *ıγɔ́łka*, *krɔ́w*, pl. *brɔ́vy*; gen. pl. *v'ikɔ́n*, *ž'inɔ́k*; *m'i^{u}stɔ́a̭k*, *v'ịnɔ́k*, *p'ịsɔ́k*; б) в окончаниях: **Син.** instr. *rešetóm*, *xrestóm/krestóm*, *selóm*, *v'ịdróm*, *stolóm*, *polotnóm*, *za küzlóm* и т. д.; **Битля** *p'i̊t xrẹstóm*, *za sẹłóm*, *s pẹróm*, *za stołóm*; **Тис.** instr. *ri̊zdvɔ́m*, *čẹsnykɔ́m*; **Тишк.** instr. adv. *l'ivakɔ́m*; **Бан.** acc. *rešẹtɔ́m*, *xrẹstɔ́m*, *za sẹlɔ́^{u}m/sẹłɔ́m*, *stọłɔ́m*.

Фонема /*o*/ в карпатоукраинских системах находится также в первых слогах «полногласных» рефлексов праслав. *ToRT*:

Син. *γólot*, *γólos*, *kólos*, *pórox*, *vólos*, *vóroh*, *xólot*, pl. *bórodω*, *bórozdω*, *tóloka*, *vóron*, pl. *γólovω*, adv. *γólosno*; gen. *γọ́lọdu*, *γọ́lọsu*, *pọ́rọxu*, gen. pl. *vọ́rọγ'ụ̈*, loc. *u xọ́lọd'ị*, acc. *stọ́rọnu*, *γọ́lọu̯/γọ́lū*, loc. *u vọ́rọs'ị*; **Битля** *γółot*, *vórox*, *vółọs*, *vórọn*; **Тис.** acc. *na γɔ́lọvu*; **Бан.** *vɔ́rọn*, *kɔ́rop*, *xvɔ́rọst*, *γɔ́łot*.

Судя по этому, формально карпатоукраинские рефлексы праслав. *TorT*, *TolT/TelT* восходят к промежуточным стадиям *Tъ̥roT*,

Tъ̥loT (см. выше материал по рефлексам «вставного» гласного «полногласных» последовательностей в виде фонемы /^{u}*o*/).

Видимо, последовательности *TorT*, *TolT*/*TelT* по крайней мере в ю.-западном украинском ареале имели развитие, подобное лехитскому (в польском, как известно, слова типа *złoto* первоначально имели вид **zъ̥loto*, о чем говорит их морфонологическое поведение в польском[6]), однако укр. *ъ в первом слоге «полногласия» ведет себя как «сильный ер»[7].

В то же время «вставное» -*o*- является «не совсем обычным» **o*, не удлиняющимся в слогах перед слабыми редуцированными. Видимо, *удлинение *o (и *e) происходило раньше падения редуцированных*, одновременно с формированием различия между «сильными» и «слабыми» ерами. Дело в том, что для украинской (и юго-западной белорусской) диалектной зоны характерен полный параллелизм развития исконно кратких гласных, причем выделяются две позиции: 1) сильная — в слогах перед слабыми редуцированными; 2) слабая — в остальных случаях:

	Сильная позиция	Слабая позиция
**o*	*ō*	*o*
**e*	*ē*/'*ō*	*e*/'*o*
*ъ	ъ̥	нуль звука
*ь	ь̥/ъ̥	нуль звука

Следовательно, мы можем предположить, что метатеза *ToRT* > *TъRoT*, *TeRT* > *TьReT* произошла *после* удлинения **o* и **e* — этим объясняется сохранение *o*, *e* во вторых «новозакрытых» слогах «полногласных» сочетаний.

Рефлекс /*o*/ присутствует в карпатоукраинских говорах также в рефлексах **orT*-, что, видимо, предполагает развитие **ort*- > **orъt*- > **rъ̣t*-:

Син. 3 sg. *zróbıt s'a*, *róbıt*, *zróbıt*, 2 sg. *zróbıš*; gen. *rọstu*, 3 pl. *rọbl'at*, *ızrọbl'at*; **Битля** 2 sg. *zróbıš*; **Тис.** pl. *zrŏslyŋky*; **Тишк.** 3 pl. *rŏb'jıt*.

6 См. *Klemensiewicz Z.*, *Lehr-Spławiński T.*, *Urbańczyk S.* Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 1955. S. 124.

7 Ср. поведение ъ и ь в северо-западных великорусских (псковско-кривичских и западноновгородских) говорах в основах с «вторым полногласием»: *верёх*, *столóп* и т. п.

6. Северо-западная (кривичская) система. Рефлексы **о* и **ъ* в говорах ильменско-словенского происхождения к западу от Новгорода

В кривичском по происхождению архаическом говоре пос. Ильинó Западнодвинского р-на Тверской обл. и в близких к нему говорах окружающих деревень (далее весь материал будет рассматриваться как принадлежащий к единому ильинскому говору; ниже приводятся расшифрованные автором примеры из магнитофонных записей, сделанных О. А. Абраменко и М. Н. Толстой в сентябре 1995 г.) обнаружена система с различением «двух *о*», также не связанная с рефлексами старых интонаций. Ильинский говор сохраняет типичные рефлексы древнего кривичского говора, расположенного на границе древних смоленского и верхневолжского кривичских диалектов: регулярная окситонеза косвенных падежей ед. ч. *о*-/*u*-основ м. р. при сохранении старой акц. парадигмы основ с «полногласием» (*γrép*, gen. *γrabá*; *dúp*, gen. *dubá*; *nuós*, gen. *nasá*; *buórъw*, gen. *bъravá*; *kuórъp*, gen. *kъrabá* и т. п.) и ср. р. (*z'aruó* 'озеро'), развитие **dja* > *γa* (**pǫdjati* > *puγác'*), **stja* > *ska* (**pustjati* > *puskác'*, **po-čistjati* > *pačískъc'*), **xě* (до действия II палатализации) > *še* (**xěrъjь* > *šərýj*) и т. д. (см. Николаев 1988 и 1989).

В ильинском говоре под ударением различаются две фонемы «типа *о*»: /*ө*/ (гласный средне-заднего ряда, обычно среднего подъема; спорадически в закрытых слогах отмечается дифтонгоид [*ө^{u}*], после губных и велярных — дифтонгоид [*^{u}ө*]); этой фонеме противопоставлена фонема /*uo*/ — как правило, задний дифтонг; особый (средне-задний) аллофон ‹*uө*› присутствует перед *j*. Нейтрализация двух фонем под ударением происходит лишь в одной позиции: в закрытых слогах после *r*, однако различие «восстанавливается» в открытых слогах: *γrөm*, но gen. *γruómʌ*; *pʌkrөj*, но gen. *pʌkruөjъ* — ср. *kʌrөvʌ*, gen. pl. *kʌrөw* и т. д. (о трактовке последовательностей *ToRT* и *oRT*- см. ниже). В ильинском говоре потивопоставление /*ө*/ и /*uo*/ параллельно, с одной стороны, оппозиции переднего монофтонга /*e*/ (из слав. **e*, **ь*: *ʒ'év'ɪc'*, *v'és'ẹłъ*; *ʒ'én'*, *p'én'*) дифтонгу /*ie*/ (из слав. **ě*, а также из **e* в «новозакрытых слогах»: *ʒ'iéłъ*, *b'iéłyj*; *p'iéč*, *p'iéčka* при pl. *p'éči*; *s'iém*, *šɪés'* при *s'ém'ẹrъ*, *šə́s's'ẹrъ*) и, с другой стороны, средне-заднего /*u*/ (из слав. **ǫ*: *dúp*, *łúx*, *súk*, *múkʌ*) заднему /*u*/ (из слав. **u*: *łúk*, *súkʌ*, *múxъ*).

«Ненапряженное» слав. **ъ* имеет в ильинском говоре рефлекс /*ө*/: *baγөr*, *čẹxө^{u}t*, pl. *zdẹ́xl'ɪ*, *zasөx*, *dөš*, *kłөk*, *rөš*, *krөt*, acc. *b^{u}өčku*, gen. *bөčk'ẹ*; в суффиксах и флексии: *bratөk*, *čełnөk*,

čẹr'enók, česnók, časnóᵘk, kusók, instr. *pъłatnóm, k'ip'ätkóm* и т.д. Такой же рефлекс имеет ъ в последовательностях *TЪRT*: *pọ̊lnъtʌ*, gen. *pᵘọ̊lnъtы, dółx, γórb* и др., а также «вставной» ъ: *aγón'*.

«Напряженный» *ъ̂ в окончании им. п. прилагательных м. р. под ударением также имеет рефлекс /ө/: *pustój, mъłʌdój, kr'ivój* и т.д., однако, по всей видимости, после велярных он первоначально отражался как неогубленный *ə с последующим переходом в *e* и смягчением согласных (процесс, аналогичный развитию **ky* > *k'i*): *kak'éj, tak'éj γn'ẹ́w, druγ'ẹ́j* и т.д. В записях представлены и формы с видимо заимствованным из других основ окончанием *-ój*: *kakój, takój, druγój*. В презенсах глаголов с корнями на *-y* «напряженный» ъ̂ всегда имеет рефлекс /ы/: *krы́ju, rы́ju, mы́jẹc'*, imp. *mы́j, zʌkrы́j* и т.д. Является ли этот рефлекс результатом фонетического развития *ъ̂ в слогах не перед «слабыми редуцированными» или возник по аналогии с формами типа inf. *mы́c'*, prt. *mы́łʌ*, представляет собой особую проблему (материал других кривичских по происхождению говоров говорит скорее в пользу первого предположения — см. Николаев 1988). О том, что в окончаниях прилагательных типа *-éj*, *-ə́j* мы имеем дело с рефлексами звуков типа ъ, говорит тот факт, что в русских и белорусских говорах с диссимилятивным аканьем рефлекс нового (не выпадающего) *ъ диссимилятивного происхождения (*въда́/вэда́/выда́* при dat. *вад'е̂*) как правило совпадает с рефлексом *ъ̂ в прилагательных и глаголах. Например, в брянском ареале «случаи с гласным *э* на месте ъ в диссимилирующей позиции обнаружены лишь в тех говорах, где известно произношение *э* на месте *ы* под ударением в известных случаях (*молодэ́й, мэ́ю, крэ́й* и т.п.)» (Пеньковский 1966:116, примеч. 2) — ср. приводимые там же формы *дэч'ка́, пэн'а́л'и, пэха́л'и, кэша́ра* и т.д.

Рефлекс «напряженного» *ъ̂ во многих кривичских по происхождению говорах (в основном псковских) отмечается не только перед *j*, но и перед исконно мягкими сонантами и сочетаниями *сонант+j* < -**Rьj-* (в других кривичских по происхождению говорах здесь отмечаются рефлексы *ъ̂ > *ө, ə, ы* — см. подробно Николаев 1988). В ильинском говоре в этой позиции присутствует /ө/: *udól', pʌddón'jʌ*.

Фонема /ө/ регулярна также во втором слоге «полногласных последовательностей»: *γaróx*, gen. *γaróxʌ, kʌróvъ*, gen. *karóv'ẹ*, acc. *kʌróvu, xaróšəj*, gen. sg. *xaróšẹγʌ*, f. *xaróšъjʌ*, pl. *xaróšəi, zdaróvыjɪ, marós*, gen. *mʌrózъ*, coll. *kʌłósᵗʲъ*, также *ładón'*, loc. *nъ ładón'i* (слав. **dolnь* с метатезой).

Судя по всему, «вставное» *o* в кривичском ареале первоначально отличалось от обычного **o* и имело рефлекс, близкий к *ъ, ср.

ə/ы в псковских рефлексах *(*o*)*bolnьje* 'болотистое место' в говорах, где такие же рефлексы отмечены на месте «напряженного» *ъ̂: *в балэ́ньях, балэ́ньи, балы́нья* (при укр. *болóння*, польск. *błonie*), ср. также отмечаемые в северо-западных и северных говорах формы типа *пóлымя* (проникнувшее и в литературный язык), *шóлымя*, *гóлымя* — см. Николаев 1988:123—124. В этом «кривичская» протосистема кардинально отличается от юго-западной: в последней последовательности *ToRT* претерпевали своеобразную метатезу, превращаясь в *Tъ̥r[o]T* (см. выше), тогда как в «кривичских» говорах метатезы не происходило, однако в первом слоге «полногласия» под ударением также обнаруживаются рефлексы, аналогичные рефлексам *ъ̥, т. е., в данном случае, /ө/ в ильинском говоре: *bө́rъw*, *γө́łъ̣t*, gen. *γө́łъ̣dʌ*, *γө́rъt*, *xarө́šyj kө́łъs*, *γө́łъs*, gen. *γө́łъsʌ*, *xө́łъt*, *sө́łъt* и т. п.

Трактовка *ToRT* в виде *Tъ̥Rъ̥T* крайне любопытна и нуждается в дополнительных исследованиях и исторической интерпретации. В частности, обращает на себя внимание общеизвестная сев.-лехитская и полабская трактовка *TorT* в виде *TarT*, а также *TolT* в виде *TałT*/*TołT* в исчезнувших периферийных (поморских и полабских) зап.-славянских диалектах. В частности, по имеющимся данным, в говоре Руяна (Рюгена) совпадают рефлексы *TorT* и *TъrT* (в *TarT*), а рефлексы **TolT* и **TЪlT* также совпадают в *TołT*, хотя *TolT* может развиваться и в *TłoT* (см. Lehr-Spławiński 1966). Не исключено, что формы типа сев.-кашуб. *karva*, полаб. **korvŏ* являются рефлексами промежуточных форм типа **kъ̥rva* ~ **kr̥va* — ср. аналогичную трактовку «вставных» еров в виде «слабых» в южнолехитских диалектах (*kłos* < *kъ̥losъ̥*) при «сильных» в юго-западных украинских (син. *kólos* < *kъ̥losъ* < **kȏlsъ* при *solᵘóma* < ? **sъ̥lóma* < **sőlma*).

Как уже было сказано, праслав. **o*, независимо от интонации, под ударением имеет ильинский рефлекс /*u̯o*/: *bu̯ọ́k*, gen. *iz bu̯óka*, acc. *w pu̯ól'ʌ*, loc. *pa pu̯ól'u*, *bu̯ɔ́p*, *γaspu̯ód' bu̯ɔ́x*, *ad γu̯óspъdʌ bu̯óγa*, *ws'ü̯ө́ naru̯ód'itsʌ*, *katu̯órыj*, *w γu̯ós'c'i*, *w bru̯ót*, *dъ s'ìx pu̯ór*, *mu̯óžnъ*, *b'ẹrłu̯óx*, gen. *b'ẹrłu̯óγa*, pl. *b'ẹrłu̯óγ'i*, *r'adu̯ówkʌ*/*r'ädu̯ówkʌ*, 2 sg. *paγu̯ón'iš*, *zʌγavu̯ór*, *nu̯óžыk*, *tu̯ól'kъ*, pl. *ku̯órn'ı*, loc. *pa ku̯óžẏ*, *du̯óm*, gen. *du̯ómʌ*, *dru̯óst*, *dvu̯ór*, *xu̯ór'*, pl. *rъzγavu̯órы*, *γu̯ót*, gen. *n'ıdnʌγu̯ó γu̯ódʌ*, *γu̯ółẏp'*, *γvu̯ós'c'*, *xvu̯óst*, *ku̯ós's'*, 1 pl. *xłъpu̯óčə̣m mы*, *ku̯óγъ̣c'*, pl. *ku̯óxc'ı*, *ku̯ół*, *ku̯óm s'n'i̯éγʌ*, *ku̯ón'*, pl. *ku̯ón'i*, *kъłaku̯ół* и др. В служебных морфемах: loc. *w płaxu̯óm bыtú*, *patu̯óm*; gen. *radnu̯óγʌ*, *n'ikaku̯óγʌ*, *druγu̯óγъ*, *s'aγu̯ón̄'ı*; *svъȷ̇γu̯ó*, *n'ıdnaγu̯ó*/*n'ınnaγu̯ó*, *jaγu̯ó*; *xtu̯ó*, *xtu̯ó-tъ*, *štᵘò*, *anu̯ó*, *z'äru̯ó* 'озеро'.

Особые аллофоны перед *j* и после *r* (см. выше): *γnu̯ө́j*, gen. *γnu̯ө́jʌ*; *bu̯ө́j*; *svu̯ө́j*, *pʌ mu̯ө́jmu*; instr. f. *tʌku̯ө́j*, gen. f. *n'ikʌku̯ө́j*, nom. n. *taku̯ө́i̯ъ*; adv. *damu̯ө́j*; *γrө́m*, gen. *γru̯ómʌ*; *ukrө́p*, gen. *ukru̯ópʌ*; *pakrө́j*, gen. *n'i̯ét xarө́šəγʌ pakru̯ө́jъ*, pl. *pakru̯ө́ji*.

Видимо, в ряде северо-западных великорусских говоров (возможно, ильменско-словенского происхождения) к западу от Новгорода в результате взаимодействия с кривичскими системами не возникло различие «двух *о*» в зависимости от праславянских интонаций. Такое различие несомненно было в «восточноновгородских» (ильменско-словенских по происхождению) говорах к востоку от линии Волхов — Ильмень — Ловать — Селигер, на что указывает материал как современных говоров (см. ДАРЯ, вып. 1, карта 42), так и старорусских памятников (в частности, впервые различие «двух *о*» акцентного происхождения обнаружено Л. Л. Васильевым именно в староновгородских памятниках, см. Васильев 1929). Напротив, в кривичской зоне акцентное происхождение различия между «двумя *о*» не отмечается. В «западнословенских» говорах, судя по всему, сформировалась система, внешне близкая к описанной выше ильинской по принципу организации (в общем случае /o_1/ из *ъ и /o_2/ из любого **о*). Однако, судя по трактовке «полногласных сочетаний», «западнословенская» система больше напоминает описанную выше юго-западную.

В северо-западном великорусском говоре д. Невское (Свинорт) Солецкого р-на Новгородской обл. под ударением обнаружено фонологическое противопоставление дифтонга /*u̯o*/, в общем случае восходящего к **о*, и /*о*/, в общем случае восходящего к *ъ (в безударных слогах эти фонемы нейтрализуются в *о*/*ъ*). Ниже приводятся примеры, выписанные автором из магнитофонной записи текста, сделанной А. В. Тер-Аванесовой и М. Н. Толстой в 1992 г.:

1. Фонема /*u̯o*/

bu̯ók, instr. *bu̯ókъm*, *du̯óm*, adv. *du̯óma*, *grᵘóm*, *gu̯óda*, *gu̯ódъm*, *gu̯ódы*, voc. *γu̯óspъd'i*, pl. *mu̯ózg'i*, instr. *nu̯óč'ju*, *na płu̯óššət'*, *płu̯óxъ*, *pu̯ós'l'i*, *pu̯ót*, *sku̯ókъ*, *su̯ól'*, *stu̯ók*, *tu̯ól'kъ*, *tu̯ókъ*, *v vu̯ódu* (3×), *xu̯ót*, *zvu̯ón*, gen. *zvu̯ónu*, *bъγoru̯ód'ic·a*, *bu̯ól'še*, *pobu̯ól'še*, *domu̯ój*, *du̯ól'a*, *dvu̯ór*, *času̯óv'enka*, *gru̯óznaja*, *pu̯ósl'i*, *ku̯ón'i*, gen. *ku̯ón'ej*, *kotu̯órъja* f., *u kotu̯órых*, *kotu̯órыji*, *ku̯ót*, *mnu̯ógъ*, *mnu̯ógъže*, *o̯bmołu̯ót'at*, *posmu̯ótr'iš*, 3 sg. *mu̯óže*, *-š*, *mu̯óžnъ*, *naru̯ót*, gen. *naru̯ódu*, *-tъ*, *vыnu̯ós'at*, *nu̯óvыj*, *u̯ón*, *u̯óstrыj*, *p'iru̯ók*, 2 sg. *pu̯ód'oš*, gen. *poku̯ójn'ika*, *pu̯ómn'u*, *potu̯óm*, *pozapru̯óšłыm*, *pu̯óst*, *pr'istu̯ól'nыj*, *popru̯ós'im*, *robu̯ótы*, *robu̯ótat'*, *pъrobu̯ótal'i*, *robu̯ótn'ikъf*,

sku̯ót, sołu̯ómu, stru̯óits'a, stru̯óil'is', tu̯óže, n'e tru̯ógъl'i, pl. verxu̯óv'ja, vu̯ód'at, na Vodu̯ókšu, n'e xu̯óč'e, 2 sg. *xu̯óčeš, xu̯óš, sxu̯ód'iš,* 3 pl. *xu̯ód'a, ne xu̯ód'at, xvu̯óst, zvu̯ón'it, -at; pu̯óm'er, -ła, pru̯ódał, pru̯ódъl'i,* acc. *f pru̯ółubu,* loc. *f pru̯ółubы, pru̯óstыn', pru̯ózv'išše,* gen. *n'iku̯óvъ, taku̯óvъ, vos'mu̯óγa; zъ kъl'odu̯ój,* n. *taku̯óje,* instr. adv. *v'osnu̯ój,* instr. *s'v'atu̯ój vodu̯ój, za vodu̯ój, z'imu̯ój;* gen. pl. *s'v'etu̯óf; č'istu̯ó, mъłoku̯ó, rъžestvu̯ó, s'ełu̯ó;* prt. *sn'osłu̯ó; xtu̯ó, n'iktu̯ó, štu̯ó, štu̯ó-š;* gen. *n'ič'ovu̯ó, čovu̯ó-tъ, fs'ogu̯ó;* adv. *damnu̯ó.*

Непоследовательно /*u̯o*/ представлено в рефлексе окончания instr. sg. *o*-основ, в большинстве восточнославянских диалектов полностью замененного на окончание *u*-основ -**ъm*: *s'erpu̯óm-tъ, s'erpu̯óm* (неск. раз), *za stołu̯óm,* adv. *krugu̯óm* — но *zъ s'ełóm.*

В свинортском говоре «напряженное» *ô в кривичских позициях (см. выше) имеет рефлекс /*u̯o*/: m. *drugu̯ój, kaku̯ój, suxu̯ój, taku̯ój; nakru̯ójiš,* imp. *zakru̯ój, já mu̯óju, já ru̯óju; vdu̯ól'* — при гдов. *вдыль,* pl. *odu̯ón'ja* (ср. *odónka* f., pl. *odónk'i*) при *одэ́нье/оде́нье/оды́нье* в псковских говорах.

2. Фонема /*o*/

bagór, pl. *bóčk'i, z bóčkam, brós'iš, brós'at, b'ezdónnыj, odónka* f., pl. *odónk'i, nón'čə, róš* (passim), *són, sónnыj, tót, stołóp, vółk, zalóbъk* (*zalъbъkъ), *z zołófkъj; čełonók, do okóška,* pl. *v okóšk'i* (но и *oku̯óška*), *potołók, v'enók, dróvn'i.*

Исключения представлены примерами *ogu̯ón'* (2×), *kusu̯óč'ek* (2×), *tu̯ónkoje.*

В отличие от галицких говоров, в рефлексах *TъRT/TьlT* также обнаруживается фонема /*o*/: *dówgыj, dółъžen, górp, zgórb'iłs'a, kórъm,* gen. *kórmu, mółъn'ja,* f. *półna/pu̯ółna, potórneš.*

Фонема /*u̯o*/ является рефлексом «вставного» *o* в *ToRT*: *na doru̯ógu, doru̯ógъj, doru̯óška, goru̯óx, s kołu̯ócca, koru̯óva,* gen. *koru̯óf, koru̯ófka, poru̯ók, voru̯óna, k voru̯ótъm, pъ voru̯ótъm, xoru̯óšъja, xoru̯ó šeje, xoru̯óšы, -ji.* Достаточного материала по рефлексации начального *o* в *ToRT* не имеется.

Видимо, системы с «кривичским» или «восточно-ильменско-словенским» принципами различения /o_1/ и /o_2/ представлены и в других говорах данного ареала, в частности, в заонежских говорах северопсковского и западноновгородского происхождения — см. Тер-Аванесова 1989, с. 220 (к сожалению, материал, приведенный в этой работе, не дает возможности установить трактовку обоих *o* в рефлексах **ToRT* и **oRT*-).

II. СИСТЕМЫ С АКЦЕНТНЫМ ПРОИСХОЖДЕНИЕМ РАЗЛИЧИЯ РЕФЛЕКСОВ *о

а. Тональные системы

В 1993—1996 гг. в четырех говорах центрального ареала восточнославянского диалектного континуума были обнаружены тоновые (интонационные) противопоставления на ударных слогах. Речь идет о говорах д. Зале́сье Чечерского р-на Гомельской, с. Плёхов и Москали́ Черниговского и с. Бакла́нова-Мураве́йка Куликовского р-на Черниговской обл. Материал этих говоров записан на магнитофон автором (Залесье), М. Н. Толстой, З. Г. Ярошенко (Плёхов и Москали), М. Н. Толстой и автором (Бакланова Муравейка) и дешифрован автором. Были сделаны тонограммы отдельных слов (в основном односложных существительных м. р.) с помощью программы WinCECIL (см. примеры в Приложении).

Во всех четырех говорах в односложных формах имеется оппозиция двух интонаций на гласных (монофтонгах и дифтонгах), условно могущих быть названными «восходящей» и «нисходящей». В наиболее изученном говоре с. Плёхов в односложных словах в условиях нейтральной фразовой позиции (иными словами, в «назывных» предложениях, состоящих из одного слова) противопоставлены восходяще-нисходящая (ср. рис. 18, 20, 24 и др.) и нисходящая (рис. 17, 19, 23 и др.) интонации. В говоре Б. Муравейки противопоставлены интонация восходящая (иногда падение тона наблюдается в самом конце гласных) и нисходящая (см. рис. 43—50).

В говорах Плёхова и Москалей тональные (интонационные) противопоставления фиксируются на всех гласных, в говоре Залесья, видимо, они нейтрализуются на гласном *а*, в говоре Б. Муравейки наблюдается тенденция к распространению нисходящей интонации на односложные формы с *о*, *u̯о* и *а*.

Ниже приводится список *о*-, *u*- и частично *i*-основ говора с. Плёхов (интонации установлены по тонограммам), из которого

---

[8] Просодия многосложных слов нуждается в особых комментариях и дополнительном изучении. Подробный анализ восточнополесских тональных систем автор предполагает дать в отдельной работе.

[9] Автор выражает глубокую признательность уроженке и жительнице этого села З. Г. Ярошенко (Симончук), которая, будучи превосходной информанткой и собирательницей данных родного говора, проявляет искренний интерес к просодическим системам сопредельных говоров. Именно благодаря ее поискам удалось записать системы сёл Б. Муравейка и Москали.

видно, что в большинстве случаев восходяще-нисходящая интонация восходит к праславянским «старому» и «новому» акутам, а нисходящая — к праславянскому циркумфлексу (т. е. нисходящей интонации)[10].

Есть лишь одно важное исключение: распределение плёховских интонаций обратно к обычному в формах, содержащих рефлексы праслав. *i (с рефлексами i после r и шипящих и i в прочих позициях), *u и *ǫ (в отличие от *y, на рефлексах которого, а именно i после губных согласных и i в прочих случаях, распределение интонаций идентично распределению на рефлексах остальных гласных) (см. рис. 1—16). Объяснение этому явлению, видимо, обнаружится в результате исследований других восточнославянских тональных систем. Нужно отметить, что в говоре Баклановой Муравейки «обратного» распределения на рефлексах *i, *u и *ǫ нет.

Кроме того, в Плёхове интонации нейтрализуются в позиции перед j в сторону нисходящей (*kràj, ràj, γnòj, łòj, ròj* и т. д.). Ниже не рассматриваются также плёховские односложные рефлексы праслав. многосложных слов со слабыми редуцированными в 1-м слоге (видимо, в них также всегда присутствует нисходящая интонация, возможно, возникшая в результате вторичного удлинения гласного: *kn'àz', žm'i̯èl', xm'i̯èl', ml'ìn* и т. д.). Также, вероятно, вторичное удлинение вызвало обобщение восходяще-нисходящей интонации в словах с «новым ятем»: *p'i̯ȇč* при слвн. *pę̑č*, с.-х. *пе̑ħ*; *m'i̯ȇd* при слвн. *mę̑d*, с.-х. *ме̑д*.

1. Восходяще-нисходящая интонация

а. В словах с рефлексами *i, *u и *ǫ

Праслав. *i: *l'îst* — слвн. *lȋst*, с.-х. *лӣст*, gen. *лӣста*; *m'îr* — слвн. *mȋr*, однако с.-х. *мӣр*, gen. *мӣра* при рефлексе **mīrъ* а. п. *c* во всех прочих слав. языках; *p'îsk* — с.-х. *пӣсак*, gen. *пӣска*, однако слвн. *pìsk*; *čîn* — слвн. *čȋn*, с.-х. *чӣн*, gen. *чӣна*; *krîk* — слвн. *krȋk*, с.-х. *крӣк*, gen. *крӣка*; *žîr* — слвн. *žȋr*, с.-х. *жӣр*, gen. *жӣра*. Исключение: *žîd* при слвн. *žìd*, с.-х. *жӣд*.

Праслав. *u: *brûs* — слвн. *brȗs*, с.-х. *бру̑с*, gen. *бру̑са*; *čûb/čûp* — слвн. *čȗp*, с.-х. *чу̑п*, gen. *чу̑па*; *drûγ* — слвн. *drȗg*, с.-х. *дру̑г*, gen.

---

[10] Следует заметить, что ниже в качестве сравнительного материала намеренно приводятся не праславянские, а словенские и сербохорватские формы как данные славянских языков с живыми «тональными» системами. Интонации в некоторых словах как в словенском и сербохорватском, так и в говоре Плехова отклоняются от реконструируемых праславянских (см., в частности, АССЯ, с. 116—122).

дрŷга; *dûx* — слвн. *dûh*, с.-х. *дŷх* (хорв. *dûh*); *kûm* — слвн. *kûm*, с.-х. *кŷм*, gen. *кŷма*; *l'ûd* — слвн. *ljûd*; *mûł* 'ил, тина' — ср. с.-х. *jo*-осн. *мŷљ*, gen. *мŷља*; *słûx* — слвн. *slûh*, с.-х. *слŷх*, gen. *слŷха* (с сокращением перед *x*); *strûp* — слвн. *strûp*, с.-х. *струп*, gen. *струпа*; *šûm* — слвн. *šûm*, с.-х. *шŷм*, gen. *шŷма*.

Праслав. **ǫ*: *dûb* — слвн. *dǫ̂b*, с.-х. *дŷб*, gen. *дŷба*; *drûk* — слвн. *drǫ̂k*; *γûs'* m. — слвн. *gǫ̂s* f.; *γûž* m. 'гуж' — слвн. *gǫ̂ž* f.; *krûγ* — слвн. *krǫ̂g*, с.-х. *крŷг*, gen. *крŷга*; *łûγ* — слвн. *lǫ̂g*, с.-х. *лŷг*, gen. *лŷга*; *łûk* — слвн. *lǫ̂k*, с.-х. *лŷк*, gen. *лŷка*; *vûž* 'уж' — слвн. *vǫ̂ž*; *zûb* — слвн. *zǫ̂b*, с.-х. *зŷб*, gen. *зŷба*; *zvûk* — слвн. *zvǫ̂k*, с.-х. *звŷк*, gen. *звŷка*.

б. В словах с рефлексами других гласных[11]

Праслав. **y*: *dîm* — слвн. *dìm*, с.-х. *дӣм*; *rîs'* f. — с.-х. *рӣс* m.; *sîr* — слвн. *sìr*, с.-х. *сӣр*; *tîn* — слвн. *tìn*, с.-х. *тӣн*; *b'îk* — слвн. *bìk* как субститут **bík*, с.-х. *бӣк*, gen. *бика*; *m'îš* f. — слвн. *mìš* f., с.-х. *миш* m.

Праслав. **ě*: *ʒ'i̯ê̯d* — слвн. *dẹ̀d*, с.-х. *дȅд*; *γri̯ê̯x* — слвн. *grẹ́h*, с.-х. *грȇх*, gen. *гре́ха*; *xl'i̯ê̯w* — слвн. *hlẹ́v*; *kl'i̯ê̯šč* (с вариантом *kl'i̯ěšč*) — слвн. *klẹ̀šč*.

Праслав. **o*: *bu̯ôb* — слвн. *bòb*, с.-х. *бȍб*; *bu̯ôk* — слвн. *bòk* (однако с.-х. *бȍк*); *drôzd* — слвн. *drǫ̂zd* (судя по вокализму, субститут **drȍzd*); *dvu̯ôr* — слвн. *dvòr*, с.-х. *двȏр*, gen. *двóра*; *γłôd* — слвн. *glòd*; *γrôb* — слвн. *gròb*, с.-х. *грȍб*; *γrôm* — с.-х. *грȍм*, gen. *грòма* (однако слвн. *grǫ̂m*); *γvu̯ôzd* — слвн. *gvǫ̂zd* < **gvòzd*, с.-х. *гвȍзд*; *kłôp* — слвн. *klòp*; *ku̯ôł* — слвн. *kòł*; *ku̯ôn'* — слвн. *kònj*, с.-х. *кȍњ*; *ku̯ôt* — слвн. *kòt*; *mu̯ôl'* f. — слвн. *mòlj* m.; *nu̯ôž* — слвн. *nòž*, с.-х. *нȏж*, gen. *нóжа*; *pu̯ôł* 'полати' — слвн. *pòł* 'Brückenjoch'; *pu̯ôp* — слвн. *pòp*, с.-х. *пȍп*; *stu̯ôł* — слвн. *stòł*, с.-х. *стȏ*, gen. *стòла*; *tu̯ôk* '1. (топленый) жир; 2. гумно' — слвн. *tòk* 'ток, течение; гумно', с.-х. *тȍк* 'течение'; *vu̯ôł* — слвн. *vòł*, с.-х. *вȏ*, gen. *вòла*; *xvu̯ôst* — слвн. *hvǫ̂st* < **hvòst*. Исключения: *γu̯ôs'c'* при слвн. *gǫ̂st*, с.-х. *гȏст*; *vu̯ôsk* при слвн. *vǫ̂s(ə)k*, с.-х. *вȏсак*.

Праслав. **ę*: *z'âc'* — слвн. *zèt*, с.-х. *зȅт*.

Праслав. **a*: *γâd* — слвн. *gàd*, с.-х. *гȁд*; *γrâd* — слвн. *gràd*, с.-х. *грȃд*; *mâk* — слвн. *màk*, с.-х. *мȁк*; *płâšč* — слвн. *plášč*, с.-х.

[11] Не приводится материал с рефлексами *ъ и *ь, т. к. в южнослав. языках интонации в корнях существительных с этими гласными подверглись вторичным преобразованиям и унификациям. В плёховском и прочих в.-слав. говорах с интонационными различиями последние проявляются также и на рефлексах «еров» (Плёхов: *ʒèn'* при *pên'*, *šòw* при *rôt* и т. д.).

пла̂шт, gen. *пла́шта*; *płâst* — с.-х. *пла̂ст*, gen. *пла́ста* (но слвн. *plâst*); *râk* — слвн. *ràk*, с.-х. *ра̂к*; *žâl'* m., adv. — слвн. *žàl* f., adv., с.-х. *жа̂о* adv.

2. Нисходящая интонация

а. В словах с рефлексами *i, *u и *ǫ

Праслав. *i: *γl'ìst* — ср. чеш., слвц. *hlíst* < *glīstъ; *kl'ìn* — слвн. *klìn*, с.-х. *кли̂н*; *b'ìč* — слвн. *bìč*, с.-х. *би̂ч*; *ščìt* — слвн. *ščìt* как субститут *ščít, с.-х. *шти̂т*, gen. *шти́та*.

Праслав. *u: *kl'ùč* — слвн. *kljúč*, с.-х. *кљу̂ч*, gen. *кљу́ча*; *łùč* m. — слвн. *lúč* f., с.-х. *лу̂ч*, gen. *лу́ча* m.; *płùγ* — слвн. *plùg*, с.-х. *плу̂г*.

Праслав. *ǫ: *sùd* — слвн. *sǫ́d*, с.-х. *су̂д*, gen. *су́да*. Исключение: *sùk* при слвн. *sǫ̂k*, с.-х. *су̂к*, gen. *су̂ка*.

б. В словах с рефлексами других гласных

Праслав. *y: *stìd* — слвн. *stîd*, с.-х. *сти̂д*, gen. *сти̂да*; *sìn* — слвн. *sîn*, с.-х. *си̂н*, gen. *си̂на*.

Праслав. *ě: *ci̯ȇp* — слвн. *cệp*, с.-х. *це̂п*, gen. *це̂па*; *cv'i̯ȇt* — слвн. *cvệt*, с.-х. *цве̂т*, gen. *цве̂та*; *l'i̯ȇs* — слвн. *lệs*, с.-х. *ле̂с*, gen. *ле̂са*; *sl'i̯ȇd* — слвн. *slệd*, с.-х. *сле̂д*, gen. *сле̂да*; *sm'i̯ȇx* — слвн. *smệh*, с.-х. *сме̂х*, gen. *сме̂ха* (< *сме̂ха*); *sn'i̯ȇγ* — слвн. *snệg*, с.-х. *сне̂г*, gen. *сне̂га*; *s'p'i̯ȇx* — слвн. *spệh*; *sv'i̯ȇt* — слвн. *svệt*, с.-х. *све̂т*, gen. *све̂та*; *v'i̯ȇk* — слвн. *vệk*, с.-х. *ве̂к*, gen. *ве̂ка*; *zv'i̯ȇr* m. — слвн. *zvệr* f., с.-х. *зве̂р*, gen. *зве̂ра/зве̂ри* m./f. Исключение: *xl'i̯ȇb* при слвн. *hlẹ̀b*, с.-х. *хле̂б*.

Праслав. *o: *bu̯ȍγ* — слвн. *bǫ̂g*, с.-х. *бо̂г*; *mu̯ȍst* — слвн. *mǫ̂st*, с.-х. *мо̂ст*; *nu̯ȍs* — слвн. *nǫ̂s*, с.-х. *но̂с*; *ròst* < *ôrstъ — слвн. *râst*, с.-х. *ра̂ст*; *płòt* 'забор' — слвн. *plǫ̂t*, с.-х. *пло̂т*; *ròγ* — слвн. *rǫ̂g*, с.-х. *ро̂г*; *stu̯ȍγ* — с.-х. *сто̂г* (однако слвн. *stòg*); *vu̯ȍz* — слвн. *vǫ̂z*, с.-х. *во̂з*; *xu̯ȏd* — слвн. *hǫ̂d*, с.-х. *хо̂д*; *zvu̯ȍn* 'колокол' — слвн. *zvǫ̂n*. Исключение: *snu̯ȍp* при слвн. *snòp*, с.-х. *сно̂п*.

Праслав. *ę: *ràd* — слвн. *rę̂d*, с.-х. *ре̂д*, gen. *ре̂да*.

Праслав. *a: *čàd* — слвн. *čâd* (другой праславянский вариант отражен в с.-х. *ча̏д*); *jàd* — слвн. *jâd*; *kłàd* — слвн. *klâd*; *kwâs* — слвн. *kvâs*, с.-х. *ква̂с*, gen. *ква̂са*; *màx* — с.-х. *ма̂х*, gen. *ма̂ха* < *ма̂ха* (однако слвн. *màh*); *ràz* — слвн. *râz*, с.-х. *ра̂з*, gen. *ра̂за*; *sàd* — слвн. *sâd*, с.-х. *са̂д*, gen. *са̂да*; *stràx* — слвн. *strâh*, с.-х. *стра̂х*, gen. *стра̂ха*; *swàt* — слвн. *svât* (однако с.-х. *сва̏т*); *vàł* (сена) — слвн. *vâl*, с.-х. *ва̂л*, gen. *ва̂ла*; *zàd* — слвн. *zâd* adv.; *znàk* — слвн. *znâk*, с.-х. *зна̂к*, gen. *зна̂ка*; *žàr* — слвн. *žâr*, с.-х. *жа̂р*, gen. *жа̂ра*.

б. Северо-восточная система

Общий принцип исторического распределения «двух *о*» в северо-восточной (не очень корректно называемой также «великорусской») системе следующий. Две фонемы типа *о* различаются только под ударением, причем /o_1/ происходит из любого сохранившегося *ъ (а также из *ь и *е в говорах, где огубленные рефлексы этих гласных совпали с рефлексом *ъ) и *о под «нисходящим ударением»; /o_2/ происходит из *о под «восходящим ударением» и из ударного «вставного» *о* в рефлексах *ToRT/TelT*.

Эта система, наряду с юго-западной («украинской») в ее «классическом» варианте с оппозицией *о* ~ *ọ/ц̯ọ*, считается неплохо изученной, хотя материала, достаточного для установления деталей распределения «двух *о*», явно недостаточно. Помимо данных старорусских рукописей (см. их обобщение в Зализняк 1985:208—211 и Стадникова 1989), мы располагаем более или менее систематическими сведениями лишь из немногих, причем географически удаленных друг от друга говоров, относящихся к гетерогенным диалектным группировкам: это некоторые задонские и рязанские говоры, в основе которых лежит племенной диалект славян Верхнего Дона (Тростянский, Гришкин 1916; Тоньшин 1912; Шахматов 1918; Аванесов 1949; Высотский 1949), и севернорусский говор с ильменско-словенской основой (Брок 1907). Недавно получен большой материал из восточнорусских в основе говоров д. Пустоша́ Шатурского р-на Московской обл. (магнитофонные записи И. А. Букринской, О. Е. Кармаковой и А. В. Тер-Авanесовой), д. Ко́ндраково Муромского р-на Владимирской обл. (магнитофонные записи О. А. Абраменко, А. И. Рыко и М. Н. Толстой), д. Шекшо́во и Большое Давы́довское Гаврилово-Посадского р-на Ивановской обл. (магнитофонные записи О. А. Абраменко, А. И. Рыко, Ю. В. Стрельниковой, М. Н. Толстой и автора) и вятичского по происхождению говора д. Арне́ево Серпуховского р-на Московской обл. (магнитофонные записи Е. Э. Будовской, И. А. Букринской, О. Е. Кармаковой и автора)[12]. Некоторые частные различия между распределением «двух *о*» в великорусских говорах установлены А. А. Зализняком (Зализняк 1985:175).

Хорошо известны системы, в которых /o_1/ представлено в виде широкого монофтонга *ɔ* или дифтонга/дифтонгоида *ɔц̯/ɔ^ц* с широ-

[12] О восточнославянских племенных диалектах и отражении их черт в современных говорах см. Николаев 1994. Приводимый материал расшифрован из магнитофонных записей автором настоящей статьи.

ким слоговым компонентом, тогда как /o_2/ реализуется как узкий монофтонг *ọ* или дифтонг/дифтонгоид *u̯ọ*/^{u}*ọ* с узким слоговым компонентом. Например, в говоре Пустошей: *nɔ́s*/*nɔ́*^{u}*s*, *pɔ́le*, *sɔ́n* ~ *pu̯ọp*, *vu̯ọ́l'a*, *moru̯ọ́z̦*, *selu̯ọ́*.

До настоящего времени господствует мнение о том, что именно такое противопоставление (узкие монофтонги/дифтонги на месте /o_2/ и широкие монофтонги/дифтонги на месте /o_1/) характерны для всех великорусских говоров с различением «двух *о*». К сожалению, это убеждение отразилось в Программе собирания сведений для составления диалектного атласа русского языка, в которой звуки типа *ọ* или *u̯о* на месте литературного *о* предписывалось искать исключительно в позиции /o_2/ (ПССС, с. 44—47). Так как материал в большинстве пунктов сетки ДАРЯ записывался не профессиональными фонетистами, были пропущены многие интересные системы с различением «двух *о*». В частности, в окрестностях Мурома, где, по нашим наблюдениям, эти две фонемы представлены в большинстве говоров, вообще не было отмечено их различие (см. АРНГ Вост., карта 20). В шекшовском говоре отмечено в общем фиктивное противопоставление «двух *о*» («литературное» *о* во всех словах, кроме *хорошоу*, где *о* < *е* — см. АРНГ Вост., к. 20, пункт 73 и Комментарий к АРНГ Вост., материал на с. 442). Дело в том, что для этих говоров характерно произношение /o_2/, близкое к литературному *о* (чаще всего дифтонгоид ^{u}*о* либо дифтонг *u̯о* с кратким неслоговым и более или менее широким слоговым компонентом), тогда как /o_1/ произносится как узкое *ọ* или дифтонгоид *ọ*^{u}. Судя по тому, что сходная система зафиксирована и в «тональных» говорах восточнославянского «центра» (на белорусско-русско-украинском диалектном пограничье), можно предположить, что «обратные» системы имеют достаточно широкое распространение. Видимо, они отражены в некоторых старорусских рукописях, графические системы которых названы Е. В. Стадниковой системами «*о* узкое = /*ô*/» (= «узколитерная система» у А. А. Зализняка) и «*о* узкое = /*ô*/ в сочетании с каморной системой» (= «каморно-узколитерная» у А. А. Зализняка, см. Зализняк 1985:208—211; Стадникова 1989:136).

Из недавно записанных восточнорусских систем с «двумя *о*» особый интерес представляют (владимирско-опольская) шекшовская и (муромская) кондраковская.

В шекшовском говоре под ударением различаются две фонемы: 1) нисходящий дифтонг /*ou̯*/ — обычно произносится как дифтонг или дифтонгоид с узким (реже «средним») слогообразующим ком-

понентом ([*ọu̯*/*ọ*^{u}], [*ou̯*/*o*^{u}], редко как узкий монофтонг [*ọ*]); 2) восходящий дифтонг /*u̯o*/; обычная реализация этой фонемы — дифтонг со «средним», реже широким слогообразующим компонентом ([*u̯o*]/[*u̯ɔ*]); в закрытых слогах перед губными, велярными согласными и перед свистящими спирантами и *ł* обычно отмечается «трифтонгоид» [*u̯ọ*^{u}] с узким слоговым гласным.

Внимания заслуживает распределение этих фонем после исконно твердых согласных («огубленное» **e* всегда произносится как [*öu̯*] после мягких и [*ọu̯*] после отвердевших согласных) в корнях слов[13].

В позиции после дентальных смычных и *n* в корнях слов распределение /*ou̯*/ и /*u̯o*/ тождественно «классическому» распределению /o_1/ и /o_2/: 1а) **o* «под нисходящим ударением»: *dọ́u̯m* (*dômъ), *gnọ́u̯j* (*gnôjь), *nọ́u̯gъt'*, pl. *nọ́u̯kt'i* (*nôgъtь), *nọ́u̯rъf* (с неясным вариантом *nu̯órъf*, *nôrvъ), *nọ́u̯s* (*nôsъ), *tọ́u̯k* (*tôkъ), *tọ́u̯pъl'* (*tôpolь), *znọ́u̯j* (*znôjь), *zọ́u̯p* (*zôbъ), *stọ́u̯k* (*stôgъ), *sọ́u̯l'* (*sôlь), instr. *nọ́u̯č'ju* (*nôktьjǫ), *sọ́u̯l'ju* (*sôlьjǫ); 1б) *ъ (в том числе в *TъRT*): *dọ́u̯š'š'*, *osọ́u̯t, sọ́u̯n, vdọ́u̯l'*, *poddọ́u̯nъk*, *tọ́u̯nk'ьj*, *sọ́*^{u}*nnъj*, pl. *dọ́sk'i*, *snọ́u̯x'i*; *dóu̯łk*, *stọ́łp*, *dọ́*^{u}*łg'ьj*; 2) **o* «под восходящим ударением»: *nu̯óš* (*nõžь), *snu̯ọ́*^{u}*p* (*snõpъ), *su̯ór* (*sõrъ ?), *stu̯ół* (*stõlъ), *mnu̯ógъ* (*mъnõgo), gen. pl. *nu̯ó*^{u}*k* (*nõgъ), *du̯ól'a* (*dõl'a), *nu̯óška* (*nõžьka), *nu̯óvъj* (*nõvъjь), *gotu̯óvъj* (*gotõvъjь).

После зубного спиранта *s* (возможно, и после *z*) и сонантов *r* и *ł* две фонемы по «классическому» принципу различаются перед дентальными: 1а) *brọ́u̯t* (*brôdъ), *drọ́u̯st* (*drôzdъ), *grọ́u̯s't'* (*grôzdь), *łọ́u̯s'* (*lôsь), *rọ́u̯st* (*ôrstъ), *rọ́u̯t* (*rôdъ); *sọ́u̯kъł* (*sôkolъ), *sọ́u̯k* (*sôkъ), *sọ́u̯łъt* (*sôldъ); 1б) *krọ́u̯t*, *płọ́u̯t, rọ́u̯š, rọ́u̯t*, *brọ́u̯f*, pl. *brọ́u̯v'i, łọ́u̯ška, łọ́u̯š*; 2) *koru̯ól'* (*kõrlь), *moru̯ós* (*mõrzъ), *płu̯ót* (*plõdъ), *voru̯óna* (*võrna), *doru̯óška* (*dõržьka), *boru̯ótka* (*bõrdъka), *xoru̯óšъj* (*xõršьjь), *kołu̯ọ́*^{u}*s'ja* (*kõlsьja), *su̯ós'ьn* (*sõsnъ), *mozu̯ół'* (*mozõlь). Однако после *r* и *ł* они нейтрализуются в /*ou̯*/, находясь перед губными и велярными: 1а) *grọ́u̯p* (*grôbъ), *grọ́u̯m* (*grômъ), *łọ́u̯m* (*lômъ), *łọ́u̯f* (*lôvъ), *rọ́u̯f* (*rôvъ

13 Приведенное ниже распределение, настолько необычное, что в его реальность трудно было сразу поверить, было доказано лишь в самом конце недельной экспедиции, поэтому условия появления «двух *о*» в служебных морфемах и в заимствованиях не были выяснены. Несомненным кажется лишь сохранение старого распределения в окончании gen. pl. на *-ovъ*. Судя по данным, которые можно извлечь из текстов, приводимое ниже распределение двух фонем последовательно соблюдается только в корнях и «неразложимых» основах. Приводимый материал записан на магнитофон от двух информантов независимо О. А. Абраменко и автором.

или *гъvъ); *łọ́u̯k* (*lôgъ), *łọ́u̯kъt’* (*õlkъtь), *prọ́u̯k* (*prõkъ ?), *rọ́u̯k* (*rôgъ); 1б) *łọ́u̯p, krọ́u̯f’, zołọ́u̯fka,* gen. pl. *drọ́u̯f; kłọ́u̯k,* gen. pl. *błọ́u̯x, vzdrọ́u̯gnut’*; gen. pl. *sọ́u̯x; vыsọ́u̯k’ьj* (*vysõkъjъ); 2) *ukrọ́u̯p* (*ukrõpъ), *kłọ́u̯p* (*klõpъ), *xołọ́u̯p* (*xõlpъ), pl. *xorọ́u̯mы* (*xõrmy), *korọ́u̯va* (*kõrva), *korọ́u̯fka* (*kõrvъka), *krọ́$^{u̯}$vľa* (*krõvľ’a), *łọ́$^{u̯}$vľa* (*lõvľ’a), *potkọ́u̯va* (*podъkõva); *gorọ́u̯x* (*gõrxъ), *p’irọ́u̯k* (*pirõgъ), *porọ́u̯k* (*põrgъ), *skъmorọ́u̯x* ‘колядник, ряженый’ (*skomõrxъ), *tvarọ́u̯k* (*tvarõgъ), *b’orłọ́u̯ga* (*bьrlõga), *šыrọ́u̯k’ьj* (*širõkъjь), *sọ́u̯m* (*sõmъ), gen. pl. *sọ́u̯f.* Перед *j* засвидетельствованы только рефлексы *о «под нисходящим ударением»: *rọ́u̯j* (*rôjь), *słọ́u̯j* (*slôjь ?).

После глухого губного *p*, также как после *s, ł, r,* в корнях слов две фонемы различаются по крайней мере перед дентальными: 1а) *pọ́u̯łъs* (*pôlzъ), *pọ́u̯ł* (*pôlъ), *pọ́u̯rъx* (с «нерегулярным» вариантом *pu̯órъx*, *pôrxъ), *pọ́u̯t* (*pôtъ); 1б) *pọ́u̯łk* (*pъ̂lkъ); 2) *pu̯ót* (*põdъ), *pu̯ọ́$^{u̯}$st* (*põstъ), *topu̯ór* (*topõrъ). Видимо, происходит их нейтрализация перед губными и велярными: ср. */ou̯/* на месте ожидаемого */u̯o/* в *pọ́u̯p* (*põpъ) и *sapọ́u̯k* (*sapõgъ). Неясно, как ведут себя «два *о*» перед велярными.

После велярных перед дентальными, как правило, встречается только фонема */u̯o/* как на месте «обоих *о», так и на месте *ъ: 1а) *gu̯ót* (*gôdъ), *gu̯ółъt* (*gôldъ), *gu̯ółъs* (*gôlsъ), *gu̯órъt* (*gôrdъ), *gu̯óvъr* (*gôvorъ), *gu̯ọ́$^{u̯}$s’t’* (*gôstь), *ku̯ólъp* (*kôlbъ), *ku̯ółъkъł* (*kôlkolъ), *ku̯ółъs* (*kôlsъ), *ku̯ón* (*kõnъ), *ku̯órъp* (*kôrbъ), *ku̯ór’ьn’* (*kôrenь), *xu̯ót* (*xôdъ), *xu̯ółъt* (*xôldъ), *xvu̯órъst* (*xvôrstъ), *gu̯ór’kъ* (*gôr’ьko); 1б) *xoxu̯ół, ogu̯ón’* («вставной» *ъ); 2) *xu̯ór’* (*dъxõrь), *gu̯ón* (*gõnъ), *ku̯ół* (*kõlъ), *ku̯ón’*, pl. *ku̯ón’i* (*kõnь), *ku̯ót* (*kõtъ), *sku̯ót* (*skõtъ), *ku̯óška* (*kõtjьka). Особый случай представляют последовательности *ТъRT* с анлаутным велярным, в которых отмечены колебания между */ou̯/* и */u̯o/*: *gu̯órp, ku̯órš, gu̯órs’t’,* однако варианты: *xọ́u̯łm/xu̯ółm, xọ́u̯łst/xu̯ółst, ku̯órm’it/kọ́u̯rm’it.*

В позиции после велярных перед губными и велярными в корнях слов надежно засвидетельствованы лишь примеры на ‹ou̯› из *о «под нисходящим ударением»: *kọ́u̯m* (*kômъ), *kọ́u̯m’ьľ* (*kômьlь), *xọ́u̯bъt* (*xôbotъ); *kọ́u̯gъt’*, pl. *kọ́u̯kt’i* (*kôgъtь). Существенным здесь является появление «невозможной» перед зубными (за исключением позиции в рефлексах *ТъRT*) фонемы */ou̯/* после велярных. Видимо, релевантны примеры с */u̯o/* в gen. pl. *vołku̯óf, ługu̯óf* (*-õvъ), т. к. записаны, с одной стороны, *sadu̯ọ́$^{u̯}$f,* с другой — *kozłọ́u̯f, dvorọ́u̯f, vołọ́u̯f, stołọ́u̯f.* После звонких губных (*b, m, v*) фонемы */ou̯/* и */u̯o/* нейтрализуются в */u̯o/*: 1а) *bu̯ọ́$^{u̯}$x* (*bôgъ), *bu̯ọ́$^{u̯}$k* (*bôkъ), *bu̯órъf* (*bôrvъ), *bu̯ór* (*bôrъ), *gvu̯ọ́$^{u̯}$s’t’* (*gvôzdь),

перед / после	зубными	губными	велярными
t, d, n	ò ~ ó	ò ~ ó	ò ~ ó
ł, r, s, (z)	ò ~ ó	ò	ò
p	ò ~ ó	ò	ò
k, g, x	ó	ò ~ ó	?
b, m, v	ó	ó	ó

mu̯ółъt (*mȏltъ), *mu̯ór* (*mȏrъ), *mu̯ósk* (*mȏzgъ), *mu̯ọ́^{u}st* (*mȏstъ), *vu̯ój* (*vȏjь), adv. *vu̯ółъkъm* (*vȏlkъmь), *vu̯ółъs* (*vȏlsъ), *vu̯órъn* (*vȏrnъ), *vu̯órъt* (*vȏrtъ), *vu̯ọ́^{u}sk* (*vȏskъ), *vu̯ọ́^{u}s* (*vȏzъ), *zvu̯ón* (*zvȏnъ), *mu̯ór'o* (*mȏr'e); 1б) *mu̯ọ́^{u}x, vu̯óš, zamu̯ọ́^{u}k*; *bu̯órš'š', vu̯ółk*; 2) *bu̯ọ́^{u}p* (*bŏbъ), *bu̯ój* (*bŏjь или *bȏjь), *dvu̯ór* (*dvŏrъ), *mu̯ól'* (*mŏlь), *vu̯ọ́^{u}ł* (*vŏlъ), *stvu̯ół* (*stьbŏlъ), *živu̯ót* (*živŏtъ), *vu̯ól'a* (*vŏl'a), *mu̯ọ́^{u}krыj* (*mŏkrъjь), *xvu̯ọ́^{u}st* (*xvŏstъ), *xvu̯óš'š'* (*xvŏščь).

Выше в таблице показано шекшовское распределение «двух *о*» в «просодической» интерпретации. Знаком *ò* обозначено **о* «под нисходящим ударением» и *ъ, знаком *ó* — **о* «под восходящим ударением». Два знака, между которыми стоит «~», обозначают противопоставление двух фонем в данной позиции, один знак — совпадение в указанной фонеме.

Видимо, удачная историческая интерпретация шекшовской системы возможна лишь в том случае, если предположить первоначальное просодическое противопоставление «двух *о*». В позиции после звонких губных возможно простое фонетическое объяснение замены ожидаемой фонемы /*ou̯*/ на /*u̯o*/ через стадию **u̯ou̯* с последующим перераспределением аллофонов [*u̯o*] и [*u̯ọ^{u}*] (см. выше). Что касается прочих позиций, то представляется приемлемой «тонологическая» трактовка истории дистрибуции «двух *о*»: исконные интонации каким-то образом модифицировались под «тембровым» («регистровым») воздействием предшествующих и последующих согласных. Далее, пройдя пока неизвестные нам промежуточные стадии, во время «общевеликорусского» преобразования просодических оппозиций в сегментные, сложные тонально-регистровые «прашекшовские» противопоставления были сведены к «стандартному» противопоставлению «двух *о*», находящихся в настоящее время в столь причудливом распределении. Шекшовская система, возможно, сформировалась под влиянием иноязычного («мерянско-

го» ?) субстрата: прочим славянским тональным системам «регистровые» модификации, видимо, не свойственны (тембр согласных, однако, существенно влиял на качество гласных — ср. *диссимилятивный* переход **e > o, *ě > i̯a* в лехитских перед твердыми зубными при сохранении *e, i̯e* перед твердыми губными и велярными; русское распределение *дёрн, твёрдый ~ серп, верх* и т. д.).

В ко́ндраковском говоре под ударением прослеживается фонологическое противопоставление двух гласных фонем, одна из которых, /ọ/, реализуется как дифтонг/дифтонгоид *ọu̯/ọᵘ* в закрытых и монофтонг *ọ* в открытых слогах: *dọ́u̯m, sọ́ᵘn, kusọ́u̯k, tọᵘrg̑; pọ́l'ъ, kọ́r'ẹn'* и т. д. Эта фонема в исконных морфемах представлена исключительно на месте **o* «под нисходящим ударением» и **ъ* (лабиализованные рефлексы **ь* и **e* отражаются в Кондракове в виде особой *фонемы /ö/* — этот рефлекс характерен для большинства восточных и северо-восточных великорусских говоров, но редко отмечается в диалектологических записях; в кондраковском говоре фонемы /ö/ и /ọ/ противопоставлены в некоторых морфологических позициях). Таким образом, фонема /ọ/ обнаруживается в «классической» позиции /o_1/ (об одном важном исключении будет сказано ниже).

Другая фонема, /u̯o/, имеет два основных аллофона, нетривиальное распределение которых, возможно, свидетельствует о недавнем существовании в муромских говорах интонационных различий: в односложных словах в закрытых слогах она реализуется как дифтонг /ọ̯ɔ/ (*kọ́ɔ̯ł, dvọ́ɔ̯r, mọ́ɔ̯l'*), тогда как в остальных позициях (в том числе в конечных закрытых слогах многосложных слов) представлена в виде аллофонов /u̯o/ и /ᵘo/ (*tu̯ó, vu̯ól'a, koru̯óva, mu̯ókrъj, moru̯óz̑, sełu̯ó*). По всей видимости, это позиционное различие рефлексов является «тембровой имитацией» интонаций. В односложных формах, возможно, была восходящая интонация с резким повышением тона к концу слога, а в многосложных словах плавно восходящая, ср. описанные выше тональные системы, в которых движение тона в односложных и многосложных формах различно. Фонема /u̯o/ в исконных морфемах в большинстве случаев восходит к **o* «под восходящим ударением», т. е. находится в общеизвестной позиции /o_2/.

Однако в кондраковском (и, по всей видимости, в других муромских говорах с «двумя *o*») наблюдается особое развитие «напряженного» **ъ̂* перед *j* в /u̯o/, т. е. в /o_2/, а не в /ọ/ = /o_1/. Из большинства других великорусских говоров с «двумя *o*» известен именно последний рефлекс, например, в говоре Пустошей: masc.

mъłodɔ́j, suxɔ́j, 3 sg. *nakrɔ́jöt* при кондраковских формах masc. *mъłodu̯ój, suxu̯ój,* 1 sg. *kru̯óju,* 2 sg. imp. *rọ́ɔj z'éml'u.*

С точки зрения распределения рефлексов *o и *ъ интересна и система говора д. Арнеево (говор имеет вятичское происхождение, см. Николаев 1994:39—42: отметим такие типичные черты, как окситонеза *tuč'á, bur'á,* термин *cap'ínkъ* 'бьющая часть цепа' и т. д.). В арнеевском говоре под ударением различаются две фонемы — /o/ и /u̯o/ (в том числе и в анлауте: *ós'ən'ju ~ u̯ófcы*), первая из которых соотносится с $/o_1/$, вторая — с $/o_2/$. Аллофоны фонемы /o/ — o^{u} в закрытых и *o* в открытых слогах; фонема /u̯o/ всегда реализуется в виде восходящего дифтонга *u̯o*. Эти фонемы нейтрализуются в сторону /u̯o/ после губных согласных, *ł*, а также после сочетаний *v* + согласный (*ró^{u}t* ~ loc. adv. *vru̯ód'ə, γórъt* ~ loc. *v γu̯órъd'i* и т. д.).

Как и в других говорах с северо-восточной системой, арнеевское /o/ происходит только из *ъ и *o «под нисходящим ударением». Однако другая фонема, /u̯o/, происходит не только из *o «под восходящим ударением» (в том числе из «вставного *o*»), но также, в отличие от «классического» варианта системы, а) из *ъ в последовательностях *TъRT*, б) из «напряженного» *ъ̂ перед *j* (ср. кондраковские рефлексы). Характерна также, по всей видимости, вторичная (по крайней мере в рефлексах а. п. *c*), но регулярно появляющаяся фонема /u̯o/ в корнях существительных ж. р. с *a*-основой старых а. п. *b* и *c* (*kopná* ~ pl. *ku̯ópnы, załá* ~ acc. *zu̯ółu*) и в рефлексах -*ъv*- старых *ŭ*-основ (gen. *sv'akru̯óv'i*). Ниже приводятся примеры из текстов.

1. *o «под восходящим ударением»

В именных корнях и непродуктивных суффиксах: *batu̯óžыk, burału̯ómnъj,* gen. *du̯óbrъvъ, daru̯óγъ,* comp. *daru̯óžə, fsxu̯ót* 'вход', *ftu̯órn'ik, γu̯órkъ, γaru̯óx,* f. *γatu̯óvъ, karu̯óvъ,* acc. *karu̯ófku, ku̯ón,* acc. *ku̯órku, ku̯óškъ, ku̯ót, mnu̯óγъ,* comp. *pъmału̯óžə,* pl. *nału̯óγ'i, n'əxu̯ótъ* 'неохота', pl. *nu̯óvы* (ср. adv. *snóvъ*), pl. *nu̯óšk'i,* (adv.) *n-ъbaru̯ót, ъγaru̯ót, aku̯ós'jъ* 'рукоять косы', adv. *ạsu̯ób'ənъ,* loc. adv. *v asu̯ób'ənъs't'i,* gen. *d-ъstanu̯ófk'i,* gen. pl. *ъtxu̯ódъf, p'iru̯óx; paku̯ós, Pakru̯óf, paxu̯óš,* neut. *paxu̯óžъ,* instr. pl. *s ru̯óšk'əm'i,* adv. *sku̯órъ* (видимо, по аналогии со **sku̯órъj*), *sku̯ót,* instr. *sku̯ótn'ikъm, snu̯óp,* instr. *su̯ól'cъj* 'солью', *su̯óm, sru̯ók,* acc. *s't'arnu̯ófku* 'солому', *stu̯ół, stru̯óγъj* (по аналогии и adv. *stru̯óγъ*), acc. *stru̯ójku, suru̯óvъj, sxu̯ótkъ,* loc. *na sxu̯ódъx,* f. *šыru̯ókъjъ, tu̯ókъ/tu̯ół'k'i* и *sku̯ókъ/sku̯ół'k'i, ubu̯órъč'nъjъ, udu̯óbnъ,* comp. *udu̯óbn'əj,* pl. *uku̯ółы,*

vzrųósłъj, xałųódnъj, xarųóšъj, xvarųóst, dim. instr. *xvarųós'ť'ikъm*, loc. *v zakųón'ə, zdarųóvъj, zdarųóv'ŕъ*, acc. *zъγarųótku, znakųómstvъ*.

Видимо, регулярна фонема /*ųo*/ в instr. sg. *nųóč'ju* (< **nõktьjǫ*) при *nó*ᵘ*č'* (< **nõktь*), т. к. **noktь* имело праслав. а. п. *d*. Вторично /*ųo*/ в *zasųóxl'i, zasųóxšы* (по аналогии с формами от **moknǫti* ?). Неясно происхождение /*ųo*/ в *trųóĵъ* (аналогия с регулярным *dvųóĵъ* ?).

В *ū*-основах: gen. *sv'ekrųóv'i*, instr. *sъ sv'əkrųóv'ju*.

В корнях глаголов (независимо от старой акц. пар.): *nadųójuť, γatųóv'im, γųón'iť, kųós'iť, nųós'uť, prųós'iť, ap-, pastrųóil'i, n'ə trųóγъł, pratųóp'icъ*, 2 sg. *xuóš/xųóč'ьš*, 3 sg. *xųóč'ətɩ/xųócъ, xuód'iť, sxarųón'icъ*; также /*ųo*/ отмечается во вторичных формах *dųór'uť, pasųód'iť*.

В префиксах: *prųóšłъj*; особого объяснения требуют *prųós'əkъ, prųózv'iš'ъ*.

В формах *a*-основ: acc. *zųółu*, pl. *kųóрnы, kųósы, kųózы, nųóγ'i, ųófcы*.

В окончаниях: *b'ädrųó, γuvnųó* 'гумно', *mъłakųó, s'ełųó, v'inųó, z'ernųó* и т. д.; neut. *γrыbnųóĵъ, kakųóĵъ, kųój-č'ävųó* и т. д.; adv. *davnųó, ť'əžałųó, xъładnųó* и т. д.; *anųó, štųó*, conj. *štųóbъ, tųó*, (adv.) *tųóžъ, xtųó, n'ixtųó*; loc. sg. m./n. *v druγųóm, n-adnųóm, na tųóm*, (adv.) *patųóm*; gen. sg. m./n. *ftarųóvъ, kakųóvъ-tъ*; dat. sg. f. *kakųój*; gen. pl. *dvarųóf, vałkųóf* и т. д.; instr. sg. *sъ ftarųój, sa mnųóju, skr'ibuxųój* 'скребком', *v'asnųóju, žənųóju*.

2. **o* «под нисходящим ударением»

*Dó*ᵘ*č', dó*ᵘ*m*, gen. *dóma*, dat. *dómu* (но и gen., dat. *dųómu* — вероятно, отражение архаичных ортотонических форм), loc. adv. *dómъ, γóspъd'i, γó*ᵘ*t*, gen. *γódъ, γółъs, γórъt, nó*ᵘ*č'*, gen. *nóč'i*, adv. *snóva* (ср. *nųóvъj*), adv. *ó*ᵘ*pč'ъ* 'вместе', instr. *ó*ᵘ*pč'əstvъm, óč'un'* 'очень', *ón*, instr. *ós'ən'ju, prósъ, napróť'if-tъ, ró*ᵘ*x, ró*ᵘ*t*, adv. *ró*ᵘ*vnъ* (и adj. pl. *ró*ᵘ*vnыi*), *sórъk, stó*ᵘ*x, tó*ᵘ*k*.

3. **ъ*

В корнях и непродуктивных суффиксах: *dó*ᵘ*č'*, gen. *u dóč'ər'i, dó*ᵘ*š*, dim. *dóžыk, ró*ᵘ*š, ró*ᵘ*t, só*ᵘ*n*, gen. pl. *sótъk*, acc. *sótъč'ku, šəssó*ᵘ*t, vъs'əmsó*ᵘ*t, xaxó*ᵘ*ł*.

В продуктивных суффиксах: *d'ełó*ᵘ*k* 'делянка', pl. *kusóč'k'i*, instr. *s nasó*ᵘ*č'kъm, p'isó*ᵘ*k, sasó*ᵘ*k* 'соска', instr. pl. *xr'əstóč'k'əm'i* (от **xr'estó*ᵘ*k* 'укладка снопов').

В окончаниях: instr. *γuvnó*ᵘ*m, mъs'ť'irkó*ᵘ*m, s p'askó*ᵘ*m*, (adv.) *p'iškó*ᵘ*m, s sъšn'ikó*ᵘ*m*, adv. *v'erxó*ᵘ*m* и т. д.

8*

4. «Напряженное» *ъ̂

В корнях: 3 pl. *zakru̯ójut'*, *izru̯ójut'*.

В окончаниях: masc. *druγu̯ój*, *mъładu̯ój*, *vыxadnu̯ój*, *z'iml'anu̯ój* и т. д.

5. Рефлексы *TъRT*

Adv. *du̯ółγъ*, instr. sg. *du̯ółγъm*, 3 sg. *ku̯órm'it'*, *na~*, 3 pl. *ku̯órm'ut'*, acc. *patku̯órmku*, но *só*^{u}*łnыškъ* (видимо, по аналогии с рано потерявшим *-l-* **sóncъ*).

Системы, сходные с арнеевской, несомненно представлены в старорусских рукописях, различающих «два *о*». Наиболее близкое распределение отражено в «Синайском патерике» редакции Досифея Топоркова (рукопись конца XVI в., писец которой, видимо, был связан с Иосифо-Волоколамским монастырем — см. Зализняк 1985:218; материал приведен в Стадникова 1989 под сокращением Дос.).

СОКРАЩЕНИЯ

Аванесов 1949 — *Аванесов Р. И.* Очерки диалектологии рязанской Мещеры. I. Описание одного говора по течению р. Пры // Материалы и исследования по русской диалектологии. Т. I. М.—Л., 1949.

АРНГ Вост. — Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы. М., 1957 (комментарий и карты).

АССЯ — *Дыбо В. А.*, *Замятина Г. И.*, *Николаев С. Л.* Основы славянской акцентологии. Словарь. Вып. 1. М., 1993.

Брок 1907 — *Брок О.* Описание одного говора из юго-западной части Тотемского уезда // Сб. ОРЯС, 1907. Т. 83. № 4.

Булаховский 1947 — *Булаховський Л. А.* Східнослов'янські мови як джерело відбування спільнослов'янської акцентологічної системи // Мовознавство. Т. IV—V. Київ, 1947.

Булаховский 1961 — *Булаховский Л. А.* Отражения так называемой новоакутовой интонации древнейшего славянского языка в восточнославянских // Исследования по лексикологии и грамматике русского языка. М., 1961.

Васильев 1929 — *Васильев Л. Л.* О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI—XVII вв. К вопросу о произношении звука *о* в великорусском наречии. Л., 1929.

Высотский 1949 — *Высотский С. С.* О говоре с. Лека (по материалам экспедиции 1945 г.) // Материалы и исследования по русской диалектологии. Т. II. М.—Л., 1949.

ДАРЯ — Диалектологический атлас русского языка.

Зализняк 1985 — *Зализняк А. А.* От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

Николаев 1988 — *Николаев С. Л.* Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи // Балтославянские исследования. 1986. М., 1988.

Николаев 1989 — *Николаев С. Л.* Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи (окончание) // Балто-славянские исследования. 1987. М., 1989.

Николаев 1994 — *Николаев С. Л.* Раннее диалектное членение и внешние связи восточнославянских диалектов // Вопросы языкознания. М., 1994. № 3.

Основы славянской акцентологии — *Дыбо В. А., Замятина Г. И., Николаев С. Л.* Основы славянской акцентологии. М., 1990.

Пеньковский 1966 — *Пеньковский А.Б.* Фонетика говоров Западной Брянщины. Кандидатская диссертация. Владимир, 1966 (рукопись, хранится в библиотеке ИРЯ РАН).

ПССС — Программа собираний сведений для составления диалектологического атласа русского языка / Под ред. Р. И. Аванесова. М.—Л., 1947.

Стадникова 1989 — *Стадникова Е. В.* Материалы к изучению двух фонем «типа *о*» в староволикорусском // Историческая акцентология и сравнительно-исторический метод. М., 1989.

Тер-Аванесова 1989 — *Тер-Аванесова А. В.* Об одной славянской акцентной инновации // Славянское и балканское языкознание. Просодия. М., 1989.

Тоньшин 1912 — *Тоньшин Ф. М.* Материалы по Рязанской губ. и у. Новосельской в с. Новоселки // РФВ, 1912. Т. 68. № 3.

Тростянский, Гришкин 1916 — *Тростянский В. И., Гришкин И. С. и др.* Диалектологические материалы, собранные В. И. Тростянским, И. С. Гришкиным и др. // Сб. ОРЯС. 1916. Т. 95, № 1.

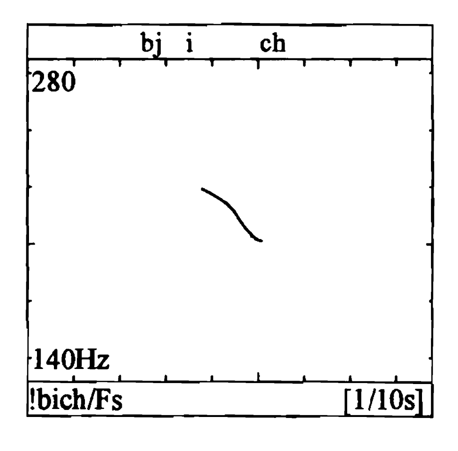
Шахматов 1918 — *Шахматов А. А.* Описание Лекинского говора Егорьевского уезда Рязанской губ. // Изв. ОРЯС, 1913. Т. 18. Кн. 4.

Kuraszkiewicz 1985 — *Kuraszkiewicz W.* Ruthenica. Warszawa, 1985.

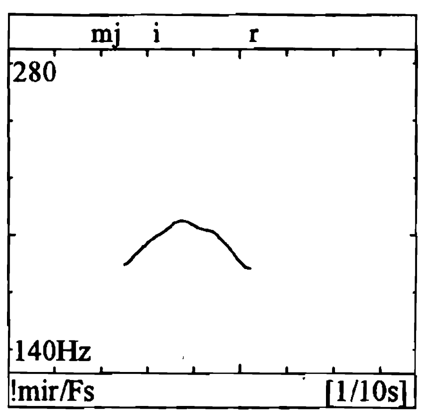
Lehr-Spławiński 1966 — *Lehr-Spławiński T.* O dawnych narzeczach Słowian Pomorza Zachodniego i ziem przyległych // T. Lehr-Spławiński. Studia i szkice wybrane. Seria 2. Warszawa, 1966. S. 1—18; *Idem.* Szczątki języka dawnych mieszkańców Rugii // *Ibidem.* S. 34—36.

ПРИЛОЖЕНИЕ

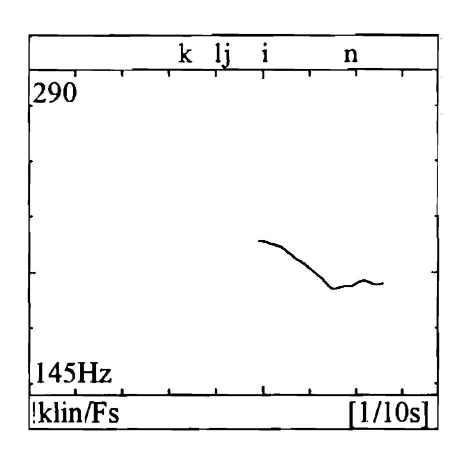
Ниже приводятся образцы тонограмм односложных слов говоров с. Плёхов Черниговского р-на (рис. 1—42; информант — З. Г. Ярошенко [Симончук], 1967 г. р.) и Бакланова Муравейка Куликовского р-на (рис. 43—50; В. М. Левченко [Басанец], 1962 г. р.) Черниговской обл. В подписях под рисунками приводятся фонетическая транскрипция и праславянская форма с просодической реконструкцией. В шапках тонограмм дается условная транскрипция: буква ставится в начале соответствующего звука (невозможность проставить принятую нами транскрипцию вызвана принципиально иной системой транскрипции в программе WinCECIL).



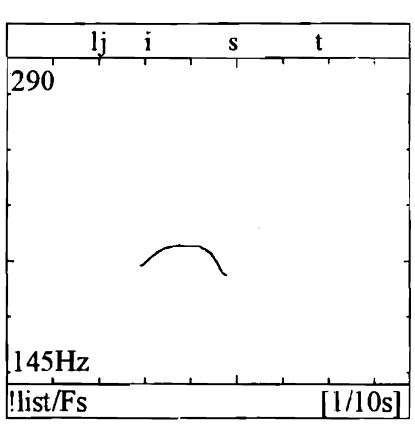
1. [*b'ǐč*] < **bĩčь*



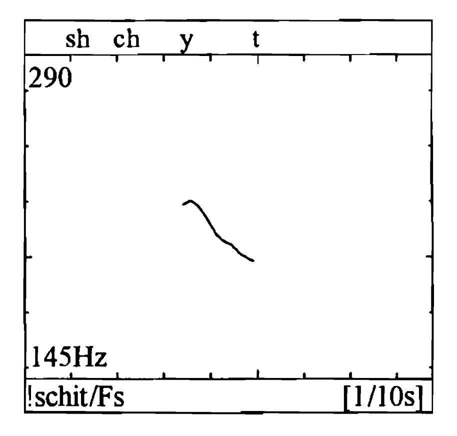
2. [*m'ǐr*] < **mîrъ*



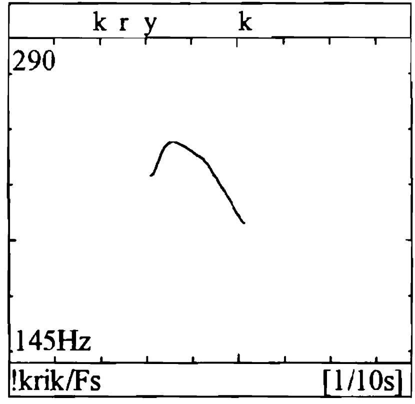
3. [*kl'ìn*] < **klĭ̋nъ*



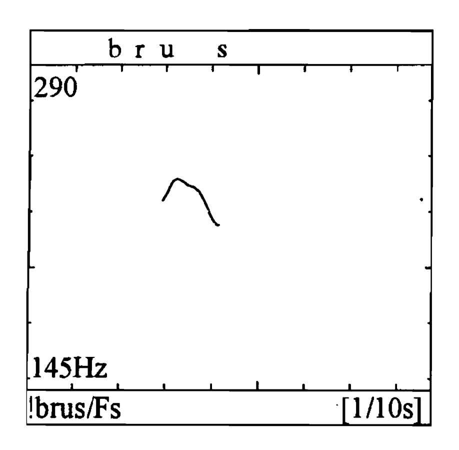
4. [*l'îst*] < **lĩstъ*



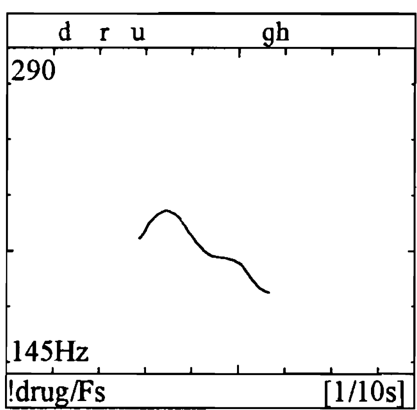
5. [*ščɨ̀t*] < **ščĩtъ*

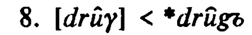


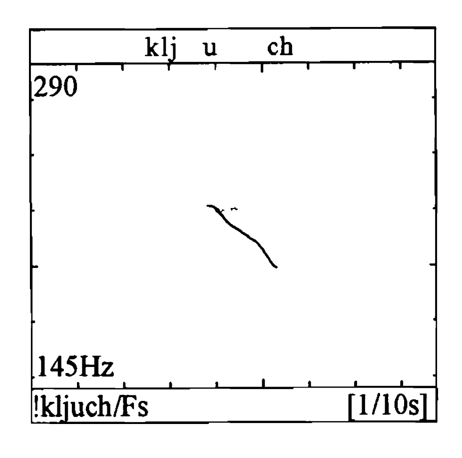
6. [*krɨ̂k*] < **krîkъ*



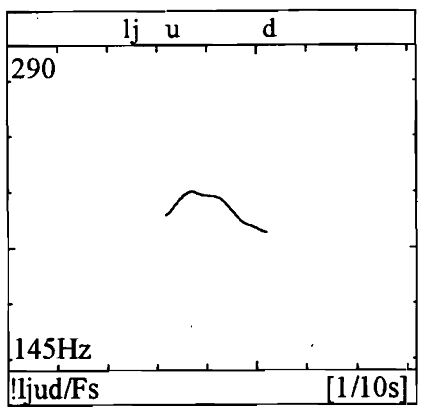
7. [brûs] < *brûsъ



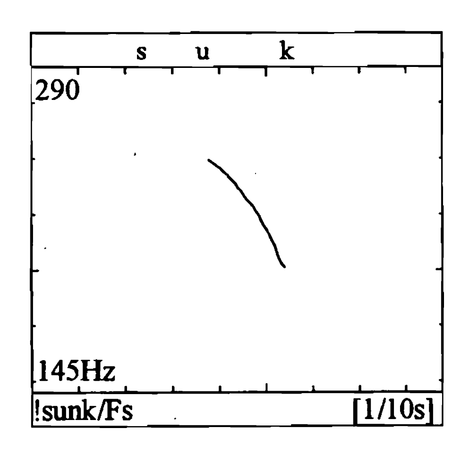

8. [drûγ] < *drûgъ



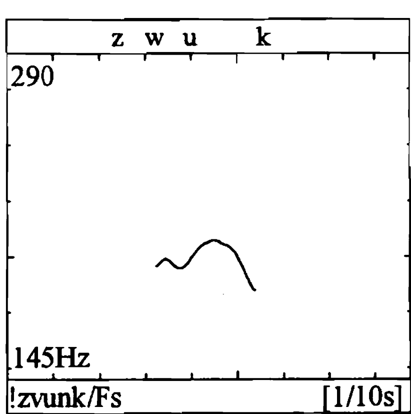
9. [kl'ùč] < *kl'ũčь



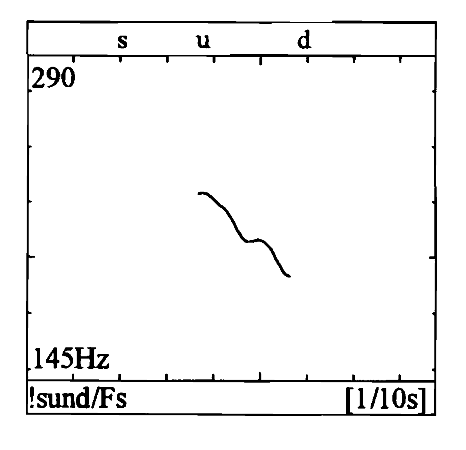
10. [l'ûd] < *l'ûdъ



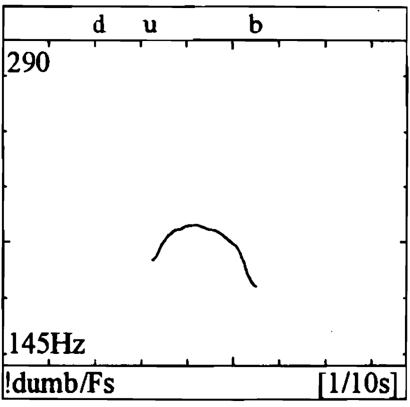
11. [*sùk*] < **sǫ̃kъ* (?)



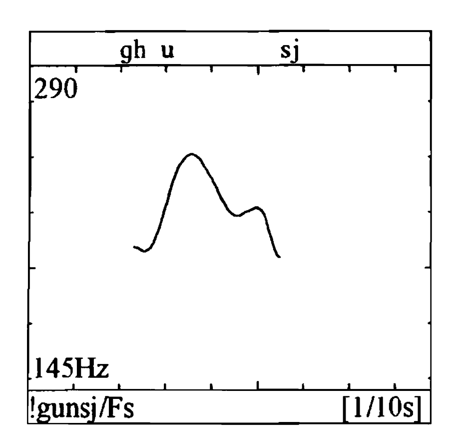

12. [*zwûk*] < **zvǫ̂kъ*



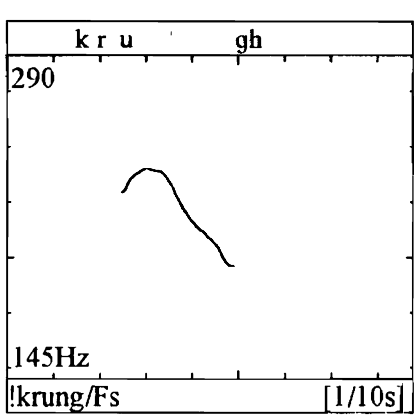
13. [*sùd*] < **sǫ̃dъ*



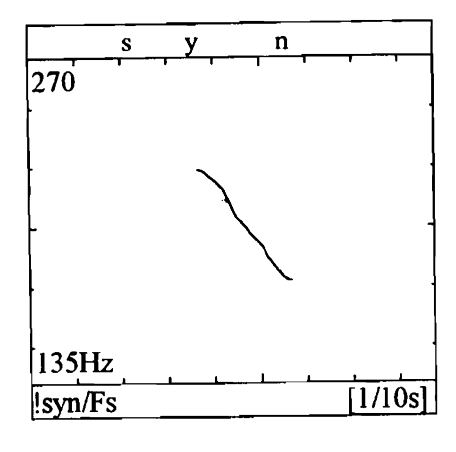
14. [*dûb*] < **dǫ̂bъ*



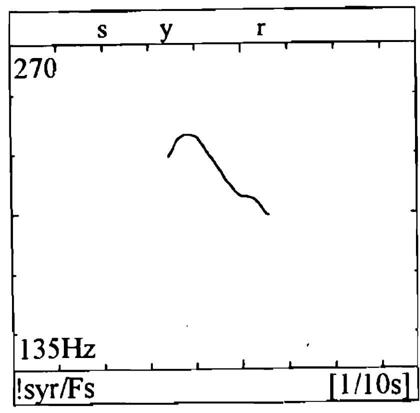
15. [*γûs'*] < **gǫ̂sь*



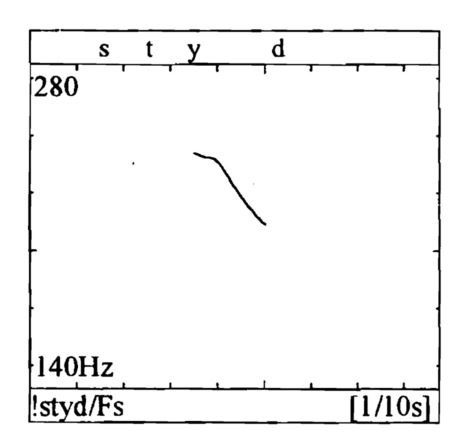
16. [*krûγ*] < **krǫ̂gъ*



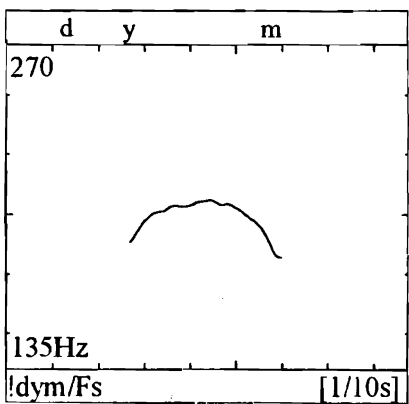
17. [*sìn*] < **sŷnъ*

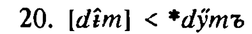


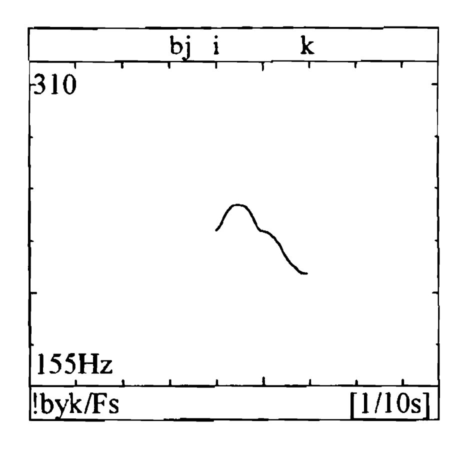
18. [*sîr*] < **sý̋rъ*



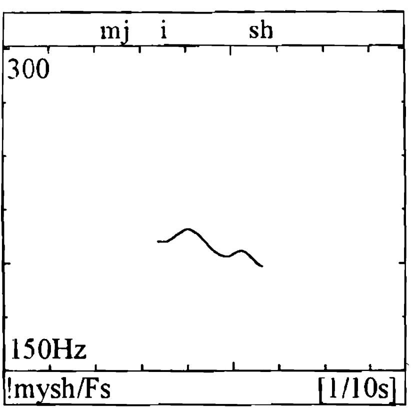
19. [*stɨ̀d*] < **stŷdъ*



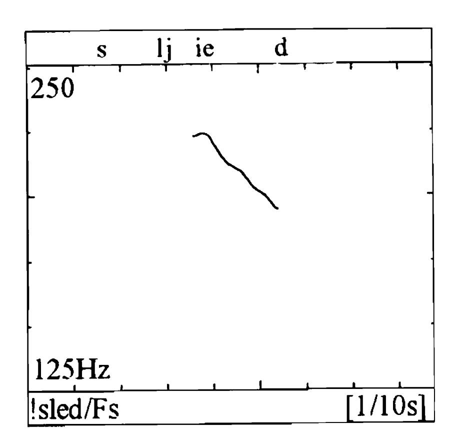

20. [*dɨ̂m*] < **dy̋mъ*



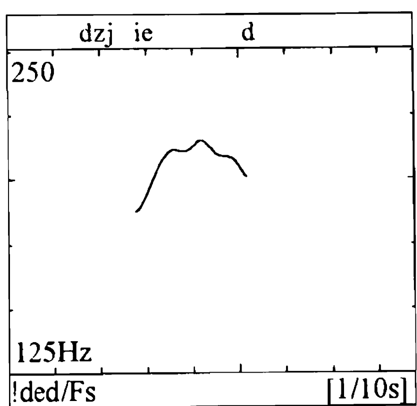
21. [*b'ɨ̂k*] < **bỹkъ*

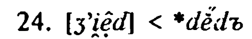


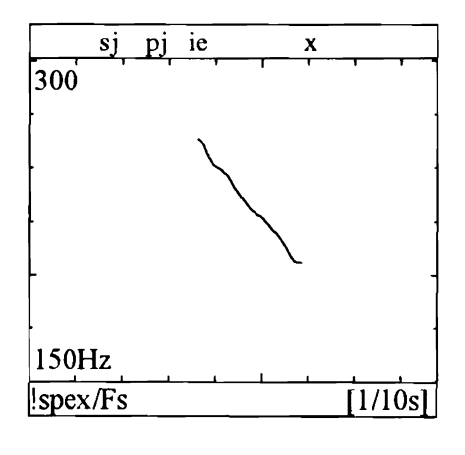
22. [*m'ɨ̂š*] < **my̋šь*



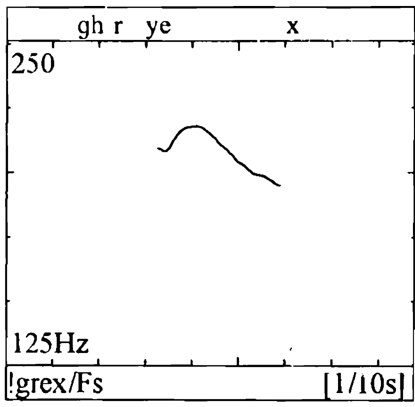
23. [sl’i̭ẹ̀d] < *slě̂dъ



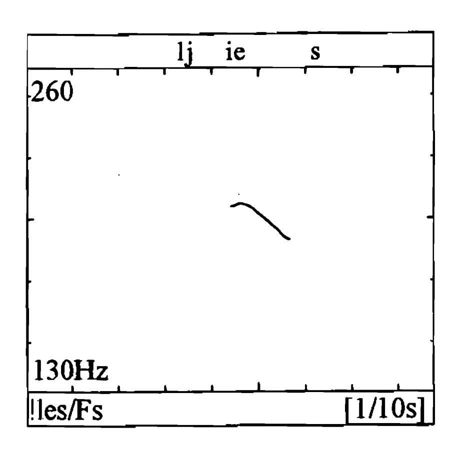

24. [ʒ’i̭ệd] < *dě̋dъ



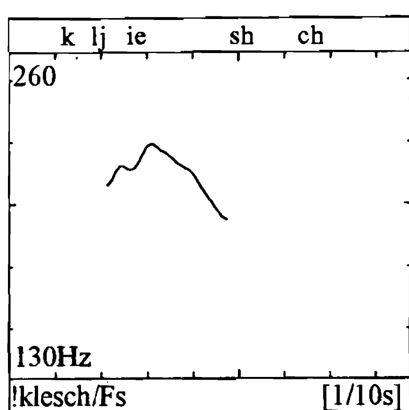
25. [s’p’i̭ẹ̀x] < *spě̑xъ



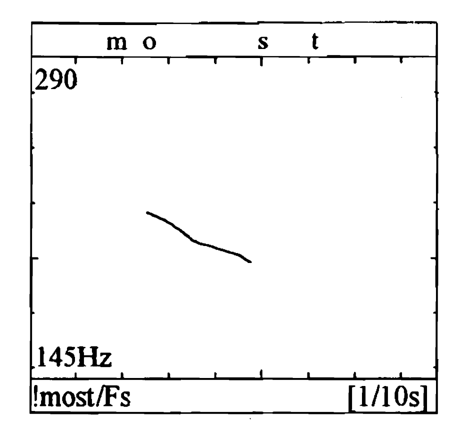
26. [γri̭ệx] < *grě̃xъ



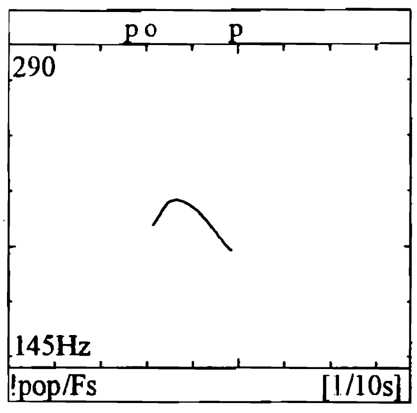
27. [*l'ịệs*] < **lȇsъ*



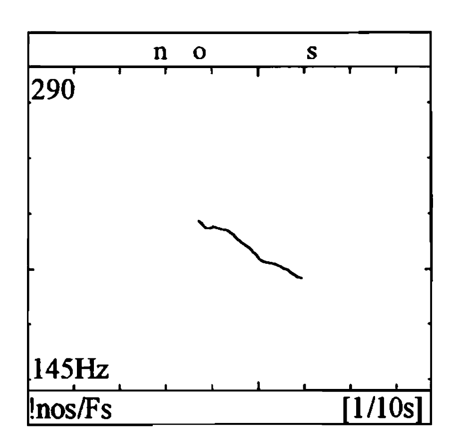
28. [*kl'ịệšč*] < **klẽ̆ščь*



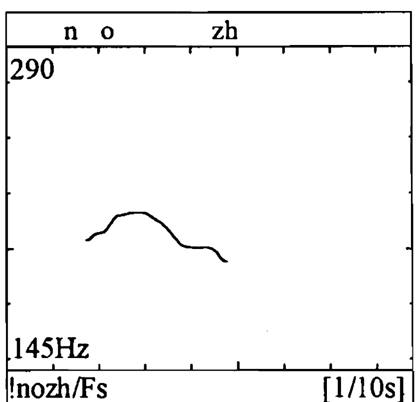
29. [*mụ̂òst*] < **môstъ*



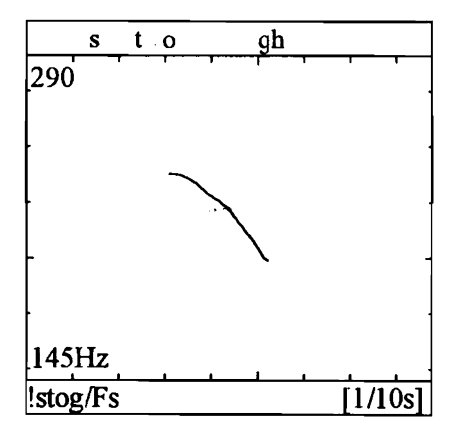
30. [*pụ̂ôp*] < **põpъ*



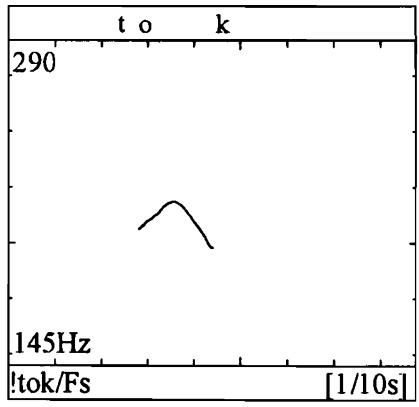
31. [*nu̯òs*] < **nôsъ*



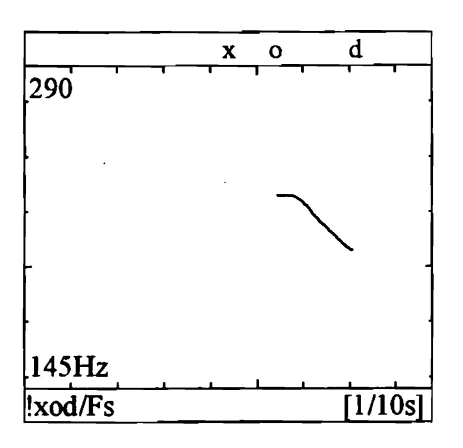
32. [*nu̯ôž*] < **nõžь*



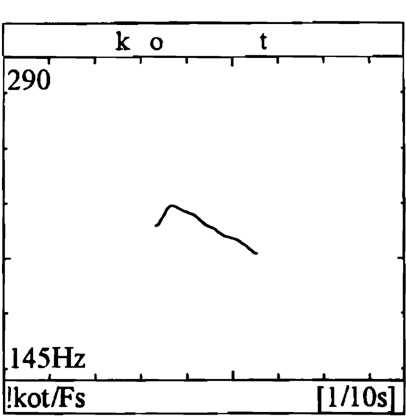
33. [*stu̯òγ*] < **stôgъ*



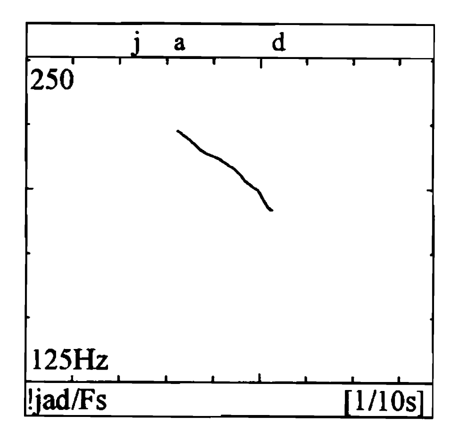
34. [*tu̯ôk*] < **tõkъ*



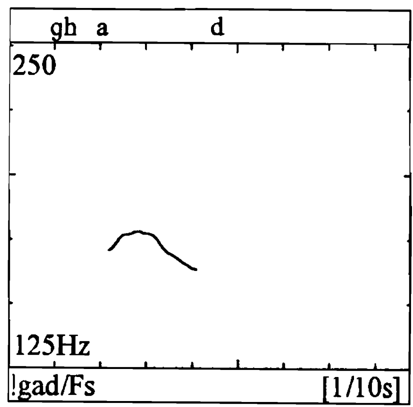
35. [*xu̯òd*] < **xôdъ*



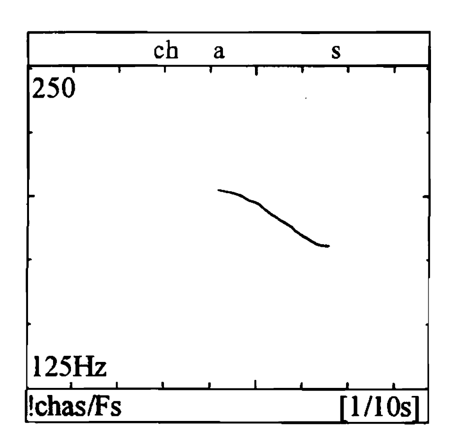
36. [*ku̯ôt*] < **kõtъ*



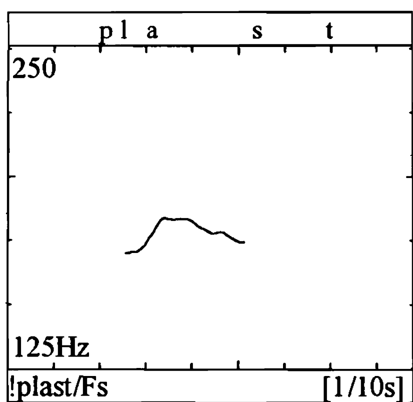
37. [*jàd*] < **jâdъ*



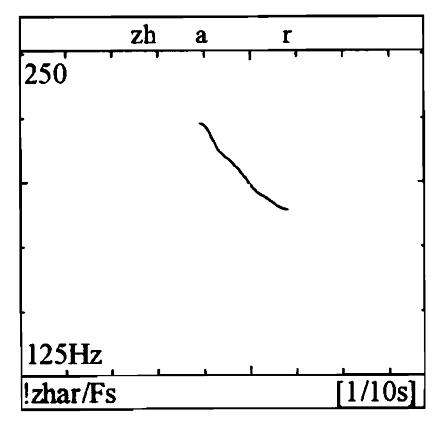
38. [*γâd*] < **gãdъ*



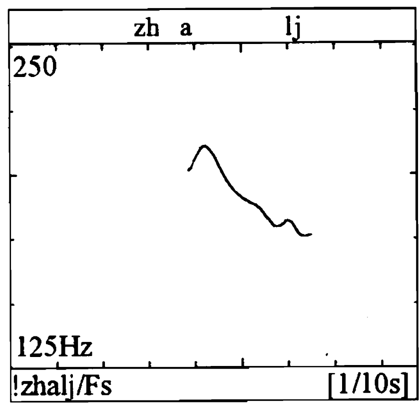
39. [*čàs*] < ***čâsъ**



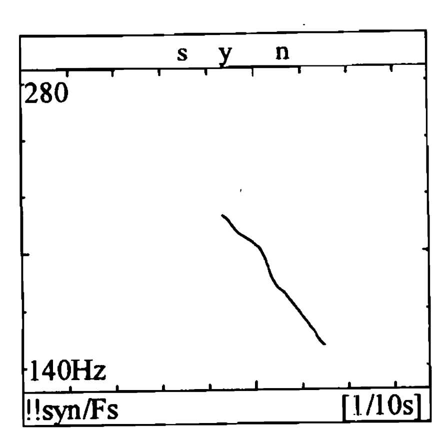
40. [*płâst*] < ***plãstъ**



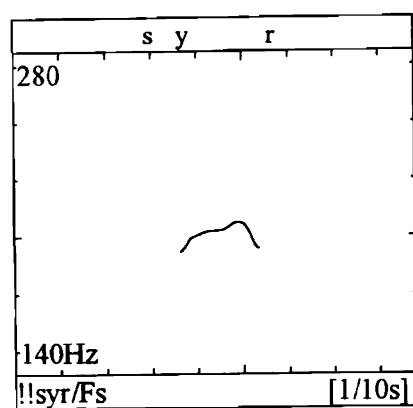
41. [*žàr*] < ***žârъ**



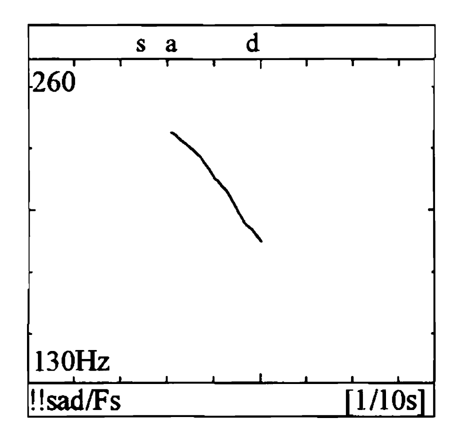
42. [*žâl'*] < ***žãĺь**



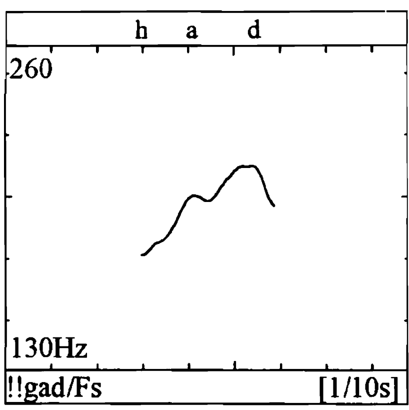
43. [*sɨ̀n*] < **sŷnъ*



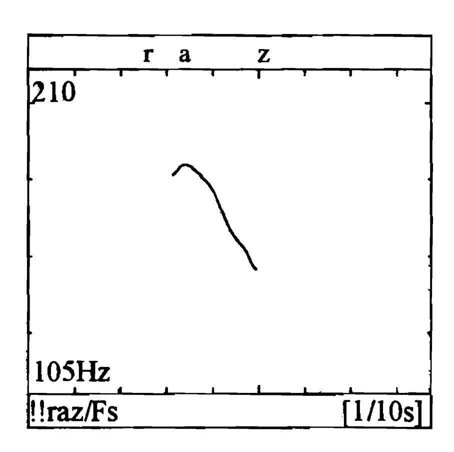
44. [*sɨ̃r*] < **sy̋rъ*



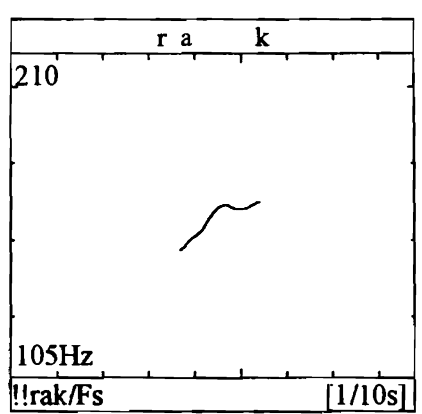
45. [*sàd*] < **sâdъ*



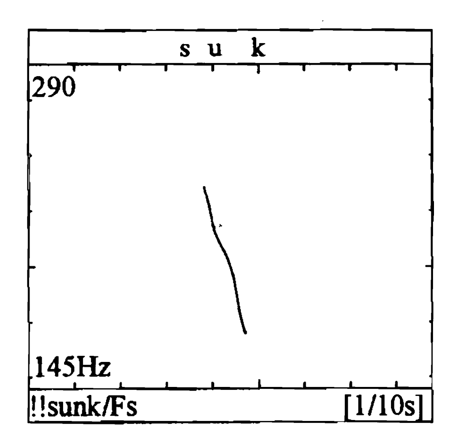
46. [*ɦãd*] < **gãdъ*



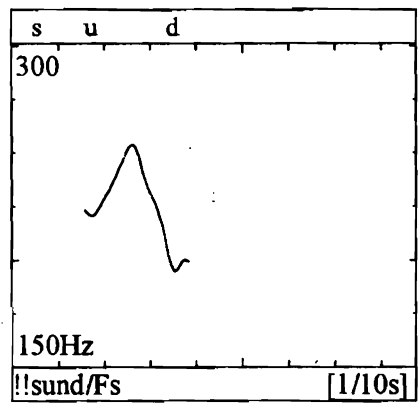
47. [*ràz*] < **râzъ*



48. [*rãk*] < **rãkъ*



49. [*sùk*] < **sǫ̂kъ*



50. [*sũd*] < **sǫ̃dъ*

Л. Л. Касаткин

Гласные звуки на конце слова в современных севернорусских говорах на месте редуцированных гласных древнерусского языка*

Во многих берестяных грамотах на месте слабых *ъ* и *ь* на конце слова (как и в других положениях) встречается написание *о* и *е*: *бого, возо, городо, дворо, поклоно, рабо, сыно, хлебо, с изветомо, грьхово, оу прихожано, к новгородцамо, на рыбахо, молодыхо, придуто, было; зяте, коне, клете, пяте* и др. Такие примеры отмечаются в берестяных грамотах с XII в., хотя есть и единичные примеры в грамотах XI в. [см. Зализняк 1986, с. 266–306; 1993, с. 325–343]. Все исследователи берестяных грамот относят эту черту к графико-орфографическим особенностям этих памятников, считая, что буквы *о* (как и *ъ*), *е* (как и *ь*) на конце этих слов не обозначали в эту эпоху гласных фонем [см., например, Аванесов 1955, с. 85–86; Борковский 1958, с. 100; Жуковская 1959, с. 98, 102–103; Зализняк 1986, с. 100–105]. Так же оценивают обычно исследователи подобные написания, обнаруженные в других древнерусских памятниках [см., например, Шахматов 1886, с. 146; 1903, с. 64; Обнорский 1912, с. 33].

Подверг сомнению категоричность таких выводов В. М. Марков, считавший «многочисленные написания типа *намо, плоуго, всехо* и т. п. отражением особенности живого произношения» [Марков 1964, с. 242]. А. Н. Залесский, приведя данные ряда украинских и русских говоров, где на конце слова на месте старых редуцированных гласных и сейчас встречается произношение гласных звуков, высказал предположение, что «за написаниями

---

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 94–06–19067.

о, е вместо *ъ, ь* может стоять вполне реальная фонетическая действительность» [Залеський 1986, с. 61]. Эти предположения могут быть подкреплены новыми данными русских говоров.

В некоторых архангельских говорах встречаются формы существительных им. и вин. падежей ед. числа мужского рода на -*о*: *амба́ро, во́зо, во́лко, го́до, гро́мо, го́лодо, горшо́ко, до́мо, ды́мо, зу́до, к'ип'ато́ко, ко́н'ц'еко, л'о́но, л'е́со, мо́сто, мужы́ко, мухомо́ро, наво́зо, навало́ко, об'ихо́до, ов'и́но, ов'о́со, об'е́до, от'е́цо, по́гр'ебо, потоло́ко, по́ездо, плу́го, с'н'е́го, сы́но, спла́во, с'в'о́коро, ско́то, солда́то, таба́ко, хо́лодо* и др.

Впервые такие формы я услышал в группе деревень в низовьях реки Покшеньги, впадающей в Пинегу чуть ниже Карпогор. Позднее подобные формы мы с Р. Ф. Касаткиной отметили в Верхней Золотице на Белом море. О. Г. Гецова предоставила мне возможность прослушать магнитофонные записи, сделанные ею, Н. А. Артамоновой и Е. А. Нефёдовой в Виноградовском районе Архангельской области и просмотреть тетради с записями из этих деревень. Магнитофонные записи в одном из этих пунктов делал и С. В. Князев. О. Г. Гецова отмечала здесь формы мужского рода на -*о*. Я также обнаружил в этих магнитофонных записях подобные формы. Эти формы по устным сообщениям О. Г. Гецова наблюдала также в холмогорских говорах, А. В. Тер-Аванесова — в говорах к северу от Онежского озера. В. П. Мансикка отмечал их в говоре Шенкурского уезда Архангельской губернии [Мансикка 1912, с. 92].

С Покшеньги я привез магнитофонные записи на 10 часов звучания. Эти записи достаточно хорошо отражают картину современного бытования форм мужского рода на -*о* в тех архангельских говорах, где есть эта черта. Достаточно представительны в этом смысле и магнитофонные записи из Виноградовского района (13 часов звучания) и из В. Золотицы (20 часов). Эти записи свидетельствуют о значительной редкости форм на -*о*, которые встречаются только у некоторых информантов, наиболее старых. По-видимому, эти формы представляют собой лишь редкие остатки явления, бытовавшего ранее в русских говорах.

В потоке речи формы муж. рода на -*о* встречаются гораздо реже, чем формы на согласный, и рядом с ними. Например: *он акт'и́вный мужы́ко* | *хоро́шей* ‖. И через несколько слов: *он акт'и́вный был* ‖ *хоро́шъй мужы́к* ‖. Или: *с'а́деш на́ воз дак* | *γо́спод'и γо́спод'и* ‖ *домо́й ето йе́д'еж дак* ‖ <...> *како́й во́зо навал'а́* | *даг ду́-*

маш | нав'еку́ н'е сполст'и́; сахаро́к по но́рм'и | ч'айо́к по но́рм'и || то́ друго́йо || а́к а хл'е́п по но́рм'и || дак у т'иб'а́ отку́да хл'е́бо воз'м'е́т'ц'е? в л'е́со руб'и́т'-то | когды́ война́-то была́ | так тогды́ || фс'е́х в л'ес; йа фкл'уц'а́ла ц'а́йн'ик | а фкл'уц'и́ла к'ип'ит'и́л'н'ик || а к'ип'ит'и́л'н'ико у мн'а́ был на д'ива́н'и; по́с'л'е войны́ тут н'еурожа́йнъй како́й-то го́до был да || <...> н'ерожа́йный год был; а в'ино́-то на́да-т || скла́до сход'и́т'-то || <...> скла́т откры́л'и да; колхо́с об'е́т | л'есору́бам-то свар'и́т || об'е́д был || <...> б'еспла́тной || <...> мы то́жо на об'е́до пошл'и́; ф Сы́лог'и то́жъ сп'ицыа́л'нъ л'е́з загътовл'е́йут || <...> вы́в'ез'л'и л'е́со дак бл'и́ско-то н'е́ту дак; посмотр'и́ како́й об'ихо́т | ы фс'о́ <...> худо́й об'ихо́до | худо́й с'о рожно́; пр'ишо́л в д'ер'е́вн'у во́лко дак <...> уб'ежа̃л волк ||; на по́йез дак вот нат' ишшо́ узнава́д' д'е на ако́й по́йездо дъ с'е́д'еж дъ ув'езу́д ды и хто зна куды́; с'п'ецъа́л'ны л'у́д'и туд гр'е́л'и вот к'ип'ато́ко да | <...> и к'ип'ато́г был.

Формы на -*о* встречаются и в новых для говора словах: *колхо́зо, ф с'ел'сов'е́то, ин'т'ерна́то, клу́бо, парахо́до, нага́но, тра́кторо, в бара́ко, пайо́ко, б'ил'е́то* и др., а также у наречий, образованных от формы вин. падежа муж. рода: *за́мужо, нав'е́р'хо.*

Окончание -*о* возможно у существительных муж. рода и после мягкого согласного, где *о* выступает на месте старого *ь*: *от'е́ц'о, с'ин'т'а́бр'о, на́ д'ен'о, Йер'ем'е́йо*, а также у прилагательных: *на друго́йо гот, жо́лтойо гриб дак, тр'е́т'ейо поплы́л (парень), ско́т'н'ейо там вод был (двор), бол'шо́йо дом, друго́йо поста́р'е был (брат)* и др. Заударное ёканье — ['о] на месте *е* — характерная черта этих говоров: *вр'е́м'о, полот'е́н'ц'о, ф по́л'о, кор'е́н'йо, с'и́м'о л'анно́йо, шчо тако́йо, тро́йо, бу́д'о, вы́сохн'о, опуска́йо* и т. п. Но возможно и произношение [е] на месте конечного редуцированного: *Там один человек не управится с овцами?* — спрашиваю я, а информант отвечает: *Даг бойево́йе дак од'и́н упра́в'ит'ц'е || а н'е бойево́е дак || <...> вдвойо́м.*

В случае стяжения гласных после утраты интервокального *j* возникают следующие формы прилагательных и местоимений: *ма́л'ен'ко зу́до бу́д'е; е́то н'е то́д до́мо || кото́ро йа жыла́.*

В тех говорах, где встречаются формы на -*о*, есть и постпозитивные усилительно-выделительные частицы, различные при разных формах имени: *до́м-от, сестра́-та, сестру́-ту, ведро́-то, снопы́-ти.* Таким образом, в одном и том же падеже существительное муж. рода может быть оформлено по-разному: *дом, до́мо, до́м-от: ш'ас пошла́ в другу́ и́збу там по св'екро́фк'и | да́й-ка гър'у́ в'и́н'ик | изба́ н'е па́хана || она́ дала́ в'и́н'ик-от || йа гър'у́ ак э́тът*

в'и́н'ико хоро́шэй | м'ин'е́ худо́й на́д' гър'у́ || <...> она́ дала́ худо́й в'и́н'ик-от ||; у на́с по́гр'ебо бо́л'е | худо́й вот || <...> дак кък с'а́д'ет | до́м-от на | по́гр'еб-от ||; клу́б-от р'а́дом-то с по́чтой был || тут пом'ешче́н'йе-то | ф то́м пом'ешче́н'йи клу́бо был; снац'а́ла це́р'коф'-то гор'е́ла || а фтора́а-то це́р'коф' || о́ч'ен' высо́ко кр'е́ст-от || <...> н'ехвата́е шла́нга-та || зал'и́т'-то || дак во́тъ кр'е́сто затр'ешша́л | загоре́л; у йево́ погру́шчык йез' дак || е́во в гаражы́ стои́т погру́шчык-от || <...> ак погру́шчыко стои́т йего́ в гаражы́; а ста́ры-т'и | с'в'о́коро да с'в'екро́фка-та оста́л'ис' н'е ф колхо́з'и || <...> по́жыл'и дъ и | с'в'о́кор ы гōшор'и́т || <...> ма́т'и да с'в'о́кор-от ||. При этом формы типа *до́мо* и *до́м-от* встречаются, по-видимому, в сходных ситуациях: при желании говорящего подчеркнуть, выделить это слово.

Формы существительных муж. рода на *-о* в севернорусских говорах не могут сохраняться с праславянской эпохи (так, В. Вермеер считает, что подобные формы были в древненовгородском диалекте и они продолжают соответствующие праславянские формы [Vermeer 1991, p. 283–286, 288]; о существовании таких форм в праславянском языке см. также [Крысько 1993]): в берестяных грамотах XI в. нет подобных форм, они начинают встречаться лишь в XII в.: *городо* (грамота 550), *дворо* (82), *товаро* (165), *Ѳеодоро* (559), *отроко* (644), *послоухо* (675), *сыно* (632) [см. Зализняк 1986, с. 266–306; 1993, с. 325–343].

Возникает вопрос, не образовались ли формы типа *домо* из *дом-от* в результате утраты конечного *т*? Так, в частности, объясняет Л. Л. Васильев записанные А. В. Марковым в Зимней Золотице Архангельской губернии формы *кресть-о, нось-о, годь-о, шумь-о, шатёрь-о, овинь-о, Владимёрь-о, князь-о, глупой-о, неразумной-о, удалой-о, малой-о* [Васильев 1902, с. 27–28]. Так же, по-видимому, считал и сам А. В. Марков, судя по орфографии его примеров. Так же объясняют происхождение аналогичных форм в болгарском языке, где наряду с нечленными формами есть и членные формы существительных и прилагательных. При этом членная форма муж. рода в большинстве говоров оканчивается на гласный ъ или выступающие на его месте *а, о, ê,* а в части говоров и в болгарском литературном языке после этого гласного может произноситься и *т* [см. Мирчев 1958, с. 178–187; Стойков 1962, с. 140–141].

Можно было бы предполагать, что в русских говорах, знающих формы типа *дом-от*, конечный *т* в этих формах мог утрачиваться перед словами, начинающимися с [т], [д]: *плу́го*

таскáт', стóло тут отошóл, про л'éсо да, л'éсо даг бл'úско, к'ип'атóко да, амбáро тóжо у йéй, в óтпуско дак и т. п. Можно предположить, что сочетания [тт] и [дд] могли сокращаться, в результате чего и возникли формы на *-о*: *плýг-от таскат' > плýго таскат', стóл-от тут > стóло тут.* Однако формы на *-о* выступают и перед словами, начинающимися другими согласными или гласными, а также перед паузой, где выпадение [т], [д] трудно предполагать: *сыно с'ем'éйной, в ов'úно сад'úт'-тъ, об'ихóдо худóй, в'úн'ико хорóшей, во двóро зашл'ú, клýбо быў, г'óлодо был, об'éдо был, л'éсо гор'éлый быў, грóмо гр'ем'ú дак, л'éсо пон'есло́, на об'éдо пошл'ú, л'éсо вóз'а, пр'ишóл пóйездо вот, жывóто в'ес' промóкн'о, л'éсо н'е отпускáл'и, какóй вóзо навал'á; был хл'éбо у фс'éх óпшый, засвáталса мужыко óс'ин'йу-ту; какóй об'ихóдо ||, за табáко ||, покá с'н'éго ||, жыжу-ту да на навóзо ||, выпр'егáй плýго ||, éто н'е тóд дóмо ||.*

В архангельских говорах может отсутствовать *-т* и в некоторых формах 3-го лица глаголов: чаще лишь в формах ед. ч. I спряжения и мн. ч. II спряжения (*он несё, они сидя*), реже и в других формах (*он сиди, они несу*) [см. Гецова 1963]. Не может ли отсутствие *т* в глагольных формах 3-го лица и в формах мужского рода объясняться одними и теми же причинами [ср. Васильев 1902, с. 27]? Так, О. Г. Гецова предположила, что «утрата конечного *-т* в формах 3-го л. наст. времени глагола в некоторых вятских говорах <...> связана <...> с фонетическим явлением данных говоров — слабостью произношения конечных согласных звуков» [Гецова 1963, с. 114].

Действительно, в вятских говорах, как и во многих северно-русских, на месте взрывных согласных на конце слова при ослаблении артикуляции возможны имплозивные: *иде*[ţ], *ко*[ţ], *сно*[ņ], *да*[ķ]. Однако произношение имплозивного согласного обусловлено фразовой позицией. В других позициях в тех же словах на месте имплозивного произносится эксплозивный согласный, часто напряженный придыхательный. Таким образом, согласная фонема и в том и в другом случае имеет свою реализацию и не выпадает. Ср.: «...По говорам Вятской губ. употребляются формы 3 л. ед. ч. на *-t* и без *-t*. При этом важно отметить следующее явление: в представлении говорящего образование *-t* в конце формы имеется; для этого образования отводится соответствующий момент времени, но осуществление этого образования весьма слабо или совсем отсутствует — *спū, говорū* (так в говорах Котельнического у. Вятской губ.)» [Селищев 1968, с. 187].

Собственно фонетическими причинами невозможно объяснить отсутствие *-т* в одних глагольных формах при наличии *-т* в других. Поэтому фонетическое объяснение и не используется лингвистами при рассмотрении этого вопроса.

Происхождение особой формы постпозитивной частицы при именах мужского рода в русских говорах объясняют следующим образом: «Форма мужского рода *-от* происходит из старой формы именительно-винительного падежа единственного числа мужского рода <...> местоимения *тъ* <...>. Поскольку частица фонетически объединяется с предшествующим словом как бы в одно слово, с одним общим ударением, в таком древнерусском сочетании, как, например, *домъ-тъ* <...>, первое ъ было в сильном положении и вследствие этого должно было впоследствии измениться в *о*, второе же ъ было в слабом положении и должно было исчезнуть <...>. Поэтому сочетание *домъ-тъ* изменилось в *дом-от* (гласный, являвшийся концом существительного, вошел в состав частицы)» [Кузнецов 1960, с. 126]. Так же объясняется происхождение членной формы мужского рода в болгарском языке [см. Мирчев 1958, с. 181; Стойков 1962, с. 140].

Здесь необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство. В севернорусских говорах, как и почти во всех русских говорах, звонкий согласный на конце слова оглушился. Это оглушение происходило и перед энклитиками: *мо*[г]*ли*, но *мо*[к] *ли*, *мо*[к] *ведь (мог)*; *ве*[з]*ли*, но *вё*[с] *ли*, *вё*[с] *ведь (вёз)*; *гре*[б]*ли*, но *гре*[п] *ли*, *гре*[п] *ведь (грёб)* и т. п.

Перед частицей *-от*, как и в формах на *-о*, оглушения звонкого согласного в архангельских говорах нет: *хле*[б]*-от*, *погре*[б]*-от*, *сру*[б]*-от*, *хле*[в]*-от*, *спла*[в]*-от*, *сне*[г]*-от*, *сто*[г]*-от*, *горо*[д]*-от*, *поез*[д]*-от*, *сторо*[ж]*-от*, *наво*[з]*-от* и т. п. Не произошло оглушения звонкого согласного перед частицей *-от*, как правило, и в других говорах, знающих эту частицу. Нет перед *-от* и перед *-о* и других, типичных для этих говоров изменений конца слова. Так, нет здесь отпадения [т] после [с]: *хвос*, но *хвост-от*. Ср.: *пошл'и́* || *а мо́сто* || *γу͡оспод'и* || *высо́кой* || *их н'есло́ под мосто́ п'йа́ных-то* || *а вы́полс'т'и н'е мо́жут*.

Если принять объяснение П. С. Кузнецова и других лингвистов, то следует считать, что энклитика *тъ* еще до падения редуцированных стала частью слова — существительного муж. рода им.-вин. падежа ед. числа, объединившись с окончанием *-ъ* в единый формант. Тогда и соответствующие частицы *то, та, ту, ти (те, ты)* надо было бы считать постфиксами — частью соот-

ветствующих словоформ. Однако такое решение было бы неверным: *-т, -то, -та, -ту, -ти (-те, -ты)* не добавляют к слову в русских говорах нового значения, а служат лишь для его выделения. Благодаря этой единой функции частиц и возникло, вероятно, их неразличение во многих говорах и в литературном языке, где вместо них употребляется одна частица *то*.

Этим постпозитивные усилительно-выделительные частицы севернорусских говоров отличаются от тех бывших энклитик, которые стали частью слова, благодаря тому, что внесли в него дополнительное значение. Таковы, например, местоимения архангельских говоров *ну́тот, ну́то, ну́та, ну́те, то́ттам, то́там, та́там, те́там*, у которых энклитики внесли значение рода, числа, падежа или удаленности. Таковы и наречия, образованные из сочетания существительных разных родов в вин. падеже без предлога с одним и тем же местоимением *сь* на конце слова: *веснусь, летось, осенесь, зимусь, утрось, ночесь* со значением 'прошлой весной, прошлым утром' и т. д. Таковы и членные формы болгарского языка, которые, в отличие от нечленных форм, имеют значение определенности. Таковы же и местоименные формы прилагательных и возвратные глаголы и др.

Таким образом, формы постпозитивного указательного местоимения *тъ, то, та, ту, ти (те, ты)* были энклитиками и не становились в севернорусских говорах частью предшествующих им слов. Поэтому фонетические изменения в конце этих слов должны были происходить независимо от следующих за ними энклитик. Отсюда следует, что сохранение звонких согласных в конце основы форм типа *во́зо, го́до, по́гр'ебо, плу́го* и т. п. было возможно только перед гласным того же слова. Этим гласным и было окончание *-о*, восходящее к *-ъ*. Формы типа *домо* были исходными, а *домо-т* вторичными. Об этом же могут свидетельствовать данные украинских говоров, в которых отсутствуют усилительно-выделительные постпозитивные частицы, соответствующие указанным русским, но встречаются формы существительных муж. рода на *-о* [см. Залеський 1986, с. 56–57].

Можно предположить, что после падения редуцированных окончание существительных муж. рода им.-вин. падежа ед. числа выступало в двух вариантах: в гласном *-о* и в нуле гласного. По-видимому, эти варианты первоначально были позиционно обусловлены и *-о* выступало в сильных фразовых позициях: при эмфазе или другом ритмико-интонационном выделении слова. Сильная фразовая позиция способствует более четкому произ-

ношению слова, в этой позиции дольше задерживаются звуки, находящиеся в процессе утраты [см. Пауфошима 1983, с. 20, 33].

Поскольку окончание *-о* было связано со средним родом, оно в мужском роде обычно утрачивалось. Показателем муж. рода в большинстве говоров стала нулевая флексия. Однако окончание *-о* могло закрепиться и за словом муж. рода. Так, в севернорусских говорах широко распространено слово *де́до*. В праславянском, старославянском и древнерусском языках окончание им. падежа ед. числа в этом слове было *-ъ*: **dědъ, дѣдъ*. Отсутствует конечный гласный в этой форме слова во многих современных славянских языках (в некоторых из них встречается также форма с конечным гласным, в том числе и *-о*) [см. ЭССЯ, вып. 4, с. 227–228]. Возможно, сохранение окончания *-о* в слове *дедо* связано также с распространенными в этих же говорах словами *де́душко, де́дко*.

У некоторых слов в севернорусских говорах окончание *-о* закрепилось, а сами эти слова изменили мужской род на средний. Так, литературное слово *облако* известно в такой форме только севернорусским говорам, где оно распространено также в форме *о́болоко*. В древнерусском и старославянском языках в этом слове было окончание *-ъ*: *оболокъ, облакъ*. В других славянских языках и в южнорусских говорах — нулевое окончание [см. Фасмер 1971, т. 3, с. 105; СРНГ, вып. 22, с. 166–167]. Форма род. падежа мн. числа *облаков* указывает на происхождение этого слова из мужского рода.

Известны в севернорусских и сибирских говорах и другие слова муж. и ср. рода этого типа: *багро́, бра́тко, бубено́, волчёнко, горно́, гро́хото, дерно́, жезло́, жерново́* (и *жёрново), ка́ло, кедро́, коло́, колоколо́* (и *ко́локоло, коло́коло*), *копыло́* (и *копы́ло*), *котёнко, ко́тко, кочето́* (и *кочёто*), *ку́зово, кузовко́, лото́ко, махро́, мечо́, мо́роко* (и *моро́ко*), *обу́хо* и др. [см. СРНГ; Обнорский 1927, с. 33–34].

В севернорусских говорах, знающих формы муж. рода на *-о*, встречается произношение [о] на месте конечного *ъ* и в других формах: *што́-то у и́хо прошло́ в р'еку́ было; тако́о было стол; со вну́ком-то с' т'ем | кото́рый потоло́ко пособл'а́ло наб'ира́т'; од'и́но брат со мно́й ров'е́с'н'ик | а друго́йо поста́р'е был; ф Кон'ишче́л'йъхо жы́л'и; йа н'е зна́йу | здава́л н'е́то ‖*.

В фонотеке отдела экспериментальной фонетики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН хранится магнитофонная запись севернорусского говора двух деревень Сандовского района Тверской области, сделанная в 1959 г. В. С. Ворожей-

киной и Р. Ф. Пауфошимой. В этой записи один раз встречается форма муж. рода на *-о*: *то́жо в л'е́со сойт'и́*| *да на́дь*| *мозгова́т'*; форма пр. падежа ед. числа муж. рода указательного местоимения на *-о*: *в э́т'им* | *в э́т'имо*| *ф худов'ик'е́-то*; а также большое количество глагольных форм настоящего-будущего времени на *-о*: *подым'ешо; бу́д'ето, стои́то, хо́д'ито; поста́имо, ста́н'емо, зам'е́с'имо, д'е́ламо, п'ечо́мо, по́л'емо, розос'с'е́л'емо, б'ер'о́мо, пр'ид'о́мо; шйу́то, сн'и́муто, зову́то, бу́дуто, поотр'е́пл'уто, отправл'а́ито* (3 л. мн. ч.), *подыма́ито, з'зе́лайуто, пойду́то, соб'еру́то, помога́йуто, воз'му́то, оттыка́йуто, йи́з'д'ато, поко́с'ато, поста́в'ато*.

Как и формы существительных мужского рода на *-о* в архангельских говорах, глагольные формы на *-о* в говорах Сандовского района встречаются наряду с соответствующими формами без *-о* и гораздо реже, чем формы без *-о*. При этом формы с *-о* встречаются только на конце речевого такта (синтагмы), обычно перед паузой, тогда как формы без *-о* могут быть и не в конце такта. Интонационные отличия форм с *-о* от форм без *-о* не обнаруживаются.

Можно думать, что это *-о* в глагольных формах, как и у существительных и у других слов, раньше также было связано с сильной фразовой позицией: конец речевого такта и фразы и сейчас обычно выделяется в русских говорах, как и в литературном языке, большей длительностью.

Примеры с конечным *-о* на месте редуцированного гласного встречаются и в разных диалектологических описаниях. Обобщение этих фактов произвел С. П. Обнорский. «В основе этих форм, — писал он, — очевидно, лежит фонетическое явление, хотя оно само по себе и неясно» [Обнорский 1927, с. 31]. С. П. Обнорский пишет об этих формах как о редких, исчезающих формах, которые «заметно сходят на нет» и «должны быть рассматриваемы как остатки старших образований» [Обнорский 1953, с. 136].

Разнообразные формы на *-о*, главным образом глагольные, приводятся в материалах ДАРЯ. В Атласе русских говоров центральных областей к северу от Москвы составлена карта 260 «Гласный [о] после конечного *-т* в 3-м лице глаголов» (автор Т. С. Ходорович), где отражены данные ответов на диалектологическую программу, в которых наличие конечного гласного отмечается в указанных формах, а также во 2-м лице ед. числа и 1-м лице мн. числа глаголов и в других частях речи. На карте и в комментариях к ней указаны 19 нас. пп., где встретилось данное явле-

ние. Сгущение этих пунктов — на окающей территории северо-востока Тверской области. Кроме примеров на 3 лицо глаголов, здесь приведены следующие примеры: 89 *хóд'имо*; 93 *н'е дáмо*; 172 *на фторóмо сод'áтица*; 236 *йед'úма*; 329 *в гоłубóмо nłатк'е*; 436 *с'йéд'ошо, пр'ид'óмо*; 438 *там р'áдомо кр'есты́, пу́до на м'éс'иц*; 440 *комбáйно соб'ирáл, ф пóто бросáло, гóдо поуч'ʷитцы, сóроко п'éрвово*; 441 *бу́д'емо, угор'éйошо, пойд'óмо*; 444 *зав'áзышо, таш'-ш'úшо, нал'йóшо, пр'ин'ес'óшо, н'е знáмо скóл'ко, мы н'е пон'и-мáйемо, пáшемо, спойóмо, жыв'óмо, пóмн'имо, знат' н'е знáэмо.* Один подобный пункт (1) отмечен в Атласе русских говоров северо-западных областей СССР, два пункта (279, 755) в Атласе русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы [с. 817].

С. П. Обнорский объяснял «загадочные факты диалектного употребления» глагольных форм 3-го лица ед. и мн. числа с конечным гласным *о* (иногда *а*) после *т* тем, что к формам без *т* (С. П. Обнорский считал их первичными) присоединялся постпозитивный член, восходящий к указательному местоимению среднего или женского рода *то, та.* (В тех говорах, где в форме 3-го лица произносится конечный *т* или *т'*, к первичной форме присоединялся постпозитивный член *тъ, то, та* в ед. числе и *ти, ты, та* во мн. числе; позднее произошла редукция гласного и обобщение согласного, различное в разных говорах). Затем по образцу форм 3-го лица гласный был перенесен и на глагольные формы 2-го лица ед. числа и 1-го лица мн. числа [Обнорский 1953, с. 135–136]. Однако С. П. Обнорский не рассматривает причин, по которым к первичной форме без *т* присоединялись бы в разных говорах разные формы постпозитивного члена, а без этого высказанное предположение не имеет доказательной силы. Кроме того, оно не объясняет многих случаев, когда конечное *о* в соответствии со старым редуцированным гласным выступает и в словах других частей речи.

По-видимому, конечное *о* в указанных глагольных формах, как и в форме существительных мужского рода и в других словах, объясняется одним и тем же — сохранением конечного гласного, бывшего редуцированного, в сильных фразовых позициях. Примеры эти — последние остатки явления, распространенного более широко в русских говорах. Пути его утраты были неодинаковы в разных говорах. В одних говорах оно задержалось главным образом в существительных, в других говорах — в глаголах. Но и там, и там оно встречается до сих пор в самых различных частях речи.

Можно предположить, что существительные типа *домо* сохранили окончание *-о*, так как они выступали в сильной фразовой позиции. Благодаря этому формы существительных муж. рода на *-о* стали восприниматься как особо выделенные, в отличие от форм на согласный. Окончание *-о* у этих существительных, таким образом, стало средством выполнения той же функции, которую у других форм существительных (им. и вин. падежей ед. числа жен. и ср. рода и мн. числа) взяли на себя соответствующие формы указательных местоимений: *дом* и *домо* как *сестра* и *сестра-та* и т. п. По аналогии с другими формами существительных усилительно-выделительная постпозитивная частица (в муж. роде *-т*) стала присоединяться к форме *домо*: *домо-т*, где *-от* стало выполнять ту же функцию, что и более раннее *-о*, и ту же, что и *-то, -та, -ту, -ти (-те, -ты)* при других формах существительных.

Таким образом, распространение усилительно-выделительной частицы муж. рода *-от* в современных русских говорах может отражать более широкое распространение в предшествующую эпоху по сравнению с современной формы существительных муж. рода на *-о*.

Если высказанное здесь предположение верно, то история редуцированных гласных должна быть дополнена рассмотрением их поведения в разных фразовых условиях. Слабые редуцированные в сильных фразовых позициях могли сохраняться как особые гласные в эпоху, когда в слабых фразовых позициях они уже перестали произноситься, а позднее они могли изменяться в гласные полного образования.

Среди примеров с конечным *о* после твердого согласного встречаются и глагольные формы 2-го лица ед. числа и 3-го лица ед. и мн. числа: *подымешо, стоито, зовуто* и др., которые не могут объясняться фонетически — переходом конечного [ъ] в [о]: форма 2-го лица имела в древнерусском языке конечное *ши*, а формы 3-го лица *-ть*. Не могут фонетически объясняться и формы с *-о* новых слов: *колхозо* и т. п. Эти примеры могут свидетельствовать о том, что конечное *о*, выступающее в формах, употребляющихся и без этого гласного, обобщилось как средство выделения слова.

Формы на *-о* характерны для севернорусских говоров, в которых, очевидно, вследствие особой ритмической структуры слова конечные гласные, отпадавшие в южнорусских говорах, могли задерживаться в произношении. Таковы же встречающиеся в основном в севернорусских говорах инфинитивы на безударное

-ти, -чи: *ходи́ти, стри́чи* и т. п. [см. ДАРЯ, вып. 2, карты 100, 101], такие слова, как *а́ко, во́но, во́то, да́ко, ка́ко, та́ко, та́мо, ту́то, зде́се* и др. [см. СРНГ].

Литература и сокращения

Аванесов 1955 — *Р. И. Аванесов.* Фонетика // Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот. М., 1955.

Атлас русских говоров северо-западных областей СССР. Рукопись. Хранится в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

Атлас русских говоров центральных областей к северу от Москвы. Рукопись. Хранится в Институте русского языка РАН.

Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы. Вступительные статьи, справочные материалы и комментарии к картам / Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1957.

Борковский 1958 — *В. И. Борковский.* Лингвистические данные новгородских грамот на бересте (из раскопок 1953—1954 гг.) // *А. В. Арциховский* и *В. И. Борковский.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953—1954 гг.). М., 1958.

Васильев 1902 — *Л. Л. Васильев.* Язык «Беломорских былин» // ИОРЯС, 1902, т. 7, кн. 4.

Гецова 1963 — *О. Г. Гецова.* К вопросу о формах 3-го лица глагола в русских говорах // Славянская филология. М., 1963, вып. 5.

ДАРЯ — Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. В трех вып./ Под ред. Р. И. Аванесова и С. В. Бромлей. М., 1989, вып. 2. Морфология.

Жуковская 1959 — *Л. П. Жуковская.* Новгородские берестяные грамоты. М., 1959.

Залеський 1986 — *А. М. Залеський.* Прослідки зредукованих голосних у слабкій позиції в українській мові // Мовознавство. Київ, 1986, № 6.

Зализняк 1986 — *А. А. Зализняк.* Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения. Словоуказатель к берестяным грамотам // *В. Л. Янин, А. А. Зализняк.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). М., 1986.

Зализняк 1993 — *А. А. Зализняк.* Лингвистические исследования и словоуказатель // *В. Л. Янин, А. А. Зализняк.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984—1989 гг.). М., 1993.

Крысько 1993 — *В. Б. Крысько.* Общеславянские и древненовгородские формы nom. sg. masc. **o*-склонения // Russian Linguistics, 1993, 17.

Кузнецов 1960 — *П. С. Кузнецов.* Русская диалектология. 3-е изд. М., 1960.

Мансикка 1912 — *В. Мансикка.* О говоре Шенкурского уезда Архангельской губ. // ИОРЯС, 1912, т. 17, кн. 2.

Марков 1964 — *В. М. Марков.* К истории редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1964.

Мирчев 1958 — *К. Мирчев.* Историческа граматика на българския език. София, 1958.

Обнорский 1912 — *С. П. Обнорский.* О языке Ефремовской Кормчей XII века // Исследования по русскому языку. СПб., 1912, т. 3, вып. 1.

Обнорский 1927 — *С. П. Обнорский.* Именное склонение в современном русском языке. Вып. 1. Единственное число. Л., 1927 (Сб. ОРЯС, т. 100, № 3).

Обнорский 1953 — *С. П. Обнорский.* Очерки по морфологии русского глагола. М., 1953.

Пауфошима 1983 — *Р. Ф. Пауфошима.* Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах. М., 1983.

Попов 1966 — *И. А. Попов.* Сложные наречия в говорах русского языка // Лексика русских народных говоров. М.; Л., 1966.

СРНГ — Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин, Ф. П. Сороколетов. Л., СПб., вып. 1–28. 1965–1994.

Стойков 1962 — *Ст. Стойков.* Българска диалектология. София, 1962.

Фасмер 1971 — *М. Фасмер.* Этимологический словарь русского языка / Перевод с нем. и доп. О. Н. Трубачева. М., 1971, т. 3.

Шахматов 1886 — *А. А. Шахматов.* Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV в. // Исследования по русскому языку. СПб., 1886, т. 1.

Шахматов 1903 — *А. А. Шахматов.* Исследования о двинских грамотах XIV в. // Исследования по русскому языку. СПб., 1903, т. 2, вып. 3.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1977, вып. 4.

Vermeer 1991 — *W. Vermeer.* The Mysterious North Russian Nominative Singular Ending -e and the Problem of the Reflex of Proto-Indo-European *-os in Slavic // Die Welt der Slaven. Halbjahresschrift für Slavistik. Jahrgang XXXVI, 1 + 2 (N. F. XV, 1 + 2). München, 1991.

А. М. Молдован

Из синтаксиса древнерусского перевода «Жития Андрея Юродивого»

Синтаксические данные древних славянских памятников сравнительно неплохо сохранялись в их более поздних списках, гораздо лучше, чем текстологически изменчивый материал по фонетике и морфологии [1]. Даже лексика уступает синтаксису в сохранении связи с архетипом текста: она удерживалась при копировании текста, однако при редактировании обычно пересматривалась. Синтаксический же строй, как показывают наблюдения над разными списками одного текста, мало затрагивался не только при его переписке, но и при стилистических редакциях, если не считать довольно обычных в этих случаях перестановок слов (**лицє своѥ — своѥ лицє, ѥгда ѥмоу бѣашє любо — ѥгда бѣашє ѥмоу любо** и т. п.).

Устойчивость синтаксических элементов текста в дошедших до нас списках делает их привлекательными для использования при локализации ранних славянских переводов. Можно полагать, что на синтаксическом уровне, который, в силу множественности и многозначности относящихся к нему понятий, вообще усваивается гораздо труднее, чем грамматика и лексика, — независимо от воли переводчика и незаметно для него самого могли проявляться региональные особенности его церковнославянского языка.

Удобным в этом отношении памятником является «Житие Андрея Юродивого» (ЖАЮ) в древнейшем славянском переводе конца XI или начала XII в. [2]. Большой объем сочинения и многочисленность (более 200) списков этого перевода позволяет реконструировать его рукописную историю и дает возможность судить об отношении вариантов разночтений списков к аутентичному тексту их архетипа. Благодаря своеобразию рукописной

традиции перевода и его богатому лексическому составу, имеется достаточно оснований для заключения о его восточнославянском происхождении (Молдован 1994). В области синтаксиса этого перевода, кажется, заслуживают внимания следующие явления.

подъ + *вин. пад.* *при обозначении пространственной близости*

Начальная фраза одного из рассказов ЖАЮ, посвященного истории сребролюбивого монаха, содержит указание на место, куда однажды в своих скитаниях пришел Андрей: потомь поиде ѿтудѣ и приде подъ хрестъ и обрѣте тамо черница 31а[3] μετὰ ταῦτα ἀπάρας ἐκεῖθεν, ἔρχεται δρομαῖος ἐν τῷ Σταυρίῳ, καὶ εὑρίσκει μοναχόν 81v[4].

Употребление предлога подъ для обозначения движения к месту, находящемуся у предмета, указанного именем существительным, с давних пор известно восточнославянским языкам. В старославянских и среднеболгарских текстах оно не встречается, нет его и в современном болгарском языке, соответствующее значение выражается в болгарском языке предлогом до (Павлова 1977, с. 139)[5].

Из древнерусских письменных источников это подъ употребляется только в летописно-повествовательных и бытовых текстах, где оно используется весьма часто: и приплу подъ Оугорьское (882 г.) Лавр., 22; ходивъ в земли ихъ... а на лѣт҃ со ѡц҃мь подъ Полтескъ, а на другую зиму с Ст҃полкомъ подъ Полтескъ (Поуч. Вл. Мон.) Лавр., 247; они же приступиша подъ городъ въ суботу (1164 г.) Новг. 1 лет., 145; придоша Све подъ Ладугу (1164 г.) Новг. 1 лет., 145; подъпустивъше и подъ полкъ свои и отступиша отъ него (1189 г.) Ипат.; а ныне ѣду под Тушино с соколами. Письма Ал. Мих., 71 и др.

Частица ти

Значение и особенности употребления этой частицы были специально рассмотрены А. А. Зализняком в связи с необыкновенной распространенностью ее в новгородских берестяных грамотах (Зализняк 1989, с. 15–17; Зализняк 1993, с. 298–307). Обращает на себя внимание частое употребление частицы ти и в древнерусском переводе ЖАЮ (17 примеров).

9 — 4492

Частица **ти** восходит к местоимению 2-го лица **ти** «тебе» в функции dativus ethicus (Фасмер 4, с. 54–55; Алексеев 1991, с. 3–8), и поэтому во многих контекстах различить их нелегко.

Тем не менее А. А. Зализняк указал на большое количество примеров, демонстрирующих наличие у частицы **ти** особого значения «усилителя индикативности», отличающего ее от местоимения **ти**. В начальном предложении высказывания это значение может быть представлено как «обращаю твое внимание на следующий факт» или «воистину» (буквального перевода такое **ти** обычно не имеет). Ср.:

недалече бо ти бꙋдеть, и пꙋщенъ бꙋдеши и ходити начнеши по своѥи воли, кдѣ же бꙋдеть годѣ очима твоима 6а	οὐ μακρὰν γὰρ καὶ ἀπολυθήσῃ τῷ ἰδίῳ θελήματι πορεύεστῃ ὅπου δ' ἂν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου ἐστὶν εὐάρεστον 9r
да в горцѣмь показано ти ѥсть вкꙋшеньѥ стр҃стемъ и болѣзнемъ, ꙗже ти ѥсть приꙗти мене дѣлѧ 7а	ἐν τῷ πικρῷ μὲν τῶν ἀγώνων καὶ τῶν πόνων σοι τῶν δι' ἐμὲ ὑποδέικται ἡ αἴσθησις 10v
и станеть на въстокъ зрѧщи и ре҃ть грозѧщисѧ на Вышнѧго, г҃лщи. ци облѣнила ти сѧ есмь, о нарѣцаемыи Б҃е, погꙋбити памѧть твою ѿ землѧ С151	...μὴ ἐκαθώκνησα ὦ λεγόμενε θεέ... 161r
лишене Феодоре, тищи[6] **добле и претерпи сию ти горесть** С160	ταπεινὲ Θεόδορε, φέρε γενναίως καὶ ὑπόμεινον τὴν πικρίαν ταύτην 172r

В греческом источнике какого-либо соответствия этому **ти** нет, за единичным исключением (см. ниже).

В составе не первого предложения текста частица **ти** также сообщает высказыванию различные дополнительные оттенки значения, чаще всего при объяснении причины или указании на следствие того, о чем сказано в предыдущем предложении:

тебе дѣлѧ велика печаль ми сѧ ѥсть створила. да ими ми вѣрꙋ, ко не могꙋ ти оуже тѣрпѣти сего 32г	ἐπειδὴ θλίψις μοι μεγάλη διὰ σε καθέστηκε, καὶ οὐχ ὑποφέρω, πίστευσον, ἀπὸ τῆς ὀδύνης 85r

да уже пожди мене мало, да ти раздроушю нбо и възлѣзоу тамо С151	...καὶ χαλῶν τὸ στερέωμα, καὶ ἀνέρχομαι πρὸς σε 161г
нъ помні, что ти сѧ кму хощеть створити въскорѣ, занеже ти кстъ блѧдивъ и прилюбодѣи 38а	πρόσεχε δὲ, τίνα συμβήσεται αὐτῷ. οὐ μετὰ πολὺν χρόνον ἀπὸ τῆς προκειμένης ὥρας, δἰ ὧν ἐστι πόρνος καὶ μοιχός 96г

В последнем примере частица **ти** в одном придаточном предложении усиливает значение относительного местоимения **что** (аналогичные примеры см. ниже), а в другом — вносит дополнительный оттенок причинности и может быть переведена как «ведь».

Ввиду отсутствия аналогии в греческом источнике, следующий случай можно рассматривать в качестве примера устойчивого сочетания частицы **ти** с предшествующим местоимением **се**, в результате чего впоследствии появилось слово **сети (сеть)** (Зализняк 1993, с. 305):

занеже оугодила ми кси, постѧщисѧ, се ти кемь пришелъ к тебѣ, повѣдати тобѣ хотѧ, кокы дѣлѧ вины се сѧ кстъ створило тебѣ 42в	...ἰδοὺ ἐγὼ παρεγενόμην τὴν αἰτίαν διδάσκων σε PG, p. 780 *(в Моп.552 утрачен лист)*

На этом примере видно отличие специфической роли частицы **ти** от функции dativus ethicus местоимения **ти** «тебе»: соседство с полной формой дат. пад. местоимения 2-го лица (**к тебѣ**) не позволяет рассматривать **ти** в качестве dativus ethicus этого местоимения. Ср. подобный пример, приведенный А. А. Зализняком из Киевской летописи по Ипат. списку (1152 г.): **прислалъсѧ еси к нама и своеѧ вины каешис҇, тобѣ ти того всего ѿдаваевѣ** («поэтому мы тебе все это прощаем») 163 об. (Зализняк 1993, с. 303).

В прочих случаях несвободного употребления частицы **ти** в ЖАЮ она выступает в качестве релятивизатора при относительных местоимениях и наречиях (**что, како, колико, клико**), усиливая их относительную функцию:

види ли, како ти сѧ кемь оуранилъ на помощь твою 6а	βλέπεις πῶς ἐτάχυνα εἰς τὸ βοηθῆσαί σοι 8v

9*

зрите на бестудную сию лисицю, како ти сѧ ломить, лукаво хотѧщи оуловити кура, ркуще, нѣ ѿ кого оунаго дш҃ю оуловити 36б	βλέπε τὴν ἀλώπεκα ταύτην ἀναίσχυντον, πῶς ὑποκυνεύεται δολίως πυρωμὴν ὄρνιν λαβεῖν 92v
видилъ ли кси стража, како ти хранить виноградъ гс҃нь и како пудить враны 44б	εἶδες τὸν δραγάτην πῶς φυλάσσει τὸν ἀμπελῶνα κυρίου 100r
да оувѣси, како ти кстъ другъ друга тѧготы носить 44б	καὶ ἵνα γινώσκῃς ὁποῖον ἐστίν τὸ ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζειν 100v
да зри, что ти творить, како бы она погубила дш҃ю свою 44г	ὅρα τί ποιεῖ πρὸς τὸ ἀπολέσαι τὴν ψυχὴν αὐτῆς 101r
а иже се есть реклъ, како ти гѹдеть въ гѹсли, а бысте видили С100	*В Мон.552 утрачен лист. В списках других, более кратких греческих редакций этого предложения нет.*
видиши ли ны бг҃атыꙗ, а бы видилъ, колико ти сдѣвамъ 45б	βλέπεις ἡμᾶς τοὺς πλοισίους, ὁπόσα ἐξωδιάζομεν 105r

В одном таком случае ти употреблено в соответствии с греческой частицей *ἄν*, имеющей сходный с ти спектр значений:

створи кму, клико ти хощеть 62в	ποιῆσαι μετὰ σου ὅσα ἂν βούλωμαι 147r

Подобные сочетания относительных местоимений и наречий с частицей ти встречаются (весьма редко) и в некоторых древних памятниках южнославянского происхождения: съмотри како ти и тъ. тѣми оученикомъ благовѣститъ Супр. 1446,15; како ти и кымьждо хѫдожьствомь (з)апинает(ъ) Рыл. 2бβ16; видиши лі, како ти мьстѧ Бъ҃ своего работьника, неплодьство и съмрьть наведе Изб. Св. 1073 г., л. 188; колико ти въскопавактъ диꙗволъ. коликоу ти изобрѣтактъ зъль. коликь ти дъ въмещетъ въ кретикы (πόσα καινοτομεῖ ὁ διάβολος, πόσα εὑρίσκει, ὑποβάλλει τοῖς αἱρετικοῖς) Шест. Ио. екз., л. 36 и др.

Учитывая, что частица ти, вообще характерная в прошлом для древнерусского языка, в наибольшей степени была распростра-

нена в древненовгородском диалекте, можно рассматривать частотность ее употребления в ЖАЮ как дополнительное указание на связь этого произведения с новгородской областью [7].

После XII в. самостоятельное употребление частицы ти «постепенно угасает» (Зализняк 1993, с. 308), что служит дополнительным свидетельством принадлежности рассмотренных примеров архетипу перевода.

Сочетания **иже то, еже то** *в роли относительного союза*

Союзные сочетания местоимений **иже, еже** с частицей **то** представлены в ЖАЮ двумя примерами:

и приступивъ к тому, иже то бѣаше видиникмь оуноша, рече кму 3	καὶ προσελθών λέγει τῷ ἑνί δὴ νεανίᾳ 3v
таже есть ли въ псалтыри г҃ска млтвеница написана въ стисѣхъ? да что есть, еже то гл҃ши? С100	...τί οὖν εἰσὶν ἃ λαλεῖς PG 111, 789 *(в Мон.552 нет листа)*

На особенности употребления частицы **то** в качестве релятивизатора при вопросительных и некоторых относительных местоимениях также обратил внимание А. А. Зализняк в связи с данными берестяных грамот (Зализняк 1981, с. 87–107; Зализняк 1986, с. 160). Исследованный им материал показывает, что модель **иже то**, которая может рассматриваться, с одной стороны, как результат «транспозиции» присущей народному древнерусскому языку модели **къто то** в церковнославянские тексты, а с другой — как собственно русское образование (ср. **оже то**), — употреблялась в старину (до конца XIV в.) только в восточнославянских текстах.

Конъюнктив в целевых и косвенно-побудительных придаточных предложениях

Считается, что древнерусский союз *дабы*, отчасти сохранившийся в современном русском языке в целевых и косвенно-побудительных придаточных предложениях, был заимствован из ста-

рославянского (Булаховский 1953, с. 336; Спринчак 1964, с. 86; 8; Иванова 1986, с. 41 и др.)[8], поскольку, по данным русских народных говоров в языке восточных славян подчинительного союза *да* как будто бы не было. Бытует мнение, что «союз *дабы* и в древнейших памятниках являлся книжным союзом, употреблялся в памятниках с книжным языком» (Борковский 1963, с. 501).

Между тем ссылки на отсутствие соответствующих данных в современных диалектах[9] не могут быть приняты, хотя бы ввиду хронологической отдаленности имеющихся (весьма несовершенных) диалектных записей от начала письменной эпохи на Руси.

По крайней мере один пример употребления союзного сочетания **да бы** в косвенно-побудительной конструкции зафиксирован в новгородской берестяной грамоте № 528 (кон. XIV в.): **...а ѧ тобѣ кланалсѧ продѧва** (?) **да бы єси Климꙋ...** (Арциховский, Янин 1978, с. 128–129). К сожалению, текст грамоты читается не вполне надежно из-за того, что число ошибок в ней «беспрецедентно велико» (Зализняк 1993, с. 176). В грамоте № 683 (сер. 50-х — сер. 90-х гг. XII в.) представлена косвенно-побудительная конструкция с **да** и причастием на **-лъ**, но без **бы**: **Да молю ти сѧ, госпоже ка моѧ, да** [Михаль] **посълъ во борожь и рыбиць выдаль ти** («Да еще прошу тебя, госпожа моя: пусть [Михаль] поскорее выдаст соленье (вероятно, соленую рыбу) и (свежих) рыбок» (Зализняк 1993, с. 66).

Совершенно ясно также, что в древненовгородском (в широком смысле) диалекте довольно употребительным в целевых придаточных предложениях было союзное сочетание **да ти** (позднее союз **дать**). Среди рассмотренных А. А. Зализняком соответствующих материалов (Зализняк 1986, с. 160–161) есть примеры из берестяных грамот сугубо бытового содержания, в которых подчинительный союз **дати** (**дать**) представлен, в частности, в сочетании с конъюнктивом или инфинитивом: **ѿ Лоукы ко Марфи; цто Олекса Колбиниць далъ пороукоу в коунахъ, дати бы дати коуны на Пьтровъ день...** 389, 1-я пол. XIV в. (Арциховский 1963, с. 88; Зализняк 1986, с. 161); **цолобитье оть Смона к попꙋ Иванꙋ, цобы єси моего москотьѧ моего пересмотреле, дад бы хорь не попортиль...** 413, XIV–XV вв. (Арциховский, Янин 1978, с. 17–19; Зализняк 1986, с. 161).

Что касается других письменных источников, то приходится констатировать, что и здесь по видимости бесспорное и потому многократно повторявшееся утверждение о том, что употребление союзного сочетания **да бы** характерно только для книж-

ного церковнославянского языка и восходит к старославянской письменной традиции, основано на поверхностном впечатлении[10].

Накопленный в исследованиях по этой теме значительный материал свидетельствует как раз об обратном: модель «да + конъюнктив» является *маргинальной* по отношению к норме старославянских памятников, в которых абсолютно преобладала модель «да + индикатив». Не случайно Г. Бройер, посвятивший этому явлению большое исследование, проницательно увидел в нем возможный критерий различения древнеславянских переводов по месту их происхождения (Bräuer 1957; Bräuer 1959). Он обратил внимание на то, что, в противоположность старославянскому, древнерусский язык уже с древнейшего времени обнаруживает склонность к построению придаточных предложений в косвенно-побудительных[11] и целевых конструкциях по типу **молю, да бы пришелъ** (да + конъюнктив). Так, в старославянских списках Евангелия на 300 целевых и косвенно-побудительных предложений с 330 глаголами в индикативе (тип **молю, да придеши**) приходится лишь 20 предложений с конъюнктивом (тип **молю, да бы пришелъ**), т. е. 1/17 от общего числа придаточных этого типа (Bräuer 1957, S. 54, 59). В Супр. на 418 целевых и косвенно-побудительных придаточных с 500 глаголами в индикативе приходится лишь 20 предложений с конъюнктивом, что составляет 1/25 часть от общего числа этих предложений (Bräuer 1957, S. 62). Сходное количественное соотношение наблюдается и в других старославянских и среднеболгарских памятниках (Vondrák 1928, S. 530–533, 537, 539; Bräuer 1957, S. 83–87; Bräuer 1959, S. 332; Лесневский 1976, с. 178–181 и др.).

И напротив, в древнерусских летописях и грамотах указанные типы предложений чаще содержат конъюнктив, при этом в косвенно-побудительных конструкциях конъюнктив является, в сущности, правилом, тогда как презенсный индикатив представляет скорее исключение. По подсчетам Г. Бройера, в Лаврентьевской, Ипатьевской, Новгородской 1-й, Софийской 1-й и 2-й, Псковской 2-й и 3-й летописях в совокупности представлено 95 примеров употребления косвенно-побудительных конструкций с конъюнктивом и только 25 — с индикативом, т. е. соотношение здесь приблизительно 4:1 (Bräuer 1957, S. 175). Такое же соотношение наблюдается в грамотах (Bräuer 1957, S. 177–191).

В исследованиях Г. Бройера и, позднее, В. С. Лесневского высказывалась, хотя и не получила развития, мысль о зависимости

употребления в древнерусском языке в косвенно-побудительных конструкциях и придаточных цели той или иной модели от жанра и содержания произведения. Из приведенных ими материалов и статистических подсчетов однозначно следует: чем *менее* книжным (resp. церковнославянским) языком написан текст, тем чаще в указанных конструкциях употребляется в нем модель «да + конъюнктив». Иными словами, частотность употребления здесь конъюнктива возрастает по мере «снижения» жанра текста. Так, в древнерусских оригинальных произведениях XI–XII вв., относящихся к традиционным церковнославянским жанрам (жития, проповеди и т. п.), старославянская модель «да + индикатив» употреблялась значительно чаще, чем «да + конъюнктив» (Лесневский 1976, с. 183). В сочинениях митрополита Илариона в косвенно-побудительных конструкциях и целевых придаточных 24 раза употреблена модель «да + индикатив» и ни разу — модель «да + конъюнктив».

В произведениях историко-повествовательного жанра мера «чистоты» церковнославянского языка была в XI–XII вв., как известно, иной, и поэтому в «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия и в Хронике Георгия Амартола в косвенно-побудительных конструкциях модель с конъюнктивом употребляется существенно чаще: в Хронике Георгия Амартола на 90 косвенно-побудительных придаточных предложений с да и презенсным индикативом приходится 11 предложений с конъюнктивом и дважды употребляется модель да бы + инфинитив (общее соотношение 8/1) (Bräuer 1959, S. 332); аналогичное соотношение представлено в «Истории Иудейской войны»: 121 косвенно-побудительное предложение с индикативом и 14 — с конъюнктивом, в том числе два — с а бы (Bräuer 1957, S. 211)[12].

В среднерусских текстах светского содержания конструкции с дабы абсолютно преобладают над конструкциями с да. Например, в «Назирателе» (XVI в.) дабы употреблено 51 раз, а да — всего 6. И наоборот, в относящихся к этому же времени произведениях традиционного церковнославянского жанра сохраняется значительное преобладание конструкций с да, характерное для старославянских памятников. Так, в русских оригинальных житиях, написанных в XVI в. (жития Акакия Тверского, Варлаама Хутынского, Григория Пельшемского, Евфросина Толского, Иосифа Волоцкого, Кирилла Белозерского, Корнилия Комельского, Михаила Клопского, Никона Радонежского, Саввы Вишерского, Сергия Радонежского), дабы употреблено в общей

сложности всего 4 раза, между тем как да — 93 раза (Агиогр. 1990, с. 64). Показательно, что и в XVIII в. дабы употребляется почти исключительно в светской литературе (СлРЯ XVIII в., 6, с. 22–23[13]).

По своему «жанру» и содержанию, ЖАЮ представляет собой не традиционное житие, а своеобразный псевдоисторический роман, наполненный живыми описаниями быта Константинополя и изобилующий прямой речью персонажей. Его греческий оригинал в языковом отношении занимает промежуточное положение между литературным языком и κοινή своего времени (Murrey 1910, p. 33). В свою очередь язык древнерусского перевода ЖАЮ ориентирован на нормы, условно говоря, летописно-повествовательной литературы. Вследствие этого конъюнктив в этом переводе представлен чрезвычайно широко и разнообразно. Он значительно доминирует в косвенно-побудительных конструкциях: на 14 примеров с да и презенсным индикативом приходится в 37 предложениях 39 примеров употребления конъюнктива и 7 раз употребляется да бы + инфинитив. Иными словами, «русские» модели с конъюнктивом или инфинитивом в косвенно-побудительных предложениях употребляются в ЖАЮ в 3,3 раза чаще, чем «старославянская» модель с индикативом — почти так же, как в древнерусских летописях и грамотах.

Даже в придаточных цели употребление моделей с конъюнктивом составляет в ЖАЮ перевес: на 59 придаточных да-предложений с 60 глаголами в конъюнктиве и четырьмя инфинитивными конструкциями (да бы + инфинитив) приходится 43 предложения с 50 глаголами в индикативе.

Версия о заимствовании да бы из старославянского в качестве книжного подчинительного союзного сочетания, помимо ее фактической неосновательности, не объясняет параллельного употребления в древнерусском синонимичных да бы союзных сочетаний а бы, аж(є) ѣы, ать бы, дать бы, позднее что бы и самой наклонности древнерусского к употреблению конъюнктива в косвенно-побудительных и целевых предложениях — настолько развитой, что она привела к утверждению модели *молю, чтобы пришел* во всех восточнославянских языках в качестве единственной — независимо от различий в союзах (рус. *чтобы, дабы,* белорус. *абы, штобы,* укр. *аби, щоб(и)*.

Несомненно, что сам феномен активного использования условной модальности в косвенно-побудительных конструкциях, распространившийся в дальнейшем на целевые придаточные

предложения, относится в восточнославянских языках к дописьменному периоду (Bräuer 1957, S. 5–7, 94). При известной неразвитости гипотактической связи в косвенно-побудительных конструкциях, нет нужды предполагать для употреблявшейся в них частицы да какой-то внешний источник подчинительного значения. Подобно частице а в сочетании а бы, развившейся на основе сочинительного союза а (Мельничук 1966, с. 73–77), в роли частицы да в сочетании да бы, очевидно, использовался первоначально сочинительный или начинательный союз да, весьма распространенный в древнерусском и, кстати, чрезвычайно частотный в языке переводчика ЖАЮ [14].

Возможность сравнения древнерусского перевода ЖАЮ с адекватным греческим текстом позволяет убедиться в том, что представленные в нем косвенно-побудительные предложения не являются воспроизведением греческих сложных конструкций: из 39 примеров использования в переводе ЖАЮ косвенно-побудительных конструкций с да и конъюнктивом в 32 случаях им соответствуют *простые* предложения в греческом. Чаще всего это конструкции с «чистым» инфинитивом — 16 примеров, в частности:

молю ти сѧ, да быхомъ и мы посѣдѣлѣ нѣгдѣ с нимъ С11	παρακαλῶ σε ἔν τινι τόπῳ μετ᾽ αὐτοῦ συγκαθῆσαι ἡμᾶς 18r
много же сѧ емꙋ молихъ, да бы ми повѣдалъ поне едино слово, еже емꙋ есть речⷷно ѿ Га҃ Іс҃са С26	πολλὰ οὖν αὐτὸν καθικέτευον, κἂν ἓν ῥῆμα ἐκ τῶν λαληθέντων αὐτῷ παρὰ Κυρίου Ἰησοῦ ἀπαγγεῖλαί μοι 32v
жадахꙋ, да быша слово реклѣ с нимъ С29	ἐλέγχοντο (PG ἐγλίχοντο δὲ) συνᾶραι λόγον μετ᾽ αὐτοῦ 36r
во велици же печали бывъ хлапъ, молѧшесѧ ст҃цю, да бы кмꙋ пакы даръ он же вдалъ 17б	παρεκάλει τὸν ὅσιον πάλιν τὸ δῶρον αὐτῷ νεμηθῆναι 48v
тои же нощи с вечера нача молити Ба҃ Єпифанъ, да бы кмꙋ вилъ о ст҃ьци семь, в какои чⷭ҇ти кстъ оꙋ Гс҃а 26г	τῇ νυκτὶ οὖν ἱκέτευεν ὁ Ἐπιφάνιος τὸν Θεὸν φανερῶσαι αὐτῷ τὰ περὶ τοῦ δικαίου 71r

се ли есть отрокъ, иже си нощи молилсѧ бѣ намъ, да бы сѧ емѹ вило о славнѣмъ дрѹзѣ нашемъ Андрѣи? С63об.	οὗτος ἐστὶν ὁ παῖς, ὃς σαφέστερον (в ркп. ἄφες πέρας) ἡμῖν παρεκάλεσεν ἀποκαλυφθῆναι αὐτῷ περὶ τοῦ ἀοιδίμου καὶ προσφιλοῦς ἡμῶν χρηματίζοντος τοῦ μακαριωτάτου ᾿Ανδρέου 73г–v
да бѣаше видити блаженаго... молѧщасѧ члвколюбцю Бу, да бы сѧ оумолилъ и оставилъ грѣхы наша и да бы прѣставилъ ѿ людѣи лютыи моръ 28г	καὶ ἦν ἰδεῖν τὸν μακάριον... καθικέτευε καὶ προσενέγκαι καὶ σπλαγχνισθῆναι, καὶ παῦσαι τὸ δεινὸν θανατικόν 77г
испросилъ же ѥго ѥсть англъ, иже хранить дшю ѥго, да быша ѥму дали оурокъ на покаꙗниѥ понѣ ѥдино лѣто 38а	ᾐτήσατο δὲ αὐτὸν ὁ ἄγγελος ὁ φυλάσσων αὐτοῦ τὴν ψυχήν, ὅρον δοθῆναι αὐτῷ μετανοίας κἂν ἕνα καιρόν 96г
и молимсѧ, и подвизаѥмсѧ, да быхомъ свершили повелѣниꙗ Бжиꙗ 47а	προσευχώμεθα, ἀγωνιζώμεθα πληρῶσαι τοῦ Θεοῦ τὰ προστάγματα 108v
Єпифан... молѧшесѧ ѥму, да бы ѥму повѣдалъ, коѥꙗ дѣлѧ вины ко песъ лаꙗ лишенъ онъ кончасѧ 48а	παρεκάλει μαθεῖν, δι᾿ ἣν αἴτιαν οὗτος ὁ ταπεινὸς καθάπερ κύων ὑλακτῶν τετελεύτηκεν (в ркп. ἐτελεύτεσεν) 110v–111г
да видить его Бъ с горы, не хотѧ, да бы сѧ створило зло, велить англу, приставленому къ молнии, и абие начнеть грѣмѣти на змѣꙗ 55б	θεωρεῖ ὁ Θεὸς ἄνωθεν, καὶ μὴ θέλων γενέσθαι κακὸν, νεύει τῷ ἀγγέλῳ... 126г
азъ же оубоꙗвшисѧ бывшиꙗ хѹлы на стго, начах сѧ молити стцю, да бы притьрпѣлъ, безумьꙗ дѣлѧ лишеника сего, и да бы ѥму не въздалъ хулы ѥго дѣлѧ 60а	ἐγὼ δὲ φοβεθεῖσα τὴν εἰς τὸν ἅγιον βλασφημίαν, ἠρξάμην παρακαλεῖν τὸν ἅγιον φείσασθαι τοῦ μιαρωτάτου τῆς ἀναισθησιας, καὶ μὴ ἀποδοῦναι αὐτῷ τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ 140v
хотѣлъ бо быхъ, да быша мѧ мчли еще С161	ἤθελον γὰρ ἔτι βασανίζεσθαι PG 880

В 13 случаях конъюнктив употребляется на месте греческой конструкции τοῦ + инфинитив, в том числе:

Ондрѣи... прослезисѧ, Ба҃ молѧше за нѧ, да быша ихъ не всадили в темницю 8б	τὸν Θεὸν ἱκέτευεν ὑπὲρ αὐτῶν, τοῦ μὴ ἐγκλεισθῆναι αὐτοὺς εἰς φυλακήν 13r
съ слезами молѧшесѧ, гл҃ѧ праведнику, да бы сѧ помолилъ къ Бу҃ за нь, да бы ѥго приꙗлъ, да бы творилъ така же дѣла, ка же и рабъ Бж҃ии творѧше 16б	δάκρυσι καθικέτευε τὸν δίκαιον, τοῦ παρακαλέσαι αὐτὸν τῷ Θεῷ ὑπὲρ αὐτοῦ ὅπως συμβάλληται αὐτὸν τοῦ γενέσθαι τοιαύτης ἐργασίας 46v–47r
Єпифанъ нудити нача ст҃го, да бы прилежалъ оу него 17в	παρεβιάσατο Ἐπιφάνιος τὸν ὅσιον τοῦ μεῖναι ἐκεῖσε 49r
да молисѧ за чадо своѥ, да быхъ не осуженъ былъ тамо же 40в	δεήθητι οὖν ὑπὲρ τοῦ τέκνου σου, τοῦ μὴ κατακριθῆναι με ἐν τοῖς ἐκεῖσε 103r (*99r)
иного не хощю ничего же, гс҃не мои, нъ да бы сѧ оставилъ ѿ лихаго дѣꙗньꙗ мужь мои и да бы мене ѥдиноꙗ и хотѣлъ и любилъ 41в	οὐδὲν ἕτερον βούλομαι, κύριέ μου, ἢ τοῦ καταργηθῆναι ἀπὸ τῶν τοιούτων τὸν ἐμὸν σύζυγον, καὶ ἐμὲ μόνην ἀγαπᾶν καὶ φιλεῖν 104v (*100v), PG 777 (130)
онъ нача... заклинати ѥго, да бы ѿступилъ ѿ неꙗ 42а	ἐξορκίζειν αὐτὸν τοῦ ἀποστῆναι ἐξ αὐτῆς PG 780 (131)

Два раза конъюнктив в косвенно-побудительных конструкциях употреблен в соответствии с оборотом accusativus cum infinitivo в греческом и один раз — в соответствии с nominativus cum infinitivo. Из сложных предложений в греческом прототипами для древнерусских косвенно-побудительных конструкций с конъюнктивом послужили в одном случае предложение с ἵνα и в пяти случаях — с ὅπως.

Из 7 примеров использования в косвенно-побудительных конструкциях да бы + инфинитив в 5 случаях им соответствуют греческие конструкции с простым инфинитивом:

Ба҃ съ слезами молѧше, да бы сѧ ѥмꙋ не впасти в такꙋ пагꙋбꙋ 45г	τοῖς δάκρυσιν ἐπεκαλεῖτο τὸν Θεὸν μὴ ἐμπεσεῖν εἰς τὴν τοιαύτην ἀπώλειαν 106 v
дьꙗвол... бѣгаꙗ же, тьщасѧ, да бы сѧ къ чл҃вкꙋ прилѣпиті 55в	φεύγων δὲ ἀγωνίζεται εἰς ἄνθρωπον ἀποκρεμασθῆναι 126v
молѧшесѧ ѥмꙋ, да бы сѧ избавити горести дьꙗволѧ 61в	παρεκάλει τῆς πικρίας τοῦ διαβόλου ἀπαλλαγῆναι 144v
съ слезами молѧшесѧ ст҃цю, да бы сѧ не вратити тщемꙋ 62а	δάκρυσι θλιβεροῖς ἠντιβόλει τὸν μάρτυρα μὴ κενὸν ἀποστραφῆναι 145v
азъ оꙋ Гс҃а прошю, да бы ми не имѣти ни по смр҃ти моеи на семь свѣти ничего же С170об.	ἐγὼ τῷ Κυρίῳ ἐνδέομαι, μὴ μετὰ θάνατον ἔχειν με ἐν τῷδε τῷ αἰῶνι 187r

в одном — τοῦ + инфинитив:

Бъ҃... иного не хощеть ничего же, но да бы не сти чресъ силꙋ, ни оꙋпиватисѧ 37в	οὐδὲν ἕτερον ἐπιζητεῖ εἰ τοῦ μὴ γαστρίζεσται. καὶ τοῦ μὴ μεθύσκεσθαι 95r

и в одном случае — nominativus cum infinitivo:

да хлапъ молѧшесѧ, да бы ѥмꙋ быти, ꙗкоже ѥсть и онъ 16в	καὶ ὁ μὲν παῖς παρεκάλει τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς μιμητὴς γενέσθαι 47r

Выбор той или иной конструкции определялся стремлением переводчика ЖАЮ адекватно передать стилистику греческого языка, не копируя его синтаксис, а используя возможности своего языка. Поэтому одинаковые греческие конструкции могут передаваться в переводе как индикативными, так и конъюнктивными оборотами. Особенно выразительны в этом отношении предложения, в которых для передачи двух тождественных в синтаксическом отношении, синонимичных греческих конструкций одновременно используются разные — индикативная и конъюнктивная — конструкции:

створилъ ксть Бъ҃ и палицю нє да быхом сѧ били кю самѣ, нъ да сѧ кю подъпиракмъ 36в

ἐποίησεν ὁ Θεὸ ῥάβδον, οὐχ ἵνα τύπτωμεν ἀλλήλους, ἀλλ᾽ ἵνα ἐν αὐτῇ στηριζώμεθα 93v

В некоторых случаях соседствующие в одном сложном предложении индикатив и конъюнктив отражают видо-временные отношения греческого оригинала. Ср.:

Иванъ Бословєць... оставлєнъ, да бѹдєть на землі въ плоти въмѣсто Хса Іса, да сѧ молить за грѣхы наша и да ѿвратить правыи свои гнѣвъ сѹщии на насъ, кгда сѧ оумножать грѣси наши, и да бы ны очистилъ бєзаконьꙗ нашєго дѣлѧ 55а

ἔστιν εἰς τὸν κόσμον... τοῦ εἶναι ἐν σαρκὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ἀντιπρόσωπος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἐξιλάσκεσθαι ἡμῶν τὰς ἁμαρτίας, καὶ τοῦ ἀποστρέφειν τὴν δικαίαν ὀργὴν αὐτοῦ τὴν καθ᾽ ἡμῶν, ὁπηνίκα πληθυνθῇ τὰ ἡμῶν ἁμαρτήματα καὶ παραπτώματα, τοῦ ἀπαλεῖψαι ἡμᾶς διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν 125v

Переводчик здесь передает разными наклонениями различие между презенсным и аористным инфинитивом в греческом: τοῦ εἶναι — да бѹдєть, τοῦ ἐξιλάσκεσθαι — да сѧ молить, τοῦ ἀποστρέφειν — да ѿвратить; но: τοῦ ἀπαλεῖψαι — да бы ны очистилъ.

Из этого более или менее очевидно, что употребление конъюнктива в целевых и косвенно-побудительных предложениях было вызвано не случайными причинами, но вносило в перевод модальную нюансировку.

Примечания

[1] Ср. замечание Й. Курца о том, что в грамматике Й. Добровского (Institutiones linguae slavicae) синтаксические наблюдения устарели менее всего, поскольку эта сторона старославянского языка представлена без особых изменений в позднейших рукописных памятниках, которыми Добровский мог пользоваться (Курц 1963, с. 5).

[2] Основанием для датировки служит введение на Руси при Андрее Боголюбском праздника Покрова Богородицы, сюжет которого взят из ЖАЮ, и составление в связи с этим на основе древнерусского перевода ЖАЮ семи статей для первой редакции Пролога, а также проложного Сказания на Покров, Службы на Покров и др.

[3] Текст ЖАЮ цитируется по рукописи РГАДА Син. тип. 182, кон. XIV в. — наиболее раннему из сохранившихся списков древнерусского перевода, не считая небольших его фрагментов.

[4] Греческий текст цитируется по рукописи Мюнхенской государственной библиотеки Mon. 552, XIV в., относящейся к той редакции ЖАЮ, с которой был сделан древнерусский перевод. Обращение к этому не известному ранее в славистике греческому прототипу ЖАЮ позволяет обнаруживать в нем прямые параллели славянскому материалу, что открывает перспективу для полноценного изучения лексики и синтаксиса перевода и древнерусской переводческой техники.

[5] Остается не ясным, правда, как понимал переводчик значение словосочетания ἐν τῷ Σταυρίῳ и под какой хрєстъ (или Хрєстъ), по его представлению, пришел Андрей (хотя лингвистически это, строго говоря, не существенно). По гипотезе первого издателя греческого текста болландиста К. Яннинга, Ставрионом называлась торговая площадь в Константинополе, в центре которой был установлен для поклонения каменный крест (PG 111, p. 749–750). Видимо, сходным образом понимал это слово и автор южнославянского перевода ЖАЮ (не позднее XIV в.), ср. в последнем: и по сих въздвигсѧ наскорѣ. доидє къ кр҃тꙋ и ѡбрѣтє тамо нѣкоєго мниха (ркп. РНБ Гильф. 41, л. 218). Между тем из более полных чтений других редакций греческого текста ЖАЮ, которые приведены С. Мюррей в вариантах к изданию его пергаменного отрывка X в., можно понять, что речь идет о монастыре Святого Креста, в котором и подвизался монах: καὶ ταῦτα εἰρηκὼς δρομαῖος τῶν ἐκεῖ ἀνεχώρησεν καὶ ἐν τῷ Σταυρίῳ [вар. τῷ λεγομένῳ Σταυρίῳ] παρεγένετο (далее в большинстве греческих списков следует заголовок: Περὶ τοῦ μοναχοῦ τοῦ ἐν τῷ Σταυρίῳ] Ἐν ὅσῳ οὖν τοῖς ἐκεῖσε ἐπέστη, εὗρεν μοναχόν τινα (Murrey 1910, p. 92–93).

[6] В ркп. ошибочно: дѣтищи. Исправлено по спискам других редакций.

[7] О связи этого перевода ЖАЮ с северо-западной областью Древней Руси свидетельствует наличие в нем слов (восходящих, согласно текстологическим данным, к архетипу самого перевода), которые неизвестны украинскому языку и его диалектам, но сохранились в русском языке и/или его диалектах и отчасти представлены в белорусском: близокъ, болє, вєрста в значении 'мера длины', глꙋбныи, грꙋнь, грꙋница, дивьк, диковъ, жємчꙋгъ, заръдѣтисѧ, кєрста, лошадь, лѧница, пєчальникъ, повозникъ, почємꙋ (Молдован 1994). Нельзя не считаться также с большим количеством фонетических и морфологических «новгородизмов» древнейшего списка этого перевода, имеющих соответствие в других его списках [*Шевелева М. Н.* «Житие Андрея Юродивого» как уникальный источник сведений по исторической фонетике русского языка (Новые данные о рефлексах сочетаний редуцированных с плавными)] (в печати).

[8] Уточнение, что второй компонент этого союза (*бы)* только на русской почве перестал быть живой грамматической категорией (аорист 2–3 л. ед. ч.) и пре-

вратился в неизменяемую форму (Черкасова 1972, с. 77–81), не меняет традиционной точки зрения, поскольку это произошло позднее, в XIII–XIV вв.

[9] Обычно ссылаются на работу Шапиро 1953, с. 68–70 и «Словарь русских народных говоров» (вып. 7. Л., 1972, с. 254–255).

[10] Не в последнюю очередь оно определяется архаическим стилистическим значением, присущим союзу *дабы* в современном русском языке, причем архаичность привычно ассоциируется с церковнославянской традицией.

[11] В терминологии Г. Бройера – Heischesätze, т. е. сложноподчиненные изъяснительные предложения с придаточными волеизъявления, относящимися к глаголу со значением желания, просьбы, приказа, повеления и т. п. в главном предложении. В дальнейшем В. С. Лесневский, анализируя зависимость употребления той или иной модели косвенно-побудительных придаточных от семантики глагола-сказуемого в главном предложении, установил, что модель с конъюнктивом может реализовываться в придаточных, зависящих от глаголов **молити**, **молитисѧ**, **хотѣти** и т. п.; при глаголах приказа, повеления она не употребляется (Лесневский 1976, с. 183).

[12] На основании этих подсчетов Г. Бройер сделал вывод о переводе обоих произведений коллективами переводчиков, среди которых были и болгары, и русские (Bräuer 1959, S. 341). Этот вывод Г. Бройера был оспорен Н. А. Мещерским (Мещерский 1962_1, 1962_2, 1964, 1978), главное возражение которого состояло в том, что, поскольку «старославянская» модель **да** + индикатив принадлежала основному фонду древнеславянского языка, ее, без сомнения, могли использовать и русские по рождению и по родному языку авторы. Впрочем, в подсчетах Г. Бройера были учтены данные косвенно-побудительных предложений со значением приказа, в которых конъюнктив не употреблялся. Исключение этих данных существенно увеличивает долю конструкций с конъюнктивом.

[13] Ср. там же замечание Н. М. Карамзина об употреблении *дабы* в переводе «Неистового Роланда» Ариосто: «Это слишком *по-приказному*».

[14] Из общего числа употреблений да в ЖАЮ (952 раза) в сочинительной (соединительной, противительной, присоединительной), начинательной и т. п. функциях оно употребляется 714 раз. По отношению к союзу и сочинительный союз да употребляется в ЖАЮ приблизительно в два раза чаще, чем в Мстиславовом евангелии и в 1,6 раза чаще, чем в Успенском сборнике. Обращает на себя внимание многозначность союза да, нерасчлененность его значений и неопределенность в отношении к гипотаксису или паратаксису, обнаруживаемая при сравнении перевода ЖАЮ с его греческим оригиналом (Лесневский 1984). По мнению Я. Бауэра, утверждению в восточнославянских языках конъюнктива в косвенно-побудительных и целевых придаточных предложениях способствовало широкое распространение в этих языках **да** в сочинительной функции еще до появления на Руси письменности и, вследствие этого, конкурентные отношения книжного употребления **да** в подчинительной функции с его привычной сочини-

тельной ролью в живом древнерусском языке (Bauer 1966, s. 70). При всем остроумии этой гипотезы, она упрощает многообразие значений союза **да** в самом древнерусском.

Сокращения

Изб. Св. 1073 г.	Изборник Святослава 1073 г.
Ипат.	Ипатьевская летопись. Изд. 2. СПб., 1908 (Полное собрание русских летописей, т. 2).
Лавр.	Лаврентьевская летопись. Изд. 2. Л., 1926–1928 (Полное собрание русских летописей, г. 1).
Поуч. Вл. Мон.	Поучение Владимира Мономаха. Цит. по: Лавр., стб. 240–256
Письма Ал. Мих.	Собрание писем царя Алексея Михайловича. Изд. П. Бартенев. СПб., 1856.
Рыл.	*И. Гошев*. Рилски глаголически листове. София, 1956.
Срз.	*И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1–3. СПб., 1893–1912.
Супр.	*С. Н. Северьянов*. Супрасльская рукопись. СПб., 1904.
Шест. Ио. екз.	Шестоднев, составленный Иоанном ексархом Болгарским // Чт. ОИДР, 1879, кн. 3.
PG 111	*I. P. Migne*. Patrologiae cursus completus, series graeca. T. 111. Parisiis, 1863.

Список литературы

Агиогр. 1990	Язык русской агиографии XVI века (Опыт автоматического анализа). Л., 1990.
Алексеев 1991	*А. А. Алексеев*. Dativus ethicus в «Слове о полку Игореве» // Традиции древнейшей славянской письменности и языковая культура восточных славян. М., 1991, с. 3–8.
Арциховский 1963	*А. В. Арциховский*. Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1958–1961 года. М., 1963.
Борковский 1963	*В. И. Борковский*, *П. С. Кузнецов*. Историческая грамматика русского языка. М., 1963.

Булаховский 1953 — *Л. А. Булаховский.* Курс русского литературного языка. Т. 2 (Исторический комментарий). К., 1953.

Зализняк 1981 — *А. А. Зализняк.* Противопоставление относительных и вопросительных местоимений в древнерусском // Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981, с. 89–107.

Зализняк 1986 — *В. Л. Янин, А. А. Зализняк.* Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1977–1983 годов. М., 1986.

Зализняк 1989 — *А. А. Зализняк.* Славянская частица *ти* // Синхронно-сопоставительное изучение грамматического строя славянских языков. Тезисы докладов и сообщений советско-польской конференции 3–5 октября 1989 г. М., 1989, с. 15–17.

Зализняк 1993 — *В. Л. Янин, А. А. Зализняк.* Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1984–1989 годов. М., 1993.

Иванова 1986 — *Т. А. Иванова.* К вопросу о славяно-русизмах в древнерусском литературном языке *(союз **дабы**)* // Проблемы исторического языкознания. Вып. 3. Литературный язык Древней Руси. Л., 1986, с. 143–151.

Курц 1963 — *Й. Курц.* Проблематика исследования синтаксиса старославянского языка // Исследования по синтаксису старославянского языка. Прага, 1963, с. 5–12.

Лесневский 1976 — *В. С. Лесневский.* О некоторых структурных типах сложноподчиненных предложений в древнерусских текстах // История русского языка. Древнерусский период. Изд. ЛГУ. Л., 1976, с. 173–186.

Лесневский 1977 — *В. С. Лесневский.* Синтаксический строй сложноподчиненных предложений с союзом «да» в переводных славяно-русских произведениях XI–XIV вв. АКД. Л., 1977.

Лесневский 1984 — *В. С. Лесневский.* Об одной синтаксической особенности древнеболгарских и древнерусских переводов с древнегреческого («да» = καί) // Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8 (1984). № 4, с. 99–105.

Мельничук 1966 — *О. С. Мельничук.* Розвиток структури слов'янського речення. К., 1966.

Мещерский 1962₁ — *Н. А. Мещерский.* Выступление по докладу Г. Бройера «Значение синтаксических наблюдений для определения оригиналов древнерусской переводной литературы» // IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. 2. М., 1962, с. 261–262.

Мещерский 1962_2 — *Н. А. Мещерский.* О синтаксисе древнеславянских переводных произведений // Теория и критика перевода. Л., 1962, с. 83–103.

Мещерский 1964 — *Н. А. Мещерский.* Проблемы изучения славяно-русской переводной литературы XI–XV вв. // ТОДРЛ. Т. 20. М.; Л., 1964, с. 180–231.

Мещерский 1978 — *Н. А. Мещерский.* Источники и состав древней славяно-русской переводной письменности XI–XV веков. Л., 1978.

Молдован 1994 — *А. М. Молдован.* Лексика древнерусского перевода в региональном аспекте. М., 1994.

Павлова 1977 — *Р. Павлова.* Пространственные конструкции в древнерусском языке в сопоставлении с древнеболгарским языком. София, 1977.

Спринчак 1964 — *Я. А. Спринчак.* Очерк русского исторического синтаксиса. Т. 2. К., 1964.

Черкасова 1972 — *Е. Т. Черкасова.* К вопросу о самобытности синтаксического строя русского языка // Вопросы языкознания, 1972, № 5, с. 77–81.

Шапиро 1953 — *А. Б. Шапиро.* Очерки по синтаксису русских народных говоров. М., 1953, с. 68–70.

Bauer 1966 — *J. Bauer.* K povaze vlivu cirkevni slovanštiny na staroruskou syntax // Bulletin Ustavu ruského jazyka a literatury. 10 (1966), s. 67–72.

Bräuer 1957 — *H. Bräuer.* Untersuchungen zum Konjunktiv im Altkirchenslavischen und im Altrussischen. Teil I: Die Final- und abhängigen Heischesätze (Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen u. Literaturen des Osteuropa-Instituts an der Freien Universität Berlin. Bd. 11). Wiesbaden, 1957.

Bräuer 1959 — *H. Bräuer.* Zur Frage der altrussischen Übersetzungsliteratur (Der Wert syntaktischer Beobachtungen für die Bestimmung der altrussischen Übersetzungsliteratur) // Zeitschrift für slavische Philologie, Bd. 27, Hf. 2. Heidelberg, 1959. S. 322–347.

Murrey 1910 — *S. Murrey.* A Study of the Life of Andreas the Fool for the Sake of Christ. Borna; Leipzig, 1910.

Vondrák 1928 — *W. Vondrák.* Vergleichende slavische Grammatik. Bd. 2. Formenlehre und Syntax. 2. Aufl. Göttingen, 1928.

О. А. Князевская

Буква ѡ в рукописи Быбельского Апостола

В статьях 1978 г. А. А. Зализняк, рассматривая закономерности распределения букв о и ѡ в древнерусской рукописи XIV в. «Мерило праведное» (РГБ фонд 304.I № 15), приходит к выводу, что эти буквы могли обозначать в древнерусских рукописях «две разные фонемы „типа *о"» – более открытую и более закрытую [1]. Далее А. А. Зализняк устанавливает три основных принципа распределения букв о и ѡ: великорусский, украинский и полесский [2]. В качестве примера «украинского» распределения букв о и ѡ автор ссылается на материал Галицко–Волынской рукописи евангелия XIV в. № 1367 из библиотеки МГУ [3]. Для этой рукописи характерны многочисленные юго-западные особенности письма, в том числе и исключительно последовательное «украинское» распределение букв о и ѡ. Буква ѡ пишется на месте исконного (раннедревнерусского) *о, как правило, перед слогом с утраченным редуцированным, во всех остальных позициях независимо от своего происхождения буква ѡ не встречается, а употребляются знаки обычного о (о «узкое») и иногда ◊ («широкое»). В том же 1978 г. George Y. Shevelov обратил внимание на аналогичное употребление букв о и ѡ в маргинальных приписках в рукописи Венского октоиха или кодекса Ганкенштейна из Венской национальной библиотеки (ONB. Cod. slav. № 37) [4].

В настоящее время к двум названным рукописям с «украинским» употреблением букв о и ѡ можно прибавить третью – это рукопись Быбельского Апостола первой половины XIV в. из Национальной библиотеки Львова (НБЛ НШ — 801). Эта небольшая по объему рукопись содержит 36 листов пергамена большого формата (27,2–28 × 21,8–22 см). Текст написан крупным уставом в

два столбца на странице двумя почерками; первый почерк находим на листах 1–7об, а второй на листах 8–36об. По содержанию рукопись представляет собой отрывок богослужебного Апостола. В нем находятся чтения с конца понедельника 6-й недели по Пятидесятнице по субботу 17-й недели этого же цикла без конца. Таким образом, текст Апостола относится к типу полного апракоса. Быбельский Апостол почти неизвестен специалистам, хотя текст рукописи вместе с обстоятельным исследованием был опубликован в Вене П. Копко в 1912 г.[5]. Рукопись упоминается также в общих обзорах и специальных работах по истории украинского языка[6].

В своем исследовании П. Копко датирует рукопись началом XIV в. и отмечает юго-западное (Галицко-Волынское) происхождение ее писцов[7]. Это заключение аргументируется анализом соответствующих написаний. Однако по нашим наблюдениям рукопись Быбельского Апостола целесообразнее датировать без уточнения первой половиной XIV в. Вывод П. Копко об одновременной работе двух писцов рукописи совершенно справедлив. Текст, написанный вторым писцом, непосредственно следует за текстом, написанным первым, без пропусков и повторений. Части, написанные разными писцами, различаясь между собой начертаниями отдельных букв, не имеют различий по употреблению букв. Их объединяют и общие графические приметы, среди них одинаковые написание и употребление надстрочного знака над буквами гласных и особый знак в виде двойного акута над ѵ, і в конце строк. При рассмотрении состава и употребления букв П. Копко отмечает наличие в рукописи двух знаков ѡ и о, к сожалению, закономерности их употребления и наличие в рукописи третьего знака ◇ широкого не отмечены[8]. Между тем, при обращении непосредственно к письму рукописи, наличие трех букв – ◇, о и ѡ совершенно очевидно.

Буква ѡ в рукописи употребляется чрезвычайно широко. Она встречается в новых так называемых закрытых (или перестроенных) слогах, в том числе перед неслоговым *і* и слоговым плавным согласным.

Примеры:

бѡльше* 9в, дѡмъ 7г, 24в, дѡндеже 30в, живѡтъ 26а, ꙁакѡнъ 11а, 17б, 29в, ꙁакѡньнъıх 28в, 29г, кѡньци 5б, кѡньца 13в, скѡньча

* Надстрочный знак над гласными не воспроизводится.

7б, скѡнчакте 21 а, некѡлко 12 г, немѡщнаꙗ 8 г, немѡщноу 23 а, немѡщнъıꙗ 30 а, пѡльꙁоу 33 г, подѡбни 1 а, подѡбна 32 в, покрѡвно 16 а (×), рѡдьство 6 в, покрѡвною 6 б, пѡслахъ 30 в, пѡсла 29 г, беꙁрѡдна 20 а, оурѡдьство 7 г, свобѡдь 2 в, свобѡдникъ 2 в, хоудѡжьствоу 36 а, пѧнтикѡстью 12 г, ѿ макидѡньꙗ 23 г, в макидѡнью 18 г, макъıдѡнью 12 г, пѡдъроучникъ 29 г, пѡдъиметь 31 г, пѡдъ грѣхомь 29 в, пѡдъ ꙁакономь 30 а, 30 в, пѡтщанькмъ 20 г, кротѡстью 22 в, прѣмоудрѡстью 7 г, радѡсть 28 а, радѡстью 14 а, 18 г, ревнѡсть 21 г, пѡ плъти 18 а, 22 в (×), 24 а, 31 в, бѡи сѧ 7 а (пов.), прѡидоу 12 г, дѡидоша 5 б, стрѡино 3 а, бѣсѡмъ 5 в, вѣкѡмъ 5 б, 36 а, коумирѡмъ 3 г, 8 а, 32 б, ѡбѣщникѡмъ 21 г, 22 б, причастникѡмъ 35 а, чл҃вкѡмъ 26 в, ꙗꙁъıкѡмъ 9 в (×), грѣхѡвъ 33 б, родѡвъ 10 а, жидѡвьскъıмъ 26 г, дх҃ѡвьнаꙗ 15 г, дх҃ѡвноую 14 а, дх҃ѡвнъıꙗ 18 г, дх҃ѡвнъıхъ 8 а, паоулѡвъ 7 в, ахаикѡвъ 24 в; бѣхѡмъ 29 г, бъıхѡмъ 8 а, 29 г, 35 б, вѣровахѡмъ 28 в, достигноухѡмъ 23 б, жихѡмъ 34 г, кр҇тихѡмъ 8 в, не могохѡмъ 24 б, ѡбидѣхѡмъ 18 г, ѡграбихѡмъ 18 г, ѡправдихѡмъ 28 в, иꙁѡмѣхѡм сѧ 17 г, причастихѡмъ 33 б, приꙗхѡмъ 20 б, поустихѡмъ 21 б, поустихѡм же 21 в, сблюдохѡм сѧ 23 г, оумоудрихѡм сѧ 17 в, прииндѡхъ 28 б, помогѡхъ 34 а, рекѡхъ 28 б, 32 в; в киноварных заголовках: въ втѡрн҃ 8 б, к галатѡ| 30 а, 31 в, 32 в.

Из приведенных примеров следует, что в рукописи буква ѡ употребляется в середине слова согласно фонетическому правилу, в перестроенном слоге, перед слогом с утраченным редуцированным в слабой позиции, и не встречается перед следующим открытым слогом. Единственное написание: в антиѡхию 28 б фонетически не является исключением, так как слог с буквой ѡ закрытый. Буква ѡ написана перед слогом с фонетическим ĭ («и» редуцированным) в слабом положении. Нормально на месте исконного *о перед слогом с гласным полного образования, в открытом слоге, пишется буква о, например, въ домоу 6 а, ꙁакона 35 в, ꙁаконѣ 17 б, ꙁакономь 3 в, 28 в, мощи 5 б, в немощехъ 25 а, подобакть 17 в, не покровеною 6 в, родомь 28 в, свободъı 27 а, к макъıдономъ 21 в, аврамово 29 г, боюсѧ 30 а, достокнъ 20 в. Полагаем, есть все основания считать, что в данной рукописи ѡ обозначала закрытое *о*, на месте которого в современном украинском литературном языке и во многих говорах находим изменения о > *i*.

Вместе с тем в рукописи в новых закрытых слогах наряду с буквой ѡ встречаются написания с о: дондеже 32 г, ꙁаконъ 7 б, 29 б, свободь 2 в, 31 г, свободна 29 г, макъıдонью 12 г, макидонью 15 а, 22 а, немощь 30 б, сконьчаньк 7 в, сконьчакте 32 в, по плъти 5 в, 13 г,

18а, кротостью 30г, по мнѣ 19а, прѣмоудрость 24б, оубожьствомь 21а, подъ законо мь 30а, 32б, дх҃овно 11а, дх҃овнымъ 10б, 33а, чл҃вкомъ 14б, бѣсомъ 5в, клномъ 6а, створихомъ 17в, мнѣхомъ 21а, стѣфановъ 24в, рекохъ 18г и т. д. В заглавиях въ вторни^к 12б, къ галато| 29г, 31г.

К исключению из правила (с известной долей вероятности) можно отнести написания с буквой ѡ в окончании творительного падежа единственного числа существительных среднего рода: окѡмь 8в, дѣлѡмъ 22в, исторически в них исконного *о не могло быть, старые формы имели окончание -*ъмь.

Буква ѡ в рукописи часто встречается в начале фонетического слова. Примеры многочисленны и разнообразны. Причем ѡ пишется не только в условиях перестроенного слога, хотя встречаются и такие примеры – ѡвъ 1г, ѡн же 11в, ѡнъ 22г, ѡгнь 11в, ѡбщина 18в, 26в, ѡбьщина 5в, ѡбщинѣ 27б, ѡ мнѣ 14а, 23г, ѡ всякои 30г, ѡ всѣи 13б, ѡ всѣмь 18а, 23в, 23г, ѡ всѣхъ 8б, 32г, ѡ іс҃ѣ 36г, ѡтъщетит ся 11г и, может быть, ѡто всѣхъ 19г, ѡто тьмы 16б, ѡто всякиꙗ 18в, ѡто князь 24б, ѡтъ чл҃вкъ 26а. Обычно в рукописи употребляется предлог-приставка ѿ. Очевидно, этим же правилом можно объяснить употребление ѡ и в примерах ѡц҃а 4в, 13а, 26в, 33г, ѡц҃ю 35в, ѡц҃мь 26в, ѡч҃ю 30г, ѡч҃а 29г, ѡч҃ьство 35в или в написаниях ѡ х^с ѣ 4в, 12а, 12б и т. д. еще в 11 примерах, ѡ хс҃ѣ 15а, 16г, 20а.

Однако употребление ѡ в начале слова значительно шире, встретились многочисленные написания с начальной буквой ѡ перед исконно открытым слогом: ѡбаче 6в, 9г, ѡбразъ 4г, 6б, ѡбразное 3а, ѡбрази ся 5а, ѡбразит ся 30в, ѡброки 17б, ѡбычаꙗ 6в, ѡбѣма на десять 20в, ѡвѣмь 15б, ѡбидѣхѡмъ 18г, ѡбидѣсте 30б, ѡбидѣвшаго 19в, ѡбѣтова 29б, ѡбѣщаньꙗ 29а, 29б, ѡбѣщанье 14а, ѡбѣщанью 31в, 35б, ѡбрящю ся 25в, ѡдѣньꙗ 6в, ѡгнемь 11в, 11г, ѡко 8в, 8г, ѡчи 24в, ѡчима 28г, ѡчеса 30б, ѡлтаремъ 4в, ѡнѣхъ 5а, 21б, ѡрати 17б, ѡрми 17б, ѡснованье 11в, ѡснованьи 35г, ѡц҃ь 13а, ѡбѣщникѡмъ 21г, 22б, ѡбличѣньꙗ 9а.

Очень много написаний предлога о через ѡ: ѡ братѣ 13а, ѡ власти 23а, ѡ волохъ 17б, ѡ неправдѣ 9а, ѡ радости 19в, ѡ таинѣ 35а, ѡ трѣбнъıхъ коумирѣхъ 3в, ѡ пришествьи 24г, ѡ оунотахъ 2в, ѡ ꙗдѣньи 3г; ѡ васъ 7в, 16г и еще 6, ѡ вашѣмъ 13б, ѡ них же 28а, ѡ нѣм же 23г, 33в, 36б, ѡ нѣмь 16г, 18а, 21а, 33б, 35а, ѡ себе 15в, 22г, ѡ собѣ 11б, ѡ сѣмь 6г, 7в, ѡ нѣисповѣданѣмь 22б, ѡ слоужѣнье 21г, ѡ г^с ѣ 3в, 12г, 15а, 35б; ѡ г^с дѣ 17а, 20а, 23в, 24г, 30в, 31г, ѡ гд҃ьскъıхъ 3а, ѡ бз҃ѣ 19б, ѡ дх҃ѡвнъıхъ 8а.

Отмечены также многочисленные и разнообразные примеры с буквой ѡ в приставках *о- *ов-: ѡбоготаще, ѡбгттѣник, ѡбличѣньга, ѡбращакть, ѡбрѣзанъ, ѡбрѣзаньга, ѡбрѣзаньк, ѡброучѣньк, ѡграбихѡмъ, ѡдержимомоу, ѡженьшимъ, ѡживеть, ѡзимѣю, ѡклеветакми, ѡправдаю, ѡпечалихъ, не в чюжемь ѡправлѣньи, ѡроужьк, ѡсквернить, ѡслѣпи, ѡстахъ, ѡставль, ѡставлѣньк, ѡставит сѧ, ѡстриженага, ѡсоужени, ѡсоужакми, ѡтѧгчихъ, ѡчисти, ѡчищеньихъ и т. д.

Начальное ѡ основы слова сохраняется в некоторых случаях после приставок: изѡбилью 35г, изѡбильк 23б, прѣѡбразоуют сѧ 24а, прѣѡбражакт сѧ 23г, прѣѡбразоуите сѧ 4а, прѣѡбражакми 23г, изъѡбилоукть 13б, изѡбило 10б, изѡбилоукть 16б, изѡбилоующе 22б, изѡбілова 33б, изѡмѣхѡм сѧ 1г (вместо изоумѣхѡмъ), а также блгоѡбразнок 3а, блгоѡбразно 11а.

В условиях начала слова наряду с буквой ѡ с несколько меньшим распространением встретилась буква о: око 8в, окѡмь 8в, они 5а, 20г, 27б, онѣхъ 21б, оного 34а, онѣмь 31б, обитѣлници 34г, обидими 1б, обите 6г (вместо обидите), онисъ 27б, обрѧщет сѧ 27г, обьщници 35б, обѣщаньк 29б, обѣщѣньк 29в, обѣщаньга 33в, обѣщанькмь 29б, основании 34г, отиноудь 2б, 30г, о моужи 2а, о женѣ 2а, о двахъ 2в, о имени 31а, о истинѣ 9а, о множѣхъ 29а, о мирьскыхъ 3а, о гдьскыхъ 3а, о бзѣ 35в, о хсѣ 18а, 29а, 35в; ото плъти 32г, о васъ 21г, о вашѣмь 19в, о всѣмь 32г, о насъ 27б, о нѣм же 1в, 33в, 35в, о нѣмь 36г, о своѣи 3б, о чѣм же 34б; осоужѣньк 1б, оправлени 1в, 29в, обрѣзакть 2б, оженивъıи сѧ 3а, осквернавлѧкть сѧ 3а, не осътоупнок 3а, не остоупнок 3б, оставить 5б, острижеть сѧ 6б, осквернить 11г, ограблени 14б, останоут сѧ 32а, обличѣнькмъ 36а, обличакми 36в, омрачени 36б, oроужькмь 34б, оправдит сѧ 28в.

Таким образом, собранный материал свидетельствует, как уже говорилось выше, о том, что буквы о и о не встречаются в одинаковых положениях в слове. Широкая буква не употребляется в середине слова, не зафиксировано ни одного написания, а узкая буква не встречается в начале слова. К исключениям относятся: изобилою 18г, изобиломъ 20г и по обѣщанью 29г, которые не вполне показательны и допускают иное истолкование. Регулярность распределения букв ѡ, о и о в рукописи свидетельствует, на наш взгляд, не только об определенном явлении языка – различении открытого и закрытого о, но и о формировании орфографического правила в системе древнерусского письма. Другими словами, закрепление в орфографии рукописи первой половины XIV в. различения двух видов О свидетельствует об уже сложив-

шемся к этому времени языковом явлении. Как нам кажется, можно думать, что употребление букв ѡ и ѻ в начале слова следует квалифицировать как чисто орфографический факт.

Примечания

[1] *А. А. Зализняк.* Новые данные о русских памятниках XIV–XVII веков с различением двух фонем «типа О» // Советское славяноведение, 1978, № 3, с. 74–96; *Он же.* Противопоставление букв о и ѡ в древнерусской рукописи XIV века «Мерило праведное» // Там же, № 5, с. 41–68.

[2] *А. А. Зализняк.* Противопоставление..., с. 42–43.

[3] *Т. В. Шпекторова.* К вопросу об описании одной древнерусской рукописи XIV в. // Проблемы научного описания рукописей и факсимильного издания памятников письменности. Сб. статей. 1981, с. 247–250.

[4] *George Y. Shevelov.* Omega in the codex Hankenstein. A Hitherto Unnoticed Episode in the Ukrainian Development *o* > *i* // Studia Linguistica Alexandro Vasilii filio Issatschenko a collegis amicisque oblata. Wien, 1978, p. 369–386.

[5] Dr. *Peter Kopko.* Apostolus Bybliensis saec. XIV. Grammatisch–kritisch analysiert // Denkschriften der Kaisereichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch–historische Klasse. Wien, 1912, LV, S. 1–103.

[6] *І. Свєнціцький.* Нариси з історії української мови. Львів, 1920, с. 41, 45; *П. А. Бузук.* Нарис історії української мови // Збірник історико-філологічного відділу Укр. АН. Київ, 1927, с. 20, № 48; *Н. Н. Дурново.* Введение в историю русского языка. Изд. 2. М., 1969, с. 74, № 159.

[7] Dr. *Peter Kopko.* Apostolus Bybliensis..., S. 1–10.

[8] *Ibid.*, S. 1.

М. Г. Гальченко

О написаниях с є вместо ѣ в югозападнорусских рукописях XII–XIV вв.

Вопрос об интерпретации написаний с буквой є в соответствии с этимологическим «ять» — один из наиболее сложных вопросов, возникающих при лингвистическом исследовании памятников древнерусской письменности. Несмотря на то, что этой проблеме уделялось много внимания и для ее выяснения сделано немало, в первую очередь, А. А. Шахматовым [Шахматов, 1885–1895 и 1915] и Н. Н. Дурново [Дурново, 1924–1927 и 1933], В. В. Виноградовым [Виноградов, 1922–1923], а в последнее время — В. М. Живовым, Б. А. Успенским [Живов, Успенский, 1984; Успенский, 1968 и 1987] и А. А. Зализняком [Зализняк, 1986], неясного остается все же много. При этом мы располагаем недостаточным количеством исследований, специально посвященных рассмотрению указанного явления не в отдельно взятом памятнике, а в больших или малых группах памятников, созданных в одном регионе Древней Руси.

В настоящей работе предпринята попытка рассмотреть написания с буквой є в соответствии с этимологическим «ять» *(*ě)* в ряде юго-западных (галицко-волынских, древнеукраинских) рукописных книг XII–XIV вв. Прежде всего, мы пытались установить, связаны ли такие написания с фонетикой живого говора писцов данных рукописей. Впрочем, независимо от того, соответствуют ли написания с є вместо ѣ в юго-западных рукописях XII–XIV вв. каким-либо фонетическим реалиям говора писцов, указанные написания интересуют нас и сами по себе с точки зрения изучения древнерусской графики и орфографии, несмотря на то, что такие написания в рассматриваемых рукописях достаточно редки и не всегда подчиняются определенным прави-

лам. Как писал Г. О. Винокур, «можно и должно изучать орфографические факты в их объективной данности, независимо от того, какими правилами употребления они продиктованы и в какой степени они вообще отвечают тем или иным правилам» [Винокур, 1959, с. 463]. В данной статье речь пойдет только об употреблении буквы є вместо ѣ только в юго-западных рукописных кодексах XII–XIV вв. Вопрос о мене указанных графем в юго-западной деловой письменности 2-й половины XIV в. мы не рассматриваем. (О мене ѣ–є в памятниках деловой письменности см. Гумецька, 1987, с. 93; Самійленко, 1954, с. 29.) Вследствие стремления работать с относительно однородным материалом, мы исследовали только те памятники, в которых имеются достаточно многочисленные написания, отражающие существование в говоре их писцов «нового ять», возникшего из этимологического *е в слогах перед слабым редуцированным *ь или *ĭ после падения редуцированных.

Поскольку орфографические факты следует рассматривать не изолированно, а с точки зрения образуемой ими системы, мы, производя настоящее исследование, стремились учитывать по возможности все особенности употребления букв ѣ и є в рассматриваемых рукописях, обращая особое внимание на случаи мены ѣ–є. Однако в рамках настоящей статьи не представляется возможным дать полную картину употребления букв ѣ и є в исследовавшихся памятниках. Мы не будем подробно останавливаться на употреблении указанных графем в соответствии с «новым ять», отметим только, что в этом случае в юго-западных рукописях пишется как є, так и ѣ. (Отражение «нового ять» в орфографии юго-западных рукописей рассмотрено А. И. Соболевским — [Соболевский, 1883]).

Существенно, что в пятнадцати просмотренных нами юго-западных рукописях XII–XIV вв. буква ѣ пишется в соответствии с этимологическим *е почти исключительно в тех позициях, где за *е следовал слог со слабым редуцированным *ь или *i, т. е. отражает «новый ять». В других позициях написания с буквой ѣ в соответствии с этимологическим *е (обычно передающимся в рукописях буквой є) очень немногочисленны и легко объясняются достаточно очевидными морфологическими и графическими аналогиями. Таким образом, подавляющее большинство написаний с ѣ вместо є строго обусловлено фонетически. Поэтому, оставив в стороне слова с «новым ять», будем условно говорить о написаниях с є вместо ѣ так, как если бы мена ѣ–є была односторонней.

Во всех рассматриваемых нами юго-западных рукописях указанная мена чаще всего происходит в тех же самых категориях слов, которые были выделены А. А. Шахматовым в различных восточнославянских рукописях — начиная с древнейших — по признаку наиболее частого смешения в них ѣ и є:

1) в неполногласных сочетаниях, прежде всего с сонантом *r*, например: **врѣ(є)мꙗ, прѣ(є)дъ**; реже — в сочетаниях с сонантом *l* типа **плѣ(є)нъ** (здесь и далее написание основы или словоформы с буквой є в скобках после ѣ обозначает, что в данной основе или словоформе в рукописях наблюдаетСя мена указанных букв).

2) в основе **тѣ(є)лєс**-;

3) в окончаниях Д. и М. падежей местоимений **тєбѣ(є), сєбѣ(є)**;

4) в суффиксе -**ѣль** в словах **гыбѣ(є)ль, коупѣ(є)ль, обитѣ(є)ль.**

Написания с буквой е вместо ѣ в данных группах слов, являющихся книжными, А. А. Шахматов и вслед за ним Н. Н. Дурново связывали с особым церковным произношением ѣ, близким к [е] (см. Шахматов, 1885–1895, с. 213–215).

Мена букв ѣ–є в словах с дифтонгом αι — **галилє(ѣ)ꙗ, єлє(ѣ)онъ, прє(ѣ)торъ** и т. п., а также в именах на -εας, αιος — **матфє(ѣ)и, андрє(ѣ)и** и др. часто встречается не только в восточнославянских, но и в старославянских памятниках — Мариинском и Зографском кодексах [Селищев, 1951, с. 262–263].

Частая мена ѣ–є в основе **мѣ(є)т(а)**-, по мнению Н. Н. Дурново, отражает морфологические, а не фонетические явления [Дурново, 1924–1927, VI, с. 49–54].

Написания с ѥ или є вместо ѣ в корнях **ѣд-, ѣзд-, ѣха-** в конце слова после буквы гласного в соответствии с русским *ě* (старославянским «е носовым») в падежных окончаниях прилагательных, по мнению А. А. Шахматова и Н. Н. Дурново, свидетельствуют о том, что «ять» в данной позиции произносился как [ie] (с неслоговым *i*) [Шахматов, 1885–1895, с. 213–215; Дурново, 1924–1927, VI, с. 49–54].

Мена ѣ–є нередко отмечается в исследуемых рукописях также в следующих случаях:

1) в формах глагола не быти — **нѣ(є)смь, нѣ(є)стє,**

2) в приставке со значением неопределенности **нѣ- (нѣ(є)-кто)** и т. п. Очевидна связь подобных написаний с написанием отрицательной частицы **нє**.

Кроме того, употребление буквы є вместо ѣ часто наблюдается в суффиксе повелительного наклонения глаголов, особенно в

форме 2 л. мн. ч. — **съберѣ(є)тє, боудѣ(є)тє, идѣ(є)тє** и т. п., что, по-видимому, обусловлено смешением при письме форм повелительного наклонения с формами настоящего времени.

Все указанные выше случаи мены ѣ–є мы отделяем от других случаев написания буквы є вместо ѣ и в подсчеты процента мены этих букв в рассматриваемых рукописях не включаем. В остальных случаях буква ѣ в юго-западных рукописях XII–XIV вв. употребляется этимологически правильно, лишь изредка в соответствии с этимологическим *ě пишется є. Именно такие сравнительно редкие написания с є в соответствии с этимологическим *ě являются основным предметом рассмотрения в настоящей работе.

В ряде юго-западных рукописей XII–XIV вв. мена ѣ–є практически не встречается или отмечается всего несколько раз на всю рукопись. Таковы Бучацкое Евангелие первой половины XIII в. [ЛМУИ, Рк. F 688/38912], Галицкое Евангелие 1266–1301 гг. [РНБ, F. п. I. 64], юго-западная часть XIV в. Минеи № 100 [РГАДА, ф. 381].

Из просмотренных нами пятнадцати юго-западных рукописей XII–XIV вв. наибольшее количество написаний с буквой є вместо ѣ — свыше 0,5% от общего числа словоформ с этимологическим *ě — имеется в шести рукописях: Добриловом Евангелии 1164 г. [РГБ, Рум. 103] (далее — ДЕ) — приблизительно 1%, Выголексинском сборнике конца XII в. [РГБ, М. 1832] (далее Выг. сб.) — 2%, Типографском Евангелии конца XII в. [РГАДА, ф. 381, № 6] (ТЕ) — около 1%, Архивской Лествице XIII в. [РГАДА, ф. 181 № 452] (АЛ) — приблизительно 0,7%, Евангелии Верковича конца XIII — первой половины XIV в. [РНБ, F. п. I. 99] (Е. Верк.) — приблизительно 2%, в Луцком Евангелии второй половины XIV в. [РГБ, Рум. 112] (ЛЕ) — около 1%. Точный подсчет процента мены ѣ–є имеется лишь для Выг. сб. Он сделан по словоуказателю в издании «Выголексинский сборник» М., 1977. Подсчеты процента мены ѣ–є в остальных рукописях — приблизительные, поскольку мы не располагаем словоуказателем для этих рукописей. (Для приблизительной оценки процента мены ѣ–є в этих рукописях подсчитывали по 20–30 листам среднее на один лист количество словоформ с этимологическим *ě, кроме тех словоформ, которые исключены из общего подсчета, как указано выше. Это количество умножали на число листов в изучаемой рукописи (если писец один) или на число листов, написанных одним писцом (если писцов в рукописи несколько). Число написаний с буквой є в соответствии с этимо-

логическим **ě*, отмеченных в данной рукописи (в пределах одного почерка), делили на приблизительное число словоформ с этимологическим «ять» и умножали на 100.) О мене ѣ–є в этих шести рукописях мы будем говорить наиболее подробно. Нами исследовались также написания с буквой є вместо ѣ еще в трех рукописях — Евангелии XIV в. [ИРЛИ, Древлехранилище. Отд. пост. Шифр Р IV, оп. 25, № 30] [Е ИРЛИ], Паренесисе Ефрема Сирина до 1288 г. [РНБ, Пог. 71а] [Пар. ЕС] и Холмском Евангелии конца XIII в. [РГБ, Рум. 106] [ХЕ]. В двух последних рукописях мена ѣ–є встречается существенно реже, чем в шести упомянутых выше. Написания с є вместо ѣ анализируются отдельно для каждого почерка. ДЕ, АЛ, ХЕ, Е Верк., ЛЕ написаны от начала до конца одним писцом. Рассматривая мену ѣ–є в Выг. сб., ТЕ, Е ИРЛИ, мы имеем в виду мену ѣ–є в больших частях этих рукописей, написанных основным писцом. Для того, чтобы установить границы почерков в Пар. ЕС, необходимо провести специальное исследование. В данном случае нам придется отступить от принципа рассмотрения написаний с є вместо ѣ в пределах одного почерка и анализировать такие написания в пределах целой рукописи.

Основную задачу мы видим в том, чтобы установить, какие факторы влияют на частоту мены ѣ–є в рассматриваемых рукописях.

Прежде всего мы пытались определить, имеется ли зависимость частоты написаний буквы є вместо ѣ от такой графической позиции, как конец строки. Выяснилось, что в четырех рукописях — ДЕ, ТЕ, АЛ, ЛЕ — такая зависимость имеется. Наиболее чистый случай представляет собою ДЕ, в котором буква є пишется в соответствии с этимологическим «ять» главным образом на конце строки. В ДЕ отмечены 63 написания буквы є вместо ѣ на конце строки (в это число не входят аналогичные написания в тех группах слов, которые, как указывалось выше, исключались нами из общего подсчета процента мены в рукописях; в этих группах слов в ДЕ и других рукописях мена наблюдается как на конце, так и в середине строки). При этом не на конце строки в ДЕ отмечено всего 7 написаний с буквой є в соответствии с этимологическим **ě*: **за/матеревъша** 264а, **за/мт҃ревъши** (2 х) 265а, **ицѣлевахоу** 267а, **не весте/** 30б, **при девятеи же го/динѣ** 233г, **надеже** (Р. ед.).

В ЛЕ є пишется вместо ѣ на конце строки почти в 6 раз чаще, в АЛ — в 3–4 раза чаще, а в ТЕ — в 2,5 раза чаще, чем не на конце строки.

Тот факт, что буква є пишется в соответствии с этимологическим *ě почти исключительно на конце строки в ДЕ и что указанная мена происходит существенно чаще на конце, чем в середине строки, еще в трех упомянутых юго-западных рукописях XII–XIV вв., представляется нам очень интересным. Исследователи обычно видели в написаниях с буквой є в соответствии с этимологическим *ě если не описку, то, по крайней мере, некое непроизвольное нарушение писцом правил употребления букв ѣ и є. Однако произведенный нами анализ написаний с є вместо ѣ в ДЕ показывает, что, хотя такие написания у писца этой рукописи редки, они, тем не менее, подчиняются определенному графическому правилу. Следовательно, писец ДЕ употреблял в определенных случаях букву є вместо ѣ на конце строки сознательно. Смысл замены є на ѣ на конце строки, на наш взгляд, достаточно ясен: буква є в рукописях XII–XIV вв. в два или три раза у́же, чем буква ѣ, а писцы старались соблюдать границы столбца текста. При этом большинство писцов — особенно в XII и XIV веках — предпочитали оканчивать строку буквой гласного. Так, писец ТЕ конца XII в. очень строго соблюдает правило, предписывающее оканчивать строку буквой гласного. Писцы ДЕ 1164 г. и АЛ XIII в. в этом отношении не столь пунктуальны, но и они обычно оканчивают строку буквой гласного. Вполне вероятно, что писцы ТЕ, АЛ, ЛЕ писали букву є вместо ѣ на конце строки тоже сознательно.

Известно, что на конце строки в древнерусских рукописях часто наблюдается факультативная замена одной графемы на другую, представляющую собою ее графический дублет. Графемы-дублеты вступают в корреляцию: «широкая» графема — «узкая» графема. В таких отношениях находятся графемы и-«восьмеричное» и І-«десятеричное», диграф оу и лигатура ȣ (или в некоторых рукописях XII в. — диграф оу и ж), графемы ꙗ и ѧ, є «узкое» и є «широкое», о «узкое» и о «широкое» или ѡ (см. [Щепкин, 1967, с. 117–118]). Тот факт, что графемы ѣ и є могут на конце строки вести себя подобно таким графемам-дублетам, насколько нам известно, еще не был отмечен.

Существенно, что не все юго-западные писцы употребляют букву є вместо ѣ сознательно, как, например, писец ДЕ. Так, писец Выг. сб., видимо, считал по крайней мере значительную часть допущенных им написаний с є в соответствии с этимологическим «ять» нарушением нормы и старался их исправить. Исправления буквы *е*, написанной в соответствии с *ě, на букву ѣ

имеются также в Е Верк. Следует предполагать, что были какие-то факторы, вызывавшие у писцов этих двух рукописей — очевидно против воли самих писцов — написания с є вместо ѣ.

В Выг. сб., ХЕ, Е Верк., Е ИРЛИ графическая позиция конца строки не влияет на частоту мены ѣ–є. Таким образом, графическая позиция конца строки не является единственным условием мены указанных букв в юго-западных рукописях XII–XIV вв.

Известно, что в северных украинских (полесских) говорах безударный *ě* дает рефлекс [е] [Дурново, 1969, с. 192]. Поэтому мы прежде всего пытались установить, в каком положении по отношению к ударению находилась фонема «ять» в тех словоформах, в которых в рассматриваемых рукописях отмечены написания с буквой є в соответствии с этой фонемой. Установить акцентуацию многих словоформ трудно вследствие недостаточной разработанности украинской исторической акцентологии. Мы основывали свой анализ на той акцентной характеристике морфем в составе рассматриваемых словоформ, которая указывается для них в акцентологической монографии А. А. Зализняка [Зализняк, 1985]. Прежде всего мы пытались определить отдельно для каждой рукописи, в каком количестве словоформ из числа всех словоформ, в которых отмечены написания с буквой є вместо ѣ, ударность фонемы *ě* устанавливается достаточно надежно. (При этом мы считали наиболее показательными те случаи, где фонема **ě* находилась в корневой морфеме с акцентной характеристикой «самоударность» и на эту фонему должно было падать ударение.) Предполагаемая акцентуация словоформ сопоставлялась с их акцентуацией в современном украинском языке по словарям: Гринченко, 1958; Погрібний, 1964.

По такой приблизительной оценке оказалось, что в словоформах, в которых наблюдается мена ѣ–є, фонема *ě* являлась ударной в Е Верк. и Пар. ЕС почти в половине всех случаев (46%), в ДЕ и Выг. сб. — примерно в 40% случаев, в ТЕ — более, чем в 30% случаев. В ХЕ, где мы обнаружили всего 12 написаний с буквой є вместо ѣ, половина этих написаний приходится на словоформы с ударным *ě*. В АЛ и ЛЕ много словоформ, в которых трудно установить акцентуацию, но, по крайней мере, ясно, что буква є пишется в соответствии с **ě* в этих рукописях не только в безударной позиции, но и под ударением.

Таким образом, можно думать, что написания с буквой є вместо ѣ в рассматриваемых рукописях не отражают полесского эффекта перехода *ě* в [е] в безударной позиции.

Необходимо также рассмотреть зависимость частоты написаний букв є, ѥ вместо ѣ от характеристик согласного, предшествующего фонеме *ě*.

В Выг. сб. буква ѥ пишется в соответствии с **ě* почти исключительно после букв л, н, соответствующих как палатальным, так и исконно непалатальным согласным. При этом не более четверти написаний с є вместо ѣ в Выг. сб. можно связать с палатальностью предшествующего согласного или объяснить аналогией с теми случаями, где перед *ě* был палатальный согласный. По-видимому, действовал еще какой-то другой фактор, обусловивший появление указанных написаний в Выг. сб. Хотя мена ѣ–є встречается после букв, соответствующих исконно мягким согласным, и в других рассматриваемых нами рукописях, особенно часто в слове **нынѣ(є)**, в формах Р. ед., например: **земле** (ТЕ, Е ИРЛИ), **доуше** (ТЕ), **лчнце** (ТЕ, второй почерк, 3 х), **надеже**, **пр^д^че** (ДЕ), но подавляющее большинство написаний с є вместо ѣ отмечается в этих рукописях не после букв исконно мягких согласных.

Довольно высокая частота написаний с буквой є вместо ѣ после букв губных согласных в ДЕ (49% от всех случаев указанной мены), Выг. сб. (35%), Е Верк. (34%), ЛЕ (34%), на наш взгляд, малопоказательна, т. к. позиция фонемы [ě] после губных является весьма частотной; существенно, что сочетание «губной + ě» встречается в ряде корней, наиболее употребительных в текстах Евангелий и других книг. (Например, в Мстиславовом Евангелии XII в. корень **вѣр-** употребляется 238 раз, **вѣд-** — 449, **вѣт-** (**вѣщ**) — 347 раз. Подсчеты выполнены по словоуказателю в издании «Апракос Мстислава Великого» М., 1983.) К тому же оказывается, что довольно высокая частота написаний с буквой є вместо ѣ после губных может быть связана с повышенной частотой таких написаний в определенных корнях или основах. Так, в Выг. сб. на корень **вѣ(є)с-**, основу **прѣмѣ(є)н-** и формы слова **имѣ(є)ниє** приходится более 80% всех написаний с буквой є вместо ѣ после губных.

В Е Верк. и АЛ довольно большая доля написаний с буквой є вместо ѣ приходится на позицию *ě* после *r* (соответственно 30% и 26% от числа всех подобных написаний в данных рукописях). Несколько повышенная частота мены ѣ–є после р в Е Верк. и АЛ может быть, однако, связана не столько с какими-то качествами предшествующего звука, сколько с конкретными корнями и основами, в которых эта мена происходит. Так, в Е Верк. подавляющее большинство написаний после р (12 из 15) приходится на корни

грѣ(є)х-, обрѣ(є)т-, основу зьрѣ(є)-. В АЛ 5 из 7 написаний с є вместо ѣ после р приходится на корни обрѣ(є)т-, рѣ(є)ш- (неиздрешеноу 33б, нераздрешьн' 8г, раздре/шаѥтьсѧ 80г).

Подобная картина наблюдается и в Выг. сб.: в данной рукописи 9 из 12 написаний с є вместо ѣ отмечены в корнях обрѣ(є)т-, рѣ(є)ч-, сирѣ(є)ч-. Мы не отрицаем возможности влияния на мену букв ѣ–є таких фонетических факторов, как, например, отвердение [г'] или, что несколько менее вероятно, особое произношение сочетаний губных согласных с *ě* (типа произношения *вйера, мйера* в люблинских говорах — см. Ганцов, 1923). Однако имеющиеся у нас данные юго-западных рукописей XII–XIV вв. не позволяют сделать определенных выводов относительно отвердения [г'] или особой артикуляции сочетаний *ě* с губными. Кроме того, за счет этих двух факторов нельзя было бы объяснить мену ѣ–є ни в одной отдельно взятой рукописи из числа рассматриваемых.

Мы стремились установить, зависит ли частота написаний с є вместо ѣ от характера следующего слога. Рассмотрение сложного вопроса о качестве согласных перед **i*, **e* в юго-западных говорах XII–XIV вв. не входит в нашу задачу. Здесь мы при подсчетах условно объединяем позиции *ě* перед палатальными согласными и перед слогом с гласными переднего ряда (в том числе слабыми редуцированными **ь* и **i*) и условно обозначаем их «*ě* + *C'*». При анализе зависимости частоты написаний с є вместо ѣ от характера следующего слога мы приняли в качестве рабочей гипотезу о мягкости согласных перед гласными переднего ряда в юго-западных говорах рассматриваемого периода. Понятно, что если с мягкостью последующего согласного нельзя будет связать все или большую часть случаев указанной мены при предположении, что мягкими были все согласные перед гласными переднего ряда, то тем более очевиден отрицательный результат, если позиция *ě* перед мягким согласным была более редкой. Для того, чтобы сделать полностью обоснованный вывод о наличии или отсутствии зависимости частоты мены ѣ–є от характера следующего слога, следовало бы сопоставить процент написаний с є в сочетании *ě* + *C'* и процент аналогичных написаний в сочетании *ě* + *C* от общего количества данных сочетаний в рассматриваемых текстах. У нас не было возможности провести эти трудоемкие подсчеты, поэтому мы указываем только доли, приходящиеся соответственно на позиции *ě* + *C'* и *ě* + *C* и позицию конца слова от всех написаний с є вместо ѣ в рассматриваемых ру-

кописях. Оценивая эти данные, исходим из предположения, что позиция *ě* + *C'* не менее частотна, чем позиция *ě* + *C*.

В ДЕ, Выг. сб., АЛ характер следующего слога практически не влияет на частоту мены ѣ–є. Хотя очевидно, что буква є в соответствии с этимологическим **ě* в ЛЕ и ТЕ пишется преимущественно в позиции *ě* +*C'*: на эту позицию приходится приблизительно 80–85% от всех написаний с є вместо ѣ в данных рукописях, показательность этих цифр ослабляется тем обстоятельством, что частота мены ѣ–є в ЛЕ и ТЕ существенно зависит и от других факторов. Оказывается, что в обеих рукописях одни слова существенно чаще пишутся с буквой є вместо ѣ, чем другие. При рассмотрении 36 отмеченных в ТЕ написаний с указанной меной, выявилось, что из них 26 написаний (т. е. 72%) приходится на следующие пять случаев, на основу **съвѣдѣ(є)тел-** (10 х с є вместо ѣ), корень **лѣ(є)з-** — исключительно в форме аориста 3 ед. **вълѣ(є)зє** (5 х), основу **послѣ(є)д-** (7 х), формы слова **имѣ(є)ниє** (2 х), а также редко встречающиеся в евангельском тексте слова **вънѣ(є)шьнєк** (2 х с є вместо ѣ), **вънѣ(є)шьнимъ**. Кроме нахождения в составе определенной словоформы, на частоту мены ѣ–є в ТЕ, как уже отмечалось выше, влияет графическая позиция конца строки. Как и в ТЕ, в ЛЕ на частоту рассматриваемой мены влияет, во-первых, положение буквы, соответствующей фонеме [ě], по отношению к концу строки, во-вторых, нахождение *ě* в определенных словах. Так, больше половины написаний с є вместо ѣ в данной рукописи (27 из 49) приходится на пять основ: **отъвѣ(є)шта-** (7 х с є вместо ѣ), **послѣ(є)дьн-** (5 х), **болѣ(є)зн-** (8 х), **цѣ(є)л-**, **цѣ(є)лов-** (7 х). Из оставшихся 22 написаний с є вместо ѣ 17 (т. е. 77%) приходится на конец строки.

В различных классах морфем причины мены ѣ–є, как можно предполагать, не совсем одинаковы. Например, флексии в большей мере подвержены действию морфологической аналогии или каких-либо нерегулярных аналогий, возникающих при письме, чем корни.

В рамках настоящей статьи мы можем сколько-нибудь подробно остановиться только на написаниях с буквой є вместо ѣ в корневых морфемах. Зависимость частоты написаний с є вместо ѣ от того, в каком корне, основе или слове (для нечленимых слов) находится *ě*, условно обозначим как зависимость частоты указанной мены от лексического фактора. Наиболее ярко выражено действие лексического фактора в Выг. сб., ТЕ, Е Верк., ЛЕ.

10*

Так, например, в Выг. сб. 67% от тех написаний с є вместо ѣ в данной рукописи, которые отмечены не после буквы исконно мягкого согласного и которые нельзя объяснить достаточно очевидными аналогиями, приходится на корни **бѣ(є)с-** (**бѣ/из є/съ** И. ед. 4 об., 6 об., 8, 15, 15 об., **бѣ/из є/сы** В. мн. 30 об.), **рѣ(є)ч-**, **сирѣ(є)ч-** (**рєчь** В. ед. 152 об., **рєчьми** Тв. мн. 168 об., **сирѣ/из є/чь** 83 об., 148), основу **премѣ(є)н-** (**премєнкиик** И. ед. 154, **премєнквахоуть** 77 об., **премєниса** 87, **премѣ/из є/нкник** И. ед. 122). (О действии лексического фактора в ТЕ и ЛЕ уже говорилось выше.) В Е Верк. написания с є вместо ѣ чаще всего отмечаются в корнях **вѣ(є)р-** (**вєроуємъ** 28в, **вєроуєте** 4а, **вєренъ** 66а, 88г, 89г), **грѣ(є)х-** (**грє/ховъ** 24а, **грєшенъ** 51а, **съгрєшихъ** 107в), **обрѣ(є)т-** (**ѡбрєте** 3б, 43г, 84г, **обрєтєса** 71а, **ѡбрє/тоша** 9а, **обрєтѣние** 137г).

В ДЕ, АЛ, Е ИРЛИ влияние лексического фактора на частоту мены ѣ–є выражено менее ярко, чем в упомянутых четырех рукописях. В ДЕ по частоте написаний с є вместо ѣ выделяется корень **чловѣ(є)к-**, в АЛ — формы слова **разлѣ(є)нє(ѣ)ние** (**разлєнѣние** 64а, **разленѣнига** 64а, **разлє/нѣнига** 64б), корни **обрѣ(є)т-** (**обрє/ тохъ** 60б, **приобрє/сти** 94в) и **рѣ(є)ш-** (**неиздрєшеноу** 35б, **неразрєшен'** м. ед. 8г, **раздрє/шактса** 80г), в Е ИРЛИ — корень **бѣ(є)с-** (**бєсъ** Р. мн. 32а, **ѡ бєсащею/са** 34б, **бєсноующе/моу** 57г).

Хотя в различных рукописях набор корней, в которых мена ѣ–є наблюдается особенно часто, различен, однако при сопоставлении картины указанной мены в корневых морфемах в девяти рассматриваемых рукописях обращает на себя внимание особая частота написаний с є вместо ѣ в трех корнях: **бѣ(є)с-**, **обрѣ(є)т-**, **слѣ(є)д-** (главным образом в составе основы **послѣ(є)дьн-**). Интересно отметить, что в данных корнях написания с буквой є вместо ѣ зафиксированы в пяти или шести из девяти рассматриваемых рукописей, причем во всех трех корнях обнаруживается повышенная частота мены ѣ–є сразу в двух рукописях. Трудно сказать, чем объясняется повышенная частота рассматриваемой мены в корне **бѣ(є)с-** и основе **послѣ(є)дьн-**. Частая мена ѣ–є в корне **обрѣ(є)т-**, очевидно, обусловлена тем, что слова с данным корнем являются специфически книжными, они были неизвестны живому говору писцов. Кроме рассматриваемых нами рукописей, ряд написаний с буквой є вместо ѣ в этом корне отмечен в первом почерке Успенского сборника XII–XIII вв.: **обрєте** 1г, 2а, в, г, 30а, 31г, 35б, **ѡбрєте** 30а, **обрєтоша** 16б (см. издание 1971 г.). В первом почерке Успенского

сборника имеется и написание с є вместо ѣ в корне бѣ(є)с-: бєсовє 18в. Аналогичное написание встретилось также в Румянцевской Лествице конца XII в., также, очевидно, юго-западной по своему происхождению (Тихомиров, 1965, с. 95): бєсовє 85г. Повышенная частота мены ѣ–є в рассматриваемых рукописях наблюдается также в корнях вѣ(є)р- и грѣ(є)х-. Интересно отметить, что написания с є вместо ѣ в данных корнях имеются также в двух древнейших рукописях — Изборнике 1073 г. (вєроуж) и в Златоструе XII в. (СК, с. 113) (съгрєшєникмь Тв.ед.)- и Венском Октоихе (кодексе Ганкенштейна) XIII в. (прєгрєшєни) (см. Shevelov, 1979, 196). Наиболее интересным, пожалуй, является тот факт, что буква є вместо ѣ употреблена в корне грѣ(є)х- в евхаристической формуле на мозаике церкви архангела Михаила в Киеве (около 1108г.): въ ѡставлєник грєхов (см. Лазарев, 1986, табл. 285). Понятно, что при выполнении надписи в технике мозаики возможность механической описки почти исключена.

Из числа суффиксальных морфем мена ѣ–є нередко наблюдается в юго-западных рукописях рассматриваемого периода в сложном суффиксе -ѣник существительных, производных от глаголов с суффиксальным *ě*. Особенно часто наблюдается указанная мена в формах слова имѣ(є)ник. Причина появления написаний с є вместо ѣ в данном суффиксе достаточно очевидна. Такие написания могут отражать контаминацию суффиксов -ѣник и єник, тем более что в юго-западных рукописях регулярна мена букв ѣ–є в соответствии с «новым *ě*». Мена букв ѣ–є в словах типа знамє(ѣ)ник (в соответствии с «новым *ě*») могла повлечь за собой аналогичную мену в словах типа имѣ(є)ник (в соответствии с этимологическим *ě*), тем более что отглагольные существительные с суффиксами -ѣник и єник, очевидно, относились к числу специфически книжных слов. Очень часто мена ѣ–є в рассматриваемых рукописях наблюдается в основе съвѣдѣ(є)тєл-. По-видимому, эти написания связаны с нередкими в древнерусских рукописях написаниями форм аориста и форм настоящего времени вѣдѣ(є) с є на конце, имеющими вероятно, морфологическую причину (может быть, они отражают образование не от основы глагола вѣдѣти, а от основы атематического глагола вѣсти). Обращают на себя внимание также написания с є вместо ѣ в редкой в текстах большинства рукописей (в том числе Евангелий) глагольной основы заматєрѣ(є)-, отмеченные в трех списках Евангелия, причем в ДЕ — три раза. Не исключено, что такие написания возникли под влиянием орфо-

граммы мт҃ре Р.ед. Мену ѣ—є в окончаниях существительных и местоимений в большинстве случаев можно объяснить за счет морфологической аналогии или различных аналогий, возникающих при письме (см. об этом в работе: Гальченко, 1989, Приложение, с. 112–120).

Таким образом, мы установили, что во всех рассматриваемых нами рукописях на частоту мены ѣ—є оказывает влияние лексический фактор. Такой графический фактор, как конец строки, оказывает влияние на частоту написаний с є вместо ѣ в ДЕ, ТЕ, АЛ и ЛЕ; его действие наиболее ярко выражено в ДЕ. В большинстве, если не во всех рассматриваемых рукописях написания с буквой є в соответствии с этимологическим *ě* не дают основания, на наш взгляд, для какого-либо строгого фонетического вывода, который удовлетворял бы следующим требованиям: 1) объяснял бы все отмеченные случаи (кроме тех, которые легко объяснить за счет каких-нибудь аналогий); 2) был бы единственно возможным. (Исходим из того, что говорить о фонетической значимости фактов мены букв можно лишь тогда, когда очевидна невозможность иного объяснения.)

Существенно, что написания с є вместо ѣ отмечаются в юго-западных восточнославянских памятниках раньше XIII в., когда в среднеболгарских памятниках начинает отражаться изменение *ě* > *е* (см. Мирчев, 1963, с. 108). Очевидно, указанные написания в ДЕ 1164 г., Выг. сб. и ТЕ конца XII в. не обязаны своим появлением влиянию западноболгарских протографов. Нельзя исключить, что мена ѣ—є появилась под влиянием западноболгарских (македонских) оригиналов в древнерусских юго-западных рукописях конца XIII–XIV вв., особенно таких, как Пар. ЕС и Е. Верк.

Рассматриваемые написания с є вместо ѣ в древнерусских рукописях представляют значительные трудности для лингвистической интерпретации. Начиная с XIX в. до последнего времени выдвигались различные гипотезы для объяснения указанных фактов. В настоящей статье невозможно рассмотреть все эти гипотезы (о них см. в работе: Гальченко, 1989, Приложение, с. 129–137). Большой известностью и авторитетом до сих пор пользуется выдвинутая А. А. Шахматовым и Н. Н. Дурново гипотеза об особом церковном произношении ѣ — более открытом, чем в живых древнерусских говорах, близком к [е] (Шахматов, 1885–1895, с. 213–215; Дурново, 1926–1927, VI, с. 49–54). Возникновение такого произношения, по мнению А. А. Шахматова и Н. Н. Дур-

ново, объясняется тем, что русские воспринимали открытый [ě] южных славян как свой звук [е]. Г. Шевелев предполагает, что открытое церковное произношение ѣ было принято не только в северных и северо-восточных областях Древней Руси, но и на юго-западе (Shevelov, 1979, 432–433). Указанная гипотеза хорошо соответствует данным древнерусских (в том числе юго-западных) памятников: написания с є вместо ѣ наблюдаются прежде всего в специфически книжных словах. Однако, как указывает Г. Шевелев, данную гипотезу трудно подтвердить фактами, извлекаемыми из памятников; аргументация представляет собою порочный круг: «формы с є вместо ѣ должны быть церковными, поскольку на Руси было церковное произношение» и «в церковном произношении произносился [е] вместо [ě], поскольку написания с є вместо ѣ в церковных словах обнаруживаются в текстах» (Shevelov, 1979, 433).

Иная гипотеза о церковном произношении ѣ высказывается Б. А. Успенским и В. М. Живовым (Живов, Успенский, 1984, с. 217–218). Согласно этой гипотезе (основанной прежде всего на анализе литургического произношения старообрядцев-беспоповцев), в Древней Руси сочетание «буква согласного + ě» читалось с мягким согласным звуком, а сочетание «буква согласного + е» — с твердым согласным. Такое произношение формировалось в Киеве на основе диалекта, в котором мягкость согласного и ряд гласного были связаны в слоговом сингармонизме, откуда и возникала оппозиция /С'ě — Се/. В качестве книжного это произношение распространилось и на ту территорию, в частности, новгородскую, где противопоставление рефлексов *ě и *е выражалось только в качестве гласных, т. е. было противопоставление /С'ě — С'е/. Твердому произношению согласных перед [е] носителям таких диалектов пришлось специально обучаться, поэтому в конце концов твердость или мягкость согласного оказалась единственным признаком, противопоставлявшим ѣ и є в книжном произношении представителей северных говоров, что и привело к смешению указанных букв при письме. На юго-западе Древней Руси, по мнению Б. А. Успенского, книжное произношение совпадало в данном аспекте с живым и изменялось вместе с ним. В современной униатской церкви ѣ читается как [і] (Успенский, 1987, 7, 8). Впрочем, как пишет Г. Шевелев, не известно, когда такое произношение было введено в церковную практику (там же). Б. А. Успенский пишет, что «смешение ѣ и є наблюдается только в памятниках северного

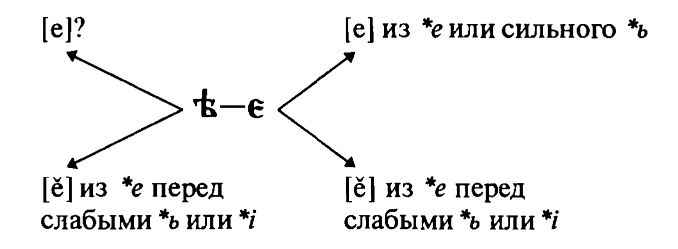
происхождения». Как показывает наше исследование, столь категоричное утверждение не соответствует данным памятников, хотя частота написаний со смешением указанных графем в ряде новгородских и псковских памятников выше, чем в юго-западных. Однако следует учитывать, что последних до нас дошло значительно меньше, чем новгородских памятников. Существенно, что в единственной обнаруженной в настоящее время юго-западной берестяной грамоте в единственной строке три раза подряд буква ѣ заменена буквой є (Зализняк, устное сообщение).

Выдвигая гипотезу о церковном произношении ѣ в Древней Руси, В. М. Живов и Б. А. Успенский исходят из предположения, что в юго-западных говорах согласные никогда не были мягкими перед [е], но это предположение трудно считать доказанным.

Говоря о церковном произношении, особенно Юго-Западной Руси, мы не можем выйти из области гипотез, мы не располагаем и, вероятно, никогда не будем располагать по этому вопросу надежными данными.

На наш взгляд, в самой графико-орфографической системе юго-западных рукописей рассматриваемого периода существовали условия, способствовавшие появлению написаний с буквой є в соответствии с этимологическим *ě*. Буква є в графико-орфографической системе юго-западных рукописей XI–XIV вв. соответствует не только звуку [е] (из *е* и сильного редуцированного *ь), но и звуку [ě] (из *е* перед слогом со слабым редуцированным *ь или слабым редуцированным *і) в случаях типа **о немь, знамєник, зелик, вєщь** и т. п. Буква ѣ в этих рукописях употребляется в соответствии с [ě] — «старым» и «новым» и, может быть, также в соответствии с [ẹ] — в словах с неполногласным сочетанием рѣ. (Не исключено, что хотя бы некоторые, если не все, слова с этим неполногласным сочетанием были усвоены в Древней Руси со звуком [е]: характерно, что в современном украинском языке в приставках **прѣ-, прѣд-** в целом ряде слов произносится звук [е]: ***предвічний, предок, прекрасно, премудрий, преподобний, преcподниця, престіл, пречиста*** и др. — см. Гринченко, 1958, III, с. 403–405.)

Отношения графем ѣ и є в графико-орфографических системах юго-западных рукописей XII–XIV вв. могут быть представлены при помощи схемы:



Из этой схемы видно, что буквы ѣ и є в графико-орфографических системах юго-западных рукописей XII–XIV вв. функционировали как частичные дублеты. Можно думать, что графема є в паре ѣ–є была для юго-западных писцов «немаркированной». Написания с буквой ѣ в соответствии с *е перед слогом со слабым редуцированным *ь или *і (типа **знамѣник, дѣлатѣль, тѣлѣсьнъıи, горѣсть, о нѣмь** и т. п.) являлись локальной нормой юго-западной письменности. Ни для южнославянских, ни для древнерусских рукописных книг других регионов подобные написания были не характерны. По сравнению с такими рукописями юго-западные рукописи могли восприниматься как «перенасыщенные» буквой ѣ. Написания слов с «новым ять» с буквой є (типа **знамєник, дѣлатєль, тѣлєсьнъıи, горєсть, о нємь** и т. п.) не противоречили орфографическим нормам юго-западных писцов. Написания слов с неполногласными сочетаниями с буквой є юго-западные писцы могли часто встречать как в рукописях своего региона, так и в других древнерусских рукописях. Таким образом, практически во всех случаях, когда, не нарушая норму, можно было употребить и букву ѣ, и букву є, написания с є являлись нейтральными, характерными не только для юго-западной нормы, но и для норм других регионов. Немаркированность графемы є в паре графем — частичных дублетов ѣ и є могла способствовать спорадическому употреблению є в соответствии с этимологическим *ě в юго-западных рукописях XII–XIV вв.

Автор выражает глубокую благодарность А. А. Зализняку и О. А. Князевской за интерес к этому исследованию и ценные советы в ходе его выполнения и В. М. Живову за обсуждение его результатов.

Список сокращений

В. — винительный падеж
в. — век
вв. — века
Д. — дательный падеж
ед. — единственное число
ж. — женский род
И. — именительный падеж
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом), древлехранилище
л. — лицо
ЛМУИ — Львовский музей украинского искусства. Отдел рукописных и старопечатных книг
М. — местный падеж
м. — мужской род
мн. — множественное число
об. — оборот (листа)
Пог. — Собрание М. П. Погодина — РНБ
Р. — родительный падеж
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РГБ — Российская государственная библиотека
РНБ — Российская национальная билиотека. Отдел рукописей
Рум. — Собрание Н. П. Румянцева — РГБ, ф. 256
СК — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв. М.,1984
ср. — средний род
Тв. — творительный падеж
ф. — фонд
ч. — число

Список литературы

Апракос Мстислава Великого. М., 1983

Виноградов, 1922–1923 — *В. В. Виноградов.* Исследования в области фонетики севернорусского наречия. Очерки из истории звука ѣ в севернорусском наречии / Известия Отделения русского языка и словесности АН СССР, 1922–1923, т. 24, кн 1–2.

Винокур, 1959 — *Г. О. Винокур.* Орфография как проблема истории языка // *Г. О. Винокур.* Избранные работы по русскому языку. М.,1959.

Выголексинский сборник. М., 1977

Гальченко, 1989 — *М. Г. Гальченко.* К истории письменности и языка юго-западной Руси XII–XIV вв. Дисс. ... канд. филол. наук. М., 1989. Основной том; Приложение. (На правах рукописи.)

Ганцов, 1923 — *Вс. Ганцов.* Діалектологічна класифікація українских говорів. К.,1958.

Гринченко, 1958 — *Б. Д. Гринченко.* Словарь української мови. К., 1958.

Гумецька, 1987 — *Л. Л. Гумецька.* Погляди Л. А. Булаховського на найдавнішу українську писемно-літературну мову // Л. А. Булаховский и современное языкознание: к 100-летию со дня рождения: сб-к научных трудов. К., 1987. С. 90–95.

Дурново, 1924–1927 — *Н. Дурново.* Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка // Јужнословенски филолог, IV, 1924, с. 72–94; V, 1925–1926, с. 93–117; VI, 1926–1927, с.11–64.

Дурново, 1933 — *Н. Дурново.* Славянское правописание XI–XII вв. // Slavia, 2, 1933, 1–2.

Дурново, 1969 — *Н. Н. Дурново.* Введение в историю русского языка. М., 1969.

Живов, Успенский, 1984 — *В. М. Живов, Б. А. Успенский.* Оппозиция рефлексов **е* и **ě* в книжном произношении и исторической диалектологии // Совещание по вопросам диалектологии и истории языка. Ужгород, 1984, 18–20 сент.: тезисы докладов и сообщений, т. II. М., 1984, с. 217–218.

Зализняк, 1985 — *А. А. Зализняк.* От праславянской акцентуации к русской. М.,1985.

Зализняк, 1986 — Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // *В. Л. Янин, А. А. Зализняк.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М.,1986.

Лазарев, 1986 — *В. Н. Лазарев.* История византийской живописи. М.,1986.

Мирчев, 1963 — *К. Мирчев.* Историческа граматика на българския език. София, 1963.

Погрібний, 1964 — *М. И. Погрібний.* Словник наголосів української літературної мови. К., 1964.

Самийленко, 1954 — *С. П. Самійленко.* До характеристики полтавско-київського діалекту за пам'ятками XVII ст. // Полтавсько-київський діалект — основа української національной мови. К.,1954. С. 20–41.

Селищев, 1951 — *А. М. Селищев.* Старославянский язык. Часть I. М., 1951.

Соболевский, 1883 — *А. И. Соболевский.* Очерки из истории русского языка. К.,1883.

Тихомиров, 1965 — *Н. Б. Тихомиров.* Каталог русских и славянских пергаменных рукописей XI–XII вв., хранящихся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ч. II // Записки ОР ГБЛ, Вып. 27. М., 1968.

Успенский, 1968 — *Б. А. Успенский.* Архаическая система церковнославянского произношения. М.,1968.

Успенский, 1987 — *Б. А. Успенский.* История русского литературного языка (XI–XVIIвв.). München, 1987.

Шахматов, 1885–1895 — *А. А. Шахматов.* Исследование о языке новгородских грамот XIII–XIVвв. // Исследования по русскому языку. Т. I. СПб., 1885–1895.

Шахматов, 1915 — *А. А. Шахматов.* Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.

Щепкин, 1967 — *В. Н. Щепкин.* Русская палеография. М., 1967.

Shevelov, 1979 — *G. Y. Shevelov.* A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg, 1979.

Werner Lehfeldt (Göttingen)

Как работали переписчики московского посольского приказа в XVI столетии?

Дипломатические отношения между Высокой Портой и Кремлем были установлены при султане Баязиде II (1481–1512) соотв. великом князе Иване III (1462–1505). Первое письмо Ивана III датируется 1492 годом, и в 1496 великий князь получил ответ османского повелителя. О возникновении и дальнейшем развитии дипломатических контактов между Московским государством и Османской империей можно прочитать в историографической литературе (ср., например, Смирнов 1946; Spuler 1935a; 1935b; 1936), этим вопросом мы здесь заниматься не будем.

Исходной точкой для рассмотрения предмета предлагаемой статьи является вопрос о том, на каком языке, точнее говоря, на каких языках были написаны грамоты, которыми обменялись великие князья Иван III и Василий III (1505–1533), с одной стороны, и султаны Баязид II, Селим I (1512–1520) и Сулейман (1520–1566), с другой. Что касается грамот, отправленных великими князьями, то, конечно, их язык — московский приказной язык, о котором мы хорошо осведомлены благодаря публикации многочисленных документов и целому ряду исследований (ср., например, фундаментальный труд Unbegaun 1935). Об этом можно судить по публикациям грамот великих князей в *Сборнике Императорскаго русскаго историческаго Общества*, т. 41 (1884), т. 95 (1895) (ср. об этом Рогожин 1981). В *Сборнике* опубликованы также грамоты вышеназванных султанов. Несмотря на это, определить язык этих грамот представляется делом более трудным, ведь «в нашем архиве большинство грамот представлено лишь в русском переводе, тогда как подлинники, как можно установить, были написаны на турецком, арабском, сербском и греческом языках»

(Смирнов 1946, 40). Значит, в большинстве случаев мы не располагаем возможностью исследовать язык султанских грамот, по той простой причине, что подлинники не сохранились. Однако те тексты, которые мы находим в Крымских, соотв. Турецких, делах посольского приказа, хранящихся в Центральном государственном архиве древних актов, это — вопреки мнению Смирнова — не только переводы, а также другого рода варианты грамот, полученных из Константинополя. Действительно, можно задаться вопросом, была ли необходимость «перевести» грамоты, написанные «сербскимъ письмомъ»? Ввиду того, что и все сербские письма султанов потерялись, мы заведомо только знаем, что они, как и все другие грамоты, были перенесены каким-то образом в посольские книги, вместе со всеми другими документами, относящимися к данному посольству, т. е. вместе с посольскими и ответными речами, договорами, челобитными послов, росписями расходов и подарков. Нас в дальнейшем будет интересовать вопрос о том, каким именно образом это делалось.

Перед тем как обратиться к этому вопросу, представляется целесообразным хотя бы вкратце охарактеризовать роль сербского языка на Высокой Порте. Из целого ряда современных описаний Османской империи в XVI столетии, а также на основе нескольких изданий османских грамот, написанных в XV и XVI столетиях (ср., например, Miklosich 1858; Костић 1924; Елезовић 1931; Стојановић 1934), мы знаем, что язык сербских государственных канцелярий был взят османской государственной администрацией после гибели средневекового сербского государства в качестве «дипломатического» языка, т. е. языка, на котором велась переписка султанов и других высокопоставленных османских сановников с разными государствами, в том числе с Польшей, с Венгрией, с Дубровником и с молдавскими княжествами. Подобную роль в течение примерно 150 лет играл и греческий язык. Период употребления сербского и греческого языков в качестве «дипломатического» языка продолжался до конца правления Сулеймана (1520–1566) (ср. об этом Ђорђић 1971, 165). Уже при этом султане престиж обоих языков понизился, и постепенно они были вытеснены из употребления турецким языком, который одержал полную победу при последователях Сулеймана.

К числу адресатов султанских грамот, написанных по-сербски, принадлежали и московские великие князья. Это мы знаем совершенно точно, несмотря на то, что, как это уже было отмечено, ни одной такой грамоты в подлиннике не сохранилось.

Однако в посольских книгах в нескольких местах указано, что соответствующая грамота, полученная великим князем из столицы Османского государства, написана «сербскимъ письмомъ».

Попытаемся ответить на вышепоставленный вопрос о способе переноса текста оригинала в посольские книги. Ответ на этот вопрос имеет немаловажное значение для изучения московского приказного языка XVI столетия. Кроме того, он может оцениваться как вклад в обсуждение более общего вопроса о том, каких принципов придерживались переписчики на Руси при копировании рукописей.

Более конкретно речь будет идти о том, каким образом были скопированы две грамоты султана Селима I, направленные великому князю Василию III в 1513 соотв. в 1516 году. Первая грамота была опубликована в статье П. А. Лаврова (1896, стр. 5–6), в работе Б. О. Унбегауна (1975, стр. 226–227), а также, правда с разными «упрощениями» и неточностями в *Сборнике* (т. 95, стр. 97). Вторая тоже была опубликована в *Сборнике* (т. 95, стр. 236–237) и, кроме того, в статье П. А. Лаврова (1896). Публикацию П. А. Лаврова можно считать безупречной. В дальнейшем, однако, я буду ссылаться на копии оригинала посольской книги, любезно предоставленные мне дирекцией ЦГАДА.

Для того чтобы описать способ копирования подлинных грамот в посольскую книгу, в идеальном случае надо сравнить оригинал с копией. Как это нередко бывает, такой идеальной ситуации нет. Однако мы располагаем целым рядом других подлинных сербских грамот Селима I, а также его отца Баязида II, направленных сенату Дубровницкой республики. Эти грамоты вместе со многими грамотами предшественников обоих султанов были изданы в 1911 году Ч. Трухелкой, а в 1934 году Л. Стояновичем.

Вступительные части султанских грамот написаны в соответствии с определенными, более или менее устойчивыми формулами. Сравнивая вступительные части изданных Ч. Трухелкой оригиналов грамот Селима I с соответствующими частями хранящихся в Москве копий, мы можем со значительной долей уверенности реконструировать текст оригинала вступления грамот, посланных Селимом I великому князю Василию III. Это, со своей стороны, дает нам возможность осветить хотя бы в предварительном порядке те начала, которыми руководствовались переписчики посольского приказа.

Сравним вначале вступление грамоты Селима I 1513 года в его московской копии со вступлениями четырех грамот, направлен-

ных Селимом I сенату Дубровницкой республики (номера 164, 171, 173 и 174 в книге Ч. Трухелки = номера 996, 998, 999, 1000 в издании Л. Стояновича). Третья из этих грамот цитируется на основе фотографии, помещенной в конце издания Ч. Трухелки. В московском тексте в скобках указан номер каждой строки в посольской книге. Под «московской строкой» помещены соответствующие «дубровнические строки»:

(7) Мл͡ˢтню, бѡ͗ею га великїе гѡ͡ˢпода͗ и си͡ˡние
164 милостню божию га велике господар и силне
171 милостню божию га велике господар и силние
173 мило͡ˢтню божию. га великие го͡ˢподарь и си͡ˡние
174 милостнюи божиюи гаа великие цр и силние

(8) црь. и великїе ами͗ сѡ͡ˡта͡н сели͗ ха͡н и всие͗
164 ц(а)р и велїке амирь солтань селим хань и вьсиемь
171 цр и великие амирь солтан селим хан и вьсием
173 цр и великие амирь солта͡н селимь хань и вьсие͡м
174 господарь и великие аамирь сѹлтань селим хан вьсимь

(9) землѧ͗ приморскїе͗ и рѹмскїе͗ и карама
164 земламь приморскиемь и рѹмскиемь и карама
171 земламь приморскем и рѹмскием и карама
173 земламь приморскиемь
174 зимьлимь приморскимь и карама

(10) нскїе͗ и наталѣискїе͗ и романские͗ и и
164 нскием и натолискием и романскиемь и ї
171 йскием и натолискием и романскием ... и ї
173 и натоли͡ˢкием и рома͡нскиемь ... и ї
174 нским и рѹмским и натолиским и романискимь и и

(11) ние͗ многе͗ землѧ͗ го͡ˢподи͡н пише͗ висота
164 немь многем землам господинь. пишет висота
171 нием многем землам господин. пишет висота
173 немь многе͡м земламь го͡ˢподинь. пишеть висота
174 ним многимь зимлимь господин. пишеть висота

(12) цр͡ˢва ми.
164 црства м(и)
171 ц(а)рсва мї

173 цр͡сва́ми
174 црьс͡(т)внѥ́ми

Сравнение московской копии, которая написана хорошо читаемой скорописью, с дубровническими оригиналами показывает, во-первых, что переписчик отказался от всякого рода лексических субституций. Напротив, он стремился как можно точнее, почти буква в букву, переписать текст оригинала; ср., например, на стр. (7) форму им.п. ед.ч. м.р. великїє, неизвестную в русском языке, но засвидетельствованную в грамотах № 173 и 174, а также в многочисленных других султанских грамотах. На стр. (9) мы находим форму дат.п. мн.ч. земл͡ѧм, которой в дубровнических грамотах трижды соответствует земламь и один раз зимьлимь. Из этого, однако, не следует, что форма земл͡ѧм является результатом адаптации переписчика. Формы лексемы землѧ, содержащие букву ѧ, в том числе немало форм дат. п. мн. ч., хорошо засвидетельствованы в османских грамотах, начиная с Мурада II (1421–1451) и кончая периодом правления Сулеймана. Таким образом, нельзя исключить возможность, что и в оригинале московской копии стояла форма землѧмь. Подобно дело обстоит с формой бѡ*єѥ̑ на стр. (7). Правда, в дубровнических грамотах трижды фигурирует божию и один раз божиюи. Тем не менее не исключено, что бѡ*єѥ̑ именно в таком виде стояло в оригинале или же является сокращенным написанием для формы, содержащей элемент є во флексии; ср. засвидетельствованную в грамотах Баязида форму бо́жикю (Тр. 75; 102 и др.).

Тот факт, что переписчик, несмотря на все усилия, не сумел совершенно точно, буква в букву переписать оригинал, вытекает из формы дат. п. мн. ч. натал҇ѣнскїє͡м на стр. (10). Буква ѣ ни в коем случае не стояла в оригинале. У многочисленных форм этой лексемы, встречающихся в опубликованных Трухелкой документах, нигде не стоит ѣ, а вместо нее встречается и (несколько раз даже ии) или же вообще нет никакого гласного; ср. натолискога (Тр. 118), натѡ́лскога (Тр.119), натолиским̑ (Тр. 124), наатолиискиием (Тр. 117). И вторая буква московской формы лежит, по всей вероятности, на совести переписчика, ведь в сохранившихся султанских грамотах ей нет соответствия.

Подведем итоги нашего краткого анализа: переписчик грамоты Селима I 1513 года стремился репродуцировать оригинал как можно точнее и при этом избежать таких графемных субституций, которые русифицировали бы текст; ср. в связи с этим еще

на стр. (11) форму висота, которая благодаря замене и на ы стала бы высота. Следует заметить, однако, и то, что переписчик не сумел остаться совершенно последовательным.

Перейдем к рассмотрению вступления копии грамоты Селима 1516 года:

(15) Саⷧтаⷩ҇ салиⷨ шагъ; млⷭ҇тїю бж҇їею, ꙗⷥ
(16) великїи царь и҆ силꙿный гⷭ҇дрь, и҆ великїи
(17) кнꙗⷥ, салꙿтаⷩ҇ селиⷨ цр҇ь, вꙿсѣⷨ землѧⷨ приморꙿскимꙸ,
(18) и҆ рꙋмꙿскимъ, и҆ караманꙿскиⷨ, и҆ италѣискиⷨ, и҆
(19) римꙿскимъ, и҆ халиманꙿскиⷨ, и҆ и҆ныⷨ многимъ зе́
(20) млѧⷨ гдⷭ҇нъ, пишеⷮ высота црⷭ҇тва ми҆;

Уже первая форма показывает, что переписчик этой грамоты руководствовался другими принципами, нежели его коллега три года назад. Из султановых грамот, изданных Ф. Миклошичем и Ч. Трухелкой, следует, что со времен Мурада II и до конца периода правления Баязида II в первом слоге титула султана употреблялась почти исключительно буква ꙋ; ср. сꙋлта́на (Тр. 14), сꙋльтаи҆ (Тр. 71) и мн. др. Форма с буквой о засвидетельствована у Трухелки один раз по отношению к Баязиду: сольтань (Тр. 146), в то время как у Селима I и его великого визиря она, как кажется, преобладала (из этого периода засвидетельствована одна ꙋ-форма). Это значит, что в оригинале стояло или сꙋлтань или же солтань, но ни в коем случае салтань. Последняя форма, однако, нам хорошо известна из древнерусской письменности; ср. в *Слове о полку Игореве*: Стрѣляеши съ отня злата стола салтани за землями, или у Афанасия Никитина: А съ салтаномъ выходять 300 тысячь рати своеи (цит. по Срезневскому). Правда, Афанасий Никитин употребляет также форму с ꙋ.

Форма салиⷨ имени султана тоже, по всей вероятности, представляет своего рода русификацию, ведь в сохранившихся сербских грамотах периода правления этого султана мы находим только форму с є.

Форме ꙗⷥ московской копии соответствует в сербских грамотах, начиная с Мурада II и до Сулеймана, ꙗ, с 1498 г., т. е. со времени правления Баязида II, также азь. Форма ꙗзь здесь не засвидетельствована. Как уже показал Б. Унбегаун (1935, 135), язь является, за редкими исключениями, весьма распространенной формой в посольском приказе. Этот результат проведенного Б. Унбегауном исследования подтверждают опубликованные в

Актах русского государства. 1505–1526 гг. (1975) грамоты Василия III. Итак, можно вполне исключить, что переписчик взял форму ꙗ³ из оригинала.

Интересна также форма **великїи** в синтагме **великїи царь** (стр. (16)). Она, наверное, в таком виде не стояла в оригинале. До Баязида II включительно в сербских султановых грамотах встречается почти исключительно форма **велики**. В немногочисленных, правда, грамотах Селима I засвидетельствованы **велике** и **великие**, т. е. формы, которые нам хорошо известны из других источников. В приказном языке нормальная флексия им.-вин. п. ед. ч. м. р. прилагательных — **-ои** соотв. **-еи** (ср. Unbegaun 1935, 320). Церковнославянская флексия **-ыи** соотв. **-ии** встречается относительно редко, но она типична как раз для интересующей нас лексемы в титуле великого князя: **великии князь** соотв. **великии госоүдарь** (ср. Unbegaun 1935, 320). Значит, форма **великїи** в рамках сочетания **великїи царь** однозначно отражает язык посольского приказа. Это подтверждают и многочисленные грамоты Василия III в *Актах русского государства. 1505–1526 гг.*

На стр. (16)–(17) фигурирует синтагма **великїи кнꙗ³**. Если поискать соответствие ей в опубликованных Ч. Трухелкой грамотах Селима I, то мы наталкиваемся в грамоте № 173 на: ...**и сиӑние цр̑ и великие амирь солтаӑ селимь ханъ**. В остальных трех грамотах данная форма звучит аналогично; т. е. за формой **великие** соотв. **велике** всегда следует **амирь** (один раз **аамирь**). Из этого вытекает, что **кнꙗ³** с наибольшей вероятностью представляет собой лексическую субституцию для **амирь**. В пользу этого предположения говорит и то обстоятельство, что, если бы данная лексема стояла в сербском оригинале, она выглядела бы как **кнезь** (ср. Тр. 5, 10, 60, 73 и др.). В титулах, которыми османские повелители себя именуют, никогда не встречается **кнезь**. Уже Мурад II величает себя как **велики амира** (ср. Тр. 6).

Вероятны и другие лексические субституции. На стр. (17) за именем султана следует **цр̑ь**. Однако, есть сомнения в том, что эта лексема стояла в оригинале на соответствующем месте. В изданных Ч. Трухелкой грамотах Селима I стоит **селимь ханъ** (ḫān). И у остальных султанов за именем следует или же **хан** соотв. **бег**, или не стоит ничего.

В заключение нашего анализа коснемся формы **италѣиски**ᵐ (стр. (18)). Здесь мы совершенно однозначно имеем дело с ошибкой переписчика, иначе говоря, с ошибкой по небрежности; ведь он не узнал прилагательное **натолиски**, которое ясно засвидетель-

ствовано в четырех грамотах Селима в издании Ч. Трухелки и которое нам вообще хорошо известно из вступлений султановых грамот (ср., например, в книге Schaendlinger 1983 грамоты № 1, 6, 7, 29, 23, 25, 32 султана Сулеймана).

К морфологической субституции восходит форма дат. п. мн. ч. **в҆сѣ**[м] на стр. (17). В грамотах Селима I в книге Трухелки мы находим **вьсиємь** (164), **вьсиєм** (171), **вьси**[м]**є** (173), **вьсимь** (174). Те же самые формы встречаются и у других султанов, помимо них еще и другие падежные формы; ср. **всємь** (Тр. 51) и **ваасам** (Тр. 177). В московском приказном языке косвенные формы мн. ч. лексемы **весь** имеют сплошь и рядом **ѣ** (ср. Unbegaun 1935, 386), так что ясно, где искать источник интересующего нас **ѣ**.

Тот факт, что вступление московской копии с орфографической, морфологической и лексической точек зрения производит решительно русское впечатление, мог бы навести на мысль, что перед нами вовсе не копия сербского оригинала и что мы имеем дело с переводом турецкой грамоты, которые в XVI столетии также отправлялись в Москву. Однако можно доказать, что основой для переписывания грамоты являлся именно сербский язык. Здесь достаточно одного довода: на стр. (20) стоит оборот **пишє**[т] **высота цр҇ства мѝ**. Если отвлечься от замены **и** на **ы** во второй форме, то копиист дословно переписал форму обращения, которая, начиная с периода правления Мехмеда I (1451—1481), засвидетельствована в многочисленных султановых грамотах; ср. у Ч. Трухелки, например, № 131, 132, 137, 140, 146, 155, 158, 164, 171, 173, 174. Причина, в силу которой не состоялась дальнейшая адаптация, заключается, возможно, в том, что переписчик не распознал энклитическую форму дат.п. **ми** и поэтому читал **цр҇твамѝ** (в оригинале без словоделения), т. е. форму тв. п. мн. ч. Примечательно, что та же ошибка встречается в публикации переписки между великими князьями московскими и османскими султанами в Сборнике, т. е. издатели нередко не узнавали энклитических форм дат. п. **ти** и **ми**, отождествляли их с флексиями инфинитива соотв. тв. п. мн. ч.

В заключение можно отметить, что исследованные нами канцелярские тексты напоминают две разные традиции при копировании церковнославянских текстов в древней Руси. В соответствии с первой, более древней традицией «юж.-сл. написания первоначально входили в орфографическую норму и не исправлялись» (Успенский 1987, 76). Именно эта традиция отражается, как нам кажется, — в канцелярской, скорописной трансформа-

ции — в копии грамоты Селима I 1513 года. Копия грамоты того же султана 1516 года указывает на более позднюю традицию, начало которой исследователи связывают с XII столетием (ср. Успенский 1987, 76). Она знаменует «освобождение от непосредственного влияния юж.-сл. протографов» (Успенский 1987, 76) и воплощается в том, «что бóльшая часть русских писцов в своём правописании руководилась не столько написаниями своих непосредственных оригиналов и своим живым произношением, сколько усвоенной ими традиционной орфографией и особым книжным или церковным произношением» (Дурново 1924, 73). Теми же самыми словами можно охарактеризовать способ переписывания, который хотя бы предварительно удается реконструировать на основе анализа московской копии грамоты Селима I 1516 года. Отклонения от оригинала, наблюдаемые в копии, никак не свидетельствуют о неспособности, о неграмотности писца — скорее наоборот, ведь «грамотность писца проявлялась не в том, насколько он следует протографу, а в том, насколько тщательно он соблюдает усвоенные им правила» (Успенский 1987, 75). Сопоставление оригинала и его копии показывает, что уже в XVI веке «писцы московских приказов достаточно твердо ориентировались на вполне определенные, можно сказать, литературные нормы» (Коткова 1987, 142).

Литература

Дурново 1924 — *Н. Дурново*. Русские рукописи XI и XII вв., как памятники старославянского языка // Јужнословенски филолог. 4, 1924, с. 72–94.

Ђорђић 1971 — *П. Ђорђић*. Историја српске ћирилице // Палеографско-филолошки прилози. Београд.

Елезовић 1931 — *Г. Елезовић*. Турско-српски споменици Дубровачког архива // Јужнословенски филолог. 11–12, 1931, с. 7–89.

Костић 1924 — *М. Костић*. Српски језик као дипломатски језик југоисточне Европе од XV–XVIII века. Скопље, 1924.

Коткова 1987 — *Н.С. Коткова*. Выявление московских лексических норм XVII в. путем сравнения с периферийными данными // История русского языка и лингвистическое источниковедение. М., 1987, с. 131–142.

Лавров 1896 — *П. А. Лавров*. На каком языке были писаны грамоты Турецкого султана Селима к великому князю Василию Иоанновичу? // Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. 1896, т. I, кн. 3, с. 543–548.

Рогожин 1981 — *Н. М. Рогожин.* К вопросу о публикации посольских книг конца XV — начала XVII в. // Археографический ежегодник за 1979 год. М., 1981, с. 185–209.

Смирнов 1946 — *Н. А. Смирнов.* Россия и Турция в XVI–XVII вв. М., 1946, т. I.

Стојановић 1934 — *Љ. Стојановић.* Старе српске повеље и писма. Књига I. Дубровник и суседи његови. Други део. Београд; Ср. Карловци, 1934.

Унбегаун 1975 — *Б. О. Унбегаун.* Четири писма турског султана Селима I на српском језику // Xenia Slavica. Papers Presented to Gojko Ružičić on the Occasion of his Seventy-fifth Birthday, 2 February 1969. The Hague — Paris, 221–228.

Успенский 1987 — *Б. А. Успенский.* История русского литературного языка (XI–XVII вв.). München, 1987.

Miklosich 1858 — *F. Miklosich.* Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae Bosnae Ragusii. Vindobonae, 1858.

Schaendlinger 1983 — *A.C. Schaendlinger.* Die Schreiben Süleymāns des Prächtigen an Karl V., Ferdinand I. und Maximilian II. Transkriptionen und Übersetzungen // Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Denkschriften, 163. Band. Wien, 1983.

Spuler 1935a — *B. Spuler.* Die europäische Diplomatie in Konstantinopel bis zum Frieden von Belgrad (1739). I. // Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven, 1935, N.F. 11, S. 53 — 115.

Spuler 1935b — *B. Spuler.* Die europäische Diplomatie in Konstantinopel bis zum Frieden von Belgrad (1739). II. // Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven, 1935, N.F. 11, S. 171–222.

Spuler 1936 — *B. Spuler.* Europäische Diplomaten in Konstantinopel bis zum Frieden von Belgrad (1739) // Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas, 1936, 1, S. 383–440.

Truhelka 1911 — *Ć. Truhelka.* Tursko-slovjenski spomenici dubrovačke arhive. Sarajevo, 1911.

Unbegaun 1935 — *B. Unbegaun.* La langue russe au XVI^{e} siècle (1500–1550). I: La flexion des noms. Paris, 1935.

Франческа Фичи Джусти (Флорентийский Университет)

Об употреблении презенса совершенного вида и о значении форм будущего времени в «Житии протопопа Аввакума»

I. Всем известно, что в языке Аввакума формы высокого стиля сплетаются с выражениями разговорного языка и даже низкого стиля. Его проза привлекает живостью слога, способностью сочетать разные речевые пласты. Одним из типичных художественных приемов является смещение глагольных времен, создающее ощущение того, что описанное событие не просто состоялось в прошлом, но что его последствия отражаются и в будущем.

В Житии Аввакума формы и значения будущего встречаются более часто, чем в других произведениях того же самого и предыдущего периода. Это объясняется, на мой взгляд, своеобразием произведения и, в частности, практикой проповеднической деятельности самого Аввакума, с которой Житие несомненно связано.

Настоящая работа посвящена (а) формам презенса совершенного вида и его функциям в языке Аввакума; (б) функциям глагольных форм будущего типа. И те и другие меняются в зависимости от семантики и от лица глагола, от типа предложения (главного или придаточного) и от стиля повествования.

II. В пространстве, включающем в себя говорящего, субъект и событие, устанавливаются отношения разных типов, которые зависят от точки зрения говорящего и от степени отождествления последнего с субъектом и с событиями. В частности:

1) говорящий (или пишущий, когда последний не совпадает с первым) и субъект расположены в одном пространстве (с пол-

ным или частичным совпадением, в зависимости от количества лиц, участвующих в речевом общении). Это отражается в форме первого лица глагола;

2) субъект занимает место в пространстве, не включающем говорящего, но между ними существует контакт (2-е лицо);

3) говорящий и субъект расположены в не соприкасающихся друг с другом пространствах (3-е лицо).

В связи с этим, форма глагола, наряду с семантикой, выполняет разные функции, отражающие отношение субъекта к событию[1].

Как в произведении автобиографическом, в Житии Аввакума преобладает «я» повествователя. Когда речь идет о других лицах, участвующих в событии, автор часто прибегает к глаголам с разной иллокутивной силой, типа: говорить, молить, просить и т. д.

В этой работе мы отделили формы презенса совершенного вида от других форм, относящихся к неактуальным событиям, с особым вниманием к так называемым сложным формам будущего.

IIIа. Формы презенса совершенного вида, выражающие несовершившиеся события.

Формы презенса совершенного вида мы разделили, в свою очередь, исходя из их положения в речи (прямой или непрямой), из типа предложения, лица и числа: а. независимое (неподчиненное) предложение (1, 2, 3-е лицо, единств. и множ. числа); б. прямая речь, следующая за иллокутивным глаголом; в. зависимое предложение, в котором глагол синтаксически связан с другими глагольными формами.

Всего один раз встретилось нам 1-е лицо единств. числа, когда автор обращается к богу и к вере (1): Это не удивительно, если учесть, что Аввакум любит «объективизировать» свое участие в событиях посредством третьего лица.

1. И нынѣ, владыко, благослови, да, воздохнув от сердца, и языком *возглаголю* (351)[2].

---

[1] Такое разделение соответствует, но только частично, распределению модальности, предложенному Байби (Bybee 1991: 23): agent-oriented, epistemic и speaker-oriented.

[2] Номер страницы относится к изданию: Памятники литературы Древней Руси, т. 11, 1989.

При субъекте типа «мы» презенс соверш. вида имеет разные функции. Он выражает то согласие, то намерение, то покорение, то приглашение, то возбуждение, а также неизбежность события, в котором пишущий будет принимать участие. Например:

2. Говорить о том полно, въ день вѣка познано будет всѣми, *потерпимъ* до тѣхъ мѣстъ (353).
3. Рече Отецъ Сынови: *Сотворим* человѣка по образу нашему (355).

Когда речь исходит от собеседника, эта глагольная форма может выражать ответ на приглашение, звучащий как согласие:

3. И отвѣща другий: *Сотворим*, отче, и *преступит* бо (там же).

В следующем примере первое лицо множественного числа выражает уверенность в осуществлении грядущего события, предсказанного бесами:

4. И бѣси сказали: «С побѣдою великою и з богатъствомъ большим будете назадь». И воеводы ради, и всѣ люди радуюся говорятъ: «Богаты *приедемъ*» (370).

Как реакция на принуждение третьего лица, говорящий и собеседники могут изъявлять не столько согласие, сколько покорение и приятие судьбы:

5. Я пришолъ, на меня, бѣдная, пеняетъ, говоря: «Долъго ли муки сея, протопопъ, будет?» И я говорю: «Марковна, до самой смерти!» Она же, вздохня, отвѣщала: «Добро, Петровичь, ино еще *побредемъ*» (368).

Проповеднический характер Автобиографии подчеркивается и прямыми обращениями к читателю, которого автор принимает как человека, непосредственно участвующего в речевом общении. Этим объясняется и неоднократный призыв, обращенный автором к самому себе и собеседникам, типа:

6. Паки на первое *возвратимся* (354).

Обращение ко второму лицу семантически отличается от императива; тем не менее, эта функция может быть близка к императиву (с оттенком приглашения) или просто выражать уверенность говорящего в неизбежности события, субъектом которого является собеседник (настоящий или вымышленный). Например:

7. Старецъ да и рабъ Христовъ, простите же меня <...> И вы, бога ради, *поразсудуте* (373).
8. «А буде правила не станетъ править, о немъ же онъ и смъ помышляетъ, то здѣсь всѣ *умрете* <...>» (378).
9. И я, де, <...> говорю: «Гоподи! Аще *не избавишь* мя, осквернятъ меня, и погибну!» (382).

В сочетании с императивом презенс сов. в. может выражать последствия описанного действия:

10. Чти книгу Дионисиеву, там пространно *уразумѣешь*. (353)

В прямой речи быстрое чередование лиц подчеркивает драматичность повествования. Обычно при отрицании, в обращении ко второму лицу чувствуется угроза, последствия которой выражаются в подчиненном предложении (типа: если ты чего-то не сделаешь, будет что-то). В примере 9 можно говорить о напрасном ожидании в том смысле, что частица *аще* вводит угрозу, которая касается одновременно и собеседника, и самого говорящего.

В повествовании преобладает третье лицо презенса сов. в. Эту форму можно считать самой «чистой» в том смысле, что участие говорящего в событии не выражается морфологически. Это не исключает того, что оно так или иначе подразумевается разными типами модуса или самим контекстом. В прямой речи, и прежде всего когда субъектом является небесная или природная сила, говорящий может выступать как жертва или как просто участник неизбежного события, выраженного глаголом. Например:

11. А затѣмъ — сколько Христос *дастъ*, только и жить (374).
12. Дондеже богъ изволитъ — живемъ вмѣсте, а егда *разлучатъ* — тогда нас в молитвахъ своих не забывай (375).
13. В день вѣка вси жо тамъ *познаютъ* содѣланная мною — или благая, или злая (389).

При отрицании, как мы сказали, комментируя пример 9, презенс сов. в. вводит значение напрасного ожидания. Эта форма, как отметил Зализняк, рассматривая язык новгородских грамот, сохраняет свою актуальность и в современном русском языке, особенно при таких наречиях с отрицательным значением, как *никак, все никак* (*Все утро звоню туда и не дозвонюсь*) но также и в отсутствии наречия (*Не пойму, шутите ли вы, или нет,* Зализняк 1990, ст. 113). Ср:

14. Сице всяк вѣруяй в онъ — *не постыдится*, а не вѣруяй — осужден будет и во вѣки *погибнетъ*, по вышереченному Афанасию (355).
15. «<...> Свѣтъ, послушай меня! Да *не возвратится* вспять ни един от нихъ, и гробъ имъ там *устроиши* всѣмъ! <...>» (370).

В двух последних примерах «напрасное ожидание» относится к третьему, неупомянутому воображаемому лицу. Здесь говорящий выстраивает микродраму, с участием разных лиц, перед которыми он выражает свою уверенность в неосуществлении события и в его неосуществимости.

Повторяющиеся призывы к вымышленному собеседнику являются типичной чертой этого повествования. Количество актеров не ограничено. Они не только действуют, но выступают как субъекты возможных, еще не совершившихся событий:

16. Онъ <...> умышлялъ во умѣ своемъ: «Хотя, де, одинъ и поедетъ, и ево, де, *убьютъ* иноземцы» (372).
17. У сего келаря Никодима попросилъся я на Великъ день для праздника отдохнуть <...> И онъ, меня наругавъ, и отказалъ жестоко, <...> и потом <...> разболѣлъся: масломъ соборвали и причащали, и тогда-сегда *дохнетъ* (381).
18. *Хотя* на меня каменья *накладутъ*, я со отеческим преданием и под каменемъ лежу <...> (374).
19. Какъ умрем, такъ онъ *почтетъ*, да *помянет* пред богомъ нас (397).

При иллокутивном акте, вводимом глаголом типа «просить», презенс совершенного вида вводится в подчиненном предложении связкой-частицей *да* (20—22).

20. Изволила мати меня женить, аз же пресвятѣй богородице *молихся, да даст* ми жену — помощницу ко спасению (355).
21. ...*моляся* прилѣжно, *да* же *отлучит* мя богъ от детей духовных (356).
22. *Выпросилъ* у бога свѣтлую Росию сатона, *да* же *очервленитъ* ю кровию мученическою (381).

IIIб. Формы презенса совершенного вида, передающие итеративность в прошлом.

Пешковский (1956: 211) отметил, что «будущее вместо прошлого» встречается только в литературе, и преимущественно в

биографиях. В «Грамматике русского языка» (1954, 2, 1: 397) мы читаем: «При наличии определенных синтаксических условий сказуемое, выраженное глаголом в форме будущего простого, может обозначать действие, относящееся не к будущему, а к настоящему или прошлому с разными оттенками значения».

В Житии Аввакума презенс совершенного вида может относиться к прошедшим, повторяющимся событиям. В данных случаях эта форма соответствует в современном русском языке прошедшему времени совершенного вида и в предложении присутствуют глагольные формы, указывающие на длительное действие.

В работах, посвященных функциям и значениям презенса сов. в. в памятниках литературы XVI–XVII веков эта функция не упоминается. Никифоров (1952), например, рассматривает только будущее время, относящееся к неосуществленным событиям. То же самое можно сказать об Обнорском (1953).

В приведенных примерах функция презенса совершенного вида зависит от окружающей его среды:

23. Но *помогала* намъ по Христе боляроня, воеводская сноха, <...> *Иногда пришлют* кусокъ мясца <...> а *иногда* и полъпудика *накопитъ* и *передастъ*, а *иногда* у куровъ корму ис корыта *нагребетъ* (366).

24. И кости *находили*, от волковъ пораженных зверей, и что волкъ не *доестъ* — мы то *доедимъ* (366).

25. Кобыла жеребенка *родитъ*, а голодные втай и жеребенка и мѣсто скверное кобыле *сьедятъ*. А Пашков, свѣдавъ и кнутомъ до смерти *забьетъ* (366).

26. Дочь моя, бѣдная горемыка, Огрофена, *бродила* втай к ней под окно. И горе, и смѣхъ! *Иногда* робенка *погонятъ*... *а иногда* и многонько *притащитъ* (366).

27. Простите, во искусѣ то на Руси *бывало*, — человѣка тричетыре бѣшаных, приведших, *бывало*, <...> отхождаху от них бѣси. <...> Слезами и водою *покроплю* и масломъ *помажу* (367).

28. Как в попах еще был <...> была у меня в дому моемъ вдова молодая. <...> Какъ станем в вечер начинать правило, такъ ея бѣсъ ударить о землю, омертвѣетъ вся, яко камень станетъ <...> лежитъ, яко мертва. <...> И я по рукѣ *покажу* крестомъ, так и рука свободна *станет*; я — и по другой и другая также *освободится*, я — по животу, такъ баба и *сядетъ* (394).

В примерах 23–28 презенс совершенного вида относится к многократным событиям, в сочетании с глаголами несовершенного вида. Последние вводят общее положение вещей, служат предпосылкой излагаемым событиям. Чередование глаголов несовершенного и совершенного видов имеет динамическую функцию, увеличивает драматичность повествования, приближая рассказанное к собеседнику. Что касается примера 28, свободное чередование времен не дает возможности установить a priori функцию глагольных форм. Только из контекста выходит, что речь идет не о единичных событиях. В примерах 23 и 26 несовершенный вид глагола создает фон, а наречие *иногда* относится к единичным, повторяющимся событиям. В примере 27 ту же самую функцию выполняет глагольная форма *бывало*. В 24 и в 25 же примерах многократность выражается только глаголом несовершенного вида.

В этих конструкциях за глаголом несовершенного вида глагол совершенного вида повторяется не один раз (*накопитъ* и *передастъ*; *погонятъ ... притащитъ; доестъ ... доедимъ*, *съедятъ... забьетъ*). Это, очень вероятно, особенность повествовательного стиля Аввакума, связанная с поэтическим ритмом. Такое распределение глаголов создает «синтаксическую стопу», типа дактиля (— ◡◡).

IIIв. Сложные формы глагола, относящиеся к будущему.

В Житии составная форма будущего времени с вспомогательным глаголом *будет* и инфинитивом встречается относительно редко. Форма *будет* встречается в страдательных конструкциях с причастием, типа:

29. Аввакум протопопъ понуженъ бысть житие свое написати иноком Епифанием <...> да не забвению *предано будет* дѣло божие (351).
30. Говорить о том полно, въ день вѣка *познано будет всѣми*, потерпимъ до тѣхъ мѣстъ (353).
31. «Блюдися, *от меня* да не полъма *растесанъ будеши*!» (376).
32. «Иже вѣру иметъ крестится — *спасенъ будетъ*, а иже не иметъ вѣры — *осужденъ будетъ*» (388).

Хотя и редко, но *будет* может выступать и просто как вспомогательный глагол (33):

33. «Какой ты мнѣ брат? Ты мнѣ батко, отнял ты меня у царевича и у князей. А братъ мой на Лопатищах живетъ, *будет* тебѣ *бить* челом» (391).

Чаще будущее время глагола «быть» выражает, кроме предусмотренного события (34, 35), иные типы нереальных действий, как заклинание (36), приближение (37, 38), предвидение (39):

34. «Долъго ли муки сея, протопопъ, *будет*?»(368)
35. И я <...> разсуждаю: «Что се видимое? И что *будетъ* плавание?» (356).
36. Да *будет* проклятъ сице поюще! (354).
37. ...годовъ *будет* тому с полтретьяцеть (356).
38. А какъ приехалъ въ Енисѣйской — другой указ пришел: велено в Дауры вести, дватцеть тысящ и болши *будетъ* от Москвы (362).
39. А рыбы зѣло густо в нем: осетры и таймени жирны гораздо, нельзя жарить: на сковородѣ жир все *будет* (374).

В сочетании с прошедшим *будет* может выражать и приближение и последующее событие:

40. Егда поехали изъ Енисѣйска, какъ *будем* в большой Тунгуске-рекѣ, в воду загрузило бурею дощенникъ мой со всѣмъ (362).

Относительно редко встречаются другие глаголы с вспомогательной функцией, типа *хотеть* и *стать* (41, 42). Они скорее выражают модальное значение волеизъявления («его мучить напрасно захотѣлъ», 361) или начало действия (43, 44):

41. ...видим, яко зима *хощетъ быти* (359).
42. Покажи, за какое мое согрѣшение таковое ми бысть наказание, да, уразумѣвъ, каяся пред сыном твоимъ и пред тобою, впредъ тово *не стану дѣлать* (390).
43. И егда правило скончаю, онъ и паки *бѣсоватися станетъ* (391).
44. *Стану* опять про бабъ *говорить* (368).

В последнем случае *стану* занимает промежуточное место: его нельзя заменить глаголом *будет*, но он выражает намерение совершить событие (*говорить*.) При других глаголах встречается чаще глагол совершенного вида (как уже упомянутый *возвратимся*).

Из всего того, что было сказано, можно прийти к следующим выводам, первый из которых идет в направлении не-темпорально-

сти форм будущего времени. При чтении Жития создается впечатление, что эти формы еще не укрепились как глагольные времена в том смысле, что они выражают просто не состоявшиеся события, по отношению к которым Аввакум строит будущее. Это не просто повесть о том, что было (в этом смысле это скорее антиповесть), и не только художественный прием. Это программа деяний, которые ожидают борца за веру. Он стоит уже спиной к неосуществленному и лицом направлен к тому, что должно быть.

Литература

J. Bybee et al. 1991. Back to the future. In Traugott E. C. & Heine B. (eds.), Approaches to Grammaticalization, 2, Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins Pub. Co.

Грамматика русского языка (2) / Под ред. В. В. Виноградова. М., 1954.

А. А. Зализняк. Об употреблении презенса совершенного вида // Metody formalne w opisie języków słowiańskich / Под ред. Салонего. 1990, 109–114.

С. Д. Никифоров. Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVII века. М., 1952.

С. П. Обнорский. Очерки по морфологии русского глагола. М., 1953.

Памятники литературы Древней Руси, т. 11 (2). М., 1989.

Н. Н. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. М.,1956.

Simonetta Signorini (Università di Firenze)

Семантика глаголов волеизъявления в языке памятников русской письменности XVII века

Предлагаемая работа посвящена семантике глаголов волеизъявления в памятниках письменности XVII в. Выбор темы обусловлен как общими направлениями в развитии современного языкознания, так и отдельными проблемами, лежащими в плоскости представляемого исследования.

Среди общих тенденций современной лингвистики особо следует выделить формирующееся сейчас направление, в центре внимания которого находится человек со всем объемом видов присущей ему деятельности. Стремление получить объективное представление о языковой сфере человека стимулирует взаимодействие лингвистики с другими гуманитарными дисциплинами, и в первую очередь с логикой и психологией. Одним из результатов подобного подхода к решению собственно языковых проблем можно считать начавшийся процесс пересмотра многих теоретических положений традиционной лингвистики, что, естественно, ведет к появлению новых ракурсов в ее изучении и обновлению методического аппарата исследования.

Достижения логики, в частности, оказали несомненное влияние на когнитивное преломление теории речевых актов, в которой адаптировано понятие интенциональности. Применительно к выбранной теме данной работы, интенциональность предполагает, что *желание* и *намерение* не могут быть «пустыми»: они всегда наполнены содержанием, прямо или косвенно отражающим насыщенный событиями мир человека. Интенциональность ассоциируется с пропозициональными установками и иллокутивными силами, а предметное содержание индивидуального сознания — с пропозицией. Когнитивный элемент илло-

кутивной силы эквивалентен «психологическому модусу», а элемент пропозиции — «репрезентативному содержанию». В методике их исследования наряду с привычными широко используются понятия субъекта и адресата действия с логико-психологическими оттенками в содержании этих понятий, а также понятия «кореферентности», «контролируемости/неконтролируемости» для характеристики создаваемых ими значений. Термин «психологический модус» в известной степени демонстрирует попытку соотнести наблюдаемые языковые явления с психологическими механизмами человека, в соответствии с которыми *желание* связано с *волей*, а *воля* — с *действием*. Устройство психологических механизмов не безразлично к развитию иллокутивного аспекта речи, неотделимого от прагматических факторов, при понимании последних как значений языковой единицы, приобретенных ею в речевой ситуации. Прагматический контекст извлекает из модуса желания соотнесенную с ним иллокутивную силу. В то же время модус желания чреват многими производными коммуникативными целями. Именно это обстоятельство, вероятно, сыграло в конечном итоге решающую роль в выделении оптативности в качестве одного из значений, образующих отдельную категорию коммуникативной рамки.

Исследователи оптативности сходятся во мнении, что оптатив представляет собой *особый* тип модальности. В специальных работах оптативность рассматривается в двух взаимно дополняющих друг друга ракурсах: как одно из частных значений сослагательного наклонения, либо как «синтаксическое желательное наклонение». Рассмотрение оптатива в системе оппозиций коммуникативной рамки не является единственно возможным. По разным признакам оптативное предложение как определенная семантико-синтаксическая единица может входить в различные системы противопоставлений. В роли компонентов *оптативной ситуации* в большей части исследований называется модальность желания, субъект желания (кореферентный говорящему), желаемое действие и субъект желаемого действия, который может быть как одушевленным, так и неодушевленным. При этом подчеркивается, что желание, исходящее от говорящего (оптатив), должно быть противопоставлено желанию по отношению субъекта к своему действию (дезидератив). Дезидеративность рассматривается в оппозиции к значениям возможности и необходимости. Представленные в списке компоненты оптатива присутствуют в специальной литературе либо в виде ведущего признака, либо в

виде их различных сочетаний. Объясняется это, по-видимому, тем, что содержательная структура их неустойчива и не достигла уровня, необходимого для статуса лингвистического признака. Вполне понятно, что определение системы модальных значений, возможных модальных противопоставлений выдвигается в число первостепенных задач данного раздела науки о языке.

Учитывая включенность в систему оптативности глагольных лексем со значением желания, представляется заслуживающей внимания попытка выявления семантики глаголов волеизъявления с учетом морфологических, синтаксических и контекстуальных особенностей, что и составило *цель* представляемой работы.

Известно, что в синхронной системе языка противоречия обычно возникают вследствие неравномерности развития его уровней и сохранности фрагментов прежних систем. Признание справедливости указанного положения общего языкознания и значимости периода XVII–XVIII вв. для истории русского языка определило материал данного исследования.

Данное исследование проводилось на материале трех памятников русской письменности XVII века различных жанров: публицистического (*О Московском государстве* Григория Котошихина), повествовательного (*Повесть о боярыне Морозовой*), автобиографического (*Житие Епифания*) [1].

Исследовательский аппарат включает в себя понятия субъекта и адресата действия; отношения субъекта и адресата характеризуются через признаки кореферентности и контролируемости/неконтролируемости. *Субъект* — это тот, кто выражает свою волю [2]. *Адресат* включает в себя два значения: адресат, совпадающий с понятием «субъект», и адресат, не совпадающий с понятием «субъект» [3] — тот, кто выполняет волю [4]. Признак «кореферентности» характиризует отношения между субъектом и адресатом только при совпадении значений этих понятий. «Субъект=адресат» выражает свою волю, т. е. выбирает, какое

[1] Вышеуказанные тексты цитируются здесь и далее по изданию *Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга вторая.* Москва: Художественная литература, 1989.

[2] В таблице, данной в конце работы, субъект условно обозначен символом «X».

[3] В таблице адресат, совпадающий с понятием «субъект», условно обозначен символом «X1».

[4] В таблице адресат, не совпадающий с понятием «субъект», условно обозначен символом «Y».

действие, указанное глаголом в инфинитиве, совершить: в данной ситуации инфинитив является сигналом кореферентности. Контролируемость — это понятие, относящееся к предикатам, которые зависят от воли, выбора человека и которые человек может выполнить. Понятие неконтролируемости употребляется для предикатов, которые совершаются без контроля воли (Шатуновский 1989: 158). Признак «контролируемости/неконтролируемости действия» используется для характеристики отношений между субъектом и адресатом независимо от значения адресата. Отправной точкой анализа явилось выделение нейтрального значения волитивности [5], по отношению к которому отмечается нарастание признака [6], его уменьшение [7], его отсутствие [8]. Под нейтральной волитивностью понимается выражение понятия «воли» в значении «выбора» без дополнительных оттенков (в частности, без оттенков значений стремления, достижения цели, оценки решений и других, выделяемых в словарях Срезневского и Фасмера в качестве значений глаголов с лексемой «желания»). Нарастание признака волитивности, обозначающее ее интенсивность, отмечается тогда, когда воля человека — его выбор — сопровождается другими семантическими оттенками, как, например, стремление, целенаправленность, чувственная оценка. Уменьшение признака волитивности происходит, когда воля человека — его воля — обозначает объект (действие) в процессе его реализации (готовность совершить действие). В этой ситуации проявляется слабая волитивность. Признак волитивности условно отсутствует, когда лексемы воли не употребляются в их первичном значении, а обозначают объект желания.

Полученные результаты могут быть представлены следующим образом:

1. В литературных источниках, выбранных в качестве материала исследования, ментальный акт волеизъявления является важным и частотным элементом построения текста, с помощью которого описывается картина мира человека эпохи XVII века и отношение человека к действительности.

---

[5] В таблице нейтральному значению волитивности соответствует символ «плюс».

[6] В таблице нарастание признака волитивности отмечается двумя плюсами.

[7] В таблице уменьшению признака волитивности соответствует символ «плюс и минус».

[8] В таблице отсутствие признака волитивности отмечено символом «минус».

2. В соответствии с принятой методикой исследования выделены 4 группы глаголов:

2.1. Первая группа, характеризующаяся признаком нейтральной волитивности, представлена тремя глаголами: **хотѣти** (с табличным индексом «б»), **похотѣти**, **изволити** (с табличным индексом «б»). В предложениях:

1. Потомъ приступиша ко мнѣ; грѣшному, палачь с ножем и с клещами, **хощет** гортань мою отворати и языкъ мой рѣзати (Ж.Е. 328),

2. ...не мняху бо, яко мучити ихъ **хотятъ**... (П. о б.М. 472)

глаголом **хотѣти** намечается выбор субъекта, выражающего свое намерение совершить действие.

Все три глагола выражают объекты ментальных актов, кореферентные глаголам в форме инфинитива, обозначающим неконтролируемые действия (**хотѣти** «б», см. пример 3) и контролируемые действия (**похотѣти**, см. примеры 4, 5, 6; **изволити** «б», см. примеры 7, 8, 9, 10).

3. ...за его учение умрети **хощеши** (...) Аввакума, проклятаго нашими архиереи (П.о б.М. 457)

4. И при своем животѣ **похочетъ** ли которого женить или отдѣлать, также ежели случится по смерти его. быти всѣм живым... (Котошихин 268)

5. А которой человѣкъ вдовец **похочетъ** на ком женитися, на дѣвицѣ, вдругоряд... (Котошихин 282)

6. И с кѣмъ **похочетъ** учинити войну и покой, и по покою что кому по дружбе отдати, или какую помочь чинити, или и иные всякие великие и малые своего государства дѣла **похочет** по своей мысли учинити, з бояры и з думными людми спрашиваетца о том мало: въ его воле — что хочет, то учинити может (Котошихин 273)

7. И потом господинъ дому бьетъ челомъ гостем и кланяетца в землю ж, чтоб гости жену его **изволили** целовать (Котошихин 276)

8. И тотъ господинъ учнетъ бити челом гостем и кланяетца в землю (...) чтоб они **изволили** у жены его пити вино (Котошихин 276)

9. И аще не вѣруеши словесем моим, то **изволи** искусити собою вещь и призвав ю пред ся — вопроси (П.о б.М. 469)

10. Азъ (...) тебѣ, государю, совѣтую боляроню ту, Морозову вдовицу, кабы ты **изволил** паки дом ея отдати ей... (П.о б.М. 469)

Синтаксическая структура этой группы глаголов представлена моделью: х-хотеть, х1-делать (3–6) и х-велеть, х1 делать (7–10). Несмотря на превалирующее значение нейтральной волитивности, представленное глаголами этой группы, следует отметить дополнительные значения в отдельных примерах. Так, в предложениях 5, 7 глагол **хотѣти** «б» имеет и значение «желания совершить действие». В тексте публицистического жанра глагол **похотѣти** в форме совершенного вида дополняется оттеночным значением «начала действия», созданию которого способствует приставка «по-» (см. примеры 4–6). Употребление этого глагола в форме будущего времени придает предложению в целом оттенок условности, что поддерживается наличием в контексте предложения частицы «ли» (см. пример 4), неопределенного местоимения «который» (см. примеры 4, 5), неопределенно-вопросительного местоимения «кто» (см. примеры 5, 6). Глагол **изволити** «б» включает в себя оттенки «вежливости, учтивости» (см. примеры 7–10).

2.2. Глаголы второй группы в целом характеризуются признаком интенсивной волитивности. Группа включает в себя 8 глаголов: **восхотѣти, желати** (с индексами «а», «б», «в», «г»), **велѣти, повелѣти, изволити** (с индексом «а»). В зависимости от выражаемых значений данная группа может быть подразделена на две подгруппы:

I. Первая подгруппа объединяет глаголы, выражающие ментальные акты кореферентные им, контролируемые и не контролируемые субъектом. В эту подгруппу входят глаголы: **восхотѣти, желати** «а», «б», «в», **изволити** «а». В глалоле **восхотѣти** приставка «воз-» (первичное значение которой указывает на движение вверх) придает указанной словоформе оттенок возрастающей интенсивности. Церковнославянское происхождение приставки помечает слово высокой стилистической окраской. Глагол **восхотѣти** не употребляется в тексте публицистического жанра, он используется автором повествовательного текста при обсуждении проблем морали:

11. А нынѣ понеже патриарх **восхотѣлъ еси** волю земнаго царя творити, а небеснаго царя и содѣтеля своего презрелъ еси (П.о б.М. 470)

12. Они же видѣша мужество ея непреклонное и не могуще ея препрѣти и **восхотѣша** ю поне си устрашити (П.о б.М. 470)

В глаголе **изволити** «а» приставка «из-» (первичное значение которой — движение изнутри) означает, что ментальный акт берется из глубины сознания, и включает в себя значение семантической нагрузки интенсивности процесса:

13. Мати же и в семъ паки видя вѣру ея велию и усердие многое и непреложный разум, **изволи** быти сему (П.о б.М. 459)

14. Она же, аще и многи скорби приимаше, обаче благочестия ни единымъ же образом отступити не хотяше, но и умрети о правдѣ **изволяше** (П.о б.М. 456).

В глаголе **желати** значение желательности выражается инфинитивными конструкциями (**желати** «а», «б»):

15. ...сие ми преславно, понеже сее чести не насладихся никогда же и **желаю** таковаго дара от Христа получити (П.о б.М. 474)

16. Тии бо зѣло блаженную ненавидяху, и **желающе** ю всячески, яко сыроядцы, живу пожрети (П.о б.М. 460)

Наличие родительного падежа с этим же глаголом придает объекту желания значение кореферентности, определенности: именное сочетание, которое является выразителем желания, конкретизирует основное значение дополнением оттенка «достижения цели объектом» (**желание** «в»):

17. Она же зѣло распалающиися любовию божиею и зѣлно **желаше** несытною любовию иноческаго образа и жития (П.о б.М. 459)

18. Феодосия же начатъ мыслию на болшая простиратися, **желая** зѣло аггельскаго образа (П. о б. М. 458)

Признак интенсивной волитивности глагола **желати** (см. примеры 16–18) подчеркивается лексическими единицами количественного значения: всячески (см. предложение 16), зѣлно (см. предложение 17), зѣло (см. пример 18). Указанные значения выражаются синтаксической схемой: х-желать, х1-делать.

II. Отличительную особенность глаголов второй подгруппы составляет значение «сильного желания-воли-приказа». В эту группу входят глаголы: **желати** «г», **велѣти**, **повелѣти**. Синтаксическая схема этих предложений может быть представлена следующим образом: х-желать/велеть, у-делать. Объект желания и объект приказа относятся к не зависящему от субъекта лицу, которое является субъектом второго глагола. При приказе субъ-

ект выражает свою волю, которую кто-то должен выполнить. В частности, пример 19 интересен тем, что используемое автором выражение «хотехъ хотением» является синонимичным словоформе **желах**:

19. И бѣхъ обоимъ содержима лучшего прося, **и хотѣхъ хотѣнием, желах**, еже еще ей с нами пожити... (П.о б.М. 428)

20. А когда случитца быти опочивати имъ вмѣсте, и в то время царь по царицу посылает, **велитъ** быть к себѣ спати, или сам к ней **похочетъ** быть (Котошихин 264)

В примере 20 видна разница между глаголами **велитъ** и **похочетъ:** царь **велитъ**, отдает приказ адресату-царице, которая должна подчиниться его воле, и **похочет** по отношению к самому себе. В предложении 21 глаголы **велѣти**, **повелѣти** и **хотѣти** используются автором для характеристики разных видов субъекта: более авторитетный человек — архимандрит имеет право **велѣти** (давать приказ кому-л.), а менее авторитетный человек — грешный монах может только выразить свою волю, т. е. **хотѣти.**

21. А ты, святый отецъ наш Илья, архимарит соловецкой (...) явился мнѣ и **велѣлъ** мнѣ книги писать на обличение царя (...) А нынѣ мя царь (...) утомилъ зѣло (...) и в темницу **повелѣ** мя ринути немилостиво (...). Аз же, грѣшный, **хотѣх** рукою моею удержати руку богородичну (Ж. Е. 327)

2.3. Третья группа представлена одним глаголом **хотѣти** (с индексом «а») и характеризуется признаком слабой волитивности. Глагол **хотѣти** обозначает намерение, готовность субъекта реализовать выбранное им действие. Глагол в форме инфинитива, выражающий контролируемое субъектом действие, является кореферентным глаголу волеизъявления:

22. И господинъ дому своего отвѣщает, что он рад ихъ приѣзду и **хочет** с ними дѣлать зговорное дѣло (Котошихин 278)

23. А другой бѣсъ прямо дверей стоитъ в велице ужасѣ и **хощет** вонъ бѣжать ис кѣлии, да не может (Ж. Е. 315)

2.4. Четвертая группа также представлена одним глаголом **хотѣти** (с индексом «в»), который характеризуется отсутствием признака волитивности. Функция глагола в этом случае сводится к использованию его в качестве вспомогательного глагола при образовании предиката будущего времени (см. пример 24). Гла-

гол в инфинитиве кореферентен глаголу **хотѣти** и обозначает действие, которое происходит в будущем:

24. И нача с боляры своими совет творити о ней, чти ей **хощет** сотворити (П. о б.М. 460)

Глагол **хотѣти** во всех обнаруженных случаях его использования (т.е. с индексами «а», «б», «в») имеет значение объекта, действие которого не соотносится с актом речи (см. примеры 25, 26, а также 3, 6, 21, 22, 23):

25. И после того зговору жених провѣдает про тое невѣсту, или кто с стороны, **хотя** тоѣ невѣсту взять за себя или за сына, нарочно тому жениху разобьетъ, что она в дѣвствѣ своемъ не чиста... (Котошихин 279)

26. И митрополит Крутицкой протягъ руку, единою поддержа патриарха, а тою **хотя** приподняти треуха, иже на главѣ блаженныя (П. о б.М. 470)

В предложениях, в которых встречается глагол **хотѣти** «в», временной элемент является преобладающим в значении глагола, хотя частично реализует основные значения «хотения и/или желания» глагола **хотѣти**. В примере 24 царь советуется по поводу того, как ему следует поступить с боярыней Морозовой. Самое главное — это не то, что будет сейчас, а в будущем, более или менее близком к настоящему.

Сопоставление полученных значений глаголов волеизъявления по памятникам русской письменности XVII века с семантикой глагольной лексемы со значением «желания» в современном русском языке позволяет говорить о наличии сходства в ряде значений в языковом материале достаточно отдаленных друг от друга периодов времени. По предварительным наблюдениям, к таким данным можно отнести отмечаемые исследователями стилистическую нейтральность глагола **хотеть**, что обеспечивается присутствием в его семантической структуре компонентов «воли» и «целенаправленности», модальные глагольные лексемы, выражающие действия, которые относятся к действиям говорящего (в терминологии данной работы — ситуация совпадения понятий «субъекта» и «адресата»). Предварительный вывод предполагает необходимость проведения дальнейших исследований в данной области (при уточнении многих параметров: содержательной структуры используемых в работах терминов,

ния, признаков формальной организации лексических единиц, участвующих в создании семантической структуры) с целью получения объективного представления по вопросу случайности/неслучайности наблюдаемого совпадения значений.

Таблица

Семантико-синтаксические структуры глаголов волеизъявления

Глагол	подгруппы	Глагольные синтагмы	Отношения между субъектом и адресатом	Синтаксическая структура	Степень волитивности	Значение
хотѣти	а	глагол в инфинитиве	контролируемое действие	(х хотеть x1 делать)	+ –	намерение готовность
	б	глагол в инфинитиве	неконтролируемое действие	(х хотеть x1 делать)	+	желание
	в	глагол в инфинитиве	контролируемое действие	(х делать в будущем)	–	будущее действие
восхотѣти		глагол в инфинитиве	контролируемое действие	(х хотеть x1 делать)	+ +	сильное желание
похотѣти		глагол в инфинитиве	контролируемое действие	(х хотеть x1 делать)	+	хотение намерение
желати	а	глагол в инфинитиве	контролируемое действие	(х желать x1 делать)	+ +	желание стремление оценка
	б	глагол в инфинитиве	неконтролируемое действие	(х желать x1 делать)	+ +	желание оценка
	в	имя в род. падеже		(х желать определенного объекта)	+ +	желание стремление оценка
	г	подчиненное предложение	неконтролируемое действие	(х желать у делать)	+ +	желание оценка
велѣти		глагол в инфинитиве	неконтролируемое действие	(х велеть у делать)	+ +	воля приказ
повелѣти		глагол в инфинитиве	неконтролируемое действие	(х велеть у делать)	+ +	воля приказ
изволити	а	глагол в инфинитиве	неконтролируемое действие	(х велеть x1 делать)	+ +	желание решение оценка
	б	глагол в инфинитиве	контролируемое действие	(х велеть x1 делать)	+	вежливость учтивость

Литература

Арутюнова Н. Д. *Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт.* Москва: Наука, 1988.

Арутюнова Н. Д. (отв. ред.). *Логический анализ языка.* Москва: Наука, 1989 и след.

Бондарко А. В. (отв. ред.). *Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность.* Ленинград: Наука, 1990.

Ваулина С. С. *Эволюция средств выражения в русском языке (XI–XVII вв.)*, Ленинград: Изд. Ленинградского университета, 1987.

Зализняк Анна А. *Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния.* Slavistische Beiträge, Band 298. München: Verlag Otto Sagner, 1992.

Шатуновский И. В. *«Пропозициональные установки: воля и желание»*, в Арутюнова (отв. ред.), 1989: 155–185.

Шатуновский И. В. *«Аномалия и отрицание»*, в Арутюнова (отв. ред.), 1990: 71–83.

Sbisà M. (a cura di). *Gli atti linguistici. Aspetti e problemi di filosofia del linguaggio.* Milano: Feltrinelli, 1993.

Searle John R. *Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio.* Torino: Bollati, 1992.

Searle John R. «Per una tassonomia degli atti illocutori», in Sbisà (a cura di), 1993: 168–198.

Vendler Z. «Di ciò che pensi», in Sbisà (a cura di), 1993: 143–167.

H. Keipert (Bonn)

РУКА — РУЧНОЙ — РУЧАТЬСЯ. Zur Alternationslehre in den Grammatiken des Russischen vor Lomonosov

1. Mit dem Erscheinen der ersten für Russen gedruckten Russisch-Grammatik stellt das Jahr 1757 in den Annalen der russischen Sprachgeschichte ein besonderes Datum dar: Lomonosovs «Rossijskaja grammatika» gilt im Fach als ein so grundlegender Neuanfang, daß man alle vorausgegangenen Bemühungen um die Beschreibung der russischen Sprache unter dem Stichwort «Russistik vor Lomonosov» (dolomonosovskij period rusistiki) faktisch auf dieses epochale Ereignis bezieht. Das Gewicht dieses «Vorlaufs» ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten insofern spürbar gewachsen, als zahlreiche mehr oder weniger vollständige handschriftliche Grammatiken des Russischen aus der ersten Hälfte des 18. Jh. gefunden, wiederentdeckt oder neu erschlossen worden sind (vgl. die Übersichten bei Uspenskij 1992 oder Babaeva–Zapol'skaja 1993). Einige dieser Grammatiktexte zeigen untereinander so auffällige Gemeinsamkeiten, daß man in ihnen die Repräsentanten einer durchgehenden grammatikographischen Tradition sehen kann, einer Tradition zudem, deren Ausläufer noch bei Lomonosov und seinen Nachfolgern zu erkennen sind. Für den Jubilar ist dabei vielleicht vor allem diejenige Traditionslinie von Interesse, in der sich die Vorstellung vom morphologisch bedingten Laut- bzw. Buchstabenwechsel (vgl. Zaliznjak 1967. S. 235–246) ausgebildet hat. Bei Lomonosov tritt dieser Gedanke am prägnantesten im Begriff der veränderlichen Konsonanten zutage, den er in § 95 seiner Grammatik entwickelt:

> Согласные буквы *г, ж, к, х, ц, ч, ш* называются ***изменяемыми***, затем что в произведениях и спряжениях изменениям подвержены: *Бог, Божество, божусь; вижу, видишь, видѣнъ; рука, ручной,*

ручаюсь; духъ, душу, душистъ; конецъ, кончаюсь, конечной; шучу, шутишь, шутка; гашу, гасишь, угасъ. (Lomonosov 1952. S. 424).

Obwohl in Rußland derartige Begriffsbestimmungen gern auf die Lehrbücher des Kirchenslavischen zurückgeführt werden und eine ähnliche Definition in der Tat bei Smotryc'kyj zu finden ist (vgl. Uspenskij 1975. S. 182), bestehen doch auch auffällige Unterschiede: während der verwendete Terminus und die – in die alphabetische Folge gebrachte – Reihe der betroffenen Konsonanten(buchstaben) auf das «Sintagma» zurückzugehen scheinen, passen die Vernachlässigung der Nominalflexion, die Einbeziehung der Wortbildung und damit auch die Wahl der Beispiele nicht dazu. Mit den folgenden Bemerkungen soll den Gründen für diese Divergenz nachgegangen werden.

2. Zunächst ist allerdings in Erinnerung zu bringen, wie dieser Teil der Alternationslehre des Slavischen in den Grammatiken des Kirchenslavischen behandelt wird.

2.1. Wie schon angedeutet, hat Smotryc'kyi im «Orthographia»-Teil seines Lehrwerkes bei der weiteren Klassifikation der Konsonanten die erwähnten sieben, nämlich **г, к, χ, ц, ж, ч, ш** zu einer **ѝꙁмѣнѧ́емаѧ** (**согла́снаѧ**) genannten Gruppe zusammengefaßt. Motiviert ist diese Bezeichnung durch die Veränderung dieser Konsonanten in Formenparadigmen:

a) der Deklination bei **г, к, χ**:

дрꙋгъ	**дрꙋ́ꙁѣ**	**дрꙋ́ꙁе҃х**	**дрꙋ́ꙁи**	**дрꙋ́же**
ч҃лкъ	**цѣ**	**це҃х**	**ци**	**ч҃лче**
дꙋ́χъ	**сѣ**	**се҃х**	**си**	**дꙋ́ше**

b) der Deklination bei **ц**:

ѽте҃ц	:	**ѿ҃че**
а҃гнецъ	:	**а҃гнче**

c) der Konjugation der Verben auf **гꙋ, жꙋ, кꙋ, чꙋ, шꙋ**:

могꙋ̀	:	**мо́жеши**
ви́жꙋ	:	**диши**
текꙋ	:	**тече́ши**
молочꙋ̀	:	**ти́ши**
прошꙋ̀	:	**сиши**

Aus der Tatsache, daß **ꙁ, с, д** und **т** (die als Alternanten vorkommen) als Elemente dieser Klasse nicht aufgezählt sind, ergibt sich, daß Smo-

tryc'kyj bei derartigen Lautwechseln die Form des N. Sg. bzw. der 1. P. Sg. Praes. als primär angesehen hat – Dobrovský wird ihm deshalb vorwerfen, daß er z. T. *mutabiles* und *transformatae* (d. h. genetisch primäre und sekundäre) verwechselt habe (Dobrovský 1822. S. 40). An den entsprechenden Stellen in der «Etymologia» wird bei der Darstellung der Deklination und Konjugation nochmals auf diese Veränderungsfälle hingewiesen (vgl. Smotryc'kyj 1619. Bl. **Дєᵛ-Дѕ** und **Гζᵛ**, **Єг**; **Рѕ**, **Тв-Тгᵛ**). In der zitierten Übersicht offenbar übersehen ist die Nutzung alternierender Konsonanten in der Komparation (vgl. Bl. **Вє**, wo im übrigen auch **д** als *mutabilis* hätte erkannt werden können).

2.2. Die Lehre von den **изменѧемаѧ согласнаѧ**, die Kociuba (1975. S. 117) als Neuerung Smotryc'kyjs wertet, bleibt in der Moskauer Ausgabe der Grammatik wie in Polikarpovs Bearbeitung erhalten (1648. Bl. 49v bzw. 1721 Bl. 4v); Maksimovs «Grammatika slavenskaja» von 1723 hat dagegen den Orthographie-Teil stark verkürzt und dabei die weitere Klassifikation der Konsonanten wegfallen lassen.

2.3. In seiner in der Mitte der zwanziger Jahre des 18. Jh. zur Ergänzung des Kirchenslavisch-Unterrichts verfaßten «Technologija» hat Polikarpov darauf aufmerksam gemacht, daß sich Kirchenslavisch und Russisch u. a. dadurch unterscheiden, daß letzterem die Alternationen *г : з*, *к : ц*, und *х : с* in der Formenbildung des Nomens fehlen (vgl. Uspenskij 1987. S. 342; 1992. S. 115) – eine Feststellung, die im Prinzip (wenn auch aus anderer Perspektive) drei Jahrzehnte zuvor schon Ludolf getroffen hat.

3. Bereits 1696 hat der Verfasser der «Grammatica russica» in seiner die Darstellung eröffnenden Liste kirchenslavisch-russischer Divergenzen auch an die unterschiedlichen Alternationsverhältnisse gedacht und **рука : руцѣ**, **ѩзыкъ : ѩзыцы** der einen und **рука : рукѣ**, **ѩзыкъ : ѩзыки** der anderen Sprache zugewiesen. Anders als Smotryc'kyj hat er beim Verbum nicht nur den Lautwechsel innerhalb der Präsensformen, sondern auch und sogar in erster Linie die Unterschiede zwischen Infinitiv und Präsens beachtet, vgl. **ночевать: ночую: ночевалъ**; **сказать: скажу: сказалъ**; **грозитъ: грожу: грозилъ** (S. 29–33). Überhaupt ist Ludolfs Buch im Hinblick auf frühe morphonologische Überlegungen zum Russischen eine interessante Lektüre, denn es enthält u. a. eine erste verallgemeinernde Regel für die sog. mobilen Vokale, die man trotz entsprechender Paradigmen bei Smotryc'kyj (vgl. z. B. **ôтéць : ôтцà**, **сéрдце : сердéцъ** Bl. **Єє-Єѕ**) vergeblich sucht:

> Interdum ultima vocalis nominativi in casibus obliquis abjicitur ut ѡтецъ pater. ѿца patris [...] (S. 17).

Daß die ausdrückliche Erwähnung derartiger Lautwechsel sich in den ältesten Russisch-Grammatiken nicht von selbst versteht, belegt im Gegensatz dazu etwa die Glück-Grammatik von 1704, in der davon nicht eigens gesprochen wird (vgl. Keipert – Uspenskij – Živov 1994). Terminologisch verdient Beachtung, daß Ludolf das Alternieren von Lauten bzw. Buchstaben mit *mutare / mutari* bezeichnet, insbesondere aber, daß er über Smotryc'kyj hinausgehend den letztlich aus der Hebräisch-Grammatik stammenden Begriff des – sich verändernden – Radikals («Wurzel- bzw. Stammbuchstabe») einsetzt, wenn er sagt, daß in грозитъ gegenüber грожꙋ die *radicalis Infinitivi* (vgl. грозитъ) wiederkehre (S. 33). Möglicherweise kann man aus dieser Stelle sogar schließen, daß Ludolf das з des Infinitivs und der 3. P. Sg. Präs. für das Ursprüngliche und das ж in der 1. P. Sg. für sekundär gehalten hat; auch dadurch würde sich seine Beschreibung von der Smotryc'kyjs unterscheiden.

4. Vor diesem Hintergrund bedeutet es einen bemerkenswerten Schritt nach vorn, daß in der zwischen 1705 und 1729 entstandenen «Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Russischen Sprache» von J. W. Paus gerade den Alternationsbeziehungen zwischen den Buchstaben (bzw. Lauten) breiter Raum zugewiesen wird. In der Rückschau ist interessant, daß sogar Paus selbst die Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes als einen besonderen Vorzug seines Buches angegeben hat, denn 1732 schreibt er in seinem Bericht an die Petersburger Akademie, er habe darin

> «die doctrin *de mutatione literarum russicarum* erfunden als einen guten Grund wider die Anomalie, welches *ad exemplum Ebraeorum* in keiner slavonischen und russischen Grammatik jemals geschehen» und er «werde solches in [s]einer künftig zu edierenden und schon übergebenen slavono-russischen Sprachlehre mit vielen Exempeln beweislich machen» (Winter 1958. S. 755).

Leider ist die Paus-Grammatik bisher nicht adäquat ediert und ihr Inhalt außerhalb St. Petersburgs einstweilen nur nach dem in vieler Hinsicht unzureichenden Transkript des schwer zu lesenden Originals (bzw. der fragmentarisch erhaltenen Reinschrift) in der Dissertation von Michal'či (1969) sowie nach den Angaben in dessen Aufsätzen (1964; 1968) zu beurteilen. Selbst bei dieser eingeschränkten Kenntnis des

Textes läßt sich aber sagen, daß er für die weitere Entwicklung der Russisch-Grammatik vor Lomonosov grundlegend gewesen sein muß, weil spätere Kodifikationen offenbar auf manche seiner Neuerungen zurückgreifen. Die Alternationslehre ist für diese Art der Traditionsbildung ein sehr anschaulicher Fall.

4.1. Neu ist an der Konzeption der Laut- bzw. Buchstabenwechsel in der «Anweisung» vor allem, daß Paus nicht nur das Formenparadigma des einzelnen Wortes in Deklination, Komparation oder Konjugation beachtet, sondern auch die Veränderungen bei Ableitungen, d. h. die zugehörige Wortfamilie, berücksichtigt. Nicht zufällig findet sich gleich zu Beginn unter den methodischen Hinweisen zum erfolgreichen Sprachenlernen der eindringliche Rat, daß man sich «erstlich Simplicia und hernach Composita» aneignen solle (S. 45 Bl. 7), denn dieses Prinzip entspricht durchaus der Anlage und Verwendung des von Paus schon 1704 lebhaft empfohlenen «Liber memorialis» des Chr. Cellarius (vgl. Keipert 1987. S. 297–300) und steht auch völlig in Einklang mit der für Paus konstatierten engen Anlehnung an die «Ausführliche Arbeit von der Teutschen HaubtSprache» J. G. Schottels (vgl. Michal'či 1964. S. 53, 56), deren Bedeutung heute nicht zuletzt in der eingehenden Systematisierung der deutschen Wortbildung gesehen wird.

4.2. Während Paus bei den Vokalen nicht zusammenfassend beschreibt, «wie die vocales sich unter einander insgemein verwandeln», sondern dazu auf die Einzelbesprechung verweist (S. 74. Bl. 17a), hat er bei den Konsonanten einen eigenen Abschnitt («11. Welche Consonantes sind denn Mutabiles oder Variabiles?») vorgesehen. Mit *г, к, х, ц, ж, ч, ш* und *щ* (!) werden zwar fast dieselben Buchstaben wie bei Smotryc'kyj genannt, doch ist die Exemplifizierung eine etwas andere, weil auch Steigerungsformen der Adjektive und suffixale Ableitungen unter den Alternationsbeispielen auftreten, vgl. etwa zu *г, к, х*:

дорого «theuer», *дороже* «theurer»; *книга* «ein Buch», *книжица* «ein Büchlein»; *могу* «ich kann», *можешь* «du [kannst]» u. ä.;
рука «die Hand», *ручка* «das Händgen»; *крѣпко* «stark», *крѣпче* «stärker»; *теку* «ich laufe», *течешь*, inf. *течи*; *члвкъ* «der Mensch», Voc.: *члвче, члвчески* «menschl[ich]» u. ä.;
потѣха «plaisir», *утѣшно*, -аю; *грѣхъ* «die Sünde», Voc.: *о грѣше* «o du Sünde» u. ä. (S. 76f. Bl. 17v–18).

Fälle aus Komparation und Wortbildung gibt es auch bei den weiter genannten Lautwechseln, also bei *ж / д* neben *вижу* «ich sehe», *видишь*

«du siehest» auch *велблюдъ* «ein Camel», *велблюжіи* «von Camel, camelinus» oder bei *ж / з* neben *вяжу* «ich binde», *вязалъ* «ich hab gebunden» auch *близко* «nah», *ближѣ* [...] «näher», *ближайшіи* «der nechste» (S. 77. Bl. 18). Der in Smotryc'kyjs Übersicht nicht genannte Wechsel *щ / ст* ist vertreten durch *возвѣщу*, *с̃титъ* (ebd.). Beachtung verdient, daß Paus bei dieser zweiten Gruppe nicht sicher zu sein scheint, welche der Alternanten die primäre ist («promiscue mutantur», ebd.). Im übrigen wird der Leser hier auf die zahlreichen Beispiele bei der nachfolgenden Besprechung der einzelnen Wortarten verwiesen und darauf aufmerksam gemacht, daß diese Alternationsregeln ihn «mancher anomalie überheben u[nd] nicht ohnnöthiger Weise anomala fingiren» lassen, zumal derartige Verwandlung mehr oder weniger häufig auch «im Teutschen [...] und in allen and[eren] Sprachen» vorkomme, vgl. *Schreiben / schrifft* (S. 78. Bl. 18). Das Endstück dieser allgemeinen Darlegungen zu den Lautwechseln findet sich auch in dem anonym überlieferten, von K. Günther identifizierten Fragment der Reinschrift der Paus-Grammatik wieder (vgl. Michal'či 1968 [Text in russischer Übersetzung]; 1969. S. 16, 724 ff.), auf deren weiteres Schicksal unten noch einzugehen ist.

4.3. Einen unmittelbaren Nutzen seiner Alternationslehre sieht Paus bereits in der Orthographie: «Bey Schreibung eines jeglichen Worts muß man auf das Primitivum und Simplex sehen u[nd] nach der Natur u[nd] Analogie der Sprache schreiben. [...] Man muß wohl urtheilen, welche literae eine Verwandschaft miteinander haben, wie sie sich mit einander verwechseln, wie zuvor erinnert [...]. Wenn nun jemand zweifelt, wie dieß oder jenes Wort zu schreiben, so kann er sich nicht beßer helfen, als daß er nach dem Ursprung sehe» (S. 83. Bl. 19v–20). Wie dieses wohl nach dem Muster des Deutschen eingeführte Prinzip bei den auch hier genannten Wechseln *г/ж, х/с, к/ч, ш/с* usw. praktisch anzuwenden ist, hat Paus freilich nicht erläutert.

4.4. Wie bei Smotryc'kyj wird bei der Beschreibung der Komparation an die Consonantes mutabiles erinnert, zugleich aber auch berücksichtigt, daß das (mobile) *е* bzw. *й* sowie einige weitere Konsonanten der Positivform in den Steigerungsformen fehlen können und Adjektive wie *широкъ, глубокъ, далекъ* ihren Stamm verkürzen (S. 124. Bl. 35). Die zugehörigen Beleglisten folgen in der Handschrift erst in einigem Abstand (S. 128–132. Bl. 37–39).

4.5. Im Abschnitt über die Deklination der Nomina hat Paus zu erwähnen, daß die Alternation im Stammauslaut (wie seit Ludolf

bekannt) eher für das Kirchenslavische als für das Russische charakteristisch ist (vgl. S. 94. Bl. 24, S. 148. Bl. 44v / S. 150. Bl. 45v); auch die Lautwechsel in Vokativen des Typs *друже, отче, жениuе* wertet er eher als kirchenslavisch, denn «im Rußischen wird dieß nicht allezeit observirt» (S. 158. Bl. 48v). Darüber hinaus kann er auf die im N. Sg. und G. Pl. einiger Substantivparadigmen auftretenden mobilen Vokale *e* und *o* hinweisen, also auf Fälle wie *левъ / лва, лесть / лсти* (S. 147. Bl. 44v), *земля / земель, дѣвка / дѣвок, лейка / леекъ* (S. 150. Bl. 45v), *мѣтло / мѣтелъ, сукно / суконъ* (S. 167. Bl. 51v); vor einer längeren Reihe von Beispielen aus der zweiten Deklination (Masculina) bemerkt er, daß «gewiße Nomina [...] in allen Casibus obliquis, ja auch im Nom. u[nd] Voc. Dual. u[nd] Plur. einen Vocalem auswerfen, gleich als wollten sie nur ihre litteras radicales behalten» (S. 157. Bl. 43), beschreibt also wie wohl schon Ludolf diese Schwundalternation «ad exemplum Ebraeorum». Behandelt wird darüber hinaus u. a. die Stammverkürzung bei den Singulativa auf *-инъ* (S. 160f. Bl. 49); ferner die *-es-* Erweiterung bei ehemaligen *s*-Stämmen, obwohl «die Rußen [...] sich solcher eingerückten Sylben selten [gebrauchen]» (S. 162. Bl. 50). Auf die nur zu orthographischen Zwecken genutzten Vocales cognatae (vgl. S. 145f. Bl. 44) muß hier nicht eingegangen werden.

4.6. Die Kapitel, die Paus über Ableitung und Komposition geschrieben hat, sind mit Recht als besonders bemerkenswert hervorgehoben worden, weil in ihnen der erste Versuch einer Darstellung der russischen Wortbildung gesehen werden darf (Michal'či 1964. S. 56, vgl. 1969. S. 199. Bl. 65 – S. 254 Bl. 89v). Obwohl Paus hier immer wieder Ableitungen nennt, in denen auch Lautwechsel auftreten, ist von der Veränderung im Vokalismus und Konsonantismus der Stämme ausdrücklich nur überraschend selten die Rede. Z. B. wird bei den Diminutiva auf *-к(а)* hinzugefügt, «daß auch die Consonantes manchmahl verändert werden». (S. 213. Bl. 71), was Belege wie *телѣжка* «Wägelgen», *птичка* «Vögelgen», *ручка* «ein Händgen» veranschaulichen (S. 214. Bl. 71v). Auch bei den Adjektivableitungen hebt Paus eigens einige Bildungen mit mutationes hervor: *бжiи, досужно, дружлив, прежно, пасушно* [st. *пазушно* ?], *утѣшно, вѣчно, члвческо, ꙗзыческо* (S. 228. Bl. 77v). Auch wenn Paus – zeitgemäßen Überlegungen folgend – darüber nachdenkt, wieviele Silben oder litterae radicales Primitiva haben können (S. 200. Bl. 65v), hat er die alternierenden Konsonanten in der Wortbildung nicht weiter in primäre und sekundäre eingeteilt.

4.7. Der begrenzte Umfang dieses Beitrags gestattet es leider nicht, auch noch die Beschreibung der Lautwechsel in der Morphologie des Verbums bei Paus einzubeziehen (vgl. Michal'či 1969. S. 267–370); aus demselben Grund konnte die Materialfülle in der hier allein vorgestellten Formen- und Wortbildung des Nomens nur in knapper Andeutung erscheinen. Überhaupt dürfte es zweckmäßig sein, vor der vollständigen Auswertung der langen Beleglisten bei Paus eine zuverlässige Ausgabe dieser Grammatik-Handschrift abzuwarten. Allerdings steht schon jetzt fest, daß die in der «Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-russischen Sprache» niedergelegten Gedanken zu den Lautwechseln im Russischen aufgegriffen und weiterentwickelt worden sind.

5. Fortgeführt wird die über Smotryc'kyjs Angaben hinaus in die Wortbildung erweiterte Alternationslehre der Paus-Grammatik gewissermaßen in zwei Traditionslinien: einerseits durch das «Compendium Grammaticae Russicae» von 1731, an das sich eng die im gleichen Jahr in St. Petersburg gedruckten «Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache» anlehnen, zum anderen durch die sog. «pervaja russkaja grammatika na rodnom jazyke» vom Ende der dreißiger Jahre bzw. die ihr sehr ähnelnde schwedische Russisch-Grammatik von M. Groening aus dem Jahre 1750.

5.1. Die 1988 in St. Petersburg wiedergefundene Handschrift des anonymen «Compendium Grammaticae Russicae» aus der ersten Hälfte des Jahres 1731 ist bisher nicht ediert (vgl. Keipert 1992); bei ihrer noch ausstehenden wissenschaftlichen Würdigung wird zu berücksichtigen sein, daß zu ihren Quellen offenbar auch die «Anweisung» von Paus gehörte und letzterer sich anscheinend zu Recht darüber beschwert hat, «daß etliche diese meiner Arbeit sich angemaßet und zugeeignet» hätten (Winter 1958. S. 759). Was man im «Compendium» über die Alternationen liest, belegt diese Abhängigkeit sehr einleuchtend. Einmal enthält dieses zweiteilige Grammatikfragment in seiner vollständig erhaltenen «Orthographia» einen Abschnitt IX mit Ausführungen darüber, daß «etliche Buchstaben [...] mutabiles et variabiles [seien], weil sie sich mit anderen verwechseln und verändern lassen», d. h. eine offensichtlich der «Anweisung» entlehnte Liste alternierender Buchstaben bzw. Laute und zugehöriger Beispiele (aus Deklination, Konjugation, Komparation und Wortbildung!) sowie den zusammenfassenden Hinweis, daß der Nutzen dieser Alternationslehre «durch die gantze Grammatic [...], sonderlich aber in formatione derivatorum» zu spüren, dennoch aber «diese Verwandelung nicht als

was fremdes, seltsames und besonders in dieser Sprache» anzusehen sei, «denn es geschieht solches oft und viel in der Teutschen und Lateinischen Sprache, als: *ich schreibe, ich schrieb, die Schrift, scribo, scripsi, scriptum* [...] (I, S. 28–29). Da der «Etymologia»-Teil dieser Handschrift vor der Adjektiv-Deklination abbricht, läßt sich nur für das Erhaltene prüfen, inwieweit die Alternationen entsprechend der Ankündigung bei den Declinationes und Conjugationes weiter beschrieben werden. Wie nicht anders zu erwarten, zeigt das russische Nomen substantivum nur wenige einschlägige Fälle, da die Vokativbildung des Typs *Богъ / Боже, отецъ / отче* nur «einige Wörter im Slavonischen, welche bei den Rußen usu recipirt sind», betrifft (II, S. 27) und Oppositionen wie *другъ / друзья* (II, S. 48) oder *око / очи, ухо / уши* (II, S. 46f) seltene Ausnahmen darstellen; so gibt es nur bei der Komparation der Adjektive einen Hinweis auf die «Consonantes mutabiles [...], die müssen verwandelt werden» (II, S. 23). Sicher auf das Vorbild von Paus zurückzuführen ist im übrigen die Tatsache, daß das Auftreten mobiler *o* und *e* in der maskulinen Kurzform von Adjektiven (II, S. 22), im N. Sg. von Masculina (II, S. 33) und im G. Pl. (II, S. 36f) eigens erwähnt und mit Beispielen aus der «Anweisung» belegt wird.

5.2. Die gewöhnlich V. E. Adodurov zugeschriebenen «Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache» (vgl. Unbegaun 1969) sind allem Anschein nach in enger Anlehnung an die Petersburger Handschrift des «Compendium» geschrieben worden, weil sie – wie an den Kategorien Genus und Motio gezeigt werden konnte (vgl. Keipert 1992; 1995) – sogar Bezug auf die dort zu lesenden Marginalnotizen nehmen. Die Alternationslehre bestätigt dieses Abhängigkeitsverhältnis. Zwar fehlt im ersten, die Orthographie behandelnden Kapitel (S. 3–9) jede Spur einer zusammenfassenden Übersicht, wie sie bei Smotryc'kyj, bei Paus und auch im «Compendium» die veränderlichen Buchstaben benennt und exemplifiziert, aber das könnte daran liegen, daß eine glossierende Hand den betreffenden Abschnitt des «Compendium» mit dem Vermerk «gehört zur Etymologia» versehen hat (I, S. 28) und der Bearbeiter der «Anfangs-Gründe» diesem Hinweis (wie manchen anderen auch) gefolgt ist. Dagegen findet man in den der Nominalflexion gewidmeten Kapiteln II und III (S. 9–34) durchaus dieselben Alternationsprobleme wie im «Compendium» beschrieben, also die Konsonantenwechsel bei der Komparation (S. 12), im «slavonischen» oder «die Slavonier nachahmen[den]» Vokativ (S. 13), bei другъ, око, ухо (S. 20f.) sowie die – hier *vocales intermediae* genannten – mobilen Vokale *e* und *o* im N. Sg. (S. 19, 23, 26), G. Pl. (S. 14f., 20) bestimmter Substantive und in

der maskulinen Kurzform bestimmter Adjektive (S. 28). Durch die reichlich angeführten Wortbelege entsteht zudem über das «Compendium» hinaus eine sehr enge Rückbindung an die Beispiellisten der «Anweisung» und das läßt sicher noch besser verstehen, weshalb Paus 1732 darüber Klage führt, daß andere sich seine Arbeit angeeignet hätten, während er selbst die neuen Prinzipien seiner Grammatik, «diese sechs besondere Lehrstücke, darinnen viele andere Regeln und Analogien begriffen, [...] von keinem andern entlehnet oder erschlichen» habe (Winter 1958. S. 761). Einer der entscheidenden Ansatzpunkte für Kritik an den «Anfangs-Gründen» ist im übrigen der «Hauptmangel, der sich in die Hauptlehre der verborum erstrecket, denn in denenselben kömmt oft vor, daß sich ein Buchstab in den anderen verändert; wie aber und warum, hat dieser Autor ganz nichts von [...]» (Winter 1958. S. 762). Wie bekannt, enthält das Verb-Kapitel der «Anfangs-Gründe» (S. 37–44) so gut wie keine Hinweise auf die vielfältigen Möglichkeiten der Stammbildung im Russischen, und es ist nicht verwunderlich, daß Paus das als Rückschritt empfunden hat.

5.3. Der vor einigen Jahren im Stockholmer Reichsarchiv gefundene anonyme und undatierte Einblattdruck einer russischen Paradigmatik (vgl. Ďurovič–Sjöberg 1987) beschreibt von den morphonologischen Phänomenen des Russischen zwar nur die Schwundalternationen mit *o* und *e* im G. Pl. bzw. N. Sg. von Substantiven, aber die Art der Beschreibung und vor allem auch die illustrierenden Beispiele (**дѣвка / дѣвок, ꙁемлѧ / ꙁемелъ** (sic!) bzw. **отецъ / отца**) weisen über die «Anfangs-Gründe» hinaus so klar auf Paus und Ludolf zurück, daß man diesen Text kaum anders als *nach* 1731 datieren kann (vgl. Ďurovič–Sjöberg 1987. S. 262 und Ďurovič 1992. S. 194–195 und die Umdatierung von 1706–1707 auf 1737–1745 bei Uspenskij 1992. S. 91–93). Die spätere Entstehung und eine engere Beziehung zu Halle machen zudem besser verständlich, daß diese Alternationsregeln auch in den 1745 entstandenen handschriftlichen «Rudimenta Lingua Russicae» von J. Chr. Stahl einen Niederschlag finden (vgl. Ďurovič 1994. S. 190–191).

5.4. Wie das Vorwort zum sog. Weismannschen Wörterbuch von 1731 andeuten könnte, ist an der Behebung des von Paus hervorgehobenen Hauptmangels in der morphonologischen Beschreibung des Verbums damals «auch schon würcklich gearbeitet» worden (vgl. Scholz–Freidhof 1982); jedenfalls lassen sich die von Uspenskij gefundene erste Russisch-Grammatik in russischer Sprache vom Ende der dreißiger Jahre (Uspenskij 1975) und die vielen als deren bloße

Übersetzung ins Schwedische geltende Russisch-Grammatik von Groening (1750, vgl. Unbegaun 1969) im Sinne einer solchen Weiterentwicklung deuten. Die auffälligste Veränderung des Verbkapitels gegenüber dem Druck von 1731 besteht sicher darin, daß Groening an die Paradigmen der Hilfsverben *быть* und *имѣть*, der ersten und zweiten Konjugation (*дѣлать* und *хвалить*) sowie des Irregulare *ѣсть* eine Liste von Verben anfügt, die, ausgehend von der Form der 1. P. Sg. Praes., nicht nur die Zugehörigkeit zu den beiden Hauptkonjugationen, sondern auch die Unterschiede der beteiligten Stämme zeigen soll. Behandelt werden zunächst «Verba vocalia» (auf *-аю, -ѣю / -ею, -ою, -ью, -ую, -яю, -юю*), danach, in der Folge des Alphabets, Verben auf *-бу, -гу, -ду, -жу* usw. bis *-шу* und *-щу*, wobei für die Subklassifikation neben die 1. P. Sg. Praes. die maskuline Form des Praeteritums und der Infinitiv treten (Groening 1750. S. 141–146, 146–164). So zeigt *ж* in *-жу* folgende Teilklassen:

– invariantes *ж*:	*блажу,*	*блажилъ* (2)
	держу,	*держалъ* (2)
	ржу,	*ржалъ* (1)
– *ж / д*:	*блужу,*	*блудилъ* (2)
	гложу,	*глодалъ* (1)
	вижу,	*видѣлъ* (2)
– *ж / з*:	*вожу,*	*возилъ* (2)
	вяжу,	*вязалъ* (1)

– *брыжжу, брызгалъ* (1)
– *движу, двинулъ* (1)
– *ѣжжу, ѣздилъ* (2)

Aufmerksamkeit verdient nun, daß dieser Versuch einer die Alternationsverhältnisse nutzenden Systematisierung des Verbmaterials schon am Ende der dreißiger Jahre vorgelegen haben muß, weil der von Uspenskij entdeckte russische Text zwar keine Formenlehre («Etymologia») enthält, diese aber für die in der «Orthographia» gebotenen Informationen über die Alternationseigenschaften russischer Konsonantenbuchstaben bzw. -laute vorausgesetzt werden muß (vgl. Keipert 1988. S. 96), d. h. man liest bei Groening (1750. S. 19f.) wie in dem russischen Manuskript (Uspenskij 1975. S. 103) in § 42–43 über *ж*, daß es entweder gleichbleibt oder mit *д* oder mit *з* wechselt, und dazu die Belege, die sämtlich auch in Groening Verbliste stehen:

– *держу, множу, ворожу*
– *хожу, ходишь, ходилъ; вожу, водишь, водилъ*
– *рѣжу, рѣжешь, рѣзалъ; вожу, возишь, водилъ*

sowie als Ausnahme

– *движу*.

Hinter dem Ende der dreißiger Jahre geschriebenen russischen Grammatikfragment steht also eine morphonologische Durchmusterung insbesondere der Formen des Verbums, wie sie weder bei Smotryc'kyj noch bei Ludolf, Glück oder Paus oder gar in den Grammatiken von 1731 zu finden ist, aber ebensowenig läßt sich daran zweifeln, daß diese systematische Analyse ihre entscheidenden Anregungen von Paus erhalten hat, denn er hat zu sorgfältiger Beobachtung der Lautwechsel in Flexion und Derivation aufgefordert, um das Russische im Spannungsverhältnis von Anomalie und Analogie als eine möglichst regelmäßige Sprache erscheinen zu lassen. In langen Listen, die nicht nur mehr Verben enthalten, sondern über die drei genannten Kennformen (1. P. Sg. Praes., Maskulinum des Praeteritums und Infinitiv) hinaus noch Futurum und Indefinitum berücksichtigen, hat Paus auch die meisten der eben erwähnten Verben analysiert, nämlich *держу* (S. 342 Bl. 125; als Muster eines verbum immutabile S. 268 Bl. 95), *вижу* (unter *вижду* S. 341 Bl. 125, vgl. *вижу* S. 307 Bl. 110), *вожу / возилъ* (S. 341 Bl. 125), вяжу (S. 332 Bl. 121, vgl. auch das Paradigma S. 320ff.), *движу* (S. 332 Bl. 121v), *ѣжжу* (S. 354 Bl. 130), vgl. ferner für die zusätzlich bei Groening zitierten Verben *умножаю* (S. 338 Bl. 123v), *хожду* (S. 347 Bl. 127, vgl. *хожу* S. 307 Bl. 110), *рѣжу* (S. 344 Bl. 126). Trotz ihrer leider nur fragmentarischen Erhaltung belegt die Petersburger Handschrift des "Compendium Grammaticae Russicae", daß sie Paus auch in seiner Konzeption der Lautwechsel beim Verbum gefolgt ist, denn in ihrer "Orthographia" liest man im Abschnitt über die *litterae mutabiles et variabiles* als Alternationsbeispiele u. a.:

д	in *ж*	*родить / рожу*
ж	in *з*	*вяжу / вязалъ, рѣжу / рѣзалъ*
ж	in *д*	*вижу / видишь* (I, S. 28–29),

und in der "Etymologia" werden als Beispiele für das Phänomen der Anomalie die Verbformen *пишу / писалъ* und *ѣду / ѣхалъ* genannt (II, S. 5), die sicher nicht zufällig schon Paus hervorgehoben hat (S. 291 Bl. 103v, S. 300 Bl. 107v bzw. S. 354 Bl. 130), der hier als anonymer Glossator der Bewertung als Anomala ausdrücklich widerspricht. In der Beschreibung des russischen Verbums bei Groening, die der einzige gedruckte Zeuge dieser Überlieferung ist, lesen wir also eine stark vereinfachte Darstellung dessen, was Paus viel ausführlicher analysiert hat.

6. Im Lichte der Paus-Grammatik und der durch sie gebildeten Tradition gewinnt der eingangs zitierte § 95 der Lomonosov-Grammatik neue Konturen. Auch wenn Lomonosov sich an Smotryc'kyjs Buchstabenreihe und an seinen Terminus gehalten hat, ist die Einsicht, daß das eigentliche Feld der konsonantischen Alternationen die Wortbildung und das Verbum sind, von Paus und seinen unmittelbaren Nachfolgern erarbeitet worden, vgl. § 26–47 bei Groening (1750. S. 15–21) bzw. in Uspenskijs Manuskript (1975. S. 100–105). Verblüffend ist, daß Lomonosov nicht nur gedanklich, sondern z. T. auch mit seinen Beispielen (!) auf diese Vorläufer zurückzugreifen scheint:

– *Богъ, Божество, божусь* liest man schon seit Ende der dreißiger Jahre als *богъ, божество* (§ 32 Uspenskij 1975. S. 101; Groening 1750. S. 16); Lomonosov hat in dieser Reihe offenbar nur das Verb ergänzt;
– *вижу, видишь, видѣнъ* dürfte letzten Endes auf Smotryc'kyj zurückgehen;
– *рука, ручной, ручаюсь* findet sich als *рука, ручный, ручат(ь)ся* als dreigliedrige Beispielreihe von *к*-Alternanten bereits am Ende der dreißiger Jahre (§ 40 Uspenskij 1975. S. 102f.; Groening 1750. S. 18);
– *духъ, душу, душистъ* könnte durch das Wortbildungsbeispiel (!) *духъ / душа* (Uspenskij 1975. S. 101; Groening 1750. S. 16: § 32) angeregt sein.

Weniger deutlich ist die Abhängigkeit von der Tradition bei den verbleibenden Reihen: während zu *конецъ, кончаюсь, конечной* bisher kein Muster zu sehen ist, könnte man bei *шучу, шутишь, шутка* und *гашу, гасишь, угасъ* an Groenings Verbkataloge erinnern, in denen *шучу* und *гашу* verzeichnet sind (1750. S. 160 bzw. 162); nicht vergessen werden sollte dabei aber auch, daß Lomonosov für seine Grammatik selbst solche Verbreihen mit unterschiedlichen Alternanten zusammengestellt hat. Unabhängig davon kann es kaum ein Zufall sein, daß sich gerade die für die Wortbildungsalternationen gefundenen Beispiele *бог* mit *божество* und *рука* mit *ручной* und *ручаться* in der «Rossijskaja grammatika» wiederholen. Allem Anschein nach hat Lomonosov von der Russistik vor Lomonosov doch etwas mehr zur Kenntnis genommen, als man es bis jetzt noch für möglich hält. So führt von der «Nichtalternation» bei *рука : рукѣ*, die Ludolf 1696 offenbar in Opposition zum kirchenslavischen *рука*-Paradigma Smotryc'kyjs für das Russische konstatiert hat, über die mit einem Lautwechsel verbundene Wortbildungsbeziehung zwischen *рука* und *ручка*, wie sie Paus

aufgefallen ist, eine Tradition in die Grammatiken, die seit Ende der zwanziger Jahre von Mitarbeitern der Petersburger Akademie verfaßt worden sind. Das von ihnen gefundene Alternationsbeispiel рука, ручной, ручаться war so überzeugend, daß es, übernommen bei Lomonosov, auch auf Spätere wirken konnte, etwa auf Trubeckoj (vgl. *рука, ручной, ручка, рученька* bei Trubeckoj 1934. S. 68). Einmal mehr zeigt sich dabei, daß in unserem Fach nicht nur Konzepte, sondern auch Beispiele ihre Geschichte haben.

Zitierte Literatur

Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache 1731 – s. Unbegaun 1969.

Babaeva–Zapol'skaja 1993 – *E. Ė. Babaeva, N. N. Zapol'skaja.* Jazykovoj kontinuum Petrovskoj ėpochi: obzor grammatičeskich traktatov pervoj četverti XVIII v. // Issledovanija po slavjanskomu jazykoznaniju. Pamjati prof. G. A. Chaburgaeva. M., 1993. S. 188–206.

Compendium Grammaticae Russicae [Handschrift BAN F. N. 250, vgl. Keipert 1992].

Dobrovský 1822 – *J. Dobrovský.* Institutiones linguae slavicae dialecti veteris. Vindobonae, 1822.

Ďurovič-Sjöberg 1987 – *L. Ďurovič, A. Sjöberg.* Drevnejšij istočnik paradigmatiki sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka // Russian Linguistics. 11, 1987. S. 255–278.

Ďurovič 1992 – *L. Ďurovič.* Grammatika Akademičeskoj gimnazii // Dolomonosovskij period russkogo literaturnogo jazyka (Materialy konferencii na Fagerudde, 20–25 maja 1989 g.). Stockholm, 1992. S. 171–211.

Ďurovič 1994 – *L. Ďurovič.* Rudimenta Linguae Russicae by J. Chr. Stahl // Russian Linguistics. 18, 1994. S. 185–195.

Groening 1750 – s. Unbegaun 1969.

Keipert 1987 – *H. Keipert.* Cellarius in Rußland // Russian Linguistics. 11, 1987. S. 297–317.

Keipert 1992 – *H. Keipert.* Russkaja grammatika Martina Švanvitca 1731 g. (Predvaritel'nye zamečanija o rukopisi BAN F. N. 250) // Dolomonosovskij period russkogo literaturnogo jazyka (Materialy konferencii na Fagerudde, 20–25 maja 1989 g.). Stockholm, 1992. S. 213–234.

Keipert 1995 – *H. Keipert.* Das Problem der Motion in den ältesten Grammatiken des Russischen // The Language and Verse of Russia. In Honor of Dean S. Worth On his Sixty-fifth Birthday. M., 1995. S. 172–180.

Keipert–Uspenskij–Živov 1994 – Johann Ernst Glück: Grammatik der russischen Sprache (1704). Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von H. Keipert, B. Uspenskij und V. Živov. Köln; Weimar; Wien, 1994.

Kociuba 1975 – *O. Kociuba.* The Grammatical Sources of Meletij Smotryc'kyj's Church Slavonic Grammar of 1619. Ph. Diss. Columbia University, 1975.

Lomonosov 1952 – *M. V. Lomonosov.* Polnoe sobranie sočinenij. Tom sed'moj. Trudy po filologii. 1739–1758 gg. M.; L., 1952.

Ludolf 1696 (1959) – *H. W. Ludolf.* Grammatica Russica. Oxonii A. D. MDCXCVI. Ed. by. B. O. Unbegaun. Oxford, 1959.

Maksimov 1723 – [F. Maksimov] Grammatika slavenskaja v kratcě sobrannaja [...] SPb., 1723.

Michal'či 1964 – *D. E. Michal'či.* I. V. Pauze i ego Slavjano-russkaja grammatika // Izvestija AN SSSR, Serija literatury i jazyka. 23,1. 1964. S. 49–56.

Michal'či 1968 – *D. E. Michal'či.* Listy belovoj rukopisi «Slavjano-russkoj grammatiki» I. V. Pauze // Voprosy grammatiki i slovoobrazovanija. M., 1968. S. 150–161.

Michal'či 1969 – *D. E. Michal'či.* Slavjano-russkaja grammatika Ioganna Vernera Pauze. Dokt. diss. L., 1969.

Scholz–Freidhof 1982 – Weismanns Petersburger Lexikon von 1731. (I). Hrsg. v. B. Scholz, G. Freidhof u. a. München, 1982.

Smotryc'kyj 1619 – *M. Smotryc'kyj.* Hramatyka. Pidhotovka faksymil'noho vydannja ta doslidžennja pamjatky V. V. Nimčuka. Kyjiv, 1979.

Smotryc'kyj 1648 – [Grammatika. M., 1648].

Smotryc'kyj 1721 – [Grammatika. M., 1721].

Trubeckoj 1934 – *N. Trubetzkoy.* Das morphonologische System der russischen Sprache. Prague, 1934.

Unbegaun 1969 – Drei russische Grammatiken des 18. Jahrhunderts. Nachdruck der Ausgaben von 1706, 1731 und 1750 mit einer Einleitung von B. O. Unbegaun. München, 1969.

Uspenskij 1975 – *B. A. Uspenskij.* Pervaja russkaja grammatika na rodnom jazyke. Dolomonosovskij period otečestvennoj rusistiki. M., 1975.

Uspenskij 1987 – *B. A. Uspenskij.* Istorija russkogo literaturnogo jazyka (XI–XVII vv.). München, 1987.

Uspenskij 1992 – *B. A. Uspenskij.* Dolomonosovskie grammatiki russkogo jazyka (itogi i perspektivy) // Dolomonosovskij period russkogo literaturnogo jazyka (Materialy konferencii na Fagerudde, 20–25 maja 1989 g.). Stockholm, 1992. S. 63–169.

Winter 1958 – *E. Winter.* Ein Bericht von Johann Werner Paus aus dem Jahre 1732 über seine Tätigkeit auf dem Gebiete der russischen Sprache, der Literatur und der Geschichte Rußlands // Zeitschrift für Slawistik. 3, 1958. S. 744–770.

Zaliznjak 1967 – *A. A. Zaliznjak.* Russkoe imennoe slovoizmenenie. M., 1967.

Пэр Амбросиани (Per Ambrosiani) (Стокгольм)

К вопросу о полабских отражениях праславянских просодических отношений

0. Просодические явления полабского языка — известного нам по таким источникам, как, например, «Vocabularium Venedictum» Х. Хенниг фон Ессена и «Vocabulaire Vandale» Й. Ф. Пфеффингера, отражающим состояние этого языка конца XVII – начала XVIII века, — уже давно интересуют славистику. В 1896 году Х. Хирт опубликовал статью о полабском ударении, и в своей книге «Betonung und Quantität in den westslavischen Sprachen» финский ученый Й. Й. Миккола уделяет значительное место этому языку. Важный вклад в изучение полабской просодии также внесли Т. Лер-Сплавинский и Н. С. Трубецкой (см. Lehr-Spławiński 1929, 1963; Trubetzkoy 1929). В последние годы особенно интенсивно занимался этим языком Р. Олеш, который и опубликовал несколько исследований о полабских просодических явлениях (Olesch 1973, 1974). Большое значение для дальнейшего изучения полабского языка имеет его Thesaurus linguae dravaenopolabicae в четырех томах [1], которые содержат весь известный (по письменным источникам) полабский материал в удобно доступном виде.

1. Позднеполабская система гласных, как она реконструируется Р. Олешом (TLD : XXIII), содержит дифтонги *ai̯*, *oi̯* и *au̯* и два типа монофтонгов: «нередуцированные» *i*, *ü*, *e*, *ö*, *u*, *o*, *ȯ*, *a*, *å*, *ǫ*, *ǫ̇*, *ą* и «редуцированные» *ă* и *ĕ*. Редуцированные гласные возникли, как предполагают, путем сокращения из «нередуцированных» гласных, которые в свою очередь восходят и к прасл. долгим, и к прасл. кратким гласным. Причины сокращения «нередуцированных» гласных, однако, пока точно не выяснены. Цель на-

стоящего исследования — указать на некоторые обстоятельства, которые могут способствовать решению этого вопроса.

Кроме количественной оппозиции «нередуцированных» и «редуцированных» гласных в позднем полабском также существовало ударение. Вопрос об отношении между ударением и количеством гласных не раз обсуждался в литературе, но сегодня, кажется, большинство исследователей считают, что место ударения зависит от распределения долгих и кратких гласных, а не наоборот. Первым это соотношение сформулировал Н. С. Трубецкой: «Was die Betonung anlangt, so war ihre Stellung von der Quantität abhängig: war die Endsilbe lang, so lag auf ihr auch der Hauptton, war sie dagegen kurz, so lag der Hauptton auf der vorletzten Silbe» (Trubetzkoy 1929: 77).

Примеры:

а. Последний гласный — «нередуцированный»: *slüvü* < Sliwí, Sslyvý, Sliwi > (из прасл. **slovo*; TLD 1018 и сл.)[2], *vaknü* < Wacní, Waknî, Wacnù... > (из прасл. **okno*; TLD 1323), *d'olü* < Tgolí, dgolí, Dgolý... > (из прасл. **dě̆lo*; TLD 1184 и сл.).

б. Последний гласный — «редуцированный»: *nügă* < Nigga, Nîgga, Nǘcka... > (из прасл. **noga*; TLD 661 и сл.), *rǫ̇kă* < Runka, Rúnke, Rúnca... > (из прасл. **rǫka*; TLD 908 и сл.), *zai̯mă* < Seima, Seýma, Seyḿa > (из прасл. **zima*; TLD 965 и сл.), *d'öră* < Tgöra, tgôra, Tchiö́ra... > (из прасл. **gora*; TLD 1181 и сл.), *vådă* < Woada, Woáda, Wóada, Vóda... > (из прасл. **voda*; TLD 1484 и сл.), *sau̯kně* < Saukne, Ssaukne, Ssaukene... > (из прасл. **sukno*; TLD 941).

2. Чтобы можно было судить о причинах редуцирования гласных в полабском, для настоящего исследования нужно было найти категорию, где в тождественной позиции засвидетельствованы и редуцированные, и нередуцированные гласные[3]. По этой причине были выбраны формы именительного падежа единственного числа существительных женского рода на *-ā* с односложными основами. Эта категория отвечает нашим требованиям в двух отношениях: 1) Как рефлекс окончания (**a*) наблюдаются и нередуцированные (обычно *o*, ср., напр., полаб. *i̯omo* < **jama*, TLD 338; полаб. *glai̯no* < **glina*, TLD 322), и редуцированные гласные (обычно **ă*, ср., напр., выше, полаб. *nügă, rǫ̇kă* и др.). 2) У существительных вообще преобладают формы имени-

тельного падежа, что объясняется характером главных источников, являющихся словарями разных типов.

Таким образом, изучаемый для настоящего исследования материал состоит из словоформ им. п. ед. ч. 82 лексем. Из них примерно три четверти, 59 лексем, показывают окончание с «редуцированным» гласным, тогда как 17 лексем показывают окончание с «нередуцированным» гласным. У 6 лексем наблюдается колебание. В таблице 1 показано распределение лексем по реконструированным праславянским акцентным парадигмам (а. п.)[4]: прасл. а. п. *a* (с постоянным, «автономным» ударением на корне), прасл. а. п. *b* (с постоянным, «автономным» ударением на первом слоге окончания) и прасл. а. п. *c* (с некоторыми словоформами с «автоматическим» ударением на первом слоге тактовой группы и некоторыми словоформами с «автономным» ударением на последнем слоге окончания. Для интересующих нас словоформ им. п. ед. ч. актуально конечное ударение).

В особую группу входят словоформы лексем, принадлежащих так называемой прасл. а. п. *«е»*[5]. В эту а. п. входит группа существительных женского рода на *-ā*, образованных с формантом *-j-* (так называемые «группа *чаща*» с этимологически долгим корнем и «группа *воля*» с этимологически кратким корнем, ср. Зализняк 1985: 132, 135 f). В разных славянских языках лексемы этой группы показывают рефлексы постоянного ударения типа «нового акута» на корне (ср., напр., Stang 1957: 57 ff).

Таблица 1

прасл. а. п.	*тип корня*	*неред.*	*ред.*	*колеб.*	*итого*
a		16	10	5	31
b	долготн.	–	12	–	12
b	кратк.	–	8	1	9
c	долготн.	–	13	–	13
c	кратк.	–	10	–	10
e	долготн.	1	–	–	1
e	кратк.	–	6	–	6
Итого		17	59	6	82

Как показано в таблице, окончание с «нередуцированным» гласным встречается почти исключительно в словоформах лексем

прасл. а. п. *a*, тогда как окончание с «редуцированным» гласным встречается в словоформах лексем прасл. а. п. *b*, *c*, как и *a*. Это распределение, вероятно, указывает на процесс устранения специального типа у лексем прасл. а. п. *a* путем обобщения окончания с «редуцированным» гласным.

Что касается лексем прасл. а. п. *e*, интересно заметить, что в нашем — правда, довольно скудном — материале лексемы этой группы распределяются согласно этимологическому количеству корневого гласного: когда корень этимологически долгий, окончание имеет «нередуцированный» гласный, а когда этимологически краткий, окончание имеет «редуцированный» гласный. Это означает, что лексемы прасл. а. п. *e* с долгим корнем дают такой же рефлекс, как лексемы прасл. а. п. *a*, тогда как лексемы прасл. а. п. *e* с кратким корнем дают такой же рефлекс, как лексемы прасл. а. п. *b* и *c*. Такое распределение хорошо согласуется с анализом А. А. Зализняка, у которого «группа *чаща*» считается разновидностью прасл. а. п. *a*, а «группа *воля*» является особой категорией внутри прасл. а. п. *b*.

Ниже приводится материал[6]:

Окончание с нередуцированным гласным (= конечное ударение)

прасл. а. п. *a*: **čaša* (1575), **glina* (322 и сл.), **jama* (337), **korva* (459 и сл.), **lipa* (499), **měra* (587 и сл.), **para* (801), **pelva* (783), **rana* (900), **ryba* (869 и сл.), **sorka* (1134), **stǫpa* (1116), **suka* (941), **ščuka* (1088 и сл.), **vorna* (1506 и сл.), **vьlna* (1387 и сл.)

прасл. а. п. *b*: (нет примеров)

прасл. а. п. *c*: (нет примеров)

прасл. а. п. *e*: (долгий корень) **tǫča* (1257 и сл.)

Окончание с редуцированным гласным (= предконечное ударение)

прасл. а. п. *a*: **berza* (77 и сл.), **děva* (171), **gnida* (328), **gruša* (560 и сл.), **ikra* (330 и сл.), **kolda* (422 и сл.), **plaxta* (786), **skyba* (1096 и сл.), **slina* (953), **věža* (1452 и сл.)

прасл. а. п. *b*: (долгий корень) **borna* (800 и сл.), **borzda* (68), **dyra* (147 и сл.), **glista* (324), **gvězda* (307), **mǫka* (625 и сл.), **pizda* (731 и сл.), **rěka* (872 и сл.), **serda* (1050) (возможно, прасл. а. п. *c*), **světja* (1125 и сл.), **trǫba* (1236 и сл.), **xorna* (116),

(краткий корень) **bľъxa* (57), **koza* (1269 и сл.) (возможно, прасл. а. п. *c*), **mъgla* (560 и сл.), **osa* (1509), **sestra* (980 и сл.), **smola* (1024), **stьJa* (1079 и сл.) (возможно, прасл. а. п. *c*), **žena* (975 и сл.)

прасл. а. п. *c*: (долгий корень) **borda* (75), **duša* (153 и сл.), **golva* (317 и сл.), **gręda* (352), **luna* (496), **pęta* (856), **rǫka* (908 и сл.), **stěna* (1120), **storna* (1082 и сл.), **svinja* (1128 и сл.), **uzda* (1388), **vьrba* (1350) (возможно, прасл. а. п. *b*), **zima* (965 и сл.), (краткий корень) **jьgla* (276), **kopa* (1272), **medja* (584) (возможно, прасл. а. п. *b*), **noga* (661 и сл.), **rosa* (877), **slьza* (1010), **stopa* (1095), **tьma* (1200), **voda* (1484 и сл.), **zemlja* (992)

прасл. а. п. *e*: (краткий корень) **golja* (309 и сл.), **gora* (1181 и сл.), **koža* (1273), **skora* (1089), **volja* (1433 и сл.), **vonja* (1442)

Колебание между конечным и предконечным ударением

прасл. а. п. *a*: **baba* (10, 65), **muxa* (556) (возможно, прасл. а. п. *b*), **rěpa* (837 и сл.), **solma* (1008), **žaba* (1035)

прасл. а. п. *b*: (краткий корень) **rozga* (875 и сл.)

прасл. а. п. *c*: (нет примеров)

Таким образом, материал им. п. ж. р. указывает на — с этимологической точки зрения — парадоксальное распределение ударных и неударных окончаний: когда окончание было в праславянском в ударной позиции, оно в полабском имеет «редуцированный», безударный гласный, тогда как прасл. безударный гласный окончания имеет «нередуцированный», ударный рефлекс.

Как можно объяснить такое распределение? Некоторыми исследователями сделаны попытки реконструировать цепь сдвигов ударения, которая, исходя из праславянского, дала бы тот результат, который можно наблюдать в нашем материале (ср., например, [Micklesen 1986]). На наш взгляд, однако, подход Ф. Кортландта [Kortlandt 1989] более плодотворен. Кортландт, ссылаясь на анализ Т. Лер-Сплавинского, выдвигает следующую гипотезу: «Vokale in Endsilben wurden reduziert, wenn der Vokal der vorhergehenden Silbe lang war» [Kortlandt 1989: 166]. Согласно этой гипотезе, у лексем прасл. а. п. *a* наблюдаются рефлексы «краткого» гласного корня, тогда как лексемы прасл. *b* и *c* имеют рефлексы «долгого» гласного корня. Это означает, что корневые гласные лексем прасл. а. п. *a*, все исконно долгие, в полабском сократились, тогда как корневые гласные лексем прасл. а. п. *b* и

с, среди которых в праславянском были и долгие, и краткие корневые гласные, в полабском получили долгие рефлексы.

3. Какие различия в количестве корневых гласных лексем разных акцентных парадигм засвидетельствованы в других западнославянских языках? Нас в первую очередь интересуют количество гласных в чешском и словацком и качество гласных — как рефлекс количества — в польском и верхнелужицком языках, как и в поморской группе диалектов[7]. Что касается нижнелужицкого языка, то по некоторым данным качество гласных в определенных случаях может указывать на бывшие количественные различия, противопоставление которых, по-видимому, аналогично польскому (ср. [Дыбо и др. 1990: 14, Stieber 1956: 46, Schuster-Šewc 1958: 271]).

В таблице 2 показаны стандартные рефлексы прасл. долгих гласных в западнославянских языках, включая полабский[8]. Самая ясная картина наблюдается у лексем с корнями, содержащими или прасл. носовые гласные **ę* и **ǫ*, или «функциональные дифтонги» **or*, **ol*, **er*, **el* в сочетаниях типа ToRT (ср. [Feldstein 1975: 70 и след., Дыбо и др. 1990: 13–14]).

Таблица 2

Язык/диалекты	*прасл. а. п. a*	*прасл. а. п. b*	*прасл. а. п. c*
Чешский	– *(houba)*	– *(mouka)*	◡ *(ruka)*
Словацкий	◡ *(huba)*	– *(múka)*	◡ *(ruka)*
Польский	◡ *(gęba)*	– *(mąka)*	◡ *(ręka)*
Поморск.	◡ *(gǫba)*	– *(mǫka)*	◡ *(rąka)*
В.-лужицкий	– *(krówa)*	– *(brózda)*	◡ *(hłowa)*
Полабский	◡ *(korvo)*	– *(xornă)*	– *(rǫkă)*

Как видим из таблицы, в чешском языке долготы засвидетельствованы в корнях лексем прасл. а. п. *a* и *b*, тогда как корни лексем прасл. а. п. *c* обычно имеют краткость.

В словацком языке, однако, долгота бывает только в корнях лексем прасл. а. п. *b*, при краткости в прасл. а. п. *a* и *c*.

В польском ситуация похожа на словацкую: рефлексы долгот засвидетельствованы только в корнях лексем прасл. а. п. *b*, ре-

флексы краткостей в прасл. а. п. *a* и *c*. И в поморской группе диалектов наблюдается аналогичное распределение.

Верхнелужицкий, наоборот, показывает распределение подобно чешскому. Рефлексы долгот засвидетельствованы в корнях лексем прасл. а. п. *a* и *b*, которые противопоставляются рефлексам краткостей в корнях лексем прасл. а. п. *c*.

Таким образом, в западнославянских языках (не считая полабского) можно наблюдать две принципиально различные модели. 1) В южной группе (чешский и верхнелужицкий языки) противопоставляется с одной стороны прасл. а. п. *a* и *b* (с долготой), а с другой — прасл. а. п. *c* (с краткостью). 2) В северной группе (включая словацкий и польский языки, поморскую группу диалектов и, вероятно, нижнелужицкий язык) противопоставляется, с одной стороны, прасл. а. п. *b* (с долготой), а с другой — прасл. а. п. *a* и *c* (с краткостью).

Как мы видим, у корневых гласных лексем прасл. а. п. *b* везде долгота, прасл. а. п. *c* — везде краткость; «решающая роль» принадлежит прасл. а. п. *a*, которая в южной группе показывает долгие, а в северной группе — краткие рефлексы.

Полабский не входит ни в одну из этих групп — здесь прасл. а. п. *a* (с косвенным рефлексом краткости) противопоставлена прасл. а. п. *b* и *c* (с косвенным рефлексом долготы). Однако, если выйти за пределы западнославянских языков, можно найти параллели на юге славянского языкового ареала, например в штокавском и чакавском. Рефлексы в соответствующих позициях показаны в табл. 3.

Таблица 3

Язык/диалекты	*прасл. а. п. a*	*прасл. а. п. b*	*прасл. а. п. c*
Штокавский	◡ *(vrȁna)*	– *(brázda)*	– *(gláva)*
Чакавский	◡ *(vrȁna)*	– *(brāzdȁ)*	– *(glāvȁ)*

Таким образом, долготные рефлексы в прасл. а. п. *a* наблюдаются только в центральных чешском и верхнелужицком языках. Это можно считать дополнительным аргументом в пользу гипотезы Ф. Кортландта, согласно которой эта долгота является инновацией (см. [Kortlandt 1975: 18 и сл.])[9], а не, как обычно считается, архаизмом (ср., напр., [Carlton 1991: 237, Shevelov 1965: 509]).

Долготные рефлексы в прасл. а. п. *с*, с другой стороны, имеют противоположное распределение. Они засвидетельствованы не в центре, а на периферии славянского языкового ареала: помимо полабского, также в южнославянских диалектах. Распределение такого типа, как известно, обычно считается показателем того, что данное языковое явление является архаизмом.

4. Как мы видели, анализ нашего материала подтверждает гипотезу о том, что существует связь между редукцией конечного гласного и (бывшим) количеством корневого гласного. При этом полабские «косвенные» рефлексы количества корневых гласных хорошо вписываются в общую картину распределения рефлексов прасл. просодических явлений в западнославянских языках. Это, в свою очередь, на наш взгляд, является дополнительным аргументом в пользу того, что распределение ударных и безударных гласных — в позднем праславянском как будто «противоположное» и праславянскому состоянию, и многим современным системам — вторично в сопоставлении с распределением редуцированных и нередуцированных конечных гласных.

Только подробный анализ и других категорий полабского языка, с учетом возможных аналогичных изменений, может выяснить, в какой мере этим путем можно всесторонне определить условия редуцирования гласных в полабском языке.

Примечания

1 Ссылки на эту работу в дальнейшем приводятся под сокращением TLD.

2 Полабские примеры здесь и далее даются в фонетической транскрипции, использованной в работе TLD. В скобках < > (выборочно) воспроизводятся встречающиеся написания.

3 Такой принцип исследования нам кажется особенно важным именно при изучении языкового материала, подобного полабскому, у которого объем ограничен, показательность отдельно взятой словоформы не устанавливаема и даже фонетический облик словоформ часто трудно определить точно.

4 Принадлежность той или другой лексемы к определенной прасл. а. п. указана по материалам готовящегося в Институте славяноведения и балканистики РАН «Акцентологического словаря славянских языков» (АССЯ), любезно предоставленным автору В. А. Дыбо, Г. А. Замятиной и С. Л. Николаевым.

[5] Название дается по терминологии материалов АССЯ.

[6] Чтобы сэкономить место, лексемы даются только в праславянской реконструкции, без примеров конкретных написаний. В скобках даются ссылки на соответствующее место в TLD, где можно найти такие примеры.

[7] Под термином «поморская группа диалектов» имеются в виду кашубские и словинские диалекты, ср. [Богатырев 1986: 153б, Derksen 1988: 79--80].

[8] Кроме ранее упомянутых работ, источниками примеров служили работы [Дыбо 1963, Богатырев 1986, Nonnenmacher-Pribić 1961].

[9] Аргументы в пользу такой гипотезы выдвигаются и в других работах, ср., например, Wrigstad 1979: 30.

Библиография

Богатырев 1986 — *К. К. Богатырев.* К вопросу о северолехитской акцентологической реконструкции. Непроизводные имена существительные в словинском // Балто-славянские исследования. М., 1984, с. 123—157.

Дыбо 1963 — *В. А. Дыбо.* Об отражении древних количественных и интонационных отношений в верхнелужицком языке // Сербо-лужицкий лингвистический сборник. М., 1963, с. 54—83.

Дыбо, Замятина, Николаев 1990 — *В. А. Дыбо, Г. И. Замятина, С. Л. Николаев.* Основы славянской акцентологии. М., 1990.

Зализняк 1985 — *А. А. Зализняк.* От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

Carlton 1991 — *T. R. Carlton.* Introduction to the phonological history of the Slavic languages. Columbus; Ohio, 1991.

Derksen 1988 — *R. H. Derksen.* The accentuation of substantives in Kashubian and Slovincian // Dutch contributions to the Tenth International Congress of Slavists. Studies in Slavic and General Linguistics 11. Amsterdam, 1988, s. 79--96.

Feldstein 1975 — *R. F. Feldstein.* The prosodic evolution of West Slavic in the context of the neo-acute stress // Glossa 9. 1975, Nr. 1, s. 63—78.

Hirt 1896 — *H. Hirt.* Die Betonung des Polabischen // Berichte der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften. Leipzig 1896, Sitzung vom 7, S. 228—244.

Kortlandt 1975 — *F. H. H. Kortlandt.* Slavic accentuation, Lisse, 1975.

Kortlandt 1989 — *F. H. H. Kortlandt.* Der polabische Wortakzent // Zeitschrift für Slavische Philologie 49. 1989, Nr. 1, S. 163—170.

Lehr-Spławiński 1929 — *T. Lehr-Spławiński.* Gramatyka połabska. Lwów, t. 1929.

Lehr-Spławiński 1963 — *T. Lehr-Spławiński.* Z rozważań o powstaniu akcentuacji połabskiej // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 4. 1963, s. 73—102.

Micklesen 1986 — *L. R. Micklesen.* Polabian accentology // Wiener Slawistischer Almanach 17. 1986, S. 365–381.

Mikkola 1899 — *J. J. Mikkola.* Betonung und Quantität in den westslavischen Sprachen. Helsingfors, 1899.

Nonnenmacher-Pribić 1961 — *E. Nonnenmacher-Pribić.* Die baltoslavischen Akzent- und Intonationsverhältnisse und ihr quantitativer Reflex im Slovakischen. Wiesbaden, 1961.

Olesch 1973 — *R. Olesch.* Der dravänopolabische Wortakzent // Slavistische Studien zum VII. Internationalen Slavistenkongress. München, 1973, Teil I, S. 389–418.

Olesch 1974 — *R. Olesch.* Der dravänopolabische Wortakzent (Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse). Mainz, Wiesbaden, 1974, Teil II, Nr. 13.

Olesch 1983–1987 — *R. Olesch.* Thesaurus linguae dravaenopolabicae (Slavistische Forschungen). Köln, Wien (= TLD), 1983–1987, 42/I–IV.

Schuster-Šewc 1958 — *H. Schuster-Šewc.* Reflexe alter Längen im Niedersorbischen // Zeitschrift für Slawistik. 1958, Nr. 3, S. 264–271.

Shevelov 1965 — *G. Y. Shevelov.* A prehistory of Slavic // The historical phonology of Common Slavic. New York, 1965.

Stang 1957 — *Chr. S. Stang.* Slavonic accentuation (Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, II. Hist.-Fil. Klasse). Oslo, 1957, Nr. 1.

Stieber 1956 — *Z. Stieber.* Zarys dialektologii języków zachodnio-słowiańskich. Warszawa, 1956.

Trubetzkoy 1929 — *N. Trubetzkoy.* Polabische Studien (Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse). Leipzig; Wien, 1929, Bd. 211 / 4.

Wrigstad 1979 — *T. Wrigstad.* On the origin of Czech *ů, é* // Papers on Slavonic linguistics (2) presented at the first Polish-Swedish slavists' conference at Mogilany, April 25–27, 1978 (Meddelanden från institutionen för slaviska och baltiska språk, 19). Stockholm, 1979, c. 26–35.

В.А. Дыбо

Новые данные по диалектологии среднеболгарских акцентных систем

Среднеболгарские акцентуированные тексты XIV – XV веков предлагают исследователю поразительное разнообразие акцентных систем, которое может быть объяснено, по-видимому, лишь принятием гипотезы о гетерогенном характере болгарского языкового континуума. Такого рода гипотеза была выдвинута нами в докладе на Софийском съезде славистов в 1988 году в основном для объяснения резкого отличия западноболгарских (северо-западных) акцентных систем от восточноболгарских. Тогда казалось, что восточноболгарские системы представляют относительное единство, тогда как на западе господствует значительное разнообразие акцентных систем на небольшой территории. Чтобы разобраться в акцентологической ситуации в западноболгарских памятниках XIV – XV веков нами (мною и С.Л. Николаевым) в ноябре-декабре 1990 года было предпринято обследование рукописных собраний Народной библиотеки Кирилл и Мефодий и Церковного историко-археологического музея в Софии и по ксерокопиям, хранящимся в Народной библиотеке Кирилл и Мефодий, собраниия библиотеки Рыльского монастыря (планировавшаяся поездка в Рыльский монастырь для изучения рукописей, формат которых не позволил ксерокопирование, не смогла осуществиться из-за погодных условий). Первичное обследование большого числа новых рукописей не только позволило подтвердить разнообразие западноболгарских акцентных систем XIV – XV веков и установить три типа старо-македонских акцентных систем фонологического акцента, резко отличных от "нормальных" среднеболгарских систем, но и получить новый материал, свидетельствующий о значительно бóльшем разнообразии восточноболгарских акцентных систем, чем это предполагалось ранее.

Предварительная попытка получить представление о размещении на географической карте наличного в настоящее время материала по вос-

точным среднеболгарским акцентным системам и предлагается в настоящей работе.

Какие представления об акцентуационных различиях среднеболгарских диалектов мы в настоящее время должны сохранить, и какие нуждаются в модификациях?

Очевидно, что восточноболгарские диалекты отличаются от западноболгарских наличием явления, которое в предшествующих работах было названо "восточноболгарской ретракцией ударения". В интерпретации этого явления мы исходили из следующих представлений:

"Восточноболгарская ретракция ударения" представлена в памятниках старо-тырновской группы и в близких к ним в сильнейшей степени морфонологизированном виде. Она доведена до той степени, что уже фактически невозможно установить её фонетические позиции. Сам характер этой морфонологизации и её направление были ясны: морфонологические процессы, приведенный в движение фонетической ретракцией, вели и привели в этой группе диалектов к совпадению а.п. *b* у *i*-, *je*- и *nǫ*-глаголов с а.п. *a* в едином неподвижном акцентном типе с ударением на корне во всех формах. Это же направление движения предполагалось и в именах мужского рода на *-o-* и *-i-*, хотя исходным пунктом здесь представлялся результат ретракции иного рода, что стало, правда, ясным лишь после получения значительного материала по акцентовке имени из Зогр. сб. № 171 (№ 103, по Стоилову).

Значительные материалы по различным системам с восточноболгарской акцентовкой создавали впечатление, что морфонологизация и совпадение а.п. *a* и а.п. *b* в указанных категориях были проведены по всей восточноболгарской области еще до первых восточноболгарских акцентуированных текстов. Но уже обнаружение Зогр. сб. № 151 (по-видимому, автограф Константина Костенечского – так полагает А.А. Турилов, а акцентная система данного памятника согласуется с этой точкой зрения) вынудило пересмотреть это положение, так как данный памятник показал значительное количество вариантов инфинитивов от *i*-глаголов а.п. *b* с ударением на форманте *-i-* при том, что в остальных категориях от инфинитивной основы таких вариантов не наблюдалось[1]. Подтверждением предположения, что "восточноболгарская ретракция" не затронула первоначально формы инфинитивов, является материал Апостола № 93 Народной библиотеки Кирилл и Мефодий (София), который дает последо-

[1] Аналогичные варианты инфинитивов с ударением на "теме" *-i-* от глаголов а.п. *b* в тексте "О письменех" рассматривались мною до открытия Зогр. 151 как отражение сербской акцентной системы писца, переписавшего данный текст в XVII веке, в остальных отношениях строго следовавшего протографу.

вательное сохранение отличия ударения инфинитивов *i*-глаголов а.п. *b* от первоначального ударения соответствующих форм а.п. *a*, тогда как в аористе и в причастиях прошедшего времени обнаруживается полное совпадение этих парадигм в накоренном ударении (в ударении перед формантом *-i-*):

А.п. *b*

inf. възбраний|ти 13а (при варианте възбра́нити 12б) ~ aor. 3.sg. възбра́ни 32а, 93а, и҆ възбра́ни на́мь 103б (а.п. b_2: ОСА, 118, № 11);

inf. възвратити са 15б, възвратѝти са 123б, развратити 14б, ѡ҆братити са 30а, прѣвратѝти 89б (при варианте възвра́тити са 23а) ~ aor. [въ]звра́тих са 90а, нъ҃ възвра́тисте са 38а, ѡ҆бра́тисте са 103а, възвра́тиша са 1б, възвра́тиша са 27б, възвра́тиш҃а 9б, ѡ҆бра́тиша 124а, ѡ҆бра́тиш҃а 13а, ѡ҆бра́ти|ш҃а 8а, Ѿвра́тиш҃а 111а, 111б, съвра́тиш҃а 109б; aor. 3.sg. ѡ҃бра́ти 22а, възвра́ти са 14б, Ѿвра́ти же 8а, С҃ъвра́ти са 115а; part. praet. act. възвра́тивше҃ са 24а (ср. praes. и҆ ѿбра́тит҃ъ 35[2]б) (а.п. b_2: ОСА, 119-120, № 26);

inf. и҆ съвръши́ти 104а (при варианте съврѣшити 121а, 122а) ~ aor. 2.sg. съврѣ́ши ѡ҃ мнѣ 122а, 3.sg. съврѣ́ши 128а (ср. praes. да съврѣ́шит бѫ҃ 39б) (по-видимому а.п. b_2, ср. Нор.пс.: aor. 2.sg. съврьши 121а10; у Константина Костенечского: inf. сьврь́|шити Сб. 182[2-3]б, доврѣшити Псм. 34а, praes. 3.sg. съврѣшить Псм. 4б, 1.pl. съврѣши҃м Псм. 28б; aor. 3.sg. сьврьши Муз. 2б, С҃ъврьши се Сб. 14[25]а, съврѣши се Псм. 4б; окситонеза в ст.-хорв. вершим, јзвершим Гр. 24б, вероятно, связана с переходом производящего имени из а.п. *d* в а.п. *c* в диалектах "словенской" группы);

inf. жени́ти са 70а ~ part. praet. act. а҆ ѡ҆же́нивши҃и са 70а (а.п. b_1: ОСА, 116);

inf. въкоуси́ти 26б, и҆скоусѝти 5б, и҆скоусѝти са 72б ~ aor. въкоу́систе 37а, и҆скоу́сиша 72б, и҆ску́сиша ма 117б, bis; aor. 3.sg. покоу́си са 27б, *l*-part. искоу́силъ бѣ҃ е҃ 103б (по-видимому а.п. *b*, ср. ст.-тырн. inf. и҆скоу́сити Мин. № 678, 515б, praes. 1.sg. не въкоу́са Мин. № 678, 517б, 2.sg. не и҆ску́сиши Зогр. Е382[13]б, да въкоу́сить Сб. № 758, 202а; у Константина Костенечского: inf. поку́си́тисе Псм. 45а, aor. 3.sg. и҆ не вькоу́си Сб. 15[25]а, и҆ и҆ску́си Сб. 44[13]а, part. praet. act. въкоу́сивь Псм. 46а ~ зап. сред.-болг. inf. и҆ску́си́ти Ис.Сир. 31а, и҆ску́си́ти са Ис.Сир. 31б,

139б, praes. 3.sg. да йскѹ́сит Ис.Сир. 46а ~ др.-русск. inf. йскоусйти Чуд. 61[2], 150[2], нскусйти Чуд. 35[2], вкоусйти Чуд. 75[3], praes. 2.sg. не| йскѹ́сй Чуд. 28[1], 3.sg. не вкѹ́сй Чуд. 46[1], 2.pl. йскоусите Чуд. 115[3]; не исключена также а.п. *a*, подробнее см. БСИ 1982, с. 8-9);

inf. йзложйти 24а, положйти 67б, приложйти 86б, ѿложйти (при варианте възлѡ́жи|ти 17а) ~ аог. й възло́жихь йме 90а, поло́жихь 67б, поло́жих тѧ 54б, Не ѿло́жисте (Sic!) 122б, възлѡ́жиша 9а, възло́жиша 6б, й възлѡ́жиша 14б, й възло́жиша 4а, 5б, 25а, поло́жи|ша 64а, полѡ́жиша 8б, Поло́жишѧ мѧ 131б, полѡ́жиша ж 11а, полѡ́жиша й 15а, й полѡ́жиша 7б, й полѡ́жиша ѧ 4а, прилѡ́жиша 25б, й прилѡ́|жиша сѧ 3а, привъзло́жиша 90а, й прѣлѡ́жиша ѧ 7б, й сло́жиша 22а, сьло́жиша| же сѧ 28а; аог. 3.sg. вълѡ́жи 22а, възлѡ́жи 13б, поло́жи 5а, 45а, поло́жи 42б, 74б, 75а, 94б, полѡ́жи 1а, 4а, й поло́жи 5а, 83а, й полѡ́жи 5а, Не поло́жи [йс] 104б, не поло́жи йс 104б (нижнее поле), прило́ж[и с]ѧ 91б, й при|ло́жи сѧ 13б, прѣ|поло́жи 53б, прѣло́жи сѧ 116б, ; part. praet. act. й прѣлѡ́жившй сѧ йме 89а; *l*-part. й поло́[жилъ еси] 128б (ср. praes. прѣло́жит сѧ 26) (а.п. b_2: ОСА, 115-116, № 23);

inf. прѣломйти (Sic!) 23а ~ аог. ѿло́миша сѧ 60б, ѿло́миша сѧ 60б, аог. 3.sg. й прѣлѡ́ми 23а, ѿло́ми сѧ 60б, part. praet. act. прѣло́мивь 74а, й прѣло́мивъ 31б (а.п. b_1: ОСА, 116);

inf. любйти 98а, й любйти 40а, лю́бйти (Sic!) 65а (при варианте лю́бити 38а, 42б, 46а, лю́бити 45б) ~ аог. възлю́бихь 58б, Възлю́бй 131а, възлю́бйсте (Sic!) 37а; аог. 3.sg. възлю́би йс 42б, 45б, bis, 97б, възлю́би нась 45б; part. praet. act. възлю́бивыи йс 106б, възлю́бившаго мѧ 91а, за възлю́бившаго ны 58а; *l*-part. възлю́билъ єси 117а, възлю́биль єси 127б (ср. praes. лю́бить 46а, да лю́бить 98а, лю́бимь 45б, да лю́бимь 44б, 47а, й лю́бимъ 45а, възлю́би|ши 93а) (а.п. b_1: ОСА, 120);

inf. лѫчйти сѧ вамь 106б, не лѫчйти сѧ 1а, ѿлѫчй|ти сѧ 20б, разлѫчйти 58а ~ аог. 3.sg. ѿлѫ́чи 21б, ѿлѫ́чи сѧ 20б, разлѫ́чи сѧ 116а (а.п. b_2, ср. ст.-тырн. praes. не ѿлѫ́|чиши сѧ Зогр. Е360[14-15]б, аог. 3.sg. ѿлѫ́чи сѧ Зогр. А173[27]б ~ ст.-хорв. Разлучим Гр. 245, словен. *lǫ̂čiti*, praes. *lǫ̂čim*, чеш. *loučiti*, слвц. *lúčit'*, польск. *łączyć* ~ русск. литер. praes. 3.sg. *отлучи́т(ся), разлучи́т(ся)*);

inf. оумолйти 85б, млйти сѧ 73б, 107а ~ аог. оумлих тѧ (т.е. оумо́лих тѧ) 107б, помо́лихѡм сѧ 57б; аог. 3.sg. оумо́ли| же 9б, помо́ли сѧ 24а;

l-part. мблилЪ 30б (по-видимому, а.п. b_1: ср. ст.-тырн. praes. мбли Зогр. А30[18]а, и мбли Зогр. В62[2]а, и мблиши Зогр. Г267[13]а, мбли сѧ Зогр. В324[4]б, и помблѫ сѧ Зогр. А72[24]б, система Киприана: praes. мбли сѧ Леств. 7а, ѹмблит сѧ Пс.Кипр. 120б, мблимъ Леств. 1а, мблим сѧ Леств. 1б, помблим сѧ Пс.Кипр. 153а; так же у Константина Костенечского: aor. 3.sg. помли се Псм. 6а ~ ст.-хорв. Мблим, Ѵмблим Гр. 229);

inf. разорити 6б, и разорити сѧ 22а (при варианте разбрити 91б) ~ aor. разбрихЪ 90б; aor. 3.sg. и разбри сѧ 54а (ср. praes. разбрить 7а) (а.п. b_2: ОСА, 116, № 24);

inf. испразнити сѧ 89а ~ aor. оупразнихѡм сѧ 56б, оупразни||[с]те сѧ 92б-93а; aor. 3.sg. испразни сѧ 54а, оупразни сѧ 93а; part. praet. act. и оупра|знивши сѧ 42б (ср. praes. оупразнитЪ 53а) (а.п. b_2: ОСА, 118, № 12);

inf. просити 3а, ~ aor. прбсихѡ 46а, прбсишѧ 15а, и испрѡсисте 3б, aor. 3.sg. и въпрбси Ѧ 6а, испрб|[си] 10а, и испрбси 8б, part. praet. act. да прбсивъ 46а (ср. praes. прбсимЪ 45а, 46а, bis) (а.п. b_1: ОСА, 116);

inf. въселити 99б, въселити сѧ 96б ~ aor. 3.sg. въсѐли сѧ 2б, и въсѐли сѧ 7а, прѣсѐли сѧ 7а; *l*-part. въсѐлилЪ сѧ ѥси 132б (а.п. b_2: ОСА, 112, № 1);

inf. слоужити вамь 121б, слоужити| же 8а, и слоужити 6б (при варианте слоужити 92а) ~ aor. слоужисте 92а, пословжистѣ du.f. 24а, и послоужишѧ 51б; aor. 3.sg. послужи ми 112а; part. praet. act. послоуживЪ 15б, послоужившѹ 49б, Слоуживше[и] 108б (ср. praes. слоужи 39а) (а.п. b_1: ОСА, 120);

inf. из'стѫпити 6а, Ѿстѫпити 16б, ~ aor. Ѿстѫпишѧ 26а, не бо пристѫписте 125а, [прис]тѫписте 125а; aor. 3.sg. пристѫпи 26а (а.п. b_2: ОСА, 119, № 22);

inf. сѫдити 12б, сѫди|ти 27б, сѫдити 113а, [сѫд]ити 86б, сѫдити ми 26б, сѫдити ти 53а, сѫдити сѧ 29а, сѫдити сѧ 69а (при варианте сѫдити 69а, расѫдити 69а) ~ aor. сѫдихЪ 66б, 68б, сѫди 29б, 115а, сѫди же 81а, ѡсѫдисте 35[2]б; aor. 3.sg. ѡсѫди 57а, 123а; part. praet. act. расѫдивЪ 28а, ѡсѫдивше 15а (ср. praes. сѫдитЪ 53а, сѫдит сѧ 29б, сѫдит сѧ 73а) (а.п. b_2: ОСА, 116-117, № 2);

inf. творити 19а, 40б, 52б, 92б, 109б, творити 108а, Ѣорити ѧ 91а, не творити 72а, не творити вамЪ 88б, творити же 1а, сътворити

21a, 48б, 122a, сътворити 6a, сътворити 26a, сътворити 28a, и сътворити 85a, сътво|рити тѫ 30a (при варианте творити 22б, 25б, 35²a, 38б, 40б, 52б, прѣтво|рити 40a, сътворити 29б, 85a, 122a, и сътворити 54б) ~ aor. сътворихь 87a, сътво[рихъ] 87б, сътвори 1a, 72a, 120б, сътвори 107б, и сътвори 29б, затвори 29б, сътворихомъ 53a, сътво|ри|хо мы 114a, нѫ не сътворихомь 71б, сътвористе 3б, 4a, сътвористе 8б, сътво|риша 8a, затвориша 25a, aor. 3.sg. [?]твори 83б, сътвори 3a, 8б, 16a, 49б, 96 a, 116б, 123a, сътвори 113б, 120б, 123б, сътвори имъ 53a, и сътвори 8a, по что ма сътвори тако 59a, ѹтвори са 121a, нѫ затвори 91б, затвори го 61a, затвори са 53б, раствори 75a; part. praet. act. сътворивыи 95б, с[ъ]|творивыи 59б, сътворивыи его 117б; *l*-part. сътворилъ 35²б, сътворилъ е 25a, сътворилъ е 46a, сътворил же 20a (ср. praes. творить 30б, творимъ 45a, творите 93a, и сътворить 38a, и затворитъ ж 45a) (а.п. b_2: ОСА, 115, № 21 и № 22);

inf. похвалити са 87б, 88a, bis, 94a, 105б, похвалити же са 87б, похвалити са 86б ~ aor. похвалих са 84б (ср. praes. похвалат са 93б, impf. хвалѣше са 105б) (а.п. b_2: ОСА, 118, № 10);

inf. не въсходити 24a (при вариантах ходити 3б, 16б, 24б, 43б, 96б, 102a, 104a, ходити 85a, 97a, 99б, ходи|ти 55б, ходитити (Sic!) 73a, исходити 21б, приходити ми къ вамъ 92б) ~ aor. ходи|сте 101a, хо-ди|[ст]е 95a, ходиша 48б; part. praet. act. и ходивъ 102a, прѣмо хо|дивше 24a; *l*-part. ходиль 16a, ходилъ 43б (ср. praes. ходитъ 39б, хо-дите 47a, прѣходи 44a) (а.п. b_1: ОСА, 116);

inf. хранити 18a, хранити са 111a, съхранити ихъ 49a (при варианте хранити 24б, съхранити 111б) ~ aor. и не съхранисте 8б, не съхра-ниша 49б (ср. praes. не съхранитъ 53a, хранатъ 93б) (а.п. b_2: ОСА, 118, № 17).

Случаи, когда, кроме инфинитива, другие формы инфинитивной основы в тексте не отмечены:

inf. проводити са 64a, 80б (при варианте водити 71б, допроводити 32a) ~ (ср. praes. изводатъ 19a) (а.п. b_1: ОСА, 116);

inf. приносити 118б (при варианте носити 21б, носи|ти 63a) ~ (ср. praes. приноситъ 120б) (а.п. b_1: ОСА, 116);

inf. блгодарити 105б (ср. praes. блгодаримъ 99a, блгодаримь 102б, блгодари 103a) (ср. вост. сред.-болг. praes. 1.pl. блгодарим та Пс.Кипр.

1596, part. praet. act. блгодáрившоу dat. sg. m. Ев. № 1139, 170v20; вероятно, а.п. b_2, что, возможно, первично для глагола *dariti, если *darъ относился к а.п. d; а рефлексация а.п. c в этом глаголе связана с переходом производящего имени в а.п. c);

inf. разрѣшúти 50а (ср. praes. разрѣшитъ 22б) (по-видимому, а.п. b_2: ср. ст.-тырн. inf. ѿрѣшити сѧ Зогр. Е422[26]б, ѿрѣшити Зогр. Е422[28]б, praes. да раздрѣши Зогр. Г269[12]а, aor. 3.sg. раздрѣши Зогр. Г103[6]б, ра|здрѣши сѧ Зогр. Г294[24-25]а, та же акцентовка у Константина Костенечского: inf. раз'дрѣшити Псм. 54б, разрѣшити е Сб. 18[5]б, praes. 3.sg. разрѣшитъ Сб. 5[21]а, не разрѣшите Сб. 39[9]а, (об окситонированном варианте см. ниже) ~ ст.-хорв. Рйшим, Разрйшим, нé раздрйшим Гр. 247 ~ русск. литер. *решáт, разрешáт, отрешáт*; вероятно, из зап.-болг. диалектов "антской" группы окситонированный вариант у Константина Костенечского: praes. 3.sg. раз'дрѣши Псм. 54б; aor. 3.sg. ráздрѣши Псм. 55а, ráзрѣши Сб. 38[7]а);

inf. и просвѣтúти въсѧ 96а (ср. и ѿсвѣтитъ тѧ 97б) (а.п. b_1: ОСА, 120);

inf. посѣтúти 7б, 18а (по-видимому, а.п. b_2: ср. ст.-тырн. посѣтити Мин. № 678, 526а, у Константина Костенечского посѣтиши Псм. 43а ~ ст.-хорв. Сйтим,Сѐтим, Посйтим Гр. 243);

inf. свѣнúти сѧ 109а (при варианте свѣнити сѧ 104а) (ср. ст.-тырн. inf. свѣнити сѧ 'отстраняться' Зогр. Д131[18]б ~ ? ст.-хорв. Свйнимсе Гр. 234, с пометой "некор.", но также Освйним се Гр. 234; совр. болг. *свѣня́* 'постыжусь, застесняюсь', Геров, Младенов, с вторичной акцентовкой. Скорее всего а.п. b_2, но возможна и а.п. *a*, ср. ниже).

Глаголы первичной а.п. *b*, у которых отмечены формы инфинитивной основы (в том числе и инфинитив) лишь с накоренным ударением.

А. Случаи, когда отмечены инфинитив и другие формы инфинитивной основы:

inf. ѿзлóбити тѧ 21а ~ aor. и ѿзлóби|шѧ16а (а.п. b_2 : ОСА, 114, № 15; подвижный акцентный тип у Константина Костенечского: inf. ȍзлобúти Сб. 14[24]б, aor. 3.sg. ~ ȍзлоби Сб. 1[1]б, ȍзлобисѐ Сб. 91б, – следует связывать, возможно, с генерализацией подвижного акц. типа у именных *ā*-основ в его диалекте);

inf. **йзьѡ҆блйчи|ти** 48б ~ aor. 3.sg. **ѡ҆блйчи** 100б (а.п. b_2: ОСА, 117, № 5; у Константина Костенечского нормальная рефлексация: praes.1.pl. **ѻ҆блйчи҃** Псм. 35а, aor. 1.sg. **ѻ҆блйчи҃** Псм. 56а, – при варианте: praes. 3.pl. **обличе́ть** Псм. 50а, aor. 3.sg. **ѻ҆бличи** Псм. 56а, – что, вероятно, из зап.-болг. диалектов "антской" группы);

inf. **прѣлъстити** 40а ~ aor. **прѣлъстиша҃** 41б; aor. 3.sg. **прѣлъсти** 86б, 91а, **прѣлъсти ма** 56б (ср. **да лъститъ| в҃а** 44б, **да не лъстит҄** 97б) (по-видимому, а.п. b_2: ср. ст.-тырн. inf. **прѣльстити** Зогр. Е129^{9}а, praes. **прѣльститъ** Зогр. Б37^{15}а, **льстат са** Зогр. А392^{10}б, aor. 3.sg. **прѣльсти та** Зогр. Б37^{30}б, **й п҃рльсти ѫ** Зогр. А6^{17}б, в близкой к ст.-тырн. системе Ев. № 1139: praes. 3.sg. **нѫ| льститъ** 173v20; тот же тип у Константина Костенечского: aor. 3.sg. **прѣльс҃ти ѫ҃** Сб. 4^{28}а; при варианте а.п. *c* в этой же центральной группе вост.-болг. диалектов: ст.-тырн. inf. **прѣльстйти** Зогр. Е431^{20}а; Ев. № 1139: inf. **прѣльстйти** ^{a}88v7, **прѣльс҃тй||ти** 49r25-v1, praes. 3.sg. **прѣльстйтъ** 48v11, **прѣльсти҃ть** 87v12, 3.pl. **прѣльста́ть** 48v13, 87v14, **й прѣ||льста́ть** 48v25-49r1, **ѡ҆бльста́ть** 45r19, **ѡ҆бьльста́ть** ^{a}85v9; part. praet. pass. **да нѐпрѣльщє́нни** 147v19, **й вс҃и прѣльщє́нни** 175v7, что объясняется, по-видимому, переводом имени *lьstь* в акц. тип *C*, см. ОСА, 205, первоначальна а.п. *b*);

inf. **въмѣ́нити са** 54б, **въ|мѣ́нити са** 54а ~ aor. **въмѣ́нихѡ҆|мса** 58а; aor. 3.sg. **въмѣ́нисa** 54a, bis, **й въмѣ́нисa** 54a, **й въмѣ́нисa є҆мꙋ** 91б, **и| въмѣ́ни са є҆мꙋ** 54б, **въмѣ́ни са є҆моу** 54б; part. praet. act. **в҃мѣ́нив҄** 123б, [**не**] **вьмѣ́нивь** 83а (ср. praes. 3.sg. **въмѣ́нитса** 53а, **не въмѣ́нит҄** 54а, **да не в҃мѣ́нит са йм҄** 113б; но ср. акц. тип *C* у глаголов **йзмѣнйша** 51б, **прѣмѣнйша** 51б) (по-видимому, а.п. b_2: ср. ст.-тырн. **вьмѣ́ни** Зогр. Е425^{30}а, **въмѣ́нисa** Лих.[1] 14а; но ср. широко представленный вариант а.п. *c*: ст.-тырн. praes. 3.sg. **вьмѣнйтса** Д137^{27}а, aor. 3.sg. **въмѣни са҃** Б244^{5}а, в близкой к ст.-тырн. системе Ев. № 1139: aor. 3.sg. **въмѣни са̀** 151r3, **в҃|мѣни са̀** 94r3-4; у Константина Костенечского praes. 3.sg. **въмѣнйт се** Псм.9б, **й не въмѣнйт се** Псм. 15а; aor. 3.sg. **вьмѣни сѐ** Сб. 91б, **й вьм|ни сѐ** Сб. 11$^{14-15}$а, **й не въмѣни сѐ** Сб. 91б, aor. 1.pl. **вьмѣнйх҃ѡ** Сб. 91б, 1.du. **вь|мѣнйховѣ́ се** Сб. 15$^{6-7}$а, т.е., так же как ст.-тырн. inf. **прѣмѣнйти** Г254^{11}а, aor. 3.sg. **прѣмѣни** Г267^{25}а, **йзмѣни са̀** В322^{1}а, **прѣмѣни са̀** Е169^{10}б, **не прѣмѣни са҃** Б259^{16}б; aor. 1.pl. **прѣмѣнйхѡм са** Б56^{27}а, **прѣ|мѣнйхѡм са** Б46$^{10-11}$б, 3.pl. **й**

йзмѣнйшѫ Г251[22]а, part. praet. act. **прѣмѣнивъ** Д135[30]а, **йзмѣнйвь** 400[10]а, Е429[19]б; у Константина Костенечского aor. 3.sg. **йзмѣни** Псм. 54б, **й йзмѣни** Сб. 14[24]б; эта смена акцентного типа может объясняться, по-видимому, лишь контаминацией двух рядов приставочных глаголов с разными корнями: 1-й ряд – ст.-слав. **мѣнити** 'λέγειν, δοκεῖν', 'полагать, считать' (Супр.), **възмѣнити** 'λογίζεσθαι', 'приписать, вменить что-л. кому-л.'(Син., Зогр., Мар., Супр.), **намѣнити** 'ὀνομάζειν', 'назвать, наименовать', 'προλέγειν, μιμνῄσκεσθαι', 'упомянуть' (Супр.), **примѣнити** 'προσλογίζεσθαι', 'причислить' (Син.), в среднеболгарских памятниках кроме указанных выше форм глагола **възмѣнити** первичную акцентовку показывает бесприставочный глагол у Константина Костенечского: inf. **мѣнити** Псм. 37а, praes. 2.sg. **мѣнишн** Псм. 52б, 1.pl. **мѣнимь** Псм.52б, 2.pl. **мѣните** Псм.44б, 3.pl. **мѣнет се** Псм.29а, ст.-хорв. **Мйним, Намйним** Гр. 234; словен. *méniti, ménim* 'думать, полагать', *uméniti, uménim* 'назначить, определить', *naméniti, naménim* 'определить, предназначить', *priméniti, priménim* 'zumuthen'; чеш. *míniti* 'намереваться, предполагать, думать', *umíniti si* 'вздумать, задумать', *zmíniti se* 'упомянуть, коснуться, обмолвиться'; слвц. *mienit'* 'думать, раздумывать; иметь в виду кого-что; намереваться', *umienit' si* 'решить', *zmienit' sa* 'упомянуть'; польск. *mienić się* 'именовать себя, называть себя' ~ русск. литер. *вменúт* || герм. **mainjan*: др.-верх.-нем. *meimnan*, др.-сакс. *mênian*, нидерл. *meenen*, др.-англ. *mǽnan*; др.-ирл. *mian* 'Wunsch'; 2-й ряд – ст.-слав. **мѣнити** 'μεταβάλλειν', 'менять' (Супр.), **измѣнити** 'ἀλλάσσειν, ἀπαλλάσσειν, ἐναλλάσσειν, διαδέχεσθαι, ἡβᾶν', 'изменить, переменить' (Клотц., Син., Супр.), **прѣмѣнити** 'ἀμείβειν, ὑπαλλάσσειν, ἀνταλλάσσεσθαι', 'переменить, изменить'; ст.-хорв. **Минйм, Премнийм** Гр. 234; словен. *meníti, mením* 'wechseln, umwechseln, tauschen'; *premeníti, premením* 'переменить'; *zameníti, zamením* 'vertauschen, austauschen', *izméniti, izménim* 'auswechseln, verwechseln, ausarten'; чеш. *měniti* 'менять, изменять, переделывать', *změniti* 'изменить, переменить', *přeměniti* 'переменить, изменить, превратить, преобразовать', *zaměniti* 'заменить'; слвц. *menit'* 'превращать; менять; переделывать; обмениваться', *premenit'* 'переменить; изменить; превратить; разменять', *zamenit'* 'заменить; обменять, променять; подменить', *zmenit'* 'изменить; переменить; разменять', польск. *mienić się* || лтш. *maĩnît* 'tauschen, wechseln', гот. *gamainjan* 'gemein machen, mitteilen');

inf. дόмꙋ стрόити 108б ~ part. praet. act. оу҆строи҆вь 50а (ср. praes. да оу҆строимь 100а) (по-видимому, а.п. b_2: ср. вост. сред.-болг. praes. 3.sg. оу҆стрόатсѧ Леств., 13а; ст.-тырн. aor. 3.sg. ꙋ҆стрόи А13[19]б, Г103[6]а, ꙋ҆строи Е80[12]б, в близкой к ст.-тырн. системе Ев. № 1139: inf. стрόити [a]137r10, praes. 3.sg. оу҆стрόить 78v5, 114r12, и҆ оу҆стрόить 35[1]r10, part. praes. act. стрόѫща acc. du. m. 63r6 (но у Константина Костенечского aor.3.sg. оу҆строи Сб.96б, и҆ оу҆строи Сб. 4[2]а) ~ ст.-хорв. Строи̏м, Устрои̏м Гр. 228).

Б. Случаи, когда отмечены лишь формы инфинитива с накоренным ударением:

inf. [?]мнѡжити 79б ~ aor. и҆ оу҆мнόжишѧ 7б; part. praet. act. оу҆мнόжившисѧ 82б (возможно, а.п. b_2, ср. вост. сред.-болг. и҆ ꙋ҆мнѡжи Пс.Кипр. 70а, ꙋ҆мнѡжитсѧ Пс.Кипр. 43а, ꙋ҆м[ѕ]|нѡжат сѧ Пс.Кипр. 84б, ꙋ҆мнѡжѫ сѧ Пс.Кипр. 124а; схрв. *мно̀жити, мно̀жӣм*; ст.-хорв. Внажи̏м, Возвножи̏м Гр. 225; словен. *množíti, množím*);

inf. мѫдрити 61а, не высό|комѫдрити 107а, оу҆цѣломѫдрити 113б (по-видимому, а.п. b_2, зап. сред.-болг. praes. 3.sg. ꙋ҆прѣ|мѫдри сѧ Ис.Сир. 53б, ср. ст.-хорв. Му̏дрим, с пометой "неуж.", Уму̏дрим Гр. 238 ~ русск. литер. praes. 3.sg. *мудри́т*);

inf. наслѣдити 78б (ср. praes. не на|слѣдать 93а) (по-видимому, а.п. b_2, ср. вост. сред.-болг. да наслѣдимь Пс.Кипр. 75б; та же акцентовка у Константина Костенечского: наслѣди Сб. 91[20]б, и҆ наслѣди Сб. 12[10]б, наслѣди ме Сб. 11[11]а, наслѣди те Сб. 11[12]а, не| наслѣди тебѐ Сб. 11[11-12]а ~ ст.-хорв. Сла̏дим, Посла̏дим Гр. 224 ~ русск. литер. praes. 3.sg. *следи́т*; особого изучения требует явно вторичная акцентовка русск. *насле́дить, насле́дит* и подобных);

inf. не хꙋ́лити 107а, 115а (ср. praes. хоу́лит сѧ 39а) (а.п. b_2: ОСА, 117, № 4; сред.-болг. вост. praes. 3.pl. хоу́лѧ Пс.Кипр. 162б, зап. praes. 3.sg. похꙋ́лить Ис.Сир. 38б; но у Константина Костенечского praes. 2.sg. хоулѝши Псм. 47б, хꙋлѝши Псм. 60б, 59б, хꙋулѝши Псм. 48б, 3.pl. хоулѐт се Псм. 56б, aor. 3.sg. пόхꙋли Сб. 162а).

В. Случаи, когда отмечены формы инфинитивной основы, но не отмечен инфинитив:

aor. съблѫдиша 72б, заблѫдиша 110б (ср. praes. заблѫдить 35[2]б) (а.п. b_2: ОСА, 119, № 20);

аог. вöрих сѧ 78а (а.п. b_2: ОСА, 116, № 27);

аог. побѣдисте 44а, й побѣдисте 44а, оубѣди|[шѧ] 124а; аог. 3.sg. побѣди сѧ 42б (ср. praes. 2.sg. и побѣдиши 53а) (а.п. b_2: ср. ст.-тырн. аог. 3.sg. побѣди Зогр. Б47[28]б, part. praet. pass. побѣжена, и в близкой к ст.-тырн. системе Ев. № 1139: praes. 3.sg. побѣдить єго 125v23, аог. 1.sg. побѣдихь196r24, 3.sg. оубѣди 30v8, зап. сред.-болг. praes. 3.sg. побѣдит Ис.Сир. 46а, при наличии подвижного акц. типа в той же диалектной зоне: ст.-тырн. praes. 1.pl. да побѣдимъ Мин. № 678, 514б, аог. 3.sg. побѣди Мин. № 678, 514б, part. praet. act. побѣдивъ Мин. № 678, 514а, ср. этот же акц. тип у Константина Костенечского: аог.3.sg. пóбѣди Псм. 53б, Сб. 38[30]а, 38[1]б, 43[15]б, 137а, 137б, bis, 139б, пóбѣди Сб. 43[1]а, й пóбѣди Сб. 77[5]а, 77[15]а, 139б, й пóбѣди Сб. 43[29]б, и пóбѣди Сб. 136б ~ ст.-хорв. Бйдим, Побйдим Гр. 222 ~ русск. литер. praes. 3.sg. *победи́т, убеди́т*);

аог. йзвóлихъ 40б, блговóлихѡ 103а, 103б, блговóли|шѧ бо 64а; аог. 3.sg. йзвóли 123б, блго|вóли 99б; part. praet. act. йзволивыи 106б; *l*-part. блговóлиль єси 122а, [Б]лговóлилъ єси 127а (по-видимому, а.п. *b*: ср. ст.-тырн. аог. 3.sg. йзвѡли сѧ Е401[20]а, в близкой к ст.-тырн. системе Ев. № 1139: praes. 2.sg. вóлиши 151r13, 3.sg. вѡлить 24r3, 2.pl. й сьблговóлите 127v3, аог. 1.sg. йзвóлих 24v25, блговѡлихь 104v15, блговóлих 9v14, 33v22, блговѡлих 62v15, 3.sg. блговóли 25r1, блгойзвóли 129v4);

аог. гóнихь 77а (ср. praes. гóниши 10а, гóнѧт сѧ 93б) (а.п. b_1: ОСА, 116);

l-part. покóилъ 118б; аог. 3.sg. ўпокóи сѧ 118б (по-видимому, а.п. b_2: ср. у Константина Костенечского: й оўпокóю Псм. 19а, оўпокóим се Псм. 22б ~ ст.-хорв. Коьйм, Ўкоьйм Гр. 227, но Покóьим, Ўпокóьим Гр. 228 [влияние девербатива?], словен. *kojíti, kojím*; *pokojíti, pokojím*; ср. также сред.-болг. вост. inf. оўпокойти Сб № 758, 116а, *l*-part. оў|покойлъ Сб № 758, 204б; ср. также ст.-серб. (?) Сб. 1509 г.: inf. оупокойти се 77б, 139б, 400а; praes. 1.sg. оўпокою 554а, 2.sg. покойши 382б, 3.sg. оупокойть 349а, 467б, 2.pl. оупокойте се 76а; аог. 1.sg. оупокойх' се 11б, см. *Булатова Р.В.* Старосербская глагольная акцентуация. М., 1975, с. 100, 103, 119);

аог. крѣ|стихь 66а, крстихѡм сѧ 55б, крстихѡм сѧ 55б, [к]рѣ|стисте сѧ 91б (а.п. b_2: ОСА, 113, № 7);

part. praet. act. **не оусмо́трив҃ъ** 54б (а.п. b_2: ср. ст.-тырн. aor. 3.sg. **и̏ съмо́три** Зогр. А64[1]б, **расмо́три** Зогр. Д131[24]а; система Киприана: praes. 2.sg. **смо́тришн** Пс.Кипр. 83б; так же у Константина Костенечского: inf. **съмо́трити** Псм. 18б, 32а, **съмо́трити́ же** Псм. 25а, praes. 2.sg. **съмо́тришн** Псм. 19б, 39а, aor. 1.pl. **съмо́трихѡ̑** Псм. 42а ~ ст.-хорв. **Смотри̑м** Гр. 238; словен. *motríti, motrím* SSKJ);

aor. **възмѫ́тишѧ| в҃ѫ** 17б, **съмѫ́тишѧ** 19б; aor. 3.sg. **възмѫ́ти сѧ** 25а (а.п. b_2, ср. ст.-тырн. aor. 3.sg. **смѫ́ти** Зогр. Е420[2]б, **смѫ́ти сѧ** Зогр. А8[23]б; ср. также praes. 3.pl. **смѫ́тѫ|сѧ** Пс.Кипр. 54б; тот же акцентный тип у Константина Костенечского: **съмоу́тити** Псм. 17а ~ ст.-хорв. **Му̑тим**, **Возму̑тим** Гр. 242 ~ русск. литер. *мути́т*);

part. praet. act. **по́стивше́ сѧ** 14б, **по́стившà сѧ** gen.-acc. sg. m. 28а (а.п. b_2: ОСА, 114, № 13);

aor. **запрѣ́тишѧ** 6б; part. praet. act. **запрѣ́тив҃ъ** 65а (по-видимому, а.п. b_2, ср. ст.-тырн. praes. **прѣ́тить** Зогр. Б258[21]б, **прѣ́тить** (Sic!) Зогр. В324[4]б; у Константина Костенечского: praes. 3.pl. **прѣ́теть** Псм. 45а, 46б; aor. 1.sg. **запрѣ́тиѡ̑** Псм. 56а, эта же акцентовка в совр. болг. *пре́тя* ~ русск. литер. *прети́т, запрети́т, воспрети́т*; проблему представляет окситонеза у южных "словен": ст.-хорв. **Прити̑м**, **заприти̑м** Гр. 242, словен. *prẹtíti, prẹtím*);

aor. **ѡ̑бръ́чихъ̑ бо вь̑і** 86б (вероятно, а.п. b_2 в соответствии с а.п. b имени **obrǫčь*, от которого этот глагол образован, ср. укр. *обру́ч*, gen. sg. *обруча́*; словен. *ròč*, gen. sg. *rǫ́ča*, с обычным морфонологическим изменением рефлексации а.п. b основ с корневым *ǫ*; но ст.-тырн. aor. 3.sg. **ѡ̑бръчи** Зогр. Г92[1]б, т.е. так же как и деноминативы от **rǫka*: aor. 3.sg. **вь̑ръчи** Зогр. Д130[9]б, Е431[25]б, **въ̀ръчи** Зогр. 104[12]а, Г264[29]а, **въ̀ръчи сѧ** Лих.[1]3а);

aor. **въско́чишѧ** 16б; aor. 3.sg. **въско́чи** 19а (а.п. b_1: ОСА, 116);

aor. **не посра́мих сѧ** 84б (ср. praes. [**да сѧ срамить**] 107а, **посра́ми҃т сѧ** 114б, **и̏ не посра́мим сѧ** 44б) (а.п. b_2, ср. вост. сред.-болг. praes. 3.pl. **посра́мѧ сѧ** Пс.Кипр. 142а; ст.-тырн. praes. 3.sg. **посра́мит сѧ** Сб. № 764, 240а, aor. 3.sg. **посра́ми сѧ** Зогр. Г294[25]а, так же у Константина Костенечского: praes. 3.sg. **посра́мит се** Псм. 52б ~ ст.-хорв. **Сра̑мим се**, **Посра̑мим** Гр. 231);

аог. трꙋдй сѧ 92а, т҃роудих сѧ 77а; аог. 3.sg. троудн сѧ 64а, [64б – сильно смыто]; part. praet. act. троудившѧѧ сѧ 64б (а.п. b_2: ОСА, 119, № 21);

аог. не стѫжихъ 88а (а.п. b_2, ср. схрв. *стýжити се, стŷжӣ се*; *тýжити, тŷжӣм*; ст.-хорв. **Тѹжим се, Протѹжим** Гр. 226; словен. *stǫ́žiti se, stǫ̑ži se*; *tǫ́žiti, tǫ̑žim*; чеш. *toužiti*, слвц. *túžit'*, ст.-польск. *tążić*; от **tǫga*, а.п. *b*);

аог. причѧ|стишѧ сѧ 64а (вероятно, а.п. b_2, согласно с а.п. *b* или *d* производящего имени, см. ОСА, 203; но ст.-тырн. inf. причѧстити сѧ Б49[27]б, причѧстити сѧ Г268[5]б, аог. 3.sg. прїчѧсти сѧ Д134[4]а, Г297[13]а ~ ст.-хорв. **Частим, Ѹчастим** или **Честим, Ѹчестим** Гр. 244; переход глагола в а.п. *c*, по-видимому, связан с падением а.п. *b* *i*-основ и переходом соответствующих имен в подвижный акц. тип);

аог. 3.sg. и оуздбвли 81б (но praes. 1.pl. да довлй сѧ 110а, по-видимому, указывает на колебание акцентовки этого глагола);

аог. 3.sg. и не ѡдъжди 35[2]б (а.п. b_2: ОСА, 114, № 10; у Константина Костенечского нормальное отражение: аог. 3.sg. ни бо ѻдьжй Сб. 3[22]а, – но существует и подвижный вариант: inf. ѡдьжити Сб. 8[13]б, аог. 3.sg. и ѻдьжи Сб. 135а, – который, возможно, следует связывать с колебанием а.п. производящего имени);

аог. 3.sg. приклюꙋчи сѧ 21а (а.п. b_2: ОСА, 117, № 7);

аог. 3.sg. искоупи 91а (а.п. *b*, ср. ст.-тырн. inf. и|скꙋпити Зогр. А310[2-3]а, praes. 1.pl. кꙋпимь Зогр. Б50[9]б, 3.sg. искꙋпить Зогр. Г292[19]б, аог. 3.sg. искꙋпи Зогр. А310[13]а ~ словен. *kúpiti, kúpim*, чеш. *koupiti*, слвц. *kúpit'*);

аог. 3.sg. оумрътви 56б (по-видимому, а.п. b_2: ср. ст.-тырн. аог. 3.sg. ꙋмрътви Зогр. Б76[22]б, зап. сред.-болг. inf. не ꙋмр҃твити Ис.Сир. 31б, *l*-part. ꙋмр҃твилъ Ис.Сир. 10а ~ ст.-хорв. **Мертвим, Ѹмертвим** Гр. 221, словен. *mrtvíti, mrtvím*);

аог. 3.sg. и размѣси сѧ 2а (а.п. b_1: ОСА, 120);

аог. 3.sg. оучрѣди 12а (а.п. b_2, ср. ст.-хорв. **Чрйдим се, Очрйдим се** Гр. 224, словен. *črẹ́diti (se), črẹ̑dim* (с вторичной интонацией вместо рефлекса "нового акута", чеш. *tříditi*; но ст.-тырн. аог. 3.sg. ꙋчрѣди Зогр. В325[13]а, так же у Константина Костенечского: и ꙋчрѣди Сб. 47[18]а, что, по-видимому, вторично).

А.п. *а*

А. Случаи форм инфинитива с ударением на форманте *-i-*:

inf. **бгатити сѧ** 110б, **ѡбгатити сѧ** 110а (ср. вост. сред.-болг. **и богатй** Пс.Кипр. 137а; ст.-тырн. inf. **ѻбѡгатити** Г264[21]а, **и ѻбогатити сѧ** Г246 б ~ схрв. *бо̏гатити, бо̏гатӣм*; ст.-хорв. **Бога́тим, Ѻбога́тим** Гр. 240; словен. *bogátiti, bogâtim*);

inf. **мѫчити** 4б (ср. ст.-тырн. praes. 3.sg. **мѫчй** В324[1]б, 1.pl. **мѫчим сѧ** Е427[10]а ~ схрв. *му̏чити, му̏чӣм*; ст.-хорв. **Му́чим, Заму́чим** Гр. 245; словен. *múčiti, mûčim* SSKJ, у Plet. *múčiti, -im*, очевидно, по источникам, не различающим интонации);

inf. **испльнити** 63б, 103б (при варианте **испльнити** 100а) ~ aor. **испльних сѧ** 84а, **испльниша** 79а, **испльнишѧ** 15б, **испльни|ша** 87а, **испльниша сѧ** 5б; aor. 3.sg. **испльни** 5а, **испльни сѧ** 4а; praes. 3.sg. **испльнить** 106а (ср. вост. сред.-болг. **испльниши мѧ** Пс.Кипр. 13а, **испльнй** Пс.Кипр. 17а, **испльнй** Пс.Кипр. 103а, **и и|спльнит сѧ** Пс. Кипр. 63а, **испльнѧ|сѧ** Пс.Кипр. 93б-94а; ст.-тырн. inf. **испльнити** Б33[9]а, **испльни|ти** Г101[11-12]а, схрв. *пу̏нити, пу̏нӣм*; ст.-хорв. **По́лним, Напо́лним** Гр. 234);

inf. **противити сѧ** 98б ~ aor. **противисте сѧ** 61а, **проти|висте сѧ** 86, **противиша сѧ** 61а, **противиста| сѧ** 112б (но также с "оттяжкой" и ритмическим ударением: **противисте сѧ** 39б); aor. 3.sg. **противи сѧ** 113б (ср. вост. сред.-болг. **съпротивит сѧ** Леств., 17а; ст.-тырн. inf. **противити сѧ** Г247[1]б, В324[21]а, ст.-хорв. **Проти́вим се, Возпроти́вим се** Гр. 222; словен. *protíviti se, protîvim se*; но схрв. *проти̏вити се, про̀тӣвӣм се*);

inf. **ѡставити** 6б, **прѣставити| вѣ** 99б (при варианте **поставити** 59б, **поставити** 112а, **прѣставити** 61а, 86б) ~ aor. **ѡстави себѣ** 60а, **ѡстави тѧ** 114а, **ѡставиша** 32а, **ѡставиша** 113б, **поставиша** 6б, **поставишѧ** 7а, **и поставиша** 1б; aor. 3.sg. **постави** 7б, **поста|[ви]** 8а, **постави** 19а, **и постави себе** 1а, **и постави его** 7а, **прѣстави его** 123а, **и прѣстави** 99б, **ѡстави** 123б, **не ѡстави сѧ** 2б, 2.sg. **ѡстави мѧ** 132а; *l*-part. **ѡставиль намь** 59а (ср. вост. сред.-болг. **въставить** Пс.Кипр. 151а, **на|ставит сѧ** Пс.Кипр. 123б; ст.-тырн. inf. **оста|вити** А13[8-9]б, **ѻставити** Е77[14]б, **ѿставити** ? Г254[10]а, Г269[18]а, **прѣстави|ти**

Г256⁹⁻¹⁰а, схрв. *ста̏вити, ста̏вӣм*; ст.-хорв. **Ста́вим, Возста́в[и]м**. Гр. 222; словен. *stáviti, stâvim*);

inf. **оу҆тѣши́ти** 80а, **Ѹтѣши́ти сѧ** 126б, **и҆ оу҆тѣши́ти вⷭ҇** 103б ~ aor. **оу҆тѣ́шихѡⷨ сѧ** 84б, **оу҆тѣ́шихѡⷨ сѧ** 103б, **и҆ оутѣ́шишѧ̂ сѧ** 23а; aor. 3.sg. **оу҆тѣ́ши на́сь** 84а, **и҆ оутѣ́ши въсѧ̂** 22б; part. praet. act. **ѻутѣ́ши|вше же сѧ** 31б (схрв. *тѐшити, тѐшӣм*; ст.-хорв. **Тѝшим, Ұтѝшим** Гр. 248).

Б. Случаи, когда отмечены лишь формы инфинитива с накоренным ударением:

inf. **и҆ въсхы́тити̏** 26б ~ aor. [и] **въсхы́тишѧ̂** 89а; aor. 3.sg. **въсхы́ти** 10а (ср. ст.-тырн. inf. **въсхы́тити** Г104⁸а, схрв. *хи̏тити, хи̏тӣм*; ст.-хорв. **хи́тим, Прехи́тим; хви́тим, Ұхви́тим** Гр. 243; словен. *hítiti, hî́tim*);

inf. **въмѣ́стити** 42а (схрв. *у̀местити, у̀местӣм*; ст.-хорв. **Ми́стим, Надоми́стим** Гр. 242; словен. *naméstiti, namêstim*; *uméstiti, umêstim* при вариантах: *namẹstíti, namẹstím*; *umẹstíti, umẹstím* SSKJ; Plet. дает *naméstiti, -im*; *uméstiti, -im*, по-видимому, по источникам, не различающим интонации);

inf. **просла́вити** 63б ~ aor. **просла́вишѧ** 51б; aor. 3.sg. **просла́ви** 118б, **просла́|ви** 3б (ср. вост. сред.-болг. **и҆ просла́виши мѧ** Пс.Кипр. 43б, **сла́вить** Пс.Кипр. 12а, **просла́вит мѧ** Пс.Кипр. 44а; ст.-тырн. inf. **прѡсла́вити** Е79²⁰а, схрв. *сла̏вити, сла̏вӣм*; ст.-хорв. **Сла́вим, Просла́вим** Гр. 222);

inf. **по|мы́слити** 81б ~ part. praet. act. **помы́сливъ** 123б (ср. ст.-тырн. inf. **помы́слити** Г291¹²б, схрв. *ми̏слити, ми̏слӣм*; ст.-хорв. **Ми́слим, Проми́слим** Гр. 229; словен. *mísliti, mîslim*);

inf. **стра́шити** 86б (схрв. *стра̏шити, стра̏шӣм*; ст.-хорв. **Стра́шим, Постра́шим** Гр. 247; словен. *strášiti, strâšim*);

inf. **ѡ҆пра́вдити сѧ** 90б ~ aor. **нъ ѡ҆пра́вдисте́ сѧ** 69а; aor. 3.sg. **ѡ҆пра́вди сѧ** 55б (вост. сред.-болг. **да ѻпра́|вдишѝ** Пс.Кипр. 44б, **не ѻпра́вдит сѧ** Пс.Кипр. 126а; ст.-хорв. **Пра̂вдим, Опра̂вдим** Гр. 223).

В. Случаи, когда отмечены формы инфинитивной основы, но не отмечен инфинитив:

aor. 3.pl. **нава́дишѧ** 25а (схрв. *ва̏дити, ва̏дӣм*; ст.-хорв. **Ва́дим, Нава̂дим** Гр. 222; словен. *váditi, vâdim*);

aor. 3.pl. **оу҆ми́|[лишѧ сѧ]** 3а, **[оумили]|шѧ сѧ** 79б (схрв. *ми̏лити се, ми̏лӣ се*; ст.-хорв. **Ми́лим, неуж.; Сми́лим се** Гр. 229);

аог. 3.pl. **й лйцемѣрнш҃а** 90б (схрв. *лицѐмерити, лицѐмерӣм*; *мѐрити, мѐрӣм*; ст.-хорв. **Мйрим, Мѐрим, Размйрим** Гр. 238; словен. *licemériti, licemȇrim* SSKJ; *mẹ́riti, mẹ̑ri* Plet.);

аог. 2.pl. [**вы м**]**а нӑдисте** 88а (схрв. *нӱдити, нӱдӣм*; ст.-хорв. **Нӱдим, Понӱдим** Гр. 223; словен. *núditi, nȗdim*);

part. praet. act. **ѿчйсти**|[**в**]**ше** 37а (ср. **ѿчйстить** 121б) (ср. вост. сред.-болг. **й ѻчй**|**стить** Пс.Кипр. 136б; ст.-тырн. inf. **ѻчй**|**стити** В62[5-6]б, схрв. *чӥстити, чӥстӣм*; ст.-хорв. **Чйстим, Очйстим** Гр. 243; словен. *čístiti, čȋstim*);

l-part. **йзбáвиль**[...] 132б, аог. 3.sg. **йзбáви н҃а** 99б (ср. вост. сред.-болг. **йзбáвит ма** Пс.Кипр. 14б; ст.-тырн. inf. **йзбáвити** Е431[30]а, схрв. *бȁвити се, бȁвӣм се*; ст.-хорв. **Бáвим, Забáвим** Гр. 221; словен. *izbáviti, izbȃvim*; *zàbáviti, zabȃvim*);

l-part. **вЪзвелйчилЪ є҃** 131б (ср. ст.-тырн. аог. 3.sg. **възвелйчи** А6[27]а, ст.-хорв. **Велйчим, Возвелйчим** Гр. 244; словен. *velíčiti, velȋčim*).

Я привел здесь практически полный материал по акцентовке форм инфинитивной основы *i*-глаголов неподвижного акцентного типа в Апостоле № 93 в виду исключительной значимости ее для праславянской реконструкции. Очевидно, что в диалекте, отразившемся в памятнике, а.п. *a* и а.п. *b* этих глаголов совпали в едином акцентном типе или процесс такого совпадения находится в завершающей стадии. Формы инфинитивов с ударением на форманте *-i-* встречаются в большом количестве как у глаголов бывшей а.п. *b*, так и у глаголов бывшей а.п. *a*, отсутствие варианта инфинитива с ударением на *-i-* у некоторых *i*-глаголов а.п. *a* так же мало показательно, как отсутствие такого варианта у некоторых глаголов а.п. *b*. Однако несомненно, что формы инфинитивов с ударением на *-i-* у глаголов бывшей а.п. *a* – результат влияния а.п. *b*. Это ударение не может быть результатом влияния а.п. *c*, иначе мы должны были бы ожидать аналогичных вариантов и у других форм от инфинитивной основы, а таковые фактически отсутствуют. Этот вывод подтверждает и материал текстов Константина Костенечского, где варианты инфинитивов *i*-глаголов неподвижного акцентного типа с ударением на *-i-* менее частотны, но зато встречаются преимущественно у глаголов бывшей а.п. *b*. Таким образом материал Апостола № 93 заставляет предполагать для восточноболгарской акцентовки рассматриваемой категории такое первичное состояние, при котором у *i*-глаголов а.п. *a* было постоянное накоренное ударение во всех формах, а у *i*-глаголов а.п. *b* при накоренном ударении во всех формах с инфинитивной основой сама форма инфинитива имела ударе-

ние на форманте -*i*-. Этот результат ставит нас перед необходимостью серьёзной коррекции праславянской акцентологической реконструкции.

Сравнительно-исторический комментарий. Наблюдается поразительное согласование этой акцентной кривой *i*-глаголов а. п. *b* и "кривой" западнославянских количественных отношений. Ст.-болгарское распределение ударения форм с акутированным -*i*- находит прямое соответствие в западнославянских чередованиях количеств: *ст.-болгарским баритонированным формам соответствуют зап.-славянские формы с сохранением долготы первично долгого корневого гласного, ст.-болгарским формам с ударением на -i- ("окситонированным" формам) – зап.-славянские формы с сокращением первично долгого корневого гласного*[2].

Таблица

		Акцентная кривая *i*-глаголов а.п. *b* в архаичных староболг. системах		Западнославянская "кривая" количеств *i*-глаголов а. п. *b*	Праславянская реконструкция акц. кривой *i*-глаголов а. п. *c*
		краткосл.	долгосл.		
inf.		твори́ти	сѫди́ти	*sǭdĭti*	**sadīti*
sup.		тво́ритъ	сѫ́дитъ[1]	*sǭdĭt* (?)	**sâditь*
aor. sg.	1	*творѝхъ	*сѫдѝхъ		**sadīxь*
	2-3	тво́ри	сѫ́ди		**sâdi*
pl.	1	тво́рихомъ	сѫ́дихомъ		**sadixòmь*[2]
	2	[тво́ристє]	[сѫ́дистє]		**sadīste*
	3	*твори́шѧ	*сѫди́шѧ		**sadīšę*
l-ptc. sg.	m	тво́рилъ	сѫ́дилъ	*sǭdil*	**sâdilь*
	f	тво́рила	сѫ́дила	*sǭdilā*	**sadilā̃*
	n	тво́рило	сѫ́дило	*sǭdilo*	**sâdilo*
pl.	m	тво́рили	сѫ́дили	*sǭdili*	**sâdili*
	f	тво́рилы	сѫ́дилы	*sǭdily*	**sâdily*
	n	тво́рила	сѫ́дила	*sǭdilā*	**sadilȁ*

Комментарии к табл.: В квадратные скобки заключены формы, акцентовка которых, видимо, является вторичной, возникшей по аналогии с другими формами парадигмы.

1. Супин слабо засвидетельствован в ст.-болгарских текстах. О противопоставлении ударения супина *i*-глаголов а. п. *b* инфинитивному, видимо, свидетельствует баритонированная форма погл҄ѣтитъ в НБКМ 93, л. 39 б.

2. В а. п. *c* формант -*i*- в инфинитиве доминантен, но тот же формант в супине или *l*-причастии рецессивен. Проблематичен характер этого форманта в аористе. В нашей реконструкции принято, что в формах 2-3 sg. -*i*- рецессивно, а во всех остальных формах доминантно. Это соответствует характеру акц. кривой в штокавском, где, однако, эта акц. кривая принадлежит глаголам как праслав. а. п. *c*, так и а. п. *b*, которые совпали в едином классе. Показания центр.-болгарских текстов, напротив, указывают на сплошную рецессивность форм

---

2 Чередование количеств, которое можно назвать "кривой количеств", восстанавливается для западнославянских долгосложных *i*-глаголов а. п. *b* на основе показаний древнечешских и древнепольских памятников, а также поморских диалектов.

аориста *i*-глаголов а. п. *b*. Это противоречие может быть разрешено допущением чередующегося характера данного *-i-* в ортотоических формах аориста, что, возможно, поддерживается реликтами чередования в так наз. "имперфекте в форме аориста" от глагола **byti*: бѣ|хѡмь Ев.-апр. 7364, л. 216б и (с двумя знаками ударения) и бѣхѡмъ НБКМ 93, л. 95б при последовательно накоренном ударении во всех остальных ортотонических формах этой категории (формы 2-3 sg., как и у обычного аориста от данного глагола — энклиномены, ср. нє бѣ Ев.-апр. 7364, л. 2а, нє бѣ НБКМ 889, л. 33а), подобная же акцентовка спорадически отмечается в форме 1 pl. aor. и у глаголов на *-i-*: насладихѡм сѧ Служ. Евф. 70а. К такому решению, по-видимому, подталкивает и акцентовка "Книг царств", где, при накоренном ударении в *l*-причастии *i*-глаголов а. п. *b*, в формах инфинитива, 1. sg. и 3. pl. аориста наблюдаются варианты с ударением на "теме" *-i-*.

Объяснить архаическую ст.-болгарскую акц. кривую, исходя из зап.-славянского чередования количеств, т. е. как вторичную по отношению к последнему, очевидно, невозможно, так как *староболгарская акцентная кривая присуща не только долготным, но и краткостным i-глаголам а. п. b*.

Наиболее естественным было бы объяснить зап.-славянское чередование количеств, приняв, что оно возникло, когда зап.-славянские языки имели в данных формах акцентовку, тождественную архаической ст.-болгарской. В этом случае сокращение долгот в инфинитиве, повелительном наклонении, 1 sg. praes. и nom. sg. ptc. praes. act. m./n. объяснялось бы положением долготного слога перед ударным акутированным слогом, а сохранение долгот в остальных словоформах — их ударной позицией под "новым акутом".

Однако это решение не указывает на исключительную зап.-славянско-вост.-болгарскую общность. Дело в том, что как и сокращение долгот перед внутренним ударным акутированным слогом, так и противоречащее этому закону сохранение долготы в формах *l*-причастия и аориста долгосложных *i*-глаголов а. п. *b* характерны фактически для всей территории южнославянской языковой области, на которой сохранились количественные противопоставления и соответствующие позиции.

Правда, во всех известных южнославянских системах такого рода долгота проведена по всей парадигме долгосложных *i*-глаголов а. п. *b*, но процесс устранения сокращенных рефлексов в парадигме этих глаголов характерен и для зап.-славянской области (так в современных чешском, словацком и польском). Принятие предложенного решения должно означать, что в таких формах как ст.-хорв. (Крижанич) стꙋпил (= стꙋпил), стꙋпили, сꙋдил (= сꙋдил), потрєбил, слꙋжила, славон. *povrātīl, pozavlāčīl, svȓšīl* и под. *сохранение долготы обязано ее первичной ударности*, и эта система акцентных кривых, таким образом, максимально близка архаической ст.-болгарской.

А это означает, что акц. система *i*-глаголов а. п. b_2 архаического ст.-болгарского типа не является результатом ретракции ударения с "темы" *-i-*, а непосредственно отражает состояние, предшествующее принятому в нашей реконструкции в качестве (поздне)праславянского. Для данных систем мы должны предполагать *дрейф раннепраславянского ударения с корневого краткостного слога и слога с балто-славянским циркумфлексом на непосредственно следующий за ним внутренний доминантный акут и отсутствие такого дрейфа как на рецессивный*

акут, так и на долготные слоги, имевшие циркумфлексовую интонацию (т. е. в формах презенса).

Праславянская парадигма *i*-глаголов включала два варианта основ — презентную, в которой "полутематическое" *-i-* имело балто-славянский циркумфлекс (эта основа в праславянском, видимо, была представлена только в личных формах презенса) и аористно-инфинитивную, в которой "полутематическое" *-i-* имело балто-славянский акут. "Полутематическое" *-i-* было доминантным у итеративных и рецессивным у каузативных и деноминативных глаголов (ОСА: 111 - 120).

Акцентная кривая а. п. *c* *i*-глаголов (с рецессивным суффиксом) характеризовалась чередованием: а) форм-энклиноменов, в которых "тема" *-i-* имела балто-славянский рецессивный акут; б) окситонированных форм с рефлексом "нового акута"; в) форм с доминантным ("старым") акутом на *-i-*, возникшим в основном вследствие действия закона Хирта-Иллич-Свитыча (см. табл.).

Для ст.-тырновской и других близких к ней центр.-болгарских систем ("система Константина Костенечского" и т. д.) невозможно предполагать в этом случае вторичную ретракцию с конечного слога, так как тогда необъяснимо сохранение конечного ударения в формах а. п. *c* (gen. **нєбєсѣ̀** < **nebesè*) и в nom. sg. f. а. п. *b* и *c* (**жєна̀, вина̀, глава̀**). Следовательно, мы должны отказаться от так называемой "вост.-болгарской ретракции ударения" (см. ОСА: 164) и признать баритонезу в **тво́рилъ, гро́ба** и т. п. не инновацией, а архаизмом.

Имеется целый ряд преимуществ такой реконструкции общего характера: во-первых, мы в большинстве случаев, по-виднмому, избегаем необходимости предполагать обратное по отношению к первоначальному направление акцентуационных процессов; во-вторых, мы восстанавливаем непосредственное генетическое тождество славянских и балтийских слоговых интонаций (слоговых акцентов): славянский акут = лит. акут (\`), лтш. плавная интонация (˜); славянский "новый акут" (˜ или ˜, в нотации, принятой югославскими диалектологами) = лит. циркумфлекс (˜), лтш. нисходящая интонация (\`); в-третьих, что непосредственно связано с последним, мы устраняем основное возражение против интерпретационного компонента праславянской реконструкции со стороны фонологической теории: каким образом могли сохраниться в праславянском оппозиции "слоговых акцентов", если один из членов такой оппозиции выпал из неё в результате сдвига акцента на следующий слог, что должно было преобразовать такие противопоставления в вершинообразующие, т.е. чисто акцентные (**mǫ̃ka* : **mǭka* > **mǫ̃ka* : **mǫkà*), при том, что другие предполагаемые тонологические оппозиции типа: доминантный (высокий, плюсовый) акут : рецессивный (низкий, минусовый) акут и доминантный (высокий, плюсовый) акут : рецессивный (низкий, минусовый) циркумфлекс не сохранились как таковые и не преобразовались в тональные корреляции (как это происходило в балтийских языках), а перешли в противопоставление ортотонических форм и форм-энклиноменов (**tãjǫ̃* : **tãjǫ̃* > ⁺*tãjǫ* : ⁻*tajǫ*), т.е. также в чисто акцентные противопоставления. Сохранение в праславянском балто-славянской оппозиции «акут : циркумфлекс» в виде оппозиции «акут : “новый акут”» самым естественным образом снимает это возражение.

Так как на локализацию системы Константина Костенечского сейчас могут претендовать районы Велинграда или (что скорее) Асеновграда (акцентологические и фонетические черты), то диалект Апостола № 93 НБКМ был расположен, по-видимому, где-то в районе Пловдива. Система Киприана по ряду акцентологических данных (в том числе по спорадическим вариантам инфинитивов от *i*-глаголов а.п. *b* с ударением на форманте *-i-*, по тенденции к расширению ударения на форманте *-a-* в имперфективах (процесс, завершившийся генерализацией ударности этого форманта в системе Константина Костенечского) должна быть локализована на западе восточноболгарской области севернее систем Константина Костенечского и Апостола № 93 НБКМ.

Такая локализация сохраняет и подтверждает локализацию старотырновской системы, представленной многочисленными памятниками (в числе которых Зогр. сб. № 171, Софийский служебник Евфимия, Синодик царя Борила и под.) районом Тырново – Габрово. Современные отличия этих диалектов от среднеболгарской акцентовки, особенно конечноударность формы 1 л. ед. числа глаголов а.п. *c*, следует, по-видимому, объяснять позднейшим процессом, двигавшимся с севера, где уже в XIV веке такая акцентовка зафиксирована в Норовской псалтыри и в Псалтыри № 3 НБКМ. Материал Норовской псалтыри с этим типом акцентовки мною приводился в Акцентологическом комментарии к Норовской псалтыри (Дыбо 1989), поэтому здесь я приведу лишь соответствующие формы praes. 1.sg. из Псалтыри № 3[3]:

А.п. *c*: тематические глаголы – 1. **възовѫ̀** 76^{9}б, 137^{9}а, **призовѫ̀** 113^{4}б, 114^{7}а, **при|зовѫ̀** 114^{13-14}а; 2. **поѫ̀** 43^{10}а, 56^{17}а, 91^{15}а, 97^{15}б, 142^{4}б, **поѧ̀** 62^{7}а, 106^{16}б, **поѧ̑** 56^{1}б, **въспоѫ̀** 106^{11}б, 140^{15}а, **въспоѧ̀** 79^{4}б, **въспо|ѧ̀** 97^{13-14}б, **ꙗко да въспоѫ̀** 55^{11}а; 3. **не ѹ҆мрѫ̀** 115^{4}б; 4. **ѹ҆тьнѧ̀** 147^{14}а; 5. **помѣнѫ̀** 77^{17}б, **по|мѣнѫ̀** 55^{13-14}б; 6. **ѡ҆блѣкѫ̀** 132^{3}б; 7. **възнесѫ̀ тебѣ̀** 48^{5}а, **въ|знесѫ̀ тебѣ̀** 48^{3-4}а; 8. **и҆ съсѣкѫ̀** 81^{7}а; 9. **и҆зчьтѫ̑ ѧ̑** 135^{6}б; *i*-глаголы – 10. **възвѣщѫ̀** 56^{1}а, **възвѣ|щѫ̀** 55^{16-17}б, **да въ|звѣщѫ̀** 59^{9-10}б; 11. **и҆ ꙗвлѧ̀** 84^{14}б; *ě/i*-глаголы – 12. **възрѧ̀** 115^{1}а, **призрѧ̀** 116^{7}б; 13. **оу҆слышѫ̀** 76^{6}а (ср. **оу҆|слыши́ть** 142^{12-13}а, **и҆ да|**

---

[3] Обратить внимание на эту особенность акцентной системы Псалтыри № 3 тем более важно, что в исследовании Я. П. Хинрикса (*Hinriks J.P.* Zum Akzent im Mittelbulgarischen. Amsterdam, 1985), это отличие системы ее диалекта от старо-тырновской системы, отраженной в Софийском служебнике, не отмечено и акцентовка обоих памятников фактически рассматривается как однородная.

[Оуслы]шйть 148$^{19-20}$а, не слышйт'ли 86^{16}б; при варианте а.п. *a*, см. соответствующий список).

А.п. *c* с энклитиками: тематические глаголы – 1. **възнесѫ́ са** 107^{6}а, **Възнесѫ́ та** 141^{2}а, **и възнесѫ́ та** 116^{8}а; 2. **и спсѫ́ са** 122^{3}б; *i*-глаголы – 3. **възвеселѧ́ са** 97^{17}б; 4. **[И] оуподоблѧ́ са** 139^{11}а; 5. **бл҇вѧ́ та** 141^{5}а, **бл҇вѧ́| та** 44$^{3-4}$б; 6. **поо́учѧ́ са** 117^{10}а, **и поо́учѧ́ са** 122^{3}б, **и поѹ-чѧ́ са** 63^{11}б; *a/i*-глаголы:[4] 7. **и не ѹбоѫ́ са** 114^{17}б.

Несколько глаголов приобрели а.п. *c* вторично: 1. **пожрѫ́** 114^{12}а (ср. **И пожрѫ́ть** 105^{12}а); 2. **послѧ́** 150^{13}а (ср. **по|слѣ́ть** 109$^{10-11}$б); 3. **не ѿврьгѫ́ са** 81^{15}б (ср. первичный вариант: **и не ѿврѣже|т са** 132$^{7-8}$а).

Интересно, что несколько форм praes. 1.sg. от глаголов а.п. *c* зафиксированы с накоренным ударением: 1. **ѿврѣзѫ** 64^{5}б: 2. **посáждѫ** 132^{9}а (ср.: aor. 3.sg. **и нáса|ди** 71$^{12-13}$а); 3. **оѹгóждѫ** 113^{17}б (ср.: aor. 3.sg. **и оѹ-годи** 102^{12}б); 4. **бѣ́жѫ** 134^{14}б (ср.: praes. 3.pl. **и да бѣжѫ́ть** 48^{17}б).

А.п. *a*: тематические глаголы – 1. **покрыѧ и҃** 84^{10}б; 2. **расѣ́ѫ ихь** 150^{18}а; 3. **пролѣ́ѫ** 138^{5}а (ср.: **пролѣ́еть** 92^{7}а, видимо, вторичный переход в неподвижный акцентный тип); 4. **въстáнѫ** 106^{14}б; 5. **по|стйгнѫ** 147$^{12-13}$а; 6. **бѫ́дѫ** 115^{4}б, **не забѫ́дѫ** 121^{3}а, **не забѫ́|дѫ** 117$^{10-11}$а; 7. **възлѣ́зѫ** 131^{7}б; 8. **ѡ|брѧ́щѫ** 131$^{11-12}$б; *i*-глаголы – 9. **и избáвлѧ и҃** 84^{9}б; 10. **възве|лйчѧ его** 53$^{11-12}$б; 11. **размѣ́рѧ** 107^{8}а; 12. **исплъ|нѧ и** 84$^{13-14}$б, **и исплънѧ ıа** 72^{8}б; 13. **и прослáвлѧ** 77^{12}а, **и про|слáвлѧ и҃** 84$^{12-13}$б; 14. **насы́щѫ** 132^{2}б, 147^{14}а; *ě/i*-глаголы – 15. **вйжѫ** 161^{2}а; 16. **и оуслы́шѫ и҃** 84^{11}б (ср.: **и не слы́шѫть** 112^{9}б, при варианте а.п. *c*, см. выше).

А.п. *b*: тематические глаголы – 1. **прїймѫ** 61^{7}б, 114^{6}а; 2. **йдѫ** 134^{12}б, **вънйдѫ** 47^{16}б, 55^{13}б, 88^{6}б, **възы|дѫ** 134$^{14-15}$б, **пойдѫ** 134^{9}а, 139^{15}а, **и пойдѫ** 77^{8}а, **снйд|[ѫ]** 134$^{15-16}$б; 3. **не вз|змóгѫ** 134$^{11-12}$б; 4. **да не оу|глѣбнѫ** 52$^{6-7}$б; *j*-praesentia – 5. **и съэйждѫ** 72^{13}б; 6. **възыщѫ** 124^{13}а, **и възыщѫ** 118^{12}а; *i*-глаголы – 7. **ни прѣ|врѣждѫ** 81$^{11-12}$б; 8. **ѡбрáщѫ** 50^{6}б, **ѡбрá|щѫ** 50$^{6-7}$б, **възв҇рáщѫ** 132^{5}б, **ѿврá|щѫ** 149$^{16-17}$б; 9. **раздѣ́лѧ** 147^{13}а, **и| раздѣ́лѧ** 107$^{6-7}$а; 10. **полѡ|[жѫ]** 81$^{16-17}$а, **и полóжѫ** 81^{12}а, **И**

---

[4] Формально глагол *bojati sę* может быть отнесен к *ě/i*-глаголам, но этимологические соображения заставляют отнести его к небольшой реликтовой группе *a/i*-глаголов, в которую кроме него входят *sъpati* и *sъcati*.

полóжж 81^{2}б, **Й прилóжж** 55^{9}б; 11. **слóмла** 62^{9}а; 12. **не разбóра** 81^{11}б; 13. **пошира** 151^{2}б; 14. **да са не постЫжд[ж]** 120^{11}а; 15. **посѣцж** 81^{9}б; 16. **тжжж** 92^{12}а; 17. **въсхвáла** 53^{10}б, **въсхвá|ла** 142$^{2-3}$б, **й въсхвáла** 141^{5}а; 18. **съхрáна** 81^{18}а, **съ|хрáна** 116$^{11-12}$б, **й съхрáна** 118^{14}а, 118^{17}б, 123^{8}б, 124^{14}а, **й [с]ъхрáна** 120^{11}б, **й съ|хрáна** 117$^{12-13}$а, **да съхрáна** 121^{3}б.

А.п. *b* с энклитиками: 1. **поглоýмла са** 117^{8}а, **поглоýмла са** 120^{6}а, **поглоý|мла са** 63$^{13-14}$б, **[й погл]ѹ̂мла са** 117^{18}б; 2. **при|лóжж ли** 155$^{7-8}$а; 3. **мó|ла са** 45$^{7-8}$а; 4. **въсéла са** 132^{17}а, **[й вь]сéла са** 134$^{15-16}$б, **не прѣсéла са** 43^{11}б; 5. **не постЫждж са** 116^{6}б, **да не постЫ|ждж са** 54$^{9-10}$б; 6. **Ни ѡсквръна же** 81^{13}б.

Предполагавшуюся ранее локализацию диалектов Норовской псалтыри и Псалтыри № 3 НБКМ на северо-востоке от Тырнова, по-видимому, следует изменить на северную, так как обнаруженный текст Рил. 3/10 свидетельствует о явной древности "передвижки" ударения с внутреннего акутового слога налево (на предшествующий слог). Это явление отмечается в восточно-мизийских и в родопских диалектах[5], но родопская локализация для текста Рил. 3/10 не подходит по другим параметрам. Таким образом, нам остается восточно-мизийская локализация акцентной системы, отразившейся в данном памятнике, диктуемая указанной "оттяжкой", зафиксированной в нем достаточно надежно: **жéлѣзѡ** acc.sg. 174б, **й жéлѣза** gen.sg. 67б, **жéлѣзны** acc.pl. f. 62б, **ѿ дóсадъ** gen.pl. 84б, **пѐчаль** nom.sg. 174б и под.

Следы такой же "оттяжки" отражает и Апостол № 93 НБКМ, который мы локализуем в непосредственной близости к родопской зоне этого явления: **жéлѣзнаго** 111б (но **ӑжемӑ желѣ́знома двѣма** 25а), **й оу҆тѣхж** acc. sg. 75б, **оу҆тѣхóж** instr.sg. 84а, **ѿ пéчѣли бо** gen. sg. 81а, **пéчали** gen.sg. 126б, 128а, **пéчали** dat,? sg. 82б, **нж пéчали** dat.sg. 124б, **въ пéчѣле** loc.pl. 103б, **безпéчѣлиѡмъ** dat.pl.m. 70б (но **й| печáлми** 122б), **не на скрижале** 81б, **нж на скрижалехъ** 81б.

Примечание. Характер этого явления и его дистрибутивные позиции остаются в настоящее время неясными. Неясно также в какой степени отделима эта "оттяжка" от других

[5] Ареал, отмечаемый в настоящее время зоной акцентовки *mótyka* БДА т. II, карта №126, т. III, карта №124 (в отличие от *motýka* других диалектов).

"оттяжек" на начало слова, характерных для данных зон и для указанных памятников, ср. Апостол № 93 НБКМ: гóтовъ nom.sg.m. 24б, гóтовъ nom.sg.m. 88а, гóтови nom.pl.m. 27а, 36а, гóтово acc.sg.n. 39а, ?85б, въ гóтоваа acc.pl.n. 86б, ср. оуготóвáтъ 3.pl.praes. 85б, оуготова aor.3.sg. 66б, проуготóвá сѧ aor. 3.sg. 85б, приоуготóвáни part.pass. nom.pl.m. 85б, не приоуготóвáнны part.pass. acc.pl.m. 85б, по вéчери dat.? sg. 74а, и ѿ жéстокь gen.pl.m. 35а, жéстокыи loc. pl. n. 48б, прóти|вим сѧ 26б, прóти|ват сѧ 38а, прóтивѧщи сѧ dat.pl.m. 39а, прóтивѣте сѧ 39б (но: протѝвлъши сѧ 38б, протѝвѫ 29б, 30а, протѝвень 30а, про|тѝвенъ 31а, прóтивни 30б), свéрѣпы nom. pl. f. 48б, и съ нарѡчитымѝ 29а, и особенно в приставочных образованиях: ѝзбытóкъ nom.sg. и ѝзбы|токь acc. sg. 34а, дóстоенъ nom.sg.m., 77а, и дóстойнъ 110а, дóстойно 78б, 94а, 96б, 99б, 109а, дóстойни 110а, не нá-прасн|оу| dat. sg. m. 114а (правое поле), пóдрѡбноу 121а, прѝстрашенъ 28б, прѝсра|шни nom.pl.m. 25б, прѝлежнѫѧ acc.sg.f. 39а, рáзличнѣи dat.sg.f. 39а, рáзличнѣи loc.sg.f. 29а, рáзличными instr. pl. n. 125б, мнóгорáзличнаа nom. sg. f. 96а, ѡ рáзлични 42б, и рáзличїи 42б, рáзлично nom. sg. n. 61а, зáвѣсѣ dat.sg. 119б, зá||вѣсѣ] dat.sg. 121а, прóказá nom.sg. 93а, ѿслабѫ acc.sg. 28а, и ѝждивень 88а и под. Также в Рил. 3/10: и съпрóтивна nom.pl.n. 162б, съпрóтивно adv. 179а, 179б, и нáпраснá nom.sg.f. 82а, óпасен nom.sg.m. 212б, ѿпасно adv. 170а (но Апостол № 93: ѿпáсно 21б), пóтрѣбнѫ acc.sg. f. 186а (Апостол № 93: потрѣбно 22б, на потрѣбѫ 32б), ѝскоусенъ nom.sg.m. 79а, ѝскоусны acc.pl.m. 183а, не ѝскоусны acc.pl.m. 183а, рáзличны acc.pl.m. 163а, пóдвиженъ nom. sg. m. 74б; ѿбнаженъ 71б, пóдниженъ nom.sg.m. 74б, óбле|жимъ part. praes. pass. nom.sg.m. 186а[6].

Ср. "нормальную" акцентовку, например, в памятниках "системы Киприана": печáль же nom.sg. Леств.188б, печáли gen.sg. Леств.21а, 138б, 196б, 216а, Пс. Кипр. 46б, ѿ печáли Пс. Кипр. 51б, печá|ли dat.sg. Леств.238а, печáль acc.sg. Пс. Кипр. 125б, и печá|лїѧ instr. sg. Леств. 7б, печá|лїѧ instr.sg. Пс. Кипр. 46б, печáлїѧ instr.sg. Леств. 161б, въ беспечáли же loc.sg. Леств. 21а, въ пѧчѝнѣ Леств. loc.sg. 24а, съпротѝвное же Леств. 216а, по вечéри Леств. 114б.

В то же время Рил. 3/10 сохраняет безударность форм-энклиноменов в виде, близком к тому, который представлен в старо-тырновской группе:

1.sg. praes.: пóмлъча 183б;

2-3.sg. aor.: пóгаси 7а, пóпоусти 16б, ѝсоуши 69б, пóгрѧзи 93б, рáз-шири 97а, рáстли 160б, нáоучи 171б;

2-3.sg. aor. с энклитиками: въз|ѧри сѧ 87б, ѧви сѧ 50а, оучини сѧ 88а, съλоучи сѧ 38а, оустрани сѧ 86б;

part. praet. act.: зáградивъ 70б.

---

[6] Ср. родопские: *нáпрасан, нáпрасно* БД II, 217 (см. также *нáгръдник* БД II, 213, *рáзметна, рáзметно* БД II, 256, *рáсправен* БД II, 257, *рáссипен, рáссипна* БД II, 257, *рáстажно* БД II, 258, *рáстопен, рáстопна* БД II, 258, *рáстрасен, рáстрасно* БД II, 258, и под.

Эта особенность, по-видимому, характеризовала среднеболгарские диалекты восточной локализации, тогда как падение системы, построенной на законе Васильева-Долобко, выражающееся в иммобилизации акцента в формах-энклиноменах или в потере их парадигматической отнесенности, проявляется в XIV–XV веках как раз в ряде памятников западной локализации. К западу восточноболгарской территории следует, по-видимому, отнести и такую черту как оттяжка ударения с энклитики на предшествующий слог в формах 2-3.sg. aor. от *i*-глаголов a.п. *c*, которая характерна для текстов "системы Киприана" и им подобных. В этой связи важно, что для Апостола № 93 в отличие от Рил. 3/10 также характерна эта оттяжка, ср.:

Формы 2-3.sg. aor. от *i*-глаголов a.п. *c*

2-3.sg. aor. без местоименных энклитик: прѡвъзвѣсти 3б, възгласи же 19а, оу҆годи• 63а, пѡгоуби 48а, прикλони 3?sg. 131а, пѡкори 127б, пѡкропи 121б, въскрѣ[си] 2б, въскрѣси 2б, 4а, въскрѣси 3б, смири 99б, пѡ|рази 14а, рѡди 7а, 8а, рѡди 7а, разрѣши 2б, свѡ|боди 92б, ѡслѣпи 44а, 82а, и др.

2-3.sg. aor. с местоименными энклитиками: възвесели сѧ 2б, ра|здѣли сѧ 70б, и раздѣли сѧ 26б, прѣклони сѧ 23а, прилоучи сѧ 25а, роди сѧ 7б, въсади ны 30б, распространи сѧ 83б, ꙗви сѧ 7а, 8а, 15б, 53б, 121б, и др.

Таким образом, можно представить лингво-географическое распределение известных нам групп восточноболгарских памятников XIV–XV веков в следующем виде:

Восточноболгарские тексты

(тексты с "восточноболгарской ретракцией" ударения в *i-*, *je-* и *nǫ*-глаголах – в аористной основе, кроме инфинитива)

"Балканские" диалекты

а) старотырновский – совпадение a.п. *a* и a.п. *b* в *i-*, *je-* и *nǫ*-глаголах в акцентном типе *A* (ударение на корне во всех формах, включая инфинитив), максимальное сохранение энклиномичности в a.п. *c*.

б) "пловдивский" – Апостол № 93 НБКМ: совпадение a.п. *a* и a.п. *b* в *i*-глаголах в акцентном типе *B* (ударение на корне во всех формах, кроме инфинитива, в котором обнаруживается тенденция к генерализации ударения на теме *-i-*)

в) тексты Константина Костенечского – Асеновградский диалект (?), Велинградский диалект (?) или древний диалект Костенца (ближний юго-запад восточноболгарской территории);

г) "система Киприана" (запад восточноболгарской территории, но не юг).

Мизийские диалекты

д) "шуменский" (?) – с типом жє́лѣзо (Рил. 3/10);

е) северная группа (Норовская псалтырь, Псалтырь №3) – север и северо-запад (?) восточноболгарской территории.

Родопские говоры не отражены в рукописях (нет рукописей с энклиноменами 2.sg. imperat.), но Апостол № 93 НБКМ отражает, как было показано выше, определенные черты, возникшие, по-видимому, под влиянием этих говоров.

Сокращения

Апостол № 93 НБКМ = Апостол № 93 Народной библиотеки Кирилл и Мефодий (София) = НБКМ 93

БД – Българска диалектология. Проучвания и материали. София.

БДА – Български диалектен атлас. София, 1964 – 1981. Т. I — IV.

БСИ – Балто-славянские исследования. М.

Геров – Геров Н. Рѣчннк на бльгарскый языкъ. Пловдив, 1895 – 1904. Т. I – V.

Гр. – Граматі́чно искâзаніє об ру́ском језі́ку попа́ Ју́рка Крижа́ннща, презва̂нніјем Сербланина ме́джу Ку́поју и Ку́ноју рика́ми, во уіє́здех Бихща гра́да, окол Дубовца́, Озьа́ и Ри́бника Остро́гов / Пи́сано вь Сибі́ри Лі́та ҂зрод / Издано Бодянским. М., 1859. (Арабские цифры передают славянскую пагинацию книги).

Дыбо 1989 – Дыбо В. А. Акцентологический комментарий к Норовской псалтыри // Норовская псалтырь. София, 1989. Т. 1.

Ев.-апр. 7364 – Евангелие-апракос: сербская рукопись начала XV в. // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 178, № 7364.

Ев. № 1139 – Четвероевангелие: среднеболгарская рукопись конца XIV в. // НБКМ № 1139. Образцовое описание акцентной системы этого памятника представляет собой работа: *Hock Wolfgang.* Der Flexionsakzent im Mittelbulgarischen *Ev. 1139* (NBKM). Bd. I — II. München, 1992.

Зогр. = Зографское евангелие (ст.-слав.).

Зогр. = Зогр. сб. № 171 = Зогр. сб. № 171 (№ 103, по Стоилову). – Сборник слов и житий: восточиоболгарская рукопись XIV в. // Б-ка Афонского Зографского монастыря, № 171 (по Ильинскому, ранее была известна под Зогр. № 103 II г 6, сокращенно № 103).

Зогр. 151 = Зогр. сб. № 151 = Сб.

Ис.Сир. – Поучения Исаака Сирина: западноболгарская рукопись 1381 г. (1-й почерк) // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 304, № 172.

"Книги царств" – ст.-сербская рукопись XV в. (1418 г.) "Книги Царств" / Одесская гос. народная б-ка.

Константин Костенечский – акцентная система Константина Костенечского отражена в двух рукописях, одна из которых (см. Сб. и Муз.), возможно, принадлежит руке самого Константина, а другая (см. Псм.) – копия рукописи Константина.

Леств. – Лествица: среднеболгарская рукопись 1387 г. // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 173, № 152.

Лих[1], Лих[2] – Пандекты Никона Черногорца: среднеболгарская рукопись сер. XIV в. из собр. Н. П. Лихачева // Ленингр. отделение Ин-та истории АН СССР, к. 238 (первый и второй почерки).

Мар. – Мариинское евангелие (ст.-слав.).

Мин. № 678 – Сборник Минея-четья на июль, XVI в. // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 304, № 678. В настоящей работе приводятся примеры из жития Евпраксии Олимпийской (лл. 503а – 534б) – текста, относящегося к концу XIV в. и являющегося русской копией среднеболгарского текста старотырновской акцентуационной и орфографической системы (см.: Дыбо В. А., Кучкин В. А. Болгарский текст в русской минее XVI в. // Byzantino-bulgarica. Sofia, 1966. Т. II).

Младенов – Младеновъ Ст. Етимологически и правописенъ речникъ на българския книжовенъ езикъ. София, 1941.

Муз. = Муз. № 3070 – среднеболгарский отрывок XV в. (в сербской орфографии) – Хрисовул Охридской церкви и отрывок из жития Стефана Лазаревича. Является фрагментом Сб. // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 173, № 3070. См. также: *Birnbaum D.* Textual and accentual problems of Muz. 3070 and Zogr. 151. Cambridge (Mass.), 1988.

НБКМ – Народна библиотека "Кирил и Методий" (София).

НБКМ 93 – Среднеболгарская рукопись XIV в. "Апостол" / НБКМ, № 93 (по Цоневу).

НБКМ 889 – ст.-сербская рукопись начала XV в. "Апостол и въскресни евангелия" / НБКМ № 889 (по Цоневу).

Нор.пс. – Норовская псалтырь: среднеболгарская рукопись XIV в. // ГИМ, Уваров № 289. Издание: Норовская псалтырь. Среднеболгарская рукопись XIV в. / Подготовили Е. В. Чешко, И. В. Бунина, В. А. Дыбо, О. А. Киязевская, Л. А. Науменко. София, 1989. Ч. I – II.

"О письменех" = Псм.

ОСА – Дыбо В.А., Замятина Г.И., Николаев С.Л. Основы славянской акцентологии. М., 1990.

Псалтырь № 3 = Псалтырь № 3 НБКМ = Пс. № 3 – Псалтырь с последованием: среднеболгарская рукопись конца XIV в. // НБКМ, № 3; см. также: *Hinrichs J. P.* Zum Akzent im Mittelbulgarischen. Amsterdam, 1985.

Псм. = О письм. – Книга Константина Философа "О письменех". Материал приводится по изданию: Ягич И. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. – В кн.: Исследования по русскому языку, т. I. СПб., 1885-1895.

Пс.Кипр. – Псалтырь Киприана: среднеболгарский текст конца XIV – начала XV в. // ГБЛ, отдел рукописей, ф. 173, № 142.

Рил. 3/10 – среднеболгарская рукопись второй половины XIV в. "Лествица на Йоан Лествичник" // Б-ка Рильского монастыря № 3/10.

Сб. – Сборник: среднеболгарская рукопись XV в. // Б-ка Зографского монастыря, № 151 (по Ильинскому). Четыре листа из этой рукописи находятся в ГБЛ, см. Муз.

Сб. 1509 г. – Сборник слов: старосербская (?) рукопись // Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, собрание А.Ф. Гильфердинга, № 56.

Сб № 758 – Рукопись XVI – XVI вв., бóльшую часть которой представляет Сборник, из которого был извлечен текст жития Евпраксии Олимпийской (см. Мин.). Эта часть является русской копией конца XIV в. среднеболгарского текста или текстов старотырновской акцен-

тологической системы. Об истории текста см.: Молдован А. М. К истории составления троицкой Минеи № 678 // Записки Отдела рукописей (ГБЛ). М., 1981. Вып. 42. Рукопись находится в: ГБЛ, отдел рукописей, ф. 304, № 758.

Син. – Синайская псалтырь (ст.-слав.).

Синодик царя Борила = Синодик царя Борила: среднеболгарская рукопись 80-х гг. XIV в. // НБКМ, № 289. Материал приводится по микрофильму рукописи.

Система Киприана – акцентная система, отраженная в рукописях: Леств. и Пс.Кипр.

словен. – словенский литературный язык; цит. по: 1) Plet. (обычно без указания источника) и 2) SSKJ (в этом случае источник указывается).

Служ. Евф. – Служебник патриарха Евфимия Тырновского: среднеболгарская рукопись, 1370 г. (отметка сделана более поздним почерком) // Б-ка Афонского Зографского монастыря. № 1. Издание: Сырку П. К истории исправления книг в Болгарии. СПб., 1890. Т. I, вып. II. (Цифры обозначают листы рукописи).

Софийский служебник = Софийский служебник Евфимия – Служебник: среднеболгарская рукопись XIV в. // НБКМ, № 231. Факсимильное издание в кн.: **Коцева Е. Евтимиев служебник. София, 1985.**

ст.-хорв. – старохорватский язык, представленный в произведениях **Юрия Крижанича (см. Гр.).**

ст.-тырн. – старотырновский диалект, акцентная система его отражена **в рукописях: Зогр. = Зогр. сб. № 171, Мин. № 678, Лих[1], Сб № 758** и др. (см. **ОСА 166 – 168).**

Супр. – Супрасльская рукопись (ст.-слав.).

Чуд. – Чудовский Новый Завет. XIV в. Цит. по фототипическому изданию: Новый Завет господа нашего Иисуса Христа. Труд святителя Алексия, митрополита **Московского и всея Руси (издание Леонтия, митрополита Московского). М., 1892.**

Plet. – *Pleteršnik M.* Slovensko-nemški slovar. Ljubljana, 1894 – 1895. D. I – II.

SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1970 – 1991. T. I – V.

Ларс Стенсланд (Лундский университет, Швеция)

Значение альтернации <ѣ> ~ <є> для акцентографического анализа

В качестве акцентологических источников славянские рукописи (и старопечатные книги) можно распределить, в общих чертах, по пяти группам:

1) памятники с относительно богатым и акцентологически достоверным акцентуированием;

2) памятники с более или менее последовательным употреблением разных графем для передачи определенных подударных и безударных гласных, напр. ѡ (или ѻ) – о, оу – ȣ, і – и (см., напр., Зализняк 1985, с. 207);

3) памятники со скудным акцентуированием или с труднотолкуемой системой надстрочных знаков;

4) памятники, представляющиеся переходными формами вышеупомянутых главных типов, т. е. 1) и 2), или 2) и 3);

5) памятники, которые не содержат акцентных знаков и в которых не употребляются разные графемы для подударных и безударных гласных.

Ad 1) Одним из самых важных источников в рамках группы 1), что касается русской исторической акцентологии, является *Чудовский новый завет* середины XIV века (Lehfeldt 1989), который активно использовался исследователями, напр., для Зализняк 1985 (ср. с. 224–226).

Ad 2) Бесспорно, самый ценный памятник группы 2) — это древнерусское *Мерило Праведное* середины или второй половины XIV века, в котором графемы о (и ѻ) альтернируют с ѡ по сложным принципам (см., прежде всего, Зализняк 1990).

Ad 3) В группу 3) входит большое количество памятников позднего средневековья и раннего нового времени. Для того чтобы использовать эти памятники как акцентологические источники, нужно подвергать их доскональному акцентографическому анализу. Под этим понимаем систематический анализ функций надстрочных знаков в исследуемом памятнике (Стенсланд 1990).

Ad 4) Группа памятников, которая редко упоминается эксплицитно в акцентологической литературе, содержит труднотолкуемую систему надстрочных знаков в комбинации с употреблением разных графем для определенных подударных и безударных гласных.

Ad 5) Здесь можно напомнить о том, что ранние средневековые рукописи с русской территории до *Чудовского нового завета*, как правило, не акцентуированы.

Автор предлагаемой статьи уделил особое внимание методике акцентографического исследования. Результат такого анализа во многих случаях ограничивается констатацией, какие функции знаков возможны и невозможны, или, в более благоприятных случаях, какие функции правдоподобны. Это ограничение объясняется тем, что мы не располагаем, в нормальных случаях, никаким верификатом. То есть у нас обычно не бывает точной информации о той просодической системе, которую писец старался передать при помощи надстрочных знаков. Поэтому ценность таких памятников как акцентологических источников часто не очень большая.

Иначе обстоит дело с такими памятниками, которые совмещают в себе сложную систему надстрочных знаков с употреблением разных графем для передачи определенных безударных и подударных гласных (т. е. группа 3). Здесь есть возможность удостоверить результат акцентографического анализа при помощи той картины просодической системы, которую рисует употребление гласных графем. Такое исследование, насколько нам известно, никогда не было опубликовано в акцентологической литературе, но представляло бы, несомненно, большой методологический интерес.

Имеется целый ряд памятников русского происхождения, в том числе с Новгородщины, которые отражают нейтрализацию оппозиции /ě/ : /e/ в безударной позиции (см., напр., Зализняк 1985, с. 214–215, 221, 226–227). Это сказывается в том, что

этимологическое /ě/ может замениться на є (реже наоборот) в безударном положении, но что эта замена, как правило, не выступает в подударном. Памятник, содержащий большое количество примеров данной нейтрализации, может служить акцентологическим источником такого же рода, как и памятники группы 2).

Цель нашего исследования — сравнить результаты акцентографического анализа одной рукописи, содержащей сложную систему надстрочных знаков, с той информацией о просодической системе, которую можно извлечь из альтернации ѣ ~ є в данном памятнике.

Материалом послужило LU, M39 [в дальнейшем: M39], т. е. № 39 в собрании средневековых рукописей библиотеки Лундского университета в Швеции. Рукопись содержит красиво иллюстрированное Евангелие-тетр русского происхождения. В карточечном каталоге библиотеки она датируется, с вопросительным знаком, XV веком, а по выставочному каталогу Sverige–Bulgarien... 1980, с. 32, она восходит к XVI или XVII веку. Предварительный анализ водяных знаков говорит в пользу второй половины XVI века, скорее всего третьей четверти столетия.

В рукописи M39 этимологический /ě/ в широком масштабе передается через є (ε или є). Таких случаев свыше двух тысяч. Если из них отнять примеры рє и лє вместо старославянских рѣ и лѣ, а также формы на тєлєс- от тѣло, далее г҆дє и т. п. вместо г҆дѣ и т. п., иоудєи, андрєи и т. п. вместо иоудѣи, андрѣи и т. п., остается все-таки большой материал порядка полутора тысяч случаев. Написания рє, лє и тєлєс-, а также колебания типа г҆дє ~ г҆дѣ, иоудєи ~ иоудѣи, представляют собой, как известно, нередкость в русском церковнославянском, и они лишены связи с положением ударения. Такие примеры мы дальше не будем затрагивать.

Уже с первого взгляда видно, что ѣ заменяется на є (ε или є) главным образом или исключительно в безударной позиции. Это можно установить и при сравнении с соответствующими словоформами в Острожской библии 1580–1581 гг. (в дальнейшем: ОБ). Словоформы, которые в M39 пишутся с є вместо ѣ, носят в ОБ, как правило (насколько они там акцентуированы), акцентный знак над другим слогом. Только в качестве исключения, в менее чем 5% всех случаев, акцентный знак стоит в ОБ над ѣ. Выводы таковы: а) є заменяет ѣ исключительно или в основном в безударном положении, б) в M39 представлена

акцентная система, которая, по крайней мере в главных чертах, совпадает с системой ОБ.

Примечание 1: Сравнение с ОБ естественно по нескольким причинам: а) ОБ содержит тот же текст, что и М39, и восходит приблизительно к тому же времени; б) Она сравнительно богато акцентуирована; в) По своей редакции М39 аналогична Геннадиевской и Острожской библиям, но содержит немногие текстуальные отклонения. В этих пунктах текст нередко совпадает с текстом БАН 24.4.28 1502–1507 гг.

Важно заметить, что частотность буквы ѣ в рукописи отнюдь не низка. С одной стороны, судя по акцентуации в ОБ, ѣ сохраняется, как правило, в подударной позиции; с другой стороны, он нередко сохраняется и в безударном положении. Последнее обстоятельство методологически важно. Это значит, что сохранение ѣ нельзя просто так толковать как отражение подударности. Стоит еще добавить, что надежных примеров ѣ вместо є нет.

Решающее значение для анализа имеет толкование тех случаев, где в М39 стоит є, а где в ОБ имеется акцентуированный ѣ. Примеры в хронологическом порядке следующие: **пра́в҄дє** 2v, **любодєйствова** 14, **крє|пкаго** 34, **любодєа́нїа̀** 44, **прєлюбодєйный** 46, **до|брєйши** 51v, **в.мє|стити** 55, **да в.мє|сти҃т** 55, **ȏдєа́стє** 77, **Тє|щи҃т** 120v, **тєща** 121, **нє.мый** 121, **на сєлє** 135v, **ȏдєа́нь** 141, **бл҃говє|сти҃ти** 166v, **ѿдє|а̂на** 177v, **слєпыа** 205, **к҄ … го̂рє** 219v, **ни в҄ горє сєи** 252v, **ру́цє** [дв. ч.] 266, **в҄ коупєль** 255, *idem* 272, **в҄ коупєли** 271v, **ѿ сꙋдє** 292, **в҄.мєсти́|ти** 308.

Приведенные исключения можно объяснить, в принципе, тремя способами:

1) В М39 акцент падает на другом слоге, чем на акцентуированном в ОБ;

2) В М39 є может заменить ѣ также и в подударном положении;

3) Альтернация ѣ ~ є имеет другую основу.

Первое объяснение можно, в свою очередь, разбить на два, а именно:

1а) В М39 акцент действительно падает на другом слоге, чем в ОБ;

1б) В М39 акцент падает на том же слоге, что и в ОБ, но акцентный знак там поставлен не так (или обозначает не *иктус*, т. е. главное ударение).

Предположим сначала, что є заменяет ѣ только в безударной позиции. При этом условии большинство примеров нашло бы

свое естественное объяснение под 1а) или 1б). Правдоподобно, что в M39 действительно представлен другой акцент, чем в ОБ в следующих случаях: кре|пкаго 34 (ср. Зализняк 1985, с. 312), любодеа̀нїа 44 (ср. ОБ: прелюбодѣа́|нїа), вме|стити 55 — да вме|сти^т 55 — в'мести́|ти 308 (ср. Schweier 1987, с. 84), ѡ̑деа́сте 77 (ср. ОБ на той же странице: одѣа́хомъ), Те|щи^т 120v — теща 121 (ср. Schweier 1985, с. 89), немы́й 121 (ср. совр. *немой*), на селе 135v (ср. Зализняк 1985, с. 242–245), одеа́нь 141 — ѿде|а̂на 177v (ср. одеа́сте выше), слепыа 205 (ср. совр. *слепой*), к' ... го́ре 219v (ср. Зализняк 1985, с. 141) — ни в' горе сеи 252v (ср. ОБ на той же странице: в го́рѣ | се́и), ѿ сꙋде 292 (ср. Зализняк 1985, с. 242–245, а также пример ѿ соуды же 292, т. е. на той же странице).

Пара случаев объясняется проще всего тем, что в ОБ акцентировка неясна или нетипична, а именно: прав'де 2v — ОБ: правдѣ̀ (в нормальных случаях с корневым акцентом; см. Schweier 1987, с. 193), бл҃гове|стиї̀и 166v — ОБ: бл҃говѣ́сти́ти (см. Schweier 1987, с. 81), рꙋце 266 (в других местах с корневым акцентом; см. Schweier 1987, с. 194).

Что касается случая в' коупель — в' коупели, мы имеем дело или с отличным от ОБ акцентом (ср. укр. *ку́пiль*), или с вариантом коупель с /е/, рано засвидетельствованным на русской почве (Аванесов 1991).

Труднее объяснить случаи любодействова 14, прелюбодейный 46 и до|брейши 51v. Примечательно, что все три примера содержат тот же элемент -ей- вместо ожидаемого -ѣи-. Поэтому не исключено, что существует фонетическое объяснение и этим случаям.

Словоформы, которые в M39 написаны через е вместо ѣ, но которые не акцентуированы в соответствующем месте в ОБ, были проконтролированы в монографии Швейера (Schweier 1987). Также и в этих примерах, где сравнительный материал есть, акцентный знак, в подавляющем большинстве случаев, стоит не над ѣ в ОБ. Все исключения можно отнести к группе 1а): ѻ̑ дн҃е и̑ часѐ 1v / ѿ часе 137, на ѻ̑дре 23v / на ѿ|дре 115v, в' воде 94v.

При сравнении между M39 и ОБ ничего не обнаружилось, что заставило бы нас предположить, что в нормальных случаях е *может заменить* ѣ *также и в подударной позиции.*

В качестве дополнительного аргумента в пользу того, что нейтрализация оппозиции /ě/ : /е/ была ограничена безудар-

ным положением, можно привести следующее. В рукописи имеется немало примеров **и** (или **ы**) вместо этимологического /ě/ (порой наоборот). Этот переход выступает, во-первых, в ряде корней (напр. **низьвиси|ша** [= **низьвѣси|ша**] 170), во-вторых, в основообразующем элементе **ѣ** у глаголов (напр. **възривь** 116), в-третьих, в некоторых окончаниях (напр. **в҆ приТвори** 275). По крайней мере в первой категории (но очень часто и во второй) речь идет, видимо, о /ě/ в *подударном* положении. Некоторые примеры: **вѣ́ди** [= **ви́дѣ**] 116v, **ѡлизє** 117, **видѣ** [= **вѣдѣ**] 273, **многоцын҆ны** [= **многоцѣн҆ны**] 281, **прилип҆ші́и** [= **прилѣп҆шїи**] 189v, **свѣнїа** [= **свинїа**] 106, **симо** 23, **цылъ** 255v. Красноречивыми примерами из второй группы являются: **ȋсцєли** [= **ȋсцѣлѣ**] 21v, **сєдїти** [= **сѣдѣти**] 102v, а из третьей: **грєсѣ** [= **грѣси**] 23v, **в҆ бєди** [= **в҆ бѣдѣ**] 181v.

Итак, в М39 фонема /ě/ тяготеет к нейтрализации с /i/ в подударной позиции (и в определенных морфологических категориях), а с /е/ в безударной.

Существуют некоторые проблемы методологического порядка, связанные с реконструкцией акцентной системы М39 на основе альтернации **ѣ** ~ **є**. В определенных морфологических категориях **є** полностью или частично вытесняло **ѣ**, независимо от акцентуации.

а) Речь идет, в первую очередь, о членных формах прилагательных на -**ѣмъ** (М. ед. ч.) и -**ѣи** (Д., М. ед. ч.), которые последовательно были заменены на -**ємъ** и, соответственно, на -**єи**. Далее, регулярно пишется -**єхъ** (М. мн. ч.) вместо -**ѣхъ** в существительных (а в местоимениях сохранилось -**ѣхъ**, напр.: **всѣˣ** 3v, **ȋнѣˣ** 171, **ȏнѣˣ** 195v, **тѣˣ** 117, а также очень редко в прилагательных: **ȃрхїєрєѡвѣˣ** 142v, **ȁарѡ|новѣˣ** 154v, **мноꙁѣ|хь**197, **хвⷭ҇ѣхь** 240, **ȋѡа́нновѣˣ** 250). Такие словоформы мы не будем принимать во внимание при акцентологическом анализе.

б) Есть повод предположить, что формы повелительного наклонения на -**єтє** и -**єта** (напр.: **нє пєцєтєⷭ҇** 18v, **блюдєта** 25v, **р҆цєта** 128, **боꙋдєтє** 289v, **поймєтє** 298) вместо -**ѣтє** и -**ѣта** полностью или частично представляют собой морфологически обусловленное изменение скорее, чем фонетически (ср. Зализняк 1985, с. 316–317). (Встречаются и формы с сохраненным **ѣ**, напр.: **пєцѣтєⷭ҇** 135, **блюдѣтєⷭ҇** 134v, **р҆цѣтє** 28v, **бо́ꙋдѣтє** 140, **ȋдѣта** 127v, и двусмысленные формы с **и** (**ы**) напр.: **пєцытєⷭ҇** 198, **блюⷣ҇тєсѧ** 46, **р҆цытє** 89, **боꙋⷣ҇тє**

73v, **приднТа** 245v.) Поэтому такие словоформы не вполне надежны для акцентологического анализа.

в) Осторожно надо относиться и к случаю **тєбє** [вместо **тєбѣ**] 47, поскольку не исключено, что перепутались грамматические формы слова. Такие примеры нередки в церковнославянских рукописях русского извода.

г) Вообще надо смотреть принципиально иначе (т. е. осторожнее) на вокализм окончаний, чем на вокализм корней (см., напр., Колесов 1962, с. 104). Это касается особенно морфологических категорий, которые не были (вполне) живыми в языке писцов. К ним относятся некоторые из вышеупомянутых случаев. Можно еще исходить из того, что определенные морфонологические альтернации, в особенности вторая палатализация, отсутствовали в языке писцов M39. Это обстоятельство могло вызвать некоторую неуверенность писцов в плане мофрологии. Здесь можно, к примеру, упомянуть лексему **лоука**, которая в местном падеже выступает в нескольких вариантах, напр.: **въ лоѵцѣ** 2, **в Лоѵцє** 90, **лоѵ^ци^** [= **лоѵци**] 90, **въ ло^ч^ѵ** 13, **въ ло^к^ѵ** 8 и другие.

д) Главный текст, как кажется, написан не одной рукой, но писцы принадлежат к одной школе, и не было обнаружено никаких принципиальных различий между ними. Киноварные отрывки, а также *Месяцеслов* в конце рукописи, написаны другим писцом («мастером») с другими рефлексами /ě/ и с другой системой акцентуирования. Этот материал тоже был исключен из корпуса для акцентологического анализа.

е) Теоретически возможно, что разные рефлексы /ě/ или надстрочные знаки не всегда представляют язык писцов, а могли быть частично перенесены из подлинника. Можно, однако, считать установленным, что нейтрализация оппозиции /ě/ : /e/ в безударном положении была живой чертой языка писцов M39.

Посмотрим теперь, как выглядит акцентная система писцов, если исходить из того, что є заменяет ѣ только в безударном положении. Рамки статьи позволяют лишь один пример. Для этого мы выбрали *о*-основы существительных. Мы будем основываться на теперь уже стандартном разделении на три акцентные парадигмы (в дальнейшем: АП): *a, b, c*.

АП *a*

1) *о*-основы АП *a* с ожидаемым иктусом на ѣ корня *никогда* не пишутся с є вместо ѣ. Это касается:

а) непроизводных, напр.: вѣтроү 259v, дѣло 137, игѣмонъ 85, колѣна 144, лѣто 201v, мѣсто 193, пѣнязь 259, сѣвера 203, хлѣбъ 16v, человѣкь 87v, и многие другие. Единственным исключением является веѣ|тръ (sic) 42;

б) префиксальных, напр.: завѣта 139, обѣд 64, ѿвѣтъ 244v, в предѣлы 45v, соүсѣды 206v, совѣтоү 234v, и другие;

в) суффиксальных, напр.: бѣдникоү 122v, вѣ|стники 188, грѣшником 81v, ѿ дѣть|ства 161v, дѣланіє 200v, дѣла|тель 188v, извѣство 148v (ср. Берында), наслѣдни|кь 221v, наслѣд|ствіє 130v, невѣрію 120v, за невѣрьство 40v, за невѣрьствіє 50, ѡбрѣзаніє 264v, послѣдователь 3v, пѣ|няжники 247v, в рассѣяніє 265v, на свѣщнице 13, в срѣтеніє 281v, совѣтникъ 234v, смѣшеніє 302v, сѣѧніа 32, оүтѣшите|ль же 289, и другие;

г) сложных, напр.: блговѣ|стіам 2v, благовѣ|стникь 149v, благо|дѣтеле 227v, добродѣтелем 2v, житомѣріє 119v, злодѣи 298, лицемѣри 65, лицемѣріа 69v, маловѣрѣ 18, прелю||бодѣи 34v/35, и другие. Зато здесь имеется один пример и вместо ѣ, а именно: лицемиріє 131v.

2) *о*-основы АП *а* с ожидаемым иктусом на тематическом гласном ѣ *никогда* не пишутся с е вместо ѣ, напр.: запоүстѣніа 71v, имѣніє 56, о повелѣніи 90v, прозрѣ|ніє 177, разоүмѣнію 196, свѣдѣтелей 52, в свѣдѣте|льство 97, свѣтѣніа 256v, в терпѣніи 180v, хотѣніє 144. Зато здесь имеется пара случаев и вместо ѣ, а именно: непомниніи 91, свѣ|дительство 251.

3) *о*-основы АП *а* с ожидаемым послекорневым акцентом *часто* пишутся с е вместо ѣ в корне, напр.: белильникь 119v, делителя 197v, исцеленіа 203, ѡбетова|ніа 3, о ѿметаніи 2, в погребаніє 84, прегрешеніа 54, преседаніа 195v, разде|леніа 200, светилник 17v, согрешеніа 129v, седали|ща 60, целованіа 133v, целомоү|дрію 2v, и другие. Сюда относятся и некоторые слова со вторичным послекорневым («тематизированным») акцентом, а именно: в деѧніихь 239v, любодеѧніа 269v, оде|аніє 186, прелюбодеѧніи 266v, стоүдодеѧніє 115, оүтешеніа 173v.

4) *о*-основы АП *а* пишутся, *как правило*, с е вместо ѣ в М. ед. ч., напр.: на блю|де 41, в винограде 62, на встоце 7, о гле 160, в законе 160v, на месте 71v, на прстле 76v, в риме 92, о ста|де 159v, о хлѣбе 10v, и многие другие.

Вывод: В рукописи М39 *о*-основы АП *а* сохраняют свой постоянный акцент на корне или, соответственно, на основе.

АП *b*

1) *о*-основы АП *b* с ожидаемым иктусом на ѣ корня (т. е. односложные словоформы) *никогда* не пишутся с є вместо ѣ. Примеры: **грѣ^х** 34 / **грѣ|хъ** 274 — **ѿ грѣ|хъ** 6v и т. п.

2) *о*-основы АП *b* с ожидаемым послекорневым акцентом *часто* пишутся с є вместо ѣ в корне, напр.: **венець** 144, **гнез^д а** 22, **греха** 274 — **грехꙋ** 269 — **в^ь гресѣ** 268 / **ѡ̂ гресѣ^х** 291 — **греси** 170 / **гресѣ** (!) 23v — **грехи** 9 — **греховь** 80v — **ѡ̂ гресе^х** 93 / **въ гре|се^х** 268v, **на пєсцѣ** 20v, **слепець** 216v — **слепцꙋ** 1v — **слеп^ьца** 25v — **слепце^м** 43v — **ѿ слеп^ьцы** 91 (и другие случаи этих же лексем).

3) *о*-основы АП *b* с ожидаемым иктусом на окончании сохраняют, *как правило*, ѣ в М. ед. ч., напр.: **в^ь гресѣ** 268, **в^ь дворѣ** 83v, **в^ь животѣ** 211, **ѡ̂ ꙁлѣ** 297v, **на кр^стѣ** 300v, **на крилѣ** 166, **на лѡ|нѣ** 286, **на ѿдрѣ** 170, **на селѣ** 208 (*passim*), **на сꙋ́дѣ** 190, **въ снѣ** 6v (*passim*), **в^ь ча́сѣ** 165v, и другие. Исключения в общем случае немногочисленны: **во дво́|ре** 142v, **на крове** 71v / **на кро́ве** 135v (если не АП *с*), **на лоне** 210v / **в ло́не** 244 (если не АП *а*), **на ѻ̂дре** 23v / **на ѿ|дре** 115v, **ѿ ро^жстве** 155, **на селе** 135v, **ѽ сꙋде** 152, **ѡ̂ х^се** 67, 92, **ѽ дн҃е и҆ часе́** 1v / **ѿ часѐ** 137.

Вывод: В рукописи М39 *о*-основы АП *b* сохраняют флексионный (послекорневой) акцент, но проявляют тенденцию к «дефинализации» (в М. ед. ч.), т. е. к ретракции акцента с открытого конечного слога (Зализняк 1985, с. 242–245). В некоторых случаях мы можем иметь дело с акцентуацией по АП *а* (**лоно, часъ**) или АП *с* (прежде всего **кровъ**; что касается **крестъ, соудъ, христ(ос)ъ**, см. Зализняк 1989, с. 129).

АП *с*

1) *о*-основы АП *с* с ожидаемым иктусом на ѣ корня *никогда* не пишутся с є вместо ѣ. Это касается:

а) односложных словоформ без предлога: **бѣ́сь** 167v (*passim*), **вѣ́кь** 223v, **гнѣвь** 225, **свѣ́^т** 11v (*passim*), **снѣ́гь** 88v;

б) некоторых двусложных словоформ без предлога, напр.: **бѣ́са** 151v — **бѣ|сѡ** 26 — **бѣсо^м** 182 — **бѣси** 182 — **бѣсы** 33v, **вѣ́ка** 39v — **вѣ́кꙋ** 71, **гнѣва** 9v, **мѣ́си** 24v — **мѣ́хи** 171v, **свѣ́та** 136, **сѣно** 18, и другие.

2) *о*-основы АП *с* с ожидаемым иктусом не на ѣ корня пишутся в некоторых случаях с є вместо ѣ. Это касается:

а) немногих предложных фраз, а именно: **въ веки** 102 / **во веки** 128v, 156v — **до века** 158 / **ѿ века** 158v, 273. Как правило, ѣ корня

сохраняется после предлога, напр.: в҆ вѣкЪ 216v — въ | вѣки 262 / во вѣки 269, со гнѣво^м 100, в мѣхи 24v — безь мѣха 228v, в҆ свѣ^т 283 — к҆ свѣтоу 250 — въ свѣте 28v / при свѣте 230 / ѡ свѣте 243v, в҆слѣдъ 307v (*passim*) / вослѣ^д 141v, 188 / Вóслѣ^д 230 (*hapax*), и другие;

б) словоформы бесовь 147, 179v.

3) *о*-основы АП *с* пишутся, *как правило*, с е вместо ѣ в М. ед. ч., напр.: ѡ бóзе 157v, въ граде 8v, въ гробе 111, в҆ доусе 95v / ѿ дꙋсе 265v, В^ъ клáсе 104, въ все^м мире 79, въ ѡце 18v, пепеле 31, при поꙗсе 109, В^ъ рóде 118v, въ свѣте 28v, ѡ сне (= сыне)151, въ хрáме 181v, въ чреве 6.

Вывод: В рукописи М39 *о*-основы АП *с* ведут себя, за редкими исключениями, как существительные АП *а*. Только в немногих случаях написание гласных говорит об «оттяжке» на предлог.

Примечание 2: Акцент на предлоге мог бы, конечно, быть налицо во всех примерах под 2а) и 3), в случаях Вóслѣ^д, ѿ дꙋсе и во вѣки — даже правдоподобно, но это не устанавливается нашим методом.

Акцентологический анализ на основе альтернации ѣ ~ е говорит в пользу того, что в М39 представлена акцентная система западновеликорусского характера. Об этом свидетельствуют а) ряд случаев «дефинализации» (Зализняк 1985, с. 242–245), напр.: во двó|ре 142v, на ѡдре 23v, ѡ соуде 152, ѡ х^се 92, б) флексионный акцент в словоформе кре|пкаго 34 (Зализняк 1985, с. 312), в) «тематизация» (Зализняк 1985, с. 356–359), напр.: в мe|стити 55 — да вмести^т 55 — в҆местú|ти 308, оутешенїа 173v, любодеꙗнїа 269v, г) тенденция к уходу от ударения на предлогах (Зализняк 1985, с. 372). Эта характеристика хорошо согласуется с фактом, что встречающееся в рукописи колебание ѣ ~ и является типичной чертой памятников прежде всего новгородского происхождения. В этом обстоятельстве видим дополнительный аргумент в пользу того, что предлагаемый анализ в общих чертах правилен.

Теперь, как относится акцентная система в описанном здесь виде к примененной в рукописи системе акцентуирования? — В курсовой работе наш ученик А. И. Пересветов-Мурат подверг текст Евангелия от Иоанна в М39 акцентографическому анализу (Pereswetoff-Morath 1993). Его выводы таковы:

1. Следующие встречающиеся в рукописи знаки лишены функции обозначения акцента: *спиритус* [’], *исо* [῎], *апостроф* [῍], *кендема* [̏], *трема* [̈], *паерок* [ꙿ], *титло* [҃], *покрытие* [︵].

2. *Камора* [ˆ] имеет, возможно, функцию обозначения акцента, но ограниченный материал не позволяет точных выводов.

3. *Оксия* [´] над гласной после согласной обозначает, судя по всему, иктус, а в некоторых случаях — побочное ударение. То же самое верно для оксии над гласной после гласной, но ограниченный материал не позволяет сделать точные выводы.

4. *Вария* [`] над конечной гласной после согласной обозначает, судя по всему, иктус. Над конечной гласной после гласной она заменяет *спиритус* и отмечает только зияние. Функция *варии* над неконечной гласной после гласной неясна из-за ограниченности материала.

В какой мере эти выводы совместимы с результатами проведенного здесь акцентологического анализа? Сосредоточимся на *оксии* над гласной после согласной. Она встречается в рукописи обильно. К тому же *оксия* в данной позиции является самым надежным обозначением акцента во многих памятниках того времени. *Вария* над конечной гласной после согласной встречается чрезвычайно редко в нашем материале, что исключает плодотворный анализ. Зато несколько слов будет сказано о *каморе*, поскольку она представляет особый интерес с акцентографической точки зрения.

Оксия над гласной после согласной

Оксия очень часто стоит над сохраненным ѣ, напр.: **бє|сѣ́доующоѵ** 2, **видѣ́ша** 7v, **възрѣ́вый** 3, **вѣ́дахꙋ** 2, **вѣ́рова́вꙿшиⷨ** 3, **ꙁадѣ́ша** 144v, **мѣ́ди** 109, **нєвѣ́стꙇа** 200v, **ѿбрѣ́тє** 81v, **сӥрⷱ҇ѣ́** 113v, **слѣ́пи** 60v, **снѣ́ⷨ** 138v, **сѣ́мѧ** 104, **сѣ́ни** 119v, **ȏѵтѣ́хи** 161, и многие другие. Зато она, как правило, не встречается над є вместо ѣ. В словах, которые демонстрируют эту замену, она поставлена над другим слогом. В качестве примеров можно привести: **бєжа́ша** 106, **бєсно́моѵ** 106v, **ви́дєвь** 191v, **до́брє** 133, **досє́лє** 72, **ꙁа́повєⷣ҇** 1, **в ма́рцє** 1, **ȉсцєли́тє** 27, **мо́жє|вє** 58v, **на́ нозє** [дв. ч.] 53v, **ны́нє** 286v, **ȍ приста́вницє** 152, **разⷣ҇єли́сѧ** 101v, **ȏ ра́ꙁоѵмє** 162v, **вꙿ ро́ѵцє** [дв. ч.] 284v, **са́моличꙿнє** 2v, **сєки́ра** 9v, **по си́лє** 15, **со́ѵботꙇє** 172, **цєни́тиⷭ҇** 28v, и многие другие (см. выше). Исключений очень мало: **бѣ́совъстєⷨ҇ъ** 33v, **ȏбрє́тоша** 64v, **ѿ ... глє́** 165v, **ȏ і҆сⷭ҇є́** 175, **бє́да** 225, **ȏбрє́тостꙇа** 227.

Из состава исключений можно сразу выбросить ѿ ... глє́ и ѡ ісє́. В рукописях того времени мы часто сталкиваемся с тем, что в словоформах с опущенной при сокращении подударной гласной *оксия* ставится над следующим слогом. Такое толкование и наших примеров подкрепляется тем фактом, что здесь употреблена как раз *оксия*, а не *вария*. Ведь *оксия* нормально не ставится над конечной гласной, где она обычно заменяется на *варию*. Здесь можно привести показательные примеры ісвє 151v, во ієрлмє 160v, в которых *оксия* сдвинута вправо только на полшага.

В немногих случаях, бє́совъстємъ, ѡбрє́тоша, бє́да, ѡбрє́тоста, написание є вместо ѣ указывает на *одно* место ударения, а *оксия* — на другое. Нет повода на основе этого факта сделать вывод, что одна акцентуация непременно должна быть неправильной («нефонетической»). Следует принять во внимание, что акцентуированные рукописи того времени часто содержат словоформы с двумя (или несколькими) акцентными знаками, которые все могут быть по-своему лингвистически оправданными (ср. Стенсланд 1990, с. 31–33). Также и в М39 находим немало словоформ с двумя *оксиями*, напр.: хо́тѣнїа́ 2v, и́спы́товáшє 7, и́áроди 12, тáковó 51, рє́кóша 221v, дє́снóє 229v, и многие другие. Ничто, в принципе, не мешает нам видеть в них выражение или главного и побочного ударений (особенно в случаях типа и́спы́товáшє и тáковó), или двух альтернативных мест ударения. Ведь в нашем материале встречается и нáродь 143v, и нарóдъ 106v, а также и рє́коша 148v, и рєкóша 299v. К тому же акцентное колебание в слове дєсныи хорошо засвидетельствовано (см., напр., Schweier 1987, с. 345). Поэтому случаи, в которых наличие є вместо ѣ указывает на *одно* место ударения, а *оксия* на другое, могут восприниматься как особого типа двойная акцентировка.

Трудно на основе лишь четырех случаев сделать какие-либо выводы. Заслуживает внимания, однако, тот факт, что во всех примерах написание є вместо ѣ указывает на ударение, ожидаемое на великорусской территории и представляющее, по всей вероятности, произношение писца. С другой стороны корневое ударение, которое отмечает *оксия* в случае бє́да, тоже вполне возможно как результат дефинализации. Корневая акцентировка в ѡбрє́тоша — ѡбрє́тоста может отражать или архаичное ударение — данный глагол принадлежит исторически к АП *а* (Зализняк 1985, с. 133) — или сдвиг влево по южнославянской модели. Последнее объяснение представляется единственно возможным для слу-

чая **бе́совъсте^мЪ**, если он вообще достоверен. Поэтому вероятно, что и **ѻ҆бре́тоша — ѻ҆бре́тоста** должны толковаться так.

Естественным выводом наших рассуждений является то, что *оксия* в какой-то мере ставилась по другой норме, чем та, которая была действительна для более спонтанного языка писцов. Судя по примерам, эта норма имела в каком-то плане южнославянские корни. В этой связи стоит сказать, что рукопись М39 сильно подвержена так называемому второму южнославянскому влиянию и содержит по крайней мере один явный болгаризм, а именно: **совті|тсѧ** 213 /ОБ: **свѣтитсѧ**/ (см. Ambrosiani 1991, с. 13). Нельзя объективно установить, были ли акцентные знаки в примерах **бе́совъсте^мЪ, ѻ҆бре́тоша — ѻ҆бре́тоста** и, возможно, **бе́да** скопированы с подлинника, или они дело рук писцов. Но количество «сдвигов налево» в памятнике такое большое, что они, по всей вероятности, восходят к писцам. Была ли эта норма чисто графическим явлением, или она применялась и к литургическому языку, остается открытым вопросом (Зализняк 1985, с. 195–196). Представляется, тем не менее, вероятным, что второе южнославянское влияние в те времена повлияло и на литургическое произношение (ср. Ambrosiani 1991, с. 91).

Употребление* е *вместо* ѣ *в безударной позиции в М39 хорошо согласуется с предположением, что оксия над гласной после согласной отмечает какой-то реальный акцент (главный, побочный, народный, книжный).

Камора

Камора стоит в некоторых случаях над сохраненным ѣ: **в҃ѣ** 100, **ѕ҃ѣлѡ** 11, **ꙁим҃ѣ** 136, **и҆м҃ѣ** 138, **мн҃ѣ** 61v / **ко м҃нѣ** 215, 154v — **во мн҃ѣ** 289v / **на мн҃ѣ** 52v / **ѿ мн҃ѣ** 30, 139v, 238 / **по мн҃ѣ** 98v, 244, 193, 243v, **во т^ьм҃ѣ** 243. К этим примерам примыкает **и҆ско́н҃ѣ** 54 со вторичным ѣ. В качестве исключения она встречается и над е вместо ѣ: **ѕ҃елѡ** 119v, **мамон҃е** 17v. В других словоформах с этой заменой *камора* поставлена над другим слогом, а именно: **ѕел҃о** 79v, 235 / **ѕел҃ѡ** 146v (часто), **мам҃оне** 210, **пѡ | мн҃озе*** 75v / **ѿ мн҃оꙁе** 192, 196 / **во мн҃оꙁе** 209v (дважды) — **м҃ноз^хе** 161v, 207, **н҃озе** 178v (часто), **сед҃и** 67. Материал крайне маленький и не позволяет точных выводов.

Что касается первого исключения, **ѕ҃елѡ**, можно констатировать, что это слово нередко выступает с акцентным колебанием во многих памятниках. На наличие такого колебания и в М39

указывают написания ѕѣ҇ло 7v, ѕ҇ѣлѡ 11, ѕѣло 50, ѕелѡ 85. Поэтому вполне возможно смотреть на ѕ҇елѡ как на словоформу с двойной акцентировкой. Пример мамонѣ҇ можно сравнить с мамо҇не 210, где *камора* поставлена над тем слогом, на который падает ударение в ОБ, и, следовательно, с заменой ѣ на е в безударном положении. Поэтому было бы соблазнительно трактовать мамонѣ҇ как описку, но поскольку имеется и ѿ мамоны҇ 209v, такая трактовка кажется неприемлемой. Вероятно, и в этой лексеме налицо колебание в ударении. Ведь в среднеболгарском данное слово выступает с акцентом на окончании (Hock 1992, с. 345).

При условии, что и *оксия*, и *камора* обозначают акцент в М39, перед нами двойная акцентировка в случаях ѝско́нѣ҇ 54 и ѕѣ҇ло 7v. Примечательно, что *камора* стоит над тем слогом, где ожидается «старый» акцент (ср. еще ѝ|сконѝ 219v), а *оксия* стоит опять на один шаг слева.

Лишены решающего значения, но, все-таки, небезынтересны примеры кро҇мѣ 4, 203v, слѣ҇ѕи 217v. И в первом, и во втором акцент, в каком-то смысле, мог падать или на корень, или на окончание. В первом исконным является флексионное ударение, а корневое (ср. совр. *кро́ме*) можно объяснить как эффект дефинализации (Зализняк 1985, с. 186). В форме слѣ҇ѕи ожидается корневой акцент, раз данная лексема принадлежит к АП *а*, но флексионный тоже засвидетельствован, особенно в северовосточноболгарских рукописях (ср., напр., Стенсланд 1990, с. 63). Не отражает ли камора здесь болгаризм?

Примечание 3: Не случайность, что в число примеров, приведенных выше, входят мно҇зе, мно҇з[х]е и но҇зе. В М39 сочетание но҇ является своего рода *орфограммой*. Это вытекает из случаев вино҇ 144v, 171v, жено҇ѵ 14 (и другие) — жено҇ 201v, ѝно҇ѵ 141v, мно҇гъ 8v (и другие) — мно҇га 173v (и другие) — мно҇го 18 (и другие) — мно҇ги 70 (и другие) — мно҇гы 204v — мно҇ги[х] 126v — мно҇ги[м] 161v, 177 — мно҇зи 12 (и другие) — мно҇зѣ 202v — ѡ҆ мно҇ѕеи 192, мно҇жаѐ 195, 217 — мно҇жаише 200v, мно҇жицею 215v, 216, мно҇ю 166 (и другие), написано҇ 166v, но҇ *passim*, но҇ва́ 171v, но҇гꙋ 166, 192 — но҇гоѵ 183 — ѿ но҇гь 184 — но҇ги 159 — но҇зѣ 179v, но҇щь 198 — но҇щїю 8, но҇щнꙋю 159v, ѹ҆мно҇женїа́ 71v.

Примечание 4: В М39 мы не встречаем имевшийся, между прочим, в Новгороде обычай передавать фонему /ô/ посредством ô (Зализняк 1985, с. 208–209). Эту фонему, правда, можно встретить в таких словоформах, как добро҇ 138, ѐго҇ 144, ѕело҇ 79v, мамо҇не 210, мно҇гъ 8v, мно҇ю 166, ѿ но҇гь 184, но҇щь 198, но҇щнꙋю 159v, на село҇ 147v, соломо҇нъ 18 (Зализняк 1985, с. 174), но для других примеров в

М39 это, в нормальных случаях, неверно, напр.: йсполнити 10, кромѣ 4, кто 102, напйсанѡ 166v, нѡ *passim*, нѡва 171v, и другие. К тому же *камора* пишется и над многими другими гласными, кроме о. Еще некоторые примеры: архїерее 143v, вины 144v, въстани 98, голгоѳа 85av, жена 66, изыде 121v, мимонеси 140, в' мл 122v, се *passim*, хвалоѵ 179v, хоулѹ 142, и многие другие. В большинстве случаев *камора* стоит над тем слогом, на который обычно падает или на который могло падать ударение, но этот вывод выходит за рамки данного исследования.

Употребление е вместо ѣ в безударной позиции в М39 не дает окончательного ответа на вопрос, может ли камора в данной рукописи отмечать ударение. Но материал не противоречит утвердительному ответу.

Заключение

Было установлено, что в М39 е заменяет ѣ в принципе только в безударной позиции. Анализ альтернации ѣ ~ е в *о*-основах существительных и в некоторых других отдельных примерах указывает на акцентную систему западновеликорусского характера, которая должна соответствовать просодической системе писцов.

Согласно предварительному акцентографическому анализу, *оксия* над гласной после согласной отмечает в М39, по всей вероятности, действительное ударение. Распределение /ě/-рефлексов подкрепляет этот вывод. Словоформы, в которых употребление е вместо ѣ указывает на *одно* ударение, а *оксия* на другое, можно трактовать как случаи двойной акцентировки особого типа. При этом замена ѣ на е представляет обычно более «русское» ударение, чем *оксия*, которая нередко поставлена по южнославянской модели.

Согласно предварительному акцентографическому анализу возможно, что *камора* имеет функцию обозначения иктуса. На основе альтернации ѣ ~ е этот вывод не подтверждается из-за ограниченности материала. Но примеры не противоречат такой возможности.

Проведенное здесь исследование очень ограничено и носит скорее демонстрирующий характер. Оно показало, что вполне возможно и порой плодотворно применять альтернацию ѣ ~ е как верификат к акцентографическому анализу.

Дальнейшие, более полные исследования в этой области должны, на наш взгляд, пролить новый свет на проблемы, свя-

занные с толкованием акцентных систем и систем акцентуирования в рукописях с сильным проявлением второго южнославянского влияния.

Библиография

Аванесов 1991 — Р. И. Аванесов (ред.). Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. IV. М., 1991.

Библия 1499 года и Библия в синодальном переводе. Т. 7. М., 1992.

Берында — см. Лексикон...

библїа сирѣч книгы ветхаго, и новаго завѣ|та по ꙗзыку словенску. Острог 1581.

Геннадиевская библия — см. Библия 1499 года...

Зализняк 1985 — *А. А. Зализняк*. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

Зализняк 1989 — *А. А. Зализняк*. Перенос ударения на проклитики в старовеликорусском. Историческая акцентология и сравнительно-исторический метод. М., 1989, с. 116–134.

Зализняк 1990 — *А. А. Зализняк*. «Мерило Праведное» XIV века как акцентологический источник (= Slavistische Beiträge. Band 266). München 1990.

Колесов 1962 — *В.В. Колесов*. Эволюция фонемы [ô] в русских северо-западных говорах // Филологические науки 5/3, 1962, с. 94–104.

Лексикон словенороський Памви Беринди (= Пам'ятки української мови XVI–XVII ст. Серія наукової літератури.) Київ, 1961.

Острожская библия — см. **библїа**...

Стенсланд 1990 — *Л. Стенсланд* (*L. Steensland*). Акцентировка и акцент. Акцентологический анализ Служебника XV в. Chil. 323 (= Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies 19). Stockholm, 1990.

Ambrosiani 1991 — *P. Ambrosiani*. On Church Slavonic Accentuation. The Accentuation of a Russian Church Slavonic Gospel Manuscript from the Fifteenth Century (= Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies 21). Stockholm, 1991.

Hock 1992 — *W. Hock*. Der Flexionsakzent im mittelbulgarischen Evangelie 1139 (NBKM) (= Sagners Slavistische Sammlung. Bd19). II: Akzentwörterbuch. München, 1992.

Lehfeldt 1989 — W. Lehfeldt (изд.). Neues Testament des Čudov-Klosters. Eine Arbeit des Bischofs Aleksij, des Metropoliten von Moskau und ganz Rußland. Phototypische Ausgabe von Leontij, Metropolit von Moskau, Moskau 1892, mit

einer Einleitung herausgegeben von Werner Lehfeldt (= Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven. Bd. 28). Köln; Wien, 1989.

Pereswetoff-Morath 1993 — *A. I. Pereswetoff-Morath*. En studie i accentografi. De supralineära tecknen i ett kyrkoslaviskt evangelium på LUB. [Курсовая работа, Отделение славянских языков Лундского университета] 1993.

Schweier 1987 — *U. Schweier*. Zum Flexionsakzent in der grossrussischen Literatursprache des 16. und 17. Jahrhunderts. Beschreibung und vergleichende Einordnung der Akzentsysteme der Ostroger Bibel (Neues Testament) von 1580–1581 und der Moskauer Bibel von 1663 (= Specimina Philologiae Slavicae. Supplementband 22). München, 1987.

Sverige—Bulgarien. Röster från sju sekel. Utställning av slaviska handskrifter, gamla kartor över Bulgarien och tillhörande områden... Sofia, 1980.

Р. Ф. Касаткина

Некоторые наблюдения над особенностями словесного ударения в современном русском языке Новые энклиномены?*

В современной русской спонтанной речи наблюдается изменение места словесного ударения в определенных категориях слов. Все эти случаи можно квалифицировать как отклонения от акцентологической нормы. Поскольку во всех этих отклонениях от нормы можно проследить некоторые тенденции, одни из которых как бы намечают будущие акцентные сдвиги, а другие продолжают направления развития акцентологической системы, наметившиеся на более ранних этапах существования языка, то анализ тех и других категорий слов представляет определенный исследовательский интерес.

Предметом обсуждения будут следующие вопросы: 1) наблюдаемые в речи изменения акцентных парадигм некоторых одно- и двухсложных слов; 2) тенденция, проявляющаяся в акцентном оформлении сложных и сложносокращенных слов.

1. Односложные и двусложные слова

В речи зафиксированы следующие случаи ненормативного переноса ударения на начальный слог: *Я вчера купила со́ма* (разговор в магазине); *Поклониться Ему пришли во́лхвы* (из передачи ТВ); *Мы стали зубрами, во́лками* (из передачи ТВ). В этих случаях можно отметить тенденцию к замене акцентной парадигмы *c* на акцентную парадигму *a* и при этом отчетливую тенденцию к упрощению акцентологического оформления слова.

---

* Работа выполнена при поддержке Фонда Сороса (через CEU RSS).

Тенденция к перемещению ударения на первый слог для двусложных слов акцентной парадигмы *c* отмечена уже давно. Так, в формах 2-го и 3-го лица глаголов на *-ить* продолжается постепенная замена старой нормы на новую: кодифицируется смещение ударения на первый слог. Для таких глаголов, как *вали́ть, вари́ть, грузи́ть, дави́ть, дружи́ть, кати́ть, клеи́ть, крути́ть, кури́ть, кути́ть, меси́ть, соли́ть, та́щить* и др., этот процесс уже закончился, и начальное ударение в формах: *ва́лит, ва́рит, гру́зит, да́вит, дру́жит, ка́тит, кле́ит, кру́жит, ку́рит, ку́тит, ме́сит, со́лит, та́щит* закреплено нормой [см. Горбачевич 1981, с. 107–109].

Еще не ставшие нормативными, но широко распространенные в узусе формы *зво́нит, вклю́чит, вру́чит*, очевидно, находятся в русле той же тенденции, хотя степень приближения к норме у этих словоформ неодинакова: судя по пометам в «Орфоэпическом словаре русского языка» (далее — ОС) и в словаре [Еськова 1994], форма *вру́чит* орфоэпистами не фиксируется, а форма *вклю́чит* сопровождается пометой *неправ(ильно)*. Форма же *зво́нит* ближе к норме: в обоих словарях — помета *не рек(омендуется)*, а словарь [Трудности словоупотребления 1973] считает ее разговорной.

Тенденция смещения ударения на начальный слог проявляется и у некоторых двусложных существительных: *йо́гурт, о́вен, по́ртфель, тво́рог, то́рец*. Эти слова относятся к разным акцентным парадигмам и по-разному удалены от нормы (форма *тво́рог* уже считается допустимой) [см. ОС; Еськова 1994]. В узусе отмечены также случаи *ло́моть, ло́бан* (первое уже допускается орфоэпистами [см. ОС; Еськова 1994], второе в этих словарях не фиксируется).

2. Сложные и сложносокращенные слова

Стремление к смещению ударения к началу слова отмечается и здесь. Любопытным в этом плане представляется замечание Л. Л. Васильева о месте ударения во вторых основах сложных слов. Он писал о «компромиссе двух ударений <...> в сложных словах: *челоби́тье, чаепи́тие, общежи́тие при битье́, питье́, житье́* или *однодво́рец, молотобо́ец, летопи́сец, трезу́бец* и мн. др. при *дворе́ц, бое́ц, писе́ц, зубе́ц*» [Васильев 1904, с. 497]. Для нас в этом наблю-

дении важно отметить сдвиг ударения в перечисленных словах к началу второй основы и тем самым к началу слова. К этому можно добавить такие случаи, как *благоприобре́тенный* (при *приобретённый*), *змееб́орец* (при *боре́ц*), *двуго́док, одного́док, перво́годок* и т. д. (при *годо́к*), *злободне́вный, многодне́вный, пятидне́вный* (при *дневно́й*), *камнере́зный, косторе́зный* (при *резно́й*), *клеева́ренный* (при *варёный*), *песнопе́вец, псалмопе́вец* (при *певе́ц*), *книгопрода́вец, христопрода́вец* (при *продаве́ц*), *лавро́вишневый* (при *вишнёвый*), *средневеко́вый* (при *векрво́й*), *цельнокро́еный* (при *кроёный*).

В сложных словах, второй частью которых являются существительные муж. рода с односложной основой без беглого гласного, относящиеся к акцентной парадигме *b*, может наблюдаться ударение на второй основе в соответствии с акцентной парадигмой *a*: *плод* — *плода́*, но *корнепло́да, клубнепло́да, стеблепло́да* и т. п. Из словаря [Зализняк 1977] были выписаны все подобные слова: *златокро́та* (при *крота́*), *остроли́ста, стрелоли́ста* и др. (при *листа́*), *архиплу́та* (при возможном *плута́*), *самосу́да* (при *суда́*), *блокпо́ста* (при *поста́*), *вуалехво́ста*, *мечехво́ста*, *лирохво́ста, лисохво́ста, шипохво́ста* и др. (при *хвоста́*), *брандахлы́ста* (при *хлыста́*), *протопо́па* (при *попа́*), *кривоши́па* (при *шипа́*). Можно было бы думать, что и у всех этих сложных слов также происходит перемещение ударения на начало второй основы. Однако следует учитывать, что часть слов, составляющих вторую основу, ранее принадлежала к акцентной парадигме *a* (*лист, плод, хлыст*), а другая — к акцентной парадигме *b* (*поп, суд, хвост*) [Колесов 1972, с. 112, 183, 184; Хазагеров 1973, с. 75, 86]. Поэтому о сдвиге ударения можно говорить только по отношению к словам второй группы.

До сих пор речь шла об основном ударении в слове. Теперь обратимся к феномену так называемого дополнительного ударения. Согласно нашей точке зрения, опубликованной в работе [Каленчук, Касаткина 1993], дополнительное ударение — явление не словесной, а фразовой просодии, и возникает оно лишь в тех случаях, когда этого требуют просодико-семантические условия оформления фразы. Поэтому, говоря об отдельных словоформах, корректнее было бы пользоваться понятием «отсутствие качественной редукции гласного», однако в целях экономности изложения и для удобства читателей будем пользоваться термином «дополнительное ударение», с той оговоркой, которая сделана в этом абзаце.

Словообразовательная модель большого массива сложных слов включает в себя смещение дополнительного ударения на начальный слог первой основы. Ср. такие слова, как *вѐсновспáшка* (при *веснá*), *вѝноторгóвля* (при *винó*), *зѐрнохранѝлище* (при *зернó*), *ѝглотерапѝя* (при *иглá*), *лю̀бвеобѝльный* (при *любóвь*), *мѐтрогородóк* (при *метрó*), *мо̀локозавóд* (при *молокó*), *о̀гнепоклóнник* (при *огóнь*), *пчѐлопитóмник* (при *пчелá*), *сѐреброрýдный* (при *серебрó*), *тѐплоотдáча* (при *теплó*), *цѐнообразовáние* (при *ценá*), *я̀йцезаготовѝтельный* (при *яйцó*) и многие другие [см. об этом также Земская 1992, с. 55], где в определенных фразовых позициях может появляться дополнительное ударение (ДУ).

Как уже отмечалось неоднократно, в спонтанной речи наблюдаются случаи переноса дополнительного ударения на первый слог сложных слов с того слога, который маркируется ДУ в словарях [см. Борунова 1991, с. 86–91; Каленчук, Касаткина 1993, с. 104], например: *Это были в*[ы̀]*сококультýрные люди* (ОС — *высо̀кокультýрные*); *Группа в*[ы̀]*сокопостáвленных чиновников прибыла в Бонн* (ОС — без ДУ); *Это положение связано также и с вн*[у̀]*триполитѝческими причинами* (ОС — *внутрѝполитѝческий*); *Это можно рассматривать как проявление вн*[у̀]*тривѝдовой борьбы* (ОС — *внутрѝвидовóй*); *Здесь протянулись линии* [э̀]*лектропередáч* (ОС — *элѐктропередáча*); *Не поставляют ж*[э̀]*лезобетóн* (ОС — *желѐзобетóн*); *Покупайте книгу по с*[а̀]*баководству* (в ОС дополнительное ударение отсутствует); *Там построили новый м*[ъ̀]*локозавóд* (в ОС отсутствует это слово); *Это был невысокий п*[’ѝ]*тидесятилéтний человек* (в ОС — ДУ на втором слоге).

В акцентологическом отношении первые основы сложных слов можно разделить на три группы. В одной группе дополнительное ударение появляется на том же слоге, что и в исходной форме (*кля̀твопреступник — кля̀тва, зо̀лотоискáтель — зо̀лото, пѐрвопрохóдец — пéрвый, трёхпáлубный — трёх* и т. д.), во второй группе дополнительное ударение появляется на слоге, безударном в исходной форме (*я̀йцезаготовѝтельный — яйцó, о̀гнепоклóнник — огóнь, вѐсновспáшка — веснá* и т. д.), и этот слог — первый в сложном слове. В третьей группе место дополнительного ударения колеблется и не имеет постоянной прикрепленности: оно может быть на втором слоге (*легко̀-, элѐктро-, внутрѝ-*), в некоторых основах — то на втором, то на третьем слоге (*высо̀ко-* и *высоко̀-, глубо̀ко-* и *глубоко̀-, тяжѐло-* и *тяжело̀-, широ̀ко-* и *широко̀-*), и во всех этих основах в спонтанной речи дополнительное ударение может переноситься на первый слог.

При этом также акцентируется слог, безударный в исходной форме.

Среди основ, относящихся к третьей группе, обнаруживается некоторая неоднородность. В одних случаях перенос ударения факультативен и может расцениваться как риторический прием (*вы̀сококульту́рный, э̀лектропереда́ча, жѐлезобето́н*), в других случаях начальное положение ударения представляется закономерным, и рекомендации ОС не кажутся бесспорными (*со̀бако(во́дство, мо̀локозаво́д, вну̀тривидово́й*). Вот список первых основ сложных слов, в которых в речи регулярно или нерегулярно дополнительное ударение переносится на первый слог: *вы̀соко-* (ОС — *высоко̀-*), *вну̀три-* (ОС — *внутрѝ-*), *гѐтеро-* (ОС — только *гетѐрогене́з*, а остальные словоформы даются без ДУ), *гѝганто-* (ОС — ДУ в слове *гига̀нтома́ния*), *глу̀боко-* (ОС — *глубо̀коуважа́емый*, а в таких формах, как *глубокомы́сленный, глубоково́дный* ДУ не отмечено), *да̀леко-* (ОС — вообще отсутствуют словоформы типа *далекоиду́щий*), *дѐсяти-* (ОС — ДУ только в словах *десятѝкилометро́вый* и *десятѝкилометро́вка*), *жѐлезо-* (ОС — *желѐзо-*), *за̀коно-* (ОС — *зако̀но-*), *ко̀ротко-* (ОС — ДУ на втором слоге только в одном слове: *коро̀тковолнови́к*), *лѐгко-* (ОС — ДУ не отмечено даже в таких словоформах, как *легкоатлети́ческий* и *легкоатле́т*), *пя̀ти-* (ОС — ДУ не отмечено), *тя̀жело-* (ОС — только одно слово с ДУ — *тяжело̀больно́й*). В сложных словах с первыми основами *велико-, двадцати-, девяти-, зелено-, железно-, иконо-, инако-, конопле-, молоко-, славяно-, собако-* в ОС ДУ вообще не отмечено.

Совершенно очевидно, что этот список примеров произношения сложных слов с начальным ударением далеко не исчерпывает всех основ, которые в сложных словах допускают смещение дополнительного ударения на начало.

Возможность смещения дополнительного ударения на первый слог подкрепляется и наблюдением над языком поэзии, ср., например, акцентуацию слова *зеленоглазый* в следующей строфе песни Б. Окуджавы «Молитва Франсуа Вийона»:

Господи мой, Боже!
Зѐленогла́зый мой!
Пока земля еще вертится,
И это ей странно самой...

И сам Б. Ш. Окуджава поёт *з*[’ѐ]*леногла́зый*.

Вместе с тем, в русском языке можно обнаружить и такие основы сложных слов, в которых как будто бы переноса допол-

нительного ударения на первый слог не наблюдается. И это наблюдение также можно подкрепить примерами из поэтического языка.

У того же автора в «Песенке о молодом гусаре» есть такие строки:

А бедный тот гусар,
В Амалию влюблённый,
Он всё еще стоит,
Колѐнопреклонённый.

Дополнительное ударение — на втором слоге основы *колено-*. Такую же акцентуацию этой основы находим и у Пушкина в «Борисе Годунове»:

Встань, бедный самозванец.
Не мнишь ли ты *колѐнопреклоне́ньем*,
Как девочки доверчивой и слабой,
Тщеславное мне сердце умилить?

Эта основа, с фиксированным местом дополнительного ударения не на первом слоге, не единична. К ней как будто бы можно добавить еще и многие другие: *байка̀ло-, давно̀-, дина̀мо-, душѐвно-, вуа̀ле-, высо̀то-, заво̀до-, загра̀н-, заго̀т-, зако̀нно-, зако̀но-, кана̀во-, капита̀ло-, кара̀куле-, кисѐле-, кукуру̀зо-, кумы̀со-, лимо̀нно-, оборо̀но-* и др.

Примечательно, что рекомендации Орфоэпического словаря во всех этих случаях, в отличие от рекомендаций по отношению к основам, перечисленным выше, единообразны: произношение первой основы маркируется дополнительным ударением не на начальном слоге. Однако примеры из бытовой разговорной речи, а также из передач радио и телевидения, доказывают обратное: перенос дополнительного ударения возможен и в словах с этими основами: Российские *б*[а̀]*йкаловеды собрались на конференцию в Иркутске; В*[ы̀]*сотоме́ры — это приборы для определения высоты суши над уровнем моря; Во многих языках существует д*[а̀]*внопроше́дшее время; В Узбекистане сохранились огромные к*[а̀]*ракулево́дческие совхозы; С причала мы наблюдали за медленными движениями огромных к*[ѝ]*селеобра́зных медуз; Недавно в Калмыкии открылась новая к*[у̀]*мысолечебница;* [а̀]*бороноспосо́бность армии была проверена в ходе недавних боёв.*

Да и основа *колено-*, по-видимому, могла бы допускать перемещение ДУ на первый слог, если бы она сочеталась не с такими

многосложными вторыми основами, как *-преклонённый* и *-преклоне́нье*.

Поэтому на вопрос в заголовке статьи о «новых энклиноменах» ответ должен быть отрицательным, поскольку акцентное выделение первого слога может в речи наблюдаться в сложных словах с любыми первыми основами. Но при этом очевидно, и это положение подкрепляется многочисленными примерами, что дополнительное акцентирование наблюдается не только в сложных словах, а в любых многосложных словах! Так, уже давно было замечено, что слова с оценочным значением типа *замечательно, великолепно, потрясающе* и т. п. в экспрессивной речи могут иметь двойную акцентуацию, т. е. получать дополнительное ударение еще и на первом слоге.

Однако наблюдения показывают, что в спонтанной речи двойное акцентирование может наблюдаться и в любых других многосложных словах. Ср. примеры: *Всю свою жизнь он посвятил п*[ъ̀]*пуляриза́ции дешевых изданий; Наша жизнь — это с*[ỳ]*ществова́ние; Он рассказал нам пр*[’ѝ]*занима́тельнейшую историю; Все подобные преступления совершаются по преимуществу р*[’ѐ]*цидиви́стами; Следующая станция — М*[ъ̀]*яко́вская.*

И все же некоторое сходство с древнерусскими энклиноменами, как кажется, в случаях подобной акцентуации можно проследить. Это сходство касается качества гласного под дополнительным ударением. Акцентное выделение первого слога может не менять качества гласного, и под ударением может оказаться редуцированный гласный [ъ]. Нечто подобное, согласно А. А. Зализняку, происходило и с энклиноменами, если они находились в позиции, где возникало так называемое автоматическое ударение [Зализняк, 1985, с. 120]: просодическое усиление получал безударный гласный. В современной русской речи это приводит к неожиданному для вокалической системы русского языка эффекту: под ударением оказывается редуцированный гласный — [ъ] (после твердых согласных) и [и] (после мягких). Ср. следующие примеры: *к*[ъ̀]*ноплево́дство, к*[ъ̀]*раблекруше́ние, м*[ъ̀]*локозаво́д, п*[ъ̀]*пуляриза́ция, с*[ъ̀]*баково́дство, в*[’ѝ]*ликоле́пный, д*[’ѝ]*вятиле́тний, з*[’ѝ]*леногла́зый* и др. Причем, если в некоторых из приведенных примеров возможно и «прояснение» гласного первого слога, т. е. призношение нередуцированного гласного (*м*[ъ̀]*локозаво́д* и *м*[ò]*локозаво́д, з*[’ѝ]*леногла́зый* и *з*[’ѐ]*леногла́зый*), то в других словах «прояснение» первого гласного представляется почти невозможным (*ко̀ноплево́дство, ко̀раблестрое́ние, о̀боро-*

носпосо́бность, со̀баковоо́дство, пя̀тидюймо́вка, тя̀желоатле́тика — только с редуцированным первым гласным). Этим, по-видимому, и объясняется то обстоятельство, что в ОС такие многосложные слова, как *коноплетеребилка, кораблестроение, молокозаво́д* и др. подобные, не отмечены побочным ударением: в основе концепции ОС лежит положение Р. И. Аванесова о том, что побочное ударение связано непременно с отсутствием качественной редукции гласного [см. Аванесов 1956, с. 113–114].

Таким образом, под дополнительным ударением в начале слова после твердых согласных возможны следующие гласные: [ъ] (*к*[ъ̀]*ноплевоо́дство*), [а] (*з*[а̀]*готови́тельный* и *с*[а̀]*баководство*), [о] (*м*[о̀]*локозаво́д*), [ы] (*в*[ы̀]*сокопоста́вленный*), [у] (*вн*[у̀]*тривидово́й*); после мягких согласных возможны только три гласных: [и] (*г*[ѝ]*гантома́ния*, *з*[’ѝ]*леногла́зый* и *т*[’ѝ]*желоатле́тика*), [’е] (*л*[’ѐ]*гкоатле́т* и *т*[’ѐ]*желоатле́тика*), [у] (*л*[’у̀]*бвеоби́льный*). Представляется невозможным в указанных условиях произношение гласного нижнего подъема после мягких согласных: в словах *пятидюймовка, пятисотлетие, прямолинейный, тяжеловесный* и т. п. гласный первого слога под дополнительным ударением может «проясняться» только до степени открытости [е], но не более. Можно предположить, что здесь происходит как бы скрытое отталкивание от яркой диалектной черты — *я́канья*. По отношению к двум другим чертам диалектного вокализма — *о́канью* и *э́канью*, как видно из приведенных примеров, система вокализма литературного языка оказывается более терпимой. При этом *э́кающее* произношение, как кажется, занимает более сильные позиции, в то время как примеры с «прояснением» [о] сравнительно редки. Так обстоит дело с реализацией гласных под смещенным дополнительным ударением.

В двух других случаях появления в сложных словах ДУ, указанных выше, т. е. при совпадении места ДУ с местом ударения в первой производящей основе (напр., *кля̀твопресту́пник*) и при перемещении ДУ на первый (бывший безударный) слог, как того требует словообразовательная модель (напр., *мѐтрогородо́к*), наборы возможных реализаций гласных оказываются более полными. В группе основ первого рода под ДУ возможны те же гласные, что и в позиции под основным ударением (см. примеры выше). В группе основ второго рода под ДУ наблюдается тот же набор гласных, но сокращенный на один: [о] после мягких согласных в этой позиции как будто бы невозможно (ср. *т*[’ѐ]*плопереда́ча*, но не *т*[’о̀]*плоотда́ча*).

Таким образом, рассмотренный материал подтверждает существование в современном русском языке тенденции к смещению ударения к началу, а нередко и на начало слова. При этом одни факты уже закреплены в системе языка, другие пока еще отмечаются на уровне речи. Обнаруженные в ходе анализа материала различные инвентари аллофонов гласных фонем, различающиеся в позициях под дополнительным ударением разного происхождения, представляют интерес для полного описания фонетики современного русского языка и заслуживают дальнейшего изучения.

Литература

Аванесов 1956 — *Р. И. Аванесов.* Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956.

Борунова 1991 — *С. Н. Борунова.* Реализация побочного ударения в разных типах речи // Грамматические исследования. Функционально-стилистический аспект. М., 1991.

Васильев 1904 — *Л. Л. Васильев.* [Рец.:] *С. М. Кульбакин.* К истории и диалектологии польского языка // ЖМНП, август 1904, № 354.

Горбачевич 1981 — *К. С. Горбачевич.* Нормы современного русского литературного языка. М., 1981.

Еськова 1977 — *Н. А. Еськова.* Краткий словарь русского языка. Словоизменение. М., 1977.

Зализняк 1985 — *А. А. Зализняк.* От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

Земская 1992 — *Е. А. Земская.* Словообразование как деятельность. М., 1992.

Каленчук, Касаткина 1993 — *М. Л. Каленчук, Р. Ф. Касаткина.* Побочное ударение и ритмическая структура русского слова на словесном и фразовом уровнях // ВЯ, 1993, № 4.

Колесов 1972 — *В. В. Колесов.* История русского ударения. Л., 1972.

ОС — Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы / Под ред. Р. И. Аванесова. 1-е изд. М., 1983; 5-е изд., испр. и доп. М., 1989.

Трудности словоупотребления 1973 — Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка. Словарь-справочник. Л., 1973.

Хазагеров 1973 — *Т. Г. Хазагеров.* Развитие типов ударения в системе русского именного склонения. М., 1973.

Е. Г. Устинова

Словесный акцент: проблемы типологии

Прототипическое представление о словесном акценте как особого рода явлении синтагматической фонологии можно представить приблизительно следующим образом:

> ***словесный акцент*** — это особый способ организации внешней стороны словоформ некоторого языка, состоящий в том, что в любой словоформе данного языка одна из гласных (акцентная вершина словоформы) противопоставлена по определенному фонетическому признаку (или группе признаков) всем другим гласным этой словоформы.

На самом деле, современная акцентология исходит из значительно более сложной теоретической конструкции (см., в частности, [Гард 1968]):

– во-первых, в качестве единицы, между составляющими которой устанавливаются отношения синтагматической противопоставленности, рассматривается не грамматическая словоформа, а иная единица, в принципе соотносимая со словоформой, но в общем случае ей не тождественная — акцентное слово. Так, акцентное слово может содержать несколько словоформ, ср. русск. *нá воду, бы́л ли*; с другой стороны, одна словоформа может состоять из нескольких акцентных слов, ср. русск. *бу́дет читáть, электро-двúгатель* (последний случай подпадает под понятие «этимологического» второстепенного акцента), соотношение между грамматической словоформой и акцентным словом может быть и более сложным;

– во-вторых, считается, что составляющими, между которыми в пределах акцентного слова устанавливаются отношения синтагматической противопоставленности, являются не собственно гласные, а иные фонологические единицы, причем для разных языков эти единицы различны: в одних языках — это слог, в других — мора (целая часть слога); выбор между этими двумя решениями для конкретного языка определяется степенью простоты правил, регулирующих выбор вершинной составляющей в акцентном слове;

– и, наконец, в-третьих, в пределах акцентного слова в определенных случаях допускается наличие не одной, а нескольких вершин, позиции которых взаимосвязаны, — речь идет о так называемом «ритмическом» второстепенном акценте, представленном, например, в ряде финно-угорских языков в следующем варианте: акцент находится на первом, а также на всех последующих нечетных слогах, — необходимо обратить внимание на то, что эта ситуация принципиально отлична от той, с которой мы сталкиваемся в русск. *э̀лектродви́гатель*, где позиции вершин не зависят друг от друга.

В дальнейшем, для упрощения изложения, мы отвлекаемся от перечисленных проблем, существенно жертвуя при этом корректностью формулировок.

Из приведенного в начале определения словесного акцента следует, в частности, что с типологической точки зрения системы словесного акцента можно сравнивать по двум основным параметрам:

– по тому, какой именно фонетический признак является в данной системе акцентообразующим (в таком качестве, как известно, чаще всего выступают признаки интенсивности, тона и длительности);
– по характеру правил выбора акцентной вершины словоформы.

По второму параметру среди систем словесного акцента прежде всего можно выделить два основных типа, различающиеся тем, какого рода информация используется в них при выборе акцентной вершины словоформы.

1. **Системы с фонологически мотивированным выбором вершины** — системы, в которых правила выбора вершины могут быть сформулированы исключительно в терминах фонологического уровня представления;

2. **Системы с нефонологически мотивированным выбором вершины** — системы, в которых для выбора акцентной вершины необходима информация о более глубинных уровнях представления словоформы, например, та или иная морфологическая информация (сведения о морфемном составе, категориальных характеристиках и под.).

Существенно заметить, что данное противопоставление в принципе не тождественно широко распространенному в отечественной лингвистической традиции и восходящему по сути к функционально-структурной фонологической концепции [Трубецкой 1960] делению акцентных систем на:

– системы с так называемым «связанным» акцентом, в которых позиция вершины определенным образом ориентируется на одну из границ словоформы, по Трубецкому, системы с «делимитативной» функцией акцента;
– и системы со «свободным» акцентом, в которых гласная может оказаться вершинной независимо от того, какую позицию она занимает по отношению к границе словоформы; по Трубецкому — системы со «смыслоразличительной» функцией акцента, т. е. предполагающие в принципе наличие в языке пар словоформ, которые различаются только позицией акцентной вершины.

Так, в частности, хотя все случаи связанного (по Трубецкому) акцента безусловно подпадают под понятие фонологически мотивированного, обратное, как мы попытаемся показать ниже, неверно: не всякий фонологически мотивированный акцент является связанным, тем самым, не всякий такой акцент способен выполнять делимитативную функцию. Далее, не всякий свободный (по Трубецкому) акцент можно квалифицировать как нефонологически мотивированный, не всякий такой акцент способен выполнять смыслоразличительную функцию.

В настоящей заметке мы коснемся в основном проблем, связанных со структурой первого из выделенных двух типов акцентных систем — систем, характеризующихся фонологически мотивированным выбором акцентной вершины.

В пределах этого типа акцентных систем можно различать, в свою очередь, следующие два подтипа:

– системы, характеризующиеся равной удаленностью (речь идет, разумеется, о временно́й удаленности) акцентной вершины от одной из границ словоформы;

– системы, допускающие произвольную удаленность акцентной вершины от любой из границ словоформы [1].

Системы, характеризующиеся равной удаленностью вершины от одной из границ словоформы

Идея временнóй удаленности акцентной вершины от одной из границ словоформы, объединяющая рассматриваемые ниже системы словесного акцента, в конкретных языках реализуется в двух основных вариантах:
– допустимое «расстояние» между акцентной вершиной и той или иной границей словоформы определяется исключительно в терминах количества слогов, будем называть такого рода системы ***чистослоговыми***;
– допустимое «расстояние» между акцентной вершиной и границей словоформы определяется как в терминах количества слогов, так и с учетом сегментной структуры этих последних, причем, как показывает изучение, релевантными здесь оказываются такие различия в структуре слога, которые очевидным образом связаны с их длительностью (см. ниже, с. 414), будем говорить соответственно о ***морнослоговых системах***.

Заметим, что слог, по своему основному содержанию, не является языковой «мерой длительности», ср., в частности, такие определения этого языкового феномена, как «слог есть минимальный звуковой отрезок, на который приходится нарастание и спад воздушного потока („дыхательный импульс“)», «слог реализуется не как последовательность составляющих его звуков, а как цельный артикуляционный комплекс, т. е. задается единым блоком нейрофизиологических команд к мышцам» [Кодзасов 1990].

Понятно, однако, что при необходимости слог может служить и в качестве меры длительности звуковой цепочки, хотя, естественно, довольно грубой, поскольку длительность слогов в языке может быть существенно различна.

Понятие ***мора***, довольно широко использующееся в описаниях конкретных языков, с теоретической точки зрения выглядит довольно расплывчатым. В целом, однако, можно выделить следующие общие положения. Понятие моры вторично по отношению к понятию слога — мора чаще всего выступает как средство описания слоговой структуры. Показателен в этом отношении, например, тот факт, что для всех языков, в описаниях которых ис-

используется это понятие, актуально следующее соотношение между морой и слогом: мора никогда не разрывается слоговой границей, т. е. слог содержит целое число мор.

Можно заметить также, что в языковых описаниях, оперирующих понятием моры, мора используется в разных функциях. Иногда мора признается носителем определенного фонетического признака, который (по тем или иным соображениям) оказывается нецелесообразным приписывать таким единицам, как фонема или слог. Будучи носителем такого признака, например, признака тона, мора может участвовать и в создании феномена словесного акцента, т. е. моры могут выступать в качестве тех составляющих словоформы, между которыми устанавливаются отношения синтагматической противопоставленности (см. в этой связи о древнегреческом акценте [Гард 1968: 144]). Во-вторых, мора используется для сравнения длительности слогов (см., например, ниже о латинском ударении). В настоящий момент нас будут интересовать прежде всего случаи второго типа. И именно с этой функцией моры мы связываем понятие морнослоговых акцентных систем.

В несколько более формализованном виде специфику акцентных систем, характеризующихся равной удаленностью от одной из границ словоформы, можно представить следующим образом:

если расположить на временнóй оси словоформы данного языка таким образом, чтобы их начало (при ориентировке акцента на левую границу словоформы) или конец (при его ориентировке на правую границу) находились в одной точке, то можно задать некий нетривиальный (меньший по длине, чем самая длинная словоформа данного языка) интервал, такой, что акцентная вершина любой словоформы данного языка, которая окажется не короче расстояния между началом (концом) словоформы и ближайшей к ней границей этого интервала, попадет в заданный интервал [2].

Принципиальное отличие систем этого типа от систем, допускающих произвольную удаленность акцентной вершины от обеих границ словоформы, состоит в том, что в последних такого интервала задать вообще нельзя.

Чистослоговые акцентные системы

Системы словесного акцента, в которых выбор вершины связан с границами словоформы на основе чистослогового принципа, довольно широко представлены в языках мира. Существует

даже мнение, что к этому типу относится значительное большинство акцентных систем [Касевич и др., 1990: 55]. Следует отметить, однако, что такого рода утверждения требуют, на наш взгляд, серьезной дополнительной проверки. Дело в том, что для описаний конкретных языков, которые собственно и служат основой для этих статистических подсчетов, довольно типична практика квалифицировать как чистослоговые и те акцентные системы, которые в действительности таковыми не являются. Причина понятна — акцентные системы других типов, особенно системы с нефонологически мотивированным выбором вершины, довольно сложно обнаружить, они требуют громоздких описаний. Отсюда — естественное стремление исследователя, если к тому же он специально не ориентирован на акцентологические проблемы, дать в грамматике сильно упрощенную картину акцента. В подобной ситуации он нередко опирается на субъективное представление о некоей одной, наиболее типичной для данного языка позиции акцентной вершины, относя все противоречащие случаи к исключениям, причем независимо от того, насколько эти исключения многочисленны или регулярны. Так нередко надолго складывается ложное представление о закрепленности акцента в некотором языке за определенным (по порядку слева или справа) слогом [3].

Число реально встречающихся способов реализации чистослогового принципа выбора акцентной вершины сравнительно невелико. Как показывает изучение, в подобных случаях акцентная вершина бывает размещена не далее третьего слога от границы словоформы (более детальный анализ, возможно, позволил бы и в этих пределах увидеть определенную систему преференций). Известны системы, в которых акцентная вершина связана с начальным слогом словоформы (финский, венгерский, чешский, исландский, латышский и др.) или ее конечным слогом (французский, армянский, языки семьи тупи-гуарани (Бразилия) и др.). Акцент на втором от конца слоге представлен, в частности, в польском, на третьем от конца — в македонском.

Морнослоговые системы

Этот тип акцентных систем известен значительно меньше, чем чистослоговые системы. Из систем такого рода в литературе чаще всего упоминаются латинская и классическая арабская системы.

Морнослоговые системы, как и чистослоговые, характеризуются, как было сказано раньше, наличием определенных ограничений на удаленность акцентной вершины от одной из границ словоформы. При этом в отличие от чистослоговых систем, где такого рода ограничения определяются исключительно в терминах количества слогов, отделяющих акцентную вершину от границы словоформы, в морнослоговых системах допустимое расстояние между акцентной вершиной и границей задается как количеством слогов, так и их фонемной структурой.

Способы конкретной реализации этого принципа выбора акцентной вершины существенно варьируются от языка к языку. Можно даже, пожалуй, утверждать, что каждая система такого рода в известном смысле уникальна. В этом отношении морнослоговые системы существенно отличаются от чистослоговых, где, как отмечалось выше, число реально представленных вариантов реализации базового принципа довольно ограничено. Однако при всем разнообразии правил выбора позиции акцентной вершины, которое обнаруживают морнослоговые системы, оказывается, что и в них, по-видимому, вершина не бывает удалена от границы словоформы дальше третьего слога (ср. аналогичное ограничение для чистослоговых систем).

Различия между морнослоговыми системами связаны с двумя основными моментами:

– во-первых, с числом структурных типов слогов, противопоставленность которых релевантна с точки зрения выбора акцентной вершины, обычно речь идет либо о двух (см. ниже о латинской системе), либо о трех (см., в частности, о каирском диалекте арабского языка [Халле и Верньо 1987: 60]) таких типах;
– во-вторых, с теми структурными особенностями слогов, которые оказываются значимыми с точки зрения такого противопоставления.

Насколько позволяют судить материалы, отмеченные в литературе, при формировании акцентологической значимой оппозиции слогов могут учитываться, в частности, следующие факторы:

1) характер слогообразующего элемента (например, долгая гласная или дифтонг — краткая гласная);
2) характер компонента, следующего за слогообразующим элементом в слоге (например, нулевой — содержащий одну согласную — содержащий более одной согласной);

3) характер компонента, предшествующего слогообразующему элементу (например, нулевой — содержащий согласную, см., в частности [Халле и Верньо 1987: 48]).

В качестве иллюстрации данных положений рассмотрим хорошо известный пример акцентной системы морнослогового типа — акцентную систему классической латыни.

С точки зрения выбора акцентной вершины здесь релевантно противопоставление двух типов слогов.

Данная оппозиция образуется с учетом следующих структурных особенностей слогов:

– характер слогообразующего элемента: релевантно противопоставление долгих гласных и дифтонгов, с одной стороны, и кратких гласных, с другой;
– характер компонента, следующего за слогообразующим элементом: релевантно противопоставление закрытых и открытых слогов.

Конкретно, акцентологически значимую оппозицию слогов в латыни образуют открытые слоги с краткой гласной (одноморные) и все прочие типы слогов (двуморные).

Если отвлечься от сравнительно немногочисленных исключений, связанных с фонетическими процессами, изменившими некую исходную слоговую структуру, но не повлиявшими на первоначальную позицию акцента, правило выбора акцентной вершины для классической латыни состоит в следующем:

акцентной вершиной словоформы является:

(1) гласная второго от конца слога, если этот слог двуморный, т. е. содержит долгую гласную или дифтонг или является закрытым:

Rō-mā́-nus, noc-túr-na, A-pól-lō;

(2) гласная третьего от конца слога (независимо от его «морности») в случае, когда второй от конца слог является одноморным, т. е. открытым слогом с краткой гласной:

fá-ci-lis, hú-mi-le, Cí-ce-rō

(3) в двусложных словах — гласная второго от конца слога словоформы (= ее начального слога) при любой его «морности»:

aú-rum, cír-cus, bó-nus

Заметим, что структура последнего слога словоформы при выборе акцентной вершины оказывается несущественной.

Системы, допускающие произвольную удаленность акцентной вершины от границ словоформы

Среди систем словесного акцента с фонологически мотивированным выбором вершины наряду с рассмотренными выше системами, характеризующимися наличием определенных ограничений на удаленность вершины от одной из границ словоформы, представлены также системы, в которых такого рода ограничения отсутствуют, а выбор вершины связан в первую очередь с теми или иными фонетическими характеристиками входящих в состав словоформы гласных.

Так, в настоящее время известен ряд акцентных систем, в которых выбор вершины подчиняется следующим закономерностям:

– с точки зрения потенциальной способности оказаться вершиной словоформы, гласные делятся на два класса:

(а) гласные, безусловно обладающие способностью выступать в качестве акцентной вершины (***доминантные*** гласные);

(б) гласные, которые могут стать акцентной вершиной только при отсутствии в словоформе доминантных гласных (***рецессивные*** гласные);

– при наличии в словоформе ровно одной доминантной гласной она, естественно, становится вершиной, независимо от ее позиции по отношению к началу или концу словоформы;

– если доминантных гласных в словоформе несколько, иначе говоря, если возникает необходимость выбора между несколькими потенциально возможными позициями акцентной вершины, в одних языках вершинной оказывается доминантная гласная, ближайшая к началу словоформы, в других — ближайшая к ее концу;

– если, наконец, словоформа содержит только рецессивные гласные и если таких гласных несколько, вершинной оказывается либо начальная, либо конечная гласная словоформы; существенно отметить при этом, что выбор между этими двумя возможностями в принципе не зависит от того, какая гласная выбирается в качестве вершинной при наличии в словоформе нескольких доминантных гласных, так, например, если из нескольких доминантных гласных в качестве акцентной вершины в данном языке выбирается гласная, ближайшая к концу словоформы, то при отсутствии доминантных гласных вершинной может оказаться, вообше говоря, и начальная гласная словоформы.

Приведем несколько примеров такого рода акцентных систем.

По-видимому, к данному типу близка описанная В. А. Дыбо акцентная система тубу [Дыбо 1987: 469], где

(1) в качестве акцентообразующего выступает признак интенсивности;

(2) доминантными являются гласные с высоким тоном;

(3) при наличии в словоформе нескольких доминантных гласных вершинной оказывается *первая* такая гласная, считая от начала словоформы, в отсутствие доминантных гласных вершинной является *первая* гласная словоформы.

Ср. также описание акцентной системы чувашского языка [Андреев 1966: 43–45]:

(1) акцентообразующим является признак интенсивности;

(2) доминантными являются гласные полного образования, рецессивными — редуцированные (краткие);

(3) при наличии нескольких гласных полного образования вершинной является *последняя* из них, считая от начала словоформы, если же словоформа не содержит ни одной такой гласной, вершинной является *первая* гласная словоформы.

Система подобного типа, по свидетельству К. А. Новиковой [Новикова 1968: 88], представлена также в эвенском языке:

(1) акцентообразующим здесь также является признак интенсивности;

(2) доминантными являются долгие или дифтонгоидные гласные, рецессивными — краткие;

(3) если в словоформе несколько доминантных гласных, акцентной вершиной является *последняя* (по счету от начала словоформы), если доминантные гласные в словоформе отсутствуют, вершиной является *последняя* гласная словоформы.

Итак, если оставить в стороне вопрос о надежности приведенных выше примеров, можно констатировать следующее.

1. В перечисленных случаях мы имеем дело с акцентными системами, в которых выбор акцентной вершины мотивирован чисто фонологически — никакая другая информация при этом не используется.

2. В этих системах не действует принцип равной удаленности акцентной вершины от одной из границ словоформы. В самом

деле, в данных языках вершинной может оказаться любая гласная, независимо от ее позиции по отношению к границам словоформы. Тот факт, что при возникновении «акцентологического конфликта» (т. е. в случае, если словоформа содержит более одной доминантной гласной или, напротив, такие гласные в ней вообще отсутствуют) этот конфликт разрешается путем обращения к позиции гласных относительно словесных границ, существа дела принципиально не меняет: никаких ограничений на удаленность вершины от границ словоформы (подобных тем, которые наблюдаются в языках типа финского, польского, латинского) это обстоятельство не налагает.

3. Таким образом, системы данного типа не могут быть отнесены к системам связанного (в смысле Трубецкого) акцента, акцента, способного выполнять делимитативную функцию. В то же время они не могут квалифицироваться и как системы свободного (опять-таки в смысле Трубецкого) акцента, поскольку понятно, что смыслоразличительной функции, сколь бы широкий смысл ни вкладывать в это понятие, акцент в них также выполнять не может. В традиционной классификации для систем такого типа по сути вообще нет места.

4. Вместе с тем на противопоставление в рамках систем с фонологически мотивированным выбором позиции вершины, с одной стороны, систем, допускающих произвольную удаленность акцентной вершины от границ словоформы, и с другой, систем, характеризующихся равной удаленностью вершины от одной из границ словоформы, побуждают обратить особое внимание, кроме прочего, также известные диахронические факты: именно системы первого типа — системы, допускающие произвольную удаленность вершины от границ словоформы, — являются, как показывает изучение, непосредственным историческим предшественником определенной разновидности систем с нефонологически мотивированным выбором вершины — так называемых «систем нередуцированного парадигматического акцента» (систем, в которых выбор позиции вершины зависит исключительно от морфемного состава словоформы) [Дыбо 1981, Зализняк 1985], тогда как системы второго типа — системы, требующие равной удаленности вершины от одной из границ словоформы, — в таком качестве выступать, по-видимому, не могут.

Примечания

[1] Различие этих двух типов акцентных систем намечено в работе [Касевич и др. 1990: 58], где предлагается, в частности, различать «фиксированное ударение в широком смысле», коль скоро речь идет об ударении, «место которого более или менее однозначно определяется какими-либо признаками сегментной фонологии слова» (что в целом соответствует вводимому в настоящей работе понятию «акцентные системы с фонологически мотивированным выбором вершины») и, с другой стороны, «системы с фиксированным ударением в узком смысле»; последнее определяется как «ударение, которое всегда падает на одну и ту же позицию в словоформе». Хотя границы этого класса акцентных систем очерчены в цитируемой работе довольно бегло, из приводимых примеров можно заключить, что имеются в виду как раз те случаи, которые подпадают под наше понятие «системы, характеризующиеся равной удаленностью акцентной вершины от одной из границ словоформы». Таким образом, класс систем, образующих дополнение класса систем с фиксированным ударением в узком смысле до класса систем с фиксированным ударением в широком смысле, — класс, не получивший в работе В. Б. Касевича специального названия, — должен, по-видимому, примерно соответствовать понятию «системы, допускающие произвольную удаленность вершины от любой из границ словоформы».

[2] Поскольку языковые способы сравнения длительности звуковых цепочек, как чистослоговой, так и более тонкий — морнослоговой, естественно, очень неточны, на абсолютной временнóй шкале место возможных позиций вершин словоформ в языках рассматриваемого типа всегда будет представлять собой интервал, а не точку.

[3] Показательно в этом отношении, например, утверждение Н. С. Трубецкого о том, что связанный акцент, конкретнее — закрепленный за последним слогом, характерен для большинства тюркских языков. На самом деле, более детальный анализ показывает, что во многих тюркских языках акцент не только не закреплен за последним слогом, но и вообще не является связанным, более того, он не является часто даже фонологически мотивированным.

Литература

Андреев 1966 — *И. А. Андреев.* Чувашский язык // Языки народов СССР. Тюркские языки. М., 1966, т. 2, с. 43–66.

Гард 1968 — *P. Garde.* L'accent. Paris, 1968.

Дыбо 1981 — *В. А. Дыбо.* Славянская акцентология. М., 1981.

Дыбо 1987 — *В. А. Дыбо.* Просодическая система тубу (группа теда-канури) — начало трансформации тональной системы в систему парадигматического

акцента? I // Африканское историческое языкознание (проблемы реконструкции). М., 1987, с. 458–557.

Зализняк 1985 — *А. А. Зализняк.* От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

Касевич и др. 1990 — *В. Б. Касевич, Е. М. Шабельникова, В. В. Рыбин.* Ударение и тон в языке и речевой деятельности. Л., 1990.

Кодзасов 1990 — *С. В. Кодзасов.* Слог // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990, с. 470.

Новикова 1968 — *К. А. Новикова.* Эвенский язык // Языки народов СССР. Монгольские, тунгусо-маньчжурские и палеоазиатские языки. Л., 1968, с. 88–109.

Трубецкой 1960 — *Н. С. Трубецкой.* Основы фонологии. М., 1960.

Халле и Верньо 1987 — *M. Halle, J. R. Vergnaud.* An Essay on Stress. Cambridge — London, 1987.

М. В. Софронов

Акцентная триада в просодии современного китайского языка

Просодия языка складывается из трех акустических компонентов: высоты, длительности, интенсивности произношения слога. Эти три акустических признака образуют акцентную триаду, каждый член которой обладает особыми смыслоразличительными и синтаксическими функциями на разных уровнях просодической структуры.

1. Акцентная триада слога

Основной единицей просодической структуры китайского языка является слог, который произносится под определенным тоном. В китайском национальном языке путунхуа, орфоэпическая норма которого основана на пекинском диалекте, насчитывается четыре тона. Каждый из них обладает собственной высотой, длительностью, интенсивностью. Это означает, что в просодии отдельного слога, точнее, слоговой морфемы китайского языка, представлены одновременно все члены акцентной триады. Главная функция слогового тона — это различение смысла. В этом отношении она ничем не отличается от функции любого сегментного элемента слога. Однако назначение тона не ограничивается просто различением смысла слоговых морфем. В произношении тона слоговой морфемы отражаются ее функции на всех уровнях просодической и грамматической структуры.

Высота слогового тона характеризуется двумя основными признаками. Один из них — это абсолютная высота произнесения слога, т. е. его регистр. Каждый тон формируется в опреде-

ленной области частот. Самая высокая из них занята первым тоном, средняя — вторым и четвертым. При этом область четвертого тона располагается несколько ниже области второго. Область низких частот принадлежит третьему тону [Задоенко 1980, 38–45; Румянцев 1990, 207]. Существует и более детальное описание частотных признаков тонов китайского языка с указанием перцептивных границ между тонами по интервалу изменения частоты основного тона и абсолютной длительности [Касевич 1990, 30–39]. Другим признаком тона является изменение или отсутствие изменения высоты голоса при его произнесении, т. е. определенное движение высоты тона слога или его отсутствие. Составными частями этого движения являются его контур, высотный интервал, длительность, интенсивность.

В наиболее полной форме тон реализуется на уровне слоговой просодии, т. е. при произнесении слога вне текста. Именно такое произношение тона является условием его правильного слухового восприятия и понимания смысла отдельной слоговой морфемы. Тоны обладают внутренней структурой, где различаются фонологически релевантные и иррелевантные части [Румянцев 1972, 32–44]. Для правильного восприятия тона в любых контекстных условиях достаточно произнесения его фонологически релевантной части с соблюдением его регистровой характеристики в пределах индивидуального частотного диапазона голоса говорящего и при достаточном времени произнесения [Румянцев 1990, 190–222].

Слог китайского языка состоит из звуков, однако длительность звучания слога обычно не бывает равна сумме длительности звуков, входящих в его состав. Измерение длительности слогов разного состава показывает, что при внетекстовом произношении слогов одного и того же тона их длительность примерно одинакова независимо от числа звуков, входящих в их состав. Слог определенного тона, состоящий из одной фонемы, и слог того же тона, состоящий из четырех фонем, длятся примерно одинаковое время. Таким образом, длительность китайского слога зависит от тона — его просодического смыслоразличительного признака. Оценка их длительности различна у разных авторов. И. Б. Думкова различает короткие второй и четвертый, средний первый и долгий третий тоны [Думкова 1972, 18]. Т. П. Задоенко — долгие второй и третий и краткие первый и четвертый тоны [Задоенко 1980, 69–72].

Полная реализация тона требует определенного времени, которое оценивается примерно в 200–400 мсек [Румянцев 1972,

39–40]. Исследование по синтезу китайских слогов показало, что для формирования различимого тона требуется меньше времени, чем для формирования его естественного звучания [Линь Маоцань 1988, 182, 192]. Способность слога к изменению длительности без ущерба для распознания на слух позволяет использовать этот акустический признак в синтаксических целях в составе синтаксических единиц. Однако при отдельном произношении слога его длительность иррелевантна.

Экспериментальные исследования тонов показали, что интенсивность произношения китайских слогов также связана с их тоном. С наибольшей интенсивностью произносятся слоги второго и четвертого тонов, средней интенсивностью обладают слоги первого тона, наименьшей интенсивностью — слоги третьего тона. Высота, длительность, интенсивность слогов тесно связаны между собой. Так, например, интенсивность плохо совмещается с длительностью в одном и том же слоге. Самые короткие второй и четвертый тоны произносятся с наибольшей интенсивностью, самый долгий третий тон — с наименьшей, и только первый является долгим и интенсивным одновременно [Думкова 1979, 19].

Высота и интенсивность произношения слога коррелированы функционально: в разных стилях произношения эти акустические свойства слога способны выполнять смыслоразличительную функцию. В обычной речи, при которой голосовые связки свободно образуют основной тон голоса, на первый план выступает его высота, точнее, высотный контур. В шепотной речи колебания голосовых связок отсутствуют, но в зависимости от подгортанного давления интенсивность произношения слога может изменяться. Поэтому в шепотной речи просодическим смыслоразличительным признаком слога выступает интенсивность его произношения [Спешнёв 1963, 109–113].

Акустическим коррелятом интенсивности произношения слога является амплитуда колебаний всех или части формант слогообразующего гласного. Опыт синтеза слогов китайского языка показывает, что при интонационно нейтральных реализациях вне контекста тон слога формируется в результате синхронного взаимодействия двух составляющих: частотной и амплитудной. Контур амплитудной огибающей низкочастотной форманты, а иногда также и формант средней и высокой частоты повторяет контур движения частоты основного тона слога. М. К. Румянцев называет эту корреляцию амплитудной поддержкой частоты основного тона

[Румянцев 1990, 32–39, 191]. Наиболее естественное звучание синтезированных слогов получено при согласовании движений амплитуды высокочастотной форманты с движением высоты основного тона. Эта корреляция высоты и амплитуды в формантной структуре слогового гласного объясняет способность как высоты тона, так и его интенсивности выступать в качестве смыслоразличительных признаков слоговых морфем в различных стилях произношения.

В естественной речи акценты разных уровней и фразовая интонация существенно влияют на реализацию тона слога, в результате чего его высотные интервалы часто искажаются. В этих случаях, как и при шепотной речи, смыслоразличительную функцию принимает на себя интенсивность. Так, при восходящей высоте основного тона слога постоянные амплитуды низкочастотной и высокочастотных формант создают акустическое впечатление первого тона. Иначе говоря, амплитудная информация при восприятии такого тона оказывается важнее частотной [Румянцев 1990, 198]. И наоборот, слоги второго тона могут быть синтезированы при постоянной высоте основного тона, но при восходящих контурах амплитуд остальных формант [Румянцев 1990, 203]. Синтез слогов китайского языка допускает варьирование контуров частотных и амплитудных составляющих просодии слога независимо друг от друга. Естественно предполагать, что подобное замещение происходит и в естественной речи.

Итак, движение высоты и интенсивности основного тона слога китайского языка служит для формирования его существенного смыслоразличительного признака — тона. При этом абсолютная высота и абсолютная интенсивность его произношения несущественны. Минимальная информационная избыточность на уровне слоговой морфемы не допускает сколько-нибудь существенных отклонений от стандартного произношения тона. Опыты на восприятие отдельных монотонизированных слогов показывают, что их правильное распознание бывает лишь случайным [Касевич 1990, 121–122]. Время звучания изолированного слога зависит от длительности его тона. Оно может быть увеличено без ущерба для распознания слога, но не может быть существенно уменьшено без риска его неправильного восприятия. В комплексе сегментных и просодических признаков, с помощью которых изолированные слоги различаются между собой, просодические признаки столь же важны, как и сегментные.

2. Акцентная триада количественных единиц

В китайском языке слоговые морфемы редко выступают как отдельные члены предложения даже в тех случаях, когда они являются односложными словами. Обычно они объединяются в сложные лингвистические единицы, которые образуются по правилам грамматики и просодии. А. А. Драгунов назвал их количественными единицами в отличие от качественных единиц, которыми являются слова и словосочетания [Драгунов 1962, 44–49]. Количественные единицы китайского языка представляют собой прежде всего просодическое единство, состоящее из просодических признаков слогов и просодических признаков, свойственных самим количественным единицам.

Минимальной количественной единицей китайского языка является двуслог или бином. Он представляет собой ту минимальную структурную единицу, где могут проявиться семантические, грамматические и ритмико-акцентуационные отношения между его морфемами. Количественные единицы старших уровней представляют собой сочетание двуслога с однослогом, двуслога с двуслогом и т. д. Количественные единицы, состоящие из более чем четырех слогов, встречаются редко.

Просодическое единство количественных единиц китайского языка проявляется в непрерывности их звучания. Ее следствием на суперсегментном и сегментном уровнях являются ассимилятивные процессы. Сегментная ассимиляция описана во всех пособиях по фонетике китайского языка. При ассимиляции изменяются оба соседних слога: конечный согласный предшествующего и начальный согласный последующего слога. От сегментной ассимиляции следует отличать сегментную редукцию слога, которая связана с редуцированным произношением его тона. В двуслогах сегментная редукция встречается во втором последнем слоге, в трехслогах — в срединном втором слоге.

На суперсегментном уровне просодическое единство двуслогов обнаруживается в ассимиляции тона предшествующего слога под влиянием тона последующего. Наиболее сложный для произнесения третий тон первого слога реализуется не полностью. При последующих слогах первого, второго и четвертого тонов он реализуется как «половинный третий тон», а в сочетании со слогами того же третьего тона — как восходящий тон, ничем не отличающийся от второго. Четвертый тон реализуется обычно как «половинный четвертый тон», отличающийся от полного тем, что

начинается с более низкого частотного уровня [Задоенко 1980, 35–38]. Исследования по синтезу китайской речи показывают, что в действительности каждому сочетанию тонов в двуслоге соответствуют особые комбинаторные варианты, которые образуются под влиянием не только контурно-регистровых, но и временных признаков тонов [Румянцев 1990, 232–234].

Употребление редуцированного и нейтрального тонов зависит от грамматической и просодической функции соответствующих слоговых морфем в тексте. Знаменательные морфемы китайского языка произносятся в полном или редуцированном тоне. Редукция тона слога происходит на уровне количественных единиц по семантическим и ритмико-акцентуационным причинам. Число степеней редукции может быть достаточно большим [Ноа 1983, 76]. В действительности степень редукции представляет собой шкалу, на одном конце которой находится тон полного контура, а на другом — тональный глайд. Служебные морфемы китайского языка произносятся в нейтральном тоне. В некоторых типах двуслогов по семантическим причинам в нейтральном тоне могут произноситься также и знаменательные морфемы. Артикуляторной основой редукции тонов является сокращение времени их произнесения. Соответственно увеличение длительности их произнесения создает впечатление логического выделения слога в составе количественной единицы [Румянцев 1990, 241].

Таким образом, в составе количественных единиц тон не является стабильным признаком слога, поскольку он часто выступает в измененном виде. Комбинаторные изменения тонов, а также редуцированный и нейтральные тоны оказываются возможными потому, что сегментные элементы многосложных количественных единиц приобретают для их распознания большее значение, чем просодические. Речевая избыточность многосложных количественных единиц достаточна для того, чтобы значение тона как смыслоразличительного признака снизилось по сравнению с его значением для односложных морфем. Опыты по опознанию монотонизированных многосложных количественных единиц вне текста показывают правильное опознание слогов в 52% случаев [Касевич 1990, 121–122]. Однако возможность опознания многосложных количественных единиц при полном отсутствии или, точнее, недостатке тональной информации не означает полной избыточности просодических признаков на этом уровне грамматической структуры языка. Экспериментальное исследование восприятия тонов китайского языка в

условиях наложенного шума показывает, что неразличение тона слога часто ведет к ухудшению различения его сегментных элементов [Касевич 1990, 122, 128–158]. Это наблюдение в условиях эксперимента имеет, как представляется, прямое отношение к редукции сегментных элементов в слогах с редуцированным и нейтральным тоном, которые наблюдаются в живой речи на китайском языке (см. выше). Таким образом, значение тонов в образовании и распознании количественных единиц китайского языка не сводится к чистой просодии слога, независимой от его сегментной структуры. Данные наблюдения над живым языком и данные эксперимента свидетельствуют о том, что в слоге китайского языка наблюдается сложное взаимодействие между сегментной и суперсегментной сторонами слога китайского языка, которые проявляются при его взаимодействии с соседними слогами в составе количественных единиц [Касевич 1990, 122].

Одним из существенных признаков количественных единиц китайского языка является акцентное выделение одного или двух слогов. Акцентуация является одним из средств, обеспечивающих просодическое единство количественных единиц китайского языка. Акцентные свойства слогов, входящих в состав количественных единиц, зависят от числа слогов в них и способа реализации их тонов. Тон и акцентное выделение слогов в количественных единицах тесно связаны между собой. Акцентное выделение слога в составе количественной единицы осуществляется путем полного произношения его тона: слоги с полным тоном воспринимаются как акцентированные, слоги с редуцированным или нейтральным тоном — как неакцентированные [Ноа 1983, 9].

Исследование просодии двуслогов показывает, что акустическим коррелятом акцентуации в китайском языке является длительность слогов. Акцентированные слоги обладают большей длительностью по сравнению со слогами без акцентного выделения [Спешнев 1958, 146–149]. Таким образом, на уровне просодии количественных единиц длительность является тем компонентом акцентной триады, который обеспечивает полное произношение тона слога и, тем самым, акцентное выделение слогов в их составе. Изменение длительности слогов в составе количественных единиц по сравнению с их длительностью при индивидуальном произношении известно достаточно хорошо: длительность звучания многосложной количественной единицы всегда меньше суммы длительностей звучаний тех же слогов при их индивидуальном произношении. Сокращение длительности

слогов в составе количественных единиц происходит неравномерно. В двуслогах, состоящих из двух знаменательных морфем, длительность второго слога больше длительности первого [Линь Маоцань 1980, 78]. Это указывает на акцентное выделение второго слога в двуслогах такого типа.

Экспериментальное исследование длительности слогов в составе трехслогов показывает, что и в этом случае они не бывают равными. Самой долгой является финаль последнего третьего слога. В среднем она звучит в 1,5–2 раза дольше первого слога и в 2–3 раза дольше второго срединного слога [Думкова 1969, 195–198]. Сокращению длительности срединного слога соответствует изменение реализации его тона. Тон первого слога изменяется по модели комбинаторных изменений для двуслогов независимо от морфологической структуры трехслогов (см. ниже). Тон третьего слога реализуется полностью. Тон второго слога независимо от тонов предшествующего и последующего слогов существенно редуцирован и обычно характеризуется как тональный глайд [У Цзунцзи 1985, 77–83]. В некоторых случаях тональный глайд может чередоваться с нейтральным тоном [У Цзунцзи 1985, 84–86].

Акцентное выделение слогов в составе количественных единиц происходит как по просодическим, так и по семантико-морфологическим причинам. Просодическая причина — это состав количественных единиц: для двуслогов, трехслогов, четырехслогов существуют отдельные акцентные схемы. Морфологическая причина состоит в том, что в китайском языке акцентно выделяются знаменательные морфемы. Лишь в исключительных случаях акцентное выделение может приходиться на служебные морфемы.

В двухсложных количественных единицах представлены две акцентные схемы. Двуслоги, относящиеся к первой из них, состоят из двух знаменательных морфем с тонами, которые произносятся полностью. По поводу места акцентированного слога в двуслогах этой акцентной схемы в трудах по просодии современного китайского языка и у самих носителей китайского языка очень часто наблюдаются расхождения. В исследованиях по акцентуации констатируется, что слоги этой акцентной схемы обладают двумя ударениями, из которых одно является сильным, а другое — слабым. Артикуляторно это утверждение означает полную реализацию тона слога с сильной акцентуацией и редуцированную реализацию тона слога со слабой акцентуацией [Сюй Шижун 1956, 36–37; Chao Yuan-ren 1968, 35–39; Спешнев 1980, 70–81].

Двуслоги, относящиеся ко второй акцентной схеме, состоят из знаменательной и служебной морфем. Акцентное выделение здесь бесспорно приходится на знаменательную морфему, а служебная произносится в нейтральном тоне. Другая разновидность двуслогов этой акцентной системы — это слова с неясной этимологией: жэнао «шумный», гулу «колесо» и т. п., где значение составляющих морфем неизвестно. Третья разновидность — это отдельные двусложные слова, где семантика составляющих морфем одинакова. Это могут быть двуслоги, состоящие из морфем-синонимов: ифу «одежда», или двуслоги-редупликации, где одна и та же морфема повторяется дважды, и тем самым она с точки зрения семантики двуслога в целом оказывается избыточной: gege «младший брат» [Спешнев 1980, 193–194]. Во всех трех случаях имеет место некоторая ослабленность семантики либо второй морфемы, либо обеих морфем одновременно. Причина этой ослабленности различна, но она вызывает одно и то же просодическое следствие: нейтральный тон второй морфемы.

В трехсложных количественных единицах морфологическая структура бывает сложнее. В общем виде ее можно представить как 1 + 1 + 1, 1 + 2, 2 + 1. Большинство морфологически связанных пар слогов, выступающих в составе трехслогов, представляют собой обычные двуслоги первой или второй акцентной схемы. Соответственно в составе трехслогов могут присутствовать слоги нейтрального тона, принесенные извне. Они могут приходиться на второй слог в трехслогах структуры 2 + 1 или на третий в слогах структуры 1 + 2. Однако в трехслогах, состоящих из знаменательных слоговых морфем, только второй слог произносится в редуцированном или нейтральном тоне в соответствии с его собственной акцентной схемой. Отсюда следует, что акцентное выделение в трехслогах приходится на первый и последний третий слоги, при этом акцент последнего слога бывает сильнее акцента первого. Таким образом, при изолированном произношении трехслог двуударен.

В четырехсложных количественных единицах грамматически и просодически различаются четыре морфологические структуры: 1 + 1 + 1 + 1, 2 + 2, 1 + 3, 3 + 1. Лексический статус двуслогов и трехслогов в составе четырехслогов может быть различным. Одна их часть — это двусложные и трехсложные слова, зарегистрированные в словарях, другая — нерегулярные сочетания морфем, специфичные для данного четырехслога. В составе двуслогов и трехслогов могут находиться слоги как с полным, так и с ней-

тральным тоном. Примечательно, что акцентная схема четырехслога сама по себе не предусматривает позиций, где образуется тональный глайд или нейтральный тон. В принципе, для четырехслогов характерны три акцентные схемы: акцентное выделение нечетных слогов, акцентное выделение четных слогов, акцентное выделение первого и последнего слогов. Соответственно акцентно выделенные слоги произносятся в полном тоне, акцентно не выделенные — в редуцированном. При этом существенно отметить, что в тех четырехслогах, которые состоят из знаменательных морфем, возможны две акцентных схемы с выделением нечетных или четных слогов, а в четырехслогах, которые содержат служебные морфемы или морфемы с неясной этимологией типа хэй булюцю «непроницаемо темный», а также четырехсложные иностранные географические названия и собственные имена, акцентное выделение получают первый и последний слоги четырехслога [Ноа 1983, 106–109]. Таким образом, очевидно, что все количественные единицы, состоящие из знаменательных морфем, обладают двумя акцентно выделенными слогами независимо от того, из скольких слогов они состоят — двух, трех или четырех. Прямым аналогом акцентуации количественных единиц является акцентуация простого предложения китайского языка.

3. Акцентная триада простого предложения

Предложение китайского языка представляет собой лингвистическую единицу, состоящую из количественных единиц младших уровней. Признаком просодического единства предложения является фразовая интонация. Как грамматическое и просодическое единство, предложение состоит из речевых отрезков двух уровней — речевых тактов и синтагм, состоящих из речевых тактов. Предложение представляет собой дискретную лингвистическую единицу. Речевые такты разделены малыми паузами, синтагмы разделены большими паузами. Речевой такт содержит одну или большее число грамматически оформленных количественных единиц. Просодическая структура речевого такта формируется из просодических признаков слогов, входящих в их состав, и тактового акцента, который составляет его основной просодический признак.

Местом тактового акцента является первый знаменательный слог речевого такта. Если его первым слогом является служебная

морфема, то в соответствии с правилом произнесения знаменательных слогов в полном тоне акцентное выделение приходится на следующую за ним знаменательную морфему. Таким образом, акцентуация количественных единиц, входящих в речевой такт, подчинена тактовому акценту. Однако это подчинение не столь строго, как в количественных единицах. В предложении, состоящем из нескольких речевых тактов, количественные единицы сохраняют свою исходную лексическую акцентуацию в составе однословных синтагм и на конце всех синтагм за исключением последней. Во всех остальных случаях, т. е. внутри непоследних синтагм и во всей последней синтагме предложения, акцентное выделение приходится на первый слог количественной единицы [Задоенко 1980, 158–160]. Таким образом, одна и та же количественная единица китайского языка может иметь различную акцентуацию в зависимости от того, выступает она как отдельная лексическая единица или как часть синтаксического целого. Лексическая и синтаксическая акцентуация количественных единиц составляет их акцентную парадигму.

Акустическая природа тактового акцента несколько отличается от акустической природы акцента количественных единиц китайского языка. Как уже отмечалось выше, акцентуация слогов количественных единиц образуется прежде всего с помощью полной реализации тонов соответствующих слогов. В случае тактового акцента требование полной реализации тона остается в силе, однако к нему присоединяются дополнительные требования.

Значение тонов как смыслоразличительного просодического признака слога в составе предложения еще меньше, чем в составе количественных единиц. Эксперимент по восприятию монотонизированной китайской речи показывает, что на уровне предложения опознается до 92% слогов, а на уровне текста — 94% [Касевич 1991, 121–122]. Этот эксперимент показывает, что значительная часть языковой информации, которая передается изменением высоты произнесения слога, может быть утрачена ради удобства произнесения отдельных лингвистических единиц и обеспечения желаемого темпа речи. Снижение значимости движения высоты тона компенсируется повышением значения абсолютной высоты голоса. Акустический и слуховой эксперимент показали, что абсолютная высота тона слогов, образующих речевой такт, убывает по мере удаления от ударного слога, что обеспечивает ему место доминирующего слога в этой синтаксической единице. Ввиду того, что высота и интенсивность слога тесно коррелированы, мож-

но предположить, что доминирующим признаком синтаксического акцента являются как интенсивность, так и высота, а не длительность слога.

В отличие от количественных единиц, произносимых вне текста, речевой такт является частью синтаксического целого и тем самым должен содержать указания на свое начало и конец. Снижение регистра произношения слога от начала к концу речевого такта дает достаточно четкие указания на его границы. Регистровый перепад на границе речевых тактов создает границу между ними даже в том случае, если пауза между ними оказывается слишком короткой.

Речевой такт выступает в составе предложения, поэтому он должен обладать сигналами его связей с соседними речевыми тактами. В зависимости от того, замыкает речевой такт предложение или за ним должен следовать другой речевой такт, его просодическое оформление бывает различным. Просодическим средством установления отношений с последующим тактом является длительность последнего слога речевого такта. Сохранение средней длительности конечного слога или ее сокращение формирует интонацию изоляции — таким речевым тактом завершается предложение. Увеличение длительности конечного слога формирует интонацию незавершенности, которая требует последующего речевого такта. Речевые такты в предложении обычно связаны между собой грамматически. Увеличение длительности последнего слога речевого такта указывает на существование грамматических отношений с последующим. Естественно, содержание этой связи определяется не через ее просодию, а с помощью грамматических и семантических средств.

Речевые такты группируются в более сложные синтаксические единицы, которые Т. П. Задоенко называет синтагмами. В составе синтагм проявляются ритмико-акцентуационные отношения между речевыми тактами. Синтагма обладает акцентной структурой, которая складывается из акцентуаций речевых тактов и собственной акцентуации самой синтагмы, которая формирует ее как грамматическое и просодическое единство. Естественно, что синтагматический акцент может приходиться на ударный слог одного из речевых тактов. Акцентирование выделенного такта синтагмы происходит не по формальным признакам, как это наблюдается в акцентуации речевых тактов, а по принципу содержательного выделения такого речевого такта, смысл которого наиболее важен для данной синтагмы. Обычно это бывает количе-

ственная единица, наиболее существенная в коммуникативном или экспрессивном отношении.

Синтагмы являются теми единицами речи, из которых состоит предложение. Восходящая, нисходящая, ровная интонация синтагм представляет собой часть интонации предложения в целом. В соответствии с интонацией синтагмы повышается или понижается общий регистр речевых тактов, входящих в их состав. Конец синтагмы маркируется длительностью ее последнего слога. Удлинение последнего слога синтагмы является просодическим знаком ее синтаксической незавершенности, а нормальное время его звучания свидетельствует о ее синтаксической завершенности. Важным просодическим признаком синтагмы является пауза, длительность которой может достигать длительности речевого такта.

Длительность слогов в составе речевых тактов и синтагм играет важную коммуникативную роль. На протяжении всего предложения темп речи постоянно меняется. Важные в коммуникативном отношении слоги произносятся медленней, т. е. с большей длительностью, менее существенные произносятся в ускоренном темпе, т. е. с меньшей длительностью. Эти чередования быстрых и медленных отрезков предложения составляют один из характерных признаков просодии китайского предложения. Таким образом, высота, интенсивность, длительность слога находят себе разное применение на разных уровнях просодической структуры китайского языка.

Библиография

Драгунов 1962 — *А. А. Драгунов.* Грамматическая система современного китайского языка. Л., 1962.

Думкова 1969 — *И. Б. Думкова.* Тон и ударение в китайских двусложных и трехсложных словах // Спектральный анализ звуков речи и интонация. М., 1969.

Думкова 1979 — *И. Б. Думкова.* Логическое ударение в современном китайском языке. М., 1979.

Задоенко 1980 — *Т. П. Задоенко.* Ритмическая организация потока китайской речи. М., 1980.

Касевич 1990 — *В. Б. Касевич, Е. М. Шабельникова, В. В. Рыбин.* Ударение и тон в языке и речевой деятельности. Л., 1990.

Румянцев 1972 — *М. К. Румянцев.* Тон и интонация в современном китайском языке. М., 1972.

Румянцев 1990 — *М. К. Румянцев.* Машинное моделирование единиц речи. М., 1990.

Спешнев 1968 — *Н. А. Спешнев.* Акустическая природа словесного ударения в современном китайском языке. Ученые записки ЛГУ. Серия востоковедения, 6, Л., 1958.

Спешнев 1980 — *Н. А. Спешнев.* Фонетика китайского языка. Л., 1980.

Линь Маоцань 1988 — Линь Маоцань и др. Путунхуа эрцзы цы бяньдяодэ шиянь яньцзю (Экспериментальное исследование чередования тонов в двусложных словах). Чжунго юйвэнь, 1988.

Сюй Шижун 1956 — *Сюй Шижун.* Шуанинь чжуйцыдэ чжунъинь гуйлюй (Правила акцентуации двусложных слов). Чжунго юйвэнь, 1956, 2.

У Цзунцзи 1985 — *У Цзунцзи.* Путунхуа саньцзыцзу бяньдяо гуйлюй (Правила чередования тонов в трехсложных сочетаниях). Чжунго юйянь сюэбао. 2, Пекин, 1985.

Chao Yuan Ren 1968 — *Chao Yuan Ren.* A Grammar of spoken Chinese. Berkeley, 1968.

Hoa 1983 — *Hoa Monique.* L'accentuation en pékinois. Langues croises. Paris, 1983.

Ю. Д. Апресян

Ценить и *дорожить* в словаре синонимов

1. Предварительные замечания

Данная работа представляет собой, в сущности, словарную статью, написанную мной для Нового объяснительного словаря русских синонимов (см. о нем Апресян 1995; ср. также Апресян 1979). В ней представлен синонимический ряд *ценить*, *дорожить**.

Прежде чем переходить к материалу самого ряда, я хотел бы кратко напомнить некоторые понятия и принципы системной лексикографии, положенные в основу работы над словарем (подробно они рассмотрены в Апресян 1995).

1) Ключевым понятием системной лексикографии является понятие лексикографического типа. Лексикографический тип — это группа лексем, имеющих по крайней мере одно общее свойство (семантическое, прагматическое, синтаксическое, коммуникативное, просодическое и т. п.), к которому обращаются какие-то лингвистические правила построения или понимания высказываний и фрагментов высказываний («грамматика» в широком смысле).

2) Понятие лексикографического типа, как следует из его определения, имеет смысл только в рамках интегрального описания языка, т. е. согласованного описания грамматики и словаря. В «интегральном» словаре лексемам приписываются лишь те

* Ряд был обсужден на рабочем заседании Сектора теоретической семантики Института русского языка РАН. Участникам обсуждения — О. Ю. Богуславской, М. Я. Гловинской, И. Б. Левонтиной и Е. В. Урысон — я выражаю признательность за ценные критические замечания.

свойства, обращения к которым требуют правила грамматики в широком смысле, включая семантические, прагматические, коммуникативные, просодические и другие.

3) Состав лексикографических типов данного языка определяется прежде всего тем своеобразным раскроем представленного в нем концептуального материала, который получил название «наивной» (донаучной), или языковой картины мира. Лексика, тематически относящаяся к одному и тому же участку этой картины (наивной геометрии, наивной физике пространства и времени, наивной психологии, логике, этике и т. п.), имеет, как правило, много общих, а иногда и универсальных черт. Они должны последовательно и единообразно описываться в словаре.

4) С другой стороны, состав лексикографических типов данного языка определяется своеобразием его формального раскроя, например, особенностями его морфологии, словообразовательных моделей и синтаксических конструкций. Лексикографические типы, определяемые формальными особенностями языка, по большей части национально специфичны.

Простейшим семантическим лексикографическим типом является синонимический ряд. Системность синонимических рядов проявляется в двух отношениях.

Во-первых, значительная часть тех семантических признаков, по которым сходствуют и различаются элементы данного ряда, оказывается общей для многих других рядов, для других типов семантических отношений между словами (антонимии, конверсности и т. п.), для противопоставления значений в семантической структуре многозначных слов, а за пределами лексики — для оппозиций морфологических категорий (особенно в их частных и несобственных значениях), для многих словообразовательных типов и синтаксических конструкций, т. е. для языка в целом.

Во-вторых, благодаря существенной семантической близости элементы синонимического ряда одинаковым или сходным образом реагируют на грамматику языка в широком смысле.

Помимо таких общих свойств, определяемых принадлежностью синонимов к одному и тому же лексикографическому типу, для объяснительного синонимического словаря первостепенную важность представляют и их личные свойства, все то, что составляет неповторимое своеобразие каждой лексемы. Понятие лексикографического типа — лишь одна из существенных опор системной лексикографии. Другой такой опорой оказывается понятие лексикографического портрета — исчерпывающей и неизбыточ-

ной характеристики всех лингвистически существенных свойств данной лексемы в рамках интегрального описания языка. Эти понятия создают теоретическую основу для решения двух главных задач всякой лексикографической работы — задачи унификации (лексикографические типы) и задачи индивидуализации (лексикографические портреты).

2. Словарная статья синонимического ряда ***ценить***

При описании этого небольшого синонимического ряда мы несколько упрощаем лексикографическую технику подачи материала и сопровождаем изложение комментариями, которых, естественно, нет в словаре. Во всех других отношениях воспроизводится структура и содержание реальной словарной статьи.

Типовая статья Нового объяснительного словаря синонимов представляет собою совокупность следующих зон:

1) Вход. Здесь перечисляются элементы синонимического ряда, снабженные стилистическими и некоторыми грамматическими пометами, дается толкование их общей части и приводятся, в виде коротких лексикографических речений, типичные примеры их употребления.

2) Зона сопоставления данного ряда с некоторыми другими ближайшими к нему рядами синонимов. Ее назначение — вписать этот ряд в более высокий класс лексико-семантической иерархии и дать самое общее представление об устройстве соответствующего участка лексической системы. Так, ряд *надеяться, уповать, рассчитывать, полагаться* (≈ 'ожидать и хотеть') сопоставляется с двумя другими «проспективными» рядами — *бояться, опасаться, страшиться* и пр. (≈ 'ожидать и не хотеть') и *ждать, ожидать, дожидаться, пережидать, выжидать* и пр. (просто 'ожидать', т. е. 'считать какое-то событие вероятным и быть готовым к нему'). В рассматриваемом ряду указанная зона отсутствует.

3) Синопсис — нумерованный перечень семантических признаков, по преимуществу достаточно общих, которые лежат в основе сходств и различий между синонимами. Каждый признак снабжается кратким комментарием, проясняющим его содержательную суть. Этот перечень представляет собой лаконичный путеводитель по синонимическому ряду.

4) Зона значения — самая важная часть словарной статьи. Здесь дается относительно подробное описание семантических,

прагматических, коммуникативно-просодических, референциальных, ситуативных и т. п. различий и сходств между членами синонимического ряда и описание языковых условий нейтрализации (обычно частичной) различий между ними. Эта зона завершается примечаниями, где приводятся а) синонимы, по причине своей периферийности (архаичности, редкости и т. п.) не учтенные в данном ряду; б) некоторые другие значения входящих в ряд слов, наиболее близко соприкасающиеся с рассмотренным в нем значением; в) некоторые другие тематически близкие слова в случае, если они не были учтены в зоне 2.

5) Зона грамматических форм, посвящаемая описанию корреляций между лексическими и грамматическими значениями. Более точно, в этой зоне описываются а) сходства и различия между синонимами в наборах грамматических (словоизменительных) форм; б) возможные сдвиги в лексических значениях синонимов в тех или иных грамматических формах; в) ограничения на употребление того или иного синонима в определенном грамматическом значении данной граммемы (например, *возмущать* отличается от *злить*, в частности, тем, что не употребляется в актуально-длительном значении НЕСОВ).

6) Синтаксические конструкции и их семантическая специфика — описание сходств и различий между синонимами по их способности выступать в тех или иных синтаксических конструкциях, к числу которых относятся модели управления, синтаксические типы предложений (отрицательные, вопросительные, вводные и другие диагностические), порядок слов и т. п. Здесь, как и в зоне форм, делается попытка проследить а) корреляции между особенностями лексического значения данного синонима и предпочтением, которое он оказывает определенным синтаксическим конструкциям; б) семантические сдвиги, которые он может претерпевать в определенных синтаксических конструкциях.

7) Зона сочетаемости — описание сходств и различий между синонимами в области семантической, лексической, а также (реже) прагматической, коммуникативной, просодической, морфологической и иной сочетаемости, с указанием мотивированных связей между семантической спецификой того или иного синонима и типом контекстов, к которым он тяготеет.

8) Зона иллюстраций. Источником лексикографического материала является обширный машинный корпус текстов (около ста названий, в том числе таких, как «Архипелаг Гулаг», «Мастер и Маргарита», «Доктор Живаго», однотомник И. Бунина и т. п.) и

личные картотеки авторов (художественная литература, особенно серебряного века, публицистика, научно-популярная литература, пресса и т. п.). При отборе иллюстраций главным критерием было соответствие материала современной норме, независимо от времени создания произведения.

9) Служебные зоны — списки лексических единиц, семантически так или иначе соприкасающихся с элементами данного ряда. К их числу относятся фразеологические синонимы (**ФРАЗСИН**), аналоги (**АНАЛ** — когипонимы и другие тематически близкие слова), конверсивы (**КОНВ**), неточные конверсивы (**≈КОНВ**), конверсивы к аналогам (**КОНВАНАЛ**), антонимы (**АНТ**), неточные антонимы (**≈АНТ**), семантические дериваты (**ДЕР**).

10) Библиография лингвистических работ, посвященных лексемам, которые входят в состав ряда (в данной словарной статье она отсутствует).

2. 1. Вход словарной статьи

ЦЕНИТЬ 1 [≈СОВ *оценить*], **ДОРОЖИТЬ** [СОВ нет] 'считать что-л. или кого-л. очень хорошим и одновременно очень нужным для себя или для жизни вообще и, в случае обладания этим объектом, не хотеть его утратить'.

Примеры: ***Я ценю в людях упорство, Я дорожу этим подарком, Я ценю вашу дружбу <дорожу вашей дружбой>.***

Толкование ряда представляет собой формулировку на специальном семантическом языке той части значения, которая является общей для входящих в него лексем. Данный семантический конструкт используется и в качестве основного инструмента при установлении самого факта синонимии: синонимичными объявляются все лексемы, в значениях которых обнаруживается эта общая часть.

Сказанное не следует понимать в том смысле, что понятие синонимии является чисто интуитивным. К элементам ряда предъявляются следующие пять требований: 1) все входящие в ряд лексемы должны иметь одинаковую актантную структуру по крайней мере в пределах первых двух актантов; 2) общая часть значений любых двух входящих в него лексем, оцениваемая в терминах семантических примитивов, должна быть больше, чем сумма их различий; 3) в эту общую часть должно входить большинство семантических компонентов, составляющих ассертивную часть значений соответствующих лексем; 4) в нее в обязательном порядке входит главный семантический компонент

ассерции, или ее синтаксическая вершина (в частном случае — «genus proximum»); 5) если главный семантический компонент ассерции является операторным смыслом, то должен совпадать и подчиненный ему предикат.

Это, конечно, еще не полное определение синонимии. В языке есть много таких единиц, удовлетворяющих всем пяти условиям, которые ни один лингвист не согласится считать синонимичными. Для установления факта синонимии нужны не только качественные (логические), но и количественные критерии. К сожалению, при нынешнем состоянии наших знаний в области семантики никакие количественные оценки степени синонимичности невозможны; подробнее об этом см. Апресян 1995.

2. 2. Синопсис

Синонимы отличаются друг от друга по следующим смысловым признакам:

1) Каков характер объекта (в случае **ценить** это, как правило, общепринятые культурные, духовные, человеческие или иные ценности, в случае **дорожить** — любой объект из личного мира человека).

2) Чем мотивировано хорошее отношение к объекту — только рациональной оценкой его полезности или места, которое он занимает в жизни субъекта и других людей (**ценить**), или еще и чувствами, которые он вызывает (**дорожить**).

3) Что именно ценится — объект в целом или какие-то его аспекты (**дорожат** объектом в целом, **ценить** объект можно и за какие-то его особые свойства).

4) В каком отношении находится этот объект к субъекту (**дорожить** можно лишь тем, что так или иначе принадлежит субъекту и что он боится потерять; **ценить** можно и то, что существует и всегда существовало вне субъекта и потеря чего, следовательно, невозможна).

2. 3. Семантика: сходства, различия, условия нейтрализации

Из двух синонимов, составляющих наш ряд, более общим по значению является глагол **ценить**. Он имеет два основных круга употреблений.

В первом из них реализуется семантический компонент 'считать кого-что-л. очень хорошим и одновременно очень нужным для жизни вообще'. Обычно речь идет об о б щ е п р и н я -

тых культурных, духовных, человеческих или иных ценностях, т. е. о том, что является полезным или нужным в принципе, независимо от того, может ли субъект этим воспользоваться. Ср. *Иван Сергеевич чем дальше, тем больше любил Льва Николаевича как писателя, все выше его ценил, все больше боролся за его славу* (В. Шкловский, Лев Толстой); *Приученный с самого раннего детства выше всего ценить в людях ум, я отказался ради Кати от обычного для меня мерила человеческой ценности* (Ю. Нагибин, МАС); *Ранние цветаевские стихи, например, цикл о Москве или «К Блоку», представлялись мне замечательными, необыкновенными, талантливыми. Но Ахматова их не ценила* (Г. Адамович, Мои встречи с Анной Ахматовой); — *Я ценю ваше упорство, — сказал он [Дон Рэба]. — В конце концов вы тоже стремитесь к каким-то идеалам. И я уважаю эти идеалы, хотя и не понимаю их* (А. и Б. Стругацкие, Трудно быть богом).

Замена глагола **ценить** синонимом **дорожить**, который всегда выделяет в качестве ценного какой-то объект из личного мира человека, в такого рода контекстах либо совсем невозможна (нельзя, в частности, **дорожить в людях умом*), либо приводит к существенному изменению значения. Например, высказывание *Актеры его любили, относились к нему с уважением и мнение его ценили* никак не ограничивает содержание его мнения: это может быть мнение о самих актерах, о постановках, о работе театра вообще и т. п. Высказывание *Актеры его любили, относились к нему с уважением и мнением его дорожили* может значить только, что актеры дорожили его мнением о себе.

Во втором, менее типичном для **ценить**, круге употреблений реализуется компонент 'считать объект очень нужным для себя лично и, в случае обладания этим объектом, не хотеть его утратить'. В нем **ценить** в значительной мере сближается с **дорожить**, хотя синонимы почти никогда не утрачивают различий полностью.

В случае **ценить** хорошее отношение к объекту мотивировано чисто р а ц и о н а л ь н о, а иногда и у т и л и т а р н о: субъект знает или по крайней мере считает, что ценимый им объект может быть полезен, нужен или важен для него как средство достижения каких-то его целей. Ср. — *Это совершенно невозможно, мадам, — сказал он и прибавил в пояснение, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил ее желание, то --- туристы начали бы избегать их* (И. Бунин, Господин из Сан-Франциско) [хозяин апартаментов хочет, чтобы тело только что скон-

чавшегося мужа мадам было немедленно удалено, потому что в противном случае он потерпит убытки]. В случае **дорожить** хорошее отношение к объекту имеет не только рациональную, но и эмоциональную подоплеку. В частности, фраза типа *Он дорожил своим домом* значит, что дом обладал в его глазах ценностью не как источник возможных доходов, а скорее как духовная сущность — семейный очаг, средоточие традиций и преданий, с которым связаны внутренняя жизнь и переживания субъекта.

Эти различия отчетливо проявляются в сочетаниях, где объектом оценки является человек. Фраза типа *Я очень вас ценю* может быть адресована подчиненному, которого субъект считает компетентным работником, хорошим профессионалом и т. п. Она может звучать несколько снисходительно, поскольку отражает взгляд субъекта на другого человека как на принадлежащую ему ценность. Фраза типа *Я дорожу вами* тоже может быть адресована подчиненному, однако в этом случае начальник может совершенно не думать о профессиональных качествах своего сотрудника. Тональность фразы совершенно другая — она скорее воспринимается как декларация зависимости субъекта от адресата, как признание, что тот дорог ему как человек, что субъект испытывает к нему теплые чувства и т. п.

Поскольку в **ценить** важна прежде всего рациональная оценка объекта, внимание субъекта может быть сосредоточено на тех его аспектах, которые представляются ему непосредственно важными или нужными в данной ситуации. Объект ценится не в целом, а за определенные свойства. Поэтому можно сказать *Я ценю ваши знания <вашу инициативность, ваше усердие>*: здесь точно сказано, что именно привлекает говорящего. Даже если формально речь идет о человеке в целом, реально имеются в виду какие-то его качества, чаще всего профессиональные. Ср. *Марина, чтобы не оставлять его одного, бросала службу, на которой ее так ценили, и куда снова охотно принимали после этих вынужденных перерывов* (Б. Пастернак, Доктор Живаго); --- *бесстыдно уповаем на подачки богатых соседей, захудалого иностранца ценим больше, чем своего: экономист — это так, фуфло, бухгалтер, а вот американский экономист — пожалуйте в консультанты* (Д. Волчек, Гопак на костылях); *Мои друзья и я ценили в Ремизове его талант, но как человек он у нас восторга не вызывал* (З. Шаховская, Отражения).

Напротив, поскольку в **дорожить** важна эмоциональная оценка, использование этого синонима позволяет привлечь вни-

мание к ценности объекта в целом. Ср. *Но на память об этих днях дала я Смоленскому серебряный перстень с кораллами, подаренный мне Мариной Цветаевой, которым я очень дорожила* (З. Шаховская, Отражения).

Ценить описывает относительно объективное, непредвзятое, немного отстраненное отношение к какой-то ценности. Например, фраза *Я ценю свободу* уместна как констатация интеллектуальной позиции в разговоре о возможностях, которые свобода как принцип организации общества открывает для меня и для всякого другого человека. **Дорожить** описывает более субъективное, пристрастное, заинтересованное отношение к тому, чем человек располагает. Фраза *Я дорожу (своей) свободой* уместна как конкретное объяснение моего отказа от каких-то действий, которые с моей точки зрения чреваты утратой свободы как таковой.

Если мы говорим *Он не ценил жизнь*, то скорее речь идет о том, что он утратил вкус к жизни вообще, потому что он был разочарован, пресыщен и т. п. Если мы говорим о ком-то *Он не дорожил жизнью*, мы имеем в виду, что он готов был расстаться с собственной жизнью. Ср. *Ему показалось, что в остроге ее [жизнь] еще более любят и ценят и более дорожат ею, чем на свободе* (Ф. М. Достоевский, Преступление и наказание). Когда мы спрашиваем *Что Вы больше всего цените в жизни?*, нас интересует представление адресата о ценностях вообще, даже если лично он ими не обладает. Когда мы спрашиваем *Чем вы больше всего дорожите?*, нас интересует, какой объект из тех, которыми адресат обладает, представляет для него наибольшую ценность.

В этом проявляется еще одно различие между синонимами. **Дорожат** тем, что у субъекта уже есть и что поэтому он может, но не хочет потерять. Литературный журнал, например, может **дорожить** каким-то автором, потому что он систематически печатает его вещи и считает его своим. Ср. *В «Воле России» ее поэзией дорожили, и я высоко ставил ее [Цветаеву] еще до нашего знакомства* (М. Слоним, О Марине Цветаевой). На этом основании журнал может ревниво относиться к появлению вещей этого автора на страницах других изданий. Замена **дорожить** на **ценить** в таком контексте немедленно переводит личное отношение к автору в объективную констатацию ценности его творчества и совершенно устраняет представление о боязни потери. Ср. также пример *Антипова недоумевала, доктор сердился, но мадемуазель, как все чудачки, больше всего ценила свои заблуждения и*

ни за что с ними не расставалась (Б. Пастернак, Доктор Живаго), где уместнее был бы синоним **дорожить**.

Ценить можно и то, чего нет и чем субъект, следовательно, никак не рискует. Ср. *Книжечки расходились. Любители их ценили* (Б. Пастернак, Доктор Живаго). Нельзя было бы сказать в этой ситуации **Любители ими дорожили*.

В связи с этим **дорожить** может предполагать готовность субъекта предпринимать какие-то действия и одновременно отказываться от каких-то других действий, чтобы сохранить дорогой для него объект. Ср. *Будьте с ним поласковее. Надо дорожить людьми, которые готовы вам помочь.*

Наконец, **ценят** обычно то, что существует вне субъекта (см. примеры ↑), а **дорожить** можно и тем, что завоевано в результате его собственных усилий. Ср. *дорожить своей репутацией <своим положением в обществе>; Он дорожит своим честным именем, которое пронес через нужду, войны, революцию.* **Ценить** в таких контекстах выглядело бы неестественно.

Указанные семантические различия между синонимами частично нейтрализуются в двух семантических типах контекстов.

а) Первый тип — контекст слов, обозначающих отношение одного человека к другому, в том числе чувство-отношение, — любовь, преданность, послушание, внимание и т. п. Ср. *ценить чью-л. дружбу <внимание> — дорожить чьей-л. дружбой <вниманием>*. Некоторые различия между синонимами все же сохраняются, особенно в репликах от первого лица, отстраненно-снисходительных в случае **ценить**, интимно-лирических в случае **дорожить**. Ср. *Я ценю ваше доброе мнение обо мне* и *Я дорожу вашим добрым мнением обо мне*. Поэтому **ценить** свободно используется в формулах отказа: *Я ценю ваше доброе отношение ко мне, но надеюсь справиться с ситуацией сам.* **Дорожить** в таком контексте было бы неуместно.

б) Второй тип — контекст слов, обозначающих ценности, равно данные всем людям, никак не связанные с отношением к субъекту других людей, такие, как время, возможности и т. п. Ср. *Рыбаки отдыхали всего шесть часов в сутки и дорожили каждой минутой <ценили каждую минуту> короткого сна; Я дорожу возможностью <ценю возможность> работать в его лаборатории.* В этом случае нейтрализация более полная, но тоже не абсолютная. **Дорожить** в большей мере ориентировано на действие, чем **ценить**. Субъект **дорожить** не хочет потерять имеющуюся у него возможность и старается оптимальным образом ее использовать (спать в любую минуту,

когда нет других дел, работать как можно добросовестней, чтобы не подвергнуться риску увольнения). Субъект **ценить** настроен более созерцательно: он просто понимает, что любая минута сна <возможность работать в его лаборатории> — бесспорное благо.

Примечание

Глагол **ценить** имеет близкое к рассмотренному, но устаревшее или редкое значение 'оценивать определенным образом, иметь определенную оценку кого-чего-л.': *Жизнь научила меня ценить людей не по внешности и не по положению* (Г. Линьков, МАС). Более обычным средством выражения этого значения является глагол *оценить — оценивать*; ср. *Это был грандиозный беззвучный пасьянс, правила которого были совершенно непонятны современникам, очертания которого мы можем оценить только теперь* (А. И. Солженицын, Архипелаг Гулаг); *А есть такие --- тюрьмы, где дают обрывки книжной печати — и что это за чтение! угадать откуда, прочесть с двух сторон, усвоить содержание, оценить стиль...* (А. И. Солженицын, Архипелаг Гулаг).

2. 4. Грамматические формы

Форма ≈СОВ *оценить*, обозначающая единичный ментальный акт, имеет сдвинутое значение 'счесть чей-л. поступок важным или полезным' и, по этой причине, гораздо более узкую сферу употребления. Ср. нормальные фразы *Поверьте, я оценил вашу деликатность, Вы, кажется, не оценили ее жертву* и аномальные фразы **Я оценил короткие минуты отдыха*, **Он оценил свое положение в обществе* (относительно рассматриваемого значения).

2.5. Синтаксические конструкции

Оба синонима имеют валентность объекта, которая выражается формой ВИН при **ценить** и формой ТВОР при **дорожить** (см. примеры ⇅).

Глагол **ценить**, в соответствии с особенностями своего значения, управляет формами *за* + ВИН и *как* + ВИН в значении аспекта: *Я ценю его за работоспособность <за ум>; Мы ценим вас как специалиста; Набоков в те годы, в которые я его знала, Бунина как писателя уважал и ценил, но и только* (З. Шаховская, В поисках Набокова). Возможны и конверсные конструкции типа *ценить что-л. в ком-л.*, где целое и аспект меняются местами:

Мы ценили своего завлаба за умение ладить с начальством — Мы ценили в своем завлабе умение ладить с начальством. При этом трехвалентные конструкции типа *ценить кого-л. за Р* и *ценить Р в ком-л.* допускают преобразование в конструкции типа *ценить чей-л. Р: ценить кого-л. за преданность делу <в ком-л. преданность делу> — ценить чью-л. преданность делу.* Синоним **дорожить** в таких конструкциях не употребляется.

По той же причине можно сказать *Я ценю его в той мере, в какой он дает дельные советы,* но не *?Я дорожу им в той мере, в какой он дает дельные советы.*

Оба синонима иногда претерпевают некоторый сдвиг значения в отрицательных предложениях.

Значение сочетания *не ценить* может сдвигаться в сторону 'недооценивать', особенно в форме 2-Л и с просодическим выделением глагола; ср. *Вы не ↓цените вашу жену* [говорящий явным образом считает, что жена его собеседника заслуживает лучшего отношения к себе]. Именно поэтому затруднены сочетания **ценить** с отрицанием в форме 1-Л НАСТ; ср. нормальное *Я тогда не ценил <≈недооценивал> Сергея* и аномальное *?Я не ценю <*недооцениваю> Сергея.* Странность таких фраз коренится в противоречивости интеллектуальной позиции говорящего в момент речи: он одновременно приписывает себе и заниженную оценку кого-то, и убежденность в том, что эта оценка неверна. Чисто отрицательное значение восстанавливается в контексте предельных наречий типа *совсем, совершенно, абсолютно, никогда,* уточняющих обстоятельств и т. п.; ср. *Он совсем не ценит Сергея, Я не ценю его как ученого, Революции никогда не ценят людей духовного движения и духовного творчества* (Н. А. Бердяев, Философия неравенства).

Значение сочетания *не дорожить* упрощается до 'не бояться потерять объект, быть готовым расстаться с объектом': *Я этими книгами совсем не дорожу.*

Для **ценить**, в отличие от **дорожить**, типична конструкция *то, что*: *Мы высоко ценим то, что вы приняли нашу сторону в этом споре.*

2.6. Лексико-семантическая сочетаемость

Глагол **ценить** вполне свободно сочетается с названиями культурных ценностей и других абстрактных понятий в роли объекта; ср. *ценить музыку Баха <поздние работы Эйнштейна, герменевтику схоластов>.* Глагол **дорожить** в этих контекстах невоз-

можен. Он сочетается с абстрактными существительными только в том случае, когда они обозначают объекты, так или иначе принадлежащие субъекту (см.↑).

С другой стороны, для **ценить** затруднены сочетания с предметными именами в роли объекта; ср. странность высказывания ??*Я ценю это кольцо <золотую корону из сокровищницы Тутанхамона>*. Такие фразы становятся возможны лишь в ситуациях, где соответствующие объекты рассматриваются в культурном аспекте; ср. *В коллекции скифского золота музейные работники особенно ценят небольшую фигурку оленя.* Среди предметных имен исключение составляют названия человека, в том числе названия по профессиям, чинам и т. п., с которыми **ценить** сочетается вполне свободно; ср. *Я ценю вас как работника, Вы не цените молодых специалистов.* Между тем, глагол **дорожить** беспрепятственно сочетается с любыми предметными именами; ср. *Я очень дорожу этим кольцом <значком, своим письменным столом>, Он дорожил своей секретаршей.*

Оба синонима сочетаются с показателями высокой и очень высокой степени — *очень, по-настоящему, так, как* и т. п.: *Я очень ценю ваше доброе отношение ко мне; Она очень дорожит знаками внимания с вашей стороны; Как он дорожил каждой минутой, проведенной в ее обществе!; Он очень переживает уход Сергея, он так его ценил!; По-настоящему она дорожила только работой; По-настоящему он <Крученых> ценил только поэзию Хлебникова, но не все. Маяковским он не интересовался* (Р. Якобсон, сб. «Будетлянин науки»).

Ценить, в отличие от **дорожить**, сочетается еще с наречиями и наречными оборотами *высоко, невысоко, не очень высоко: Инна любила Аню, гордилась ею — высоко ценила ее ум, талантливость и особенно ее душевные качества* (О. А. Федотова, Аня Горенко); *Общество, где мало зрелых личностей, остро чувствует потребность в них, потому высоко ценит и возносит любые проявления личности* (Д. Самойлов, Исаич); *Он недолюбливает учителя-философа, да и трактат его ценит невысоко <не очень высоко>.*

2.7. Иллюстрации

Советское командование **ценит** ваш опыт и знания, их хотят у вас перенять (*А. И. Солженицын, Архипелаг Гулаг*). Но качества своих сограждан мы **ценить** не умеем, и Васенька необычайные свои дарования эксплуатирует [для личной выгоды], игнорируя

пользу государственную (*Т. Тэффи*, *О русском займе*). Он не **оценил** ее материнского чувства, которое она всю жизнь подмешивает в свою любовь к нему, и не догадывается, что такая любовь больше обыкновенной женской (*Б. Пастернак*, *Доктор Живаго*). И ночь, и туман, казалось мне, были только затем, чтобы я еще более любил и **ценил** утро (*И. Бунин*, *Туман*). «Лисички не безвредны, и по мне / они враги душевному здоровью. Ты **ценишь** их?» / «С любовью наравне». / «А что ты понимаешь под любовью?» (*И. Бродский*, *Горбунов и Горчаков*).

Ведь интеллигенция наша **дорожила** свободой и исповедывала философию, в которой нет места для свободы (*Н. Бердяев*, *Философская истина и интеллигентская правда*). Благосклонности [иностранных корреспондентов] добиваются, расположением к себе **дорожат** и связи с ними хранят от потенциальных соперников понадежнее, чем связи любовные (*С. Чупринин*, *Люди гибнут...*). Лева все больше --- **дорожил** этой незамеченной красотой Фаины: заспанным или усталым ее лицом, какой-нибудь небрежностью в одежде, неуклюжим безотчетным движением (*А. Битов*, *Пушкинский дом*). [Сухоносый] мог отлично поправить свои обстоятельства продажей наследства. Но он **дорожил** им как зеницей ока — и, конечно, совсем не в силу нежных чувств к покойной (*И. Бунин*, *Деревня*). Брат и сестра знали цену всему и **дорожили** достигнутым. Надо было быть на хорошем счету, чтобы пробиться (*Б. Пастернак*, *Доктор Живаго*).

2. 8. Служебные зоны

░ **ФРАЗСИН** ░ *ставить высоко (кого-что-л.).*

░ **АНАЛ** ░ *придавать (большое) значение; считаться (с кем-л.); уважать; ценить 2* (см. ПРИМЕЧАНИЕ в 2. 3); *любить; беречь, хранить; лелеять (мечту, воспоминания).*

░ **КОНВ** ░ *цениться; быть ценным; быть дорогим (кому-л.) [Я ценю вашу дружбу — Мне дорога ваша дружба]; стоять высоко в чьем-л. мнении <в глазах кого-л.>.*

░ **≈КОНВ** ░ *котироваться; быть престижным.*

░ **КОНВАНАЛ** ░ *нравиться.*

░ **≈АНТ** ░ *ставить низко (кого-что-л.), ни в грош не ставить (кого-что-л.); пренебрегать; презирать; третировать; плевать (на что-л.), чихать (на что-л.); недооценивать.*

░ **ДЕР** ░ *ценность; переоценивать 1 [Каждая следующая эпоха переоценивает наследие предшествующей], переоценивать 2 [Вы переоцениваете мои возможности].*

Литература

Ю. Д. Апресян 1979 — *Ю. Д. Апресян*. Английские синонимы и синонимический словарь // *Ю. Д. Апресян, В. В. Ботякова* и др. Англо-русский синонимический словарь. М., 1979.

Ю. Д. Апресян 1995 — *Ю. Д. Апресян*. Новый словарь синонимов: концепция и типы информации // *Ю. Д. Апресян, О. Ю. Богуславская, И. Б. Левонтина, Е. В. Урысон*. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Проспект. М., 1995.

М. Я. Гловинская

Две загадки Praesens Historicum

Существует две формулировки значения Praesens historicum:

1) Говорящий (или пишущий) говорит (или пишет) так, как будто он сам находится в том времени, к которому относится его рассказ. Эта трактовка восходит к работе [Brugmann, Delbrück 1897]; из отечественных лингвистов ее придерживался П. С. Кузнецов (Кузнецов 1949, 24).

2) «изображение прошедших фактов как бы совершающимися в момент речи перед глазами слушателя или читателя» (Виноградов 1947, 573). До В. В. Виноградова так описывал значение этой формы А. М. Пешковский (Пешковский 1935, 190–191).

Итак, в первом случае говорящий сам как бы переносится в прошлое и оттуда ведет свой репортаж о событиях, во втором случае говорящий как бы переносит прошлое к себе в настоящее. Эти две формулировки долгое время использовались параллельно, не противопоставляясь друг другу. Внимание на их различии заострил А. В. Бондарко (Бондарко 1971, 142–143).

Какое же из этих двух описаний переносного, образного («живописного», по формулировке А. М. Пешковского) компонента в значении видовременной формы соответствует истине? На первый взгляд этот вопрос может показаться схоластическим, поскольку обе редакции отражают в равной мере главную идею настоящего исторического, а именно **ментальную синхронизацию действия и наблюдения**.

Однако, от ответа на этот вопрос зависит не только формулировка praes. hist., но и ответ на другой, более общий вопрос, а именно: во всех ли употреблениях видовременной формы при-

сутствует ее главное значение (в данном случае — настоящего времени), хотя бы и в качестве переносного? Другими словами, есть ли смысловой инвариант во всех употреблениях формы глагола в настоящем времени?

Если верна первая формулировка — 'говорящий как бы переносится в прошлое', — то инварианта в таком объеме нет, если вторая — 'действие как бы происходит в момент речи' — то инвариант налицо (в том, что касается формы praes. hist.).

Итак, перед нами проблема выбора. Можем ли мы обратиться просто к своей интуиции носителей языка и проанализировать собственные ощущения? Во многих случаях этого бывает вполне достаточно, чтобы понять значение языковой единицы. Например, для интерпретации потенциального значения НЕСОВ и СОВ такой интроспекции достаточно. Просто подумав над фразой *Он поднимается по лестнице за 2 минуты*, мы можем понять, что субъект уже поднимался по лестнице за 2 минуты и поэтому утверждается, что он в принципе способен это делать; а подумав над фразой *Он поднимется по лестнице за 2 минуты*, можем понять (даже не зная, поднимался ли субъект раньше по лестнице), что какие-то его физические характеристики позволяют утверждать, что он способен это сделать.

Попытаемся так же вдуматься в пример с praes. hist.: *Несколько шагов в сторону берлоги, ударяю ледорубом в твердый наст, и пес прекращает поиски, спешит обратно. Метрах в пятнадцати от входа он начинает хитрить — идет боком... Зверь его не видит, но прекрасно слышит... Разгневанная медведица почти выскакивает из берлоги... Замечает людей и замирает, скованная извечным страхом...* («Юный натуралист»). Даже если мы ярко представляем себе эту картинку, мы все же не можем судить о том, что происходит в сознании говорящего или слушающего и что именно подвергается транспозиции — сам говорящий или прошлое. Тем более это трудно сделать в случаях, когда употребление этой формы автоматизировано, как в разговорной речи: *Иду вчера, вижу... стоит... Я говорю... Она говорит и* т. д.

Таким образом, не представляется возможным выбрать какую-то одну из этих формулировок, оставаясь лишь на уровне языковой интуиции, поскольку нам как носителям языка не дано непосредственно, интуитивно ощущать такие метафорические смыслы. Они относятся к так называемым имплицитным, неявным смыслам, потаенным, по выражению Ю. С. Маслова, или скрытым категориям, как их называют сейчас. Поскольку язы-

ковая интуиция не может помочь нам в выборе, поищем факты языка, которые могли бы рассматриваться как свидетельство в пользу той или иной гипотезы.

Прежде всего уясним, к какому слою значения относятся подобные компоненты. Поскольку в них фиксируется фигура говорящего, их следует рассматривать как своего рода модальную рамку.

Типы модальных рамок рассмотрены в работе [Апресян 1988], где выделены три их разновидности:

1) модальные рамки, отражающие отношение говорящего к действительности: оценки типа хорошо/плохо — ср. *застрельщик* (соревнования) — *зачинщик* (драки); много/мало — ср. *целых пять арбузов* (говорящий считает, что пять арбузов — это много) — *всего пять арбузов* (говорящий считает, что пять арбузов — это мало) и др.;

2) модальные рамки, отражающие отношение говорящего к содержанию сообщения: оценки по параметру истинности — *якобы, кажется* и т. д.;

3) модальные рамки, отражающие отношение говорящего к адресату: указание на их относительные статусы в какой-то иерархии, на их степень близости и т. д. (например, императивный инфинитив *Встать!* может быть употреблен только сверху вниз).

К какому из названных типов относится модальная рамка praes. hist.? Ее нельзя отнести ни к одному из них. Это — новый тип модальной рамки. Она отражает не отношение говорящего к действительности, но особую действительность, созданную его воображением: говорящий **представляет**...

Известно, что разные слои смысла по-разному взаимодействуют с элементами контекста. Относительно взаимодействия модальных рамок с элементами контекста была обнаружена следующая закономерность: если элемент контекста противоречит модальной рамке, возникает языковая неправильность: ср. **Почему купили так мало — целых пять арбузов?* (Апресян 1978, 144–145).

Итак, один вариант модальной рамки praes. hist. содержит элемент 'прошлое' (...как бы переносится в прошлое), другой — элемент 'настоящее', 'момент речи' (...действие как бы происходит в момент речи). Основополагающим для нас является тот факт, что praes. hist. может сочетаться с обстоятельствами, обозначающими прошлое: *Вчера иду, вижу; Как-то недавно встречаю я его на улице; Много лет назад появляются первые механические часы, и с тех пор идет постоянное состязание в усовершенствовании прибора...* Это кажется естественным, поскольку praes. hist. и

обозначает прошлое действие. Однако, если бы модальная рамка содержала элемент 'настоящее', 'момент речи', то обстоятельство со значением 'прошлое', 'до момента речи' вступало бы в противоречие с этим элементом и возникала бы языковая неправильность. Поскольку, однако, такой неправильности не возникает, более того, praes. hist. нормально употребляется именно в контексте таких обстоятельств, приходится заключить, что его модальная рамка не содержит компонента 'действие как бы происходит в момент речи'. Предпочтение следует отдать тому варианту модальной рамки, который содержит компонент 'говорящий мыслит себя в прошлом, и действие как бы происходит на его глазах'.

Чтобы убедиться, что при семантическом противоречии между обстоятельством (или другим элементом контекста) и модальной рамкой глагольной формы действительно возникает языковая неправильность, обратимся к другой видовременной форме, тоже с несобственным, переносным значением.

Имеется в виду значение формы СОВ прошедшего времени в таких случаях, как *Ну, я пошел; Всё, я побежал* и т. д. А. М. Пешковский писал об этом значении: «Прошедшее вместо будущего для изображения наверное ожидаемых в близком будущем фактов как бы уже прошедшими» (Пешковский 1935, 191–192). Метафорический компонент 'говорящий представляет действие как бы уже осуществившимся' интуитивно тоже не ощущается, как и в случае с praes. hist.

Однако имеются объективные языковые данные, подтверждающие его присутствие в данном значении. 1) Хотя эта форма обозначает предстоящее действие и поэтому, казалось бы, должна сочетаться с обстоятельствами будущего времени, тем не менее она не сочетается ни с какими обстоятельствами будущего времени. Нельзя сказать **Я скоро пошел*; **Я буквально через минуту побежал* и т. д. (в отличие от обычной формы будущего времени *Я скоро пойду* и *Я буквально через минуту побегу*). 2) Эта форма не может быть использована и для ответа на вопрос о будущем действии: *Что ты сейчас будешь делать?— *Я пошел* (ср. *Я пойду*). 3) Невозможно и употребление этой формы с отрицанием: **Я не пошел*, хотя возможно *Я не пойду*. Все эти факты показывают, что в сознании говорящего данное действие, которое только предстоит совершить, представлено как бы уже совершившимся, поэтому его нельзя отрицать, нельзя помещать в контекст со значением будущего.

Итак, мы выбрали вариант модальной рамки с мысленным погружением говорящего в прошлое. Но существует еще одна неясность, связанная с praes. hist. На кого должно быть ориентировано толкование модальной рамки — на говорящего или на слушающего, т. е. на адресата в широком смысле (читателя, слушателя)? Существуют две разных формулировки и относительно этой позиции в модальной рамке. Большинство пишет о событиях, разворачивающихся как бы перед глазами говорящего, но некоторые говорят о событиях, как бы совершающихся перед глазами слушающего (ср., например, Пешковский 1935, 190). Не случайно А. М. Пешковский называл его «живописным», а в западной лингвистике его называют «повествовательным, нарративным». Конечно, их можно объединить: 'как бы перед глазами говорящего или слушающего'. Но вопрос состоит в том, нужно ли вообще включать слушающего.

Это вопрос очень тонкий, и, опять-таки, он может показаться праздным. Ведь если основной функцией языка является коммуникативная, то очевидно, что все служит тому, чтобы говорящий мог передать свои мысли адресату. Тем не менее, единицы, отражающие какое-то специальное отношение говорящего к предмету, т. е. содержащие модальные рамки, могут отражать и специальные установки говорящего относительно адресата.

К сожалению, и на этот вопрос мы не можем ответить с помощью нашей интуиции носителей языка. Поэтому попытаемся применить тот же самый лингвистический прием, чтобы проверить, присутствует в значении этот элемент или нет. Подберем жанр речи, где устранено представление об адресате. Такими жанрами могут быть внутренняя речь, поток сознания и другие формы речевых или ментальных актов, протекающих исключительно в сознании субъекта.

Поместим теперь какие-нибудь фразы с формами прошедшего времени в контексты двух типов — рассказ (жанр, ориентированный на адресата) и внутреннюю речь (жанр с устраненным адресатом) и попытаемся произвести в обоих случаях замену форм прошедшего времени на настоящее историческое. В качестве контрольных можно предложить, например, следующие фразы: *Да, я добился всего, чего хотел. Я сделал невозможное: я приехал из деревни, поступил в университет, меня оставили при кафедре, я женился на дочери шефа.*

В рассказе замена на praes. hist. возможна: *И вот я добиваюсь всего, чего хочу. Делаю невозможное: приезжаю из деревни, посту-*

паю в университет, меня оставляют на кафедре, женюсь на дочке шефа.

Во внутренней речи такая замена невозможна: *Я повторял себе вновь и вновь: да, я добился всего, чего хотел. Я сделал невозможное: я приехал из деревни, поступил в университет, меня оставили при кафедре, я женился на дочери шефа. Но стал ли я счастливым?* При замене в контрольных фразах форм прошедшего времени формами настоящего события воспринимаются как относящиеся не к прошлому, а к будущему (с условно-гипотетическим значением 'предположим, что'): ср. *Я повторял себе вновь и вновь: я добиваюсь всего, чего хочу. Я делаю невозможное: приезжаю из деревни, поступаю в университет, меня оставляют при кафедре, я женюсь на дочери шефа. Но становлюсь ли я счастливым?*

Таким образом, есть основания полагать, что модальная рамка praes. hist. включает представление об адресате. В целом его толкование должно выглядеть следующим образом: 'действие или событие относится к прошлому; говорящий хочет, чтобы адресат представлял себе действие как бы происходящим у него на глазах; он говорит о нем так, как будто он сам находится в том времени, к которому относится действие и оно как бы происходит у него на глазах; он говорит об этом таким образом, потому что хочет, чтобы адресат представлял себе действие как бы происходящим у него на глазах'.

Интересным с этой точки зрения может оказаться анализ некоторых литературных жанров, например жанра дневника. Хотя «трудно представить себе, что дневник пишут, думая, что его никто никогда не прочтет. Автор может рассчитывать, что кто-нибудь когда-нибудь разделит его горести и надежды... Дневник для себя — это — в конечном счете — все-таки дневник для других» (В. Каверин, Дневник К. И. Чуковского). Признавая справедливость этого замечания, подчеркнем тем не менее разницу между в «конечном счете для других» и «непосредственно адресованные другим», как можно сказать о типичных жанрах, где употребляется praes. hist. Рискнем высказать предположение, что в дневниках praes. hist. будет встречаться редко и, более того, что его частота может служить мерилом искренности автора.

Литература

Апресян 1988 — *Ю. Д. Апресян.* Прагматическая информация для толкового словаря // Логический анализ языка. Прагматика и проблемы интенсиональности. М., 1988.

Апресян 1978 — *Ю. Д. Апресян.* Языковая аномалия и логическое противоречие // Tekst. Język. Poetyka: Zbiór studiów / Ed. M. R. Mayenowa. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1978.

Бондарко 1971 — *А. В. Бондарко.* Вид и время русского глагола. М., 1971.

Виноградов 1947 — *В. В. Виноградов.* Русский язык. М.; Л., 1947.

Кузнецов 1949 — *П. С. Кузнецов.* К вопросу о praesens historicum в русском литературном языке // Докл. и сообщ. филол. ф-та МГУ, 1949, вып. 8.

Пешковский 1935 — *А. М. Пешковский.* Русский синтаксис в научном освещении. 5-е изд. М., 1935.

Brugmann, Delbrück 1897 — *K. Brugmann, B. Delbrück.* Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Bd. IV. 2. Strassburg, 1897.

Н. А. Еськова

Первообразные и непервообразные предлоги Формальный аспект[1]

Так называемые первообразные предлоги составляют замкнутую непополняемую группу. Вот их полный перечень (из которого исключены устарелые варианты *пред* и *чрез* и варианты с конечным *о*: *во, ко, со* и т. д.): *без, в, для, до, за, из, к, на, над, о(об), от, перед, по, под, при, про, с, у, через*; к первообразным относятся также двойные предлоги *из-за* и *из-под*[2].

Непервообразные предлоги представляют собой открытый ряд. Сюда относятся предлоги наречные (*вблизи, вдоль, внутри, возле, вокруг, мимо, около* и т. д.), отглагольные (*благодаря, включая, исключая, спустя* и др.), отыменные (*ввиду, вследствие, наподобие, насчёт, посредством, путём* и т. д.). Активно идет процесс «опредложивания» предложно-именных сочетаний: *в виде, во время, во главе, в отношении, в результате, в ходе, в честь, по поводу, с помощью* и мн. др.

При соединении предлогов с определенными местоименными формами действуют формальные правила, большая часть которых строго обязательна для первообразных предлогов. Непервообразные предлоги или не полностью охватываются этими правилами, или совсем им не подчиняются.

1. Употребление после предлога особых форм местоимений-существительных *он, оно, она, они* с начальным *н*: *него, неё, них* и т. д. (так и именуемых — «припредложными формами»).

Для всей группы первообразных предлогов в пределах современной литературной нормы требование употребления после них припредложных форм является ненарушаемым правилом: *без него, в нем, для неё, до них, за ним, к нему, на них, над ними* и т. д.

Естественно, что это правило распространяется и на составные предлоги с первообразным предлогом во второй части: *вплоть до него, наряду с ней, несмотря на них* и т. д.

Непервообразные предлоги не подчиняются единому правилу.

Последовательно не требуют припредложных форм предлоги, употребляемые с дательным падежом: *благодаря ему, вопреки ей, вслед им, навстречу ему, наперекор им, наперерез ей, подобно ему, противно им, согласно ей, сообразно ему, соответственно им, соразмерно ей.*

Из немногочисленных предлогов, употребляемых с винительным падежом, требует припредложных форм наречный предлог *сквозь* (*сквозь него*) и не требуют таковых отглагольные предлоги (*включая её, исключая их*).

Требует припредложных форм употребляемый с творительным падежом предлог *между*: *между ними.*

Как известно, самую многочисленную группу непервообразных предлогов составляют употребляющиеся с родительным падежом. Большинство их требует припредложных форм: *близ него, вдоль неё, вместо них, кроме него, мимо них, около неё, против них, ради неё* и т. д.

Не требуют припредложных форм лишь немногие: *вне, касательно, накануне, наподобие, посередине, посредине, посредством, путем* (*вне его, наподобие её, посредством их* и т. д.).

Немногочисленны случаи вариативности: *взамен него* и *взамен его, внутри неё* и *внутри её, относительно них* и *относительно их.* Среди них выделяются частотностью конструкции с предлогом *внутри*, причем преобладают сочетания с *н*-формами (так что встречающиеся в справочниках для работников печати рекомендации отдавать предпочтение сочетаниям типа *внутри его* лишены оснований).

Остается сказать об употреблении припредложных форм после предлогов, возникающих из предложно-именных сочетаний. Это живой процесс, и наряду с окончательно «опредложившимися» сочетаниями есть снабжаемые в словарях пометой «в значении предлога». Разные источники — словарные и грамматические — могут расходиться в оценке одних и тех же «кандидатов в предлоги». Так, из 67 «составных именных предлогов с одним первообразным», данных в Грамматике-80, более трети фигурируют в словаре Ожегова—Шведовой с пометой «в знач. предлога» (к ним относятся, например, *в пользу, в рамках, в случае, в честь*). Такие расхождения свидетельствуют о

размытости границы между окончательно и не окончательно сформировавшимися предлогами.

Надежный формальный признак предлога — употребление после него *н*-форм местоименных слов — безусловно должен учитываться исследователями процесса формирования новых предлогов. Но в большинстве работ на это не обращается внимания[3].

В картотеке, использованной для настоящей статьи, зафиксированы *н*-формы при 24 предложно-именных сочетаниях. Представляют интерес случаи употребления припредложных форм при сочетаниях, пока не получивших статуса предлога в указанных двух источниках (*в глубине неё; в конце него, неё; на месте неё*), и при тех сочетаниях, которые словарь Ожегова–Шведовой снабжает пометой «в знач. предлога» (*в память него; в пользу него, неё; в рамках них; в честь него, неё; по поводу него, неё, них*).

2. Интерпозиция предлога в конструкциях с местоименными словами.

1) Предложные сочетания с местоименными словами, начинающимися компонентами *ни-* и *не-*: *никто, ничто, никакой, ничей; некого, нечего.*

В этих предложных сочетаниях свободно участвуют все первообразные предлоги при непременном помещении между компонентами местоименного слова: *ни для кого, ни до чего, ни к какому, ни перед чьим; не на кого, не от чего* и т. п.

Участие в таких конструкциях непервообразных предлогов — крайне редкое явление. Отсутствие реальных примеров заставляет прибегнуть к «эксперименту». Конструкции с некоторыми предлогами местоименных слов с начальным *ни-* представляются возможными: *ни близ кого* (*чего, какого, чьего*), *ни возле кого..., ни ради кого..., ни против кого...* Не исключаются такие сочетания с предлогами *вместо, около, подле, после, среди*, но вряд ли они возможны с предлогами *благодаря, взамен, вопреки, навстречу, согласно* и др.

Местоименные слова *некого* и *нечего* во всех предложных конструкциях сохраняют ударение на компоненте *не-*, и это оказывается формальным препятствием для соединения с непервообразными предлогами. Насколько реальны сочетания *нé возле кого* (*Нé возле кого найти успокоение*), нé против кого (*Нé против кого выступить с критикой*), *нé ради кого* (*Нé ради кого стараться*) и т. п.?

2) Предложные сочетания с местоименными словами, начинающимися компонентом *кое-* (*кой-*): *кое-кто, кое-что, кое-какой, кое-чей* (то же *с кой-*).

Строго нормативной считается интерпозиция предлога: *кое у кого, кое над чем, кое с каким, кое о чьем* и т. п. Но эта норма достаточно часто нарушается, причем конструкции с препозицией предлога употребляются и хорошими авторами. Зафиксированы, например: *на кое-кого* (В. Набоков), *для кое-кого* (В. Кардин), *на кое-какие вопросы* (Ю. Домбровский), *в кое-какой порядок* (Ю. Давыдов), *к кое-каким новинкам* (В. Шаламов), *с кое-какими средствами* (Е. Носов).

Интерпозиция непервообразных предлогов в конструкциях с местоименными словами с начальным *кое-* маловероятна (*кое возле кого? кое против кого? кое ради кого?*), а препозиция вполне реальна и может быть признана нормой: *благодаря кое-кому, относительно кое-кого, согласно кое-чему, взамен кое-чего* и т. п.

3) Предложные сочетания с местоименным существительным *друг друга*.

Интерпозиция первообразного предлога в таких сочетаниях — строгая норма: *друг без друга, друг для друга, друг за другом, друг к другу, друг над другом, друг перед другом, друг с другом* и т. п. Встречающиеся в устной речи сочетания типа *за друг друга, от друг друга, перед друг другом, у друг друга* можно оценить только как явные неправильности.

Непервообразные предлоги дают совсем другую картину. Здесь гораздо труднее предлагать нормативные рекомендации[4]. Высказанные далее оценки и соображения опираются на некоторый собранный материал с привлечением, естественно, собственного языкового ощущения.

Даже для тех непервообразных предлогов, интерпозиция которых в сочетаниях с *друг друга* предпочтительна (к ним относятся, например, *близ, возле, после, против: друг близ друга, друг возле друга, друг против друга* и т. д.), постановка перед местоименным сочетанием (*близ друг друга, против друг друга*) не выглядит таким же грубым нарушением нормы, как приведенные выше случаи с препозицией первообразного предлога.

В ряде случаев опора на языковое чутье подсказывает препозицию предлога как единственную возможность: *благодаря друг другу, вблизи друг друга, касательно друг друга, кроме друг друга, наперекор друг другу, насчет друг друга, помимо друг друга* и др. (для сочетаний с этими предлогами нет примеров в моей картотеке). Такими же кажутся и предлоги *навстречу, напротив*, но в материале представлены три случая употребления сочетания *друг навстречу другу* (причем в устной речи, больше, чем письменная, «тяго-

теющей» к препозиции предлога) и семь случаев — *друг напротив друга* (два из них — тоже в устной речи).

Для ряда предлогов можно, очевидно, признать правомерность употребления обеих конструкций (например, для *вокруг, мимо, около, ради*; материал убедительно подтверждает такое решение для предлога *относительно*: 7/7).

Как итог рассмотренного в п. 2 (посвященном явлению интерпозиции предлога) можно констатировать резкое различие в «поведении» двух групп предлогов: интерпозиция единственно возможна или предпочтительна для первообразных предлогов и мало характерна или совсем невозможна для непервообразных. И по этому признаку перечисленные в примечании 2 «спорные» предлоги *кроме, между, ради* и *сквозь* должны быть отнесены к этой последней группе.

Осталось рассмотреть явление (насколько мне известно, до сих пор не замечавшееся), представляющее едва ли не наибольший интерес в ряду выявляющих различия между первообразными и непервообразными предлогами. Речь идет о случаях вставки частицы между предлогом и падежной формой (единичной или с согласующимися с ней словами), с которой употреблен этот предлог. Это возможно только в конструкциях с непервообразными предлогами. Позволю себе привести все имеющиеся в моем распоряжении примеры из печатных источников (записи устной речи опущены). Зафиксированы случаи с частицами *же, ли, то*.

Примеры с частицей *же*. «Благодаря *же* помощи его подчиненных сегодня можно хотя бы в общих чертах представить себе...» («Известия», 1992). «Вместо *же* этого, выступая недавно на сессии Госсовета республики, Федоров с дерзкой откровенностью заявил...» («Известия», 1995). «Вне *же* армии каждый вправе заниматься политической пропагандой...» (М. Чудакова, «Литературная газета», 1991). «Внутри *же* фургона лежало небольшое коричневое пианино...» (В. Набоков. Дар). «Внутри *же* партии элементы демократии были...» (П. Абовин-Егидес. Сквозь ад. М., 1991). «Внутри *же* музея „шубы“ нет, и на стенах написаны картины...» («Известия», 1991). «После *же* тщательнейших изысканий по этому поводу справки мои оказываются не точными...» (Цитата из С. Д. Полторацкого в кн.: В. В. Кунин. Библиофилы пушкинской поры. М., 1979). «После *же* ареста мужа и дочери и с началом войны отъездом в эвакуацию эта изоляция трагически усугубилась» (А. Турков. «Известия», 1988). «После *же* слета борцов за свободу Эстонии <...> заявление <...> получило и междуна-

родный отзвук» («Известия», 1991). «После *же* смерти матери папу перевезли в семью его родственников Григоренко...» (В. Домогацкий. Кладовка. «Новый мир», 1992). «После *же* войны у нас была другая иллюзия...» («Литературная газета», 1993). «Среди *же* пришедших голосовать оказалось немало тех, кто жаловался наблюдателям...» («Известия», 1992; это сочетание дважды зафиксировано в устной речи — у ведущего «Итогов» Е. Киселева).

Примеры с частицей *ли*. «Не благодаря *ли* им с такой горькой и неспешной отчетливостью встают домашние сцены в квартире Баюковых?» (В. Кардин. «Новый мир», 1987). «Комитет проверял, не около *ли* секретных объектов охотился американец» («Известия», 1991). Ср. еще случай вставки частицы *ли* между частями составного предлога: «Уж не вслед *ли* за Набоковым устремилась Америка в „Палас"?» («Литературная газета», 1990).

Примеры с частицей *то*. «Но внутри-*то* самой партии давайте все-таки разберемся» («Московская правда», 1990). «Но внутри-*то* республики мы эту проблему решили...» («Литературная газета», 1994). «А мимо-*то* киосков ходят, наверное, авторы...» (Т. Иванова. «Книжное обозрение», 1987).

Вставка частиц после первообразных предлогов невозможна; невозможно: **без же помощи*, **из же фургона*, **до же войны* и т. п. Частица может быть помещена только после предложного сочетания: *без помощи же, из фургона же, до войны же*. Конечно, такой порядок элементов нормален и для конструкций с непервообразными предлогами: *вместо этого же, вне армии же, внутри музея же, после войны же* и т. п.

Любопытно отметить, что положение после первообразного предлога, «недоступное» для частиц, могут занимать вводные слова и сочетания. Вот несколько примеров.

«Не только в этих произведениях, но и в, *так сказать*, чистой лирике Пастернака, в книге „Сестра моя — жизнь", своеобразно выражена тема революции, тема времени» (А. Якобсон. «Лекции о Пастернаке»). «...американский конгресс <...> почти наверняка вооружит правительство законами для, *скажем*, повышенного налога на японские автомобили» («Известия», 1993). «...он в ответ на, *в общем-то*, несмертельные подозрения межведомственной комиссии повел себя крайне неадекватно» («Известия», 1993). «Но при, *как правило*, политической подоплеке отказа официально властями причины никогда таковыми не признавались» («Известия», 1991). «Как только с, *казалось бы*, ясного неба грянул гром амнистии, так юристы и публицисты заспорили...» («Известия»,

амнистии, так юристы и публицисты заспорили...» («Известия», 1994). «...при, *я бы сказал*, недоступности Ахматовой...» (А. Найман. «Книжное обозрение», 1995).

Хочется отметить в заключение, что сами термины «первообразные» и «непервообразные» не вполне адекватно выражают существо различий между двумя группами предлогов, которые противопоставлены рядом формальных свойств и выделяются на основании чисто синхронных отношений.

Примечания

[1] Настоящая статья имеет «точки соприкосновения» с другой работой автора: *Н. А. Еськова.* Формальные особенности некоторых предложных сочетаний с местоименными словами // Русские местоимения: Семантика и грамматика. Владимир, 1989, с. 60–68. В данной статье, где вопрос «повернут» к предлогам, привлечен дополнительный материал, в том числе и не относящийся к местоименным сочетаниям.

[2] В этот перечень не включены предлоги *кроме, между, ради и сквозь.* Первые три причислены к первообразным предлогам в Грамматике-80, последние три — в Грамматике-52. В дальнейшем принятое здесь решение получит обоснование.

[3] См.: *Н. А. Еськова.* Формальные особенности..., с. 63.

[4] Рекомендации «Орфоэпического словаря русского языка» и уже упоминавшейся здесь статьи кажутся мне сейчас излишне категоричными.

Е. А. Земская

Письма просторечно говорящих как источник изучения некодифицированных сфер русского языка и городской субкультуры

Открытие берестяных грамот в 1951 г. произвело революцию в изучении русского языка и культуры (см. Арциховский и Тихомиров, 1953). Этот факт хорошо известен не только лингвистам, историкам, археологам, но и людям иных специальностей, не связанных с языком профессионально. Берестяные грамоты рассказывают нам о временах давно минувших, наглядно показывая особенности языка и жизни древней Руси.

Существуют ли подобные источники в наше время (конец XX в.), которые бы столь же наглядно могли рассказать нашим потомкам об особенностях языка и культуры нашего времени?

Думаю, что такие источники есть, но ученые на них совсем не обращают внимания или обращают внимание крайне редко. Я имею в виду письма людей, говорящих на просторечии и слабо владеющих грамотностью.

Число таких людей велико. Они составляют значительную часть населения современной России (см., например: Городское просторечие, 1984).

Эта часть горожан хранит особенности старого языка, своеобразного быта и нравов, т. е. имеет свою субкультуру (См., например: Китайгородская, 1990, 222–228; Толстой, 1991; Земская, в печати).

Однако при изучении городского просторечия письма обычно не используются как источник. Просторечные письма доходят до исследователей редко и, как правило, не привлекают их внимания. Меж тем они крайне интересны во многих отношениях. Они отражают реальную бесхитростную речь. Не скованные правилами орфографии, их авторы передают особенности современного город-

ского просторечия в области фонетики, словоупотребления, грамматики, построения дискурса, речевого этикета.

Можно возразить, что просторечие звучит вокруг нас и не обязательно изучать его по письмам. Достаточно постоять в очереди или посидеть на вокзале. «Просторечников» не требуется воскрешать, чтобы их услышать[1]. Это не древние новгородцы, речь которых ушла от нас. Это возражение лишь отчасти верно. Подлинные письма лиц, не владеющих правилами грамотности, представляют собой источник особой ценности. Устная речь летуча, недолговечна; магнитофонные записи могли бы сохранить просторечие, но для этого надо проводить специальную трудную работу.

Письма просторечно говорящих более стойки ко времени. Их можно назвать «берестяными грамотами XX в.» Они сохраняют особенности не отраженного в грамматиках и словарях некодифицированного языка, являются свидетельствами жизни, быта, субкультуры значительной части современных горожан. Кроме того, эти письма показывают нам, как их автор воспринимает язык: как он членит речь на слова и высказывания, как он членит сами слова, какие знаки графики он использует, а какие оставляет за пределами своего письма; как он строит дискурс и, наконец, как он интерпретирует те или иные факты языка. Таким образом, мы получаем в руки бесценный источник — материал для построения народной грамматики, отражающей не только язык людей конца XX в., но и особенности их культуры и менталитета.

Я хочу на примере одного письма, написанного в конце 1994 г., показать, что может дать внимательное прочтение подобных писем.

Письмо написано карандашом на двух тетрадных страницах в линеечку. Автор — женщина 83 л. (Нюша, Анна Ивановна). Несколько лет назад овдовела, живет одна. Сын с семьей живет отдельно. Письмо адресовано женщине 67 л. (Лене), живущей в Москве, в семье которой 58 лет назад Нюша была домработницей. Лена пишет своей няне письма, изредка навещает ее.

Нюша уроженка Московской области (дер. Меличкино Солнечногорского района); но значительную часть жизни прожила в Москве в домработницах. Нюша окончила I класс деревенской школы. Когда она жила в Москве, ее много раз уговаривали учиться, предлагали заниматься с ней. Ответ был один: «У меня голова футбол» (т. е. пустой мяч). В 1945 г., когда началась война, Нюша перешла на работу коменданта научного учреждения в г. Химки Моск. области. Безупречная честность, природная по-

нятливость, хозяйственность и хорошая память помогали ей справляться с работой, несмотря на малограмотность.

Приведу письмо Нюши полностью. По классификации А.А.Зализняка (см. Янин, Зализняк, 1986, 91–92), это письмо относится к числу бытовых писем большого размера. В левой колонке дан текст письма, в правой — сделанный мной «перевод» в литературно-орфографическую форму.

В квадратных скобках дан перевод, иногда мои дополнения, имеющие целью пояснить неясности, приблизив просторечный текст к литературному, несколько расширив его. В круглых скобках даются: а) некоторые реальные комментарии; б) в сомнительных случаях — варианты возможного разночтения; в) исправления явных ошибок и описок. Письмо начинается так: *от 30 сентября 1995 г.* (Здесь явная ошибка в годе, так как письмо получено в 1994 г.)

Здравству дорогая моя Лена Варюша Марк Миша Лена получила от тебя письмо которого был ни много конверт на дорван но денги целы спасиба Лена я обхожус нибеспокойся я привыкла жыть и меть мало дене	Здравствуй, дорогая моя Лена, Варюша, Марк, Миша! Лена, получила от тебя письмо, конверт которого был немного надорван, но деньги целы. Спасибо! Лена, я обхожусь, не беспокойся, я привыкла жить, имея мало денег.
А прошлый месяц мне принесли какуют за должност 94 тысячи Низнаю скоко принесут ветот месец Лена питайся сама что тебе врачи саветуют	А в прошлом месяце мне принесли какую-то задолженность 94 тысячи. Не знаю, сколько принесут в этот месяц. Лена, питайся сама (хорошо) [ешь], что тебе врачи советуют (реплика в ответ на присылку Нюше в письме денег).
Лена уменя желочной забит но что уменя балит или пече она уменя балела тагда когда жыла увас поджелудочная	Лена, у меня желчный [пузырь] забит [камнями], но что у меня болит [точно, я не знаю]. Или печень? Она у меня болела тогда, когда я жила у вас, [но, может быть] поджелудочная?

Ноги балят сасуды кров
нипроходит вот ноги
мерзнут но дорогая моя
веть мне 83 год пора
натот свет.

Ноги болят, сосуды [сужены? плохие?]
Кровь не проходит. Вот ноги мерзнут.
Но, дорогая моя, ведь мне 83-й год,
пора на тот свет.

Похранила сестру Катю
вот уже отметил вето
воскресения 40 дне

Похоронила сестру Катю.
Вот уже отметил(и / а) в
это воскресенье 40 дней.

2 стр.

Сына моего избили
бандиты шол на автобус
подошли подроски лет
по 16, попросили
покурит он сказал
я не курю потставили
гогу и повалили на землю

Сына моего избили
бандиты. Шел на автобус,
подошли подростки лет
по 16, попросили [дать]
покурить. Он сказал:
«Я не курю». [Тогда они] подставили
ногу (вероятно, описка) и повалили
[его] на землю.

Челюсти повридили
груд иседет больно
от очнулся утром
валялся на земле

Челюсти [ему] повредили,
грудь и сидеть больно.
(От — возможно, описка — *он*,
но возможно и произношение
типа *отчнулся*)

до шол до дома пошол
наработу так как он
работает в рот доме
сказал главврачю

Дошел до дома, пошел на
работу. Так как он
работает в роддоме,
сказал главврачу [о том, что
случилось].

Она взяла скорою и
повезла его показат
врачам там врач сделал
ренген и предложел
ему по лежать в больницы
Но он сказал мне жена
дома будет готовит
пишю жидкою очен
худои а навторои день
избили галеного свекора

Она взяла «скорую» и
повезла его показать
врачам. Там врач сделал
рентген и предложил
ему полежать в больнице.
Но он сказал: «Мне жена
дома будет готовить
пищу жидкую». [он] очень
худой. А на второй день
избили Галиного свекра.

шол сработ еще светл	[Он] шел с работы, [было] еще светло.
Тот лежыт в больниц, пирибили переносицу врачи сабирали из кусочков и оба бок перебили ребра	Тот лежит в больнице, [ему] перебили переносицу, врачи собирали из кусочков. И [в обоих боках] перебили ребра.

3 стр.

У Сашы забрали документы ключи 700 дене Лена я конечно перижываю но позвонить не откого откого вам звонила у них кабел повредили когда наладют тогда я ивам позвоню	У Саши (сына) забрали документы, ключи, 700 [рублей] денег. Лена, я конечно, переживаю, но позвонить не от кого. От кого [я] вам звонила, у них кабель повредили. Когда наладят, тогда я и вам позвоню.
ачто язва уплемянницына мужа была язва выписали на работу он пришол на обед и у него язва лопнула	А что язва (имеется в виду, что у адресата обнаружена язва желудка) [то вот какие случаи бывают], у мужа племянницы была язва. Выписа- ли [его] на работу. Он пришел на обед, и у него язва лопнула.
Хорошо что мама пришла быстро вызвал скорою пря стали делать опирацию 8 месяцыв поли бюлютенил сечяс работает	Хорошо, что мама пришла. Быстро вызвал «скорую», и [прямо] стали делать операцию. 8 месяцев (после? — пропущено «с»?) бюллетенил, сейчас работает.
Васю похранили зимои тому уже болши полгода Лена написала но когда удася отослат низнаю дорогая моя писать кончяю цылую всех выкорапковайся из больницы	Васю похоронили зимой, тому уже больше [чем] полгода. Лена, [я] написала [письмо], но когда удастся отослать, не знаю. Дорогая моя, писать кончаю. Целую всех. Выкарабкивайся из больницы.

4 стр.

Может куд обратися кхорошем врачям	Может [быть], куда-[нибудь] обратишься к хорошим врачам?

Сечя хвастаются по телевизер тамто тамто ниобыкновеные врачи и лекартво дорогая вот выписала врач рецепт пошла мо кормилица из раи собеса 5 тысяч несмотря мне 50 процентов	Сейчас хвастаются по телевизору: там-то, там-то необыкновенные врачи и лекарства. Дорогая[2], вот выписала врач рецепт, пошла моя кормилица из райсобеса (женщина, которая помогает старым людям покупать еду и лекарства), [и заплатила] 5 тысяч, несмотря [на то, что] мне [дают скидку] 50 процентов.
досвидания Цылую	До свидания. Целую
К Ан Лена я думаю ты разбереся чт кчиму грамотеик плохая	К[рылова] Ан[на] Лена! Я думаю, ты разберешься, что к чему. [я] грамотейка плохая

Графико-орфографические особенности

Анализируя берестяные грамоты, А. А. Зализняк пишет «что иногда бывает нелегко провести границу между графическими и орфографическими явлениями, поскольку неясно, как именно читалось то или иное написание (и потому неизвестно, является ли оно орфографической условностью или прямо передает звучание)» (Янин, Зализняк, 1986, 96). Мы находимся в сходном положении, потому что тоже не всегда можем решить, означает ли неиспользование какой-либо буквы особое произношение или же просто свидетельствует о невладении автором некоторыми буквами алфавита. В нашем письме отсутствуют буквы **э, й, ъ, щ**. Мягкий знак часто отсутствует в тех случаях, когда в литературном языке он обозначает мягкость: *груд* (грудь), *кабел*, *кров* (кровь)[3]. В формах инфинитива мягкого знака часто нет: *будет готовит, седет больно*. Возможно, что в словах *денги, очен* отсутствие мягкого знака передает произношение.

Не всегда стандартно пишет букву *в*: нередко окончание нижнего полукружия отсутствует: *е*

Заглавные буквы употребляет редко. Обычно в именах лиц: У *Сашы* (имя сына); в начале письма: *Лена, Варюша, Марк, Миша*, но: сестру *катю, галеного свекора*. В конце письма слово Цылую имеет заглавное **Ц**.

При желании изобразить на конверте инициалы адресата А пишет легко, а заглавное **Е** (для имени Елена) у Нюши не получается. Пишет строчное е большого размера: **е**.

После непарных твердых шипящих пишет только **ы**, **о**; *жы, цы, шо*; после **ч** — только *ю, я*; Например: *жыть, шол, пашол; у Сашы; вбольницы, уплемянницына сына, но операцию с* ***и****; сказал главврачю, сечя* [сейчас]. Букву **щ** не использует. Изображая слово **пищу**, пишет *пишю*.

Нюша не пользуется знаками препинания. Лишь в одном случае можно предположить запятую (в конце 2-ой стр. письма), но возможно, что это случайная чёрточка.

Позиция конца слова — явно ослаблена. Во многих словах отсутствуют конечные буквы, как согласные, так и гласные, особенно часто **ь**. Примеры: *пече* (печень, 2 раза), *дене*, 40 *дне*, шол с *работ* еще *светл*; лежыт в *больниц*, может *куд* (куда) обратися; *сечя* (сейчас), *чт* (что); *грамотеик* (грамотейка). В этих случаях вряд ли можно предполагать отражение произношения.

В случае *какуют за должност* можно видеть сильную редукцию гласных; для частицы *-то* это вообще характерно в устной аллегровой речи.

Из фонетики

Письмо довольно последовательно отражает иканье и аканье.

Иканье: *нимного, повридили, пирибили.*

Аканье: *сасуды, сабирали*; в конце слова: *спасиба.*

Однако встречается и орфографически правильное написание. Так, в соседних строчках находим: *пирибили переносицу*, но *перебили ребра.*

Сочетания трех и более согласных упрощаются: *подроски* (лит. *подростки*), *ренген* (лит. *рентген*), *лекартво* (лит. *лекарство*).

Оглушение в конце слова отражается редко; *веть* (*ведь*); внутри слова: *потставить, выкорапковайся.*

Интересно написание: *в рот доме*. Что это: своеобразная народная этимология или оглушение согласного? Решить трудно.

Фонетика отдельных слов. В глаголе *похранили* (2 раза) отражается сильная редукция (ср. лит. *похоронили*). Вместе с тем словоформа род. п. слова *свекор*: *свекора*; вероятно, им. п. *свекор* (ср. лит. *свекр*).

Высокочастотные слова произносит с сильной редукцией, что свойственно и литературной разговорной речи: *скоко, сичяс, сечя* (сейчас), *какуют* (какую-то).

Обращает на себя внимание слово *ниобкновеные* (врачи), ср. лит. *необыкновенный*; в просторечии более частотна, по нашим наблюдениям, форма *необнаковенный*.

Из морфологии

Отличий от литературного языка в области морфологии в письме немного[4]. Основные касаются глагола.

В формах 3 л. мн. числа наст. вр. встречается флексия *-ют*: *наладют*.

В формах возвратных глаголах перед конечной частицей последовательно происходит упрощение флексий: *ты разбереся; когда удася послать*.

В I л. ед. ч. встречаем **с** твердое: я обхожус. Трудно сказать, отражает ли такое написание произношение автора или его нелюбовь к мягкому знаку.

Отмечу одну интересную особенность, не отраженную в письме, но имеющуюся в моих записях устной речи. Нюша хранит типичную черту просторечия — употребление глагольных форм на *-мши* в функции как сказуемого, так и полупредикатива: Мы все *наревемши* / а они сидят: ха-ха-ха // ; Он сидит *насупимши* (ср. лит. *сидит, насупившись*; или: *сидит — насупился*).

В словоформах глаголов предсуффиксальные заднеязычные твердые: выкорапковаися (лит. *выкарабкивайся*). Очевидно, что **о** здесь — показатель твердости **к**, но не произношения **ко**.

Членимость слова. Пожалуй, самая интересная особенность этого письма связана с проблемами членимости слова и восприятием приставок и предлогов.

Автор не разграничивает эти два вида морфем, пишет их то раздельно, то слитно со следующим словом. Постараемся уловить некоторые закономерности.

Предлог **у** с местоимением пишется то раздельно, то слитно: *у меня* (2 раза), *у него, у Сашы, у них; от тебя;* но: *увас; уменя* (2 раза), *вето* (в это), *ветот месяц*; *натот* свет; *не откого, откого, кчиму*.

Предлоги с существительными пишутся и раздельно, и слитно.

Раздельно и **слитно**: *на автобус, на обед, на работу* (но и *наработу, сработ/ы/*), *на землю* (но: *на земле*), *до дома*, *лет по 16* (по-видимому, предлог при цифре иначе не мог быть написан).

Слитно: *вбольницы, вбольниц*; с порядковым числительным: *навторой день*. Приставки при глаголе пишет и раздельно, и слитно: *до шол* (но: *пошол*), *избили*.

Несомненно, что восприятию приставок и предлогов как единиц одного класса способствует их фонетическая и смысловая близость. Именно поэтому Нюша пишет *до шол до дома*, но в глаголе *пошол* приставка написана слитно: здесь значение приставки **по** выделяется не столь резко, оно слегка «затуманено».

Особо выделю случаи членения некоторых иных слов: существительное *за должность*; *конверт на дорван, и меть* (при этом союз **и** пишет слитно: **ивам**).

Слова сложносокращенные пишет раздельно: *из раи*[5] *собеса*; *работает в рот доме*. По-видимому, *рот дом* не связывает со словами *родить, роды*; сохранению конечного **д** не помогает даже положение перед начальным звонким в слове *дом*. Ассоциирует ли Нюша эту часть слова с корнем *рот* или просто пишет не задумываясь, неясно.

Построение дискурса

В этом письме обращает на себя внимание отсутствие традиционного зачина и концовки, свойственных письмам, написанным на просторечии, типа: «*Добрый день или вечер! С приветом к вам тетя Маня, дядя Саша...*» — далее идет перечисление всей родни. Концовка нередко содержит какое-либо шутливое пожелание, вроде: «*Жду ответа, как соловей лета*». Нюша использует лишь традиционное строго иерархизованное перечисление в начале письма всех членов семьи, хотя письмо явно адресовано лишь одному человеку: Лена, ее кузина Варюша, Марк (зять), Миша (внук, т. е. ребенок поставлен в конец).

Письмо представляет собой рассказ о жизни, адресованный близкому человеку. Рассказ содержит несколько сюжетных линий: о болезнях; о нападении на сына; о нападении на *галеного свекора*; о язве желудка[6]. В конце письма даются советы: *выкорапкиваися из больницы*; ищи хороших врачей (*сечя хвастаются по телевизер тамто тамто необкновеные врачи и лекарства*). Эти советы отражают распространенное в народе мнение: в больнице плохо,

кругом плохие врачи, надо искать хороших. Отчетливо звучит и недоверчиво-скептическое отношение автора к телепередачам (*сечя хвастаются...*).

Сравнение текста письма с его литературным «переводом» показывает, что просторечно говорящий многого не разъясняет, умалчивая о том, что вполне может быть не известно адресату, например, кто такой Вася, а также *гален свекор* и т. д. Эту особенность просторечия отмечали в литературе, называя ее «наступлением на права адресата». Так, М. В. Китайгородская пишет: «Просторечный текст, по сравнению с литературным разговорным текстом, отличает большой объем имплицитного содержания. Просторечно говорящие нередко так строят план выражения, что идентификация имплицитного содержания затруднена, приблизительна, а иногда и невозможна. <...> В ряде случаев текст строится по принципу ассоциативного нанизывания частей высказывания без вербально выраженных показателей логических отношений...» (Китайгородская, 1990, 224).

Письмо Нюши строится как устный рассказ. По-видимому, оппозиция устная речь — письменная речь у автора отсутствует.

Паратаксис преобладает над гипотаксисом. Вместе с тем Нюша свободно употребляет целый ряд союзов и союзных слов: **что, и, но, который, когда** и даже один раз книжный союз **так как**.

Книжной конструкцией **несмотря** *на то, что* автор не владеет, употребляет ее в упрощенном виде: *несмотря мне 50 процентов.*

Используя конструкцию типа *«стол, ножка которого»*, не справляется с требуемым литературной нормой порядком слов: письмо **которого** был не много **конверт** на дорван (ср. лит.: письмо, конверт которого...).

Нюша часто употребляет обращение (подобно тому, как в устной речи). Обращение *Лена* встретилось семь раз; кроме того, находим обращение *дорогая* и *дорогая моя.*

Обращения используются и как показатели перехода к другой теме, и как фатическое средство привлечения внимания. Один раз переход к другой теме выражен конструкцией **а что (язва)** (ср. лит.: что касается...).

Из лексики

Специфически просторечных слов в письме немного, но в моих записях устной речи информанта встречается: *маленько, вона* (вон), *тута, паска, грыжовник*[7]. Вместе с тем Нюша знает доволь-

но много слов, связанных с медициной (часто болеет и лежит в больницах): *ренген, рецепт, сасуды, переносица, лекартва.* Некоторые устойчивые сочетания употребляет без опорного существительного: *поджелудочная* (железа), *желчной* (пузырь); *скорая* (помощь).

Слово *телевизер* произносит с мягким **з**; такое произношение широко распространено в просторечии.

Женщину, прикрепленную к ней из райсобеса для помощи, называет *моя кормилица*; в другом письме — *моя опекунша.*

Лексика письма не лишена выразительности: *выкорапковаися* из больниц (ср. нейтр. выписывайся, уходи), *хвастаются* по телевизер (нейтр. говорят, рассказывают).

* * *

Очевидно, что одно письмо не может дать материал для сколько-нибудь широкой характеристики частной переписки просторечно говорящих. Такое письмо содержит скорее материал для проблемы «язык и личность», актуальной для современной лингвистики (см., напр., сб.: Язык и личность, 1989; Караулов, 1987). Вместе с тем даже письмо одного автора позволяет поставить целый ряд важных вопросов, например, такие: Сколь типично для носителей просторечия не использовать буквы **й**, **э**, **ь**, **щ**? Не пользоваться заглавными буквами? Обходиться без знаков препинания?

Какие из явлений, отмеченных в нашем письме, можно считать чертами общерусского просторечия, а какие отражают индивидуальные особенности?

Однако основная цель этой краткой статьи состояла в том, чтобы привлечь внимание лингвистов к частной переписке носителей просторечия, как интересному ценному материалу. Рассмотренное письмо лишний раз убеждает нас в том, что носители просторечия не меняют «регистры», переходя от устной формы речи к письменной[8]. Просторечие — специфическая формация некодифицированного русского языка, отличающаяся и от литературной разговорной речи, и от речи диалектной. В какой мере типично письмо Нюши, покажет лишь сравнение с большим массивом просторечных писем. Собирать их и анализировать — интересная и достойная задача, важная не только для изучения некодифицированных разновидностей русского языка, но и для изучения истории русского быта и культуры.

Примечания

[1] Особенности городского просторечия, основанные на записях устной речи, анализируются в кн. (Городское просторечие, 1984). О термине «городское просторечие» и его противопоставлении «просторечию стилистическому» см. в этой же книге.

[2] Возможно, что эту часть письма надо членить и, соответственно, понимать иначе: 1) «*Лекарство* (в форме женск. р.) *дорогая*. Вот выписала врач рецепт...» Я считаю более вероятным прочтение, данное выше, так как глагол *хвастают* вряд ли предполагает указание, что лекарство стоит дорого. Да и вообще при рекламе лекарств по ТВ, как правило, цены не упоминаются. 2) После высказывания о «хвастовстве телевизора» пауза, а далее начинается новая мысль: «*Лекарство дорогая*», стоит 5 тысяч.

[3] Я считаю, что отсутствие **ь** в этом слове также не свидетельствует о твердости **в**: 1) я не слышала подобного произношения в речи Нюши; 2) для места рождения и проживания информанта произношение слова *кровь* с твердым конечным согласным не характерно.

[4] Если принять то понимание текста письма, которое дано в сноске выше, то надо указать, что слово *лекартво* употребляется в форме женского рода.

[5] Такое написание — дополнительное свидетельство того, что части типа *рай* (от *районный*) можно рассматривать как аналитические прилагательные.

[6] Сюжетная линия «язва желудка» ассоциативно порождена упоминанием адресата о его болезни и тем, что язва желудка была у мужа племянницы.

[7] Я сознаю некоторую условность рассмотрения слов *паска*, *грыжовник* в разделе «Лексика». Их можно было бы рассматривать и в разделе «Фонетика отдельных слов».

[8] Употребляя термин «письменная речь», я имею в виду именно форму речи. Отмечу, что в пределах литературного языка, как мы писали ранее, разговорный язык функционирует преимущественно в устной форме, но может обнаруживаться и в некоторых письменных жанрах. К ним относится частная переписка. Однако в литературном языке форма речи (устная / письменная) влечет за собой некоторые различия между устным разговорным языком и его реализацией в частных письмах.

Литература

Арциховский, Тихомиров, 1953 — *А. В. Арциховский, М. В. Тихомиров*. Новгородские грамоты на бересте. М., 1953.

Городское просторечие, 1984 — Городское просторечие. Проблемы изучения. М., 1984.

Земская, в печати — *Е. А. Земская.* Просторечие и жаргон в языке русского города 90-х годов XX столетия // Wielkie miasto: czynniki integrujące i desintegrujące. Łódź (в печати).

Караулов, 1987 — *Ю. Н. Караулов.* Русский язык и языковая личность. М., 1987.

Китайгородская, 1990 — *М. В. Китайгородская.* Носитель городского просторечия как языковая личность // Problems of sociolinguistics, 1. Sofia, 1990, s. 222–228.

Толстой, 1991 — *Н. И. Толстой.* Язык и культура (некоторые проблемы славянской лингвистики) // Русский язык и современность, проблемы и перспективы развития русистики. М., 1991, ч. 1, с. 6–22.

Язык и личность, 1989 — Язык и личность / Отв. ред. Д. Н. Шмелев. М., 1989.

Янин, Зализняк 1986 — *В. Л. Янин, А. А. Зализняк.* Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1977–1983 годов. М., 1986.

А. А. Кибрик

Язык не так нелеп, как кажется
(лично-числовое глагольное согласование в сванском языке)

> Не подтвердилось представление о берестяных грамотах как о малограмотных (в своей массе) документах <...> При анализе берестяных грамот оказывается необходимым тот же «уважительный» подход к тексту, что и для памятников книжной письменности <...> Напротив, поспешное обвинение писавшего в описках, неумелости и малограмотности лишь открывает дорогу произвольным прочтениям.
>
> (Зализняк 1986:217)

> Основная задача, которую должно решать описание русской акцентной системы, состоит, очевидно, в том, чтобы тем или иным способом указать для каждой русской словоформы ее акцентуацию. Наиболее прямолинейное решение здесь — списочное <...> Понятно, однако, что списочные решения, с одной стороны, чрезвычайно громоздки, с другой стороны, не обладают достаточной «объяснительной силой» <...> Отсюда необходимость в построении <...> более компактного и более обобщенного описания акцентуации.
>
> (Зализняк 1985:9)

Читая лекции студентам Отделения структурной и прикладной лингвистики о древних языках, Андрей Анатольевич Зализняк часто говорил об искушениях, преследующих лингвистов при анализе старых текстов. В этих текстах нередко встречаются «темные» места, которые проще всего списать на темноту самих писцов: мол, жили они в темное время, были едва грамотны, и вообще не всегда сами хорошо понимали, что хотели сказать. Во всех подобных случаях А. А. Зализняк придерживался принципа презумпции невиновности автора текста: если нам что-то непо-

нятно, то это почти наверняка именно наше недопонимание (лексики или морфологии языка, культурной среды и т. д.). Гипотеза об ошибке автора текста должна быть последней гипотезой, рассматриваемой исследователем. Результатом этого подхода часто оказывались удивительно интересные открытия в области графической системы, языка или культуры, которые в противном случае не были бы возможны.

Представляется, что тот же принцип может быть применен и к описанию языка как такового. Излюбленный тезис лингвистов XX века — произвольность языка. Иными словами, от языка можно ожидать любой нелепости, и удивляться этому не следует. В настоящем очерке принят прямо противоположный подход, который можно назвать функциональным. В норме языковые явления объяснимы на основе тех функций, которым они служат. Если что-то в языковой форме представляется нам нелепым, случайным или сверхсложным, то дело скорее всего в несовершенстве нашего научного аппарата, а не в самом объекте исследования. Гипотеза о немотивированности языковой формы должна быть последней гипотезой, рассматриваемой лингвистом.

1. Сванский язык

Сванский язык относится к картвельской языковой семье, на нем говорит около 35 тысяч человек, главным образом в горных районах Западной Грузии. Данная работа основана на материале верхнебальского диалекта сванского языка*. Как и грузинский, сванский язык известен среди типологов своим удивительно сложно устроенным морфосинтаксисом. Достаточно упомянуть, что в сванском языке есть целый набор морфологических средств, кодирующих актантную структуру предикации, включая именные падежи, глагольное согласование, категорию «характерных гласных» в глаголе и нек. др. Среди перечисленных средств наиболее

* Данный очерк основывается на полевой работе автора, проведенной в селении Чолаш Местийского р-на Грузии в 1989 г. в составе экспедиции МГУ, а также позднее в Ленинграде и Тбилиси. Я выражаю искреннюю благодарность всем информантам, которые помогли собрать представленный здесь материал, в особенности Нани Гуджеджиани. Я также очень признателен Я. Г. Тестельцу за неоднократные и полезные обсуждения рассматриваемых здесь вопросов. Разумеется, за предлагаемые трактовки никто, кроме автора, ответственности не несет.

знаменито первое. Как и в грузинском, в сванском языке имеется «расщепленное падежное маркирование». Так, во временах серии аориста используется активная конструкция предложения, во временах серии презенса — аккузативная, во временах серии перфекта — «инверсивная», или «аффективная» (последний термин объясняется тем, что данная конструкция является основной для аффективных глаголов типа 'быть больно', 'любить', 'бояться' и т. п.). Иными словами, глаголы могут иметь различную модель управления в зависимости от грамматического времени.

В настоящем очерке, однако, в центре внимания другая система кодирования актантной стуктуры — глагольное согласование, которая также устроена достаточно сложно, а в существующих описаниях выглядит сверхсложно и немотивированно. Мы попытаемся предложить более простое и объяснительное описание. При этом мы сосредоточимся на парадигматических вопросах согласовательной морфологии, полностью отвлекаясь от позиционной структуры словоформы и от морфонологии.

2. Трактовки сванского лично-числового глагольного согласования

Сванский финитный глагол может согласоваться со своим субъектом и/или объектом по лицу и числу. Сразу необходимо оговориться, что по ряду причин применимость синтаксических статусов подлежащего и дополнений к сванскому языку неочевидна. (См. различные трактовки картвельского синтаксиса в Климов 1977, Harris 1981.) Этот вопрос чрезвычайно важен для адекватного описания картвельского синтаксиса, но не централен для данной работы. Поэтому здесь мы просто избегаем терминов «подлежащее» и «дополнение» и используем условные ярлыки «субъект» и «объект». Субъектом мы будем называть именную группу в «нарративном» (эргативном) падеже, если такая именная группа есть; если таковой нет — именную группу в номинативе. Второй актант двухместного глагола именуется объектом.

В первом приближении, для согласовательного оформления сванского глагола существенны четыре параметра: лицо субъекта, число субъекта, лицо объекта, число объекта. Одноместные глаголы согласуются только со своим единственным актантом, который может быть как субъектом, так и объектом. Ниже мы сосредоточимся только на согласовании более чем одноместных глаголов

(для простоты будем называть их двухместными). Согласовательная модель одноместных глаголов будет тривиально следовать из описания двухместных глаголов.

Глагольная словоформа имеет две согласовательные морфологические позиции: префиксальную и суффиксальную. Эти две позиции иногда описываются в литературе как одна циркумфиксная согласовательная позиция, иногда — как две раздельные. Первый вариант представлен, например, в работах В. Т. Топуриа (1967, 1985). Приведем, в несколько упрощенном виде, таблицу аффиксов из Топуриа 1985: 121–122. (Префиксы ниже везде обозначаются как «a-», суффиксы как «-b», циркумфиксы как «a-b».)

Таблица 1. Сванские согласовательные маркеры по Топуриа

	Показатели субъектного лица и числа		**Показатели объектного лица и числа**	
	Ед.ч.	**Мн.ч.**	**Ед.ч.**	**Мн.ч.**
1 л.	xw-	инкл. l-d экскл. xw-d	m-	инкл. gw- экскл. n-
2 л.	x-	x-d	ǯ-	ǯ-x
3 л.	ø-	ø-x	пр. об. ø- косв. об. x-	пр. об. ø- косв. об. x-x

Как видим, в сванском языке различаются инклюзивное и эксклюзивное 1-е лицо мн. числа (о генезисе этого противопоставления см. Дондуа 1939/1975). Префиксы согласования с объектом 3-го лица различны в зависимости от того, прямой это объект (как правило, пациенс) или косвенный (не-пациенс). В трактовке Топуриа циркумфиксами являются все показатели согласования с субъектом мн. числа и часть показателей согласования с объектом мн. числа.

«Циркумфиксный» подход проведен полностью последовательно в рукописном очерке Я. Г. Тестельца (1989:8). В этой работе согласовательные маркеры представлены следующим образом.

Таблица 2. Сванские согласовательные маркеры по Тестельцу

	Показатели субъектного лица и числа		**Показатели объектного лица и числа**	
	Ед.ч.	**Мн.ч.**	**Ед.ч.**	**Ми.ч.**
1 л.	xw-ø	инкл. l-d экскл. xw-d	m-ø	инкл. gw-ø экскл. n-ø
2 л.	x-ø	x-d	ǯ- ø	ǯ-x
3 л.	ø-ø	ø-x	пр. об. ø-ø косв. об. x-ø	пр. об. ø-x косв. об. x-x

При последовательном проведении «циркумфиксного» принципа сванское согласование предстает как типично флективная система, в которой сложные формальные единицы имеют сложное значение и вычленение более элементарных единиц с определенным значением невозможно. Циркумфиксы обозначают одновременно и лицо, и число, и, более того, в циркумфиксах субъектного и объектного согласования обнаруживаются идентичные субморфы (особенно -x).

В грамматике Ч. Гуджеджиани и М. Палмайтиса (Gudjedjiani and Palmaitis 1986:53–54) представлен иной подход: согласовательным префиксам и суффиксам приписываются раздельные функции: префиксы кодируют лицо (и отчасти число), суффиксы — число (и отчасти лицо). Эта трактовка может быть представлена следующим образом.

Таблица 3. Сванские согласовательные маркеры по Гуджеджиани и Палмайтису

Показатели лица субъекта		**Показатели лица объекта**		**Показатели числа субъекта**	
1 л. ед. ч.,		1 л. ед. ч.	m-	Мн. ч. 1, 2 л.	-d
мн. ч. экскл.	xw-	мн. ч. экскл.	n-	3 л.	-x
мн. ч. инкл.	l-	мн. ч. инкл.	gw-		
2 л.	x-	2 л.	ǯ-		
3 л.	ø	3 л.	--		

В этой трактовке сванские согласователи выглядят более агглютинативно: префиксы имеют одни значения, суффиксы — другие. Конечно, данная система не может считаться агглютинативной в классическом смысле, так как в категории лица в подчиненном виде представлено число, а в категории числа, опять же в подчиненном виде — лицо. Описание Гуджеджиани и Палмайтиса позволяет представить сванское согласование более простым способом, но обходит некоторые сложности, которые учтены в более прямолинейном «циркумфиксном» описании.

3. Является ли сванский глагол полиперсонным?

Традиционно картвельский глагол считается полиперсонным, то есть включающим маркеры не одного лишь актанта (как в русском языке, где глагол согласуется только с подлежащим), а нескольких. Это действительно так: нетрудно найти случай, когда, например, согласовательный префикс указывает лицо объекта, а суффикс — число (и отчасти лицо) субъекта. Но сванский язык отнюдь не является полиперсонным в таком смысле, как, например, абхазский, где глагол одновременно может содержать маркеры лиц и ролей четырех партиципантов (см., например, Кибрик 1993). В сванском глаголе есть ровно одна префиксальная согласовательная позиция (которая иногда не представлена по морфонологическим причинам) и ровно одна суффиксальная согласовательная позиция. Суффиксальное согласование в большей степени зависит от субъекта (см. ниже), а в префиксальной позиции в каждом случае **должен быть выбран** либо субъектный, либо объектный маркер.

Каким образом осуществляется этот выбор? Этот вопрос является центральным для описания сванского согласования. Если мы не знаем правил выбора между субъектным и объектным показателем, сами парадигматические списки для предсказания конкретных словоформ не дают ничего. Тем не менее, обычно этот вопрос либо избегается вообще (Топуриа 1967, 1985), либо на него дается лишь косвенный ответ; так, в Gudjedjiani and Palmaitis 1986:54–55 приводится парадигма глагола 'убивать', из которой можно частично понять, какие показатели выбираются при конкретных сочетаниях лиц-чисел субъекта и объекта. Единственная (в известной мне литературе) эксплицитная формулировка правил выбора содержится в очерке Я. Г. Тестельца: «Если объект 1 или 2

лица, то префикс согласуется с ним. Если объект 3 лица, то префикс согласуется с 1 или 2 лицом субъекта. Если же субъект при этом 3 лица, то выбирается префикс 3 лица объекта» (Тестелец 1989:8–9). Как видим, правило выбора выглядит весьма сложным. Правило выбора суффиксальной части (Тестелец 1989:9) организовано еще сложнее.

4. Предлагаемая трактовка

4.1. **Предварительные замечания**. В данном разделе мы собираемся предложить описание сванского согласования, которое в части перечня показателей будет не сложнее описания в Gudjedjiani and Palmaitis 1986, и при этом должно будет эксплицитно описать все имеющиеся факты. Первым шагом к упрощению будет сведение всех вышеперечисленных фактов в одну таблицу. В этой таблице должна содержаться и информация обо всех согласовательных показателях, и информация о конкретных выборах префиксов и суффиксов при всех возможных сочетаниях лиц и чисел субъекта и объекта.

Таблица 4. Комбинации лиц субъекта и объекта: выбор согласовательных показателей

Субъект \ Объект		1 л.			2 л.		3 л.	
		меня	**нас (экскл.)**	**нас (инкл.)**	**тебя**	**вас**	**его/их**	**ему/им**
1 л.	**я**				ʒ-ø		xw-ø	
	мы (экскл.)				ʒ-d		xw-d	
	мы (инкл.)						1-d	
2 л.	**ты**	m-ø	n-ø				x-ø	
	вы	m-d	n-d				x-d	
3 л.	**он**	m-ø	n-ø	gw-ø	ʒ-ø		ø-ø	x-ø
	они	m-x	n-x	gw-x	ʒ-x		ø-x	x-x

Вот некоторые примеры словоформ, содержащих соответствующие согласовательные показатели:

(1) a. ʒ-abrä:li-ø 'я тебя/вас мою; он тебя моет'

b. m-abrä:li-d 'вы меня моете'

c. ø- abrä:li-x 'они его моют'

Таблица 4, будучи вполне информативной, не может нас устроить как описательное решение, поскольку является слишком громоздкой и недостаточно объяснительной (см. второй эпиграф к данному очерку). Упрощенное описание сванского глагольного лично-числового согласования состоит из двух компонентов: списка согласовательных аффиксов и правил выбора личного префикса.

4.2. **Состав согласовательных показателей.** В нижеследующей таблице 5 сведены все согласовательные показатели. Категорию, которую кодируют префиксы, точнее считать не смесью лица, числа и инклюзивности/эксклюзивности, как это обычно делается, а единой категорией лица, в которой противопоставляются четыре (а не три) категориальных элемента: 1, 2, 1 + 2 и 3 (не-1 и не-2). Такого рода личные системы — не редкость в языках мира (см. Wiesemann 1986). О числовом противопоставлении можно говорить только в 1-м лице объекта. (Строго говоря, это тоже категория не числа, а **состава**, т. к. категория числа предполагает последовательную корреляцию во всех лицах; в сванском же языке 1-е лицо объекта может быть представлено в минимальном составе [только говорящий] и в неминимальном [говорящий плюс кто-либо еще, исключая адресата]).

Напротив, суффиксы явно выражают синкретическую категорию число-лицо. Характер лица здесь совсем иной, нежели в префиксах. В субъектных суффиксах противопоставляются лицо коммуниканта vs. лицо не-коммуниканта, а в объектных — 1-е лицо (включая 1 + 2) vs. не-1-е.

Таблица 5. Парадигматика согласовательных показателей сванского глагола

Префиксы лица субъекта		**Префиксы лица объекта**		**Суффиксы числа-лица субъекта**			**Суффикс числа-лица объекта**		
1	ẋw-	1 ед. ч.	m-	Ед. ч.		-ø	Мн. ч.	2/3	-x
		мн. ч.	n-	Мн. ч.	1/2	-d			
1 + 2	l-	1 + 2	gw-		3	-x			
2	x-	2	ǯ-						
3	ø-	3 пр. об.	ø-						
		непр. об.	x-						

Специально следует подчеркнуть, что постулировать суффикс 2-го лица мн. числа объекта -x совершенно необходимо. Иначе невозможно объяснить сочетание аффиксов ǯ-x при 3-м лице ед. числа субъекта и 2-м лице мн. числа объекта ('он вас') — главную «хитрость» согласовательной алгебры, представленной в таблице 4. Если не постулировать объектного суффикса 2-го лица, то в этой клетке таблицы ожидалось бы сочетание ǯ-ø. Ср. пример:

(2) ǯ-abrä:li-x 'они тебя/вас моют; он вас моет'

Не отраженные в таблице 4 особенности спряжения одноместных глаголов с (непрямым) дополнением, например, экспериенциальных глаголов вынуждают распространить объектный суффикс мн. числа и на 3-е лицо. В таких глаголах суффикс -x используется для противопоставления числовых форм не только во 2-м лице (как в двухместных глаголах), но и в 3-м. Ср.:

(3) a. ǯ-ist'u:ni — 'тебе больно'
2/Об-больно

b. ǯ-ist'u:ni-x — 'вам больно'
2/Об-больно-2Мн/Об

c. x-ost'u:ni — 'ему больно'
3/НепрОб-больно

d. x-ost'u:ni-x — 'им больно'
3/НепрОб-больно-3Мн/Об

4.3. **Правила выбора показателей**. Как уже говорилось, в двухместных глаголах на одну морфологическую позицию как правило претендуют два показателя — субъектный и объектный. В сванском языке мы наблюдаем типологически интересную ситуацию: заполнение согласовательной позиции зависит не от одного постоянного контролера, а от двух конкурирующих контролеров. Как разрешается этот конфликт?

Правила выбора личных аффиксов базируются на принципе иерархии, осознанном в лингвистической типологии в 70-е годы (см. в первую очередь Silverstein 1976). Иерархия личности в сванском языке устроена следующим простым образом: 1, 2 > 3. Иными словами, 1-е и 2-е лица равны по рангу между собой и превосходят 3-е лицо. (Заметим, что в этой иерархии зафиксировано то же противопоставление лица коммуниканта лицу не-коммуниканта, что и в суффиксальном согласовании по числу-лицу субъекта.)

Правило выбора личного префикса содержится в следующей таблице.

Таблица 6. Правило выбора согласовательного префикса

Соотношение между субъектом (Сб) и объектом (Об) по иерархии личности	Контролер согласования
Сб ≤ Об	Об
Сб > Об	Сб

Иначе говоря, префиксальное согласование контролируется субъектом лишь тогда, когда субъект превосходит объект по иерархии личности (т. е. субъект обозначает коммуниканта, а объект — нет). В прочих случаях преимуществом пользуется объект. На некотором более абстрактном уровне можно утверждать, что предпочтение объекта субъекту и предпочтение лица коммуниканта лицу не-коммуниканта — это проявление одного и того же общего принципа: предпочтение более ядерного члена оппозиции. В одном случае это семантически более ядерный актант, более вовлеченный в ситуацию и теснее связанный с глаголом (это верно по крайней мере для прямого объекта; см. Тестелец 1984); в другом случае это коммуникативно более ядерный актант.

Существует еще одна альтернативная (логически эквивалентная) формулировка правила выбора:

Таблица 7. Альтернативная формулировка правила выбора согласовательного префикса

Соотношение между субъектом (Сб) и объектом (Об) по иерархии личности	Контролер согласования
Сб ≠ Об	актант 1-го или 2-го лица
Сб = Об	Об

Правило выбора согласовательного суффикса содержится в следующей таблице.

Таблица 8. Правило выбора согласовательного суффикса

Соотношение между субъектом (Сб) и объектом (Об) по иерархии личности	Контролер согласования
Сб ≥ Об	Сб
Сб <Об	Об

Таким образом, в отличие от префикса, при выборе суффикса приоритетом пользуется субъект. Подчеркнем логическую необходимость асимметрии парадигм субъектных и объектных суффиксов в таблице 5: если в субъектной парадигме постулируется нулевой суффикс (ед. числа), то объектная парадигма вообще дефектна, состоит лишь из одного элемента и не включает нулевых морфем. Иначе объяснить все факты, содержащиеся в таблице 4, было бы невозможно.

Особого комментария заслуживает омонимия суффиксов 3-го лица мн. числа субъекта ('они') и 2/3-го лица мн. числа объекта ('вас/их'): в обоих случаях имеет место суффикс -х (см. таблицу 5). Случайность это или своего рода полисемия? Дело в том, что именно данный факт вынуждал авторов прибегать к циркумфиксной трактовке согласования, а нас заставил ввести отдельную (дефектную) парадигму объектных суффиксов.

Можно предположить, что суффикс -х стремится к тому, чтобы быть показателем мн. числа **любого** актанта глагола. Действительно, при субъекте 3-го и объекте 2-го лица сочетание ǯ-ø употребляется лишь когда **оба** актанта — ед. числа, а сочетание ǯ-х — когда **хотя бы один** из актантов — мн. числа. (Такого рода явления известны в языках мира. Так, в языке навахо (атабаскская семья,

Сев. Америка) имеется единственная морфема-плюрализатор, которая обозначает мн. число любого из актантов; см. Young and Morgan 1987:63.) Суффикс -x приобретает функцию различения числа объекта именно при объекте 2-го и 3-го лица потому, что эти лица, в отличие от 1-го, не дифференцированы по числу. Сочетания m-ø , m-x, n-ø , n-x соответствуют каждое ровно одному сочетанию субъектного и объектного лица-числа. А сочетание ʒ-ø, не будь объектного числового суффикса -x, обозначало бы **четыре** сочетания субъектного и объектного лиц-чисел. Так асимметрия одного фрагмента системы (противопоставление по числу в 1-м лице объекта vs. отсутствие такового во 2-м лице объекта) ведет к деформации в другом фрагменте этой же системы. Данная деформация позволяет уменьшить максимальное число омонимичных сочетаний с 4 до 3.

5. Сложные случаи

В предложенном описании сванского согласования были проигнорированы два более сложных явления, о которых теперь необходимо упомянуть.

5.1. **Аффективная конструкция**. Как отмечалось выше, сванский глагол требует разных синтаксических конструкций в зависимости от грамматического времени, т. е. разного падежного оформления актантов. При переходных глаголах используются следующие падежи:

Таблица 9. Падежная кодировка актантов переходного глагола

	Аорист	**Презенс**	**Перфект**
Агенс	*«Нарратив»*	*Номинатив*	Датив
Пациенс	Номинатив	Датив	*Номинатив*

Однако тип конструкции влияет и на согласовательное оформление глагола. Приведенное выше описание согласовательной системы полностью верно лишь для времен серии аориста (активная конструкция) и времен серии презенса (аккузативная конструкция). Во временах серии перфекта используется аффективная, или инверсивная, конструкция, в которой меняются диатеза

(соответствие между семантическим ролями и статусами субъекта и объекта) и согласование по лицу. См. таблицу 9, где курсивом выделены все реализации субъекта, а прочие падежные формы соответствуют объекту. В предложениях с переходным глаголом в перфекте или с аффективным глаголом субъектом оказывается пациенс (кодируется номинативом), а объектом (непрямым) — агенс (кодируется дативом); на этой основе легко предсказуемы согласовательные префиксы. Что же касается суффиксального согласования по числу-лицу, то оно «плывет»: перестает четко «распознавать» субъект и объект. Согласно данным нашей полевой работы, для аффективной конструкции таблица 4 должна быть переписана следующим образом (чтобы «прочесть» вход таблицы 10, представленной с помощью русских местоимений в соответствующих падежах, можно пользоваться русским глаголом «нравиться»).

Таблица 10. Комбинации лиц актантов: выбор согласовательных показателей в аффективной конструкции

Актант в дативе / Актант в номинативе		1 л.			2 л.		3 л.	
		мне	**нам (экскл.)**	**нам (инкл.)**	**тебе**	**вам**	**ему**	**им**
1 л.	**я**				ʒ-ø	ʒ-ø\d	xw-ø	
	мы (экскл.)				ʒ-d\ø	ʒ-d	xw-d	
	мы (инкл.)						l-d	
2 л.	**ты**	m-ø	n-ø\d				x-ø	
	вы	m-d\ø	n-d				x-d	
3 л.	**он**	m-ø	n-ø\x	gw-ø\x	ʒ-ø	ʒ-x	x-ø	x-ø\x
	они	m-x\ø	n-x\ø	gw-x\ø	ʒ-x\ø		x-x\ø	x-x

Через обратную дробь (\ ) в таблице указаны зафиксированные варианты. Хотя частота и систематичность варьирования в имеющемся корпусе данных различна для разных клеток таблицы, объем этих данных недостаточен для каких-либо определенных выводов о предпочтительности вариантов. Первым всегда указывается тот из вариантов, который ожидается в этом месте на основе экстраполяции «нормальной» модели. Следует отметить, что в аффективной конструкции у глагола может быть только непрямой объект, отсюда некоторые различия в правой части таблиц 4 и 10.

По причине ограниченности места у нас нет возможности комментировать интереснейшие сдвиги, происходящие с «нормальной» согласовательной системой под давлением особенностей аффективной конструкции. Приведем, однако, некоторые примеры, иллюстрирующие эти сдвиги.

(4) a.	mi	si	čwa-ǯ-bara:lne-ø	'Я тебя помою'
	я	ты(Дат)	Преф-2/Об-мыть:Фут-Ед/Сб	
b.	si	mi	čwa-m-bara:lne-ø	'Ты меня помоешь'
	ты	я(Дат)	Преф-1Ед/Об-мыть:Фут-Ед/Сб	
c.	mi	si	čwa-m-bara:la-ø	
	я(Дат)	ты	Преф-1Ед/Об-мыть:Перф-Ед/Сб	
	'Я тебя помыл'(букв.'Мне ты помыт')			
d.	si	mi	čwa-ǯ-bara:la-ø	
	ты(Дат)	я	Преф-2/Об-мыть:Перф-Ед/Сб	
	'Ты меня помыл'(букв. 'Тебе я помыт')			

(5) a.	mi	eǯjär-s	čwa-xw-bara:lne-ø	'Я их помою'
	я	они-Дат	Преф-1Ед/Сб-мыть:Фут-Ед/Сб	
b.	mi	eǯjär	čwa-m-bara:la-x\ø	
	я(Дат)	они	Преф-1Ед/Об-мыть:Перф-3Мн/Сб\Ед/Сб	
	'Я их помыл' (букв. 'Мне они помыты')			

5.2. **Два объекта.** Выше уже упоминалось, что в сванском языке различаются прямой и непрямой объект. Глагольная словоформа не может согласовываться одновременно с двумя объектами — для этого есть лишь одна морфологическая позиция. Если глагол имеет и прямой, и непрямой объект, преимуществом, при прочих равных условиях, обладает непрямой объект. Рассмотрим случай, когда глагол имеет не исходный, а производный (так называемый версионный) непрямой объект:

(6) a.	bebija	gezäl-s	ø-irdi	
	бабушка	сын-Дат	3/ПрОб-воспитывать	
	'Бабушка воспитывает сына'			
b.	bebija	gezäl-s	zurab-s	x-o-rdi
	бабушка	сын-Дат	Зураб-Дат	3/НепрОб-Верс-воспитывать
	'Бабушка воспитывает сына для Зураба'			

В (6b) в глаголе появляется версионный показатель 3-го лица (характерная гласная -о-), указывающий на появление непрямого дополнения. Глагол согласуется с непрямым объектом (показатель х-). Однако если прямой и непрямой объект не равны по рангу в иерархии личности, то преимуществом пользуется более высокий из них. Например:

(6)	c.	bebija	[mi]	gezäl-s	m-irdi
		бабушка	я(Дат)	сын-Дат	1Ед/Об-воспитывает

1) 'Бабушка воспитывает сына для меня'
2) 'Бабушка воспитывает меня для сына'

Глагольная словоформа mirdi омонимично передает 1-е лицо прямого (исходная характерная гласная -i-) и непрямого (характерная гласная версионного 1/2-го лица -i-) объекта. Однако ясно, что при первом переводе глагол является версионным и согласуется с непрямым объектом, а при втором переводе является неверсионным и согласуется с прямым объектом.

Таким образом, при выборе приоритетного контролера согласования среди двух объектов используется уже знакомый двойной принцип. При равных условиях предпочитается непрямой объект, при неравенстве объектов по иерархии личности (1, 2 > 3) глагол согласуется с тем объектом, который занимает более высокое положение в этой иерархии.

Мы также обнаруживаем иерархию предпочтительности контролера префиксального согласования:

(7) непрямой объект > прямой объект > субъект

6. Заключение

В данной работе мы рассмотрели трактовки сванского глагольного лично-числового согласования, предлагавшиеся ранее в литературе, и предложили альтернативную трактовку. Представляется, что предложенное описание, состоящее из двух достаточно простых компонентов — списка согласовательных морфем (таблица 5) и правил выбора (таблицы 6 и 8) — позволяет взглянуть на лично-числовое согласование сванского глагола по-новому: как на достаточно простую и мотивированную систему, а не как на странно-нелепый набор идиосинкратических фактов. Несомненно, сванское глагольное согласование не предстает столь же простым, как, например, английское, но хаотическим или непредсказуемым оно также более не кажется.

Библиография

Дондуа 1939/1975 — *К. Д. Дондуа.* Категория инклюзива-эксклюзива в сванском и ее следы в древнегрузинском // *К. Д. Дондуа.* Статьи по общему и кавказскому языкознанию. М., 1975, с. 79–94.

Зализняк 1985 — *А. А. Зализняк.* От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

Зализняк 1986 — *А. А. Зализняк.* Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // *В. Л. Янин, А. А. Зализняк.* Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1977–1983 гг. М., 1986, с. 89–219.

Кибрик 1993 — *А. А. Кибрик.* Полисинтетический глагол, адресат, комплетив и версия в абхазском языке //Тезисы первой конференции по теоретической лингвистике (РГГУ). М., 1993, с. 61–63.

Климов 1977 — *Г. А. Климов.* Типология языков активного строя. М., 1997.

Тестелец 1984 — *Я. Г. Тестелец.* Объектная версия в картвельских языках. — Лингвистические исследования. Типология. Диалектология. Этимология. Компаративистика. М., 1984, с. 130–140.

Тестелец 1989 — *Я. Г. Тестелец.* Сванский язык (верхнебальский диалект). Неопубл. рукопись, материалы к сванской экспедиции МГУ 1989 г.

Топуриа 1967 — *В. Т. Топуриа.* Сванский язык //Языки народов СССР. Т.IV: Иберийско-кавказские языки. М., 1967, с. 77–94.

Топуриа 1985 — *В. Т. Топуриа.* Сванский язык //Ежегодник иберийско-кавказского языкознания, XII. Тбилиси, 1985, с. 100–148.

Gudjedjiani and Palmaitis 1986. *Chato Gudjedjiani, Mykolas Palmaitis.* Upper Svan: Grammar and texts. Vilnius, 1986.

Harris 1981 — *Alice Harris.* Georgian syntax: A study in relational grammar. Cambridge, 1981.

Silverstein 1976 — *Michael Silverstein.* Hierarchy of features and ergativity // R.M.W. Dixon (ed.) Grammatical categories in Australian languages. Canberra, 1976, p. 112–171.

Wiesemann 1986 — *Ursula Wiesemann* (ed.). Pronominal systems. Tübingen, 1986.

Young–Morgan 1987 — *Robert Young, William Morgan.* The Navajo Language. Albuquerque, 1987.

А. Е. Кибрик

Связанные употребления лексемы сам
(Системно-когнитивный анализ)*

Русское словечко *сам* в различных своих формах пестрит в текстах, выполняя важные текстообразующие функции, истинный смысл которых, однако, остается во многом загадочным. Ниже я попытаюсь в какой-то мере прояснить значение некоторых употреблений этой лексемы.

Множество контекстов лексемы *сам* можно разбить на два больших класса:

а) первичные контексты, где *сам* выступает как достаточно автономная словесная единица (*сам* независимое), и б) вторичные контексты, где *сам* находится в некотором фиксированном окружении, образуя с ним единую устойчивую конструкцию (*сам* связанное).

В фокусе внимания настоящей статьи находятся связанные употребления лексемы *сам*, а именно: в возвратной конструкции (где *сам* добавляется к возвратному местоимению) и в сложных словах (где *сам* является одним из словообразующих корневых элементов). Первый тип связанного употребления будем называть **составным рефлексивом**, а второй — **инкорпорацией** (лексемы *сам*).

Естественно ожидать, что вторичные контексты семантически производны от первичных, поэтому необходимо хотя бы вкратце перечислить базовые значения независимого *сам*, из которых я исхожу в данной работе (подробнее см. Кибрик–Богданова 1995а, б).

---

* Работа выполнена при поддержке РФФИ, код 93-06-10940.

1. *Сам* независимое

Из независимых контекстов наиболее ядерным является приименное употребление *сам*. Выделяется два базовых значения лексемы *сам* в препозитивной позиции (перед вершинным именем) и три — в постпозитивной. Эти значения дополнительно различаются просодическими (акцентными) характеристиками лексемы *сам*.

1.1. Препозитивное *сам*

Препозитивные значения иллюстрируются примерами (ударное *сам* помечается восклицательным знаком, безударное — знаком ^):

(1) Петров пошел с друзьями в ресторан. Его друзья были уже навеселе и решили добавить еще. Они заказали по сто грамм. !*Сам* Петров обычно не пьет, но тут и он не удержался.
(2) Как все вчера гуляли! ^*Сам* Петров напился.

В примере (1) представлено дискурсивное значение лексемы *сам*, ниже называемое **самДИСК**, которое толкуется в координатах речевого акта:

<Состояние дискурсивных ожиданий адресата: 'Текущим топиком дискурса скорее всего является *Y*'> + < Инструкция адресату о коррекции дискурсивных ожиданий: 'Верни на роль топика гипертему — *X*'>

в (2) — значение неожидаемой информации, называемое **самНЕОЖ**, имеющее толкование:

<Состояние ожиданий адресата: '*X* имеет такую оценочную характеристику МАКС, что его участие в событии *P* не ожидается'> + <Инструкция адресату о коррекции ожиданий: 'Событие *P* имеет место при участии *X*-а'>

1.2. Постпозитивное *сам*

Базовые **постпозитивные значения** следующие:

(3) Министр !!*сам* поехал на переговоры.

В (3) *сам* имеет на себе особый контрастивный акцент (обозначается двумя восклицательными знаками) и контрастивное значение **самКОНТР**:

<Состояние ожиданий адресата: '*X* входит в число потенциальных кандидатов на роль участника ситуации *P*, но является среди них наименее правдоподобным'> + <Инструкция адресату о коррекции ожиданий: 'Именно *X* и только он является участником события *P*'>

(4) — Зачем ты напоил Петрова?
— Петров !!*сам* тогда напился.

В (4) *сам* не отличается от от предыдущего примера по акценту, но имеет особое значение **самСАМОСТ** (*сам* самостоятельное):

<Состояние ожиданий адресата: 'Без внешней каузации или помощи *X* скорее всего не станет участником события *P*'> + <Инструкция адресату о коррекции ожиданий: '*X* и только *X* является контролером и участником события *P*'>

Наконец, выделяется значение, при котором *сам* имеет противопоставительный акцент (помечается восклицательным знаком):

(5) — Может, Петров знает, что произошло той ночью?
— Петров !*сам* тогда напился.

Это значение будем называть **самДОБ** (*сам* добавляющее):

<Состояние ожиданий адресата: 'Имеется несколько потенциальных участников (с ролью *i*) ситуации *P*; из знаний адресата о свойствах *X*-а следует, что *X* не является участником (с ролью *i*) ситуации *P*'> + <Инструкция адресату о коррекции ожиданий: '*X* входит в множество участников *P*'>

После этой вступительной информации перейдем к основной проблематике данной статьи.

2. Составные рефлексивы с лексемой *сам*

Кореферентность в составе одной пропозиции имеет продуктивный способ выражения, называемый обычно рефлексивизацией. При рефлексивизации одна из кореферентных именных групп заменяется на возвратное местоимение. (Контролером рефлексивизации обычно является подлежащее):

(6) *Он* с отвращением посмотрел *на себя* в зеркало.

Однако в русском языке довольно часто возвратное местоимение сопровождается лексемой *сам*. При этом возможны по крайней мере три конструкции: а) лексема *сам* копирует падеж вершины именной группы, в которую она входит (т. е. падеж возвратного местоимения) и стоит к нему в препозиции (тип САМОГО СЕБЯ, с согласуемым *сам*); б) *сам* копирует падеж возвратного местоимения и стоит к нему в постпозиции (тип СЕБЯ САМОГО, с согласуемым *сам*); в) *сам* копирует падеж контролера рефлексивизации (обычно, хотя далеко не всегда, именительный; тип САМ СЕБЯ, с несогласуемым *сам*):

(7) а. Он надеется *на самого себя*; Ему остается надеяться *на самого себя*.

б. Он надеется *на себя самого*; Ему остается надеяться *на себя самого*.

в. Он надеется *сам на себя*; Ему остается надеяться *самому на себя*.

Во всех этих случаях *сам* не образует единой именной группы с контролером рефлексивизации, в отличие от конструкций типа:

(8) а. [Петров !!*сам*] иногда критикует *себя*.

б. [^*Сам* Петров] иногда критикует себя.

Случаи типа (8) ниже не рассматриваются, так как в этом случае *сам* употребляется как *сам* независимое (в (8а) реализуется, скорее всего, значение самКОНТР, в (8б) — самНЕОЖ).

В связи с употреблениями типа (6), (7а-в) встает естественный вопрос: каковы функции этих конструкций в русском языке? Чем отличаются составные рефлексивы в (7а-в) от простой возвратной конструкции в (6) и друг от друга? Я исхожу из предположения, что ответ надо искать в особенностях независимого употребления лексемы *сам*.

2.1. Согласуемое *сам* в составном рефлексиве

Тип САМОГО СЕБЯ структурно коррелирует с препозитивным *сам*. Более того, по акцентной характеристике (безударность) он наиболее близок с самНЕОЖ. Тип СЕБЯ САМОГО порядком слов аналогичен постпозитивному *сам*, а по акцентной характеристике (ударность) обычно наиболее близок к самДОБ. Имея это в виду, сравним предложения:

(9) а. Познай ^*самого себя.*
б. ? Познай *себя* !*самого.*
в. ? Познай *себя.*
г. Познай *себя*, и ты познаешь весь мир.

(9а) с препозитивным *сам* наиболее идиоматично, (9б) с постпозитивным *сам*, наоборот, выглядит неестественным. Вывод конструкции САМОГО СЕБЯ из самНЕОЖ (также выражаемого препозицией к вершине) вполне соответствует семантической интерпретации (9а): акт познания в норме направлен на окружающий субъекта мир, и рефлексия, к которой призывает автор высказывания, является для адресата неожидаемой.

Напротив, сомнительность предложения (9б) вне специального контекста объяснима при соотнесении конструкции СЕБЯ САМОГО со значением самДОБ (также выражаемого постпозитивным *сам*), т. к. самДОБ означало бы лишь, что ко всем потенциальным объектам акта познания адресат должен добавить себя.

Также не случайно, что странно выглядит предложение (9в), т. к. экстраординарность (для адресата) его пропозициональной семантики не маркирована, т. е. подается как норма. Интересно, что в (9г) то же выражение *Познай себя* вполне нормально, т. к. здесь оно представлено в контексте гипотетической модальности (в отличие от императива в (9в)), нейтрализующей экстраординарность его семантики.

Кажется, что самДИСК не может быть исходным для конструкции САМОГО СЕБЯ.

Итак, САМОГО СЕБЯ восходит к самНЕОЖ, а СЕБЯ САМОГО наследует значение постпозитивного самДОБ. Рассмотрим позитивный языковой материал на второй случай.

(10) Унижая своего противника, на самом деле ты не уважаешь *себя* !*самого*.

В (10) из презумпции истинности высказывания *Ты унижаешь своего противника* следует, что адресат его не уважает. Далее, исходя из обычного положения вещей, говорящий предполагает, что адресат не включает себя в число людей, которых он не уважает. Утверждается же добавление адресата к этому множеству в случае унижения им своего противника.

Следует отметить статистическое неравноправие конструкций САМОГО СЕБЯ и СЕБЯ САМОГО: последняя из них встречается в текстах значительно реже, чем первая.

Может ли тип СЕБЯ САМОГО восходить к самКОНТР? Пример (11), кажется, подтверждает такую возможность.

(11) Не суди других, посмотри лучше на *себя* !!*самого*.

В этом противопоставлении адресата другим людям он контрастивно выделяется их множества потенциальных объектов ситуации «посмотреть». Примечательно, что в этом случае на *сам* имеется контрастивное ударение, характерное для самКОНТР.

Таким образом, значение согласуемого *сам* в составных рефлексивах действительно выводится из его независимых употреблений.

2.2. Несогласуемое *сам* в составном рефлексиве

Конструкция САМ СЕБЯ наиболее загадочна. Непосредственно соотнести ее с независимыми *сам* не удается. Не вполне ясна также синтаксическая природа самого *сам*: в какую составляющую оно входит? Рассмотрим пример:

(12) а. – Ты что, ^*сам себя* не уважаешь ?
б. – Ты с каких это пор ^*сам себя* не уважаешь?

В (12а) предложение начинается так называемым «именительным темы» *Ты что*, то есть топиком, вводящим денотативный центр будущего высказывания, за ним идет пропозиция, где оба аргумента глагола выражены анафорическими местоимениями. Существенно, что *сам* не имеет на себе словесного ударения и

энклитически примыкает к *себя*, т. е. просодически выделяется объект *себя*. В (12а) естественно считать, что *сам* занимает позицию подлежащего, а *себя* — прямого дополнения. (12б) синтаксически более неопределенно. Входят ли *ты* и *сам* в одну (разрывную) группу подлежащего или полежащим является только одно из этих слов? Если верно последнее, то какое из этих слов занимает позицию подлежащего и какова функция второго элемента?

Имеются косвенные свидетельства в пользу следующей трактовки конструкции САМ СЕБЯ. При кореферентности участников ситуации, выражаемой соответствующей пропозицией, т. е. в случае, когда один референт выполняет в ситуации сразу две роли, фокус эмпатии говорящего может совпадать с любой из этих ролей. Наличие фокуса эмпатии на участнике, обозначаемом подлежащим, является нейтральным и не требует никакой специальной кодировки. В этом случае объектная позиция рефлексивизуется (иногда с добавлением согласуемого *сам*). Если же фокус эмпатии находится на объектной роли референта, то его имя выносится в начальную топикальную позицию (которая в русском языке маркируется падежом подлежащего), а обе синтаксические позиции замещаются местоимениями: объектная — возвратным местоимением, а субъектная — лексемой *сам*.

При такой интерпретации *ты* в (12а-б) является топиком, маркирующим фокус эмпатии на объекте, а *сам* — подлежащим соответствующих предложений.

2.3. Фокус эмпатии в перспективе даргинской рефлексивизации

Предложенный анализ несогласуемого *сам* в составном рефлексиве находит типологическую поддержку в даргинском языке (данные взяты из диалекта сел. Ицари, см. Кибрик 1992).

Как и в вышеописанной конструкции с несогласуемым *сам*, в ицаринском диалекте рефлексивизация выражается составным рефлексивом, состоящим из двух анафорических (возвратных) местоимений, одно из которых стоит в фиксированном падеже (генитиве), а падеж (*i*) другого местоимения зависит от падежа мишени рефлексивизации, т. е. составной рефлексив имеет вид:

$$\text{ВОЗВР}_{\text{ген}} + \text{ВОЗВР}_{\text{i}}$$

Составной рефлексив имеет следующую парадигму (приводятся только формы релевантных для данного обсуждения падежей; отмечу, что даргинский язык относится к так называемым эргативным языкам, в которых отсутствует аккузатив, а особым падежом — эргативом — маркируется агенс двухместного агентивно-пациентного глагола, в то время как пациенс имеет форму номинатива):

Составной рефлексив	Падежная рамка
cin-na ca=w	ген + ном
cin-na cin-ni	ген + эрг
cin-na cin-ij	ген + дат
cin-na cin-na	ген + ген

Контролером рефлексивизации, в отличие от русского языка, может быть любой из именных актантов при двухместных глаголах со следующими падежными рамками :

'хвалить'	<*кто*:эрг, *кого*:ном>
'любить'	<*кто*:дат, *кого*:ном>
'жалеть'	<*кто*:ген, *кого*:дат>

Приведу примеры:

(13) a.	musa-l	cin-na	ca=w	gap'irq'aca=w
	Муса-**эрг**	ВОЗВР-**ген**	ВОЗВР.**ном=I**	хвалить=I
b.	musa	cin-na	cin-ni	gapirq'aca-w
	Муса.**ном**	ВОЗВР-**ген**	ВОЗВР-**эрг**	хвалить= I

Муса себя хвалит.

Денотативный смысл обоих предложений в (13) один и тот же, однако в (13а) контролером рефлексивизации является имя в эргативе (т. е. агентивный актант), а рефлексивизации подвергается пациентный актант (выражен номинативом; замечу, что в номинативе возвратное местоимение изменяется по классам, =*w* — показатель I-го, мужского класса; такой же показатель имеется в глаголе). Необычным с точки зрения русского языка в этой стратегии является возможность контроля над рефлексивизацией со стороны обеих именных групп (в русском языке контролером принудительно является подлежащее).

Кроме того, странно наличие в этих конструкциях копии возвратного местоимения в генитиве: они были бы вполне различительны и без этого элемента, т. е. с формальной точки зрения он избыточен. Падеж его не копирует морфологическую форму ни одной из кореферентных именных групп.

Аналогичные конструкции возможны и при глаголах с другими падежными рамками (тип рамки мотивирован семантикой глагола и ролями его актантов):

(14)	a.	musa-j	cin-na	ca=w	w=ičaqu
		Муса-**дат**	ВОЗВР-**ген**	ВОЗВР.**ном=I**	I=любить
	b.	musa	cin-na	cin-ij	w=ičaqu
		Муса-**ном**	ВОЗВР-**ген**	ВОЗВР-**дат**	I=любить

Муса себя любит.

(15)	a.	musa-la	cin-na	cin-ij	urk'ec'i dulqan
		Муса-**ген**	ВОЗВР-**ген**	ВОЗВР-**дат**	жалеть
	b.	musa-j	cin-na	cin-na	urk'ec'i dulqan
		Муса-**дат**	ВОЗВР-**ген**	ВОЗВР-**ген**	жалеть

Муса себя жалеет.

Итак, при глаголах с различными падежными рамками реализуется одна и та же двойственная стратегия рефлексивизации. Имеются ли какие-либо различия между двумя конструкциями? В изолированном произнесении носители языка не в состоянии их различить и склонны считать тождественными, однако в контексте сравнения между ними обнаруживается значимое различие:

(16)	a.	musa-l	caratajir	cin-na	ca=w	c'aIq'il	gap'irq'aca=w
		Муса-**эрг**	чем.другие	ВОЗВР-**ген**	ВОЗВР-**ном**	больше	хвалить=**I**

Муса хвалит больше самого себя, чем других.

	b.	musa	caratajir	cin-na	cin-ni	c'aIq'il	gap'irq'aca=w
		Муса-**ном**	чем.другие	ВОЗВР-**ген**	ВОЗВР-**эрг**	больше	хвалить=I

Муса больше сам, чем другие, хвалит себя.

(17)	b.	musa-j	caratajir	cin-na	ca=w	c'aIq'il	w=ičaqu
		Муса-**дат**	чем.другие	ВОЗВР-**ген**	ВОЗВР-**ном**	больше	I=любить

Муса любит больше самого себя, чем других.

musa	caratajir	cin-na	cin-ij	c'aIq'il	w=ičaqu
Муса-**ном**	чем.другие	ВОЗВР-**ген**	ВОЗВР-**дат**	больше	I=любить

Муса больше сам, чем другие, любит себя.

Это различие можно объяснить в терминах смены фокуса эмпатии. В вариантах (а) примеров (16–17) ситуация «хвалить»/«любить» описывается с точки зрения того, кто хвалит/любит, т. е. в фокусе эмпатии находится участник с ролью агенса/экспериенцера. Имя участника в этой роли стоит в соответствующем падеже (эргативе/дативе) в начале предложения. Кореферентный актант с другой ролью рефлексивизируется с сохранением его падежа.

Если в фокусе эмпатии находится роль пациенса/стимула, то соответствующее полное имя в нужном падеже (номинативе) выносится в начальную позицию, а рефлексивизируется позиция актанта с другой ролью.

Возвратное местоимение в генитиве во всех этих предложениях маркирует вынос полного имени из актантной позиции в позицию фокуса эмпатии (роль актанта при этом выражается в полном имени, а не в данной позиции).

Таким образом, имеется определенная аналогия между ицаринскими возвратными конструкциями и русской конструкцией САМ СЕБЯ — с фокусом эмпатии на объекте. Несимметричность же русской стратегии объясняется тем, что в нем контролер рефлексивизации (полное имя) может занимать только подлежащную позицию. Когда фокус эмпатии на субъекте, ситуация не маркирована (т. к. фокус эмпатии совпадает с подлежащим), когда же фокус эмпатии на объекте (т. е. с контролером рефлексивизации — подлежащим — не совпадает), необходимо это специально маркировать.

3. Инкорпорированное *сам*

Сложные слова, содержащие лексему *сам*, восходят к разным базовым значениям этой лексемы, поэтому их рассмотрение может дать дополнительную информацию о типах исходных структур и подтвердить или опровергнуть их анализ.

Будем различать сложные слова, образованные от возвратных конструкций (**РЕФЛ-деривация**), и слова, восходящие к независимому *сам* (**САМ-деривация**). Начнем с возвратных контекстов.

3.1. РЕФЛ-деривация

Оказывается, во-первых, что значительное количество сложных слов этого типа восходит к конструкции САМ СЕБЯ. Напри-

мер, *самоназвание* перефразируется выражением *называет сам себя*. В фокусе эмпатии описываемой этим словом ситуации находится роль объекта (того, кого называют), и неожиданным является то, что называемый и называющий — одно и то же лицо. Такую же деривацию имеют слова:

	Исходная конструкция:	Возвратная конструкция:
самоназвание	X называет Y-a	Y называет сам себя
самообслуживание	X обслуживает Y-a	Y обслуживает сам себя
самообогащение	X обогащает Y	Y обогащает сам себя
самообучение	X учит Y-a	Y учит сам себя
самоучка	X учит Y-a	Y учит сам себя
самооценка	X оценивает Y-a	Y оценивает сам себя
самоотвод	X отводит Y-a себя	Y отводит сам себя
самогипноз	X гипнотизирует Y-a	Y гипнотизирует сам себя

Во-вторых, имеются сложные слова с предрасположенностью к другой возвратной деривации, а именно восходящие к конструкции САМОГО СЕБЯ. Так, фокусом эмпатии в слове *самоуважение* является субъектная роль участника, что подтверждается нейтральным перефразом *X уважает самого себя* (восходящим к сам-НЕОЖ). Таковы слова:

	Исходная конструкция:	Возвратная конструкция:
самообожание	X обожает Y-a	X обожает самого себя
самоуважение	X уважает Y-a	X уважает самого себя
самопознание	X познает Y-a	X познает самого себя
самовнушение	X внушает Y-y	X внушает самому себе
самолюбование	X любуется Y-ом	X любуется самим собой
самодовольный	X доволен Y-ом	X доволен самим собой
самопожертвование	X жертвует Y-ом	X жертвует самим собой
самообладание	X обладает Y-ом	X обладает/владеет самим собой
самовлюбленный	X влюблен в Y-a	X влюблен в самого себя
самоотречение	X отрекается от Y-a	X отрекается от самого себя

Различие между фокусом эмпатии на объекте и субъекте проявляется, между прочим, в контексте отрицания сложных слов (на этот тест обратила внимание автора А. И. Коваль), ср. выражения:

(18) а. Годоберинцы не самоназвание, а название, данное по имени селения, где этот этнос живет.
б. Это не самообожание, а трезвая оценка своих достоинств.

В (18а), т. е. при объектном фокусе эмпатии, отрицается лишь то, что годоберинцы сами называют себя годоберинцами, а при субъектном фокусе эмпатии в (18б) отрицается факт обожания вообще. Приведу еще примеры.

Объектный фокус эмпатии:

(19) а. Здесь не самообслуживание: заказ принимает официант.
б. Петров не самоучка: он окончил художественный институт.
в. Это не самообогащение, а забота о всех членах коллектива.
г. Это не самооценка автора, а мнение нескольких рецензентов.
д. Это не самоотвод, а результат тайного голосования.
е. Это не самогипноз, а воздействие психотерапевта.

Субъектный фокус эмпатии:

(20) а. Это не самоуважение, а компрометация себя.
б. Это не самопознание, а умозрительные спекуляции.
в. Это не самовнушение, а знание реального положения дел.
г. Он не самовлюбленный ловелас, а скромный юноша.
д. Это не самоотречение/самопожертвование, а фарс.

Интересно, что фокус эмпатии на объекте характерен для прямообъектных глаголов с агентивным субъектом, а фокус эмпатии на субъекте для непереходных глаголов с экспериенциальным субъектом.

В-третьих, встречаются сложные слова с исходным значением самДОБ, т. е. восходящие к конструкции СЕБЯ САМОГО. Так, *самомнение* может быть перефразировано выражением (*высокое*) *мнение о себе самом*. Действительно, высокое самомнение *X*-а не отрицает его высокого мнения о других людях, но добавляет его к числу лиц, о которых он имеет высокое мнение. Аналогичным образом, *самозабвение* предполагает 'забвение себя и всех окружающих', как это отмечается в четырехтомном академическом толковом словаре. К этому же типу относится и *самоуверенность* (X уверен в себе самом).

В-четвертых, источником РЕФЛ-деривации может быть и возвратная конструкция, где *сам* находится в одной именной группе с субъектом: «[X САМ] Y»:

	Исходная конструкция:	Возвратная конструкция:
самоуничтожение	X уничтожает Y-а	X сам уничтожает себя
самоубийство	X убил Y-а	X сам убил себя
самоотравление	X отравил Y-а	X сам отравил себя
самосожжение	X сжег Y	X сам сжег себя
самооплодотворение	X оплодотворяет Y-а	Y сам оплодотворяет себя
самоопыление	X опыляет Y-а	Y сам опыляет себя
самосев	X посеял Y	Y сам посеял себя

В этом случае реализуется значение самКОНТР. Отмечу, что фокус эмпатии при этом находится на объекте, ср.:

(21) *Это не самоубийство, а убийство*

В (21) факт убийства Y-а не отрицается, а отрицается лишь, что это совершил *сам Y.*

Некоторые сложные слова равновероятно допускают разные деривации:

	Исходная конструкция:	Возвратная конструкция:
самозащита	X защищает Y-а	X защищает самого себя Y защищает сам себя
самооборона	X обороняет Y	X обороняет самого себя Y обороняет сам себя
самопроверка	X проверяет Y-а	X проверяет самого себя Y проверяет сам себя
самоконтроль	X контролирует Y-а	X контролирует самого себя Y контролирует сам себя
самокритика	X критикует Y-а	X критикует самого себя Y критикует сам себя

Данные сложные слова по-разному интерпретируются в контексте отрицания:

(22) а. Это не самозащита/самооборона, а нападение.
б. У Петрова много покровителей, так что это не самозащита/самооборона.

(23) а. Это не самокритика, а самореклама.
б. Все за это осуждают Петрова, так что какая уж тут самокритика?

Таким образом, все типы составных рефлексивов, встречающихся при актантной рефлексивизации, реализуются при инкорпорации *сам*. Более того, кроме актантной РЕФЛ-деривации возможна деривация от посессивных рефлексивов :

	Исходная конструкция:	Возвратная конструкция:
самоанализ	X анализирует поступки/мысли/чувства Y-а	X анализирует свои поступки/мысли/чувства
самонаблюдение	X наблюдает за поступками/мыслями/чувствами Y-а	X наблюдает за своими поступками/мыслями/чувствами
самооправдание	X оправдывает поступки/мысли/чувства Y-а	X оправдывает свои поступки/мысли /чувства
самоограничение	X ограничивает потребности Y-а	X ограничивает свои потребности
самоопределение	X определяет статус Y-а	X определяет свой статус
самоотчет	X отчитывается о работе Y-а	X отчитывается о своей работе
самосовершенствование	X совершенствует качества Y-а	X совершенствует свои качества

В этом случае деривация может восходить к различным базовым значениям *сам* независимого.

3.2. САМ-деривация

Сам-деривация от **переходных глаголов** чувствительна к фокусу эмпатии. Он может быть как на субъекте, так и на объекте, что обычно проявляется в том, называет ли сложное имя субъект или объект.

При фокусе эмпатии на субъекте *сам* восходит к значению самСАМОСТ:

самовар	=	тот, кто сам варит/кипятит [воду]
самобранка	=	скатерть-самобранка: то, что само [еду] собирает
самописка	=	то, что само пишет
самосвал	=	тот, кто сам сваливает

Объект исходного глагола включается в значение сложного имени деятеля в обобщенном виде.

При фокусе эмпатии на объекте отглагольное имя обычно является именем создаваемого данным действием объекта, а субъект мыслится неопределенно-лично:

самогон	=	тот алкогольный напиток, что сами гонят
самокрутка	=	та папироса, что сами крутят/делают
самосад	=	тот табак, который сами сажают/выращивают
самоделка	=	то, что сами делают

Зафиксирован, правда, случай с субъектом, кореферентным посессору объекта (поэтому субъект конкретно-референтен):

самострел = то ранение, которое сам раненый сделал

Интересен случай со сложным словом:

самосуд = суд над преступником, который совершают представители пострадавшей стороны самостоятельно/без законного судопроизводства

В этом слове сочетается значение самНЕОЖ (обычно судят лица, облеченные полномочиями (судьи) и самСАМОСТ (суд совершают самостоятельно, без привлечения профессионалов). При этом объект мыслится обобщенно, а субъект неопределенно-лично.

Сложные имена **от непереходных глаголов** могут быть образованы только посредством САМ-деривации.

Имена деятеля называют субъект и характеризуют его как самостоятельно совершающий действие, например:

самолет	=	тот, кто сам летит
самокат	=	тот, кто сам катит
самоходка	=	то, что само движется
самодур	=	тот, кто сам дурит
самородок	=	то, что само родилось
самострел (оружие)	=	то, что само стреляет

В этом случае САМ-деривация восходит к самСАМОСТ.

Имена действия называют деятельность и отсылают к субъекту, который характеризуется как совершающий действие самостоя-

тельно (самСАМОСТ) и/или вопреки ожиданиям с точки зрения обычного положения вещей (самНЕОЖ), например:

самодеятельность	=	деятельность X-а, которая, вопреки обычному положению вещей, осуществляется непрофессионалами
самовластие	=	безраздельное, единоличное властвование X-а
самовозгорание	=	возгорание X-а самого собой, без внешней каузации
самотеком	=	движение X-а (вниз) без внешней каузации

4. Заключение

Итак, лексема *сам* в связанном употреблении в большинстве случаев системно наследует свойства мотивирующего независимого *сам*. Анализ связанных употреблений, имея, на мой взгляд, самодовлеющую ценность, вместе с тем предоставляет важные свидетельства для понимания функций *сам* независимого.

В то же время следует подчеркнуть, что автономное исследование вторичных связанных употреблений вряд ли было бы перспективным.

Литература

Кибрик 1992 — *А. Е. Кибрик.* Фокус эмпатии как контролер рефлексивизации в даргинском языке (говор сел. Ицари) // Тезисы международного кавказоведческого симпозиума. Майкоп, 1992.

Кибрик–Богданова 1995а — *А. Е. Кибрик, Е. А. Богданова.* Дискурсивные слова как маркеры нетривиальных операций над знаниями (наблюдения над лексемой САМ) // Труды Международного семинара по компьютерной лингвистике и ее приложениям. Казань, 1995:133–139.

Кибрик–Богданова 1995б — *А. Е. Кибрик, Е. А. Богданова.* САМ как оператор коррекции ожиданий адресата // ВЯ, № 3, 1995:28–47.

М. А. Кронгауз

Sexus, или проблема пола в русском языке

Ланцелот. ...Как тебя зовут?
Кот. Машенька.
Ланцелот. Я думал — ты кот.
Кот. Да, я кот, но люди иногда так невнимательны.
(*Е. Шварц*. «Дракон»)

1. Язык и пол

Пол, кажется, одна из немногих действительно важных для человека категорий, восприятие которой практически не зависит от языка и культуры. Впрочем, я имею в виду только то, что носители разных языков в принципе одинаково различают два типа существ — женского и мужского пола. В действительности уже вопрос о том, что, собственно, представляет собой каждый из этих полов и пол вообще, приведет нас к сложной научной и философской проблеме. Очевидно, что, с точки зрения культуры, противопоставление женского и мужского пола у человека важнее половых различий прочих существ и принципиально отличается от них, хотя бы наличием громадного количества культурных ассоциаций, шаблонов поведения и восприятия, связанных с обоими полами.

Тем не менее, отвлекаясь от проблемы дефиниции и содержания, а также вариативности понятия «пол» в зависимости от вида, пренебрегая различными отклонениями (интерсексуальность, унисексуальность, гомосексуальность, транссексуальность и пр.), можно сказать, что пол является естественной категорией,

охватывающей все виды существ и задающей удивительно четкое разбиение этих существ на два класса. Эта классификация в силу своей важности отражается так или иначе во всех человеческих языках, но отражается, естественно, по-разному. Вообще для Языка можно говорить об универсальной семантической категории пола (копирующей соответствующую естественную категорию), а для конкретных языков — об определенных ее трансформациях, специфике ее выражения и даже об отдельных коррелирующих с ней грамматических категориях. В частности, считается, что в русском языке семантическая категория пола коррелирует с грамматической категорией рода у имен существительных, обозначающих живые существа.

Объектом исследования в настоящей работе стало функционирование семантической категории пола в русском языке, а если говорить более конкретно, то способы выражения значения женского и мужского пола, а также семантическая и формальная структура лексических групп, образованных словами, значение которых совпадает с точностью до семантического компонента «пол». Такие группы можно считать своего рода «сексуальными парадигмами» слов, обозначающих лица и существа, различающиеся по полу.

Материалом исследования стала лексика русского языка, служащая для называния людей и животных. В работе не ставилась задача «полного естественнонаучного охвата» лексики, поэтому вне рассмотрения остались слова, обозначающие растения, одноклеточных и т. д., то есть живую природу, с очевидностью бесполую с наивной точки зрения.

2. Способы выражения пола

В работе исследуются те случаи, когда значение женского и мужского пола выражается не самостоятельно, а в сочетании с каким-либо другим значением (например, вид животного, национальность, профессия и т. д.), то есть когда речь идет не о поле как таковом, а о лице или существе, принадлежащем к одному из полов. В словообразовании значения такого типа называются модификационными: они модифицируют или дополняют основное значение (см., например, Земская 1992, с. 34).

Для удобства и под влиянием самого материала изложение делится на две части: категория пола у животных и категория пола у людей (или лиц, включая сюда богов, нечистую силу и т. д.).

Названий животных значительно меньше, и с семантической точки зрения они более однотипны. В подавляющем большинстве это слова со значением вида, к которому может добавляться значение женского или мужского пола. Названия людей гораздо разнообразнее. Здесь можно лишь выделить наиболее представительные типы (профессии, национальности, оценочные слова, термины родства и некоторые другие), но едва ли удастся построить строгую и исчерпывающую семантическую классификацию.

Вместе с тем следует сказать и об общих принципах подхода к описанию семантики пола у животных и людей. Можно сформулировать несколько рабочих гипотез, основанных на здравом смысле и лингвистических универсалиях. Так, значение пола при основном, или ключевом, смысле может быть выражено тремя способами: 1) с помощью отдельного слова или словосочетания (*мужчина, женщина, самец, самка, мужского пола, женского пола*); 2) с помощью регулярного морфологического средства: отдельного суффикса (например, *-их-* или *-к-* для женского пола) и/или стандартной операции над корнем (например, конверсии, результатом которой оказывается перевод слова с ключевым значением в другой тип склонения и другой род: *супруг — супруга*); 3) с помощью нового корня, который одновременно выражает ключевое значение и значение соответствующего пола, т. е., если пользоваться терминологией модели «смысл <=> текст», значение пола имеет склеенное выражение (Мельчук 1974). Последний случай можно квалифицировать как супплетивное словообразование (например, *лошадь — кобыла — жеребец*). К третьему же способу можно отнести и различного рода нестандартные средства (представленные в таких примерах, как вообще плохо членимое *козел* или пара *кошка — кот* с нестандартным чередованием и отбрасыванием суффикса для выражения мужского пола).

Вопрос о стандартности словообразовательных средств в действительности достаточно сложен и не может быть решен в рамках этой статьи. Для краткости готовый набор таких средств заимствуется из РГ 1980, где выделяется только одно модификационное значение пола: женскость. Оно «выражается суффиксами *-к(а)* (*пассажирка, перепелка*), *-иц(а)* (*любимица, медведица*), *-ниц(а)* (*учительница*), *-их(а)* (*повариха, волчиха*), *-ш(а)* (*библиотекарша*), *-/j/-* (*шалунья*), *-н(а)* (в отчествах: *Петровна*), *-ин(я)* (*героиня*), *-есс(а)* (*поэтесса*), *-ис(а)* (*актриса*), нулевым суффиксом

(*супруга*, *вожатая*; фамилии типа *Попова*)» (РГ 1980, с. 265). На с. 200–203 более подробно описаны варианты морфем (например для *-к*: *-к/-овк/-анк/-ичк/-ачк*) и сопутствующие операции над основой (типа усечения *любим/ец — любимица*). Кроме того, упомянуты еще два суффикса: *-ин(а)* (*синьорина*, *Антонина*) и *-ух(а)* (*оленуха*; сюда же, по-видимому, следует отнести и отглагольные образования типа *стряпуха*, с. 152)

По приведенным примерам видно, что все суффиксы сочетаются с названиями лиц и только четыре из них: *-к-*, *-иц-*, *-их-* и *-ух-* — с названиями животных (и однократно *-ин-/-ын-* в слове *гусыня*).

Модификационное значение мужского пола в РГ 1980 вообще не выделяется, поскольку, как отмечено: «Существительные с модификационным значением женскости используются и вновь образуются при необходимости подчеркнуть половую принадлежность лица. Если же такой необходимости нет, для обозначения лиц женского пола широко используются соответствующие существительные муж.р., лишенные сами по себе указания на половую принадлежность» (с. 204). Однако сразу следом замечено, что существительные муж.р. с суффиксом *-ич* (*Петрович*, *королевич*) не способны выражать значение лица женского пола. Вопрос о том, означает ли отсутствие соответствующего словообразовательного значения также отсутствие слов со значением мужского пола, остается открытым.

Очевидно, что однозначного соответствия между родом одушевленных существительных и значением пола нет. Как вытекает из сказанного в РГ 1980, даже при наличии словообразовательных пар женского и мужского рода (типа *повариха — повар*) лишь первое из слов включает в себя значение конкретного пола — женского.

Правда, нужно упомянуть о специальном семантическом эффекте, возникающем в контексте противопоставления пар такого рода. Во фразах *У меня есть кот и кошка* и *У нас работают повар и две поварихи* нейтральные с точки зрения пола слова *кошка* и *повар*, будучи противопоставлены словам *кот* (с семантическим компонентом ‘мужской пол’) и *повариха* (‘жен-ский пол’), приобретают значение противоположного пола. В этом случае фактически происходит подмена семантического противопоставления полов грамматическим противопоставлением родов. Этот прием утрированно использует и В. Маяковский,

сталкивая два «бесполых» синонимичных слова разных родов *жираф* и *жирафа* и придавая им тем самым различные значения:

> *Жираф*-длинношейка — ему никак
> для шеи не выбрать воротника.
> Жирафке лучше: *жирафу*-мать
> есть жирафенку за что обнимать.

В связи со сказанным встает проблема четкости границ сексуальных парадигм.

В основе сексуальных парадигм и животных, и людей лежит одна и та же логическая схема. Имеется некий ключевой смысл (вид, профессия, национальность и пр.), сочетающийся в принципе со значением пола. Полную сексуальную парадигму представляют, таким образом, три слова со следующими значениями: 1) ключевой смысл; 2) ключевой смысл + 'женский пол' (ж); 3) ключевой смысл + 'мужской пол' (м), например *гусь* — *гусыня* (ж) — *гусак* (м). Эта логическая схема реализуется в искусственном языке идо, где слово без специального аффикса применимо к обоим полам, аффикс -ul- обозначает мужской пол, а -in- — женский (frato — 'брат или сестра', fratulo 'брат', fratino 'сестра', Есперсен 1958, с. 271).

Для естественных же языков предложенная схема является упрощением и идеализацией реального положения дел. Так, в русском языке наряду с полной сексуальной парадигмой существуют и разного рода дефектные парадигмы, например: *учитель — учительница* (ж); *кошка — кот* (м); *монтер*. Кроме того, морфемные средства выражения пола не столь единообразны.

Однако наиболее сложная проблема связана с отсутствием строгих критериев приписывания словам значения конкретного пола. Так, неясно, о чем свидетельствует возможность употребления слова в упомянутых выше контекстах противопоставления. Может ли значение пола в слове проявляться или зачеркиваться? Можно ли, например, считать, что слово *бригадир* имеет значение мужского пола тогда, когда употребляется по отношению к мужчине? А *шахтер*?

Фактически речь идет о необходимости использования при семантическом анализе хорошо проверяемых и эффективных операций. В качестве таких операций в настоящей работе используются тесты на называние людей и животных, применяемые к отдельным словам.

Среди используемых тестов три вопроса, связанные с номинацией отдельной особи: можно ли данное слово использовать для называния особи каждого из полов и особи неизвестного (или не важно какого) пола? К ним добавляется один вопрос, связанный с номинацией совокупности: можно ли использовать данное слово во множественном числе для называния совокупности разнополых особей? Слово абсолютно нейтрально по полу, если на все четыре вопроса носитель языка отвечает «да» (например, *волк* или *доктор*). Наиболее ярко выражено значение пола в словах, используемых только для называния особи соответствующего пола и невозможных в трех других ситуациях (например, *петух* или *мужик*). Возможны и различного рода промежуточные случаи. Так, слово *француз* в единственном числе применимо только к мужчине и к неизвестному лицу «французской национальности», но не к женщине, а во множественном нейтрально. Контексты противопоставления, «наводящие» признак пола, в дальнейшем не рассматриваются.

Не всегда семантически очевидны и критерии отнесения слов к одной парадигме. В частности, это имеет место, когда семантическое противопоставление полов осложнено различными коннотациями, а стандартные формальные средства отсутствуют.

Даже такая типичная пара, как *муж* — *жена*, в действительности представляет собой неканоническое противопоставление полов. Ведь здесь оно фактически удваивается, поскольку различается не только пол соответствующих лиц, но и тех, по отношению к кому они определены (ср. *гомосексуалист* — *лесбиянка*). Неясно также, следует ли отнести к одной парадигме такие слова, как *парень* — *девица* (*девка*?); *мужик* — *баба*, и т. п. с очень разными коннотациями и контекстами употребления отдельных членов. В дальнейшем спорные случаи по возможности исключаются из рассмотрения.

3. Пол у животных

Названия животных разбиваются на три класса в зависимости от того, какие способы выражения пола для них возможны. В первый класс попадают названия животных, допускающие выражение пола только с помощью отдельного слова или словосочетания типа *самец*, *женского пола* и т. д. Ко второму классу относятся названия животных, выражающие пол стандартным сло-

вообразовательным способом — добавлением морфемы с соответствующим значением (*волк — волчица*). Третий класс объединяет названия животных, для которых значения мужского или женского пола выражаются супплетивно или с помощью нестандартных операций над корнем.

Каждый из этих классов описывается следующим образом. Задаются виды животных, попадающие в этот класс. Описываются характерные для них сексуальные парадигмы, а также — более конкретно — формальные способы выражения пола.

Можно сказать, что эти три класса соответствуют трем степеням идиоматичности выражения пола. В первом случае пол выражается описательно, вне рамок слова. Во втором случае пол выражается в рамках слова, но вне корня — носителя ключевого смысла. И, наконец, в третьем случае пол выражается совместно с ключевым смыслом в рамках единой морфемы — корня. Поскольку в выделении классов используется остаточный принцип, корректнее начать изложение с третьего класса.

Это закрытый и сравнительно небольшой класс, в силу чего его удобнее задать списком, то есть перечислить названия всех животных и вообще все слова, входящие в соответствующие парадигмы. К нему относятся *корова, кошка, курица, лошадь, овца, свинья, собака, утка.*

Для этого класса характерно несколько парадигм. Первая из них, полная, недефектная, представлена следующими тройками: *собака — сука* (ж) — *кобель* (м) и *лошадь — кобыла* (ж) — *жеребец* (м). Можно вспомнить и другие названия этих животных. Например, *пес*, исторически противопоставленное по полу устаревшему слову *псица*, сейчас нейтрально и противопоставлено *собаке* по семантическим признакам, не связанным с полом. Также нейтрален по полу *конь* — квазисиноним *лошади. Кобылица* же, стилистический вариант *кобылы*, обозначает лошадь женского пола.

Дефектная парадигма с отсутствием названия для самки представлена парами *кошка — кот* (м), *свинья — хряк/кабан* (м), *утка — селезень* (м). Другой тип дефектности — отсутствие общего нейтрального названия — представлен в парах *корова* (ж) — *бык* (м), *курица* (ж) — *петух* (м).

Несколько сложнее устроена пара *овца — баран* (м), где *овца*, являясь в единственном числе носителем признака женского пола, во множественном, по-видимому, нейтральна. Впрочем, граница между *овцой*, с одной стороны, и *коровой* и *курицей*, с

другой стороны, весьма размыта. Все это названия самок, которые в случае крайней необходимости могут выступать в качестве названий рода и совокупности.

Относительно данного класса легко сделать следующее обобщение. Сюда попадают названия традиционных русских домашних животных, то есть наиболее важных для русского человека и языка, причем для всех этих животных имеется особое название самца. Мужской пол здесь выделен, и его выражение факультативно, с точки зрения говорящего.

Есть еще три домашних животных с аналогичным устройством парадигмы. Правда, их названия образованы от одного корня, но с помощью нестандартных (в области названий животных) морфологических средств. Это *гусь* — *гусыня* (ж) — *гусак* (м), устроенный семантически, как *собака*, и *индейка* (ж) — *индюк* (м) и *коза* (ж) — *козел* (м), сходные с *овцой*.

В связи со сказанным важно подчеркнуть наличие среди названий домашних животных пяти дефектных парадигм с фактически отсутствующим нейтральным названием, как будто разнополые особи вообще не связаны между собой и относятся к разным видам. Этот языковой факт имеет достаточно ясную культурную интерпретацию: функции разных полов у данных видов абсолютно различны (например, курица несет яйца, а петух выполняет роль производителя и будильника), так что в быту практически не возникает потребности говорить о виде вообще. Иначе обстоит дело с собакой и лошадью, которые выполняют свою основную функцию независимо от пола.

Для второго класса характерна единая парадигма с отсутствующим названием для самца, а название самки образовано от общего названия мужского рода регулярным словообразовательным способом: с помощью суффиксов *-к(а)*, *-их(а)*, *-иц(а)*, *-ух(а)*: *волк* — *волчица*, *воробей* — *воробьиха*, *заяц* — *зайчиха*, *кролик* — *крольчиха*, *лебедь* — *лебедка*, *муравей* — *муравьиха*, *олень* — *оленуха*, *перепел* — *перепелка*, *слон* — *слониха*, *тигр* — *тигрица* и т. д. Иногда реализуются сразу несколько словообразовательных возможностей, что приводит к возникновению дублетных названий типа *ослиха* и *ослица*, *олениха* и *оленуха*. К этому же классу относится и пара *павлин* — *пава*, в которой нейтральное слово морфологически сложнее названия самки.

Сюда попадают прежде всего названия диких животных, так или иначе связанных с русским человеком (как правило, достаточно крупных), домашних животных других народов, распрост-

раненных птиц и насекомых, короче говоря — названия всех зверей, попадающих в сферу влияния человека. Бесспорно относятся к этому классу и названия зверей — героев сказок (*заяц*, *еж*, *лев*, *слон* и т. д.). Существенно, что это открытый класс, пополняемый по мере необходимости и расширения сферы человеческого влияния (даже сферы одного конкретного говорящего). При этом может использоваться и суффикс *-ш(а)*: например, слово *терьерша*, неоднократно употреблялось в газетах во время визита в Москву американской актрисы Лайзы Миннелли для обозначения ее верной спутницы.

В качестве обобщения следует сказать, что, в отличие от названий домашних животных, выделенным и, кроме того, специальным образом маркированным оказывается женский пол.

Наконец, к первому классу относятся такие слова, как *насекомое*, *земноводное*, *гад*, *зверь*, *птица*, *рептилия*, *бульдог*, *гиббон*, *пудель*, *грач*, *кенгуру*, *колибри*, *окапи*, *мышь*, *крыса*, *обезьяна*, *броненосец*, *овод*, *хорек*, *суслик*, *горностай*, *куница* и др.

Для этого класса характерен единственный тип дефектной парадигмы, которая состоит из одного слова, нейтрального по полу. Названия животных попадают в этот класс и по семантическим, и по формальным морфологическим признакам.

Дефектная парадигма этого типа имеет место в том случае, если нейтральное по полу название животного относится к женскому роду (*крыса*, *мышь* и т. д.) и среднему роду (*земноводное* и некоторые другие названия типов и классов живых существ) или к разряду несклоняемых существительных (*кенгуру*, *колибри* и т. д.).

Что же касается семантики, то сюда попадают невидовые названия, то есть более абстрактные и более конкретные, чем вид. Это наименования типов, классов и отрядов, которые обычно вообще не употребляются для названия отдельных особей, и наименования подвидов и пород (*зверь*, *грызун*, *шпиц*, *дромадер* и т. д.). Кроме того, только одно общее название имеют экзотические, а также мелкие животные (*броненосец*, *колибри*, *овод* и т. д.). Сюда же относятся и названия детенышей, не различающиеся по полу (*щенок*, *котенок* и т. д.)

Семантические и морфологические признаки могут сочетаться. Так, например, несклоняемость характеризует названия некоторых экзотических животных, а средний род — названия типов и отрядов.

Из всех рассмотренных классов единственным строго очерченным является замкнутое множество названий домашних жи-

вотных. Пополнение его за счет новых корней практически не происходит. Четкой же границы между классом «близких» (важных) и «далеких» (неважных) животных не существует. Как уже сказано, по мере надобности, например, в сказках, может происходить «сексуализация» названия, то есть образование с помощью продуктивного словообразовательного средства названия для особи женского пола, например, *кенгуриха* или приведенное выше *терьерша*.

Впрочем, переход в другой класс практически невозможен для абстрактных названий (типы, отряды и т. д.) и крайне затруднен для слов женского и среднего рода (в Земская 1992, с. 155; отмечены *обезьяниха*, *рысиха* и *акулиха*). Есть и другая возможность окказионального образования маркированных по полу слов, но и *мыш* (иногда встречающееся написание без мягкого знака) и *Крыс* (используемое в переводе сказки К. Грэхема «Ветер в ивах» для персонажа мужского пола) явно находятся вне литературной нормы. Исключение составляют две пары *лиса/лисица — лис* (м), *канарейка — кенарь/кенар* (м). От последнего слова образовано даже мало кому известное название самки *кенарка*. Важность противопоставления полов у канареек вполне понятна. Эта птица одомашнена человеком ради пения, но поет только самец. Название лисы уникально, поскольку по своему семантическому типу оно относится ко второму классу (это очень важное в русской культуре животное), морфологически — к первому, но в результате нестандартной для названий животных морфологической операции (конверсии; ср. квазиполовую пару *змея — змей*) по устройству парадигмы должно быть отнесено к третьему классу, поскольку выделенным оказывается мужской пол.

В заключение следует сказать еще о некоторых исключениях и дополнениях к рассмотренным трем классам. В первую очередь речь идет о названиях животных не по виду (или не только по виду), а по какому-либо другому признаку. Если этот признак никак не связан с полом, то само слово обычно семантически нейтрально, а названий для особей конкретного пола не существует. Такие названия, тем самым, относятся к первому классу, например, названия детенышей (исключение пара *телка — телок*) или слова типа *шатун*.

Однако встречаются признаки, предопределяющие пол. Соответствующая им парадигма состоит из одного слова, маркированного по полу, например, *несушка* (ж), *пулярка* (ж), *свино-*

матка (ж), *яловица* (ж), *боров* (м), *вол* (м), *каплун* (м), *мерин* (м), *секач* (м).

Отдельно нужно отметить парадигму слова *голубь*, относящуюся ко второму классу. Ее специфика состоит в том, что, наряду с морфологически стандартными названиями самки *голубка*, *голубица*, существует супплетивный вариант: *горлица*.

Еще три по-своему уникальных типа представлены парадигмами *пчела — матка* (ж) — *трутень* (м), *гончая — выжлица* (ж) — *выжлец* (м), *животное — самка* (ж) — *самец* (м). Эти парадигмы принадлежат к третьему классу. И, действительно, пчелу естественно рассматривать как домашнее животное, но ситуация с ней осложняется существованием «третьего пола», причем наиболее распространенного, — рабочих пчел, так что слово *пчела* оказывается одновременно и нейтральным и маркированным названием. В двух других парадигмах маркированные по полу слова функционируют совершенно независимо от нейтрального слова и иначе, чем оно. *Выжлица* и *выжлец* являются, в отличие от *гончей*, охотничьими терминами, а *животное*, с одной стороны, и *самка* и *самец*, с другой, обладают разной сочетаемостью и разными референтными свойствами. Эти различия подчеркиваются морфологически. Маркированные по полу слова образованы от одного корня и этим противопоставлены нейтральному названию. В этом случае, по-видимому, вообще не имеет смысла говорить о единой парадигме.

4. Пол у людей

Количество названий людей, а главное, разнообразие смыслов, представленных ими, не позволяют создать столь же компактное описание, как у названий животных. Именно поэтому в этой главе имеет смысл сосредоточиться на самых главных и практически не описанных группах, пренебрегая большим количеством семантических нюансов и исключений. Вне рассмотрения окажутся, в частности, супплетивные пары или тройки (в первую очередь, термины родства и названия человека по возрасту, например, *брат — сестра*, *человек — женщина — мужчина*). Количество таких парадигм в общей массе названий людей крайне незначительно, а, кроме того, объединение разнокоренных слов в одну сексуальную парадигму часто представляет определенные трудности, поскольку человеческим полам сопутствуют многочисленные коннотации. Не бу-

дут также затронуты и проблемы слов общего рода, обращений, имен собственных, оценочных слов, омонимии типа *докторша*: 'X женского пола' и 'жена X'a' — и некоторые другие, достаточно подробно обсуждавшиеся в лингвистической литературе. В задачу настоящей главы входит показ неполноты существующих описаний семантического противопоставления по полу в русском языке.

Среди подавляющего большинства названий людей можно выделить пять классов, которым соответствуют определенные типы сексуальных парадигм. Правда, эти классы не являются в строгом смысле лексическими. Точнее говорить о прототипических парадигмах и прототипических классах, при том, что некоторые реальные слова способны окказионально переходить из класса в класс и, с точки зрения интуиции носителя языка, находятся как бы между ними. Принадлежность названий к тому или иному классу определяется разными факторами: отчасти их словообразовательной структурой, отчасти их семантикой и даже трудноуловимой общественной традицией: так, существует слово *киоскерша*, отсутствуют слова *монтерша* и *шахтерша*, *шоферша* же допустимо, хотя стилистически маркировано: *Ах, шоферша, пути перепутаны* (А. Межиров).

Все несупплетивные парадигмы дефектны и состоят либо из словообразовательных пар, либо из единичных названий.

Наиболее распространенный тип парадигмы состоит из нейтрального по полу слова мужского рода и образованного от него слова женского рода, обозначающего женщину: *учитель — учительница*. Существование таких пар безоговорочно признается лингвистической традицией (см., например, Виноградов 1947, Янко-Триницкая 1982 и все русские академические грамматики). Семантические отношения внутри этих пар могут быть весьма различны, степень употребительности и стилистической нейтральности слова женского рода также сильно варьирует, но структура парадигмы сохраняется.

В русском языке существует и другой тип пары, в которой отсутствует нейтральное название: *француз — француженка*, *крестьянин — крестьянка*, *баловник — баловница*. К этому же классу относятся и те немногие пары, в которых существительное мужского рода морфологически сложнее, чем женского: *дурак — дура*, *ведьмак — ведьма*, *вдовец — вдова*.

Маркированность по полу первого члена пары не абсолютна: она выявляется лишь одним единственным вопросом из

предложенного выше теста. Проверка по тесту дает следующий результат: в единственном числе слово мужского рода может называть мужчину и неизвестно или неважно кого (Похоже, что это написал *француз*, ср. также пример В. В. Виноградова с родовым употреблением *Дом крестьянина*), но не может относиться к женщине (**Она француз*); во множественном числе оно нейтрально. Н. А. Янко-Триницкая (1982, с. 39–40), также выделяя в особый класс «существительные, обозначающие лицо по национальности, месту жительства, происхождению и по некоторым другим социальным признакам», говорит о лексической нейтрализации мужского пола в подобных существительных путем прибавления к ним прилагательных *каждый, всякий, рядовой и средний*: *каждый москвич* и т. п.

Кроме того, в русском языке существует большое количество слов мужского рода и значительно меньшее количество слов женского рода (не рассматриваются оценочные слова, например, *подлец, сволочь, сука* и т. д.), обозначающих человека и не входящих ни в какие пары. Процедура приписывания таким словам той или иной дефектной парадигмы не всегда однозначно разрешима.

Так, совершенно ясно, что существительные *пешеход*, *грибник*, *пилот* или *президент* нейтральны по полу и могут называть женщину: *...моя мама называется пилот* (А. Барто). Причины же, по которым отсутствует специальное слово для обозначения женщины, различны и не всегда очевидны. В частности, одной из них может стать наличие в языке квазиполовой пары — слова с формально стандартным суффиксом женскости, но другим значением: *грибница*, *пилотка*. Впрочем, для многих слов этого класса, по крайней мере окказионально, возможен переход в первый класс (ср. примеры из Земская 1992: *дирижерша* и даже более изысканные *завка*, *корифейка*, *хирургесса*).

Кроме того, так же ясно, что слова *бородач*, *двоеженец* или *евнух* называют лицо мужского пола, просто потому что признаки, составляющие ключевой смысл, характерны только для мужчин.

Главная же сложность состоит в том, что граница между общим и чисто мужским признаком достаточно условна, что в социальной сфере усугубляется феминистической экспансией, а в физиологической различными отклонениями и извращениями. Так, появляются в языке слова типа *хоккеистка* (стилистически

нейтрально), *гроссмейстерша* или *йогиня* (стилистически окрашены). Именно поэтому трудно оценить статус слов типа *йог*, *монтер* или *шахтер*. Они находятся на пути из класса *евнух* в класс *пилот*, а поскольку потенциально допускают стандартное образование деривата со значением женского пола, то и на пути в первый класс *(учитель)*.

Сходная ситуация имеет место с непарными словами женского рода *кухарка*, *свинарка*, *доярка*, *коровница*, *сестра-хозяйка*, *прачка*, *роженица*, *кормилица*, с единственным, но принципиальным отличием, состоящим в том, что образование от них дериватов мужского рода практически всегда затруднено. Следует, однако, отметить встречающиеся все же *дояр* и *медбрат*, а также окказиональные и явно нелитературные *Усатый нянь* в названии кинофильма и швей (*Напротив моего дома висит объявление: «Требуется ШВЕЙ»!*; С. Довлатов).

Обычно все эти слова обозначают женщин, однако в редких, но возможных жизненных ситуациях могут распространяться и на мужчин, то есть оказываются нейтральными: *Из него вышла бы неплохая кухарка* (ср. малоупотребительное и стилистически маркированное — *кухонный мужик*). Это особенно хорошо видно в переносных употреблениях: *Он — такая баба* или *политическая проститутка Троцкий* (Ленин).

Иногда одно и то же слово или словообразовательные корреляты выступают в нескольких ипостасях в зависимости от значения и контекста. Так, *работник фабрики* нейтрально и имеет женский коррелят *работница фабрики*. *Работник* вообще или *научный работник* нейтрально и не имеет коррелятов, а *домработница* также составляет отдельную парадигму.

Подводя итог, можно сказать, что для названий людей имеются следующие сексуальные парадигмы: 1) *учитель* — *учительница* (ж); 2) *француз* (м) — *француженка* (ж), в соответствии с тестом — мужской пол выражен слабо; 3) *пилот*; 4) *евнух* (м); 5) *роженица* (ж) (следует напомнить, что не рассматривались супплетивные пары и тройки). При этом обычен окказиональный, а иногда и постоянный переход из класса 3 в класс 1, переход же из классов 4 и 5 в класс 3 заложен в самой природе русского языка, т. е. является продуктивным приемом, и происходит в переносных употреблениях, а также по необходимости при культурно-социальном смешении полов. Для многих слов класса 4, в отличие от слов класса 5, возможно дальнейшее продвижение в класс .

5. Заключение

Проведенное исследование показывает, что функционирование семантической категории пола в русском языке весьма специфично. В работе введено понятие сексуальной парадигмы для названий людей и животных и выделены основные типы таких парадигм в русском языке. Можно с уверенностью сказать, что такого распределения названий людей и животных по выделенным классам нет ни в одном языке мира и во многом это обусловлено русской культурной традицией. Очевидно, что имеет место избирательная внимательность языка и культуры к полу различных существ.

Кроме конкретных результатов, связанных с составом сексуальных парадигм и их распределением по классам слов, которые сформулированы в третьей и четвертой главах, можно сделать несколько общих замечаний.

Прежде всего надо сказать, что семантический компонент пола в значении слова может быть выражен более или менее ярко. Так, некоторые слова, в принципе маркированные по полу, употребляются в определенных условиях нейтрально. Возможны и вообще переходы маркированных слов в разряд нейтральных.

Наиболее частый случай дефектной парадигмы — пара, где лишь один член маркирован по полу. Выбор такого маркированного названия в речи означает подчеркивание половой принадлежности референта и тем самым определенную нестандартность ситуации, что иногда приводит к различным стилистическим эффектам. Тот факт, что в качестве единственного маркированного пола чаще (хотя и необязательно) выступает женский, может служить своего рода феминистическим упреком русскому языку.

И наконец, последнее замечание касается различий семантики пола у людей и животных в русском языке. Причин этого достаточно много, но одной из главных является активное социально-культурное смешение полов в современном человеческом обществе и, напротив, постоянство половых различий и соответствующих им функций в животном мире *.

* Работа выполнена при поддержке Research Support Scheme of the Open Society Instutute (grant 1084\94).

Литература

Виноградов 1947 — *В. В. Виноградов.* Русский язык: Грамматическое учение о слове. М., 1947.

Есперсен 1958 — *О. Есперсен.* Философия грамматики. М., 1958.

Земская 1992 — *Е. А. Земская.* Словообразование как деятельность. М., 1992.

Мельчук 1974 — *И. А. Мельчук.* Опыт теории лингвистических моделей / «Смысл < = > Текст»: Семантика, синтаксис. М., 1974.

РГ 1980 — Русская грамматика. М., 1980, т. 1–2.

Янко-Триницкая 1982 — *Н. А. Янко-Триницкая.* Русская морфология. М., 1982.

Igor Mel'čuk (University of Montreal)

Morphological Processes

Андрею, with the same affection and friendship as always

The present paper is part of my continuing effort to develop a rigorous conceptual apparatus and corresponding terminology for linguistics (see, for instance, the most recent papers Mel'čuk 1992, 1993b and 1994b, as well as attempts at a synthesis — Mel'čuk 1982, 1993a and 1994a). This enterprise started in Moscow more that 30 years ago (Mel'čuk 1963); during its very first period, Andrej Zaliznjak contributed a lot to what has been achieved since. It is my special pleasure to present for his birthday a fragment of the construction that is anchored, among other things, in his works Zaliznjak 1964, 1967 and 1973, which, since then, have become classic.

I will deal here with a system of concepts concerning the morphology of natural languages, more specifically concerning linguistic signs of a particular type — signs used to express grammatical meanings within wordforms. Actually, this paper is a *sui generis* abstract (or a blueprint) of some important sections of Part V of *Cours de morphologie générale* (cf. Mel'čuk 1993a, 1994a). The very nature of my exposition forces me to rely heavily on my own definitions of some crucial concepts that are fully developed and explained in the publications mentioned; it is of course out of the question even to summarize them in this paper. Therefore I ask the reader to kindly put up with this inconvenience; I will do my best to supply as many clear and self-sufficient examples as possible.

1. Introductory Remarks

1.1. Informal Characterization of Morphological Processes

A ***morphological process***[1] is, roughly speaking, an ACTION by the speaker of a language whereby a particular type of linguistic sign is used in order to express, within the boundaries of a wordform, a lexical or a certain grammatical meaning (applied, i. e. 'added', to the lexical meaning of this wordform). Morphological processes are defined by the three following oppositions:

1) A morphological process is the use of a linguistic sign, i. e. a meaningful entity, to express something; therefore, morphological processes are MEANINGFUL. As such, morphological processes are opposed to the use of ***morphological means***, those "one-sided", meaningless entities that are building blocks for morphological signifiers. (Morphological means include phonemic strings, prosodemic configurations and meaningless alternations, of the type Eng. *wife* ~ *wives* or Sp. *colg(-ar)* '[to] hang' ~ *cuelg(-o)* '[I] hang'.)
2) A morphological process is a MORPHOLOGICAL (= wordform-internal) phenomenon involving a sign which, together with other signs, is part of a wordform. As such, morphological processes are opposed to ***nonmorphological***, or ***syntactic***, ***processes.***
3) A morphological process is an ACTION, namely, the action of using a linguistic sign. As such, morphological processes are opposed to ***morphological signs.***

Thus morphological processes should be distinguished from 1) morphological nonsignificative events (= using morphological means), 2) nonmorphological significative events (= non-morphological, or syntactic, processes) and 3) morphological entities (= morphological signs).

Let it be noted that, from the strictly logical point of view, the concept of morphological process is redundant: a morphological process is fully determined by the type of the linguistic signs it uses (N. Pertsov drew my attention to this fact). However, traditionally, this concept and the corresponding term are in wide use and seem to come in handy in a number of contexts.

1.2. Alternative Terminology

Two terms compete in the literature with *morphological process* in the intended meaning: ***formal process*** and ***grammatical process***. The term *formal process* is infelicitous: first, there is no such term as **meaningful process*, so that it is not clear what this term is opposed to; second, what are called "formal processes" are in fact meaningful (rather than formal) by their very nature. The term *grammatical process* is technically fine, *grammatical* processes being opposed to *nongrammatical* ones (see **2.2**). However, according to its literal meaning, this term denotes processes used to express grammatical meanings — which are not necessarily morphological, i. e. expressed wordform-internally. It seems more appropriate to use *grammatical process* just for the class of processes that express ANY grammatical meanings, including those that function outside the wordform. Thus the term *morphological process* should be preferred in my perspective here.

2. The Notion of Morphological Process

I will discuss the notion of morphological process in four steps:

First, a list of 10 underlying notions which have to be accepted here without definitions and sufficient explanations — they are *indefinibilia* on which any rigorous definition must be based (**2.1**).

Second, several auxiliary notions which help to indicate more clearly the place morphological processes occupy in the system of morphological notions (**2.2**).

Third, a definition of morphological process accompanied by examples (**2.3**).

Fourth, an important remark concerning the inherently additive character of morphological processes (**2.4**).

2.1. Underlying Notions

The definition of morphological process is based on the following four notions (plus a special auxiliary notion of ***linguistic expressive process***, see **2.2**):

1) *Linguistic sign* (of £): a triplet **X** = ⟨signified 'X' ; signifier /X/ ; syntactics Σ_X⟩.

[*Syntactics* is the set of all combinatorial properties of the sign in question: part of speech, inflectional class, agreement class (in

particular, gender), government pattern, syntactic features[2], restricted lexical cooccurrents, etc.]

2) *Elementary linguistic sign* [= a sign which is not representable nor quasi-representable in terms of other linguistic signs; cf. Mel'čuk 1982: 41ff., Mel'čuk 1993a: 145ff.].

3) *Wordform* [≈ a sufficiently autonomous linguistic sign, which is not necessarily elementary; see Mel'čuk 1993a: ch. 4, p. 167ff. for a substantive discussion of this extremely important but evasive notion].

All signs that appear in the representation of the wordform **w** are said to be components of **w**.

4) *Stem* [≈ the component of a wordform that includes the root and may include any other components, but is not a complete wordform].

In the typology of morphological processes and the discussion of the examples, six further notions are used:

5) *Grammatical meaning*, which can be either inflectional, called *grammeme*, or derivational, called *derivateme*. Grammemes are obligatory and regularly expressed meanings, such as the nominal number or verbal tense in English; derivatemes are meanings which, without being obligatory or always regular, are expressed similarly to grammemes — by the same types of morphological signs, like affixes or alternations: for example, the agent (**-er**) or the abstract noun (**-ness**) in English.

6) *Segmentals* [= morphological means involving strings of phonemes].

7) *Suprasegmentals* [= morphological means involving complexes of prosodemes].

8) *Operation of linguistic union* ⊕.[Operation ⊕ is, in point of fact, a META-operation. It unites linguistic units, including signs, according to their nature, i. e., either according to their syntactics, where all the specific data about the way they have to be united are stored, or according to some general rules. Thus, ⊕ concatenates phonemic strings, applies alternations to strings, superimposes prosodemes onto phonemic strings, etc.]

9) *Root* [≈ a morph which carries the most of the wordform syntactics, in the first place — all of its INTERwordform syntactics].

10) *Affix* [= a morph which is not a root].

(For these ten notions, see Mel'čuk 1982 and 1993a.)

2.2. Auxiliary Notions

An operation used by a natural language (i. e. by its speakers) to express a meaning and consisting in selecting and combining linguistic signs is called a ***(linguistic) expressive process***. Expressive processes are subdivided along two axes:

- Depending on the nature of the meaning expressed, an expressive process can be ***grammatical*** (= it expresses a grammatical meaning) or ***nongrammatical***. The majority of, or, more precisely, all but two expressive processes are grammatical; the only nongrammatical processes are ***lexicalization*** (= selecting the lexical unit for a given meaning) and ***composition***, this latter being, in point of fact, a special case of lexicalization — so to speak, lexicalization within the boundaries of a wordform [3]. (Lexicalization and composition can of course both involve other grammatical processes.)
- Depending on the textual limits within which the meaning is expressed, an expressive process can be ***morphological*** (= the expression takes place within the boundaries of a wordform) or ***nonmorphological*** (= syntactic; the expression takes place within the boundaries of a sentence).

These axes intersect, giving four classes of linguistic expressive processes:

1) Grammatical morphological processes: affixation, modification, etc., see **3.3.2–3.3.6**. Linguistic signs used by these processes could be called ***grammatical signs*** (cf. *dependent morphemes* in Langacker 1987: 336).
2) Grammatical nonmorphological processes: use of auxiliary words (which express grammatical meanings in what are known as ***analytical forms*** or mark syntactic constructions — governed prepositions or conjunctions), agreement and government (≈ determining morphological values of one wordform as a function of morphological values or syntactics features of another), meaningful word order permutations, sentence prosodization, etc.
3) Nongrammatical morphological processes: composition, see **3.3.1**.
4) Nongrammatical nonmorphological processes: lexicalization.

Since expressive processes are ACTIONS (they select and use linguistic signs), their names should be deverbal nouns, e. g., nouns in

-(a)tion/-sion, derived from the names of signs used: *X-ation* from *X*, such as *affixation* from *affix*, *replication* from *replica*, etc.

All expressive processes are strictly synchronic linguistic phenomena.

2.3. Definition of Morphological Process

Consider a stem **R** and an elementary sign **X**, whose signified 'X' applies to the signified 'R' of **R**.

> An expressive process **P** of language £ is said to be a *morphological process* if and only if the elementary sign **X** that **P** uses in order to express 'X' for 'R' is a component of the same wordform as **R**.

A morphological process **P** is a particular case of the operation of linguistic union ⊕; **P** joins a sign **X** to its "target" — the stem **R** for which **X** expresses the meaning 'X' — and **P** does so WITHIN a wordform including **R**. To put it differently, a morphological process **P** applies to a stem **R** and produces a higher-order stem **R'** or a full-fledged wordform.

Examples

Two typical examples of morphological processes and two typical examples of phenomena which are not morphological processes (but could be mistaken for such) are given below and checked against the definition.

Positive examples

(1) Different types of morphological processes are used to express the same grammeme: Nass (Penutian, British Columbia, Canada), where the nominal plural is expressed by the following four morphological processes (Sapir 1921: 60):

suffixation	:	*waky*	'brother'	~	*waky+kw*	'brothers'
prefixation	:	*an?on*	'hand'	~	*ka+an?on*	'hands'
modification	:	*gwula*	'cloak'	~	*gwila*	'cloaks'
reduplication$_3$	:	*gyat*	'cloak'	~	*gyigyat*	'people'

[Here and below, I use numerical subscripts to distinguish different senses of polysemous terms. More specifically, with the term *reduplication*, the subscript "1" denotes the (meaningless) operation called "reduplication"; the subscript "2" denotes a sign whose signifier

is a reduplication$_1$, so that a reduplication$_2$ is a sign having a reduplication$_1$ as its signifier; and the subscript "3" denotes a process which uses reduplications$_2$. With other terms, the subscripts are used in a similar, although by no means always identical, way.]

(2) The same type of morphological processes is used to express different grammemes — the most common case. Let us take English.

a. Suffixation expresses a large variety of grammemes and derivatemes:

plural	:	*book*	~	*book* + ***s***
past tense	:	*want*	~	*want* + ***ed***
comparative	:	*smart*	~	*smart* + ***er***
derived adverb	:	*smart*	~	*smart* + ***ly***
'one who...'	:	*sing*	~	*sing* + ***er***
'[to] cause to be...'	:	*sharp*	~	*sharp* + ***en***

b. Modification expresses three different grammemes:

plural	:	***tooth***	~	***teeth***
past tense	:	***sing***	~	***sang***
past participle	:	***sing***	~	***sung***

c. Conversion$_3$ expresses a large variety of derivatemes:

'one who...'	:	[*to*] *gossip*	~	[*a*] *gossip*
'to cause to...'	:	[*to*] *burn* [intr]	~	[*to*] *burn* [trans]
'to submit to the action of...'	:	[*a*] *hammer*	~	[*to*] *hammer*
'a unit of...'	:	[*to*] *kiss*	~	[*a*] *kiss*
'to address someone as...'	:	*sir*	~	[*to*] *sir*

<u>Negative examples</u>

(3) The subjunctive mood is expressed in Russian by the clitic **by** accompanying the past form of the verb:

plyl	'swam'	~	*plyl*	***by***	'would swim'
žil	'lived'	~	*žil*	***by***	'would live'

By is a separate wordform, not a component of the wordform that includes the root **ply(v)-** or **ži(v)-**; therefore, the condition of the definition is not satisfied: using **by** is not a morphological process (it is, however, a grammatical process of Russian, since the auxiliary wordform **by** expresses a grammeme: 'subjunctive').

(4) Consider the following quadruplets of Chinese wordforms [¯, ´, `, and ˇ stand for the flat, rising, falling and falling-rising tones, respectively]:

mā	'mother'	~	*má*	'flax'	~	*mà*	'curse'	~	*mǎ*	'horse'
yī	'one'	~	*yí*	'stranger'	~	*yì*	'town'	~	*yǐ*	'chair'
fū	'husband'	~	*fú*	'support'	~	*fù*	'rich'	~	*fǔ*	'ax'

In (4) — and in all similar cases, which are extremely numerous in Chinese — tones play an important semantic role: they oppose the corresponding signifiers. Therefore, Chinese tones are a linguistic expressive means, and they are used within wordforms. However, they do not mean anything by themselves, each tone being an integral part of a signifier rather than an independent signifier (like phonemes). It is impossible to associate a specific tone with a specific meaning; therefore, using tones is by no means an expressive process and consequetly not a morphological process in Chinese.

2.4. The Inherently Additive Character of Morphological Processes

The proposed definition of morphological process essentially presupposes the following conception of wordform production. The construction of a complex wordform **w** by the speaker happens in two major steps: First, the speaker selects a stem **R**, which expresses the lexical meaning 'R' he needs (= lexicalization); then, he adds to it other wordform components, that is, he applies to **R** various morphological processes in order to express meanings, grammatical and non-grammatical, which modify 'R' within the boundaries of **w**. Therefore, a morphological process, as well as the signs it uses, is strictly additive — although the signifier or the signified of the sign added can be subtractive or replacive (Mel'čuk 1991).

Thus, a ***subtractive signifier*** is the operation of truncation, as found, for example, in the following cases:

(5) Plural formation in nouns

SINGULAR PLURAL

a. French

œuf /œf/	'egg'	~	*œufs* /ø/	'eggs'
bœuf /bœf/	'ox'	~	*bœufs* /bø/	'oxen'
os /ɔs/	'bone'	~	*os* /o/	'bones'

b. an Upper Hessian dialect of German

hond	'dog'	~	*hon*	'dogs'
bārk	'mountain'	~	*bār*	'mountains'
riŋk	'ring'	~	*riŋ*	'rings'

(6) Completive aspect formation in verbs

INCOMPLETIVE — COMPLETIVE

a. Huichol (Uto-Aztecan, Mexico)

nepiizeiya	'I saw him (and may see him again)'	~	*nepiizei*	'I saw him (for the last time)'
pïtiuneika	'He danced (and may dance again)'	~	*pïtiunei*	'He danced (for the last time)'

b. Papago (Uto-Aztecan, Arizona, USA)

huḍuni	'[to] descend'	~	*huḍu*	'[to] have descended'
tāpana	'[to] split'	~	*tāpa*	'[to] have split'
māka	'[to] give'	~	*mā*	'[to] have given'

A ***subtractive signified*** is a "command" to delete a component in the signified of the target sign (target sign syntactics can be affected as well). A good example: common decausativizing suffixes of the type of Rus. **-sja** in the pairs of the type *serdit'* '[to] cause to be angry' ~ *serdit'sja* '[to] be angry', where **-sja**, added to a verbal stem, deletes the component '[to] cause' in its signified (and changes also its syntactics: the verb becomes intransitive, its government pattern is modified — it looses one actant, etc.).

Yet, in spite of the subtractive character of its signifier or its signified, the corresponding sign is additive: it is always joined, i. e. added, as a whole to its target. There are no subtractive signs and, consequently, no subtractive morphological processes.

From this it follows that there are no replacive signs and, therefore, no replacive morphological processes either (replacement being reducible to subtraction plus addition), although replacive signifiers and replacive signifieds do exist. Thus a ***replacive signifier*** is found, e. g., in the apophony seen in the pairs of the type *foot* ~ *feet*. A ***replacive signified*** can be illustrated by so-called parasitic formations (Matthews 1972: 86): a meaningful affix $\mathbf{a}_1$ is added after another meaningful affix $\mathbf{a}_2$ such that 'a_1' replaces 'a_2' rather than being added to the meaning of the stem along with 'a_2'. This situation obtains in so-called secondary cases of some Daghestanian languages: cf. Dargwa 'book' *žuz* ~ ERG *žuz+li* ~

DAT *žuz+li+s*, where the signified 'dative' (of the suffix **-s** = $\mathbf{a}_1$) replaces the signified 'ergative' (of the suffix **-li** = $\mathbf{a}_2$)[4]. (For replacive signifieds, see Mel'čuk 1990: 301–302.) Once again, all the corresponding signs and morphological processes are strictly additive.

A morphological process is by definition an application, or ADDITION, of a linguistic sign to another sign. This addition should not be construed simplistically as strict concatenation or set-theoretical union: it could be a much more complex operation. Yet it is addition: signs as such are never subtracted or replaced, only their signifiers or signifieds can be.

3. Typology of Morphological Processes

One finds inventories of morphological processes in all major morphological manuals and reference books[5]. All these inventories are more or less identical; basic facts about morphological processes seem to be well known. Yet this is a basically descriptive exercise while what seems more attractive is a THEORETICAL CALCULUS of morphological processes, which would supply a logical justification for a given inventory and would in turn allow for a better understanding of relationships among the various processes. Such a calculus was first proposed, as far as I know, in Mugdan 1977: 47–50; in this paper another attempt is made at elaborating it. I will do this in five subsections:

3.1. The major types of linguistic signs.
3.2. The major types of morphological processes.
3.3. A brief survey of morphological processes.
3.4. An outline of hierarchy of morphological processes.
3.5. A few remarks on the link between morphological processes and language types.

3.1. Major Types of Linguistic Signs

As has already been stated, morphological processes are distinguished according to the types of linguistic signs they use. There are six major types of linguistic signs relevant in this respect (Mel'čuk 1982: 77ff.); here is how this number is arrived at.

Let there be a stem $\mathbf{R} = \langle$'R'; /R/; $\Sigma_R\rangle$ and a meaning 'σ' that is to be added to 'R', i. e. 'σ' has 'R' as its target; the sign **w** resulting from this "addition" should be a single wordform or a part thereof (since only

MORPHOLOGICAL processes are considered here). The signified of **w** must be 'R ⊕ σ'; what about **w**'s signifier? In other words, how can one express 'σ' with **R**? To do this, one can either ADD something to **R**, without changing anything in **R**, or, on the contrary, without adding anything to **R**, CHANGE a component of **R**, that is, its signifier /R/ or its syntactics Σ_R: this addition or change will produce the signifier of the sign **s** of which 'σ' is the signified. (Note that one cannot limit oneself to changing the signified 'R' only: the result will present no observable difference, and thus this case is irrelevant to my purpose here[6].)

Natural languages have exactly two types of signifiers:

- either entities, which can be segmentals or suprasegmentals,
- or operations, which — in our specific case — are substitutions applicable to signifiers or to syntactics.

As a result, we have the following six major types of linguistic signs and, accordingly, of morphological processes:

A. The meaning 'σ' is expressed by AFFECTING THE SIGNIFIER /R/ of the stem. This can be done in two ways only: either 'σ' is expressed by an entity added to /R/ or by an operation which applies to /R/ modifying it.

(a) If 'σ' is expressed by an added entity, this entity can be:

(a1) A segmental signifier — a phonemic string /s/ — that is joined to /R/. The sign

$$\mathbf{s} = \langle \text{'}\sigma\text{'} \,;\, /s/ \,;\, \Sigma_s \rangle,$$

which has /s/ as its signifier, is

1. a ***root*** (or a **stem**)
or
2. an ***affix***.

Depending on this, the corresponding morphological process is called ***composition*** or ***affixation***. A particular case of composition is known as ***incorporation***: composition of roots/stems of different parts of speech, basically of the type N+V or A+N; see example (8) below. Note that the existence of so-called "combining forms" (*pseudo-*, *astro-* or *-cracy*, *-burger*, etc.), i. e. elements that appear exclusively in composition, does not change the picture: from the viewpoint that interests us here, some of them can be identified with (bound) roots and the others with affixes.

(a2) A suprasegmental signifier — a prosodic configuration $/_\overset{x}{_}_/$ — that is superposed onto /R/, more precisely, is associated with one particular syllable or syllables of /R/. The sign

$$s = \langle \text{'}\sigma\text{'}\ ; /_\overset{x}{\ }_/\ ; \Sigma_s \rangle,$$

whose signifier is a suprasegmental, is

3. a ***suprafix***.

The corresponding morphological process is ***suprafixation***.

(b) If 'σ' is expressed by an operation which modifies /R/, this operation can be:

(b1) A substitution $/R/ \Rightarrow \mathbf{f}(/R/)$, where **f** is an operation of iteration (= copying) /R/ or a part of it, is called ***replication₁***. The sign

$$s = \langle \text{'}\sigma\text{'}\ ; /R/ \Rightarrow \mathbf{f}(/R/)\ ; \Sigma_s \rangle,$$

whose signifier is a replication$_1$, is

4. a ***replica***.

The corresponding morphological process is ***replication$_2$***. A replication$_2$ creates a segmental copy of (a part of) /R/ and adjoins it to /R/. (The most typical particular case of replication$_2$ is reduplication$_2$, see below, **3.3.4.**)

(b2) A substitution which is not an operation of iteration, i. e. $/X/ \Rightarrow /Y/$, substitutes a string of phonemes or a configuration of prosodemes for another such string or configuration; this is called ***alternation.*** The sign

$$s = \langle \text{'}\sigma\text{'}\ ; /X/ \Rightarrow /Y/\ ; \Sigma_s \rangle,$$

whose signifier is an alternation, is

5. an ***apophony***[7].

The corresponding morphological process is ***modification***. (On the next step of the proposed typology, we have of course to distinguish between segmental and suprasegmental modifications: see **3.3.5**)

B. The meaning 'σ' is expressed by CHANGING THE SYNTACTICS Σ_R of the stem. This can be done in one way only — through a substitution $s_i \Rightarrow s_j$, which replaces some syntactics feature(s) s_i of Σ_R by some other features s_j; such a substitution is called a ***conversion$_1$***. The sign

$$s = \langle \text{'}\sigma\text{'};\ s_i \Rightarrow s_j\ ; \Sigma_s \rangle,$$

whose signifier is a conversion$_1$, is

6. a ***conversion$_2$***.

The corresponding morphological process is ***conversion$_3$***.

3.2. Major Types of Morphological Processes

To sum up, the six major types of morphological processes are as follows:

Processes using signs whose signifier is an entity

Processes using signs whose signifier is a segmental entity

Process using roots/stems:

composition, including **incorporation**

Process using affixes:

affixation

Process using signs whose signifier is a suprasegmental entity:

suprafixation

Processes using signs whose signifier is an operation

Processes using signs whose signifier is an operation on signifiers

Process using signs whose signifier is a substitution that deals with copies of the operand:

replication$_2$

Process using signs whose signifier is a substitution that does not deal with copies of the operand:

modification

Process using signs whose signifier is an operation on syntactics:

conversion$_3$

What has just been said can be summed up in the following table:

SIGNIFIER	SIGN	MORPHOLOGICAL PROCESS
a segmental unit	root	composition / incorporation
a segmental unit	affix	affixation
a suprasegmental	suprafix	suprafixation
a replication$_1$	replica	replication$_2$
an alternation	apophony	modification
a conversion$_1$	conversion$_2$	conversion$_3$

These major types of morphological processes are of course susceptible of further subdivisions, in accordance with the subdivision of major sign types.

3.3. Brief Survey of Morphological Processes

The definitions of morphological processes considered are not explicitly stated here, since most of them are of the trivial form: "*X-ation* is a morphological process which uses signs of the corresponding type X".

3.3.1. Composition

(7) **a**. Regular composition of the N+N type is typical of German:

Gemeinde		+ ***wald***	***Zeitung***	+ s +	***aufsatz***
community		forest	newspaper		article
Phrase	+ n +	***grenze***	***Deklination***	+ s +	***form***
phrase		boundary	declination		form

In the three last examples we find interfixation as well, see **3.3.2**, (9c).

b. Regular composition of the A+A type (with the interfixation of **-o-**) is typical of Russian:

krasn	+ *o* +	***bel***(+*yj*)	***ser***	+ *o* +	***golub***(+*oj*)
red		white	grey		light.blue
nemeck	+ *o* +	***russk***(+*ij*)	***kitajsk***	+ *o* +	***grečesk***(+*ij*)
German		Russian	Chinese		Greek

(8) **a**. Regular incorporation of the N+V type is typical of Chukchee (Chukchee-Kamchadal, Chukotka, Russia):

Ekke	+ *te*	*tekicɣ*	+ *ən*	*Ø*	+ *ren*	+ *Ø*	+ *nin*	+	*Ø*
son	SG.INSTR	meat	SG.NOM	3SG.SUBJ	bring	AOR	3SG.SUBJ –3OBJ		3SG.OBJ

'[His] son brought meat to him' [describing an actual event or events].

vs.

Ekək	+ *Ø*	*Ø*	+ ***tekicɣə***	+ *ret*	*Ø*	+ *ɣʕi*
son	SG.NOM	3SG.SUBJ	meat	bring	AOR	3SG.SUBJ

lit. '[His] son meat-brought = was bringing meat' [describing habitual activity of the son].

[The incorporation of the direct object into a transitive verb makes it intransitive. This entails switching from an ergative construction, which we find in the first sentence of (8a), to a nominative construction, found in the second sentence of (8a), as well as changes in the choice of personal suffixes on the verb.]

b. A case of incorporation of the A+N type is found in Russian:

partijnoe	*sobranie*	*stroitel'nye*	*raboty*	*literaturnoe*	*ob"edinenie*
party	meeting	construction	works	literary	association

vs.

partsobranie	*strojraboty*	*litob"edinenie*

[The adjective undergoes first a (meaningless) truncation which retains, roughly speaking, the first syllable and the consonant onset of the second one; the result is an incorporating allomorph of the adjectival stem.]

As indicated above, composition, including incorporation, is the only nongrammatical morphological process.

3.3.2. Affixation

Affixes are classified according to the following two features:
– Do they interrupt roots (or other morphological elements)?
– Are they interrupted themselves?
As a result, four classes of affixes are distinguished (Mel'čuk 1963, 1982: 82), which gives us four major types of affixation.

(9) **Confixation**, where affixes do not interrupt roots and are not interrupted themselves:

a. **Suffixation**, with affixes following the root, as in Turkish:

gör	+ ***mü***	+ ***yor***	+ ***du***	+ ***k***	'We were not seeing'
see	NEG	PROGR	PAST	1PL	
ev	+ ***ler***	+ ***i***	+ ***n***	+ ***dan***	'from his/her houses'
house	PL	3SG	link.element	ABL	

b. **Prefixation**, with affixes preceding the root, as in Koryak (Chukchee-Kamchadal, Kamchatka, Russia):

tə	+ ***ku***	+ *lle*	+ *γi*		'I lead thee'
1SG.SUBJ	PRES	lead	2SG.OBJ		
Ø	+ ***ku***	+ *lle*	+ *n*	+ *et*	'Thou leadest them two'
2SG.SUBJ	PRES	lead	3SG.OBJ	DUAL	

c. **Interfixation**, with affixes that are positioned between two roots, as in Russian, where the interfix **-o-** marks composition of adjectives[8]:

naučn	+ ***o*** +	*texničesk*(+*ij*)	*voenn* + ***o*** +	*promyšlenn*(+*yj*)	
scientific		technological	military	industrial	
social'n	+ ***o*** +	*èkonomičesk*(+*ij*)	*krasn* + ***o*** +	*bel*(+*yj*)	
social		economical	red	white	

Cf. the interfixation of *-n-* and *-s-* in the German examples and that of *-o-* in the Russian examples in (7).

(10) **Infixation**, where affixes interrupt roots or other morphological elements but are not interrupted themselves, as in Tagalog (Austronesian, Philippines), where the infixes **-um-** and **-in-** express, respectively, the active and the passive:

		PAST	PRESENT
active	'[to] kill'	*p* + ***um*** + *atáy*	*p* + ***um*** + *ápatáy*
	'[to] write'	*s* + ***um*** + *ulat*	*s* + ***um*** + *usulat*
passive	'[to] be killed'	*p* + ***in*** + *atáy*	*p* + ***in*** + *ápatáy*
	'[to] be written'	*s* + ***in*** + *ulat*	*s* + ***in*** + *usulat*

[The present is expressed by the reduplication$_1$ of the first syllable of the root: *patáy*, *sulat*. Note that in the present the infix interrupts the ***replicate***, that is, the copy of a part of the root created by this reduplication$_1$.]

(11) **Circumfixation**, where affixes do not interrupt roots but are interrupted themselves, as in Malay, where the circumfix **ke-...-an** means '[to] be like...':

ke + *cina* + ***an***	***ke*** + *anak-anak* + ***an***	***ke*** + *anakangkat* + ***an***
Chinese	doll	adopted.child
'[to] be like a Chinese'	'[to] be like a doll'	'[to] be like an adopted child'

(12) **Transfixation**, where affixes interrupt roots and are interrupted by elements of roots themselves, as in Arabic, where the transfix **-a-a-** means 'active perfective', the transfix **-u-i-** —'passive perfective', etc.:

ACTIVE		PASSIVE
*r-**a**-s-**a**-m(+a)*, from *r-s-m* '[to] draw' 'he has drawn [a drawing]'	~	*r-**u**-s-**i**-m(+a)* 'he/it has been drawn'
*ḍ-**a**-r-**a**-b(+a)*, from *ḍ-r-b* '[to] hit' 'he has hit'	~	*ḍ-**u**-r-**i**-b(+a)* 'he / it has been hit'
*q-**a**-t-**a**-l(+a)*, from *q-t-l* '[to] kill' 'he has killed'	~	*q-**u**-t-**i**-l(+a)* 'he / it has been killed'

3.3.3. Suprafixation

There are two major subtypes of suprafixation:

Accentual suprafixation, for which I do not have an example (cf. Footnote 9).

(13) **Tonal suprafixation**, as in Ngbaka (Adamawa-Eastern family, Central African Republic), where specific tones express verbal tenses:

	PRESENT	PERFECT	IMMED. FUTURE	FUTURE
'[to] arrange'	*ā*	*à*	*ǎ*	*á*
'[to] cleanse'	*wā*	*wà*	*wǎ*	*wá*
'[to] turn'	*kpōlō*	*kpòlò*	*kpǒlǒ*	*kpóló*

3.3.4. Replication$_2$

Replication$_2$ creates a ***replicate*** — a string of phonemes that is a copy of the ***replicand***, this latter being a part of the replication$_2$ ***base*** (= root plus perhaps other signs), and places the replicate to the right, to the left or inside of the base. In other word, replication$_2$ iterates a designated part of the wordform in question and includes the copy into the wordform. Replications$_2$ are classified according to the following seven features:

- Number of iterations: reduplication$_3$ (one copy is created), triplication$_3$ (two copies are created), quadruplication$_3$...
- Simple *vs.* complex (the replication$_2$ base consists of one / of more than one sign)
- Total *vs.* partial (the whole replicand / only part of it is iterated)
- Exact *vs.* non-exact (the replicand is iterated with / without modification)
- Contiguous *vs.* distant (the replicate is / is not in contact with the base)
- Left *vs.* right (the replicate is placed left/right of the base)
- Continuous *vs.* discontinuous (the copy does not interrupt / interrupts the base)

As a result, there are 64 arithmetically possible types of reduplications$_3$ and as many types of triplications$_3$; by far most widespread are reduplications$_3$. Three types of replication$_2$ are illustrated below, with replicates boldfaced.

(14) In Kazakh (Turkic), a simple total non-exact contiguous right continuous reduplication$_3$ expresses the meaning 'rather lousy X and things related to it':

'tea'	*šaj*	~	*šaj-**paj***
'book'	*kitap*	~	*kitap-**mitap***
'bread'	*nan*	~	*nan-**pan***

(15) In Bafia (Bantu, Cameroon), a complex total non-exact contiguous left continuous reduplication$_3$ expresses the iterative (in the immediate and recent past; accents indicate tones; without this reduplication$_3$ the form is habitual):

à	+ *á*	+ *kàn*	+ *gàʔ*	~	*à* +*á* + ***kàn*** +***gaa*** +*kàn* + *gàʔ*
classI	IMM.PAST	write	INDEF		
'He used to write'					''He wrote repeatedly'
à	+ *á*	+ *ɓee*	+ *γàʔ*	~	*à* + *á* + _***ee*** + ***γaa*** + *ɓee* + *γàʔ*
classI	IMM.PAST	fry	INDEF		
'He used to fry'					'He fried repeatedly'

(16) In Mayali (Australian), a simple partial non-exact contiguous left continuous triplication$_3$ expresses the meaning (ecological zone where many Xs are found):

'dry place'	*gu* +*berrk*	~	*gu* +***beʔ*** +***be*** +*berrk*
'seasonal swamp'	*an* +*bowk*	~	*an* +***boʔ*** +***bo*** +*bowk*

3.3.5. Modification

The sign type used by modification is **apophony**. Apophonies are first classified according to the nature of the signifiers transformed: they are segmental or suprasegmental.

Segmental modifications are further subdivided, depending on the nature of the alternation which is their signifier, into **replacements$_2$** (of phonemic strings or phonemic features), **truncations$_2$** and **permutations$_2$** (of phonemic strings).

(17) Segmental apophony — **replacement$_2$**: nominal plural formation in Romanian

	SINGULAR		PLURAL
'thief'	*hoţ* /hóc/	~	*hoţi* /hóc'/
'man'	*bărbat* /bərbát/	~	*bărbaţi* /bərbác'/

'wolf'	*lup* /lúp/	~	*lupi* /lúp'/
'bear'	*urs* /úrs/	~	*urşi* /úrš'/

(18) Segmental apophony — **truncation₂**: pejorative augmentative formation in Polish (Szymanek 1989: 95)

AUGMENTATIVE
('big/much and bad')

'bread roll'	*bułk(+a)*	~	*buł(+a)*
'vodka'	*wódk(+a)*	~	*wód(+a)*
'barrel'	*beczk(+a)*	~	*bek(+a)*

[We observe in the last example a "reverse" alternation *cz* /č/⇒*k*: Since in regular derivation the final /k/ of a stem alternates with /č/ before a suffixal /k/, as in *rzek(+a)* 'river' ~ *rzecz +k(+a)* 'small river', etc., the phoneme /č/ *cz* in *beczk(+a)*, which IS NOT a result of /k/⇒/č/ alternation, is replaced by /k/ when the following /k/ is removed — by (false) analogy.]

(19) Segmental apophony — **permutation₂** (traditionally known as metathesis): incompletive aspect and indefinite noun formation in Rotuman (Eastern Oceanic)

a.	COMPLETIVE		INCOMPLETIVE
'[to] decide'	*pure*	~	*puer*
'[to] shoot'	*futi*	~	*fuit* ⇒ *füt*
'[to] sweep'	*tɔfi*	~	*tɔif* ⇒ *tœf*

b.	DEFINITE		INDEFINITE
'canoe'	*vak*	~	*vak*
'banana'	*futi*	~	*fuit* ⇒ *füt*
'young shoot'	*rito*	~	*riot* ⇒ *ryot*

Suprasegmental apophonies are subdivided depending on the nature of the suprasegmentals involved: accentual *vs* tonal apophonies.

(20) **Accentual** apophony: "passive" adjective formation in Tagalog (Austronesian, Philippines)

	noun		"passive" adjective	
'knowledge'	*álam*	~	*alám*	'known'
'heat'	*ínit*	~	*inít*	'heated'
'dispersion'	*kálat*	~	*kalát*	'dispersed'

(21) **Tonal** apophony: oblique case formation in Maasai (Eastern Nilotic) [the symbols ´, ` and ^ denote, respectively, high, low and falling tones; the mid tone is not marked]

	NOMINATIVE		OBLIQUE		NOMINATIVE		OBLIQUE
'horse'	*embártá*	~	*embartá*	'weapon'	*enarét*	~	*enārèt*
'dog'	*ildíéìn*	~	*ildíéîn*	'fork'	*eúmà*	~	*eúmâ*

3.3.6. Conversion$_3$

Conversions$_3$ are classified according to the type of the feature of the syntactics that is replaced: part of speech (= categorial), inflection / derivation type (= paradigmatic) or government / agreement (= rectional). Pure types are rare; in most cases, several different features of syntactics are changed simultaneously.

(22) **Categorial** conversion$_3$

By changing a noun denoting an artefact or substance 'X' into a verb, English expresses the meaning '[to] submit Y to the action of X for which X is designed or intended':

N	⇒	V	N	⇒	V
[*a*] *bomb*	~	[*to*] *bomb*	[*a*] *hammer*	~	[*to*] *hammer*
salt	~	[*to*] *salt*	*oil*	~	[*to*] *oil*

(23) **Paradigmatic** conversion$_3$

By changing the nominal class of a noun, Kirundi (as the majority of Bantu languages) expresses its plural (nominal class prefixes are boldfaced):

a.	class XI, SG	⇒	class XII, PL
'river'	*u* +***r***+ *uzi*	~	*i* +***nz*** +*uzi*
'needle'	*u* +***ru*** + *shinge*	~	*i* +***n*** +*shinge*
'piece of wood'	*u* +***ru*** + *sate*	~	*i* +***n*** +*sate*

Class conversions$_3$ are also widely used in Kirundi to express diminutive, augmentative, pejorative augmentative, singulative, etc.; e. g.:

b. class XVI ⇒ class XI, SINGULATIVE

'beard'	*u* + ***bw*** + *anwa*	~	*u* + ***rw*** + *anwa*	'a hair of beard'
'necklace'	*u* + ***bu*** + *dede*	~	*u* + ***ru*** + *dede*	'a bead of necklace'
'ants'	*u* + ***bu*** + *nyegeri*	~	*u* + ***ru*** + *nyegeri*	'an ant'

(24) **Rectional** conversion$_3$
By changing the gender (and therefore the agreement pattern) of a feminine noun meaning 'X' to masculine, Spanish expresses the meaning 'agent essentially related to X':

feminine gender ⇒ masculine gender

'police'	[***la***] *policía*	~	[***el***] *policía* 'policeman'
'defense'	[***la***] *defensa*	~	[***el***] *defensa* 'full-back [soccer]'
'sword'	[***la***] *espada*	~	[***el***] *espada* 'matador [bull-fighting]'

Categorial and rectional conversions$_3$ are used rather for word formation: their application produces a new lexeme. Paradigmatic conversions$_3$ can be used both for inflection (23a) and word formation (23b), i. e. the application of a conversion$_3$ can produce a different form of the same lexeme. Let me give another example of paradigmatic conversion$_3$ used in inflection:

(25) In Spanish, inverting the conjugation group of a verb expresses the subjunctive in the present:

Ist conjugation	⇒	IInd conjugation
cant + ***a*** + *mos*	~	*cant* + ***e*** + *mos*
'we sing, PRES.IND'		'[that] we sing, RES.SUBJ'
pens + ***á*** + *is*	~	*pens* + ***é*** + *is*
'you [pl] think, PRES.IND'		'[that] you [pl] think, PRES.SUBJ'
IInd/IIIrd conjugation	⇒	**Ist conjugation**
com + ***e*** + *mos*	~	*com* + ***a*** + *mos*
'we eat, PRES.IND'		'[that] we eat, PRES.SUBJ'
duerm + ***e*** + *n*	~	*duerm* + ***a*** + *n*
'they sleep, PRES.IND'		'[that] they sleep, PRES.SUBJ'

3.4. Hierarchy of Morphological Processes

Grammatical morphological processes form the following hierarchy, based on the degree of naturalness from the viewpoint of linguistic

communication, or, as W. Dressler puts it, on the degree of their ***diagrammaticity***, i. e. transparent parallelism between the addition of meaning and the addition of sound (cf. Dressler 1987):

affixation 〉 suprafixation 〉 replication$_2$ 〉 modification 〉 conversion$_3$

Composition, being of a completely different semantic nature, does not belong to this hierarchy.

As we see, in this hierarchy, entities precede operations, segmental elements precede nonsegmentals, and more concrete phenomena precede more abstract ones.

Within each major class of morphological processes, the subclasses form a hierarchy of their own. Thus for affixation we have:

suffixation 〉 prefixation 〉 infixation 〉 transfixation

Or for modification:

replacement$_3$ 〉 truncation$_3$ 〉 permutation$_3$

These hierarchies are not very strict, especially on the boundaries of major classes. Thus affixation as a whole is semiotically better than suprafixation; but it is far from clear whether transfixation is superior to suprafixation (rather the opposite is true). Similarly, it is difficult to say whether truncation$_3$ is semiotically better than permutation$_3$, whether truncation$_3$ should really precede conversion$_3$, etc. It seems that overlapping in border areas is widespread.

The main problem is that some semiotic properties of morphological processes can be in conflict. Thus, conversion$_3$ is highly abstract and not transparent, and therefore semiotically wanting. At the same time, it is an extremely economical process, and therefore it is semiotically valued. Such contradictions explain the existence of what Dressler (1985b: 327) calls "Devil's cases": linguistic phenomena that, at first glance, seem semiotically not viable, such as **suppletion** (see **5.1**). Another consequence of these contradictions is the impossibility of stating the implications of the type "If $\mathcal{L}$ has a morphological process **P**, then it will have all the morphological processes $\mathbf{P}_i$ that are higher in the hierarchy". Thus, for instance, Vietnamese has conversion$_3$ and replication$_2$, but it has neither affixation nor modification. In any event, much more study is needed in this area.

The above hierarchies of morphological processes are established empirically, based on a few hundred languages of various types studied by many researchers. However, a number of theoretical explanations have been proposed for these hierarchies (see, e. g., Hawkins & Cutler

1988 and Hall 1988, where relevant references are given); these explanations are of three types: psycholinguistic, semiotic, and diachronic. Psycholinguistic explanations include such factors as lexical access in speech understanding, the importance of word onsets as retrieval and recall cues, the perceptibility/production of different linguistic elements, etc. Semiotic explanations invoke the number of signs which can be produced by using a particlar technique, the preservation of signifiers under different processes, etc[9]. Diachronic explanations capitalize on the facts like the following one: many grammatical signs arise historically from erstwhile lexical items that were modifiers, and modifiers predominantly follow their heads, so that they developed into suffixes; etc. All the three types of factors mentioned are of course intimately interwoven and may influence each other.

The value of the hierarchies of morphological processes is that they have certain predictivity. The higher a morphological process is in such a hierarchy, the higher are its chances of possessing the following six properties (Dressler 1982: 74–75):

— to be more frequent in languages of the world and in a given language;
— to be diachronically more stable;
— to be learnt earlier by speakers;
— to be lost later in aphasias;
— to be more favored by pidgins;
— to be more productive.

Thus, for example, suffixation is by far more common than other types of affixation and all the other morphological processes: suffixes are better retained in the history of a language, they are used by children at earlier stages of speech development, stay longer under aphasic disturbances, prevail in pidgins and are more productive. Being segmental units, affixes — and especially suffixes — are perceived as grammatical signs *par excellence*, all the others being somehow "secondary".

3.5. Morphological Processes and Language Types

The distribution of morphological processes in languages is related to language type (Dressler 1985b: 324): roughly speaking, the more pronounced the agglutinating character of $\mathcal{L}$, the higher is the probability that $\mathcal{L}$ will use, predominantly or exclusively, the morphological processes closer to the left edge of the relevant hierarchy. For

fusional languages the opposite is true. Thus, rather agglutinative Turkic languages capitalize on suffixation, admitting a little reduplication$_3$ and a little conversion$_3$, but no modification at all. On the other hand, Modern Germanic languages, being rather fusional, make extensive use of modification. But as almost always in natural language, these links are statistical correlations and by no means strict logical implications.

4. A Special Variety of Morphological Processes: Zero Processes

An inflectional meaning (= a grammeme), which is obligatory, can be expressed by the NON-APPLICATION of an expected morphological process — in a position where a grammeme is obligatorily present this is contrasted with the application of the process. Given the tendency of languages to economize speakers' efforts, this will often be the case. A meaningful absence is called "zero"; all morphological processes can use ***zero signs***, and those that do, are referred to as ***zero morphological processes***. The type of a zero sign is determined by the type of its non-zero counterpart; thus, the meaningful absence of a suffix is a zero suffix, a meaningful absence of an apophony is a zero apophony, etc. Here are three examples of zero morphological processes:

(26) **a. Zero *suffixation***

In Russian, the genitive plural of feminine nouns of the 1st declension is expressed by a zero suffix; cf. the forms of the noun STENA 'wall':

sten + *á* SG.NOM, *sten* + *ý* SG.GEN, *sten* + *é* SG.DAT,
stén + *u* SG.ACC, ..., *stén* + *y* PL.NOM, ..., etc.,

but

stén + ***Ø*** PL.GEN,

where the marker is a meaningful absence of a "physically" observable suffix, i. e. a zero suffix.

b. *Zero* modification

In English, the plural of *foot* is expressed by the *oo* ⇒ *ee* apophony; what then expresses the singular? Answer: the meaningful absence of any modification (of the basic form), which is a zero apophony. (Cf. the zero suffix of the singular in *book* + ***Ø***, *house* + ***Ø***, etc.)

c. Zero conversion$_3$

In Kirundi, the plural of the noun *u+r+uzi* 'river' [class XI] is expressed by changing its syntactics, namely by moving the corresponding root into the class XII, so that the resulting form is *i+nz+uzi*; what expresses the singular of this noun? Answer: the meaningful absence of any change in the syntactics (of the basic form: it remains in its inherent class, i. e. XI), which is a zero conversion$_2$.

Let it be emphasized that since zero processes are an extremely powerful descriptive device, we need stringent principles governing the use of zeroes; otherwise they will become morphologist's magical wand without any positive content (see the discussion of such principles, e. g., in Bergenholz & Mugdan 1978: 68–69; cf. also below, **6.2**). Among other things, since derivatemes are never obligatory, there cannot be derivational zeroes.

5. Three Current Fallacies Concerning Morphological Processes.

5.1. Suppletion is not a Morphological Process

One often sees an extra item on a list of morphological processes: **suppletion**. This is, however, a result of logical confusion: suppletion is not a linguistic sign but a relation between two signs; therefore it cannot be used by a morphological process. When, in order to express the meaning 'σ' applied to the sign **X**, the language £ uses a sign **Y** suppletive with respect to **X**, this is done precisely because 'σ' cannot be expressed by any morphological process: £ does not have a separate sign with the signified 'σ' which could be combined with **X**. Being highly irregular by its very nature, suppletion cannot be a morphological process, the latter being regular by definition. Cf. Mel'čuk 1994b.

5.2. Word-Manufacturing Methods are not Morphological Processes

Languages have a number of techniques used to construct new lexical units: **clipping** *(advertisement ⇒ ad, telephone ⇒ phone)*, **blending** *(br(eakfast) + (l)unch ⇒ brunch)*, **acronymization** *(Acquired Immune Deficiency Syndrome ⇒ AIDS)*, and **analogical formation** (Rus. *sovok* (Homo Soveticus = typical representative of Soviet population), using the element *sov-* from *sovetskij* and homophonous with *sovok* 'dust

pan'), etc. Aptly dubbed "word-manufacturing methods" (Szymanek 1989: 33), these phenomena, in sharp contrast to genuine morphological processes, are diachronic: they expand lexical stock by creating new words; yet they do not in themselves express meanings.

The case of **back-formation** (of the type *proofreading* ⇒ *to proofread*) is less obvious — but it is also a diachronic phenomenon, even if it can be highly productive and produce semantically predictable results. No sooner is a verb diachronically derived by backformation from an action noun than it becomes semantically primary with respect to this noun; thus *proofreading* is 'action of proofread', i. e. synchronically *proofreading* is derived from [*to*] *proofread.* The same holds for [*a*] *butcher* (historically, from Fr. *boucher*): the "back-formed" verb [*to*] *butcher* became semantically underlying for the noun, so that now [*a*] *butcher* means 'person who butchers animals...'; therefore, viewed synchronically, [*a*] *butcher* is derived from [*to*] *butcher* (by the same $conversion_3$ as [*a*] *gossip* is derived from [*to*] *gossip*, [*a*] *cook* from [*to*] *cook*, etc.). Cf. as well [*to*] *edit* "backformed" from *editor.* (Far from all backformations behave like this. For instance, the case of [to] TYPEWRITE, "back-formed" from TYPEWRITER, is different: here, the noun remains semantically underlying for the verb, since [*to*] *TYPEWRITE* means '[to] produce a text by means of a typewriter'.)

Being diachronic by their very nature, word-manufacturing techniques cannot be morphological processes, the latter being strictly synchronic.

5.3. Combinations of Morphological Processes?

On several occasions proposals have been made in the literature for COMBINATIONS of grammatical morphological processes, in the sense that two or more morphological processes are said to be used simultaneously to express one grammatical signified within a wordform. I think, however, that in most cases presented so far, especially in reference books and manuals, we do not have two or more morphological processes, but rather either a single ("complex") morphological process or a morphological process plus some meaningless accompanying phenomena.

To illustrate my point, I will consider two major classes of proposed combinations of morphological processes:

1) different types of confixes used simultaneously;

2) a confix used simultaneously with a modification.

Further combinations could be of course considered as well: confix + suprafix, confix + $conversion_3$, etc.; I will limit myself just to the two classes indicated since the other combinations do not add anything logically different.

A typical example of the first class is as follows:

(27) In Tzutujil (Mayan, Guatemala), a transitive verb is said to be detransitivized by applying simultaneously infixation and suffixation (Bauer 1988b: 21):

'[to] buy [something]' *loq'* ~ '[to] be involved in buying' *lo* + *j* + *q'* + ***o?m***,

with the infix **-j-** and the suffix **-o?m**.

But in Tzutujil *-o?m* does not occur without *-j-*, and *-j-*, when it occurs without *-o?m*, marks the passive rather than the detransitive, so that this is a different morph. Therefore, in my opinion, Tzutujil uses here a single morph — the transfix **-j-o?m** (whose component *-j-* is, in all probability, diachronically related to the passive infix **-j-**).

What we observe in this case, as in many similar ones, is a SINGLE elementary linguistic sign. Its structure is perhaps etymologically complex; however, synchronically, its parts are not used separately, so that it is now a simplex and should be treated as such. To ensure such a treatment, I posit the Principle of the Single Morphological Process, see **6.1**.

A typical example of the second class is as follows:

(28) In Welsh (Celtic, Britain), "one of the ways of forming the plural is vowel change plus a suffix" (Bauer 1988b:21):

	SINGULAR	PLURAL
'garden'	*gardd*	*gerdd* + *i*
'giant'	*cawr*	*cewr* + *i*
'hour'	*awr*	*or* + *iau*

Yet the internal vowel change in (28) is, in my view, not a sign and therefore it does not represent a morphological process: the suffix is sufficient in itself to express the plural, so that a vowel change observed in the three pairs above is a meaningless alternation accompanying the plural-marking suffix. This description follows from the Principle of the Single Morphological Process, see again **6.1**.

In this, as well as in all similar cases, we see the application of two morphological means: a segmental unit (= a phonemic string) and a

phonemic substitution; of these, only one — the phonemic string — is admitted to the status of a signifier, so that only one sign is present here: the suffix; cf. the Principle of the Higher Morphological Process. Therefore, (28) presents just one morphological process using this linguistic sign; the alternation observed is for me a contextually-induced morphological means, expressing no meaning.

Yet in the Welsh nouns which have no plural suffix in the plural such alternations ARE signifiers and represent morphological processes: 'swan' ***alarch ~ elyrch***, 'ray' ***paladr ~ pelydr***, etc. They are admitted to this status because the forms in question show no "better" morphological process. (We cannot postulate a zero plural marker here: this follows from the Principle of Zero as the Last Resort, see **6.2**.)

Nevertheless, situations in which a grammeme can be simultaneously expressed within the same wordform by more than one morphological process do exist, although such situations are probably rather infrequent. Here is an example:

(29) Alutor (Chukchee-Kamchadal, Kamchatka, Russia; Mel'čuk 1973: 58–65):
the verb JUNAT+(*ək*) '[to] live', in the present

	INDICATIVE	IMPERATIVE	CONDITIONAL
1sg	*tə+junatə+tkən*	*mə+junatə+tkən*	*tə+ʔ+junatə+tkən* ⇒ *tajunatətkən*
2sg	*Ø+junatə+tkən*	*qə+junatə+tkən*	*mə+ʔ+junatə+tkən* ⇒ *majunatətkən*
3sg	*Ø+junatə+tkən*	*nə+junatə+tkən*	*nə+ʔ+junatə+tkən* ⇒ *najunatətkən*

[the suffix **-tkən** marks the present]

The grammeme 'conditional [mood]' is expressed in a verbal wordform twice: by the prefix **ʔ-** and by a special set of personal prefixes, which are different from the personal prefixes of the two other moods — the indicative and the imperative. The indicative and the imperative, unlike the conditional, have no separate marker, so that their personal prefixes must be taken to express the mood cumulatively, i. e. together with the person and the number:

t- '1sg.subject, ind'	**m-** '1sg.subject, imper'
Ø- '2sg.subject, ind'	**q-** '2sg.subject, imper'
Ø- '3sg.subject, ind'	**n-** '3sg.subject, imper'

Considerations of symmetry require the inclusion of the grammeme of mood into the signified of the conditional personal prefixes as well:

t- '1sg.subject, cond'
m- '2sg.subject, cond'
n- '3sg.subject, cond'

As a result, 'conditional' is expressed in an Alutor verbal form twice: by the conditional mood prefix ʔ- and the conditional person-number prefix.

Duplication (= repeated expression) of information is typical of natural languages. No doubt similar duplication should be present equally among morphological processes applied WITHIN ONE WORDFORM. But subtler analyses and more accurate descriptions are needed in order to find reliable facts.

6. Non-Uniqueness of Morphological Solutions in Regard to Morphological Processes: Methodological Principles

Identifying specific morphological processes that have been applied in an actual utterance can be a tricky business: one often has to distinguish between a morphological process and the use of a (meaningless) morphological means (**6.1**) or between two or more different morphological processes (**6.2**). In order to be consistent in the decisions he takes in different cases and in different languages, the linguist has to follow methodological principles; in this section, I will propose seven such principles.

6.1. A Morphological Process or a (Meaningless) Morphological Means?

In Germ. *Vater* 'father' ~ *Väter* 'fathers' the alternation *a* ⇒ *ä* marks the plural, which has no other explicit mark; therefore, this is a morphological process, namely, a modification (which uses an "Umlaut" apophony). But what about *Nacht* 'night' ~ *Nächt+e* 'nights'? Here the plural is marked by the suffix **-e**, which sometimes is and sometimes is not accompanied by the alternation of the type *a* ⇒ *ä* in the stem (cf. *Brief* 'letter' ~ *Brief+e* 'letters' or *Tag* 'day' ~ *Tag+e* 'days', etc.). On the other hand, the Umlaut in *Nacht-* is not necessarily connected with plural, either: cf. the adjective *nächt+lich* 'nightly' and the diminutive *Nächt+chen*. Is then the alternation *a* ⇒ *ä* in *Nächt+e* also a plural marker — that is, more precisely, is it an apophony whose signifier is *a* ⇒ *ä* and which expresses the plural together and simultaneously with the suffix?

The answer depends on the methodological principle posited for morphological description. Either any observable phenomenon related to the expression of a meaning is taken to be its marker ("maximalist's", or ***-etic***, approach); or only one of observable phenomena related to the expression of a meaning is taken to be its marker, all the others being considered as meaningless accompaniers ("minimalist's", or ***-emic***, approach; the terms *-etic* and *-emic* are used here in the sense of Pike 1967). In my view, the second principle contributes to the simplicity of morphological (and more generally, linguistic) descriptions, and I will state it as part of the Meaning-Text theory:

1. Principle of a Single Morphological Process:

> Among several morphological phenomena related to the expression of a meaning, try to choose only one as a marker for the meaning in question, relegating all the others to the status of conditioned accompaniers.

If Principle 1 is accepted, then, for instance, in the wordform *children* the only marker of the plural is the (unique) suffix **-ren**, and the substitution /a^{i}/ ⇒ /i/ (/ca^{i}ld/ ~ /čild/) is considered (*contra* Bauer 1988b: 21) to be a meaningless accompanying alternation. (Or else one can choose as suffix only **-en**, treating *-r-* as result of another meaningless alternation in the stem: an incrementation.) Analogously, in Rus. *syn* 'son' ~ *synov'j+a* PL.NOM the only marker of the plural nominative is the suffix **-a**, as in hundreds of Russian nouns; the element *-ov'j-*, found in this plural form, is considered to be the result of a meaningless incrementation alternation accompanying the suffixation. (Cf. (28) above.)

The price to pay for such a treatment is that one and the same linguistic phenomenon can be described in similar circumstances in two different ways. Thus, the substitution *a* ⇒ *ä* is taken to be an apophony (i. e. a sign, and thus an operand of a morphological process) in *Vater ~Väter* but a meaningless accompanying alternation in *Nacht ~ Nächte* (and thus not a result of a morphological process). But then the fact that the same or very similar phenomena may play very different roles in different contexts is well known in natural languages.

NB: What are called here 'meaningless accompanying phenomena' are actually results of application of morphonological rules. Accompanying phenomena are by no means useless in language, but play a rather important semiotic role: they 'co-signal' (Dressler 1985a, esp. Ch. 10) the meanings in question.

6.2. Which Morphological Process?

Very often a given morphological phenomenon can be described, from a purely logical viewpoint, in terms of more than one alternative morphological processes. Here are three typical examples.

(30) **a.** Transfixation or modification?
Ar. *katab*(+*a*) 'he wrote' ~ *kutib*(+*a*) 'it was written' can be presented as either transfixation of **-a-a-** vs. **-u-i-** applied to the root **k-t-b** or as multiple modification (apophonies $a \Rightarrow u$ and $a \Rightarrow i$) applied to the unalyzable stem **katab-** (Kilani-Schoch & Dressler 1984).

b. Modification or affixation?
Rom. *copac* /kopák/ 'tree' ~ *copaci* /kopáč'/ 'trees' can be presented as either modification (a plural apophony /k/ ⇒ /č'/) or affixation, where the plural is expressed by the suffix **-i** /j/, the substitution /k/ ⇒ /č'/ being an empty accompanying alternation triggered by this /j/ (which "disappears", so to speak, fused with the stem).

c. Conversion$_3$ or zero affixation?
Eng. [*a*] *bomb* ~ [*to*] *bomb or sugar* ~ [*to*] *sugar* can be presented as either conversion$_3$ or zero affixation, where the meaning '[to] submit to the action of X for which X is designed' is expressed by a zero suffix **-Ø**$_{\text{SUBMIT}}$.

These are situations of non-uniqueness of morphological solutions, so typical of natural languages. To resolve them, the researcher needs to proceed from a series of methodological principles, similar to the one stated above. It is impossible to go deeper into this topic here; therefore, only six such principles will be stated to serve as an illustration: one very general, and the five others, more specific.

2. Principle of Internal Linguistic Consistency

> Everything else being equal, prefer the description couched in terms of the morphological process that is more consistent with other phenomena observed in the language.

Clearly, this trivial principle requires a special study in depth for every difficult case.

3. Principle of the Single Morphological Process

> Everything else being equal, prefer the description couched in terms of one morphological process using one segmental sign A with a specific meaning rather than in terms of a compositional combination of several signs A_1, A_2, ..., A_n (such that $\oplus$ $\{A_i\}$ = A) — provided they do not appear separately with the corresponding parts of the meaning.

In German, the past participle is formed by the single circumfixes **ge-...-t** and **ge-...-en** (*frag(+en)* '[to] ask' ~ ***ge+frag+t*** or *find(+en)* '[to] find' ~ ***ge+fund+en***) — rather than by combinations of a prefix with a suffix: although the prefix **ge-** and the suffixes **-en** and **-t** exist, they do not express by themselves — generally speaking — the meaning of participle (**ge-** expresses the collectivity; **-en**, the infinitive or 1pl / 3pl; **-t**, 3sg [10]). The signs of this type can naturally be called sign complexes; they are essentially similar to such idiomatic expressions as [*to*] KICK THE BUCKET or [*to*] SHOOT THE BREEZE.

4. Principle of the Higher Morphological Process

> Everything else being equal, prefer the description couched in terms of the morphological process that is higher in the relevant hierarchy (see **3.4**).

Thus, transfixation should be preferred over modification in (30a). Note the importance of the restriction "everything else being equal". Thus, in the case of Eng. *foot* ~ *feet* I prefer an analysis in terms of modification (apophony *oo* ⇒ *ee*) rather than of infixation of *-oo-* and *-ee-* into the root *f-t*: because obvious infixes do not occur in English and *f-t* is not related to the meaning of 'foot' (cf. *fat*, *feat*, *fit*, *fort*, *fought*, *fart*, etc.).

5. Principle of the More Visible Morphological Process

> Everything else being equal, prefer the description couched in terms of the morphological process that is "more visible" in the relevant form (i. e., do not postulate an abstract process when there is a candidate which is actually observable).

Thus, modification (using an apophony) should be preferred over suffixation in (30b), since the phonemic substitution is directly observable, while the suffix has to be postulated as an abstract entity.

A particular case of Principle 5 is Principle 6:

6. Principle of Zero as Last Resort

> Everything else being equal, prefer the description couched in terms of a non-zero morphological process (i. e., do not postulate a zero where some "physically" observable phenomenon is present).

Thus, conversion$_3$ should be preferred over zero affixation in (30c)[11]. More specifically, as far as zero affixes are concerned, further specific principles are involved, e. g., Haas' Principle (Haas 1957), which requires, among other things, that a zero affix should contrast in the given position with a non-zero affix; no zero affixes for derivatemes (cf. Section **4**); etc.

7. Principle of the Most General Morphological Process

> Everything else being equal, prefer the description couched in terms of the most general morphological process, i. e. the process applicable in most, if not all, cases of the same type.

In the Russian abstract noun *šir′* 'wide space', derived from the adjective *šir(+ok+ij)* 'wide', two morphological phenomena are observable which can be described in terms of a categorial-paradigmatic conversion$_3$ (A ⇒ N) plus a modification of palatalization (*r* ⇒ *r′*) ; the situation is similar with respect to a few more nouns, such as *rvan′* 'torn things' ~ *rvan(+yj)* 'torn', etc. What is the morphological process used here? Modification is higher than conversion$_3$ and more visible, too; according to Principles 4 and 5 it should be preferred as the sign which expresses the derivateme in question. However, Principle 7 precludes this solution: conversion$_3$ here is more general, since it is used also for nouns derived from adjectives whose roots end in a palatalized consonant and where palatalization is thus physically impossible (i. e. invisible): *ran′* 'early hours' ~ *rann(+ij)* /ran′/, *sin′* 'blue space' ~ *sin+ij)* /s′in′/, etc. Therefore, in conformity with Principle 7, all such Russian formations are described in terms of conversion$_3$, while palatalization (where it occurs) is taken to be an accompanying meaningless alternation.

As one can easily see, different methodological principles can be in conflict, so that more principles are needed to guide our choices in such cases. Of course, the principles themselves have to be justified, and this

can be done only by reference to the generality, simplicity and elegance of the resulting description.

Acknowledgments

As is always the case, the very first draft of the paper was read and criticized by L. Iordanskaja and N. Pertsov; the subsequent versions underwent the scrutiny of W. Dressler and Ch. Hall; the final text was gone through once again by L. Iordanskaja and N. Pertsov, and then by D. Beck and V. Turovskij. I extend my most cordial gratitude to all of them, while assuming full responsibility for any incoherence or clumsiness that remains.

Notes

[1] I do not know who first introduced the term *morphological process* and when this happened. Personally, I learnt it from Sapir's *Language* (1921). Let me emphasize that in Russian it should be *морфологический СПОСОБ; morphological means* is of course *морфологическое средство.* — In Mel'čuk 1982: 77 I defined 'morphological process' in a different way: as an elementary sign which expresses a grammatical meaning within a wordform. Since then, I have changed my views: a sign which expresses a grammatical meaning is now quite naturally called a *grammatical sign*, while a *morphological process* is considered to be the application of a sign which is not necessarily grammatical (thus, one of morphological processes is composition, and composition deals with lexical signs, i. e. roots / stems).

[2] Syntactic features in the syntactics of a lexical unit L specify a range of syntactic constructions in which L can participate.

[3] Composition (as well as its particular case, incorporation) is lexicalization since it selects a lexeme for a given meaning under given conditions. However, while 'ordinary' lexicalization puts the lexemes selected into the Deep-Syntactic Structure of the sentence being synthesized, composition — as 'special' lexicalization — puts the lexeme it chooses into a wordform being synthesized.

[4] Formally, one could consider the complex ending **-lis** as a single dative suffix and thus try to avoid replacive signifieds. However, such a solution would not work because the form of the dative mechanically retains all the "irregularities" of the ergative: if the ergative is built on a suppletive stem, the dative has the same stem; if the ergative has a non-standard alternation, so does the dative; etc. Therefore, if we decide to consider **-lis** as a single dative suffix, we will be obliged to repeat for it all the restrictions concerning

the ergative. Moreover, we will have to repeat them again and again for each "complex" suffix of each secondary case — and there can be a couple of dozens of secondary cases!

[5] Let me mention here at least a few, beginning with the classic Sapir 1921: 61ff.; see Nida 1961: 62–77 — under the heading "Types of Morphemes", Reformatskij 1967: 263–310, Bulygina 1972, Matthews 1978: 116–135, Bergenholz & Mugdan 1979: 58–73 — under the heading "Morphological Constructions", Mel'čuk 1982: 77ff., Majewicz & Pogonowski 1984 ("Moods of expression"), Bauer 1988a: 19–42, Szymanek 1989: 32–105, etc. Cf. also the discussion in Anderson 1990: 284–286.

[6] Changing only the signified of a sign, we would obtain **polysemy**, i. e., two homophonous signs:

$$\mathbf{R} = \langle \text{'R'} ; /R/ ; \Sigma_{\mathbf{R}} \rangle \text{ and } \mathbf{w} = \langle \text{'R}\oplus\sigma\text{'} ; /R/ ; \Sigma_{\mathbf{R}} \rangle$$

(for instance, **R** = **quality** 'degree of goodness' [*merchandise of excellent / poor quality*] and **w** = **quality** 'high quality' [*quality products*]).

[7] To avoid all misunderstandings, let me emphasize that the term *apophony* is used in my terminological system in a different way from its common use in historical linguistics, in particular, in the comparative grammar of Indo-European languages. Here apophony means 'significative alternation'.

[8] Note that:

1. The signified of an interfix is purely syntactic (similar to that of a syntactic case): it indicates that the preceding stem has entered into a particular configuration with the following one.

2. The term *interfix* is also commonly used in quite a different sense: to designate empty suffixes, as **in-** in Rus. *Jalt*(*-a*) (a town in Crimea) ~ *jalt*+**in**+*sk*(*-ij*) 'of Jalta' [cf. *Berlin* ~ *berlin*+*sk*(*-ij*)] or **ic-** in It. *prat*(*-o*) 'meadow' ~ *prat*+**ic**+*in*(*-o*) 'meadow, DIMINUTIVE' [cf. *pied*(*-i*) 'feet' ~ *pied*+*in*(*-i*) 'feet, DIMINUTIVE'; see Dressler & Merlini-Barbaresi 1994: Ch. 5, 529ff.

3. The same interfix is used in Russian to mark the compounding of two nominal roots as well:

samolet	+ ***o*** +	*stroenie*	*tovar*	+ ***o*** +	*oborot*
aircraft		construction	merchandise		circulation

[9] Quite possibly, the absence of examples of accentual suprafixes is due to their semiotic deficiency: fixing stress on a particular syllable of the wordform for the expression of a particular grammatical meaning is an extremely inconvenient technique, since there are, as a rule, only two or three syllables available; moreover, using it disrupts the stress system of language.

[10] In fact, the suffixes **-en** and **-t** do express the meaning of the participle, but only in two special classes of verbs: in the verbs with inseparable prefixes (***ermordet*** 'assassinated' ~ ****geermordet***) and in verbs with the suffix **-ier**(*en*) (*marschiert* 'marched' ~ ****gemarschiert***).

[11] This principle is explicitly formulated as Principle 4 in Nida 1961: 54ff. — In connection with the problem "conversion$_3$ *vs.* zero affixation", see interesting considerations in Lieber 1980: Ch. 3, 187ff.

References

Anderson, Stephen R. (1985) Inflectional Morphology. In: Timothy Shopen (ed.), *Language Typology and Syntactic Description, Vol. III: Grammatical Categories and the Lexicon*. Cambridge *etc.*: Cambridge Univ. Press, 150–201

Anderson, Stephen R. (1990) Sapir's Approach to Typology and Current Issues in Morphology. In: Wolfgang Dressler, Hans Luschützky, Oskar Pfeiffer & John Rennison (eds), *Contemporary Morphology*. Berlin–New York: Mouton de Gruyter, 277–295

Bauer, Laurie (1988a), *Introducing Linguistic Morphology*. Edinburgh: Edinburgh University Press [ch. 3.1–3.5; cf. the review by J. Mugdan (1988), *Yearbook of Morphology* 2, 175–183]

Bauer, Laurie (1988b) A Descriptive Gap in Morphology. In: Geert Booij & Jaap van Marle (eds), *Yearbook of Morphology* 2, 17–27

Bergenholz, Henning & Mugdan, Joachim (1978) *Einführung in die Morphologie*. Stuttgart *etc.*: Kohlhammer

Bulygina, Tat'jana V. (1972) Sposoby vyra enija grammatičeskix značenij. In: Boris Serebrennikov (ed.), *Obščee jazykoznanie. Vnutrennjaja struktura jazyka*, Moskva: Nauka, 210–233

Dressler, Wolfgang (1982) Zur semiotischen Begründung einer natürlichen Wortbildungslehre. *Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft* 8 [= *Vorträge der 9. österreichischen Linguistentagung, Klagenfurt, 23.–26. Oktober 1981*], 72–87

Dressler, Wolfgang (1985a) *Morphonology: The Dynamics of Derivation*. Ann Arbor, MI: Karoma

Dressler, Wolfgang (1985b) On the Predictiveness of Natural Morphology. *Journal of Linguistics*, 21, 321–337

Dressler, Wolfgang (1987) I. Word Formation (WF) as Part of Natural Morphology. In: Wolfgang Dressler, Willi Mayerthaler, Oswald Panagl & Wolfgang Wurzel (eds), *Leitmotifs in Natural Morphology*, Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 99–126

Dressler, Wolfgang & Merlini-Barbaresi, Lavinia (1994) *Morphopragmatics: Diminutives and Intensifiers in Italian, German, and Other Languages*. Berlin—New York: Mouton de Gruyter

Haas, William (1957) Zero in Linguistic Description. In: William Haas, *Studies in Linguistic Analysis*, London: Blackwell, 133–153

Hall, Christopher (1988) Explaining the Suffixing Preferences. In: John Hawkins (ed.), *Explaining Language Universals*, London: Blackwell, 321–349

Hawkins, John, and Cutler, Anne (1988) Psycholinguistic Factors in Morphological Asymmetry. In: John Hawkins (ed.), *Explaining Language Universals*, London: Blackwell, 280–317

Kilani-Schoch, Marianne & Dressler, Wolfgang (1984) Natural Morphology and Classical vs. Tunisian Arabic. *Wiener Linguistische Gazette*, 33/34, 51–68

Langacker, Ronald (1987) *Foundations of Cognitive Grammar. Vol. I. Theoretical Prerequisites* Stanford, CA: Stanford University Press

Lieber, Rochelle (1980) *On the Organization of the Lexicon*. Cambridge, MA: MIT [PhD Thesis].

Majewicz, Alfred & Pogonowski, Jerzy (1984) On Categorial Marking in Natural Languages. *Lingua Posnaniensis* 26, 56–68

Matthews, Peter (1972) *Inflectional Morphology. A Theoretical Study Based on Aspects of Latin Verb Conjugation*. Cambridge: Cambridge University Press

Matthews, Peter (1978) *Morphology*. Cambridge: Cambridge University Press

Mel'čuk, Igor' (1963), O 'vnutrennej fleksii' v indoevropejskix i semitskix jazykax. *Voprosy jazykoznanija*, 12: 4, 27–40 [German translation in: Igor Mel'čuk, *Das Wort: Zwischen Inhalt und Ausdruck*, 1976, München: Fink, 258–287]

Mel'čuk, Igor' (1973), *Model' sprja enija v aljutorskom jazyke. I–II.* Moskva: Institut Russkogo jazyka AN SSSR

Mel'čuk, Igor (1982), *Towards a Language of Linguistics*. München: Fink

Mel'čuk, Igor (1990), "Where and How to State Some Generalizations in Morphology". In: *Festschrift L'. D'urovič zum 65. Geburtstag* [= *Wiener Slawistischer Almanach*, B. 25/26], 299–310

Mel'čuk, Igor (1991) Subtraction in Natural Language. In: Maciej Grochowski & Daniel Weiss (eds), "*Words are Physicians for an Ailing Mind*" [Festschrift A. Boguslawski], 1991, München: Sagner, 279–293

Mel'čuk, Igor (1992) Toward a Logical Analysis of the Notion 'Ergative Construction'. *Studies in Language*, 16: 1, 92–138

Mel'čuk, Igor (1993a) *Cours de morphologie générale. Vol.1. Introduction et Première partie: Le mot*. Montréal—Paris: Les Presses de l'Université de Montréal/CNRS

Mel'čuk, Igor (1993b) The Inflectional Category of Voice: Towards a More Rigorous Definition. In: Bernard Comrie & Maria Polinsky (eds), *Causatives and Transitivity*, Amsterdam—Philadelphia: Benjamins, 1–46

Mel'čuk, Igor (1994a) *Cours de morphologie générale. Vol. 2. Significations morphologiques*. Montréal—Paris: Les Presses de l'Université de Montréal/CNRS

Mel'čuk, Igor (1994b) Suppletion. *Studies in Language*, 18: 2, 339–410

Mugdan, Joachim (1977) *Flexionsmorphologie und Psycholinguistik*. Tübingen: Narr

Nida, Eugene (1961) *Morphology*. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press

Pike, Kenneth (1967) *Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior*. The Hague: Mouton
Reformatskij, Aleksandr (1967) *Vvedenie v jazykovedenie*. Moskva: Prosveščenie
Sapir, Edward (1921) *Language*. New York: Harcourt, Brace & World
Szymanek, Bogdan (1989) *Introduction to Morphological Analysis*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Zaliznjak, Andrej (1964) K voprosu o grammatičeskix kategorijax roda i oduševlennosti v sovremennom russkom jazyke. *Voprosy jazykoznanija*, N° 4, 25–40
Zaliznjak, Andrej (1967) *Russkoe imennoe slovoizmenenie*. Moskva: Nauka
Zaliznjak, Andrej (1973) O ponimanii termina "pade " v lingvističeskix opisanijax. I. In: Andrej Zaliznjak (ed.), *Problemy grammatičeskogo modelirovanija*, Moskva: Nauka, 53–87

Т. Н. Молошная

Плюсквамперфект в системе грамматических форм глагола в современных славянских языках

Как известно, в современном русском языке, в отличие от других современных славянских, морфологической формы плюсквамперфекта нет. Однако значение предпрошедшего действия, действия, предшествовавшего не моменту речи, а некоторому другому моменту или действию в прошлом, может выражаться специальными средствами. Так, частица *было* в сочетании с глаголом в форме прошедшего времени обозначает действие в прошлом, происходившее раньше другого прошедшего действия, того, которое прерывает данное: *Он хотел было встать, но передумал.* Здесь мы имеем дело с относительным временем. Это значение очень близко к значению древнерусского давнопрошедшего времени, из которого сочетание с частицей *было* исторически и развилось. Интересно, что частица *было* с тем же плюсквамперфектным значением может сочетаться не только с личными формами, но также с причастием (прош. вр. сов. в.) и с инфинитивом: *Прекратившийся было дождь вдруг опять полил* (К. Симонов) и *Тут старуха какая-то, девчонки, бабы писк подняли, похватали горшки и бежать было на деревню* (Л. Толстой). Все эти случаи употребления сочетаний с частицей *было* в современном русском языке являются синтаксическим способом выражения обсуждаемой семантики.

Известно также употребление форм прошедшего времени от глаголов многократной видовой совершаемости с суффиксами *-ыва-, -ива-, -ва-* для выражения давнопрошедшего действия. При этом «давнопрошедшее время» следует отличать от «предпрошедшего времени». Вместо двойной временной отнесенности (действие, предшествующее моменту речи и одновременно предшест-

вующее другому действию или моменту в прошлом), характерной для предпрошедшего (плюсквамперфект), давнопрошедшее выражает процессы, имевшие место в прошлом, но в момент речи больше не повторяющиеся. Ср. *Лет восемь назад ко мне в дом хаживала дочернина подруга* (Лесков). Здесь в значении формы *хаживала* подразумевается, что в прошлом она ходила, но теперь больше не ходит.

Немногочисленные глаголы этой группы лишены полной парадигмы, практически встречаются только формы прошедшего времени. В отличие от этого в чешском и словацком языках возможны и презенсные формы от подобных глаголов многократной совершаемости (словац. *chodívám* 'я имею обыкновение ходить'). Более того, как справедливо заметил А. В. Исаченко (Исаченко 1960, 432), современные русские формы типа *хаживал* приобретают значение отнесенности к далекому прошлому лишь в «благоприятном» контексте (*лет восемь назад, в молодости он хаживал; раньше он хаживал*). Сами по себе многократные глаголы такого значения не имеют.

Сходная в этом отношении ситуация со значением многократных глаголов обнаруживается в чешском и словацком языках. Некоторые исследователи, например Фр. Копечный (Kopečný 1958, 101), считают, что различия между чешскими формами *nosil* и *nosíval* воспринимаются как временные: *nosíval* обозначает более отдаленное прошлое (*dávnější minulost*). Однако, по-видимому, скорее права А. Г. Широкова (Широкова 1965), утверждающая, что хотя для обозначения давнопрошедшего действия иногда употребляются многократные глаголы в претерите (*Temná postava se zastavila u dveří pokoje, v němž bydlíval nešťastný Jan Václav Pikkolomini* (A. Jirásek) 'Темная фигура остановилась в дверях комнаты, в которой /раньше/ жил несчастный Я. В. П.'), в современном чешском языке значение отнесенности к далекому прошлому не является собственным грамматическим значением форм прошедшего времени многократных глаголов; оно, как правило, возникает под влиянием контекста (лексические показатели), либо определяется общей ситуацией (описание деяний предков и пр.).

Итак, современный русский язык не имеет морфологических средств для выражения ни значения давнопрошедшего действия, ни значения предпрошедшего действия. В чешском же языке, в его грамматической системе, различается кроме прошедшего (*nesl jsem*) также и предпрошедшее, или плюсквамперфект (*byl*

jsem nesl). Последняя форма в разговорном языке уже не употребляется давно, а в книжном сохранялась вплоть до XX века (не без влияния иностранных языков). В современном словацком литературном языке, как убедительно показал на большом материале Г. Горак (G. Horák 1957) и позднее подтвердил Л. Н. Смирнов (Смирнов 1962), предпрошедшее время представлено в качестве самостоятельной грамматической формы. Например, *Čital list, ktorý mu b o l i d o n i e s l i deň predtým* 'Он читал письмо, которое ему принесли накануне'. Заметим еще раз, что в русском языке значение предпрошедшего времени остается невыраженным там, где предложение содержит две претеритные формы, одна из которых обозначает действие, логически предшествовавшее другому. Ср. русский эквивалент выше приведенного словацкого примера.

В современном польском языке кроме претерита (*czytałem*) сохраняется плюсквамперфект (*czytałem był*). Данная форма употребляется сравнительно редко, но не исчезает. Например, *Jeden tylko Šremski, któremu p r z y s ł a ł był krótki list z Zarzewia, wiedział, gdzie Paweł się przez ten czas znajdował* (K. Brandys) 'Один только С., которому он прислал короткое письмо из З., знал, где Павел находился в это время'. Глагольные формы *wiedział* и *znajdował się* изображают момент действия по линии категории времени как ушедший в прошлое, а форма *przysłał był*, кроме этого значения, передает также значение момента, предшествовавшего тому моменту, когда совершались действия *wiedział* и *znajdował się*. Подобное значение предшествования не относится к категории времени, оно характеризует другую грамматическую (морфологическую) категорию — таксис, которая ориентирует действие не на момент речи, а на некоторый другой момент, о котором говорится, который имеется в виду или который обозначен другим действием или явлением. Категория таксиса репрезентируется двумя категориальными формами — формой, выражающей одновременность действия с таким ориентационным моментом, и формой, выражающей неодновременность действия с этим моментом, т. е. предшествование ему или следование за ним (ср. Смирницкий 1959, 291 и далее).

Временные и таксисные формы польского и чешского языков могут быть изображены с помощью следующей схемы.

Соотнесенность с моментом речи — категория времени			Соотнесенность с некоторым моментом в прошлом — категория таксиса		
Одновременность	Следование	Предшествование	Одновременность	Следование	Предшествование
Наст.	Буд.	Прош.	—	—	Плюсквамперфект
пол. *czytam*	*będe czytał*	*czytałem*			*czytałem był*
чеш. *nesu*	*budu nést*	*jsem nesl*			*byl jsem nesl*

В болгарском языке также есть глагольная форма плюсквамперфекта, соотносящего действие не с моментом речи, а с некоторым моментом в прошлом. Однако система темпоральных форм болгарского глагола настолько сложная и разветвленная, что ее следует рассмотреть отдельно. Вообще говоря, на прошедший момент, предшествующий моменту речи, указывают несколько форм: аорист, имперфект, перфект, плюсквамперфект. При этом аорист выражает лишь это значение предшествования моменту речи, т. е. является одной из категориальных форм категории времени. Например, *Учител Нонин* *п о в т о р и* *много пъти тая фраза* (Елин Пелин) 'Учитель Н. повторил много раз эту фразу' (аорист сов. в.); *На два пъти майка й* *м и н а в а* *край нея* (Г. Караславов) 'Дважды мать проходила мимо нее' (аорист несов. в.).

Имперфект выражает прошедшее действие, предшествовавшее моменту речи и протекавшее одновременно с другим прошедшим действием или каким-то моментом прошедшего времени, обозначенным либо обстоятельством времени, либо подразумеваемым. Например, *Веднъж, докато траеше дъждът, чичо Митуш и Аго* *с е д я х а* *на сундурмата пред дама* (Й. Йовков) 'Однажды, когда продолжался дождь, дядя М. и А. сидели на завалинке перед хлевом'. Здесь действие, выраженное формой *седяха*, представлено как одновременное с прошедшим действием, выраженным формой *траеше*. Это говорит о том, что имперфект соотносит действие с прошедшим моментом, ориентируя его на этот прошедший момент так же, как настоящее ориентировано на момент речи. Иными словами, имперфект участвует в противопоставлениях, характерных не только для категории времени, но и для категории таксиса.

С прошедшим ориентационным моментом соотносит действие и болгарская форма будущего в прошедшем. Она называет действие, которое является будущим по отношению к прошедшему действию или некоторому моменту, выделяемому в содержании высказывания как прошедший, т. е. обозначает следование действия за этим прошедшим ориентационным моментом. Например, *Две черни горящи очи чакаха да доловят тайната, която щеще да разбули дядо Гено* (Г. Караславов) 'Два черных горящих глаза стремились разгадать тайну, которую собирался открыть дед Г.'. Форма *чакаха* передает прошедшее действие, а *щеще да разбули* — действие, являющееся будущим по отношению к *чакаха*. Следовательно, будущее в прошедшем обозначает действие, которое, с одной стороны, является будущим относительно момента, о котором говорится в данном высказывании, с другой — этот момент является прошедшим относительно момента речи. Иными словами, будущее в прошедшем отчетливо выражает таксисное значение.

Для описания болгарских форм перфекта и плюсквамперфекта грамматических категорий времени и таксиса недостаточно. Важной особенностью болгарской темпоральной системы является различение морфологическим способом глагольного действия и результата глагольного действия. Имеются в виду грамматические формы, передающие отношение не действия, а его результата (в абстрактном грамматическом смысле, не имеющем ничего общего со значением совершенного вида, представляющего другую грамматическую категорию) к ориентационным моментам (моменту речи и некоторому моменту в прошлом) (Герджиков 1976; Пашов 1976; Куцаров 1987; Куцаров 1990). Внимание может быть сосредоточено не на действии, но на последствии, особенно состоянии, положении, которое наступило в результате имевшего место действия; в этом случае глагольная форма указывает не на то, когда совершилось действие, а на то, когда наличествует его результат, когда этот результат актуален. Наиболее ясно значение результативности проявляется в перфекте, например, *Валяло е* 'Прошел дождь' значит, что улица в настоящий момент мокрая в результате того, что прошел дождь; *Пристигнал съм днес* означает, что, придя, я сейчас нахожусь здесь. Следовательно, перфект указывает на одновременность результата действия, совершившегося в прошлом, с настоящим моментом. Таким образом, можно говорить о результативных временах в болгарском языке. Перфект является настоящим результативным.

Значение результативности, или актуализированности, характерно также для болгарского плюсквамперфекта. В традиционных болгарских грамматиках обычно пишут, что плюсквамперфект обозначает действие, предшествовавшее другому прошедшему действию, либо некоторому моменту в прошлом. Однако, как убедительно показали Г. Герджиков и П. Пашов, основное значение этой формы — результат некоторого действия, одновременный другому действию или моменту в прошлом. Если же искать место действия (а не его результата), обозначенного формой плюсквамперфекта, относительно этого прошлого ориентационного момента, то следует иметь в виду, что оно, естественно, совершилось до него, однако форма плюсквамперфекта акцентирует не это обстоятельство, а одновременность результата прошедшего действия с другим действием в прошлом или актуальность этого результата для того момента в прошлом, о котором говорится. Например, *Голямата дъщеря кърпеше новата покривка за маса, която бай Митьо б е и з г о р и л с цигарата си* (Чудомир) 'Старшая дочь штопала новую скатерть, которую бай М. прожег своей папиросой'. Здесь плюсквамперфект *бе изгорил* имеет значение действия, совершившегося в прошлом ранее другого действия (*кърпеше*), но оставившего последствия, или результаты, актуальные для момента в прошлом, обозначенного второй глагольной формой. Плюсквамперфект может употребляться и вне связного повествования о прошедших событиях, указывая на состояние в прошлом, порожденное предшествующим действием, например, *Слънцето б е ш е и з л е з л о високо* (Ив. Вазов) 'Солнце поднялось уже высоко' (и в результате этого стояло высоко в некоторый прошедший момент, о котором говорится). Если отвлечься от различных оттенков, возникающих в различных контекстах, то можно признать категориальным значением формы плюсквамперфекта в болгарском языке значение результата действия, актуального для другого действия в прошлом или для некоторого момента в прошлом. Плюсквамперфект в общем виде аналогичен перфекту, но относится к другой временной плоскости. Это результативное прошедшее время.

В болгарском языке значение результативности, или актуализированности, действия передается также глагольной формой будущего предварительного (*ще съм ходил*). Данная форма обозначает действие, результат которого актуален для какого-то будущего момента, а само действие предшествует этому будущему моменту, например, *Войната ще свърши и дърветата ще цъфтят в мир. И ние*

с вас ще сме оздравели, ще бъдем напълно здрави (Е. Манов) 'Война закончится, и деревья будут мирно цвести. И мы с вами выздоровеем, будем совершенно здоровыми'. Это как бы результативное прошедшее в будущем. Подобным двояким отношением ко времени — и к моменту речи, и к другому ориентационному моменту — будущее предварительное напоминает перфект и плюсквамперфект.

Четвертой результативной формой болгарского глагола является редко употребляющееся будущее предварительное в прошедшем (*щях да съм ходил*). Это действие, результат которого ожидается в момент, будущий по отношению к действию, совершившемуся в прошлом. Интерпретировать категориальное значение будущего предварительного в прошедшем очень трудно не только из-за сложности передаваемых им темпоральных отношений, но и из-за неизбежных дополнительных усложняющих значений, возникающих под влиянием контекста, например, в предложении *До снощи щях да съм се върнал, но една друга работа ми попречи* 'До вчерашнего вечера я должен был уже вернуться, но другое дело мне помешало' обсуждаемая форма обозначает действие, результат которого должен был иметь место до определенного момента, бывшего предстоящим по отношению к прошедшему моменту.

Результативные и нерезультативные формы образуют пары: настоящее — перфект, имперфект — плюсквамперфект, будущее — будущее предварительное, будущее в прошедшем — будущее предварительное в прошедшем. Только аорист не имеет результативного соответствия.

Регулярность выражения результативного значения позволяет утверждать наличие в болгарском языке еще одной грамматической (морфологической) категории глагола — результативности, или актуализированности (Куцаров 1987; Куцаров 1989; Куцаров 1990). Таким образом, в системе болгарского глагола различаются грамматические категории времени, таксиса и результативности. Соответственно каждая глагольная форма, кроме аориста, входит в три разные оппозиции. Аорист, выражая отношение действия лишь к моменту речи, не имеет коррелята ни по линии таксиса, ни по линии результативности.

Конечно, следует помнить, что высказанные соображения касаются чисто категориальных грамматических значений и не отражают всего многообразия употреблений так наз. абсолютных и относительных времен в болгарском языке. Но эти соображения не

лишены объяснительной силы, ибо они позволяют выявить общеграмматические противопоставления, в свою очередь, позволяющие непротиворечиво описать обсуждаемые глагольные формы.

Схематически противопоставления болгарских темпоральных форм можно изобразить следующим образом.

	Соотнесенность с моментом речи — категория времени			**Соотнесенность с некоторым моментом в прошлом — категория таксиса**		
Нерезультативность	Одновременность	Следование	Предшествование	Одновременность	Следование	Предшествование
	Наст. *ходя*	Буд. *ще ходя*	Аорист *ходих*	Имперфект *ходех*	Буд. в прош. *щях да ходя*	–
Результативность	Перфект *ходил съм*	Буд. предварит. *ще съм ходил*	–	Плюсквамперфект *бях ходил*	Буд. предварит. в прош. *щях да съм ходил*	–

Г. Герджиков и П. Пашов предлагают сходные, но объемные схематические изображения.

В болгаристике известны попытки представить временные формы глагола как выражающие лишь грамматические категории времени и таксиса без учета актуализированности (Пенчев 1967). Представляется, что описания такого рода менее удачны, так как они не отражают всех соотношений глагольных форм.

По-видимому, категория актуализированности должна привлекаться также для описания глагольных форм современных сербохорватского и македонского языков. Эти языки отличаются от болгарского меньшим числом форм будущего — в болгарском их четыре, а в сербохорватском и македонском по две. В остальном временные системы трех языков подобны. Ср. значение актуальности факта совершившегося в прошлом действия или его результата для настоящего момента в формах перфекта македонского и сербохорватского языков: мак. *Членот се има развиено од показни заменки* 'Членная морфема развилась из указательных местоимений' = 'развилась и имеется в языке в настоящее время';

с.-х. *Његови родитељи с у о с т а р и л и* 'Его родители состарились' = 'в настоящий момент стары'.

Плюсквамперфект в македонском и сербохорватском, так же как в болгарском, выражает актуальность результата действия для прошедшего ориентационного момента: мак. *Ѕирнав низ решетката, да си го видам езерото. Сонцето го б е ш е п о з л а т и л о* (И. Точко) 'Я взглянул на решетку, стараясь увидеть озеро. От солнца оно сделалось золотым' = 'сделалось золотым до некоторого прошедшего момента и оставалось золотым в этот прошедший момент'; с.-х. *Село под Сусједом бијаше као мртво, све је спавало. А и на граду све ј е у с н у л о б и л о* (А. Шеноа) 'Село под С. было как мертвое, всё спало. Но и в городе всё /раньше/ уснуло' = 'уснуло до некоторого прошедшего момента и спало в этот прошедший момент'.

Выше произведенный обзор форм плюсквамперфекта показал их разное положение в грамматических парадигмах глагола в современных славянских языках. Как неоднократно говорилось, в современном русском нет морфологических способов выражения плюсквамперфектности, в остальных славянских существуют морфологические (в аналитическом варианте) формы плюсквамперфекта. По-видимому, для их описания в чешском и польском языках достаточно привлечения двух грамматических категорий — времени и таксиса. В болгарском же глаголе, где грамматисты насчитывают 9 членов временной парадигмы, непременно нужно учитывать также категорию результативности, или актуализированности, действия. Наличие дополнительной грамматической категории отражает тот факт, что значение у болгарского плюсквамперфекта несколько иное, чем у чешского и польского — он выражает не предшествование одного прошедшего действия другому прошедшему действию или некоторой прошедшей ситуации, а одновременность результата прошедшего действия другому прошедшему действию или некоторой прошедшей ситуации, а одновременность результата прошедшего действия другому прошедшему действию или некоторому прошедшему моменту, о котором идет речь. То же в принципе относится к плюсквамперфекту в современных сербохорватском и македонском языках.

Литература

Герджиков 1976 — *Г. Герджиков.* Българските глаголни времена като система // Помагало по българска морфология. Глагол. София, 1976.

Исаченко 1960 — *А. В. Исаченко.* Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология. Ч. II. Братислава, 1960.

Куцаров 1987 — *Ив. Куцаров.* Категорията таксис в съвременния български език // Иван Куцаров. Проблеми на българската морфология. Пловдив, 1993.

Куцаров 1989 — *Ив. Куцаров.* Още едно мнение за характера на противоставянето аорист / имперфект //Там же.

Куцаров 1990 — *Ив. Куцаров.* За деветчленната категория време на глагола в съвременния български език //Там же.

Пашов 1976 — *П. Пашов.* Българските глаголни времена // Помагало по българска морфология. Глагол. София, 1976.

Пенчев 1967 — *Й. Пенчев.* Към вопроса за времената в съвременния български език //Български език, 1967, кн. 2.

Смирницкий 1959 — *А. И. Смирницкий.* Морфология английского языка. М., 1959.

Смирнов 1962 — *Л. Н. Смирнов.* Значение и употребление форм прошедшего времени в современном словацком литературном языке. Автореферат канд. диссертации. М., 1962.

Широкова 1965 — *А. Г. Широкова.* Основные значения многократных глаголов в чешском языке //Вопросы языкознания, 1965, № 2.

Horák 1957 — *G. Horák.* K problému predminulého času v slovenčine // Slovenská reč, 1957, 22, 342–352.

Kopečný 1958 — *Fr. Kopečný.* Základy české skladby. Praha, 1958.

Н. В. Перцов

Элемент *-ка* в русском языке: словоформа или аффикс?

В языке существуют такие явления, теоретическое описание которых неизбежно сопряжено с выбором между вариантами, каждый из которых обладает теневыми сторонами. Это «точки повышенной сложности в языке» — по выражению Андрея Анатольевича Зализняка из его отзыва об одной кандидатской диссертации в конце 70-х годов; при описании подобных явлений из хитросплетения проблем «полностью гладкого и гармоничного выхода, по-видимому, нет» (цитата из того же отзыва). Одной из таких точек повышенной сложности является статус приглагольного постпозитивного элемента *-ка* в русском языке (*Скажи-ка, дядя, ведь недаром...*).

В словарях и грамматиках эта единица подается как частица, т. е. рассматривается как элемент лексики языка, тем самым — как словоформа. В академических грамматиках [ГРЯ 1960, ГСРЛЯ 1970, РГ 1980] по поводу некоторых частиц делаются оговорки: говорится о формообразующей роли таких частиц, как *пусть*, *пускай*, *давай*, *да*; о том, что некоторые единицы, традиционно причисляемые к частицам — элементы *кое-*, *-то*, *-либо*, *-нибудь* — «могут быть приравнены к приставкам и суффиксам» [ГРЯ 1960: 649]. В [ГСРЛЯ 1970: 313] отмечается их подобие словообразовательным формантам, а в [РЯЭ 1979: 390] в словарной статье ЧАСТИЦЫ (автор — Н. Ю. Шведова) этим элементам справедливо отказано в принадлежности к данной части речи: они относятся здесь к «словообразовательным формантам», т. е. к аффиксам. Что же касается элемента *-ка*, то его словарный (т. е. неаффиксальный) характер редко подвергается сомнению. Правда, в [ЛЭС 1990: 579] определение в словарной статье ЧАСТИЦЫ

(автор — Т. М. Николаева) говорит о вхождении ряда частиц, среди которых упоминается *-ка*, в состав слова («разряд неизменяемых служебных слов, участвующих в выражении отдельных морфологических категорий, входя в состав слова («не**кто**», кто-**то**, «дай-**ка**»), либо присоединяясь к нему («пошел **бы**», «**да** будет», «пошел **было**» и т. п.) <...>»). В самом начале специально посвященной частицам книги [Николаева 1985: 3] среди четырех смыслов, связываемых с этим термином, упоминается следующий:

> «частицы — это неизменяемые компоненты, не-слова, присоединяемые к словам полнозначным, так что формируются некоторые грамматические формы, парадигматически и категориально соотносимые с формами, образуемыми и без частиц. Иначе говоря, это частицы формообразующие <...> В русском языке — это частицы *-ся, бы*, *-то*, *-либо*, *-нибудь*, *-таки*, *-ка* и т. п.»

Нам известен только один научный источник, в котором элемент *-ка* явно выведен из разряда частиц, — это справочник [Касаткин и др. 1991], где он назван «стилистическим постфиксом» (с. 162, 262; словарные статьи ПОСТФИКС и ЧАСТИЦЫ, автор — Е. В. Клобуков); правда, аргументация в пользу такого решения отсутствует и не прояснен статус этого постфикса в аспекте противопоставления словоизменения и словообразования (бегло говорится о том, что он сближается со «словоизменительными постфиксами»).

Отнесение исследуемого элемента к сфере лексики представляется в значительной мере данью традиции, однако в пользу данной трактовки достаточно давно были приведены серьезные аргументы в работах Р. О. Якобсона о русском глаголе [Якобсон 1972: 111; 1985: 219]; они были поддержаны в монографии [Храковский, Володин 1986: 178]. Доводы Якобсона и отечественных авторов будут рассмотрены далее; укажем сразу, что, по нашему мнению, в случае *-ка* мы имеем дело с элементом, не столь же безоговорочно входящим в класс единиц словаря, как другие русские частицы: *ли*, *же*, *даже*, *ведь*, *только*...

Какие соображения принимаются во внимание при отнесении некоторой сегментной элементарной значимой единицы к классу словоформ или к классу аффиксов? В работах по теории грамматики, по общей морфологии выделяется ряд эвристических критериев, используемых при определении статуса словоформы для той или иной единицы, например, относительная позиционная самостоятельность данной единицы, ее автономное морфологи-

ческое оформление, возможность ее присоединения к единицам разных дистрибутивных синтаксических классов. Рассмотрим поведение элемента *-ка* с точки зрения критериев подобного рода. При этом мы будем опираться на «критерии автономности языкового знака», сформулированные в первом томе фундаментальной монографии И. А. Мельчука «Cours de morphologie générale» [Mel'čuk 1993: 172–182].

В концепции Мельчука необходимым условием отнесения сегментного знака S к классу словоформ является достаточная степень его автономности, т. е. выполнение для знака S некоторых условий автономности (быть может, одного условия). Одного этого может быть недостаточно для признания конкретного знака S словоформой: выполняемые для S условия автономности должны быть достаточно «весомы»; S не должен, с одной стороны, резко отличаться от обычных словоформ данного языка по каким-либо существенным признакам, а с другой, явно примыкать к какой-либо замкнутой группе аффиксов («принцип парадигматической аттракции»); и т. п. Понятие автономности эксплицируется Мельчуком рекурсивно, т. е. сначала выделяется базовый класс автономных знаков — так называемых **сильно автономных** знаков, способных образовывать самостоятельное высказывание (≈ «естественный» речевой отрезок, ограниченный слева и справа молчанием говорящего), а затем — исходя из базовых автономных знаков и из знаков, автономность которых уже установлена, — последовательно строятся другие автономные знаки, так сказать, «производно» автономные, или — в терминологии Мельчука — **слабо автономные**. Изложим соответствующий фрагмент его концептуальной системы.

Речевой отрезок называется сильно автономным, если в некоторой естественной речевой ситуации он допускает изолированное употребление, будучи ограниченным с двух сторон отрезками молчания говорящего. Таковыми могут быть отдельные фразы, словосочетания (*Отличная идея!*; *«Дом на набережной»*; *«Убить пересмешника»*), словоформы (ср. следующие диалоги: *«Какому пиджаку ты отдаешь предпочтение? — Синему»*; *«Зачем ты уходишь? — Пройтись»*).

Слабо автономным называется такой речевой отрезок X, который, сам не будучи сильно автономным, во-первых, способен присоединяться в речевой цепи к некоторому сильно автономному отрезку Y и составлять вместе с ним тоже сильно автономный отрезок и, во-вторых, удовлетворяет при этом хотя бы одному из следующих четырех критериев слабой автономности:

(1) ОТДЕЛИМОСТЬ — X может быть отделен от Y-а посредством сильно автономного отрезка Z (т. е. если отрезки X и Y выступают — для определенности — в порядке XY, то сильно автономными оказываются отрезки Z и XZY) [в силу этого критерия слабо автономны, например, предлоги, ср. *к дому ~ к высокому дому*];

(2) ДИСТРИБУТИВНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ (или свобода сочетаемости) — кроме отрезка Y, X способен составлять сильно автономный речевой отрезок также вместе с некоторым сильно автономным отрезком Z, причем Y и Z принадлежат к разным дистрибутивным синтаксическим классам (практически — к разным частям речи) [в силу этого критерия слабо автономна, например, частица *ли*, ср. *Он ли пришел? ~ Пришел ли он?*];

(3) ПЕРЕСТАВИМОСТЬ — сильно автономен как отрезок XY, так и отрезок YX [в силу этого критерия слабо автономна, например, частица *-таки*, ср. *Мой приятель приехал-таки ~ Мой приятель таки-приехал*, с паузой после группы подлежащего];

(4) ПЕРЕМЕСТИМОСТЬ — в пределах некоторого сильно автономного отрезка W, объемлющего сочетание X-а и Y-а, X может быть перемещен от Y-а к другому сильно автономному отрезку Z [в силу этого критерия слабо автономна, например, частица *бы*, ср. *Он правильно решил бы задачу ~ Он бы правильно решил задачу*].

Протестируем интересующий нас элемент по перечисленным критериям. Компактный свод сведений о сочетаемости элемента *-ка* приведен в работе [Левонтина 1991: 137–138]: он употребляется при морфологических императивах (*Иди-ка*, *Идите-ка*), «инклюзивных квазиимперативах» (*Идем-ка*, *Идемте-ка*), формах первого лица будущего времени (*Пойду-ка я*, *Пойдем-ка мы*), ограниченном наборе глагольных лексем в прошедшем времени (*Пошел-ка ты < он > поскорей отсюда*, *Пошел-ка я домой*), при частицах *пусть* и *ну*, междометиях *на*, *нате* и *слышь*, вводном слове *поди*. Что касается частиц, междометий и вводного слова, то их принимать всерьез при определении автономности/неавтономности *-ка* не следует: слишком маргинальный характер носят подобные сочетания (т. е. критерий дистрибутивной вариативности имеет ничтожный «вес» в данном случае). Тем самым получается, что элемент *-ка* не удовлетворяет ни одному из приведенных выше критериев: он может быть отделен от знака-«ориентира» только посредством элементов *-те* или *-сь* (*Возьми-ка ~ Возьмите-ка ~ Возьмитесь-ка*), не являющихся автономными знаками (выражения из молодежного сленга типа *?А пошел*

бы-ка ты отсюда!, которые приходилось слышать автору — с отделимостью *-ка* от глагола посредством слабо автономной частицы *бы*, — не могут, конечно, служить основанием для серьезного аргумента); он присоединяется к единицам практически только одной части речи — глаголам, да и то — взятым только в определенном ограниченном наборе грамматических форм; он не может быть ни переставлен относительно своего ориентира, ни перемещен от него к какому-либо другому элементу языкового выражения. Тогда выходит, что поведение данного элемента — с точки зрения критериев автономности — гораздо ближе к поведению аффиксов, нежели к поведению словоформ.

Если принять во внимание некоторые другие свойства отдельности слова, упоминаемые в литературе (см., например, [Касевич 1988: 145, 163 и сл.]), то и относительно их *-ка* ведет себя не как словоформа, а как аффикс. Свойство «раздельнооформленности», позволяющее счесть словоформой элемент *Иван* в выражении *Иван-царевич* в силу раздельного морфологического оформления его компонентов (*Ивана-царевича, Ивану-царевичу*) — в отличие от элемента *иван* в выражении *иван-чай*, не применимо к нашему случаю: элемент *-ка* не имеет собственного морфологического оформления, будучи совершенно аналогичным в этом отношении постфиксу *-ся/-сь*. Свойство синтаксической самостоятельности (позволяющее, например, установить двусловность английских сочетаний типа *button shoes*, в силу наличия сочетаний *red button-shoes* ‘красные туфли на пуговицах’ и *red-button shoes* ‘туфли с красными пуговицами’, в которых определение относится к разным компонентам) — способность иметь собственные синтаксические связи за пределами сочетания — очевидным образом не присуще исследуемому элементу.

Неучет критериев отдельности слова может приводить к неожиданным с точки зрения традиции последствиям. Так, в работе [Апресян, Иомдин 1989] делается вывод о том, что в конструкциях типа *Некого позвать*, *Негде спать* и т. п. единицы «*некого*, *нечего*, *негде*, *некуда*, *неоткуда*, *незачем* внешне маскируются под слова, а на деле не являются даже словосочетаниями с внутренне замкнутой синтаксической структурой» (с. 89); элемент *-не-* считается в данной работе словоформой — «отрицательным глаголом», а все цельное выражение типа *некого* — соединением двух словоформ, при этом не связанных синтаксическим отношением (такого рода сочетания авторы предлагают называть «синтаксическими агло-

мератами»)*. Выводы авторов относительно данной «области повышенной сложности» русского языка не представляются убедительными.

Анализируя данные единицы (*некого*, *нечего*, *негде* и т. п.) и подробно рассматривая их особенности в целях обоснования тезиса об их неоднословности, авторы в разделе под названием «Морфологические и синтаксические свойства» (с. 40–48) привлекают исключительно их внешнюю синтагматику или их означаемое: невозможность для *некого* и *нечего* выступать при личных глаголах, иметь при себе определения и другие подобные распространители; невозможность для *негде*, *некуда* и т. п. выступать в синтаксических позициях, присущих типичному наречию, и их неспособность обозначать внутреннее состояние субъекта (последнее, по мнению авторов, препятствует признанию их категорией состояния); невозможность зачисления всех рассматриваемых единиц в одну часть речи; синтаксический параллелизм пар утвердительных и отрицательных предложений типа *Вам есть чем гордиться* ~ *Вам нечем гордиться*, заставляющий авторов в качестве коррелята словоформе *есть* в первом предложении признать «словоформу» *не-* во втором [при том, что для *есть* во втором можно найти коррелят в виде нулевой связки]; недопустимость постановки частицы *ли* после данных единиц в общевопросительных предложениях. Некоторым приведенным фактам можно дать иную интерпретацию и существенно снизить тот аргументационный вес, который придают им Ю. Д. Апресян и Л. Л. Иомдин; но для нас сейчас существенно другое — то, что совершенно не рассматривается взаимная морфологическая синтагматика компонентов внутри таких единиц. При внимательном учете такой синтагматики выясняется, что с точки зрения критериев отделимости слова, эксплицированных И. А. Мельчуком посредством его критериев слабой автономности, элемент *не-* автономен в самой минимальной степени — всего лишь ограниченно отделим посредством первообразных предлогов (*некого* ~ *не от кого*, *некому* ~ *не к кому*), а по всем остальным критериям не автономен (критерий дистрибутивной вариативности относительно *не-* вряд ли проходит — в силу резкой ограниченности круга единиц, с которым это *не-* сочетается). Тем самым, трактовка *не-* как словоформы в данных выражениях явно затруднена: с точки зрения критериев автономности он ведет себя скорее как неавтономный аффикс, чем как обладающая достаточной степенью автономности словоформа.

* Интересно, что аналогичная точка зрения была высказана 65 лет назад Н. Н. Дурново, считавшего элемент не «неспрягаемым глаголом», который проявляется «только в соединении с местоимениями существительными: *кого, кому, кем, чего, чему, чем, чём,* и неграмматическими наречиями: *где, когда, куда, откуда,* с которыми пишется в одно слово, если не отделен от них предлогами» — цит. по работе [Панов 1995: 16], в которой приведенная цитата взята из корректурного экземпляра несостоявшегося издания: Н. Н. Дурново. Повторительный курс грамматики русского языка. В. I. М., 1931, 2-е изд.

Против неоднословности выражений типа *некого*, *негде* и т. п., признание которой приводит к внутренней синтаксической несвязности их компонентов, говорит также их сильная автономность и тот факт, что соответствующие высказывания, будучи, разумеется, эллиптичными, воспринимаются как достаточно цельные — не так, как, скажем, высказывания с явно незамкнутой синтаксической структурой типа *Ректор — декану* (в ответ на вопрос: *Кто кому отдал распоряжение?*); ср. название романа Лескова «*Некуда*».

Каковы могут быть возражения против отнесения элемента *-ка* к разряду аффиксов, противоречащего общепринятой трактовке? Одно из них вытекает из следующих соображений Р. О. Якобсона [Якобсон 1972: 111]:

«Сочетания этих частиц [энклитических частиц — «аннексов», по терминологии Б. Уорфа] с предшествующей глагольной морфемой подчиняются правилам внешнего сандхи, в то время как сочетания обычных суффиксов следуют законам внутреннего сандхи. В инъюнктивных наклонениях в результате соприкосновения аннексов с предшествующей морфемой возникают группы согласных, недопустимые в пределах одного слова, например: [p’t’], [f’t’], [p’k], [f’k], <...>»

Со ссылкой на Якобсона та же точка зрения отстаивается в упомянутой выше книге [Храковский, Володин 1986: 178]:

«Хотя частица *-ка* всегда образует одно фонетическое целое с предшествующей императивной словоформой, ее нельзя рассматривать как суффикс, т. е. как элемент слова, поскольку она соединяется с конечной морфемой словоформы по правилам внешнего, а не внутреннего сандхи, которое соединяет морфемы одной словоформы».

Заметим, что из приведенных рассуждений вытекает трактовка в качестве словоформы и такого элемента, как *-те* (*пойдемте*, *идите*), как правило, без колебаний относимого к аффиксам (правда, обычно отмечается «агглютинативный» характер присоединения этого суффикса, равно как и постфикса *-ся/-сь*).

Исключим пока из рассмотрения выражения с исследуемым элементом *-ка* и зададимся вопросам: может ли возникнуть на стыке морф в пределах русской словоформы ситуация, когда левая морфа кончается звуком [p’] или [f’], а правая начинается с [k]? Как представляется, такие случаи крайне редки (почти невозможны), но не в силу некоего фонетического (произносительного) запрета, а в

силу редкой сочетаемости (или вообще несочетаемости) такого рода морф. В самом деле, возьмем суффикс *-к(а)* с диминутивным или пейоративным значением, присоединяемый к основам существительных женского рода; выясняется, что среди этих основ нет таких, которые кончались бы каким-либо из двух указанных звуков и при этом вообще допускали присоединение данного суффикса. Например, слово *выпь* не имеет соответствующего диминутивного коррелята (равно как, например, слово *рысь*) — в отличие от *мышь* (*мышка*). Теперь возьмем, скажем, собственное имя *Суламифь* и спросим себя, как мог бы выглядеть соответствующий пейоратив, если бы все же возникла окказиональная потребность его образовать (наподобие окказиональному деривату *Рахилька* от *Рахиль*); пожалуй, мы выбрали бы в этом случае форму *Суламифька* — как раз с сочетанием [f'k]. (Ср. также сочетание [t'k] в пейоративных именах *Катька*, *Митька*, *Вадька*, *Володька*.)

Поэтому соображениям Р. О. Якобсона о внешних сандхи не следует придавать абсолютного характера. Однако даже если бы они были безоговорочно справедливы в отношении данного элемента, то и в этом случае его явная неавтономность — с точки зрения критериев выделения слова — перевешивала бы аргументы «от фонетики». Возникает типичная для «точки повышенной сложности» ситуация: сопоставляются группы противоречащих друг другу аргументов и производится их «взвешивание»; отдельный аргумент в какой-либо группе может быть весьма «весом», но при этом его могут перевешивать аргументы противоположной группы, взятые в их совокупности.

При обращении к данным диахронии намечается эволюция частицы *-ка* от статуса слабо автономной словоформы к неавтономной аффиксальности. Из трех случаев употребления частицы КА в новгородских берестяных грамотах два (в грамотах № 109 и 682) свидетельствуют о ее слабой автономности [Зализняк 1995: 235, 323]: *а ныне ка посъли къ-томоу моужеви грамотоу; да молю ти сѧ госпоже ка моѧ* (в первом случае наблюдается переместимость частицы от императива к наречию, во втором — ее дистрибутивная вариативность, проявляющаяся в присоединении к существительному-обращению, — явление, сохраняющееся в некоторых современных говорах [Зализняк 1995: 324]). Словарь Даля очерчивает для элемента *-ка* более широкий круг употреблений, чем в современном языке, ср. примеры: *Мне-ка что до этого, тебе-ка самому глядеть надо; Где-ка топор? — Воно-ка, тамо-тка* [Даль 1994 (1905): 166]. (Примечательна строка из пушкинской «Русалки» — *Пойти-ка мне садиться на коня* — с присоединением *-ка* к инфинитиву, невозможным в современном языке.)

Если признать аффиксальный статус элемента *-ка*, то естественно поставить вопрос о характере данного суффикса с точки зрения противопоставления словоизменения и словообразования. Придание ему словообразовательного статуса привело бы к тому, что у каждой глагольной лексемы появился бы дериват с соответствующим словообразовательным значением [≈'смягченное / фамильярное / неформальное побуждение'], при этом у такого деривата глагольная парадигма оказалась бы резко сужена (практически до форм, выражающих побуждение); далее, в такого рода дериватах словообразовательный аффикс оказался бы отделенным от основы явно словоизменительными аффиксами, что для русской (и общей) морфологии не характерно (хотя и не исключено). Все это вынуждает принять словоизменительную трактовку суффикса *-ка*. И тогда мы сталкиваемся с любопытным (и не распространенным в естественных языках) явлением, когда словоизменительное значение не является обязательным, не входит ни в какую словоизменительную категорию — вопреки популярной концепции словоизменительного как обязательного, восходящей к известным работам Ф. Боаса и Р. О. Якобсона.

В монографии [Mel'čuk 1993] это явление нашло концептуальное и терминологическое отражение в виде понятия и термина **квазиграммема**, под которой как раз и понимается подобное изолированное словоизменительное значение, не входящее в обязательную категорию. Надо сказать, что о существовании такого рода значений говорилось неоднократно и ранее, и это подтверждалось фактами из морфологии многих языков (см., например, [Солнцев и др. 1979: 9; Касевич 1977: 55–56, 1988: 143, 181, 190]), однако удивительным образом взгляд на словоизменение как на область обязательного оказался живуч до настоящего времени и нередко повторяется как в работах по общей морфологии, так и при описании конкретных морфологических явлений. Проведенный анализ конкретной языковой единицы русского языка — если, конечно, с ним согласиться — дает еще одно свидетельство в пользу правомерности признания независимости словоизменения от признака обязательности.

Литература

Апресян, Иомдин 1989 — *Ю. Д. Апресян, Л. Л. Иомдин.* Конструкция типа *Негде спать*: синтаксис, семантика, лексикография //Семиотика и информатика, вып. 29, М., 1989, с. 34–92.

ГРЯ 1960 — Грамматика русского языка. Том I. Фонетика и морфология. М., 1960.

ГСРЛЯ 1970 — Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.

Даль 1994 (1905) — В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Том 2. М., 1994 [репринтное воспроизведение издания 1903–1909 гг.].

Зализняк 1995 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995.

Касаткин и др. 1991 — *Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. Лекант.* Краткий справочник по современному русскому языку. М., 1991.

Касевич 1977 — *В. Б. Касевич.* Элементы общей лингвистики. М., 1977.

Касевич 1988 — *В. Б. Касевич.* Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988.

Левонтина 1991 — *И. Б. Левонтина.* Словарные статьи частицы *-ка* и существительного *месяц* //Семиотика и информатика, вып. 32, М., 1991, с. 136–145.

ЛЭС 1990 — Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Николаева 1985 — *Т. М. Николаева.* Функции частиц в высказывании (на материале славянских языков). М., 1985.

Панов 1995 — *М. В. Панов.* Московская лингвистическая школа: 100 лет // Русистика сегодня, 1995, № 3, с. 5–37.

РГ 1980 — Русская грамматика. Том I. М., 1980.

РЯЭ 1979 — Русский язык. Энциклопедия. М., 1979.

Солнцев и др. 1979 — *В. М. Солнцев, И. Ф. Вардуль, В. М. Алпатов, А. Е. Бертельс, Н. Н. Коротков, Г. Д. Санжеев, Г. Ш. Шарбатов.* О значении изучения восточных языков для развития общего языкознания // Вопросы языкознания, 1979, № 1, с. 3–15.

Храковский, Володин 1986 — *В. С. Храковский, А. П. Володин.* Семантика и типология императива. Русский императив. Л., 1986.

Якобсон 1972 — *Р. О. Якобсон.* Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя, М., 1972, с. 95–113.

Якобсон 1985 — *Р. О. Якобсон.* О структуре русского глагола // *Р. О. Якобсон.* Избранные работы, М., 1985, с. 210–221.

Mel'čuk 1993 — *I. Mel'čuk.* Cours de morphologie générale (théorique et descriptive). Volume I. Introduction et première partie: le mot. Montréal, 1993.

С. М. Толстая

К типологии морфонологических моделей в славянских языках: йотация в отглагольных именах на **-enьje*

В статье «Морфонологические модели *Луцѣ — Лучинъ* и *Лукѣ — Лукинъ* в славянских языках» А. А. Зализняк привел группировку славянских языков по признаку наличия/отсутствия результатов второй палатализации в парадигме существительных типа **rǫka*, **noga*, **muha* и наличия/отсутствия результатов первой палатализации задненебных в притяжательных прилагательных с суффиксом *-in* от тех же имен. Параллелизм в морфонологическом оформлении этих образований, имеющий семантическую и грамматическую мотивировку, характерен для всех славянских языков, тогда как результаты самих палатализаций представлены в одних языках и по разным причинам отсутствуют в других. Близкую к этому картину обнаруживают известные всем славянским языкам отглагольные имена на **-enьje*. Подобно притяжательным прилагательным, они располагаются на границе словоизменения и словообразования (в польской грамматической традиции, например, их обычно трактуют как парадигматические формы глагола), сохраняя морфонологическую и словообразовательную соотносительность с формами страдат. причастий прош. времени на *-en*: nomina actionis на **-enьje* образуются, как правило, от тех же типов глагольных основ и по той же морфонологической модели (с чередованием конечного согласного основы или без него), что и соответствующие причастия, ср. русск. *снабжен — снабжение*, но *приобретен — приобретение; утомлен — утомление*, но *произведен — произведение* и т. п. Эта соотносительность, однако, нарушена у производных от глаголов с темой **ě/i*, ср. русск. *терпеть — терпение*, но *претерпленный* (устар. *претерпенный* — ГС); *сидеть — сидение*, но *высиженный* и т. п. (исключение составляет *видеть — видение — увиденный*).

Что касается самого чередования, то в данном случае нас будут интересовать результаты пережитой всеми славянскими языками йотации согласных (изменения сочетаний согласных с последующим *j*). В отглагольных именах на **-enьje* йотация имела место только в дериватах от *i*-глаголов, ср. ст.-слав. **покорѥниѥ**, но **борениѥ**; **каждениѥ**, но **падениѥ**, **сѣдениѥ**; **истрѣблѥниѥ**, но **погребениѥ**; **оугашениѥ**, но **принесениѥ**, **въскрьсениѥ** (от **въскрьснѫти**) и т. п. В современных славянских языках результаты йотации в производных от *i*-глаголов представлены непоследовательно, ср. с отражением йотации ст.-слав. **хожениѥ**, болг. *хождение*, др.-рус. *хожение*, сербскохорв. *хођенье*, словен. *hójenje*, польск. *chodzenie*, чеш. *chození*; и без следов йотации: макед. *одење*, словац. *chodenie*. Причины этой непоследовательности различны: аналогическое выравнивание с устранением йотированных рефлексов (или, наоборот, с их распространением на модели, исконно не знавшие йотации), фонологическая и фонетическая утрата палатальности согласными, не имевшими специальных рефлексов йотации, и др. Это отличает deverbativa на **-enьje* от существительных типа **medja*, **sadja*, **světja*, **zemja*, **zorja*, **volja* и т. п., которые во всех языках сохраняют (хотя и в разном виде) йотированные рефлексы конечных согласных и на которые обычно опираются авторы сравнительных грамматик при анализе йотации.

Наличие или отсутствие йотированных рефлексов в отглагольных именах на **-enьje* позволяет сгруппировать славянские языки следующим образом: I — старославянский, русский и польский языки, в которых deverbativa на **-enьje* последовательно сохраняют следы йотации для всех типов согласных (в той степени и в том виде, в каком эти следы представлены в именах на **-ja*); II — белорусский, украинский, сербскохорватский и словенский, где йотированные рефлексы устранены лишь в серии сонорных и частично (т. е. возможны наряду с йотированными рефлексами) в других сериях согласных; III — чешский и болгарский, в которых йотация не отражена у губных и в той или иной степени сохранена в серии переднеязычных и сонорных; IV — словацкий и македонский, для которых характерно полное отсутствие следов йотации в интересующих нас образованиях.

I. В с т а р о с л а в я н с к о м языке в дериватах от *i*-глаголов на **-ениѥ** (**-ѥниѥ**) представлено регулярное чередование сонорных, губных и переднеязычных по типу йотации: *r ~ r'*, *l ~ l'*, *n ~ n'*, *m ~ ml'*, *p ~ pl'*, *b ~ bl'*, *v ~ vl'*, *t ~ št'*, *d ~ žd'*, *s ~ š*, *z ~ ž*, *st ~ št'*, *zd ~ žd'*, *sl ~ šl'*, *zn ~ žn'*, *tr ~ štr'*, ср. **покорѥниѥ**, **хвалѥниѥ**, **чинѥниѥ**, **кръмлѥниѥ**,

кроплкние, истрѣблкние, правлкние, защищеник, кажденик, оугашеник, погрѫженик, крьщеник, помышлкник, оупражнкник, обѧщркние (обѧтрити) на фоне столь же регулярного отсутствия йотации в производных от глаголов других классов: борениk, колениk, терпениk, погребениk, обретениk, падениk, опасениk, принесениk и т. п. [SA, CC].

Для большинства старославянских существительных на *-*enьje* засвидетельствованы производящие глаголы на -*i*, и лишь в отдельных случаях йотация или ее отсутствие не подтверждаются глагольными формами. Так, для оунынкник, оусынкник не обнаруживается ожидаемых глаголов *оунынити (при наличии оуныти), *оусынити, которые бы оправдывали йотированный вид согласного перед *-*enьje*. Напротив, благословеник, которое принято считать искаженным вариантом закономерной формы с йотированным согласным — благословлкние от *i*-глагола благословити (аналогично благословенъ и благословлкнъ), в действительности может быть истолковано и как «правильное» образование, но от другой глагольной основы — слоути (в пользу правомерности обоих производных — с йотацией и без нее — говорит и устойчивость обоих вариантов в церковнославянском и русском языках: *благословение* и *благословление*, ср. *воскресение* от *воскреснуть* и *воскрешение* от *воскресить*). Трудно объяснить и морфонологию форм благословествениk и благословещвение — в обоих случаях следовало бы ожидать йотированного рефлекса -вл- в соответствии с *i*-глаголом благословествити (наличие щ во втором случае также указывает на исконную йотированность конечного согласного основы). Морфонологически немотивированной выглядит и форма оумрьщвениk: от оумрьтвити должно быть *оумрьщвлкник (ср. рус. *умерщвление*), от оумрьтвѣти — *оумрьтвѣник, а от оумрьщвꙗти (оумрьщвлꙗти) — *оумрьщвꙗник (*оумрьщвлꙗние). Не получает объяснения и этимологически темное въсхлащениk (вероятно, родственно рус. *выхолощенный*), для которого нет подходящей производящей основы. Неясна также морфонологическая модель без йотации в крьстениk при крьстити (ср., однако, сербскохорв. *крштење* и *крштење*, где последняя форма явно продолжает церк.-слав. крьщениk); отсутствует требуемая глагольная основа для гръждениk.

Русский язык в интересующем нас отношении в принципе не отличается от старославянского, обнаруживая регулярную йотацию (переходное смягчение) согласных в исходе производящей глагольной основы: *стремление, накопление, ограбление, направление, свечение, брожение, приглашение, сражение, оснащение.*

Переднеязычные *t* и *d* имеют два вида йотации — собственно русскую (*č, ž*) и церковнославянскую (*š', žd'*), ср. *коптить — копчение*, но *посетить — посещение; следить — слежение*, но *родить — рождение* (см. ГС).

Для сонорных результаты йотации совпадают с результатами непереходного смягчения, поэтому в *курение, соление, сочинение*, производных от *i*-глаголов, предшествующие суффиксу сонорные следует считать морфонологически йотированными, а в *горение, обмеление, помутнение*, соотносимых с глаголами на *-еть*, фонологически тождественные им сонорные должны быть признаны не йотированными, а смягченными по типу непереходного смягчения (ср. *гудение, везение, метение*). Как и в старославянском, производные на *-ение* от других классов глаголов не обнаруживают следов йотации, а лишь результаты непереходного смягчения: кроме упомянутого смягчения сонорных, здесь представлены мягкие корреляты губных и переднеязычных, отличные от йотированных, ср. *разумение, полевение, терпение, погребение, кряхтение, худение, трясение, везение, опустение*. Глагольные основы, имеющие в исходе заднеязычный, регулярно отражают результаты первой палатализации: *толку — толчение, свергну — свержение* (примеров на чередование *x* ~ *š* нет).

К трудным или отклоняющимся от нормы случаям в русском языке можно отнести производные с неоправданной йотацией: *верчение* от *вертеть* (морфонологически правильная форма — **вертение*, ср. *кряхтеть — кряхтение*; ср., однако, польск. *wiercić*, оправдывающее йотацию), *ржавление* (вместо **ржавение*) от *ржаветь*; *выздоровление* от *выздороветь* (впрочем, для этого глагола вообще характерны колебания в выборе морфологического класса, ср. распространенную в просторечии форму 1 лица ед. числа наст. времени *выздоровлю* вместо нормативного *выздоровею*). При наличии однокоренных глаголов разных классов, один из которых (*i*-глагол) требует йотации, а другой ее исключает, не всегда образуются параллельные nomina actionis типа *воскресение* (к *воскреснуть*) — *воскрешение* (к *воскресить*), *огрубение* (к *огрубеть*) — *огрубление* (к *огрубить*); чаще остается лишь одно образование на *-ение*, которое может соотноситься с обоими глаголами. Например, глаголам *отрезветь, протрезветь* и *отрезвить, протрезвить* соответствует по одному деривату — соответственно *отрезвление, протрезвление*, которые семантически связаны с некаузативными *e*-глаголами, а морфологически — с *i*-глаголами (наличие йотации). То же можно сказать о случае *охлаждение* к *охладить* и

охладеть; *ослабление* к *ослабеть* и *ослабить* и т. п. Противоположное явление — отсутствие йотации в дериватах от *i*-глаголов — демонстрируют производные *клеймение* к *клеймить* (ср. также *заклеймен* вместо ожидаемого **заклеймлен*), *затмение* к *затмить* (о тяготении этого глагола к классу *е*-глаголов свидетельствует имперфектив *затмевать*), *благословение* к *благословить*.

В польском языке, где отсутствуют бифонемные рефлексы йотированных губных, противопоставление морфонологически палатальных (в русском им соответствуют результаты непереходного смягчения) и йотированных (в русском им соответствуют результаты переходного смягчения) сохраняется только в серии переднеязычных: *t ~ ć ~ c, d ~ ʒ́ ~ ʒ, s ~ ś ~ š, z ~ ź ~ ž, st ~ ść ~ šč, zd ~ źʒ́ ~ žʒ (ždž)*. Для всех остальных согласных ступень палатальности и ступень йотации выглядят одинаково: *r ~ ž, ł ~ l', n ~ n', m ~ m', b ~ b', p ~ p', v ~ v', f ~ f'.*

В дериватах на *-enie* от глаголов на *-ić* йотация представлена столь же последовательно, что и в именах типа **burja (burza)*, **volja (wola)*, **stajnja (stajnia)*, **glǫbja (głębia)*, **stǫpja (stępia)*, **světja (świeca)*, **medja (miedza)*, **pasja (pasza)*, **tixja (cisza)*, **pustja (puszcza)*, ср. *palenie, zwolnienie, karmienie, gubienie, bawienie, trafienie, płacenie, chodzenie, gaszenie, mrożenie, pomieszczenie, przygwożdżenie* [IaT].

Любопытной особенностью польского языка является то, что в дериватах на *-enie* от глаголов на *-eć* (праславянские *ě*-глаголы), где по правилу не должно быть йотации (ср. старославянский и русский), производные от глаголов с конечным **t* и **d* показывают йотированные рефлексы согласных: *chcenie, idiocenie, -siedzenie, -wiedzenie, -widzenie, zatwardzenie* при ожидаемых **chcienie*, **siedzienie* и т. д. (ср. рус. *хотение*, а не **хочение*; *поседение*, а не **поcежение*). В случае других конечных согласных йотации не наблюдается: *łysienie, sfrancuzienie* и даже *zniewieścienie* (конечное **st*). Эта же особенность характерна для глаголов с консонантным исходом «базовой» основы: *-gniecenie, -plecenie, -kładzenie* (йотированные рефлексы исходных *t, d*), но *pasienie, niesienie, wiezienie, gryzienie* (палатализированные рефлексы **s*, **z*).

Общее правило, по которому производные от *i*-глаголов должны иметь йотированные рефлексы, а производные от остальных классов — нейотированные (палатализированные), может нарушаться в польском в обе стороны. Так, ряд дериватов от глаголов на *-ić* вопреки правилу не имеют йотации: *zalęsić— zalęsienie, -mięsić— -mięsienie, orzęsić— orzęsienie, -włosić—-włosienie* и т. п., т. е. совпадает по своей морфонологической модели с производ-

ными от глаголов на *-eć*: *łysieć — łysienie*. Причина этой аномалии кроется, как кажется, в семантике этих глаголов и отглагольных имен. В принципе в каждом случае могли бы существовать пары глаголов, противопоставленные по каузативности, типа *kostmacieć* и *kosmacić*, причем от каждого из них возможен девербатив: соответственно **kostmacienie* (без йотации) и *kosmacenie* (с йотацией), ср. рус. *огрубеть — огрубение* и *огрубить — огрубление*. В действительности, однако, имеется лишь один дериват на *-enie*, обслуживающий оба глагола. Но в одних случаях этим дериватом оказывается, независимо от семантики, производное от *i*-глагола, а в другом — производное от *e*-глагола. Например, от глаголов *żółcieć* 'желтеть' и *żółcić (się)* '*желтить(ся)' образуется *żółcenie*, формально производное от *żółcić*, а семантически производное от глагола со значением 'желтеть' (*żółcieć*), но соотносительное по значению и с глаголом на *-ić* благодаря возвратной семантике, привносимой частицей *się*: *żółcić się*, ср. рус. *золотиться* при *золотеть* и общий для них девербатив *золочение*, формально соотносительный лишь с *золотить(ся)*. Ср. также *bogacenie* от *bogacieć* и *bogacić się*; *kiszenie* от *kisieć* и *kisić* и т. п.

С другой стороны, в некоторых случаях дериваты на *-enie* без йотации, которым формально и семантически должны соответствовать *e*-глаголы, имеют производящую основу лишь в классе *i*-глаголов: *-lesić — -lesienie, mięsić — mięsienie, orzęsić — orzęsienie, -włosić — -włosienie, rozgałęzić (się) — rozgałęzienie* (ср. «правильные» образования от *i*-основ с йотацией: *kwasić — kwaszenie, krasić — kraszenie, wiesić — wieszenie, wymusić — wymuszenie, łazić — łażenie, wozić — wożenie* и т. п.) Единственным примером обратного нарушения правила, т. е. использования йотации при производящем *e*-глаголе, является *wisieć — wiszenie* (ср. рус. *висение* без йотации).

Белорусский язык сохраняет противопоставление йотированных и палатализированных рефлексов во всех сериях согласных, кроме сонорных (при этом *r* вообще не знает ни того, ни другого вида смягчения): *l ~ l', n ~ n', m ~ ml', p ~ pl', b ~ bl', v ~ vl', t ~ c' ~ č, d ~ ʒ' ~ dž, s ~ s' ~ š, z ~ z' ~ ž, st ~ s'c' ~ š*. В целом отглагольные имена на **-enьje* соблюдают правило йотации в дериватах от *i*-глаголов: *тварэнне, хваленне, скланенне, тамленне, усыпленне, аграбленне, тапленне, маўленне, пасвячэнне, буджэнне, запрашэнне, заражэнне, апрашчэнне;* йотация закономерно отсутствует в большинстве производных от глаголов других классов: *агрубенне, пасівенне, аняменне, цярпенне, булькаценне, пляценне,*

гудзенне, вядзенне, вярзенне, палысенне, нясенне, грызенне, шалясценне и т. п. Однако есть немало примеров, где йотация производных от *i*-глаголов отсутствует или где допускаются нейотированные варианты наряду с йотированными: *вабіць — вабенне* и *вабленне, даўбіць — даўбенне, кукобіць — кукобенне, мовіць — мовенне, лазіць — лазенне, кляйміць — кляйменне* (ср. аналогично без ожидаемой йотации рус. *клеймение*), *зацьміць — зацьменне* (ср. рус. *затмение*); *абязлесець* и *абязлесіць — абязлесенне* и т. п. Подобные колебания наблюдаются и у страдат. причастий от *i*-глаголов: *обмовеный* и *обмовленый, кукобены* и *кукоблены* и т. п. Значительно меньше отклонений в противоположную сторону, т. е. неоправданной йотации в производных от *е*-глаголов: *пасядзець — пасяджэнне, вярцець — вярчэнне* (ср. аналогичное отклонение в рус. *верчение*) [SaTJB, БРС].

II. В украинском языке от глаголов на *-ити*, продолжающих праславянские **i*-глаголы, нормально образуются nomina actionis на *-ення* с чередованием предшествующего согласного по типу йотации: *повідомлення, захоплення, ваблення, давлення, свічення, справдження, квашення, зниження, змещення, обїжджения* и т. п. (суффикс всегда безударен), в отличие от глаголов на *-іти*, продолжающих праславянские **ě*-глаголы, производные которых на *-іння* (всегда с ударением на суффиксе) йотации не знают: *здуміння, сопіння, огрубіння, терпіння, посивіння* и т. п. Ср. *голубити — голу́блення и голубіти — голубі́ння.* Такое распределение, однако, не является вполне регулярным, поскольку от глаголов на *-ити* нередко образуются дериваты на *-іння*: *дробити — дробі́ння, ловити — лові́ння, кадити — каді́ння, щадити — щаді́ння, голосити — голосі́ння* и т. д., которые, как правило, следов йотации не имеют. Ср., однако: *правлі́ння, управлі́ння, стремлі́ння, кормлі́ння* при наличии параллельных образований на *-ення*: *правлення, управлення, прокормлення*, для которых йотированные рефлексы являются закономерными. Параллельные дериваты на *-ення* и *-іння* от глаголов на *-ити* (но не от глаголов на *-іти*) встречаются достаточно часто: *садити — садіння* и *садження*, *крутити — крутіння* и *кручення*, *ходити — ходіння* и *ходження*, *сушити — сушіння* и *сушення*, *щадити — щадіння*, но *заощадити — заощадження* и т. п. Подобная двойственность (наличие дериватов на *-ення* и *-іння*) наблюдается и в тех случаях, когда «базовая» глагольная основа оканчивается на согласный: *кладення, викрадення, наведення, прядення, плетення, несення* и — *погребіння, падіння, ведіння, бережіння,*

везіння, спасіння, плетіння, гризіння и др. Здесь следов йотации не обнаруживается. [ІСУМ].

В отличие от русского языка, где для *r, l, n,* в дериватах на *-ение* выступают те же йотированные рефлексы, что и в **zorja, *volja, *tonja* и т. д., в украинских дериватах на *-ення* сонорные утратили следы йотации в результате общего отвердения согласных перед *-е*, тогда как в других позициях йотация сонорных сохраняется: *зоря, воля, тоня.* Следовательно, модель с морфонологической йотацией (переходным смягчением) характерна в украинском языке лишь для производных от глаголов на *-ити* с губным и переднеязычным конечным согласным производящей основы. В производных на *-іння* независимо от того, соотносятся ли они с глаголами на *-іти* или с глаголами на *-ити*, имеет место непереходное смягчение для всех согласных, вовлеченных в фонологическое противопоставление по палатальности: *варіння, соління, щеміння, свербіння, кипіння, ревіння, шкодіння, воркотіння, косіння, отверезіння*, а в случае глагольной основы с исходом на заднеязычный представлен результат первой палатализации: *бережіння* (то же перед *-ення: збереження*).

С е р б с к о х о р в а т с к и й я з ы к хорошо сохраняет следы йотации во всех сериях согласных, утратив лишь йотированное *r*, и соблюдает в целом условия, определяющие наличие йотации. Как и в других языках, йотация характерна для производных от *i*-глаголов: *мољење, храњење, ломљење, искупљење, грабљење, прављење, памћење, рођење, прошење, погружење* (при этом, как и в старославянском, *l*-эпентетикум в рефлексах йотированных губных — мягкий). От глаголов на *-стити* образуются двоякие йотированные формы — на *-шћење* и на *-штење* (первые отражают йотацию конечного *t* с последующей автоматической йотацией предшествующего *s*, т. е. *st* → *sč'* → *šč'*, а вторые — особую судьбу исконных сочетаний **st*, т. е. *st* → *št*): *коришћење* и *кориштење*, *овлашћење* и *овлаштење*, *кршћење* и *крштење* и т. п. Аномальное отсутствие йотации имеет место в областной форме *светење* 'освященная еда', наряду с нормативной формой *свећење* при глаголе *светити (се).*

Производные от **ě*-глаголов, в отличие от других славянских языков, в сербскохорватском образуются без йотации лишь в нескольких лексикализованных случаях: *бдети — бдење, говети — говење, хтети — хтење, летети — летење и лећење.* В современном языке возобладала модель с йотацией: *видети — виђење, гудети — гуђење, волети (се) — вољење, разумети — разумљење, кипети —*

кипљење, ћутети — ћућење, пламтети — пламћење и т. п. (то же в екавском варианте: *видјети — виђење, разумјети — разумљење* и т. д.). В нормативных словарях иногда приводятся параллельные формы без йотации, которые, однако, снабжены пометой «нелитературное»: *врвење* (к *врвљење*), *гладнење* (к *гладњење*), *мрзење* (к *мржење*).

Многие *ě-глаголы в сербскохорватском языке имеют параллели в классе *i-глаголов: *лудети* и *лудити (се)*, *-грубети* и *-грубити, -рудети* и *-рудити, -худети* и *-худити, -хладети* и *-хладити, -пустети* и *-пустити* (приводятся примеры экавского варианта) и т. п., причем для каждой из таких пар имеется лишь один девербатив на *-*ењје*, образуемый по модели *i-основ, т. е. с йотацией: соответственно *луђење, грубљење, руђење, хуђење, хлађење, пушћење* и т. д.

В отличие от дериватов *ě-глаголов, производные от глаголов с консонантным исходом базовой основы никогда не имеют йотации: *гребење, скубење, предење, бодење, једење, тепење* (от *тепсти*), *црпење* (от *црпсти* и *црпети*), *тресење, несење, пасење, гњетење, нарастење* и т. п. [RWS, RSHJ].

В с л о в е н с к о м я з ы к е, где дериваты на *-*ењје* вообще менее продуктивны, чем в других славянских языках (из-за наличия других продуктивных словообразовательных моделей для оформления абстрактного имени действия, ср. *združitev* от *združiti, gonja* от *goniti*, *padec* от *pasti* и т. п.), в производных от *i*-глаголов йотированные рефлексы регулярны для всех предшествующих суффиксу согласных, кроме переднеязычных взрывных *t* и *d*, ср. *govorjenje, gospodarjenje, goljenje, zadovoljenje, zvonjenje, glumljenje, zadimljenje, zastrupljenje, grabljenje, zabubljenje, zdravljenje, gnjavljenje, zanošenje, prošenje, groženje, voženje*. Конечное *d* глагольной основы может выступать как в йотированном, так и в нейотированном виде, напр., *glajenje* и *gladenje* от *gladiti, počejenje* и *počedenje* от *počediti; bujenje* от *buditi, grajenje* от *graditi, hlajenje* от *hladiti,* но *grdenje* от *grditi, začudenje* от *začuditi (se), začadenje* от *začaditi se* и т. п. Без йотации остается и конечное сочетание *zd*: *zagozditi — zagozdenje, gnezditi — gnezdenje, gozditi — goženje* и *gozdenje*. Основы с конечным *t отличаются последовательным отсутствием йотированных рефлексов: *klatiti — klatenje, kotiti — kotenje, krotiti — krotenje, mlatiti — mlatenje, motiti — motenje, svetiti — svetenje, začutiti — začutenje* (пример из Plet.), *pobratiti se — pobratenje* (пример из SSHR) и т. п. Форма с йотацией *gačenje* объясняется наличием наряду с *gatiti* глагола *gačiti.* Ко-

нечное *st*, напротив, может иметь йотированный рефлекс: *gostiti se — goščenje*.

В производных от **ě*-основ и основ с консонантным исходом йотация последовательно отсутствует: *gorenje (goreti), gostolenje (gostoleti), brnenje (brneti), grmenje (grmeti), kopnenje (kopneti), vrtenje (vrteti), hotenje (hoteti); bredenje (bresti), gnetenje (gnesti), godenje (gosti), grebenje (grebsti), grizenje (gristi), pasenje (pasti), pletenje (plesti)* и т. д. [SSHR, Plet.].

III. В чешском языке полностью лишены следов йотации предшествующие суффиксу губные согласные: *vyrobení, zpodobení, topení, lepení, krmení, tlumení, mluvení, stavení, oslavení*. Йотированные рефлексы в девербативах на **-enьje* от **i*-глаголов выступают в случае **r(ř), t(c), d(z), s(š), z(ž), st(šť), zd(žď): paření, vaření, tvoření; obvinění, plenění; placení, obracení, svěcení, nasycení; hlazení, chlazení, nasazení, chození, buzení; kvašení, vyhlašení, nošení, zkušení (zkusití), ražení (raziti), čištění (čistiti), spuštění (spustiti), ježdění (jezditi)*. Для **n* йотация проявляется графически в употреблении *ě* вместо *e*: *obvinění, plenění* при *obviniti, pleniti*. Что касается *ř*, то его морфонологический статус двойственен, т. к. этот же рефлекс выступает в позициях, где йотации не было, ср. *pařiti, vařiti, tvořiti* и т. п. при *buditi, platiti* и т. п.

В дериватах от **ě*-глаголов согласные обнаруживают морфонологическую палатальность, которая, однако, не тождественна йотации. У переднеязычных, различающих эти два вида смягчения (ср. в русском переходное и непереходное смягчение), здесь выступают не йотированные рефлексы *c, z*, как в дериватах от *i*-глаголов, а мягкие *t', d'*. Для губных отличие носит исключительно графический характер, ср. *vidění, obrabění, hřmění, vypravění* (от *vypravěti*), *šumění, sladění, bdění, vrtění, chtění* и т. п. Дериваты от глаголов с консонантным завершением исходной основы следов йотации не обнаруживают: *kladení, napadení, vedení, pletení, čtení, kvetení, hnětení* и т. п. [RSSČ].

Болгарский язык в отношении интересующей нас морфонологической модели производных от **i*-глаголов характеризуется противоречивостью из-за сосуществования в нем книжной (церковнославянской или русской по происхождению) нормы, требующей йотации, и более новой нормы без йотации. Колебания обнаруживают прежде всего производные от глагольных основ на губной. Наряду с *поздравление, направление, представление, удивление, съпротивление, приготовление, явление, закръгление, встъпление, отопление, томление, озлобление, заслепление* и т. п.

имеются образования без йотации: *избавение, одушевение, уязвение, утъкмение, възстановение, отъждествение, осъществение* и т. п. или параллельные формы: *обновение* и *обновление*, *заслепение* и *заслепление*, *употребение* и *употребление*, *оскръбение* и *оскърбление*. Подобных колебаний, однако, не знают образования от глагольных основ на переднеязычный (*t, st, d, zd, s, z*), для которых нормой является йотация: *прекращение, освещение, запрещение, разхищение, въплъщение, угощение, отъмщение, охлаждение, насаждение, утвърждение, разсъждение, погашение, кревишение, смешение, изкушение, преображение, унижение* и т. д.

Производные от других глагольных основ последовательно выступают без йотации: *погребение, падѐние, заведение, въведение, наблюдение, почтение, гризение, пълзение, спасение, унесение, угнетение, бдение, видение, кипение, нетърпение, вѫртение, запустение* и т. д. [ОРБЕ].

IV. Македонский язык полностью устранил следы йотации в рассматриваемых здесь производных от **i*-глаголов: *вабење, дробење, губење, љубење, бавење, правење, готвење, ладење, кадење, следење, цедење, судење, газење, возење, тормозење, грозење, молење, братимење, кумење, поканење, хранење, кипење, апење, крпење, лупење, квасење, гласење, носење, просење, патење, китење, штитење, пустење* и т. д. Естественно, что отсутствует йотация и в производных от **ě*-глаголов: *горење, скрбење, седење, болење, сипење, светлење, умење* и т. п., а также в производных от глаголов с основой на согласный: *гребење, скубење, падење, крадење, ведење, предење, везење, гризење, тресење, несење, клатење, гнетење, метење, растење, мелење*. Основы на заднеязычный, как и во всех языках, здесь представлены рефлексами первой палатализации: *течење, сечење, влечење, стрижење, можење*. [OPMJ].

В словацком языке наблюдается то же полное отсутствие рефлексов йотации в дериватах на **-enьje*, ср. производные от **i*-глаголов: *podarenie, rozjarenie, stvorenie, nachylenie, delenie, odosobnenie, lomenie, prekvapenie, pobavenie, vyplatenie, zvrátenie, stratenie, krutenie, rodenie, ukrivdenie, rozladenie, skusenie, urazenie, vyobrazenie, odpustenie* и т. п. (исключение: *prirodzenie*, ср. *prirodzený*, но *urodený*). Дериваты других типов глагольных основ: *oslabenie, svrbenie, bdenie, sedenie, velenie, šumenie, zrozumenie, strpenie, otupenie, horenie, potenie, opustenie; pradenie, vedenie, spasenie, nesenie, mätenie, svätenie* и т. п. [RSS].

Для наглядного представления рассмотренных рефлексов согласных перед суффиксом *-*enьje* в производных от **i*-глаголов в разных славянских языках воспользуемся таблицей:

	**r*	**l*	**n*	**m*	**p*	**b*	**v*	**t*	**d*	**s*	**z*	**st*	**zd*
ст.-слав.	*r’*	*l’*	*n’*	*ml’*	*pl’*	*bl’*	*vl’*	*št’*	*žd’*	*š*	*ž*	*št’*	
рус.	*r’*	*l’*	*n’*	*ml’*	*pl’*	*bl’*	*vl’*	*č*	*ž*	*š*	*ž*	*š̄’*	*ž̄’*
польск.	*ž*	*l’*	*n’*	*m’*	*p’*	*b’*	*v’*	*c*	*ʒ*	*š*	*ž*	*šč*	*ždž*
бел.	*r*	*l’*	*n’*	*ml’*	*pl’*	*bl’*	*vl’*	*č*	*dž*	*š*	*ž*	*š̄’*	*ždž*
укр.	*r*	*l*	*n*	*ml*	*pl*	*bl*	*vl*	*č*	*dž*	*š*	*ž*	*šč*	*ždž*
с.-х.	*r*	*l’*	*n’*	*ml’*	*pl’*	*bl’*	*vl’*	*ć/t*	*ǯ/d*	*š*	*ž*	*šć*	
словен.	*r’*	*l’*	*n’*	*ml’*	*pl’*	*bl’*	*vl’*	*t*	*d/j*	*š*	*ž*	*šč*	
чеш.	*ř*	*l*	*n’*	*m*	*p*	*b*	*v*	*c*	*z*	*š*	*ž*	*št’*	
болг.	*r*	*l*	*n*	*m/ml*	*p/pl*	*b/bl*	*v/vl*	*št*	*ž*	*š*	*ž*	*št*	
макед.	*r*	*l*	*n*	*m*	*p*	*b*	*v*	*t*	*d*	*s*	*z*	*st*	*zd*
словац.	*r*	*l*	*n*	*m*	*p*	*b*	*v*	*t*	*d*	*s*	*z*	*st*	

Как видно из таблицы, наиболее устойчивыми в отношении йотации оказываются согласные *s* и *z*, сохранившие йотированные рефлексы перед *-*enьje* в дериватах от *i*-глаголов в большинстве славянских языков. Остальные серии согласных обнаруживают меньшую устойчивость. Старославянский, русский и польский языки полностью сохранили следы йотации во всех сериях согласных. В белорусском наблюдаются некоторые колебания, но полностью йотация устранена только в случае **r*, что объясняется фонетическими причинами (полным отвердением *r*). Несколько иной характер носят отклонения от правила йотации для сонорных в украинском: фонетически и фонологически мягкость сонорных не исключается, в том числе и перед *е* (ср. *полуднє, зараннє, завтрє*), следовательно устранение следов йотации в этой позиции можно считать явлением морфонологическим, которое, однако, охватило все позиции исконной йотации перед *е*. В сербскохорватском, кроме фонологического устранения йотации (мягкости) у *r*, наблюдаются признаки разрушения модели в случае переднеязычных смычных *t* и *d*, которые имеют параллельные (иногда факультативные) йотированные и нейотированные ре-

флексы. То же явление отражает словенский, где для *t* йотация устранена полностью, а для *d* допускаются двоякие формы. В чешском по фонологическим причинам отсутствуют следы йотации губных; в болгарском в серии губных наблюдаются колебания, причем нейотированные и йотированные (с *l*-эпентетикум) рефлексы маркируют генетически разные модели (собственно болгарскую и церковнославянско-русскую). Наконец, в македонском и словацком йотированные рефлексы в образованиях на **-enьje* устранены полностью.

Сравнительно с другими исконными позициями йотации позиция перед суффиксом **-enьje* отличается в целом значительно меньшей сохранностью йотированных рефлексов. Например, в словацком и македонском при отсутствии следов йотации в дериватах на **-enьje* йотированные рефлексы сохраняются в других словообразовательных моделях, ср. словац. *sadza, medza, nudza, svieca, noša* и т. п., макед. *меѓа, свеќа, среќа, повраќа*; в словенском также различаются *meja, saja, sveča*, с одной стороны, и *začudenje, svetenje* — с другой; в украинском в разных словообразовательных типах может быть представлено разное «качество» йотации, ср. *стужа*, но *ходження*. Причиной, обусловившей эти различия, следует, видимо, считать разный морфологический статус соответствующих словообразовательных моделей, а именно близость к словоизменительной парадигме глагола отглагольных имен на **-enьje* и относительную автономность от словоизменения образований типа **medja*, **svetja*. В парадигматических (словоизменительных) и близких к ним семантически и по степени регулярности деривативных (словообразовательных) моделях морфонологические характеристики оказываются менее устойчивыми и более подверженными аналогическим выравниваниям, тогда как собственно словообразовательные модели лучше сохраняют свой исконный морфонологический вид.

Сокращения и литература

БРС — *Я. Станкевiч*. Белорусско-русский (Великолитовско-русский) словарь / Беларуска-расійскі (Вяліколитовско-расійскі) слоўнік / Byelorussian-Russian (Greatlitvan-Russian) Dictionary by Dr. J. Stankevich. New York [без года].

ГС — *А. А. Зализняк*. Грамматический словарь русского языка. М., 1977.

А. А. Зализняк. Морфонологические модели *Луцѣ — Лучинъ* и *Лукѣ — Лукинъ* в славянских языках // Studia slavica. Языкознание. Литературоведение. История. История науки. К 80-летию С. Б. Бернштейна. М., 1991, с. 153–160.

А. В. Исаченко. Глагольные основы и структура отглагольного слова // Russian Linguistics, 1976, No 3.

ІСУМ — Інверсійний словник української мови. Київ, 1985.

ОРМЈ — Обратен речник на македонскиот јазик. Сост. В. Миличиќ. Скопје, 1967.

ОРБЕ — Обратен речник на съвременния български език. София, 1975.

СС — Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). М., 1994.

Н. С. Трубецкой. Возникновение общезападнославянских особенностей в области консонантизма // *Н. С. Трубецкой.* Избранные труды по филологии. М., 1987, с. 180–195.

IaT — Indeks a tergo do Słownika języka polskiego pod redakcją W. Doroszewskiego. Warszawa, 1973.

Plet. — *M. Pleteršnik.* Slovensko-nemški slovar. I–II. Ljubljana, 1894–1895.

RSHJ — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1880–1976, d. 1–23.

RSS — *J. Mistrík.* Retrográdny slovník slovenčiny. [Bratislava], 1976.

RSSČ — *M. Těšitelová, J. Petr, J. Králík.* Retrográdní slovník současné češtiny. Praha, 1986.

RWS — *J. Matešić.* Rückläufiges Wörterbuch des Serbokroatischen. B. 1, 2. Wiesbaden, 1965–1967.

SA — *L. Sadnik, R. Aitzetmüller.* Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955.

SaTJB — *F. Bartoszewicz, I. Komendacka.* Słownik a tergo współczesnego języka białoruskiego. T. 1–4. Warszawa, 1988–1989.

SSHR — *Š. Skerlj, R. Aleksić, V. Latković.* Slovenačko-srpskohrvatski rečnik. Beograd; Ljubljana, 1964.

Вл. А. Успенский

Невто́н — Ньюто́н — Нью́тон, или Сколько сторон имеет языковой знак?

«...может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать».
М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия...

«...де Соссюр и Леви-Строс!»
Тимур Кибиров. Л. С. Рубинштейну. Часть 19.

§ 1. Прежде всего автор хотел бы сделать три метазаявления:

1) он считает честью для себя участвовать в сборнике, посвящённом Андрею Анатольевичу Зализняку, в котором видит крупнейшего лингвиста мира;

2) при написании этой заметки он пользовался консультациями Ольги Фёдоровны Кривновой и Владимира Александровича Плунгяна, коим приносит искреннюю признательность;

3) он не лингвист и слабо знаком с лингвистической литературой. Однако он успел заметить, что лингвистика "не удовлетворяет условию минимальности", т. е. обладает следующей замечательной особенностью: кто бы что ни сказал (разве что Панини является здесь исключением!), обычно оказывается, что кто-нибудь высказал эту же идею или сделал это же наблюдение ещё раньше. Поэтому скорее всего всё, что написано в этой заметке, окажется хорошо известным.

§ 2. Целью заметки является попытка ответить на вопрос, применимо ли понятие перевода также и к собственным именам, а заодно подвергнуть сомнению традиционное представление о (не более чем) двусторонности языкового знака. Побудительным стимулом было сравнение трёх русских написаний и произнесений имён великого английского физика, математика и теолога, вынесенных в заглавие, с целью определить, какое из них следует считать более правильным. А в качестве побочного продукта мы обсудим, сколько букв в русском алфавите, существуют ли прописные ер и ерь, строчной или прописной является буква ᴀ. Чтобы ответить на поставленный в начале параграфа вопрос, кажется естественным прежде всего заглянуть за толкованием термина “перевод” в ЛЭС, т. е. в Лингвистический Энциклопедический Словарь [ЛЭС], — но, как тотчас же выясняется, лишь для того, чтобы убедиться, что в этом словаре статья “Перевод” отсутствует. (Удивительность этого отсутствия усугубляется следующим высказыванием Романа Якобсона, сделанным им в сентябре 1958 г. в Москве на организованной в МГПИИЯ встрече: “Для меня <...> понятия лингвистики и теории перевода сливаются”; см. [Усп 92], с. 127.) Напротив, статья “Знак языковой” присутствует в ЛЭС на стр. 167, и там однозначно сообщается, что это есть двусторонняя единица языка.

§ 3. Как известно, знаменитый писатель Хаксли (1894–1963) приходится внуком знаменитому биологу Гексли (1825–1895). Разумеется, по-английски их фамилии пишутся одинаково, и потому подобный сюжет с удовольствием приводят в качестве примера антропонимического парадокса, если не анекдота. Однако парадоксальной изложенную ситуацию следует воспринимать только в том случае, если видеть в русском написании всего лишь результат некоторой трансформации написания (или произнесения) английского. Тогда действительно кажется странным, а в презумпции однозначности трансформации даже противоречивым, что, подавая на вход одно и то же английское слово, получаем два различных русских слова на выходе. Ситуация перестает быть парадоксальной, если посмотреть на неё под другим углом: имеются два предмета, и один из них называется в русском языке “Гексли”, а другой “Хаксли”. Этот другой угол в свою очередь может показаться странным — но лишь потому, что мы отягощены некоторым знанием. Отягощающее знание

состоит в том, что оба предмета относятся к английской действительности; а потому у нас возникает убеждение, что именно там, в английской культуре, они имеют свои истинные (совпадающие в нашем случае) имена. Если избавиться от этого знания и от этого убеждения, то всё становится на свои места.

И тогда мы готовы не удивляться тому, что ветхозаветный Иаков именуется по-английски “Jacob”, а новозаветный Иаков — “James”.

§ 4. Предметы, имеющие своим истоком иностранную культуру, но прижившиеся в русской, т. е. охваченной русским языком, действительности, имеют названия, или имена, в русском языке. Эту совершенно банальную истину, а точнее её проявления в конкретных случаях, нередко воспринимают с трудом. Наиболее часто удивление вызывает тот факт, что латинские буквы имеют названия в р у с с к о м языке. На самом деле тут нет ничего удивительного. Эти буквы широко распространены в русской действительности, хотя бы со школьной алгебры, которую все обязаны знать.

Вот русские имена латинских букв (сверху буква, снизу имя, а под именем подписан вариант имени в случае, если таковой имеется):

A	B	C	D	E	F	G	H	I
а	бэ	цэ	дэ	е	эф	жэ	аш	и
	бе	це	де			же		
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
йот	ка	эль	эм	эн	о	пэ	ку	эр
						пе		
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
эс	тэ	у	вэ	дубль-вэ	икс	и́грек	зэт	
	те		ве	дубль-ве			зет	

Мы привели эту таблицу, поскольку, как кажется, в таком виде она ранее не публиковалась. Нам возразят, что латинский алфавит с русскими названиями его букв публикуется в школьных учебниках математики (иногда), а также в различных справочниках. Однако таблицы из справочников и математических учебников имеют, как правило, два отличия от нашей таблицы.

Во-первых, там часто для *жэ* даётся также и вариант *гэ*, для *аш* — вариант *ха*, для *йот* — вариант *жи*. Мы решительно отвер-

гаем эти варианты. Шахматисты засмеют нас, если мы обозначим поле шахматной доски выражением *гэ пять*, а химики — если мы скажем *ха два о*. Что касается выбора между словами *йот* и *жи*, то здесь мы опираемся на лингвистическую традицию: ср. *йотация, йотирование*.

Во-вторых, в тех таблицах не приводятся варианты типа *бэ / бе*; учебники и справочники дают лишь одно написание, обычно через э оборотное. В то же время словари Ушакова [Уш, т. 1, стлб. 1099 и 1123] и Зализняка [Зал 77, с. 552 и 569] приводят лишь написание *зет*, но не *зэт*. Для названий букв — правда, русских, а не латинских — *бе, ве, гэ* словарь Ушакова даёт, соответственно, такие толкования: "То же, что бэ" (т. 1, стлб. 99); "То же, что «вэ»" (т. 1, стлб. 238); "То же, что ге" (т. 1, стлб. 642). ЛЭС на стр. 429 даёт (опять-таки для названий букв русского алфавита) написания *жэ* и *цэ*, а словарь Ушакова только *же* и только *це* (т. 1, стлб. 850 и 882; т. 4, стлб. 1206 и 1230). Всё это позволяет заключить, что оба варианта написания — через е и через э оборотное — являются одинаково допустимыми. Разумеется, речь идёт лишь о вариантах написания, а произносятся оба варианта одинаково. (См. обсуждение этой проблемы на с. 60–62 в [Ив 76].)

Поучительно взглянуть на названия букв латинского алфавита, приведённого на стр. 522 хорошей "Справочной книги корректора" [БылЖил]. Там предлагаются только варианты *аш, йот*, что правильно, только вариант *ге*, что неправильно, и только варианты *бе, де, пэ, тэ*, что непоследовательно.

По-видимому, первым, кто осознал необходимость дать латинским буквам русские названия, был, в конце тридцатых годов, Николай Владимирович Юшманов [1]. Предложенная им система имён в трёх случаях существенно отличается от приведённой нами выше: Юшманов дает «э» для E, «гэ» для G, «игрэ́к» для Y. Его статья [Юш 40] начинается с интересного обзора названий букв в древних и современных языках, а завершается русскими названиями, по поводу коих он справедливо замечает: "Приведённый отбор названий не принадлежит какому-либо одному языку". Очевидно, под словом "язык" Юшманов разумеет здесь язык иностранный.

---

[1] Автор блестящей "Грамматики иностранных слов" [Юш 33], а также первого отечественного определителя языков [Юш 41а].

§ 5. Несколько замечаний к сказанному в § 4.

5.1. В подавляющем большинстве случаев русские названия латинских букв совпадают — на уровне устной речи и с точностью до неизбежных фонетических модификаций — с названиями тех же букв в алфавитах языков немецкого и французского. (Модификации неизбежны: скажем, отвергнутое нами название "жи" для буквы J нельзя произнести по-русски с характерным для французского мягким согласным.) С немецкими названиями совпадают русские названия для букв A, B, C, D, F, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X; с французскими — для букв A, B, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, W, X. Русское название "зэт" для Z совпадает с названием "zet" в польском; впрочем, здесь можно принять, что русское название совпадает и с французским "zède", а финальное оглушение отнести к числу "неизбежных фонетических модификаций". Русское название "и́грек" для Y совпадает с польским названием "igrek" этой буквы латинского алфавита (термин "латинский алфавит" будет разъяснён ниже) — но не с названием такой же буквы алфавита польского языка, которая называется по-польски "y" (произносится [ы]). Стоит особо подчеркнуть (поскольку в этом часто не отдают себе отчета), что русское название для Y нельзя считать совпадающим с названием такой же буквы алфавита французского языка, где она называется "i grec" с ударением, естественно, на последнем слоге. Если перенос ударения с последнего слога ещё можно причислить к неизбежным модификациям при переходе от французского к польскому, то переход от французского к русскому никак не может служить основанием такого переноса. Йотированное наименование "е" (с произношением [йэ]) для латинской буквы E — специфически русское, подобным образом эта буква вроде бы не называется ни в одном из языков с латинской формой письменности.

5.2. Термин "латинский алфавит" может пониматься в трёх смыслах — в узком, в среднем и в широком. Есть три последовательно расширяющихся списка букв, и каждый из них называется латинским алфавитом в своем круге широко распространённых (совокупные тиражи достигают сотен тысяч) изданий. Первый алфавит можно было бы назвать Алфавитом Высокой Науки, второй — Алфавитом Учебников и Словарей, третий — Алфавитом Повседневного Употребления. В первом 23 буквы, во втором 25, в третьем 26.

Латинский алфавит в узком смысле — Алфавит Высокой Науки — это есть алфавит древнего латинского языка. Даже в этом узком смысле термин "латинский алфавит", строго говоря, неоднозначен, поскольку древний латинский язык был разным в разные эпохи. С развитием языка развивался и его алфавит, от 20 букв в VII в. до н. э. до 23 букв в I в. до н. э.; именно 23-буквенный алфавит, не содержащий букв J, U, W, и называется латинским алфавитом в БСЭ–3, т. е. в 3-м издании Большой Советской Энциклопедии (см. [Жур]).

Как известно, латинский язык продолжал развиваться в средние века, и в XVI в. его алфавит пополнился буквами J и U. Издаваемые в России учебники и словари латинского языка приводят обычно в качестве латинского алфавита 25-буквенный алфавит, содержащий J и U, но не W. Именно этот список назван латинским алфавитом в ЛЭС (см. рис. 5 на с. 255). Это и есть **латинский алфавит в среднем смысле**.

Латинский алфавит в широком смысле есть всем известный 26-членный набор букв, называемых латинскими. Это тот набор, который обязателен для любой пишущей машинки с латинским шрифтом, который мы видим на клавиатуре компьютера и т. п. Именно этот список букв приводится в качестве латинского алфавита в учебниках математики и в справочниках для работников издательств. Мы видели этот список в нашем § 4. Проще всего определить латинский алфавит в указанном широком смысле как алфавит английского языка; английский выбран потому, что попытки объяснить, что есть, скажем, алфавит немецкого языка или алфавит французского языка, наталкиваются на очевидные (хотя не всегда осознаваемые) трудности, связанные с наличием диакритических знаков и лигатур (см. ниже § 20).

В нашей заметке выражение "латинский алфавит" понимается исключительно в широком, двадцатишестибуквенном смысле (так что "буква латинского алфавита" есть синоним термина "латинская буква"). Другие смыслы мы выражаем, говоря "алфавит латинского языка".

5.3. Латинский алфавит отличается от алфавита латинского языка не только наличием буквы W, но и названиями своих букв. Так, Y и Z называются "и́псилон" и "зéта" как буквы алфавита латинского языка, но "и́грек" и "зет" как буквы латинского алфавита. Сам факт, что знаки, внешне совпадающие, но вклю-

чённые в разные знаковые системы, могут рассматриваться как различающиеся объекты и потому могут иметь различные имена, не должен вызывать удивления: сравни имена второй прописной буквы латинского алфавита и третьей прописной буквы русского алфавита. Аналогично — латинская буква пэ и русская буква эр. Или латинская икс и русское ха.

5.4. Более сложен вопрос о критериях, по которым названия букв алфавита какого-либо иностранного языка включаются или должны включаться в состав русского языка. Вряд ли, скажем, названия букв алфавита английского языка вроде "уай" следует относить к числу русских слов. (Хотя школьник, если ему показать букву q и спросить, как она называется, с высокой вероятностью ответит "кью" или "кю" в зависимости от того, английский или французский язык преподаётся в его школе.) Что же касается алфавита латинского языка, то в основных русских словарях присутствует слово "ипсилон", но отсутствует слово "зета". Нам неясно, есть ли в русском языке слово "зета". Если ответить на этот вопрос отрицательно, то написание "зета" в графе "Названия" в таблицах, приведённых в ЛЭС на стр. 255 и в БСЭ–3, т. 14, в стлб. 624, надлежит признать не более чем попыткой передать средствами русского языка соответствующее латинское слово.

Забавно, что БСЭ–3 даёт названия латинских букв в русском написании, а названия греческих букв — лишь в греческом написании (т. 7, стлб. 940); первое даётся в статье "Латинский алфавит", а второе — в статье "Греческое письмо", статьи же "Греческий алфавит" и "Латинское письмо" в БСЭ–3 отсутствуют. Вместе с тем единственный иностранный язык, помимо латинского, все буквы которого присутствуют, как нам представляется, в русской действительности, а потому названия этих букв должны почитаться словами русского языка, — это язык греческий. Словари, надо сказать, ведут себя здесь непоследовательно. Так, в словаре Зализняка [Зал 77] есть слово "омикрон" (по-видимому, для демонстрации его отличия от слова "амикрон"), но нет слова "дзета", есть "ипсилон", но отсутствует "эпсилон" [2]. В 17-томном Словаре современного русского литературного языка [СлСРЛЯ] не представлен "ипсилон", зато есть "дзета". В его начатом 20-томном переиздании [СлСРЛЯ–2] отсутствует уже и "дзета".

---

[2] Из уважения к словарю Зализняка перечислим входящие в него названия греческих букв: *альфа, бета, гамма. дельта, йота, омикрон, ипсилон, омега.*

5.5. А для каких еще нерусских букв русский язык содержит их имена? Прежде всего, это буква ℵ из еврейского алфавита, называемая "áлеф". Далее, две искусственно (вроде бы) созданные буквы: хорошо известная математикам буква ∇, называемая "нáбла" (см. БСЭ–3, т. 9, с. 549, и т. 17, с. 185), а также хорошо известная лингвистам буква ə, называемая "шва". Несмотря на достаточную распространённость слов *алеф*, *набла* и *шва*, они отсутствуют в русских словарях. Слово "шва" присутствует в ЛЭС, но лишь как предмет ларингальной теории, что, конечно, более возвышенно, чем быть названием какой-то закорючки.

В России вряд ли отыщется лингвист, который не употреблял бы слово "крышка" в качестве названия одного из знаков фонетической транскрипции; однако российские лингвисты упорно отказывают этому значению слова "крышка" в праве войти в состав издаваемых ими же словарей. Не удаётся найти в словарях русского языка и названия основных диакритических знаков, такие, как *акýт*, *грáвис, циркумфлéкс, гáчек* и *тремá* (кажется, лишь *акут* встречается в [СлСРЛЯ]); а ведь все они входят в русский язык и должны быть представлены в словарях. (Приятно видеть перечень диакритических знаков на стр. 32 в [Юшм 41]; гачек называется там *птичкой*, а циркумфлекс *крышей*.) Могут возразить, что это специальная терминология; но нет, она необходима всякому, сознательно пользующемуся письменной формой речи.

Удивляться этой демонстративной неполноте словарей не приходится. Здесь проявляется традиционное для лингвистики неуважение к графической, визуальной форме языка. "Не включены в Словарь <...> современные названия русских букв" — эта фраза звучит с 11-й страницы [ОбрС] с той же гордостью, с какой продавщица в магазине говорит: "У нас этого не бывает".

§ 6. Казалось бы, уж названия русских-то букв непременно будут включены в русские толковые словари. Оказывается, что нет, вовсе не непременно. Оказывается, что наличие в словаре этих названий может в известной мере служить критерием качества словаря. Действительно, они присутствуют в лучшем из толковых словарей русского языка XX века — словаре Ушакова [Уш] [3] — и отсутствуют в [СлСРЛЯ], у которого одним из соста-

[3] Я с удовольствием узнал, что он только что переиздан издательством "Русские словари".

вителей, а с 6-го тома и председателем редколлегии был незабвенный Федот Филин, этот злой гений отечественного языкознания.

Вызывает уважение, что словарь Ушакова не боится случаев, когда имя буквы графически совпадает с самой буквой и не только определяет **БЭ** как "название буквы «б»" (т. 1, стлб. 214), но и **А** как "название буквы а" (т. 1, стлб. 1), **Е** как "название буквы «е»" (т. 1, с. 823) и т. д. (кавычки-ёлочки вокруг называемой буквы появляются в [Уш] начиная с буквы «б»). Словарь [СлРЯ] более робок в этом отношении и потому менее последователен. Для **БЕ** и **ЭФ**, скажем, он дает такие толкования: «Название буквы „б"» (т. 1, с. 66); «Название буквы „ф"» (т. 4, с. 771). Но для **А** и **Я** — такие: «Название первой буквы русского алфавита» (т. 1, с. 17); «Название тридцать третьей буквы русского алфавита» (т. 4, с. 776). За эту непоследовательность [СлРЯ] сам себя наказывает, впадая в прямую ошибку, и эту ошибку мы сейчас выведем, как сказал бы Достоевский, арифметически. В самом деле, в 4-м томе на стр. 441 буква **У** определяется как двадцатая буква русского алфавита, а на стр. 745 буква **Э** определяется как тридцать первая буква. Отсюда следует, что между указанными буквами должно содержаться десять других букв, тогда как их всего девять. Эта ошибка чрезвычайно поучительна, её причина будет раскрыта ниже.

Что касается правописания названий букв, то, как отмечалось выше в § 4, написания через *е* и через *э* следует считать равно допустимыми.

Менее ясен вопрос, должны ли включаться в состав словаря сами буквы. Ведь в толковом словаре, вообще говоря, представлены лексемы, а не сущности, обозначаемые этими лексемами. С другой стороны, буквы можно рассматривать как автонимные (см. [Чёрч], § 08) имена самих себя и тогда именно в этом имено́м качестве включать в словарь. Тогда окажется, что для каждой буквы язык содержит два имени: **основное** (*а*, *бэ*, ..., *эль*, ..., *ха*, ..., *я*) и **автонимное** (*а*, *б*, ..., *л*, ..., *х*, ..., *я*), причем для гласных букв русского языка автонимное название совпадает с основным [4]. Говоря об автонимном имени буквы мы, разумеется, име-

[4] Не исключено, что основное и автонимное названия гласной буквы следует трактовать как два различных слова, являющихся одновременно синонимами и омонимами.

ем в виду лишь графическое представление этого имени: в устном языке букв не бывает, и здесь можно было бы говорить лишь об автонимном имени звука или звукосочетания.

Русские толковые словари демонстрируют три из четырёх мыслимых возможностей касательно включения в свой состав основного и автонимного названий буквы: 1) не включается ни одно: [Ож]; 2) включаются оба: [Уш] и [СлРЯ]; 3) включается только автонимное: [СлСРЛЯ] и [СлСРЛЯ–2]. Впрочем, словарь [СлРЯ] содержит словарные статьи лишь для двадцати девяти русских букв из имеющихся тридцати трёх — а именно, для всех, кроме **ё** (как отдельной от **е** буквы), **ъ**, **ы** и **ь**; тем самым он лишает эти буквы не только автонимных, но и основных названий (поскольку названия *ер, еры, ерь* этим же словарём признаются устарелыми: см. т. 1, с. 466 и 467). Отсутствие статьи для буквы **ё** объясняется, надо полагать, традиционным (и незаслуженным) неуважением к этой букве. Что же касается букв **ъ**, **ы**, **ь**, то здесь правдоподобным кажется такое объяснение. Заглавия словарных статей набираются в [СлРЯ] прописными буквами. Но наличие прописных ера, еры и еря отрицается этим словарём (что следует из публикуемых на стр. 16 первого тома и на стр. 7 остальных томов списков букв русского алфавита: в каждом из этих тождественных между собой списков каждая буква, кроме указанных трёх, присутствует как в строчном, так и в прописном вариантах, а эти три — только в строчном). Поэтому дать словарные статьи на эти три буквы оказывается невозможным.

В словаре Ушакова раздел на ту или иную букву начинается со словарной статьи, посвященной самой этой букве. Когда буква гласная, она толкуется как название самой себя. В остальных случаях словарь, помещая букву, не приводит толкования, а даёт лишь отсылку к основному названию: “**Х** [произн. *х* или *ха*]. См. ха” (т. 4, стлб. 1129). Для каждой из букв ша и ща автонимное и основное названия описываются в пределах одной статьи: “**Щ** и **ЩА**, *нескл., ср.* Название буквы «щ», название соответствующего звука и др. знач. <...>“ (т. 4, стлб. 1379). Из общей логической схемы выпадает лишь словарная статья, посвящённая букве **Й** (см. т. 1, стлб. 1271). Если не считать этого маленького недоразумения, то можно отметить достаточно высокую семиотическую культуру словаря Ушакова, чего не скажешь о наших многотомных словарях.

Для иллюстрации приведём выдержки из [СлСРЛЯ] и [СлСРЛЯ–2] относительно буквы **Д**.

"**Д. 1.** Пятая буква русской азбуки (произносится *дэ*), обозначающая согласный звук *д*. <...> Название буквы *д* употребляется как существительное среднего рода. *Прописное д.*" ([СлСРЛЯ], т. 3, стлб. 509).

"**Д.** Буква русского алфавита. *Прописная Д. Строчная д.* <...>" ([СлСРЛЯ–2], т. 4, стр.7).

Из приведённых цитат, в частности, видно, что при переходе от 1-го издания ко 2-му буквы поменяли свой род со среднего на женский. Словарь [СлРЯ], кстати, указывает про все названия букв, что они суть несклоняемые существительные среднего рода.

Замечание. Грамматическая категория рода у русских имён латинских и греческих букв, особенно при их употреблении математиками, может приобретать некоторые особенности, как это отмечено в подстрочном примечании к переводу одной из книг трактата Н. Бурбаки: см. [Бурб], с. 53. Именно, при чтении букв в составе формул проявляется тенденция к замещению у них граммем женского или мужского рода граммемой среднего рода.

Теперь относительно причины, по которой в [СлРЯ] была допущена ошибка в вычислении порядкового номера буквы в алфавите. Причина эта одновременно стандартна и печальна, она состоит в традиционном неразличении букв **е** и **ё**.

Какие бы доводы ни приводились в пользу такого неразличения, они не перевешивают главного: эти две буквы имеют и различающиеся начертания, и различающиеся чтения, а потому трему, т. е. горизонтальное двоеточие над буквой, никак нельзя признать здесь факультативной. Казалось бы, более честно поступает словарь Ушакова [Уш], публикуя в конце вступительной статьи к 1-му тому (см. стлб. LXXV–LXXVI) тридцатидвухбуквенный алфавит, не содержащий **ё**; но тогда непонятно, откуда возникает эта буква в § 31 в столбце XXXVII той же вступительной статьи и далее в записи некоторых словарных слов.

Дозволяя употребление буквы **ё** в заглавных словарных словах, словарь Ушакова делает возможным отразить различие слов **УНИЖЕННЫЙ** с ударением на втором слоге и **УНИЖЁННЫЙ** с ударением на третьем слоге (эти слова имеют разное содержание); вместе с тем, не дозволяя употреблять **ё** в толкованиях, словарь (т. 4, стлб. 952) вынужден использовать графическую форму *униженно* (без тремы!) в качестве иллюстрации к толкованию слова **УНИЖЁННЫЙ**.

Так как же неразличение е и ё влияет на арифметическую ошибку в [СлРЯ]?

Алфавит, публикуемый в каждом из четырёх томов [СлРЯ], тридцатитрёхбуквен и содержит ё, однако е и ё не различаются в отношении порядка расположения словарных слов, а словарная статья, посвящённая букве ё, как уже отмечалось, вообще отсутствует. Так вот, в [СлРЯ] до буквы у включительно счёт букв идёт таким образом, как если бы отдельной буквы ё не существовало, и потому у оказывается двадцатой (а, скажем, й — десятой: см. т. 1, с. 696). Что же касается буквы э, то при исчислении её порядкового номера ё учитывается, и потому она оказывается не тридцатой, а тридцать первой. Ведь объявить букву я тридцать второй было бы неудобно, а э находится слишком близко.

Завершим параграф следующей декларацией (которую mutatis mutandis мы считаем справедливой не только для русского языка):

Все буквы русского алфавита, все буквы латинского алфавита (не алфавита латинского языка!), все буквы греческого алфавита, а также некоторые другие отдельные буквы и знаки суть элементы той повседневной действительности, которая окружает пользующегося русским языком и живущего в окружении таких же пользователей человека. Поэтому названия этих букв и знаков являются именами существительными русского языка и обязаны быть представлены в толковых словарях.

§ 7. Однако нас отнесло слишком далеко от проблем антропонимики. Пора к ним вернуться. Третий том БСЭ–3 дает статью о двух англичанах — о Р. Блейке в столбце 1236 и о Р. Блэке в столбцах 1281–1282. Блейк определяется как "английский адмирал", Блэк — как "деятель Английской революции 17 в., адмирал". Первому посвящено 17 строк, второму — 11. БСЭ–3 всегда старается указать не только даты рождения и смерти, но и места, где произошли эти события. Эти места указаны лишь для Блейка; следует полагать, что для Блэка они неизвестны. Сообщается, что Блейк родился в семье купца. В чьей семье родился Блэк, оставлено без разъяснения. Детально, с указанием времени и места, освещены военные подвиги Блейка. Адмиральская деятельность Блэка отражена в общих терминах, зато сообщено, что он был сподвижник Кромвеля. Чьим сподвижником был Блейк, не сказано, зато сказано, что он был "депутат парламента в 1640 и 1645". Блэк, в

своем качестве революционного деятеля, был "активный участник гражданской войны против короля" и "один из руководителей флота английской республики". Термины "король" и "республика" отсутствуют в статье про Блейка.

Сходство биографий обоих личностей вплоть до почти полного тождества приведенных дат рождения и смерти приводит к убеждению, что в данном случае у имен "Блейк" и "Блэк" один и тот же референт. Впрочем, если верить БСЭ–3, оба деятеля родились в один год (1599, более точных дат не указывается), но умерли с разницей в десять дней: Блейк умер 17.8.1657, а Блэк — 7.8.1657.

Самое простое — рассматривать изложенную историю как предмет для потехи. Но, как и в ситуации с Гексли и Хаксли, здесь можно увидеть семиотическое содержание. Там двум различным именам отвечали два различные референта; соответствующие семиотические треугольники (см. [Лай], п. 9.2.2, или [Сте], с. 438, где семиотический треугольник именуется «семантическим треугольником») были полностью отличны один от другого, различаясь всеми своими вершинами. Здесь двум различным именам отвечают различные смыслы: военный деятель в первом случае и деятель революции во втором. Семиотические треугольники здесь имеют одну общую, а именно референтную, вершину, различаясь как своими именными, так и своими смысловыми, или сигнификатными, вершинами.

§ 8. То, что точка зрения на личность влияет на выбор имени, хорошо известно. Противопоставление имён *Наполеон, Бонапарт* и даже *Буонапарте* много раз обыгрывалось в литературе. Дабы унизить Хемингуэя, хотя бы и покойного, Набоков в датированном 7 ноября 1965 г. «Постскриптуме к русскому изданию» своей «Лолиты» обзывает его *Гемингвеем*: "Кстати, не знаю, кого сейчас особенно чтят в России — кажется, Гемингвея, современного заместителя Майн-Рида <...>"; напротив, наиболее усердные из российских почитателей Хемингуэя — те, кто выставляют его фотопортрет в квази-майн-ридовском обличье (свитер, трубка), — называют его фамильярно-почтительно „Хэм". Приведём ещё несколько наблюдений на сходную тему.

8.1. Имена "Анри", "Луи", "Чарльз" и "Джеймс" уместны для писателей Ренье, Буссенара, Диккенса и Джойса, но не для

королей Генриха IV, Людовика XIV, Карла I и Якова II. Когда современный принц Уэльский, наследник британской королевы Елизаветы II, да продлятся годы её счастливого царствования, сделается королём, станет ли он Карлом III или так и останется Чарльзом?

8.2. Порядковый номер правителя, будь-то светского или духовного, входит в состав его имени.

Как указывает корректорский справочник, наращение, т. е. падежное окончание, при арабских цифрах ставится часто, при цифрах же римских — никогда (см. [БылЖил], с. 186–187). Пишут *Карл II*, но не *Карл II-й*. Поэтому имя патриарха Алексия II в составе надписи на памятной доске при входе во вновь отстроенный Казанский собор (на Красной площади в Москве) о том, что храм восстановлен "с благословения Святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II-го", читается как *Алексúя Одиннадцатого*. Но это так, к слову.

Задумывался ли кто-нибудь, почему в русской истории Иваны имеют сплошную нумерацию от князя Московского Ивана I Даниловича Калиты до императора Ивана VI Антоновича, а цари Фёдор Иванович, Фёдор Борисович и Фёдор Алексеевич не нумеруются? Не потому ли, что объявление Фёдора Алексеевича Третьим означало бы признание Фёдора Борисовича полноценным царём — а решиться на такой шаг ни у кого не хватает смелости?

Кардиналу Ронкалли в 1958 г. также потребовалась известная смелость, чтобы по избрании его папой принять имя Иоанна XXIII. "**Іоанн** — имя двадцати двух пап", указывает на стр. 675 своего 26-го полутома (вышедшего в 1894 г.) Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона и далее перечисляет этих пап. Казалось бы, приведённая цитата лишь подтверждает право новоизбранного (в 1958 г.) папы на тот выбор имени, который он сделал. Однако имя *Иоанн XXIII* уже встречается в указанном перечислении 22 пап. (Несоответствие порядкового номера XXIII количеству 22 не может не смутить. Объяснение в том, что не было фигуры — ни среди пап, ни среди антипап, — носившей имя *Иоанн XX*.) Этот первый Иоанн XXIII хотя и охарактеризован на с. 676 словарной статьи как "один из наиболее развращённых пап эпохи упадка", но всё же охарактеризован именно как папа, и с годами своего понтификата (1410–1415). В 1415 г. он отрёкся от папского престола и умер в 1419 г.

во Флоренции простым кардиналом[5]. Объявляя себя Иоанном XXIII, избранный в 1958 г. папа принимал тем самым следующие ответственные и отчасти разнонаправленные решения: 1) он отвергал предыдущего Иоанна XXIII, поскольку тот был антипапой; 2) он, однако же, принимал в расчёт среди предшествующих себе Иоаннов Иоанна XVI, хотя тот также был антипапой; 3) более того, он соглашался с прыжком от Иоанна XIX сразу к Иоанну XXI, хотя этот прыжок был вызван не чем иным, как приписыванием имени Иоанна VIII мифической папессе Иоанне (между Львом IV и Бенедиктом III). Таким образом, Иоанну XXIII предшествовало всего лишь 20 канонически признанных Иоаннов, так что в известном смысле, о котором не нам судить, он является Иоанном XXI.

Оставим без комментариев следующее сообщение, напечатанное на первой странице газеты "Известия" от 8 апреля 1995 г. (мы приводим его полностью): "Католикос Гарегин Второй, избранный 131-м верховным патриархом, католикосом всех армян, принял имя Гарегина Первого. Об этом стало известно здесь из первопрестола армянской апостольской церкви в святом Эчмиадзине, передал из Еревана ИТАР–ТАСС".

8.3. Как и в случае с царями Фёдорами, так и в случае с папами Иоаннами мы замечаем, что имя личности может определяться коннотациями, связанными с другой личностью. Причём эта другая личность может быть и не существующей реально. Мы только что видели это на примере папессы Иоанны. Другой пример: имя *Павел Первый* подразумевает ссылку на будущих Павлов.

8.4. Специфические примеры политической окраски имени давал тот период нашей истории, когда общество было пронизано идеологией. Лингвист Хомский (Chomsky) в качестве представи-

---

[5] Надо полагать, под именем *Балтазар Косса*, каковое он носил до избрания его папой. Однако его надгробие в баптистерии Св. Иоанна Крестителя (рядом с главным городским собором — Санта Мария дель Фьоре) во Флоренции названо в 1297-м столбце 8-го (1972 г.) тома БСЭ–3 "надгробием папы Иоанна XXIII", а на самом этом надгробии высечены друг под другом следующие четыре строки:

IOANÊSQVÔDAMPAPA XXIII · OBIITFLORENTIEA NÔDNIMCCCCXVIIIIXI KALENDASIANVARII

Над 5-м знаком 2-й строки (т. е. над последним I в XXIII) стоит значок в форме запятой или, скорее, арабской девятки, причём хвостик значка касается вершины знака I; мы не в состоянии показать здесь этот значок.

теля позитивизма или какого-то другого изма в языкознании был плохим, а борец за мир Чомски — хорошим. Потом Хомский был допущен в науку и сделался сравнительно приемлемым, а плохим стал, как помнят многие, Чомски. Американец Pauling был сперва известен как Паулинг и в качестве Паулинга был автором идеалистической резонансной теории (в химии), получившим в 1954 г. Нобелевскую премию по химии — само собой, из рук реакционеров от науки. Затем он стал борцом за мир, инициатором Пагуошских конференций и, соответственно, Полингом; благородная общественная деятельность Полинга была отмечена в 1962 г. Нобелевской премией мира — разумеется, справедливо.

8.5. Влияние политической точки зрения на выбор имени прослеживается в отношении не только отдельных личностей, но и географических образований. Назвать острова Фолклендскими или Мальвинскими означает признать над ними суверенитет Великобритании или, соответственно, Аргентины. Вспомним споры относительно права одной из частей Югославии, входившей в её состав в качестве социалистической республики и называвшейся в этом своём качестве Македонией, сохранить свое название и после обретения независимости. В 1992 г. Россия признала новое государство с наименованием “Республика Македония”. Однако 8 апреля 1993 г. это государство было принято в ООН с названием “The former Yugoslav Republic of Macedonia”; поэтому в английском алфавитном списке членов ООН Македония идёт сразу после Таиланда. Таким образом, надо полагать, что Россия в своих двусторонних отношениях с Македонией именует её *Республика Македония*, а, общаясь с ООН, называет ту же страну *Бывшая югославская республика Македония*.

В СССР области, автономные области и автономные республики управлялись обкомами КПСС. Был Воронежский обком, Адыгейский обком и даже Коми обком КПСС. Но у Еврейской автономной области не было Еврейского обкома КПСС, а был *Обком КПСС Еврейской автономной области*. При превращении России из союзной республики в составе СССР в отдельное государство её автономные области стали республиками (Республика Адыгея, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Хакасия). В статусе автономной области осталась лишь Еврейская. Можно полагать, что для неё просто невозможно было изобрести название, включающее слово “республика”.

Если это предположение верно, то окажется, что ономастические соображения влияют на государственный статус.

8.6. Оставаясь в пределах дальневосточного региона, коснёмся и проблемы Курильских островов. Советско-японский, а ныне российско-японский спор по этому поводу хорошо известен. Речь идёт о четырёх островах: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи (Хабомаи, собственно, не остров, а группа островов и даже иногда называется теми, кто желает подчеркнуть её курильскость, "Малой Курильской грядой"). Россия называет их *Южными Курилами*, считает своими и де-факто управляет ими как частью Сахалинской области. Япония называет их *Северными территориями Японии* и считает пребывающими под незаконной российской оккупацией. Выбор имени является в этом споре решающим. Точнее, решающим является ответ на вопрос, входят или нет спорные острова в состав Курильских островов. А ещё более точно — ответ на вопрос о значении топонима *Курильские острова*.

Дело в том, что по Сан-Францискому мирному договору 1951 г. Япония отказалась от каких-либо прав на Курильские острова. Однако значение топонима в договоре уточнено не было, что дало возможность Японии заявить впоследствии, что четыре спорные территории не имелись ею (и другими участниками договора, среди которых СССР не было) в виду, поскольку они, по мнению Японии, к числу Курильских островов не относились и не относятся.

В этой связи любопытно посмотреть, что говорят о составе Курильских островов наиболее авторитетные энциклопедии мира — причем такие, которые трудно заподозрить в политических пристрастиях. "Энциклопедический словарь" Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, т. 17, полутом 33 (датирован 1896 г.), с. 75–76, статья "Курильские острова": «Наибольшие из них по направлению с С. на Ю.: <...> Итуруп, самый большой из К. о-вов — 6725 кв. км., Кунашир — 1548 кв. км. и Чикотан или Скотан — 391 кв. км.». Ещё (здесь и далее в переводе на русский): "Encyclopaedia Britannica", London e.a., 1964, v. 13, p. 523, статья "Kuril Islands": «Имена 8 главных островов, считая с юга, суть Кунашир, Шикотан, Итуруп, <...>». Ещё. "The Encyclopedia Americana", New York — Chicago, 1951, v. 16, p. 559, статья "Kuril Islands": «От севера к югу, наибольшие острова суть <...> Итуруп, Шикотан и Кунашир». Ещё. "Enciclopedia Italiana", Roma, 1949, v. 12, p. 162,

статья “Curili”; в числе островов упоминаются Кунашир и Итуруп. Ещё. “Nouveau Larousse illustré”, Paris, 1907–1908, v. 5, p. 500, статья “Kouriles”; сообщается, сколько из общей площади островов приходится на Итуруп. Наконец, “Meyers Konversations-Lexicon”, 5te Auflage, Leipzig und Wien, 1897, Bd. 10, S. 875, статья “Kurilen”; приводятся площади Итурупа, Шикотана, Кунашира.

Я не собираюсь здесь защищать точку зрения тех, кто полагает, что оспариваемые территории должны принадлежать России. Более того, я склоняюсь к тому, что их следовало бы отдать Японии. Но для меня удивительно, что ни в одной из публикаций на эту тему я не встретил аргументации, основанной на лингвистическом анализе объёма энциклопедических определений, анализе, подкрепляющем официальную позицию российской стороны.

8.7. Согласно одному из распространённых мнений (см. [Под], с. 153), этнонимы относятся к ономастике, поэтому мы не выйдем за её пределы, занявшись обсуждением, скажем, слова *русский*. Сейчас много говорят и пишут о том, что́ есть русские, в чём состоят их национальные интересы, какова их естественная территория и т. п. Кажется полезным в этой связи обратиться к написанным в конце прошлого века энциклопедическим статьям знаменитых авторов: антрополога, археолога, географа, этнографа Д. Н. Анучина и языковеда, этнографа, историка А. А. Шахматова.

Сперва послушаем Шахматова: «Язык — это один из наиболее существенных признаков, характеризующих народность в смысле культурного облика того или другого племени» ([Шах], с. 564). И там же: «Русский язык — термин, употребляемый в двух значениях. Он обозначает: I) совокупность наречий великорусских, белорусских и малорусских; II) современный литературный язык России, представляющийся в своем основании одним из великорусских наречий».

А вот что писал Анучин. «*Русский язык* делится на три главных наречия: а) *великорусское*[6], б) *малорусское* и в) *белорусское*» ([Ану 99], с. 142). «Малороссы <...> — одна из трех русских народностей <...>» ([Ану 96], с. 484). В советское время слово *малоросс* приказано было считать шовинистическим (см. [Уш], т. 2, стлб. 130), а

---

[6] Вспомним и название словаря Даля: *Толковый словарь живого великорусского языка*. — *В. У.*

великорус — великодержавным (см. [Уш], т. 1, стлб. 244). Вероятно, и сегодня кто-нибудь считает их наполненными идеологизированным содержанием. Но ведь ни Анучин, ни Шахматов не были ни великодержавниками, ни шовинистами. Да и *Малая Азия* и *Малый театр* никем не воспринимаются в обидном смысле. И не имеют оттенка заносчивости ни *Великобритания*, ни *Великие Луки*, ни *Великий Устюг*.

И снова Шахматов: «Деление русских говоров на великорусское, белорусское и малорусское наречие не может быть признано древним. Образование этих наречий стоит в тесной связи с образованием трёх великих народностей, на которые распалось русское племя» ([Шах], с. 565).

§ 9. Сегодняшнее время, когда идеалом провозглашена всеобщая духовность, даёт дальнейшие поучительные примеры. В массовом сознании понятие 'духовность' неразрывно связано с понятием духовного лица. Сообщения из жизни духовенства появляются в средствах массовой информации ежедневно. Обычно они выглядят так: "Обряд освящения, крещения и т. п. совершил настоятель храма отец Александр". Фамилия священнослужителя не указывается практически никогда, а в тех немногочисленных случаях, когда указывается, то — за исключениями уже совершенно редчайшими — берётся в скобки: "отец Александр (Смирнов)". В подавляющем большинстве случаев отец Александр не является монахом. А ведь тогда приведённый текст имеет ту же стилистическую окраску, как и такой: "С докладом выступил начальник цеха Пётр Петрович" или — в случае скобок — "Операцию проводил хирург Иван Степанович (Козлов)".

Как несомненно известно читателю, при принятии монашества приобретается новое, монашеское — в отличие от старого, мирского — имя. Это новое, монашеское имя не может сочетаться ни с отчеством, ни с фамилией. Если всё же необходимо, в целях идентификации носителя имени и отличения его от других монахов с тем же монашеским именем, указать фамилию, то таковая дается после монашеского имени непременно в скобках; скобки символизируют тот факт, что фамилия, строго говоря, не может употребляться с данным именем, а должна употребляться с другим, мирским. При мирских же именах — в частности, при именах священников, не являющихся монахами, — фамилия должна приводиться без скобок. Обо всех этих очевидных вещах

не стоило бы упоминать, если бы не вот какая странность. Почему церковь ни разу не выступила против повседневной безграмотности, состоящей в употреблении мирских имён священнослужителей таким способом, как если бы эти имена были монашескими? Думается, что причина состоит в престижности монашества (в частности, все православные епископы непременно монахи), а потому не-монахи предпочитают выглядеть монахами в глазах публики.

Складывающаяся на глазах традиция употребления имён священнослужителей, не являющихся монахами, без фамилий уже привела к тому, что в сочетании *поп Гапон* слово *Гапон* многими воспринимается как имя, а не как фамилия. На самом же деле вполне допустимо обращение к священнику только по фамилии. Вот что сказал 27 ноября 1825 г. (по старому стилю) великий князь Николай Павлович, собираясь принести присягу своему брату Константину: "Отец Криницкий, поставьте налой и положите на него Евангелие" (см. [Шиль], с. 186).

Рассказывают, что когда Корнею Ивановичу Чуковскому, боровшемуся за правильность русской речи, указывали на безнадёжность его борьбы, он отвечал примерно следующее: "Я понимаю, что всё равно будут говорить *шóфер* и *квáртал*, но партия учит нас, что новое должно рождаться в борьбе со старым. Так вот я и есть это старое."

§ 10. Слово "имя" может употребляться в двух смыслах (по меньшей мере). В узком смысле — это личное имя в том понимании, какое дает этому термину ономастический словарь [Под]. В широком смысле — это синоним слов "название", "обозначение" и т. п. При узком понимании фамилия, например, не является именем, при широком — является. В нашем § 9 "имя" понималось в узком смысле, а в § 7 — в широком. Мы надеемся, что из контекста всегда ясно, что имеется в виду. В дальнейшем будет подразумеваться широкий смысл слова "имя".

Имя в широком смысле выступает в качестве одной из вершин **семиотического треугольника**, другой вершиной которого служат **сигнификат**, а третьей — **референт**, или **денотат** (см. [Сте]; [Лай], п. 9.2.2; [БуКр С]; [БуКр Р]; [БуКр Д]). В данном контексте мы используем распространенное терминоупотребление, не делающее различия между денотатом и референтом (см. [БуКр Д], абзацы 1 и 6, и БуКр Р, последний абзац); оба понятия сливаются здесь в од-

но — исключительно для простоты![7]. Сигнификат называют также **смыслом** имени или **концептом** денотата; считается, что он полностью определяет соответствующий ему денотат: см. [Чёрч], § 01. Денотат и сигнификат вместе образуют **семантическую сторону** семиотического треугольника. Разумеется, все эти рассмотрения происходят в рамках некоторой идеализации, а, стало быть, в рамках неизбежного огрубления реальных, наблюдаемых ситуаций.

Замечание. Огрубление на самом деле довольно значительно. Мы признаем осмысленной отдельную, вырванную из какого бы то ни было контекста фразу *Чашка стоит на столе* (пример из [Усп 77], с. 67) и готовы искать её переводы на другие языки. Однако ответить с полной определённостью на вопрос, каковы здесь денотаты и / или референты слов *чашка* и *стол*, оказывается не таким простым делом.

В пределах одного языка возможен случай, когда семантические стороны у двух семиотических треугольников совпадают, а именные вершины различаются. Такое явление называется **синонимией**.

С учетом сказанного выше об идеализации и огрублении можно принять, что семантическая сторона треугольника не зависит от языка. На самом деле, конечно, это не так. Денотат (противопоставленный референту) и уж тем более сигнификат от языка зависят. Однако мы считаем допустимым сознательно идти на огрубление ситуации.

Если у двух семиотических треугольников, принадлежащих разным языкам, совпадают семантические стороны, то мы имеем дело с **переводом**: имя, принадлежащее одному языку, переводится с этого языка на другой.

Как мы видели выше, в процесс перевода могут включаться и собственные имена личностей. Английское “Huxley” переводится на русский язык как “Гексли” или как “Хаксли” в зависимости от ситуации. И в этом нет ничего удивительного: английское

---

[7] Впрочем, неясно, не приводит ли иногда стремление к простоте к усложнению. Известный астрофизик И. С. Шкловский приводит в своих записках рассказ известного математика С. В. Фомина о некоем чине, неуклонно продвигавшемся по службе вследствие своего умения ограничиваться на ответственных совещаниях произнесением одной из двух фраз: “Не надо усложнять!” и “Не будем упрощать!” (см. [Шкл], с. 90).

"bow" тоже переводится, в зависимости от ситуации, то как "смычок", то как "радуга". А русское "Иаков" должно переводиться на английский язык в одних случаях как "Jacob", в других — как "James". И это тоже неудивительно, потому что, скажем, русское "лук" переводится в одних случаях как "onion", в других — как "bow". (Кстати, фамилия автора этой заметки переводится на английский как *Uspensky*, а фамилия его сына — как *Uspenskij.*)

В таком случае и "Невтóн", и "Ньютóн", и "Нью́тон" должны считаться переводами английского "Newton". Но какой же из этих трёх переводов предпочтителен? Ответ зависит от той стадии развития русского языка, которую мы желаем рассматривать. В прошлом переводом служило слово "Невтóн", сегодня — "Ньютóн", завтра — "Нью́тон". Нам возразят, что БСЭ–3, т. 18, с. 164, даёт в слове "Ньютон" ударение на первом слоге. Однако словарь ударений [СлУ] даёт на стр. 358 ударение на втором слоге, и это ударение кажется более честным. Все говорят "бином Ньютóна", и редко кто — "бином Нью́тона"[8].

Вместе с тем ударение на первом слоге в слове "Ньютон" — а БСЭ–3 даёт даже "Нью́тона бинóм" — отражает определённую тенденцию. Она состоит в том, что перевод собственных имен на русский язык претерпевает движение от транслитерации к транскрипции. Сейчас говорят и пишут "Айвенго", а прежде ведь говорили и писали "Иванхое". О знаменитом в России американском пианисте советские газеты писали так: "Ван Клиберн, которого американцы называют Вэном Клайберном".

§ 11. Термины "транскрипция", "транслитерация" и "перевод" обозначают, как это часто бывает, и процессы, и результаты этих процессов. "При переводе возникли проблемы" — здесь процесс; "Переводом этого русского слова на английский служит..." — здесь результат.

Говоря о транскрипции, мы всюду, если только не оговорено противное, имеем в виду **практическую транскрипцию**, т. е. запись

---

[8] А ведь и в русской, и в английской культуре бином Ньютона играет важную роль, обозначая высшую ступень учёной премудрости. Вспомним восклицание Коровьева "Подумаешь, бином Ньютона!", а также тот факт, что профессору Мориарти европейскую известность принёс именно его трактат о биноме Ньютона. (Не угодно ли и из современного: „...ход моей мысли для жены не бином Ньютона". Это Гандлевский, «Трепанация черепа», журнал «Знамя», 1995 г., № 1, с. 112.)

произношения не с помощью специальных фонетических значков, а с помощью обычных букв, имеющихся в алфавите рассматриваемого естественного языка, и с учётом сложившихся в этом языке правил чтения букв и буквосочетаний.

Тогда три названные процесса осуществляются в следующей, общей для них всех, обстановке. Имеются два языка — **язык-источник** и **язык-восприемник**[9]. Требуется передать текст языка-источника средствами языка-восприемника. Но что значит 'передать текст'? Если требуется передать смысл — это **перевод**, если звучание — это **транскрипция**, если начертание (написание) — это **транслитерация**. Так, если язык-источник — русский, а язык-восприемник — английский, то переводом слова *Москва* является *Moscow*, транскрипцией — *Muskva*, транслитерацией — *Moskva*. А в случае французского языка-восприемника транскрипцией могли бы быть и *Maskoua*, и *Masquoi*.

Английской транскрипцией имени *Ельцин* служит *Yeltsin*, немецкой — *Jeltzin*, французской — *Ieltcine*; транслитерацией же на любой из этих языков — в рамках предлагаемой ниже, в § 26, системы — является слово *Eljcin*.

Вот ещё несколько примеров из [Усп 67] (язык-источник всюду русский):

транскрипцией слова *чушь* служит во французском *tchouche*, в немецком — *Tschusch*, в английском — *choosh*, в итальянском — *ciusci*, в польском — *czusz*, в шведском — *tjosj*, в венгерском — *csus*, в чешском *čuš*;

французскими транскрипциями выражений *отряд, союз, Париж* и *Людовик XVII* служат, соответственно, *atriète*, *saïousse*, *Pariche* и *Ludovique Cimenatsatille*. А французскими переводами тех же выражений служат, соответственно, *détachement, alliance, Paris* и *Louis XVII*.

Можно считать, что процесс транскрипции состоит из трёх этапов. На первом этапе для звучащего выражения языка-источника создается его фонетический образ в языке-восприемнике; происходит — и возникает как результат — **трансфонетизация**. На втором — этот фонетический образ преобразуется в фонематический; происходит и возникает **трансфонемизация** исходного выражения языка-источника. На третьем — фонематический образ оформляется графически на основе действующих в

[9] В стиле Н. Бурбаки (см. [Бурб], гл. II, § 3, п. 1) можно было бы назвать их **языком отправления и языком прибытия**.

языке-восприемнике правил чтения, т. е. правил перехода "от буквы к звуку"; это и есть **транскрипция** исходного выражения.

В сентябре 1992 г. я шёл по окраине южнокорейского города Тэджона (он же Тэчжон), а за мною бежали мальчишки, привлёченные моим обликом иностранца (я был единственным европейцем, замеченным мною в этом городе). На мой русский слух, они кричали мне: "Ватамизи́!" Только много спустя, уже в России, я осознал, что́ они кричали. Они задавали вопрос, поскольку любой мой ответ послужил бы для них развлечением, — хотя вопросительности я уловить тогда не смог. А они кричали мне: "What time is it?" Желающие могут обсудить, из каких этапов состоит преобразование, ведущее от написанного только что текста на латинице, через английское, корейское и русское звучания, к кириллическому «ватамизи».

З а м е ч а н и е 1. Такой вид практической транскрипции, когда с исходным выражением соотносится его реальное произношение в языке-источнике, был назван в [Усп 67] **реальной практической транскрипцией** — в отличие от другого вида, **идеализированной практической транскрипции**, когда с буквами языка-источника соотносятся их идеализированные "основные чтения". Идеализированными практическими транскрипциями русских слов *отряд, союз, Париж* на французский язык будут, соответственно, *otriade*, *soïouze*, *Parige*. Можно полагать, что процессы реальной и идеализированной транскрипции различаются на своих вторых этапах, состоящих в и приводящих к трансфонемизации, а именно: в транскрипции реальной фонема понимается в смысле ленинградской школы (и заключительными фонемами приведенных трех русских слов будут /т/, /с/, /ш/), в транскрипции же идеализированной — в смысле московской школы (и заключительными фонемами будут /д/, /з/, /ж/) [10].

Мы с умыслом включили в наши примеры собственные имена, дабы ещё раз подчеркнуть, что и они подвержены операции перевода и что, скажем, *Людовик* и *Париж* суть слова русского языка (короче — русские слова), служащие п е р е в о д а м и соответствующих французских слов.

[10] Различие между ленинградской и московской фонемами прекрасно изложено в одном из лучших сочинений по фонологии, написанных на русском языке, — в энциклопедической статье С. И. Бернштейна [Бер].

Замечание 2. К сожалению, бытует мнение, что "для собственых имён перевод в большинстве случаев недопустим", а немногочисленные исключения возможны лишь при художественном переводе вымышленных имён, когда, например, Lord Chatterino передаётся как "лорд Балаболо" или же island of Leap-high как "остров Высокопрыгия" (см. [Ста], с. 17). В своём очерке "Перевод — искусство" Н. М. Любимов подробно разъясняет, почему для перевода прозвища одного из каторжников, повстречавшихся Дон Кихоту в гл. XXII первой части, он избирает "Ограбильо" вместо традиционного "Парапилья" (см. [Люб], с. 71–72). Разумеется, и "лорд Чатерино", и "остров Лип-хай", и "Парапилья" также являются не чем иным, как переводами: то, что у одного и того же слова могут быть различные переводы, далеко не новость. Мы наблюдаем **перевод иностранного слова на русский язык** всякий раз, когда иностранное слово замещается русским в той же функции и в том же контексте; просвещённому читателю вряд ли надо разъяснять, что понятие 'тот же' употреблено здесь с определённой долей условности. (Конечно, какие-то коннотации при этом теряются, какие-то приобретаются — но так всегда бывает при переводе). И потому "Париж", "Стамбул" и "Токио" суть именно переводы с французского, турецкого и японского, а не результаты некоего "четвёртого способа" передачи, о котором говорится на стр. 43 в [Ста]. Само существование этого "четвёртого способа" подлежит отсечению при помощи бритвы Оккама. Сказанное не отрицает права интересоваться этимологией того или иного перевода. В частности, в качестве перевода могут использоваться как транскрипция, так и транслитерация.

Разницу между транслитерацией собственных имён и их переводом можно углядеть, например, в "Правилах передачи эстонских имен собственных русскими буквами", утверждённых в 1959 г. Президиумом Верховного Совета Эстонской ССР и в 1971 г. изменённых тем же органом (см. [РТЭИС]). После обстоятельных указаний, как посредством русских букв передавать эстонские буквы и буквосочетания, в п. 11 говорится: "Исключение из правил транслитерации эстонских личных имен составляют общие для эстонского и русского языков имена, которые сохраняют свойственное русскому языку написание: Veera = Вера, Leena = Лена, Niina = Нина, Liisa = Лиза, Liidia = Лидия,

Tiit = Тит". Здесь именно перевод, поскольку п. 4 "Правил" требует передавать **ee** как **еэ**, а **ii** как **ий**.

§ 12. На то, что понятие перевода применимо и к географическим названиям, указывал еще А. А. Реформатский. Замечая, что для французов Лондон это Londres, а для итальянцев Париж это Parigi, он писал: "Следует отметить, что в таких случаях осуществляется уже субституция чужого слова своим, т. е. перевод" ([Реф], с. 96). Поучительно сравнить переводы названия *Новая Земля.* На старых картах, составленных во времена Баренца, писали *Nova Zembla.* Этот перевод допустим в английском и теперь; более распространён, однако, перевод *Novaya Zemlya.* Немецкий перевод — *Nowaja Semlja*, французский — *Nouvelle-Zemble.*

Правильное осознание ситуации со статусом географических названий как полноправных элементов того или иного языка — и именно в таком качестве выступающих в роли объектов перевода — немаловажно для повседневной языковой практики. Русские слова *Белоруссия, Молдавия, Киргизия, Таллин* благополучно существуют в русском языке. Естественно, что на белорусском, молдавском, киргизском и эстонском языках названия этих географических объектов пишутся и произносятся по-другому. Однако эти иноязычные слова не могут, сами по себе, служить причиной замены четырёх приведённых выше русских слов на слова *Беларусь, Молдова, Кыргызстан, Таллинн.* Это как если бы нас заставили вместо *Париж* писать *Парис* или *Пари.*

В большой титул царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича входила формула "государь и обладатель". Слово "обладатель" полагалось писать через два а: *облаадатель*, а писание через одно а рассматривалось как неуважение к царской власти и наказывалось вырыванием ноздрей. Рассказывают, что эстонская почта возвращала письма, в адресе которых стояло *Таллин.* Если это так, то *Таллинн* через два эн слишком напоминает упомянутый эпизод из российской истории.

§ 13. Мы видим, что перевод, транскрипция и транслитерация могут быть объединены неким родовым понятием. А именно, каждое из них есть **преобразование уподобления**, то есть преобразование языковых знаков одного языка в языковые знаки другого языка, сохраняющее — с той или иной степенью подо-

бия — некоторый инвариант. Этим инвариантом служит **смысл** в случае перевода, **звучание** в случае транскрипции, **графическая характеристика** в случае транслитерации, так что можно говорить об уподоблениях **смысловом**, **фонетическом** (или **фоническом**, см. ниже § 15) и **графическом**. Специфика каждого из трёх инвариантов обусловливает очевидное различие в областях применимости каждого из трёх преобразований. Именно, перевод (как процесс) разумно применять лишь к выражениям, имеющим смысл, транскрипцию — лишь к выражениям, имеющим звучание, в том числе таким, как изобретённое А. А. Марковым-младшим знаменитое слово *папагиглемма* (см. [Мар], с. 12, или [МарНаг], с. 25[11]), а транслитерацию — даже и к выражениям вроде *ЪЫКЙКОЬ*.

Замечание. Все эти преобразования имеют ясное направление от одного языка к другому и обратимы лишь в известных пределах. Недоразумения, случающиеся при обратном переводе, много раз обыгрывались (вспомним, например, хрестоматийный пример: *Неизолированный провод тянулся через вагоны — A bare conductor ran through the cars — По вагонам бежал голый кондуктор*). Для китайского выражения его русская и английская транскрипции вряд ли окажутся транскрипциями друг друга (ср. описанный в § 11 эффект “ватамизи”). И так далее.

И для перевода, и для транскрипции, и для транслитерации теоретически возможны две ситуации:

1) для исходного знака языка-источника ищется готовый, уже имеющийся в языке-восприемнике знак, сохраняющий требуемый инвариант;

2) для исходного знака языка-источника конструируется новый, ранее отсутствовавший в языке-восприемнике знак, обладающий тем же инвариантом.

В случае транскрипции первая ситуация сравнительно редка, хотя читатель легко вспомнит или придумает сам анекдот со следующим сюжетом: произнесенное вслух выражение иностранного языка воспринимается героем анекдота как слово род-

[11] Выступая в конце пятидесятых, на заре математической лингвистики в СССР, на филологическом факультете МГУ перед аудиторией весьма почтенной, я имел неосторожность упомянуть это слово; один из участников собрания подошёл ко мне после его завершения и, стараясь не привлекать внимания окружающих, спросил, что бы можно было почитать по теории папагиглемм.

ного языка, отчего проистекает какое-нибудь квипрокво. Вторая ситуация более типична: конструируется выражение, отсутствующее в составе языка-восприемника, но потенциально могущее в нём присутствовать, сходное по звучанию с выражением языка-источника. Здесь опять-таки прежде всего на память приходят различные анекдоты: воспроизведение французской речи русскими солдатами у Толстого ("Война и мир", т. I, ч. II, гл. XV); строки макаронической поэзии; всевозможные каниферштаны; описанная в нашем § 11 история с «ватамизи». Можно полагать, что именно так вошли в письменный язык звукоподражательные слова.

Если постулировать, что всякое выражение, хотя бы и отсутствующее в составе языка, но могущее в нём присутствовать потенциально, может быть записано средствами графики данного языка, то задача транскрипции (в рамках второй ситуации) ставится так: сконструировать по правилам графики языка-восприемника такое выражение, которое, будучи озвучено по правилам чтения этого языка, звучало бы сходно с выражением языка-источника. Такая задача реально возникает, когда требуется создать (именно не найти, а создать!) перевод для иноязычного слова, прежде всего — для собственного имени.

§ 14. В отличие от случая транскрипции, при переводе относительно редка вторая ситуация. Но и она, пожалуй, встречается чаще, чем может показаться на первый взгляд: достаточно заглянуть в какой-нибудь словарь иностранных слов[12], например, в [СлИС 79]. Возьмем для иллюстрации встречающиеся в [СлИС 79] русские слова *альтинг, стортинг, риксдаг, ригсдаг, фолькетинг*, означающие, соответственно, парламент Исландии, парламент Норвегии, парламент Швеции, парламент Дании до 1953 г., парламент Дании после 1953 г. Ясно, что они появились путём с о з д а н и я переводов для соответствующих иноязычных слов. Да и само слово *парламент* возникло аналогичным образом.

[12] Кстати, само название *Словарь иностранных слов* — неправильное. Надо бы говорить и писать: *Словарь русских слов иностранного происхождения*. Ср. название словаря, вышедшего в Петербурге в 1911 г.: *Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка*, и аналогичное название словаря [СлИС 33], вышедшего в Москве в 1933 г.

В случае транскрипции различие между двумя ситуациями не слишком принципиально. Иное дело в случае перевода. Здесь, при второй ситуации, мы не просто создаём новый языковой знак: объявив его переводом исходного знака, мы тем самым наделяем новый знак значением. Таким образом, ситуация выглядит отчасти парадоксальной, она перевёрнута с ног на голову. В самом деле, мы хотим найти в языке знак, обладающий нужным значением; с этой целью мы придумываем знак и приписываем ему требуемое значение. При этом в качестве этого нового, "придуманного" знака может использоваться транскрипция или транслитерация выражения языка-источника.

"Перевод является передачей готовыми средствами языка, то есть с помощью слов, уже существующих в языке" ([Ста], с. 17). Как видно из предыдущего, мы заявляем о несогласии с такой точкой зрения. Язык есть растущий организм, и нужное слово (т. е. перевод как результат) может возникнуть в нём в нужный момент — а именно, в процессе перевода. После чего слово становится "уже существующим".

Сказанное применимо и к поискам переводов для имён собственных. Здесь типична вторая ситуация (хотя встречается и первая: ср. *Яков* как перевод для *James*). Во времена Ломоносова слово *Newton* присутствовало в России практически исключительно в письменных текстах. Естественно, что для него был избран, а точнее, создан, сконструирован транслитерационный перевод *Невтон*. По мере распространения устного английского и английских правил чтения возник *Ньютон*, но с ударением на втором слоге. С дальнейшим прогрессом ударение перемещается на первый слог — и то больше в умах просвещенных нормализаторов, чем в живой речи. При грядущем поголовном охвате российского населения английским языком следует ожидать закрепления начального ударения. (Интересно бы, кстати, выяснить, каким образом в русском произнесении фамилии Нобеля ударение оказалось на первом слоге, тогда как в шведском оригинале оно на втором.)

Тенденция к выбору транскрипции в качестве перевода наблюдается и при переводах топонимов. Так, до 1986 г. республики Кот-д'Ивуар и Кабо-Верде именовались по-русски, соответственно, Берегом Слоновой Кости и Островами Зеленого Мыса. Разумеется, и старые, и новые русские названия следует считать переводами соответствующих французского и португальского имён; просто раньше для перевода составного имени использо-

вался пословный перевод, а каждое отдельное слово переводилось как нарицательное существительное, теперь же название переводится как целое, и в качестве перевода используется транскрипция.

При переводе топонимов могут возникнуть нетривиальные грамматические проблемы. Вот одна из них. Какого рода слово *Бангладеш*? Обороты типа *по инициативе Бангладеш* и *в Бангладеш была создана* (см. [Стр], с. 144) заставляют полагать, что женского. Встают два вопроса. Где тот нормативный справочник, который содержал бы информацию о роде слова *Бангладеш*? Если этот род действительно женский, то не следует ли писать в конце слова мягкий знак (как, по-видимому, в той *бангла́деши*, о которой говорил Петька Василию Ивановичу)?

§ 15. Говоря об инварианте, сохраняемом при транслитерации, мы обозначали его расплывчатым термином “графическая характеристика”. Мы не решились сказать “начертание”, боясь быть понятыми слишком буквально [13]. Если иметь в виду чисто внешнее сходство, то эквивалентом русского слова “рыба” в каком-либо языке с латинской графикой следовало бы признать слово “pbiba”; разумеется, говоря в данном контексте о слове в каком-либо языке, мы не имеем в виду ничего большего, как только цепочку букв соответствующего алфавита. Аналогично, английское “cur” передавалось бы русским “сиг”, а в написании от руки английскому “rumour” отвечало бы русское “читоич”. Читатель, конечно, вспомнит здесь знаменитую рениксу (а также, возможно, торговую марку с чёрным зверем и надписью “Puma”, читавшейся как “Рита”).

З а м е ч а н и е. Визуальное сходство элементов различных языков есть тема, довольно редко обсуждаемая. Раз уж мы её коснулись, упомянем вот о чём: сходство иногда ошибочно принимается за тождество. Так, русская буква у и латинская буква игрек действительно совпадают в большинстве своих вариантов, но не во всех. Летом 1989 г. автору этих строк довелось видеть в Западном Берлине стационарное объявление одной из оккупа-

[13] Тем более, что А. А. Зализняк [Зал 79, § 3] употребляет термин “начертание” в ином смысле: по Зализняку, начертание есть такой же конкретный представитель той или иной графемы, как звук — фонемы.

ционных держав, на котором вместо “БУДЕТ” было написано “БYДЕТ”. То, что строчные варианты русского ка и латинского ка различаются, признаётся всеми; есть точка зрения, что различаются и прописные варианты этих букв.

Разумеется, под сохраняемым транслитерацией инвариантом мы разумеем не простое визуальное сходство, не просто “похожесть картинки”, а нечто такое, что присуще транслитерируемому выражению как элементу языка-источника. Сказанное выглядит довольно-таки расплывчато, поэтому постараемся объяснить, что имеется в виду. С этой целью обратимся к статьям Т. В. Булыгиной и С. А. Крылова, разъясняющим, в духе соссюрианской традиции, термины **означаемое** и **означающее**; первый из них соотносится с семантической стороной семиотического треугольника, второй — с его именной вершиной.

“Означаемое определяется как а б с т р а к т н а я единица, представляющая собой к л а с с конкретных сообщений” ([БуКр Ом]). В [БуКр Ощ] сперва цитируется мнение де Соссюра, согласно которому означающее “является не материальным звучанием, вещью чисто физической, а психическим отпечатком звучания”, а затем излагаются взгляды соссюрианцев о том, что “означающее является а б с т р а к т н о й единицей языка, представляющей собой к л а с с конкретных сущностей плана выражения, называемых «сигналами», причем под сигналом понимается соотносительная с означающим реальная фонетическая или иная чувственно воспринимаемая действительность”. В статье упоминаются означающие в живописи, скульптуре, кино и театре; мы ограничимся здесь языком и, на первых порах, акустическими сигналами. Запомним, что как означаемое, так и означающее есть абстрактная единица, являющаяся классом конкретных единиц. Образование этой единицы опирается на языковую компетенцию в пределах рассматриваемого языка. Действительно, именно носитель языка осознаёт те или иные конкретные единицы как эквивалентные и тем самым объединяет их в один класс.

Ссылка на носителя языка весьма существенна. Только ему доступна семантическая эквивалентность сообщений. Но и эквивалентность сигналов может быть определена лишь в терминах наблюдателя, как сказали бы физики. Французы, скажем, с легкостью различают и тем самым квалифицируют как неэквивалентные по крайней мере два звука э: узкий, или закрытый, и широкий, или открытый; для неподготовленного же русского эти

два звука будут эквивалентны. Аналогично, англичане различают долгий и краткий звуки и, неразличимые для носителя русского языка, не имеющего специальной подготовки. Русские мстят и французам, и англичанам тем, что различают звуки [и] и [ы], [ш] и [щ]. (Можно было бы сказать, что фонетическое означающее — это конкретное акустическое явление, пропущенное через фильтр языковой компетенции носителя языка; при проходе через фильтр происходит склеивание эквивалентных явлений в одно.)

До сих пор речь шла о звуковой, фонетической оболочке языкового знака. Может, точнее было бы употребить термин “фонематическая оболочка”. В случаях, когда противопоставление фонетического и фонематического для нас несущественно, мы будем пользоваться термином **фонический**. Применим теперь сказанное к визуальной, графической оболочке знака.

Графическое означающее не есть конкретное материальное изображение, а есть абстрактная сущность, представляющая собою класс изображений, осознаваемых носителем языка как эквивалентные, т. е. как представители одного и того же абстрактного изображения; это абстрактное изображение можно было бы называть **графической репрезентацией**, **графическим выражением** или, короче, **написанием**. Ссылка на носителя языка существенна и здесь: скажем, для человека, незнакомого с арабским языком, легко отождествить две арабские буквы, с очевидностью различающиеся для знающего арабскую письменность; с другой стороны, незнакомые с русским алфавитом легко примут Щ и Ъ за каллиграфические варианты букв Ш и Ь. А дети не различают Я и R. (Заметим также, что носитель языка может в одних случаях считать эквивалентными, а в других неэквивалентными написания, различающиеся рисунком шрифта, противопоставлением строчных и прописных букв и т. п.)

Итак, мы только что констатировали наличие двух качественно различных видов означающих — 1) звукового (акустического, фонического) и 2) визуального (оптического, графического). Современная лингвистическая традиция уничижительно трактует графическую оболочку языкового знака, т. е. графическое означающее, всего лишь как способ, к тому же несовершенный, фиксации фонической оболочки того же знака, т. е. фонического означающего. Графическое означающее признаётся продуктом второго сорта, как бы уступкой моде, изобретшей, к сожалению, письменность. Подлинным же предметом языкознания — со-

гласно упомянутой традиции — может быть только язык в его звуковой форме (ср. [БуКр Ф], разд. 1). Мы решаемся не согласиться с этим мнением и дерзаем выдвинуть концепцию, согласно которой **у языкового знака имеются не две, а три стороны: означаемое и два означающих: фоническое и графическое**.

Конечно, можно было бы пойти на терминологический компромисс и согласиться, что означающее всё же одно, но имеет два аспекта, или две подстороны, или две субстороны и т. п. Но мы хотели бы сделать нашу точку зрения более выпуклой и потому предпочитаем подать её как непримиримую.

Строгий критик укажет нам, что означающее всегда одно и даже не имеет никаких подсторон, потому что в устной речи означающее звуковое, фоническое, а в письменной — визуальное, графическое. Это, конечно, верно — но только если рассматривать произнесение и его графическое оформление (или написание и его чтение) как разные знаки. Мы же предпочитаем трактовать то и другое как две внешние оболочки или два выражения — фоническое и графическое — одного и того же знака. Можно, конечно, видеть в произнесении и в написании одного и того же текста два разных знака, имеющих общее означаемое и находящихся в некоем специальном отношении соотнесённости друг с другом, но тогда эти два знака всё равно естественно объединяются в один гиперзнак, который мы только что обозначили словами “один и тот же текст”. Вот этот гиперзнак мы и считаем знаком.

Поскольку противопоставление соссюровских означающего и означаемого сопоставимо с противопоставлением ельмслевских плана выражения и плана содержания (см. [БуКр Ф], разд. 1), постольку провозглашению трёхсторонности языкового знака равносильно **провозглашение двух планов выражения — звукового, фонического, и визуального, графического**.

На возможные упрёки знатоков женевской школы и глоссематики, что мы не понимаем ни той, ни другой, а только искажаем соответствующую терминологию, мы ответим смиренным согласием с этими упрёками. Мы допускаем, что в нашем тексте означаемое терминов “означаемое” и “означающее” чем-то отличается от означаемого этих терминов у де Соссюра, а содержание терминов “содержание” и “выражение” чем-то отличается от содержания этих терминов у Ельмслева. Однако мы надеемся, что доброжелательному читателю будет из контекста ясно, о чём идёт речь.

§ 16. Итак, перевод, транскрипция и транслитерация преобразуют означающие одного языка в означающие другого языка. Строго говоря, понятие перевода следует считать родовым и разбить на четыре видовых понятия — в зависимости от того, каким означающим, устным (звуковым, фоническим) или письменным (визуальным, графическим), является как означающее в языке-источнике, так и означающее в языке-восприемнике. При таком подходе мы вынуждены ввести в рассмотрение **устно-устный**, **устно-письменный**, **письменно-устный** и **письменно-письменный** разновидности перевода. Это дробление может показаться схоластическим и надуманным. Но это не так. Читатель легко построит примеры, демонстрирующие различие в механизмах, скажем, письменно-письменного и устно-письменного перевода. Только в письменно-письменном переводе могут быть учтены такие элементы письменной речи, как шрифтовые выделения (например, курсив) и деление на абзацы. Письменно-письменный перевод, в свою очередь, может уступать в точности переводу устно-письменному. Действительно, при переводе, например, с русского на английский реальна следующая ситуация: актуальное членение русского предложения никак не оформлено на письме, а выражено исключительно интонацией; в английском же эквиваленте письменное оформление этого актуального членения обязательно.

При транскрипции возможно лишь графическое означающее в языке-восприемнике, так что транскрипция может быть либо устно-письменной (как в примере из Толстого или в нашем эпизоде с “ватамизи”), либо письменно-письменной. Транслитерация же принимает на свой вход и выдает на выходе лишь графические означающие, так что она может быть только письменно-письменной. Еще раз напомним, что транскрипция и транслитерация может применяться и к выражениям, не имеющим смысла. Проще всего принять соглашение, что термин “означающее” понимается в обобщенном широком смысле, так что означающее может ничего и не означать. Наверное, лучше говорить не “означающее”, а “выражение”, поскольку все уже привыкли к тому, что выражение может ничего не выражать.

Если вдуматься, каждое из трёх выделенных нами преобразований уподобления имеет довольно сложную и даже не вполне понятную логическую природу. Ведь каждое преобразование для означающего, принадлежащего языку-источнику, строит соответствующее ему означающее в языке-восприемнике. ‘Соответст-

вующее' в данном контексте означает 'подобное в надлежащем, т. е. семантическом, фоническом или графическом, отношении'. Но какое содержание можно вложить в понятие подобия, когда уподоблению подлежат абстрактные единицы р а з н ы х языков, а каждая такая единица есть класс конкретных единиц соответственного языка? Что можно — и можно ли что-либо — иметь в виду, говоря, что один класс конкретных сущностей одного языка подобен какому-то классу конкретных сущностей другого языка? Подобие, вообще говоря, означает сохранение некоего инварианта. Но что является подразумеваемым инвариантом в интересующих нас случаях?

Если признать, что для языка А означаемое (содержание, смысл) есть класс конкретных сообщений языка А, как это было заявлено выше, а для языка В означаемое (содержание, смысл) есть класс конкретных сообщений языка В, то ни о каком переводе с языка А на язык В не может быть речи без дальнейших разъяснений, причем не видно, откуда эти разъяснения можно было бы черпать. Если же считать, что в Платоновом мире идей существуют смыслы, не я в л я ю щ и е с я указанными классами, а лишь с о о т н е с ё н н ы е с ними, то появляется возможность говорить об этих смыслах как об инвариантах, а о переводе как о преобразовании, сохраняющем этот инвариант. Но тут нас подстерегают другие опасности. Прежде всего, смысл превращается в неопределяемое понятие. Далее, смысл в языке-восприемнике не тождествен смыслу в языке-источнике, но лишь в высокой степени похож на него. Однако, если понятие тождественности абстрактных объектов считается понятным (а это значит — привычным), то понятие их похожести требует комментариев, которые завели бы нас слишком далеко (они потребовали бы включение в рассмотрение человеческого поведения как реакции на возможные смыслы). Поэтому здесь мы остановимся.

Сходные проблемы возникают и при попытке подвести логический фундамент под транскрипцию и транслитерацию. С одной стороны, нам очень хочется сказать, что преобразование уподобления сохраняет некий инвариант при переходе от одного языка к другому. С другой стороны, выясняется, что сам этот инвариант — по крайней мере в соссюрианской концепции — может быть определён лишь в пределах одного языка. Нам ничего не остаётся, как призвать на помощь интуицию. Интуиция легко соглашается с возможностью отразить, хотя бы приблизительно,

средствами разных языков один и тот же смысл или одно и то же звучание. И с большим трудом — с отражением в разных письменностях одного и того же написания. Ведь чисто визуальное сходство было нами уже отвергнуто в начале § 15.

Математики сказали бы, что в случае транслитерации инвариантом служит структура, понимаемая с точностью до изоморфизма. Поясним, что имеется в виду, на примере структурных формул химии. Такую формулу можно мыслить себе как пространственную фигуру, состоящую из точек, называемых вершинами, и соединяющих их линий, называемых рёбрами; вершины обозначают атомы, и потому при каждой вершине стоит символ, обозначающий соответствующий химический элемент; рёбра обозначают связи между атомами. Расстояние между атомами существенно в реальной молекуле; расстояние между вершинами в формуле несущественно, так что её можно искажать как угодно, лишь бы соединённые между собой вершины оставались соединёнными. Структурная формула есть пример графического означающего. Заменим теперь в формуле стандартные латинские обозначения элементов на какие-нибудь русские, скажем, вместо H, C, N, O и т. д. будем писать *Вод, Угл, Аз, Кисл* и т. д. Полученную формулу можно считать транслитерацией исходной. Она стала другой, но сохранила нужный инвариант.

Замечание. Изображения письменного текста посредством азбуки Морзе, или посредством шрифта Брайля, или с помощью фла́жного семафора мы не считаем отдельными, новыми сторонами текста как знака постольку, поскольку эти новые изображения изоморфны исходному письменному.

§ 17. Каждое означающее, как фоническое, так и графическое, можно мыслить в виде комбинации дискретных элементов, число которых конечно и даже не слишком велико для каждого отдельного языка. Для фонического означающего это будут звуки или фонемы, а также всевозможные супрасегментные просодические показатели. Для графического означающего — **базисные графемы**.

В алфавитных системах письма в качестве базисных графем выступают прежде всего буквы алфавита (см. глубокий анализ понятий 'графема' и 'буква' в статье А. А. Зализняка [Зал 79]). Как правило, в алфавитных системах письма базисные графемы

следуют друг за другом в линию, но они могут группироваться и иначе, как в корейском письме. В системах же письма иероглифических в качестве базисных графем выступают так называемые **черты**, в различных сочетаниях располагающиеся на плоскости иероглифа. Однозначного понимания, что есть черта, а тем более общепризнанного списка черт, используемых в китайских иероглифах, не существует. И БСЭ–3 (т. 12, стлб. 719) и ЛЭС (с. 226) указывают лишь, что в отдельном иероглифе таких черт может быть от 1 до 28. Кажется, китаистическая традиция склонна разлагать иероглиф на более крупные блоки — так называемые **элементы**. Впрочем, неоднозначность решения вопроса, что есть базисная графема, характерна и для алфавитных языков, имеющих диакритические знаки. Считать ли диакритический знак отдельной графемой или же включать его в состав единой **диакритизированной буквы**? Этот вопрос обсуждается в [Зал 79, § 10].

Чтобы закрыть тему китайских иероглифов, приведём цитату из книги одного из ведущих французских китаистов Вивиан Аллетон: "Структура иероглифов не допускает индивидуальной вариативности. Основу этой структуры составляют так называемые *черты*, число которых невелико. Каждый иероглиф состоит из *строго определённого количества черт* (от одной до тридцати и даже более), которые рисуются в строго определённом порядке. Иероглиф, как правило, не является абсолютно неповторимой комбинацией черт, полностью отличной от всех остальных: если бы это было так, овладение китайским письмом требовало бы сверхчеловеческих усилий памяти, что отнюдь не соответствует действительности. В большинстве иероглифов выделяются совпадающие части (другие иероглифы или несамостоятельные элементы), которые мы будем называть *элементами иероглифов*. Количество таких элементов ограничено несколькими сотнями. <...> Черты, составляющие основу китайского письма, являются отрезками прямой линии, различной длины и различной ориентации. Общий список черт может значительно варьировать, в зависимости от того, будем ли мы учитывать некоторые тонкие различия, и от того, каким образом мы будем проводить границу между разными чертами и вариантами одной черты. Традиционно выделяются восемь основных черт; но некоторые авторы доводят их число до шестидесяти четырёх. Строго говоря, здесь следовало бы ориентироваться на значимые оппозиции: несовпадение в форме двух черт следовало бы признавать реле-

вантным в том случае, когда оно позволяет различить два изображения, в остальном полностью идентичные. Но поскольку эта работа (предполагающая формальный анализ очень большого материала) не была еще выполнена с должной последовательностью, все существующие списки черт оказываются в той или иной степени спорными" ([All], с. 23–24; перевод В. А. Плунгяна).

§ 18. По-видимому, общая схема транслитерации такова. Для каждой базисной графемы языка-источника указывается некоторая графическая единица в языке-восприемнике, каковую условимся называть **образом** исходной базисной графемы. Сама система таких указаний называется, в простейших случаях, **системой транслитерации**. К простейшим случаям мы относим те, в которых оба языка имеют алфавитную письменность с линейным расположением базисных графем. Тогда транслитерация какого-либо выражения (написания) языка-источника образуется следующим образом. Выражение членится на базисные графемы, для них находятся соответствующие образы, и эти образы располагаются друг за другом в том же порядке, как и базисные графемы исходного выражения. Описанную систему можно назвать **бесконтекстной**, поскольку образ не зависит от контекста исходной базисной графемы. Мыслимы и **контекстные** системы, в которых образ может зависеть от положения исходной графемы: например, разумна русско-английская транслитерация, при которой образом русской буквы **е** после согласной служит английская буква **е**, во всех же остальных позициях, включая начальную, — английское буквосочетание **ye**.

В случаях более сложных понятием 'система транслитерации' должно охватываться не только соответствие между базисными графемами и их образами, но и правило, управляющее расположением на плоскости образов в зависимости от расположения исходных базисных графем. Когда язык-восприемник имеет алфавитное линейное письмо, а базисные графемы языка-источника имеют хотя и не линейное, но достаточно регулярное расположение, как в корейском письме, проблем с формулировкой такого правила не возникает. Поэтому разработка системы транслитерации с корейского на русский не должна вызвать принципиальных трудностей. Создание же русско-корейской транслитерации — сложная задача. Ещё сложнее задача транслитерации с китайского на русский. Её можно сравнить с задачей линейного

кодирования структурных химических формул, когда формулу, выражающую пространственное расположение атомов, надлежит без потери информации представить в виде линейной цепочки символов. Химическую ситуацию можно считать даже более простой, поскольку там хотя бы имеется точно описанный инвентарь того, что может встретиться в структурной формуле; аналогичного инвентаря стандартных черт китайских иероглифов, как отмечалось, не существует. В дальнейшем мы ограничимся в наших рассмотрениях лишь случаями, когда и язык-источник, и язык-восприемник обладают линейным алфавитным письмом. Здесь возникают проблемы, связанные с различными трактовками диакритических знаков. В некоторых системах транслитерации русских букв на латиницу и краткое передается как **j** или как **y**, в других — как **ĭ**; ясно, что в первых системах и краткое воспринимается как единая буква, а во вторых разлагается на две графемы: **и** и надстрочную дужку (называемую в [Гус], § 141, кавычкой). Аналогично, русское **ё** может трактоваться как составная буква и транслитерироваться как **ë** или же как простая и тогда передаваться посредством **e** или **yo**.

В то время как преобразования транскрипции и перевода поддерживаются языковой компетенцией (первое — знанием правил чтения, второе — знанием смысла выражений), преобразование транслитерации опирается на задаваемую в достаточной степени произвольно систему транслитерации. Единственное, что требуется знать, — это системы письма языка-источника и языка-восприемника. В этой условности транслитерации — её принципиальное отличие от перевода и транскрипции. Однако не все системы транслитерации равноценны. О некоторых естественных требованиях, предъявляемых к таким системам, будет сказано ниже. И одно из этих требований окажется связанным не только с графическим аспектом языковой компетенции: см. требование фонетической корректности в п. 25.1.

Но прежде чем приступить к формулированию какой бы то ни было системы транслитерации, надлежит, разумеется, внести полную ясность в вопрос о том, какие базисные графемы могут встретиться в рассматриваемом языке, будь то язык-источник или язык-восприемник. Вопрос этот выглядит праздным: ведь кажется, что алфавитные системы письма задаются своими алфавитами. Однако это не так.

То, что графический состав текста не исчерпывается буквами алфавита, конечно, хорошо известно. “К небуквенным

графическим средствам письменной речи относятся: знак ударения, дефис (черточка), знаки препинания, апостроф, знаки параграфов, пробелы между словами, более крупные пробелы между главами, параграфами и другими частями печатных текстов, а также курсив, разрядка, подчеркивание, различие букв и слов по цвету" ([Ив 76], с. 68–69). В дальнейшем изложении мы коснёмся буквенных средств, а из названных в приведённой цитате небуквенными — тех, что предшествуют слову "более".

§ 19. А. А. Зализняк делит графемы на **общеобязательные** и **специальные**. "Первые образуют некоторый инвентарь графем, необходимый для записи (в соответствии с действующими орфографическими правилами) внешней оболочки любой словоформы данного языка, а также для пунктуации предложения" ([Зал 79], § 4). Общеобязательных графем, таким образом, достаточно для письменного, графического оформления любого устного текста, произнесённого на рассматриваемом языке.

"Специальные графемы — это самые различные дополнительные символы, например, математические и т. п. знаки, буквы чужих алфавитов, символы идеографического характера (т. е. соотнесенные непосредственно со значением, а не с внешней оболочкой каких-либо слов; таковы, например, цифры) и т. д. Все они так или иначе служат для сокращения записи или для передачи того, что затруднительно передать обычными словесными средствами данного языка. В отличие от общеобязательных графем, имеющих постоянные значения, специальным графемам (кроме самых известных, например, цифр) автор может приписывать те значения, которые считает удобным. Соответственно, значения специальных графем (кроме самых известных) обычно специально разъясняются автором. Список специальных графем в принципе открыт: автор может изобрести совершенно новую специальную графему или объявить особой специальной графемой то, что в обычных условиях функционирует лишь как аллограф какой-то графемы" ([Зал 79], § 4).

Таким образом, следуя А. А. Зализняку, мы получаем четыре класса графем:

1) графемы для записи словоформ — **словарные графемы**;
2) графемы пунктуации — **знаки препинания**;
3) специальные графемы со стандартным значением — **стандартные спецзнаки**;

4) специальные графемы с произвольно установленным значением — **авторские спецзнаки**.

Инвентаризация авторских спецзнаков невозможна, поскольку каждый волен изобретать здесь такие знаки, какие ему вздумается. Инвентаризация же остальных графем данного языка кажется и возможной, и необходимой; более того, естественно ожидать, что она зафиксирована в описаниях рассматриваемого языка. Увы, перечень **стандартных графем**, т. е. всех графем, кроме авторских спецзнаков, скорее встретишь в полиграфических, нежели в лингвистических руководствах.

§ 20. Вообразим простодушного исследователя — назовем его *господин N,* — задумавшего составить список словарных графем французского языка. Сперва задача кажется ему неосуществимой: ведь надо обозреть все французские словоформы и выделить нужные графемы. Он приходит в отчаяние, но тут ему говорят, что его задача уже решена: надо лишь раскрыть словарь или учебник на той странице, где опубликован французский алфавит. Г-н N достаёт нужную книгу, он выучивает французский алфавит наизусть. Затем он начинает перелистывать ту же или другую книгу — просто, чтобы насладиться узнаванием выученных им букв. И тут ему попадаются буквы **œ** и **ç**. Он понимает, что ему не повезло и он учил французский алфавит по дефектному экземпляру. Однако он вскоре убеждается, что французский алфавит один и тот же во всех местах, где он опубликован, и ни в одной из этих публикаций нет ни **œ**, ни **ç**.

А тут еще оказывается, что *ou* и *où*, *aime* и *aimé*, *mat* и *mât* суть разные слова, так что **u**, **ù**, **e**, **é**, **a** и **â** суть шесть разных букв. Господина N снова охватывает отчаяние, причем большее, чем в первый раз, потому что первое отчаяние было вызвано сознанием грандиозности задачи, а второе отчаяние — ужасом перед непредсказуемостью окружающего мира.

Он вспоминает, что где-то читал или слышал, что французы крайне легкомысленны, а немцы — основательны, и обращается к языку немецкому. Он выучивает немецкий алфавит, с удовольствием открыв, что он совпадает с французским. Его предупреждают, что книги с готическим шрифтом не для него. Он раскрывает словарь и наталкивается на противопоставления *Mucke* / *Mücke* и *Mus* / *Muß*, содержащие неизвестные ему буквы **ü** и **ß**.

От полного повреждения в рассудке г-на N спасает *Определитель языков мира по письменностям* [ГиГр], который, хотя и даёт алфавиты французский (на стр. 116) и немецкий (на стр. 110) с общепринятой неполнотой, но сопровождает эти алфавиты дополнительными графемами: для немецкого языка — диакритизированными буквами **ä**, **ö**, **ü** и лигатурой **ß**, а для французского — графемами **à**, **â**, **ç**, **ë**, **é**, **è**, **ê**, **ï**, **î**, **ô**, **œ**, **ü**, **ù**, **û**. Г-н N настолько счастлив, что не замечает непоследовательности, с которой лигатура œ объявлена на стр. 116 в [ГиГр] буквой с диакритическим знаком. Он только удивляется, почему единственным источником, откуда он мог почерпнуть столь важные сведения, был не словарь и не учебник, а интереснейшее пособие для детективов, достойное пера Шерлока Холмса. Он также недоумевает, почему нигде толком не объяснено, каков порядок расположения в словарях слов, имеющих в своем составе лигатуру или диакритический знак. Правда, в таблице I, называющейся "Дополнительные буквы латинского письма" и помещённой на стр. 26–27 в [Юш 41а], он находит некоторое упорядочение дополнительных графем, но никто не может положительно сообщить ему, является ли этот порядок общепринятым или нет. Кроме того, он обнаруживает, что — как это ни странно — даже если и задать какое-то упорядочение дополнительных графем, место слова в словаре всё равно не будет определяться только этим упорядочением, поскольку для целей упорядочения слов буква с диакритикой и без неё трактуется как "одна и та же буква"!

Далее, г-н N лишь впоследствии осознаёт, что буквы обоих алфавитов приведены в [ГиГр] в двух вариантах, строчном и прописном, дополнительные же графемы — только в строчном варианте. Правда, на стр. 21 замечательного справочника [Юш 41] чётко сказано, что "буквы с диакритическими значками образуют прописные формы так же, как основные буквы, и прибавляют свой диакритический значок". Однако этот справочник является библиографической редкостью и г-ну N оказывается недоступен. На практике же г-н N видит, что одно и то же слово, содержащее прописную букву, может писаться как с диакритическим значком, прибавленным к этой букве, так и без оного, потому что "французский язык охотно избегает прописных со значками" ([Юш 41], с. 21). Это запутывает его окончательно. Слегка утешает г-на N то обстоятельство, что, как он узнаёт, для русского языка проблема наличия прописных вариантов оказывается нерешённой даже для некоторых букв, входящих в традиционный русский алфавит.

Наконец, ему попадает в руки эта наша статья. Её пункт 5.2 сообщает ему, что латинский алфавит (в широком смысле) совпадает с алфавитом английского языка. Латинский алфавит г-ну N известен; не без приятного удивления г-н N обнаруживает, что, оказывается, тем самым он знает и алфавит языка английского. Предвкушая удовольствие, он берёт Вебстеров Энциклопедический полный словарь английского языка [Web] и начинает его выборочно читать. Тут ему попадаются фамилия майора британской армии *André*, мифологическое имя *Oïzys*, название вина *Médoc*, название города *Mariánské Lázně*, название измерительного прибора *Eötvös torsion balance*. Г-н N догадывается, что всё дело в прописной букве и что со слов, содержащих такую букву, не может быть никакого спроса. Он несколько успокаивается, но, к несчастью, довольно быстро натыкается на **maître d'hôtel** и **chargé d'affaires**. Английское слово **naïve** окончательно его доканывает. Г-н N с негодованием рвёт нашу статью и выбрасывает её в мусорную корзину.

§ 21. Займёмся теперь русскими словарными графемами. Начнем с алфавита. "Совокупность всех букв, расположенных в некотором условном порядке, носит название а л ф а в и т а" ([Зал 79], § 4). А. А. Зализняк справедливо указывает на различие в понятиях 'графема' и 'буква': так, **а** и **А** являются различными графемами ([Зал 79], § 3), но одной и той же буквой ([Зал 79], § 4). Таким образом, русский алфавит состоит из 66 графем, объединенных в 33 буквы, каждая из которых существует в двух вариантах: 1) прописном, или заглавном, и 2) строчном. Здесь, однако, возникает ряд проблем, которыми мы хотели бы поделиться с читателем.

21.1. Первая из них была обозначена в начале очерка. Строчными или прописными являются буквы а, б, е, р, с, у, ф? Казалось бы, прописными. Однако на самом деле все они — строчные, только набранные особым шрифтом — капителью. Буквы капители "применяются для выделений в тексте, например действующих лиц в изданиях драматических произведений" ([БылЖил], с. 420). Обсуждаемый вопрос — не праздный, он показывает, что противопоставление букв по заглавности / строчности имеет свои тонкости. Бессмысленно, вообще говоря, спрашивать, является ли отдельно взятый звук ударным или безударным: он опознаётся как тот или

иной лишь в сравнении с окружающими его звуками. Аналогично может оказаться невозможным установить, является ли данная буква строчной или прописной, не взглянув на её окружение. Вот если написать, скажем, ФАМУСОВ, то тогда качество каждой буквы станет ясным. Таким образом, заглавность буквы опознаётся, вообще говоря, на основе контекста и контраста. Качество заглавности буквы сходно с качеством ударности звука, а потому заглавность буквы может трактоваться как супрасегментная характеристика.

21.2. А для всех ли русских букв существуют их прописные варианты?

В каждом из четырех томов словаря [СлРЯ] приведён русский алфавит, но ер, еры и ерь даны там только строчные (см. выше наш § 6).

В некоторых публикациях русского алфавита присутствует прописное еры, но отсутствуют прописные ер и ерь — например, в [ЗКС.1], § 78, и в [Ив 76], с. 53. В § 54 работы Л. В. Щербы "Теория русского письма" [Щер] после перечисления русских букв для гласных и согласных, причем каждая дается в прописном и строчном вариантах, говорится буквально следующее: "3) Буквы, играющие роль диакритических знаков: ь, ъ". Дань этой традиции отдал и автор этих строк: [Усп 67], § 2. Однако сейчас автор поменял точку зрения и присоединился к тем, кто признаёт наличие заглавных ера и еря. Противопоставление строчных и прописных вариантов этих букв можно видеть на бумажных деньгах при обозначении серий. К тому же в [Ив 76], в сноске на стр. 54, приведена цитата из М. Н. Петерсона, начинающаяся с заглавного еря: "*Ь* указывает на то, что...". Цитата эта наглядно показывает, что необходимо различать синтаксическое употребление прописной буквы (написание с заглавной буквы новых отрезков текста — после точки, при цитировании, в стихах и т. д.) и её ономастическое употребление[14] (написание с заглавной буквы собственных имён).

21.3. Сколько букв в русском алфавите? Разумеется, если считать русским алфавитом тот список, который приводится повсеместно под этим названием, а буквами — члены именно этого списка, то ответ однозначен: тридцать три, просто по определе-

[14] Кстати, об ономастическом употреблении: помнит ли читатель, что *Президент СССР* писалось с большой буквы, а *президент США* с малой?

нию. Но если подойти к делу непредвзято и рассматривать алфавит как тот минимальный инвентарь знаков, который необходим для записи любого слова (понимаемого как словоформа) в соответствии с орфографическими нормами данного языка, то тогда алфавит совпадёт с набором словарных графем, объединяющихся в буквы. Честно говоря, не видно другого смысла в термине "алфавит языка". Конечно, этот термин, в его теперешнем понимании, несет на себе большую нагрузку исторической традиции, и эта нагрузка вполне оправданна: когда-то каждая буква алфавита обозначала ту или иную фонему (возмо̆жно, зависящую от позиции этой буквы). Но какую фонему сейчас обозначают ер или ерь? Никакой. Вряд ли стоит считать, что они обозначают в некоторых случаях фонему йот, — скорее всё же в этих случаях они подают сигнал о том, что следующая гласная буква должна читаться как последовательность двух фонем: йот плюс соответствующая гласная фонема. Автор, конечно, не рассчитывает, что ему удастся изменить значение слова "алфавит", но надеется, что ему будет разрешено употреблять этот термин в расширенном смысле — а именно, в смысле 'разбитый на буквы инвентарь словарных графем' — на протяжении этого параграфа.

А тогда в русский алфавит должны войти апостроф и дефис — хотя бы потому, что они используются в написании уже знакомого нам русского слова *Кот-д'Ивуар*.

Разумеется, необходимость включения в русский алфавит этих двух особых букв отчётливо понимал А. А. Зализняк: см. [Зал 67], с. 11; приходится с сожалением признать, однако, что с выходом в свет этой опередившей своё время монографии традиционный объём понятия 'русский алфавит' не изменился.

21.4. Апостроф в русском языке употребляется главным образом в именах собственных иностранного происхождения: в начале некоторых ирландских и сенегальских фамилий, таких как *О'Нил* и *М'Боу* (см. БСЭ–3, т. 18, стлб. 1424), а также в качестве сокращения для "де": *д'Артаньян*. Фонематическая роль апострофа ничуть не ниже, чем у ера или еря: не обозначая никакой фонемы самостоятельно, он влияет на произнесение предшествующей буквы, препятствуя её смягчению: *Кот-д'Ивуар*.

21.5. Разумеется, дефис должен войти в русский алфавит не только из-за нового названия Берега Слоновой Кости: ведь все написанные через дефис сложные слова считаются словами, а не

словосочетаниями, и тем самым дефис необходим для графического оформления этих слов.

В фонологическом отношении дефис подобен еру, ерю и апострофу: он не имеет собственного чтения, т. е. не обозначает никакой фонемы, но влияет на фонемный состав слова. В самом деле, сравним два слова, различающиеся лишь тем, что одно имеет слитное, а другое — дефисное написание. В дефисном написании непременно имеется второе ударение, а ведь фонетическое и даже фонологическое качество звука зависит от его расстояния от ближайшего ударного слога (причем неважно, является ударение основным или побочным, см. [Ав], § 183).

Возможны ли пары слов, различающиеся только по признаку слитности / дефисности? Вот несколько наблюдений в этой связи. Словарь Ушакова в своём 4-м томе (1940 г.) даёт только слитное написание *чернобурый*, более современные словари — только дефисное написание *чёрно-бурый*. Эти два слова имеют и различный фонемный состав: соответственно /чирнабурый/ и /чорнабурый/. Значение этих слов скорее всего одинаково. Следовательно, их надлежит считать такими же вариантами друг друга, как, скажем, *калоша* и *галоша*. Ещё пример: *жестяно-баночный* /жыс’т’анабаначный/ через дефис в [Орф 56], затем слитно *жестянобаночный* /жыс’т’инабаначный/ в [Орф 74], дефисно в [БуКа 76], слитно в [Орф 84] и снова дефисно в [БуКа 87]. В полезной брошюре [Кр] [15] на стр. 35 приведены слитные написания *бледнолиловый, темнорусый, яркозелёный*; все эти прилагательные даны через дефис в современных словарях.

Вообще, в написаниях сложных прилагательных царит порядочная неразбериха. И виноваты в этом орфографические правила, часто менявшиеся и подчас противоречащие здравому смыслу. Вот выпуклый пример из БСЭ–3, т. 23 (1976 г.), стлб. 1238: “СИНЕЗЕЛЁНЫЕ <sic! слитно!> ВÓДОРОСЛИ <...> Для С. в. характерна сине-зелёная <sic! дефисно!> окраска <...>”. Объяснение этому нонсенсу, надо полагать, такое. Слова *синезёленый* и *сине-зелёный* — разного смысла: первое означает некий единый цвет, каковой и имеют водоросли, второе — цветовую чересполосицу (сине-зелёный флаг; футболисты выступали в сине-зелёной форме). Это прекрасно понимают биологи, которые и дали сво-

---

[15] Первая фраза брошюры такова “Гениальные труды И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» имеют величайшее значение для школы”. Мы приводим эту цитату отнюдь не для осуждения автора, а просто считаем полезным напомнить о временах не столь отдалённых.

им водорослям слитное название, но они ничего не смогли поделать с орфографическими нормализаторами, управляющими названиями цветов даже в текстах биологических статей.

Только что проведённое обсуждение показывает, что дефис несёт функции не только графеморазличительную (что очевидно) и фонеморазличительную, но и смыслоразличительную. Это обстоятельство, однако, оказалось в поле зрения скорее естествоиспытателей, чем языковедов; впрочем, аргументация первых страдает нехваткой лингвистической корректности: так, обсуждаемые в [Хом] противопоставления

известняково-глинистый / известковоглинистый,
песчаниково-глинистый / песчанистоглинистый

и т. п. заключаются не только в наличии или отсутствии дефиса. Представляется, тем не менее, что правила об употреблении дефиса должны непременно принимать во внимание семантику. Вот наглядный пример[16] из статьи О. Э. Мандельштама «О природе слова»: "Русский лжесимволизм — действительно лже-символизм".

21.6. Итак, если стать на синхроническую точку зрения и не считать, что буква должна непременно обозначать, хотя бы в прошлом, какую-то фонему, то нет никаких оснований не включать апостроф и дефис в русский алфавит в качестве букв (хотя противопоставление по строчности / заглавности — в отличие от ера и еря — на современной стадии русской графики у них отсутствует). А старые, традиционные буквы будут почтены тем, что именно они несут основную нагрузку при записи морфем (то есть, конечно, морфов). Однако есть морфемы, написание которых в грамматиках и словарях включает в себя дефис: это частицы *-ка*, *-либо*, *-нибудь*, *-то* и некоторые другие. Мы полагаем, что они п и ш у т с я ч е р е з д е ф и с точно в том же смысле, в каком *корова* пишется через о, а не через ять, то есть с о д е р ж а т д е ф и с в с в о е м с о с т а в е.

§ 22. Почему одни частицы пишутся через дефис, а другие отдельно? Имеет ли это различие разумное обоснование? Вот вопрос, на который хотелось бы знать ответ.

---

[16] Пример любезно сообщён Татьяной Вячеславовной Булыгиной. Она же напомнила мне о набоковском Гемингвее (см. выше начало § 8).

Школьный учебник гласит: “Частицы ***кое-***, ***-то***, ***-либо***, ***-нибудь***, ***-таки***, ***-ка*** присоединяются к словам с помощью черточки. <Мы бы сказали: п и ш у т с я через черточку. — *В. У.*> Частицы ***бы (б), ли (ль), же (ж)*** черточкой не присоединяются и пишутся отдельно” ([БарКр], § 171).

В отношении частиц *-ка*, *-либо*, *-нибудь* ответ напрашивается: их вообще следовало бы трактовать не как отдельные слова, а как словоизменительные аффиксы, и потому писать даже слитно.

Что касается *-то*, то можно было бы предложить такое объяснение. Эта морфема естественно расщепляется на две омонимичные: в одном значении это словоизменительный аффикс, превращающий вопросительные и указательные местоимения и наречия в неопределённые (типа *кто-то, там-то*); в другом — самостоятельное слово с экспрессивным значением: *Семья-то большая*. Аффикс, естественно, не может писаться отдельно, и это его свойство переносится (не совсем законно) на омонимичную с ним частицу.

Кажется, что логичнее было бы писать частицу *то* (не аффикс *-то*!) отдельно и вообще стараться, по возможности, отдельно писать все частицы. Такое решение имело бы следующие преимущества: 1) дефис изгоняется из написания морфем; 2) все слова, трактуемые как отдельные слова, пишутся отдельно; 3) у дефиса остается единственная функция: участвовать в образовании сложных слов (знак переноса, разумеется, не является дефисом).

Короче говоря, предлагается обдумать следующий план: произвести переаттестацию частиц и разделить их на словоизменительные (или словообразующие — это как угодно) морфемы и на самостоятельные слова; и те и другие писать без дефиса, первые — слитно, вторые — отдельно. Конечно, не обойтись без проблем (например, непросто будет различить *таки* и *-таки*), но, думается, при наличии доброй воли они поддадутся разумному решению.

З а м е ч а н и е. Участие дефиса в образовании сложных слов может иметь и семиотические тонкости. Мы имеем в виду так называемый **висячий дефис** в таких словосочетаниях, как *газо- и парообразный* или *духовно- и социально-исторический*. Можно считать, что в этих примерах, взятых из [БуКа 87], с. 23, на глубинном уровне присутствуют слова *газообразный* и *духовно-исторический* и что в их реконструкции участвуют финальные дефисы из *газо-* и *духовно-*. Заметим еще, что на самом поверхностном,

внешнем уровне *газо-* и *духовно-* суть слова в первых двух смыслах из выделенных А. А. Зализняком (см. [Зал 67], § 1.2) пяти смыслов слова "слово", так что они суть слова, оканчивающиеся на дефис и притом могущие встретиться в регулярном тексте.

§ 23. Следует ли числить по корпусу русского языка аббревиатуры, в частности выражения *г-н, изд-во, д-р; г., изд., др.*? Если да, то ведь в число словарных графем придётся включать и точку, чего делать не хочется. По-видимому, аббревиатуры имеют всё же особый статус в письменном языке.

§ 24. До сих пор мы рассматривали неакцентуированную форму русского письма. Можно, конечно, рассмотреть и акцентуированную. Тогда возможны три решения: 1) включить в письменность отдельную графему акут (а для обозначения побочного ударения, возможно, и гравис) и писать её над ударной буквой — но тем самым отказаться от линейной системы письма; 2) включить в алфавит акцентуированные буквы; 3) знак ударения писать не над буквой, а сразу после буквы (так поступает словарь Ушакова!), т. е. по-существу включить акут и / или гравис в русский алфавит.

Меж тем акцентуированная графика совершенно необходима в некоторых случаях — хотя бы для собственных имён: ср. название данного очерка. Лично знавшая Ахматову Эмма Григорьевна Герштейн свидетельствует в устном сообщении, что та бывала недовольна, когда её подлинную фамилию Горенко произносили с ударением на втором слоге. А как, спрашивается, теперь узнать, что ударению здесь надлежит быть на слоге первом? Попытка обратиться к БСЭ–3 не даёт успеха, поскольку ударения в этом издании указываются лишь для заглавных слов (и на том спасибо: во 2-м издании до этого додумались лишь начиная с 7-го тома); в столбце 1371 2-го тома читаем: "АХМА́ТОВА (псевд.; наст. фам. Г о р е н к о)". Тогда мы раскрываем главу *Russian Surnames* в словаре [Ben], однако обнаруживаем, что среди помещённых в ней примерно 23 тысяч русских фамилий есть только *Горе́нко* и нет *Го́ренко*.

А. А. Алехин, кстати, тоже обижался, когда его дворянскую фамилию произносили через ё. В БСЭ–3 этот факт нашёл следующее отражение: "АЛЁХИН (прав. Алехин)" (т. 1, стлб. 1239).

Мы уже не удивляемся, что в [Ben] нет фамилии *Але́хин*, но только *Алёхин*. Напротив, Л. Н. Толстой именовался *Лёв*, а его герой — *Лёвин*; о Л. Н. Толстом написано столько, что и эти факты, вероятно, где-нибудь записаны (но где?); мне их любезно сообщил правнук Л. Н. Толстого Никита Ильич Толстой. (Форма *Лёв* отсутствует в [Петр], но приводится, в качестве разговорной, на с. 159 в [Ben].)

К чему приводит неуважение к букве ё, мы уже видели выше в § 6. Проблеме этой буквы следовало бы посвятить отдельный параграф. Мы привязываем здесь эту проблему к акцентуации, делая уступку дурной традиции, согласно которой роль тремы сводится в основном лишь к обозначению ударения — см., напр., [Уш], т. 1, стлб. XXXVII, § 31. В § 11 вводной статьи к 13-му изданию [Орф 74] Орфографического словаря русского языка читаем: "Буква *ё* в словаре служит указанием одновременно и на произношение и на место ударения, поэтому значок ударения над буквой *ё* не ставится <...>". Этот текст перепечатывается во всех изданиях от 5-го (1963 г.) до 30-го (1993 г.), — а потому ни из одного издания этого словаря не удаётся узнать ударение в слове, скажем, *трёхрублёвый*.

§ 25. В свое время автор изложил свои представления о требованиях, которые следует предъявлять к системам транслитерации, в публикации [Усп 67]. Однако превосходящее воображение количество опечаток в этой публикации (и как раз в примерах, комментирующих транслитерационные тонкости) сделало статью неудобочитаемой. Поэтому мы решаемся вкратце повторить эти требования. Они были сформулированы для транслитераций русских текстов латинскими буквами, но, возможно, разумны и в иных случаях. Требования подразделяются на главные и дополнительные.

25.1. Вот главные требования.

0. **Формальность.** Правила не должны опираться ни на что, кроме внешнего вида транслитерируемой цепочки графем. Этому требованию не отвечает, скажем, систе́ма Нью-Йоркской публичной библиотеки (см. [Nei]), предписывающая передавать **г** в окончаниях родительного падежа посредством **v**, а в остальных случаях посредством **g**, — поскольку не предлагаются формальные критерии отличия падежного окончания от остальных случаев.

1. **Общеприменимость.** Система должна давать транслитерацию для любой цепочки графем языка-источника, а не только для осмысленных текстов.

2. **Однозначность.** Несмотря на видимую очевидность требования, ему удовлетворяют не все системы. Например, в общесоюзном стандарте 1935 г. «ОСТ 8483» о некотором знаке говорится, что он "может опускаться" (см. [Реф]).

3. **Обратимость.** Система должна однозначно восстанавливать исходную цепочку графем по её транслитерации. Поэтому не годятся традиционные системы, передающие русскую букву *ш* как *sh*, *ч* как *ch*, а *щ* как *shch*, поскольку при этом транслитерации для *щ* и для *шч* совпадают. Ввиду требования общеприменимости, этого примера было бы уже достаточно; однако, можно найти примеры слияния транслитераций и для значимых словоформ: *веснущатый* в словаре Ушакова и *веснушчатый* в более поздних словарях (кстати, [ОбрС] — в противоречие декларированным на его стр. 14 принципам — ошибочно не указывает здесь вариантности). Нарушение требования делает невозможной ретранслитерацию. На это обращает внимание Н. В. Юшманов: "диграммы бывают иногда двусмысленными (напр., sh = «ш» и «с + h»)" ([Юш 41], с.15).

4. **Фонетическая корректность.** Это требование состоит в том, что произнесение транслитерации, озвученной по правилам чтения языка-восприемника, должно быть приближено к произнесению исходной цепочки графем, озвученной по правилам чтения языка-источника. Разумеется, здесь речь может идти лишь о цепочках, допускающих произнесение, т. е. о таких, как *папагиглемма*, но не таких, как *ЪЪЭЬКЙК*. Это требование несколько расплывчато, зато оно единственное, которое учитывает не только графическую, но и фонетическую специфику языка-восприемника. Именно поэтому традиционные системы транслитерации с русского на английский и с русского на французский отличаются друг от друга.

25.2. Дополнительные требования таковы: 1) простота системы (т. е. простота заложенного в ней алгоритма; ясно, например, что бесконтекстные системы проще контекстных); 2) простота ретранслитерации; 3) графическая простота (что предполагает отсутствие диакритики; требованию графической простоты не отвечает, скажем, ввиду простирающихся сразу над несколькими

буквами надстрочных дуг, система Библиотеки Конгресса США, изложенная в [Реф] и в [Nei]); 4) экономность (подвергаясь транслитерации, текст не должен слишком сильно растягиваться); 5) традиционность (хотя сама традиция довольно-таки изменчива: так, авторитетнейший американский реферативный журнал MATHEMATICAL REVIEWS сперва передавал русские *ю* и *я* как *yu* и *ya*, затем как *ju* и *ja*, а теперь передаёт снова как *yu* и *ya*, причём, забыв о собственной истории, характеризует транслитерацию через йот словом "old").

25.3. Непосредственно передавать диакритизированные буквы по телеграфу невозможно. Нет таких букв и на клавиатуре компьютеров, роль которых в нашей жизни значительно возросла со времени публикации статьи [Усп 67]. Поэтому сейчас требование **графической простоты** следует перенести из дополнительных в главные.

§ 26. Угодить всем требованиям предыдущего параграфа вместе невозможно. Автор сосредоточивается поэтому на главных требованиях и осмеливается предложить нижеследующую транслитерацию русских букв латинскими. Фонетическая корректность системы условна постольку, поскольку не указан язык-восприемник. Остальным главным требованиям система удовлетворяет.

Латинские образы приводятся только для заглавных (прописных) русских букв; при замене прописной русской буквы на строчную то же изменение происходит и в её образе. Как учит Юшманов (см. [Юш 41], с. 21): "прописная форма к sh будет Sh или, когда пишут одними прописными (вывески, заглавия и т. п.), то SH, напр. Shakespeare или SHAKESPEARE".

А	**A**	**Е**	**E**	**Й**	**Yj**	**О**	**O**	**У**	**U**	**Ш**	**Sh**	**Э**	**Eh**
Б	**B**	**Ё**	**Yo**	**К**	**K**	**П**	**P**	**Ф**	**F**	**Щ**	**Th**	**Ю**	**Yu**
В	**V**	**Ж**	**Zh**	**Л**	**L**	**Р**	**R**	**Х**	**Kh**	**Ъ**	**Jh**	**Я**	**Ya**
Г	**G**	**З**	**Z**	**М**	**M**	**С**	**S**	**Ц**	**C**	**Ы**	**Ih**	**'**	**'**
Д	**D**	**И**	**I**	**Н**	**N**	**Т**	**T**	**Ч**	**Ch**	**Ь**	**J**	**-**	**-**

§ 27. Наивного исследователя, пытающегося выяснить, какие же знаки препинания имеются, скажем, в русском языке, подстерегают две трудности. Первая из них заключается в том, что различные авторитетные публикации указывают различные наборы таких знаков.

“В русской пунктуации употребляются следующие знаки препинания: точка, восклицательный знак, вопросительный знак, запятая, точка с запятой, двоеточие, многоточие, тире, скобки, кавычки (снятие разрядки мое. — *В. У.*)”, указывает в § 133 учебник [ЗКС.2]. Учебник [ВаРФЦ] высказывается ещё категоричнее: “В русской пунктуации употребляется десять знаков: точка, точка с запятой, запятая, двоеточие, тире, вопросительный знак, многоточие, скобки, кавычки” (§ 347). Но тут же прибавляет: “Функцию знака препинания выполняет также абзац (написание с новой строки)”. В то же время в интересной и содержательной, несмотря на краткость, энциклопедической статье [ЛеДо] к знакам препинания причисляются абзац, красная строка, дефис и косая черта. А далее с той же извиняющейся ссылкой на функцию, что и в [ВаРФЦ], добавляется: “К З. п. функционально принадлежит и пробел — знак границы слов”. С нашей точки зрения, расширенный список из [ЛеДо] может быть взят за основу и затем исправлен следующим образом: 1) пробел должен быть объявлен полноправным знаком препинания; 2) дефис должен быть удален из списка знаков препинания и включен в русский алфавит в качестве буквы; 3) как отдельные знаки должны рассматриваться левая, или открывающая, кавычка, правая, или закрывающая кавычка, левая скобка, правая скобка (последняя, в частности, используется в качестве самостоятельного, не имеющего левого напарника знака и в настоящем предложении — после цифр). В списке знаков препинания должны присутствовать кавычки и скобки разных фасонов: кавычки-ёлочки, кавычки-лапки, марровские, или одинарные, кавычки (мы используем их в тексте нашего очерка для обозначения понятий); скобки круглые, квадратные, угловые и, возможно, фигурные.

Вторая трудность — скудость источников, где бы можно было почерпнуть сведения о начертании знаков препинания. Скажем, в заслуживающей внимания брошюре [Ив 62] на с. 9–13 приводятся изображения этих знаков в греческих и латинских рукописях X в., в славянских грамматиках Зизания и Смотрицкого, в русской грамматике Ломоносова — но только не современные изображения. Тщетно было бы искать эти изображения и в полезном пособии того же автора [Ив 76].

Начертания знаков препинания приводятся лишь в толковых и энциклопедических словарях, они отсутствуют даже в утверждённых Академией наук и двумя министерствами “Правилах русской орфографии и пунктуации” (М.: Учпедгиз, 1956). В названных “Правилах”, а также в школьных учебниках, содержатся лишь правила употребления знаков препинания в презумпции, что пользователь уже откуда-то знает, как эти знаки выглядят. Откуда он должен это знать — неизвестно (в отличие от алфавита, который приводится в учебниках явно).

Какое наслаждение раскрыть изданную в Москве в 1905 г. и посвященную памяти Вице-Президента Императорской Академии наук Якова Карловича Грота книгу [Гус]! Приведём названия лишь двух параграфов этой книги: “§ 22. Название и начертание знаков препинания” и “§ 23. Классификация знаков препинания по их начертаниям и функциям”. (А в главе 2 второй части, где разбираются случаи употребления знаков, их начертания повторены ещё раз.) Автору этих строк более не довелось видеть какого-либо пособия, где знаки препинания в своих графических формах были бы собраны вместе. Возможно, конечно, что автору просто не повезло. Но если это не так, то напрашивается вывод, что после революционных событий 1905 г. либо грамотность стала настолько всеобщей, что представление о графическом облике знаков препинания впитывается теперь с молоком матери и потому не нуждается в закреплении в виде какого-либо подобия таблицы, либо же информационная культура упала до нижайшего уровня.

Для знаков препинания также должна быть указана транслитерация. В самом деле, если транслитерируется не отдельное слово, а кусок текста, там могут встретиться пробелы между словами и другие знаки препинания. Хотя это почти никогда не оговаривается явно, молчаливо [17] принимается, что эти знаки при транслитерации переходят сами в себя, т. е. попросту сохраняются на своих местах. Впрочем, и тут не всё так просто, поскольку языки могут обладать и специфическими знаками препинания. Как отразить при транслитерации с русского на английский различие между русскими кавычками-лапками и кавычками-ёлочками, называемыми также французскими кавычками? Что должно служить образами графем «¿» и «¡», входящих в набор знаков пунктуации в испанском, при транслитерации на язык, не имеющий этих знаков? Как нужно транслитерировать

[17] Математики сказали бы “по умолчанию”.

знак «;», являющийся, согласно [ЛеДо], знаком вопроса в греческом языке?

§ 28. В руководстве А. Гусева [Гус] уделяется внимание и стандартным спецзнакам (там, на стр. 149, они названы “Особыми знаками”). К особым знакам автор руководства относит знак параграфа «§», цифры, звёздочки и строчку точек. О звёздочках он пишет: “§ 146. Иногда образцовые писатели при пропуске собственных имён ставят одну или несколько звёздочек (не более трёх)”. О строчке точек: “§ 147. Строчки точек употребляются в тех случаях, когда по каким-либо причинам пропускается одна или несколько строк текста <...> Строчки точек (пунктир) также употребляются в оглавлении книг для соединения заглавий или параграфов с цифрами страниц”. К стандартным спецзнакам следует отнести еще знак процента «%», знак номера «№» и часто используемую при издании словарей тильду «~». Мы не претендуем здесь на полную инвентаризацию стандартных спецзнаков русского языка (к которым, возможно, следует отнести также диез и бемоль), а только обозначаем проблему.

Стандартные спецзнаки универсальны для большинства языков, а потому разумно потребовать, чтобы они, подобно знакам препинания, при транслитерации просто-напросто сохранялись. Однако и здесь возникают свои проблемы. Так, русский знак номера отсутствует (в качестве стандартного спецзнака) в графике многих языков с латинской письменностью. Если транслитерировать его как «No», то будет нарушена обратимость, поскольку так же транслитерируется и русское «Но». Пожалуй, более удачным решением будет «N°». Другое возможное решение: решётка «#».

Авторские спецзнаки при транслитерации должны сохраняться, если только это не нарушает принципа обратимости. Разумеется, о требовании графической простоты тут уж говорить не приходится.

§ 29. Итак, главная цель этого очерка — постараться защитить тезис, что языковой знак, или текст, является трехсторонним объектом, имеющим наряду с планом содержания и с признаваемым традицией звуковым планом выражения ещё и графический план выражения. Более того, для непосредственного

восприятия письменный текст предъявляет нам только свой графический план, а другие планы могут быть нам неизвестны, а то и не существовать вовсе.

Как надлежит произносить имя Цицерона, данное нам как *Cicero* в графике латинского языка? Кикеро? Цицэро? Итальянцы, кажется, говорят "чичеро". А как говорит папа римский польского происхождения?

Замечание. Как известно, западноевропейские языки принимают в свой состав антропонимы (т. е. имена людей), заимствованные из других языков с латинской графикой, в исходной графической форме — то есть в той форме, в которой имя существует в языке заимствования. При этом заимствующий язык готов идти на определённые издержки. Во-первых, возникают трудности с выбором правильного произношения, поскольку правила чтения графических выражений различны в различных языках. Во-вторых, заимствующий язык может оказаться вынужденным использовать не свойственные ему диакритические знаки. Так, немецкая фамилия Müller, французская Mérimée, венгерская Eötvös и польская Łoś (с перечёркнутым эль) не претерпевают никаких изменений при появлении в английском письменном тексте. Так же, с сохранением графической формы, передаются арабские имена в персидском языке, а китайские — в японском (см. [Ста], с. 12). Иначе ведут себя языки, письменность которых основана на кириллице. Хотя современный болгарский алфавит целиком вкладывается в русский алфавит (надо лишь удалить из последнего ё, ы и э), болгарские имена подвергаются определённой трансформации при включении их в русский язык: см. соответствующие правила на с. 107–112 в [ГиСт], а также специальную статью [Анд] на эту тему. В качестве примера приведём следующую проблему. Как надо передавать по-русски болгарское имя Александър? Как *Александр*, *Александыр* или *Александар*? Эту проблему обсуждает Н. И. Толстой ([Тол], с. 117). Сказанное тем более оказывается справедливым для русских заимствований из сербского, среди букв которого встречаются и неизвестные русскому алфавиту буквы: см. [ГиСт], с. 220–226. Украинский языковед Іван Костянтинович Білодід фигурирует в русской версии как Иван Константинович Белодед (см. БСЭ–3, т. 30, стлб. 1724). И дело здесь вовсе не в отсутствии в русском алфавите буквы і. Преобразованию подвергаются и те украинские фамилии, которые записаны буквами, присутствующими в русском алфавите:

ср. варианты фамилии видного украинского театрального деятеля: Романицький по-украински, Романицкий по-русски.

Самостоятельность графического аспекта языка можно проиллюстрировать и на примере наблюдающихся различий в начертаниях строчных греческих букв, каковые различия демонстрируют русская и английская традиции. Формы русского фи φ и английского фи ϕ неодинаковы. Русский эпсилон ε иногда используется в английском в качестве математического знака, выражающего принадлежность элемента множеству; ту же функцию в русском может выполнять английский эпсилон ϵ. Русская рукописная единица с "хвостиком" воспринимается в США, где записывают единицу в виде простой вертикальной черты, как семёрка, и автор этих строк испытал это на собственном горьком опыте, когда просил американских коллег позвонить по телефонному номеру, содержащему единицу.

"Современный китайский язык существует в двух формах — письменной и устной" [Сол]. Только в письменной форме различаются три местоимения третьего лица (организованные, как в английском, — для мужчин, для женщин и для всего остального), а произносятся они тождественно. Само единство китайского языка поддерживается именно письменной формой (поскольку произношение сильно разнится в разных диалектах), и именно эта стабильность графики способствовала её заимствованию соседствующими с китайцами народами.

Заявленный в начале параграфа тезис, возможно, показался бы банальностью в древности или в Китае, поскольку, в частности, — но только в частности! — детерминативы в идеографическом и иероглифическом письме вообще не имеют звукового чтения. Мы слишком европоцентричны.

О произношении (а иногда и о содержании) древних текстов мы можем судить лишь предположительно. Ведь даже старославянский язык есть язык закрытого перечня письменных памятников, ни один из которых, строго говоря, до нас не дошёл. Древнекитайский язык вэньянь "уже в 1-м тыс. н. э. разошёлся с языком устного общения и стал непонятным на слух. Этот письм. язык <...> использовался в качестве лит. языка до 20 в., претерпев в течение веков значит. изменения (например, пополнился терминологией)" [Сол].

Появление письменности делает необходимым расширить не только предмет языкознания, но и само представление о том, что

есть язык. Появление компьютеров, электронной почты и прочих новшеств усугубляет эту необходимость. Сообщения на экранах компьютеров возникают (и, надо полагать, еще долго будут возникать) в латинской графике безотносительно к тому, знает или не знает глядящий на экран пользователь тот английский язык, на котором они написаны. Поступающие из заграницы и отправляемые туда электронные письма, даже если они изложены на русском языке, оформляются графически — за редчайшими исключениями — с помощью латинских букв (вот новое обширное поле применения транслитерации!). Да и команды пользователь вынужден писать теми же буквами. Но это его не очень пугает, поскольку еще ребёнком он видел эти буквы на джинсовых лэйблах и на различных майках. А в удачных случаях он успел и потыкать в клавиатуру.

Вообще, современный ребёнок растёт и развивается в окружении многочисленных надписей, что, конечно, не имело места, когда формировался предмет традиционного языкознания. Как все знают, лица с врождённым дефектом зрения легче полноценным образом вписываются в общество, чем лица с врождённым дефектом слуха. Из этого следует, что звуковой аспект языка всё ещё доминирует в интеллектуальном становлении личности. Однако его графический аспект постепенно становится всё более и более существенным.

Литература

[All] — *Alleton V.* L'écriture chinoise. 4^e éd., corrigée. — P.: PUF, 1990. — 128 pp.

[Ben] — Dictionary of Russian Personal Names / Compiled by Morton Benson. 2nd ed., revised. — Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1969. — 175 pp.

[Nei] — *Neiswender R.* Russian transliteration — sound and sense // Special Libraries. — 1962. — Vol. 53, No. 1. — P. 37–41.

[Web] — Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language. — N. Y. et al.: Gramercy Books, 1989. — 1854 pp.

[Ав] — *Аванесов Р. И.* Сведения о произношении и ударении // Орфоэпический словарь русского языка. Изд. 2-е. М.: Русский язык, 1985. — С. 659–684.

[Анд] — *Андреев В. Д.* Передача болгарских имен собственных в русском языке // [Топ], с. 122–130.

[Ану 96] — *Анучин Д. Н.* Малороссы // Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауз—Ефрон. Т. 18, полутом 36. СПб., 1896. — С. 484–485.

[Ану 99] — *Анучин Д. Н.* Россия в этнографическом отношении // Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауз—Ефрон. Т. 27, полутом 54. СПб., 1899. — С. 139–152.

[БарКр] — *Бархударов С. Г., Крючков С. Е.* Учебник русского языка. Ч. 1. — Изд. 4-е. — М: Учпедгиз, 1957. — 224 с.

[Бер] — *Бернштейн С. И.* Фонема //БСЭ, изд. 2-е. Т. 45. М., 1956. — С. 295–297.

[БСЭ–3] — Большая Советская Энциклопедия. — Изд. 3-е. — Т. 1–30. — М., 1970–1978.

[БуКа 76] — *Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П.* Слитно или раздельно? : (Опыт словаря-справочника). — Изд. 2-е, стереотипное. — М.: Русский язык, 1976. — 480 с.

[БуКа 87] — *Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П.* Слитно или раздельно? : (Опыт словаря-справочника). — Изд 6-е, стереотипное [18]. — М.: Русский язык, 1987. — 876 с.

[БуКр Д] — *Булыгина Т. В., Крылов С. А.* Денотат //[ЛЭС], с. 128–129.

[БуКр Ом] — *Булыгина Т. В., Крылов С. А.* Означаемое //[ЛЭС], с. 343.

[БуКр Ощ] — *Булыгина Т. В., Крылов С. А.* Означающее //[ЛЭС], с. 343.

[БуКр Р] — *Булыгина Т. В., Крылов С. А.* Референт //[ЛЭС], с. 410–411.

[БуКр С] — *Булыгина Т. В., Крылов С. А.* Сигнификат //[ЛЭС], с. 444.

[БуКр Ф] — *Булыгина Т. В., Крылов С. А.* Форма //[ЛЭС], с. 557–558.

[Бурб] — *Бурбаки Н.* Теория множеств / Пер. с франц. — М.: Мир, 1965. — 455 с.

[БылЖил] — *Былинский К. И., Жилин А. Н.* Справочная книга корректора. — М.: Искусство, 1960. — 533 с.

[ВаРФЦ] — *Валгина Н. С., Розенталь Д. Э., Фомина М. И., Цапукевич В. В.* Современный русский язык: [Учебник для вузов СССР]. — Изд. 2-е, доп. и переработ. — М.: Высшая школа, 1964. — 456 с.

[ГиГр] — *Гиляревский Р. С., Гривнин В. С.* Определитель языков мира по письменностям. — Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: Наука, 1965. — 375 с.

[ГиСт] — *Гиляревский Р. С., Старостин Б. А.* Иностранные имена и названия в русском тексте: Справочник. — Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: Высш. шк., 1985. — 303 с.

[ГРЯС] — Грамматика русского языка. Ч. 2. Синтаксис: Учебник для 6-го и 7-го классов семилетней и средней школы. — Изд. 11-е. / Под ред. акад. Л. В. Щербы. — М.: Учпедгиз, 1950. — 152 с.

[Гус] — *Гусев А.* Знаки препинания (пунктуация) в связи с кратким учением о предложениях и другие знаки в русском письменном языке. — Изд. 2-е. — М.: Издание А. Д. Ступина, 1905. — 152 с.

[Жур] — *Журинская М. А.* Латинский алфавит // [БСЭ-3]. Т. 14. — Стлб. 624–625.

[Зал 67] — *Зализняк А. А.* Русское именное словоизменение. — М.: Наука, 1967. — 369 с.

[18] Исправленным и дополненным было 3-е издание.

[Зал 77] — *Зализняк А. А.* Грамматический словарь русского языка. — М.: Русский язык, 1977. — 879 с.

[Зал 79] — *Зализняк А. А.* О понятии графемы // Balcanica. Лингвистические исследования. М.: Наука, 1979. — С. 134–152.

[ЗКС.1] — *Земский А. М., Крючков С. Е., Светлаев М. В.* Русский язык. Ч. 1: [Учебник для педагогич. училищ] / Под ред. акад. В. В. Виноградова. — Изд. 9-е, испр. и доп. — М.: Просвещение, 1980. — 303 с.

[ЗКС.2] — *Земский А. М., Крючков С. Е., Светлаев М. В.* Русский язык. Ч. 2: [Учебник для педагогич. училищ] / Под ред. акад. В. В. Виноградова. — Изд. 9-е, переработ. и доп. — М.: Просвещение, 1980. — 222 с.

[Ив 62] — *Иванова В. Ф.* История и принципы русской пунктуации. — М.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1962. — 64 с.

[Ив 76] — *Иванова В. Ф.* Современный русский язык. Графика и орфография. — Изд. 2-е, переработ. и доп. — М.: Просвещение, 1976. — 288 с.

[Кр] — *Крючков С. Е.* О спорных вопросах современной русской орфографии. — М.: Учпедгиз, 1952. — 55 с.

[Лай] — *Лайонз Дж.* Введение в теоретическую лингвистику / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1978. — 543 с.

[ЛеДо] — *Леонтьев А. А., Долгопольский А. Б.* Знаки препинания // [БСЭ-3]. Т. 9. — Стлб. 1638–1639.

[ЛЭС] — Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — 683 с.

[Люб] — *Любимов Н. М.* Несгораемые слова. — Изд. 2-е, доп. — М.: Худож. лит., 1988. — 336 с.

[Мар] — *Марков А. А.* Теория алгорифмов. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. — 375 с. (Труды Математич. ин-та АН СССР, т. 42).

[МарНаг] — *Марков А. А., Нагорный Н. М.* Теория алгорифмов. — М.: Наука, 1984. — 432 с.

[ОбрС] — Обратный словарь русского языка. — М.: Советская энциклопедия, 1974. — 944 с.

[Ож] — *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. — Изд. 16-е, исправл. / Под ред. Н. Ю. Шведовой. — М.: Русский язык, 1984. — 797 с.

[Орф 56] — Орфографический словарь русского языка / Под ред. С. И. Ожегова, А. Б. Шапиро. — М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1956. — 1260 с.

[Орф 74] — Орфографический словарь русского языка. — Изд. 13-е, испр. и доп. / Под ред. С. Г. Бархударова и др. — М.: Русский язык, 1974. — 480 с.

[Орф 84] — Орфографический словарь русского языка. — Изд. 21-е, испр. / Под ред. С. Г. Бархударова и др. — М.: Русский язык, 1984. — 464 с.

[Петр] — *Петровский Н. А.* Словарь русских личных имен. — М.: Советская энциклопедия, 1966. — 384 с.

[Под] — *Подольская Н. В.* Словарь русской ономастической терминологии. — Изд. 2-е, переработ. и доп. — М.: Наука, 1988. — 192 с.

[Реф] — *Реформатский А. А.* Транслитерация русских текстов латинскими буквами //Вопросы языкознания. — 1960, № 5. — С. 96–103.

[РТЭИС] — Русская транскрипция эстонских имен собственных. — Таллин: Валгус, 1973. — 15 с.

[СлИС 33] — Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык/ Сост. К. С. Кузьминский и др. — М.: Советская энциклопедия, 1933. — 1512 стлб.

[СлИС 79] — Словарь иностранных слов. — Изд. 7-е, перераб. — М.: Русский язык, 1979. — 624 с.

[СлРЯ] — Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А. П. Евгеньевой. — Изд. 3-е, стереотипн. — М.: Русский язык, 1985–1988.

[СлСРЛЯ] — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1–17. — М.; Л., 1948–1964.

[СлСРЛЯ–2] — Словарь современного русского литературного языка: В 20-и т. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Русский язык, 1991–.

[СлУ] — Словарь ударений для работников радио и телевидения / Под ред. Д. Э. Розенталя. — М.: Советская Энциклопедия, 1967. — 688 с.

[Сол] — *Солнцев В. М.* Китайский язык / [ЛЭС], с. 225–226.

[Ста] — *Старостин Б. А.* Введение //[ГиСт], с. 4–56.

[Сте] — *Степанов Ю. С.* Семантика //[ЛЭС], с. 438–440.

[Стр] — Страны мира: Краткий политико-экономический справочник. — М.: Политиздат, 1991. — 512 с.

[Тол] — *Толстой Н. И.* Заметки о славянских именах собственных и их транскрипции //[Топ], с. 103–121.

[Топ] — Топономастика и транскрипция. — М.: Наука, 1964. — 200 с.

[Усп 67] — *Успенский В. А.* К проблеме транслитерации русских текстов латинскими буквами // Научно-техническая информация. Серия 2. — 1967, № 7. — С. 12–20.

[Усп 77] — *Успенский В. А.* К понятию диатезы // Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. М.: Наука, 1977. — С. 65–84.

[Усп 92] — *Успенский В. А.* Серебряный век структурной, прикладной и математической лингвистики в СССР и В. Ю. Розенцвейг: Как это начиналось (заметки очевидца) //Wiener slawistischer Almanach. — 1992. — Sonderband 33. — S. 119–162.

[Уш] — Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1–4. — М., 1934–1940.

[Хом] — *Хомизури П. И.* Смысловое значение знака дефис в геологической терминологии //О современной русской орфографии. М.: Наука, 1964. — С. 154–156.

[Чёрч] — *Чёрч А.* Введение в математическую логику / Пер. с англ. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960. — 484 с.

[Шах] — *Шахматов А. А.* Русский язык // Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауз–Ефрон. Т. 28, полутом 55. СПб., 1899. — С. 564–581.

[Шиль] — *Шильдер Н. К.* Император Николай Первый, его жизнь и царствование. Т. 1 — СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1903. — 800 с.

[Шкл] — *Шкловский И. С.* Эшелон. Невыдуманные рассказы. — М.: Новости, 1991. — 222 с.

[Щер] — *Щерба Л. В.* Теория русского письма. — Л.: Наука, 1983. — 134 с.

[Юш 33] — *Юшманов Н. В.* Грамматика иностранных слов // [СлИС 33], стлб. 1429–1512.

[Юш 40] — *Юшманов Н. В.* Проблема названий букв латинского алфавита // Язык и мышление. IX. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. — С. 65–72.

[Юш 41] — *Юшманов Н. В.* Ключ к латинским письменностям земного шара. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. — 85 с.

[Юш 41а] — *Юшманов Н. В.* Определитель языков. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. — 43 с.

29 апреля 1995 г.
(Корректурные добавления от 10 сентября 1995 г.)

Т. М. Николаева

«Бусый волк» Игорь и «оборотничество» пушкинских героев

О некоторых странных особенностях в поведении князя Игоря после побега из половецкого плена писали уже несколько раз. Прежде всего обращало на себя внимание преображение его облика:

А Игорь князь поскочи горнастаем къ тростию
и бѣлымъ гоголемъ на воду.
Въвръжеся на бръзъ комонь
и скочи съ него бусым влъкомъ.
И потече къ лугу Донца,
и полетѣ соколом подъ мъглами,
избивая гуси и лебеди
завтроку, обѣду, и ужине... *

То есть Игорь пытается вскочить на коня, но «сваливается» с него — *бусым влъкомъ*. Чувствуя некий загадочный инфернальный налет этой характеристики (метафора? намек?), В. А. Жуковский перевел это как «бесом-волком». В 1947 году акад. В. Я. Гордлевский высказал предположение об оборотничестве князя, основываясь на значении аналогичного тюркского выражения (Гордлевский 1947). Само это выражение В. А. Гордлевский возводит к тюркскому сочетанию *bôz kurt* — 'волк-оборотень'. Волк считался родоначальником тюрок, их тотемным предком. Однако, как замечает В. А. Гордлевский, «Босый» — таинственное, тотем-

* Текст «Слова о полку Игореве» цитируется по изданию: «Слово о полку Игореве». М.: «Художественная литература», 1985.

ное слово... Волки ходили кругом; волк был обыкновенное животное. А вот «„босый волк“ — тюркский волк — наводил благоговейный трепет» (Гордлевский 1947, с. 333). Существенно также приводимое в этой же статье замечание о том, что епископ Кремонский Лиутпранд (X век), ездивший послом к византийскому императору Никифору II Фоке, сообщал о болгарском князе Баяне, сыне царя Симеона, что он мог превращаться в волка и в любое другое животное (там же, с. 331). И другие исследователи «Слова» обращали внимание на возможный переход бежавшего и как будто бы спасшегося Игоря в некий иной таинственный статус. Так, И. Клейн сравнивает Донец, через который переправляется Игорь, с рекой мертвых Стиксом, переправа через который есть переход из царства живых в царство мертвых (Клейн 1976). В это же примерно время сходную мысль высказывает и Н. С. Демкова: «...плен князя Игоря интерпретируется автором в системе образов „Слова“ как „смерть“, а его бегство из плена — выход, выход из „смерти“, из другого мира» (Демкова 1979).

При внимательном чтении текста можно найти много подтверждений в поддержку этой гипотезы — возможно, убедительных, но, конечно, не доказательных (да и как в данном случае можно говорить о доказательствах?)

1. Текст «Слова» строго симметричен — как композиционно, так и семантически. Осью этой симметрии мы считаем плен и мольбу Ярославны. В первой части «Слова» русские только едут, сидя на конях; Игорь ведет войско. Анималистические глаголы и конструкции достаются на долю половцев — восточного врага, изображенного как звериная стая, без героев, без индивидуальности:

А половцы неготовами дорогами
побѣгоша къ Дону великому;
Гзакъ бѣжить сѣрымъ влъкомъ;
по Русской земли прострошася полвцы, акы пардуже гнѣздо...

Во второй части волком бежит сам Игорь, а на конях едут половецкие ханы: Гзак и Кончак. Они разговаривают вполне рассудительно, тогда как в первой части половцы издают некие нечленораздельные, анималистического характера звуки:

Дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша, а
храбрии русици преградиша чрълеными щиты.

2. В первой части природа, особенно Солнце, угрожает Игорю, причем эта угроза вполне персонифицирована: *Солнце ему тьмою*

путь заступаше. Во второй части Игорь сливается с природой, вступая даже в беседу с рекой-Донцом. Ярославна обращается именно к природным стихиям, так как Игорь бросил вызов им, при этом Солнце она упрекает, а реку просит, и река отвечает (см. повторение глагола *лелѣять*).

3. Побег Игоря в тексте предваряется рассказом о необычайном князе-волхве Всеславе Полоцком, который *въ ночь влъкомъ рыскаше; скочи влъкомъ до Немиги съ Дудутокъ; великому Хръсови путь прерыскаше...* Более того, об его оборотничестве говорится прямо, так как сказано, что днем он судит людей как князь и управляет городами. Всеслав Полоцкий скачет *лютымъ звѣремъ*, что так же загадочно, как и *бусымъ влъкомъ.* Дело в том, что по этому поводу существует много гипотез, принятие каждой из которых влечет за собой серьезные научные расхождения. Так, *лютый звѣрь* может истолковываться и как общегенерическое словосочетание, и как вполне конкретное: медведь? волк? рысь? барс? лев? Наконец, оно может быть общим в одном тексте и конкретным в других, причем в каждом тексте иметь неповторяющееся (или необязательное для других) значение. Наконец, само словосочетание может быть нетерминологическим, а значимо лишь его квалифицирующее прилагательное — *лютъ.* (См. об этом развитие разных вариантов идентификации и соответствующую литературу в недавнем блоке статей в «Балто-славянских исследованиях»: Сумникова 1986; Иванов 1987; Топоров 1988.)

В первой же части Игорю сопоставляется неудачливый предок — Олег Святославич. Совпадают целый ряд лексем, в том числе и описание движения — Олег также едет на коне, в его облике нет ничего инфернального. Текст о князе Всеславе перекликается с текстом о побеге Игоря очень точным набором перекличек, лексемами: полночь, мгла, скочить волком. Все это наводит на мысль о неслучайном наложении рассказа именно об этом князе, который даже не является предком Игоря.

4. Игорь находится как бы в странном состоянии — между бытием и небытием: *Игорь спитъ, Игорь бдитъ...*

5. В бегстве Игорь пересекает реку. На значимость этой аллюзии уже обращали внимание.

6. В тексте «Слова» при описании подготовки бегства есть странное предложение *Князю Игорю не быть!* По этому поводу высказывалось много соображений, но какая-то недоговоренность все-таки оставалась. Так, В. И. Стеллецкий (Стеллецкий 1955), обсуждая возможную интерпретацию: Игоря там не было, или он

не понял зова и т. д., связывает все же эту фразу с последующим аористом *кликну*.

7. Сама поэтика «Слова» во многом опирается на суггестивность. См. знаменитую дискуссию о белке / мысли. Мы высказывали предположение о тернарной модели как одной из основных в тексте «Слова». То есть X в одних случаях есть только X, в других — это очевидно Y, а в третьих — автор как бы оставляет неясным, затуманенным решение вопроса, что же это — X или Y. Примеров тому очень много, и останавливаться на этом сейчас нецелесообразно. Поэтому точных указаний автор «Слова» в подобных случаях никогда не дает. Sapienti sat!

8. И в тексте о Всеславе, и в тексте о побеге Игоря часто присутствует лексема МГЛА. Эта лексема, в отличие от ТУМАНА, ОБЛАКА и под., часто связывается в русских текстах, особенно поэтических, с завесой в некий иной мир, время мглы — это как бы temps du passage.

Необходимо напомнить также, что спасение Игоря — дело рук любящей женщины, Ярославны, функция которой в интересующем нас смысле амбивалентна. Она не спасает его каким-то обычным способом (побег, подкуп), но, строго говоря, предает его, обращаясь именно к тем стихиям, которым он бросал вызов и знамениями их пренебрегал. И в то же время она спасает его морально, положив конец чрезмерной гордыне и беспримерному вызову. Ранее мы уже высказывали мнение, что со «Слова» ведет свое начало вся совокупность именно русских литературных доминант: дерзкий вызов во имя индивидуальности, спасение через любящую женщину. Более того, указывалось на содержательное сходство в этом плане «Слова» и «Преступления и наказания».

Влияние «Слова» на Пушкина, готовившего комментированное его издание, посещавшего лекции в университете, наконец, серьезно беседовавшего о нем за три дня до дуэли, было темой и статей, и даже книг. Нашей задачей является выявить текстовые переклички со «Словом» в пушкинских текстах, причем переклички глубинно-семантические, а не только поверхностные цитаты. Таких совпадающих содержательных компонентов много: это сны пушкинских героев, во многом перекликающиеся со сном Святослава Всеволодовича, это тема: Пушкин и Боян, это и принцип изображения восточного врага, шире, изображение битвы, это и размышление о том, как начать поэму, это и «летающий волшебник» (Всеслав — Черномор), и многое другое, но, пожалуй, самое главное — это тема Творчества и тема Судь-

бы (предзнаменование — вызов, часто бессмысленный, — ответ Судьбы).

Как у большинства писателей этого времени, у Пушкина есть и простая сюжетная травестийность: Дубровский называет себя Дефоржем, Дон Гуан — доном Диего, Григорий Отрепьев становится Лжедимитрием. Но в некоторых случаях возникает и такой же мерцающий, как и в «Слове», намек на некоторое не совсем обычное преображение героя, когда можно говорить и уже о теме оборотничества.

Назовем три таких сюжета:

I. Возвращаясь домой с усыпленной княжной, Руслан засыпает в открытом поле и видит странный сон, который Пушкин называет вещим. Сон Руслана удивительно напоминает самые современные сюжеты, вроде «Жизни после смерти» и под. Людмила, падая, исчезает в темной глубокой бездне:

Знакомый глас, призывный стон
Из тихой бездны вылетает...
Руслан стремится за женой;
Стремглав летит во тьме глубокой...

Далее Руслан попадает в гридницу Владимира, которая по всем признакам напоминает царство мертвых:

И все сидят не шевелясь,
Не смея перервать молчанья.
Утих веселый шум гостей,
Не ходит чаша круговая <...>
И видит он, среди гостей,
В бою сраженного Рогдая:
Убитый, как живой, сидит;
Из опененного стакана
Он весел, пьет и не глядит
На изумленного Руслана.

Загадкой этого сна является то, что мы не знаем, когда именно героя убивает Фарлаф? В момент убийства *Руслан не внемлет; сон ужасный, как груз, над ним отяготел.* Сон прерывается тем, что *смертельный хлад объемлет спящего героя.* Но неясно, когда именно нанес свой удар Фарлаф: состояние сна и ви́дение конкретного сна — разные вещи. В рассказе о сне Руслана упоминается и вещий Баян, певец героев и забав. Это как бы текстовая указка,

ключ. Дальнейшая судьба Руслана как будто бы очевидна. Под утро он пал *недвижный, бездыханный.* И далее:

Лежит он мертвый в чистом поле;
Уж кровь его не льется боле,
Над ним летает жадный вран...

Вещий старец-финн кропит его сначала мертвою водой, потом живой. И вот последующая скачка князя с Черномором за седлом, как кажется, напоминает скачку Игоря после побега:

Уж князь готов, уж он верхом,
Уж он летит, живой и здравый,
Через поля, через дубравы.

II. Подобно Игорю и Овлуру, скачут по степи Мазепа и Карл.

Верхом, в глуши степей нагих,
Король и гетман мчатся оба...
Пред ними хутор.

Снова возникает тема странного сна: то ли сон, то ли явь (странный сон Руслана; спит-бдит у Игоря). *Но сон Мазепы смутен был. В нем мрачный дух не знал покоя.* Сразу же после этого эпизода (а сон у пушкинских героев — это обычно кульминационная точка в сюжете) встает тема волка-оборотня. На хуторе Мазепа встречает обезумевшую от горя Марию. Сначала за волка она принимает казненного отца:

Она за тайну мне сказала,
Что умер бедный мой отец,
И мне тихонько показала
Седую голову — творец!
Куда бежать нам от злоречья?
Подумай: эта голова
Была совсем не человечья,
А волчья — видишь, какова!

Однако образ оборотня начинает двоиться: Мария начинает принимать за волка-оборотня (вурдалака) самого Мазепу:

Я принимала за другого
Тебя, старик, оставь меня.
Твой взор насмешлив и ужасен.
Ты безобразен. Он прекрасен:
В его глазах блестит любовь,

В его речах такая нега!
Его усы белее снега,
А на твоих засохла кровь.

III. Странное, близкое к чему-то нечеловеческому начало в Онегине описывалось и анализировалось, как правило, в связи со сном Татьяны, когда Онегин является перед ней главой страшного, «босхианского» застолья. Онегин ассоциируется с Ванькой Каиным, главой адской шайки. «Бесовское пршлое Онегина увидела Татьяна во сне, где он возглавляет бесовскую шайку» (Абрам Терц 1993: 118). Его интерпретируют и как трикстера, двойника культурного героя, озорника, «непрерывно вносящего хаос в ту организацию, которая им самим и создана» (Маркович 1981). Он же и доктор Фауст, пирующий в кабачке Ауэрбаха. Он же и святой Антоний, так как страшные чудища застолья сходны с страшными ликами «Искушения святого Антония» И. Босха (Боцяновский 1921; Маркович 1980 и 1981). Он как бы одновременно и Ангел-хранитель, и Коварный искуситель. Наконец, Онегина видят Амуром, а Татьяну — Психеей (Тамарченко 1987), Нарциссом (Маркович 1980). Загадочной оказывается и фраза *Она должна в нем ненавидеть убийцу брата своего?* Чьего брата? Если несостоявшегося брата Татьяны (мужа сестры), то сюжет сна восходит к убийству свойственников на пьяном пиру. Если же речь идет о некоем «братстве» Онегина и Ленского, то возникают ассоциации с Каином и Авелем.

Петербургскому эпизоду в этом плане обычно внимания не уделяют. Он ассоциируется как симметричная теза к эпизодам начальным: Татьяна влюбляется, пишет письмо, выслушивает «урок». В конце — все наоборот. Но, судя по тексту, эта безусловная симметричность в каком-то смысле относительна, хотя бы по временной протяженности финального эпизода. А он довольно длительный и имеет свое течение. В начале петербургского эпизода поведение Онегина — это обычное поведение светского влюбленного мужчины, увлеченного замужней женщиной:

В тоске любовных помышлений
И день и ночь проводит он...
Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо,
Или коснется горячо
Ее руки...

На Татьяну это поведение не действует никак. Онегин начинает бледнеть, *Уж не чахоткой ли страдает.* Постепенно чувства его становятся серьезней: больной, измученный, он пишет письмо, где смешаны раскаяние, невыносимость искренних страданий, условия: *Я утром должен быть уверен, что с Вами днем увижусь я* и что-то от первых этапов увлеченности: *Пылать — и разумом всечасно / Смирять волнение в крови; / Желать обнять у Вас колени...* Но и на это ответа нет. Он пишет второе письмо, третье. И тут наступает очень долгий период перерождения. Проходят долгие зимние месяцы чтения, подлинных страданий, размышлений и мечтаний. *И постепенно в усыпленье / И чувств, и дум впадает он.* Вновь к Татьяне едет он весной, уже *на мертвеца похожий.* И только теперь, когда она видит *Его больной, угасший взор,* Татьяна говорит с ним. Таким образом Онегин проходит долгий и мучительный путь какого-то близкого к смерти анабиоза. И преображение наступает. Онегин становится как бы обретшим ясновидение. Сон Татьяны не случайно является центром композиции романа. Описывая дуэль, Пушкин говорит о нем:

Как в страшном непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно...

Суггестивная неясность русской безартиклевости дает возможность понять и как — в к а к о м-н и б у д ь страшном сне, и как — в т о м с а м о м страшном сне. Прошедший через ад страданий Онегин обретает род ясновидения. В книгах он *меж печатными строками / Читал духовными глазами / Другие строки. В них-то он / Был совершенно углублен. / То были тайные преданья / Сердечной, темной старины / Н и с ч е м н е с в я з а н н ы е с н ы... (!)*

Таким образом, по нашему мнению, Онегин избавляется от своей бесовской оборотнической природы благодаря любящей женщине, которая одновременно и спасла его, и лишила его какого-то собственного индивидуального начала. Это ведет уже к сложной проблеме, были ли спасательницы — Ярославна и Татьяна — Далилами и что делает подлинное страдание: освобождает от личности или помогает ее обрести?

Литература

Абрам Терц 1993 — *Абрам Терц*. Прогулки с Пушкиным. СПб., 1993.

Боцяновский 1921 — *В. Ф. Боцяновский*. Незамеченное у Пушкина // Вестник литературы, 1921, № 6–7.

Гордлевский 1947 — *В. А. Гордлевский*. Что такое «босый волк»? // Известия АН СССР, Серия литературы и языка, 1947, т. VI, вып. 4.

Демкова 1979 — *Н. С. Демкова*. Повторы в «Слове о полку Игореве» (К изучению композиции памятника) // Русская и грузинская средневековая литературы. Л., 1979.

Иванов 1986 — *Иванов Вяч. Вс.* К проблеме 'лютого зверя' // Балто-славянские исследования 1984. М., 1986.

Клейн 1976 — *И. Клейн*. Донец и Стикс // Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции. М., 1976.

Маркович 1980 — *В. М. Маркович*. Сон Татьяны в поэтической структуре «Евгения Онегина» //Болдинские чтения 1979. Горький, 1980.

Маркович 1981 — *В. М. Маркович*. О мифологическом подтексте сна Татьяны // Болдинские чтения 1980. Горький, 1981.Сабаляускас 1986 — *А. Сабаляускас*. Литовское liūtas 'лев' //Балто-славянские исследования 1984. М., 1986.

Сумникова 1986 — *Т. А. Сумникова*. О словосочетании *лютый звѣрь* в некоторых памятниках восточнославянской письменности // Балто-славянские исследования 1984. М., 1986.

Стеллецкий 1955 — *В. И. Стеллецкий*. К изучению текста «Слова о полку Игореве» //Известия АН СССР, Серия литературы и языка, 1955, т. XIV, вып. 2.

Тамарченко 1987 — *Н. Д. Тамарченко*. Сюжет сна Татьяны и его источники // Болдинские чтения 1986. Горький, 1987.

Топоров 1986 — *В. Н. Топоров*. Вокруг 'лютого зверя' (голос в дискуссии) // Балто-славянские исследования 1986. М., 1988.

Данная работа выполнена в рамках общей проблемы: «„Слово о полку Игореве" и пушкинские тексты» при поддержке Международного научного фонда.

Александр Жолковский

LES MOTS: RELIRE

1. Над лицом

Стихотворение Пастернака «Как у них» обрамлено строчками:

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.

(1919; Пастернак, 1: 163)

Образы двух «лиц» повторяются с небольшими вариациями еще раз (*...над челом / Недышащей подруги* [...] / *Недышащей питомицы...*), их черты проступают все яснее (появляются глаза: *Очам в снопах...*; губы: *и губы пачкает...*; щеки: *...веткой по щеке*) и оживают в мимике (*смех люцерны* [...] *Как поцелуй воздушный...*); затем возникают ощущения, чувства и их поэтический орган — сердце (*угощен; киснет и хмелеет; екнут...*). Все это естественно прочитывается как развернутое олицетворение природы, особенно в контексте эпиграфа ко всей книге «Сестра моя — жизнь» из Ленау: «...тогда в движении бури мне видятся, девочка, твои черты» (Пастернак, 1: 109)[1]. Однако у этой «лицевой» рамки есть еще один, скрытый, подтекст.

Он подсказывается сопоставлением со строками, написанными десятком лет позже:

Так играл пред землей молодою
Одаренный один режиссер,
Что носился, как дух над водою
И ребро сокрушенное тер.

(«Мейерхольдам», 1928; Пастернак, 1: 230)

Здесь впрямую дана (и отмечается комментаторами) отсылка к начальным стихам библейской книги Бытия (1: 2), тем более что из той же книги и знаменитое «ребро»[2]. Контаминация разных мест Бытия продолжается и далее: «дебют роковой», на который Бог / Мейерхольд выводит Еву/Райх, это, по-видимому, уже грехопадение (Быт., 2, 3). А мотив 'сокрушения', НЕ фигурирующий в стихе о ребре Адамовом[3], появляется лишь в книге Исхода, причем в сугубо 'разрушительном' смысле, образующем эффектный контраст к 'созидательному', нужному для сотворения женщины (2: 21); этот мотив проходит через все Священное писание, применительно к костям, мышцам, врагам, народам, статуям и т. д. (Симфония: 1019) и, в частности, к сердцу, чем пастернаковской строчке придается еще и эмоциональный ореол.

Ключевые слова финала «Мейерхольдам» — «дыша» и «душа» — восходят к тому же стиху Библии, что и «дух», который «носился над водою». Точный перевод этого стиха — «...и Божье **дыхание** носилось над водами», а «евр. слово *rûăḥ* может иметь значения: 'ветер, дыхание, душа'» (Учение: 57, 269), что, кстати, близко к соответствующему словарному гнезду в русском языке.

Эта двуязычная лексема и активизирована в «Как у них» — в виде возникающего из «пышет» и «недышащей» вполне 'божественного' по своим атрибутам 'дыхания':

То ветер смех люцерны вдоль высот,
Как поцелуй воздушный, пронесет,

где налицо 'ветер', 'пронесение над поверхностью' и даже корень ДЫХ-/ДУХ- (присутствующий в слове «воздушный» и овеществленный в образе воздушного поцелуя).

Что касается 'лица', столь настойчиво прорисовываемого в «Как у них», то оно подспудно присутствует и во 2-м стихе книги Бытия — в виде слова «над». В древнееврейском языке этот предлог представляет собой грамматикализованное выражение *'al-pnei* «над лицом, поверхностью чего-л.». Кстати, многие другие служебные употребления того же слова переводятся с помощью оборотов, содержащих 'лицевую' лексему: «истребить с лица земли», «рассеяться по лицу земли», «предстать перед лицом Бога» и т. п. (Симфония: 497–501). Можно указать также на присутствие корня *facies, face* «лицо» в латинском и новоевропейских названиях «поверхности» (*superficies, surface*) и слова *face* «лицо» в английском переводе 2-го стиха Библии:

2 [...A]nd darkness was **upon the face** of the deep;
and the Spirit of God was moving **over the face** of the waters.

'Бытийный' подтекст «Как у них» представляется, таким образом, очевидным. Это позволяет усмотреть и в предшествующих замыканию рамки строках:

Бездонный день — огромен и пунцов [...]
Не свесть концов и не поднять руки...

вариацию на темы первых стихов книги Бытия:

1 **В начале** создал Бог Небеса и Землю [...]
2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над **бездною** [...]
5 И назвал Бог Свет днем, а Тьму назвал ночью.
И был вечер, и было утро — **первый день**.

«Бездонный день» оказывается тогда 'первым днем' сотворения мира из «тьмы над бездной», а «не свесть концов» — контрапунктом к «В начале».

В свете сказанного тот же библейский источник без труда выявляется в стихотворной дарственной надписи Пастернака Маяковскому на экземпляре «Сестры моей — жизни»:

Вы заняты нашим балансом,
Трагедией ВСНХ,
Вы, певший Летучим голландцем
Над краем любого стиха.
Холщовая буря палаток
Раздулась гудящей Двиной
Движений, когда вы, крылатый,
Возникли борт о борт со мной [...]

(1922; Пастернак, 1: 534)

Здесь представлен весь знакомый набор — ситуация 'над [краем]', 'водная поверхность' («Двина»), 'ветер' («буря», «раздулась»), 'дыхательность' («певший»), 'стремительное воздушное движение' («Летучим», «крылатый») и отношение 'сотворения' между 'сверхъестественным горним участником' (здесь: «поэтом/Летучим голландцем») и 'дольним материалом/продуктом

творчества' (здесь: «стихом»). Библейскими коннотациями играют и «холщовые палатки», напоминающие о «скинии завета» (Исх., 26 сл.).

Отсылка к Бытию отчасти скрадывается интересным побочным эффектом — игрой с древнерусским выражением «край стиха» в значении «акростих». Хотя данное стихотворение не написано акростихом, этот жанр, характерный для Библии, был не чужд Пастернаку, использовавшему его в другом «Посвященье» — Марине Цветаевой к поэме «Лейтенант Шмидт» (1926; Пастернак, 1: 564)[4].

2. В начале

К числу текстов «Сестры моей — жизни», оправдывающих программное заявление (в заглавном стихотворении книги), что «поездов расписанье [...] грандиозней святого писанья» (1: 112), относится «Степь»:

Когда еще звезды так низко росли [...]?
Когда, когда не: В Начале
Плыл Плач Комариный, Ползли Мураши
Волчцы по Чулкам Торчали? [...]
Закрой их, любимая! Запорошит!
Вся степь как до грехопаденья...

(1918; Пастернак, 1: 147)

Согласно комментаторам, это место «соотносится с начальными словами библейской Книги Бытия (ср. также „Книга Степи... и название этого стихотворения в Рукописи, 1919 — „Святая Степь...)» (Пастернак, 1: 664). В пользу такого соотнесения говорят также:
– «водные» и «дыхательные» мотивы стихотворения («Безбрежная степь, как марина», «степью, как взморьем, брести»; «Вздыхает ковыль», «и дух займет»);
– тот факт, что «вся степь как до грехопаденья»;
– а также отказное «жаждал финала» в непосредственно предшествующей строфе (ср. выше о «не свесть концов»).

Впрочем, 1-я глава — не единственный «Бытийный» подтекст процитированного фрагмента «Степи». Мотивы 'волчцов' и 'за-

крывания' отсылают к главе 3-й, где ПОСЛЕ грехопадения Адам и жена его вынуждены «скры[ть]ся от лица Господа Бога» (3: 8, 10), а тот в наказание им, среди прочего, заставляет землю произрастить Адаму «терние и волчцы» (3: 18)[5]. Такое анахронистическое совмещение разных 'великих моментов' (здесь — начала, грехопадения и его последствий) — характерно для Пастернака. И этим 'наложением времен' он не ограничивается.

Дело в том, что начальный стих Книги Бытия — не единственный возможный библейский источник для фраз, открывающихся сакраментальным «В Начале...». Им могут быть и первые стихи Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...», предлагающие логоцентрический вариант творения и потому представляющие особый интерес для разработки металитературных тем. Именно такой характер носит образ комариного плача — некого звукового сообщения, присутствующего в начальной ситуации.

В пользу соображения о двойном, ветхо- и новозаветном подтексте «Степи» говорят еще две параллели. Во-первых — аналогия с «Ветром» из «Стихотворений Юрия Живаго»:

Я кончился, а ты жива,
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу [...]
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной [...]
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.

(1954; Пастернак, 3: 518)

От «Бытийной» парадигмы здесь 'ветер', 'водная поверхность' («на глади бухты», а также «парусники»; ср. «Маяковскому») и контрапункт 'конца' и 'начала' («Я кончился», «найти»); от евангельской же — прямое упоминание о «словах».

Во-вторых — прецедент со снижающим обыгрыванием начала Евангелия от Иоанна в стихотворении Гейне «И был в начале соловей», где старик-воробей преподает воробьятам в качестве Закона Божьего некое «евангелие о соловье»[6]. Отзвуки этой иронии слышатся и в пастернаковской проекции священного «В Начале...» на представителей животного царства — комаров и муравьев...

Впрочем, Пастернак мог реагировать и на достаточно иронический подтекст самого гейневского стихотворения — то место из «Фауста» Гёте, где герой бьется над осмыслением и переводом первого стиха от Иоанна:

«В начале было Слово». С первых строк
Загадка. Так ли понял я намек? [...]
«В начале Мысль была». Вот перевод [...]
«Была в начале Сила». Вот в чем суть [...]

(1808; Гёте 1969а: 73).

Данный перевод был сделан Пастернаком тридцать лет спустя после «Степи» — тогда, когда «он думал назвать свой роман [т. е. „Доктор Живаго...] „Опыт русского Фауста...» (Е. Пастернак: 601). Но восторженные отзывы о «свободе», которой надо учиться у читаемого в подлиннике Гёте (Вильмонт 1989: 20), работа над первыми переводами из Гёте (1920) и над собственным «Фаустовым циклом» («Мефистофелем» и «Маргаритой», 1919) относятся именно к тому времени, что «Степь» (Флейшман 1990: 256–257).

Кстати, с уроками гётевской свободы вообще, по поводу Библии в частности и применительно к комарам в особенности, по-видимому, связан и самый «плач комариный» в степи «до грехопаденья». В «Поэзии и правде» (кн. 11) Гёте рассказывает о поездках с Фридерикой Брион, дочкой пастора, на рейнские острова, откуда их быстро прогоняли комары.

> «Однажды [...] я разразился в присутствии добряка-пастора богохульными речами [...] что эти комары заставляют [...] усомниться [...] что мир создан добрым и мудрым богом. Набожный старик [...] заяви[л], что комары [...] наверно, возникли лишь после грехопадения [...а] в раю [...] только приятно жужжали, но не жалили [...] Я [...] заметил, что в таком случае ангел с огненным мечом был вовсе не надобен для изгнания согрешившей четы из рая [...] изгнанию способствовали крупные комары Тигра и Евфрата» (Гёте 1969б: 341–342).

Так или иначе, ирония и свобода в обращении со «святым писаньем» не мешали Пастернаку совершенно всерьез осознавать ‘ветер’ как центральную мифологему своего поэтического мира:

> «Я [...] видел природу и вселенную не как картину на недвижной стене, но как красочный полотняный тент или занавес в воздухе, который беспрестанно колеблется, раздувается и полощется на каком-то невещественном, неведомом и непознаваемом ветру» («Письмо Ст. Спендеру 22 августа 1959 г.»; Пастернак 1990: 364).

Вопрос, усматривать ли и в «полотняном тенте» скинию завета, мы оставим открытым[7]. Что же касается неопределенности указания, здесь и в ряде других фрагментов, на божественный источник ветра, то она хорошо согласуется с принципиальной анонимностью иудейского Бога. Эта безымянность интересно соблюдена Пастернаком в стихотворении «Давай ронять слова...» (1919), где в ответ на серию настойчивых вопросов «...кто велит?» появляется пара слабо мотивированных собственных имен — «Ягайлов и Ядвиг», анаграммирующая «Ягве» (Жолковский 1976: 72).

3. Во время пирожного

По мнению Бабеля,

> «Когда Толстой пишет „во время пирожного доложили, что лошади поданы", — он не заботится о строении фразы, или, вернее, заботится, чтобы строение ее было нечувствительно для читателя» (Мунблит 1990: 92).

Это замечание перекликается с мыслью Горького, который

> «говорил [Эрдману...]: „Вы думаете, [Толстому] легко давалась его корявость? Он очень хорошо умел писать. Он по девять раз перемарывал — и на десятый получалось наконец коряво"» (Гинзбург 1989: 11–12).

Оба полюса — и остраняющая 'корявость' (= «заботится», «перемарывал», «получалось»), и натурализующая ее 'нечувствительность' («не заботится», «легко давалась», «хорошо писать») — интересным образом проявились и в самой бабелевской реакции.

Бабель неточно цитирует начало гл. 6 «Детства» («Приготовления к охоте»):

> «Во время пирожного был позван Яков и отданы приказания насчет линейки, собак и верховых лошадей — все с

> величайшею подробностию, называя каждую лошадь по имени» (Толстой 1928–1958, 1: 20).

Это, однако, не простая ошибка, а контаминация со сходным местом в гл. 14 («Разлука»):

> «Вошел Фока и точно тем же голосом, которым он докладывал „кушать готово", остановившись у притолоки, сказал: „Лошади готовы"» (Толстой 1928–1958, 1: 40).

Как можно видеть, работа бабелевской памяти отмечена двумя характерными чертами: цепким удержанием одних деталей и решительной трансформацией других. Бросается в глаза полная сохранность (вопреки тезису о нечувствительности) сочетания оборота «во время» с «пирожным», не являющимся именем процесса, — сочетания, одновременно нескладного и естественного. «Во время пирожного» звучит «по-детски» — не как «во время десерта», а как «во время фруктов».

Однако эта корявость не была создана путем перемарывания, а возникла «легко». Уже в черновом варианте «Детства» — повести «Четыре эпохи развития» — стояло:

> «Во время пирожного был позван Никита, и отданы приказания на счет собак, линейки для maman с девочками и на счет верховых лошадей для нас, все с величайшей подробностью, называя каждую лошадь по имени» (Толстой 1928–1958, 1: 124–125).

Дело в том, что в XIX в. «пирожное» значило также «десерт, сладкое, третье» (ССРЛЯ, 9: 1214), и сдвига, заметного нам сегодня и предположительно заинтересовавшего Бабеля более полувека назад, в оригинале просто не было.

Впрочем, внимание Бабеля могло быть привлечено вообще не этой шероховатостью лексико-синтаксической сочетаемости, а смелым сопряжением «пирожного» с «лошадьми», которое и послужило тайным стимулом к контаминации двух фрагментов «Детства». Предпосылки для такого монтажа содержатся в толстовском тексте: речь о лошадях заходит уже в первом отрывке — «во время пирожного», а во втором задается сравнение лошадей с едой — употреблением общего слова «готово». Бабель (бывший, кстати, заядлым лошадником и, возможно, потому связавший фразы, разделенные десятками страниц) лишь усиливает эффект,

повышая насыщенность и краткость фразы, а значит, и смежность двух ее столь разнородных компонентов.

Делает он это вполне в духе эпохи и, в частности, великого поэта синтагматики — Пастернака (тоже, кстати, поклонника Толстого). Ср.:

Так приближается удар
За сладким, из-за ширмы лени [...]

(«Июльская гроза», 1915; 1: 90)

Велось у всех, чтоб **за обедом**,
Хотя б **на третье** дождь был **подан**,
Меж тем как вихрь — велосипедом
Летал по комнатным комодам.

(«Мефистофель», 1919; 1: 180)

Во втором примере налицо даже слово «подан» и некий метафорический велосипед — по-своему тоже немножко лошадь...

4. Без матки

От Толстого à la Бабель обратимся к Толстому tout court. В том месте «Войны и мира», где Наполеон смотрит на Москву с Поклонной горы (III, 3, XIX), последовательно проведена метафора предвкушаемого овладения русской столицей, как женщиной.

«Москва [...] **расстилалась** [...] с невиданными **формами** необыкновенной архитектуры [...Н]а дальнем расстоянии безошибочно узнается **живое тело от мертвого**, Наполеон [...] видел трепетание **жизни** [...] и **чувствовал** как бы **дыхание этого большого и красивого тела**.

Всякий русский [...] **чувствует**, что она **мать**; всякий иностранец [...] и не зная ее **материнского** значения, должен **чувствовать женственный характер** этого города, и Наполеон **чувствовал** его. „Une ville occupée par l'ennemi ressemble Ca une **fille qui a perdu son honneur**", думал он. [...О]н смотрел на **лежавшую** пред ним, еще невиданную им **восточную красавицу** [...] свершилось его давнишнее [...] **желание** [...] и **уверенность обладания волновала и ужасала его**.

> [...К]ак и каждый француз, не могущий вообразить себе ничего чувствительного без воспоминания о ma chère, ma tendre, ma pauvre **mère**, он решил [...] на всех этих заведениях [...] написать [...]: Établissement dédié à ma chère **Mère**. Нет, просто: Maison de ma **Mère**» (Толстой 1951–1953, 6: 332–334).

Москва предстает — впрямую и на уровне лексических коннотаций — в виде дышащего жизнью и играющего своими большими и красивыми формами женского тела, которое лежит перед Наполеоном, вызывая у него сильные чувства, желание, волнение, предвкушение и боязнь обладания. Это женственное тело воспринимается как женщина вообще, мать (со священной русской точки зрения), подлежащая обесчещению девушка (по-французски), восточная красавица (с романтико-экзотическими коннотациями 'одалиски') и снова как мать (по-французски, в сентиментальном семейном ореоле, отчасти подрываемом, однако, бордельными обертонами слова maison)[8].

'Инцестуальному изнасилованию' Москвы Наполеоном не суждено, однако, совершиться — поскольку Москва покинута жителями, а в дальнейшем сгорает, вынуждая завоевателей ни с чем убираться восвояси. На тропологическом уровне это выражено развернутым сравнением, занимающим почти всю следующую главу.

> «Москва [...] была пуста [...] как пуст бывает **домирающий, обезматочивший** улей. В **обезматочившем** улье уже **нет жизни**, но на поверхностный взгляд он **кажется** таким же **живым**, как и другие.
>
> [В]ьются пчелы вокруг **обезматочившего** улья, как и вокруг **живых** ульев [...] Но в улье этом уже **нет жизни** [...] работ[а] сотов [...] не в том виде **девственности**, в котором она бывала прежде [... П]челы, ссохшиеся, короткие, вялые, как будто **старые**, медленно бродят [...] ничего **не желая** и **потеряв** сознание **жизни**» (Толстой 1951–1953, 6: 335–337).

Здесь произведена полная конверсия (в смысле Риффаттерра) парадигмы, заданной в предыдущей главе. Все живое оказывается мертвым, все молодое — старым, красивые формы — ссохшимися, а желание — отсутствующим. Особенно интересно, что вместо девушки, которой еще только предстоит потерять честь по воле завоевателя, здесь фигурирует образ девственности, каким-то обра-

зом уже не имеющей места. Но поразительнее всего метаморфоза, связывающая центральные тропы обеих глав.

В главе XX трижды проходит громоздкое «обезматочивший», но ни разу не появляется более прямое «матка». Между тем, именно оно, но не в очевидном по контексту смысле «пчелиная матка», а в двух других, здесь переносных, подспудно играет главную роль. В просторечном употреблении «матка» значит «мать» (ССРЛЯ, 6: 704) — та самая «мать, mére», символическое овладение которой волновало и ужасало Наполеона в предыдущей главе, а теперь оказывается невозможным ввиду 'обезматоченности'. Отсутствие же «матки» еще в одном словарном значении, как «женского детородного органа», придает этой невозможности физиологическую — «бабелевскую» — осязаемость[9].

Толстой идет, так сказать, на метафорическое удаление матки, лишь бы не позволить своему главному эпическому злодею-иностранцу овеществить по отношению к главному эпическому герою романа — русскому народу — самую популярную, но и самую сокровенную метафору русского языка. А заодно дает один из ранних образцов той 'сексофобии', которой чем дальше, тем больше будут пронизаны его последующие произведения.

Не слишком ли рискованны подобные 'матерные' предположения о скрытой символике фрагмента? Знавшие Толстого свидетельствуют о его вкусе к мату (ср. хотя бы его знаменитое сокращение «е. б. ж.» — «если будем живы»). Более того, мат есть и в тексте «Войны и мира». Так, своего рода сюжетной рифмой к рассмотренной выше половой фрустрации вождя победоносных французов является заключительная кастрационная реплика Кутузова о французах побежденных:

> «— А и то сказать, кто же их к нам звал? Поделом им, м... и.. в г..., — вдруг сказал он [...и] галопом в первый раз за всю компанию поехал прочь от радостно хохотавших и ревевших ура [...] солдат» (IV, 4, VI; Толстой 1951–1953, 7: 194).

В подтверждение же интереса Толстого к скрытой обсценной игре с описаниями половых органов, можно привести ту главу «Анны Карениной», где ненадолго появляется отталкивающий двойник Вронского —

> «иностранный принц», ищущий «русских удовольствий», чьи «суждения о русских женщинах, которых он желал изучать [...] заставляли Вронского краснеть от негодования»; «несмотря на излишества, которым он предавался в удо-

вольствиях, он был свеж, как большой зеленый глянцовитый голландский огурец» (IV, 4; 1951–1953, 8: 377–376).

Со времен «мин хера канонира» Петра лексическая сочетаемость прилагательного «голландский» в качестве постоянного эпитета была в русском языке крайне ограничена. Как однажды сказал своему министру (внутренних дел, Л. А. Перовскому) император Николай (стремившийся «пращуру быть подобным» и сильно занимавший Толстого), «голландскими» в русском языке бывают только две вещи — «сыр» и «хер» (а «посол» бывает «государства Нидерландов») (Кинг 1888).

5. С душком

Вспоминая о Чехове, самые разные авторы отмечают его нелюбовь к высокопарным рассуждениям, каковые он умело приземлял. Мережковский:

> «[М]не все хотелось поскорее разрешить вопросы о смысле бытия, о Боге, о вечности. И я предлагал их Чехову, как учителю жизни [...] Говорю ему, бывало, о „слезинке замученного ребенка“, которой нельзя простить, а он [...] посмотрит на меня своими [...] немного холодными, „докторскими“ глазами и промолвит:
>
> — А кстати, голубчик [...] как будете в Москве, ступайтека к Тестову, закажите селянку — превосходно готовят — да не забудьте, что к ней большая водка нужна» («Асфодели и ромашка»; Мережковский 1914, 16: 40).

Горький — о провинциальных учителях, посещавших Чехова и пыжившихся показать свою образованность:

> «Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь; в его грустных глазах поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на висках, и вот своим глубоким, мягким, точно матовым голосом он сам начинал говорить простые, ясные, близкие к жизни слова — слова, которые как-то сразу упрощали собеседника: он переставал стараться быть умником, от чего сразу становился и умнее, и интереснее...
>
> Помню, —один учитель [...] угрюмо басом говорил:
>
> — Из подобных впечатлений бытия на протяжении педагогического сезона образуется такой психологический конг-

ломерат, который абсолютно подавляет всякую возможность объективного отношения к окружающему миру [...] — А скажите, негромко и ласково спросил Чехов, — кто это в вашем уезде бьет ребят?» («А. П. Чехов»; Гитович 1986: 441).

Далее Горький приводит еще два аналогичных эпизода: один — с пышно одетыми дамами, притворяющимися, что их интересует политика, но с гораздо большей охотой и эрудицией откликающимися на вопрос Чехова, любят ли они мармелад; другой — с юным прокурором, жаждущим обсуждать «юридические проблемы» рассказа «Злоумышленник», но подлинный интерес к предмету обнаруживающим лишь при переводе разговора на темы фотографии. Подытоживая свое впечатление от прокурора, Чехов добавляет: Прокуроры очень любят удить рыбу. Особенно — ершей!» (Гитович 1986: 445)[10].

В области стиля отмеченное Горьким стремление Чехова «упрощать» выражалось в установке на краткость. Бунину Чехов говорил:

«Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? „Море было большое“. И только. По-моему, чудесно» (Бунин 1988: 156).

М. М. Ковалевскому, в ответ на его замечание, что

виденная ими в Риме «довольно пестрая процессия „выкуривания следов карнавала“ [...„д]ля беллетриста [...] не лишен[а] некоторой прелести; хорошая тема для описания“», Чехов сказал: «Нимало [...] Современный рассказчик принужден был бы удовольствоваться одной фразой: „Тянулась глупая процессия“» (*М. М. Ковалевский.* «Об А. П. Чехове»; Гитович 1986: 364).

А Станиславский вспоминает, как из «Трех сестер» был выброшен

«великолепный монолог [Андрея] страницы в две» о том, «что такое жена с точки зрения провинциального, опустившегося человека». «Вдруг мы получаем [из-за границы] записочку [...] что весь этот монолог надо [...] заменить [...] тремя словами: — Жена есть жена!» («А. П. Чехов в Художественном театре»; Гитович 1986: 396).

Тактично, но без обиняков, рекомендовал Чехов краткость и собратьям по перу.

> «Отлично он писал Горькому: „У вас слишком много определений... понятно, когда я пишу: „Человек сел на траву...“. Наоборот, неудобочитаемо, если я пишу: „Высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжеватой бородкой сел на зеленую, еще не измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь...“» (Бунин 1988: 191).

Верность чеховской стилизации под Горького бросается в глаза — достаточно сравнить ее с первым абзацем приведенного выше фрагмента об учителях. Горький, конечно, чувствовал это, почему, наверно, и утрировал «вумность» речи учителя, который иначе выглядел бы пародией на него самого. Чувствовал, признавал («О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею»; Гитович 1986: 455), — и продолжал многословно восхвалять чеховский лаконизм.

Интереснее, впрочем, поймать на противоречии самого Чехова. В гл. 3 «Дамы с собачкой» (1899) Гуров, всерьез затосковавший по Анне Сергеевне, хочет высказать, но вынужден скрывать свои чувства.

> «[П]риходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах [...]
> — Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!
> Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:
> — Дмитрий Дмитрич!
> — Что?
> — А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!
> Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унизительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица!» (10: 137)

Гуров, лишь недавно с удовольствием вернувшийся к московским нравам («Уже он мог съесть целую порцию селянки [!] на сковородке» [136] и справедливо отметить несвежесть осетрины), теперь — силой подлинной любви и с благословения автора — поднимается над ними. И однако «пошлая» реплика об осетрине с душком, подаваемая ему собеседником, — плоть от плоти собст-

венных чеховских speech acts с применением селянки, мармелада и ершей.

Попытку связать эти ипостаси Чехова находим в воспоминаниях В. А. Поссе:

> «Только любивший человек мог написать „Даму с собачкой" [...] Чехов сказал мне:
>
> — [...] Не сразу, а постепенно постигаешь радость сближения с любимой женщиной. Это как с хорошим старым вином. Надо к нему привыкнуть, надо долго пить его, чтобы понять его прелесть.
>
> Прекрасна, возвышенна мысль о любви, возрастающей с течением времени, но низменно сравнение женщины с вином [...] Смешение возвышенного с низменным — пошлость. Пошлость не была чужда Чехову [...] Если бы в душе Чехова не смешивалось иногда возвышенное с низменным, то он бы этого смешения, этой пошлости не мог бы замечать и в душах других, а замечал он хорошо» (1929; Гитович 1986: 458).

В пост-классицистской эстетике смешение возвышенного с низменным называется и оценивается иначе, но нерв чеховской амбивалентности нащупан мемуаристом точно.

Другой близкий знакомец Чехова, вспоминая о его любви к покупке домиков и земельных участков, писал:

> «И когда я ему говорил, что он тоже свой крыжовник любит, то он смеялся и говорил: „Здесь же крыжовника нет, а миндаль, грецкий орех". Но его привлекал, конечно, не крыжовник, а свой угол, сад. Он очень любил растения и цветы [...] И чудный сад [...] целиком дело его рук» (*И. Н. Альтшуллер.* «О Чехове»; Гитович 1986: 541).

Чехов — Гуров? Чехов — пошляк? Чехов — Чимша-Гималайский?

6. Пир духа

В пользу привычно иконописного Чехова противоречие разрешимо, по-видимому, только в том смысле, что абстрактный разговор о любви, боге, вечности и т. п. по сути дела невозможен. Отсюда ирония рассказчика «Дамы с собачкой» по адресу как реп-

лики чиновника, так и «неопределенных» выспренностей Гурова, и настойчивый акцент на «тайне» в последней главе рассказа. Отсюда и винная метафора любви и антипанглоссовское возделывание своего сада.

Согласно Чехову, «духовка» возможна только в ироническом, негативном, апофатическом ключе, в сугубо «бездуховных», материальных, часто кулинарных, формах и через них[11]. Но тогда не случаен, может быть, «душок», исходящий от осетрины, особенно в свете противоположения «селянки» речам Мережковского о Боге и о карамазовской «слезинке замученного ребенка» (и в свете 'рыбных'/'рыбацких' коннотаций Иисуса и его учеников и 'хлебно-винных' — тела Христова). Кстати, одна из программных глав «Братьев Карамазовых» озаглавлена «Тлетворный дух» (II, 7, I) и посвящена проблеме «провонявшего», но не утратившего в глазах рассказчика своей святости, старца Зосимы (ср. еще соображения Рогожина в финале «Идиота» о том, что «душно и дух пойдет» от трупа Настасьи Филипповны). Приглушенная аллюзия на подобные хрестоматийные тексты была бы вполне в стиле Чехова.

Знакомый нам мотивный комплекс ДУХ-/ДЫХ- пунктиром проходит через все четыре главы «Дамы с собачкой».

> «Говорили о том, как **душно** после жаркого дня» (гл. 1; 130); «В комнатах было **душно**, а на улицах **вихрем** носилась пыль»; «У нее в номере было **душно**, пахло **духами**»; «...было видно, что у нее нехорошо на **душе**»; «...на набережной не было **ни души**» (2; 130–132); «Дома в Москве [...] **дышится** мягко»; «Она по вечерам глядела на него из книжного шкапа, из камина, из угла, он слышал ее **дыхание**»; «...осетрина-то с **душком**» (3; 135–137); «...вот он идет на свидание и **ни одна живая душа** не знает об этом» (4: 141).

Хотя в отличие от знаменитого бунинского рассказа 'дыхательный' мотив здесь не вынесен в заголовок, он тонко вторит ходу сюжета: «духота» и «духи́» постепенно сменяются «дыханием» и «живой душой» (последней — в характерном модусе отрицания). Осетринный «душок» служит в этой композиции низшей точкой, предшествующей скромному финальному подъему. Подобная ажурная работа с «духовкой», впрочем, не удивительна у создателя героини по прозвищу Душечка, чьей «душой» так восхищался Толстой, а важнейшими атрибутами были «полные розовые щеки» и «полные здоровые плечи» («Душечка», 1899; 10: 103).

«Еще учил он, чтобы писатель оставался равнодушен [...] Нужно стоять вне этих вещей [реалий] и хотя знать их хорошо, до мелочи, но глядеть на них как бы с презрением, сверху вниз. И выйдет верно» (*А. И. Куприн.* «Памяти Чехова»; Гитович 1986: 531).

Чеховскую 'теологию повседневности' ценил Пастернак, причем поздний, духовный, периода работы над «Доктором Живаго»:

«Показывая на томики собрания сочинений Чехова [...Пастернак] оговорился [...] что все свое богословие он вычитал у Чехова» (Е. Пастернак 1989: 588).

Полюбивший «прятки в неизвестности», от имени своего alter ego он писал:

«[Я] теперь больше всего люблю русскую детскость Пушкина и Чехова, их застенчивую неозабоченность насчет таких громких вещей, как конечные цели человечества и их собственное спасение. Во всем этом хорошо разбирались и они, но куда им до таких нескромностей [...] Гоголь, Толстой, Достоевский готовились к смерти, беспокоились, искали смысла, подводили итоги, а эти до конца были отвлечены текущими частностями [...] и теперь эта частность оказывается общим делом [...] наливаясь все большею сладостью и смыслом» («Доктор Живаго», IX, 7; 3: 283)[12].

Так сказать, *за сладким, во время пирожного...*

Кстати, что касается Толстого и Бабеля, представленных выше достаточно профанными текстами, первый в удостоверениях духовности, пожалуй, не нуждается, а второй был отнюдь не так безбожен, как может показаться. Продолжим цитату из воспоминаний Мунблита:

«...Пусть [...] перед вами всегда сияют золотые пушкинские слова: „Точность и краткость — вот первые достоинства прозы... Бабель помолчал и вдруг, улыбнувшись [...] предложил:

— Хотите, я вам расскажу про старого-старого еврея, который разговаривал с богом? [...]

Байки были явно рассчитаны на то, чтобы дать аудитории отдохнуть от непривычных для нее, да и для самого Бабеля, отвлеченных рассуждений» (92).

Оставив непривычность для Бабеля теософских рассуждений на совести мемуариста (возможно, осторожничающего), закончим беседой на те же темы между Толстым и Чеховым:

Если правда, что Чехов с Толстым говорили впервые в пруду...
«Ваш рассказ» — и нырок — «про жену и другой,
Про собаку» — нырок — «хороши, а досадно чуть-чуть,
Что нет общей идеи...» — «Простите, вам слепень на грудь
Собирается сесть...» и так далее. Мир мелочей,
Перетянутых в талии платьев, палящих лучей,
Золотых головастиков... Бог, разговором задет,
Не уверен, есть общая мысль у него или нет?

(*А. Кушнер*, «Если правда...»; «Синтаксис» 27 [1990]: 185)

Действительно, при первой встрече, в Ясной Поляне в начале августа 1895 г., хозяин сразу повел гостя купаться (Лакшин 1975: 47–48). Документальных свидетельств о содержании их разговора (и реакциях Бога) нет, но характер разногласий, как известно, был именно таков.

> «[Чехов], как Пушкин, двинул вперед форму [...] Содержания же, как у Пушкина, нет» (Толстой 1928–1958, 54: 191).

А главное, кушнеровский Чехов верен себе и на «общую идею» отвечает «слепнем», как если бы перед ним был не великий Учитель, а один из занудных сельских учителей.

Уклонимся и мы от вопроса об общей идее перечитывания чужих слов.

Примечания

[1] «...Da mahl ich in die Wetter hin / O, Mädchen, deine Züge», букв. «...тогда я вписываю в бурю/погоду... твои черты».

[2] «„И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену", Быт., 2: 21» – (Пастернак, 1: 685).

[3] За это и ряд других наблюдений, а также консультации по древнееврейскому языку я признателен А. А. Архипову.

[4] Сказанным никак не исчерпывается интертекстуальная подоплека «Как у них». Так, ждет разгадки «люцерна», играющая 'световыми' и 'люциферовскими'

обертонами, а также перекличкой с толстовским «Люцерном», который занимал юного Пастернака, говорившего Вильмонту:

«Может, нам всем надо завидовать Толстому, который, отбросив всякую повествовательную изобразительность (хотя бы в „Люцерне...), просто выносит свои приговоры... Почему я не пишу „Люцерна“?» (Вильмонт 1989: 87).

Две последние — резюмирующие «приговор» — страницы «Люцерна» пестрят словами «дух», «душа», божественными, растительными и метапоэтическими мотивами (Толстой, 3: 27–28).

Кстати, упоминание о «высотах», мимо которых проносится «смех люцерны», может усиливать сардонический характер этого (люциферовского?) смеха коннотациями «высот» как мест языческого служения, подлежащих разрушению во имя подлинного еврейского Бога (Симфония: 147–48).

[5] Ср. гротескное использование отсылки к 3: 18 в бабелевской «Вдове» (1923) — в словах Левки, соблазняющего подругу умирающего рядом командира: «...Саш, как перед богом, все одно в грехах, как репьях... Поддайся, Саш...» (Бабель, 2: 106).

[6] «Im Anfang war die Nachtigall...» (1831); рус. пер. В. Левика см.: Гейне 1950: 154–155. Послужившее источником загадочного мандельштамовского образа «Бог-Нахтигаль» в его «К немецкой речи» (1932), это стихотворение было введено в русский литературоведческий обиход О. Роненом, отметившим гейневский коллаж Бога/Слова/Христа из Евангелия от Иоанна с пернатым символом любовной лирики из репертуара европейской поэзии — соловьем, «особенно убедительный при переносе на русскую почву, благодаря фонетическому сходству „соловья“ со „словом“» (Ронен 1990: 1645).

Одним из свидетельств близости Гейне Пастернаку является «Апеллесова черта» (1915).

[7] Полощущаяся на ветру 'занавесь, занавеска, гардина, маркиза, ландкарта и т. п.' — инвариантный мотив в поэзии Пастернака. В Ветхом Завете «завеса» — важнейший атрибут скинии, а ее небесным соответствием в постбиблейской еврейской мистике является занавес (*pargod*), на котором выткан весь мир и за которым скрывается «шехина», букв. «сидящая, присутствующая» божественная сущность (см. Архипов 1994). В Новом Завете завеса раздирается надвое в момент испускания духа распятым Христом (Лк., 23: 45), что нашло отражение в «Стихотворениях Юрия Живаго»: *Завтра упадет завеса в храме...* («Магдалина, II»; 3: 538).

[8] Об архаических метафорах города как женщины и овладения городом как бракосочетания или изнасилования см. Иванов 1986: 15, Топоров 1987: 121–132 («Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте»). Топоров приводит в сноске и рассматриваемый здесь фрагмент из «Войны м мира» (127).

[9] Мифологизация в архаических текстах мотивов 'матери', 'матки' и всего круга половой метафорики, используемой в трактовке 'взятия' города, подробно

рассматривается Топоровым, но новаторская разработка этого топоса Толстым, нашедшим в 'обезматоченности' возможность лишить насильника-завоевателя его приза, не попадает в поле его внимания.

Согласно Топорову, архаическое приравнивание города женщине имеет своим продолжением мотивы 'огороженности' и 'четырехугольности', типичные для города и проецируемые на женщину — в виде «четырехчленности женской жертвы, соотносимой с аналогичным образом устроенным алтарем» (131; алтарь — еще один символический образ города, женщины и бракосочетания). В связи с этим обращает на себя внимание мифологическая корректность, будь то сознательная или бессознательная, толстовского хода от города-девы к улью, имевшему вид ящика или выдолбленной колоды. О «четырехугольном и круговом» типах организации архаических городов см. Иванов 1986: 9.

[10] Это обобщение сделано настолько безосновательным образом, что наводит на мысль о каком-то скрытом подтексте, скажем, о неправедно приговоренном Осетром Ерше Ершовиче. Однако для Чехова характерны подобные нарочито абсурдные «сверхобобщения» (Берковский 1969: 54) о «сверхзнакомом мире».

[11] Согласно Берковскому, тема «души, духовной работы» одна из сквозных у Чехова, но «душа» «теплится» (Берковский 1969: 150) в «низких», «бытовых формах» жизни, и «лирическое и прекрасное возможны только в чуть-чуть скептических, даже двусмысленных формах» (99).

[12] Об интересе Пастернака к Чехову пишет Вильмонт, приписывая заслугу его пробуждения себе (Вильмонт 1989: 117—134).

Литература

Архипов 1994 — *А. Архипов.* Следы еврейской книги Еноха в «Повести временных лет», 1994 (рукопись).

Берковский 1969 — *Н. Я. Берковский.* Чехов: от рассказов и повестей к драматургии // *Н. Я. Берковский.* Литература и театр. Статьи разных лет. М.: Искусство, 1969, с. 48—182.

Бунин 1988 — *И. А. Бунин.* Собрание сочинений в шести томах. М.: Художественная литература, 1988, т. 6.

Вильмонт 1989 — *Н. Вильмонт.* О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли. М.: Советский писатель, 1989.

Гейне 1950 — *Генрих Гейне.* Избранные произведения. М.: Художественная литература, 1950.

Гёте 1969а — *Иоганн Вольфганг Гёте.* Фауст / Пер. Б. Пастернака. М.: Художественная литература, 1969.

Гёте 1969б — Из моей жизни. Поэзия и правда / Пер. Н. Ман. М., 1969.

Гинзбург 1989 — *Лидия Гинзбург.* Человек за письменным столом. Л.: Советский писатель, 1989.

Гитович 1986 — А. П. Чехов в воспоминаниях современиков / Сост. Н. И. Гитовича. М.: Художественная литература, 1986.

Жолковский 1976 — *А. К. Жолковский.* Заметки о тексте, подтексте и цитации у Пастернака // Boris Pasternak. Essays / Ed. N. A. Nilsson. Stockholm: Almqvist & Wicksell, 1976, p. 67–84.

Иванов 1986 — *Вяч. Вс. Иванов.* К семиотическому изучению культурной истории большого города // Σημειωτική. Труды по знаковым системам. Тарту, 1986, вып. 19, с. 7–24.

Кинг 1888 — *Л. И. Кинг.* Рассказы об императоре Николае Павловиче // Исторический вестник. СПб., 1888, ноябрь.

Лакшин 1975 — *В. Лакшин.* Толстой и Чехов. М.: Советский писатель, 1975.

Мережковский 1914 — *Д. С. Мережковский.* Полное собрание сочинений в 24-х томах. М.: Т-во И. Д. Сытина, 1914, т. 16.

Мунблит 1989 — *Г. Мунблит.* Из воспоминаний // Воспоминания о Бабеле / Сост. А. Н. Пирожковой и Н. Н. Юргеневой. М.: Книжная палата, 1989, с. 79–93.

Пастернак 1989–1991 — *Борис Пастернак.* Собрание сочинений в пяти томах / Сост. и комм. Е. В. Пастернак и К. М. Поливанова. М.: Художественная литература, 1989–1991.

Пастернак 1990 — Борис Пастернак об искусстве. «Охранная грамота» и заметки о художественном творчестве / Сост. и комм. Е. Б. Пастернака и Е. В. Пастернак. М.: Искусство, 1990.

Пастернак 1989 — *Е. Пастернак.* Борис Пастернак. Материалы для биографии. М.: Советский писатель, 1989.

Ронен 1990 — *Omry Ronen.* Osip Mandelshtam (1891–1938) // European Writers: The Twentieth Century / Ed. George Stade, vol. 10. New York: Charles Scribner's Sons, 1990, p. 1619–1649.

Симфония — Симфония, или Алфавитный Указатель к Священному Писанию. 2-е изд. Корнталь: Свет на Востоке, 1970 [1-е изд. 1925].

ССРЛЯ 9 — Словарь современного русского литературного языка в 17-ти томах. М.: АН СССР, 1948–1965.

Толстой 1928–1958 — *Л. Н. Толстой.* Полное собрание сочинений в 90 томах. М.: Государственное издательство, 1928–1958.

Толстой 1951–1953 — *Л. Н. Толстой.* Собрание сочинений в 14 томах. М.: Художественная литература, 1951–1953.

Топоров 1987 — *В. Н. Топоров.* Заметки по реконструкции текстов // Исследования по структуре текста / Ред. Т. В. Цивьян. М.: Наука, 1987, с. 99–132.

Учение — Учение. Пятикнижие Моисеево (от Бытия до Откровения) / Пер. и комм. И. Ш. Шифмана. М.: Республика, 1993

Флейшман 1990 — Boris Pasternak. The Poet and His Politics. Cambridge, Mass. and London, England, 1990.

Чехов 1974–1983 — *А. П. Чехов.* Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. М.: Наука, 1974–1983.

Т. В. Цивьян

Ремизов и его языковые эксперименты

В привычном восприятии читателя (а порою и исследователя) Ремизов предстает экспериментатором прежде всего и главным образом в области лексики, своего рода «выкапывателем» редких русских слов (архаичных, диалектных, просторечных и т. д.), затемняющих смысл его собственного произведения (не случайно он и сам любит объяснять необычные слова и формы, вроде *тонь*, *поло́дни*, *плачужный* вместо *плачущий* и т. п.) и воспринимающихся как нечто странное, а иногда и просто несусветное [1]. Такого рода лексическую изощренность относят, с одной стороны, к модернизму ремизовского стиля, с другой, — к его склонности к игре с читателем, к розыгрышам (например, у Даля, к которому постоянно отсылает сам Ремизов, далеко не всегда обнаруживается подтверждение его находкам), вообще ко всему тому, что он называл своими «безобразиями».

Сам Ремизов, как представляется, ставил языковые задачи более серьезные, чем простое расширение лексических границ литературного языка. Весь его долгий творческий опыт показывает, что он пытался изменить взгляд на русский литературный язык как на нечто отлитое и застывшее, функционирующее в рамках строгих правил [2], причем чем дальше, тем более насущным становилось для него это стремление, особенно в эмиграции, когда проблема сохранения и развития русского литературного языка стала особенно острой. В художественных произведениях, так же как и в «автометаописании», т. е. в анализе собственной писательской техники (а у позднего Ремизова одно от другого отделить достаточно трудно), Ремизов утверждал принципиально более свободное, широкое и масштабное обращение

с языком, расширение его границ едва ли не до той точки, когда возникают сомнения в том, можно ли так с ним манипулировать и где кончаются границы языка — не только литературного, но и вообще русского [3].

В культуре первой эмиграции общим местом стало противопоставление двух *первых прозаиков*, Бунина и Ремизова, по принципиально разному, почти контрастному «обращению с языком» [4]. Если Бунин считал, что Ремизов «перешагнул все пределы издевательства над русским языком», то Ремизов (конечно, не имея в виду Бунина) проходился по адресу «праведных судий и оценщиков искусства с карманными словарями русского языка», которые «долбят тридцать лет: пишу не по-русски» [5].

Глядя назад, в начало своего творчества, Ремизов пишет о полемике с «петербургскими аполлонами» (название журнала становится и указанием на требования классичности, гармонии и т. п.): «Природа моего „формализма“ (как теперь обо мне выражаются) или точнее „вербализма“ была им враждебна: все мое не только не подходило к „прекрасной ясности“ [отсылка к Кузмину. — *Т. Ц.*], а нагло перло, разрушая чуждую русскому ладу „легкость“ и „бабочность“ для них незыблемого „пушкинизма“. Они были послушны *данной „языковой материи“, только разрабатывая и ничего не начиная*» (ПД 263) [курсив наш. — *Т. Ц.*]. Соответственно *свою* задачу Ремизов видит не в том, чтобы *разрабатывать*, а в том, чтобы *начинать*.

Это *начало*, как нам представляется, лежит в принципиально новом взгляде на оппозицию *язык/речь*, вернее на ее приложение к словесному творчеству. Здесь следует заметить, что у Ремизова было особое, если можно так сказать, профессионально-лингвистическое отношение к языку, что поддерживалось профессией С. П. Ремизовой-Довгелло, специалиста по палеографии, к чьим советам и консультациям Ремизов относился с глубоким почтением [6]. Это определяло и его сугубую осторожность, тщательность по отношению к языку: свою неуемную творческую фантазию он поверял наукой [7] и прежде всего нормативной грамматикой.

В 1931 г. Ремизов, под псевдонимом «баснописца В. Куковникова», опубликовал в «Новой газете» статью «Щуп и цапля» [8]. Своего «псевдонима» он характеризует так: «Самый подходящий редактор — и кто еще может так легко выщупать и зацепить то, что совсем не к месту или не при чем или наоборот или „по недоразумению“, а попросту от великого ума» (М 211 сл.). *Выщупаны* и *зацеплены* отступления от правил нормативной грамматики, прежде

всего синтаксические: «[...] в письме [...] не может быть живого беспорядка — [...] слова разговорной речи должны быть строго организованы: каждое слово знает свое место [...] место слова дает ему свое значение». Пример: (из заметки в парижской газете) «Профессор Н. А. Добровольская-Завадская [...] прочла ряд лекций о раке и раковой наледственности в университетах и научных собраниях». И комментарий Куковникова-Ремизова: «Из этого сообщения ясно, что Надежда Алексеевна читала лекции о каком-то особом виде „рака", называемом „университетский рак" и о раковой наследственности, наблюдаемой в ученых собраниях [...] Ведь совсем пустяковая перестановка, а весь смысл другой!». Другие замечания столь же ювелирны (стилистическая разница между *езжайте* и *поезжайте*, разница в употреблении предлога *о* и *об*, и т. д.), и все они делаются, если не с прямой отсылкой, то во всяком случае с оглядкой на грамматику. Выступая в роли наставника молодых писателей, Ремизов постоянно заставляет их обращаться к грамматике, особенно к синтаксису, и к словарям (его настольными книгами были Даль — для русских слов [9] и Ушаков — для иностранных, т. е. для заимствований в русском). Такое «выучивание» грамматики и словаря он считал особенно важным в условиях эмиграции, при отрыве от основного массива родного языка.

Смелость ремизовских экспериментов стоит на двух китах: нормативная грамматика и словари. Только эта твердая основа позволяет ему устанавливать новые границы русского литературного языка и заниматься *вербализмом* [10]. Казалось бы, — почти общее место: с одной стороны, «по правилам» никто не говорит (пародирование языка иностранцев основано как раз на том, что они чересчур точно следуют грамматике), с другой стороны, правила присутствуют — среди прочего и как ограничитель, контролирующий «вольности» и не дающий выходить за пределы языка. Однако новаторство Ремизова не ограничивается расширением границ языка за счет отхода от нормативной грамматики и включения нового лексического слоя (архаичная, разговорная, иноязычная лексика и т. п.). И то, и другое также более или менее обычно и в определенном смысле является «нормированной инновацией».

Не касаясь лексического уровня произведений Ремизова, точнее, его *лексического мира*, остановимся на его грамматике и специально на синтаксисе, который и определяет то, что можно назвать *строем* его языка. Подчеркнем, что Ремизов, строго говоря, *не выдумывает ничего несообразного*, **но:** он вводит в письменную

речь принципиально *иной строй* — строй *разговорной речи* [11]: «Все, что я пишу — моя исповедь. Я хочу выразить не книжно, „сказом“ [12], исповедь ведь не пишут, а говорят» (К 127). Составляя свой текст (это обозначение не случайно: Ремизов «собирал» слова: «И складываю и раскладываю слова» /РП 32/; «собирать слова» /РП 214/ и т.п.), он не только осознавал, но точно описывал свою писательскую технику и самим описанием конструировал ее, действуя в соответствии с собственной терминологией.

Следует подчеркнуть, что в каком бы значении ни употреблял Ремизов слово *слово* (лексема, текст, язык, речь), основой для него является **звук**: слово происходит из звука и осуществляется в звуке — произнесении [13]. Ремизов постоянно настаивает на том, что писатель должен проверять написанное на слух [14]. Это не только авторский прием (известно, например, что Алексей Толстой, работая, «разыгрывал в лицах» свои произведения), это твердая установка, цель: организовать письменный *язык* по законам *речи*. Вполне в духе Караджича Ремизов объявляет: «Хочу писать, как говорю, а говорить, как говорится» (И 17).

«Проверка произнесением» только во вторую очередь имеет в виду действительно звучание, звуковое оформление, проверяемое «глазным слухом» [15]. Более важен здесь *ритм*, который Ремизов считает основой фразы и далее — текста: «Всякое ограниченное словесное пространство, от Гоголя до прейскуранта, ритмично» (РП 356; Кодрянская, со слов Ремизова, говорит, что словесное выражение для него — ритм /К 135/), ср. к этому же: «Искусство слова — вес, число и мера» (К 110). Ремизов пишет по грамматике, но это *грамматика речи*, и ее действительно надо проверять на слух и верно интонировать, иначе смысл фразы останется темным; интонация может быть более сильным, чем слово [16], смыслоразличительным средством, графические же знаки — лишь ее бледным соответствием: «Переписывая, приучитесь делать „красные строчки“. Помните, я говорил, как выразить интонацию? Я думаю, в какой-то мере, или отчасти, это невыразимое словами можно передать графически: расположением строчек» (РП 51) [17].

Грамматика Ремизова описывается терминами: *лад, склад, уклад русского природного языка/речи* («корплю над „русским ладом“» /РП 32/; «следую природному движению русской речи» /РП 275/). Это термины, а не метафоры, и основаны они на его весьма продуманных и основательных суждениях об истории русского литературного языка, о направлении его развития, иноязычных влияниях и т. д. [18] По недостатку места мы не каса-

емся этой темы вообще, подчеркнем лишь, что — в диахронии и синхронии — Ремизов опирается на то, что он называл родным „природным" языком, ориентированным не на застывшие клише «неподвижного» литературного языка, а на живую речь («Надо входить в самую гущу склада живой речи, иначе будет наше стертое» /РП 262/), в которой «не все лады слажены — русская книжная речь разнообразна, общих правил синтаксиса пока нет и не может быть» (К 42). Иными словами, Ремизов исходил из приниципиального разнообразия различных воплощений русского литературного языка, разнообразия, которое в его понимании основано на *речи*: «Природный лад живой речи неизменен, а народная речь непостоянна и словарь народных слов меняется в зависимости от слуха и памяти» (ОВ 51); «Я не хочу воскрешать какой-нибудь стиль, я следую природному движению русской речи, и как русский с русской земли, создаю свой» (РП 275) — таково лингвистическое credo Ремизова, которое он практиковал в своем творчестве. Пожалуй, наиболее сжато и емко оно выражено в недавно опубликованном фрагменте из его рабочей тетради «На русский лад» (РТ 213—217): «Мое завещание русскому народу: писать по-русски» (РТ 213).

Для Ремизова обращение к *русской речи* означало прежде всего преодоление иноязычного синтаксиса, довлеющего русской литературе: «С первой книги начали мудровать над природной русской речью: обрядили ее в болгарскую одежу, болгарскую сменила церковно-славянская, церковно-славянскую — польская, в Киеве сшита, потом немецкая и французская, а кончилось смесью: штана немецкая, рукав французский» (РТ 215). Поэтому: «в моей языковой душе идет непрерывная борьба между моим русским природным ладом и навязанной мне немецко-французской грамматикой, по ней я учился, читал образцовые произведения русской литературы» (РТ 216).

Речь отличается принципиально *иным* порядком слов: бóльшая, по сравнению с нормативными канонами, свобода не означает бессистемности. В каждом отдельном слове, в каждой единице текста (элементарная синтаксическая конструкция, фраза, абзац и т. д.), Ремизов видел пространство всего текста. Организовать это пространство, т. е. передать «звучащие смыслы», найдя адекватное соответствие интонации, можно было, по его убеждению, средствами синтаксиса, причем синтаксиса разговорной речи, и прежде всего — свободным [19], вернее, обусловленным иными критериями [20] *порядком слов*. «Ведь, де-

ло не в словах, а в *порядке слов*, в *синтаксисе* [...] Пишите как у вас *сказывается*» (РП 32) [курсив наш. — *Т. Ц.*].

В этой формулировке — формула ремизовской *письменной* речи, перестроенной по законам *устной*: «Запись — силуэт, или только скрепленные знаками строчки. Надо разрубить, встряхнуть, перевести на живую речь — выговаривая слова всем голосом и заменяя книжное разговорным» (К 134)[21]. Эту формулу он повторяет и развивает: «Перебрасываю слова и строю фразу как во мне звучит» (К 42); надо «слышать и видеть отдельные слова и соотношения слов» (ОВ 143); «Искусство начинается, когда вы по написанному СОБИРАЕТЕ звуки (слова)» (РП 204); «Слова приходят на ум гурьбой, не одно. Искусство не только выбор слов, а и сочетание — сложение» (К 110); «За три года я научил вас словесному порядку и вы достигли ступени не только „рассмотрения дела", но и „рассуждения", по ученому *инверсии* — переворачивания, перестановки слов» (РП 138); «Буду мучиться не над словами и как их разместить — слова и порядок слов, все у Гоголя — а построением из этих слов» (РП 200); «В „Учителе музыки" я делаю всякие опыты со словом. (Все это возможно, только владея языком) [...] Например: постройте фразу „одним духом" без остановки — 1/2 страницы» (РП 112); «И мне ли не знать, что музыка как и литературное произведение — „математика". И вы это хорошо знаете по себе и что такое переброска слов, как не алгебраическое решение уравнений» (РП 193), и т. д.

И вот подбор примеров, ремизовская теория на его же практике (чтобы проникнуть в синтаксический строй, читать надо вслух):

Выхожу на кухню, прислушиваюсь, как ветер поет, но это в сумерки. Лампа в 60 так ярко осветила и что-то не слыхать. А я люблю слушать его песни, — его песни отзвук — и земли не будет, а Он останется, то, что было до создания мира и будет, когда все разрушится (РП 85);

[...] да у нас жгли без затей, ничего с инквизицией, лишали причастия, а просто «чтобы впредь не повадно было воровать» (РП 86);

Бедность моя, сегодня на прогулке думал, может быть из 60-и 3, 4, 5 не больше, все остальное хочу взлететь, а земля тянет (РП 143; речь идет о собрании записанных Ремизовым снов);

Моя жизнь шла кувырком, но я свой за зеленой оградой, а она только через меня сюда, и вся жизнь ее была пронизана горечью жить у чужих (РБ 309);

Я очень «физический», «предметный», «образный», и чистая мысль — у меня нет рук схватить ее и подчинить себе (И 26);

[...] и я иду крепко, не хоронясь, и если в метро, не растерянно, а как полагается всякому, прежде чем углубляться, рассматриваю замечаю направление, чтобы туда попасть, куда нужно, а не в другую сторону ехать, а по утру из булочной с «фиселью», такой длинный и узкий хлеб-палка, несу не горбясь, человеком по роду и кости — русский (В 158–159);

И вечером на кухне слушаю — гудит ветер. В его песне — куда все уходим и в свой срок там найду свой угол (РП 340);

И как мои игрушки существуют, потому что я, так и эти печати, потому что есть еще на белом свете такой чудак, есть вера его в их неподдельность (ВР 357).

На содержательном уровне эта структура может быть сопоставлена со структурой и соответственно записью сна [22], ср.: «мои сны пронизаны словами и фразами» (РП 333); «Этот первый мой и единственный рассказ написан „куроляпкой" без связи в почерке и в словах, как бывает во сне» (И 20), и к этому изложение снов:

Конь мимо меня, какая доброта, приветливость, а у меня в руках ведро — сверкает луной [...] И этот конь после вчерашних (в сне) серых жерновов и теплого камня с блеском — камень Лермонтова — роковой — на пороге (РП 356);

И далеко отошли, а я все вижу, как движется он на своих обрубках и какой это через силу усталый от безчувственной (не вызывающей сочувствия) мольбы взгляд (РП 101) и т. п.

Разумеется, обнаруживать в произведениях Ремизова приемы и обороты устной речи — в определенном смысле ломиться в открытую дверь; это не раз отмечалось в литературе и особенно подробно изложено в важной работе О. Раевской-Хьюз «Защита Ремизовым русского языка» [23]. Нам бы хотелось показать, что речь идет о планомерной и последовательной перестройке языка в принципиально иной лад (если, вслед за Ремизовым, пользоваться музыкальной метафорой), об актуализации *устно-разговорной разновидности русского литературного языка* и о стремлении сделать ее равноправной (а в понимании Ремизова — истинной) ипостасью литературного языка.

Мы цитируем здесь известную книгу О. А. Лаптевой о русском разговорном синтаксисе [24]. Название книги у́же ее содер-

жания, о чем свидетельствуют выводы, по сути дела, описывающие «случай Ремизова»: «Современный русский литературный язык наряду с компонентами стилевого характера располагает своей устно-разговорной разновидностью [...] Устно-разговорная разновидность обладает собственным набором средств со своей внутренней синтагматикой и парадигматикой. В то же время этот набор входит в системные отношения с общелитературными средствами» (363–364); в этом языковом варианте действуют совокупно строевой синтаксис, актуальное членение и ритм, а изменения касаются сферы словорасположения и сферы структурно-грамматической; словорасположение становится участником организации синтаксической модели и обретает способность отличать устно-разговорное синтаксическое средство от общелитературного (365). Словорасположение, поддерживаемое свободным характером порядка членов в русском предложении, основывается на *трех* главных принципах: стремление к инициальному положению информативно более значимого члена; добавление в конце высказывания информативно малозначимого члена, отсутствующего в первоначальных коммуникативных установках высказывания; ритмически организованное чередование ударных и безударных звеньев (183–184); актуализируются конструкции с именительным темы (и происходит вообще экспансия именительного падежа); состав, который представляет основную информацию, дробится (185, 189); порядок слов подчиняется порядку ассоциативного нанизывания (196); свободное размещение энклитик и проклитик (198) и т. д., и чрезвычайно важное: [порядок слов] «выступает в качестве равноправного грамматического средства и становится элементом структуры модели [...] из „сопроводителя“ он становится участником синтаксических отношений» (203).

Высокая по сравнению с письменным вариантом литературного языка свобода, затрагивающая и элементарные синтаксические конструкции, и более крупные единицы, от предложения до текста, не означает хаотического безразличия, как и не означает подчинения формы содержанию: выделяются не только отдельные клише, но и закономерности, тяготеющие к правилам, т. е. в конце концов — к грамматике устно-разговорного варианта литературного языка, потому что именно законам своей грамматики он и подчиняется. В изобилии приводимые в книге примеры по структуре идентичны ремизовским опытам, ср. случайную выборку:

А где мой шнурок держала ты; Там «Березка» магазин; Чисто чтобы было; Там семеро было москвичей и еще один; Пусть там как хотят критики смотрят; Что же это, мои отстают часы, что ли, да?; Я лежала их и считала; Туда далеко там турник где стоит; Я вот ходила за молоком через дом к старушке-то вот глаз кривой и т. д.

Это примеры бытовые, они выглядят стилистически заниженными, но именно на их фоне прекрасно видно все богатство художественных возможностей (прежде всего, конечно, это бóльшая эмоциональная напряженность), скрытых в устно-разговорном варианте литературного языка и «вытягиваемых» из его глубин Ремизовым. То, что Ремизов писал не спонтанно, а на основе грамматики устно-разговорного варианта русского литературного языка, видно хотя бы из следующего примера: «Единственный Бунин обратил вниманье не на слова, а на слог — связь слов. Мой синтаксис приводил его в ярость: безграмотно. Пример — последняя фраза в рассказе о Шмелеве („Мышкина дудочка“): „И не палка, не посох, клюкой стуча по тротуару, центурион — повернул за угол. И пропал“. (По Бунину надо было: „И не палкой, не посохом, клюкой...“)» (К 300) — классический пример экспансии именительного падежа [25].

Этот пример возвращает к противопоставлению (противостоянию — открытому, со стороны Бунина, и поддразнивающему, со стороны Ремизова) двух *первых прозаиков* первой эмиграции, раскрывая его как противопоставление двух вариантов русского литературного языка, письменного и устного. Сейчас становится особенно очевидной ненужность этого противопоставления и более того, своего рода contradictio in adjecto: выбор Бунина — надежность материала и гарантия успеха; выбор Ремизова — заведомый риск, предусматривающий условность, почти искусственность результатов. В определенном смысле Ремизов — экспериментатор, ставящий опыт на самом себе и вполне сознающий опасность, которой он себя подвергает. Пожалуй, только теперь (да и то не в полной мере) мы можем оценить его упорную смелость в «перетряхивании» русского литературного языка, так же как планомерность и лингвистическую обоснованность его реформаторской деятельности [26].

Список сокращений

АР	–	Алексей Ремизов. Исследования и материалы. СПб., 1994
В	–	*Ремизов А.М.* Встречи. Paris, 1981
ВР	–	*Ремизов А. М.* Взвихренная Русь. London, 1990
И	–	*Ремизов А. М.* Иверень. Berkeley, 1986
К	–	*Кодрянская Н.* Алексей Ремизов. Paris, 1959
М	–	*Ремизов А. М.* Неизданный «Мерлог» //Минувшее, 3, М., 1991
ОВ	–	*Ремизов А. М.* Огонь вещей. М., 1989
ПД	–	*Ремизов А. М.* Пляшущий демон. Танец и слово/ОВ
РБ	–	*Ремизов А. М.* В розовом блеске. Нью-Йорк, 1952
РП	–	*Кодрянская Н.* Ремизов в своих письмах. Paris, 1977
УМ	–	*Ремизов А.М.* Учитель музыки. Paris, 1983
RLT	–	Russian Literature Triquarterly
РТ	–	*Алексей Ремизов.* Рабочая тетрадь (1950-е гг.) // *Алексей Ремизов.* Новые материалы (Вступительная заметка и публикация Аллы Грачевой)/АР

Примечания

[1] Пожалуй, наиболее наглядной иллюстрацией того, как воспринимался ремизовский язык, служит пародия Евгения Девьера: «У Плющихи завораксили в маленькие чири-бири, чири-бири, кулдык [...] Плясавица под забором куевдилась: жиганила, в углу подъелдонивала. Привереды по промоинам трепыхала. Слам тырбанила. Кувыки каверзила...» и т. д., и т. п. (*Бегак Б., Кравцов Н., Морозов А.* Русская литературная пародия. Ann Arbor, 1980. С. 179). — А вот своего рода отповедь Ремизова, как бы подтверждающая пародию: «На каком языке пишутся русские книги? Или ёрнически-гадкий или неповоротливый — щеватая колымага с ужевкой. И это слывет русским. Или бабья хлыстовская нюнь с подглаголью или шею-оборвешь фефефемью. А есть еще язык „холопкий", припадающий — как-будто и желать ничего не остает, все достигнуто — небашковая слюнявая лесть, по-современному „подхалимашь". Лепет перепевов, пустая бумага, засиженная мухами — книжная русская речь» (РТ 214).

[2] Примечательно, что так высоко ценивший язык Ремизова Адамович в какой-то момент не выдерживает: «И да простит меня автор „Подстриженных глаз" и „Огня вещей" за шутливое сравнение: как Конст. Аксаков, по Чаадаеву, одевался настолько по-русски, что народ на улицах принимал его за персиянина, так может случиться и с Ремизовым. Уж до того по-русски, до того по-своему, по-нашему, по-московски, что кажется иногда переложением с китайского!» (*Адамович Г. В.* Одиночество и свобода. Литературно-критические статьи. СПб., 1993.

С. 92); «мудреные словечки и утомительно-филигранный слог» — так отзывается о Ремизове Добужинский (*Добужинский М.* Встречи с писателями и поэтами // Воспоминания о серебряном веке. М., 1993. С. 361). — Ср. и другую языковую характеристику Ремизова: «Ремизов москвич, с очень чистым русским говором, подлинность которого он закрепил, изучая фольклор, апокрифы, местные говоры, песни, поговорки. Он плавал, нырял в народных сказках, добывая со дна то забытое словечко, которым любил ошарашивать читателя. В разговоре он таких местных слов не употребляет, но и затасканных иностранных выражений, которые уродуют письменный и устный язык городской интеллигенции, от него не услышишь. Он и говорит и пишет по-русски» (*Тыркова-Вильямс А.* Тени минувшего. Встречи с писателями //Там же. С. 337).

[3] Ср. ремизовскую историю русской литературы в одном абзаце: «История русского слова: Епифаний Премудрый — XIV в. — и наше время: Андрей Белый, Хлебников, Маяковский, совершенно неважно, какая тема — жития святых, сатира [...] К именам можно прибавить: Розанов, Пастернак. Русская речь вывернута — новое восприятие» (РП 394).

[4] Однако, нашлось мнение, объединившее Бунина с Ремизовым и замеченное Георгием Ивановым, который не замедлил выступить чрезвычайно резко («Опыты», 1957, № 8): «Мне случайно попалась в „еспартийно-национальном" [Так! — *Т. Ц.*] журнальчике „Русский в Австралии" забавная заметка: „Какие книги читает русский эмигрант". О Бунине там сказано: „Его читают главным образом молодящиеся дамы из старой эмиграции. Остальным клиентам (австралийских библиотек) он неприятен и вызывает единодушное удивление: и за что только ему дали премию Нобеля". После Бунина там же и о Ремизове: „Трудно говорить о Ремизове как о русском писателе. Пишет он на собственном языке, понятном только ему самому и разве его маме" [...] Ну, о Бунине ерунда, юмористика, выходка идиота, но Ремизов... Ведь в сущности, отношение к Ремизову и в дореволюционные времена и в эмиграции — очень недалеко ушло от мнения австралийского библиотекаря. Конечно, существовали и существуют люди, почитающие Ремизова тем, чем он был и есть: волшебным художником слова, писателем неисчерпаемой словесной и духовной самобытности» — и далее следует «апология Ремизова», кончающаяся весьма ярко и в духе Георгия Иванова: «[Ремизов] для меня и по сей день остается тем же лучезарно-чудесным учителем прекрасного и славой русской литературы. Еще прибавлю, для мало меня знающих, что излишней восторженностью я никогда не отличался и к большинству моих современников — хотя бы и весьма превознесенных — отношусь, скорее, как Грушенька Достоевского: „А я вам, барышня, ручку не поцелую"». (*Георгий Иванов.* Собрание сочинений в трех томах. Том третий. Мемуары. Литературная критика. М., 1994. С. 634, 636).

[5] *Ржевский Л.* Встречи и письма //Грани, 1990, № 156. С. 73, 82–83. — Ржевский так комментирует отношение Бунина к Ремизову: «В одно из моих посещений Бунина я спросил его осторожно [...] о причинах такого отрицания Ремизова.

„На каком языке это написано?“ — спросил он вместо ответа, процитировав наизусть несколько ремизовских строк. Именно любовь к русскому языку стояла в основе бунинской критики. В области языка Бунин был, по-моему наиболее „классичен“; здесь он весь в границах классических речевых традиций, и ему чужды, даже враждебны поиски языковых причуд, хотя бы и „из старины“». См. еще: *Карлова М.* Осуд и сон писателя // Русская литература в эмиграции. Мюнхен, 1972. С. 193 («Почти легендарным противником Ремизова стал в истории литературы И.А.Бунин [...] их идеи и представления о литературном творчестве были противоположными [...] Бунин — представитель верхушки стилевого канона прошлого столетия — никак не мог принять формальные эксперименты писателей XX века; особенно — Ремизова, над которым он часто смеялся, утверждая, что Алексей Михайлович притворяется»).

6 «Она меня учила моей любимой словесной грамоте: слова, корни слов, история языка. Она была моим учителем — сорок лет, — и цензором в литературе» (РБ 308).

7 Ср. хотя бы его проницательные суждения о внутренней форме слова (слияние значений «покой» и «вселенная» в слав. *мир/мiр*, такие же слияния значений в *воля*, *правда* и т. п. /РП 285/), его отношение к этимологии, гораздо более осторожное, чем случается сейчас, когда этимология становится служанкой идей пишущего. Один пример: «[...] мне так всегда стыдно, — холодно; это слово от холода стыд

студ (по славянски)
студеный „студныя дела“
стужа
а отсюда туга-печаль
и туча-темнота
„Г“ перелединев „Г“
„дж“ -"- „ж“ „г“

Серафима Павловна подробно и „научно“ могла бы рассказать о этих превращениях, а я ведь ничего не смыслю, только люблю с л о в о». (Из письма Н. В. Резниковой от 9. II. 1944 // RLT, XIX, 1986. С. 272). Ср. его вопросы к востоковеду В. П. Никитину, который для него был высшим авторитетом в области этимологии. Немного забавно, что приведенный в недавней работе пример никитинской консультации как раз классически неверен. Ремизова интересует происхождение слова *чан*, и Никитин отвечает: «[...] конечно, наш ЧАН слово тюркское. По-турецки ЧАН — колокол. Опрокинутый он и есть чан!» (*Грякалова Н. Ю.* А. Ремизов в работе над книгой «Павлиньим пером» (новые материалы) // АР. С. 117–118); см. у Фасмера s. v.: «**чан** [...] восходит к русскому *дъщанъ* [...] (от *доска*); [...] Неверно предположение о тюркском происхождении».

8 К ремизовской игре с читателем: *цапля* здесь не птица, а инструмент для подцепляния.

[9] Ср. совет начинающей писательнице: «Вам надо оживлять вашу словесную память, вот почему я повторяю о словаре Даля» (РП 261).

[10] Сам Ремизов говорит об этом так: [в начале писательских опытов] «Глухая борьба между школьным синтаксисом и ладом природной речи. По чутью я выбирал природное, но смелости отказаться от книжного у меня не было» (И 151).

[11] В. Д. Левин, вообще рассматривавший включение устной речи в книжно-литературную, анализирует под этим углом зрения речь Кириллова («Бесы») и находит, что **«перед нами типичная, воспроизведенная с ошеломляющим мастерством и точностью, спонтанная устно-разговорная речь»**. Однако [в отличие от Ремизова. — *Т. Ц.*], по мнению Левина, Достоевский **«бесспорно даже и не ставил перед собой такой задачи.** Приметы устной речи нужны ему лишь как материал для демонстрации неправильности, „неграмотности", странности речи Кириллова» (*Левин В. Д.* Языковая характеристика одного персонажа Достоевского (к вопросу о роли устно-разговорной речи в художественном диалоге) // Russian Literature and History: in Honour of Professor I. Serman. Jerusalem, 1988. С. 61, 68. См. там же библиографию наиболее важных работ по этой проблеме.

[12] «Сказовый стиль» в литературе — особая тема, которой мы здесь не касаемся.

[13] См. об этом работу автора: О концепте слова у позднего Ремизова. (В печ.)

[14] «Сочетание слов проверять на слух» (К 140); «[...] думай вслух и читай на голос, прислушиваясь к словам» (И 160) и т. д. — Примечательно, что необходимость «проверки на слух» ощущают и читатели: «Ф. Степун правильно говорил, что Ремизова самого нужно читать только вслух, очень медленно. При обычном торопливом чтении вся прелесть ремизовской прозы, узорный подбор его слов, особая конструкция фразы, — все это теряется для читателя» (*Седых А.* Далекие, близкие. С. 114); «Ритм у него, как у сказочника, а ведь расстановка слов, падение и повышение ударений тоже определяют народность речи. Когда Ремизов читает себя вслух, невольно следуешь за его музыкой, заражаешься его складом. Чтец он замечательный» (*Тыркова-Вильямс А.* Тени минувшего. С. 337).

[15] Ср.: «„Опытные" и неопытные писатели! во имя русского слова остерегайтесь музыки! Не ассонируйте, не рифмуйте в прозе [...]» (М 212).

[16] Ср. любопытную аналогию: «Слова не образуют язык; образуют его интонации слов. В аналогии с музыкой, звук сам по себе ничего не значит: он получает музыкальное содержание только тогда, когда он интонирован. Звуковая интонация есть первооснова музыкального языка. Структура музыкальной фразы определяется интонацией...» (*Лурье А.* Чешуя в неводе // Воздушные пути, II, 1961. С. 205).

[17] Об этом же пишет Антонелла д'Амелия («„Автобиографическое пространство" Алексея Михайловича Ремизова» /УМ VIII/): «Как музыкальная партитура пишется для исполнения, так и проза *Взвихренной Руси* со своими интонационными знаками, подчеркивающими фактуру языка, написана для чтения вслух — отчаянная попытка избежать судьбы печатного слова, лишенного голоса и жеста!».

[18] Ср. экспликацию этих терминов: «построение слаженных слов — „уклад“» (ОВ 141); в применении к литературе/литературоведению: «Элементы, анализ литературного произведения: язык, стиль (лад), композиция (уклад), образы, жанр (литературный тип), идейность» (К 135).

[19] Возможно, именно эту свободу имеет в виду Ремизов, когда пишет: «Пушкина привлекал „базар“ — русский склад этой речи (а в матерьялах история склада этой речи)» (М 212).

[20] «На соединение слов надо навострить ухо: чтоб избежать рубки, каши» (К 130).

[21] К этому же (почти оксюморно): «Я вслушиваюсь в живую речь и следил за *речью* по документам и *письменным памятникам*» (К 42) [Курсив наш. — *Т. Ц.*]; «Для меня особенно любопытно — документы. Только так я проникаю в сердцевину природного склада речи» (К 312). См. построенную на документах — подлинных и стилизованных — его книгу «Россия в письменах». Ср. и приводимый Ремизовым образец, который откликается в его собственных *укладах*: «Чтение русского воздух. „Так танцовали что и сорочки хоть выжми от поту их“. Замечание простой речи о танцах (XVIII в.)» (РП 262).

[22] См. работу автора «О ремизовской гипнологии и гипнографии» (Серебряный век в России. Избранные страницы. М., 1993).

[23] *Raevski-Hughes O.* Alexej Remizov's Defense of the Russian Language // Language, Literature, Linguistics. Berkeley, 1987. См. также: *Gorlin M.* Alexej Remizov // *Gorlin M., Bloch-Gorlin R.* Etudes littéraires et historiques. P., 1957. P. 164; *Струве Г.* Русская литература в изгнании. Paris, 1978. С. 146–147; *Aronian S.* The Russian View of Remizov // RLT, v. 18, 1985; *Slobin G.* Remizov's Fictions 1900–1921. Illinois, 1991. P. 153 и др.

[24] *Лаптева О. А.* Русский разговорный синтаксис. М., 1976.

[25] Там же. С. 160 сл.

[26] В определенном смысле тот же эксперимент можно видеть и в ремизовской графике: «Словесная графика, графическая словесность, таким образом, проделала у Ремизова обратный путь. От каллиграфии к свободной графике. От беловика к черновику [...] [Графика Ремизова] не существует отдельно от его, ремизовского слова. И тогда, когда пересекается с графическим языком своего времени. Или даже опережает его» (*Молок Ю. А.* По ту сторону умения и неумения (о графических текстах Алексея Ремизова) // АР. С. 156).

Вячеслав Вс. Иванов

Из заметок о праславянских и индоевропейских числительных

Поздний период истории и функционирования славянских числительных, в особенности в раннем старославянском и в других славянских диалектах, описан достаточно подробно, в частности, в серии тщательно выполненных на протяжении 1960-х годов исследований А. Е. Супруна ([Супрун 1969; 1961; ср. 1989, с. 212–214], а также обзор: [Comrie 1992]). Что же касается предыстории этой системы и восстановления исходных форм числительных для древнейшего этапа развития праславянского (и балто-славянского) как отдельного индоевропейского диалекта, здесь расхождения во взглядах определяются общим пониманием тенденций становления индоевропейских числительных. Можно наметить две главные точки зрения, представленные в наиболее влиятельных исследованиях.

Согласно одной концепции, выраженной в работе О. Семереньи об индоевропейских числительных [Szemerényi 1960; 1989; Семереньи 1980, с. 237–244] и в публикациях многочисленных ученых, за ним следовавших (см. сводку данных и библиографию: [Gvozdanović 1992]), система числительных вплоть до сотни, достаточно уже разработанная и единообразная, восходит к общеиндоевропейскому периоду и продолжается без существенных изменений в славянском, как и в других индоевропейских диалектах. Другая точка зрения, предвосхищенная отчасти уже Бругманом [Brugmann 1904; 1911] и Порцигом ([Порциг 1964], ср. также [Гамкрелидзе–Иванов 1984]), в последние годы была высказана У. П. Леманом ([Lehmann 1991; 1993, с. 252–255, 143, 159, 278]; ср. также [Леман 1991] и [Schields 1994] с дальнейшей библиогра-

фией). Необходимость обсуждения его интересных предположений и побудила нас вернуться к вопросам предыстории славянских числительных; другой причиной, усилившей интерес к этой проблеме, явилось обнаружение новых анатолийских и некоторых других диалектных индоевропейских форм, существенных для сравнения со славянскими.

По Леману, сохранившиеся в праславянском архаизмы отражают достаточно ранний период истории индоевропейских числительных. Такой вывод подготовлен всем ходом предыдущих исследований. Об этом говорит уже хорошо сохраненное в отдельных языках индоевропейское грамматическое противопоставление числительных, обозначающих наименьшие положительные целые числа от одного и двух до четырех, и числительных начиная с пяти ([Супрун 1969, с. 92 и след., 144–145, 196]; ср. [Мейе 1938, с. 410–412] со специальным обсуждением праславянского отражения; [Гамкрелидзе–Иванов 1984, II, с. 850–851]). Славянские языки примечательны тем, что они это древнее деление выражают новыми морфологическими и синтаксическими способами, основанными на преобразовании сочетаний со старым двойственным и множественным числами. До сих пор в современном русском языке конструкция типа *два, три, четыре человека* отличается от *пять, шесть, ...десять человек (людей)*: счетные формы со значением ограниченного числа от полутора до четырех или особые падежи [Зализняк 1967, с. 46–48, Виноградов 1947, с. 304] противопоставлены падежным формам, выступающим в сочетаниях с абстрактными существительными, которые обозначают числа выше «четырех» и образованы от слов, для древнего периода восстанавливаемых как несклоняемые. Отчасти сходны с русским (хотя и различаются между собой) противопоставления конструкций с двумя этими типами числительных в сербо-хорватском и словенском (см. подробное сопоставление более поздних тенденций, объясняемых унификацией всего этого класса слов: [Šerech 1952; Супрун 1969]). Различение в словенском двойственного числа и обозначения пар (ср. о польском [Baudouin de Courtenay 1974, с. 228]) напоминает типологически ситуацию в тохарском с противопоставлением дуалиса и паралиса.

Леман, отчасти в развитие идей Бругмана, высказывает следующие гипотезы относительно обозначения наименьших целых чисел. Во-первых, в праславянском отражены возможные индоевропейские различия между еще не установившимися окончательно вариантами форм (например такими, как отличное от форм

других индоевропейских диалектов **tret-ii* «третий», др.-новгород. *третии*, [Янин, Зализняк 1993, с. 341]; о доводах за и против архаичности этой последней см. теперь [Schmidt 1992, с. 201–202]). Во-вторых, в некоторых из таких вариантов могли сказаться архаические способы счета, при которых различались разные типы предметов, как это предположено на основании археологических данных о самых ранних древнеближневосточных очагах цивилизации Шмандт-Бессера в ряде увлекательных исследований [Schmandt-Besserat 1992]. В-третьих, названия целых чисел происходят от указательных местоимений. Для названий числительных между «10» и «20», как и в назывании десятков, Леман предполагает отражение в славянском поздних диалектных различий.

Рассмотрим некоторые возможности, возникающие в связи с постановкой этих вопросов.

1. Славянские и индоевропейские названия «одного» и «первого»

По Леману, принадлежность названия «одного», как и других наименьших целых чисел, к морфологической категории прилагательных в славянском объясняется происхождением его из указательного местоимения (ср. о связи числительных и дейктических местоимений-шифтеров в более общем плане: [Vossler 1925, с. 231–235; Bagge 1906; Hurford 1975; 1987; 1993]). Принимая уже высказывавшиеся ранее гипотезы о вероятном родстве первой части славянского **jed-inъ* и основы др.-инд. *ad-a(s)* «этот», др.-в.-нем. *es* «это» и лат. *ecce* «вот; се» (из **ed-ke*) и русск. *едва*, оск. *ekkum* «вот», умбр. *eřek*, erse «кто-нибудь», лат. *ecquis* «какой-нибудь», нем. *etwas* «что-нибудь» [Фасмер 1967, II, с. 9; 1971, III, с. 122] и более проблематичное сближение второй части с др.-инд. *ena-* «он», др.-в.-нем. *ein* «этот» (Pokorny 1959, с. 286), Леман видит в славянском числительном «двойное указание, означавшее примерно „как раз этот, именно один“» [Леман 1991, с. 135]. Эта гипотеза заслуживает внимательного изучения, хотя, как и по отношению к другим названиям наименьших целых чисел, кажется возможным исследовать, стоит ли обязательно исходить из первоначального грамматического оформления их как прилагательных. Сама по себе категория прилагательных в индоевропейских языках едва ли может считаться древней (ср. [Meillet 1931; Жирмунский 1976]). Типологическое сопоставление с языками такой

структуры, как юкагирский, где европейским числительным соответствуют не именные, а предикативные обороты («быть в количестве двух» вместо «два», Крейнович 1958), позволяет предположить, что исходная грамматическая функция на раннем этапе истории праязыка могла быть не атрибутивной, а предикативной: «он /она/ оно имеется в количестве одного (двух, трех, четырех)» (ср. ниже о следах глагола **dwi-* «раздваиваться»). Заметим, однако, что провести границу между глаголом и именем при выборе из этих двух возможностей непросто: в таком языке с преобладанием глагольных форм, как яки (америндейский юто-ацтекский язык на границе США и Мексики) конструкции типа *'inepo wepulai-k tutu'li-k maara-k* «я [имею] одну красивую дочку = у меня [есть] одна красивая дочка» могли бы пониматься как серия глагольных перфектных форм с суффиксом *-k* (строя неологизм по образцу «сыновеет» у Хлебникова, можно попытаться передать буквально «я задочерел [она = дочка] будучи в количестве одной будучи в качестве красивой)», но характер согласования во множественном числе заставляет признать второе и третье слова скорее прилагательными ([Jelinek, Escalante 1988, с. 421–422]; к потебниански-винокуровской проблеме «глагол или имя» особенно в америндейских языках ср. [Иванов 1988; Sasse 1993]). В любом случае для диалектов позднеиндоевропейского после образования системы трех родов рассматриваемые формы были прилагательными, о чем говорит их согласование по родам и употребление в них форм степеней сравнения; синтаксически в современных языках они функционируют как слова-атрибуты (ср. о русском языке [Зализняк 1967, с. 86–87]).

Для истолкования первой части слав. **jed-inъ* кроме уже приводившихся форм указательных местоимений особого внимания заслуживают западнобалтийские и хетто-лидийские параллели. Западнобалтийская указательная местоименная основа *di-* представлена в прусском в формах *di-*, *din* (вин. п. ед. ч.: *prowela-din*) «(они) предали его», *prēi-din* «к нему»; *kirsa din* «над ним», Trautmann 1910, с. 57. 71). Предлагалось много объяснений (см. обзор: Schmalstieg 1976, с. 191–192, 339. примеч. 79), в частности, такие фонетические, как озвончение **-t* (достаточно частое в иранском). Наиболее вероятной остается связь западнобалтийского *di-* с авест. *dim* (Stang 1966, с. 234; о других индоевропейских формах, сопоставляемых с этой последней, см. Bader 1982, с. 142); оба местоимения сближаются со слав. **je-di* (из **je-d/e/i-*, болг. *е-ди-кой* «какой-нибудь», [Топоров 1975, с. 343–344]), т. е. с рассматривае-

мой основой числительного и местоимения. В таком случае для этих последних в качестве исходного индоевропейского местоименного корня может быть предположено **(H)e-* (ср. о ностратических истоках [Иллич-Свитыч 1971, I, с. 271]; реконструкция Шахматовым **he-* для этого индоевропейского и славянского местоимения [Шахматов 1915, с. 32–33, 141], ср. [Фортунатов 1922, с. 249], может представить интерес и с точки зрения ларингальной теории), за которым следует местоименное **-d(i)*. Так же можно объяснить анатолийские формы. Весьма вероятной представляется гипотеза Гусмани [Gusmani 1964, с. 101; 1981, с. 284; 1986, 184; Rosenkranz 1978, с. 71] о тождестве корней праслав. **jedinъ* и лидийского указательного местоимения *ed-* (им. п. ед. ч. одуш. р. *eds* из **ed-s*, им.-вин. п. ед. ч. ср. р. *edt* из **ed-t*, дат.-мест. п. ед. ч. *ed-λ* из **ed-l/i/*). На возможность истолкования необычно написанного ликийского tdi как указательного местоимения обратил внимание Мериджи (Meriggi 1980, с. 240–241; 1980a, с. 372, 403, см. TL 58, 3; 75, 2 : *tdi i[s]bazi* «в эту гробницу»); если он прав, то форма может быть тождественна прусской.

Хеттская указательная местоименная основа ed-, вероятно сравнимая с лид. *ed-* и слав. **jedinъ*, засвидетельствована в нескольких вторичных (локальных) падежах: мест. п. ед. ч. *edi* (исторически возможна форма с нулевым окончанием основы **edi*, позднее переразложившаяся на *ed-i*) «по ту сторону», твор. п. ед. ч. *ediz*, *etez* «на той (другой) стороне», дат. п. ед. ч. *ed-an-i* «тому», дат.-мест. п. ед. ч. *ed-as* «тем, в тех» (см. контексты: Puhvel 1984, с. 4). С синхронной точки зрения можно считать эти падежные формы супплетивно образованными от основы указательного местоимения *a-* (ср. Puhvel 1984, с. 5–6). Но диахронически в них можно предположить отдельный местоименный элемент *-d-*, либо (как в славянском и лидийском) представляющий отдельную основу (ср. Bader 1981, с. 36–39), либо являющийся окончанием того же типа, что и в указательном местоимении *kas, kedani, kez, kedas.* Но последние формы следует скорее всего признать построенными по образцу *edani* и т. п. В наличии местоименных форм такого типа, которые могли быть исходными и для германского слабого склонения прилагательных (но ср. другие его объяснения: [Жирмунский 1976, с. 229–232; Haudry 1981] с литературой вопроса), состоит особый интерес анатолийских местоименных форм для сопоставления со славянскими типа **jedinъ*. Нельзя полностью исключить, что в этой славянской форме отразилось преобразование древнего местоименного падежного элемента (окончания, как

можно думать исходя из этой хеттской формы, или основы, как полагает Леман) под влиянием установления позднейшей его связи со слав. **інъ* (ст.-слав. инокъ и словосложения типа рус. *иноходь*; ср. и лтш. *eidene* «вдова»; *eidenieks* «иноходец», лит. *eidinikas* либо с диссимиляцией *d/n*, Endzelins 1982, с. 536, либо с преображением гласного первого слога исходного **e-den-*, вероятно, под влиянием **ei-* «один»: основа с этой огласовкой отражена в лит. *vičvẽinelis* «совсем одинокий», Stang 1966, с. 55, 276, при позднейшем изменении **ei* в *ie*: лтш. *viens*, лит. *vienas* «один», где *v-* может объясняться воздействием следующего по счету числительного «2», например, в текстах типа детских считалок и т. д.).

Исследования последних лет сделали вероятной гипотезу, по которой в анатолийских языках основа индоевропейского числительного **oi-* «один» выступает в таких архаичных тематических формах, которые в других диалектах не были известны: хет. *a-* «один» из **oi-/o/-*, вин. п. ед. ч. ср. р. *an-ki* при им. п. од. р. («эргативе») *a-a-an-za [a-nt-s, *oy-ont-s]*, Eichner 1992, сс. 37–43, там же, с. 42, о возможном лувийском иероглифическом *a-* «один». Эти формы могут служить одним из доводов в пользу современного варианта индо-хеттской теории, потому что во всех других индоевропейских языках за корнем **oi-* следуют суффиксы, начинающиеся с сонанта или согласного, а не с тематической гласной. Различие между имеющими значение числительного «один» производными от основы **ei-/*oi-* с суффиксами **-no-*, **-ko-*, **-uo-* в одинаковых контекстах в словосложении обнаруживаются при сравнении западнобалтийского и славянского, с одной стороны, и иранского, месопотамского арийского, нуристанского и индо-арийского, с другой. В западнобалтийском прус. *aina-warst* «один раз» прус. *aina-* (из **oi-no-*) соединено словосложением с производным с именным суффиксом **-t-(o)-* от того же индоевропейского корня **wert-* «вертеть; тренировать лошадь, заставляя ее бегать по кругу», что и в др.-инд. вед. *eka-vṛt-* «единичный, одноразовый, тот же самый» (в «Атхараведе») и ассамск. *eta* из **eka-vṛtta* (Turner 1966, № 2462, с. 199; Ivanov 1975, с. 284); вторая часть сложения тождественна лит. *var̃stas* «расстояние, пропахиваемое за один раз», оск.-умбр. *vorsus* «мера пропашки, оборот», др.-рус. *вързта* «верста» [Топоров 1975, с. 60], ср. сходное сложение с другим производным от того же корня в месопотамском (митаннийском) арийском *aika-wartanna* «один оборот, пробегаемый лошадью по кругу при тренировке на ипподроме» [Иванов 1981, с. 133–135]. Для арийско-балто-славян-

ской диалектной области (ср. о ее характеристиках, в том числе и относящихся к коневодству: [Arntz 1933; Порциг 1964; с. 243–248]) на основании приведенных форм и других, им подобных, типа рус. *одно-верст-н-ый* (о расстоянии в одну версту), *одноверстник* «ровесник», *одно-времен-н-ый* можно восстановить форму типа **(ed-)oi-{no-/ko-}-*w(e)rt-{to-/no-||-men-}* «один раз; одна мера измерения пространства или времени (ср. праславянское название времени из **wert-men*, изученное М. М. Покровским в связи с лат. *vertere*, а затем Р. О. Якобсоном: [Jakobson 1971]), соответствующая одному повороту коня (или быка), повозки или небесного тела». От диалекта зависит только выбор суффикса числительного: **-no-* в (западно)балтийском и славянском (а также в западно-индоевропейских диалектах и в греческом), **-ko-* в индо-арийском, нуристанском (**oi-ko-* [Fussman 1972, II, с. 254–255]) и месопотамском арийском, **-wo-* в иранском и греческом (хет. *aya-wa-la* «равный по рождению» едва ли может служить точным аналогом, т. к. в нем тот же суффикс, что в вед. *ke-vala* «одинокий, завершенный» [Eichner 1992, с. 43]; хет. *a-nt-s* нельзя прямо соотнести с **oi-no-*, потому что в этом последнем нет тематического суффикса после корня, а хеттский суффикс эргатива уже не разлагается на составляющие). Поскольку контексты, в которых эти диалектные формы выступают в словосложении, практически совпадают, во всяком случае для времени дифференциации диалектов не кажется вероятной недавно выдвинутая гипотеза [Schields 1994], по которой эти три суффикса тождественны трем индоевропейским местоимениям ближнего и дальнего указания (маловероятно и отражение в них классификационных примет разных разрядов предметов типа выявленных Шмандт-Бессера в древней предписьменности: в приведенных словосложениях семантические контексты употребления разных суффиксов одинаковы).

С суффиксом **-wo* в греческо-иранском **oi-wo-* можно соотнести приведенные выше формы типа рус. *ед-ва*, с одной стороны, и порядковые числительные типа слав. **pьrvъ*, ст.-слав. прьвъ «первый», с другой. В точности соответствующие последним основы есть только в тохарском (А *parwe* «первый /год/» [Pinault 1987, с. 8]1, *pärwe-ṣṣe* «первый», уparwe «сперва», [Winter 1992, с. 133]) и в индо-иранском: др.-инд. *pūrva-*, авест. *paurua-*, др.-перс. *pr^u^uv-* из **parwa-* (с семантическим развитием «предшествующий»-«первый», напоминающим славянскую эволюцию значений: [Emmerick 1992, с. 318]; аналогичную эволюцию претерпевает прилага-

тельное, образованное от синонимичной основы *ḫant-* в хеттском и лувийском: [Shevoroshkin 1979, с. 178–179; Eichner 1992, с. 44–45]). При этих славяно-тохаро-индо-иранских соответствиях и возможной связи с алб. **pare* (из **pr̥H0-i̯o-*: [Hamp 1992, с. 904) и, быть может, с армянским (ср. [Winter 1992a, с. 354]: как и в греческом, исходной была та же основа относительного имени **per-* «передняя сторона», но, возможно, с другим суффиксом) славянский здесь расходится с балтийским, где обнаруживается суффикс *-*mo-* (прус. *pir-ma-*, лит. *pir-ma-*, лтш. *pir-m-*), как в западных диалектах (гот. fruma-, лат. *primu-s*). Хотя в некоторых случаях соотношение *w*||*m* в индоевропейском и пробуют объяснять фонетически, в данном случае суффикс *-*mo-* скорее всего нужно истолковать как показатель старой превосходной степени ([Wackernagel-Debrunner 1930, с. 404; Семереньи 1980, с. 244]; ср. др.-инд. *prathama-*, [Schmidt 1992, с. 197]), который в индоевропейском, как в древнеегипетском, функционально объединялся с приметой порядковых числительных [Benveniste 1948; Кацнельсон 1949].

Родственная слав. **sam-* ([Гамкрелидзе–Иванов 1984, II, с. 842–843] с литературой вопроса) основа хет. *šann-a* «раз; один», *šan(n)-izzi-* «приятный», лув. *šanawa-* «хороший» [Eichner 1992, с. 45] явно не связана первоначально с системой числительных, но тяготеет и к местоимениям, как в славянском, и к именам.

2. Глагол, связанный с числительным «два»; порядковое «второй»

Поскольку основа числительного **dw-* «два» известна в языковых семьях Евразии (быть может, как раннее культурное заимствование, связанное с идеей двоичности, важной для древней мифологии и социальной структуры), а ее вторая фонема (или субморфа в смысле Р. О. Якобсона, ср. [Поздняков 1993], и А. А. Зализняка), *-*w-* в своей древней функции приметы двойственного числа могла объединять индоевропейский с афразийским (см. уже [Cuny 1924]), не кажется целесообразным пытаться искать ее объяснений в явлениях позднейших периодов.

В юго-западнославянских языках (сербо-хорватском и словенском) с основой числительного «два» соотнесен глагол с отрицательным эмоциональным значением, объясняемым как калька нем. *verzweifeln* (серб.-хорв. *zdvȃjām* «отчаиваюсь», [Skok 1971, с. 463]); сходным образом толкуют и прус. *dvibugūt* «сомневаться»

[Топоров 1975, с. 396]. Подобные производные известны и в древних индоевропейских языках. Значение «мучиться, бояться» у глагола, образованного от основы числительного «два», засвидетельствовано не только в древнегреческом, где его смысл проясняется из гомеровского контекста (ср. [Бенвенист 1974, с. 336–337]), но и в древнеармянском *erknčim* (из **dwi-sk̂e/o-*, аорист **dwei-*, др.-арм. *erkea-*, *erki-*, Klingenschmidt 1982, с. 78–79, 156, 282) и в лувийском (*kuwayamman-* «страх» от основы *kuwaya-* «бояться» [Иванов 1983, с. 36–37], там же см. о возможной древности этого глагола как предикативного способа выражения идеи «раздваивания, двоения»). Лувийская глагольная форма и лувийско-ликийская основа числительного (лик. А *kbije-* «второй, другой, чужой»), лежащая в его основе, позволяют лучше понять соответствие др.-арм. *erk-* : и.-е. **dw-*, казавшееся удивительным [Мейе 1938, с. 76]: сочетание **dw-*, еще сохранявшее начальный дентальный в иероглифическом лувийском (*tuwai/i-* «два») и в миликийском-ликийском Б (*tbi*, Нойман 1980, с. 336; Meriggi 1980a, с. 262), в другом диалекте лувийско-ликийского изменяется в *kuw-/kb-* (лик. А *cbatr-i*, *-u* ἀθυγάτηρα, дочь» [TL 143, 5, Houwnik Ten Cate 1965, с. 98], из **kwatr-*, иерогл. лув. *tuwatr-i* [Sherovoshkin 1979, с. 182, прим. 12; Morpurgo Davies-Hawkins 1986, с. 369], более древнее **dwatr-* после обычной для лувийского потери палатального **gh* и вокализации ларингального в и.-е. **dhughHter*). Фонему *-r-*, предшествующую сходному с лувийским **-k-* в древнеармянской форме *erk-i-*, можно было бы сопоставить с ротацизмом (*-r-* из **-d-*) в иероглифическом лувийском, предположив, что каждый из различительных признаков древнего **d* представлен в древнеармянском особой фонемой: дентальность *-r*, смычность *-k* (*e* развивается перед *r*, которое не может находиться в начале слова).

Славянское порядковое числительное «второй» (во всяком случае в бесспорных формах типа др.-новгород. *уторьникъ*, *уторъкъ* «вторник» [Новгород. 1 лет., 6738 г., 6736 г.]; чеш. *úterу*, *úterek*, словац. *utorok*, в.-лужиц. *wutora* «вторник», о других дискуссионных словах типа рус. *второй* ср. [Черных 1993, с. 172]) тождественно балтийскому (прус. antars; лит. *antras*, лтш. *uotrs*) и германскому (гот. *anþar*) местоимению «другой» (в местоименном значении известном и в индо-иранском: др.-инд. antaras, осет. *aendaer*), вовлеченному в систему числительных [Фасмер 1967, II, с. 365; Топоров 1975, с. 94–95; Schmidt, с. 198]. Поскольку новейшие лексикостатистические ([Dyen, Kruskal, Black 1992, с. 51–56], где принимается балтославянское единство, входившее вместе с

германским и италийским в «среднеевропейское»), лексикологические ([Stang 1971; Bird 1987] с подсчетами совпадений по словарю Покорного; коллективная работа киевских славистов по нескольким показательным лексемам и др.) и грамматические ([Stang 1966, с. 13, 236, 341 и др.]; ср. [Haudry 1981], в значительной мере воспроизводящий давнюю идею Ван Вейка) изыскания подтвердили реальность балто-славяно-германского диалектного единства, намеченного еще Шлейхером, данная изоглосса также представляется существенной. Характерно, что теми же тремя диалектами ограничена изоглосса по называнию «20 = 2.10», совпадающая с изоглоссой по субморфу *-*m*- в «средних падежах» ([Bonfante 1993]; ср. Тронский 1967, с. 78–79]), и изоглосса по названию «1000», интерпретируемая как субстратная ([Stang 1971], где предлагается сопоставление с диффузией названия «серебра», по происхождению скорее всего баскского; [Порциг 1964, с. 212; Семереньи 1980, с. 242]). Можно думать, следовательно, об особом сходстве системы счета в этих трех диалектах.

Выделяемый в этих балто-славяно-германских формах названия «второго» (как и в греческо-ирано-германском типе порядкового числительного «первый из двух» от **per-* [Мейе 1938, с. 409–410]), суффикс *-*ter*-, позднее характеризующий сравнительную степень, мог иметь архаическое значение отделяющего признака. Анализируя его употребление в таких древнейших производных, как лат. *inter-dico* «проклинаю», авест. *antar-mru-* с тем же значением, Бенвенист замечал, что суффикс служит для того, чтобы отметить положение, отличающееся от некоторого другого ([Benveniste 1948, с. 119; Семереньи 1980, с. 211–214]; ср. [Puhvel 1987, с. 155–156]).

3. Архаические производные от «трех»

В некоторых языках начальное сочетание **tr-* в числительном «3» вызывало фонетические трудности, преодолевавшиеся посредством вставки гласного: в этом отношении отмеченная А. А. Зализняком форма *търи* в старорусской берестяной грамоте № 22 (встречается дважды: [Янин, Зализняк 1993, с. 110, 11, 341]) не составляет исключения: ср. *tera-* в митаннийском арийском, которое отражает если не навык передачи этого сочетания в клинописи, то трансформацию начала слова, сходную с хет. *te-ri-ya-al-la*, *ta-ri-ya-la* [Eichner 1992, с. 69]; если передача начала числительно-

го посредством *ta-* (в отличие от *te-*) специфична для лувийского, а не хеттского (ср. там же, с. 71–72, о форме *tarriyanalli-*), то это подтвердило бы фонетический, а не чисто графический характер явления (лув. *a* обычно соответствует хет. *e*). С митаннийской арийской формой можно сравнить такие индо-арийские, как панджаби *tare*, пашаи *tura/tera*, цыганск. палестинск. *t'aran* [Fussman 1972, II, с. 364]; в восточноиранском сходное развитие претерпевает зап. ягноб. *tira'y*, вост. *sara'y, sira'y* [Эдельман 1990, с. 184]. В большинстве случаев речь идет о чисто типологическом сходстве. Попытки этимологизировать индоевропейское числительное «3» пока не увенчались успехом. В последней из них предлагалось сравнение с корнем глагола и преверба «(проходить) через» [Hurford 1993], но он явно кончался на ларингальный (хет. *tarh-*), следы которого в этом числительном не найдены.

Наиболее важным открытием последнего времени, которое смело можно назвать сенсационным, представляется обнаружение в лувийско-ликийском формы с окончанием *-su* от основы числительного «три»: лув. иерогл. *[tara/i]-su-u* «трижды», лик. Б (мил.) *trisu* [TL 44 c. 51, d 70], [Neumann 1969, с. 394; Нойман 1980, с. 349; Shevoroshkin 1979, с. 185; Starke 1990, с. 54, 30; Eichner 1992, с. 67] (с другим историческим объяснением). Кажется несомненным тождество: лик. Б *trisu* = др.-инд. *triṣu* = лит. диал. *trisù* = слав. **trьxъ*.

И.-е. **-u* в конце слова в ликийском сохраняется: лик. *es-u* из **es-tu*, 3 л. ед. ч. повел. накл., лик. *-(N)t-u*, 3 л. мн. ч. повел. накл. [Нойман 1980, с. 344–345]. Поэтому нет необходимости возводить лик. Б. *tbisu* «дважды», *trisu* к **dwis-we/o-*; **tris-we/o-* или к другим праформам, общим с германскими итеративными числительными [Shevoroshkin 1979, с. 185; Eichner 1992, с. 74]. Сходство с локативом множественного числа не обманчиво. Как можно интерпретировать это сходство (возможно, простирающееся и на акцентуацию, если двойное написание гласного *su-u* в иероглифическом лувийском считать просодическим соответствием конечного ударения в древнеиндийской и диалектных литовских формах, ср. о них [Endzelīns 1982, с. 537; Stang 1966, с. 278])? Основной вопрос заключается в следующем: является ли ликийская Б (милийская) форма на -su (в ликийском А претерпевшая далее фонетическое изменение, ср. лик. Б *tbisu* [TL 44 c 4; 64]: лик. А *kbihu* [TL, 44 b 6, 7] «дважды» [Нойман 1980, с. 336]) остатком локатива множественного числа: как в остальных названных языках? В этом случае пралувийский схож с восточными диалектами и подтверж-

дает их архаичность (в отличие от греческого с окончанием *-si*, вторичность которого была давно предположена [Семереньи 1980, с. 174]). От гипотезы о позднем характере этого падежа ([Топоров 1961, с. 278], см. также литературу у Семереньи, там же) тогда пришлось бы отказаться. Это имело бы существенные последствия для реконструкции индоевропейской именной парадигмы в целом. Альтернативной гипотезой было бы допущение, по которому наречная форма (типа предположенной Эйхнером **dwiswe*, **triswe* [Eichner 1992, с. 61, 74] или **tris-wo-*, **tris-u-s*, [Shevoroshkin 1979, с. 185]) сохранилась как таковая в лувийско-ликийском, но при морфонологическом изменении стала употребляться позднее в функции локатива в некоторых восточных диалектах. Во втором случае в лувийском изолированный архаизм, а в первом — в лувийском обломок древней разрушившейся системы падежей восточноиндоевропейского типа. В пользу второго решения говорит сугубо грамматикализованный словоизменительный (не деривационный) суффикс **-s-* как примета множественного числа. С точки зрения грамматики рангов строение вероятной индоевропейской формы локатива множественного числа **-s-u* отличается от структуры аккузатива мн. ч. **-N*(= *-m*/*-n*)*-s*, с которым эту форму иногда сравнивали: в локативе плюрализатор **-s-* предшествует элементу **-u* (может быть из старой формы основы на **-u* с нулевым показателем падежа), тогда как в аккузативе плюрализатор следует за падежным окончанием.

Лежащие в основе рассматриваемых ликийских и индоевропейских падежных форм локатива образования на **-s* — **dwi-s*, **tri-s* (см. [Shevoroshkin 1979, с. 184–185]) бесспорно праязыкового периода ([Семереньи 1980, с. 244]; о возможности истолкования **-i* в первой из этих основ как старого местоименного показателя множественного числа ср. [Villar 1991]). Из образованных от них форм, кроме локативных, особый интерес для сравнения со славянским представляет лик. *trisñni*, по значению и происхождению связываемое с лат. *trini*, Gusmani 1974, с. 584 (возможно из **tri-ṡ-n-o* [Shevoroshkin 1979, с. 185], ср. греч. θρινάς «трезубец» из **trisn-ak-*, где видят след классификационного показателя: [Lehmann 1991, с. 138]). Ликийское слово употребляется в ритуальном контексте, когда речь идет о жертвоприношении: *uhide*: *trqqnti*: *wawã*: *trisñni* [TL 26, 18] «(каждый) год богу Тархунту по три быка (жертвуют)» ([Del Monte 1989, с. 198] с подробной литературой вопроса). Кажется несомненной связь с вост.-слав. **trizna* «поминки». Обрядовый характер славянского термина был

учтен в нескольких работах последнего времени, посвященных его возможной этимологии; в частности, в этой связи В. Н. Топоров отметил значение числа «три» в славянской и индоевропейской мифологии и ритуале. Ликийская параллель позволяет предположить, что в славянской форме представлен древний суффикс **-sn-(a)* с озвончением **-s-*, развивающимся в *-z-* в позиции между двумя древними сонантами (ср. тип рус. укоризна, белизна, где суффикс соответствует архаическому гетероклитическому образованию на **-(e)s-(e)r* / *-(e)n-*, засвидетельствованному в хеттском и широко отраженному в западнобалтийском). По-видимому, суффикс *-sn-* функционировал как единое целое, что в силу действия аналогии помешало изменению *-s-/-z-* под влиянием предшествующего *-i-* в слав. **trizna*.

Обрядовая роль числительного «3», изученная в цикле работ В. Н. Топорова, особенно существенна для индоевропейской и праславянской терминологии предправа; ср. понятие «третейского» суда и хетто-лувийское *tariwana-* в значении беспристрастного «третьего» [Eichner 1992, с. 72–73], ср. лат. **testis* из **tri-st-i-s* «третий стоящий поодаль». Символика трех грамматических чисел оказывается значимой для этой специфической семиотической системы, структура которой входила в сферу интересов А. А. Зализняка, когда он сопоставлял с ней систему уличной сигнализации. «Третий» находится одновременно за пределами речевого акта и судебного поединка, представлявшего собой обмен словесными репликами между сторонами, находящимися в тяжбе друг с другом (с этой точки зрения небезынтересна была и попытка связать хет. *kutruan/kutruen* — «свидетель» [Oettinger 1982, с. 164–165], с и.-е. **kwet-wer-* «4» [Tischler 1983, с. 681], но сопоставление стало менее вероятным с обнаружением иного названия «четырех» в хеттском и лувийском, о котором ниже; возможно ли сохранение другого, общеиндоевропейского термина только в языке предправа — пока неясно).

В архаических сложениях типа имени (западно)славянского бога Триглава (см. [Топоров 1992, с. 22, 33]) славянский сохраняет древнюю индоевропейскую модель др.-инд. *Tri-śiras* (дословно «трехголовый», ср. о словосложениях с индоевропейским названием головы **k̂rHos*: [Nussbaum 1986]). Подобные имена мифологических персонажей часто включены в троичную сюжетную структуру, которую особенно детально исследуют последователи Дюмезиля, связывающие с ней и троичность функций индоевропейских богов: индо-иранский **Trita-* «Третий» выступает как противник

змея о трех головах, которого он убивает ([Puhvel 1987], ср. на с. 170–172 о параллелях в кельтском мире типа *Tri-garanus* «[бык] о трех черепах»; [Топоров 1977]).

Некоторые из индоевропейских сложений того типа, который по древнеиндийской классификации назывался *dvigu*, образовывали достаточно длинные ряды, организовывавшие целые тексты, например, коневодческие (в частности, индо-иранские [Иванов 1981; Ivanov 1975]; иногда ту же роль могли выполнить и отдельные части древних сложений: следы устойчивой языковой и песенной традиции, связанной с построением поэтического текста — не только одного стихотворения, но и целого сборника — вокруг слова *верста*, можно легко увидеть у Цветаевой, следовавшей за Пушкиным). В этом плане особого внимания заслуживает большой цикл работ, посвященных загадке Эдипа и другим текстам, где встречаются сложения числительных с **-pod-* «нога» ([Гамкрелидзе–Иванов 1984, II. с. 474, 572, 588], ср. еще пашту dərbalai из **tri-pod-* и т. п.), которые интересны (как и сложения с названием «уха» по отношению к сосуду) и для соотнесения с археологическим материалом, особенно микенским.

С древними сложениями с первым элементом **tri-* связаны и такие формы для обозначения трех сотен, как слав. **tri-sta*, явно сходные с восточноиранскими (**tri-st-* [Emmerick 1992, с. 294]; ср. [Эдельман 1990, с. 197]: хорезм. *syzd [sizd]* при согд. христ. *dwyst [duwest]* «200», также разительно напоминающем славянские формы).

Из хеттских форм, позволяющих прояснить суффиксацию в балтийском, обращает на себя внимание *te(/a)riyala* «одна треть(?)» [Eichner 1992, с. 69]; суффикс *-l-* выявляется и в некоторых других хеттских числительных (1-*e-la-as*. 1-*e-el*; 2-*e-la* [Friedrich 1969, Shevoroshkin 1979, с. 183–184, 187]). С этими хеттскими формами сопоставимы литовские собирательные производные от числительных на *-l-* типа диал. (южн. и вост.-лит.) *pi(e)nkeli*, *pi(e)nkelas* «пятеро», *šešeli*, *šešelas* «шестеро» [Otrębski 1934, с. 275], *vieneli* «один», *ketveli* «четверо» [Endzelīns 1982, с. 541]; их объяснение ранее казалось трудным [Stang 1966, с. 284–265], хотя можно было бы считать их морфонологическими вариантами форм с суффиксом **-er-* (ср. соотношение **-tel-*: **-ter-* и т. п.). Из возможных (восточно)ностратических параллелей можно отметить алтайские: др.-тюрк. *iki-lae* «оба, двое» ([ДТ, с. 206]; другие осторожные сравнения: [Иллич-Свитыч 1976, с. 14]).

4. Числительные «4» и «5»

Любопытной особенностью слав. **četver-* / **četvor-* / **četvьr-* / **četъr-* / **četyr-* / **čьtyr-* является полнота реализации возможных чередований во втором и отчасти также в первом слоге [Мейе 1951, с. 159, 41; Шахматов 1915, с. 151, 157; Shevelov 1979, с. 293]. По-видимому, можно говорить о достаточно большой подвижности всего этого образования. С этим согласуется и то, что в собирательной форме **četver-* (из балто-славянского **ketver-*) с синхронной точки зрения (но не с диахронической, как обычно принимается [Stang 1966, с. 284; Endzelins 1982, с. 185]: это числительное считают очагом распространения суффикса) может быть выделено **-er-* как отдельный суффикс; на вероятность раннего членения **kwet-wer-* указывает др.-инд. *cat-a-sra-h* «4» (ж. р.), др.-ирл. *teoir*: в то время, когда образовалось это сложение со вторым элементом **-s(o)r-* «женщина; морфа женского существа» [Гамкрелидзе—Иванов 1984, II, с. 764], основой числительного было **kwet-(o)-*. Сходство с тюркским числительным (др.-тюрк. *toert* «4») скорее всего объясняется заимствованием из тохарского (А *śtwer*, Б *śtwar*, порядковое А *śtar(t)e*, Б *śtaert*) с упрощением начала слова. Кажется возможным предположить для индоевропейского наличие сложного суффикса **-w-er-* типа хеттского гетероклитического и тохарского абсолютива, характерного для отглагольных производных; в таком случае гипотеза о неиндоевропейском характере этого числительного [Lehmann 1991, с. 137] отпадает (в слав. **četvьr-gъ* «четверг» можно было бы видеть суффикс старого гетероклитического производного, как в **moz-gъ* «мозг»: др.-инд. *mastr̥-han*). Но оно может оказаться древней производной формой, заменившей почти во всех диалектах исходное название «четырех» (наряду с древним **ok̑t-*, см. Гамкрелидзе—Иванов 1984, II, с. 850; отражено в лик. *aita-* «8»), сохранившееся только в хет. *meu-* / *miu-* и лув. *mauwa-* «4» (HD, с. 308—309; Neu 1987. с. 177—178; Shevoroshkin 1979, с. 188; Lehmann 1991, с. 137). Наличие этой формы является отличительной чертой системы хеттских и лувийских числительных, подтверждающей индо-хеттскую (или индо-хетто-лувийскую) гипотезу. Среднехеттское написание *mi-ya-u-e-eš* с ударением или тоном на последнем слоге подтверждает принадлежность слова к формальному типу индоевропейских окситонированных прилагательных на *-u-*, обнаруживающих чередование в суффиксе (**-e/ou-* **-u-*). Этимология, предложенная Хейбеком (Heubeck 1963, с. 201—202) и принятая многими учеными, пред-

полагает родство с тохар. В maiwe «маленький, молодой» и прагерман. **maiwaz* (др.-исл. *mjór* «узкий, тонкий») из и.-е. **moi-wo-s*. Значение может относиться к числу, меньшему чем «5», и к кисти руки без большого пальца. Любопытно совпадение **moi-wo-* и иран.-греч. **oi-wo-* «1». В случае, если речь может идти о вычитательной внутренней форме числительного, можно было бы думать о малоазиатском типе, известном из ликийского и этрусского (Lejeune 1981), который повлиял и на римскую передачу чисел (4 = 5–1 = IV).

Это недавно обнаруженное древнее обозначение «4» как «меньшего» или младшего числа подчеркивает роль числа «5», название которого сближается одновременно с греческо-тохарско-лувийским местоимением «весь» (*-*t*- в **pant*- сопоставимо с -*ta*- в лик. *pñnuta*-, Shevoroshkin 1979, с. 188, лув. *punati*- «весь») и с названием «руки, пясти» и «пальца» ([Гамкрелидзе–Иванов 1984, с. 849 с литературой вопроса]; к герм. **fingwraz* «палец» ср. др.-арм. *hinger-ord* «пятый», [Szemerenyi 1960, с. 94–96; Schmidt 1992, с. 205], сюда же и хет. *pangar-it* «целиком», если хет. *panku*- «целый, весь» связано с этим корнем **penkwe*, а не с **bhengh*-, как думали раньше). Хотя в последнее время были предложены другие этимологии слав. **peNstь* «пясть», предполагающие его связь с одной из глагольных основ с исходом на *-*s*- типа **pis-*/**peis-*/**peNs-* (последняя форма с носовым инфиксом) «пихать, толкать, бить» [Smoczyński 1992, с. 18–19], и при этом допущении учитывается возможность сопоставления славянского производного отглагольного существительного с другими основами того же семантического круга типа слав. **gṛstь* «горсть», ст.-лит. *kumsćia* (из **kumsti*-, ж. р.) «кулак» (см. там же; последнюю форму еще Соссюр объяснил из **punkste* [Szemerenyi 1960, с. 113]).

5. К сопоставлениям славянского с иранским и тохарским

При обсуждении сравнения славянского с иранским А. А. Зализняк, внесший вклад в изучение вопроса, тонко заметил (в частном разговоре), что, перефразируя заглавие известной книги Вейнрейха, можно было бы говорить о «closely related languages in contact». Кроме некоторых отмеченных выше общностей в образовании названий первых сотен особенно следует выделить числительные для обозначения чисел между 10 и 20. Формы ти-

па рус. *одиннадцать, тринадцать, пятнадцать* весьма сходны с восточноиранскими («скифскими» в том смысле, в каком термин использовал В. И. Абаев): **aia-n-dasa* (хорезм. *'ywnd(y)*, осетин. *iwaendes*), **thri-n-dasa* (осет. *aertyndaes*) ([Emmerick 1992] с предположением внутренней формы «один над десятью» и т. п.; иран. **-n-* в этом случае и этимологически соответствовало бы исходному **n-adъ* в славянских формах; семантически сходное, но отличающееся по характеру конкретных морфем построение можно видеть в пашто: комбинации с *bande* «сверх» [Эдельман 1990, с. 197]). Поскольку в этом типе образования славянский отличается от балтийского, строящего, как и германский, формы с **leikw-* «оставаться, быть в остатке», кажется возможным допустить, что такие формы (как и самый корень **leikw-*) праславянским были утрачены в последующий за временем германо-балто-славянской общности период (восточно)иранского («скифского») влияния.

Заметное сходство с иранским обнаруживается и в названиях десятков, где роль, напоминающую рус. *-дцать*, играет иран. **-sat* (из **-k̂m̥t*) [Эдельман 1990, с. 46]. Менее четким представляется диалектное приурочение (вост.-)слав. названия «сорока» (см. сводку данных: [Карпенко 1958]). Кажется возможным предположить воздействие (через гипотетический промежуточный язык кочевого степного народа?) тохар. А *śtwarāk* (Б *śtwarka*) «сорок» с упрощением начала слова. С тохар. А *t(u)mane* (Б *tmam*) «10000» сходно и славянское обозначение: др.-рус. *тьма* «10000», но по фонетическим причинам (*ь* из переднего гласного) его источником надо признать не тохарскую и не среднеперсидскую *(tuman)*, а тюркскую (др.-тюрк. *tuman*, ДТ, с. 596–597) форму этого миграционного термина позднейшего евразийского происхождения.

Сокращения

ДТ – Древнетюркский словарь / ред. В. М. Наделяев, Д. М. Насилов, Э. Р. Тенишев, А. М. Щербак. Л., 1969.

HD – The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago, ed. H. G. Gueterbock and H. A. Hoffner, vol. 3, fasc. 3. Chicago, The Oriental Institute, 1986.

TL – Tituli Lyciae lingua Lycia conscripti (Tituli Asiae Minoris, I). Wien, 1901.

Литература

Бенвенист 1974 — *Э. Бенвенист.* Общая лингвистика. М., 1974.

Виноградов 1947 — *В. В. Виноградов.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.; Л., 1947.

Гамкрелидзе–Иванов 1984 — *Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984, т. 1, 2.

Жирмунский 1976 — *В. М. Жирмунский.* Происхождение категории прилагательных в индоевропейских языках в сравнительно-историческом освещении // *В. М. Жирмунский.* Общее и германское языкознание. Л., 1976, с. 209–234.

Зализняк 1967 — *А. А. Зализняк.* Русское именное словообразование. М., 1967.

Иванов 1979 — *Вяч. В. Иванов.* Разыскания в области анатолийского языкознания. 20. Месопотам. арийск. *aika-u̯artanna* как архаизм индоевропейской древности // Этимология. 1979. М., 1981, с. 132–135.

Иванов 1983 — *Вяч. В. Иванов.* Выделение разных хронологических слоев в древнеармянском и проблема первоначальной структуры текста гимна Вахагну //Историко-филологический журнал. Ереван, 103 (4), 1983, с. 22–43.

Иванов 1988 — *Вяч. В. Иванов.* Современные проблемы типологии (К новым работам по американским индейским языкам бассейна Амазонки) //Вопросы языкознания, 1988, № 1, с. 118–131.

Иллич-Свитыч 1971 — *В. М. Иллич-Свитыч.* Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Введение. Сравнительный словарь (b–Ḳ). М., 1971.

Иллич-Свитыч 1976 — *В. М. Иллич-Свитыч.* Опыт сравнения ностратических языков //Сравнительный словарь (l–ʒ̨). Указатели. М., 1976.

Карпенко 1958 — *Ю. О. Карпенко.* Історія східнослов'янського числівника *сорок* // Питання історіі і діалектологіі східнослов'янських мов (Чернівецький Державний Університет. Наукові записки), серія філологічних наук, 1958, т. XXXI, вип. 7, с. 23–32.

Кацнельсон 1949 — *С. Д. Кацнельсон.* Историко-грамматические исследования. М.; Л., 1949.

Крейнович 1958 — *Е. А. Крейнович.* Юкагирский язык. М.; Л., 1958.

Леман 1991 — *У. Леман.* Новое в индоевропеистических исследованиях //Вопросы языкознания. 1991, № 4, с. 5–26; № 5, с. 5–26.

Мейе 1938 — *А. Мейе.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.

Нойман 1980 — *Г. Нойман.* Ликийский язык //Древние языки Малой Азии. М., 1980, с. 322–356.

Поздняков 1993 — *К. И. Поздняков.* Сравнительная грамматика атлантических языков. М., 1993.

Порциг 1964 — *В. Порциг.* Членение индоевропейской языковой области. М., 1964.

Семереньи 1980 — *О. Семереньи.* Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.

Супрун 1961 — *А. Е. Супрун.* Старославянские числительные. Фрунзе, 1961.

Супрун 1969 — *А. Е. Супрун.* Славянские числительные. Становление числительных как особой части речи. Минск, 1969.

Супрун 1989 — *А. Е. Супрун.* Введение в славянскую филологию. 2-изд. Минск, 1989.

Топоров 1961 — *В. Н. Топоров.* Локатив в славянских языках. М., 1961.

Топоров 1975 — *В. Н. Топоров.* Прусский язык. A — D. M., 1975.

Топоров 1977 — *В. Н. Топоров.* Авест. *thrita, thaetaoña,* др.-инд. *Trita* и др. и их индоевропейские истоки //Paideia, 1977, 16, № 3 (Série Orientale, 8).

Топоров 1992 — *В. Н. Топоров.* Еще раз о фракийском всаднике в балканской и индоевропейской перспективе //Образ мира в слове и ритуале. Балканские чтения — I. M., 1992.

Тронский 1967 — *И. М. Тронский.* Общеиндоевропейское языковое состояние (Вопросы реконструкции). Л., 1967.

Фасмер 1967 — *М. Фасмер.* Этимологический словарь русского языка. М., 1967, 1971, II, III.

Ф. Ф. Фортунатов 1922 — *Ф. Ф. Фортунатов.* Краткий очерк сравнительной фонетики индоевропейских языков. Пг., 1922.

Черных 1993 — *П. Я. Черных.* Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1993, т. 1.

Шахматов 1915 — *А. А. Шахматов.* Очерк древнейшего периода истории русского языка //Энциклопедия славянской филологии. Пг., 1915, вып. 11, 1.

Эдельман 1990 — *Д. И. Эдельман.* Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Морфология. Элементы синтаксиса. М., 1990.

Янин, Зализняк 1993 — *В. Л. Янин, А. А. Зализняк.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.

Arntz 1933 — *H. Dr. Arntz.* Die Sprachliche Beziehungen zwischen Arisch und Balto-Slawish (Indogermanische Bibliothek, hrsg. von H. Hirt und W. Streitberg, 3 Abt.: Untersuchungen, 13). Heidelberg: C. Winter-Universitätsverlag, 1933.

Bader 1981 — *F. Bader.* Anaphoriques du type *иv* en hittite // Bono Domini Donum: Essays in Historical Linguistics in memory of J. A. Kerns, ed. Y. L. Arbeitman and A. R. Bomhard (Amsterdam Studies in the theory and History of Linguistic Science, series IV. Current issues in linguistic theory, vol. 16, pt. 1–2), 1981.

Bader 1982 — *F. Bader.* Autour du réfléchi anatolien: étymologies pronominales //Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 1982, t. LXXVII, fasc. 1, с. 83–155.

Bagge 1906 — *L. Bagge.* The Early Numerals // The Classical Review, 20, 1906, p. 259–267.

Baudouin de Courtenay 1974 — *J. N. Baudouin de Courtenay.* Dziela wybrane, t. I. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1974.

Benveniste 1948 — *E. Benveniste.* Noms d'agent et noms d'action en indo-européen. Paris: Adrien–Maisonneuve, 1948.

Bird 1987 — *N. Bird.* The Distribution of Indo-European Root Morphemes (A Checklist for Philologists). Wisbaden: Otto Harrassowitz, 1987 (2nd Printing).

Bonfante 1993 — *G. Bonfante.* L'isoglossa indoeuropea di dativo plurale *-bh:-m-* // Maia, nuova serie, 1993, a. XVI, fasc. III, c. 223–224.

Brugmann 1904 — *K. Brugmann.* Kurze Vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Strassburg: K. Truebner, 1904.

Brugmann 1911 — *K. Brugmann.* Vergleichende Laut-, Stammbildungs- und Flexionslehre nebst Lehre vom Gebrauch der Wortformen der Indogermanischen Sprachen, 2. Bearbeitung, 2. Bd. Lehre von den Wortformen und ihrem Gebrauch. 2. Teil. Strassburg: K. J. Truebner, 1911.

Carruba 1974 — *O. Carruba.* I termini per *mese, anno* e numerale in licio // Rendiconti, Istituto Lombardo, 108, 1974, c. 575–597.

Comrie 1992 — *B. Comrie.* Slavic and Baltic // Gvozdanović 1992.

Cuny 1924 — *A. Cuny.* Etudes prégrammaticales sur le domaine des langues indo-européennes et chamito-sémitiques. Paris, 1924.

Del Monte 1989 — *G. F. Del Monte.* Licio *kumali-* «vittima sacrificiale» // Oriens Antiquus, XXVIII, 1989, c. 198–200.

Dyen, Kruskal, Black 1992 — *I. Dyen, J. B. Kruskal, P. Black.* An Indoeuropean Classification: A Lexicostatistical Experiment (Transactions of the American Philosophical Society, vol. 82, pt. 5). Philadelphia, 1992.

Eichner 1992 — *H. Eichner.* Anatolian // Gvozdanović 1992, S. 29–96.

Emmeric 1992 — *R. E. Emmeric.* Iranian // Gvozdanović 1992.

Endzelīns 1982 — *J. Endzelīns.* Darbu izlāse, s. IV, d. 2. Rīgā: Zinātne, 1982.

Friedrich 1969 — *J. Friedrich.* Eine neue Art hethitischer Zahlwörter // Studia Classica et Orientalia Antonio Pagliaro oblata, vol. I. Roma: G. Bardi, 1969, c. 139–140.

Fussman 1972 — *G. Fussman.* Atlas linguistique des parlers dardes et kafirs. I. Cartes; II. Commentaires (Publications de l'École Française d'Extrême-Orient, vol. LXXXVI). Paris: Andrien–Maisonneuve, 1972.

Gusmani 1964 — *R. Gusmani.* Lydisches Woerterbuch; mit grammatischer Skizze und Inschriftensammlung. Heidelberg: C. Winter-Universitätsverlag, 1964.

Gusmani 1981 — *R. Gusmani.* Zur Komparation des Lydischen // Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen, Bd. 95, 1981, S. 279–285.

Gusmani 1986 — *R. Gusmani.* Lydisches Wörterbuch. Ergänzungsband, Lief. 3, Heidelberg: C. Winter-Universitätsverlag, 1986.

Gvozdanović 1992 — Gvozdanović J. (ed.). Indo-European Numerals (Trends in Linguistics. Studies and Monographs, ed. Winter W., 57). Berlin: Mouton-de-Gruyter, 1992.

Hamp 1992 — *E. Hamp.* Albanian //Gvozdanović 1992.

Haudry 1981 — *J. Haudry.* Les deux flexions de l'adjectif germanique // Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 1981, t. LXXVI, fasc. 1., c. 191–200.

Heubeck 1963 — *A. Heubeck.* «Digamma» — Probleme des mykenischen Dialekts // Die Sprache, 1963, Bd. 9, H. 2, S. 193–202.

Houwink Ten Cate 1965 — *Houwink Ten Cate Ph. H. J.* The Luwian Population Groups of Lycia and Cilicia Aspera during the Hellenistic Period (Documenta et Monumenta Orientis Antiqui, vol. 10). Leiden: E. J. Brill, 1965 (reprint).

Hurford 1975 — *J. Hurford.* The Linguistic Theory of Numerals //Cambridge: University Press, 1975.

Hurford 1987 — *J. Hurford.* Language and Number; The Emergence of a Cognitive System. Oxford: Basil Blackwell, 1987.

Hurford 1993 — *J. Hurford.* [Рецензия на кн.] Gvozdanović 1992 // Journal of Linguistics, 1993, vol. 29, № 1, p. 266–228.

Ivanov 1975 — *V. V. Ivanov.* Aryen du Mitanni *aika(-)vartanna* et vedique ekavṛt // Mélanges linguistiques offerts à E. Benveniste (Collection Linguistique publiée par la Société de Linguistique de Paris, LXX), Paris: Editions Reeters, 1975, p. 283–288.

Jakobson 1971 — *R. Jakobson.* Tempus — Rotatio — Adulterium // Selected Writings, vol. II. The Hague–Paris, 1972, p. 650–652.

Jelinek, Escalante 1988— *E. Jelinek, F. Escalante.* «Verbless» possessive sentences in Yaqui // In Honour of Mary Haas. Ed. W. Shipley. Berlin: Mouton de Gruyter, 1988, p. 411–442.

Klingenschmidt 1982 — *G. Klingenschmidt.* Das altarmenische Verbum. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1982.

Lehmann 1990 — *W. P. Lehmann.* The Current Thrust of Indo-European Studies // General Linguistics, 1990, vol. 30, № 1, p. 52.

Lehmann 1991 — *W. P. Lehmann.* Residues in the Early Slavic Numeral System that clarify the Development of the Indo-European System // General Linguistics, 1991, vol. 31, № 3 / 4, p. 131–140.

Lehmann 1993 — *W. P. Lehmann.* Theoretical Bases of Indo-European Linguistics. London and New York: Routledge, 1993.

Lejeune 1981 — *M. Lejeune.* Procédures soustractives dans les numérations étrusque et latine // Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 1981, t. LXXVI, fasc. 1, p. 241–248.

Meillet 1931 — *A. Meillet.* Essai de chronologie des langues indo-européennes. La Théorie du féminin //Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 1931, t. 32, fasc. 1, p. 1–28.

Meriggi 1980 — *P. Meriggi.* La declinazione dei nomi propri e dei pronomi in Licio // Studi Micenei ed Egeo-Anatolici (Incunabula Graeca, vol. LXXIII), Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1980, p. 214–274.

Meriggi 1980a — *P. Meriggi.* Schizzo grammaticale dell'anatolico (Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, anno CCCLXXVII. Memorie, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, serie VIII — vol. XXIV, fasc. 3). Roma: Accademia Nazionale dei Lincei, 1980.

Morpurgo, Hawkins 1986 — *Davies A. Morpurgo, J. D. Hawkins.* A Luwian Heart // Anadolu Aristirmalari, 10, 1986, p. 359–372.

Neu 1987 — *E. Neu.* Zum Wortschatz des Hethitischen aus synchroner und diachroner Sicht // Studien zum indogermanischen Wortschatz, hrsgb. von Meid. Innsbruck, 1987, S. 167–188.

Neumann 1969 — *G. Neumann.* Lykisch // Handbuch der Orientalistik. 1 abt. Der Nahe und der Mittlere Osten, hrsg. von B. Spuler, 2 Bd. Keilschriftforschung und Alte Geschichte Vorderasiens. 1 u. 2 Abschnitt. Geschichte der Forschung, Sprache und Literatur. Lief. 2. Altkleinasiatische Sprachen. Leiden / Koeln: E. J. Brill, 1969.

Nussbaum 1986 — *A. J. Nussbaum.* Head and Horn in Indo-European (Studies in Indo-European Language and Culture, New Series, 2). Berlin; New York: de Gruyter, 1986.

Oettinger 1982 — *N. Oettinger.* Reste von *e*-Hochstufe im Formans hethitischer *n*-Stämme einschliesslich des *«umna»* — Suffixes // Investigationes philologicae et comparativae. Gedenkschrift für H. Kronasser, hrsgb. von E. Neu. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1982, S. 162–177.

Otrębski 1934 — *J. Otrębski.* Wschodnolitewskie narzecze twereckie. Kraków: Nakładem Polskiej Akademji Umiejętnośći, 1934.

Pinault 1987 — *G. Pinault.* Epigraphie coutchéenne. Laisser-passer de caravanes. In: Mission Pelliot. Documents conservés au Musée Guimet et la Bibliothèque Nationale. Documents archéologiques, VIII. Paris: Collège de France, Institut d'Asie, Centre de Recherche sur l'Asie Centrale et la Haute Asie, 1987.

Pokorny 1959 — *J. Pokorny.* Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.

Puhvel 1987 — *J. Puhvel.* Comparative Mythology. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1987.

Puhvel 1984 — *J. Puhvel.* Hittite Etymological Dictionary. Vol. 1. Words beginning with A. Vol. 2. Words beginning with E and I (Trends in Linguistics. Documentation 1, ed. W. Winter). Berlin; New York; Amsterdam: Mouton Publishers, 1984.

Rosenkranz 1978 — *B. Rosenkranz.* Vergleichende Untersuchungen der altanatolischen Sprachen (Trends in Linguistics. State-of-the-Art Reports. ed. W. Winter, 8), Paris; The Hague; New York: Mouton, 1978.

Sasse 1993 — *H.-J. Sasse.* Das Nomen — eine universale Kategorie? — Sprachtypologie und Universalienforschung, 1993, Bd. 46, Heft 3, S. 187–221.

Schields 1994 — *K. Schields.* Comments about IE **oi-* «1» // Journal of Indo-European Studies, 1994, vol. 22, № 1 & 2, p. 177–186.

Schmalstieg 1976 — *W. P. Schmalstieg.* Studies in Old Prussian. University Park and London: The Pennsylvania State University Press, 1976.

Schmandt-Besserat 1992 — *D. Schmandt-Besserat.* Before Writing. Austin: University of Texas Press, 1992.

Schmidt 1992 — *G. Schmidt.* Indogermanische Ordinalzahlen // Indogermanische Forschungen, 1992, p. 197–235.

Šerech 1952 — *J. Šerech.* Probleme der Bilding des Zahlwortes als Redeteil in den Slavischen Sprachen (Lunds Universitets Arsskrift N. F. Avd. 1 Bd. 48, Nr 2). Lund: C. W. K. Gleerup, 1952.

Shevelov 1979 — *G. Y. Shevelov.* A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg: C. Winter-Universitätsverlag, 1979.

Shevoroshkin 1979 — *V. Shevoroshkin.* On the Hittite-Kuwian numerals //The Journal of Indo-European Studies, 1979, vol. 7, p. 177–198.

Skok 1971 — *P. Skok.* Etimologijski rjecnik hrvatskoga jezika, kn. 1 A — J. Zagreb: Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti, 1971.

Smoczynski 1992 — *W. Smoczynski.* Ps. pęstь i cęstь // Rocznik Slawistyczny, 1992, t. XLVIII, cz. 1, c. 17–23.

Stang 1966 — *Chr. S. Stang.* Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo; Bergen; Tromsoe: Universitetsforlaget, 1966.

Stang 1971 — *Chr. S. Stang.* Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen (Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo ii. Hist. — Filos. Klasse. Ny Serie. Nr 11). Oslo; Bergen; Tromsoe: Universitetaforlaget, 1971.

Starke 1990 — *F. Starke.* Untersuchung zur Stammbildung des keilschrift-luwischen Nomens (Studien zu den Boğazkoey-Texte, Heft 31). Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1990.

Szemerenyi 1960 — *O. Szemerenyi.* Studies in the Indo-European System of Numerals. Heidelberg: C. Winter-Universitätsverlag, 1960.

Szemerenyi 1989 — *O. Szemerenyi.* Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft, 3 Aufl. Darmstadt: Wisseschaftliche Buchgesellschaft, 1989.

Tischler 1983 — *J. Tischler.* Hethitisches Etymologisches Glossar. Mit Beiträgen von Günter Neumann. Bd. 1. Innsbruck, 1983.

Trautmann 1910 — *R. Trautmann.* Die altpreussischen Sprachdenkmäler. Goettingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1910.

Turner 1966 — *R. L. Turner.* A Comparative Dictionary of Indo-Aryan Languages. London: Oxford University Press, 1966.

Villar 1991 — *F. Villar.* The Numeral «Two» and its Number Marking // Perspectives on Indo-European Language, Culture and Religion. Studies in Honour of E. C. Polomé, vol. I (Journal of Indo-European Studies, Monograph No 7), McLean, Virginia: Institute of the Study of Man, 1991, vol. I. p. 136–154.

Vossler 1925 — *K. Vossler.* Sprache und Wissenschaft // *K. Vossler.* Geist und Kultur der Sprache. Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1925.

Wackernagel, Debrunner 1930 — *J. Wackernagel, A. Debrunner.* Altindische Grammatik, Bd. III. Goettingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1930.

Winter 1992 — *W. Winter.* Tokharian //Gvozdanović 1992.

Winter 1992 — *W. Winter.* Armenian //Gvozdanović 1992.

Т. Я. Елизаренкова

К семантике слов *dám-*, *grā́ma-*, *kṣétra-* в Ригведе

Нередко бывает, что существительные, имеющие в санскрите хорошо устоявшиеся конкретные значения – названия определенных предметов, строений, поселений, элементов пейзажа, в гимнах Ригведы (РВ) таких значений не обнаруживают или обнаруживают их лишь с трудом и отчасти (скажем, иногда и только в поздних мандалах). Причины этого явления следует искать прежде всего в характере памятника, открывающего индийскую традицию и обладающего двойственной природой: сложившись как собрание на индийской почве и выражая ряд чисто индийских представлений, получивших развитие в дальнейшей культуре Древней Индии, этот уникальный памятник сохранил немало общеиндоевропейских реминисценций, постепенно исчезавших в более поздний период. К тому же при изучении так называемых nomina concreta следует помнить, что образ жизни ариев РВ, особенно в период древних «фамильных» мандал, был совсем не таким, как в последующий период: они были полукочевыми племенами, и поэтому весь быт, а следовательно и названия того, что в дальнейшем стало «вещами», должны были иметь весьма отличное содержание. Расхожее материалистическое представление о том, что развитие лексического значения обычно происходит от конкретного к абстрактному, здесь никак не подходит. Эти общие соображения будут проиллюстрированы на примере трех слов, обозначающих важные для социальной жизни ариев РВ понятия: *dám-* «дом», *grā́ma-* «деревня», *kṣétra-* «поле» (значения даются условно, так, как они известны из санскрита).

В РВ существует несколько названий для понятия «дом», из которых самое архаичное – корневое существительное среднего рода *dám-*, имеющее прекрасно установленную индоевропейскую этимологию. Как было показано Бенвенистом, система и.-е. терминов социальной организации полнее и лучше всего отражена в древнеиндийской традиции, а слово *dám-* в этой системе обозначало «семью» и «дом как семью», а не «дом как постройку» [1]. Из РВ приводились отдельные лексические параллели к авестийским словам (как система древняя и.-е. терминология в РВ не сохранилась).

Корневые основы в РВ (особенно среднего рода) непродуктивны. *Dám-* как самостоятельное слово, не входящее в состав устойчивого фразеологического сочетания или сложного слова, встречается всего один раз в поздней части памятника в X, 46, 7 в весьма смутном контексте: *asyā́járāso damā́m aritrā́* | *arcáddhūmāso agnáyaḥ pāvakā́ḥ* «Чистые огни этого нестареющего (Агни), (они, эти) вёсла домов...». К. Гельднер, комментируя в своем переводе это место, предлагает как одно из возможных толкований видеть здесь намек на «движущийся дом» (т. е. кочевой образ жизни) [2].

Во всех остальных случаях *dám-* встречается только в связанной форме. Это может быть устойчивое сочетание *pátir dán*, находящееся всегда в конце строки триштубха (где *dán*, в соответствии с Л. Рену, является G. sg от *dám-* [3]) и засвидетельствованное 5 раз в поздних частях памятника. Можно переводить это сочетание как «хозяин дома» (у Гельднера: «Hausmeister», «Hausgebieter», «Herr dieses Hauses»), но ни из одного контекста нельзя сделать вывода, что речь идет о доме-строении. Ср., например, об Индре в X, 99, 6: *sá íd dā́saṃ tuvīrávam pátir dán* | *ṣaḷakṣáṃ triśīrṣā́ṇaṃ damanyat* «А этот хозяин дома покорил громко ревущего дасу с шестью глазами, с тремя головами». В таких контекстах более уместен перевод «повелитель» (ср. также X, 105, 2).

Более употребительно сложное слово *dáṃpati-,* оно встречается в РВ 12 раз (4 раза в ед. числе, остальные в двойственном). Древность его подтверждается авестийской параллелью *dəmāna-pati* id. В ед. числе это слово чаще всего определяет Агни, бога домашнего очага, жертвенный костер, в который совершаются возлияния. Например, V, 22, 4: *táṃ tvā suśipra dampate* | *stómair vardhanty átrayo* «Тебя люди Атри усиливают хвалами, о прекрасногубый хозяин дома»; или I, 127, 8: *víśvāsāṃ tvā viśā́m*

pátim havāmahe | sárvāsām samānám dámpatim bhujé «Мы призываем тебя, господина всех племен, хозяина общего дома всех (племен) – для наслаждения» (к Агни). Ясно, что речь здесь идет не о доме-строении, а, по-видимому, о религиозной общине, о совокупности людей, поклоняющихся одним и тем же богам. В двойственном числе *dámpatī* значит обычно «супруги», например, V, 3, 2: *añjánti... góbhir | yád dámpatī sámanasā kṛṇóṣi* «Они мажут (тебя)... коровьим молоком, когда ты делаешь едиными духом домохозяина (и его жену)». Здесь подразумевается, что в этом ритуале почитания Агни участвует жертвователь-яджамана вместе с супругой. Не менее показателен пример из поздней части РВ — X, 10, 5: *gárbhe nú nau janitā́ dampatī kar* «Создатель сделал нас супругами еще во чреве (матери)» – говорит Ями своему близнецу-брату Яме, пытаясь склонить его к инцесту. В употреблении этого сложного слова в двойст. числе наиболее отчетливо выступает значение «семьи», а не «дома-строения».

От корня *dám* в РВ образовано прилагательное *dámūnas-* «связанный с домом», «домашний», реже субстантивизированное имя м. р. «друг дома», «хозяин дома». Оно засвидетельствовано в гимнах 25 раз и большей частью связано с богом Агни. Этот эпитет может встречаться в ритуальных контекстах, как в IV, 11, 5:

tvā́m agne prathamám devayánto
devám mártā amṛta mandrájihvam |
dveṣoyútam ā́ vivāsanti dhībhír
dámūnasam gṛhápatim ámūram ||

«Тебя, о Агни, бога, люди, любящие богов, смертные, о бессмертный, первым стараются привлечь с помощью молитв, (тебя) с веселым языком, отвращающего враждебность, домашнего, домохозяина, безошибочного».

Приведенный контекст типичен, и следует, кроме того, заметить, что под воздействием стиля РВ, рыхлого, статичного, с нанизыванием эпитетов и не всегда отчетливо выраженной предикативностью (особенно в именных предложениях)[4], происходит ослабление мотивации контекстом лексического значения постоянного эпитета. Ср., например, III, 1, 11: *ṛtásya yónāv aśayad dámūnā | jāmīnā́m agnír apási svásṝṇām* «В лоне закона отдыхал друг дома Агни во время деятельности сестер (-вод)».

Можно привести в пример и нетипичный контекст, в котором Гельднер усматривает связь *dámūnas-* с домом[5], а именно III, 1,

17: *práti mártāñ avāsayo dámunāḥ* «Ты поселил по очереди смертных как друг дома». Но и здесь о материальной природе дома ничего не известно.

Наиболее употребительно в РВ из всех образований от корня *dám* – существительные с тематической основой *dáma*-n., для которой в словаре Бётлинга даются значения «дом», «жилье», «родина» [6]. В РВ это слово встречается 50 раз, из которых 48 – это формы местного падежа, часто имеющие наречное значение «дóма». Те два случая, где *dáma-* не в местном падеже, тоже не дают никаких сведений о материальной природе дома. Ср., I, 75, 5: *ágne yakṣi svám̐ dámam̐* «О, Агни, принеси жертву своему дому!» (перед этим его призывают принести жертву богам и космическому закону). *Svá*-«свой» – единственный эпитет, который постоянно определяет слово *dáma-*, никаких квалифицирующих эпитетов в РВ с этим существительным не встречается. Своим же домом для Агни считался дом жертвователя, то место, где зажигали жертвенный костер, и Агни воспринимали как близкого родственника того человека, который его зажигает: как его отца, брата или даже сына [7]. Другой пример – III, 6, 3: *dyáuś ca tvā pṛthivī́ yajñíyāso | ní hótāram̐ sādayante dámāya* «Небо и Земля, (боги,) достойные жертв, усаживают тебя как хотара для дома». В обоих этих случаях можно составить смутное представление о доме – месте жертвоприношения Агни, доме — жертвенной общине или семье, но не о постройке.

В большинстве случаев, когда *dáma-* стоит в местном падеже, контекст также соотнесен с Агни и жертвоприношением. Из многочисленных примеров можно привести такие типические, как II, 1, 2: *brahmā́ cā́si gṛhápatiś ca no dáme* «Ты брахман и господин дома в нашем доме», или III, 10, 2: *gopā́ ṛtásya dīdihi své dáme* «Как хранитель закона воссвети в своем доме!»

Только три раза другие, чем Агни, боги упоминаются в связи с *dáma-* (Апам Напат в II, 35, 7, Рудры в VIII, 7, 12 и Сома в IX, 111, 2). Таким образом, Агни является божеством *dáma-* в РВ по преимуществу, а *dáma-* выглядит как место поклонения Агни или как сообщество людей (семья, религиозное объединение), поклоняющихся ему.

Один раз L. sg. *dáme* «дома» противопоставлен L. sg. *vána ā́* «в лесу» – VII, 1, 19: *mā́ no dáme mā́ vána ā́ juhūrthāḥ* «Не сбей нас с пути ни дома, ни в лесу!» (Обращение к Агни) [8].

Существительное *grā́ma*-m. представляет собой один из общеизвестных примеров, иллюстрирующих процесс семантического

развития лексического значения слова, вызванного социальными причинами. Конечный результат этого процесса хорошо известен – в санскрите основным значением *grā́ma-* является «деревня» (т. е. прежде всего географическое, территориальное понятие), и это слово входит здесь в оппозицию с *nágara-* «город», а затем уже обозначает социальную единицу – деревенскую общину. Начало этого процесса – та ситуация, которая засвидетельствована в отношении *grā́ma-* в РВ, нуждается в некотором уточнении, о чем в дальнейшем и пойдет речь. Прежде всего следует обратиться к словарям. В словаре Грассмана к РВ значения *grā́ma-* определяются так: «1) Dorf; 2) Dorfschaft, Gemeinde, Einwohnerschaft, pl. Bewohner, Leute; 3) Schar, Heerschar, Heer» [9]. В санскритском словаре Бётлинга иерархия значений этого слова дана в принципе так же: «1) bewohnter Platz, Dorf; 2) Einwohnerschaft, Gemeinde, Stamm, pl. Bewohner, Leute; 3) eine zusammengehörige Anzahl von Menschen, Schar, Haufe; insbes. Heerhaufe» [10]. А вот во втором издании этимологического словаря древнеиндийского языка М. Майрхофера значения распределены в прямо противоположной последовательности, к тому же в качестве первого значения дается «обоз»: «Treck, Heerhaufen, Kriegerschaar, wehrhafte Mannschaft einer Siedlung, Dorfgemeinde, bewohnter Platz» [11]. Разница между Грассманом и Майрхофером, основывающимися на одном и том же материале – гимнах РВ, указывает на необходимость пересмотра материала этой самхиты.

Вопрос о *grā́ma-* в РВ не раз затрагивался в научной литературе, здесь его можно будет коснуться лишь коротко. В начальной стадии исследования этого вопроса существовала точка зрения, что *grā́ma-* – это деревня, состоящая из домов, ведийская деревня могла иметь военные укрепления, она противопоставлялась лесу; значение же деревенской общины у этого слова вторично. Эта точка зрения представлена в «Ведийском индексе названий и предметов» А. А. Макдонелла и А. Б. Киса [12]. Однако еще задолго до публикации этого индекса исследователь древнеиндийского быта Х. Циммер предложил социальную трактовку *grā́ma-* как одной из единиц военной организации, входившей в состав племени (*víś-*) [13]. Дальнейшие исследования развивались именно в этом направлении. Так, Ч. Дрекмейер видел в *grā́ma-* общину, состоящую из нескольких родственных семей [14]. В классическом исследовании социальных структур в Древней Индии на материале брахман В. Рау приходит к выводу, что *grā́ma-* становится более или менее прочным поселением только в этот поздний

период, и в текстах брахман еще хорошо засвидетельствовано древнее значение этого слова – обоз передвигающихся с места на место скотоводов. Когда же два таких обоза сталкивались друг с другом, они превращались в военные отряды [15].

Далее следует перейти к анализу тех контекстов, в которых *grā́ma-* встречается в гимнах РВ. Всего в этом памятнике слово *grā́ma-* употребляется 9 раз, из них 7 раз в поздних мандалах X и I. Рассмотрим прежде всего те два примера, которые засвидетельствованы в древних «фамильных» мандалах.

II, 12, 7: *yásyā́śvāsaḥ pradíśi yásya gā́vo*
yásya grā́mā yásya víśve ráthāsaḥ |
yáḥ sū́ryaṃ yá uṣásaṃ jajā́na
yó apā́ṃ netā́ sá janāsa índraḥ ||

«У кого в подчинении кони, у кого – коровы, у кого отряды (*grā́māḥ*), у кого все колесницы, кто породил солнце, кто утреннюю зарю, кто повелитель вод, тот, о люди, Индра.

Это возвеличение бога грозы и войны Индры, где в первых двух падах перечисляются его качества полководца (кони, запряженные в колесницы, – основная военная сила, коровы – основная добыча и награда), а в последних двух славится его космогоническая деятельность. *Grā́maḥ* в соседстве с колесницами и проч. переведено — у Гельднера как: «die Dorfmannschaften» [16], у Рену: «les fantassins» [17]. Перевод Рену выглядит гораздо убедительнее в этом военном контексте.

III, 33, 11: *yád aṅgá tvā bharatā́ḥ saṃtáreyur*
gavyán grā́ma iṣitá índrajūtaḥ |
árṣād áha prasaváḥ sárgatakta
a vo vṛṇe sumatíṃ yajñíyānām ||

«Когда же, вправду, через тебя переправятся Бхараты, отряд (*grā́maḥ*), ищущий коров, посланный (и) вдохновленный Индрой, пусть (снова) ринется (твое) течение, устремленное в (едином) порыве!...» – обращение риши Вишвамитры к рекам, чтобы они создали брод для воинственных Бхаратов, прибывших с обозом и колесницей (стих 9). Речь здесь идет о некоем военном формировании в походе. При этом следует отметить, что оба рассмотренных контекста связаны с Индрой, который ведал войной и набегами, а не мирной жизнью в деревне.

То же значение обнаруживается у *grā́ma-* и в некоторых контекстах из поздних частей самхиты. А именно, I, 100, 10: *sá grā́-*

mebhiḥ sánitā sá ráthebhir | vidé víśvābhiḥ kṛṣṭíbhir nv àdyá «Он – захватчик с отрядами (воинов) (*grā́mebhiḥ*), он – с колесницами. Он и сегодня известен всем народам» (гимн Индре), а также X, 27, 19: *ápaśyaṃ grā́maṃ váhamānam ārā́d | acakráyā svadháyā vártamānam* «Я увидел отряд (*grā́maṃ*), едущий издалека, передвигающийся по своему желанию без колес». Гимн посвящен Индре, начинается с диалога между Индрой и певцом, а затем переходит в речь певца, полную жалоб, темных намеков и загадок. Из более широкого контекста следует, что под *grā́ma-* здесь подразумеваются, скорее всего, годы, которые надвигаются на человека и его старят. Гельднер переводит: «einen Clan auf der Fahrt»[18]. Значение «деревня» здесь полностью исключено, речь идет о некоей передвигающейся толпе или общине, в прямом или переносном смысле.

Один из контекстов неясен и допускает различные толкования – I, 44, 10: *ási grā́meṣv avitā́ puróhitó | 'si yajñéṣu mā́nuṣaḥ* «Ты – защитник в деревнях (*grā́meṣv*) [или: «в общинах»?], ты поставлен во главе на жертвоприношениях, (ты,) близкий человеку» (гимн Агни). Известно, что Агни теснее всего связан с интимной жизнью человека – его домашними обрядами. Гельднер переводит эти строки: «Du bist in den Dörfern der Schirmherr und Vogt»[19], однако Рену понимает это иначе: «tu es l'auxiliaire (des humaines) dans les rassemblements (guerriers)»[20].

В остальных контекстах, встречающихся в поздних мандалах, более вероятно значение «деревня» у слова *grā́ma-*. Это следующие места:

I, 114, 1: *yáthā śám ásad dvipáde cátuṣpáde | víśvam puṣṭáṃ grā́me asmínn anāturám* «...чтоб было счастье двуногому и четвероногому, чтоб в этой деревне всё процветало без болезни!» (гимн Рудре). Рудра был целителем, но в то же время отличался яростным нравом и мог поразить своими стрелами людей и скот; при этом Рудра никак не был связан с домашним ритуалом жертвоприношения, подобно Агни.

X, 127, 5: *ní grā́māso avikṣata | ní padvánto ní pakṣíṇaḥ | ní śyenā́saś cid arthínaḥ* «Деревни расположились на покой, (все,) у кого есть ноги и крылья, даже занятые орлы» (гимн Ночи).

X, 14, 1: *kathā́ grā́maṃ ná pṛchasi* «Что же ты не спросишь о деревне?» (гимн Араньяни – богине дикой местности). *Grā́ma-* здесь участвует в оппозиции с *áraṇya-* «дикая необжитая местность», обозначая деревню, как освоенную территорию (вариант оппозиции: свой — чужой).

X, 149, 4: *gā́va iva grā́maṃ ... abhí no ny ètu ... savitā́* «Как коровы в деревню, (так) пусть придет к нам Савитар!» (гимн Савитару, богу-побудителю, воплощающему животворную силу солнца).

Из рассмотренных контекстов можно сделать вывод, что исходным значением *grā́ma-*, засвидетельствованным как в древних, так и в поздних частях памятника, является обозначение некоей группы людей, объединенных общей целью: военный отряд, передвигающийся в походах вместе с колесницами, обозами, стадами, или же община (без прикрепления ее к определенной местности). Таким образом, *grā́ma-* – это совокупность людей, живущих (или вернее – странствующих) вместе, но не территория их совместного проживания. При этом значение («военный отряд») связано с мифологией Индры и встречается обычно в гимнах, посвященных этому богу. Значение же «деревня» (– поселение) засвидетельствовано у *grā́ma-* только в поздних частях самхиты, что тоже говорит о его вторичном характере.

Существительное *grā́ma-* входит в состав ряда сложных слов в РВ в качестве первого или второго элемента (сложные слова в этом памятнике, как правило, двучленны), и это дает дополнительный материал для уточнения семантики *grā́ma-*. Все эти сложные слова, в каких бы частях памятника они ни встречались и к каким бы структурным типам ни принадлежали, свидетельствуют древнее значение *grā́ma-* – совокупность людей (а не место их поселения). Приведем эти примеры:

grāma-jít- adj. «побеждающий *grā́ma-*»

V, 54, 8: *niyútvanto grāmajíto yáthā náro ... marútaḥ...* «С упряжками, словно мужи, побеждающие отряды, Маруты...»

Маруты всегда сопровождали Индру, тесно связаны с его мифологией и помогали ему совершать военные подвиги. У Гельднера переведено: «wie einen Clan besiegen» [21], у Рену: «vainqueurs d'armée» [22].

grāma-ṇí- adj., m. «ведущий *grā́ma*», «глава *grā́ma-*»

X, 62, 11: *sahasradā́ grāmaṇī́r mā́ riṣan mánuḥ* «Дарящий тысячу глава рода Ману да не потерпит ущерба!»

Гельднер переводит: «der Clanhäuptling Manu», поясняя, что *grāmaṇī́-* в древности вовсе не обязательно совпадал с деревенским старостой дальнейших времен [23]. Концовка этого гимна (а стих 11 последний) представляет собой *dānastuti*, благодарение за дары, т. е. связана с ритуалом жертвоприношения.

X, 107, 5: *dákṣiṇāvān prathamó hūtá eti* | *dákṣiṇāvān grāmaṇī́r ágram eti* «Кто дает дакшину, приглашается первым, кто дает дакшину, идет впереди как глава рода».

У Гельднера: «geht als Clanfürstling voran» [24]. Контекст тот же, что в предыдущем примере – раздача дакшины, т. е. вознаграждения жрецам за совершенное жертвоприношение и возвеличение того главы рода или общины, кто раздает ее.

áriṣṭa-grā́ma- adj. «тот, у кого *grā́ma-* невредима»

I, 166, 6: *ugrā marutaḥ...* | *áriṣṭagrāmāḥ...* «О грозные Маруты, чья толпа невредима...»

Обычно толпа Марутов обозначается словом *śárdhas-* синонимом которого здесь является *grā́ma-*. Следует напомнить, что Маруты принадлежат к циклу Индры.

mahā-grāmá- m. «огромная *grā́ma-*».

X, 78, 6: *mahāgrāmó ná yāmann utá tviṣā́* «И со (своим) сверканием, словно огромное войско в походе» (описание Марутов).

Существенно, что в этом контексте *grā́ma-* изображается в движении (ср. III, 33, 11 и X, 27, 19).

śū́ra-grāma- adj. «собирающий героев», «окруженный толпой героев».

IX, 90, 3: *śū́ragrāmaḥ sárvavīraḥ sáhāvān* | *jétā pavasva sánitā dhánāni* «Собирающий героев, сопровождаемый всеми мужами, покоряющий, победитель, очищайся как добытчик богатств!» (гимн Соме).

Этот контекст – единственное место в РВ, где понятие *grā́ma-* связано с Сомой, следует также отнести к числу «военных». Известно, что центральный пункт ритуала приготовления напитка бессмертия богов из сока Сомы – его прохождение через сито из овечьей шерсти и очищение — может изображаться в гимнах мандалы IX как победоносный военный поход царя Сомы [25]. При этом существенно то, что *-grā́ma-* здесь употребляется в своем «этимологическом» значении – ср. приводимые Майрхофером параллели: гр. ἀγείρω «собираю», ἀγορά «собрание»; русск. *громада* и др., восходящие к индоевропейскому корню **ger-* «собирать» [26], и таким образом семантической мотивировкой вед. *grā́ma-* является «собрание, куча (людей, соотв. предметов)».

Данные сложных слов, в составе которых вообще нередко сохраняются весьма архаичные (как по своей структуре, так и по значению) формы, являются немаловажным аргументом при установлении исконного значения *grā́ma-*.

Встречающееся один раз в мандале X прилагательное, произведенное от *grā́ma-* с помощью продуктивного суффикса *yá-/-ía-*, исходит из значения «деревня». Это пример из гимна Пуруше, космическому гиганту, принесенному в жертву богами, из частей тела которого были созданы элементы живого и неживого мира, X, 90, 8: *paśū́n tā́ṃś cakre vāyavyā̀n | āraṇyā̀n gramyā́ś ca yé* «Он сделал животных, живущих в воздухе, в лесу и в деревне». Здесь опять, хотя и не в чистом виде, имеет место оппозиция: свой – чужой (ср. выше X, 14, 1).

В итоге, если уж держаться за значение *grā́ma-* «деревня», то можно сказать, что для периода РВ это в гораздо большей степени «деревня-население», чем «деревня-поселение» [27].

Для обозначения поля и его разновидностей в РВ существует целая группа слов, в то время как лес, например, обозначается только одним словом *vána-*, да и то мало употребительным в этом значении, обычный же его денотат в этом памятнике – древесина или деревянный сосуд [28]. Существительное *kṣétra-* n. имеет самое общее и широкое значение по сравнению с остальными словами, имеющими более узкую и специальную семантику: *urvárā-* f. «нива», «засеянное поле», *kṛṣí-* f. «поле», «пашня» (*kṛṣ-* «пахать»), *khilyá-* m. «необработанное поле между двумя пашнями?», *gávyūti-* f. «пастбище», *yávasa-*m. «трава», «травянистый луг», «пастбище». Существительное *kṣétra-* образовано с помощью суффикса *-tra-* от корня *kṣí-*, *kṣéti-*, *kṣiyánti-* «жить», «пребывать» (коннотация: «в покое») [29].

В гимнах РВ слово *kṣétra-* в самостоятельном употреблении встречается 20 раз. Парадигма ед. числа представлена достаточно полно, во мн. ч. засвидетельствована одна форма. Значения *kṣétra-* в РВ у Грассмана даются в такой последовательности: «1) Grundbesitz, Grundstück; 2) Feld, Acker; 3) Gegend, Land; 4) *kṣétrasya pátis,* Beschützer des Grund und Bodens (ein Genius)» [30]. Та же схема повторяется у Бётлинга: «1) Grundbesitz, Grundstück, Grund und Boden; 2) Feld; 3) Ort, Gegend, Platz» и т. д. [31]. В словаре Майрхофера значения приведены в иной последовательности: «Feld, Grund und Boden, Gegend, Land» [32].

Оставляя в стороне недиагностические контексты, далее следует проанализировать те контексты, которые могут дать информацию о семантике *kṣétra-*. Предварительно же надо сделать некоторые замечания об особенностях употребления этого слова в РВ. В этом памятнике нигде не встречается сочетание *kṣétraṃ kar-* «вспахивать ~, обрабатывать поле», которое в санскрите яв-

ляется устойчивым. Когда бог Савитар, вразумляя неудачливого игрока в кости, посоветовал ему бросить игру и пахать свое поле, он сказал: *kṛṣím ít kṛṣasva,* употребив слово *kṛṣí-,* а не *kṣétra-.* Типичны же для РВ просьбы к богам захватить *kṣétra-* во владение для ариев, завоевать для них *kṣétra-* наряду с водами и солнцем (а завоевать воды и солнце значило в космогоническом плане восстановить Космос, восстановить упорядоченную жизнь на земле). Именно в этой ситуации и встречается сочетание *kṣétraṃ san-/sā-* «завоевать землю, ~ страну, ~ территорию». Вот некоторые примеры. I, 100, 18: *sánat kṣétraṃ sákhibhiḥ śvitnyébhiḥ | sánat sū́ryaṃ sánad apáḥ suvájraḥ* «Он завоевал страну [/землю] вместе со (своими) светлыми друзьями. Он завоевал солнце, он завоевал воды, (бог) с прекрасной дубиной» (об Индре); III, 31, 15: *máhi kṣétraṃ purú ścandráṃ vividvā́n | ā́d ít sákhibhyaś caráthaṃ sám airat* «Добывший огромную местность, много золота, он еще пригнал для друзей движимое имущество» (об Индре) – контекст, в котором намечена оппозиция недвижимого и движимого имущества (*kṣétraṃ- : caráthaṃ*). В подобных контекстах могут выступать в роли деятеля и другие боги, например, Сома, как в X, 91, 6: *sáṃ naḥ kṣétraṃ urú jyótīṃṣi soma | jyóñ naḥ sū́ryaṃ dṛśáye rirīhi* «Дай нам на благо обширное владение, светила, о Сома, чтобы мы видели солнце!» (т. е. «чтобы мы жили»). Ср. также IX, 85, 4 о Соме, I, 112, 22 об Ашвинах.

Наиболее ярким примером, свидетельствующим значение владения землей, является VII, 110, 4, где слово *kṣétra-* представлено формой дательного падежа цели: *ví cakrame pṛthivī́m eṣá etā́ṃ | kṣétrāya víṣṇur mánuṣe daśasyán* «Он прошагал эту землю (чтоб она стала) владением [букв. «для владения»], Вишну, награждающий человека». Гельднер переводит эту форму: «Zum Landbesitz» [33], Рену: «afin (qu'elle soit) domaine-foncier (pour l'Homme;...)» [34].

Значения *kṣétra-*, засвидетельствованные с большей или меньшей очевидностью в этой группе контекстов, можно объяснить как отражение на синхронном уровне этимологической связи корней 1. *kṣi-* «владеть» и 2. *kṣi-* «жить».

В другой группе контекстов *kṣétra-* — имеет значение «место», «местность», «край», например, в VI, 47, 20: *agavyūtí kṣétram ā́ganma devā | urví satí bhū́mir aṃhūraṇā́bhūt* «О боги, мы попали в местность без пастбищ. Хоть земля и широка, (нам) она стала узкой»; или в VI, 61, 14: *mā́ tvát kṣétrāṇy áraṇāni ganma* «Да не уйдем мы от тебя в далекие края» (гимн реке Сарасвати). Ср. также V, 62, 7.

Значение «поле» у слова *kṣétra-* наиболее отчетливо выражено в древней части памятника в сочетании *kṣétrasya páti-* «господин поля» как nom. pr. некоего божества. Три раза из пяти это имя встречается в одном и том же гимне IV, 57, посвященном божествам поля (среди прочих и таким, как Лемех и Борозда, трактуемых в РВ как олицетворение мужского и женского начала [35]). На фоне этого гимна семантика *kṣétrasya páti-* не вызывает сомнений. Ср., например, стих 1: *kṣétrasya pátinā vayáṃ* | *hiténeva jayāmasi* | *gā́m áśvam poṣayitnv ā́* «Благодаря Господину поля, как с помощью доброго (друга), мы покоряем (поле), кормящее скотину и коней». Ср. то же значение в стихах 2 и 3. Весьма вероятно также значение «поле» в I, 110, 5, где это слово встречается в самостоятельном употреблении: *kṣétram iva ví mamus tejanenam̐* | *ékam pā́tram ṛbhávo jéhamānam* «Как (меряют) поле, Рибху измерили тростниковой палочкой один зияющий сосуд». В этом значении *kṣétra-* может употребляться также метафорически, например, в V, 2, 3–4 место возжигания Агни называется его полем, а его тлеющие огоньки — стадом.

Существительные *kṣétra-* встречаются также в составе ряда сложных слов в РВ, в качестве первого или второго элемента, обнаруживая то же разнообразие значений, что и в свободном употреблении. В словах tatp. с *kṣétra-* на первом месте хорошо засвидетельствовано значение «местность, страна», которую нужно завоевать во владение ариев. Вот эти примеры:

kṣetra-jesá — m. «завоевание страны»

I, 33, 15: *ā́vaḥ śámaṃ vṛṣabháṃ túgryāsu* | *kṣetrajeṣé maghavañ chvítryaṃ gā́m* «Ты помог безрогому быку в туґрийских (битвах), в завоевании страны, о щедрый, – быку Швитрье» (к Индре).

kṣétra-sāti — f. «захват земель», «~ угодий»

VII, 19, 3: *prá páurukutsiṃ trasádasyuṃ āvaḥ* | *kṣétrasātā vṛtrahátyeṣu purúm* «Ты помог Трасадасью, сыну Пурукутсы, Пуру (ты помог) в боях с врагами при захвате земель» (к Индре).

kṣetrā-sā́- adj. «захватывающий земли»

IV, 38, 1: *kṣetrāsā́ṃ dadathur urvarāsā́ṃ* | *ghanáṃ dásyubhyo abhíbhūtim ugrám* «Вы двое даровали захватывающего земли, захватывающего поля, сокрушителя дасью, грозного повелителя (sc. Митра-Варуна – царя Трасадасью).

В одном из сложных слов *kṣétra-* означает «место», «местность», «область» (в переносном смысле):

kṣetra- víd- «знающий местность», «~место».

X, 32, 7: *ákṣetravit kṣetravídam hy áprāṭ | sá práiti kṣetravídānuśiṣṭaḥ* «Ведь не знающий места спросил у знающего место. Он идет дальше, наученный знающим место» (певец – Индрой).

Дважды этот эпитет употребляется в том же значении с Сомой – IX, 70, 9; X, 25, 8.

В одном из сложных слов той же структуры *kṣétra-* обозначает скорее всего поле, но те два контекста, в которых это сложное слово встречается, представляют определенные трудности для толкования:

kṣetra-sā́dhas- adj. «благоприятствующий полям»

III, 8, 7: *té no vyantu vā́ryaṃ | devatrā́ kṣetrasā́dhasaḥ* «Да наградят они (нас) желанным добром, (они), улаживающие (споры) о полях среди богов» (гимн жертвенным столбам).

Гельднер переводит: «...die unter dem Göttern (den Streit um) den Grundbesitz schlichten» [36], а в комментарии поясняет, что это может быть и раздел сфер влияния богов; у Рену однако: «eux qui chez les dieux assurent (la propriété) des champs!» [37].

VIII, 31, 14: *agníṃ...īḷe... | saparyántaḥ purupriyáṃ | mitráṃ ná kṣetra-sā́dhasam* «Агни... я призываю..., почитая [несоответствие числа] многолюбимого, как Митру (друга), благоприятствующего полям».

У Гельднера: «der (den Streit) um die Felder schlichtet» [38]; у Рену: «qui fait réussir (les productions du) champ» [39].

В качестве последнего члена *kṣétra-* встречается в составе сложного слова *su-kṣétra-* adj. «окруженный прекрасными полями», «прекрасное поле»:

I, 122, 6: *śrótu naḥ...sukṣétrā síndhur adbhíḥ* «Пусть услышит нас Синдху с прекрасными полями, с водами!»

IV, 33, 7: *sukṣétrākṛṇvann ánayanta síndhūn* «Они сделали поля прекрасными, провели реки» (гимн Рибху) [40].

Наконец от *su-kṣétra-* произведено абстрактное существительное, засвидетельствованное только в наречной форме I. f. *sukṣetriyā́* – «с желанием иметь хорошие поля».

I, 97, 2: *sukṣetriyā́ sugātuyā́ | vasūyā́ ca yajāmahe* «Желая хороших полей, желая хорошего пути и желая благ, мы приносим жертвы».

От *kṣétra-* произведено с помощью вриддхи гласного первого слога имя *kṣáitra-*, которое Грассман трактует как прилагательное: «zum Felde oder Grundbesitze [*kṣétra*] gehörig, sich darauf beziehend» [41], а Бётлинг как существительное: «n. Feldwesen», «Grundbesitz» [42]. В РВ оно встречается один раз в VIII, 71, 12: *agníṃ vo devayajyā́ya- | <...> | agníṃ kṣáitrāya sā́dhase* «Агни (я зову) для вас для

службы богам <...> Агни – для успеха во владении землей». Форму *kṣáitrāya-* можно понять как адъективное определение к *sā́dhase*, или можно увидеть здесь столь часто встречающуюся в РВ аттракцию дат. падежа: букв. «для владения землей для успеха».

Другое производное существительное с вриддхи и вторичным абстрактным суффиксом *-ya-* образовано от **kṣétrapati-* (ср. в РВ *kṣétrasya páti-*) и значит «состояние владения землей», «власть» – I, 112, 13: *yā́bhiḥ* <...> *mandhātā́ram kṣáitrapatyeṣv ā́vatam* | *tā́bhir ū ṣú ūtíbhir aśvinā́ gatam* «Какими (силами) <...> вы двое помогли Мандхатару в случаях приобретения власти над землей (мн. ч.) <...> с этими самыми поддержками приходите сюда, о Ашвины!»

Таким образом, анализ значений сложных слов, в состав которых входит *kṣétra-*, и производных от него еще раз подтверждает наличие у этого слова в РВ помимо конкретного значения «поле» ряда более широких и абстрактных значений: «местность», «место», «владение» (землей), которые, судя по семантике исходных этимологически родственных корней 1. *kṣi-* «владеть» и 2. *kṣi-* «жить», должны быть наиболее древними.

Наличие в РВ достаточно разветвленной сельскохозяйственной терминологии никак не противоречит этому предположению [43]. Основным занятием ведийских племен было скотоводство, а не обработка земли. Постоянно предпринимались набеги с целью захвата новых пастбищ, осуществлявшиеся отрядами – *grā́ma*, состоявшими из отдельных семей-хозяйств *dám(a)-*. Образ жизни был полукочевым, и лишь постепенно *dáma-* становится постоянной постройкой, *grā́ma-* деревней, прикрепленной к определенному месту, а *kṣétra-* полем, которое обрабатывают, а не территорией, которую завоевывают и утверждают на нее свою власть. В РВ отражен переходный период этого длительного процесса.

Примечания

[1] *Benveniste E.* Indo-European language and society. Engl. transl. London, 1973 (Chap. 2. The four divisions of society)... В дополнение к этому ср. также *Zimmer H.* Indogermanische Sozialstruktur? Zu zwei Thesen Emile Benvenistes / Studien zum idg. Wortschatz (Ed. W. Meid) = Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. B. 52. Innsbruck, 1987, S. 315–329.

[2] Der Rig-Veda aus dem Sanskrit ins Deutsche übersetzt und mit einem laufenden Kommentar versehen von K. F. Geldner. 1.–3. Teil. Cambridge, Mass, 1951 (Harvard Oriental Series, vols. 33–35). Здесь Т. 3, S. 204.

[3] *Renou L.* Études védiques et pāṇinéennes. T. 1–17. Paris, 1955–1969 (EVP). Здесь Т. 16, p. 22.

[4] *Елизаренкова Т. Я.* Язык и стиль ведийских риши. М., 1993, с. 206 сл.

[5] *Geldner,* 1. T., S. 335.

[6] Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung bearbeitet von *O. Böhtlingk.* St. Petersburg. 1.–7. Teil, 1879–1889. Здесь Т. 3, S. 69.

[7] Примеры см. у Макдонелла – *Macdonell A. A.* Vedic mythology. Strassburg 1897, p. 96.

[8] Более детальный анализ различных названий дома в РВ см. – *Elizarenkova T. Y.* Three lectures on «Words and Things» in the Ṛgveda (Lecture «House» and «home» in Ṛgveda»). Poona. Bhandarkar Oriental Institute, в печати.

[9] *Grassmann H.* Wörterbuch zum Rig-Veda. Wiesbaden, 1955 (3. Aufl.), S. 418.

[10] *Böhtlingk,* 2. Teil, S. 192.

[11] *Mayrhofer M.* Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen, I–II B., Lief. 1–18 (Издание продолжается), Heidelberg, 1990. — (EWA). Здесь I. B., Lief. 7, S. 507–508.

[12] *Macdonell A. A., Keith A. B.* Vedic index of names and subjects. Vol. 1–2. London, 1912. Статья *grā́ma-* – Vol. I. P. 244–247.

[13] *Zimmer H.* Altindisches Leben. Die Kultur der vedischen Arier. Berlin, 1879, S. 162.

[14] См., например, *Drekmeier Ch.* Kingship and community in Early India. Stanford, 1962, p. 18.

[15] *Rau W.* Staat und Gesellschaft im alten Indien, nach den Brāhmaṇa-Texten dargestellt. Wiesbaden, 1957, S. 51–59. Этой же интерпретации следует К. Милиус в своем указателе – см. *Mylius K.* Sanskritischer Index der jungvedischen Namen und Sachen //EAZ, 17. Jahrgang, H. 4, Berlin, 1976, S. 671.

[16] *Geldner,* 1. T., S. 290.

[17] EVP, t. 17, p. 57.

[18] *Geldner,* 3. T., S. 168.

[19] *Geldner,* 1. T. S. 54.

[20] EVP, t. 12, p. 9.

[21] *Geldner,* 2. T. S. 61.

[22] EVP, t. 10, p. 31.

[23] *Geldner,* 3. T. S. 232–233.

[24] *Geldner,* 3. T. S. 327.

[25] Эта проблема была поставлена и тщательно проанализирована в неопубликованной докторской диссертации Томаса Оберлиса – *Oberlies Th.* Eine Kompositions-Analyse der Somahymnen des Rigveda. Habilitationsarbeit. Tübingen, 1991 (машинопись), S. 56.

[26] EWA, ib.

[27] О функциях *grā́ma-* и *dám-* в РВ см. также – *Елизаренкова Т. Я.*, *Топоров В. Н.* Мир вещей по данным Ригведы / Ригведа. Мандалы V–VIII. Издание подготовила Т. Я. Елизаренкова. М., 1995.

[28] Что же касается *dráṇya-*, то это слово встречается в тексте гимнов лишь дважды, обозначая дикую, неосвоенную местность – об этом см. *T. Y. Elizarenkova.* Forests in the Ṛgveda / Three lectures on «Words» and «Things» in the Ṛgveda. (Lecture one.) Poona. В печати.

[29] Так дается этимология этого слова в последнем издании словаря Майрхофера, где вслед за Бётлингом различаются три омонимических корня: 1. *kṣay* «властвовать», «обладать» (*kṣáyati*); 2. *kṣáy-* «жить», «пребывать» (*kṣéti, kṣiyánti*) и 3. *kṣay-* «уничтожать» (*kṣiṇā́ti*) – EWA, I. B. Lief. 7, S. 426–428. Ряд прежних авторов не различали на синхронном уровне первые два корня — см. словарь Грассмана, где говорится, что у одного исходного корня развилось два разных значения: «жить» и «властвовать», в основном распределившиеся соответственно между презенсами 2-го и 1-го классов: *Grassmann,* S. 365–366. В списке древнеиндийских глагольных корней Уитни также приведены два корня: 1. *kṣi-* «владеть» (2, 1 класса), 2. *ksi-, kṣī-* «разрушать» (9 класса) – *Whitney W. D.* The roots, verb-forms, and primary derivatives of the Sanskrit language. Lpz, 1885, p. 29.

[30] *Grassmann,* S. 370.

[31] *Böhtlingk,* 2.Teil, S. 130.

[32] EWA, 1. B. Lief. 6, S. 436.

[33] *Geldner,* 2. T., S. 270.

[34] EVP, t. 15, p. 42.

[35] См. об этом *Dange E. A.* Vedic concept of «field» and the divine fructification. Bombay, 1971 (Chap. V).

[36] *Geldner,* 1. T. S. 346.

[37] EVP, t. 14, p. 36.

[38] *Geldner,* 2. T. S. 342.

[39] EVP, t. 16, p. 119.

[40] О фразеологическом сочетании типа *sukṣetrā kṛ-* см. EVP t. 15, p. 69.

[41] *Grassmann,* S. 371.

[42] *Böhtlingk,* 2.Teil, S. 131.

[43] См., например, об этом *Thieme P. Kṛṣṭí* und *carṣaṇí* / Kleine Schriften. Wiesbaden, 1984, S. 247–258.

Ж. Ж. Варбот

О загадке красоты грозы

Более тридцати лет назад В. Н. Топоров обратил внимание на «обычно игнорируемое этимологами» очевидное формальное сходство лит. *gražùs* 'красивый' и слав. **grozьnъ* и обосновал гипотезу об их генетическом тождестве [1]. При этом в формальном плане автор отметил, помимо тождества корневых морфем, сходство «в некоторых одинаковых тенденциях словообразования». Что же касается наиболее существенного препятствия для признания родства балтийской и славянской лексем — семантического различия, — то здесь аргументация В. Н. Топорова опирается на фиксацию словен. *grozen* в значении 'красивый' (наряду с другими значениями) и относительность понятий 'красивый' и 'страшный', которая допускает даже превращение их в свою противоположность, что подтверждается, в частности, и пушкинскими строками о Петре I в «Полтаве»:

> ...Лик его ужасен.
> Движенья быстры. Он прекрасен,
> Он весь как божия гроза.

Наконец, отмечено сходство славянских и балтийских лексем в другом значении: «ср. лит. *gražùs* в значении 'большой, многий, обильный'... при словен. *grozen* в значении 'большой, многий, чрезмерный', *groza* в значении 'большое количество, очень много', слвц. *hrozne* 'очень, огромно', чеш. *hrozně* 'очень' и др.» [2].

Столь пространное цитирование работы В. Н. Топорова определяется, прежде всего, необходимостью напомнить составителям этимологических словарей о том, что сопоставление лит. *gražùs* — слав. **grozьnъ* (по-прежнему игнорируемое или от-

вергаемое [3]) получило в этом исследовании серьезное семантическое обоснование. Кроме того, представляется возможным несколько уточнить генезис и характер взаимосвязи отдельных значений в семантической сфере сопоставляемых лексем.

Повод и предпосылки для возвращения к рассматриваемому балто-славянскому соответствию дает новое этимологическое толкование, предложенное для родственных лтш. *grezns* 'роскошный, нарядный' и лит. *gražùs*, диал. *grãžnas* 'красивый, прелестный, изящный' автором «Латышского этимологического словаря» К. Карулисом, а именно: происхождение балтийской лексической группы из гнезда и.-е. **gherg'-/*ghreg'-* 'тереть' с семантическим развитием в прилагательных 'вытертый, блестящий' → 'великолепный, красивый (с внешним блеском, богатством)' [4]. Из лексики других индоевропейских языков к этому гнезду относят, в частности, греч. κέγχρος 'просо, пшено; (мн.) рыбья икра', κάχρυς (мн.) 'сушеные ячменные зерна', χέραδος 'мелкие камешки с песком, гравий', лат. *furfur* 'шелуха, кожура, отруби' [5]. На основе этого материала можно предполагать принадлежность исходного материала к лексической сфере обработки зерна и первичную семантику 'очищать, обдирать трением'. И здесь обнаруживается близость к приведенной индоевропейской лексике некоторых производных гнезда слав. **groza*: ср. ц.-слав. **огрозити** 'устранить, низвергнуть', ταρταροῦν, detrahere (Christ., Slepč., Šiš.) [6] и особенно сербохорв. диал. *огрозити* 'очистить коноплю' [7]. Это последнее значение, хорошо согласующееся с семантикой приведенных выше греческих и латинской лексем, восходящих к и.-е. **gherg'-*, позволяет предполагать принадлежность к этому гнезду и слав. **groza* и уже с учетом всех соответствий реконструировать генетические отношения значений балтийской группы и слав. **groza*.

При исходном глагольном значении 'обдирать, очищать трением' (особенно как термин обработки зерна, конопли и т. п.) производные имена могли обозначать как 'ободранное, очищенное (зерно, конопля и т. п.)' (см. выше греческий материал), так и 'очищенный, чистый'; как 'отходы, отбросы очистки, обдирки (шелуха, кожура, костра и т. п.)' (см. выше лат. *furfur*), так и 'содранный, бросовый', и, наконец, 'процесс обдирки, трения, трепания'. Дальнейшее развитие этой комплексной семантики представляется достаточно вероятным источником значений, присущих рассматриваемой балто-славянской группе. Так, одно направление развития реконструируется следующим образом:

'процесс обдирки, трения' → 'сотрясение' (возможно, след этого значения — в польск. диал. *ogrozić* 'переживать приступ лихорадки' [8]) → 'страх' (ст.-слав. гроза 'ужас' [9]) → 'гроза' (слав. **groza*), ср. ст.-слав. *трепеть* 'страх' [10] при слав. **trepati* в сельскохозяйственной терминологии обработки льна, конопли. Второе направление: 'очищенный, чистый' → 'красивый' (лит. *gražùs*, лтш. *grezns*, словен. *grozen*), ср. валл. *glan* 'чистый' и 'красивый' [11], нидерл. *mooi*, ср.-н.-нем. *mōi(e)* 'красивый' ← 'вымытый' (родств. ср.-н.-нем. *muten* 'умываться') [12], лтш. *skaists* 'красивый' при прусск. *skīstan* 'чистый' [13]; более далекой аналогией является родство польск. *krzesać* 'обрубать, обтесывать, очищать' (слав. **kresati*), польск. диал. *krasaki* 'куски дерева, которые отрезаются от бревен, превышающих установленную норму длины, и используются для приготовления пищи' [14] и слав. **krasa*. Третье направление: 'содранный, бросовый' → 'безобразный' (болг. *гро́зен* 'уродливый, безобразный', в.-луж. *hrozny* 'отвратительный' и т. д.), ср. родство русск., слав. **dьrati*, русск. *дрянь* 'сор, хлам', диал. *дурно́й* 'рваный, старый (об одежде, обуви)' [15] и русск. *дурной* 'некрасивый'. Впрочем, значение 'безобразный' может быть производным и от 'ужасный' (см. выше ст.-слав. *гроза* 'ужас'), ср. русск. *страшный* 'ужасный' и 'безобразный'.

Таким образом, противопоставленные друг другу значения формально тождественных балтийских и славянских лексем 'красивый' и 'ужас, гроза; ужасный, безобразный' объясняются на базе и.-е. **ghreg'*- 'тереть, обдирать, очищать трением' как результат параллельного развития различных элементов комплексной семантики отглагольных имен, непосредственно производной от семантики глагола. Точно так же и отмеченная В. Н. Топоровым общность в семантике славянских и балтийских лексем — значение 'многий, большой, обильный' — может быть следствием вторичных процессов, исходящих как из значения 'красивый' — ср. русск. диал. (краснояр.) *к красе́* 'много' [16], (курск.) *красный* 'большой' [17], так и из 'ужасный' — ср. русск. *страшный* 'обильный'.

Принятие версии К. Карулиса о происхождении балтийской лексической группы из и.-е. **ghreg'*- и распространении ее на слав. **groza* дает, следовательно, возможность достаточно вероятно объяснить семантические различия и схождения в балто-славянском формальном соответствии. Одновременно это толкование генезиса данного соответствия означает отказ от сопоставления его с греч. γοργός 'страшный, ужасный' на базе исходной звукоподражательности, которое наиболее широко рас-

пространено в этимологических исследованиях [18], но представляется уязвимым, как большинство объяснений из звукоподражаний, предлагаемых для лексем с иной, не звуковой семантикой [19]. Разумеется, в понятие «гроза» входит и звуковой компонент, но представляется существенным, что он имеет свое обозначение (**gromъ*), как и оптический компонент (**mъlni*). Для названия грозы как комплексного явления поэтому вероятна мотивация по общему впечатлению 'страх'.

Примечания

1 *В. Н. Топоров.* Заметка об индоевропейском **grog'-* (**gorg'-*): **greg'-* в балтийском и славянском //Славянское языкознание. Краткие сообщения Института славяноведения. 35. М., 1962, 73–75.

2 Там же, 74–75.

3 Ср. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. чл.-корр. АН СССР О. Н. Трубачева. М., 1980, вып. 7, 144 (Далее — ЭССЯ); Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Hl. red. E. Havlová. Praha, 1994, 4, 204–205 (Далее — ESJS).

4 *K. Karulis.* Latviešu etimoloģijas vārdnīca. I. A–O. Rīgā, «Avots», 1994, 313–314.

5 *P. Persson.* Studien zur Lehre von der Wurzelerweiterung und Wurzelvariation (= Upsala Universitets Årsskrift, 1891. Filosofi, Språkvetenskap och Historiska vetenskaper. IV). Upsala, 1891, 73; *Walde A.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 2. Aufl. Heidelberg, 1910, 328–329; *Frisk H.* Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1954. B. I, 806; *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. B. I. Bern, 1951, 439.

6 Slovník jazyka staroslověnského. Hl. red. J. Kurz. Praha, 23, 1972, 515.

7 *Д. М. Ђорђевић.* Живот и обичаји у Лесковачкој Морави. Београд, 1958 (СЕ 3б, књ. 70, 66).

8 *J. Karłowicz.* Słownik gwar polskich. Kraków, 1905, t. III, 421 (Далее — Karłowicz).

9 Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под редакцией Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994, 178.

10 Там же, 700.

11 *C. D. Buck.* A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. A Contribution to the History of Ideas. Chicago; London, 1971 (= 1949), 1192.

[12] Там же, 1193.

[13] Там же.

[14] *J. Karłowicz*. Słownik..., t. II, 469. Специально о принадлежности польск. диал. *krasaki* к гнезду слав. **kresati* см.: *Ж. Ж. Варбот*. Лехитские этимологии // Общеславянский этимологический атлас. 1985–1987. М., 1989, 259–261.

[15] Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин. Л., 1972, вып. 8, 270 (Далее СРНГ).

[16] СРНГ, вып. 15, 171.

[17] Там же, 190.

[18] См. и ЭССЯ, вып. 7, 141.

[19] Ср. звукоподражательное толкование слав. **groza*, но с сомнением в родстве с греч. γοργός, в ESJS 4, 205.

Список опубликованных работ А. А. Зализняка*

1958

1 [Рец.:] Mélanges linguistiques publiés à l'occasion du VIIIe Congrès International des linguistes à Oslo, du 5 au 9 août 1957. Bucarest, 1957 // Вопросы языкознания, 1958, № 2, с. 150–153.

То же // Лексикографический сборник. Вып. III / Под ред. С. И. Ожегова и О. С. Ахмановой. М.: ГИС, 1958, с. 54–156. [Рец. на лексикографический раздел книги.]

1960

2 Опыт обучения англо-русскому переводу с помощью алгоритма // Питання прикладної лінгвістики. Тези доповідей Міжвуз. наукової конференції 22–28 вересня 1960 р. Чернівці, 1960, с. 63–65.

3 [Пер. с франц.:] *А. Мартине.* Принцип экономии в фонетических изменениях (Проблемы диахронической фонологии) / Ред. и вступит. статья В. А. Звегинцева. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960, 261 с.

1961

4 Краткий русско-французский учебный словарь. Около 10 000 слов. С приложением «Очерка русского словоизменения и сведений по русской фонетике». М.: ГИС, 1961, 632 с.

---

* Составил А. А. Гиппиус.

[Парал. тит. л. на франц. яз.:] Précis de déclinaison et de conjugasion russes précédé de quelques éléments de phonetique.

То же. Изд. 2-е, испр. и доп. Около 12 500 слов. М.: Советская энциклопедия, 1964, 675 с.

То же. Изд. 3-е, испр. и доп. Около 13 500 слов. М.: ГИС, 1969, 688 с.

То же. Изд. 4-е, испр. и доп. М.: Русский язык, 1978.

5 Алгоритм англо-русского перевода, предназначенный для человека // Тезисы докладов на конференции по обработке информации, машинному переводу и автоматическому чтению текста. М.: Изд-во ВИНИТИ, 1961, с. 42–43.

1962

6 О возможной связи между операционными понятиями синхронного описания и диахронией // Симпозиум по структурному изучению языковых систем. Тезисы докладов. М.: Изд-во АН СССР, 1962, с. 56.

7 О возможности структурно-типологического изучения некоторых моделирующих семиотических систем // Структурно-типологические исследования. Сборник статей / Ред. Т. Н. Молошная. М.: Изд-во АН СССР, 1962, с. 134–143. [Совм. с др.]

8 Об использовании понятий «автоматической выводимости» и «зависимого признака» при описании знаковых систем // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М.: Изд-во АН СССР, 1962, с. 55.

9 Опыт анализа одной относительно простой знаковой системы // Структурно-типологические исследования. Сборник статей / Ред. Т. Н. Молошная. М.: Изд-во АН СССР, 1962, с. 172–187.

10 Проблемы славяно-иранских языковых отношений древнейшего периода // Вопросы славянского языкознания. Вып. 6. М.: Изд-во АН СССР, 1962, с. 28–45.

11 Регулирование уличного движения как знаковая система // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М.: Изд-во АН СССР, 1962, с. 78–79.

12 Nociones breves de la morfología y tablas morfológicas del ruso // Испанско-русский учебный словарь / Сост. М. Хисберт и В. А. Низский. 6 000 слов. М.: ГИС, с. 423–548. [Парал. тит. л. на испан. яз.]

Данная работа представляет собой сокращенный и переработанный вариант «Очерка русского словоизменения и сведений по русской фонетике», опубликованного на франц. яз. в кн.: *А. А. Зализняк.* Краткий русско-французский учебный словарь. М.: ГИС, 1961 (см. № 4).

То же // Там же. Изд. 2-е, стереотип. 1963.

То же // Русско-испанский учебный словарь / Сост. Х. Ногейра и Г. Я. Туровер. Около 9 000 слов. М.: ГИС, 1962, с. 423–548. [Парал. тит. л. на испан. яз.]

То же // Там же. Изд. 2-е, стереотип. 1963.

То же // Там же. Изд. 3-е, испр. и доп., 12 000 слов. М.: Русский язык, 1976.

То же // Там же. Изд. 4-е, стереотип. М.: Русский язык, 1977.

То же // Там же. Изд. 5-е, стереотип. М.: Русский язык, 1979.

[То же, перераб. под названием:] Tablas morfologicas del ruso // Русско-испанский словарь / Сост. Х. Ногейра и Г. Я. Туровер. 57 000 слов. М.: Советская энциклопедия, 1967, с. 902–952. [Парал. тит. л. на испан.яз.]

То же // Там же. Изд. 2-е, стереотип. М.: Русский язык, 1974.

То же // Там же. Изд. 3-е, стереотип. М.: Русский язык, 1979.

То же // Там же. Изд. 4-е, стереотип. М.: Русский язык, 1984.

То же // Там же. Изд. 5-е, стереотип. М.: Русский язык, 1995.

[То же, перераб. под названием:] Tableaux morphologiques du russe // Краткий французско-русский учебный словарь / Сост. Н. Б. Кобрина, Ф. Е. Ройтенберг, Э. А. Халифман, В. Г. Гак. 4 000 слов. М.: ГИС, 1963, с. 583–686. [Парал. тит. л. на франц. яз.]

То же // Там же. Изд 2-е, испр. и доп. М.: Русский язык, 1978.

[То же, перераб. под названием:] Quadros morfológicos da gramática russa // Португальско-русский учебный словарь / Сост. С. М. Старец и Н. Я. Воинова. Под ред. А. Торреса. 5 600 слов. М.: ГИС, 1963, с. 483–605. [Парал. тит. л. на португ. яз.]

То же // Там же. Изд 2-е, испр. и доп. 7 000 слов. М.: Русский язык, 1972.

То же // Там же. Изд 3-е, стереотип. М.: Русский язык, 1986.

То же // Там же. Изд 4-е, стереотип. М.: Русский язык, 1989.

То же // Русско-португальский учебный словарь / Сост. Н. Я. Воинова и С. М. Старец. 10 000 слов. М.: Советская энциклопедия, 1964, с. 521–643. [Парал. тит. л. на португ. яз.]

То же // Там же. Изд. 2-е. 10 600 слов. М.: Русский язык, 1971, с. 529–656.

То же // Там же. Изд. 3-е, стереотип. М.: Русский язык, 1977.

То же // Там же. Изд. 4-е, стереотип. М.: Русский язык, 1986.

То же [с некотор. изменениями] // Русско-португальский словарь / Сост. Н. Я. Воинова, С. М. Старец, В. М. Верхуша, А. Г. Здитовецкий. Около 47 000 слов. М.: Русский язык, 1975, с. 901–974. [Парал. тит. л. на португ. яз.]

То же // Там же. Изд. 2-е, перераб., доп. 53 000 слов. М.: Русский язык, 1989, с. 529–656.

[То же, перераб. под названием:] Nhũng bảng mẫu hing thái của tiếng nga // Русско-вьетнамский учебный словарь / Сост. И. В. Толстой, Р. А. Толстая, Дао Чонг Тхыонг. Под ред. Нгуен Ван Ханя. Около 11 200 слов. М.: Советская энциклопедия, 1965, с. 747–931. [Парал. тит. л. на вьетнамск. яз.]

[То же, перераб. под названием:] Tavole morfologiche della lingua russa // Русско-итальянский учебный словарь / Сост. Д. Э. Розенталь. 13 500 слов. М.: Советская энциклопедия, 1966, с. 587–712. [Парал. тит. л. на итал. яз.]

То же // Там же. Изд. 2-е, стереотип. М.: Русский язык, 1977.

То же // Там же. Изд. 3-е, стереотип. М.: Русский язык, 1990.

То же // Итальянско-русский учебный словарь / Сост. Т. З. Черданцева. 8 500 слов. М.: Советская энциклопедия, 1967, с. 673–799. [Парал. тит. л. на итал. яз.]

То же // Там же. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Русский язык, 1976.

То же // Русско-итальянский словарь / Сост. Б. Н. Майзель, Б. Н. Скворцова. 55 000 слов. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Советская энциклопедия, 1972, с. 982–1032. [Парал. тит. л. на итал. яз.]

То же // Там же. Изд. 3-е, стереотип. М.: Русский язык, 1977.

То же // Там же. Изд. 4-е, стереотип. М.: Русский язык, 1985.

То же // Русско-итальянский словарь. В 2-х томах / Сост. Б. Н. Майзель, Н. А. Скворцова. 65 000 слов. М.: Русский язык, 1995, т. 2, с. 479–529.

[То же, перераб. под названием:] Tabele morfologice ale limbii ruse // Русско-румынский словарь / Сост. Н. Г. Корлэтяну и Е. М. Руссев. Около 60 000 слов. Изд-во 2-е, перераб. и доп. М.: Советская энциклопедия, 1967, с. 995–1056. [Парал. тит. л. на румын. яз.]

[То же, перераб. под названием:] Morfologiska tabeller över ryska språket // Русско-шведский словарь / Под ред. Карин Давидсон. М.: Русский язык, 1976. [Парал. тит. л. на швед. яз.]

То же // Там же. Изд. 2-е, стереотип. М.: Русский язык, 1985.

То же [перераб.] // Русско-норвежский словарь. Под ред. С. Свердруп Люнден, Т. Матиассена. 51 000 слов. М.: Русский язык, 1987. [Парал. тит л. на норвеж. яз.]

13 [Пер. с франц.:] *Е. Курилович.* Вид и время в истории персидского языка // *Е. Курилович.* Очерки по лингвистике. Сборник статей / Под общ. ред. В. А. Звегинцева. М.: Изд-во иностранной литературы, 1962, с. 141–155.

14 [Пер. с франц.:] *Е. Курилович.* Древнеиндийский аорист VII // Там же, с. 167–174.

15 [Пер. с франц.:] *Е. Курилович.* Заметки о сравнительной степени (в германском, славянском, древнеиндийском, греческом) // Там же, с. 225–236.

16 [Пер. с франц.:] *Е. Курилович.* Заметки об имперфекте и видах в старославянском // Там же, с. 156–166.

17 [Пер. с франц.:] *Е. Курилович.* К вопросу о древнеперсидской клинописи// Там же, с. 383–391.

18 [Пер. с франц.:] *Е. Курилович.* Множественное число мужского рода древнеиндийск. devasāḥ – aвест. daēvå̊ŋhō // Там же, с. 218–224.

19 [Пер. с англ.:] *Я. Якобсон, Г. И. Фант и М. Халле.* Введение в анализ речи. Различительные признаки и их корреляты. Гл. II. Опыт описания различительных признаков // Новое в лингвистике. Вып. II / Сост. В. А. Звегинцев. М.: Изд-во иностранной литературы, 1962, с. 173–230. [Совм. с Е. В. Падучевой.]

1963

20 Беглые гласные в современном русском словоизменении // Русский язык в национальной школе, 1963, № 5, с. 3–16.

21 К вопросу об использовании операционных понятий при описании просодических элементов // Конференция по структурной лингвистике, посвященная базисным проблемам фонологии. Москва, 1963. Тезисы докладов. М.: Изд-во АН СССР, 1963, с. 99–101.

22 Лингвистические задачи // Исследования по структурной типологии / Отв. ред. Т. Н. Молошная). М.: Изд-во АН СССР, 1963, с. 137–159.

23 Материалы для изучения морфологической структуры древнегерманских существительных. I // Этимология. Исследования по русскому и другим языкам. М.: Наука, 1963, с. 124–160.

24 О характере языкового контакта между славянскими и скифо-сарматскими племенами // Краткие сообщения Ин-та славяноведения АН СССР. Вып. 38. М., 1963, с. 3–22.

25 Ударение в современном русском склонении // Русский язык в национальной школе, 1963, № 2, с. 7–23, табл.

1964

26 К вопросу о грамматических категориях рода и одушевленности в современном русском языке // Вопросы языкознания, 1964, № 4, с. 25–40.

27 К вопросу о правописании безударных гласных в глагольных окончаниях // О современной русской орфографии. Сборник статей / Отв. ред. В. В. Виноградов. М.: Наука, 1964, с. 132–139.

28 Материалы для изучения морфологической структуры древнегерманских существительных. II // Этимология. Принципы реконструкции и методика исследования. М.: Наука, 1964, с. 160–235.

29 О связи языка лингвистических описаний с родным языком лингвиста // Программа и тезисы докладов в летней школе по вторичным моделирующим системам. 19–29 авг. 1964, г. Тарту. Тарту, 1964, с. 7–9. [Совм. с Е. В. Падучевой.]

30 Синхронное описание и внутренняя реконструкция // Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков. Науч. сессия. Тезисы докладов. М.: МГУ, с. 51–54.

31 «Условное ударение» в русском словоизменении // Вопросы языкознания, 1964, № 1, с. 14–29, табл.

1965

32 Классификация и синтез именных парадигм современного русского языка. Автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. М., 22 с.

1966

33 Опыт фонологического анализа современного французского вокализма // Лингвистические исследования по общей и славянской типологии / Ред. Т. М. Николаева. М.: Наука, 1966, с. 214–230.

1967

34 Русское именное словоизменение. М.: Наука. 370 с. (АН СССР. Ин-т славяноведения).

[Пер. гл. 1-й на франц. яз.:] La morfologie nominale en russe // Langages. La linguistique en URSS. Paris, Sept. 1969, N° 15, p. 43–56.

35 О показателях множественного числа в русском склонении // To honor of Roman Jakobson. Essays on the occasion of his 70-th birthday. The Hague–Paris, Mouton, 1967, p. 2328–2332.

36 Формальный аналог понятия падежа // Межвузовская конференция по порождающим грамматикам. Кяэрику, 15–22 сент. 1967 г. Тезисы докладов. Тарту, 1967, с. 33–34.

[То же на франц. яз.:] Un modèle de la notion de cas // Deuxieme conférence internationale sur le traitement automatique des langues. Grenoble, 23–25 aout, 1967, p. 2.

1969

37 Международная конференция по математической лингвистике. Гренобль, 1967 // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. II / Ред. В. Ю. Розенцвейг. М., 1969, с. 193–203. [Совм. с др.]

1970

38 À pròpos de la division des désínences nominales russes en parties significatives // «Sign. Language. Culture». Editorial Board:

A. I. Greimas (e. a.). The Hague–Paris, Mouton, 1970, p. 153–155. (Janua Linguarum. Studia memoriae Nicolai Van Wijk dedicata. Edenda cura C. H. Van Schooneveld. Indiana University. Series maior. 1).

1971

39 Составление части задач и редакция всех задач: 200 задач по языкознанию и математике. Сборник задач I–VII традиционных олимпиад по языкознанию и математике. М.: МГУ, 1972, 252 с. (Публикации ОСиПЛ. Под общ. ред. В. А. Звегинцева. Вып. 8.)

40 Из древнеиндийской морфонологии // Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. Предварительные материалы. М.: Наука, 1972, с. 50–52.

1973

41 Винительный падеж в старославянском языке и общая проблема вариантности падежных форм // Кузнецовские чтения. 1973. История славянских языков и письменности. М., 1973, с. 12–14.

42 Вклад В. М. Иллич-Свитыча в сравнительно-историческую грамматику индоевропейских и ностратических языков // Советское славяноведение, 1973, № 5, с. 82–91. [Совм. с др.]

43 О понимании термина «падеж» в лингвистических описаниях. I // Проблемы грамматического моделирования / Отв. ред. А. А. Зализняк. М.: Наука, 1973, с. 53–87.

44 [Отв. ред.:] Проблемы грамматического моделирования. Сборник статей. М.: Наука, 1973, 262 с.

45 [Отв. ред.:] Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. Сборник статей. М.: Наука, 1973, 262 с.

1974

46 О контекстной синонимии единственного и множественного числа существительных // Информационные вопросы семиотики, лингвистики и автоматического перевода. Вып. 4 / Ред. Ю. А. Шрейдер. М.: Изд-во ВИНИТИ, 1974, с. 30–35. [Совм. с Е. В. Падучевой.]

То же. Тезисы // V Всесоюзный симпозиум по семиотике. Тбилиси, 1970, с. 350–352. [Совм. с Е. В. Падучевой.]

47 [Научн. консультант:] Обратный словарь русского языка. Около 125 000 слов. М.: Советская энциклопедия, 1974, 944 с.

47а Предисловие // Обратный словарь русского языка. Около 125 000 слов. М.: Советская энциклопедия, 1974, с. 4–9.

1975

48 К вопросу о том, что такое отдельный падеж // Proceedings of the Eleventh International Congress of Linguists Bologna–Florence, Aug. 28 – Sept. 2, 1972, t. II. Bologna, 1975, p. 427–431.

49 К типологии относительного предложения // Семиотика и информатика. Вып. 6. Грамматические и семиотические проблемы. М.: Изд-во ВИНИТИ, 1975, с. 51–101. [Совм. с Е. В. Падучевой.]

50 Морфонологическая классификация древнеиндийских глагольных корней // Очерки по фонологии восточных языков / Отв. ред. Т. Я. Елизаренкова. М.: Наука, с. 59–85.

51 Размышления по поводу «язв» А. А. Реформатского // Предварительные публикации Проблемной группы по экспериментальной и прикладной лингвистике. Вып. 71. М., 1975, с. 13–23.

52 O możliwośćsciach structuralno-typologicznych badań semiotyzcnych // Semiotyka kultury. Warszawa, 1975. [Совм. с Вяч. Вс. Ивановым и В. Н. Топоровым.]

53 Прилагательное // БСЭ. Изд. 3-е, т. 20. М., 1975, с. 578, 579, стлб. 1722–1723.

54 Род грамматический // БСЭ. Изд. 3-е, т. 22. М., 1975, с. 157, стлб. 458–459.

1976

55 Словоизменение // БСЭ. Изд. 3-е, т. 23. М., 1976, с. 582.

56 Словоформа // БСЭ. Изд. 3-е, т. 23. М., 1976, с. 582.

57 Согласование // БСЭ. Изд. 3-е, т. 24 (I) . М., 1976, с. 67.

58 Согласовательный класс // БСЭ. Изд. 3-е, т. 24 (I). М., 1976, с. 68.

59 Акцентологическая интерпретация данных древнерусского «Мерила Праведного» XIV века // Тезисы конференции по индоевропейскому и ностратическому языкознанию. М., 1976, с. 18–20.

1977

60 Грамматический словарь русского языка (словоизменение). М.: Русский язык, 1977, 880 с.

То же. 2-е изд. М.: Русский язык, 1980.

То же. 3-е изд. М.: Русский язык, 1987.

61 О «Мемуаре» Ф. де Соссюра // *Ф. де Соссюр.* Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977, с. 289–301.

62 Superposition of contradictory linguistic rules // XII Internationaler Linguistenkongress. Kurzfassungen. Wien, 1977.

63 Закономерности акцентуации русских односложных существительных мужского рода // Проблемы теоретической

и экспериментальной лингвистики. Вып. 8. М.: МГУ, 1977, с. 71–119.

1978

64 Новые данные по русских памятниках XIV–XVII веков с различением двух фонем «типа о» // Советское славяноведение, 1978, № 3, с. 74–96.

65 Противопоставлние букв о и ω в древнерусской рукописи XIV века «Мерило Праведное» // Советское славяноведение, 1978, № 5, с. 41–68.

66 Грамматический очерк санскрита // *В. А. Кочергина.* Санскритско-русский словарь. М., 1978, с. 785–895.

То же. 2-е изд. М.: Русский язык, 1987.

1979

67 Синтаксические свойства местоимения КОТОРЫЙ // Категория определенности–неопределенности в славянских и балканских языках. М.: Наука, 1979, с. 289–329. [Совм. с Е. В. Падучевой.]

68 Словоформа // Русский язык. Энциклопедия. М.: Русский язык, 1979, с. 310.

69 Акцентологическая система древнерусской рукописи XIV века «Мерило Праведное» // Славянское и балканское языкознание. История литературных знаков и письменность. М.: Наука, 1979, с. 47–128.

70 О понятии графемы // Balcanica. Лингвистические исследования. М.: Наука, 1979, с. 134–152.

1980

71 Противопоставление относительных и вопросительных местоимений в древнерусском // Балто-славянские исследования. 1980. М.: Наука, 1981., с. 89–107.

1981

72 Независимость эволюции редуцированных от ударения в восточнославянском // Структура текста–81. Тезисы симпозиума. М., 1981, с. 28–31.

73 Глагольная акцентуация в южновеликорусской рукописи XVI в. // Славянское и балканское языкознание. Проблемы морфонологии. М.: Наука, 1981, с. 89–174.

74 К исторической фонетике древненовгородского диалекта // Балто-славянские исследования. 1981. М.: Наука, 1982, с. 61–80.

1982

75 Противопоставление книжных и «бытовых» графических систем в древнем Новгороде // Finitis duodecim lustris. Сборник статей к 60-летию проф. Ю. М. Лотмана. Таллин: Ээстираамат, 1982, с. 82–85.

1983

76 Редактирование, составление задач: Лингвистические задачи. Книга для учащихся старших классов. М.: Просвещение, 1983, 222 с.

77 Теоретические основы праславянского акцентологического словаря // Славянекое языкознание. IX Международный съезд славистов. М., 1983, с. 47–60. [Совм. с Р. В. Булатовой, В. А. Дыбо.]

1984

78 Древнерусское *рути* «подвергать конфискации имущества» // Балто-славянские исследования. 1983. М.: Наука, 1984, с. 107–114.

79 Наблюдения над берестяными грамотами // История русского языка в древнейший период (Вопросы исторического языкознания. Вып. 5). М.: МГУ, 1984, с. 36–153.

1985

80 От праславянской акцентуации к русской. М.: Наука, 1985, 428 с.

81 Дополнительные замечания об омеге в «Мериле Праведном» // Советское славяноведение, 1985, № 4, с. 97–107.

1986

82 Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1977–1983 гг.). М.: Наука, 1986, 310 с. [Совм. с В. Л. Яниным.]

1987

83 Текстовая структура древнерусских писем на бересте // Исследования по структуре текста. М.: Наука, 1987, с. 147–182.

84 Язык берестяных грамот: Новые проблемы истории русского Северо-Запада // Будущее науки. Вып. 20. М.: Знание, 1987, с. 256–271. [Совм. с В. Л. Яниным.]

85 [Ред.:] Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). М.: Русский язык, 1987, т. 1.

86 О языковой ситуации в древнем Новгороде // Russian Linguistics. V. 11, 1987, № 2–3, p. 115–132.

1988

87 О текстовой структуре берестяных грамот // Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора. Тезисы и пред-

варительные материалы к симпозиуму. М.: Наука, 1988, с. 14–16.

88 Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. София, сент. 1988. Доклады советской делегации. М.: Наука, 1988, 164–177.

89 Древненовгородское койне // Балто-славянские исследования. 1986. М.: Наука, 1988, с. 60–78.

90 Значение новгородских берестяных грамот для истории русского и других славянских языков // Вестник АН СССР, 1988, № 8, с. 92–100.

1989

91 Перенос ударения на проклитики в старовеликорусском // Историческая акцентология и сравнительно-исторический метод. М.: Наука, 1989, с. 116–134.

92 О некоторых связях между значением и ударением у русских прилагательных // Славянское и балканское языкознание. Просодия. М.: Наука, 1989, с. 148–164.

93 [Отв. ред.:] Славянское и балканское языкознание. Просодия. М.: Наука, 1989. [Совм. с В. А. Дыбо. Т. М. Николаевой и Р. В. Булатовой.]

94 [Ред.:] Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). М.: Русский язык, 1989, т. 2.

95 Новгородские берестяные грамоты и проблемы древних восточнославянских диалектов // История и культура древнерусского города. М.: МГУ, 1989, с. 18–30.

96 Славянская частица *ти* // Синхронно-сопоставительное изучение грамматического строя славянских языков. Тезисы

докладов и сообщений советско-польской конференции 3–5 окт. 1989. М., 1989, с. 15–17.

1990

97 Словоизменение // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990, с. 467.

98 Словоформа // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990, с. 470.

99 [Ред.:] Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). М.: Русский язык, 1990, т. 3.

100 *Огосподинъ // Вопросы кибернетики. «Язык логики и логика языка». М., 1990, с. 6–25.

101 «Мерило Праведное» XIV в. как акцентологический источник. München: Otto Sagner, 1990 (= Slavistische Beitrage, Bd. 266), 183 с.

102 Об одном употреблении презенса совершенного вида («презенс напрасного ожидания») // Metody formalne w opisie języków slowiańskich. Białystok, 1990 (Red. Z. Saloni), c. 109–114.

1991

103 Берестяные грамоты перед лицом традиционных постулатов славистики и vice versa // Russian Linguistics, 15 (1991), № 3, p. 217–245.

104 Об одной берестяной грамоте XII века // Words are physicians for an ailing mind (ed. M. Grochowski, D. Weiss). München: Otto Sagner, 1991 (= Sagners Slavistische Sammlung, Bd. 17). S. 503–508.

105 Морфонологические модели *Луцѣ–Лучинъ* и *Лукѣ–Лукинъ* в славянских языках // Studia Slavica. К 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна. М., 1991, с. 153–160.

1992

106 Участие женщин в древнерусской переписке на бересте // Русская духовная культура / Под ред. Луиджи Магаротто и Даниелы Рицци. Департамент Истории Европейской цивилизации. Университет Тренто (La cultura spirituale russa. A cura di Luigi Magarotto e Daniela Rizzi. Departimento di storia della civilta Europpea. Testi e ricerche. № 11), с. 127–146.

107 Падение редуцированных по данным берестяных грамот // Русистика сегодня. Функционирование языка: лексика и грамматика. М., 1992, с. 82–105.

108 Правило отпадения конечных гласных в русском языке // Le mot, les mots, les bons monts. Word, words, witty words. Hommage à Igor Mel'čuck a l'occasion de son soixantième anniversaire. Les press de l'Université de Montréal, 1992, p. 295–303.

109 Вкладная грамота Варлаама Хутынского // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник. 1990. М.: Кругъ, 1992, с. 7–17. [Совм. с В. Л. Яниным.]

То же // Russian Linguistics, 16 (1992/1993), № 2–3, p. 185–202.

1993

110 Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1984–1989 гг.). М.: Наука, 1993, 352 с. [Совм. с В. Л. Яниным.]

111 Древнейший восточнославянский заговорный текст // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Заговор. М.: Наука, 1993, с. 104–107.

112 Псковские берестяные грамоты 6 и 7 // Советская археология, 1993, № 1, с. 496–210. [Совм. с И. О. Колосовой и И. К. Лабутиной.]

113 О вероятной связи группы берестяных грамот XII – начала XIII в. с посадниками Иванком Захарьиничем и Гюргием Иванковичем // Новгородский исторический сборник. 4 [14]. Спб.; Новгород, 1993, с. 46–51.

1994

114 Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1990–1993 гг. // Вопросы языкознания, 1994, № 3, с. 3–22. [Совм. с В. Л. Яниным.]

1995

115 Древненовгородский диалект. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995, 720 с.

116 Берестяной документ XII века о сборе югорской дани // The Language and Verse of Russia. In Honor of D. S. Worth on his 65-th birthday. Ed. by H. Birnbaum and M. Flier. Moskva, 1995 (UCLA Slavic Studies. V. 2), p. 283–290.

Научное издание

Русистика. Славистика. Индоевропеистика

Сборник к 60-летию А. А. Зализняка

Утверждено к печати
Институтом славяноведения и балканистики РАН

Оригинал-макет книги подготовлен в издательстве «Индрик»

Оригинал-макет статьи С. Л. Николаева выполнен М. Н. Толстой
Оригинал-макет статьи В. А. Дыбо выполнен А. В. Дыбо

Издательство «Индрик»

ЛР № 070644, выдан 26 октября 1992 г.

Формат 60×90/16. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
48 п. л. Тираж 1 000. Заказ № 4492

Отпечатано с оригинал-макета в типографии № 2 РАН
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., д. 6

По вопросам приобретения книг следует обращаться:

117334, Москва, Ленинский проспект, 32-а,
Институт славяноведения и балканистики РАН
(для издательства «Индрик»)
Тел., факс: ***(095) 290-52-49***